



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.



32101 071959603



Sidney Rheinstein

Class of 1907

**Fund for the Advancement
of Social Justice and
International Understanding**

Книжка Нормановъ
21 ноября 1258
Москва

Проф. А. Л. Погодинъ.

8152/с

АДАМЪ МИЦКЕВИЧЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ
И ТВОРЧЕСТВО.

Томъ I.

ИЗДАНИЕ В. М. САБЛИНА. МОСКВА, — 1912.



Адамъ Мицкевичъ.
(1820 г.)

A. L. Pogodin

Проф. А. Л. Погодинъ.

АДАМЪ МИЦКЕВИЧЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ИЗДАНИЕ В. М. САБЛИНА.

Москва.—1912.

FG 7158
.M51xP57

ТИПОГРАФІЯ В. М. САБЛИНА.
Петровка, д. Обидиной. Телефонъ 131-34.
Москва. — 1912.

*Женѣ моей посвящаю
эту книгу о величайшемъ
поэтѣ ея народа.*

216076

(83173811)

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Прошло болѣе 50 лѣтъ со времени смерти Адама Мицкевича, а между тѣмъ до сихъ поръ на русскомъ языкѣ нѣтъ ни одной книги, посвященной ему. Между тѣмъ, нельзя понять ни современной польской литературы, ни даже польской жизни, не зная Мицкевича, значеніе котораго не только не умалилось за эти истекшія десятилѣтія, но, кажется, все болѣе возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ все временное отпадаетъ отъ его вѣчныхъ идеаловъ. Это заставило меня взяться за работу о Мицкевичѣ. Я сознаю, что трудность задачи превышала и мои силы, и мои способности. Но пока возьмутся за нее люди, которые могли бы лучше меня выполнить ее, сколько времени пройдетъ еще! Можетъ быть и въ томъ видѣ, въ какомъ эта книга вышла изъ-подъ моего пера, она сослужитъ свою службу: заинтересуетъ наше общество Польшей и ея великимъ поэтомъ, пробудитъ въ немъ сочувствіе и уваженіе къ польскому народу и его идеаламъ. Я буду счастливъ, если она укрѣпитъ гуманное чувство въ молодыхъ душахъ.

Рисунки, которые помѣщены въ книгѣ, заимствованы изъ разныхъ изданій, но, по преимуществу, изъ „Album pamiątkowe Adama Mickiewicza“, изданнаго Вл. Пястомъ во Львовѣ. Надѣюсь, что издатель не побѣдуетъ на насъ за это. Считаю долгомъ выразить сердечную благодарность руководителямъ Славянскаго отдѣленія бібліотеки Имп. Академіи Наукъ, академику А. А. Шахматову и проф. Э. А. Вольтеру, безъ просвѣщеннаго содѣйствія которыхъ, вообще, не могла бы быть написана эта книга.

Еще два слова — о переводахъ. Стихотворные переводы Мицкевича, какъ, можетъ быть, всѣ стихотворные переводы, весьма далеки отъ оригинала (даже у Пушкина и Лермонтова), и я рѣшился давать прозаическіе, но болѣе вѣрные переводы текстовъ, которые, конечно, не передаютъ поэтическаго духа оригинала.

Харьковъ, 16 февраля 1912 года.

Содержаніе I-го тома.

Глава	I. Дѣтскіе и отроческіе годы Мицкевича	1
"	II. Настроеніе въ Польшѣ и Литвѣ въ началѣ XIX вѣка	16
"	III. Университетскіе годы. Мицкевича (1815—1818.)	45
"	IV. Университетскіе годы. 1818—1819 учебный годъ	87
"	V. Мицкевичъ въ Ковнѣ. 1819—1820 учебн. годъ	112
"	IV. Разрывъ съ Марылей. Лѣто 1820 года. Слѣдующій учебный годъ	136
"	VII. Годъ въ Вильнѣ (1821—1822). Новая отношенія съ Марылей. Первый томъ стихотвореній	151
"	VIII. Анализъ перваго тома стихотвореній А. Мицкевича.	168
"	IX. Послѣдняя зима въ Ковнѣ. Выходъ II тома. Арестъ	213
"	X. „Гражина“. Ея содержаніе, значеніе въ поэтическомъ развитіи Мицкевича и генезисъ	233
"	XI. „Дѣды“. Первая, вторая и четвертая части ихъ	252
"	XII. Тюрьма и ссылка. Петербургъ и Одесса	308
"	XIII. Эротика Мицкевича на югѣ Россіи и болѣе ранняго времени	332
"	XIV. „Крымскіе сонеты“	364
	Библиографія къ I тому	399

Г Л А В А I.

Дѣтскіе и отроческіе годы Мицкевича.

Дѣтскіе и отроческіе годы Мицкевича протекли спокойно и мирно въ маленькомъ городкѣ Минской губерніи, Новогрудкѣ, и въ его окрестностяхъ. До третьяго раздѣла Польши эта мѣстность входила въ составъ Великаго Княжества Литовскаго; подъ именемъ Литвы полякъ подразумѣваетъ не то, что русскій: мы называемъ Литвою область, населенную литовскимъ племенемъ, поляки же—тѣ бѣлорусскія и этнографически литовскія области, которыя входили въ составъ Литовскаго Княжества. Теперь здѣсь выставили свои національныя культурныя и политическія требованія литовцы и бѣлоруссы; сто лѣтъ тому назадъ, когда Мицкевичъ жилъ и учился въ Новогрудкѣ, объ этихъ требованіяхъ ничего не было слышно. Весь высшій классъ населенія, дворянство и духовенство, считалъ себя польскимъ, хотя происходилъ въ значительной своей части изъ старыхъ литовскихъ или русскихъ родовъ. Никто еще не выступалъ враждебно противъ этого польскаго культурнаго господства въ Литвѣ, и само правительство не отрицало его. Еще въ 1832 году, послѣ возстанія, когда императоръ Николай рѣшилъ примѣнить суровыя мѣры противъ поляковъ, его правая рука въ этомъ дѣлѣ, сенаторъ Новосильцовъ, настаивалъ на сохраненіи въ средней школѣ польскаго языка въ преподаваніи. Въ началѣ XIX вѣка жизнь польская, шляхетская кипѣла здѣсь ключомъ; императоръ Павелъ возстановилъ сеймики и разрѣшилъ дворянамъ выбирать предводителей (маршаловъ); въ судахъ и администраціи употреблялся польскій языкъ.

Будучи полякомъ, Мицкевичъ чувствовалъ себя вмѣстѣ съ тѣмъ и литвиномъ, называлъ своей родиной Литву и ей приписывалъ въ будущихъ судьбахъ человѣчества великую мистическую роль; о единеніи Литвы съ Польшей Мицкевичъ говорилъ тогда,

какъ о таинственномъ предназначеніи судьбы. Когда онъ былъ мальчикомъ, о предстоящемъ политическомъ воссоединеніи ихъ говорили, какъ о дѣлѣ близкомъ и несомнѣнномъ: вѣдь объ этомъ не только писали поэты и публицисты, но и высказывался самъ императоръ Александръ I, правда, смутно и неопредѣленно, какъ всегда, но достаточно понятно для тѣхъ, кто страстно желалъ этого. Мицкевичъ-юноша видѣлъ въ Литвѣ, какъ и его товарищи, часть одного цѣлаго, часть польской земли, но часть исторически и культурно самобытную. Любовь къ родинѣ проникла съ дѣтства все его существо; художественныя впечатлѣнія страны, поразительно красивой, залегли въ его душу на всю жизнь. Ни берега Рейна, ни живописнѣйшія мѣста Швейцаріи или Саксоніи не вызвали у него ни одного поэтического описанія; они оставались чуждыми его душѣ, ничего не говорили ей. Въ этомъ можетъ быть и заключается самая характерная особенность натуры и поэзіи Мицкевича: онъ—поэтъ-вождь народа, его поэзія—исполненіе божьяго посланничества. Всю свою жизнь онъ учитъ, проповѣдуетъ и самъ стремится къ высшимъ идеаламъ. Красота ради красоты для него не существуетъ; его поэтическія произведенія—это ступени, по которымъ поднимается къ моральной истинѣ его духъ. Съ этой точки зрѣнія поэзія Мицкевича пріобрѣтаетъ совершенное единство: начиная съ филаретскихъ увлеченій, проникнутыхъ стремленіемъ къ народности, и кончая товянизмомъ съ его проповѣдью справедливости къ народамъ, Мицкевичъ остается вѣренъ себѣ въ исканіи вѣчной правды Божьей и въ суровой, ни передъ чѣмъ не останавливающейся проповѣди ея. Духъ суровый и гордый, онъ переживаетъ мучительную борьбу съ самимъ собой, прежде чѣмъ отрѣшается отъ надменности. Но отрѣшается ли онъ отъ нея совершенно? Въ своихъ отношеніяхъ къ Словацкому, какъ сопернику, онъ сохраняетъ свою суровую надменность. Да и вообще, какъ чуждъ Мицкевичъ проповѣди непротивленія злу, какъ сурово онъ обличаетъ порокъ, какъ смѣло бросается въ бой съ тиранами!

Силу своей души поэтъ нашель въ Литвѣ. Сюда онъ рвется съ „парижской мостовой“ отъ всѣхъ этихъ запоздалыхъ проклятій, лжи, несвоевременныхъ плановъ, слишкомъ позднихъ сожалѣній, губительныхъ раздоровъ. На югъ, въ степяхъ Аккермана, поэтъ чутко прислушивается, не донесется ли до него голосъ съ Литвы, а въ Швейцаріи, созерцая голубую гладь озеръ, онъ съ

вождемъ и тоской вспоминаетъ о мирныхъ картинахъ Литвы, гдѣ все такъ убаюкиваетъ сердце и мысль. И вся поэзія Мицкевича вращается около Литвы. Здѣсь происходитъ дѣйствіе его балладъ, его „Дѣдовъ“, „Гражины“, „Конрада Валленрода“ и „Пана Тадеуша“. Одинъ только разъ измѣнилъ ей поэтъ, написавъ свои „Крымскіе сонеты“, но и здѣсь онъ—только странникъ изъ Литвы, по ней тоскующій, изъ нея изгнанный. Упорство къ любви—особый даръ, присущій Мицкевичу. Это не легкій, прихотливый и капризный талантъ настроенія; какъ старый литовскій рыцарь, закованный въ латы, онъ ступаетъ тяжело, на рукахъ его желѣзныя перчатки, ударъ его пробиваетъ грудь до самаго сердца. Онъ сильно любитъ и сильно ненавидитъ и, какъ старый рыцарь, онъ можетъ смириться передъ Богомъ, но въ душѣ гордъ и неукротимъ. Станнымъ образомъ Мицкевичъ воплотилъ въ себѣ тотъ духъ стараго суроваго рыцарства, который жилъ въ Польшѣ даже въ эпохи ея наибольшей изнѣженности. И когда народъ такъ нуждался въ вождѣ, этотъ духъ воскресъ въ Мицкевичѣ.

Мицкевичъ—дитя Литвы, дитя мелкопомѣстной польско-литовской шляхты, которая жила въ сторонѣ отъ большихъ проѣзжихъ дорогъ міровой политики. Это былъ уголокъ, въ которомъ еще все дышало Польшей. „Этотъ край, счастливый, убогій и тѣсный, такъ онъ былъ нашъ, какъ міръ—Божій. Какъ тамъ все принадлежало намъ, какъ мы помнимъ все, что окружало насъ: отъ липы, которая своей великолѣпной кроной давала тѣнь дѣтямъ со всей деревни, до каждаго ручья и камня... Какъ былъ знакомъ каждый уголочекъ земли, по самую границу, до сосѣдскихъ домовъ! А если иногда и появлялся русскій (москаль), въ памяти у насъ оставалось только то, что онъ былъ въ блестящемъ красивомъ мундирѣ: вѣдь змѣю мы знали тогда только по шкурѣ. И вѣрными друзьями, единственными до сихъ поръ надежными союзниками остались только граждане этого края! Да и кто тамъ жилъ? Мать, братья, родные, добрые сосѣди... Когда кто-нибудь изъ нихъ уходилъ въ вѣчность, съ какимъ чувствомъ говорили тамъ о немъ! Сколько воспоминаній, какъ долго жалѣли въ этой странѣ, гдѣ слуга крѣпче привязывается къ господину, чѣмъ въ другихъ краяхъ жена къ мужу, гдѣ воинъ долше жалѣетъ о своемъ оружіи, нежели здѣсь сынъ объ отцѣ, о собакахъ плачутъ искреннѣе и долше, чѣмъ здѣсь народъ о своемъ гербѣ“. И эти слова написаны въ шумномъ Парижѣ; въ нихъ

чувствуются слезы. Такъ думать Мицкевичъ о своей милой Литвѣ, съ такими впечатлѣніями онъ росъ. Не важно, что они, можетъ-быть, не совсѣмъ совпадали съ дѣйствительностью; во всякомъ случаѣ, они бросаютъ яркій свѣтъ на дѣтскія переживанія поэта въ ту пору, когда душа особенно жадно набирается впечатлѣній на всю жизнь.

Эти впечатлѣнія, вынесенныя Мицкевичемъ изъ его дѣтства, сводятся къ образамъ тихой, разумной сосредоточенности. Здѣсь, казалось ему, нѣтъ болтливой суетливости, погони за эффектами, игры тщеславія. Жизнь, близкая къ природѣ, шляхта, сохранившая большую душевную близость къ народу, большую преданность къ старымъ завѣтамъ, церкви, Польшѣ. Это мирныя картины. Въ Швейцаріи яркія краски озеръ томили Мицкевича, и съ особенной тоской онъ вспоминалъ о литовскихъ лѣсахъ, гдѣ можно лечь и заснуть въ любомъ мѣстѣ: такъ спокойно здѣсь, такъ отдыхаютъ нервы. Друзья Мицкевича въ своихъ воспоминаніяхъ дѣтства рисуютъ такія же картины довольства и веселья. Глубокая провинція, въ сторонѣ отъ широкихъ политическихъ интересовъ, жила собственной жизнью. Благодаря созданію громаднаго хлѣбнаго экспорта черезъ Одессу и нѣсколькимъ урожайнымъ годамъ въ началѣ XIX вѣка, матеріальное положеніе литовской шляхты было сносное, тѣмъ болѣе, что Наполеоновскія войны сильно подняли цѣны на хлѣбъ. Одынецъ рассказываетъ о томъ, какъ его нельзя было приготовить къ гимназіи дома, потому что въ домѣ всегда стоялъ дымъ коромысломъ. „Обыкновенно домъ нашъ былъ такъ шуменъ, что въ немъ нельзя было найти спокойнаго уголка для занятій или для учителя. Сосѣдей у насъ было много, и жили они близко и весело: въ ту пору (по причинамъ, о которыхъ я сейчасъ говорилъ) у нихъ денегъ куры не клевали, и вотъ наши сосѣди, по большей части связанные между собой узами родства или тѣсной дружбы, развлекались, кто какъ могъ, съѣзжались почти ежедневно въ томъ или другомъ домѣ и—увы! приходится добавить,— съ азартомъ предавались карточной игрѣ, чаще всего штоссу, фараону“ и т. д. Такъ жили богатые люди. Менѣе зажиточные, какъ напр. дѣдъ Ходзьки, конечно, жили скромнѣе: „Нѣсколько крестьянскихъ хатъ и небольшое количество земли составляли все имущество дѣда; съ этимъ крошечнымъ имѣніемъ онъ былъ счастливъ и другихъ дѣлалъ счастливыми“. Водились у него и деньжонки. „О, я хорошо помню этотъ окованный сундучокъ, сто-

явшій въ темномъ уголкѣ спальни: изъ него часто перепали мнѣ талеры и золотые“, говоритъ Ходзько. И оба мемуариста сходятся въ характеристикѣ тогдашней Литвы. „Почва была плодородна, крестьянинъ зажиточенъ, мелкопомѣстная шляхта еще свободолюбива и своевольна, въ помѣщичьихъ домахъ господствовало искреннее веселое гостепрѣимство... Стѣзды, охоты, шумные карнавалы, а на Великомъ посту покаянныя службы въ приходскомъ костелѣ, зачастую ярмарки, въ судахъ кляузничество другъ на друга, а за столомъ во время пирушекъ *kočajmy się*“. Такова была среда, въ которой провелъ свои дѣтскіе годы Мицкевичъ.

Можетъ-быть, дѣйствительность мало отвѣчала тѣмъ идиллическимъ картинамъ, которыя сохранились въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ Мицкевича, Одынца, Ходзьки, и сами они, ставъ студентами и филаретами, иначе относились къ ней. Обличительная литература начала XIX вѣка бичевала невѣжество, разгуль и лѣнь шляхты, угнетеніе крестьянъ, отсутствіе гражданскихъ чувствъ. Въ прекрасной книгѣ І. Бѣлинскаго „Шубравцы въ Вильнѣ“ (1910) мы видимъ иную дѣйствительность, чѣмъ ту, которой такъ восхищались мемуаристы. Но важно, что они сходятся съ Мицкевичемъ въ отношеніи къ ней, рисуя тѣ настроенія, которыя въ затишьѣ Бѣлоруссіи переживали въ своемъ дѣтствѣ будущіе дѣятели 30-хъ годовъ, и въ ихъ числѣ Мицкевичъ.

Поэтъ не былъ знатнаго происхожденія. Въ одной изъ пѣсенъ „Пана Тадеуша“ (IV) мелкая шляхта, расчванившись своимъ происхожденіемъ, принялась производить себя отъ князей. „Я-то изъ князей,—закричалъ Юраха.—Спрашивать у меня дипломъ, когда я сталъ дворяниномъ? Одинъ Богъ это знаетъ. Пусть-ка москаль пойдетъ въ лѣсъ да спроситъ у дуба, кто ему далъ патентъ на право расти выше всѣхъ кустовъ?“¹⁾ „Князь,—сказалъ Жагель,—сіяй, пожалуйста, кому иному, а здѣсь-то найдешь ми-тры (знакъ княжескаго происхожденія въ гербѣ) не въ одномъ домѣ.“ — „А у васъ крестъ въ гербѣ,—закричалъ Подгайскій,—это скрытый намекъ, что въ родѣ былъ новообращенный.“ — „Не-правда,—прервалъ его Бирбашъ,—вѣдь я же изъ татарскихъ графовъ, а кресты у меня надъ гербомъ Кораблей.“ — „Пораи!—крик-

1) Отъ самого Мицкевича на русской службѣ въ Москвѣ добивались этого диплома, но въ формулярномъ спискѣ его указано, что этого диплома онъ не представилъ.

нулъ Мицкевичъ:—съ митрою на золотомъ полѣ, княжескій гербъ, Стрыйковскій массу (gesto) пишеть объ этомъ!“ Такъ въ шутильной формѣ, равняя себя съ другими мелкопомѣстными дворянами, Мицкевичъ упомянулъ о своемъ гербѣ и происхожденіи, какъ вычиталъ это въ хроникѣ Стрыйковскаго, съ которой въ ту пору былъ уже хорошо знакомъ. Вотъ и все! Сыну поэта, Владиславу, написавшему „Житіе Адама Мицкевича“, этого показалось мало, и онъ не безъ спеси прибавляетъ: „Видно, захудалый родъ Мицкевичей сохранилъ традиціи о лучшихъ временахъ“. Это совершенная фантазія. Мицкевичъ никогда не кичился своимъ родомъ да и въ традиціяхъ была память только о честныхъ, рабочихъ людяхъ. Отецъ поэта (род. 1765) получилъ образованіе уже въ реформированной школѣ, въ Новогрудкѣ, у доминиканцевъ, и поступилъ на службу, а потомъ сдѣлался адвокатомъ; въ девятыхъ годахъ онъ женился на Варварѣ Маевской, дочери минскаго чиновника, тоже совсѣмъ незнатной и небогатой дѣвушкѣ. Въ 1796 году родился первый сынъ Францискъ, 24 декабря 1798 года—второй, Адамъ. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя отецъ получилъ небольшое наслѣдство послѣ своего дяди, фольваркъ Заосье, лежащій неподалеку отъ Новогрудка. Сюда и переселилась семья адвоката. Въ польской семьѣ любятъ и берегутъ дѣтей, какъ будущихъ хранителей народнаго достоинства; того грубаго отношенія къ нимъ, которое такъ обычно въ русскомъ быту, не встрѣтишь въ польской семьѣ. И Мицкевичъ вспоминаетъ о своемъ дѣтствѣ, какъ о годахъ безоблачнаго счастья. Хозяйство вела мать, отецъ только наѣзжалъ изъ города, гдѣ его удерживали дѣла. Въ Заосьѣ было нѣсколько мелкихъ дворянскихъ усадебъ, и дѣти жили веселой гурьбой, очень близко соприкасаясь съ дворней и крестьянами и набираясь настоящаго народнаго духа, котораго не вобрали въ себя еще дѣтми ни Словацкій, ни Красинскій. И поэзія народа рано охватила будущаго поэта-пророка. Много лѣтъ спустя, въ Парижѣ, во время лекцій въ Collège de France Мицкевичъ вдругъ унесся въ Литву и заговорилъ: „Ни у одного народа нѣтъ такихъ фантастическихъ, удивительныхъ и роскошныхъ сказокъ, можетъ-быть, нигдѣ нѣтъ и такихъ внимательныхъ слушателей, какъ тѣ, что окружаютъ бѣднаго мужичка, когда онъ въ своей хатѣ рассказываетъ сказку“. Видно, далекія воспоминанія нахлынули на поэта. Лакей Власъ (Włazej), съ своей стороны, сообщилъ мальчику много нужныхъ и важныхъ

подробностей о всякой нечистой силѣ, о фармазонахъ и ихъ договорахъ съ чортомъ.

Но вотъ Адаму пошелъ восьмой годъ. Пора было учить его. Осенью 1807 года мальчика отдали въ ту самую школу, которую окончилъ отецъ, къ отцамъ доминиканцамъ, которые вели обученіе въ уѣздной школѣ по программѣ, установленной Виленскимъ учебнымъ округомъ, и въ строгомъ подчиненіи ему. Программа была очень широка: она охватывала, кромѣ языковъ польскаго, русскаго, латинскаго и западныхъ, математику, естествовѣдніе, исторію и даже начатки технологіи. Образование давалось широкое, не слишкомъ основательное, но не забивающее ума и самостоятельности мысли, а школьный режимъ не убивалъ души. Въ этомъ отношеніи польская школа стояла на большой высотѣ, и питомцы ея съ глубокой благодарностью отзываются о томъ духѣ сердечности и вниманія, который господствовалъ въ школѣ, не только въ какомъ-нибудь привилегированномъ Кременецкомъ лицей, на которомъ были сосредоточены усилія Чацкаго и его друзей, но и въ уѣздной школѣ такой глуши, какъ Новогрудокъ.

Лѣтъ двадцать спустя послѣ Мицкевича, около 1830 года, въ такую же школу, тоже содержимую доминиканцами, но только въ Несвижѣ, поступилъ другой литовскій поэтъ, Кондратовичъ-Сырокомля. Въ его воспоминаніяхъ, легшихъ въ основаніе разсказа о „Школьномъ времени“ (Szkolne czasy), слышится глубокое чувство признательности и уваженія къ учителямъ. „Нашихъ дѣдовъ хлестали старые іезуиты,—шутливо замѣчаетъ поэтъ,—нашихъ отцовъ сѣкли отцы піары, а мы вкусили базилианской розги или твердой доминиканской дисциплины (линейка). Но пусть за эти розги воздадутъ имъ небеса! Правда, здорово они драли, если бывало за что, но зато и любили они ребятъ сердечно и искренно, истово наставляли ихъ въ наукѣ и вѣрѣ и строго блюли погос; не одного человѣка дала нашему краю ихъ внимательная опека“. И объ отдѣльныхъ учителяхъ Сырокомля вспоминаетъ съ большой любовью. Такъ, ксендзь-префектъ (законучитель) „плылъ по коридору, какъ легкій вѣтерокъ. Рѣчи его были кротки; онѣ не грозили и не пугали, одна морщинка на его челѣ уже была наказаніемъ для насъ. Но когда приходилось прибѣгнуть къ болѣе суровой карѣ, тогда добрый профессоръ превращался въ гранитную скалу и каралъ торжественно, не обращая вниманія на мольбы, съ нахмуреннымъ лицомъ, но все-

таки безъ гнѣва: въ его большомъ сердцѣ равно господствовали любовь и справедливость. Онъ умѣлъ взглянуть суровымъ или ласковымъ взоромъ; любовь была его чувствомъ, а обязанности—закономъ“. Много ли школьныхъ воспоминаній написано въ такомъ тонѣ и есть ли, вообще, подобныя въ русской литературѣ. По словамъ другого мемуариста, пріятеля Мицкевича, Одынца, „духовныя школы доставляли Виленскому университету, обыкновенно, самыхъ добросовѣстныхъ и нравственныхъ студентовъ, и даже то чистое, возвышенное, эстетическое направленіе, которое создано въ этомъ университетѣ, получило свое начало отъ студентовъ, вышедшихъ изъ этихъ школъ“. То, что было особенно цѣнно въ системѣ литовскихъ педагоговъ, заключалось въ уваженіи къ человѣческой личности ученика. Чувство любви къ родинѣ и сознаніе своего долга служить ей несли на студенческую скамью всѣ тѣ десятки молодыхъ людей, которые создали въ двадцатыхъ годахъ организаціи филоматовъ, филаретовъ и родственныя имъ сообщества молодежи въ среднихъ школахъ Виленскаго округа.

Такой же духъ господствовалъ и въ Новоградской доминиканской школѣ, гдѣ учился Мицкевичъ. Мы знаемъ о ней нѣкоторыя подробности, бросающія яркій свѣтъ на среду, въ которой онъ воспитывался. Здѣсь существовали ученическіе суды, въ компетенцію которыхъ входило разбирательство дѣлъ между учениками; не разъ обращались къ нимъ и мѣстные евреи, принося жалобы на того или другого изъ учениковъ. Сохранилось преданіе, что не разъ предсѣдательствовалъ на такомъ разбирательствѣ дѣлъ и Адамъ Мицкевичъ. Нечего и говорить, что школьный театръ, какъ традиція прошлыхъ вѣковъ, хранился и у новоградскихъ доминиканцевъ. Ставились популярныя высокія произведенія. О сценическихъ способностяхъ и стремленіяхъ Мицкевича у насъ нѣтъ достовѣрныхъ данныхъ: сохранилась легенда, будто бы онъ игралъ одну изъ главныхъ ролей въ патріотической трагедіи Фелинскаго „Варвара Радзивиллъ“, но едва ли это вѣроятно. Трагедія Фелинскаго была закончена въ 1811 году, но получила извѣстность лишь въ 1815 году, а была поставлена на сценѣ 23 февр. 1817 года. Между тѣмъ Мицкевичъ окончилъ курсъ средней школы въ 1814 году. Да и мало вѣроятно само по себѣ, чтобы человѣкъ, до такой степени искренній и не способный притворяться, какимъ былъ поэтъ, могъ обладать актерскими дарованіями или даже склонностью къ сценѣ. Въ дѣтскихъ воспо-

минаніяхъ Мицкевича встають другія картины, болѣе свойственныя его духу и возрасту. Изъ разсказовъ брата поэта, Франциска Мицкевича, мы узнаемъ о любопытной затѣѣ доминиканцевъ: изъ учениковъ школы образовать потѣшное войско. „Такъ какъ полиція, военное начальство и чиновники не препятствовали этой забавѣ, то префектъ школы, кс. Рокицкій, рѣшилъ лучше снарядить этотъ дѣтскій корпусъ и прежде всего обмундировать. Матери, сестры и родственницы шили съ несказаннымъ удовольствіемъ мундиры для этихъ солдатъ“. Нетрудно понять, почему къ этой дѣтской забавѣ взрослые относились такъ серьезно: вѣдь въ Княжествѣ Варшавскомъ уже существовало съ 1807 года собственное войско, вѣдь надеждой на соединеніе съ Польшей жило литовское дворянство. И хоть фикцію собственного войска хотѣлось имѣть пока! Вотъ что разсказываетъ вслѣдъ за приведенными строками Францискъ Мицкевичъ: „Первый смотръ этимъ школьнымъ батальонамъ былъ произведенъ 3 мая 1810 года. Обыкновенно знамена хранились въ костелъ, а (деревянное) вооруженіе и барабаны находились подъ ключомъ въ школѣ. Молодежь съ такимъ жаромъ отнеслась къ этимъ военнымъ упражненіямъ, что не было больше и рѣчи ни о какомъ разгулѣ, и командиры русскихъ полковъ, проходившихъ черезъ городъ, не могли нахвалиться на военную выправку и ловкость учениковъ. Русскія власти не предвидѣли, что при тогдашнемъ возбужденномъ настроеніи общества эта невинная забава можетъ привести къ серьезнымъ послѣдствіямъ“. Такъ оно скоро и случилось: между небольшимъ русскимъ отрядомъ и школьнымъ батальономъ произошло недоразумѣніе, въ результатѣ котораго пришлось уничтожить ученическую армію. Адаму Мицкевичу было въ то время 11 лѣтъ. Въ этомъ возрастѣ впечатлѣнія глубоко залегаютъ на дно души и, не всегда отчетливыя, не всегда сознательныя, подготавливаютъ настроенія жизни. Въ воспоминаніяхъ поэта эти военные игры переплетаются съ первыми увлеченіями книгой. Герой IV части „Дѣдовъ“, Густавъ, вспоминаетъ домъ учителя и дѣтскія радости. „А сколько воспоминаній связано съ твоимъ домикомъ, со школой! Здѣсь, на дворѣ, я пересыпалъ съ дѣтьми песокъ, за птичьими гнѣздами мы бѣгали вонъ въ тотъ лѣсокъ, купались въ рѣчкѣ, протекающей подъ окнами, на полѣ играли въ пятнашки съ учениками. А вотъ въ ту рошу я ходилъ вечеромъ или на разсвѣтѣ навѣстить Гомера, побесѣдовать съ Тассо или кинуть

взглядъ на побѣду Яна подъ Вѣной. А потомъ вдругъ соберу товарищей, выстрою ихъ у лѣса: здѣсь, среди тучъ язычниковъ, сверкають кровавыя луны, тамъ наступаютъ роты потревоженныхъ нѣмцевъ. Я приказываю укротить вождей, сложить копья, бросаюсь впередъ, а за мной молніи польскихъ сабель. Рѣдѣють тучи, подымается страшный крикъ, градомъ сыплются тюрбаны и отрубленные головы! Толпа янычаръ разсыпалась въ разныя стороны или низвергнута наземь; копыта коней разможили всадниковъ, сбитыхъ съ лошадей. Мы расчищаемъ дорогу къ валу: валомъ былъ этотъ холмикъ!“ Здѣсь, несомнѣнно, раннія воспоминанія сочетаются съ болѣе поздними, но такъ, что получается одна пестрая картина, связанная единствомъ настроенія. Какое это было настроеніе? Несомнѣнно, мечтательное и восторженное, жажда подвиговъ и славы, стремленіе къ патриотическому героизму.

Въ домѣ Мицкевичей господствовало настроеніе, далеко не примирительное по отношенію къ русской власти. Въ драгоценныхъ мемуарахъ Франциска Мицкевича, использованныхъ его племянникомъ въ „Житіи Адама Мицкевича“, разбросаны подробности, которыя характеризуютъ отца поэта, Николая, какъ чловѣка, сильно скомпрометированнаго въ глазахъ правительства. Жена Николая Мицкевича должна была прятать въ нужныхъ случаяхъ опасныя бумажки. „Не разъ уже въ башмакѣ ея лежали такія вещи, которыя могли грозить намъ кнутами“, говорилъ онъ самъ старшему сыну. Само собой разумѣется, что съ именемъ Наполеона въ этомъ домѣ связывались пламенные надежды. Николай Мицкевичъ когда-то собиралъ средства для повстанцевъ Костюшки, и теперь ему иногда приходилось молчать въ правыхъ дѣлахъ, чтобы это участіе его въ послѣднемъ актѣ трагедіи раздѣловъ не всплыло наружу. Онъ радовался, „что Наполеонъ всюду побѣждаетъ, и замолкалъ“. *Les bulletins de la Grande Armée* доходили и до Литвы; въ домѣ Мицкевичей они перечитывались и комментировались. Въ слѣдующей главѣ я остановлюсь на литовскихъ настроеніяхъ въ 1812 году. Здѣсь я сосредоточусь на семьѣ Мицкевичей, которая вся, отъ отца и матери до младшихъ дѣтей, ждала появленія наполеоновскихъ войскъ, какъ прихода Мессіи. Въ безсмертномъ описаніи „Пана Тадеуша“ мы видимъ, какое впечатлѣніе на массы производило появленіе вмѣстѣ съ арміей Наполеона польскихъ войскъ, ихъ блестя-

щіе мундиры, родная рѣчь, имена ихъ полководцевъ, памятные еще со временъ Костюшки. Поэтъ воспѣлъ весну 1812 года въ своей поэмѣ. „О, весна, памятная тѣмъ, кому привелось тебя пережить тогда въ нашемъ краѣ, весна войны, весна урожая. О, весна, памятная тѣмъ, кто видѣлъ, какъ ты цвѣла хлѣбомъ и травами, какъ ты сверкала людьми, какъ ты была полна событій, какъ чревата надеждой! Я вижу тебя до сихъ поръ, о прекрасная греза сна! Рожденный въ неволѣ, повитый въ оковы, лишь одну такую весну я пережилъ въ своей жизни“. Между тѣмъ это была весна семейнаго горя въ домѣ Мицкевичей: 16 мая 1812 года отецъ поэта умеръ, оставивъ семьѣ домикъ, фольваркъ и кое-какія сбереженія. Средства были скудныя, но жить на нихъ все-таки было можно. Въ іюлѣ того же года въ Новогрудокъ вошли наполеоновскія войска, подъ предводительствомъ короля вестфальскаго, Іеронима Бонапарте. Передъ тѣмъ изъ города выступили русскіе. Одинъ изъ поклонниковъ поэта сохранилъ его рассказъ объ этомъ событіи: „Я стоялъ на улицѣ, смотрѣлъ на вступавшее польское войско и отъ радости плакалъ, а другіе подумали, что я оплакиваю москалей, и этотъ упрекъ сильно меня оскорбилъ, и я долго-долго не могъ забыть его“. Сохранилъ Мицкевичъ и другое воспоминаніе: въ ихъ домѣ была отведена квартира для Іеронима Бонапарте; мальчикъ забрался въ садъ и видѣлъ, какъ прошелъ король. Много лѣтъ спустя онъ встрѣтился съ нимъ въ Парижѣ и вспомнилъ былое.

Такъ чувствовалъ этотъ мальчикъ въ 13 лѣтъ, когда большинство живетъ еще совсѣмъ ребяческой жизнью. Но событія были такъ значительны, настроеніе взрослыхъ такъ приподнято и самое воспитаніе въ школѣ и дома такъ полно идей патріотизма, что молодое поколѣніе должно было созрѣть и опредѣлиться раньше обыкновеннаго. Такъ ли быстро шло умственное развитіе Мицкевича? Едва ли. Въ семьѣ самымъ даровитымъ считали не его, а старшаго брата, рано умершаго. И учился поэтъ вовсе не особенно хорошо. Правда, братъ его Францискъ въ своихъ воспоминаніяхъ, писанныхъ тогда, когда Адамъ сталъ уже знаменитостью, говорилъ въ панегирическомъ тонѣ объ успѣхахъ своихъ и Адамовыхъ въ ученіи: „Учатся они все лучше, каждый годъ переходятъ въ слѣдующіе классы, учителя ихъ хвалятъ, ставятъ въ примѣръ другимъ ученикамъ, послѣ экзаменовъ они получаютъ въ награду книги или похвальные листы“. Но самъ Францискъ

ссылается только на 1808 годъ, т.-е. когда Адамъ былъ едва во второмъ классѣ, а документы, изученные П. Хмѣлевскимъ, рисуютъ нѣсколько иную картину: онъ учится удовлетворительно и только тамъ и сямъ за всѣ шесть лѣтъ ученія появляется пометка: „Отлично“. Но при этомъ, какъ справедливо отмѣчаетъ Хмѣлевскій, эти отмѣтки не обнаруживаютъ въ мальчикѣ никакого особаго интереса къ той или другой наукѣ: то онъ успѣваетъ особенно по алгебрѣ, то оказываетъ выдающіеся успѣхи въ физикѣ или латинскомъ языкѣ. Видимо, не гоняясь за баллами, Мицкевичъ учился добросовѣстно, но стремленіе къ знанію у него еще не было пробуждено, и онъ даже въ двухъ классахъ, третьемъ и пятомъ, оставался на два года.

И дипломъ, выданный ему при окончаніи курса въ школѣ, давалъ весьма сдержанный отзывъ не только объ успѣхахъ, но даже о поведеніи Адама. Въ трафаретныхъ выраженіяхъ здѣсь было указано, что онъ „всѣми науками занимался примѣрно и не совершилъ ничего противнаго нравственности, а, напротивъ, отличался благочестіемъ и непорочною нравовъ“. Однако, вѣроятно, такого же рода свидѣтельства получили и всѣ товарищи Мицкевича, окончившіе курсъ одновременно съ нимъ.

Не много фактовъ, относящихся къ пробужденію умственной жизни у мальчика, сохранила намъ семейная хроника Мицкевичей, и уже это представляетъ одно изъ доказательствъ, что Адамъ вовсе не былъ какимъ-то Wunderkind'омъ. Напротивъ, на лонѣ природы, среди людей простыхъ и добродушныхъ, въ средѣ большой и дружной семьи братьевъ и товарищей, мальчикъ развивался ровно и спокойно, подчиняясь еще долго общему уровню нравственныхъ стремленій и умственныхъ интересовъ. Судьба дала ему возможность близко присмотрѣться къ быту народа. Какъ писалъ въ 1872 году другъ Мицкевича, Игнатій Домейко, самъ уроженецъ Новогрудскаго уѣзда, поэтъ „съ самыхъ раннихъ лѣтъ хорошо узналъ нашъ литовскій (т.-е. бѣлорусскій) людъ, полюбилъ его нѣсни, проникся его духомъ и поэзіей. Конечно этому содѣйствовало въ значительной степени и то, что маленькій городокъ Новогрудокъ немногимъ отличался отъ деревень и хуторовъ. Школьная жизнь была, въ сущности, деревенской. Дѣти приглядывались къ ярмаркамъ, базарамъ, масляничнымъ гуляньямъ, бывали на крестьянскихъ свадьбахъ, дожинкахъ и похоронахъ“. Эти слова пріобрѣтаютъ особое

значеніе, если мы вспомнимъ, что Домейко—лучшій другъ Мицкевича съ университетской скамьи и что въ созданіи „Пана Тадеуша“ въ Парижѣ ему принадлежитъ видное участіе. Но онъ познакомился съ Мицкевичемъ уже тогда, когда гениальный полетъ души Адама уже чувствовался всеми его товарищами; ученикомъ доминиканской школы онъ не зналъ Мицкевича, и едва ли онъ правъ, перенося на отроческіе годы поэта его превосходство и гениальность, которыя, по его словамъ, не позволяли товарищамъ подходить къ нему съ полной довѣрчивостью. Скорѣе, сдержанность, сосредоточенность мальчика нѣсколько отдѣляли его отъ товарищей, хотя и это не отразилось въ воспоминаніяхъ его сверстниковъ. Ближайшій пріятель Мицкевича въ Новогрудской школѣ, Янъ Чечоть, привлекалъ къ себѣ товарищей доступностью и мягкосердечіемъ; по отношенію къ Адаму у него, дѣйствительно, было какое-то сознаніе своей низшести, и въ одномъ недавно напечатанномъ письмѣ (въ декабрѣ 1819 года) поэтъ пишетъ ему: „Твой страхъ происходитъ отъ какого-то фальшиваго, давно уже замѣченнаго мною въ тебѣ убѣжденія о моемъ какомъ-то превосходствѣ“. Но вѣдь въ дружбѣ, какъ сказалъ еще Лермонтовъ, одинъ всегда подчиняетъ себѣ другого, и судить по отношеніямъ между Мицкевичемъ и Чечотомъ, вообще, о положеніи Адама въ школѣ нельзя. Несомнѣнно, много преувеличеній въ рассказахъ объ отроческихъ годахъ поэта въ нашихъ главныхъ источникахъ объ этой эпохѣ его жизни, мемуарахъ Франциска Мицкевича и Игн. Домейки.

Сохранился еще рассказъ о какой-то чудесной черной собакѣ, которая въ 1812 году зимою неожиданно появилась въ осиротѣвшемъ послѣ смерти отца домѣ Мицкевичей. „Въ эту страшную зиму въ окрестности и въ городѣ каждую ночь происходили нападенія и разбои. Въ это время,—разсказываетъ, вѣроятно, со словъ отца его дочь, Марія Горецкая,—неожиданно появилась большая черная собака, точно нарочно посланная сторожить домъ. Прибрела она неизвѣстно откуда и принялась самымъ усерднымъ образомъ охранять домъ. Цѣлую ночь, лежа на снѣгу, она была на стражѣ, а въ домъ никто не могъ зазвать ее. Одна только наша бабушка (т.-е. мать Адама Мицкевича) пользовалась ея любовью, и когда она выходила поласкать собаку, ей удавалось иногда заманить ее въ домъ и покормить изъ своихъ рукъ; но, торопливо поѣвъ, она опять выходила на дворъ и опять стано-

вилась на стражу. Такъ прошла зима, а когда наступили прекрасные весенніе дни и все успокоилось, собака пропала такъ же таинственно, какъ появилась, оставивъ надолго въ памяти дѣтей воспоминанія точно о какой-то легендѣ“. Нетрудно догадаться, что съ мистическимъ ужасомъ дѣти да и вся семья видѣли въ этой черной собакѣ матеріализацію духа покойнаго Николая Мицкевича, недавно умершаго и приходившаго сторожить своихъ дѣтей отъ враговъ; не даромъ только изъ рукъ покойной жены Николая Мицкевича эта таинственная собака принимала пищу. Въ „Дѣдахъ“, въ автобіографическихъ подробностяхъ поэмы сохранилась память о вѣрной собакѣ Воронѣ, оставшейся вѣрной, когда разбѣжались всѣ слуги брошеннаго дома. Домъ грабятъ, какъ грабили мародеры въ 1812 году, и только песъ, „хоть изморенный голодомъ и согнутый отъ лѣтъ, стережетъ ворота безъ замка и хаты безъ хозяевъ“. Впослѣдствіи поэтъ самъ подсмѣивался надъ своимъ суевѣрнымъ страхомъ и написалъ шутовское стихотвореніе о двухъ храбрыхъ пріятеляхъ, спрятавшихся въ ровъ при видѣ таинственной черной собаки: „Это песъ или бѣсъ?“ Но что въ его душу крѣпко залегли эти дѣтскія воспоминанія, свидѣтельствуесть поздняя дата разсказа М. Горецкой. Очевидно, большое воображеніе было у мальчика.

Когда же онъ сталъ пробовать свои силы на поприщѣ поэзіи? По свидѣтельству Фр. Мицкевича, это произошло въ 1810 году, когда Адаму было 12 лѣтъ. Въ Новогрудкѣ произошелъ страшный пожаръ, и тогда, „проникнутый состраданіемъ, онъ сочинилъ оду о пожарѣ и, удачно обрисовавъ въ ней несчастія жителей и переполохъ въ городѣ, не замедлилъ сатирически описать Павлоградскій гусарскій полкъ, стоявшій тогда въ Новогрудкѣ, а также грабежи славной городской полиціи, находившейся подъ начальствомъ ненавистнаго Гресевицкаго, бывшаго суворовскаго камердинера, а теперь отставнаго подполковника, и продѣлки другихъ чиновниковъ, которые даже въ пору величайшихъ несчастій не забываютъ объ умноженіи собственнаго достоянія“. Итакъ, Мицкевичъ началъ съ оды и свой гнѣвъ обратилъ именно противъ русскихъ обидъ: и то, и другое очень характерно для него. Ода была, конечно, написана въ классическомъ духѣ. Новыя вѣянія, сентиментальное и романтическое, дошли до поэта позже, только въ университетѣ. Но страсть къ сложенію стиховъ обуревала его уже тогда и, воспользовавшись польскимъ прозаическимъ

переводомъ одного романа („Нума Помпиль“ Флоріана), онъ принялся перекладывать его на стихи. Изъ разныхъ мѣстъ романа воспоминанія поэта сохранили два двустихія, еще неумѣлыя, забавныя попытки римоплетства. Два героя, Леонъ и Помпиль, устраиваютъ поединокъ.

„Jak na dnie studni dwa zjadliwe węże“,
„Na wierzchu skały dwaj waleczni męże...“,

говорить поэтъ (Какъ на днѣ колодца два ядовитые змѣя, такъ на верху скалы два воинственные мужа). Высокимъ идеаломъ былъ для него въ эту пору и еще надолго остался таковымъ поэтъ конца XVIII вѣка Трембецкій, одинъ изъ лучшихъ стилистовъ эпохи Станислава Понятовскаго.

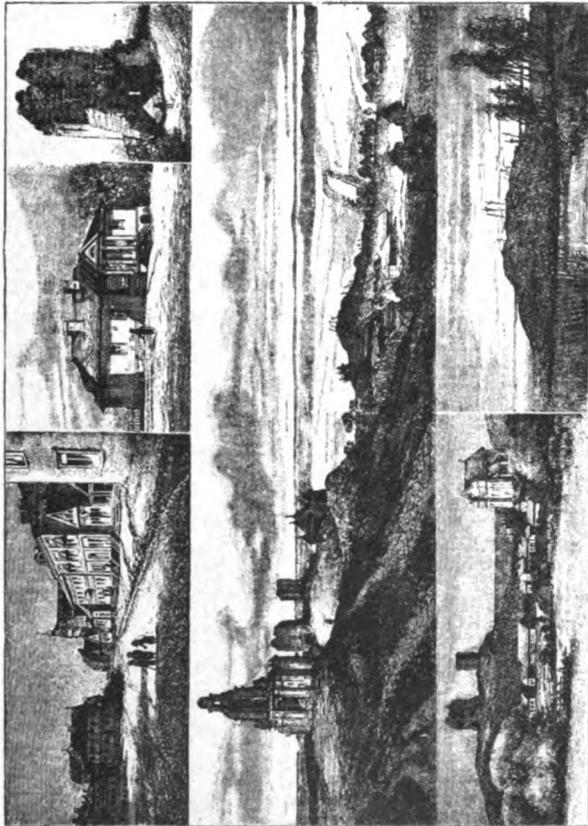
Если сравнить юнаго Мицкевича съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ въ томъ же возрастѣ, то передъ нами предстанетъ образъ свѣжаго деревенскаго юноши, еще неизвѣдавшаго никакихъ страстей, еще не пережившаго первыхъ религіозныхъ сомнѣній. Пушкинъ, молодой „литераторъ“ въ 14-15 лѣтъ, замѣченный и благословенный Державинымъ, поклонникъ Парни, или Лермонтовъ, который въ 15 лѣтъ рисовалъ свой портретъ: „Онъ не красивъ, онъ не высокъ, но взоръ горитъ, любовь сулитъ и на челѣ оставилъ рокъ средь юныхъ дней печаль страстей“... Какая пропасть между этими свѣтскими, уже много испытанными юношами и молодымъ застѣнчивымъ шляхтичемъ, не видавшимъ ничего лучшаго, нежели родной Новогрудокъ. Но у Мицкевича было уже нѣчто такое, чего не знали въ эту пору ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ: это было живое горячее чувство любви къ родинѣ, обиды и страданія за нее. И связь съ родной землей укрѣпилась уже сильно въ душѣ молодого поэта когда, покинувъ Новогрудокъ, въ концѣ лѣта 1815 года Адамъ Мицкевичъ поѣхалъ въ Вильну, ослѣпившую его сразу своей роскошью и утонченностью! Новая жизнь раскрывалась передъ наивными глазами юнаго поэта.

Г Л А В А П.

Настроєнія въ Польшѣ и Литвѣ въ началѣ XIX вѣка.

Первые шаги Мицкевича на поприщѣ литературы и общественной дѣятельности становятся понятны лишь на общемъ фонѣ его эпохи. Дать ея характеристику, хотя бы въ самомъ краткомъ видѣ, опредѣлить господствовавшія въ польскомъ обществѣ въ началѣ XIX вѣка настроєнія необходимо для пониманія студенческихъ лѣтъ Мицкевича. Къ нимъ и приходится обратиться въ этой главѣ, начавъ поневолѣ издалека, отъ того громового удара, который поразилъ Рѣчь Посполитую въ концѣ XVIII вѣка. Поколѣнью четырехлѣтняго сейма не удалось спасти родину политически, но оно спасло польскій народъ отъ національной гибели. Оцѣнивая событія перваго раздѣла, маститый историкъ послѣднихъ десятилѣтій Рѣчи Посполитой, Т. Корзонъ говоритъ слѣдующее: „Среди народовъ Европы, мыслящихъ, трудящихся, воюющихъ, собирающихъ сотни милліоновъ въ государственной казнѣ, высылающихъ сотни тысячъ воиновъ на поле брани, Польша не обладала народомъ вовсе: ни польскимъ, ни даже шляхетскимъ. Просто она насчитывала около 11 милліоновъ двурукыхъ организмовъ, не имѣющихъ никакого представленія о Рѣчи Посполитой, да приблизительно полъ-милліона интеллигенціи, которая быстро разлагалась. Съ той минуты, когда сосѣди взвѣсили на вѣсахъ политическаго равновѣсія приходящуюся на долю каждаго часть добычи, упадокъ Польши сдѣлался неизбѣжнымъ и неотвратимымъ фактомъ. Въ 1772 году три двора могли бы раздѣлить между собой всю Польшу, какъ и грозили господа посланники въ Варшавѣ. И тогда наступила бы полная гибель, смерть навѣки или, по крайней мѣрѣ, исчезновеніе на нѣсколько вѣковъ польскаго имени и духа“. И въ этотъ годъ, дѣйствительно, одинъ

ВИДЫ НОВОГРУДКА (изъ Мицкевич. альбома).



Рынокъ съ южной стороны.

Замковая гора, башни и церкви.

Замковая гора и католич. костелъ.

Дождь Мицкевичей. Средняя башня на замковой горе.

Гора Мендовга и прихолское кладбище.

шляхтичъ заносить съ спокойствіемъ отчаянія слѣдующія слова въ свой дневникъ: „Еще ни отъ кого мнѣ не приходилось слышать о готовности пролить свою кровь или пожертвовать для родины своими средствами; повсюду слышишь только одно: лучше навѣки остаться въ подчиненіи, чѣмъ вести войну нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ“. И все-таки гибель не наступила. Новыя свободныя вѣянія, приносившіяся съ Запада, освѣжили затхлую шляхетскую атмосферу. Начинается крупный умственный переворотъ; реформируется народное образованіе и подрастаетъ новое поколѣніе, изъ котораго вышли такіе доблестные люди, какъ Коллонтай, Сташицъ, публицисты изъ „кузницы Коллонтая,“ поэтъ Нѣмцевичъ и др. Ихъ усиліями польскій народъ былъ спасенъ. Конституція 3 мая 1791 года ввела новыя взгляды въ общество. Она привлекла къ участию въ государственной жизни такіе классы, которымъ ранѣе идея государства была чужда, и возбудила въ странѣ чувство патріотизма, еще болѣе возбужденное героической, хотя и безплодной, борьбой Костюшки. Результаты этого душевнаго подъема сказались не сразу. Костюшко не произнесъ приписанныхъ ему легендарныхъ словъ: *Finis Poloniae*, но, навѣрное, многіе въ ту пору думали именно такъ. Какъ можно было бороться противъ соединенныхъ силъ трехъ самыхъ воинственныхъ въ то время державъ Европы: Россіи, Австріи и Пруссіи.

Неудача героической попытки Костюшки отбила охоту продолжать вооруженную борьбу, и самые легіоны покинули родину и отдали себя въ распоряженіе Франціи. Въ Варшавѣ крѣпко за-сѣли пруссаки, которые принялись немедленно за свою политику германизации польскихъ земель. Посыпались запрещенія на польскій языкъ, поспѣшно вводили нѣмецкій языкъ въ школы и въ администраціи, торопливо скупали земли у разорившихся пановъ и заселяли ихъ тысячами нѣмецкихъ колонистовъ, искусно поддерживали разгуль и мотовство среди шляхты, чтобы она, разорившись, продавала или отдавала за долги свои имѣнія въ нѣмецкія руки.

Но эта политика наступила уже слишкомъ поздно. Начнись она въ 1772 году, можетъ-быть, дѣло германизации увѣнчалось бы успѣхомъ. Теперь было поздно: во-первыхъ, въ самомъ польскомъ обществѣ было достаточно просвѣщенныхъ и патріотически настроенныхъ людей, чтобы при первой возможности дать отпоръ нечистымъ стремленіямъ Пруссіи, а, во-вторыхъ, на горизонтѣ появи-

лись уже два новыя свѣтила, дружественныя полякамъ: это были Наполеонъ и Александръ. Изъ-за Польши между ними сейчасъ же начинается борьба, которая тянется до самаго паденія Наполеона: то одинъ, то другой увѣряютъ поляковъ въ своей дружбѣ и готовятъ имъ лучшую участь. Оба—невѣрные друзья Польши, оба пользуются ею въ своихъ цѣляхъ, какъ оружіемъ одинъ противъ другого. Но это положеніе между двумя могучими соперниками, положеніе желанной моральной добычи въ рукахъ обоихъ, дѣйствуетъ, какъ лихорадочно возбуждающее средство, на польское общество, вызываетъ въ немъ громадный подъемъ патріотическаго настроенія, призываетъ къ политическимъ интересамъ всякаго, чей кругозоръ выходилъ за границы деревни. А съ другой стороны, уже въ 1800 году, Пруссія почуяла, что ея владычество въ новыхъ Восточно-прусскихъ провинціяхъ заколебалось, и вмѣстѣ съ тѣмъ она пошла на уступки. Къ этому времени въ Варшавѣ постоянно жило много богатыхъ польскихъ семей. Часть ихъ соперничала въ безумной роскоши, часть предавалась разгулу. Такъ, былъ основанъ фешенебельный клубъ, изъ котораго, согласно уставу, никто не имѣлъ права выходить трезвымъ; каждый вечеръ здѣсь перебывали всю посуду; ежедневныя драки съ полиціей вызывали со стороны губернатора только шутливыя замѣчанія и дружескія наставленія молодымъ панамъ, которые поощрялись этимъ къ новымъ подвигамъ. Но не всѣ были таковы. Уже около 1800 года мы узнаемъ о нѣсколькихъ домахъ, гдѣ „говорили исключительно о польскихъ дѣлахъ и на польскомъ языкѣ“, какъ свидѣтельствуетъ историкъ „Общества любителей наукъ“ А. Краусхаръ. Среди этихъ людей и возникла мысль основать названное сейчасъ Общество. Они „хотѣли (по ихъ словамъ) сохранить ненарушимой ту честь, которую пріобрѣла Польша какъ въ болѣе древнія времена, такъ и особенно за сто лѣтъ, начиная съ Сигизмунда I и кончая смертью Замойскаго и Скарги“. Прусское правительство оказалось вынужденнымъ разрѣшить общество, цѣль котораго—распространеніе наукъ въ Польшѣ на польскомъ языкѣ—шла прямо въ разрѣзъ программѣ германизаци. Общество принялось за изученіе родной исторіи, за составленіе польскаго словаря, за поощреніе замершей послѣ третьяго раздѣла польской литературы. Будучи средоточіемъ по преимуществу консервативныхъ, степенныхъ элементовъ, Общество служило оплотомъ классическихъ вкусовъ въ литературѣ, но было доступно и инымъ вѣяніямъ.

Первый интересъ къ романтической литературѣ замѣчается, какъ увидимъ ниже, именно въ его лонѣ. Итакъ, въ самомъ началѣ XIX вѣка польскій народъ имѣлъ уже крѣпость для защиты своей народности. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1803 году, былъ реформированъ Виленскій университетъ, который подъ властью князя Адама Чарторыйскаго сдѣлался культурнымъ центромъ для всей Литвы, а еще черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1807 году, въ маленькомъ волынскомъ городкѣ Кременецѣ устроили лицей, который получилъ такой же характеръ польскаго ученаго центра въ юго-западной Россіи, гдѣ главная масса земли находилась въ рукахъ польскихъ помѣщиковъ. Такъ укрѣпилась польская народность именно въ то время, когда политическое существованіе Польши, казалось, прекратилось.

Впрочемъ, сказать навѣрное этого было нельзя. Вѣдь въ 1807 году было создано почти независимое Варшавское княжество. Правда, по настоянію Александра I, имя поляковъ было исключено изъ официальныхъ документовъ, учреждавшихъ это княжество, но, разумѣется, оно скоро вошло въ жизнь. Польша, хоть и въ маломъ видѣ, хоть и въ новой формѣ, была восстановлена. Опять польскій народъ въ лицѣ своихъ представителей могъ распоряжаться своей судьбой. Сразу были сняты запреты, наложенные на польскій языкъ, и новый государь, саксонскій король Фридрихъ, герцогъ варшавскій, прерывалъ засѣданіе сейма, если ораторъ переходилъ съ польскаго языка на французскій. Развитію народности былъ предоставленъ полный просторъ. Польскій народъ въ княжествѣ Варшавскомъ, въ Литвѣ и Малороссіи чувствовалъ свое единство и стремился къ восстановленію политическаго единства, разрушеннаго вторымъ и третьимъ раздѣлами. Александръ I самъ внушалъ эту надежду съѣхавшимся къ нему въ Пулавы (имѣніе Чарторыйскихъ, теперь посадъ Новая Александрія) представителямъ изъ всѣхъ частей прежней Рѣчи Посполитой. Отсюда—полное единство политическихъ стремленій и культурныхъ интересовъ поляковъ во всѣхъ частяхъ прежней Польши. Крестьянскій вопросъ, поднятый въ княжествѣ Варшавскомъ, переходитъ въ Литву и создаетъ здѣсь воодушевленіе: вотъ главное идейное содержаніе польской литературы начала XIX вѣка.

Эти элементы вступаютъ въ литературу сначала несмѣло и еще прикрываясь обычнымъ космополитическимъ нарядомъ псевдо-

классицизма. Но уже въ элегіяхъ „Польскаго Барда“, написанныхъ молодымъ Адамомъ Чарторыйскимъ въ Гроднѣ вскорѣ послѣ третьяго раздѣла и оставшихся до сороковыхъ годовъ извѣстными только въ рукописи, прорываются такія яркія вспышки чувства, которыя ломали всѣ условности ложноклассической лирики. Когда молодой поэтъ обращается къ Богу съ горькимъ упрекомъ, что Онъ допустилъ гибель Польши, яркая струя пламеннаго патриотизма вливается въ польскую поэзію. Въ литературѣ XVII—XVIII вѣковъ мы не найдемъ ничего подобнаго, и Чарторыйскій началъ новую польскую поэзію, поэзію народной печали. „Польскій Бардъ“ кончается слѣдующими строфами. „Я роняю свои тоскливые годы, блуждая среди чужихъ по непроходимымъ дорогамъ міра! Иногда высоко на небѣ сверкнетъ дѣзда надежды, и я въ своей печали не спускаю съ нея глазъ, чтобы не заблудиться въ пути! Съ благоговѣніемъ я ищу ее во мглѣ и въ бурю я смотрю на небо и на землю: нѣтъ ли гдѣ перемѣны? Не являются ли знаменія новыхъ дней? Когда повсюду господствуетъ насиліе и повсюду издѣваются надъ правдой, можетъ-быть, тамъ, въ тайникахъ природы, старый Хаосъ, врагъ Права, по примѣру людей, пробуждаетъ къ дѣятельности силы мятежа? Можетъ-быть, уже близокъ день суда? Можетъ-быть, уже скоро праведный Господь начнетъ приводить въ исполненіе свой страшный приговоръ? И тогда гордыя вершины упадутъ въ бездны, а смиренныя долины, возвысившись, овладѣютъ горами? Звѣзды устремятся вспять; померкнувъ, разлетятся въ разныя стороны, ничѣмъ не сдержанные, элементы солнца? И будутъ они носиться, бушуютъ въ безконечномъ пространствѣ, безъ остатка уничтожая строй всѣхъ вещей, и изъ страшнаго воловорота образуется новый міръ. Но что я говорю? Ночь тиха, горятъ мириады звѣздъ, а скоро взойдетъ солнце, лучистое, кроткое; слышу запахъ цвѣтовъ; когда придетъ ему пора, созрѣетъ плодъ; зори будутъ горѣть одинаково для добрыхъ и для злыхъ. Не заботясь о своихъ грѣхахъ, о своихъ страданіяхъ, жалкая толпа людей ежедневно хватается за приманку съ одинаковой слѣпотой. Поколѣнія, которымъ нѣтъ числа, рождаются и умираютъ, тонутъ въ наслажденіяхъ, бродятъ въ тинѣ своихъ страстей! О, неизмѣнные пути вѣчнаго, тяжкаго повторенія! Вы смягчаете печали, но вмѣстѣ съ тѣмъ губите надежды. Сотретъ ли съ нашей души коловращеніе вашего вихря боль, память, долгъ? Высушить ли оно слезы на опущенныхъ вѣкахъ, кровь нашей

глубочайшей раны? О, дорогія страданія! О, прекрасный сонъ бы-
лыхъ дней! О, жертвы и волненія, горестныя, но такія желанныя!
Къ чему сердце, лишенное васъ? Не уходите отъ насъ, обвѣйте
насъ святой печалью. Вѣдь и ты страдалъ, о Боже! И я хочу
страдать съ тобою! Страдать той высшей жизнью, которая смо-
тритъ на миръ съ высоты, тоскуеть по небу, въ небесахъ нахо-
дитъ опору. Боже, не дай намъ позорно погрязнуть въ міръ ве-
щества, избавь насъ отъ безчувствія и оставь намъ муки!“ Такова
была заря новой польской поэзіи, съ ея высокимъ нравственнымъ
подъемомъ, съ ея тоскливой жаждой идеала и правды, съ ея вѣ-
рой, что „погибнетъ Вааль, и вернется на землю любовь“, съ ея
красивыми и сильными образами. И уже Чарторыйскій вопро-
шаетъ Бога: „За какія тяжкія преступленія отцовъ палъ Божій
гнѣвъ на насъ, несчастныхъ сыновей?“

Нѣсколько лѣтъ спустя, въ самомъ началѣ XIX вѣка, мо-
лодой, еще неизвѣстный тогда ксендзь Вороничъ написалъ поэму
„Сивилла“, которая была напечатана позже, только въ 1818 г.
Вороничъ бывалъ въ Пулавахъ, видѣлъ въ паркѣ Чарторыйскихъ
бесѣдку, устроенную въ обычномъ ложно-классическомъ вкусѣ, въ
видѣ древняго храма. Въ этомъ „храмѣ Сивиллы“ должны были
храниться воспоминанія о старой Польшѣ, это былъ своего рода
историческій музей, и Вороничъ, который не разъ писалъ лю-
безные стихи своимъ знатнымъ знакомымъ, взялся воспѣть и
паркъ Чарторыйскихъ. Вѣдь делилевскіе „Сады“ были въ ту пору
въ модѣ, а храмъ Сивиллы въ Пулавахъ служилъ „храмомъ поль-
скихъ воспоминаній, въ который послалъ свой даръ императоръ
Александръ I, чтобы онъ свѣтилъ свыше лучомъ надежды“ (слова
Шильдера). Какъ вѣрно отмѣтилъ Я. Немоевскій въ своемъ сра-
вленіи „Разсвѣта“ Красинскаго съ „Сивиллою“ Воронича, этотъ
последній всецѣло ложно-классическій поэтъ, и тѣмъ болѣе цѣнно,
что, подобно Адаму Чарторыйскому, его чувство любви къ ро-
динѣ вырываетъ его и выноситъ на вершины поэзіи. Сухо и дѣ-
ловито поэтъ рассказываетъ о разныхъ достопримѣчательностяхъ
Пулавъ, но въ III пѣснѣ его неожиданно охватываетъ вдохнове-
ніе. Король Янъ-Казиміръ бредитъ, передъ его взоромъ проно-
сятся картины будущей Польши, и вдругъ все исчезаетъ. „Что
это,—спрашиваетъ въ ужасѣ король.—Гдѣ же эта страна? Куда
она исчезла? Отчего стерты всѣ ея слѣды, всѣ ея признаки? Чу-
жой языкъ, чужіе обычаи, правленіе и имена. Толпы разноязыч-

ныя, бродячія, смѣняющія одна другую, правятъ здѣсь, всѣмъ распоряжаются, какъ господа и уроженцы края. Онѣ презираютъ покоящійся въ могилахъ вашъ священный прахъ, онѣ дерзко издѣваются надъ всѣми святыми воспоминаніями!“ И Вороничъ ждетъ чуда, какъ пѣвецъ „Польскаго Барда“. Передъ взоромъ короля встаетъ образъ какого-то чудеснаго мужа. „Кто постигнетъ его? Невѣдомымъ чудомъ онъ воскрешаетъ кости и облачаетъ ихъ новымъ народомъ и огнемъ очищаетъ опустошенную страну, создаетъ новый храмъ, окруженный неприступной стѣной!“ Вотъ источники польскаго мессіанизма. Онъ сочѣтаетъ вѣру въ будущее польскаго народа съ требованіемъ примиренія съ Богомъ. Пророчица Сивилла, выходя изъ своего храма, предсказываетъ новыя судьбы польскому народу. „Соединитесь съ Богомъ новымъ завѣтомъ, заслужите, чтобы воскресла ваша слава, и тогда эта могила не будетъ могилой для вашего рода. Троя пала и погибла, чтобы создать Римъ“. Польскіе критики видятъ мало утѣшительнаго въ этихъ предсказаніяхъ Воронича: вѣдь онъ былъ родоначальникомъ польскаго панславизма. Что онъ имѣлъ въ виду, говоря о Римѣ и Троѣ? Сліяніе славянскихъ ручьевъ въ русскомъ морѣ? Эта мысль не была чужда польскимъ писателямъ конца XVIII и начала XIX вѣка.

Однако, шли годы, и начала осуществляться яркая греза воскресенія Польши. Наполеонъ громилъ Австрію, билъ Пруссію, спасеніе Польши казалось дѣломъ ближайшихъ лѣтъ. А въ закрытомъ засѣданіи „Варшавскаго Общества любителей наукъ“, 13-го декабря 1805 года, Вороничъ читаетъ знаменитый благодарственный гимнъ Богу „о благодѣяніяхъ Провидѣнія, ниспосланныхъ польскому народу послѣ паденія Польши“. Это цѣлая философія исторіи Польши. „Необъемлемый свѣтомъ, Боже нашихъ отцовъ“, такъ начинается Вороничъ. Особая миссія борьбы съ невѣрными была возложена на польскій народъ, но не всегда онъ былъ на высотѣ ея. Часто происходили раздоры между вождями, и Богъ посылалъ кару на народъ. „Тогда, о Боже, Ты былъ Богомъ поляковъ; тогда и сосѣдъ не осмѣливался быть имъ коварнымъ врагомъ. Что же случилось съ ихъ дальними потомками? Ты отвратилъ отъ насъ Свое лицо, а мы... рассыпались во прахъ“. Поэтъ рисуетъ страшную картину упадка народа. „Мы сами себя не узнаемъ, и куда ни ступимъ, вездѣ передъ нами—залитый кровью трупъ родины, на собственныхъ улицахъ мы не можемъ говорить

на своемъ языкѣ“. Но Богъ справедливъ и всемогущъ. „Ты живешь и будешь жить, хотя бы погибъ весь міръ. До послѣдняго волоска Ты сосчиталъ волосы на нашихъ головахъ. Не слѣпой случай, не жребій и не очередь управляютъ судьбами народовъ: въ Твоихъ рукахъ рождаются часы и судьбы, и если Ты не можешь карать безъ причины, наша судьба должна быть плодомъ нашей собственной вины. Наши слезы свидѣтельствуютъ о нашихъ грѣхахъ и о нашемъ раскаяніи. О, милостивый отецъ, вѣдь Ты не можешь смотрѣть равнодушно на потоки человѣческихъ слезъ, Ты не отречешься отъ своихъ дѣтей. Что стоитъ Тебѣ произнести, какъ Ты сказала однажды: Кости, превратившіяся въ прахъ! Встаньте изъ могилы, облекитесь духомъ, тѣломъ и силой!“

Наконецъ, наступила давно желанная минута. 23-го ноября 1806 г. Наполеонъ вступилъ въ Варшаву. „Это была славнѣйшая эпоха въ исторіи польскаго народа. Великій, непобѣдимый Наполеонъ вступилъ на нашу землю, чтобы повелѣть намъ снова существовать, когда мы уже перестали быть. Съ этого великаго дня мы начнемъ считать годы нашего существованія“, такъ писалъ одинъ изъ современниковъ этихъ событій. Пѣсенка, которую распѣвали на улицахъ, гласила слѣдующее: „Явилось на землѣ во образѣ человѣка благодѣтельное божество, защита поляковъ“. Въ костелахъ произносили нарочно сочиненную для этого случая молитву: „Великій Боже, Ты, Который создалъ Наполеона изъ духа мужества, мудрости и доброты и предназначилъ ему одной рукой сокрушать неприятелей нашего народа, а другой вознести его для счастливаго существованія, для борьбы и побѣды, прими отъ народа Твоего смиренную благодарность за чудеса и воскресеніе наше и за все добро, которое ниспосылаетъ намъ Твоя благодать. Прими горячія молитвы за помазанника Твоего, Великаго Наполеона, императора и короля“...

Наполеонъ далъ новому герцогству Варшавскому конституцію, въ которой было указано, что рабство уничтожается. Новѣйшіе польскіе историки справедливо указываютъ на то, что „рабства“ въ Польшѣ уже и не было и что этотъ коротенькій параграфъ, довольно оскорбительный для національнаго самолюбія поляковъ, по существу своему ничего не говорилъ, такъ какъ не вносилъ ничего опредѣленнаго въ отношенія между крестьянами и помѣщиками. Предстояло еще разработать крестьянское законодательство, но эта задача не удалась сейму Варшавскаго княжества,

хотя не раз ставилась имъ. Не удалось разрѣшить ее и впоследствии сейму Царства Польскаго. Какъ отмѣтилъ Вл. Козловскій въ своей исторіи польской автономіи, источникъ неудачъ заключался въ полномъ несочувствіи центральнаго с.-петербургскаго правительства къ освободительнымъ стремленіямъ польскаго землевладѣльческаго дворянства. Не успѣвъ воспользоваться промежуткомъ съ 1807 по 1812 годъ для осуществленія крестьянской реформы, поляки перешли затѣмъ подъ власть правительства, которое смотрѣло враждебно на идею освобожденія крестьянъ. Современникамъ могло казаться иначе, и Скарбекъ въ своей исторіи Герцогства Варшавскаго ставитъ въ вину „мѣстному правительству“, что оно оставило безъ вниманія устройство отношеній между землевладѣльцами и крестьянами. Мы знаемъ однако изъ новѣйшихъ трудовъ Рембовскаго и В. Козловскаго, что крестьянскій вопросъ поднимался въ сеймахъ постоянно, что общественная мысль въ Польшѣ упорно работала надъ нимъ, и именно это было важно для созданія въ польскомъ обществѣ *новой* для того времени идеи о единствѣ и объ общихъ національных задачахъ всего польскаго народа. При той тѣсной духовной связи, которая существовала между польскимъ обществомъ въ Литвѣ и въ Варшавѣ, мысль объ освобожденіи крестьянъ съ надѣленіемъ ихъ землей быстро распространилась и въ Литвѣ. Въ 1817 году она привела къ оживленнымъ дебатамъ и къ великодушному постановленію въ собраніи польскаго дворянства въ Вильнѣ, но и эта попытка окончилась самымъ плачевнымъ образомъ: мѣстныя власти и самъ императоръ Александръ I увидѣли въ постановкѣ дворянами на очередь крестьянскаго вопроса безтактность и непростительное вмѣшательство въ государственныя дѣла. Виновные отдѣлались, однако, очень легко: въ Петербургѣ признали, что *можетъ-быть* дворяне были движимы чувствами челоуѣколюбія и благородными намѣреніями. Тѣмъ не менѣе, реформа была погребена, какъ и предшествовавшая попытка князей Огинскаго, Любецкаго и гр. Платера, составившихъ „Уставъ для управленія В. Кн. Литовскимъ“, въ силу котораго предполагалось въ теченіе 10 лѣтъ (съ 1812 г.) провести освобожденіе крестьянъ съ заключеніемъ договорныхъ отношеній между ними и помѣщиками. И еще раньше, въ 1807 году, крестьянскій вопросъ былъ поднятъ въ Бѣлостокскомъ округѣ, присоединенномъ къ Россіи по Тяльзитскому миру. Всѣ эти стремленія фактически не

привели ни къ чему, но они создавали приподнятую умственную и нравственную атмосферу въ самыхъ интеллигентныхъ кругахъ Польши и Литвы. Масса помѣщиковъ оставалась, однако, глуха къ этимъ требованіямъ; крѣпостниковъ всегда и вездѣ больше, чѣмъ дѣятелей освобожденія. Дѣдушка Ходзьки, сумѣвшій при наличности нѣсколькихъ хатъ всегда имѣть деньгу въ кованомъ ларцѣ и воспѣтый такъ идиллически внукомъ, представляетъ образецъ того хозяйства, которое вели люди, чуждые „завиральныхъ идей“. Поклонники благочестивыхъ іезуитовъ, простодушные въ своемъ міровоззрѣніи, эти „помѣщики предавались страсти къ обогащенію и угнетали народъ, заставляя его работать бесплатно и какъ можно больше“. Такъ негодуетъ одинъ изъ польскихъ эмигрантовъ, Эленіушъ, поселившійся послѣ 1831 г. въ Парижѣ, членъ демократической партіи, который, пожалуй, не прочь былъ и преувеличить народную тяготу. Но, нѣтъ сомнѣнія, общій уровень интересовъ и нравственнаго развитія помѣстной шляхты не былъ высокъ. Литовскія губерніи были порядочнымъ захолустьемъ. „Страшный переворотъ въ политическихъ отношеніяхъ не оказалъ особенно глубокаго вліянія на общество,—утверждаетъ г. Ивашкевичъ въ своемъ интересномъ изслѣдованіи о Литвѣ въ 1812 году;—онъ не вырвалъ широкихъ массъ шляхты изъ состоянія индифферентизма и партикуляризма, въ какое онѣ были погружены. Прежде всего хотѣлось поскорѣе покончить съ переходнымъ положеніемъ, въ какомъ находилась провинція. Впрочемъ, къ новымъ условіямъ жизни примѣнились довольно скоро. По-прежнему шляхта была занята своими мелкими дѣлишками, праздною болтовней, страсть къ которой еще усилилась съ упраздненіемъ политической жизни. Кромѣ того, она нашла неисчерпаемый источникъ для споровъ и конкуренціи въ т. наз. „эксдивизіяхъ“ (раздѣлахъ имѣнія должника между кредиторами) значительныхъ состояній, которыя случались тогда не рѣдко: это давало и доходъ. Скупали также за безцѣнокъ имѣнія, жалованныя русскимъ сановникамъ, которые часто охотно сбывали съ рукъ свои имѣнія“. Итакъ, пробужденная умственная жизнь въ столицахъ и старина въ глубинѣ провинціи—вотъ картина, которую рисуютъ наши источники. Однако, какъ мы видѣли, волны событій докатывались до самыхъ глухихъ мѣстъ. Двѣнадцатый годъ всколыхнулъ всю Польшу и Литву. Умственная жизнь получила большой толчокъ, и общество стало гораздо доступнѣе для лозунговъ народности, которые ис-

ходили изъ Варшавы. Вѣнскій конгрессъ и послѣдующія событія возродили мечту о политическомъ возстановленіи Литвы и Польши. Выразителемъ этой мечты явился Фелинскій, авторъ много напумѣвшей въ свое время трагедіи „Варвара Радзивиллъ“. По отзыву Варшавскаго Общества любителей наукъ, которому этотъ авторъ уже ранѣе былъ „извѣстенъ своимъ поэтическимъ талантомъ“, какъ переводчикъ „L'homme des champs“ Делиля, „духъ въ этой пьесѣ истинно народный, чисто польскій; рѣча можетъ считаться прямо образцовой, такъ что безъ восхищенія нельзя читать или слушать эти стихи“. Недостатки, которые указывались Обществомъ и въ 1815 году, и въ 1817, когда она была поставлена на сценѣ и вызвала бурные восторги зрителей, искупались, по мнѣнію критиковъ, ея выдающимися достоинствами, возвышенностью чувствъ, трогательностью сюжета, патриотизмомъ настроенія. Не вдаваясь въ анализъ пьесы, дѣйствительно, можно сказать, что трудно найти въ исторіи Польши болѣе подходящій для ложноклассическаго драматурга сюжетъ: Варвара, дочь одного изъ знатнѣйшихъ литовскихъ князей Радзивилла, выходитъ замужъ за короля-гуманиста Сигизмунда-Августа противъ воли его гордой матери, итальянской принцессы Боны, которая видитъ въ этомъ неравномъ бракѣ униженіе для царскаго дома. Теперь идетъ рѣчь о томъ, чтобы польскіе вельможи признали этотъ бракъ не мorganатическимъ, чтобы литовская принцесса была признана польской королевой. Старая королева Бона интригуетъ противъ этого и съ помощью наемнаго врача-злодѣя отравляетъ молодую, прелестную литовскую княжну, образецъ женственности и самоотверженія, въ тотъ самый моментъ, когда король, готовый отречься отъ престола, но неспособный измѣнить своей любви, добился своего: благородные вельможи сумѣли убѣдить крикливую толпу сенаторовъ. Радостно и торжественно спѣшить Сигизмундъ въ свои покои и находить здѣсь умирающую Варвару. „Ты—живи! Сохрани угасающее племя отцовъ Польши, спаси эту землю отъ страданій и отъ упадка“—съ этими словами умираетъ молодая королева. Бракъ ея съ польскимъ королемъ — символъ соединенія Литвы съ Польшей: вѣдь именно Сигизмундъ-Августъ — создатель Люблинской уніи (1562). Ради этого соединенія пожертвовала своей юной жизнью Варвара, которая въ дѣйствительности умерла вовсе не отъ отравы, а отъ рака и довольно долго спустя послѣ коронаціи. Но эту неточность современники Фелин-

скаго охотно прощали своему любимому писателю, который сумѣлъ въ яркомъ образѣ, въ очень сценичной пьесѣ, которая донынѣ не утратила нѣкотораго обаянія, представить тѣ чувства, которыя волновали его современниковъ. Вѣдь и самому Александру I и его польскимъ друзьямъ возвращеніе Литвы въ объятія Польши казалось дѣломъ ближайшихъ дней. Вообще, польская поэзія начала XIX вѣка носитъ всецѣло патріотическій характеръ. Я называлъ уже ксендза Воронича. Можно упомянуть еще рядъ именъ, писателей мало даровитыхъ, совсѣмъ забытыхъ теперь, но въ свое время создававшихъ общественное настроеніе и поддерживавшихъ повышенный тонъ патріотизма. Такимъ былъ Людвикъ Осинскій, авторъ множества одъ и трагедій, особенно очень популярной „Оды въ честь Коперника“ (1808), гдѣ встрѣчалась такая строфа:

Ciesz się, narodzie, ciesz, Polsko szczęśliwa!
Chwała wielkiego męża na Ojczyznę sływa.
Gdzie znajdziesz większe do chluby powody?
O twoją własność spór wiódłły narody.

(Радуйся, народъ, радуйся, счастливая Польша! Слава великаго мужа покрываетъ его Родину. Гдѣ ты найдешь большій поводъ для гордости? Изъ-за твоей собственности вели споръ народы.) А кончается ода пожеланіемъ, чтобы и черезъ тысячи лѣтъ, когда Коперникъ все еще будетъ жить въ памяти народовъ, „полякъ еще совершалъ то, что ты заповѣдалъ“. Другимъ знаменитымъ описцемъ своего времени, отзывавшимся на всѣ важнѣйшія событія эпохи, былъ Кастанъ Козьянь. Ему принадлежить цѣлый циклъ наполеоновскихъ одъ. Когда „французскіе орлы“ (знамена) были поставлены въ Люблинѣ, въ 1809 г., Козьянь воспѣлъ это событіе въ пышной одѣ; въ 1812 году онъ хотѣлъ выступить съ хвалебной одой Наполеону, взявшему Москву, но его уговорили подождать, потому что „великанъ еще стоитъ и борется“, а когда Наполеонъ бѣжалъ изъ сожженной Москвы съ остатками своей арміи, тотъ же Козьянь писалъ оду „Танцующему Кракову“, съ горькимъ упрекомъ по адресу танцующихъ поляковъ и полякъ. „Польша погибаетъ... Давайте танцовать, пока еще есть время. Давайте танцовать, не станемъ думать о томъ, что наступить послѣ. И достойно кончимъ сцену, вскру-

живъ свои пустыя головы! О чемъ вамъ беспокоиться, прекрасныя дамы: вѣдь танцы въ большомъ ходу у всѣхъ народовъ, и кто ни будетъ владѣть нашей землей, русскій или нѣмецъ, онъ уничтожить нашъ языкъ и права, но танцевать съ вами будетъ. Я не могу не вздохнуть, видя, что среди полекъ есть дѣти, танцующія, когда умираетъ ихъ мать“. Эта ода невелика, въ отличіе отъ классическаго шаблона, она лишена плана, сравненій, пафоса. Но ея холодное презрѣніе къ пустой толпѣ дышитъ лермонтовскою „Думой“. Это уже истинная поэзія, показывающая, что, дѣйствительно, въ польской литературѣ назрѣвало нѣчто новое. Когда Наполеонъ палъ, а Александръ явился новымъ другомъ и благодѣтелемъ Польши, Козьянъ написалъ великолѣпную „Оду на паденіе гордаго“ въ 1815 году. „Я видѣлъ какъ грозный для свѣта, среди грозы и ужаса народовъ, во всей пышности величія ѣхаль на колесницѣ, какъ триумфаторъ. Я слышалъ клики желѣзныхъ рядовъ, звонъ цѣпей, стоны рабовъ; лицомъ на землю пало людское племя, и скованные короли и народы въ своей тревогѣ вопили передъ нимъ, выходя на его дорогу: это Богъ, Богъ, сошелъ на землю. Это—Богъ, это—Богъ,—повторялъ и мой голосъ,—Богъ съ вѣчной властью и славой. Ахъ! Какое имя надлежало Тому, Кто творилъ мнѣ отчизну!“ Третьимъ сочинителемъ одъ былъ Францискъ Венжикъ, который прославился нѣсколькими патріотическими стихотвореніями въ 1806—1807 годахъ. Затѣмъ Венжикъ написалъ рядъ трагедій и одъ, въ которыхъ, конечно, на первомъ планѣ стоитъ все тотъ же Наполеонъ: „Есть Богъ, который поднялъ Польшу изъ могилы“, писалъ онъ въ 1809 году, въ „Одѣ на возвращеніе польскаго войска въ столицу“. Тымовскій, который, по словамъ его друга, К. Бродзинскаго, „любилъ или ненавидѣлъ писателей постольку, поскольку ихъ произведенія содѣйствовали религіозной и политической свободѣ“, написалъ точно такъ же цѣлый рядъ патріотическихъ элегій и сонетовъ. Было бы слишкомъ долго перечислять тѣ десятки польскихъ писателей начала XIX вѣка, которые въ стихахъ и прозѣ, въ одахъ и въ сухихъ философскихъ и статистическихъ разсужденіяхъ поддерживали въ современникахъ горячее, жгучее чувство любви къ родинѣ и сознание своей отвѣтственности передъ ней, необходимости скорѣе заглянуть въ промахи отцовъ, воспользо-ваться благопріятнымъ моментомъ для укрѣпленія народныхъ силъ. „Въ какой философіи нуждаются поляки?“ Ф. Яронскаго

(1810). „Объ упадкѣ промышленности и городовъ въ Польшѣ“ (1810) Л. Суровецкаго, „О статистикѣ Польши“ (1807) Ст. Стащица, „Размышленія надъ теперешнимъ положеніемъ той части Польской земли, которую послѣ Тильзитскаго договора стали называть Варшавскимъ герцогствомъ“ Г. Коллонтая и т. д.: однихъ этихъ заглавій достаточно, чтобы понять то общее направленіе политической и критической мысли, какое господствовало въ Польшѣ въ эти первые два тревожныя и бурныя десятилѣтія XIX вѣка. Печальное „Finis Poloniae“ смѣнилось бодримъ и стойкимъ маршемъ Домбровскаго: „Еще Польша не погибла, пока мы живемъ“...

Это патріотическое настроеніе разливалось по всей польской землѣ; широкой волной оно вливалось и въ Литву, гдѣ въ 1812 году сочувствіе мелкой шляхты къ наполеоновскимъ войскамъ сначала было громадное. Правительству приходилось принимать крутыя мѣры противъ перебѣжчиковъ въ Grande Armée, но это не помогало: то слуга ихъ помѣщицѣй дворни, а то и самъ панычъ ускользали изъ дому и переправлялись черезъ Нѣманъ, на ту сторону, гдѣ властвовалъ Наполеонъ, „богъ войны“, Божій посланникъ на землѣ. Но этотъ патріотизмъ въ началѣ XIX вѣка принялъ такія черты, которыхъ онъ не имѣлъ въ прошломъ Польши: именно, онъ сталъ живымъ чувствомъ народности. О ней стали говорить раньше, нежели въ литературу влилась струя романтизма, окрасившая и самое чувство народности въ мистическіе и фантастическіе цвѣта. Въ началѣ вѣка еще ничего не слышно о романтизмѣ въ Польшѣ, но народность уже завоевываетъ себѣ мѣсто въ польской литературѣ, какъ одновременно съ ней въ политической жизни все болѣе складывается убѣжденіе о необходимости разрѣшить крестьянскій вопросъ.

Тотъ же ксендзъ Вороничъ, который нашелъ на своей патріотической лирѣ такія высокія струны, прекрасно формулировалъ источникъ этого стремленія къ народности въ литературѣ. Варшавское Общество любителей наукъ поставило одной изъ своихъ задачъ изученіе и собираніе памятниковъ родной старины, и Вороничъ, принимавшій дѣятельное участіе въ трудахъ Общества, далъ мысль составить для народа сборникъ пѣсенъ. Въ рѣчи, произнесенной имъ по этому поводу въ 1803 году, Вороничъ обращался къ широкимъ кругамъ польскаго общества. „Да будетъ намъ позволено взывать васъ, о вы, всѣ потомки угасшихъ

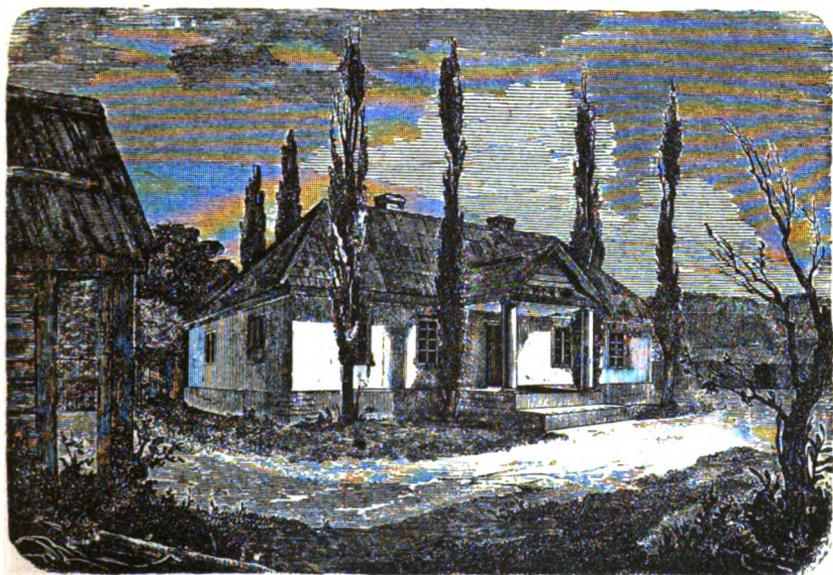
поляковъ, просить васъ и заклинять священнымъ прахомъ вашихъ отцовъ, чтобы вы помогли нашимъ стремленіямъ и усиліямъ сохранить, распространить, увѣковѣчить ихъ память и славу, оставленную вамъ, какъ самое дорогое наслѣдство, по крайней мѣрѣ, тѣмъ способомъ, который одинъ остался намъ доступенъ. Соедините для этой цѣли всѣ таланты, предпріятія и воспоминанія о великихъ отцахъ. Вы, которые и при другихъ достоинствахъ приносите своимъ вкусомъ и знаніемъ честь благородной музыкѣ, обратите ея красоту и прельщеніе на утѣшеніе священнаго праха отцовъ! Пусть эта славянская Эвтерпа вмѣстѣ съ другими музами исполнить духомъ и исторіей поляковъ всѣ лютни, цитры, струны и флейты“. Такимъ образомъ, рѣчь шла о созданіи національной поэзіи на основѣ народности. Разумѣется, изъ границъ ложноклассическаго пониманія народности Вороничъ не вышелъ, но уже самое стремленіе построить на народной поэзіи „славянскую Евтерпу“ указываетъ на новые пути, намѣчавшіяся въ польской литературѣ. Только слѣдующее поколѣніе осуществило тѣ стремленія къ народности, которыя вставали уже передъ дѣятелями Станиславовокой эпохи, но рисовались имъ еще совсѣмъ неясно. Пламеннымъ и самоотверженнымъ народникомъ явился Ходаковскій (Чарноцкій), который считалъ большимъ счастіемъ „жить всей силой поэтическаго житья-бытья крестьянъ“. Въ народномъ духѣ, подъ вліяніемъ сентиментальнаго ложноклассика Карпинскаго, но съ живымъ чувствомъ народности писали свои краковяки, пѣсни и мазурки Реклевскій (1811), Горецкій (1816), Андрей Бродзинскій (около 1812 г.) и др. Къ этому времени въ польской поэзіи уже крѣпко утвердился начала народности.

Два писателя стоятъ во главѣ этого направленія и готовятъ все то литературное движеніе, которое привело къ полному сближенію поэзіи съ жизнью у Мицкевича и романтиковъ. Это были Нѣмцевичъ и К. Бродзинскій, на которыхъ я остановлюсь болѣе подробно. Оба они играютъ такую выдающуюся роль въ исторіи польской литературы, что безъ знакомства съ ними невозможно понять сложный процессъ выработки литературныхъ вкусовъ у Мицкевича и его современниковъ. Разумѣется, однако, и здѣсь мнѣ придется ограничиться самымъ существеннымъ.

Юліанъ Урсинъ Нѣмцевичъ (1758—1841) принадлежитъ къ

числу доблестнѣйшихъ людей старой Польши. Онъ получилъ блестящее образованіе и еще юношей много путешествовалъ. Въ 1783 и 1784 г. онъ посѣтилъ, между прочимъ, Англію и привезъ изъ нея вкусъ къ балладамъ. Уже зрѣлымъ человѣкомъ онъ принималъ участіе въ созданіи конституціи 3 мая и былъ убѣжденнымъ членомъ прогрессивной партіи, программу которой, заключающую въ себѣ отмѣну *liberum veto* и принципа избирательности королей, онъ изложилъ въ очень спешичной и имѣвшей большой успѣхъ комедіи „Возвращеніе посла“. Затѣмъ Нѣмцевичъ участвовалъ въ возстаніи Костюшки и даже былъ его адъютантомъ; онъ раздѣлилъ участь Костюшки и позже: былъ въ русскомъ плѣну, вмѣстѣ съ нимъ получилъ свободу отъ имп. Павла. Изъ Россіи черезъ Швецію онъ проѣхалъ въ Америку, гдѣ женился и получилъ право гражданства. Въ 1802 году умеръ отецъ Нѣмцевича, и Юліанъ Урсинъ вернулся на родину, но здѣсь оставался недолго: его потянуло обратно на свободу, въ Америку. Только воцареніе свободаго режима въ Варшавѣ, съ учрежденіемъ въ 1807 году герцогства, заставило Нѣмцевича совсѣмъ покинуть Америку, вернуться домой. Онъ началъ въ высшей степени энергичную литературную и политическую дѣятельность; служилъ секретаремъ въ Сенатѣ, былъ членомъ Палаты Просвѣщенія (*Izba Edukacyjna*), писалъ баллады, романы, комедіи и драмы, собиралъ и печаталъ историческіе матеріалы о Польшѣ. Въ 1826 году онъ былъ избранъ предсѣдателемъ Варшавскаго Общества любителей наукъ, въ 1831 году былъ отправленъ правительствомъ возставшей Польши съ важной дипломатической миссіей въ Лондонъ, а послѣдніе годы жизни (1833—1841) провелъ въ Парижѣ. Какъ видно изъ этой краткой біографіи, Нѣмцевичъ созрѣвалъ и складывался, какъ писатель, въ XVIII вѣкѣ, въ эпоху господства ложноклассическихъ вкусовъ, и первыя его произведенія, дѣйствительно, написаны въ этомъ духѣ. Но судьба закинула его въ Америку, заставила близко познакомиться съ англійской литературой, и Нѣмцевичъ становится проводникомъ въ польскомъ обществѣ англійской баллады, „герольдомъ романтизма“, какъ мѣтко называетъ его Г. Галле въ своей коротенькой характеристикѣ поэта („*Wiek XIX*“, т. I, 262). Нѣтъ сомнѣнія, что извѣстная часть балладъ Мицкевича сложилась именно подъ вліяніемъ Нѣмцевича, какъ это обстоятельно указано новѣйшей польской критикой. Но, помимо балладъ, Нѣмцевичъ

далъ польской литературѣ еще одинъ сборникъ, который создалъ цѣлую школу подражателей. Это были его „Историческія пѣсни“. Исторія ихъ возникновенія такова. По проекту, внесенному Вороничемъ въ 1803 году въ Общество любителей наукъ, это послѣднее должно было составить собраніе національныхъ пѣсень, „Pieśni o xiąg (Пѣсnekнигу) нашего языка“, какъ говорилъ Вороничь. „Собравъ все то въ пѣсняхъ и одахъ, что только можетъ интересовать христіанина, человѣка и поляка, сдѣлать этотъ сборникъ нашего языка наслѣдіемъ всѣхъ людей и поколѣній“. Собраніе должно было содержать три части: пѣсни религіозныя, моральныя и историческія. Для первой части матеріала было достаточно, и самъ Вороничь отъ себя внесъ въ нее свой знаменитый „Гимнъ Богу“; имѣлось кое-что для второй части—моральныхъ пѣсень, но для третьей—пѣсень историческихъ, не было еще ничего написано. На этомъ и стало предпріятіе Воронича. Но оно не было покинуто: о немъ напоминаетъ уже въ 1806 году Сташиць, но только въ его организаторской головѣ самый планъ принимаетъ гораздо болѣе конкретный характеръ. Ему хотѣлось бы видѣть изложеніе въ стихахъ „всей исторіи народа“, и онъ предложилъ составить распisanіе темъ и пригласить народныхъ поэтовъ, чтобы они разобрали сюжеты и описали стихами тотъ или другой подвигъ предковъ. Когда въ 1807 году Нѣмцевичъ вернулся на родину, онъ нашелъ уже подготовленный планъ, а Общество люб. наукъ не переставало поощрять польскихъ поэтовъ къ составленію кодекса національныхъ историческихъ пѣсень. Еще послѣ возвращенія изъ Англіи, подъ вліяніемъ Оссіана, ранѣе 1791 года, онъ написалъ двѣ такія думы, о Жолкевскомъ и о Стефанѣ Потоцкомъ; изъ нихъ первая была положена на музыку и пользовалась огромной популярностью въ обществѣ. Мало-помалу къ этимъ двумъ балладамъ стали присоединяться и другія, и къ концу 1810 года были готовы уже 32 пѣсни. Съ печатаніемъ дѣло затянулось по разнымъ причинамъ, хотя подписка уже принималась. Съ учрежденіемъ Польскаго царства, пока настроеніе Александра оставалось либеральнымъ и сочувственнымъ Польшѣ, слѣдовало поторопиться съ изданіемъ пѣсень, и въ концѣ 1816 года онѣ появились въ печати. Успѣхъ ихъ былъ необычайный; первое изданіе разошлось для того времени необыкновенно быстро. Въ январской книжкѣ „Pamiętnik Warszawski“ за 1818 годъ была напечатана статья подъ сенсаціоннымъ заглавіемъ:



Домъ Мицкевича въ Новогрудкѣ.

(Изъ альбома Мицкев.).

„Необыкновенное явленіе въ польской книжной торговлѣ“. Первое изданіе, —говорилось здѣсь,—разошлось въ количествѣ 1500 экземпляровъ въ семь мѣсяцевъ, чистая прибыль составила 28,864 злотыхъ (т. е. 4326 р. 60 к.). Второе изданіе разошлось такъ же скоро и принесло доходу около 18 съ половиной тысячъ злотыхъ, и только третье изданіе (въ 1819 г.) нѣсколько удовлетворило спросъ. „Историческія пѣсни“ Нѣмцевича сдѣлались прямо дѣломъ моды, имѣть ихъ почиталось патриотическимъ долгомъ. Самъ Нѣмцевичъ въ предисловіи къ пѣснямъ опредѣляетъ свою задачу слѣдующимъ образомъ: „Подвиги, описанные серьезнымъ и строгимъ стилемъ историка, нерѣдко ускользаютъ отъ вниманія молодежи; къ тому же, многочисленные томы такихъ сочиненій не могутъ быть всѣми приобрѣтены и прочитаны. Поэтому Королевское Общество любителей наукъ, не желая оставить не использованными никакія средства для достиженія столь важной цѣли, поручило мнѣ изобразить въ историческихъ пѣняхъ самыя славныя событія, самыя блестящія подвиги и побѣды польскихъ королей и полководцевъ. Звуки музыки сильно дѣйствуютъ на сердце и память людей; раньше, чѣмъ Геродотъ началъ своимъ суровымъ перомъ изображать древній бытъ народовъ, поколѣнія передавали поколѣніямъ въ простыхъ пѣняхъ рассказы о приключеніяхъ пращуровъ“. Въ ту же самую пору, когда Нѣмцевичъ слагалъ свои историческія пѣсни, сочинялъ „Исторію Государства Россійскаго“ Карамзинъ. Онъ смотрѣлъ на начало и на задачи исторіи такъ же, какъ Нѣмцевичъ. „На славныхъ играхъ олимпійскихъ умолкалъ шумъ, и толпа безмолвствовала вокругъ Геродота, читающаго преданія вѣковъ“, говоритъ Карамзинъ. Но при этомъ сходствѣ возрѣній двухъ писателей на задачи историка какъ различны ихъ цѣли! Въ прославленіе русскаго самодержавія писалъ герольдъ русской реакціи: „Да не измѣнится никогда твердое основаніе нашего величія, да правила мудраго самодержавія и святой вѣры болѣе и болѣе укрѣпляютъ союзъ частей, да цвѣтетъ Россія... по крайней мѣрѣ, долго-долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой“. Иначе рисовались подвиги предковъ Нѣмцевича: они казались ему непрерывной борьбой за народное существованіе, святыми воспоминаніями о герояхъ, положившихъ свою душу ради свободы народа. Когда прекратилась политическая жизнь народа въ государствѣ, имъ созданномъ, когда врагами его было взято въ подозрѣніе самое національное суще-

ствование его, нужно было вернуться къ славнымъ преданіямъ старины и въ нихъ найти подтвержденіе своихъ правъ. Скучныя, заказныя, лишеныя всякаго огня пѣсни Нѣмцевича выполняли эту задачу, удовлетворяли общество, потому что онѣ отвѣчали своимъ настроеніемъ его запросамъ. Онѣ говорили о Пястѣ, который заявлялъ: „Въ мечѣ и плугѣ силы поляковъ“, о Болеславѣ Храбромъ, о Казимірѣ и многихъ другихъ. „Полякъ, прославленный за три вѣка борьбы своимъ геройствомъ, видѣлъ главную свою добродѣтель въ храбрости; на конѣ, покрытый буркой, онъ терпѣлъ голодь и всякія бури“. Когда Ядвига отдала свою руку Ягеллѣ (по Нѣмцевичу, добровольно, на самомъ же дѣлѣ, какъ мы знаемъ, послѣ отчаянной борьбы съ вельможами), она умоляетъ своихъ вельможъ сохранять единство земель. И крикнулъ весь народъ: „Всегда держась вмѣстѣ, мы останемся вѣрны твоему поколѣнію“. Такая исторія, не всегда считающаяся съ дѣйствительностью, заканчивается освободителемъ Вѣны, Яномъ Собѣскимъ, а потомъ „Польша покрылась печальной тѣнью“... Какъ отъ Карамзина прямая линія ведетъ къ реакціи Николая I, къ официальной народности, къ Уварову и Бенкендорфу, такъ отъ Нѣмцевича прямой путь къ тому поколѣнію поэтовъ, которое въ прошломъ народа видѣло уже не рядъ грѣховъ (какъ первые дѣятели герцогства Варшавскаго, какъ Вороничъ въ своей „Сивилѣ“ и др.), а славную хронику побѣды и героическихъ подвиговъ самоотверженнаго патриотизма.

Другимъ писателемъ, который подготовилъ почву для польскаго романтизма, былъ Казиміръ Бродзинскій (1791 — 1835). Это уже человѣкъ XIX вѣка, который не участвовалъ въ послѣднемъ напряженіи Рѣчи Посполитой, не видѣлъ ея судорожныхъ усилій спастись, но, какъ и Мицкевичъ, былъ „повить въ оковы“. Поэтому Бродзинскій явился не носителемъ возвышенныхъ ложноклассическихъ вкусовъ и идей XVIII столѣтія, но выразителемъ того народническаго настроенія, которое создалось въ лучшей части польскаго общества въ началѣ новаго вѣка. Выросши въ деревнѣ, въ небогатой семьѣ арендатора, Бродзинскій слился съ народной душой еще мальчикомъ. Въ нѣмецкой школѣ, куда онъ ходилъ учиться (онъ жилъ въ Бохенскомъ округѣ, принадлежавшемъ Австріи), и позже въ Тарновской гимназіи, гдѣ все, кромѣ Закона Божія въ первомъ классѣ, преподавалось на нѣмецкомъ языкѣ, Бродзинскій хорошо познакомился съ нѣмецкимъ

языкомъ, но охоты къ ученію не получилъ. Зато онъ хорошо узналъ крестьянскій бытъ и страстно полюбилъ народную поэзію. „Я наслушался разныхъ сказокъ о духахъ, колдовствѣ и чарахъ, и воображеніе мое было такъ настроено, что съ тѣхъ поръ, пустивъ свою фантазію въ эту мрачную область, какъ дитя, я боюсь своихъ собственныхъ произведеній“, рассказываетъ Бродзинскій. Школа только забивала умъ и личность; постоянная порка входила въ систему ея. Бродзинскій съ дѣтства былъ запуганъ и выросъ застѣнчивымъ и скромнымъ человѣкомъ, но сила убѣжденія у него сохранилась. Маленькимъ гимназистомъ онъ высказываетъ ксендзу свое недоумѣніе по поводу того, что невинныя души, умершія безъ крещенія, отправляются въ адъ, за что получили хорошую порцію розогъ, и эта способность выступать прямо со своимъ мнѣніемъ была одной изъ главныхъ особенностей Бродзинскаго. Благодаря ей, онъ рѣшительно всталъ въ послѣдствіи на сторону романтизма, хотя и здѣсь его привлекла лишь одна сторона: народность. Культъ личности, презирающей законы общества, былъ чуждъ ему. Въ этомъ духѣ Бродзинскій началъ слагать первые свои стихи, которые представляли переложеніе народныхъ пѣсень. Ему было въ ту пору 14 лѣтъ, и онъ оставался еще совершеннымъ ребенкомъ. Безсознательное чувство народности было настолько чуждо патріотическаго воодушевленія, что еще въ 1809 г. Бродзинскій перекладывалъ на польскій языкъ сборникъ патріотическихъ австрійскихъ пѣсень „Landwehrlieder“ Коллина. Но скоро въ его душѣ наступилъ переворотъ: геній Наполеона привлекъ къ себѣ съ магнетической силой и молодого Бродзинскаго. Онъ записался вольноопредѣляющимся (кадетомъ) въ его войска и совершилъ всѣ походы: Бродзинскій былъ подъ Можайскомъ, участвовалъ въ битвѣ подъ Смоленскомъ, сидѣлъ въ Москвѣ, дрался подъ Лейпцигомъ и, уже будучи офицеромъ, попалъ въ русскій плѣнъ. Выпущенный на свободу, Бродзинскій поселился въ 1814 г. въ Варшавѣ, быстро приобрѣлъ здѣсь популярность своими патріотическими стихами и поступилъ на службу къ новому польскому правительству. Сильно занятый канцелярской работой, Бродзинскій не оставлялъ и литературы, какъ онъ не переставалъ учиться во время Наполеоновскихъ походовъ: онъ былъ секретаремъ Народнаго театра, подбиралъ для него пьесы и самъ переводилъ, а въ 1815 г. онъ вступалъ въ составъ редакціи „Варшавскаго Памятника“, распространеннаго и вліятельнаго польскаго журнала.

Здѣсь и были напечатаны черезъ нѣсколько лѣтъ первыя статьи Бродзинскаго о романтизмѣ, которыя составили переворотъ въ польской литературѣ. Къ нимъ я вернусь позже.

Итакъ, въ 1815 году, когда Мицкевичъ поступилъ въ университетъ, въ литературѣ господствовали еще всецѣло ложноклассическіе вкусы, на ряду съ сильно развитымъ сентиментализмомъ. Этотъ послѣдній проникалъ уже въ концѣ XVIII вѣка чувствительныя идилліи и пѣсенки поэта Карпинскаго. Самъ Бродзинскій отзывался съ восхищеніемъ объ его поэзіи, утверждая, что „каждый умѣлъ чувствовать вмѣстѣ съ Карпинскимъ“, что онъ обладалъ удивительной „легкостью и искренностью“, что онъ будилъ въ сердцахъ добродѣтельные чувства, и еще въ 1860 году мы встречаемъ указаніе на громадное распространеніе пѣсенъ Карпинскаго въ народѣ. К. Вуйцицкій въ своей книгѣ „Historya literatury polskiej w zarysach“ (III. 328) сообщаетъ (1860), что „пѣсни Карпинскаго народъ распѣваетъ въ городахъ, изъ помѣщичьихъ усадебъ онѣ проникли въ хаты крестьянъ и здѣсь сумѣли слиться съ настоящей народной поэзіей“. Другой историкъ литературы, Белциковскій, замѣчаетъ: „Пѣсня Карпинскаго: Już miesiąc zaszedł была апогеемъ чувствительности, и потому всѣ сентиментальныя натуры распѣвали ее въ порывѣ нѣжныхъ чувствъ подъ аккомпанементъ монотонныхъ звуковъ гитары“. Идилліи Карпинскаго представляютъ обычныя ложноклассическія сентиментальныя произведенія въ духѣ m-me Жанлисъ, Геснера и др. Въ нихъ правились не только чувствительность, но и народный колоритъ, конечно, тоже очень условный. Вотъ одна изъ этихъ идиллій: „Ужъ сколько лѣтъ солнце возвращалось и радовало день своими лучами, а съ моимъ солнышкомъ что-то случилось! Почему оно не свѣтитъ мнѣ до сихъ поръ? Вотъ ужъ и хлѣбъ высоко поднялся; кажется, онъ собирается уже гнать колосья; зазеленѣло все поле, не видать только моей пшенички! Ужъ соловей въ саду началъ свои пѣсни, и вся роща отзывается ему. Птички лѣсныя раскѣкаютъ крыльями воздухъ. Не поэтъ только моя пташечка. Столько цвѣтовъ расцвѣло на дужайкѣ послѣ недавняго наводненія, разукрасился всякими красками лугъ, не всходитъ только мой цвѣточекъ! О весна, долго ли я, совсѣмъ опечаленный хозяинъ, буду взывать къ тебѣ? Развѣ не довольно я орошалъ землю слезами, пошли мнѣ желанный урожай!“ Въ этомъ параллелизмѣ есть, дѣйствительно, нѣчто народное, но, разумѣется, до настоящей

народности здѣсь такое же разстояніе, какъ отъ овецъ ш-ше Жанлисъ до настоящихъ крестьянскихъ овецъ.

Тѣмъ не менѣе, сентиментальныя пастушки Карпинскаго знаменовали потребность общества въ чувствительномъ и нѣжномъ. Огромная масса переводныхъ романовъ должна была удовлетворять этой потребности. Съ эпохой Станислава - Августа и съ общимъ переворотомъ въ воспитаніи и общественномъ міровоззрѣніи, который наступилъ послѣ Барской конфедераціи, начинается наплывъ въ Польшу чувствительныхъ иноземныхъ романовъ, холодныхъ разсудочныхъ сочиненій энциклопедистовъ и западныхъ модъ. То же происходило въ Россіи, и въ обѣихъ странахъ сатирическо-нравоучительные журналы не щадили нападокъ на новыя безнравственные, по ихъ мнѣнію, литературные вкусы: у насъ — „Живописецъ“, „Всякая всячина“ и т. д., въ Польшѣ — возникшій въ эту пору и просуществовавшій двадцать лѣтъ „Мониторъ“. И уже въ 1769 году мы находимъ въ этомъ послѣднемъ нападки на ввозную чувствительную литературу, „на листки и пѣсенки, написанныя перомъ самыхъ бойкихъ амуровъ“, а въ 1774 году цѣлая іереміада противъ романовъ: „Искали для меня развлеченій, но ничѣмъ не могли развеелить меня, даже добиться отъ меня слова, и тогда нашли послѣдній способъ: примѣняясь къ моему печальному темпераменту, дали мнѣ читать французскіе романы. Увы, если бы я съ самаго начала понималъ, въ какія сѣти запутываютъ меня, никогда бы я не принимался за романы съ такой охотой. Сладкій ядъ ихъ проникъ въ мое сердце и такъ завладѣлъ имъ, что каждая красавица, которую я видѣлъ, доставляла мнѣ столько же терзацій, сколько въ ней было чаръ“. Эта страсть къ чтенію романовъ все возрастала; за время Станислава - Августа въ польскую литературу вошло до 200 новыхъ романовъ, по большей части переводныхъ, съ англійскаго и французскаго языковъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, у вождей литературы господствовало довольно пренебрежительное отношеніе къ романамъ: критика громила страсть общества къ романамъ, робкіе подражатели иностранныхъ образцовъ въ своихъ предисловіяхъ извинялись въ рѣшимости подражать. Но потокъ романовъ все возрасталъ, и все чаще въ него вливались туземныя ручейки. Въ началѣ XIX вѣка появляется уже сатира на чувствительность. Янъ Горчичевскій въ предисловіи къ своей „Сентиментальной лабораторіи“ издѣвается надъ дамами, надъ

ихъ „смѣшными, модными теперь“ стремленіями подбирать въ своемъ костюмѣ цвѣта такъ, чтобы они выражали всѣ ихъ „сентименты, или чувства, дабы они служили переводчиками ихъ сердецъ и, въ свою очередь, вливали тѣ же чувства въ сердца иныхъ людей“. Появляется не мало подражателей Ж. Ж. Руссо. Онъ такъ извѣстенъ, что въ переводѣ его просто не оказывается нужды; переводъ „Поля и Виргиніи“ Бернардена де С.-Шьерръ появляется только въ 1805 году. Но зато число другихъ переводовъ съ французскаго языка было очень велико; изъ англійскихъ писателей рано проникли въ Польшу Свифтъ, Дефоз, Фильдингъ, Джонсонъ, Шериданъ и др. Менѣе извѣстна была нѣмецкая романическая литература. Съ „Страданіями молодого Вертера“ польская публика познакомилась очень поздно; только въ 1820 году появился польскій переводъ его, незадолго до того—нѣкоторыя подражанія ему; но уже въ 1779 году вышелъ переводъ нѣмецкаго подражателя „Вертера“, нѣкоего I. M. Мюллера „Siegwart. Eine Klostergeschichte“. Вообще же, изъ нѣмецкой литературы заимствовались болѣе слабыя вещи, напоминавшія французскіе романы приключеній. Во всякомъ случаѣ, вся эта масса переводныхъ чувствительныхъ романовъ вырабатывала въ обществѣ новые литературные вкусы, манила въ область высокихъ чувствъ, пріучала, вопреки разсудочности классицизма, цѣнить жизнь сердца.

Пока еще, однако, чувство ради чувства не рѣшалось громко заявить о своихъ правахъ. Сентиментальный романъ имѣлъ право на существованіе, если онъ служилъ нравственнымъ цѣлямъ, и когда на арену романическаго творчества выступили польскіе писатели, они успѣли въ оправданіе себѣ привести именно эти нравственные мотивы. Между тѣмъ, все-таки возникаетъ польская повѣсть: графиня Мостовская, герцогиня Виртембергская, урожденная княжна Чарторыйская, г-жа Гофманъ, Нѣмцевичъ, Кропинскій и др. даютъ цѣлый рядъ оригинальныхъ повѣстей и романовъ, хотя, конечно, находятся еще всецѣло подъ влияніемъ западноевропейскихъ образцовъ. Возникаетъ и журналъ литературы „Nowy piśmieńnik warszawski“, въ 1804—1805 году выходить 20-томная серія „Избранныхъ нравственныхъ повѣстей и романовъ“, гдѣ появляется рядъ оригинальныхъ польскихъ произведеній. Въ нихъ чувствительный характеръ выступаетъ на первый планъ повсюду. Вотъ, напр., содержаніе романа Липинскаго „Га-

лина и Фирлей, или опасное увлеченіе“ (1804—1805) *). Чувствительный, склонный къ уединенію юноша Фирлей женится, по волѣ отца, на Юліи, къ которой онъ такъ же равнодушенъ, какъ она къ нему. Сердце его жаждетъ любви. „Какой-то образъ невѣдомаго счастья,—говоритъ онъ,—предсталъ моей душѣ, и этотъ опасный призракъ преслѣдуетъ меня и окружаетъ повсюду; я жажду, полный сомнѣній, невѣдомаго блага, но часто я напоминаю себѣ, что нѣтъ на землѣ счастья ни совершеннаго, ни долговременнаго“. Фирлей получаетъ письмо отъ своего друга Завиши, который встрѣтился съ чудесной дѣвицей Галиной, распѣвающей пѣсни Оссіана, и влюбился въ нее. Влюбился въ нее по описанію и Фирлей: вѣдь лицо его собственной жены было лишено всякаго „краснорѣчія“, вѣдь она не была способна „дѣлать его чувства и понимать его мысли“. Чувствительный XIX вѣкъ сталъ требовать отъ своей жены гораздо больше, чѣмъ простодушный шляхтичъ XVII—XVIII вѣка. И вотъ Фирлей влюбленъ въ Галину, хотя никогда не видѣлъ ея. Въ Варшавѣ онъ разыскалъ портретъ Галины; которую художникъ изобразилъ „въ видѣ Меланхоліи“, и тогда онъ совсѣмъ потерялъ голову: „это пріятное безуміе наполнило его душу сладкой печалью“. Тогда онъ „украсилъ свой кабинетъ видами окрестностей Крешовиць (гдѣ жила Галина) и велѣлъ нарисовать въ серединѣ грота молодую особу, сидящую на огромной и безформенной скалѣ. Посрединѣ онъ помѣстилъ фигуру Меланхоліи, сидящей съ закрытымъ лицомъ на камнѣ на берегу бурнаго моря; у ногъ ея лежали обломки разбитаго якоря, а къ груди своей она прижимала раненую голубку“. Завиша не могъ прельстить Галину своей любовью; она отвергла его руку, и тогда онъ въ отчаяніи продаетъ Фирлею свое имѣніе и уѣзжаетъ. Теперь Фирлей лицомъ къ лицу встрѣчается съ Галиной, и романистъ подробно и чувствительно рассказываетъ исторію ихъ сентиментальной, высоко нравственной любви. Наконецъ жена Фирлея умираетъ. Онъ свободенъ, онъ можетъ жениться на Галинѣ, но увы—она увяла и сама, и скоро ей грозитъ смерть. На кладбищѣ встрѣчаются для перваго признанія влюбленные. Галина боится, какъ бы Фирлей въ отчаяніи не покончилъ съ собой. „О Фирлей,—восклицаетъ она,—эта любовь въ моемъ чув-

*) Этотъ романъ изложенъ въ книгѣ М. Шуйковскаго о Шатобріанѣ (см. литературу къ этой главѣ).

ствительномъ образѣ охватила безуміемъ наши сердца; я оставляю тебѣ обязанность: ты долженъ заботиться о своей жизни. Объщаешь ли мнѣ это?“ Фирлей—не Вертеръ и съ гордостью отвѣчаетъ: „О, да, подлое и безбожное преступленіе не окончить жизни, которая была посвящена тебѣ“. И, дѣйствительно, онъ еще долго носилъ цвѣты на могилу Галины.

Такова была литература, которая окружала юношескіе годы Мицкевича. Онъ долженъ былъ зачитываться ею врасось, но вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпко засѣло у него въ памяти убѣжденіе людей начала XIX вѣка, что романъ есть нѣчто низшее и что литература должна преслѣдовать нравственныя цѣли. Не даромъ и его „Дѣды“ должны были служить лишь „предостереженіемъ“ для живыхъ, какъ остроумно отмѣтилъ К. Войцеховскій (Werter w Polsce, 35). И на Словацкомъ это чтеніе оставило свой слѣдъ. Въ романахъ гр. Мостовской уже есть какой-то новый романическій оттѣнокъ, а въ повѣсти ея „Матильда и Данило“ трагическая героиня не безъ основанія напомнила одному изъ польскихъ историковъ литературы М. Шийковскому „Балладину“ Словацкаго. Какъ народническое направленіе послѣднихъ могиكانъ ложно-классицизма подготовило народное направленіе Бродзинскаго и Мицкевича, такъ для власти сердца въ поэзіи пробивали дорогу всѣ эти скучные для насъ, такіе далекіе отъ правды чувствительные романы. Это были „плоды слишкомъ сильнаго воображенія“, какъ правильно замѣтилъ старикъ Красицкій; они вытекали „не столько изъ растроганнаго сердца, сколько изъ разгоряченной головы“. Это была правда. Живое, настоящее чувство еще не завоевало себѣ правъ въ литературѣ. Культъ разума, вліяніе энциклопедистовъ господствовали и теперь.

Тотъ же Красицкій издѣвается надъ моднымъ въ ту пору образованіемъ и пишетъ въ одной изъ своихъ сатиръ слѣдующія строки: „Цитируются авторитеты въ предпринятой реформѣ: Вольтеръ не велѣлъ слушать въ воскресенье божественную литургію, Гельвецій заявилъ свое одобреніе разводамъ, Руссо былъ врагомъ освященной воды, Локкъ призналъ въ десятиномъ налогѣ простую выдумку, Ньютонъ ненавидѣлъ сорокадневные посты, Дидро полагалъ, что не слѣдуетъ бывать на проповѣди; Аламберъ писалъ книгу противъ миропомазанія“. Такимъ образомъ, клиръ энергично защищался противъ религіознаго вольномыслія, приходящаго съ Запада. Что въ этомъ

вліяніи енциклопедистовъ видѣли опасность прежде всего для вѣры, это подтверждается и другими источниками этой эпохи. Б. Губриновичъ въ своемъ интересномъ этюдѣ о романѣ въ Польшѣ время Станислава - Августа цитируетъ слѣдующее мѣсто изъ „Монитора“ за 1777 годъ: „Чтобы не показаться свѣжеиспеченымъ студентикомъ, онъ (герой разказа) взялся за первыя книжки, за которыя, обыкновенно, берутся. Это — Вольтеръ, Руссо, Гельвецій и др. Прочитавъ по нѣсколько главъ изъ каждаго, онъ полагаетъ, что уже достаточно набрался знаній... Онъ станетъ говорить о религіи по Вольтеру“... Правда, это вольтеріанство въ широкія массы не проникло, и безбожіе въ обществѣ не развилось, но оно создало извѣстное либеральное настроеніе въ литературныхъ кругахъ Варшавы *) и Вильны, и, какъ писатель, Вольтеръ оказалъ громадное вліяніе и на молодежь начала XIX вѣка. Первые произведенія Мицкевича написаны именно подъ знаменемъ Вольтера, сочиненія котораго переводились многократно и поспѣшно. До 50 изданій и переводовъ его вышло въ Польшѣ съ 1753 г. до конца вѣка. Противъ безбожія Вольтера выступило иное французское вліяніе, которое цло отъ Шатобріана. Въ 1793 году вышла въ польскомъ переводѣ брошюра французскаго священника Пея „La loi de la nature développée et perfectionnée par la loi évangélique“, которая представляетъ популяризацию новыхъ эстетическихъ взглядовъ на религію. Въ томъ же году и въ слѣдующіе выходилъ рядъ брошюръ, настаивающихъ на значеніи религіи въ жизни человѣка и отстаивающихъ ея права съ нравственной и эстетической точекъ зрѣнія. Начиналась религіозная реакція и во Франціи, и въ 1800 году снова распахнулись закрытыя двери храмовъ и одновременно съ этимъ выходить въ свѣтъ „Геній христіанства“ Шатобріана, провозвѣстникъ новаго; романтическаго направленія. Первые переводы изъ Шатобріана появляются въ Вильнѣ въ 1806 году („Dziennik Wileński“), когда вольномысліе конца XVIII вѣка уже уступало свое мѣсто мистицизму и религіозности. Грянулъ громъ надъ Польшей, и всѣ закрестились, даже тѣ, кто раньше не находилъ достаточно словъ для насмѣшекъ надъ церковью и духовенствомъ. Вліяніе Шатобріана очень сильно и имѣетъ, такъ же какъ и вліяніе Вольтера, характеръ не только религіозно-философскій, но и чисто-литера-

*) См. объ этомъ подробнѣе въ сочиненіи д-ра М. Шыйковскаго, стр. 41 и дал. (см. литературу ко II главѣ).

турный. Типъ Ренэ отразился у Мицкевича, какъ и у Пушкина.

Польская литература конца XVIII и первыхъ лѣтъ XIX вѣка была хорошо знакома съ англійской и французской беллетристикой и съ французскими энциклопедистами. Нѣмецкіе писатели были совсѣмъ неизвѣстны польскому обществу. Только съ 1815 года начинается переворотъ въ этомъ отношеніи. Его пережилъ и Мицкевичъ въ свои университетскіе годы, и къ нему прійдется вернуться дальше. Вообще же до того времени нѣмецкая поэзія оставалась совсѣмъ terra incognita для поляковъ. „Еще въ прошломъ столѣтіи,—говоритъ Белциковскій,—Красицкій на классической манеръ, чтобы занять время, пока парикмахеръ причесывалъ его голову, перевелъ Оссіана, а въ своемъ собраніи біографіи стихотворцевъ сообщилъ кое-что о Шекспирѣ, назвалъ имена Гете и Шиллера, и на этомъ дѣло и стало“. Впрочемъ, Шекспира ставили на сценѣ довольно часто, то въ переводахъ польскихъ писателей, то въ передѣлкѣ Дюси. Играли и „Эмилию Галоти“ Лессинга, и „Донъ Карлоса“ Шиллера, и драмы Коцебу, и инныя пьесы нѣмецкихъ писателей. Въ 1801 году „Новый Памятникъ“ помѣщаетъ хвалебный отзывъ о шекспировскомъ „Отелло“, передѣланномъ „изъ знаменитаго англійскаго писателя“. По словамъ рецензента, „если прежде еще можно было сомнѣваться относительно того, найдутъ ли у публики эти великолѣпнѣйшія произведенія генія достойный ихъ приемъ, то теперь такія сомнѣнія должны прекратиться“. Но то, что было терпимо на сценѣ (вѣдь режиссеры гнались за сборами, и вкусы толпы, наполнявшей театръ, не могли приниматься въ расчетъ серьезными любителями и знатоками литературы), еще не утвердилось въ литературѣ. Первые признаки пониманія Шекспира встрѣчаются въ томъ самомъ Обществѣ любителей наукъ, которое, подобно нашему Обществу любителей россійской словесности, являлось хранителемъ классическихъ традицій. Въ 1814 году въ его лонѣ образовался кружокъ изъ числа самыхъ именитыхъ членовъ Общества, Чарторыйскихъ, Замоискихъ, Нѣмцевича, Козьмяна и др. Онъ внимательно слѣдилъ за развитіемъ польскаго театра и печаталъ въ журналахъ рецензіи, подписанныя буквой *x*. Всѣ знали, что за этимъ Обществомъ *x* скрываются особенно значительныя имена, совершенно независимыя въ своихъ сужденіяхъ, и потому съ этими *x* считались очень серьезно. И вотъ въ 1816 году въ самомъ кружкѣ наступилъ расколъ, и часть его все болѣе

рѣшительно переходила на сторону новыхъ лозунговъ. По поводу представленія „Гамлета“, исковерканнаго и прилизаннаго Дюси, кружокъ иксовъ высказался въ духѣ симпатій къ романтизму и естественности. Эта въ высшей степени замѣчательная рецензія, появившаяся въ прибавленіи къ „Варшавской Газетѣ“ (6 авг. 1816 г.) *), старалась провести среднюю линію между приверженностью къ правиламъ, въ которыхъ „нуждается даже величайшій геній“, и независимостью творчества. „Почему испанцы и англичане, не имѣя никакого представленія о трагической литературѣ другъ друга, проявили столько сходства въ своихъ стремленіяхъ и въ своемъ пламенномъ южномъ и мрачномъ сѣверномъ воображеніи. пришли къ одной цѣли и создали современный родъ литературы, такъ-назыв. романтической. Еще разъ повторяю,—заявляетъ рецензентъ,—что я отдаю должную честь генію грековъ, но полагаю, что нельзя вводить никакой монополіи въ искусствѣ ради пристрастія къ извѣстному вѣку или народу. Мы, поляки, которые еще не имѣемъ трагической литературы, отмѣченной чертами народности, а потому можемъ судить свободно, безъ предразсудковъ, мы должны произнести независимый приговоръ въ томъ великомъ спорѣ, который теперь занимаетъ столько писателей. Небезопасны эти новѣйшія увлеченія; не будемъ прельщаться блескомъ ихъ яркихъ грезъ начинающихъ талантовъ, не будемъ уводить каждаго писателя на эту обширнѣйшую арену, куда могутъ вступить безнаказано только необыкновенные геніи... но, съ другой стороны, не будемъ осуждать этого зачатка литературы лишь потому, что онъ отдѣляетъ себя отъ древнихъ и оригиналенъ“. Неизвѣстный авторъ кончаетъ свою статью словами, которыя ясно свидѣтельствовали о грядущей побѣдѣ новыхъ стремленийъ надъ старыми вкусами: „Будемъ повсюду принимать за образецъ природу. Пойдемъ учиться у нея, какъ у самаго великаго художника, и взглянемъ, какъ разнообразны тѣ формы, въ которыхъ развивается жизнь“. Такъ робко прорывалась новая струя въ критикѣ. Такимъ образомъ, въ началѣ XIX вѣка, до 1815 года, когда начинается студенческая жизнь Мицкевича, сентиментализмъ и ложноклассицизмъ господствовали въ литературѣ нераздѣльно. Либерализмъ, воспитанный на энциклопедистахъ XVIII вѣка,

*) Она перепечатана Краусхаромъ въ III книгѣ его исторіи „Общества любителей наукъ“ (см. литературу ко II главѣ).

Боролся съ обскурантизмомъ, вызваннымъ къ новой жизни религиозной реакціей, охватившей всю Европу въ началѣ новаго столѣтія. Въ Литвѣ очагомъ либерализма служилъ Виленскій университетъ, тогда какъ клерикальная реакція свела себя къ крѣпкому гнѣзду въ Полоцкой іезуитской академіи.

ГЛАВА III.

Университетскіе годы Мицкевича.

Первые три года (1815—1818).

Университетскіе годы Мицкевича приходятся на очень знаменательную эпоху въ жизни польскаго общества въ Литвѣ. Это было время, когда умственная жизнь общества, сосредоточивавшаяся по преимуществу около Виленскаго университета, была особенно сильнымъ пульсомъ, когда спѣшно и тревожно поднимались и разрѣшались новые и новые вопросы громаднаго политическаго и общественнаго значенія, когда и среди молодежи, и среди зрѣлыхъ людей, способныхъ жить жизнью идей, вырабатывались новыя воззрѣнія на этическое значеніе личности въ обществѣ, когда, наконецъ, назрѣвалъ литературный поворотъ отъ ложноклассицизма къ романтизму, поворотъ, вовсе не ограничивавшійся чисто художественными вкусами, но составлявшій реформу всего міровоззрѣнія. Въ эту эпоху зрѣлъ гений молодого Мицкевича, и вліяніе ея отразилось на всемъ душевномъ складѣ поэта подобно тому, какъ молодой Словацкій еще въ эпоху „Беневскаго“ хранилъ вѣру въ бога демократіи, Мохнацкаго, и былъ бы непонятенъ, несмотря на весь свой аполитизмъ, въ эпохи тридцатыхъ годовъ.

Въ книгѣ П. Хмѣлевскаго „*Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi*“ (1815—1823) и въ недавно вышедшимъ сочиненіи I. Бѣлинскаго „*Szubrawcy w Wilnie*“ представлена живая картина того умственнаго возбужденія, которое происходило въ эти годы въ Литвѣ. Послѣ Вѣнскаго конгресса всѣ реакціонныя гидры во всей Европѣ подняли головы и зашипѣли; восторжествовали и іезуиты, уцѣлѣвшіе въ Россіи во время общаго разгрома ихъ ордена; вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, еще не были сломлены силы стараго Просвѣщенія XVIII вѣка, съ его культомъ разума, съ его

холоднымъ разсужденіемъ и разсудочнымъ либерализмомъ. И въ Вильнѣ въ 1815 г. возникаютъ два журнала, отстаивающіе стремленія этого либерализма, тогда какъ раньше была лишь одна маленькая газета; вскорѣ, уже въ 1816 г., появляется сначала безпорядочно, потомъ періодически сатирической листокъ „Уличныя извѣстія“ (Wiadomości Brukowe), ярко прогрессивный органъ, хотя и въ старомодномъ стилѣ всевозможныхъ „зрителей“ XVIII вѣка; концентрируетъ свои силы и реакція, и притонъ ея—іезуитская духовная академія въ Полоцкѣ—издаетъ журналъ (1818 г.) „Полоцкій ежемѣсячникъ“, который, однако, просуществовалъ всего годъ. Издается рядъ книгъ по крѣстьянскому вопросу; возникаетъ Типографическое общество, которое ставитъ своей цѣлью распространеніе дешевой книги въ народныхъ массахъ (апрѣль 1818 г.); въ 1817 г. вырабатываетъ свой уставъ „Благотворительное общество“, которое смотритъ на свои задачи очень широко, освѣщаетъ нужды людей съ соціологической точки зрѣнія, ставитъ вопросы общественной жизни и разрѣшаетъ ихъ въ специальномъ органѣ „Исторія мѣстной и заграничной благотворительности“. Новый характеръ въ это же время принимаютъ ученые засѣданія Виленскаго университета, которыя становятся публичными и о которыхъ съ 1815 г. даются подробные отчеты на страницахъ прогрессивнаго журнала, „Dziennik Wileński“. Оживляется дѣятельность „Медицинскаго общества“, возникаетъ отдѣленіе Библейскаго общества, крѣпнута мasonicкія ложи. Такъ во всѣхъ областяхъ общественной жизни въ эти годы, особенно съ 1815 г., замѣчается усиленная дѣятельность. Никогда до тѣхъ поръ Вильна не переживала такого подъема умственныхъ интересовъ. Крахъ, разразившійся надъ университетомъ въ 1824 г., подорвалъ этотъ процессъ, а возстаніе 1831 г. и закрытіе Виленскаго университета, нѣсколько лѣтъ спустя, и совсѣмъ покончили съ нимъ. Но въ эти годы расцвѣта (1815—1824) Мицкевичъ очень близко стоялъ къ жизни передовой польской интеллигенціи Вильны. Онъ вышелъ изъ ея среды, онъ проникся ея лучшими стремленіями и самъ далъ огромный толчокъ для ея дальнѣйшаго движенія, для развитія въ польской душѣ высшихъ идеаловъ и образовъ.

Множество вопросовъ было поднято въ эти годы. Крестьянскій остался по наслѣдству отъ наполеоновской эпохи, когда онъ былъ выдвинутъ Варшавскимъ герцогствомъ, перешелъ въ Бѣлостокскій округъ и въ Вильну, здѣсь привелъ къ проектамъ Пля-

тера, кн. Друцкаго-Любецкаго и др. и, наконецъ, въ 1817 году вылился въ форму извѣстнаго дворянскаго постановленія, такъ враждебно встрѣченнаго въ Петербургѣ. Но убѣжденіе въ томъ, что положеніе крестьянъ ненормально, что сближеніе дворянства съ народомъ необходимо для обоихъ, распространялось въ польскомъ обществѣ Литвы все шире. Молодежь, какъ всегда, была особенно отзывчива на эти демократическіе лозунги времени, и крестьянскій вопросъ, конечно, вошелъ въ ея политическія программы. Когда съ 1819 г. стало небезопасно говорить объ освобожденіи крестьянъ, журналы начали толковать убѣжденно и обстоятельно о просвѣщеніи народа, выдвинувъ на первый планъ эту неотложную задачу. Конечно, и ей горячо сочувствовала молодежь. Вмѣстѣ съ однимъ вопросомъ освободительнаго характера поднялись, какъ это всегда бывало, одновременно и другіе вопросы освобожденія, свободы женщины, свободы народовъ; этотъ послѣдній вопросъ въ Литвѣ сводился въ ту пору только къ одному, къ еврейскому. Молодежь пошла и дальше: она зашла по-бѣлорусски, заинтересовалась этнографіей литовскаго народа. Женскій вопросъ имѣлъ еще характеръ академическій, еврейскій былъ палящимъ вопросомъ дня. Эксплуатація еврействомъ невѣжественнаго крестьянства, зачастую поддерживаемая близорукимъ корыстолюбіемъ дворянства, вызывала на страницахъ печати различные проекты, какъ спасти крестьянина отъ цѣпкихъ рукъ еврейскаго шинкаря или арендатора. Однако рядомъ съ этими проектами почти не раздавалось голосовъ объ угнетеніи еврейства; предлагались мѣры борьбы съ его экономическимъ гнетомъ, но не на почвѣ ограниченія еврейства въ правахъ. И, вообще, либерализму 1815—1823 гг. совершенно чужды вождедѣнія какого бы то ни было насилія. Это—прекрасная и яркая страница въ исторіи умственныхъ движеній польскаго общества.

Либерализмъ хотѣлъ здороваго человѣка: онъ боролся со всякими суевѣрїями и предрасудками, съ сентиментальностью и обезьянствомъ французскимъ образцамъ; онъ стремился ввести гигиеническое воспитаніе, развить въ обществѣ самодѣятельность, уравнять всѣ классы народа въ правахъ. Правда, эти пожеланія зачастую носили совсѣмъ платоническій характеръ, потому что сила была не въ рукахъ общества, а въ рукахъ правительства, которое о реформахъ не помышляло. Но они создавали ту возвышенную атмосферу, въ которой созрѣвала прекрасная польская

молодежь 20-х годовъ, всё эти филоматы, филареты, „зоряне“ и другіе, приносившіе въ жертву идеалу свои молодыя жизни. Только въ такой обстановкѣ могъ создаться чистый и строгій нравственный гений поэта, который разлилъ по всёмъ жиламъ народа здоровые соки, воспринятые имъ изъ общества въ молодые годы. Не пропадаетъ духовная энергія, затраченная на умное и доброе, она передается по безчисленнымъ невидимымъ проводникамъ и рано или поздно побѣждаетъ зло, которое когда-то давило ее. Въ этомъ „оправданіе добра“, въ этомъ оправданіе и того идеализма, который, какъ ранній цвѣтокъ, расцвѣлъ въ холодные мѣсяцы русской и европейской реакціи „Священнаго союза“.

Что особенно бросается въ глаза въ эту пору, это моральная точка зрѣнія на прогрессъ, которая постоянно проходитъ въ печати и обществѣ. Вообще вопросы нравственности сильно интересовали европейское общество начала XIX вѣка; въ Польшѣ настоятельность ихъ подчеркивалась еще ненормальнымъ положеніемъ, въ которомъ находился народъ. Понять и искупить „грѣхи отцовъ“, приведшіе къ гибели государства, велѣло сердце, и Вороничъ, просившій у Бога новаго заветъ съ польскимъ народомъ, былъ выразителемъ широко разлитого томленія по нравственному идеалу. И въ этомъ отношеніи опять-таки Мицкевичъ является сыномъ своего времени. Вотъ какъ опредѣляетъ, напр., „*RamieŃnik Warszawski*“ (1816) либеральныя стремленія. „Политическое міровоззрѣніе либерально, когда оно согласно съ нравственной цѣлью человѣческаго существованія; когда оно благопріятствуетъ развитію и усовершенствованію нашихъ, умственныхъ силъ; когда оно стремится утвердить общественную свободу и права всего общества, отстаивая ихъ отъ насилія отдѣльныхъ лицъ, анархическаго или деспотическаго; когда оно преслѣдуетъ пользу всёхъ, или общественное благо, а не выгоды отдѣльныхъ лицъ или одного класса; когда оно возбуждаетъ чувства возвышенныя, благородныя и патріотическія, а не тщеславіе, корыстолюбіе и слабости; когда оно, однимъ словомъ, достойно не ловкаго придворнаго, не наемнаго льстеца или подлаго раба, но гражданина государства и дѣятельнаго, независимаго члена политической семьи“. Нравственная цѣль человѣческаго существованія, какъ задача истинно-либеральнаго чловѣка: таково было міровоззрѣніе польскаго либерализма, распространенное въ эту эпоху. Выразителемъ именно

такого политическаго пониманія явился кружокъ, организованный въ Вильнѣ въ началѣ 1817 года, но возникшій нѣсколько раньше. Душой его былъ одинъ изъ интереснѣйшихъ людей того времени, виленьскій адъюнктъ Казиміръ Контримъ, горячо преданный дѣлу прогресса, безкорыстный (хотя и порядкомъ нуждавшійся) редакторъ научнаго и общественнаго журнала „Dziennik Wileński“, стоявшій, повидимому, въ очень близкихъ отношеніяхъ къ Адаму Чарторыйскому, который черезъ его посредство проводилъ въ жизнь свои идеи. Воспользовавшись успѣхомъ нѣсколькихъ летучихъ листковъ, которые были изданы въ 1816 году подъ именемъ „Уличныхъ извѣстій“ другимъ лицомъ, Контримъ предпринялъ правильное изданіе ихъ, придавъ имъ характеръ общественной сатиры. Около „Извѣстій“ сгруппировался кружокъ лицъ, который, по новѣйшимъ изысканіямъ І. Бѣлинскаго, находился въ тѣсной связи съ масонствомъ, сильно развившимся въ эту пору въ Варшавѣ и Вильнѣ. Онъ принялъ шуточное названіе „Общества плутовъ“ (Towarzystwo szubrawców), выработалъ уставъ и началъ правильныя засѣданія; члены его носили названія, заимствованныя, что опять-таки весьма характерно для пробуждавшагося націонализма, изъ литовской мифологіи. Въ сохранившемся рукописномъ „Шубравскомъ кодексѣ“ такъ опредѣляются цѣли новаго союза: „Такъ какъ публичное сочиненіе подъ заглавіемъ „Уличныя извѣстія“, появившееся въ нашемъ городѣ сначала по случайному поводу 20 августа прошлаго (1816) года, прекратилось по выходѣ двухъ нумеровъ, а спустя нѣсколько мѣсяцевъ внушило нѣкоторымъ лицамъ, дружественнымъ всеобщему просвѣщенію, мысль поддержать его и испытать, нельзя ли у насъ ввести обычай искать развлеченія въ чтеніи и ослабить обыкновенное отвращеніе, какое проявляютъ наши земляки къ этому необходимому средству просвѣщенія; такъ какъ главнымъ препятствіемъ для дальнѣйшаго изданія этого сочиненія былъ указанный недостатокъ первоначальныхъ средствъ на печатаніе его, пока нужная сумма не получится отъ продажи нумеровъ, а одинъ изъ друзей просвѣщенія, желая, чтобъ изданіе не прерывалось, оказалъ безкорыстную поддержку на первое время; такъ какъ при дальнѣйшемъ изданіи этого сочиненія число его читателей не только не уменьшалось, но среди нихъ были замѣчены и такіе, которые прежде, начиная съ ранней молодости, никогда не прочли ни одной книжки, для развлеченія или просвѣщенія и отвращеніемъ

къ нимъ служили дурнымъ примѣромъ для младшихъ и для дѣтей; такъ какъ обнаруженіе въ „Уличныхъ извѣстіяхъ“ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ пороковъ, какъ-то: пьянства, кляузничества, лживости, позорной траты времени и средствъ въ азартныхъ играхъ, дало возможность многимъ, погруженнымъ въ пороки, узрѣть ихъ гнусность и привело въ упадокъ отвратительную игру въ домино, выгодную только для обманщиковъ и свирѣпствовавшую въ нашемъ городѣ болѣе десяти лѣтъ къ нашему великому огорченію, а, можетъ-быть, и окончательно уничтожило ее; такъ какъ въ пользу тѣхъ же „Извѣстій“ высказывались и просвѣщеннѣйшіе люди, извѣстные своими добрыми нравами, то все это привело къ тому, что для поддержки непрерывнаго изданія „Уличныхъ извѣстій“ соединялось все болѣе лицъ, которыя и начали собираться для этой цѣли разъ въ недѣлю, въ воскресенье, ведя протоколы своихъ собраній, начиная съ перваго же засѣданія (11 февр. 1817 г.). Затѣмъ, когда извѣстія сдѣлались настоящимъ періодическимъ изданіемъ, когда на нихъ была объявлена подписка, давшая значительное число подписчиковъ, даже изъ отдаленныхъ отъ города мѣстностей, не говоря уже о самомъ городѣ, и въ видахъ сохраненія общественнаго довѣрія и необходимости сохранить изданіе, по крайней мѣрѣ, на годъ, чѣмъ бы не были нарушены интересы подписчиковъ, требовалось укрѣпить его существованіе; такъ какъ съ увеличеніемъ числа лицъ, входящихъ въ составъ общества, возникаетъ естественная необходимость въ извѣстныхъ правилахъ поведенія, чтобы всѣ члены его въ своемъ согласіи составляли какъ бы одно юридическое лицо; въ виду этого нижеподписавшіеся, работавшіе еще и раньше надъ этимъ дѣломъ, собирающіеся и составляющіе Шубравское общество, для сохраненія его непрерывности и для соблюденія причлествующаго порядка въ его дѣятельности постановили принять слѣдующія правила, которыя, составляя Шубравскій кодексъ, должны служить руководствомъ для каждого шубравца въ выполненіи имъ своихъ обязанностей“. Этотъ кодексъ былъ составленъ 18 іюня 1817 года. Въ уставѣ выдвинута впередъ, какъ и въ варшавскомъ опредѣленіи истиннаго либерализма, нравственная сторона. Въ первомъ параграфѣ устава говорилось слѣдующее: „Своей задачей общество ставитъ осмѣивать, не имѣя въ виду опредѣленныхъ лицъ (т.-е. совершенно въ духѣ сатиры XVIII в.), тѣ привычки, обычаи и пороки, которые по своей природѣ не подлежатъ законному преслѣдованію, но въ высшей степени вредны

для общества, у насъ же давно вошли въ нравы общества и, что особенно худо, обыкновенно вовсе даже почитаются за проступки и недостатки“. Какіе же пороки имѣли въ виду „Шубравцы“, которые, какъ видимъ, ставили себѣ гораздо болѣе важныя цѣли, нежели наши „Арзамасцы“? Уставъ перечисляетъ ихъ: это пьянство, игра въ карты, домино или на бильярдѣ, сутяжничество, похвальба титулами отцовъ, униженіе передъ высшими и презрительное отношеніе къ низшимъ, некритическое восхищеніе всѣмъ своимъ и т. д. Какъ видимъ, развитіе серьезной, устойчивой, морально здоровой личности—вотъ стремленія польскаго либерализма тѣхъ годовъ, на которые приходится студенческая пора Мицкевича.

Шубравцы были настроены въ духѣ демократизма конца XVIII вѣка. Въ рѣчи, произнесенной при приемѣ одного новаго члена въ 1818 году, они спѣшатъ отмѣтить общее равенство всѣхъ членовъ. „Не удивляйся, — говоритъ старшина (Dygnitarz), слыша названіе этого достоинства. — Этотъ титулъ не связанъ у насъ, какъ это бывало въ прошлое время, съ распущенностью, лѣнью, чванствомъ и презрѣніемъ къ низшему состоянію; онъ не устанавливаетъ разницы между нами, не разрушаетъ равенства“ и т. д. Въ той же рѣчи старшина шубравцевъ рекомендовалъ этихъ послѣднихъ, какъ „большихъ друзей крестьянъ, немилосердно издѣвающихся надъ тѣми яко бы господами, которые не по-человѣчески обращаются съ крестьянами и угнетаютъ ихъ“. Органъ шубравцевъ издѣвался надъ ложнымъ просвѣщеніемъ, въ которомъ видѣлъ, подобно Крылову, „лишь роскоши прельщеніе и даже нравовъ развращеніе“, надъ обскурантизмомъ, разгульностью и т. д. А вліяніе „Уличныхъ извѣстій“ было громадно. Какъ заявляетъ Мохнацкій, современный Мицкевичу варшавскій критикъ, „понемногу они забрали такую силу и стали писать такъ рѣзко, что каждый, сознающій себя виноватымъ, дрожалъ при одномъ воспоминаніи о нихъ“, а сами „Wiadomości Brukowe“ влагали въ уста недовольному дворянину такія рѣчи: „Съ той поры, какъ явилась смѣлость печатать эту подлую газетку, нѣтъ дома на десять верстъ вокругъ, куда бы ни съѣзжались въ каждый воскресный вечеръ глотать эти бредни“. Несомнѣнно, въ созданіи здоровой нравственной атмосферы, въ которой росли Мицкевичъ и его товарищи, „Уличнымъ извѣстіямъ“ принадлежитъ почетная роль, хотя они были выразителями

старыхъ вкусовъ, того общественнаго и литературнаго міровоззрѣнія, которое довольствовалось идеями французскихъ энциклопедистовъ и ложноклассиковъ, въ политикѣ это были сторонники компромисса. Стремленій молодежи шубравцы уже не могли понять, и политическіе союзы среди молодежи встрѣтили осужденіе на столбцахъ „Извѣстій“. Они не сочувствовали также и романтизму и не пережили его: въ 1822 году, когда вышелъ первый томикъ стихотвореній Мицкевича, прекратили свое существованіе „Wiadomości Brukowe“ (H. Galle. „Wiek XIX“, т. II, стр. 267). Въ Обществѣ совершалось раздвоеніе, охота писать падала; Шубравцы начинали чувствовать, что духъ времени начинаетъ требовать чего-то иного, болѣе національнаго, болѣе живого отраженія жизни, но не могли сойти съ проторенной дороги сатиры эпохи Просвѣщенія. Отсюда, съ одной стороны, естественный упадокъ общества, съ другой—вражда его къ новымъ теченіямъ въ литературѣ и среди молодежи. „Уличныя извѣстія“ должны были умереть своей смертью, но есть (смутныя) указанія и на какія-то полицейскія преслѣдованія ихъ. Во всякомъ случаѣ, въ свое время Шубравцы сыграли видную и благородную роль.

Фактъ несочувствія „Извѣстій“ студенческимъ стремленіямъ болѣе знаменателенъ, что въ кружкѣ шубравцевъ доминирующую роль играли представители университетской науки, старшее поколѣніе Виленскаго университета, которое въ своемъ міровоззрѣніи становилось уже чуждо младшему поколѣнію. Однако, самъ Контримъ хранилъ близость къ студенческимъ кружкамъ, и его значеніе въ послѣдующихъ политическихъ движеніяхъ молодежи было, несомнѣнно, велико.

Университетъ доминировалъ въ умственной жизни Литвы. Среди его силъ было не мало людей, пользовавшихся большимъ влияніемъ въ обществѣ; его профессора, какъ напр., братья Снядецкіе, астрономъ и медикъ, Гродекъ, классикъ, Юндзиль, профессоръ естественной исторіи, и многіе другіе были центрами, около которыхъ вращались умственные и политическіе интересы общества. Съ 1803 года,—говоритъ историкъ Виленскаго университета, I. Бѣлинскій,—„Виленская главная школа становится *par excellence* народной, польской. Общество чрезвычайно интересуется ею, и это очень естественно, ибо общество черпаетъ изъ нея все великое, все доброе, благородное, національное. Виленскій университетъ ревниво слѣдитъ за тѣмъ, чтобы обще-

ство ничего не утратило изъ того, что оно добыло съ помощью тысячелѣтней латинской цивилизаціи. Университетъ заботится о народномъ языкѣ, указываетъ, какіе недостатки тяготѣли на полякахъ въ прошломъ, даетъ совѣты, какъ ихъ надо избѣгать въ будущемъ“. Надо прибавить, что десятилѣтіе 1815—1824 было временемъ наиболѣе блестящей дѣятельности Виленскаго университета, чтобы понять, какъ тѣсна связь Мицкевича съ его *alma mater*.

Эта связь вовсе не ограничивалась той научной подготовкой, которую она давала умамъ молодежи. Было нѣчто болѣе важное и глубокое, что связывало молодежь съ университетомъ. Это было политическое настроеніе, лозунгъ котораго былъ данъ Чарторыйскимъ и начальству университета, и студенчеству. „Тайнственной дорогой доходили до свѣдѣнія виленскихъ студентовъ конфиденціальныя указанія князя, сообщаемыя имъ университету и касавшіяся поддержанія и подъема народнаго чувства. Болѣе мечтательныя головы строили даже далеко идущіе планы, исполненные благородныхъ, хотя и невыполнимыхъ проектовъ, вѣрили даже въ возможность королевской династіи Чарторыйскихъ“ (H. Mościcki. Wilno i Warszawa, 6). Самъ Мицкевичъ подтвердилъ слухи о такой тайной агитаторской дѣятельности попечителя въ своей рѣчи, произнесенной имъ въ Парижѣ въ 1852 году въ присутствіи уже совсѣмъ стараго князя Адама Чарторыйскаго. „Мало кто, а, можетъ-быть, и никто не знаетъ объ одной подробности въ жизни князя,—говорилъ Мицкевичъ,—о тайныхъ инструкціяхъ, которыя онъ давалъ ректору университета, и о тайной корреспонденціи, которую онъ велъ съ нимъ. Инструкціи эти касались главнымъ образомъ вопроса о сохраненіи и подъемѣ народнаго чувства въ этой части Польши и о тѣхъ средствахъ, съ помощью которыхъ можно было бы легче всего сохранить въ ней чувства народа и его надежды на лучшее будущее. Зная объ этихъ стремленіяхъ своего вождя и опекуна, виленская университетская молодежь, несмотря на препятствія со стороны университетскихъ властей, искала, какимъ бы способомъ не только уже распространять патріотическія чувства и питаться надеждами, но и претворять ихъ въ дѣло, и эта работа молодежи, эти стремленія воплотить въ жизнь желанія и виды князя становились тѣмъ болѣе легкими для нея, что она видѣла поддержку для своихъ усилій въ начальникѣ, который, не колеблясь, посвятилъ національной

идеѣ свое высокое положеніе, свое имя и все свое будущее“. Старая профессура въ лицѣ Снядецкихъ, Юндзила и др. не сочувствовала этимъ стремленіямъ и жила, вообще, очень далеко отъ студенчества. Но въ 1816 г., съ назначеніемъ ректоромъ вмѣсто Яна Снядецкаго, гораздо болѣе доступнаго Малевскаго (до 1822 г.) измѣнились и эти отношенія между начальствомъ университета и студенчествомъ; пропасть сгладилась. По свидѣтельству Владислава Мицкевича, „студенты съ увлеченіемъ привѣтствовали учителей, которые не только не охлаждали ихъ пыла, но еще сами разжигали въ нихъ священное пламя любви къ родинѣ. Этихъ новыхъ теченій и этой усиленной жизни въ университетѣ не понимали люди, вообще достойные, но привыкшіе къ старой рутинѣ. Въ происшедшей перемѣнѣ во взаимныхъ отношеніяхъ между профессорами и студентами они видѣли вредное явленіе. По словамъ Игнатія Домейко (друга Мицкевича), когда Лелевель пріобрѣлъ громадную популярность, то Снядецкіе и Юндзиль не скрывали своего неудовольствія и относились къ студентамъ съ нѣкоторымъ недоброжелательствомъ“. Однако, ледъ былъ сломленъ, и съ этого времени политическое вліяніе Чарторыйскаго, направленное на поддержаніе національно польской жизни въ Литвѣ, снова оказавшейся послѣ Вѣнскаго конгресса въ одномъ государствѣ съ Польшей, стало быстро распространяться среди студенчества. Въ доносѣ послѣдняго ректора Виленскаго университета, извѣстнаго ренегата Пеликана, поданномъ имъ въ „Комитетъ Западныхъ губерній“ (1831), заключаются важныя указанія на патриотическое настроеніе виленской молодежи. „При прежнемъ попечителѣ Виленскаго учебнаго округа, князѣ Чарторыйскомъ, Виленскій университетъ могъ быть справедливо названъ рассадникомъ всего того дурного, что несправедливо приписывается ему теперь; молодежь, не сдерживаемая бдительнымъ надзоромъ, а, наоборотъ, подстрекаемая лукавымъ индиферентизмомъ начальника, погруженная сверхъ того въ развратъ и наглость, склонялась къ противозаконному политическому направленію, чему благоприятствовало образованіе тайныхъ обществъ, которыя подъ невинными названіями и предлогами стремились къ велегальнымъ политическимъ цѣлямъ, къ ниспроверженію существующаго строя. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что ихъ стремленія были извѣстны бывшему попечителю Виленскаго учебнаго округа; болѣе того, онъ тайно поддерживалъ ихъ начинанія и какъ бы

случайно содѣйствовали осуществленію ихъ незаконныхъ намѣреній; тѣ изъ профессоровъ и членовъ университета, которые оказывали наиболѣе вредное вліяніе на пылкую молодежь и могли быть самыми дѣйствительными орудіями для умноженія тайныхъ обществъ и распространенія преступныхъ понятій и убѣжденій, находились подъ особымъ его покровительствомъ“ и т. д.

Такимъ образомъ, одинъ изъ факторовъ, содѣйствующихъ національному настроенію виленской молодежи послѣ Вѣнскаго конгресса, налицо: это вліяніе политическихъ дѣятелей, прежде всего Чарторыйскаго, которые, послѣ заключенія „Священнаго союза“ и созданія Царства Польскаго, съ горечью увидѣли, что польскій вопросъ сошелъ съ арены международныхъ отношеній, что въ глазахъ Европы онъ окончательно разрѣшенъ въ духѣ третьяго раздѣла. Оставалась надежда на самихъ себя, и Чарторыйскій сталъ готовить возстаніе, вступивъ для этого въ связь съ молодежью. И на процессѣ филаретовъ, о которомъ рѣчь будетъ ниже, усилія наиболѣе замѣшанныхъ лицъ сводились лишь къ тому, чтобы не выдать слишкомъ рано главу движенія, самого князя Адама. Другой факторъ заключался въ польскихъ студенческихъ обществахъ, возникавшихъ въ эту пору какъ въ Варшавѣ, такъ и за границей. Развитіе этихъ обществъ относится, правда, уже къ болѣе позднему времени, къ двадцатымъ годамъ, но и раньше возникали тайныя организаціи, отчасти масонскаго характера (терпимыя и даже тайно поощряемыя правительствомъ), отчасти революціоннаго народнаго направленія. Къ числу послѣднихъ относилось „Общество истинныхъ поляковъ“, основанное въ 1814 г., но просуществовавшее недолго. Дѣятельность Вал. Лукасинскаго и его друзей была направлена и въ эти годы, какъ позже, на созданіе революціонной національной конспираціи. Отголоски этой дѣятельности слышатся въ Литвѣ уже очень рано, въ 1816 г. (Н. Mościcki. Wilno i Warszawa, 125). Въ Варшавѣ въ 1817 году возникаетъ общество „Панта койна“ (т.-е. все общее), которое было открыто и подверглось преслѣдованію уже черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1822 г. Въ одномъ изъ своихъ донесеній по этому предмету сенаторъ Новосильцовъ сообщалъ, что „новѣйшіе тайные союзы ограничиваются исключительно тѣмъ народомъ, къ которому принадлежатъ ихъ члены, и который они понимаютъ въ самомъ широкомъ значеніи слова. Основаніе, на которомъ они поступаютъ и которое руководитъ ихъ дѣятельностью, обнимается словомъ

народность, понятомъ такъ ошибочно и разнообразно“. Подобный же союзъ „Związek Przyjacielski“ (Дружескій союзъ) былъ основанъ въ то же самое время польской молодежью, жившей въ Берлинѣ. Въ конфискованной рѣчи основателя его, Кёлера, цѣль этого союза опредѣлялась слѣдующимъ образомъ: „Спѣшить на помощь родинѣ, рвать опутавшія ее узы, воспитывать сердца и умы, чтобы своимъ вліяніемъ на другихъ будить въ нихъ и развивать чувство любви къ родинѣ, которое никогда не засыпаетъ въ сердцахъ поляковъ“. Всѣ эти союзы и общества стояли въ болѣе или менѣе близкой связи съ нѣмецкимъ студенческимъ движеніемъ, выразившимся въ различныхъ Tugendbund'ахъ и Burschenschaft'ахъ, которые основывались тогда въ нѣмецкихъ университетахъ. Уже очень рано, въ 1816 г., въ Литву проникли (какъ полагаетъ проф. Аскенази въ своей работѣ о Лукасинскомъ) вліянія стараго Tugendbund'a, предшественника Burschenschaft'овъ, изъ Кенигсберга.

Такимъ образомъ, большое умственное и общественное возбужденіе, концентрировавшееся въ Вильнѣ около университета и имѣвшее національную и этическую подкладку, скрещивалось здѣсь съ патріотическими стремленіями, исходившими изъ Варшавы и изъ-за границы, создавая особенно благоприятную обстановку для воспитанія молодого идеализма. Въ эту среду и попалъ Адамъ Мицкевичъ, поселившись въ Вильнѣ и поступивъ въ университетъ. Онъ былъ еще совсѣмъ мальчикомъ, когда отправлялся изъ своего тихаго и глухого Новогрудка въ „шумную“ столицу Литвы. Въ первый разъ еще Мицкевичъ предпринималъ такое дальнее странствованіе, и воображеніе его было наполнено ужасами. Не даромъ онъ держалъ передъ собой ружье на всякій случай и чуть-было не пальнулъ въ прохожаго, неожиданно вышедшаго на дорогу. Хорошо, что извозчикъ удержалъ его. Прохожій попросилъ подвезти его и оказался добрымъ и гостепріимнымъ человѣкомъ; онъ пріютилъ у себя юношу, а жена его съ материнской нѣжностью учила, какъ съ кѣмъ нужно говорить и т. п. Очень тоскливо было на душѣ у молодого мечтателя, въ первый разъ покинувшаго родной городокъ. Проходя мимо образа Остробрамской Б. Матери, онъ, какъ ему велѣла мать, сталъ на колѣни и принялся молиться, и при этомъ „воспоминанія о матери и впечатлѣнія чужого города такъ потрясли его, что онъ расплакался горькими слезами“. И тогда уже, что очень характерно для врожденнаго Мицкевичу тяготѣнія къ мистикѣ, онъ

„какъ-будто бы въ самомъ себѣ услышалъ увѣреніе, что Богоматерь принимаетъ его подъ свою защиту“.

Въ Вильнѣ жилъ старичокъ-профессоръ физики, ксендзь Іосифъ Мицкевичъ, человекъ давно отставшій отъ науки, болѣзненный, скуповатый. Онъ не былъ родственникомъ Адама, но практичная мать велѣла сыну обратиться за помощью къ ксендзу-профессору... на правахъ однофамильца. Старикъ принялъ Мицкевича и поселилъ его у себя, давъ ему этимъ возможность поступить въ университетъ. Онъ посовѣтовалъ юношѣ поступить на физико-математическій факультетъ и подать прошеніе для поступленія въ „учительскую семинарію“. Такіе студенты получали стипендію (15 р. въ мѣсяцъ), помѣщеніе, одежду и книжки, но зато подлежали надзору „префекта кандидатовъ“ и должны были за каждый годъ стипендіи нести обязательную учительскую службу въ продолженіе двухъ лѣтъ по назначенію университета. Однако, для полученія стипендіи нужно было выдержать конкурсный экзамень. Здѣсь, на этомъ экзаменѣ, Мицкевичъ впервые встрѣтился съ обаятельной личностью Зана, который уже тогда проявилъ свое обычное сердечное благородство, крѣпко пожавъ руку своему счастливому сопернику. Самъ онъ не получилъ стипендіи. 1 октября 1815 г. Мицкевичъ подписалъ заявленіе о принятіи на себя всѣхъ обязательствъ, сопряженныхъ со стипендіей. Начались учебныя занятія. Весной 1816 г. онъ выдержалъ очень неважно экзамень по физикѣ, химіи и алгебрѣ, а затѣмъ перешелъ на другой факультетъ, на „Отдѣлъ литературы“. Впрочемъ, и числясь математикомъ, Мицкевичъ слушалъ историко-филологическіе предметы, древнюю литературу, всеобщую и польскую исторію. Когда въ маѣ 1819 г., желая сдать послѣдніе университетскіе экзамены (на степень магистра на Отдѣлѣ литературы, а степень кандидата философіи Мицкевичъ получилъ еще весной 1816 года послѣ экзамена на физико-математическомъ факультетѣ), когда въ маѣ 1819 г. поэтъ подалъ соответствующее прошеніе, деканъ далъ слѣдующія свѣдѣнія о Мицкевичѣ: „Будучи внесенъ 15 сентября 1816 года въ книгу Отдѣла литературы и изящныхъ искусствъ, онъ занимался изученіемъ литературъ греческой, римской, а также риторики, поэтики, логики и всеобщей исторіи; этими науками онъ занимался непрерывно до настоящаго времени“ (т.-е. до 24 мая 1819 г.). Сохранились отрывки университетскихъ записей Мицкевича по исторіи гуманизма, относящіяся, какъ пола-

гаетъ издатель, Вл. Белза, къ 1817—18 году, но врядь ли, вообще, много было подобныхъ записей у поэта. Какъ большинство самостоятельныхъ натуръ, онъ не любилъ слушать лекціи, которыя полезны для людей съ пассивнымъ познаніемъ (со слуховой внутренней рѣчью). Такъ, въ 1818—1819 уч. году, т.-е. когда Мицкевичъ кончалъ курсъ, профессоръ русской литературы въ оба полугодія отмѣтилъ: „Рѣдко ходилъ“, зато по польской литературѣ проф. Боровскій призналъ его успѣхи большими, при чемъ лишь одному Мицкевичу поставилъ этотъ баллъ; нѣмецкіе успѣхи его были признаны хорошими, а англійскіе—великодушными (знакомы). Эти сухія отмѣтки бросаютъ извѣстный свѣтъ на тогдашніе научные интересы молодого поэта. Онъ сдѣлалъ хорошіе успѣхи по нѣмецкому и англійскому языкамъ, потому что много читалъ на нихъ. Какъ же можно было сдѣлать ихъ иначе? Исключительный баллъ, которымъ Боровскій оцѣнилъ успѣхи Мицкевича въ родной литературѣ, указываетъ на то, что онъ заинтересовался имъ. Кого же изъ профессоровъ слушалъ Мицкевичъ? Обыкновенно называютъ троихъ, оказавшихъ на него болѣе значительное вліяніе. Это были: профессоръ классической философіи Гроддекъ, умѣвшій вліять на своихъ слушателей не только своими глубокими познаніями въ классическомъ мірѣ, но и философскими обобщеніями, молодой профессоръ польской словесности Боровскій и начинавшій тогда свою ученую карьеру Лелевель. Боровскій былъ хорошо знакомъ съ новѣйшей европейскою литературой, хотя не вышелъ изъ предѣловъ умѣренной приверженности къ ложноклассикамъ. Онъ отличался доступностью, охотно просматривалъ студенческія литературныя упражненія и, если замѣчалъ у кого-нибудь изъ нихъ дарованіе, приглашалъ его къ себѣ и велъ съ нимъ отдѣльныя бесѣды. Большой цѣнитель стилистики, онъ долженъ былъ содѣйствовать выработкѣ вкусовъ Мицкевича. Но глубиной мысли и пониманія литературы Боровскій не отличался, и несомнѣнно, еще студентомъ Мицкевичъ обогналъ его въ тонкомъ художественномъ развитіи. Во всякомъ случаѣ, если о Гроддекѣ поэтъ выражается вскользь и лишь впоследствии, самъ сдѣлавшись профессоромъ въ Лозаннѣ, шутливо замѣчаетъ, что ему пригодились уроки Гроддека и что онъ преподаетъ съ его „важностью“, то о Боровскомъ воспоминанія Мицкевича имѣютъ болѣе опредѣленный характеръ. Еще въ 1829 г. Мицкевичъ рассказывалъ, что

въ продолженіе многихъ лѣтъ всякій разъ, когда онъ писалъ стихи, онъ чувствовалъ около себя чопорную и холодную, какъ мраморъ, фигуру и лицо Боровскаго, который безъ всякаго состраданія къ рѣмѣ или гармоніи стиха, съ неумолимой суровостью Миноса, преслѣдовалъ каждую нелогическую мысль, каждое неясное выраженіе, каждое некстати употребленное слово. Онъ былъ благодаренъ Боровскому за то, что тотъ „научилъ его чувствовать и цѣнить неисчерпаемыя красоты и богатство языка, заключающіяся въ переводѣ Тасса (Петра) Кохановскаго, а особенно въ поэзіи Трембецкаго“. Такимъ образомъ, лишь выработкой строгости къ внѣшней формѣ Мицкевичъ чувствовалъ себя обязаннымъ Боровскому, другими словами, лишь въ области ложноклассической версификаціи, придирчивой къ тонкостямъ употребленія словъ и рѣмѣ, Мицкевичъ признавалъ извѣстный авторитетъ своего профессора. Направленіе его поэзіи сложилось внѣ опредѣленныхъ литературныхъ вліяній, хотя и здѣсь чувствуется воздѣйствіе взглядовъ Боровскаго или, вѣрнѣе, духа времени, которому подчинился и Боровскій. Врядъ ли можно говорить о непосредственномъ вліяніи Лелевеля на Мицкевича-студента. Мы знаемъ, что ему импонировали смѣлая и оригинальная личность молодого профессора, его самостоятельность въ сужденіяхъ и независимость отъ виленскихъ литературныхъ вкусовъ. Когда Лелевель переѣхалъ въ Варшаву, то именно къ нему обратился Мицкевичъ, задумавъ напечатать свой первый эстетико-литературный очеркъ, который нѣсколько расходился съ воззрѣніями виленскаго литературнаго ареопага. Но тогда же, т.-е. уже въ 1818 г., Мицкевичъ отмѣчалъ, что лично онъ неизвѣстенъ Лелевелю. Слѣдовательно, того настоящаго вліянія, которое оказывается возможнымъ лишь при непосредственныхъ отношеніяхъ между профессоромъ и студентомъ, въ данномъ случаѣ не было. О другихъ профессорахъ нечего и говорить: у нѣкоторыхъ изъ нихъ Мицкевичъ долженъ былъ держать экзамены, но въ умственной жизни его они, повидимому, не сыграли никакой роли. А вѣдь молодой поэтъ былъ въ томъ счастливомъ положеніи, что въ домѣ молодого Малевскаго, сына ректора, съ которымъ онъ довольно близко сошелся уже въ первые годы студенчества, онъ могъ встрѣчаться болѣе или менѣе запросто съ различными профессорами. Между тѣмъ изъ устъ Домейки мы узнаемъ, что Мицкевичъ „не любилъ университетскихъ каедръ,

онѣ наводили скуку на него, онъ самъ себѣ былъ профессоромъ“. И, дѣйствительно, эрудиція Мицкевича въ области исторіи литературы такова уже въ 1818—1819 г., какъ будто онъ уже студентомъ намѣтилъ себѣ специальность и готовился къ ученой карьерѣ. Этому въ высшей степени содѣйствовала дѣятельность Мицкевича среди филоматовъ.

Каковы были литературные вкусы поэта, общая его литературная подготовка, когда изъ своего Новогрудка онъ переѣхалъ въ Вильну? Самъ Мицкевичъ говоритъ, что въ первые годы пребыванія въ университетѣ онъ „писалъ такіе стихи и имѣлъ такое представленіе объ искусствѣ, какихъ требовали тогдашніе варшавскіе рецензенты“. А это значитъ, что онъ долго держался вкусовъ ложноклассиковъ. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ стоялъ Вольтеръ, совсѣмъ покорившій сердце Мицкевича. На первый взглядъ это кажется страннымъ: чѣмъ могъ плѣнить мечтательнаго и религіознаго юношу разсудочный философъ? И, тѣмъ не менѣе, Вольтеръ былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ его кумиромъ, его сатирическія произведенія Мицкевичъ переводитъ или перекладываетъ на польскіе нравы, его литературные приемы кажутся Мицкевичу образцомъ изящества, онъ принимаетъ ихъ прямо за законы поэзіи. Причины этого явленія двоякія: во-первыхъ, Вольтеръ былъ высоко цѣнимъ виленскими либералами, „шубравцами“ и др.; увлеченіе имъ, остывшее - было въ первыя десять лѣтъ XIX вѣка, высоко было поднято „обратными волнами“ (выраженіе М. Шнейковскаго) просвѣщеннаго либерализма именно въ эту пору. Во-вторыхъ, Вольтеръ не давалъ спуска религіознымъ орденамъ, а у Мицкевича былъ тоже зубъ противъ одного изъ нихъ, противъ доминиканцевъ. Это было совсѣмъ мальчишеское отношеніе къ недавнимъ учителямъ; вѣдь новогрудскую гимназію содержали именно доминиканцы, и вотъ молодой поэтъ не упускаетъ случая, чтобы продернуть орденъ св. Доминика, „лозунгомъ котораго служатъ кресты, пытки и война, который живьемъ выжегъ еретиковъ альбигойцевъ“ (какъ писалъ поэтъ въ своемъ „Картофель“ въ 1819 г.). Надъ орденами издѣвался и Красицкій, самъ епископъ и къ тому же поклонникъ Вольтера, и въ 1818 году проф. Боровскій напечаталъ въ „Виленскомъ дневникѣ“ подробный комментарий къ первой пѣснѣ „Манахомахіи“ Красицкаго. Вольтероманія Мицкевича была неизбѣжнымъ явленіемъ въ его умственномъ развитіи, но, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ изъ польскихъ критиковъ,

въ возвышенной атмосферѣ филоматовъ увлеченіе Вольтеромъ не могло удержаться долго. Кромѣ Вольтера, Мицкевичъ хорошо зналъ Руссо, но для поклоненія его сентиментальнымъ образамъ время для поэта-юноши еще не пришло. Въ эти годы онъ изучалъ „Contract social“ Руссо и примѣнялъ его принципы къ своему товарищескому кружку. Изъ польскихъ же поэтовъ излюбленными образцами вкуса и языка служили для Мицкевича въ эту пору Петръ Кохановскій (писатель начала XVII вѣка), переводчикъ „Освобожденнаго Іерусалима“, и поэтъ Станиславовской эпохи Трембецкій. Объ этомъ послѣднемъ Мицкевичъ говорилъ съ восхищеніемъ до конца своей жизни, когда ужъ онъ давно осудилъ Вольтера и свое увлеченіе имъ. О языкѣ Трембецкаго, какъ о необыкновенномъ для XVIII вѣка явленіи, говорятъ и новѣйшіе критики. „Такой свободой и смѣлостью, съ какими Трембецкій черпалъ свои богатства изъ сокровищницы языка, не обладалъ ни одинъ современный поэтъ, тѣмъ болѣе ни одинъ изъ эпигоновъ неоклассицизма, именно потому, что ни одинъ изъ нихъ не обладалъ такой глубоко художественной натурой, какъ Трембецкій“, говоритъ проф. Третьякъ, который признаетъ языкъ Трембецкаго исполненнымъ силы, блеска и пластики. Вольтеру и Трембецкому и подражаетъ молодой Мицкевичъ: первому въ общемъ тонѣ разсказа, второму въ описаніяхъ, излюбленномъ литературномъ видѣ XVIII вѣка, въ басняхъ и стилѣ. Подъ этимъ двойнымъ вліяніемъ сложились первыя юношескія произведенія молодого поэта, недавно открытыя, отчасти напечатанныя, отчасти пересказанныя, но въ цѣлости еще не извѣстныя. Богъ вѣсть, и будутъ ли они когда-нибудь напечатаны. Дѣло въ томъ, что они сохранились у родственниковъ Мицкевича, которые дали слово не печатать ихъ. Зато въ недавнее время найденный архивъ филоматовъ далъ драгоценныя матеріалы для ознакомленія съ университетскими годами поэта. Въ настоящее время эти матеріалы извлечены и напечатаны; мы знаемъ также, хотя бы въ изложеніи и отрывкахъ, первыя юношескія попытки Мицкевича¹⁾. Благодаря печатающимся протоколамъ филоматовъ, мы лучше знаемъ и среду, въ которой воспитывался поэтъ.

¹⁾ Нѣкоторыя юныя произведенія Мицкевича „Мѣшко“ и „Картофель“ (пѣснь I) сохранились въ бумагахъ покойнаго брата А. Мицкевича, Александра, который въ 1824 г. обѣщалъ брату не печатать ихъ и не позволять печатать. Дочь Александра Мицкевича связана тѣмъ же словомъ.

Вольтеромъ, Красицкимъ и Трембецкимъ Мицкевичъ началъ свою университетскую жизнь. Но здѣсь его вскорѣ охватили инныя вѣянія. Въ воспоминаніяхъ Качковского, поступившаго въ Виленскій университетъ въ одинъ годъ съ Мицкевичемъ, мы встрѣчаемъ жалобы на разрозненность студенческой жизни въ Вильнѣ: „Здѣсь каждый былъ предоставленъ самъ себѣ и долженъ былъ устраиваться собственными силами. Большой солидарности я тоже не нашелъ. Почти каждая гимназія держалась отдѣльно. Кременчане общались главнымъ образомъ другъ съ другомъ, жмудины также“. Молодежь не жила, вообще говоря, идейной жизнью: кутежи, драки, частыя столкновенія съ офицерами, азартныя игры составляли хронику болѣе состоятельнаго студенчества. То же самое, впрочемъ, было и въ Москвѣ, въ университетѣ; такъ жила и лицейская молодежь въ Царскомъ селѣ и Петербургѣ. У дворянскихъ сынковъ были лишнія деньги, и они прожигали жизнь. Мицкевичъ, конечно, не подходилъ къ этой средѣ. Не было у него сначала и друзей, кромѣ Яна Чечота, пріѣхавшаго вмѣстѣ съ нимъ изъ Новогрудка. Однако скоро уже онъ столкнулся съ Запомъ, принадлежавшимъ къ кружку шубравцевъ, и между ними началось знакомство, перешедшее въ скоромъ времени въ горячую дружбу, гдѣ роль старшаго руководителя принадлежала, повидимому, Зану, этому Станкевичу польской литературы. Потребность жить болѣе серьезной идейной жизнью чувствовалась все больше въ разныхъ концахъ Литвы, а въ Вильнѣ, гдѣ именно въ эту пору развивается широкое умственное и общественное движеніе, оно не могло не передаться и въ студенческую среду. Кромѣ кружковъ легкомысленныхъ прожигателей жизни, здѣсь должны были образоваться и иные кружки, какъ въ Вавшавѣ, какъ за границей. Въ напечатанныхъ недавно мемуарахъ М. Чарноцкаго, воспитанника минской гимназіи, поступившаго въ университетъ тоже въ 1815 году, сообщаются кое-какія подробности о первыхъ студенческихъ кружкахъ. Чарноцкій рассказываетъ, что изъ минской гимназіи въ университетъ поступилъ цѣлый рядъ хорошихъ учениковъ, и деканъ Малевскій (ректоромъ временно былъ тогда Лобенвейнъ) съ похвалою выразился о нихъ, чѣмъ очень польстилъ самолюбію студентовъ. „Слова Малевскаго сдѣлались великимъ стимуломъ для насъ,—говоритъ Чарноцкій,—не только въ отношеніи успѣховъ въ наукахъ, но и въ отношеніи примѣр-

наго поведенія. Въ тотъ же вечеръ мы всё собрались у Зеновичей (тоже студентовъ изъ Минска, людей состоятельныхъ, поселившихся въ Вильнѣ всѣмъ семействомъ) и единогласно постановили учредить между собой родъ братства для взаимной помощи въ наукахъ и наблюденія за нравственностью другъ друга. Намъ удалось выдержать цѣлый годъ. На слѣдующій же годъ наше общество не только не распалось, но даже умножилось новыми членами“. Черноцкій рассказываетъ о томъ, какъ дѣйствительно при университетской специализаціи эта „взаимная помощь въ наукахъ“ оказалась недостижимой. Кружокъ принялъ характеръ научно-литературный. съ чтеніемъ рефератовъ, еженедѣльными собраніями и т. д. Стали приходять и посторонніе, чтобы посмотреть и послушать. Въ концѣ-концовъ кружокъ потерялъ всякое значеніе въ глазахъ его участниковъ. Гораздо серьезнѣе развилось иное студенческое общество, начало котораго восходитъ тоже къ 1815 году. Самъ Мицкевичъ рассказывалъ о немъ впоследствии, уже на слѣдствіи по дѣлу филаретовъ, слѣдующее: „Съ самаго прибытія моего въ Вильну, т.-е. съ 1815 года, я находился въ особенно дружескихъ отношеніяхъ съ Т. Заномъ и І. Ежовскимъ; мы были товарищами, посѣщали однѣ и тѣ же лекціи, и я нерѣдко нуждался въ совѣтѣ болѣе способныхъ товарищей. Когда впоследствии мы отделились исключительно литературѣ, то по необходимости и по общему желанію наши отношенія стали болѣе часты и полезны. Не разъ передъ тѣмъ, какъ подать работу профессору, мы ее читали и исправляли по общему совѣту. Это обыкновеніе привело меня и Т. Зана къ мысли создать вмѣстѣ съ другими товарищами Общество любителей наукъ или т.-наз. филоматовъ *), чтобы наши собранія и работы шли болѣе правильно“. Прежде тѣмъ, однако, возникло такое общество, друзья собирались, какъ придется, и не составляли никакой организаціи. Это были Ежовскій, воспитанникъ уманской школы, старше другихъ, большой эрудитъ, ясный и логическій умъ, мягкій и доступный человѣкъ, затѣмъ порывистый, склонный къ поэзіи Чечотъ, сынъ ректора Малевскій, свѣтскій и общительный человѣкъ, Петрашкевичъ, энергичный весельчакъ, хорошій патриотъ и вѣрный товарищъ, и др. Лишь на третій годъ пребыва-

*) Общество подъ такимъ названіемъ уже прежде существовало въ Виленскомъ университетѣ (1804—1808) и Лелевель былъ его участникомъ.

нія Мицкевича въ университетѣ этотъ кружокъ сталъ складываться въ организованное общество, для котораго названіе легко было заимствовать изъ студенческихъ традицій Вильны. 1 октября 1817 года составляется первый протоколъ Филоматическаго общества. Онъ гласилъ слѣдующее: „Было учреждено Филоматическое общество въ составѣ членовъ: І. Ежовскаго, предсѣдателя, А. Мицкевича, О. Петрашкевича, Э. Полюшинскаго, вице-предсѣдателя и кассира, Б. Сухецкаго, Т. Зана, секретаря“. Въ этомъ протоколѣ названы имена Полюшинскаго и Сухецкаго, которые не играли никакой роли въ дальнѣйшей жизни общества, и не упомянуты лица, съ которыми Мицкевичъ находился уже тогда въ дружескихъ отношеніяхъ, напр., Чечотъ или Малевскій. Въ виду этихъ документальныхъ данныхъ теряютъ свое значеніе прежнія указанія. „Pamiętnik o Filomatach i Filaretach“ Игн. Здановича, написанный со словъ одного изъ болѣе позднихъ филоматовъ Каз. Пясецкаго, называетъ въ качествѣ основателей общества Зана, Мицкевича, І. Ежовскаго, Малевскаго, Чечота и Петрашкевича, которые и дѣйствительно составляли близкій товарищескій кружокъ. Наконецъ, самъ І. Ежовскій въ своихъ судебныхъ показаніяхъ рассказываетъ слѣдующее: „Задачи общества филоматовъ не были съ начала до конца совершенно одинаковы. Еще въ 1816 году я, А. Мицкевичъ, Т. Занъ и О. Петрашкевичъ (значитъ, здѣсь совсѣмъ исключены Сухецкій и Полюшинскій), чаще другихъ имѣя дѣло между собой, разсуждая о наукахъ, объ авторахъ, о книжкахъ, образовали довольно дружную компанію или общество. Это общеніе было такъ пріятно и время летѣло такъ быстро въ нашемъ обществѣ, что мы часто забывали о разныхъ своихъ непріятностяхъ, особенно происходящихъ отъ нужды. Помню, что мы не разъ въ шутку говорили, что составляемъ общество противъ заботъ, общество для разгона заботъ. Но чтобы эти наши бесѣды не были простой болтовней, иногда возникала мысль установить какой-нибудь порядокъ, чтобы принять видъ настоящаго общества. Приходятъ ко мнѣ однажды Т. Занъ и А. Мицкевичъ и приносятъ проектъ устава, сообщая при этомъ, что они хотятъ, чтобы я былъ предсѣдателемъ. Я не отказался отъ этого, просмотрѣлъ уставъ (ustawki), а такъ какъ онъ былъ составленъ въ тонѣ легкомъ и имѣлъ въ виду не столько науку и пользу, сколько развлеченія, то я постарался при-
къ ему больше серьезности и усилить въ немъ рабочую сторо-



Зданіе бывшаго университета въ Вильнѣ.

ну. Мы согласились принять название филوماتического общества, обязать каждого составить в течение месяца одно собственное сочинение и одну рецензию на чужое, собираться на заседания раз в неделю для чтения приготовленных сочинений и оценивать эти последние большинством полученных голосов *). Происходило это в конце 1817 года. Как видим из этих показаний, правдивость которых подтверждается недавно найденными документами, учредителями общества филоматов названы те же лица, что и в сохранившемся первом протоколе его. Не упомянуты только Сушецкий и Полюшинский, и упущение это сделано, вероятно, из политических соображений, чтобы не припутывать к делу лишних людей, на которых не падало подозрение, и которые в 1824 году стояли уже в стороне от филаретов. Вместе с тем становится понятно, почему не были привлечены даже в самом начале Чечот и Малевский: первого Мицкевич, как показывают недавно напечатанные письма его, считал очень горячим и легкомысленным человеком, а Малевский, добрый малый, повидимому, не был большим поклонником наук и ученых споров. Видно, что учредители общества были очень разборчивы в выборе новых членов и сильно заботились о сохранении его тайны. Однако, и тут вкралась болтливость: Сушецкий стал рассказывать об обществе, и в мае 1819 года против него было выставлено обвинение в болтливости; в начале 1820 года он был исключен из общества. Случилось это тогда, когда филматы приобрели уже новый, политический характер, которого не имели сначала. Зато Малевский скоро вошел в общество; он был избран в него в ноябре 1817 г., т. е. через месяц после основания филоматов, тогда как Чечот вместе с Д. Ходзькой удостоились этой чести лишь в начале 1819 года.

Почему филматы так ревниво хранили свою тайну? Почему так осторожно и редко они принимали новых товарищей в свой кружок? Различные писатели объясняли это различными побуждениями: проф. Каленбах в своей прежней работе о Мицкевиче („A. Mickiewicz“ I. 1897 г.) объяснял ее „желанием свободной работы и стремлением к независимости от возможной профессорской критики“, другие говорили о боязни насмешек,

*) Как это делалось в университете на экзаменах.

наконецъ, Хмѣлевскій („А. Mickiewicz“ I. 1901 г.) совсѣмъ отрицать всякую таинственность у первыхъ филоматовъ, потому что въ ней тогда и не было надобности, а полагалъ, что кружокъ филоматовъ былъ первоначально такъ малочисленъ, что они не могли считать себя обществомъ, и потому не считали нужнымъ заявлять о своемъ существованіи ректору. Найденные недавно протоколы и напечатанныя филоматскія рѣчи Мицкевича достатѣчно объясняютъ, почему филоматы хранили свою тайну, а исторія филоматовъ съ осени 1818 года очень опредѣленно обнаруживаетъ, почему въ своихъ показаніяхъ, данныхъ черезъ много лѣтъ, они все еще наирали только на ученыхъ увлеченія филоматовъ, только на ихъ ученые занятія. Сохранившіеся протоколы общества показываютъ, что въ 1817 году общество этихъ юношей еще не преслѣдовало политическихъ цѣлей. Не правъ сынъ поэта, называя Адама Мицкевича уже весной 1818 года „заговорщикомъ (sprzysięzionym spiskowcem), знавшимъ о грозящихъ ему опасностяхъ“. Заговоръ тогда ни въ Россіи, ни въ Царствѣ Польскомъ еще не открывалось. Только къ болѣе поздней эпохѣ жизни общества можетъ относиться слѣдующее сообщеніе Домейки, вступившаго въ кружокъ филоматовъ лишь въ 1819 году: „Предметомъ устныхъ совѣщаній служило обсужденіе средствъ для распространенія просвѣщенія и братства между молодежью и для сохраненія среди нея народнаго духа такъ, чтобы каждый ставилъ общее благо выше своихъ собственныхъ интересовъ и болѣе чтилъ добродѣтель и гражданскую честность, нежели всякія достоинства міра, богатство и личное возвышеніе“. Ежовскій въ своихъ осторожныхъ показаніяхъ, пересыпанныхъ комплиментами „благодѣтельному правительству“ и увѣреніями въ желаніи филоматовъ содѣйствовать цѣлямъ этого правительства, даетъ также нѣсколько весьма цѣнныхъ указаній на стремленія филоматовъ, относящіяся къ ранней эпохѣ ихъ дѣятельности. „Воспитанные въ бѣдности или большой бережливости, сами испытывая постоянную матеріальную нужду, мы учились удовлетворять свои житейскія потребности экономно и, вслѣдствіе этого, намъ особенно бросалась въ глаза мѣстная расточительность. Огорчало насъ, что столько денегъ уходитъ за границу на чужіе товары, въ то время какъ наша собственная земля такъ богата естественными продуктами, могущими удовлетворять если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, главныя потребности жителей, если бы только они захотѣли вос-

пользоваться дарами природы, перерабатывать сырые продукты, поднять промышленность, основывать фабрики, развивать ремесла, руководя и т. д. И мы хотѣли это самое убѣжденіе влить въ молодежь, особенно болѣе состоятельную, способную со временемъ поддерживать мѣстную промышленность; болѣе способныхъ изъ бѣдной молодежи мы хотѣли поощрять къ тому, чтобы они специализировались и дѣлались технологами, механиками, агрономами и т. д. Кромѣ того, надѣленные чувствительнымъ сердцемъ, проникнутые съ дѣтства началами чистой нравственности и религіи, да и сами извѣдавъ не мало горя, мы привыкли живо чувствовать страданія ближнихъ, особенно крестьянъ ближайшихъ провинцій. Намъ не разъ приходилось видѣть съ отвращеніемъ, что нѣкоторые помѣщики обращаются со своими крестьянами, точно со скотомъ, мы видѣли, что ихъ поведеніе противорѣчитъ не только нравственности и религіи, но и *отеческимъ наставленіямъ Правительства* и предписаніямъ“. Ежовскій разсказывалъ, что филوماتы стремились „будить совѣсть въ молодыхъ“, издавать журналъ для распространенія своихъ идей, и вообще „работать для добра края, или для добра родины“. При этомъ онъ предусмотрительно (спеціально для Новосильцова) замѣчалъ, что „родиной въ убѣжденіи филоматовъ было не что иное, какъ земля, на которой кто родился“, что этому слову не придавалось того значенія, какое „ему привыкли придавать энтузіасты или недоумки (zaraleńcy lub półgłówki)“. Такъ, общественныя задачи филоматовъ выступаютъ на первый планъ даже въ этомъ показаніи Ежовскаго. Въ настоящее время мы можемъ совершенно отчетливо прослѣдить двѣ эпохи въ жизни кружка филоматовъ: первую,—когда они еще не опредѣлились политически, и вторую, къ которой относятся сообщенія Домейко и Ежовскаго. Какъ въ дѣйствительности разсуждали филоматы въ своемъ кружкѣ, это достаточно ясно показываютъ рѣчи Мицкевича, произнесенныя имъ въ томъ или другомъ торжественномъ случаѣ и недавно (1910) напечатанныя. Уже черезъ годъ послѣ основанія общества оказалась необходимость раздѣлить его на два отдѣла, согласно научнымъ спеціальностямъ участниковъ, и въ сентябрѣ 1818 года начальникомъ отдѣла „литературы и нравственныхъ наукъ“ выбрали Мицкевича, котораго, по свидѣтельству Домейки, очень цѣнили и слушались, „ибо его соколиныя очи видѣли хорошо и далеко“. И вотъ въ качествѣ предсѣдателя отдѣла Мицкевичъ долженъ былъ

выступать довольно часто. Къ сожалѣнію, эти рѣчи относятся уже къ послѣднему году пребыванія поэта въ университетѣ, когда послѣ большого душевнаго переживанія лѣтомъ 1818 года онъ быстрыми шагами шель къ своей политической и умственной зрѣлости. Въ 1818—1819 уч. году Мицкевичъ уже очень ясно ставитъ обществу политическія задачи и, опираясь на социалистическихъ трудахъ Руссо, развиваеъ цѣлую программу дѣятельности филоматовъ. Сначала же, въ 1817 году, онъ еще не выходитъ изъ рамокъ просвѣтительныхъ задачъ кружка. Какъ извѣстно изъ новыхъ матеріаловъ о филоматахъ (Петрашкевичъ), они оставались вѣрны лозунгу „учиться“ въ продолженіе перваго года своего существованія (до конца іюня 1818 года), и въ проектѣ „Организаціи филоматовъ“, набросанномъ Мицкевичемъ вскорѣ послѣ возникновенія кружка, когда, значить, задачи его еще не особенно ясно рисовались учредителямъ, говорится, между прочимъ, слѣдующее: „1. Вначалѣ мы собирались для цѣлей литературныхъ, или, точнѣе говоря, для того, чтобы учиться; согласенъ съ этимъ, мы приняли рѣшеніе давать другъ другу совѣты и предостереженія; а для того, чтобы дѣло шло легко и правильно, мы учредили общество. Итакъ, цѣль наша—учиться... 2. Члены, учась, должны дѣлать успѣхи; ихъ просвѣщаетъ общество; слѣд., оно считается учащимъ, а каждый членъ—учащимся. А чтобы сохранилось существованіе общества, мы подписали законы (уставъ); до сихъ поръ каждый дѣйствовалъ по своей охотѣ, теперь все дѣйствуютъ по обязанности. Законы должны быть соблюдаемы, а какія для этого средства? Внушеніе уваженія къ законамъ и наказаніе за ихъ нарушеніе“ и т. д. Эти слова подтверждаютъ искренность заявленія филоматовъ о первоначальныхъ невинныхъ задачахъ кружка, вмѣстѣ съ тѣмъ, они опровергають предположеніе Хмѣлевскаго, что филоматы не могли смотрѣть на себя, какъ на общество. Напротивъ, они „подписали законы“ и были именно обществомъ. Если же они хранили тайну, то потому, что они были слишкомъ тѣсно связаны между собой, составляя, по терминологіи самого Мицкевича въ этомъ проектѣ, „высшій классъ“. Этотъ классъ долженъ былъ „сохранять вліяніе на вновь принимаемыхъ членовъ“. Этого можно было достигнуть лишь при очень осторожномъ приѣмѣ новыхъ членовъ, крѣпко сохраняя ядро учредителей и его полномочіе; широкая огласка мѣшала этому. Такъ, по моему мнѣнію, объясняется пер-

воначальная таинственность кружка; потомъ, съ осени 1818 года, она стала нужна уже по причинамъ политическимъ. Однако уже въ декабрь 1817 г. число членовъ превышало 20 *).

Въ 1817—18 уч. году Мицкевичъ остается вѣренъ основной цѣли общества филоматовъ: учиться. Онъ энергично работаетъ надъ литературной критикой и самъ много пишетъ, подражая Вольтеру и Трембецкому. Въ эту зиму онъ читаетъ на засѣданіяхъ филоматовъ цѣлый рядъ докладовъ и критикъ: 11 ноября о думѣ О. Петрашкевича „Размышленія у развалинъ замка Гедмина“, 25 ноября о способѣ сочиненія синонимовъ на основаніи предисловія Гизо къ книгѣ „Nouveau dictionnaire des synonymes français“ (1809), 2 декабря объ одномъ переводѣ І. Ежовскаго, 23 декабря о сочиненіи Ф. Малевскаго: „О началахъ нравственности и о необходимости нравственной науки“. Въ январѣ 1818 года Мицкевичъ разбираетъ статью С. Новицкаго „Паденіе Рима“, къ февралю должна относиться его рецензія ложноклассической трагедіи Арно, „Германикъ“, пользовавшейся въ это время большой славой (на польскій языкъ она была переведена въ Вильнѣ въ 1819 г.); затѣмъ, въ мартѣ Мицкевичъ критикуетъ работу Зана „Начало и развитіе драматической поэзіи у грековъ и римлянъ“, а въ апрѣлѣ и маѣ читаетъ свои „Размышленія“ надъ поэмой Томашевскаго „Ягеллонида“, которыя въ началѣ 1819 года были уже напечатаны, а въ іюнѣ разбираетъ стихотвореніе Чечота. Уже одно сопоставленіе этихъ работъ указываетъ, какъ настойчиво работалъ юноша-поэтъ надъ своимъ литературнымъ самообразованиемъ. Онъ весь былъ поглощенъ своей специальностью и стоялъ на высотѣ тогдашняго литературнаго пониманія. Конечно, это было исключительно ложноклассическое пониманіе. Критика органичивается по преимуществу внѣшней стороной сочиненія, разбираетъ неправильности стиля и стиха.

*) O organizacyi Filomatów. Projekt czytany 7 października 1817 r. Rozbierając z rozkazu Szanownego Towarzystwa ważny projekt utrzymania wpływu wyższej klasy na członków nowoprzyjmowanych, uznałem za rzecz potrzebną wrócić się do zasad pierwszych naszej ustawy i zebrać ich treść w najkrótszych wyrazach... (т.-е., разсматривая, по приказанію почтеннаго общества, проектъ сохраненія вліянія высшаго класса на вновь принимаемыхъ членовъ, я призналъ необходимымъ вернуться къ первымъ основамъ нашего устава и изложить ихъ содержаніе въ самыхъ краткихъ выраженіяхъ...). Nieznane pisma Adama Mickiewicza. 1910, стр. 3—5.

Въ сохранившихся замѣткахъ о думѣ Петрашкевича рецензентъ ссылается на Трембецкаго, Лукреція, Стрыйковскаго и т. д., обнаруживая известную эрудицію; онъ дѣлаетъ нѣсколько тонкихъ замѣчаній о языкѣ думы и въ то же время приводитъ такое соображеніе, отзывающееся классической формулой: „Нужно помнить, что *первой обязанностью* поэта является описаніе вещи съ помощью воображенія, не пускаясь въ ученые разсужденія; вслѣдствіе этого самые просвѣщенные поэты часто *кажутся* невѣждами, повторяя простонародныя представленія: такъ, они называютъ звѣзды свѣтильниками ночи, прикованными къ небу, море— пропастью съ неизвѣданной глубиной, молнію—стрѣлами боговъ. Даже въ дидактическомъ разсужденіи, гдѣ могутъ излагаться истины естественной философіи, языкъ долженъ быть, по возможности, фантастическимъ (*zmysłowym*“.) Такія истины вѣщала поэтъ, который впоследствии посвятилъ чудныя вдохновенныя строки народной пѣснѣ, который, не желая „казаться невѣждой“, понялъ и передалъ душу крестьянина. Но вѣнца ложноклассической премудрости Мицкевичъ достигъ въ своихъ „Размышленіяхъ“ надъ скучнѣйшей поэмой Томашевскаго, которыя замыкаютъ этотъ періодъ его литературной подготовки. Прежде чѣмъ, однако, перейти къ нимъ, любопытно посмотрѣть, какъ же самъ писалъ молодой филоматъ въ эту пору.

По свойству своей натуры Мицкевичъ привязывался и заинтересовывался глубоко и надолго; то, что онъ любилъ въ юности, наложило отпечатокъ на все его дальнѣйшее творчество: такъ, еще въ 1825 году онъ вставляетъ чуть не цѣлый стихъ Трембецкаго въ свои „Крымскіе сонеты“, а одно изъ описаній „Гражины“ вдохновлено (какъ это показали М. Шнейковскій) стихами Тымовскаго „Размышленія польскаго солдата въ Испаніи“, напечатанными въ 1815 г. Мицкевичъ увлекался ими въ 1817 году, когда разбиралъ стихи Ежовскаго. И вотъ, встрѣчаясь съ начатками мицкевичевской поэзіи, еще сплошь пропитанными ложноклассикой, мы находимъ здѣсь такія струны, которыя еще долго-долго звучатъ въ душѣ поэта, создавая впоследствии новыя, еще неизвѣданныя мелодіи, такіе образы, которые, видоизмѣняясь впоследствии, проходятъ черезъ его поэзію, черезъ героическія поэмы вплоть до „Пана Тадеуша“. Эта преемственность образовъ и чувствъ, обнаружившаяся вполне ясно лишь теперь, когда стали болѣе или менѣе известны начала поэзіи

Мицкевича, лишній разъ показываетъ намъ, какъ глубока была его поэтическая натура. Это не легкій талантъ, перелетающій съ цвѣточка на цвѣтокъ, но душа, которая крѣпко и глубоко таитъ свои сокровища, переживаетъ въ себѣ затаенныя мысли и чувства и не способна отрѣшиться отъ пережитаго.

На засѣданіи 7 окт. 1817 г. Т. Заць читаетъ поэму Мицкевича „Мѣшко, владѣлецъ новогрудскій“, 25 ноября 1817 г. Б. Сухецкій читаетъ его же сочиненіе „Анеля“, повѣсть въ стихахъ, подражаніе Вольтеру, 16 дек. 1817 г. Ф. Малевскій сообщаетъ отрывки изъ мицкевичевского перевода „Орлеанской Дѣвы“ Вольтера; наконецъ, въ теченіе 1818 года писалась недокозченая поэма „Картофель“, первая пѣсня которой была сообщена филوماتамъ уже въ февралѣ 1819 года. Хотя, такимъ образомъ, она уже выходитъ изъ хронологическихъ рамокъ 1817—18 уч. г., однако, по своему характеру она все еще принадлежитъ къ періоду „Вольтероманіи“. Поэтому и я разсмотрю всѣ названныя произведенія здѣсь. Тѣмъ болѣе, что и самъ Мицкевичъ послѣ перелома лѣтомъ 1818 года не разъ еще возвращался къ этимъ своимъ ложноклассическимъ опытамъ, хотя, конечно, уже не былъ въ состояніи докончить „Картофель“, или написать новую поэму „Демосѣенъ“, о которой онъ подумывалъ въ Ковнѣ.

Среди мелкихъ сатирическихъ произведеній Вольтера одно изъ самыхъ циничныхъ „Gertrude ou l'éducation d'une fille“. Здѣсь разсказывается о нѣкой благочестивой красавицѣ Гертрудѣ, 36 л., которая много молилась, скромно одѣвалась, лишь изрѣдка прибѣгала къ краскамъ и другимъ средствамъ. Она жила въ уединенномъ домицкѣ со своей 17-лѣтней дочерью Изабеллой, скромной дѣвушкой. „Рядомъ съ Минервой (Гертрудой) при видѣ ея думалось о Венерѣ. Гертруда не щадила трудовъ надъ ея воспитаніемъ. Она спасла эту расцвѣтающую розу отъ ядовитаго дыханія свѣта“. Однажды ночью Изабелла услышала какой-то шумъ, шопотъ и стоны въ комнатѣ матери. Она въ ужасѣ пошла къ матери. „Моя мать въ печали,—произнесла она сквозь зубы,—и я должна раздѣлить страданія, которыя она переноситъ“. Она приближается, она слышитъ исполненныя нѣжности слова: „Андрей, мой дорогой Андрей, вы даете мнѣ блаженство!“ При этихъ словахъ Изабелла совершенно успокаивается. „Я слишкомъ безпокойна въ своей любви къ матери: она вполне довольна, и я должна быть счастлива этимъ“. На другой день Изабелла спрашиваетъ мать: что

это за Андрей, который даетъ женщинѣ блаженство, и узнать отъ смутившейся, но быстро спохватившейся Гертруды, что каждая семья должна имѣть своего патрона и, что она сама выбрала святаго Андрея. По примѣру матери Изабелла тоже выбрала себѣ патрона. Гертруда застала ихъ вдвоемъ, но должна была замолчать, услышавъ отвѣтъ дочери: „Извините меня, мама, я выбрала святаго Дениса, какъ вы святаго Андрея“. И съ этого времени мать съ дочерью зажили пресесело, откинувъ всякое лицемѣріе. Таковъ этотъ довольно грязный анекдотъ, который болѣе или менѣе подходилъ къ распущеннымъ нравамъ предреволюціоннаго Парижа, но былъ совершенно неприложимъ къ нравамъ литовскаго захолустья, гдѣ всѣ были наперечетъ и прекрасно знали домашнюю жизнь другъ друга. Что могло прельстить Мицкевича, чистаго, еще наивнаго юношу, въ этой сатирѣ стараго циника? Можетъ-быть, легкое отношеніе къ напускной набожности, къ святымъ! Вѣдь избытокъ благочестія, особенно принудительное хожденіе въ церковь и исполненіе обрядовъ, не слишкомъ-то воспитываютъ религіозность, а въ доминиканской школѣ отъ этого приходилось терпѣть порядкомъ, если еще студентомъ Мицкевичъ не упускалъ случая подшутить надъ доминиканцами. Во всякомъ случаѣ, надо признаться, что съ „Гертрудой“ юный поэтъ не справился: во-первыхъ, онъ совершилъ безкусіе, приурочивъ парижскій анекдотъ къ Новогрудку, превративъ 36-лѣтнюю Гертруду въ „красавицу, въ юные годы чудо Новогрудка, которая уже съѣла 30 яблоковъ въ своемъ саду“, а наивно-хитрую Изабеллу—въ молодую польскую шляхтянку Зузю; во-вторыхъ, — и, надо сказать, къ чести своей,—онъ не понялъ сущности скабрзности Вольтера, которая заключается въ полунамекахъ, въ брошенныхъ вскользь замѣчанійхъ и т. п. Мицкевичъ, наоборотъ, ставитъ всѣ точки на *i*, нѣсколькими строками передаетъ то, что Вольтеръ едва намѣтилъ, оставивъ на подробностяхъ, которыя въ оригиналѣ намѣренно пропущены. Такъ, напр., Вольтеръ заставляетъ Изабеллу слышать въ материнской комнатѣ „нѣжный и тихій шопотъ, прерывающіяся слова, долгіе вздохи“, а Мицкевичъ—„какой-то скрипъ, какой-то глухой шелестъ, вздохи, отрывистыя слова, какія-то легкія движенія“. Восклицаніе Гертруды: „*André, mon cher André, vous faites mon bonheur*“, коротенькое восклицаніе въ порывѣ страсти, Мицкевичъ передаетъ тремя, да еще довольно неуклю-

жами строчками: „Франуся, ахъ, Франуся, дорогой возлюбленный. Мнѣ все равно до всего міра, когда я тобой владѣю. Ты на землѣ даешь мнѣ небесныя радости!“ *) Ставить въ связь это переложеніе Вольтера съ какими-то дѣйствительными переживаниями поэта или сопоставлять Анелю и Зузю съ Телименой и Зосей „Пана Тадеуша“, по моему мнѣнію, нѣтъ никакого основанія: Анеля—очень обычное польское имя, а та Анеля, которую въ молодости любилъ поэтъ (объ этомъ ниже), была молоденькая дѣвочка, а не 30-лѣтняя кокетка. Да и вся обстановка стихотворенія, совсѣмъ неподходящая къ Новогрудку (тайный ходъ въ садъ и изъ сада на улицу!), указываетъ на его книжный, нереальный характеръ. Я бы сказалъ, что это дѣлаетъ честь нравственности молодого Мицкевича: онъ совсѣмъ не сумѣлъ! передать скабресный французскій анекдотъ, хотя и хотѣлъ потѣшить имъ товарищей.

Чрезвычайно жалко, что въ цѣлости намъ до сихъ поръ неизвѣстенъ „Мѣшко, владѣлецъ новогрудскій“, написанный въ подражаніе вольтеровскому „Воспитанію принца“. Но, поскольку можно судить по изложенію этой поэмы, данному проф. Калленбахомъ, Мицкевичъ внесъ въ свое подражаніе такъ много своего, что изъ карикатурныхъ типовъ Вольтера получились серьезные типы и серьезные отношенія. Именно въ этой передѣлкѣ сказана нравственная серьезность молодого поэта. Обратимся прежде всего къ оригиналу. „Въ Беневентѣ царствовалъ когда-то молодой принцъ, погруженный въ изнѣженность, опьяненный своей властью, воспитанный, какъ глупецъ, презираемый (хотя онъ объ этомъ и не догадывался) сосѣдями, ненавидимый въ своей странѣ“: такъ рассказываетъ Вольтеръ. Принцъ находился въ рукахъ двухъ плутовъ, которые совершенно завладѣли умомъ принца при помощи его стараго духовника. Они льстили принцу, восхваляли его умъ, силы, таланты и богатство, и „онъ воображалъ,

*) *Franusiu, ach Franusiu, drogi, ulubiony.*

Niebdamо reszтę swiata, gdy ciebie dziedziczę.

Ту mi na ziemi sprawiasz niebieskie stodycze. Слово „dziedziczę“ только для рѣмы. Что касается имени *Franusiu*, то слѣдуетъ отмѣтить, что Мицкевичъ называлъ Малевскаго этимъ именемъ, а какъ разъ Малевскій читалъ вслухъ товарищамъ это произведеніе Мицкевича. Вѣроятно, именно для того, чтобы было посмѣшнѣе, герой „Анели“ и оказался „Франусей“. Надо прибавить, что Малевскій славился своими успѣхами въ обществѣ.

что его народъ счастливъ, когда онъ (принцъ) обѣдаетъ“. Одинъ только и былъ вѣрный человекъ при дворѣ: старый воинъ Эмонъ, который предсказывалъ, что такое царствованіе не кончится добромъ, но онъ былъ изгнанъ, хотя принцъ объ этомъ ничего и не зналъ. Страна роптала, но ропотъ ея не достигалъ его ушей. Принцъ скучалъ, но Богъ сжалялся надъ нимъ и послалъ ему любовь: онъ увидѣлъ молодую Амиду и влюбился въ нее. Однако, и здѣсь вмѣшались гнѣстные клеветы принца. „Они дрожали отъ мысли, чтобы онъ когда-нибудь не опомнился и не понялъ ихъ; Амида была изгнана вмѣстѣ со старымъ Эмономъ. Она завязала свои вещи въ узелокъ и облила ихъ слезами, но сопротивляться не было смѣлости. Трусливый Аламонъ (принцъ), напрасно только расчувствовавшійся, оторвался отъ ея прелестей“. Какъ разъ въ это время на страну напали мусульмане, все бѣжало, „и въ священномъ Римѣ св. Петръ вмѣстѣ со св. Павломъ трепетали отъ страха. Это былъ надменный Абдала, посланный Алахомъ для исправленія церкви“. Принцъ былъ низверженъ, совѣтники его были отправлены на рынокъ невольниковъ. Вольтеръ не упускаетъ случая рассказать, какъ струслия исповѣдникъ Аламона: „Непрерывно крестясь и бормоча молитвы, онъ проповѣдывалъ стойкость, а самъ помиралъ отъ страха“. Аламонъ попалъ въ конюшню смотрѣть за мулами, и здѣсь съ нимъ произошелъ нравственный переворотъ: „его мускулы, ослабленные бездѣйствіемъ, закалились въ трудъ, несчастье научило его, онъ побѣдилъ свою лѣнь, униженіе породило въ немъ силу. А быть сильнымъ и не мочь: какая отъ этого польза. Это только лишнее мученье“. Между тѣмъ Абдала отлично устроился во дворцѣ Аламона, окружилъ себя женщинами и пилъ вино, „не обращая вниманія на свое евангеліе“. И наконецъ его взоръ упалъ на прекрасную Амиду, и онъ заявилъ, что „до сихъ поръ онъ, дѣйствительно, знавалъ наслажденія, но что, увидя Амиду, онъ позналъ любовь“. Что было ей дѣлать? Впрочемъ,—добавляетъ Вольтеръ,—„у женщины всегда найдется честная отговорка“. Амида разсыпалась въ благодарности „корсару“ за его вниманіе, но просила отсрочки три дня, а чтобы не такъ страдать, терпя эту тяжелую отсрочку, она просила двухъ милостей. Абдала галантно согласился на это, а Амида попросила, чтобы тремъ жителямъ Беневента по ея выбору было дано по двѣсти палокъ, и чтобы ей было подарено два мула для катанья по берегу въ сопрово-

жденіи погонщика, котораго она сама выбереть. И вотъ достойнѣйшій патеръ и два совѣтника развратителя князя, каждый получили свою порцію, къ великому удовольствію всѣхъ плѣнниковъ и всего Беневента, а молодой Аламонъ испыталъ великое счастье стать погонщикомъ мула, на которомъ ѣхала его возлюбленная красавица. „Но это не все,—сказала она;—нужно побѣдить и царствовать. Васъ призываютъ теперь вѣнецъ и смерть; вы смѣлы, Эмонъ вамъ вѣренъ; я тоже хочу быть вѣрною вамъ, и ничего не пощажу, чтобы сдѣлать васъ честнымъ человѣкомъ и послужить родинѣ. Идите къ Эмону, который находится въ изгнаніи; вы виноваты передъ нимъ, попросите у него прощенія; онъ отдастъ за васъ остатокъ своей жизни; все готово, возвращайтесь черезъ три дня, спѣшите“. Аламонъ отвѣтилъ на это: „Я васъ люблю, я бѣгу“. Онъ отправляется. Добрый Эмонъ, который получилъ всѣ свѣдѣнія отъ Амиды, любилъ своего неблагодарнаго принца, впавшаго въ несчастье; онъ собралъ благородныхъ друзей и безстрашный отрядъ избранныхъ воиновъ. Онъ обнялъ своего принца; они оба заплакали; они тайно вооружились и молча выступили. Амида говоритъ со своими и пробуждаетъ въ ихъ сердцахъ чувство чести, хотя они и стали рабами. Аламонъ сочетаетъ смѣлость съ благоразуміемъ; вступивъ въ бой, онъ сейчасъ же сталъ героемъ. Турокъ, преданный безъ всякаго опасенія наслажденіямъ, захваченный врасплохъ, побѣжденный, растерялся въ свою очередь. Аламонъ торжественно вступаетъ во дворецъ въ тотъ моментъ, когда турокъ, не зная о своей бѣдѣ, хотѣлъ возлечь на ложе съ прекрасной Амидой. Онъ вступилъ въ его права и расположился на его мѣстѣ“. Что дѣлать съ побѣжденнымъ Абдалой? Прежніе совѣтники принца, выйдя изъ темницы, придумываютъ ему страшныя казни, но принцъ сурово останавливаетъ ихъ. Ихъ надо было бы казнить, потому что они погубили его, приучивъ къ бездѣйствію. „Вы меня сдѣлали ханжой, вы обманули мою молодость; несчастье и любовь вернули мнѣ доблесть“. Абдала отпущенъ на свободу: „Будьте свободны, идите, и если судьба ваша дастъ вамъ трехъ плутовъ для управленія государствомъ, пошлите за мной. О, будьте спокойны, я приду, чтобы дать вамъ урокъ, который вы дали мнѣ“. Такъ кончается это сатирическое стихотвореніе Вольтера, въ которомъ насмѣшка надъ духовенствомъ на первомъ мѣстѣ, а подвигъ Амиды на второмъ; Амида дѣйствуетъ вовсе не изъ доблести, а изъ любви къ Аламону, да и

этотъ послѣдній руководится не любовью къ родинѣ, а личнымъ несчастіемъ и любовью. Для героевъ и нравственнаго героизма нѣтъ мѣста въ скептической поэзіи Вольтера.

Мицкевичъ придавъ разсказу *couleur locale*: Аламона онъ превратилъ въ Мѣшко, князя трокскаго и новогрудскаго, Эмона— въ Порая (гербъ самого Мицкевича), Амиду—въ Зылу, а турка Абдалу—въ знаменитаго Мамай. Получилось нѣчто довольно несообразное, ибо Мамай—лицо историческое, и разсказъ, связанный съ его именемъ, терялъ поневолю свой легендарный характеръ; никакого Мѣшка въ Новогрудкѣ въ эту пору не было, и Мамай не бралъ Новогрудка. Затѣмъ, схема разсказа у Мицкевича близко повторяетъ вольтеровскій разсказъ. Но мотивы поведенія героини иные, чѣмъ у Вольтера: у того взглядъ Амиды говорить: „*songez á me defendre*“ (защитите меня), у Мицкевича (въ передачѣ проф. Калленбаха): „Зыла призываетъ его (взглядомъ) защитить страну и освободить край отъ татарскаго ярма“. Далѣе она произноситъ, поощряя Мѣшко къ подвигамъ: „Погибну, или буду твоей и сохраню мой край“, тогда какъ у Вольтера Амиды вовсе и не думаетъ о гибели, о сопротивленіи Абдалѣ, о рѣшеніи „быть его (Аламона) или погибнуть“. Это и не въ характерѣ вольтеровскихъ женщинъ. Вольтеръ говоритъ: „*le Turc... avec la belle Amide allait se mettre au lit*“, у Мицкевича Зылу силой ведутъ „подъ атласы“. Нѣсколько измѣнился образъ и самого героя: у Вольтера Аламонъ обѣщаетъ помочь Абдалѣ, если его страной будутъ управлять мошенники, у Мицкевича—въ томъ случаѣ, если его одолбютъ муллы, евнухи и дервиши, которые „сосутъ кровь народа“. Антиклерикальный характеръ оригинала нѣсколько смягченъ у Мицкевича: вмѣсто нападокъ на католическихъ святыхъ, мы находимъ выпадъ въ сторону кievскихъ „святыхъ“, Мѣшко отталкиваетъ наговоры „попа“ и т. д. Повидимому, молодой поэтъ просто не рѣшился кощунствовать противъ католической церкви. Къ сожалѣнію,—приходится повторить еще разъ,—содержаніе „Мѣшка“ извѣстно намъ только въ коротенькомъ пересказѣ проф. Калленбаха. Возможно, что для характеристики личности молодого поэта самый оригиналь далъ бы еще не мало подробностей; однако, и то, что намъ извѣстно, указываетъ на метаморфозу, которая произошла съ образомъ героини въ изложеніи Мицкевича. „Зыла вліяетъ на *духовное возрожденіе* Мѣшка и побуждаетъ его вырвать край изъ рукъ врага“ (слова проф. Кал-

ленбаха). Такъ серьезная личность поэта отразилась даже въ шуточномъ произведеніи его.

О переводѣ вольтеровской „La Pucelle d'Orléans“ я не буду распространяться. Мы знаемъ изъ протоколовъ филломатовъ и изъ переписки Мицкевича, что дальше отдѣльныхъ отрывковъ и черновиковъ, переведенныхъ слѣшно (*strasznie pawalem*) дѣло не пошло. Для филломатовъ поэтъ составилъ разборъ всей поэмы, о „Дарчанкѣ“ (Жаннѣ Д'Аркъ) онъ упоминаетъ еще въ 1822 г., но на самостоятельное творчество она его не вызывала, тогда какъ „Генриада“ Вольтера отразилась въ поэмѣ Мицкевича „Картофель“. Что касается перевода „Орлеанской дѣвы“, то я позволю себѣ сослаться на слова проф. Калленбаха, который имѣлъ возможность видѣть его. „Особенно удивительна свобода, вѣрнѣе, молодечество (*junactwo*) языка, который просто носится, какъ въ степи, ни малѣйшимъ образомъ не считаясь ни съ Вольтеромъ, ни съ такъ-называемой вѣрностью перевода“. И напечатанные отрывки обнаруживаютъ большую дозу свободомыслія у молодого филломата. Съ какимъ юморомъ онъ перечисляетъ жителей ада, Солона и Аристиды, которые всѣ сидятъ здѣсь по заслугамъ, „ибо всѣ померли безъ исповѣди“. Такой же духъ и „Картофеля“, гдѣ, какъ и въ „Мѣшкѣ“, серьезная и глубокая натура поэта вдругъ прорывается сквозь юное зубоскальство высокими чувствами и мыслями.

Эта поэма представляетъ тоже пародію на поэму, какъ и „Мѣшко“ и „Darczanka“; она написана опять-таки подъ вліяніемъ Вольтера и, значитъ, относится къ той же полосѣ творчества Мицкевича, что и эти произведенія. Хотя поэтъ прочелъ написанные отрывки изъ первой пѣсни уже 4 февраля 1819 года, однако, частью написаны они были, вѣроятно, раньше, передъ лѣтомъ 1818 года, когда Мицкевичъ еще цѣликомъ находился подъ вліяніемъ ложноклассиковъ и Вольтера. Событіе лѣта этого года, любовь къ Марылѣ, настроили его лиру на иные тоны. Эти тоны проникаютъ послѣднюю часть пѣсни, тогда какъ начало дышитъ еще непосредственной веселостью „Анели“ или „Мѣшка“. Содержаніе написанныхъ отрывковъ, обнимавшихъ всего 508 стиховъ, довольно подробно изложено проф. Калленбахомъ, которому приходится слѣдовать въ этомъ дѣлѣ, какъ единственному критику, читавшему цѣликомъ эту поэму, „роетко“, какъ назвалъ ее самъ Мицкевичъ. Начинается „Картофель“ идилическимъ

описаніемъ красоть природы, въ которомъ слышатся займствованныя ноты. „Какъ сладко я провожу время среди деревенскаго затишья“, восхищается поэтъ, притворяющійся, какъ и въ первомъ своемъ печатномъ стихотвореніи „Городская зима“, какимъ-то утомленнымъ городскими наслажденіями дэнди. Затѣмъ онъ описываетъ весну, и „это описаніе уже общаетъ намъ будущаго мастера“, какъ утверждаетъ проф. Калленбахъ. Дѣйствительно, въ приведенныхъ имъ строкахъ вѣтъ чѣмъ-то очень намъ роднымъ и знакомымъ по „Пану Тадеушу“. Картинку весны смѣняетъ яркая картина осени. „Бѣжимте домой, закроемъ двери!“ восклицаетъ поэтъ и продолжаетъ свои размышленія о смѣнѣ времени года. Но элегическое настроеніе его нарушается самымъ неожиданнымъ прозаическимъ образомъ; въ печкѣ его бѣдной студенческой комнаты жарится картофель. И вотъ онъ готовъ, „лопается и верещитъ человѣческимъ голосомъ: вѣсть-то ты меня не забываешь, а похвалить забылъ“. И поэтъ общаетъ исправить оплошность, проситъ картошку помолиться за него, чтобы ему было послано свыше вдохновеніе, и общаетъ повѣдать міру, какъ чудесно обрѣтенная картошка была предметомъ горячихъ споровъ на небесахъ. Начинается проекомическая поэма. Колумбъ ѣдетъ открывать Америку; онъ уже близокъ къ своей цѣли, но Нептунъ удерживаетъ его корабль на мѣстѣ; подземные боги совѣщаются, но Іегова созываетъ небожителей, чтобы рѣшить участь Колумба и его открытія. Св. Михайль держитъ вѣсы. Св. Петръ и Станиславъ противъ открытія Америки; они кладутъ на чашу вѣсовъ кровь и потоки слезъ, которые будутъ пролиты вслѣдствіе открытія, св. Доминикъ, котораго молодой поэтъ не долюбиваетъ, вспоминая новгородскихъ доминиканцевъ, настаиваетъ на открытіи и на другую чашу вѣсовъ бросаетъ тѣ выгоды, которыя получитъ церковь отъ обращенія новыхъ христіанъ и отъ богатствъ Америки. Тогда начинается пророчествовать св. Рафаиль. Пророчество его удивительно напоминаетъ своимъ паосомъ тѣ пророчества, которыя черезъ десять лѣтъ поэтъ вложилъ въ уста ксендзу Петру въ 3-ей части „Дѣдовъ“. Можетъ-быть, это—самое цѣнное, что заключается въ новыхъ находкахъ юношескихъ произведеній Мицкевича, потому что указываетъ и на чрезвычайно раннее пробужденіе въ его душѣ того возвышеннаго настроенія, которымъ онъ жилъ всю свою жизнь. Развѣ только не менѣе важно другое

открытие, сдѣланное благодаря тѣмъ же находкамъ, это—даръ импровизаци, который ужъ въ 1819 году извѣстенъ пріятелямъ Мицкевича-филомата, а вовсе не пробудился у него, какъ думали раньше, подъ вліяніемъ тяжелыхъ и торжественныхъ впечатлѣній филаретскаго слѣдствія въ 1824 году. Такъ мы видимъ, что еще совсѣмъ мальчикомъ, среди чуждыхъ его душѣ вольтерьянскихъ вліяній, поэтъ какимъ-то инстинктомъ нащупываетъ свою дорогу. Источники паэоса, но еще не обнаружившіеся, еще подземные, струятся и въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Мицкевича. Вотъ что предсказываетъ его архангелъ: „Пятьсотъ круговъ сдѣлаетъ вслѣдъ за солнцемъ земля, и посмотрите, въ какой мракъ будетъ погружена Европа. Повсюду плачь и ропоть, повсюду слышатся глухіе стоны, пылаютъ кровавые костры, бренчатъ цѣпи. Толпа рабовъ, гонимыхъ грознымъ щелканіемъ бича самодержцевъ, рубится за ихъ обиды. Смотрите. Вонъ изда-лека пріѣхаль и присталь въ той сторонѣ странникъ *); со слезами на глазахъ онъ ступаетъ по полямъ, засыпаннымъ развалинами, и, навѣрное, ему не удастся угадать, гдѣ стояли когда-то Парижи, Лондоны и Вильны. Тогда надъ *новымъ светомъ* блеснетъ звѣзда свободъ, въ лучахъ ея будутъ сверкать наука и добродѣтель, сломятся узы монаховъ и страшилища деспотовъ. Золотой Капитолій вознесетъ къ небесамъ свободныя кровли. Предъ нимъ народъ изумленныхъ земныхъ жителей падетъ на лицо, а *Народъ-Король* (Lud-Król) завладѣетъ скипетромъ подвластныхъ, къ стопамъ твоимъ пригнетъ тирановъ стараго свѣта и новые огни зажжетъ въ Европѣ отъ свободной искры“. Не все въ этихъ словахъ понятно, но поразительна вѣра Мицкевича въ близкое пришествіе цаства идеала (1492+500=1992). Эта вѣра не покидала его никогда и внушала ему пророческія грезы въ „Дѣдахъ“, въ „Книгахъ польскаго пилигримства“. Она заставила его увидѣть въ Товянскомъ того спасителя-пророка, котораго Провидѣніе должно было послать въ близкомъ будущемъ польскому народу.

Отъ этого приподнятаго тона Мицкевичъ сразу переходитъ въ веселый тонъ балагура. Чтобы покончить споръ святыхъ, который былъ внушенъ молодому поэту, какъ это ясно отмѣтилъ

*) Wędrowiec, прообразъ излюбленнаго впоследствии Мицкевичемъ образа *пилигрима* (pelgrzym).

проф. Калленбахъ, польскимъ переводомъ и конспектомъ „Лузиады“ Камоеенса 1790 г. („боги на Олимпѣ совѣщаются объ участи Восточной Индіи“), поэтъ заставляетъ св. Доминика бросить на чашу вѣсовъ картофель. „Ни одно изъ растеній не вѣсить столько, сколько картофель. Прочъ кукуруза, просо, маисъ и сага!“ Въ восторженно-комическихъ выраженіяхъ поэтъ описываетъ форму картофеля, не забывая кольнуть своихъ учителей доминиканцевъ, которые при всемъ стараніи не могутъ достигнуть округлостей картофелины. Между тѣмъ, на морѣ штить; матросы Колумба голодаютъ и волнуются. Въ это время св. Доминикъ беретъ въ руки жареную картошку и давитъ ее; „и отъ раздавленнаго картофеля подымается вкусный дымокъ, и изъ внутренности его обильно сыплется бѣлая масса“. Эта манна небесная спасаетъ Колумба, предвѣщая близость материка. Пристыженные матросы молятъ у него прощенія, а онъ, „оправивъ картофелину въ зодото, повѣсилъ ее на груди на лентѣ на память“. На этомъ и кончается написанный отрывокъ поэмы. Однако спутникъ Мицкевича въ его путешествіи (въ 1829 году) Одынецъ, сообщая со словъ поэта объ его первыхъ поэтическихъ опытахъ, прибавляетъ: „Большіе отрывки изъ этой поэмы онъ мнѣ уже читалъ въ Вильнѣ. Героическую часть ея должно было составлять открытіе Америки, гдѣ и былъ открытъ картофель; во второй части онъ хотѣлъ описать воздѣлываніе и приготовленіе ея у насъ, другими словами, онъ замышлялъ дать въ этой какъ бы шутовой формѣ картину деревенской жизни и нашихъ обычаевъ. Первая часть была почти закончена... Изъ другой существовали только отрывки. Одинъ изъ нихъ начинался словами: „О, новогрудская земля, край мой родной, о, достойный быть воспѣтымъ трембецкими стихами!“ А пропусъ этой своей поэмы, Адамъ, студирюя различныя эпопеи, написалъ разборъ, „Ягеллониды“ Дызмы Бончи Томашевскаго, напечатанный въ „Варшавскомъ памятникѣ“. Онъ отказался отъ мысли продолжать свою поэму потому, что какъ разъ въ то время поэтическая клѣточка въ его мозгу начала принимать, какъ онъ говоритъ новыя формы“.

Это весьма цѣнное свидѣтельство друга Мицкевича подтверждается повѣйшими данными, позволяющими отчетливо возстановить ходъ литературнаго развитія будущаго вождя романтизма. Оно вмѣстѣ съ тѣмъ подтверждаетъ выше указанное мною со-

ображеніе о времени написанія „Картофеля“ до лѣта 1818 года. Дѣло въ томъ, что разборъ „Ягеллониды“ былъ прочитанъ въ засѣданіяхъ филоматовъ 15 апрѣля и 5 мая 1818 года, именно въ то время, когда будущій учитель литературы, готовясь къ экзамену на магистра, особенно усердно изучалъ эпосъ. Повидимому, свою работу онъ отдалъ на конкурсъ, но награды не получилъ и даже напечатать въ Вильнѣ свою рецензію не могъ, потому что „нѣкто изъ дирижирующихъ авторами, сочиненіями и всей здѣшной періодической литературой задумалъ написать когда-нибудь подобныя же замѣтки“. Едва ли этимъ *нѣкто* не былъ проф. Боровскій, который отнесся такъ сухо къ разбору молодого студента. Поэма, надъ которой Мицкевичъ испробовалъ свой критическій даръ, вышла въ 1818 году, но въ отрывкахъ стала извѣстна еще въ прошломъ году, когда одинъ изъ критиковъ іезуитской „Полтавы“ ксендза Мусницкаго привелъ въ качествѣ достойнаго образца эпического творчества поэму Томашевскаго. Рецензія Мицкевича извѣстна только въ печатномъ видѣ. Врядъ ли, однако, и въ рукописи были какія-нибудь отступленія отъ господствовавшихъ въ ту пору воззрѣній на классическую поэму: отступленія, выкинутыя изъ практическихъ видовъ при печатаніи напротивъ, вся критическая статья проникнута съ первой до послѣдней строки однимъ духомъ, и какіе-нибудь выпады въ романтическомъ духѣ совсѣмъ не уживаются съ нимъ. Этотъ духъ ложноклассическій, требованіе „правиль“ въ поэзи и точнаго соблюденія ихъ. Въ противоположность одному изъ новѣйшихъ критиковъ Мицкевича, Т. Грабовскому, я полагаю, что въ „замѣткахъ“ нѣтъ рѣшительно никакихъ признаковъ романтизма, что ничѣмъ не оправдывается выводъ Т. Грабовскаго: „онъ носитъ еще классическое вооруженіе, но измѣняетъ себѣ нѣкоторыми движеніями, какъ Гражина поражаетъ своими движеніями смущенныхъ рыцарей“. П. Хмѣлевскій, по моему мнѣнію, правъ, когда утверждаетъ, что Мицкевичъ оставался въ своей критикѣ „въ полной зависимости отъ принциповъ, которые у насъ были тогда повсюду распространены, и не высказалъ ни одной мысли, которая позволила бы видѣть въ немъ будущаго инициатора новаго направленія въ поэзи“. Начиная съ самаго заглавія „Uwagi“ (Замѣчанія), которое было сильно въ ходу у ложноклассическихъ критиковъ („Uwagi“ писалъ Боровскій, писали и многіе другіе), и кончая ссылками только на ложноклассическіе авторитеты (Гомеръ, Виргилій,

Овидій, Мильтонъ, Тассо, Вольтеръ, Камозэнсъ, Фенелонъ, Драйденъ, Красицкій и др.), Мицкевичъ съ головы до ногъ—рыцарь „правиль“ и эпическаго „паренія“. Какъ указалъ П. Хмѣлевскій, даже терминологию молодой студентъ заимствовалъ у своего профессора: слово *dziwność* (чудесное) вмѣсто прежняго *dziw* (у законодателя польскаго классицизма Дмоховскаго) пустилъ въ ходъ Л. Боровскій. И ихъ учебниковъ молодой Мицкевичъ щедрой рукой заимствовалъ „правила“: вслѣдъ за Карпинскимъ (*O wupowie w prozie albo wierszu* 1783) онъ не совѣтуетъ пользоваться въ поэмѣ именами языческихъ боговъ, въ которыхъ мы не можемъ вѣрить. Такъ же смотрѣлъ на нихъ и другой законодатель въ области вкусовъ, Голянскій, въ книжкѣ, хорошо знакомой Мицкевичу: „*O wupowie i poezyi*“ (1808). Въ Парижѣ въ 1814 году вышло руководство по теоріи словесности „*Poétique française*“ Домерона, которымъ воспользовалась польская школа. И съ этимъ учебникомъ Мицкевичъ, повидимому, былъ хорошо знакомъ. Отсюда его шаблонныя ложноклассическія воззрѣнія на необходимость единства дѣйствія въ поэмѣ и драмѣ, на роль героя, который все время обязанъ быть на глазахъ у читателя и зрителя и всѣхъ превышать своими подвигами и т. п. И придирчивость къ формѣ, которую обнаруживаетъ критикъ, также въ духѣ ложноклассической критики. И самая снисходительность его въ другихъ случаяхъ характерна для Мицкевича того времени. Неужели могъ критикъ, который или былъ въ душѣ романтикомъ, или хотя бы предчувствовалъ романтическія переживанія, выражаться съ похвалою о надутыхъ сентиментальныхъ изліяніяхъ Томашевскаго или заявлять, „что *талантъ* поэта могъ бы съ большей удачей посвятить себя предметамъ, которые отличаются чувствительностью и естественностью. Ибо картины этого рода составляютъ все украшеніе „Ягеллоныды“; напротивъ, тамъ, гдѣ требовались (какъ это случается чаще всего въ эпической поэмѣ) сила и важность, ихъ мѣсто заняли декламація и растянutosть; молитвы, разговоры героевъ и самыя возвышенныя описанія исполнены этихъ недостатковъ до такой степени, что примѣровъ паренія (*gógność*) нельзя найти во всей поэмѣ“. Какъ видно уже изъ этой тирады, передъ нами всецѣло ложноклассическій теоретикъ. Начитанный въ эпической поэзіи авторъ полагаетъ, что польскій языкъ уже достаточно разработанъ для героическаго эпоса. Характернѣе всего

два обстоятельства: во-первых, Мицкевичъ въ результатъ своего жестокаго иной разъ разбора выносить въ концѣ-концовъ оправдательный приговоръ произведенію Томашевскаго, которое, „какъ память о знаменитыхъ подвигахъ нашего народа, съ удовольствіемъ будетъ читаться нашими земляками“ (вѣдь это была пора усиленнаго подчеркиванья національнаго и государственнаго единенія Литвы съ Польшей, время „Варвары“ Фелинскаго, „Историческихъ пѣсенъ“ Нѣмцевича и т. д.); во вторыхъ, любопытно, что Томашевскій въ нѣкоторыхъ вопросахъ оказывается менѣе узкимъ ложноклассикомъ, чѣмъ будущій вождь романтизма. Безвкусный и бездарный Томашевскій вклеилъ въ свое описаніе польско-литовскихъ событій Кортезовъ, „Катемозинъ“, малабарскіе обычаи и т. под.; Мицкевичъ упрекаетъ его за это: по его мнѣнію, Томашевскій долженъ былъ „отказаться отъ прикрасъ, противныхъ не только правдѣ, но и *правиламъ искусства*“. Въ требованіи единства дѣйствія, въ желаніи видѣть героя поэмы всегда на первомъ мѣстѣ, всегда окруженнымъ менѣе значительными персонажами, критикъ оказался еще болѣе приверженъ къ шаблону героической поэмы, чѣмъ самъ Томашевскій. До какой степени долженъ быть пристрастенъ историкъ литературы, чтобы заявить, будто „въ это время Мицкевичъ не имѣлъ никакихъ литературныхъ предразсудковъ, что, хотя именно въ то время началась борьба между классицизмомъ и романтизмомъ, онъ, уже держа оружіе въ рукахъ, не дѣлаетъ никакихъ намековъ на нее, но ищетъ только поэзіи, гдѣ бы она ни встрѣтилась“ (К. Кашевскій). Это фактически неточно: борьба между классиками и романтиками въ польской литературѣ начинается не раньше осени 1818 г., т. е. когда рецензія Мицкевича была уже прочитана въ кружкѣ филаретовъ. Есть, однако, въ ней одно мѣсто, которое какъ-будто отзывается новыми литературными вліяніями и такъ и понималось нѣкоторыми критиками поэта. Мицкевичъ выступаетъ съ требованіемъ „соотвѣтствій духу времени при описаніи великихъ событій, примѣненія поэмы къ былымъ представленіямъ, обычаямъ и характерамъ“; ему „кажется, что при всей свободѣ вымысла, дозволенной поэтамъ, лучше всегда считаться съ народностью и нравами“. Уже не вліянія ли Вальтеръ-Скотта передъ нами? Чѣмъ, однако, вызваны эти соображенія? Тѣмъ, что Томашевскій, вопреки элементарному здравому смыслу, заставляетъ литовскихъ героевъ совершать возліянія богу Марсу или устраи-

вать ристалища на четырехконныхъ греческихъ повозкахъ („такія игры, какія изображаетъ поэтъ, не были извѣстны даже въ древности послѣ троянскихъ войнъ“, замѣчаетъ Мицкевичъ), тѣмъ, что онъ нарушаетъ самымъ грубымъ образомъ хронологію. Критикъ выступаетъ здѣсь во имя классическаго „здраваго смысла“, который заставляетъ его осуждать употребленіе именъ языческихъ боговъ въ христіанской поэмѣ или взрывъ мгновенной любви въ сердцѣ литовскаго героя. Если бы Мицкевичъ уже склоненъ былъ въ эту пору къ романтизму, онъ пришелъ бы въ восторгъ отъ романтической любви Ягеллы къ Ядвига, которую тотъ полюбилъ сразу, увидѣвъ ея портретъ, а онъ осудилъ этотъ пріемъ, какъ и многое другое, что казалось ему противнымъ здравому смыслу. Однако, прирожденный поэтъ, даже въ оковахъ ложноклассицизма, Мицкевичъ обнаруживаетъ не разъ большую чуткость въ своей критикѣ: онъ справедливо отмѣчаетъ, что сравненіе охоты литовцевъ на зубровъ съ Лейпцигской битвой безвкусно; „это сравненіе нѣсколько гиперболично и унижаетъ другую часть, т. е. описаніе лейпцигской битвы“. Правильно онъ возстаетъ противъ введенія въ поэму аллегорическихъ фигуръ Вѣсти, Славы и т. п., вѣрно подчеркиваетъ неуклюжесть, невыразительность отдѣльныхъ стиховъ. Во всякомъ случаѣ, для поэта, который чувствовалъ влеченіе къ эпосу и самъ пробовалъ въ эту же пору слагать эпическія произведенія, было въ высшей степени полезно протудировать теорію эпоса на конкретномъ примѣрѣ, съ помощью общепризнанныхъ образцовъ и руководствъ. Многие изъ этого изученія глубоко залегло въ душу Мицкевича и отразилось въ позднѣйшемъ, уже романтическомъ періодѣ его эпическаго творчества. Пѣснь вайделота въ „Конрадѣ Валленродѣ“ напоминаетъ пѣсню „Лиздора, поэта Феба“ на литовскомъ пиру у Томашевскаго, при чемъ „три послѣднія строфы этой пѣсни заключаютъ въ себѣ воспоминаніе о рыцарскихъ подвигахъ литовцевъ; герой Ягелло и всѣ слушатели испытываютъ, внимая пѣвцу, подобно героямъ Драйдена, разнообразныя чувства“. Какъ въ „Гражинѣ“, одна изъ героинь Томашевскаго внушаетъ своему возлюбленному отвагу, „чтобы онъ геройски сопротивлялся, и, наконецъ, заслонила его собственной грудью“.

„Замѣтки“ Мицкевича не исчерпываютъ его критическихъ трудовъ въ 1817—1818 уч. г. Уже въ іюнѣ, передъ самымъ роспускомъ на каникулы, онъ читаетъ въ кружкѣ филоматовъ

разсужденіе о дифирамбѣ Чечота „Къ Анелѣ“. И здѣсь его критика исходитъ, главнымъ образомъ, изъ общихъ представленій о дифирамбѣ, какъ поэтическомъ видѣ, и съ этой точки зрѣнія осуждаетъ прежнія подробности въ перечисленіи достоинствъ воспѣваемой героини. Вѣдь „въ этомъ родѣ поэзіи суть заключается не столько въ воображеніи, сколько въ чувствѣ, а потому подробное изложеніе предметовъ и всестороннее со всѣхъ сторонъ разсмотрѣніе ихъ, похвальное въ другихъ видахъ поэзіи, особенно, описательной, лирикомъ оставляется въ сторонѣ; ибо слишкомъ продолжительное описаніе вещи охлаждаетъ воодушевленіе, а иногда ведетъ и къ мелочамъ“... Такъ путался въ силкахъ ложноклассической теоріи молодой Мицкевичъ въ эти годы, о которыхъ онъ самъ воспоминалъ впоследствии со смѣхомъ.

Еще не опредѣлившійся, но уже исполненный хорошихъ стремленій, очень начитанный и добросовѣстный юноша, какимъ Мицкевичъ былъ передъ вакаціями 1818 г., оставался порядочнымъ юнцомъ и въ жизни личнаго чувства. Впрочемъ, едва ли первая ребяческая любовь его не относится къ 1815 году. Героиней его перваго романа служила нѣкая Юзя (или Юася), небогатая шляхтяночка, свѣжая и веселая, однако, „самое обыкновенное существо“, какъ выразился о ней поэтъ въ 1821 г., когда послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки увидѣлъ ее совсѣмъ въ другомъ видѣ: Юзя вышла замужъ за дальняго родственника Мицкевичей, человѣка тоже небогатаго, „она была грязно одѣта, пожелтѣла, высохла, подурнѣла“ и еще вдобавокъ, увидѣвъ Адама, принялась всхлипывать. Образъ свѣжести, молодой красоты, который нѣсколько лѣтъ носилъ въ душѣ Мицкевичъ, еще въ 1820 г. собираясь ей посвятить одну изъ лучшихъ своихъ балладъ, повидимому, сразу померкъ въ его душѣ.*) Впрочемъ, какъ онъ говорить, эта Юзя никогда не внушала ему пламенной, страстной любви; онъ любилъ сидѣть около нея такъ и вѣяло отъ нея свѣжестью и жизнью. Въ Вильнѣ молодой студентъ влюбился въ нѣкую Анелю, и весной 1817 г. писалъ своему другу Чечоту отчаянные письма по этому поводу, но тонъ ихъ не таковъ, чтобы

1) Проф. I. Kallenbach (Bibl. Warsz. 1911 № 1) напоминаетъ, что даже баллада „To lubi“ была посвящена первоначально Юасѣ, чье имя онъ возстановляетъ въ балладѣ. Мнѣ кажется, однако, это возстановленіе довольно произвольнымъ.

можно было сильно встревожиться изъ-за трагедіи поэта. Рядомъ съ фразами объ ужасныхъ сердечныхъ страданіяхъ, которыя онъ дѣлилъ съ Анелей, онъ не забываетъ упомянуть о приготовленіи къ „экзамену изъ Боровскаго“, а въ другомъ письмѣ передать прозаическія подробности о прорывѣ „въ головѣ“ нарыва, который никоимъ образомъ не приходится понимать въ переносномъ смыслѣ (какого-нибудь душевнаго надрыва). Это было такое пустячное увлеченіе, о которомъ и самъ Мицкевичъ никогда не упоминалъ впоследствии, хотя онъ охотно вспоминалъ съ друзьями прошлое. А въ 1817—1818 уч. году сердце юноши было, кажется, совсѣмъ свободно. Въ немъ подготовлялся переломъ, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Намеки на то, что Мицкевичъ переживалъ въ эту пору какое-то недовольство собой, что ему грозило какое-то нравственное паденіе, щедрой рукой раскинуты въ IV части „Дѣдовъ“, гдѣ описываются страданія молодого Густава. Но только, конечно, тѣ процессы, которые происходили, дѣйствительно, въ душѣ поэта, здѣсь возросли до титаническихъ размѣровъ, чтобы стать прелюдіей безумной любви и самоубійства отъ любви. Отъкинувъ преувеличенія, мы получимъ не лишеныя значенія автобіографическія черты. „Моей красотой онъ сдержанъ былъ на время и, слѣдуя младымъ очамъ моимъ, онъ прямо шель, грѣховъ отбросивъ бремя“, говсрить Беатриче о Дантѣ. Вотъ это исканіе красоты, которая должна была спасти ея поклонника отъ „грѣха“, мы и можемъ замѣтить въ романтическихъ изліяніяхъ Густава.

„Любовникъ обманчивыхъ призраковъ, которые приходятъ только въ сновидѣніяхъ, томимый скучнымъ однообразіемъ земного и презрѣніемъ къ будничной природѣ, я искалъ своей возлюбленной,—божественной возлюбленной, какой еще не бывало въ подлунномъ мірѣ, какую создало только дуновение страсти на волнующейся пѣнѣ воображенія. Желаніе убрало ее въ свои собственные цвѣта. Но въ эту пору зимнихъ холодовъ мнѣ не найти идеала, и отъ настоящаго я улетѣлъ въ золотой вѣкъ; я носился по небу, созданному поэтами, стремясь и блуждая, неутомимый въ своемъ блужданіи преслѣдователь (идеала). И, наконецъ, напрасно облетѣвъ далекіе края, я падаю, я уже бросаюсь въ мутныя рѣки наслажденій, но прежде, чѣмъ броситься, я еще разъ оглядываюсь вокругъ себя... и наконецъ, я ее нашель!“ Изъ этой тирады въ примѣненіи къ самому Мицкевичу, надо исключить, прежде

всего, то, что относится къ „небу, созданному поэтами“. Эти поэты—Руссо, Гёте, Шиллеръ. Не ими зачитывался въ эту пору Мицкевичъ, не ихъ онъ изучалъ, но всяческихъ Трембецкихъ и Томашевскихъ, которые не очень то воспламеняли воображеніе картинами любви. Для автобіографіи же остается, кажется, только это исканіе наслажденій въ мутныхъ рѣкахъ. А на этомъ пути пикантный Вольтеръ, котораго Мицкевичъ и читалъ, и перекладывалъ на польскіе нравы, былъ настоящимъ ядомъ. Марыля, которая спасла поэта отъ мутныхъ рѣкъ, раскрыла передъ нимъ и новые далекіе края идеала: неисчерпаемые источники чувства въ поэзіи романтизма, широкую, манящую, опасную дѣятельность въ новомъ, уже политическомъ замыслѣ филломатовъ. Это сдѣлала не Марыля, но первая настоящая, сильная, молодая любовь, которая сразу захватила Мицкевича, когда готовый для любви, съ пустымъ, томящимся по идеалу сердцемъ, онъ пріѣхалъ лѣтомъ 1818 года вмѣстѣ со своимъ другомъ Заномъ въ Тугановичи, гдѣ жила семья Маріи Верещакъ. Занъ уже въ прошломъ году, зимой, въ Вильнѣ, рассказывалъ пріятелямъ о чудесной красотѣ Марыли, о „лучахъ“, исходявшихъ изъ ея глазъ. Къ тому же Марыля происходила изъ знатной семьи и была окружена холей и роскошью; она была олицетворенной поэзіей, она казалась какимъ-то высшимъ существомъ, тогда какъ всѣ эти Юзи, Анели были такъ обычны, такъ доступны. Бѣдный студентъ, инстинктивно ищущій изящества и красоты, но застѣнчивый, „плохой стрѣлокъ и плохой наѣздникъ“, и рядомъ прелестная дѣвушка, бывшая уже невѣстой, а потому позволявшая себѣ держаться съ молодежью немного свободнѣе, будущая жена хорошаго патріота, знатнаго, богатаго графа Путкамера, который лишь немногимъ былъ старше Зана и Мицкевича... Какъ тутъ не потерять головы сразу, при первомъ знакомствѣ!

ГЛАВА IV.

Университетскіе годы. 1818—1819 учебный годъ.

Панъ Тадеушъ пріѣхалъ домой, къ дядѣ, у котораго онъ выросъ. „Онъ бѣгалъ по всему дому и искалъ ту комнату, въ которой жилъ десять лѣтъ тому назадъ, когда былъ ребенкомъ. Во

шелъ и отступилъ назадъ и удивленными глазами окинулъ стѣны: здѣсь жила женщина! Но кто же здѣсь могъ жить? Старый дядя не былъ женатъ, а тетка въ прежніе годы жила въ Петербургѣ. Не была это и комната ключницы. Фортеціано, на немъ ноты и книжки. Все разбросано, какъ попало, въ страшномъ безпорядкѣ, и такой милый безпорядокъ! Навѣрное, не старыя ручки раскидали эти ноты и книги. Здѣсь же бѣлое платьице, недавно снятое съ гвоздя, приготовленное для одѣванія и разложенное на ручкахъ кресла. А на окнахъ горшки съ пахучими цвѣтами: геранія, левкой, астры и фіалки!“ Эта картинка представляетъ чуть не фотографическій снимокъ съ того, что нашли въ комнатѣ Марыли Занъ и Мицкевичъ, когда они заѣхали въ имѣніе Верещаковъ Тугановичи, лежавшее неподалеку отъ Заосья. Въ домѣ было пусто. Хозяева ушли гулять, и Занъ смѣло повелъ товарища въ ту комнату, которую онъ занималъ въ прошломъ году. Одынецъ, со словъ Зана, передаетъ это такъ: „На ручкахъ двухъ креселъ, поставленныхъ среди комнаты, лежала гладильная доска, а на ней красовалась куча воротничковъ и дамскихъ платковъ, розовый шарфъ, только что положенный для глаженья... Около дверей висѣло только что выглаженное и провѣтренное бѣлое платьице, приготовленное къ воскресенью. Горничная пошла за новой дужкой для утюга, и въ комнатѣ было пусто. Нетрудно догадаться, какое впечатлѣніе должна была произвести на обоихъ молодыхъ поэтовъ эта картина. Занъ увѣрялъ совершенно серьезно, что Адамъ, еще не видя Марыли, уже влюбился въ ея платье“. Надо прибавить, что Адамъ уже заранѣе былъ заинтересованъ молодой дѣвушкой, что онъ везъ огромный запасъ нерастроченной любви и стремленія къ женственному. И эта картина, которая современному юношѣ едва ли покажется очень поэтичной, имѣла для него неотразимое обаяніе.

Портреты Марыли производятъ впечатлѣніе далеко не банальной натуры. Продолговатое лицо съ острымъ подбородкомъ и сосредоточенно сжатыми губами, большой, открытый лобъ, задумчивые глаза, выраженіе какой-то неясной, несознанной страсти: это типичная *grande amoureuse*. Но притомъ натура, несклонная къ житейской борьбѣ, способная уйти отъ земной борьбы въ свой внутренний міръ, но не способная отстоять свое чувство, провести его активно въ своей жизни, натура пассивная, сгибающаяся подъ

тяжестью житейскихъ требованій, но таящая на глубинѣ души большую силу сопротивленія и одной, вѣрной, любви, которая не нуждается ни въ проявленіяхъ, ни даже во взаимности. Такою представляется Марыля на портретахъ, такою она была, кажется и въ дѣйствительности, какъ это показываютъ ея письма и все ея поведеніе въ томъ тяжеломъ романѣ, который пришлось пережить и Мицкевичу, и ей. Очень часто біографы Мицкевича представляютъ Марылю сентиментальной барышней, воспитанной на идилліяхъ и чувствительныхъ романахъ. Такъ, Хмѣлевскій увѣряетъ насъ, будто бы Марыля, начитавшись идиллій, рада была использовать остающійся ей короткій срокъ дѣвичьей жизни на то, чтобы „обмѣняться нѣсколькими взглядами и словами съ поэтическимъ студентомъ, очевидно, и не помышляя, что это можетъ ее къ чему-нибудь обязывать“. Нѣтъ сомнѣнія, что въ исторіи этой любви сыграли свою роль и романы Руссо, Крюденеръ, Гѣте и др., что „убійственныя книги (książki zbrojckie)“ приучили и Мицкевича, и Марылю видѣть въ себѣ какихъ то героевъ романа, въ родѣ Вертера, Юліи, Валеріи (въ романѣ Крюденеръ) и т. п., но оба были слишкомъ искренними натурами, чтобы сдѣлаться разсудочными сентиментами: Мицкевичъ не Эрастъ, и Марыля не бѣдная Лиза. Не могу я согласиться и съ мнѣніемъ проф. Калленбаха, что по своей природѣ Марыля „была склонна не къ пустымъ сентиментальнымъ мечтаніямъ, но къ дѣятельности“. Не такъ поступала бы активная натура! Напротивъ, углубленная въ себя, глубоко честная сама передъ собой, медленно разгоравшаяся и не способная потухнуть и остыть, Марыля не общала больше того, что могла дать, сама не шла впередъ, навстрѣчу, она была пассивная, нѣжная, аристократическая натура. И потому-то она такъ чаровала молодежь съ болѣе изысканными требованіями, потому такъ соотвѣтствовала настроенію филаретовъ. „Какъ очевидецъ, я свидѣтельствую, что я не зналъ другой особы, которая до такой степени была бы достойна стать предметомъ *поэтической любви*, особенно со стороны поэта-студента, приверженца *лучистой* (promiunkowej) теоріи любви. Она не могла назваться красивой въ собственномъ значеніи этого слова, но она обладала прелестью и привлекательностью, которыя составляютъ сущность и главные чары красоты. Стройная фигура, средній ростъ, спокойное и милое лицо, голубые глаза, выразительный сочувственный взглядъ, наивная и вмѣстѣ съ тѣмъ не-

множко лукавая улыбка представляли вѣрный образъ умственнаго и нравственнаго настроенія ея духа. Начитанная, экзальтированная, живущая грезами болѣе, чѣмъ мыслями, она такъ и не вышла никогда ясно для самой себя изъ радужнаго тумана своего воображенія, но именно этотъ туманъ дѣлалъ то, что и въ глазахъ другихъ она никогда не являлась обычнымъ, дюжиннымъ существомъ, и достаточно было взглянуть на нее черезъ призму любви, чтобы увидѣть въ ней неземное, оссіановско-облачное явленіе“. Такъ судили друзья Мицкевича.

Обычно говорятъ, что въ это лѣто любовь Мицкевича къ Марылѣ еще не приняла бурнаго характера, что это была скорѣе дружба, чѣмъ страсть. Мнѣ кажется это предположеніе психологически невѣрнымъ: слишкомъ сильна была въ душѣ поэта жажда настоящей страсти и слишкомъ силенъ былъ переломъ отъ Вольтера къ романтизму послѣ этого лѣта, чтобы предположить одну нѣжную влюбленность въ душѣ его, когда онъ вернулся въ Вильну. Онъ вернулся во многомъ измѣненнымъ, можно сказать: онъ возвратился въ университетъ мужчиной, а пріѣхалъ въ Тугановичи еще полу-мальчикомъ. Долгія бесѣды и одинокія прогулки съ Марылей, ея нравственная серьезность и вліяніе чистой женской души должны были распугать всѣ тѣ нечистыя тѣни, которыя были навѣяны Вольтеромъ, и представить воображенію и чувству юноши новыя жизненныя задачи. Сначала, вѣроятно, онъ мало думалъ о томъ, что Марыля была невѣстой другого человѣка; въ своемъ незнаніи жизни Мицкевичъ едва ли не воображалъ, что истинная взаимная любовь одолѣетъ всѣ препятствія, какъ это бываетъ въ романахъ, и увѣнчается счастливымъ бракомъ. А здѣсь было такое сродство душъ. „Богъ создалъ насъ для общей жизни... Одна звѣзда свѣтила намъ обоимъ въ колыбели. Мы равны, хотя воспитаны бѣгомъ разныхъ событій, мы подходимъ другъ къ другу даже по росту и одинаковы возрастомъ. Одни у насъ увлеченія, и къ тому же самому мы равнодушны. Одинаковый у насъ складъ мыслей и тотъ же пламень въ чувствахъ“. Такъ жалуется польскій Вертеръ, герой „Дѣдовъ“.

Съ большимъ душевнымъ подъемомъ вернулся Мицкевичъ въ Вильну, и этотъ подъемъ сейчасъ же отразился на его дѣятельности, прежде всего на его отношеніи къ филоматамъ. Натура, въ высшей степени, активная, Мицкевичъ постоянно стремится воплотить въ жизнь свои идеалы. Прежняя ученическая

дѣтельность филоматовъ его уже не удовлетворяеть, и въ сентябрѣ 1818 года кружокъ филоматовъ раздѣляется на двѣ части въ зависимости отъ специальности его членовъ. Представителемъ перваго отдѣленія, посвященнаго „литературѣ и нравственнымъ наукамъ“, назначается правленіемъ общества Мицкевичъ, который въ продолженіе 1818—1819 учебнаго года произноситъ рядъ рѣчей и пишетъ цѣлый рядъ организаціонныхъ статей. Это драгоценный матеріалъ для характеристики молодаго филомата. Уже здѣсь обнаруживается страсть Мицкевича наставлять людей въ правдѣ. Несомнѣнно, чувствуя въ себѣ чрезвычайныя нравственныя силы, онъ стремился стать вождемъ. И для эволюціи взглядовъ юноши-Мицкевича на общественное значеніе кружка филоматовъ эти рѣчи и статьи даютъ очень много. Такъ, вспоминая зачатки общества въ рѣчи, произнесенной въ маѣ 1819 г., Мицкевичъ заявляетъ, что первоначально, до реформы устава оно ставило себѣ очень маленькую цѣль, но потомъ, „когда въ душѣ почти каждаго изъ членовъ пробудились высшія стремленія, и цѣль дѣлалась болѣе общей, слѣдовало измѣнить уставъ; но эта цѣль, очень хорошо постигнутая нашимъ чувствомъ, не была до сихъ поръ точно опредѣлена“. Раздѣленіе общества на отдѣлы, т. е. реформа устава, относится къ сентябрю 1818 года, когда Мицкевичъ, вдохновленный новымъ чувствомъ, вернулся въ Вильну. А что ему принадлежала значительная доля участія въ реформѣ, видно какъ изъ его назначенія начальникомъ одного изъ отдѣловъ, такъ и изъ множества статей и рѣчей, посвященныхъ толкованію устава. Невинное прежде общество, видимо, превращалось въ конспирацію, и Мицкевичъ шагъ за шагомъ выясняетъ сотоварищамъ необходимость тайны, неизбѣжность внимательнаго изученія кандидатовъ въ филоматы и т. п. Въ рѣчи, произнесенной Мицкевичемъ при приѣмѣ Чечота въ число дѣйствительныхъ членовъ общества, онъ прямо заявляетъ (12 янв. 1819 г.), что это послѣднее „образовалось съ прекраснѣйшей цѣлью принесенія пользы краю, соотечественникамъ и имъ самимъ (филоматамъ), и что оно выбрало наилучшій путь, т. е. путь просвѣщенія“. Въ то же самое время онъ составляетъ инструкцію Зану, ибо тотъ составлялъ уставъ для иного студенческаго кружка „панчииковъ“, подъ которыми разумѣлись едва ли не воспитанники Минской гимназіи, уже упомянутые раньше. Первый параграфъ инструкціи гласитъ слѣдующее: „Цѣлью

общества филоматовъ является, какъ извѣстно, говоря въ самыхъ общихъ выраженіяхъ, всеобщее благо, особенно подъемъ просвѣщенія и, что связано съ нимъ, пользованіе просвѣщеніемъ для прिवітія нравственности, народности и т. д.¹⁾ Затѣмъ слѣдуетъ весьма подробный планъ привлеченія членовъ разныхъ ступеней въ общество и надзора за соблюденіемъ конспираціи. Все яснѣе при этомъ выступаетъ политическій духъ филоматизма. Его задачей выставляется уже не самообразование, а распространеніе основательнаго образованія въ польскомъ народѣ, укрѣпленіе въ немъ началъ народности, пропаганда основъ либерализма, пробужденіе духа общественной самодѣятельности, воспитаніе общественнаго мнѣнія. Такъ рисовались филоматамъ задачи ихъ общества въ маѣ 1819 года. Конечно, путемъ постепеннаго развитія невинный студенческій кружокъ разросся въ политическое сообщество. „Сначала мы хотѣли внести просто маленькую поправку въ уставъ, а потомъ совсѣмъ порвали съ прежнимъ уставомъ; обнаружилась новая, огромная, всеобъемлющая система“, говорилъ Мицкевичъ въ іюнѣ 1819 г. Разъ, однако, такъ случилось, приходилось выяснить свое отношеніе къ правительству. „Несчастныя обстоятельства, въ которыхъ находится нашъ край, дѣйствовали и дѣйствуютъ ужасно на деморализацію (prodlenie) соотечественниковъ. Умъ, прежде высоко подымавшійся для великихъ вещей, теперь поверженный и ограниченный собственными интересами, пресмыкается передъ корыстью и внимааетъ только себялюбію“. Но при этомъ поразительно отсутствіе радикализма въ такомъ юномъ политикѣ. Въ этомъ отношеніи Мицкевичъ впоследствии измѣнился. Между тѣмъ, будучи студентомъ, онъ предостерегаетъ товарищей отъ „рѣзкаго и частаго протеста противъ общепринятыхъ мнѣній“, потому что такое поведеніе воспитываетъ самомнѣніе. Уже здѣсь, какъ и позже, Мицкевичъ не отдѣляетъ политической дѣятельности отъ этической и для достиженія политическихъ задачъ требуетъ нравственнаго совершенствованія личности. Это, по-

¹⁾ Надо сказать, что Мицкевичъ выражается такъ туманно, что буквальный переводъ почти невозможенъ. Вотъ буквальный текстъ: *Celem Tow. Filomatycznego. jak wiadomo, jest, mówiąc najogólniej: dobro powszechne, szczególnie wzrost oświecenia i co między tym srodkuje, przykładanie się drogą oświecenia do wszczęcia moralności, narodowości etc.*..

жалуй, особенно характерно для мировоззрѣнія Мицкевича, и очень важно, что, благодаря новонайденнымъ матеріаламъ, относящимся къ филوماتской дѣятельности поэта, мы оказались въ состояніи возвести принципы III части „Дѣдовъ“ къ ихъ первичнымъ зародышамъ въ юношескихъ произведеніяхъ Мицкевича (ср. Wiadomość o Wydziale pierwszym Towarzystwa Filomatów. 15 ноября 1818 г.). Разумѣется, такой ригоризмъ покоился на вѣрѣ въ человѣка, въ неизсякаемость его душевныхъ силъ при нравственномъ подъемѣ и просвѣтленіи. „Внушить человѣку, что онъ способенъ—не говорю уже—выполнить великія дѣла, но, по крайней мѣрѣ, думать о нихъ—уже великое дѣло. Старайся всегда объ этомъ. Уважай общество, какъ дѣло великое и святое. Такъ своимъ примѣромъ ты воспитаешь и у членовъ-корреспондентовъ почтеніе къ Обществу и ревность по отношенію къ нему. Одно словечко, поднимающее на смѣхъ цѣли Общества или его формальную сторону, является огромнымъ ударомъ. Берегись его пуще всего! Пусть корреспонденты считаютъ не шуткой, но честью для себя принадлежать къ нашему союзу“. Такъ настаивалъ Мицкевичъ въ январѣ 1819 г. шутилаго и легкомысленнаго Чечота, принимая его въ дѣйствительные члены общества филоматовъ. До какой степени ярко сказывается уже здѣсь будущій вождь товьянизма.

Политическія идеи,* изложенныя въ организаціонныхъ статьяхъ и рѣчахъ, были навѣяны Мицкевичу, какъ это отмѣтилъ М. Шійковскій, различными трактатами Руссо. Но нравственной серьезности у него былъ большой собственный запасъ. Всегда склонный ригоризму, хотя далеко не чуждый непритязательной веселости, Мицкевичъ теперь, послѣ возвращенія изъ Тугановичей, чувствовалъ себя, повидимому, въ особо приподнятомъ настроеніи. Результатомъ его явилось первое стихотвореніе, написанное 14 сент. 1818 года. Еще не зная о перемѣнѣ въ уставѣ общества въ концѣ сентября 1818 года, такъ какъ лишь новѣйшія открытія дали эти свѣдѣнія, проф. Третьякъ (Młodość Mickiewicza I. 138) совершенно правильно подмѣтилъ, что въ этомъ стихотвореніи заключается новая программа общества филоматовъ, что самое это общество возникло недавно. Дѣйствительно, при нашемъ современномъ знакомствѣ съ филوماتизмомъ становятся совершенно ясны намеки, разсѣянные въ стихотвореніи „Iuż się z pogodnych niebios ośma zdarła smutna“ („Уже слетѣла печальная тѣма съ ясныхъ небесъ“), ко-

торое представляет по внѣшней формѣ обычную ложноклассическую дидактику. Вліяніе Трембецкаго сказывается въ выборѣ стиха, длиннаго 13-сложнаго стиха, вліяніе греческихъ изученій во множествѣ сравненій и именъ изъ греческой міѳологіи. „Гродекъ и Боровскій были, такъ сказать, крестными отцами этого перваго дитяти мицкевичевской поэзіи“, замѣчаетъ Калленбахъ. Надо прибавить, что здѣсь не мало очень прозаическихъ оборотовъ (напр.: „Но изъ этого вступленія развѣ только глупый могъ бы сдѣлать выводъ, что нужно сдѣлать для всѣхъ открытій къ намъ входъ“ и т. д.), что самая попытка изложить цѣль и характеръ политическаго общества въ стихахъ должна была привести къ прозаическимъ мѣстамъ. Однако, тамъ и сямъ пробивается искреннее воодушевленіе, кидющее сразу поэтической отблескъ на тяжелый стихъ, тамъ и сямъ встрѣчаются яркія и красивыя выраженія. Душевный подъемъ напоминаетъ Шиллера. Несомнѣнно, мы уже въ преддверіи новаго духа въ поэзіи и поэтическихъ вкусахъ Мицкевича. Этотъ духъ обнаруживается въ смѣлой вѣрѣ поэта въ свои силы, въ почти романтическомъ стремленіи проложить новые пути. Какъ морякъ, распускающій на разсвѣтѣ паруса и устремляющійся въ дальній опасный путь, такъ пусть и молодость рвется впередъ къ идеалу, не боясь препятствій: вотъ основная мысль этого стихотворенія.

„Воздвигая новыя зданія на новомъ фундаментѣ, примемъ за лучшій примѣръ греческихъ героев: нашъ трудъ такъ же великъ, наша цѣль такъ же благородна. Имъ, покидающимъ въ первый разъ родныя гнѣзда, не показалось ужаснымъ такое далекое путешествіе (рѣчь идетъ объ аргонавтахъ). Можемъ ли мы дрожать отъ страха, вступая на арену, гдѣ каждый совершенный трудъ служить ступенью къ славѣ. Они для общаго блага принесли разные дары: одинъ силу, другой острый взоръ, тотъ звуки кнѳара. Будемъ такъ же поступать и мы, и все пойдетъ гладко; вѣдь у немногихъ изъ насъ есть недостатокъ въ способностяхъ, а рвенія много у всѣхъ. Будемъ всё желать свершить, а свершить тотъ, кто можетъ, ибо въ неравной мѣрѣ распределяется Божья милость; но когда раскрывается поприще для великихъ дѣлъ, самое неравенство бываетъ менѣ вреднымъ. Счастливецъ, кому достались первые вѣнцы; и самъ онъ добываетъ славу, и въ иныхъ возбуждаетъ стремленіе къ ней, но пусть онъ не рядится въ яркіе

цвѣта пустой гордости (puchy): ибо плоды, а не листья, свидѣтельствуютъ о лучшихъ свойствахъ дерева. Такъ будемъ же хвалиться не тѣмъ, что намъ рукоплещуть, что намъ досталась побѣдная пальма, но тѣмъ, что мы болѣе полезны“. Въ этой тирадѣ удивительно опредѣленно сказался молодой Мицкевичъ, и къ начерченному здѣсь идеалу онъ вернулся черезъ много лѣтъ, пройдя черезъ много страданій, воскуривъ еиміамъ байроновскому богу гордости и затѣмъ разбивъ этотъ кумиръ. Характерно, что уже здѣсь, въ первомъ своемъ серьезномъ стихотвореніи, Мицкевичъ возстаетъ прежде всего противъ гордости (pucha), въ которой онъ всегда видѣлъ источникъ пороковъ. Набросавъ ту цѣль, къ которой должны были стремиться филоматы, поэтъ обращается къ товарищамъ съ горячимъ словомъ: „Къ вамъ, которыхъ мнѣ дорого назвать братьями, я обращаю эти слова. Вы, будущая опора и слава общества, вы, для которыхъ природа была особенно любящей матерью, чѣмъ выше, возноситесь тѣмъ упорнѣе напрягайте свои крылья, чтобы, достигнувъ поднебесныхъ вершинъ славы, вы могли манить туда другихъ братскими взорами; а намъ, которые идутъ по вашимъ слѣдамъ, осужденные стать ниже, будетъ славою и это“. И эти слова чрезвычайно знаменательны: во-первыхъ, уже здѣсь Мицкевичъ близко подходит къ знамени „Романтизма“, къ требованію соразмѣрять свои силы съ высокими намѣреніями, а не намѣренія выкраивать по мѣркѣ силъ, а, во-вторыхъ, помѣщая себя въ нижнемъ ряду (*w roziumut rzędzie*), онъ обнаруживаетъ большую скромность. Послѣдняя часть стихотворенія и по существу, и по формѣ порядочно прозаична; она заключается въ предостереженіи отъ пріема новыхъ членовъ безъ достаточнаго разбора и интересна не какъ поэтической отрывокъ, а какъ указаніе на то строго конспиративное направленіе, какое принялъ филоматизмъ въ глазахъ Мицкевича и его друзей осенью 1818 года. Еще по внѣшней формѣ не отказавшись отъ вкусовъ ложноклассицизма, Мицкевичъ по существу съ нимъ порывалъ. Самое стремленіе напрягать свои крылья при полетѣ, не считаясь съ высотой, противорѣчило требованіямъ здраваго смысла, на которомъ зажился французскій классицизмъ. Въ эту пору разрывъ съ проповѣдью разсудка, подготовленный личной страстью, сокрушившей „здравый смыслъ“, все явственнѣе обнаруживается въ филоматскихъ рѣчахъ и статьяхъ Мицкевича. На первомъ засѣданіи новаго научнаго отдѣ-

ленія, состоявшемся 29 сентября, онъ повѣряетъ, друзьямъ въ сущности, тѣ самыя мысли, которыя развилъ въ стихотвореніи, написанномъ за двѣ недѣли до того. Основная идея его, столь рѣзко разрывающая съ культомъ разсудка, проникаетъ и дальнѣйшія выступления молодого предсѣдателя научнаго отдѣленія. Такъ, въ рѣчи, произнесенной въ январѣ 1819 г. при приемѣ Чечота въ дѣйствительные члены, онъ заявляетъ: „Внушитъ человѣку, что онъ способенъ, не говоря уже, выполнить великія дѣла, но, по крайней мѣрѣ, думать о нихъ, есть уже великая вещь“. Это убѣжденіе вытекаетъ изъ слѣдующаго наблюденія: „Откройся передъ кѣмъ-нибудь съ великой мыслью, съ великимъ планомъ. Ты думалъ пробудить въ немъ высшее чувство, ты вызовешь только улыбку равнодушія! Эти подлыя существа такъ хорошо знаютъ себѣ цѣну, что между великимъ дѣломъ и между собой замѣчаютъ смѣшной контрастъ, и потому-то Гомеръ сказалъ, что боги у каждаго раба сейчасъ же отнимаютъ половину души“. И въ области литературныхъ вкусовъ Мицкевича замѣчается перемѣна: правда, онъ еще усердно читаетъ на засѣданіяхъ кружка рефераты по теоріи словесности, но въ его личныхъ оцѣнкахъ обнаруживается все большее влеченіе къ новымъ литературнымъ вкусамъ. Въ декабрѣ 1818 г. онъ читаетъ разсужденіе о думѣ по поводу стихотворенія І. Чечота „Дума надъ могилами французовъ“. Для этого рода произведеній никакихъ „правилъ“ не имѣлось, и Мицкевичъ, еще не отрѣшившійся отъ вѣры въ правила, съ грустью признается, что никакихъ правилъ относительно думы не читалъ и пробуетъ самъ создать ихъ. Здѣсь онъ еще типичный ложноклассикъ, но вдругъ изъ подъ ледяной наружности классика прорывается горячее чувство романтика, и онъ выражаетъ сожалѣніе, что въ душѣ Чечота мало той „мрачности и могильной меланхоліи, которая господствуетъ въ прекрасномъ началѣ и въ концѣ“. Нѣсколько позже, давая отчетъ о появленіи въ польскомъ переводѣ „The Lady of the Lac“ Вальтеръ-Скотта, молодой критикъ заявляетъ, что это произведеніе „можетъ служить прекраснѣйшимъ образцомъ поэзіи рыцарской, торжественной. Даже въ переводѣ читается съ восхищеніемъ. Особенно заслуживаютъ вниманія сила выраженій и новизна сравненій“. Наконецъ, и самъ Мицкевичъ выступаетъ на путь новой поэзіи и начинаетъ импровизировать, что было простительно романтику, но что совсѣмъ негодилось для человѣка съ „правилами“. На

именинахъ своихъ, въ декабрѣ 1818 г., выпивъ второй бокаль вина среди дружеской компаніи товарищей, Адамъ произнесъ рядъ мелкихъ импровизацій, а потомъ (по записи Чечота), „разругавъ насъ, что мы его напотчивали лучше, чѣмъ сами напотчивались, немножко отрезвился и, растроганный милымъ воспоминаніемъ, началъ чувствительно пѣть“ о „возлюбленной, образъ которой не стерли съ памяти три года“. Изъ этихъ словъ можно сдѣлать выводъ, что Мицкевичъ въ эту пору все еще любилъ Іоасю, и значить, не весь отдался чувству къ Марылѣ, но стоитъ вспомнить обстановку импровизаціи, чтобы понять, что „чувствительность“ (tkliwość) и нѣжная память о „возлюбленной“ были почерпнуты на днѣ кубка и, можетъ-быть, напрасно сохранены для потомства. Тѣмъ не менѣе, забавное описаніе трехъ именинъ, справлявшихся филоматами, шуточные стихи на другую студенческую попойку и тому подобныя случайныя стихотворенія, сохраненныя дружеской рукой и недавно опять увидѣвшія свѣтъ, дають прекрасный комментарий къ первымъ печатнымъ стихамъ Мицкевича: „Zima miejska“ (Зима въ городѣ). Эти стихи, написанные, кстати сказать, не зимой, а осенью, были первымъ печатнымъ произведеніемъ молодого поэта. Они появились 31 окт. 1818 г. въ газетѣ „Виленскій Ежедневникъ“ (Tygodnik Wileński). Содержаніе „Зимы въ городѣ“ заключается въ описаніи тѣхъ изысканныхъ наслажденій, которыя городъ представляетъ богатому юношѣ по сравненію съ деревней. Разсказъ ведется въ первомъ лицѣ и рисуетъ намъ виленскаго „дяди“, какимъ вообразилъ себя молодой поэтъ, начитавшись утонченныхъ стиховъ Трембецкаго съ его ходульными сравненіями и французскими вкусами петиметра. Насколько этотъ нарядъ дяди подходилъ къ скромному филарету, воодушевленному жаждой всеобщаго добра и жившему на маленькую стипендію изъ университета, а душой все еще постоянно улетающему въ тихій, полудеревенскій Новогрудокъ, это другой вопросъ. Искренности въ „Городской зимѣ“ мало, но есть искреннее желаніе „пофорсить“ изысканностью вкусовъ и вѣрностью традиціямъ Красицкаго и Трембецкаго, которыхъ рекомендовалъ вниманію своихъ слушателей Боровскій. Передать на русскомъ языкѣ всю изысканность стили въ этомъ стихотвореніи, множество перифразъ и т. п. оригинала просто невозможно. Достаточно отмѣтить, что въ каждой строкѣ мы, навѣрное, найдемъ то ссылку на фавновъ, рiадъ, цереръ и другихъ языческихъ бо-

говь и божковъ, то какое-нибудь архи-изысканное выраженіе, въ родѣ „городскихъ народовъ“ (жителей городовъ), „рычанія пастей, литыхъ изъ стали“ (пушечныхъ выстрѣловъ), „летуновъ“ (птиць) и множества другихъ, отъ которыхъ, навѣрное, поморщился бы и самъ не лишенный вкуса Трембедкій. Зима въ деревнѣ ужасна, по изображенію поэта: „Но тотъ, кого плѣнить теперешнее село (т.-е. доревня зимой), принужденный видѣть лысыя навѣсы горъ, дикую почву, чащу, безсилную выдержать своими нагими вѣтвями зимнія тяжести (т.-е. снѣгъ), тотъ, если *тянется* печальная *минута*, наконецъ съ *сожалѣніемъ* покидаетъ измѣнившуюся страну и, *олотно смѣняя* Цереру на Плутона, гонитъ къ намъ повозку, тяжѣющую металломъ“. Еще бы не спѣшить въ городъ! „Въ деревнѣ, едва порѣдѣетъ черная ночь, Церера уже велитъ привѣтствовать раннее утро, а здѣсь, хотя бы солнце заняло уже среднія небеса (лат. *medius*), я сплю подъ атласной тѣнью портьеръ. Наконецъ, облекшись въ легкій шелкъ, я созываю кружокъ модной молодежи; въ одѣваніи мы отдѣляемся отъ утреннихъ часовъ или забавляемся веселымъ разговоромъ“. А дальше роскошный выѣздъ, старое венгерское, красавицы... Какъ хохотали, должно-быть, филареты, слушая этотъ рассказъ товарища о невѣдомой имъ всѣмъ роскоши, въ которой будто бы они купаются. Однако въ газетѣ стихи приняли и напечатали.

Между тѣмъ время дѣлало свое дѣло. Переводы изъ нѣмецкой литературы, уже порвавшей съ французскими ложноклассическими вкусами, статьи о новыхъ нѣмецкихъ и англійскихъ писателяхъ и т. п. все чаще появлялись въ журналахъ и подготавливали, особенно среди молодежи, полную перемѣну вкусовъ. Въ журналѣ „*Pamiętnik Warszawski*“ и др. съ 1801 года ежегодно печатаются статьи о нѣмецкой поэзіи и переводы изъ новыхъ поэтовъ; ихъ число все возрастаетъ, особенно послѣ 1815 года, а въ 1812 году выходитъ отдѣльное изданіе Шиллеровской „*Пѣсни о колоколѣ*“ (во Львовѣ) въ польскомъ переводѣ. „Можно сказать, что подъ покрываломъ еще господствующаго классицизма начинаютъ собираться потихоньку новые элементы, начинаютъ понемногу нагромождаться горючіе матеріалы, которые послѣ 1815 года достигаютъ рѣшительнаго перевѣса, уничтожаютъ классицизмъ и вызываютъ въ польской поэзіи „великую революцію“, извѣстную подъ названіемъ романтизма“¹⁾. Въ 1815 г. въ различныхъ поль-

1) R. Pila. *Historia literatury polskiej*. IV т., 2-я часть, стр. 10. 1908.

скихъ журналахъ появляются извлеченія изъ сочиненія госпожи Сталь о Германіи, въ которыхъ объявлялась рѣшительная война псевдоклассицизму. Журналы перепечатавали ея отзывы о французской и нѣмецкой поэзіи, но не прибавляли отъ себя комментариевъ. Эти послѣдніе рѣшился сдѣлать нѣмецкій педагогъ, близко стоявшій къ польской молодежи: въ программѣ познанской гимназіи за 1816 г. директоръ ея, Каульфусъ, напечаталъ на нѣмецкомъ языкѣ разсужденіе: „Почему нѣмецкій языкъ и литературу слѣдуетъ предпочесть французскимъ въ дѣлѣ воспитанія?“ Нѣмецкая литература и болѣе нравственна, и болѣе говоритъ сердцу, чѣмъ французская. Такихъ писателей, какъ Клопштокъ или Шиллеръ, у французовъ нѣтъ, и вообще нѣмецкая литература болѣе ведетъ юношество къ общечеловѣческимъ идеаламъ, чѣмъ французская. Брошюра Каульфуса, очевидно, отвѣчала запросамъ времени, потому что ея появленіе было пріѣтствовано въ „Виленскомъ Дневникѣ“. Позже, въ 1818 году, „Pamiętnik Warszawski“ неожиданно разразился гнѣвомъ по поводу брошюры Каульфуса, утверждая, что умозрительный характеръ нѣмецкой литературы могъ бы только породить пожаръ въ Польшѣ, если бы нѣмецкія произведенія (вродѣ „Вертера“) распространялись въ обществѣ. Въ доказательство правильности своихъ сужденій рецензентъ ссылался на авторитетъ Яна Снядецкаго, который въ письмѣ къ нему далъ очень рѣзкій отзывъ о романтизмѣ, видя въ этомъ направленіи распушенность чувствъ и воображенія. Иначе смотрѣлъ на литературныя нововведенія мягкій и несклонный къ какимъ бы то ни было крайностямъ Каз. Бродзинскій. Въ мартѣ 1818 года появилась его статья „Замѣтки о духѣ польской поэзіи“, которая печаталась до іюля въ „Pamiętnik Warszawski“ и въ отдѣльномъ изданіи была озаглавлена: „О классицизмѣ и романтизмѣ“. Врядли Мицкевичъ могъ познакомиться съ окончаніемъ этой статьи раньше осени 1818 г.; едва ли варшавскій журналъ проникъ въ литовское захолустье, да и до него-ли было молодому студенту, увлеченному Марылей. Впослѣдствіи она оказала несомнѣнное вліяніе на выработку литературныхъ взглядовъ молодого романтика.

Значеніе этого разсужденія заключалось не столько въ осторожной, нерѣшительной критикѣ ложноклассицизма, сколько въ положительныхъ указаніяхъ на необходимость народности, какъ основного правила польской литературы. Народность же, по

убѣжденію Бродзинскаго, заключается въ соотвѣтствіи духу народа, его прошлому, его религии и быту. „Поэзія есть зеркало, въ которомъ отражается каждая эпоха, каждый народъ. Не будемъ эхомъ чужеземцевъ, не станемъ вытаптывать цвѣты на родной землѣ только потому, что на ней легко разрастаются чужіе. И нѣмецкая, и французская поэзія развились по своему, у каждой изъ нихъ были свои традиціи“. Тѣмъ не менѣе, Бродзинскій не былъ вовсе противникомъ правилъ въ литературѣ, не былъ поклонникомъ той „свободы“, на которой зиждилась нѣмецкая романтика. Онъ только считалъ возможнымъ соединить то и другое, и на этомъ построить новыя правила, спеціально пригодныя для польской литературы. „Не будемъ, какъ французы, рабами правилъ: пусть что-нибудь останется для природы, но будемъ, какъ нѣмцы, и ихъ дерзкими нарушителями, чтобы на помощь природѣ приходили искусство и законы разсудка. Поэзія должна быть подобна драгоценному камню, который, имѣя свою внутреннюю цѣнность, приобретаетъ ея еще больше въ дѣствіе полировки и искусства и становится болѣе привлекательнымъ для глаза. Внутреннія достоинства поэзіи, чувство и воображеніе, особенно же философское стремленіе, мы видимъ у нѣмцевъ, а внѣшнія достоинства, вкусъ и лоскъ (polor), мы имѣемъ у французовъ; такъ мы и должны сочетать ихъ. Какъ чувства, почерпаемая изъ общей природы (z powszechnej natury), такъ и правила, вытекающія изъ общаго разсудка (z powszechnego rozsądku), должны быть полезны всегда. Солнце всюду развиваетъ плоды, куда только ни проникнетъ его лучъ, но на помощь ему приходитъ рука искусства. Гдѣ земля плодородна, тамъ искусство предупреждаетъ слишкомъ сильный урожай (przebużanie) и украшаетъ ее; а, гдѣ она менѣе плодородна, тамъ оно еще болѣе помогаетъ природѣ“. Это чрезвычайно характерное мѣсто въ разсужденіи Бродзинскаго: оно показываетъ, какъ глубоко еще держались въ его сознаніи ложноклассическіе предразсудки, какъ онъ былъ далекъ отъ романтизма, и какъ вѣренъ требованіямъ „здраваго смысла“. Критика (Z. Hordyński) справедливо отмѣтила, что при нѣкоторой зависимости отъ общаго хода разсужденій Бродзинскаго Мицкевичъ въ своемъ пониманіи романтизма уже рано ушелъ очень далеко отъ него: дѣло въ томъ, что Бродзинскій искалъ какого-нибудь компромисса между узаконеннымъ старымъ и бурно врывающимся неизбѣжнымъ новымъ. Онъ старался миновать ихъ столкновенія,

найдя нѣчто среднее, что было бы *польскимъ* романтизмомъ, но въ то же время не шокировало литературныхъ вкусовъ и нравственныхъ идеаловъ стараго поколѣнія. Мицкевичъ съ этимъ не считался: для него романтизмъ имѣлъ „свое первоначальное, всемирное значеніе“ (Z. Hordyński), прежде всего, какъ поэзія среднихъ вѣковъ. Для теоретиковъ романтизма въ эту пору это было ходячее воззрѣніе на сущность романтизма.

Въ чемъ же думалъ найти свой средній путь Бродзинскій? Въ понятіи *народности*, къ которой уже съ начала вѣка шли лучшіе писатели Польши. „Пусть идетъ горячая борьба между нѣмцами и французами. Мы должны безпристрастно опредѣлять заслуги и ошибки тѣхъ и другихъ, но работать на *своей* нивѣ, усваивая себѣ то, что свойственно *намъ*, чуждаясь всего того, отъ чего нельзя ожидать никакой пользы для *нашей* литературы“. Вмѣстѣ съ тѣмъ критикъ пробуетъ опредѣлить сущность этого *своего*, польскаго національнаго духа. „Что касается духа нашей поэзіи, то въ ней господствуютъ повсюду любовь къ родинѣ, горячность въ почитаніи благородныхъ гражданскихъ подвиговъ, умѣренность въ увлеченіяхъ, воображеніе свободное, но не шокирующее, лишенное фантастическихъ вымысловъ, мягкая чувствительность, простота, которая была присуща слишкомъ немногимъ изъ тогдашнихъ иностранныхъ писателей, земледѣльческія картины крестьянской жизни и семейнаго благополучія, нравственность практической философіи, чуждыя бурности страсти и скромность обычаевъ“. Правда, эта идиллическая картина мало соответствовала дѣйствительности, но она отвѣчала настроенію мягкаго и чувствительнаго писателя, и въ ней онъ видѣлъ истинное выраженіе національнаго польскаго духа. Отсюда вытекалъ совѣтъ: „Держаться этого духа—вотъ самый спасительный путь, по которому слѣдуетъ идти къ дальнѣйшимъ успѣхамъ. Въ наше время мы столько приобрѣли въ различныхъ областяхъ поэзіи, что можемъ помяряться съ вѣкомъ наукъ, созрѣвшихъ подъ опекой Станислава Августа, и лишь выдающійся прогрессъ драматическихъ произведеній можетъ примирить насъ съ утратой такого исключительно остроумнаго писателя, какимъ былъ Красицкій. Вредъ самимъ себѣ и задержку въ развитіи мы создадимъ, если будемъ цѣнить себя и будемъ стремиться къ совершенству лишь постольку, поскольку сможемъ сравниться съ иностранцами. Ни одинъ народъ не совершенствуется такимъ образомъ, а каждый имѣетъ своихъ писателей,

которых цѣнить въ соотвѣтствіи своему народному духу и вкусу. На языкѣ и характерѣ народа мы можемъ основывать надежды на все. Что касается чувства романтизма (*szucia romantycznosci*) (если читатель захочетъ понимать его въ томъ смыслѣ, какъ я старался развить), то больше я не позволю себѣ никакихъ замѣчаній: это значило бы вычеркивать (*wykreślać*) власть мышленія, предлагать правила чувству; образъ его лежитъ въ природѣ, читать которую никто ни отъ кого не научится“. Въ высшей степени знаменитый отказъ отъ „правилъ“, регулирующихъ чувство! Во всякомъ случаѣ, и романтическая поэзія должна быть у поляковъ своя, основанная на національномъ характерѣ. Къ опредѣленію ея и переходитъ Бродзинскій.

„Какъ поляки христіане, не станемъ искать романтическаго выраженія въ религіи, въ тѣхъ мрачныхъ ужасахъ, въ которыхъ германскіе народы выразили свое религіозное чувство, но будемъ уважать въ религіи болѣе мягкія и гуманныя чувства, какими былъ проникнутъ ея святой Законодатель, какія должны вытекать изъ ея наставленій, какія видѣли въ ней и наши предки. Какъ поляки, привязанные душой къ землѣ отцовъ, не будемъ искать для того, чтобы вспомнить о предкахъ, примѣровъ въ рыцарской поэзіи среднихъ вѣковъ, но будемъ рисовать ихъ мирными рыцарями, поглощенными заботами о благѣ родины, живущими плодами земледѣлія, а вовсе не укрывающимися, какъ орлы, въ скалахъ, и не бросающимися изъ своихъ гнѣздъ, какъ орлы же, на поиски добычи въ ближайшихъ равнинахъ,—и боролись они не ради славы своихъ дамъ, но на благо своей земли. Теперь особенно мы живемъ въ вѣкъ, исполненный воспоминаній. Удивительныя судьбы нашей родины представляютъ великое поприще для поэзіи. Нашъ романтизмъ заключается въ нашихъ былыхъ городахъ, площадь которыхъ покрыла уже черная пашня, въ печальныхъ замкахъ, въ которыхъ нѣкогда жили наши короли, и къ стѣнамъ которыхъ теперь крестьяне прислоняютъ свои крыши; онъ состоитъ въ столицѣ, гдѣ теперь на отдѣльной землѣ спятъ двѣ возлюбленныя семьи нашихъ королей и столько рыцарей: въ Сивиллѣ (бесѣдкѣ Сивиллы, въ Пулавахъ, о которой говорилъ и ксендзъ Вороничъ), гдѣ сохранились отъ истребленія жалкіе остатки нашего блестящаго прошлаго; въ могилахъ рыцарей, которыя разбросаны повсюду среди нашихъ полей, и въ рыцарствѣ, которое, по примѣру Энея, покинуло уничтоженную Трою, не для осно-

ванія новыхъ жилищъ въ латинской землѣ, но для сохраненія воего оружія, чтобы вернуться съ нимъ къ могилѣ родины,—сохранило его съ неслыханной надеждой, окропивъ его кровью, пролитой за чужое дѣло“.

Такимъ образомъ, основнымъ требованіемъ романтической поэзіи должна быть ея народность. Такое пониманіе не являлось революціоннымъ по отношенію къ старому поколѣнію, сердца котораго также бились при воспоминаніи о старыхъ городахъ и старыхъ рыцаряхъ Польши, но оно не могло простить Бродзинскому его умѣренного, но все же отрицательнаго отношенія къ французской литературѣ, его нежеланія считать за ненарушимые законы поэзіи ея правила. Это было новшество, тѣмъ болѣе опасное въ глазахъ стариковъ, что грозило „анархіей“ во всемъ, а они требовали отъ молодежи большой умственной и нравственной дисциплины и руководились въ этомъ требованіи искренними патріотическими побужденіями. На статью Бродзинскаго послѣдовала рѣзкая реплика изъ Вильны, изъ среды университета. Старикъ Янъ Снядецкій, недавній ректоръ и одинъ изъ крупнѣйшихъ ученыхъ авторитетовъ Вильны, разразился въ январскомъ номерѣ „Виленскаго Дневника“ (1819) статьёй „О сочиненіяхъ классическихъ и романтическихъ“. Онъ требовалъ ясной мысли и здороваго чувства. „Чары, гаданья, призраки (urіоgу) вовсе не природа, но продуктъ ума, значительнаго невѣжествомъ и предразсудками; это вовсе не нѣмецкая народность, ибо это глупость едва-ли не всѣхъ народовъ, погруженныхъ въ варварство и не просвѣщенныхъ чистой религіей. Память о нихъ унижаетъ человѣка, но жалости въ немъ не возбуждаетъ. Право, не знаю, можетъ ли человѣкъ жалѣть о томъ, что избавился отъ воображаемыхъ страховъ и сталъ болѣе разумнымъ?“ Сокрушивъ нѣмецкую романтику и раздѣлавшись не менѣе сурово съ Шекспиромъ, Снядецкій предостерегаетъ отъ опасностей разыгравшагося воображенія. „Всѣ вымыслы безбожія, всѣ крайности суетвѣрія въ ложныхъ религіяхъ, всѣ нелѣпости и пустыя идеи въ философіи являются дѣломъ разнузданнаго воображенія.“ По его мнѣнію, „романтизмъ отрицаетъ опытъ, возбуждаетъ воображеніе противъ разума, создаетъ своего рода междуособную войну между умственными силами человѣка. Не будемъ же внимать его заговорщицкимъ напештываніямъ, ибо прекраснѣйшія созданія человѣческаго ума дѣти мира, согласія и гармоніи между всѣми силами души, кото-

рыя совмѣстно содѣйствуютъ ихъ появленію на свѣтъ“. Въ романтизмѣ Снядецкій видитъ общественную опасность: „совѣтовать людямъ руководиться въ искусствѣ писанія разнузданнымъ воображеніемъ, лишеннымъ возжей и правилъ, значить почти то же самое, что принимать за правило нравственной жизни распущенность страстей и сдѣлать міръ, какъ умственный, такъ и общественный поприщемъ бурь, насилій и опустошеній“. Что же остается дѣлать: „Бѣжимъ отъ романтизма, какъ отъ школы измѣны и отъ заразы!“

Статья Снядецаго была написана еще въ декабрѣ 1818 г. Конечно, ей предшествовали всякіе толки о новомъ литературномъ теченіи, и чѣмъ рѣзче была критика, чѣмъ круче завязывалась борьба, тѣмъ настойчивѣе вставало передъ всякимъ интересующимся литературой требованіе выяснить свое собственное отношеніе къ романтизму. А борьба завязывалась нешуточная *); журналы подхватили новую тему, *Pamiętnik Warszawski* въ январѣ же 1819 года печатаетъ статью „О необходимости и задачахъ критики изящныхъ искусствъ“, гдѣ настаиваетъ на необходимости изучать прежде всего содержаніе произведенія, оставляя на заднемъ планѣ его внѣшнюю форму. Долженъ былъ отозваться и учитель Мицкевича, Боровскій, мнѣнія котораго, конечно, спрашивали и его товарищи-профессора, и ученики-студенты. По натурѣ своей Боровскій еще менѣе годился въ романтики, чѣмъ Бродзинскій: тотъ былъ склоненъ къ мягкимъ, нѣжнымъ и свѣтлымъ чувствамъ, этотъ былъ скептикомъ, неспособнымъ „увѣрять“ въ романтизмъ. Но зато онъ мало вѣровалъ и въ „правила“. По своему общественному положенію осторожный Боровскій былъ вынужденъ стать между двумя лагерями. Съ 1814 года онъ былъ лишь замѣстителемъ профессора Словацкаго, въ 1816 году онъ получилъ степень магистра философіи и лишь въ 1818 г. былъ назначенъ адъюнктомъ. Ему оставалось добиваться профессуры, и для этой цѣли Боровскій пишетъ разборъ поэмы Красицкаго „Монахомахія“ который печатаетъ въ университетскомъ органѣ „*Dziennik Wileński*“. Однако, напечатавъ разборъ первой пѣсни, Боровскій на этомъ и остановился; по вѣроятному предположенію

*) Подробнѣе объ этой борьбѣ см. P. Chmielowski *Dzieje krytyki literackiej w Polsce* 1902 г. и T. Grabowski *Krytyka literacka w czasach romantyzmu (1818—1830)* Biblioteka Warszawska 1909 окт. M. Szykowski *Genie du Christianisme*.

І. Бѣлинскаго („Uniwersytet Wileński“ III. 140), онъ обнаружилъ здѣсь такую эрудицію, что считалъ первую главу достаточной для полученія кафедры. Однако, лишь въ 1820 году, написавъ (на конкурсную тему, объявленную еще въ 1815 году) „Размышленія надъ поэзіей и краснорѣчіемъ съ точки зрѣнія ихъ сходства и различія“, Боровскій былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ. У людей осторожныхъ и благоразумныхъ, а такимъ былъ Боровскій, диссертациі не бывають черезчуръ смѣлыми и новаторскими. И учитель Мицкевича весьма осторожно подходитъ къ выводу, что французская литература представляетъ собою не поэзію, а краснорѣчіе,—къ выводу, въ сущности, отрицательному для „правиль“ ложноклассицизма. „Слишкомъ геометрической порядокъ мыслей и образовъ связалъ свободныя крылья фантазіи, ограничилъ быстроту вдохновенія и уничтожилъ господство мысли надъ рѣчью“: таковъ былъ срединный выводъ Боровскаго. Но кругозоръ его все-таки былъ уже гораздо шире, чѣмъ у прежнихъ сторонниковъ правилъ: онъ горячо говорилъ о Кохановскомъ, обращалъ вниманіе на народныя пѣсни, говорилъ объ истинной народности въ литературѣ и не признавалъ польскую литературу народной. Нѣмецкую поэзію онъ хвалилъ и изучалъ.

Едва ли не такъ же умѣренны и неясны были литературные вкусы Мицкевича въ эту пору. Только по молодости лѣтъ ему нравились еще страхи, таинственность и чувствительность нѣмецкой и англійской романтики, первые представители которой, по справедливому замѣчанію проф. Порембовича, еще вовсе не понимали простоты и были воспитаны въ традиціяхъ классическаго *bienséance*. Тѣмъ не менѣе, взоръ Мицкевича былъ обращенъ на сѣверъ, къ нѣмецкой и англійской литературамъ и ихъ изученіе начинаетъ новую эру въ его поэтическомъ развитіи. Вскорѣ Мицкевичъ обнаруживаетъ уже очень широкое знакомство съ нѣмецкимъ романтизмомъ; онъ хорошо знаетъ не только Шиллера и Гете, но и Тика и Жанъ Поль Рихтера и др. меньшихъ писателей, но началъ онъ въ своемъ изученіи германской литературы, несомнѣнно съ Шиллера, и подъ влияніемъ Зана. Въ ту же самую пору передъ нимъ раскрываются глубины нѣмецкой философіи; онъ знакомится съ Кантомъ, противъ котораго торжествующій ренесансъ „здраваго смысла“ Снядецкихъ уже началъ походить. Какъ показалъ М. Шійковскій въ своей книгѣ о Шатобріанѣ, Кантъ пользовался въ польскомъ обществѣ начала XIX вѣка боль-

шимъ почтеніемъ. Еще въ 1812 году ксендзъ Яронскій издалъ въ Краковѣ трактатъ „О философіи“, въ которомъ были изложены, правда, не изъ первыхъ рукъ, основные принципы Кантовской теоріи познанія. Послѣ 1816 года виленскіе позитивисты открываютъ походъ противъ Канта, какъ и противъ нѣмецкаго романтизма, и характерная вещь, что первый голосъ въ этомъ спорѣ принадлежалъ опять таки Яну Снядецкому. Правда, сочиненіе Снядецкаго, посвященное Канту, вышло лишь въ 1821 году „издѣвненіемъ студентовъ Виленскаго университета“, но, навѣрное, въ Вильнѣ давно уже знали объ отрицательномъ отношеніи мѣстнаго свѣтила науки къ кенигсбергскому мудрецу, котораго онъ безъ церемоніи считалъ шарлатаномъ, нарочно облакающимъ старыя теоріи въ темный, непонятный языкъ и сбивающимъ съ толку слабыя головы. Осенью 1818 года въ сентябрьской книжкѣ „Всеобщей женевской бібліотеки“ Мицкевичъ наткнулся на статью о Кантѣ, заключающую обзоръ его жизни и ученія. Эту статью онъ и изложилъ на собраніи филоматовъ въ февралѣ того же учебнаго года (1818—1819) вмѣстѣ съ нѣсколькими другими статьями. Но въ то время, какъ всѣ остальные статьи журнала вызываютъ съ его стороны извѣстные отзывы: напр., восторженный о Вольтеръ-Скоттѣ, сдержанно отрицательный о кое-какихъ другихъ, о Кантѣ Мицкевичъ не рѣшается высказать свое мнѣніе и просто пересказываетъ журнальную статью, впрочемъ, не обнаруживая большого пониманія Кантовскаго ученія о формахъ мышленія. Съ противнымъ мнѣніемъ М. Шійковскаго (Bibl. Warsz. 1910. № 4) я никакъ не могу согласиться и не вижу ни одного признака того, что Мицкевичъ уже ранѣе зналъ Канта. Да холоденъ онъ къ нему остался и года два спустя; когда вышла грозная критика Снядецкаго, Мицкевичъ соглашался съ нимъ, что „во всякомъ случаѣ Кантъ небезопасенъ“.

Другое дѣло Шиллеръ. Какъ и съ Марылей, съ нимъ познакомилъ Мицкевича Занъ. Конечно, и раньше онъ читалъ въ переводахъ баллады нѣмецкихъ романтиковъ, но объ обращеніи въ новую вѣру самъ поэтъ рассказывалъ впоследствии слѣдующее: „Въ эту пору поэтическая клѣточка въ его мозгу, какъ онъ выражался (рассказываетъ Одынецъ въ своихъ „Письмахъ съ дороги“, т. I, стр. 354—356), начала принимать новыя формы. Первымъ, хотя и безсознательнымъ, двигателемъ въ этомъ направленіи былъ Т. Занъ... Онъ писалъ множество стиховъ, о печатаніи кото-

рыхъ никогда и не думалъ: прежде всего, разнымъ барышнямъ, которымъ онъ преподавалъ во всякихъ пансіонахъ всякіе предметы; въ каждой изъ нихъ, начиная съ *Fели* и *Велли* (имена двухъ барышень), онъ находилъ и любилъ какой-нибудь исключительный *лучъ* совершенства. Описывая изо-дня-въ-день свои приключенія или впечатлѣнія, онъ по вечерамъ, обыкновенно, читалъ свои стихи пріятелямъ...

На этихъ собраніяхъ, на ряду съ диспутами объ алгебрѣ и химіи, о Пандектахъ, Гомерѣ и Гораціи, Т. Занъ въ заключеніе, обыкновенно читалъ свои стихи, а Фрейндъ—залихватскіе *ялбы*. Адамъ сначала не придавалъ имъ особаго значенія, не видя въ нихъ ни искусства, ни отдѣлки, но какъ-то Томашъ написалъ элегію на отъѣздъ одной изъ своихъ прекрасныхъ подругъ и ученицъ, съ которой встрѣчался въ продолженіе всего года, въ воскресеніе и праздники, на обѣдахъ у общихъ друзей, гдѣ они, обыкновенно, проводили вмѣстѣ и конецъ дня. Содержание этой элегіи составляли, главнымъ образомъ, воспоминанія объ общихъ играхъ и развлеченіяхъ, въ тонѣ скорѣе веселомъ, чѣмъ чувствительномъ, но такъ тонко выдающемъ искреннее и глубокое чувство, что Адамъ, который, какъ онъ самъ говоритъ, не думалъ, „чтобы въ мелочахъ настоящей жизни могло быть столько сокровищъ поэзіи“, въ первый разъ обратилъ свою мысль и вниманіе на исканіе не только уже „правды въ поэзіи, но и поэзіи въ правдѣ“. А такъ какъ именно въ это время,—посѣщая лекціи филологическаго факультета, онъ учился и начиналъ читать по гречески и по нѣмецки, то и во всѣхъ лучшихъ произведеніяхъ на этихъ языкахъ онъ началъ выискивать этотъ элементъ. И такъ, наконецъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что именно ему они обязаны своимъ величіемъ и бессмертіемъ. Гомеръ и Гете сдѣлались его излюбленными въ этомъ отношеніи учителями; а элегію Зана онъ до такой степени износилъ, держа ее всегда при себѣ, что она въ его карманѣ и стерлась и истрепалась. А затѣмъ вмѣстѣ съ Чечотомъ, усерднымъ собирателемъ и подражателемъ народныхъ пѣсень, онъ сталъ искать въ нихъ слѣдовъ собственныхъ чувствъ, понятій и обычаевъ, всего того, чего наша ученая подражательная поэзія почти совершенно была лишена“. Разсказъ Одынца относится къ 1829 г. За долгій срокъ, несомнѣнно, кое-что сгладилось въ памяти Мицкевича, кое-что спуталъ, можетъ-быть и самъ Одынецъ, но остается важный фактъ, что отвращеніе къ условности и со-

чувствіе къ поэзіи искренняго чувства, сокровищницей которой представилась народная пѣсня, обнаружилась у Мицкевича въ 1818 году, и при томъ, подъ вліяніемъ Зана и Чечота. О Шиллерѣ мы еще не слышимъ здѣсь: напротивъ, Одынецъ приводитъ неправдоподобный разсказъ объ огромномъ впечатліиіи, которое именно въ эту пору произвела на Зана и его друзей баллада Жуковскаго „Людмила“ (правда, написанная уже 10 лѣтъ назадъ).

Вліяніе Зана, вѣроятно, только завершило процессъ, который уже подготовлялся въ сознаниіи Мицкевича. Съ 1816 года баллады Шиллера въ польскомъ переводѣ появляются нерѣдко; баллада Бюргера въ Польшѣ, какъ и въ Россіи, вызываетъ особенный интересъ: „Людмилѣ“ его посвящаются критическія разсужденія, ее передѣлываетъ въ своей первой балладѣ „Нерина“ и Т. Занъ. Сразу ли подчинился обаянію Шиллера Мицкевичъ, сказать трудно. Вѣроятно же всего, что, дѣйствительно, искренняя любовь Зана, которая нашла уже такой живой отзвукъ въ его душѣ послѣ лѣта въ Тугановичахъ, раскрыла его глаза на такія поэтическія произведенія, мимо которыхъ раньше онъ проходилъ равнодушно. Надолго Шиллеръ, именно Шиллеръ, а не Гете или Гомеръ, становится властителемъ думъ молодого поэта, и подробный анализъ Мазановскаго и Финкеля показалъ, какъ глубоко проникало это вліяніе, какъ много образовъ и мыслей внесъ Шиллеръ въ сокровищницу Мицкевича. Его повышенному гражданскому настроенію, его чистой и пламенной любви, его стремленіямъ къ нравственному совершенству Шиллеръ давалъ такой полный отвѣтъ, какого мы, разочарованныя дѣти XX вѣка, не можемъ даже представить себѣ. И современный поэтъ уже не способенъ быть такимъ полнымъ отраженіемъ литературныхъ вѣяній своего времени, какими были Мицкевичъ или Пушкинъ. Шиллеръ, Гете, Тикъ, Жанъ Поль Рихтеръ, Шатобрианъ, Руссо, Вольтеръ, Байронъ, Трембецкій, Нѣмцевичъ и сколько другихъ поэтовъ: всѣ оставили свой яркій слѣдъ въ выработкѣ поэтическаго направленія Мицкевича. Сконцентрировавъ въ себѣ всѣ эти явленія, сливъ ихъ и переработавъ, онъ сталъ выразителемъ всей сложности своей эпохи, завершилъ своимъ явленіемъ въ польской поэзіи процессъ ея проникновенія новыми началами, ихъ синтеза и сліянія старыхъ идеаловъ съ новыми, міровыхъ идеаловъ съ національными польскими.

Съ прошлыми симпатіями Мицкевичъ порвалъ, однако, не

сразу. Онъ добивается напечатанія своего ложноклассическаго разбора „Ягеллониды“, для этой цѣли прибѣгаетъ къ помощи Лелевеля, жившаго въ Варшавѣ, и печатаетъ свое разсужденіе въ началѣ 1819 года въ варшавскѣмъ журналѣ. Но уже новымъ духомъ вѣетъ отъ его историческаго разсказа „Живили“, напечатаннаго 28 февраля 1819 г. въ журналѣ „Tygodnik Wileński“.

Здѣсь развивается та же тема, что и въ „Пораѣ“, но образъ героини принялъ уже болѣе опредѣленные черты; несомнѣнно, прелесть Марыли создала тотъ нѣжный женственный обликъ, въ который отлился теперь этотъ образъ. Дѣйствіе происходитъ въ Новогрудкѣ, гдѣ все еще витаетъ муза поэта. Здѣсь жилъ князь Коріать, а у него была дочка Живили. Ходила молва, что она „питала большое отвращеніе къ супружескимъ узамъ: когда князья, а также магнаты изъ далекихъ странъ присылали пословъ, прося ея руки, она постоянно всѣмъ отказывала“. Никому невѣдомая причина упорства Живили заключалась въ тайнѣ ея сердца; подобно Марылѣ, которая, имѣя уже „вельможнаго“ жениха, любила и бѣднаго студента, „княжна Живили съ нѣкотораго времени тайно влюбилась (zamiłowała się) въ литовца Пораю, мужа съ рыцарскимъ сердцемъ, который, благодаря своимъ выдающимся военнымъ подвигамъ, былъ весьма приятель князю Коріату и въ его отсутствіи держалъ правленіе всего государства, вслѣдствіе чего ему нетрудно было устраивать со своей любовницей тайныя свиданія, на которыхъ они изъясняли другъ другу свою любовь и взаимно утѣшали другъ друга“. Наконецъ отецъ Живили замѣтилъ, что дѣло обстоитъ неблагополучно. „Оныя слезы, оныя вздыханія, оная блѣдность, оныя испуги и постоянные трепеты передъ отцомъ дали ему понять все, какъ было“. Въ страшномъ гнѣвѣ Коріать прогналъ отъ себя дочь, пригрозивъ смертью и ей, и ея неизвѣстному любовнику. Нужно было узнать, кто „gamrat“ (старинное слово, нарочно употребленное здѣсь Мицкевичемъ) княжны, и Коріать обѣщала большую награду тому, кто его откроетъ. Но „княжна Живили была въ особенной любви у слугъ и подданныхъ своихъ, а на рыцаря Пораю, который въ укромномъ уголку оплакивалъ свое несчастіе, а при дворѣ умѣлъ дѣлать веселое лицо, не явилось ни одного рѣшительно подозрѣнія“. Таковы до известной степени автобіографическія подробности, которыя молодой поэтъ вложилъ въ свой разсказъ: кроткая, всѣми любимая дѣвушка, бѣдный, но доблестный рыцарь, который таятся со своей

любовью и долженъ дѣлать веселое лицо (какъ Густавъ въ „Дѣдахъ“), и насильственный бракъ, къ которому неволять принцессу. Несомнѣнно, именно такъ Мицкевичъ смотрѣлъ въ эту пору на свои отношенія съ Марылей. Въ дѣйствительности, дѣло обстоило иначе: Марыля и не думала отказываться отъ богатаго графа Путкаммера, а самъ Мицкевичъ потомъ сознательно отказался отъ нея. Но грустный финалъ разыгрался много позже, а зимой 1818—19 г. облака мечты окутывали голову поэта.

Наконецъ, „князь, разгнѣвавшись великимъ гнѣвомъ, повелѣлъ единую дочь свою заковать въ цѣпи и бросить въ яму подъ стражу, откуда, нѣкоторое время спустя, ее должны были повести на казнь. У кого найдется слогъ, чтобы описать стenanія и тяжкую печаль и плачь, которые поднялись послѣ этого по всему городу? Вѣдь князю Живилю народъ любилъ, какъ божество добродѣтели, какъ возлюбленную мать, которая такъ охотно помогала бѣднымъ и смягчала суровый къ подданнымъ нравъ князя“. Разумѣется, Живилю слѣдовало спасти, но кому же Мицкевичъ могъ поручить эту задачу, какъ не Пораю. А онъ только что одержалъ блестящую побѣду надъ русскимъ княземъ Иваномъ и вернулся со славой. Порай просить у Коріата руки его дочери, но обезумѣвшій отъ гнѣва новогрудскій князь отказывается ему. Литовскій герой не останавливается ни передъ чѣмъ. Онъ прокрадывается въ лагерь Ивана, обѣщаетъ ему предать городъ, если въ награду за предательство получить въ жены Живилю. Все такъ и случилось. Но Живилия не захотѣла свободы, купленной цѣною измѣны. Схвативъ мечъ Порая, она поразила его въ самую грудь, такъ что остріе вышло наружу. „Измѣнникъ, возопила она, неужели тебѣ такъ мало дорога родина, что ради ничтожной радости (dla trochę tej gładkości) ты продалъ ее? О человекъ безъ чести, этимъ ли ты отплатилъ за мою любовь? А вы, о граждане, почему вы стоите безмолвно, точно не съ вами говорить, почему вы не обратите противъ этихъ разбойниковъ вашего гнѣва и мщенія? Такъ говоря, она бросилась съ мечомъ на неприятелей, стоящихъ по близости, чѣмъ весь народъ, какъ будто кто бросилъ въ него огонь, потрясенный, устремившись, какъ кто могъ съ оружіемъ и мечами, побѣждалъ на русскихъ, ничего подобнаго не ожидавшихъ. Вырѣзана ихъ великая сила, по домамъ и улицамъ, а остальныхъ брали живьемъ и плѣняли. Живилия, прибѣжавъ, когда Коріатъ былъ только что выпущенъ

изъ плѣна (z tarasa), „Отець мой“ возопила и пала безъ души“.

По сравненію съ „Мѣшкомъ“ эта наивная сказочка очень замѣчательна. Во-первыхъ, слогъ ея архаиченъ, стремясь удовлетворить романтическое требованіе исторической подлинности (какъ въ не б романтизмѣ, у Жеромскаго, въ его „повѣсти“ объ удаломъ Вальгердѣ). Мицкевичъ обнаруживаетъ хорошее знакомство со старо-польскимъ слогомъ памятниковъ VI—VII вѣковъ. И нравственное содержаніе „Живили“ достойно вниманія: измѣну во имя личнаго чувства молодой поэтъ осудилъ такъ же, какъ зрѣлымъ мужемъ онъ осудилъ измѣну во имя патриотизма въ „Конрадѣ Валленродѣ“. Впервые предстала передъ его нравственнымъ чувствомъ проблема измѣны, которая такъ долго и такъ разнообразно занимала его позже. И если эта проблема предстала передъ нимъ именно теперь, то это объясняется тѣмъ направленіемъ, какое теперь принималъ кружокъ филоматовъ. Не даромъ и въ рѣчахъ своихъ Мицкевичъ проводилъ мысль объ особыхъ условіяхъ „деспотическаго“ государства, въ которыхъ имъ приходится дѣйствовать. Въ концѣ мая 1819 г. въ „Tygodnik Wileński“ была напечатана сентиментальная передѣлка 35-й новеллы Декамерона, „Карыля“, сочиненіе которой Владиславъ Мицкевичъ (Żywot. I. 47) приписываетъ своему отцу. Но противъ этого предположенія говорить такъ много, что я, согласно съ мнѣніями Третьяка и Каленбаха, не считаю возможнымъ приписать ее Мицкевичу.

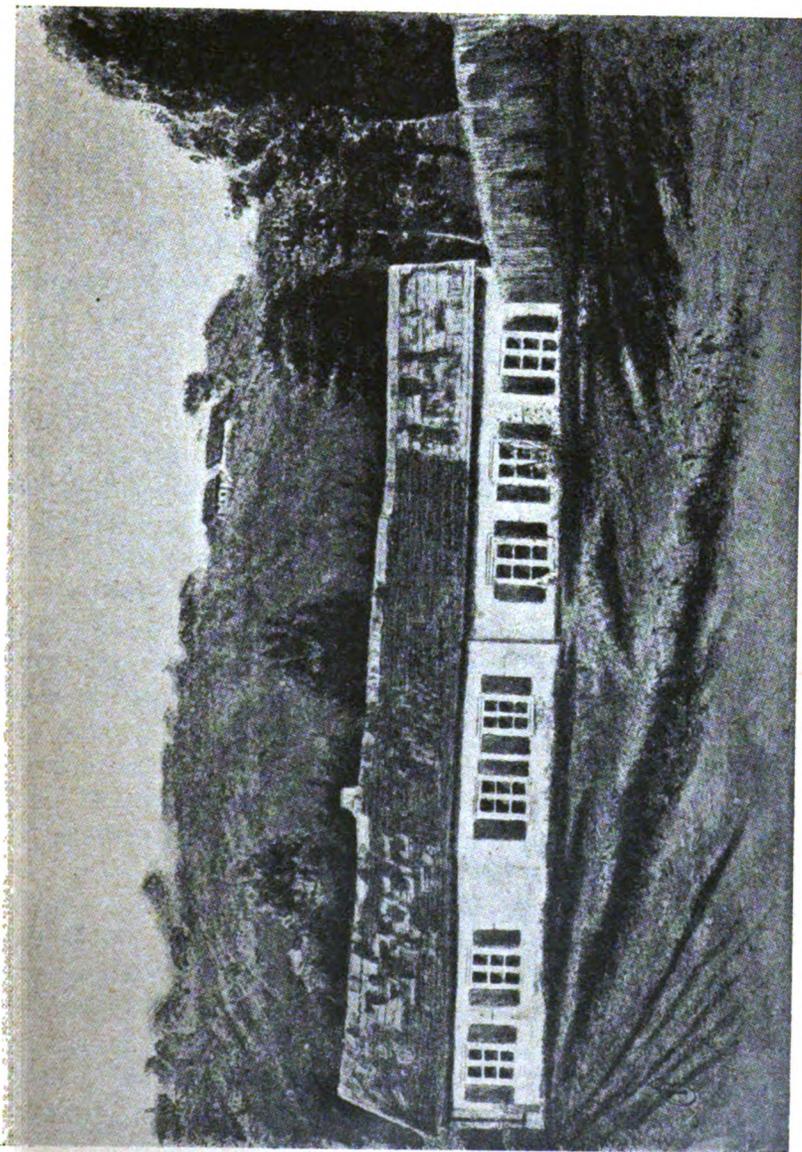
Такъ прошелъ этотъ послѣдній годъ студенческой жизни Мицкевича. Оставалось сдать экзамены: 29 мая онъ держалъ экзамены по древней литературѣ, по польскому и русскому языкамъ и по философіи, а 4 июня по всеобщей исторіи. Письменный экзаменъ по исторіи литературы Мицкевичъ также выдержалъ, написавъ (по вынутымъ билетамъ) на двѣ хорошо знакомыя ему темы: „О причинахъ разной степени вдохновенія въ разныхъ видахъ лирической поэзіи“, и о „Чудесномъ въ поэзіи: къ чему оно служитъ и каковы его источники“. Степень магистра можно было получить, только написавъ диссертацию. Совѣтомъ профессоровъ Мицкевичу была назначена тема „De criticae usu atque praestantia“ (О пользѣ и важности критики). Своими прежними изученіями Мицкевичъ, конечно, былъ хорошо подготовленъ къ отвѣтамъ на всѣ эти вопросы, которые еще до такой степени дышали ложноклассическими традиціями. Въ концѣ іюня онъ

былъ свободенъ. Матеріальное положеніе его было сравнительно обезпечено на будущій годъ. Школьный комитетъ при Виленскомъ университетѣ опредѣлилъ его учителемъ древнихъ языковъ въ уѣздную школу Ковна, а пока онъ спѣшилъ въ Тугановичи, къ Марылѣ.

V.

Мицкевичъ въ Ковнѣ. 1819—1820 уч. годъ.

Лѣтомъ 1819 года Мицкевичъ опять побывалъ въ Тугановичахъ. Цѣлое лѣто онъ, навѣрное, здѣсь не могъ провести, и въ одномъ изъ недавно открытыхъ писемъ сообщаетъ, что „черезъ полчаса ѣдетъ къ Верещакамъ, а оттуда въ Щорсы“. О томъ, какъ прошло для молодого учителя это лѣто, мы не имѣемъ никакихъ другихъ данныхъ, кромѣ этихъ писемъ, да позднѣйшаго разсказа самого Мицкевича Александру Ходькѣ. Въ этомъ разсказѣ заключается и очень важное указаніе на пробужденіе народнической нотки въ душѣ поэта, но недостаточность его для біографа Мицкевича заключается въ позднемъ его происхожденіи, въ извѣстной хронологической неопредѣленности. „Нигдѣ на всемъ свѣтѣ не найти такой веселой жизни, какъ въ литовскихъ деревняхъ и хуторахъ,—разсказывалъ Мицкевичъ.—Столько тамъ радости, любви, всеобщаго непрерывнаго счастья. Такая жизнь щедро досталась въ удѣлъ и мнѣ между 1815 и 1820 годами, особенно въ домѣ Верещаковъ, куда въ обществѣ Томаша Зана и другихъ мы пріѣхали проводить каникулы. Цѣлыя ночи въ лѣсахъ, надъ озерами... Всѣ стараются выдумать какое-нибудь новое развлеченіе. Равинь, докторъ, ксендзъ, типы, влюбленность, романы. Послушавъ однажды очень интересную сказку, разсказанную рыбакомъ, Марія, обратившись ко мнѣ, воскликнула: вотъ это поэзія! Напиши что-нибудь такое. Эти слова глубоко залегли у меня на душѣ, и съ этого времени я принялъ свое поэтическое направленіе“. Это свидѣтельство можно понять только, какъ обращеніе поэта къ народности. Зимой 1819—20 года Мицкевичъ остается вѣрнѣе своему прежнему поэтическому направленію, и рядомъ съ филоматской пѣсню, созданной уже въ новомъ духѣ, еще продолжаетъ трудиться надъ ложноклассическими произведеніями, и теорія ложноклассической словесности



Домъ, въ которомъ Мицкевичъ жилъ въ Ковнѣ.

(Изъ Мицкевич. альбома).

еще сохраняет для него свою цѣну. Однако, въ декабрѣ 1819 года на ряду съ „Демосееномъ“ и „Картофелемъ“ онъ сочиняетъ уже нѣчто совсѣмъ новое: „двѣ коротенькія баллады“. Кромѣ того, „Демосеенъ“ пишется со скукой, насильственно, „Картофель“ совсѣмъ забрасывается. Все это признаки новаго направленія, которое понемногу овладѣваетъ творчествомъ Мицкевича. Такимъ образомъ, свидѣтельство о вліяніи Марыли можно было бы отнести къ лѣту 1819 года. Но, съ такой же вѣроятностью, его можно отнести и къ 1820 году. Дѣло въ томъ, что переворотъ въ литературныхъ вкусахъ Мицкевича наступилъ вовсе не такъ неожиданно, какъ можно было бы думать по вышеприведеннымъ его словамъ. Напротивъ, мы имѣемъ дѣло съ постепеннымъ, органическимъ развитіемъ, которое можно прослѣдить на всѣхъ стадіяхъ духовной жизни великаго литовскаго поэта,—съ эволюціей, но не съ революціей.

Какъ же провелъ Мицкевичъ эти недѣли въ Тугановичахъ около Марыли? „Вѣда, охота, созерцаніе красотъ, слушаніе, играніе, дѣланіе (działanie), разговариваніе даже о □ (масонахъ) съ тетеревами (т.-е. пожилыми и богатыми помѣщиками, „зубрами“ по нашей новѣйшей терминологіи), составленіе плановъ, смѣхъ до того, что животики надорвешь, распѣваніе революціонныхъ пѣсенъ, цѣлой толпой, иногда силянъ, огорченіе (по полученіи письма Ежа); вотъ краткій обзоръ каникулъ“. Такъ въ шутовскомъ тонѣ, нарочно подбирая имена существительныя на *-аніе* и *-еніе*, Мицкевичъ рассказываетъ еще лѣтомъ 1819 года самому Ежовскому о своей жизни въ Тугановичахъ. Такъ же приблизительно онъ описываетъ свое лѣто тому же пріятелю еще въ октябрѣ. Но уже здѣсь слышится намекъ на что-то другое, о чемъ онъ не хочетъ говорить: „я расскажу кое-что о томъ, что было въ вакаціонное время, *nota bene* — только въ отношеніи литературы“. Что означаетъ это ограниченіе? Въ томъ же письмѣ другой намекъ: „Теперь... очень тяжело мнѣ писать это несчастное *теперь*. Всѣ надежды и всѣ планы исчезли. Вѣрь мнѣ, что, несмотря на оскорбленіе моего собственнаго самолюбія, гораздо больше я страдалъ оттого, что не могу тебѣ помочь“. Въ связи съ лѣннымъ письмомъ (огорченіе по поводу письма Ежовскаго) какіе-то намеки на печаль Ежовскаго (не былъ ли онъ влюбленъ въ Марылю), на уколы самолюбію самого Мицкевича. Это еще

неясные, но уже несомнѣнные признаки приближающейся душевной драмы.

Съ осени 1819 г. Мицкевичъ въ Ковнѣ. Совсѣмъ новая для него среда, новыя и скучныя обязанности, одиночество послѣ постоянного общенія съ друзьями, бѣдность, почти нищета въ незнакомомъ городѣ: все это вывело изъ равновѣсія чувствительную натуру поэта. Отъ этой осени мы имѣемъ довольно много писемъ Мицкевича, по которымъ можемъ гораздо полнѣе возстановить картину его ковенской жизни, чѣмъ это могли сдѣлать прежніе историки, не обладавшіе драгоцѣнной связкой недавно напечатанныхъ писемъ. Хмѣлевскій подробно останавливался на устройствѣ Ковенской (свѣтской) школы, на ея учителяхъ, изъ которыхъ нѣкоторые были членами стараго кружка филоматовъ еще первыхъ лѣтъ новаго Виленскаго университета; Третьякъ догадывался по списку абонентовъ на первые томики мицкевичевскихъ стиховъ), что среди ковенскихъ учителей было мало людей, понимавшихъ душу поэта; Одынецъ рассказывалъ *Dichtung und Wahrheit* о домѣ Ковальскихъ, въ которомъ Мицкевичъ чувствовалъ себя уютно и тепло, не говоря о времени, когда началось это сближеніе; Калленбахъ приводилъ (*Czasy i ludzie 1905*) официальное признаніе учительскихъ заслугъ Мицкевича. Приходилось читать между строкъ, возстановлять недосказанное. Теперь мы имѣемъ прямыя свидѣтельства отъ самого поэта, какъ онъ чувствовалъ себя въ первые мѣсяцы своей новой дѣятельности.

По большей части, молодые учителя принимаются за дѣло горячо и берутъ слишкомъ высокій тонъ въ своемъ преподаваніи. Страсть читать въ средней школѣ лекціи на университетскій ладъ обычное явленіе въ дѣятельности молодого учителя; нужно не мало времени, чтобы онъ опустился на тотъ невысокій уровень, съ которымъ ему приходится имѣть дѣло въ средней школѣ. Не сразу приспособился къ нему и молодой филаретъ, привыкшій уноситься душой въ горныя области. Онъ взялся за дѣло горячо и долженъ былъ тратить много времени на приготовленіе къ урокамъ. Въ этомъ отношеніи высшая школа никогда не даетъ достаточной подготовки молодымъ учителямъ, а на Мицкевича, дѣйствительно, навалили черезчуръ много работы. Онъ справедливо сѣтуетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Ежовскому (въ ноябрѣ 1819 г.) на обремененность уроками: „Представь себѣ сегоднѣшній день. Послѣ обѣда въ 5 и 6 классахъ я преподаю Рим-

скую исторію, Политическое право, Польскую исторію, Русскую, политическую экономію. И все это, прочесть!“ Замыслы были сначала очень широкіе, и ими наполнены первые письма изъ Ковно. „Я рѣшилъ давать уроки какъ можно лучше, а значить придется массу писать“, сообщаетъ Мицкевичъ, и письма подтверждаютъ, что это была не фраза. За то же говорить и добрая память, которую онъ оставилъ въ Ковнѣ у своихъ учениковъ. Но отзывы Мицкевича объ этихъ послѣднихъ становятся все болѣе мрачными. Въ началѣ октября 1819 г. онъ еще заявляетъ, что „единственной наградой за школьные труды служатъ польза и любовь учениковъ, и одно слѣдуетъ за другимъ“. Недѣли полторы спустя онъ прибавляетъ: „Еще съ самаго начала моей литературной жизни я не имѣлъ такой массы работы. Но, что всего печальнѣе, пользы отъ этого немного. Школа немногочисленна, а потому и талантовъ не много; впрочемъ, въ младшемъ классѣ кое-кто подаетъ надежды, а въ старшемъ—скудость. Всего одинъ или двое похожи на людей, и эти привязались ко мнѣ. Я ихъ стараюсь расшевелить, даю книжки, читаютъ; не выйдутъ изъ нихъ великіе люди, но будутъ хорошіе и недурно образованные люди, если только возьмутся за работу и пойдутъ въ университетъ, потому что способности у нихъ среднія. До сихъ поръ они не узнали, что значить писать безъ всякаго принужденія. Вся школа, кажется, умираетъ или засыпаетъ; ученики говорятъ тихо, пугливо и медленно, учителя также. Убожество въ уѣздѣ и въ школѣ крайнее; въ старшемъ классѣ, т.-е. въ пятомъ и шестомъ, лишь одинъ ученикъ живетъ на собственные средства, а остальные поддерживаютъ себя уроками и вынуждены, кончивъ курсъ, искать заработокъ“. При такой массѣ обязательной работы у Мицкевича не могло оставаться много времени на собственные занятія, а между тѣмъ, онъ долженъ былъ написать магистерскую диссертацию. Профессоръ Гродекъ, за что-то недолго любившій Мицкевича, потребовалъ отъ него возвращенія книгъ, взятыхъ изъ университетской бібліотеки“¹⁾. „Отсылаю ихъ,—пишетъ поэтъ въ октябрѣ,—а вмѣстѣ съ ними оставляю и надежду на диссертацию, потому что безъ книжекъ я ничего не сдѣлаю, а всего

¹⁾ Гродекъ жаловался, что Мицкевичъ взялъ 5 книгъ (по классической филологіи) и не возвращаетъ ихъ, несмотря на многократныя напоминанія. Жалоба его датирована 31 окт. 1819 г.

еще изъ нихъ я не извлекъ. Это приказаніе сильно задѣло меня. Директору поручили отобрать книги. Гродекъ многимъ учителямъ выдавалъ и въ болѣе отдаленныя мѣста, а мнѣ не захотѣлъ этого сдѣлать“. Къ числу постоянныхъ огорченій присоединились и бѣды, происходившія отъ затруднительнаго матеріальнаго положенія, въ которое попалъ Мицкевичъ, пріѣхавъ въ Ковно. Въ началѣ октября 1819 года онъ подробно рисуеъ его въ письмѣ къ Ежовскому, съ которымъ Мицкевичъ, вообще, особенно охотно дѣлился своими печальми. Весь свой приходъ на наступающій учебный годъ ковенскій учитель опредѣляетъ въ 197 рублей! Изъ этой суммы онъ уже взялъ 100 рублей передъ выѣздомъ, и они разошлись, въ первые десять дней въ Ковнѣ онъ истратилъ цѣлыхъ 12 рублей. Впрочемъ, утѣшаетъ онъ себя—„относительно стола я сговорился, надѣюсь также привести себя въ порядокъ; на слѣдующій годъ сто рублей слишкомъ должно быть на расходы, а пятьдесятъ надо съэкономить, не считая никакихъ расходовъ, одежды и содержанія. Надѣюсь имѣть еще какіе-нибудь доходишки. Но придется ждать цѣлый годъ! Никакой помощи дому, хотя они тамъ очень нуждаются. Наконецъ, не буду въ состояніи расплатиться въ этомъ году съ долгами, что меня также очень удручаетъ“. Эти немногія слова дополняются разказами людей, знавшихъ этотъ періодъ въ жизни поэта. Повидимому, старшіе учителя хорошо понимали нужду своего молодого товарища и готовы были придти ему на помощь. Одинъ изъ нихъ, слышій большимъ скупцомъ, расспрашивалъ Мицкевича, почему онъ не принимаетъ приглашеній на обѣды къ знакомымъ, и уходя отъ него, будто бы по забывчивости оставилъ ему свой платокъ съ 6 рублями, завернутыми въ уголокъ. Друзья уговорили Мицкевича оставить эти деньги у себя: „можетъ быть это первое благородное движеніе въ жизни этого скупца“. Нашлись и посторонніе добрые и симпатичные люди, пригрѣвшіе юношу. Такова была нѣсколько позже семья доктора Ковальскаго, которая окружила Мицкевича самымъ теплымъ участіемъ. Для него покупались любимыя ноты, интересныя книги. Сама Ковальская, прекрасная душой и тѣломъ женщина, крѣпко привязалась къ молодому поэту; ея общество смягчало грусть одиночества, которая одолевала Мицкевича. И этотъ послѣдній долго не позволялъ себѣ ничего лишняго въ отношеніи къ ней: правда онъ не удерживался отъ искушенія заглянуть „глазкомъ подъ проклятую шляпу“, когда зимой

катался съ ней вдвоемъ на саночкахъ, но болѣе серьезнаго увлеченія онъ остерегался и однажды даже рѣшилъ не ходить къ Ковальскимъ цѣлыхъ два мѣсяца, но, повидимому, рѣшенія не выполнилъ.

Первое упоминаніе о госпожѣ Ковальской относится къ октябрю 1819 года.

Все это не прогоняло грустнаго настроенія Мицкевича. Его грызло одиночество, сознаніе своей ненужности въ Ковнѣ, „разрушенныя мечты“ (окт. 1819 г.). 26 окт. свое настроеніе Мицкевичъ выражалъ въ слѣдующихъ строкахъ: „Отъ самаго прїѣзда въ Ковно я ни отъ кого не услышалъ *Адамъ*, никто мнѣ не улыбнулся, никому я не пожалъ горячо руки. Прихожу изъ школы, почти всегда огорченный или лѣнью (*niesfornością*), или, что чаще, тупостью учениковъ. Напрасный трудъ! Бросаюсь на постель и лежу часа два, ни о чемъ не думаю, а только злюсь и кисну. А иногда кислота и злость одолеваетъ такія, что было бы довольно прибавить еще двѣ унціи, чтобы сойти съ ума или повѣситься. Даже пока писалъ это, испортилъ себѣ настроеніе. Что со мной будетъ на слѣдующій годъ. Дрожь просто пробираетъ. Но я знаю что: научусь пить и послѣ каждаго послѣобѣденнаго урока буду наливаться и ложиться спать. Я вовсе не шучу, хотя вы, навѣрное, смѣетесь“. Такъ писалъ Мицкевичъ друзьямъ филоматамъ, и только въ общенія съ ними онъ находилъ утѣшеніе въ эти первые мѣсяцы.

Чуть не въ каждомъ письмѣ его за это время сказывается самая внимательная забота о филоматахъ. Къ нимъ Мицкевичъ рвется душой, объ ихъ организаціи постоянно думаетъ, за ихъ безопасность онъ всегда беспокоится. Эта преданность идеѣ, въ которую онъ увѣровалъ, характерна для Мицкевича во всѣ періоды его жизни: къ филоматамъ онъ относится такъ же, какъ впоследствии къ товянчикамъ. Подчиняясь тамъ авторитету Товянскаго, здѣсь Зану и Ежовскому, но превосходи всѣхъ ихъ гениальнымъ паосомъ души, Мицкевичъ, въ сущности, становится во главѣ дѣла и создаетъ его организацію, какъ самой природой отмѣченный вождь. Едва ли самъ Мицкевичъ всегда сознавалъ это, но онъ какъ-то естественно начинаетъ раздавать указанія, и другіе такъ же естественно подчиняются ему, признаютъ его право учить ихъ, упрекать или хвалить. И вовсе не смиреніемъ, а гордостью и увѣренностью прирожденнаго вождя дышать слова

Мицкевича и тогда, когда онъ читаетъ нотаціи увлекающемуся и болтливому филомату—Чечоту, и тогда, когда онъ возноситъ себя на знаменитомъ парижскомъ банкетѣ превыше своего соперника Словацкаго, и тогда, когда онъ ведетъ парижскую эмиграцію къ нравственному перерожденію въ духѣ Товянскаго или организуетъ польскіе легіоны въ Крымскую войну. „Библейскій патріархъ“: такъ формулируютъ свои впечатлѣнія люди, знавшіе Мицкевича въ эти послѣдніе годы его жизни.

Пока же, въ Ковнѣ, еще не сознавая своего превосходства надъ толпой, но какъ-то инстинктивно чувствуя свое право учить, Мицкевичъ интересуется всѣми мелочами жизни филоматовъ. Въ письмахъ его обнаруживается, что фикція преданности филоматовъ только научнымъ занятіямъ была уже окончательно опровергнута жизнью. Филоматы сознавали себя политическимъ обществомъ. „Несправедливо было бы сказать, что мы работали только на бумагѣ“, заявляетъ Мицкевичъ въ ноябрѣ 1819 г. „Такъ и тотъ, кто станетъ готовить къ бою войско, не можетъ сказать, что онъ добился кое чего, пока не испыталъ войска въ битвѣ. До сихъ поръ у насъ была лишь военная подготовка (*musztra*), миръ не позволялъ намъ показать себя на полѣ сраженія, и потому въ тиши мы занимались обученіемъ. Потомъ наступитъ войны, одна за другой, можетъ быть уже наступаютъ... Я всегда говорю, что мы сдѣлали много, и дай Богъ, чтобы всегда дѣло шло такъ“. Въ это время на филоматскихъ торжествахъ цѣли стихи Чечота о предкахъ, которые такъ же „пили“, но „лучше насъ *били*“. За границей и въ Царствѣ Польскомъ студенческія организаціи раскидывались все болѣе густой сѣтью, и въ Ковнѣ Мицкевичъ могъ слышать о нѣмецкихъ студенческихъ союзахъ. Подробно писать объ этомъ онъ остерегался („о странныхъ Обществахъ сохрани полное молчаніе“, опасенія шпіонства, борьба съ Бруно Сухецкимъ, удаленнымъ изъ общества филоматовъ, „тайна рекомандуется строжайшая“ и т. п. совѣты, тревоги показываютъ, что Мицкевичъ отлично видѣлъ уже антиправительственный характеръ общества). „Чѣмъ деспотичнѣе правительство, тѣмъ болѣе тайными должны быть всѣ тайны общества“: вотъ принципъ, который онъ старался внушить самымъ пылкимъ изъ филоматовъ. „Единое оружіе рабовъ—измѣна“, говорилъ впоследствии старый жрецъ въ „Конрадѣ Валленродѣ“.

Постоянно живя душой съ филоматами, Мицкевичъ мысленно

участвуешь и въ ихъ собраніяхъ. На именины Малевскаго, къ 1 ноября 1819 года, онъ посылаетъ письмо и стихи. Эти послѣдніе, извѣстная пѣсня „Hej, radością oszu błysną“, заимствованы были, по свидѣтельству Т. Зана (1855) изъ франкъ-масонскихъ пѣсенъ, — указаніе, бросающее свѣтъ на связи филоматовъ съ виленскими масонами, примыкавшими къ Контриму и къ редакціи „Wiadomości Brukowych“. Настроеніе стихотворенія, несмотря на нѣсколько бравурное начало, проникнуто сосредоточеннымъ стремленіемъ къ добру, къ наукѣ и служенію родинѣ. „Радостью заблестаютъ глаза, вѣнцы украсятъ головы, и горячо обнимутъ всѣ другъ друга: все это *братья*, все это *наши*. Оставьте за дверями лесть, хитрости и излишества: здѣсь поселились навсегда родина, наука и добродѣтель. Соединенные узами братства, со временемъ всѣ покрывала съ нашихъ сердець, раскроемъ святыя чувства и стремленія, которыми вдохновенъ нашъ союзъ. Здѣсь наше общее горе смягчается дружбой, веселостью, пѣніемъ. Но пусть всѣ, кто находится среди насъ, въ трудѣ и въ забавѣ, въ коронѣ или за плугомъ, помнить о нашемъ *уставѣ*, пусть всякій помнить о своей клятвѣ, и пусть ни въ одну минуту его жизни не выходятъ у него изъ ума *родина, наука, добродѣтель*. Мы дойдемъ до конца, какъ ни тяжелъ нашъ путь, если братъ подастъ руку брату: намъ помогутъ и небеса *и мужество, трудъ и согласіе*!“ Въ этой заботѣ объ уставѣ очень ярко сказывается тогдашній Мицкевичъ, который весь исполненъ тревоги за друзей и вѣры въ великое назначеніе дѣла филоматовъ. Тѣмъ грустнѣе было у него на душѣ вслѣдствіе вынужденнаго одиночества, и въ письмѣ, сопровождающемъ стихотвореніе, онъ обращается къ имениннику со слѣдующими печальными строками: „Я долженъ былъ присутствовать на твоемъ праздникѣ, но не присутствую; я долженъ былъ написать ямбы, и не написалъ. Одно пошло за другимъ: напрасно я пробуждалъ въ себѣ энтузіазмъ, въ головѣ были вялость и апатія; напрасно я хотѣлъ смѣяться, на душѣ была одна печаль. Такъ и не вышло ямбовъ: я не хотѣлъ даже пачкать бумагу (gwedzkać), знаю, что только наскучилъ бы вамъ. Примите хоть эту плохенькую пѣсенку; когда будете пѣть ее, вспомните объ Адамѣ. А я въ субботу, въ 7 часовъ, куплю бутылку вина; вмѣстѣ съ Нелавицкимъ (однимъ изъ ковенскихъ учителей, съ которымъ Мицкевичъ былъ ближе) буду пить про себя за твое здоровье (можетъ быть, теперь, когда ты читаешь, я какъ

разъ пью), не так шумно, но так же искренно, потому что Адамъ всегда будетъ любить Яроша“.

Томительное чувство грусти можетъ создать лирическое стихотвореніе, но оно плохой источникъ для „пимы“. Ложноклассическое перо валилось изъ рукъ Адама, планы классическихъ произведеній уже не удовлетворяютъ его, но онъ все еще воображаетъ, что хранить вѣрность ложноклассической теоріи поэзіи, и еще въ ноябрѣ высказываетъ глубокомысленныя соображенія о „систематической риторикѣ“ и объ ея отличіяхъ отъ поэтики и логики. Но фактически Мицкевичъ уже ушелъ далеко въ сторону отъ всей этой схоластики. Онъ принялся за изученіе нѣмецкаго языка и радовался, что дѣлаетъ въ немъ большіе успѣхи; усердный трудъ надъ трагедіей „Демосеенъ“ какъ-то не клеился. Поэтъ объяснялъ это „недостаткомъ трагическаго энтузіазма“, потомъ самъ сознавалъ, что вышло кое-что слабое, уничтожалъ написанное, удивлялся, что „опошлился“ (znasznie slactał). Надежда закончить поэму „Картофель“, которой Мицкевичъ не покидалъ еще въ началѣ октября, вскорѣ, повидимому, оставила его, но о „Картофель“ нѣтъ больше и помина. Зато въ декабрѣ мы встрѣчаемъ извѣстіе о двухъ „мизерныхъ балладахъ, написанныхъ ночью и въ обстановкѣ довольно романтической“: получивъ неопредѣленное извѣстіе о болѣзни Чечота и воображивъ, что онъ при смерти, Мицкевичъ не могъ заснуть ночью, а потомъ, когда заснулъ, увидѣлъ во снѣ, что другъ, дѣйствительно, умеръ. „Я вскочилъ съ постели“, сообщаетъ нашъ ковенскій энтузіастъ: „велѣлъ зажечь свѣчи и сталъ говорить молитвы (какъ тревога, такъ до Бога!), выбилъ изъ головы эти сонныя глупости и въ такомъ одурѣніи написалъ двѣ коротенькія баллады; баллады довольно жалкія; одна понятна только для меня, другую поправлю, измѣню и прочту вамъ на праздникъ Зана (т.-е. 21 дек.)“. Вотъ весьма цѣнное автобіографическое указаніе. Но, хотя Мицкевичъ и говоритъ о „романтической“ обстановкѣ, однако едва ли ему приходило въ голову, что онъ самъ становится романтикомъ; такъ простъ и естественъ былъ процессъ литературнаго развитія у нашего поэта: Трембецкій продолжаетъ хранить для него свое обаяніе и теперь, какъ еще много позже. И тѣмъ не менѣе Мицкевичъ становится романтикомъ. Даже самое его отношеніе къ женщинамъ такъ далеко отъ того шутиватаго реализма, какимъ былъ проникнуть виленскій періодъ римоплеетства („Анеля“ и др.). Влюбленный въ

Марылю, онъ любить ее странной любовью. „Я зналъ нѣсколько женщинъ“, пишетъ Мицкевичъ Чечоту (въ октябрѣ 1819 г.); „женщинъ, достойныхъ всякаго уваженія, зналъ одну, послѣ которой мнѣ уже никакая другая во всю жизнь не понравится, и все - таки я не видаль въ ней всѣхъ достоинствъ, какія хотѣлъ, потому что у меня есть какой-то странный идеаль любимой женщины, что бы не сказать чудаковатый (dziwaczny) идеаль, и я не найду ничего похожаго на него“.

Все это были новыя настроенія, совѣтъ чуждыя разумнымъ и трезвымъ ложноклассикамъ, но также чуждыя и поклонникамъ сентиментальной чувствительности. Въ одиночествѣ и однообразіи провинціи, среди прогулокъ по чудной Ковенской долинѣ, въ слѣдствіи воспѣтой поэтомъ, складывалось безсознательно для него романтическое стремленіе къ неясному и недостижимому. Работа въ школѣ была скучна: уже къ Рождеству Мицкевичъ убѣдился, что трудиться надъ „жмудскими лбами“ совершенно не стоитъ; старыя замыслы „Демосееновъ“ и „ирое - комическихъ пѣнъ“ больше не удовлетворяли, какъ-то случайно изъ-подъ пера выливаются новыя вещи.

Выраженіемъ этого настроенія явилось стихотвореніе, помѣченное въ первомъ изданіи 27 декабря 1821 года. Эта дата уже давно обратила на себя вниманіе польскихъ толкователей Мицкевича. Было ясно, что она ошибочна, такъ какъ приписка: „при посылкѣ друзьямъ баллады *To lubię* 27 дек. 1821 года“ сталкивается съ несообразностью: зиму 1821 года Мицкевичъ провелъ въ Вильнѣ и не имѣлъ надобности что-нибудь посылать вилenskимъ друзьямъ. Такимъ образомъ, поправка проф. Третьяка, въ силу которой 1821 годъ замѣненъ 1820, получила признаніе и со стороны Калленбаха и Хмѣлевскаго. Однако, новыя письма Мицкевича упоминають уже весной 1820 г. о балладѣ „*To lubię*“, какъ о произведеніи, хорошо извѣстномъ его друзьямъ. Слѣдовательно, отпадаетъ и дата 1820 г. Если мы вспомнимъ, въ какомъ настроеніи находился поэтъ въ декабрѣ 1819 года, когда, испуганный за Чечота, онъ написалъ ночью двѣ „коротенькія баллады“, изъ которыхъ одна была понятна только ему одному, а другая, понятная для иныхъ, подверглась затѣмъ переработкѣ и развитію, то едва ли мы не согласимся считать за эти баллады какъ разъ „*Do przyjaciół*“, (Къ друзьямъ) и „*To lubię*“ (Вотъ что я люблю). Первая изъ нихъ какъ нельзя лучше соот-

вѣтствуетъ настроенію Мицкевича зимой 1819 года и, въ общемъ, не отвѣчаетъ болѣе равнодушному, апатичному состоянію его въ ноябрѣ—декабрѣ 1820 г. Дата *27 декабря* едва ли также правильна: правда, Мицкевичъ не поспѣлъ къ 21 декабря 1819 г. (къ именинамъ Зана) въ Вильно, но онъ предполагалъ быть въ этомъ городѣ 24 декабря. Можетъ быть и на этотъ разъ ожиданія его не сбылись, и онъ попалъ только къ 28—29 числу, но и въ этомъ случаѣ зачѣмъ было *посылать* баллады къ 27 декабря, когда онъ могъ привезти ихъ лично днемъ позже. Это возраженіе одинаково примѣнимо и къ 1820 году и заставляетъ думать, что, вообще, помѣтка *27 декабря* невѣрна и должна быть замѣнена иной: можетъ быть *21 дек.* или *27 ноября*. Какъ бы то ни было, я полагаю, что характеризующая настроеніе поэта баллада „Къ друзьямъ“ относится къ концу зимы 1819 года. Вотъ ея содержаніе: „Бьетъ разъ, два, три... Уже полуночная пора, вокругъ глухая тишина. Только вѣтеръ шумитъ на монастырскихъ стѣнахъ, да откуда-то доносится лай собакъ... Жутко. Не былъ страшенъ этотъ часъ, когда небеса были благосклоннѣе! И сколько счастливыхъ мгновеній онъ напоминаетъ мнѣ! Прочь! Все это уже исчезло навѣки. Теперь я ищу счастья вотъ въ этой книгѣ. Надоѣла книга. Бросаю ее. Снова лечу мыслью къ милымъ предметамъ; то мечтаю, то снова прихожу въ сознаніе. Иногда, когда зачаруетъ милое увлеченіе, я вижу возлюбленную или братьевъ; срываюсь, вглядываюсь, но по стѣнѣ пробѣгаетъ только тѣнь моей собственной особы. Вотъ лучше возьму перо, и въ тишинѣ, когда мысль блуждаетъ такъ безпорядочно, начну писать для моихъ товарищей,—только начну, потому что не знаю, кончу ли... А, можетъ быть, воспоминаніе о минувшей веснѣ внушитъ мнѣ какіе-нибудь зимніе стихи. Безумно хочу писать, писать съ любовью о страшилищахъ и о Марыль“. Слова: „все исчезло навѣки“ нельзя, по моему мнѣнію, связывать съ разрывомъ, происшедшимъ осенью 1820 года: состояніе безнадежности терзало Мицкевича именно зимой 1819 г., когда ему казалось, что онъ навѣки застрянетъ въ Ковиѣ, а въ декабрѣ 1820 г., уже зная о смерти матери, онъ помышлялъ бросить учительство.

Въ такомъ душевномъ состояніи Мицкевичъ пріѣхалъ на зимнія каникулы въ Вильно, въ кружокъ филоматовъ. Онъ везъ съ собой новую пѣсню „Hej, użyjmy żywota“! („Будемъ пользоваться жизнью“!).

Оригиналъ этой пѣсни извѣстенъ. Онъ указанъ А. Ципперомъ ¹⁾ и заключается въ одной изъ извѣстнѣйшихъ пѣсенъ нѣмецкихъ буршей, составлявшихъ сборникъ „Commersbuch“. И пѣлась сочиненная Мицкевичемъ пѣсня на тотъ же мотивъ, что „Geniesst den Reiz des Lebens“ нѣмецкихъ студентовъ. Самый фактъ заимствованія чрезвычайно знаменателенъ: очевидно, между студенчествомъ двухъ сосѣднихъ странъ происходило какое-то общеніе, и въ Ковнѣ, какъ уже отмѣчено, Мицкевичъ могъ лучше познакомиться съ тайными союзами, возникавшими въ средѣ нѣмецкаго студенчества. Какъ же передалъ ковенскій учитель нѣмецкій оригиналъ?

Въ томъ текстѣ, который мы имѣемъ теперь, послѣдняя строка говоритъ о „филаретской рукѣ“. Позднѣйшая ли эта вставка, относящаяся къ эпохѣ, когда уже возникли филареты, замѣнившіе филوماتовъ? Повидимому, нѣтъ. Этой строкѣ предшествуетъ строка съ упоминаніемъ о Фели, — той самой дѣвицѣ, которой и Занъ на томъ же вечерѣ посвящалъ чувствительные стихи съ мольбой: „Верни мнѣ спокойствіе, о, Фели!“ Слово *Филареты* должно было находиться уже въ той первоосновѣ пѣсни, которая явилась въ Вильнѣ на Рождество 1819 года и которая такъ соотвѣтствовала сѣтованіямъ Зана на холодность Фели (Фелиціи): Откуда же взялось здѣсь оно? Полагали, что или стихъ вставленъ позже (Tretiak), или что организація филаретовъ возникла раньше (въ маѣ 1819 года, какъ полагалъ Калленбахъ). Последнее достаточно опровергнуто новыми данными, и едва ли кто-либо сомнѣвается въ настоящее время, что филареты образовались весною 1820 года. Я думаю, что упоминаніе о филаретахъ находилось тоже въ оригиналѣ пѣсни. Дѣло въ томъ, что осенью Мицкевичъ составляетъ подробные и тщательные планы преобразованія филوماتскаго общества, но ни разу не употребляетъ другого названія въ обращеніи къ товарищамъ, кромѣ *filomata*. На рождественскихъ каникулахъ этотъ вопросъ обсуждался, и „3 января было постановлено образованіе отдѣльныхъ союзовъ, подобныхъ союзу друзей“ (Zdanowicz. Pamiętnik o Filomatach i] Filaretach). Самое названіе, которое встрѣчается не раньше мая 1820 года, было навѣяно нѣмецкими Tugendbund'ами,

¹⁾ Pamiętnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza, t. II, 1888.

а именно Мицкевичъ въ Ковнѣ познакомился, какъ видно изъ заимствованія нѣмецкой студенческой пѣсни, съ этими организаціями. Самъ собой напрашивается выводъ, что проектъ новаго названія ковенскій учитель привезъ своимъ виленскимъ друзьямъ. Какъ бы то ни было, идеалы, выраженные имъ въ пѣснѣ, были тѣ же, что давно уже привлекали къ себѣ эту возвышенную молодежь. Они несравненно выше тѣхъ, что проникають грубоватый, буршевскій нѣмецкій оригиналъ съ постоянными сладкими *liebes Vaterland, Weibchen, schönes Mädchen* и *volles Glas*.

Любопытна еще другая подробность. Въ шуточномъ перечисленіи разныхъ наукъ, которыми занимались студенты-участники пирюшки, Мицкевичъ доходитъ до краснорѣчія, но „теперь краснорѣчіе бессильно поднять (кого?) на вершины свободы; тамъ, гдѣ взываютъ дружба и любовь, тамъ, братья, цить, тамъ циты!“ (т.-е. ни гугу). Вотъ это самое наставленіе хранить полное молчаніе объ обществахъ Мицкевичъ преподаваетъ Чечоту въ концѣ ноября 1819 г. (o *dziwacznym Towarzystwach zachowaj wielkie cyt!*). Едва ли это совпаденіе случайно! Оно бросаетъ свѣтъ на время, когда была сочинена филаретская пѣсня. Сложилась же она, вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ того описанія „fety“ (праздника въ честь Малевскаго), за присылку котораго ковенскій отшельникъ благодарить Чечоту въ томъ же самомъ письмѣ.

Пѣсня выдаетъ различіе настроеній, въ которыхъ она сложилась. Первая строфа, какъ отмѣтилъ впоследствии и самъ Мицкевичъ, представляла переводъ съ нѣмецкаго:

Geniesst den Reiz des Hej, użyjmy Żywota! Воспользуемся жизнью!

Lebens!

Man lebt ja nur ein- Wszak żyjem tylko raz; Вѣдь мы живемъ лишь
mal: разъ!

Es blink' uns nicht Niechaj ta czara złota Пусть чара золотая
vergebens

Der schäumende Pokal! Nie próżno wabi nas. Не праздно манить
насъ.

Въ такомъ бравурномъ тонѣ пѣсня продолжается еще нѣсколько строфъ, присоединяя строки, которыхъ нѣтъ въ далеко отступающемъ нѣмецкомъ оригиналѣ, прославляющемъ „свободу буршей“ и провозглашающемъ громовое *ура* „возлюбленной родинѣ“. У Мицкевича прорывается сильно націоналистическая нотка: „Къ чему рѣчи на чужихъ языкахъ? Вѣдь мы пьемъ польскій

медь; лучше всего народная пѣсня, братскій родъ всѣхъ лучше. Ты забрался въ кучи греческихъ и римскихъ книгъ не затѣмъ, чтобы гнить въ нихъ, но чтобы наслаждаться, какъ греки, и бить, какъ римлянинъ“. Затѣмъ Мицкевичъ обращается къ товарищамъ по разнымъ специальностямъ, и эти обращенія напоминаютъ нѣмецкія студенческія пѣсни. Но и здѣсь прорывается очень серьезный мотивъ. Давно слагавшееся у поэта убѣжденіе, что высокая цѣль создаетъ и людей, достойныхъ къ ней идти, убѣжденіе, которое находило себѣ выраженіе уже въ студенческихъ проектахъ организаціи, теперь принимаетъ форму, сдѣлавшуюся знаменитой въ польской поэзіи:

Syrkla, wagі i miary Вѣсы, приборы, мѣры
Do martwychъ uzyj bryl, Годны для мертвыхъ массъ,
Mierz siłę na zamiary, Но силу мѣрь по цѣли,
Nie zamiar podług sił. Не цѣль по мѣрѣ силъ.

Кончается пѣсня грустнымъ аккордомъ: „Кровь остынетъ, посѣдѣютъ волосы; одинъ глазъ закроетъ Фели, другой—филаретская рука“.

Какъ уже упомянуто выше, во время свиданія друзей, навѣрное, шла рѣчь о новой организаціи общества, и не только объ организаціи, но и о новомъ названіи, которое было поставлено въ связь съ зановской теоріей излученія. Иначе былъ бы непонятенъ намекъ Мицкевича въ его письмѣ къ Чечоту, написанномъ вскорѣ послѣ возвращенія въ Ковно. „Я сдѣлалъ наблюденіе“, шутливо сообщалъ онъ своему пріятелю, „которое отлично подходитъ къ теоріи Зана; лучи (promionki) имѣютъ, дѣйствительно, близкую связь съ тепломъ. Никогда Ковальская не производила на меня такого впечатлѣнія, какъ когда она раздуваетъ угли подъ кофейникомъ“. Этотъ шутливый намекъ на теоріи Зана, къ которымъ и самъ онъ, и его пріятель относились несерьезно, скрываетъ за собой серьезное указаніе на бесѣды, ведшіяся на Рождествѣ въ Вильнѣ, имѣвшія своимъ содержаніемъ образованіе новыхъ студенческихъ организацій и приведшія въ концѣ концовъ къ возникновенію большого общества филаретовъ или „лучистыхъ“ (promienistych), названныхъ такъ именно въ честь зановскихъ „лучей“ (promieni). По сообщенію одного изъ ближайшихъ участниковъ этихъ бесѣдъ, частью уже приведенному выше, 3 янв. 1820 г. (въ отсутствіи Мицкевича, который уѣхалъ въ Ковно, вѣроятно, 1 января) „было постановлено устраивать отдѣльные кружки, похо-

жіе на кружокъ друзей. Филоматы старались заводить возможно болѣе широкія знакомства между молодежью, отмѣчая среди нея болѣе порядочныхъ и достойныхъ. Этотъ союзъ былъ похожъ на сито, черезъ которое долженъ былъ пройти каждый новый филоматъ“, Именно такой планъ будущей конспираціи разрабатывалъ въ своемъ ковенскомъ одиночествѣ Адамъ Мицкевичъ. Слѣдовательно, въ его присутствіи и была затѣяна новая, гораздо болѣе обширная, явно политическая организація, которая самымъ своимъ именемъ должна была отличаться отъ прежняго невиннаго кружка „любителей наукъ, филоматовъ“.

Естественно, въ Ковно Мицкевичъ вернулся въ повышенномъ настроеніи, весь захваченный новыми планами. На скуку онъ уже почти не жалуется, а сближеніе съ домомъ Ковальскихъ, съ красавицей хозяйкой, тонко понимающей его настроенія и искренне желающей придти ему нравственно на помощь, — это знакомство не дало ему болѣе такъ болѣзненно чувствовать свое одиночество, и даже жалобы на свою „пропащую жизнь“ кажутся нѣкоторой рисовкой ¹⁾. На измѣненіе душевнаго состоянія Мицкевича къ лучшему указываетъ и самое ничтожное число писемъ, тогда какъ осенью онъ писалъ часто и помногу, изливая виленскимъ друзьямъ свою наболѣвшую душу. Теперь, въ эти первые мѣсяцы 1820 года, онъ былъ занятъ другимъ, созданіемъ филаретской поэзіи. На эти мѣсяцы приходится знаменитая „Ода къ молодости“, въ которой уже гораздо отчетливѣе, чѣмъ въ прежнихъ филаретскихъ или филоматскихъ стихотвореніяхъ Мицкевича, обнаруживается наступающее столкновение молодаго поколѣнія, стремящагося къ идеалу превыше силъ, съ поколѣніемъ старымъ и благоразумнымъ, представленнымъ Снядец-

¹⁾ Такъ въ письмѣ, наполненномъ соображеніями объ организаціи, конецъ гласитъ: „О моемъ времени и т. п. откладываю до будущихъ писемъ. Одно вѣрно, что, если бы еще остаться на годъ или два *Rezuiem aeternam!* И, правда, жить такъ, какъ я живу теперь, ей Богу, это не большой выигрышъ“. Общий тонъ письма совсѣмъ не согласуется съ подобнымъ пессимизмомъ. (Письмо къ Ежовскому. 19 янв. 1820 г.) Изъ письма къ Зану и Чечоту (тоже, кажется, январь 1820 г.): „у насъ всегда было достаточно темъ для разговоровъ; не очень-то мила компанія, гдѣ нужно потѣтъ, чтобы выдумать, о чемъ поговорить; не разъ ужъ это бывало мнѣ противно въ Ковнѣ“, и т. п. Однако въ томъ же письмѣ заявленіе: „состояніе мое, въ отличіе отъ прошлогодняго, гораздо менѣе (тоскливо?), я веселѣе теперь, чѣмъ прежде“.

кимъ и другими *виленскими* авторитетами. „Теченіе филаретское и теченіе романтическое слились въ одинъ аккордъ, и начинающаяся эстетическая борьба между старшимъ и младшимъ поколѣніями, между представителями чувства, была однимъ изъ стимуловъ для противопоставленія старыхъ молодымъ“ (Trefiaк Młodosc Mickiewicza. I. 253). Въ поэзій Шубравцевъ, какъ отмѣтилъ тотъ же авторъ, Мицкевичъ нашелъ въ несомнѣнную побѣду молодыхъ стремленій надъ старой заскоружностью.

Прозаическій переводъ „Оды къ молодости“ лишаетъ ее того полета, который ей присущъ, но переводчику - стихотворцу не угнаться за прихотливостью стиха оригинала. Стихотворные переводы, по большей части, калѣчатъ оригиналь гораздо больше, чѣмъ прозаическіе, передающіе вѣрно, по крайней мѣрѣ, слова поэтовъ. Вотъ прозаическій переводъ мицкевичевской оды. „Люди безъ сердца и безъ духа, народы скелетовъ! О молодость, дай мнѣ крылья. Я хочу улетѣть изъ мертваго міра въ блаженный край очарованья, гдѣ вдохновеніе создаетъ чудеса, разсыпаетъ цвѣты новизны и облекаетъ надежду въ золотые образы! Пусть тотъ, кого ослѣпляетъ возрастъ, преклоняя къ землѣ свое измученное чело, видитъ лишь такіе горизонты міра, какіе можетъ охватить своими близорукими глазами. Но ты, о молодость, возносись надъ землей, и окомъ солнца озирай изъ конца въ конецъ всѣ огромныя массы человѣчества! Взгляни внизъ! Тамъ, гдѣ вѣчный мракъ покрываетъ пространства, утонувшія въ омутѣ гнусности (gniśnosci),—тамъ земля. Смотри, какъ надъ ея тунными водами выкарабкался наверхъ какой-то гадъ въ скорлупѣ. Онъ самъ для себя и руль, и пловецъ, и судно; преслѣдуя элементы (żywiołki) болѣе мелкаго рода, онъ то вздымается, то валится на глубину; не льнетъ къ нему волна, и онъ къ волнѣ, и вдругъ онъ лопнулъ, какъ пузырь, наткнувшись на камень! Никто не зналъ объ его жизни, никто не знаетъ и объ его гибели: это самолюбы (эгоисты) ¹⁾. О молодость! Для тебя нектаръ жизни сладокъ лишь тогда, когда я раздѣляю его съ другими; небесная радость наполняетъ сердца, когда ихъ связуетъ золотая нить. вмѣстѣ держитесь, молодые друзья! Въ счастья всего заключаются

¹⁾ Слово *samolub* въ смыслѣ эгоиста зналъ и Нѣмцевичъ, назвавшій такъ одну изъ своихъ комедій.

цѣли всѣхъ! Сильные единствомъ, разумные безумствомъ, вмѣстѣ держитесь, молодые друзья! Счастливы и тотъ, кто палъ въ неудачѣ, если своимъ навшимъ тѣломъ онъ далъ инымъ ступень къ замку славы. Вмѣстѣ держитесь, молодые друзья! Пусть дорога скользка и крута, пусть заграждаютъ доступъ насиліе и слабость, насиліе отражается силой, а бороться со слабостью будемъ учиться измлада! Кто младенцемъ въ колыбели оторвалъ голову гидрѣ, тотъ юношей будетъ душить центавровъ, тотъ вырветъ у ада его жертву и пойдетъ за лаврами на небо! Взбирайся туда, куда взоръ не достигаетъ; ломай то, чего не сокрушить разумъ! О молодость, орлиной мощью обладаетъ твой полетъ, какъ молнія разить твоя рука! Такъ идемъ же рука объ руку! Цѣпями взаимности опояшемъ земной шаръ! Всѣ мысли устремимъ къ одному пламени (*zastrzelnymu myśli w jedno ognisko*), всѣ души соединимъ въ одномъ стремленіи! Прочь со своихъ основъ, о глыба міра! Мы толкнемъ тебя на новые пути и будемъ толкать, пока, освободившись отъ заплѣснѣлой коры, ты не припомнишь своей земной юности. Въ пространствахъ хаоса и мрака, въ безднахъ враждующихъ стихій, силою Божьей міръ сразу возникъ отъ одного „да будетъ“: шумятъ вихри, текутъ хляби, а звѣзды разъясняютъ небосклонъ. Но въ пространствахъ челоуѣчества еще господствуетъ глухая ночь, стихіи желаній еще враждуютъ между собой. Но вотъ вылетитъ пламя изъ устъ любви, выйдетъ изъ хаоса свѣтъ духа, молодость его зачнетъ въ своемъ духѣ, а дружба соединитъ вѣчными узами. Уже ломается безчувственный ледъ, уже гибнутъ предрасудки, затмевающія свѣтъ. Привѣтъ тебѣ, зоря свободы, за тобой взойдетъ солнце спасенія!“

При первомъ взглядѣ на эту оду бросается въ глаза ея совершенно чуждый тогдашней польской поэзіи характеръ. Поражаетъ и необычайное изящество формы оригинала, мощный свободный стихъ, и смѣлый порывъ къ свободѣ, и уже сложившаяся вѣра въ романтизмъ, который разбиваетъ ледъ старой безчувственной литературы. Этотъ гимнъ дружбѣ и молодости, который весь міръ перевернуть, звучалъ призывомъ къ подвигамъ, отъ которыхъ отворачивался „разсудокъ“, ставшій теперь такимъ ненавистнымъ Мицкевичу. Какъ же отнеслись къ нему товарищи? „Зань и Чечоть признали оду архи-глупой (разсказывалъ поэтъ въ 1846 году); Чечоть въ письмѣ своемъ спрашивалъ меня, ужъ не рехнулся ли я? Одинъ Ежовскій не раздѣлялъ ихъ мнѣнія.



МАРЫЛЯ.
Марія Верещакъ.

Онъ уже раньше зналъ нѣмецкихъ поэтовъ. И вотъ онъ составилъ очень длинный комментарий, гдѣ разбиралъ въ отдѣльности каждый стихъ, и наконецъ согласился признать оду хорошей“. Къ сожалѣнію, въ найденной перепискѣ Мицкевича не отразилось это любопытное столкновеніе новыхъ литературныхъ стремленій съ еще не растаявшимъ „льдомъ безчувственности“, среди котораго сложились эстетическія привычки виленской молодежи. Только Ежовскій, знакомый съ нѣмецкими поэтами, понялъ, въ чемъ тутъ дѣло. Мицкевичъ находился въ эту пору подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ Шиллера, отъ котораго заимствовалъ и образы, и идеалы. Еще много лѣтъ спустя, когда періодъ „германоманіи“ въ его развитіи кончился, когда пролетѣлъ и послѣдующій періодъ байронизма, „британоманіи“, Мицкевичъ считалъ Шиллера наиболѣе „молодымъ поэтомъ“ „Шиллеръ чувствовалъ истину чаще (чѣмъ Гете) въ вдохновеніи. Вліяніе Шиллера на жизнь своего народа болѣе значительно, потому что, обращаясь къ сердцу, онъ оказываетъ большее вліяніе на молодежь, а именно молодежь вырабатываетъ нашу жизнь. Гете больше говоритъ тѣмъ, кто уже только размышляетъ о жизни“: такъ характеризовалъ своего любимаго нѣмецкаго поэта Мицкевичъ еще въ 1829 году. На гимнъ молодости Шиллеръ могъ оказать тѣмъ большее вліяніе, что какъ разъ въ 1820 году вышелъ сборникъ переводовъ изъ Шиллера, сдѣланный Каминскимъ и вызвавшій восторженное письмо Мицкевича къ переводчику. Какъ сообщаетъ гр. Баворовскій, въ этомъ письмѣ „незнакомаго виленскаго студента“ (Мицкевичъ не былъ тогда студентомъ, не писалъ ли онъ изъ Вильны во время вакацій?) заключалась благодарность „за ознакомленіе его съ пѣснями и балладами Шиллера и раскрытіе для него новыхъ умственныхъ горизонтовъ“. Если даже здѣсь есть небольшой анахронизмъ, во всякомъ случаѣ, письмо это указываетъ на увлеченіе Мицкевича Шиллеромъ въ этотъ періодъ.

Въ польской ученой критикѣ мы находимъ обстоятельныя изслѣдованія относительно вліянія Шиллера на „Оду къ молодости“. Прежде всего, оды его, посвященныя дружбѣ, „Die Freundschaft“, „An die Freunde“, „Das Ideal und das Leben“, импонировали филоматамъ высокимъ идеаломъ братской любви, а въ другихъ одахъ („Der philosophierende Egoist“, „Die Künstler“) и др. они находили сильный протестъ противъ разсудочности и призывъ къ высокому паренію надъ міромъ дѣйствительности. Вместе съ тѣмъ,

однако, идеалы Шиллера были слишком общи, слишком отвлечены. „Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, werft *die Angst des Erdlichen* von euch! Flihet aus dem engen dumpfen Leben *in des Ideales Reich*“, говорят Шиллеръ въ одѣ: „Das Ideal und das Leben“. Или въ другой одѣ, прославляя дружбу, немецкій поэтъ восклицаетъ: „Цѣлью—отъ монгола начиная и эллиническимъ мудрепомъ кончая, свѣтлымъ ангеламъ во слѣдъ, обнимаясь въ пляскѣ братской, мчимся мы впередъ, пока не погрузимся въ вѣчность, гдѣ ни лѣтъ, ни мѣры нѣтъ“. Заимствуя у Шиллера и мотивы, и даже образы (*todte Gruppen, nad jej wody trupie*), Мицкевичъ не заимствовалъ, однако, его туманности. Онъ остается на землѣ: здѣсь призываетъ бороться, здѣсь надѣется дожидаться „солнца спасенія“. А проходила эта, такъ сказать, конкретность Мицкевическихъ идеаловъ отъ того, что онъ создавался, какъ поэтъ, среди филаретовъ, въ кругу ихъ свободолюбивыхъ стремлений, въ подготовкѣ къ настоящей неизбежной борьбѣ.

По своей формѣ „Ода къ молодости“ еще удовлетворяетъ до известной степени правиламъ ложно классической оды, требовавшей лирическаго безпорядка и восторга. Но здѣсь совѣмъ нѣтъ мисологическихъ реминисценцій, языческихъ боговъ и героевъ, которыхъ требовала ода, и которыхъ такъ много еще у Шиллера. Поэтому, трудно вполне согласиться съ С. Добржинскимъ, который въ своемъ интересномъ изслѣдованіи о вліяніи польскихъ теоретиковъ и практиковъ ложноклассической оды, Осенскаго или Козьмина, на филаретскую поэзію Мицкевича, полагаетъ, что форма „Оды къ молодости“ представляетъ собою вполнѣ и цѣлкомъ форму такой ложноклассической оды. „Мы видимъ здѣсь прежде всего неправильность формы, разнообразіе стиховъ и метровъ“, удовлетвореніе требованію, выраженному Осенскимъ, Дмоховскимъ и др. въ правилѣ: „поэты, увлеченные необычайнымъ восторгомъ, должны идти впередъ не за складомъ стиха, но за быстротой и полетомъ своего чувства“. Надо, однако, признаться, что С. Добржинскій подтвердилъ свое мнѣніе о вліяніи Осенскаго и другихъ польскихъ одиисцевъ на Мицкевича лишь однимъ, и то не слишкомъ удачнымъ примѣромъ изъ Л. Осенскаго. Съ другой же стороны, и у Шиллера встрѣчаются примѣры такой неравномѣрности стиховъ (напр., *Dithyrambe, Der Abend, гимнъ Der Triumph der Liebe, Der Flüchtling, die Schlacht, Die Grösse der Welt* и др.). Не представляется ли болѣе вѣроятнымъ, что

именно эта форма Шиллеровских гимнов, а не оды разных Козьянцов и Осинских, которые къ 1818 — 1819 годамъ уже истощались, какъ одонисцы, повлияла на поклонника нѣмецкаго поэта, Мицкевича. Во всякомъ случаѣ, содержаніе его оды, съ чѣмъ соглашается и Добрянскій, уже вовсе не ложноклассическое: похвала молодости, увлеченіе порывомъ свободнаго чувства вопреки требованіямъ разсудка. Какъ это должно было возмущать ложноклассическихъ менторовъ! Самая программа, которая была набросана въ первой филаретской пѣснѣ и такъ блестяще развита въ одѣ, представляла революціонное явленіе, а для Мицкевича означала окончательный разрывъ со стариной. Всѣ осенія и даже январскія (1820 г.) попытки продолжать „Дѣвицу„ (т.-е. „Орлеанскую дѣву“), кажется, прекращаются. Поэтъ—филаретъ вступаетъ опредѣленно на путь романтической поэзіи, принимается за баллады, увлекается народнымъ бытомъ.

Побывавъ въ концѣ марта (ст. ст.) въ Вильнѣ на праздникахъ Пасхи, Мицкевичъ сильно испортилъ себѣ желудокъ и въ самомъ прозаическомъ настроеніи возвращался домой, но принятія по дорогѣ сильныя средства поправили его здоровье. „Фаворній остался въ Вильнѣ“, и поэтъ, отдавшись своему одиночеству, возбуждающему воображенію, „принялся за сочиненіе“ „Тукай“ и за отдѣлку перевода Шиллеровской „Черчатки“. Теперь ему въ Ковнѣ было хорошо: „Вилія на огромномъ пространствѣ залила дуга, окопы стоятъ въ водѣ, какъ острова. Нѣсколько десятковъ прусскихъ барокъ, нѣсколько витинъ и струговъ съ надутыми парусами постоянно плыветъ по рѣкѣ. Если бы ты слышала кларнеты, скрипки и пѣсни нѣмецкихъ плотовщиковъ, распивающихъ на палубѣ пиво! Въ этихъ тягучихъ пѣсняхъ есть что то очень пріятное: онѣ приводятъ мнѣ на память пѣсню корсаровъ у Байрона“. И такъ, въ одномъ письмѣ мы имѣемъ три важныя указанія: Мицкевичъ пишетъ балладу изъ народныхъ вѣрованій, переводить Шиллера и обнаруживаетъ знакомство съ Байрономъ, котораго, какъ оказывается, знаетъ и его корреспондентъ, Ежовскій, хотя байроповскій „Корсаръ“ появился всего въ 1814 году. Въ концѣ того же апрѣля (какъ полагаетъ издатель писемъ, проф. Калленбахъ), Мицкевичъ сообщаетъ дальнѣйшія подробности о своихъ балладахъ: „Тукай“ раздѣлился на двѣ (баллады). Первая уже готова, очень коротка, вторая, можетъ быть, еще снова раздѣлится. Любопытно, какъ все это удастся. Однако, говоря по

совѣсти, эта баллада мнѣ совсѣмъ не удалась, ли я боюсь посылать ее одну; на помощь дамъ ей другую. „Пілію“, но только у той нѣтъ конца. Все-таки, можетъ быть, вышлю первую часть „Тукаи“, если она влѣзетъ въ письмо. Здоровъ я удвительно (argyprzednie), хотя въ горлѣ ощущаю сухость, но она меня несколько не интересуесть. Посѣщаю очаровательныя окрестности Ковна. Третьяго дня были мы въ фольваркѣ Добровольскаго (директора Ковенской школы). Была тамъ и Ковальская. Не была это, какъ нѣкогда, романическая прогулка, однако температура доходила до 50 градусовъ. Время прошло недурно“. Далѣе идетъ рѣчь о студенческихъ организаціяхъ. Мицкевичъ сердится на лаконическое донесеніе своего корреспондента: „Союзы размножаются“. Мы же можемъ почерпнуть изъ него подтвержденіе того, что въ январѣ была задумана сѣть филаретскихъ кружковъ. Что означаетъ новое упоминаніе о Ковальской? Серьезно ли былъ влюбленъ въ нее Мицкевичъ? Пока, кажется, это былъ еще просто флиртъ, о которомъ онъ весело сообщалъ друзьямъ. На душѣ у него было иное серьезное и тоскливое чувство. Не имѣ еще владѣла любовь къ Марылтѣ, онъ владѣлъ этой любовью, но мысль о будущемъ его уже удручала. „Мое *потомъ* представляется мнѣ все болѣе чернымъ“, писалъ онъ Ёжовскому, ¹⁾ повидимому, еще въ ноябрѣ или въ декабрѣ 1819 года. „Мое огорченіе происходило не отъ ковенскихъ или, вѣрнѣе, не отъ учительскихъ причинъ“. Это настроеніе не исчезло и къ веснѣ 1820 г.

Въ маѣ были готовы новыя баллады. Впечатлѣнія „захватленной“ Ковенской долины, куда Мицкевичъ предпринималъ поѣздки верхомъ, возбуждали поэтическое творчество. „Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе роскошное, а въ Литвѣ лучшаго ничего не увидишь. Огромныя горы, которыя тянутся извивами (zakrędami) почти на полъ мили, а въ серединѣ зеленая долина съ разнообразными краями, но вездѣ ровная, иногда узкая, другой разъ болѣе широкая, полная цвѣтовъ, нерерѣзанная маленькой рѣчкой. Солнце было почти противъ меня, но горы бросали тѣнь и, когда я подвигался по дорогѣ (wąwozem), то одна, то другая сторона пріятно зеленѣла отъ лучей, а середина все время оставалась въ тѣни. Прибавь еще, что эти горы покрыты велико-

¹⁾ Калленбахъ относить это письмо (№ 25) къ апрѣлю 1820 г. Даты на немъ нѣтъ. Упоминаніе о „Демосенѣ“ и „Ямбахъ“ (Зановскихъ), о балладахъ Чечота, скорѣе, заставляють его отнести къ ноябрю или декабрю 1819 г.

лѣснымъ лѣсомъ въ видѣ огромныхъ клумбъ. Деревья возрастомъ въ нѣсколько десятковъ лѣтъ и; говоря для округленія, вѣковыи, жмутся другъ къ другу; рябина, бѣлая черемуха, темныи елки съ длинными косами, березы, возносящіяся колоннами, въ нѣсколько этажей.—роскошнѣйшій видъ, утро, пѣііе птицъ, журчаніе воды, прибавлю пѣчто, еще болѣе пріятное: идущихъ по долинѣ въ Ковно на базаръ литовокъ съ корзинами, чаще всего отдѣльно одна отъ другой. Я сыпалъ въ нихъ тріолетами, вглядывался: къ несчастью, или къ счастью, мало было человѣческихъ фізіономій“. Упращивая Зану и Чечоту пріѣхать въ Ковно и посмотреть на его роскошную долину, поэтъ сообщалъ, что онъ чувствуетъ себя теперь веселѣе и только скучаетъ надъ приготовленіемъ къ урокамъ, однако „у него есть готовая баллада *Разлука*“. Кто-то началъ сватать его къ богатой и хорошенькой барыниѣ. „*Mille diables!* или, по просту, къ ста чертямъ! А баллады, а границы и заграницы, а филوماتія, а клубы. Это такіе пороги, черезъ которые трудно перескочить. Я ничего не отвѣчалъ на сватовство, вижу съ паншой В. и говорю себѣ въ душѣ: не введи насъ въ искушеніе и избавь насъ отъ этого, хоть не дьявола (*nie złego*), аминь!“ Вотъ, значить, о чемъ мечталъ и чѣмъ жилъ въ эту пору Мицкевичъ: товарищескіе кружки, поэзія, планы поѣздокъ за границу... А Марыля? Оказывается, не она, а именно эти планы удержали ковенскаго отшельника отъ женитьбы? Или же Мицкевичъ не хотѣлъ открывать самыхъ святыихъ своихъ чувствъ постороннимъ людямъ, хотя бы Зану и Чечоту? Трудно отвѣтить на это. „На любовномъ измѣрителѣ“ (эрометрѣ, который сочинили филоматы) новая симпатія „имѣла на первый взглядъ 78—90“, разныи мои соображенія и *воспоминанія* сталкиваютъ ртуть на 45“. Въ шуточной формѣ здѣсь данъ какъ будто бы отвѣтъ на вышеприведенные вопросы: Марыля вытѣснила изъ души Мицкевича всякихъ иныхъ „паннѣ“.

Въ томъ же интересномъ письмѣ мы находимъ еще нѣсколько указаній на новый періодъ въ поэтическомъ творчествѣ Мицкевича. Посылая Зану свой „променястый (лучистый) поцѣлуй“, онъ прибавляетъ слѣдующія строки: „Я бросаюсь (*rzucam się*), какъ могу, но такъ какъ ничего хорошаго не удастся, хватаюсь все время за новые виды (поэзіи). Теперь я влѣзь въ баллады, ты долженъ быть помогать мнѣ, а вотъ теперь я завязъ въ болотѣ, а ты бросилъ меня и убѣгаешь. Я слышалъ, что вы открыли

курсы (для студентов). Ахъ, зачѣмъ меня нѣтъ съ вами. Я сяжу здѣсь *за нѣмецкимъ языкомъ* и свирѣпо перелистываю Шаде (французско-нѣмецкій словарь)". Въ эту пору Мицкевичъ уже имѣлъ свѣдѣнія о первомъ большомъ пикникѣ (majówka) филаретовъ, который былъ устроенъ Заномъ, и на которомъ пѣли хоромъ его пѣсню „*Neu, radoŝcia*"... Онъ и теперь принимаетъ близко къ сердцу все, что происходитъ въ „филوماتіи“ и посылаетъ Зану длиннѣйшее письмо съ проектомъ шутливой рѣчи для „променистыхъ“, общество которыхъ онъ совѣтуетъ назвать „Свѣтомъ и Любовью“. По его мнѣнію, „это какъ бы два класса. Свѣтъ пусть учится вышнему поведенію филوماتовъ, т. е. дружескому общенію, простотѣ и т. д. Любовь же будетъ охватывать совершенствованіе въ чувствахъ безкорыстія, эстетической любви, милосердія, любви къ родинѣ и т. д.“ Мысли о филаретахъ въ которыхъ, конечно, было много навѣяннаго тогдашними студенческими организаціями въ Варшавѣ и за границей, переплетаются съ литературными планами. Мицкевичъ задумываетъ уже что-то печатать, проситъ освѣдомиться въ типографіи, что будетъ стоять печатаніе, поручаетъ передать Малевскому его желаніе напечатать балладу „*To lubie*“ на отдѣльномъ листкѣ. „Не стоило бы обращаться за такимъ пустякомъ къ Боровскому, а тѣмъ болѣе ходить въ типографію, но что же дѣлать? я долженъ послать Югасѣ, для которой писалъ“. Значитъ, Боровскій имѣлъ какое-то отношеніе къ этому романтическому перевороту среди виленской молодежи, фактъ, ранѣе не извѣстный, но не неожиданный. Проф. Калленбахъ полагаетъ, что упомянутая здѣсь Югася (Johasia) есть та дѣвушка, въ которую Мицкевичъ былъ влюбленъ когда-то въ Новогрудкѣ. Онъ возстановливаетъ даже имя ея въ этомъ стихотвореніи. Съ этимъ трудно согласиться: вѣдь тогда, въ Новогрудкѣ, Мицкевичъ никакихъ балладъ не писалъ; а позже онъ увидѣлъ Югасю уже въ такой обстановкѣ, которая не могла внушить поэтическихъ чувствъ, при чемъ со времени гимназіи до той поры, повидямому, ея ни разу не видѣлъ. Посвященіе баллады, рассуждая психологически, должно было связаться съ событіями и отношеніями живой дѣйствительности, или Ковенской, или Виленской. Не называлась-ли Югасей панна В., къ которой поэтъ все-таки не былъ равнодушенъ, хотя и не собирался жениться на ней? Какъ бы то ни было, въ концѣ весны 1820 г. Мицкевичъ уже

всёцѣло романтикъ, и въ кружкѣ его друзей уже возникаеть планъ издать его баллады.

Въ это время было написано письмо, которое проф. Калленбахъ относить къ июню 1820 г. Поэтъ здѣсь жалуется на боль, въ груди и горлѣ проклинаеть Ковно, съ ужасомъ представляетъ себѣ необходимость остаться здѣсь надолго и въ концѣ письма пишетъ о Шиллерѣ. „Сегодня утромъ, лежа въ постели, я переводилъ стишки Шиллера (*Licht und Wärme*), которые и прилагаю. Шиллеръ уже давно мое единственное и излюбленное чтеніе. О трагедіи *Reiber* (*Räuber* „Разбойники“) не умѣю писать. Ни одна трагедія не производила и не произведеть на меня такого впечатлѣнія. Тамъ приходится быть постоянно то въ раю, то въ адѣ; середины нѣтъ. А особенно образы, мысли, способъ объясняться.— Боюсь и вспоминать о „Демосѣнѣ“. Напиши мнѣ, понялъ ли ты прекрасную мысль автора въ моемъ переводѣ. Впрочемъ, я и такъ уже много выигралъ; вѣдь переводить Шиллера чрезвычайно трудно. Подбираюсь къ божественному стихотворенію *Resignation*, но не знаю, сумѣю-ли что-нибудь сдѣлать изъ него“. Последнее письмо передъ каникулами полно заботъ о „променистахъ“. Ихъ секретъ былъ какъ-то разглашенъ. Люди, сочувствующіе ихъ цѣлямъ, спрашивали съ недоумѣніемъ, зачѣмъ они такъ благовѣщаютъ, что хотять спасти родину отъ оковъ. Ректоръ запретилъ Зану собирать „променистыхъ“. Все это были такія дѣла, которыя сильно беспокоили Мицкевича, и онъ дѣлится съ сыномъ ректора, Фр. Малевскимъ, своими соображеніями и опасеніями.

Въ такомъ настроеніи, уже проникшись новыми литературными стремленіями, Мицкевичъ спѣшитъ изъ Ковна въ Вильно и оттуда въ Тугановичи. Отчего однако нѣтъ въ его письмахъ упоминаній о Марыль? Можетъ быть, дѣйствительно, онъ любилъ ее въ эту пору еще совсѣмъ мало и охотно отдавалъ предпочтеніе ковенскимъ барышнямъ или красавицѣ Ковальской? Однако и на слѣдующій годъ, когда, какъ мы это знаемъ достоверно, безумная страсть охватила его, и онъ въ отчаяніи думалъ о самоубійствѣ, мы не найдемъ въ его письмахъ прямыхъ указаній на Марылю. Только въ іюнѣ 1821 г. одна скромная буква М. напоминаетъ намъ о той, кто былъ источникомъ столькихъ душевныхъ мукъ молодого поэта. Именно, молчаніе о Марыль, столь ярко бросающееся въ глаза въ дружеской и откровенной перепискѣ Мицкевича съ друзьями въ эту первую зиму пребыванія его въ Ковнѣ,

говорить особенно краснорѣчиво объ его чувствѣ къ ней. Вѣдь и позже, въ Одессѣ, даже въ Швейцаріи, онъ никому не позволялъ касаться этой святости. Но „имя Марыли“ онъ чтилъ въ самые тревожные годы отрицаній и сомнѣній. „Имя Маріи“ спасло его, какъ Конрада въ 3-ей части „Дѣдовъ“. О Ковальской, о паннѣ В. Мицкевичъ могъ говорить съ друзьями полу-шутя, полу-серьезно. Марыли онъ не касался, потому что чувство къ ней составляло „святая святыхъ“ его души, прекрасную мечту, которую онъ лелѣлъ въ одиночествѣ своей скучной и скудной жизни въ „проклятомъ Ковѣ“.

Эта мечта была безжалостно развѣяна лѣтомъ 1820 года. За это время у насъ нѣтъ ни одного письма. Но зато мы имѣемъ полное и тщательное описаніе этой катастрофы въ автобіографической части IV части „Дѣдовъ“, которая теперь, при свѣтѣ вновь открытыхъ матеріаловъ, представляется еще болѣе, чѣмъ прежде, правдивой исповѣдью Мицкевича. Къ его трагедіи мы и перейдемъ теперь.

VI ГЛАВА.

Разрывъ съ Марылей. Лѣто 1820 года. Слѣдующій учебный годъ.

Въ Вильнѣ Мицкевичъ узналъ объ успѣхахъ „променистыхъ“ или фларетовъ весной: они не только устраивали собранія, но въ концѣ мая добились даже отъ ректора официальнаго утвержденія ихъ устава. Впрочемъ, уже въ іюнѣ разрѣшеніе на собранія было взято обратно. Побывалъ-ли Мицкевичъ дома передъ отъѣздомъ въ Тугановичи, неизвѣстно. Въ Тугановичахъ же его ждала горечь разочарованія. Оди́нецъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ о прошломъ“ разсказываетъ о разрывѣ между Марылей и Мицкевичемъ въ торжественныхъ выраженіяхъ, сознавая значеніе своего показанія. „Отъ Зана и Чечота, какъ очевидцевъ, я знаю, какъ высоко благородно и честно было все его (жениха Марыли, Лаврентія Путкамера) поведеніе, когда онъ замѣтилъ новое увлеченіе своей невѣсты. Но ради нея самой, а не изъ эгоистическихъ побужденій, онъ не только не порвалъ отношеній съ ней, но дружески переговорилъ съ Адамомъ и лишь тогда, когда тотъ добровольно уступилъ, вступилъ съ нею въ бракъ, 2 февраля 1821 г. А что

же сказать о той безпримѣрной, можетъ быть, снисходительности и деликатности въ его поведеніи послѣ свадьбы, которыхъ я уже самъ былъ свидѣтелемъ въ продолженіе четырехъ лѣтъ, и вслѣдствіе которыхъ чистобратская любовь, существовавшая между ними всегда и постоянно, превратилась наконецъ со стороны его жены въ глубокое уваженіе и сердечную любовь, въ отношеніа, которыя остались неизмѣнными до смерти обоихъ“. Это свидѣтельство лица, близко знавшаго всѣхъ участниковъ драмы, устанавливаетъ полное невѣроятіе Путкамера въ отношеніа между Марылей и Мицкевичемъ. Путькамера Мицкевичъ не винилъ и не имѣлъ права винить. Могъ-ли онъ обвинять въ невѣрности Марылю? Монологъ Густава (въ „Дѣдахъ“) устраняетъ эти сомнѣнія. „Развѣ она старалась увлечь меня какимъ-нибудь двусмысленнымъ словечкомъ? Или ловила соблазнительными улыбками? Или дѣлала фальшивое лицо? Развѣ она давала какія-нибудь клятвы? Какія-нибудь обѣщанія? Даже во снѣ у меня не было никакой надежды!“ Марыля, видимо, сама не отдавала себѣ отчета въ усиливающимся чувствѣ. Совмѣстныя чтенія, разговоры, въ которыхъ она, какъ утверждалъ Домейко, уже угадывала будущее величіе своего друга, мечтанія: это была та „одежда невинности“, въ которую была облечена эта первая любовь. И не о пустякахъ разговаривали они во время своихъ прогулокъ вдвоемъ, но о вещахъ важныхъ и значительныхъ, какъ значительно было и содержаніе филаретскихъ плановъ и литературныхъ замысловъ Мицкевича.

Что же заставило Марылю предпочесть Путькамера, богатаго и знатнаго молодого человѣка, бѣдному ковенскому учителю? Его титулъ и деньги? Въ такомъ случаѣ, конечно, только презрѣніе могъ оставить образъ Марыли въ душѣ Мицкевича. Но Домейко совершенно опредѣленно указываетъ на настоянія родныхъ, которымъ повиновалась Марыля, дѣлая свой выборъ. Да и могла ли быть рѣчь о выборѣ? Вѣдь самъ Мицкевичъ устранился отъ совѣщанія ея руки, сознавая, что въ глазахъ свѣта онъ неровня Марылѣ. Вспоминая въ позднѣйшемъ стихотвореніи „Шашки“ (Warszawy) свою игру съ Марылей, онъ отдается наплыву горькихъ воспоминаній. „Неудивительно, что я постоянно проигрывалъ. Ты смотрѣла на фигуры, а я на твое лицо! Терзаемыи толикою противорѣчивыхъ чувствъ, я изнывалъ отъ сердечной боли: лицо мое было бѣдно, въ глазахъ горѣлъ огонь. Но я не выдалъ себя

ненужной вспышкой, я подавлялъ вздохи, я глоталъ слова... Сама судьба, вознеся тебя и поставивъ среди блестящихъ родовъ, приказала мнѣ навсегда разстаться съ надеждой". Говоря прозаически, житейское благоразуміе заставило Мицкевича даже не поднимать вопроса о рукѣ Марыли. Могъ ли онъ винить потомъ Марылю въ измѣнѣ? Безсонныя ночи въ опостылѣвшемъ Ковпѣ, томящее одиночество, страсть, которая не знаетъ уговоровъ житейскаго благоразумія, могли внушить автору „Дѣдовъ“ несправедливыя обвиненія. Но, на самомъ дѣлѣ, Мицкевичъ даже не боролся изъ-за руки Марыли, и она не измѣняла ему. Тѣмъ не менѣе, разлука была неизбежна, такъ какъ дѣло зашло слишкомъ далеко. Всѣ старались соблюсти „приличія“. Отъ лѣта 1820 года мы имѣемъ письмо Мицкевича къ Зану, къ которому приложена веселая и любезная приписка Л. Путкамера. За Заномъ посылали экипажъ, и письмо заключало въ себѣ настойчивое приглашеніе. Все шло, какъ должно идти въ „приличномъ домѣ“, среди свѣтской молодежи. Были и „словечки“, которыми тѣшилось общество. Такимъ словечкомъ служило излюбленное заповѣсок *архи* — (*argu*), которое въ обращеніи къ нему и вклеиваютъ на каждомъ шагѣ. „Архи-Зашъ, Архи-Пашъ, Архи-панскіе друзья, которыхъ здѣсь архи-много, архи-ждуть его“, пишетъ Путкамеръ въ своемъ приглашеніи. И сама Марыля подчиняется этой модѣ и въ важнѣйшую минуту жизни безсознательно употребляетъ это нелѣпное „архи“. — новое свидѣтельство той пасивности, съ которой она подчинялась господствующему настроенію. Нужно было разставаться, и вотъ Марыля назначаетъ своему другу послѣднюю встрѣчу. „Въ 12 часовъ вечера, въ томъ мѣстѣ, гдѣ меня ранила вѣтка, а если помѣшаетъ что-нибудь архи-важное, тогда на границѣ въ пятницу въ 5 часовъ.“

Память объ этомъ послѣднемъ свиданіи крѣпко засѣла въ душѣ Мицкевича. Въ относящихся сюда мѣстахъ „Дѣдовъ“ чувствуется желаніе сохранить *всѣ* подробности, пережить еще разъ всѣ настроенія, и это придаетъ имъ большую автобіографическую цѣнность. „Образъ этого прощанія до сихъ поръ стоитъ передо мной. Помню, въ холодный осенній вечеръ... утромъ я долженъ былъ уѣхать... броджу въ саду! Въ размышленіяхъ, въ молитвѣ я старался найти оружіе, чтобы вооружить имъ сердце, мягкое отъ рожденія, чтобы выдержать послѣдній ударъ ея взгляда! Я ходилъ среди зарослей, куда глаза глядѣли... Взглянулъ внизъ, на

аллею! Господи, тамъ, около бесѣдки, я неожиданно увидѣлъ ея! Глаза, опущенныя въ землю... не взглянула на меня! А лицо ея было такъ блѣдно. Я наклоняюсь, засматриваю съ бока и замѣчаю слезинку въ ея глазахъ. Завтра, сказалъ я, завтра я ѣду! Прощай, отвѣтила она чуть слышно. Забудь!—Забыть! легко это сказать.—Будь здоровъ! Она отламываетъ вѣточку, подаетъ ее. Вотъ все, что намъ остается здѣсь, сказала она. Будь здоровъ! И въ длинной аллеѣ исчезаетъ, какъ молнія.“ Эту вѣточку Мицкевичъ хранилъ всю свою жизнь, и его сынъ Владиславъ еще помнилъ о ней. Однако разлука не наложила темныхъ тѣней на свѣтлый образъ Марыли. Ея идеализмъ указывалъ путь поэту въ самыя безумныя минуты тоски и отчаянія. Густавъ его, придя въ видѣ „призрака“ къ священнику, услышалъ отъ него наставленія: „Человѣкъ созданъ не для слезъ и улыбокъ, но для блага своихъ ближнихъ, людей! Какое бы тяжелое испытаніе ни послалъ тебѣ Богъ, вспомни, что ты — пылинка передъ громаднымъ міромъ. Пусть эта великая мысль охладитъ твои мелкія страсти. Божій слуга трудится до поздней осени, и только ничтожный человѣкъ прячется въ могилѣ раньше назначеннаго ему времени смерти...“ Густавъ внимаеъ словамъ священника: „Да вѣдь я слышалъ уже все эти наставленія изъ ея усть. Слово, въ слово, точно въ тотъ вечеръ послѣдняго прощанія. Много я слышалъ отъ нея громкихъ словечекъ: родина и наука, слава, друзья!“

Марыля старалась подкрѣпить блѣднаго поэта: она говорила ему о друзьяхъ—филаретахъ, объ ихъ широкихъ замыслахъ, она внушала ему свою вѣру въ него, а въ тяжелое время преслѣдованія филаретовъ она поддерживала сношенія съ заключенными въ монастырь. Но ударъ нанесенный милой рукой, былъ особенно болѣзненъ. Повидимому (какъ это вѣрно и тонко подмѣтилъ проф. Третьякъ), Мицкевичъ и Марыля обмѣнялись какой-то клятвой, хранить вѣрность другъ другу до гроба, чтобы соединиться въ таинственномъ *шалѣ*. И мы знаемъ, что въ продолженіе первыхъ четырехъ лѣтъ послѣ брака Марыля хранила вѣрность своему другу, поддерживая лишь братскія отношенія къ мужу, и теперь такому же благородному, какъ раньше Уговоры матери и родни наконецъ установили болѣе нормальныя отношенія между Марылей и ея мужемъ, но, во всякомъ случаѣ, сколько было романтизма въ дружескомъ общеніи Марыли и Адама.

Въ концѣ лѣта Мицкевичъ вернулся въ Вильно, чтобы

ѣхать оттуда въ Ковно въ училище. Онъ былъ блѣденъ, худъ, угрюмъ, минуты возбужденія смѣнялись апатіей, и наконецъ, поэтъ совсѣмъ расхворался и, хотя въ Ковнѣ уже шли уроки, лежалъ больной въ Вильнѣ. Директоръ былъ вынужденъ сообщить объ его отсутствіи окружному начальству, и оно послало въ Ковно строжайшій выговоръ неаккуратному учителю съ угрозой доставить его на мѣсто службы съ помощью полиціи и съ пригизаніемъ задержать его жалованіе. Впрочемъ, 15 сентября Мицкевичъ былъ уже въ Ковнѣ. „Доношу, что пріѣхалъ сюда здоровымъ, снова хожу по моей пустой комнатѣ и посматриваю на червонныя польскія горы. Сегодня началъ уроки“, писалъ онъ Ежовскому. И опять потянулись скучные однообразные дни, усаждаемые только лихорадочнымъ чтеніемъ. Хмурыя мысли не давали ему покоя. „Ахъ, ты не знаешь, какъ дорого стоитъ жить!“ твердилъ Мицкевичъ въ своихъ письмахъ къ самому близкому другу, Ежовскому. „Родись въ мукахъ, также мучительно будешь умирать. А лучше всего жить на половину, какъ ты дѣлаешь, хотя, правда, живешь своей благороднѣйшей половиной, но о благодѣствіи долго было бы говорить. Часто несправедливо придаютъ его тому, кто его не достоинъ¹⁾. Ахъ, мой Ежъ, идеалы! Сны и дымъ, а послѣ нихъ пустота. Таковъ ужъ законъ природы: послѣ каждаго наслажденія должна быть оскомина. Пропсходить же она отъ того, что изъ отраднанаго состоянія трудно сразу перейти въ обыкновенное, такъ чтобы не почувствовать отвращенія. Или, по терминологіи Зана, переходя съ меда на воду, нужно найти по дорогѣ перецъ. А если переходишь отъ идеаловъ къ пустотѣ, что же тамъ найдешь? Хуже, чѣмъ адъ. А потому, или не имѣй идеаловъ, или храни идеалы на вѣки!“ Это было то же чувство разочарованія, которое впоследствии глодадо Лермонтова („И скучно, и грустно“ 1840), которое облизало скромнаго литовскаго юношу съ поэтомъ презрѣнія и отрицанія, Байрономъ. Сама жизнь подготовила Мицкевича къ воспріятію байроническихъ настроеній. По пока онъ еще полонъ Шиллеромъ и зачитывается чувствительными романами баронессы Кріденеръ и Гете. Къ осени 1820 года проф. Калленбахъ относитъ письмо, въ которомъ рядомъ съ извѣщеніемъ о неспрїятностяхъ съ окружнымъ начальствомъ мы находимъ слѣдующія важныя строки: „Я прочиталъ послѣдній томъ

1) Путкамеру или Марыль.

милаго Шиллера. Что это за „Марія Стюартъ“. Да и все другое великолѣпно. Сидуйте! Хоть что-нибудь нѣмецкое, мнѣ ужъ нечего читать въ лучшія минуты“. Сообщая о неизвѣстномъ намъ планѣ, повидямому, обмѣна книгъ, Мицкевичъ перечисляетъ: „Вертеръ, Клопштокъ, Фаустъ Гете, Валерія“. Это важное свидѣтельство о тогдашнихъ книжныхъ увлеченіяхъ Мицкевича. Романъ „Valérie“ бар. Криденеръ (1803) оказалъ большое вліяніе на содержаніе перваго замысла „Дѣдовъ“, подъ вліяніемъ „Вертера“ слагалась дальнѣйшая исторія ихъ героя. Душевные тревоги не мѣшали Адаму живо интересоваться политическимъ настроеніемъ страны: Петрашкевичу, жившему въ Варшавѣ, онъ задаетъ вопросы о сеймѣ, о которомъ ходили какіе-то „дикіе слухи“. О филаретахъ онъ зналъ мало, и въ его осеннихъ письмахъ все та же жалоба о томъ, что его забыли. Докторъ Ковальскій, который самымъ сердечнымъ образомъ заботился о Мицкевичѣ, писалъ польскіе журналы. Мицкевичъ съ удовольствіемъ думалъ объ этомъ „кабинетѣ для чтенія“, но многозначительно прибавлялъ: „Но въ этомъ году это для меня не такъ важно, какъ въ прошломъ“. Почему? Вѣроятно, потому, что уже были иные пути доставанія книгъ. Въ каждомъ письмѣ Мицкевичъ сообщаетъ о новыхъ и новыхъ книгахъ, почти исключительно нѣмецкихъ, почти исключительно, по эстетикѣ, которыя онъ читаетъ. Несмотря на лѣтнее потрясеніе, у него бывали промежутки, когда онъ не жаловался на здоровье и на одиночество. Меланхолія его тогда превращалась изъ „страшной бури“ (*gwałtowna zawierucha*) въ легкую пріятную грусть. И къ женщинамъ онъ сталъ относиться равнодушнѣе. „Женщины всегда производили на меня большое впечатлѣніе и занимали больше, нежели онѣ этого стоили. Когда которая-нибудь изъ нихъ, или изъ тщеславія, чтобы имѣть больше поклонниковъ, или ради забавы, а, можетъ быть, иногда и искренно изъ видовъ, разумѣется, не эстетическихъ, бросала на меня взглядъ или давала иной знакъ вниманія, мнѣ уже казалось, что она меня любитъ; отсюда какая-то внутренняя радость, безпокойство, страсти etc., etc, эти *etcetera* всегда были вредны для здоровья, потому что сильно возбуждали меня. Теперь я очень матеріалистиченъ (*bardzo fizyczny*): знакъ вниманія (*przywiazania*) отдаю за знакъ вниманія, но очень спокойно, и женскія чары только щекочуть меня, а до сердца не доходятъ. Послѣ разговора о любви (*z rozmowy romansowej*) я

возвращаюсь и спокойно сплю. Организм, хоть и разогрѣтый немного, успокаивается легче, чѣмъ воображеніе. Все это пустая забава. Вотъ, философъ, что можетъ написать о себѣ не-философъ. Эти извѣстія обрадуютъ тебя. Если я когда-нибудь написалъ, что скрываю безпокойство, то это безпокойство пробуждается тогда, когда я вамъ пишу, потому что я вспоминаю свое теперешнее ничтожное существованіе и черное будущее. И все болѣе я теряю надежду одолѣть въ борьбѣ съ судьбою; я думалъ, что литературной работой обращаю на себя вниманіе: но если это удастся (сомнѣваюсь), то это будетъ очень трудно. И мнѣ теперь все труднѣе! Нѣтъ никакихъ побужденій, (а нужно ихъ имѣть ежедневно). Цѣлый день занять, а остальное—скука. Нѣтъ у меня такого спокойнаго и увѣреннаго характера, какъ у тебя (у Ежовскаго), ступающаго твердо своимъ шагомъ, или такого разсудительнаго и сильнаго, какъ у Яроша (Малевскаго), или легкаго и веселаго, какъ у Зана или легкаго и бурнаго, какъ у Яна (Чечота). Я смѣсь. Я могу прыгать далеко, но не умѣю ходить ровнымъ шагомъ, и иду туда, куда толкаютъ обстоятельства. Предоставленный самому себѣ, я становлюсь очень маленькимъ. Вотъ, о чемъ мнѣ нужно забывать, и что вспоминается мнѣ когда я вамъ пишу". Разочарованіе въ себѣ было естественнымъ результатомъ крушенія надеждъ, и является обычнымъ спутникомъ мучительнаго самоанализа. Дѣйствительно, будущее, казалось, не улыбалось Мицкевичу: учительство не давало возможности развиваться, изнурило, принижало его въ собственныхъ глазахъ. А уйти отъ учительства еще не представлялось возможнымъ. Безденежье, скука, разочарованіе въ женщинахъ и, вообще, въ людяхъ, тревога, что его забываютъ даже друзья... Не удивительно, что тоиъ писемъ Мицкевича мраченъ, хотя онъ старается сдѣлать видъ, что становится веселъ и равнодушенъ ко всему. 6 декабря онъ пишетъ Петрашкевичу, что незадолго передъ тѣмъ былъ въ Вильнѣ. Можно думать, что Мицкевичъ лично отвозилъ Гроддека свою магистерскую диссертацию, о которой тотъ далъ отчетъ факультету 3 января 1821 года, высказавшись уклончиво. „Такъ какъ экзаменующійся долженъ еще, согласно Уставу, сдать экзамень по теоретической и практической философій, то рѣшеніе объ его диссертаци и разрѣшеніе защищать ее откладывается до праздниковъ Пасхи, при чемъ факультетъ рекомендуетъ экзаменуемому воспользоваться этимъ временемъ для болѣе подробной

разработки и исправленія своего сочиненія“. То, что было сглажено въ официальной бумагѣ, на словахъ звучало иначе. Гроддекъ не позволилъ защищать, главнымъ образомъ потому, что были орфографическія ошибки!“ писалъ Мицкевичъ. Вѣроятно, онъ былъ вызванъ въ Вильну для дачи личныхъ показаній по поводу своего столкновенія съ представителемъ округа изъ-за осенней просрочки. „Ректоръ изругалъ меня, на чемъ свѣтъ стоитъ, за оскорбленіе Будзиловича, я сдержался и выслушалъ“. Будзиловичъ былъ инспекторомъ школы Виленской губерніи. Ближайшихъ подробностей объ этомъ инцидентѣ мы не имѣемъ. Разумѣется, онъ не могъ увеличить пріязни Мицкевича къ Ковну и къ учительству. Въ Вильнѣ же поэтъ узналъ о смерти своей матери, которая скончалась еще 9 октября. Это былъ для него тяжелый ударъ. „Мать моя была для меня и самымъ большимъ страданіемъ, и всей моей радостью, единственной утѣхой. Я ничѣмъ не могъ помочь ей, но я тѣшилъ себя надеждой, что когда-нибудь, быть можетъ, судьба будетъ ко мнѣ благосклоннѣе, и это будетъ и для нея облегченіемъ, счастьемъ. Грезы эти разлетѣлись, какъ дымъ! Я остался одинъ. Ничто ужъ меня особенно сильно не привязываетъ (къ жизни). Надо немного помочь братьямъ, а такъ я совѣмъ одинъ. И потому я твердо рѣшилъ бросить учительское мѣсто, если не найду лучшаго, и гдѣ-нибудь приткнуться. Посмотри, не удастся-ли что-нибудь въ Варшавѣ.“ Въ этомъ же письмѣ еще двѣ интересныя подробности: разсужденія о томъ, нельзя-ли было бы и въ Варшавѣ устроить что-нибудь въ родѣ филаретовъ¹⁾, и сообщеніе о намѣреніи Мицкевича издать вмѣстѣ съ Заномъ и Чечотомъ сборникъ „Гебу“. Именно, на него мы, вѣроятно, имѣемъ указаніе въ одномъ изъ прежнихъ писемъ. Но товарищи Мицкевича по части поэзіи были плохи: Загъ написалъ только нѣсколько мелкихъ вещицекъ (rozdziałków), Чечоть также молчалъ, и естественнымъ образомъ, у Мицкевича, у котораго, несомнѣнно, набралось уже не мало матеріала, явилось осуществленное въ скоромъ времени намѣреніе издать сборникъ самостоятельно. Неизвѣстные намъ ближе планы по изда-

¹⁾ О студенческихъ организаціяхъ въ Варшавѣ см. Sr. Askena gu. „Kukatiński“. I. 257 и дал. Уже въ 1818 г. здѣсь возникло общество любителей наукъ, соответствующее филوماتамъ. Вовсякомъ случай, свѣтъ Мицкевича указывалъ на его незнакомство съ дѣломъ.

нію школьныхъ руководствъ, о которомъ встрѣчаются отрывочныя замѣчанія и въ прежнихъ письмахъ, также плохо удавались, но Ежовскій объявилъ все-таки подписку на Горація. Последнее письмо отъ 1820 года наполнено описаніемъ дорожнаго случая, которое Мицкевичъ посылалъ Зану для помѣщенія въ „Wiadomościach Brukowych“ Шубравцевъ,—единственное несомнѣнное свидѣтельство, что Мицкевичъ, какъ и другіе филоматы, принималъ или хотѣлъ принимать участіе въ этомъ изданіи. Отрывокъ не производитъ (по крайней мѣрѣ, на меня) благоприятнаго впечатлѣнія: онъ мало остроуменъ и лишь благородствомъ своего содержанія, настроеніемъ автора при описаніи сцены сдачи рекрутовъ, достоинъ пера великаго филарета.

Такъ окончился для Мицкевича этотъ печальный для него 1820 годъ, годъ одиночества и разочарованія. За всю осень мы не слышимъ почти ничего объ его творествѣ.

Въ очень угнетенномъ настроеніи Мицкевичъ вернулся въ этомъ году съ зимнихъ каникулъ, проведенныхъ имъ въ Вильнѣ. Очевидно, получались тяжелыя, удручавшія его извѣстія о предстоящей свадьбѣ Марыли, и онъ въ январѣ 1821 г. пишетъ, что только уроки спасаютъ его отъ полною отчаянія. Они „отнимаютъ у меня большую часть дня, сообщаетъ поэтъ Чечоту, такъ что остатокъ его приходится отдавать отдыху, и времени на грустныя мысли не остается: вечеръ же я провожу иногда въ какой-нибудь компаніи, гдѣ сначала представляюсь спокойнымъ, а потомъ и дѣйствительно прихожу въ спокойное состояніе, какъ вода; иногда же улыбка или какая-нибудь шутка изображаетъ меня какъ-будто веселымъ: однако, эти минуты очень рѣдки.“ Кромѣ мучительнаго самоанализа, примѣръ котораго мы видимъ въ этой тирадѣ, Мицкевича удручали мнительность, заставлявшая его все время прислушиваться къ своему здоровью, и крайняя скудость денежныхъ средствъ, доходившая почти до нищеты. Грустно читать его копѣчные расчеты и заявленіе, сдѣланное задолго до конца января, что у него остается до конца февраля всего 3 руб. Трудно быть веселымъ въ такомъ положеніи. Ежовскому онъ сообщаетъ о своихъ горестяхъ подробнѣе и откровеннѣе, чѣмъ Чечоту: „теперь я одинъ, каждое печальное воспоминаніе, а сколько ихъ, вызываетъ слезы! Если ты самъ припомнишь ту часть моей жизни, которой ты былъ свидѣтелемъ, всѣ мои виды, намѣренія и конецъ! навѣрное, и самъ испытаешь подобное чув-

ство“. Но поэзія уже служила въ эту пору вѣрнымъ спутникомъ и другомъ влюбленнаго поэта. Она давала ему облегченіе, котораго, конечно, не могли дать ложно-классическіе вирши. И Мицкевичъ прибавляетъ въ своемъ письмѣ къ Ежовскому: „Воображеніе, вскормленное чтеніемъ Шиллера, немножко развлекаетъ меня. Я написалъ строкъ пятнадцать „Романтизма“. Теперь не могу переписать“. Въ скоромъ времени появилось на свѣтъ и все стихотвореніе, много разъ передѣланное и наконецъ (18 января, какъ полагаетъ издатель писемъ, проф. Калленбахъ) посланное Зану. Мицкевичъ сильно интересовался мнѣніемъ друзей, просилъ сообщить ихъ отзывы, училъ, какъ нужно декламировать послѣднюю часть „дремлющимъ тономъ“. Въ балладѣ онъ мѣтилъ въ мудрствующихъ стариковъ — позитивистовъ и дѣлалъ сноску, показывающую, что подъ старикомъ „со стеклышкомъ“ надо подразумѣвать знаменитаго Яна Снядецкаго, уже разразившагося гнѣвной статьёй противъ романтизма. Генезисъ другихъ балладъ, написанныхъ, вѣроятно, въ это время, ускользаетъ отъ насъ: или послѣ свадьбы Марыли до самаго лѣта Мицкевичъ почти не писалъ писемъ, или сохранилось ихъ очень мало, но всего три-четыре сухихъ и какихъ-то равнодушныхъ писемъ дошло до насъ. Сидитъ онъ больше дома: „здоровье такъ себѣ, но, въ общемъ, плохо“. Только въ концѣ мая Мицкевичъ посылаетъ „*Kurrganz*“, который называетъ „*одной*“. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщаетъ о свиданіи съ Ковальской въ долині. „Я едва не сошелъ съ ума, и только, можетъ быть, крестьяне, которые сновали все время, спасли меня отъ очень незстетическихъ покушеній. Читали твое письмо. Въ концѣ концовъ немножко, да и не немножко, а даже очень смутило меня заявленіе съ другой стороны, что безъ свиданій со мной обойтись невозможно, и что я самъ виноватъ, что пріучилъ къ этому. Заданъ мнѣ вопросъ насчетъ вакацій, и сцена закончилась весьма меланхолически. Вредульону ¹⁾ фформально отказано въ домѣ. Онъ снова вызвалъ меня, но я отвѣтилъ, что теперь было бы стыдно принять вызовъ, если въ первый разъ дѣло кончилось ничѣмъ.

1) Подъ этимъ именемъ подразумѣвается нѣкій Нартовскій, который ухаживалъ за красавицей Ковальской и увидѣлъ въ Мицкевичѣ соперника. Онъ вызвалъ поэта на дуэль, до которой однако дѣло не дошло. По словамъ Малевскаго, впечатлѣніе отъ всего этого приключенія отразилось „въ присланномъ вскорѣ послѣ этого *Шлюццъ* (*Zeglarz*)“.

Впрочемъ, для того, чтобы не было разговоровъ, я выпросилъ ему разрѣшеніе бывать въ домѣ, за что онъ мнѣ очень благодаренъ“. Связь съ Ковальской какъ-то уживалась съ самой чистой любовью къ Марылѣ, да это и нерѣдко случается въ жизни.

Прекрасные біографы поэта рисовали отношенія его къ красавицѣ Ковальской въ очень идеальномъ свѣтѣ: добрые и гостепріимные люди, пожатѣвнѣе молодого талантливаго человѣка и поспѣшившіе окружить его всякимъ вниманіемъ, вплоть до того, что покупали книги, которыя онъ любилъ, музыкальныя ноты, которыя ему нравились. Ковальская—прообразъ Гражины, увѣрялъ Одынецъ. Новые письма, напечатанныя проф. Каллепбахомъ, сводятъ эти отношенія съ неба на землю. Мы уже видѣли, что Мицкевичъ подчинился чарамъ Ковальской, что онъ старался бѣжать отъ нихъ. Въ сонетахъ, напечатанныхъ нѣсколько лѣтъ спустя, отразилась эта первая нѣжная и красивая фаза этого романа. Любовь къ Марылѣ не служила для Мицкевича щитомъ отъ увлеченій. Онъ былъ молодъ и не былъ анахоретомъ; требованія „плоти“, конечно, говорили и въ немъ, а Ковальская такъ шла навстрѣчу. Въ іюнѣ Мицкевичъ писалъ Петрашкевичу строки, смыслъ которыхъ не можетъ оставлять никакихъ сомнѣній: „Не упрекай меня въ безнравственности. Напротивъ, во время этихъ бреттерствъ (pistoletowań) я былъ эстетиченъ до безумія. Но теперь, теперь, увы, представь себѣ, если можешь, божество съ развѣвающимися по плечамъ волосами, среди бѣлой кисеи, на пышной постели, въ великолѣпной комнатѣ. На это божество я смотрю ежедневно, эстетика уже улетѣла. Къ позору моему, изъ чужихъ устъ я выслушиваю филаретскія (promieniste) рѣчи. Еще слушаю, но это, навѣрное, продолжится не много. Слава Богу, что св. Петръ не за горами!“ Случилось то, что должно было случиться: сближеніе, а потомъ охлажденіе, потому что говорило прежде всего лишь чувственное увлеченіе, не оставившее у него ничего, кромѣ враждебнаго равнодушія къ Ковальской, которая, напротивъ, какъ женщина, разъ уже отдавшаяся своему избраннику и не разочаровавшаяся въ нравственной высотѣ его, хранила къ нему нѣжную память до самой смерти. Но Мицкевичъ уже въ іюль, будучи въ Новогрудкѣ, писалъ Чечоту о своемъ равнодушіи къ женщинамъ: „Видѣлся я здѣсь съ женщинами, съ той Юасей, которую я когда-то любилъ, хотя она самое обыкно-

венное существо. Я съ грустью замѣтля, что всё онѣ вызы-
ваютъ во мнѣ отвращеніе, и что о женщинахъ мнѣ уже не ду-
мать, особенно такъ близко отъ Тугановичъ“. Заходя нѣсколько
впередъ, я отмѣчу здѣсь же, что уже въ сентябрѣ, посѣтивъ
Ковно передъ отъѣздомъ изъ него на цѣлый годъ, Мицке-
вичъ сообщаетъ Петрашкевичу, которому въ іюнѣ писалъ о
„божествѣ“, что въ отношеніяхъ его съ Ковальской не все
гладко. „Нѣтъ иного средства помириться съ нею, какъ обѣ-
щать постоянно жить въ Ковнѣ, средства, которое совершенно
не подходитъ для меня. Поэтому теперь мы очень холодны
другъ съ другомъ. *Теперь я живу совсѣмъ одинъ*, напротивъ ея
оконъ, вижу въ окнахъ свѣтъ, теперь 12 часовъ. На завтра
нѣтъ письменныхъ работъ, нѣтъ ничего—думать, ходить, писать,
быть господиномъ своей воли, ѣхать или, пока въ карманѣ
остается послѣдній рубль, сидѣть въ Ковнѣ. Развѣ это не одно
изъ пріятнѣйшихъ положеній въ моей жизни?“

Однако и увлеченіе Ковальской въ весенніе мѣсяцы не из-
бавило Мицкевича отъ какого-то болѣзненнаго равнодушія, кото-
рое его охватило: ему все равно, ѣхать или не ѣхать въ Ново-
грудокъ или въ Вильну. „Кончится тѣмъ, писалъ онъ, что для
меня всё мѣста стануть безразличными, всюду мнѣ будетъ одина-
ково хорошо или, что то же самое, нигдѣ не будетъ хорошо“. Если
его еще что-нибудь волновало, то это было политическое положеніе
вещей, организація филаретизма и его связи съ иными конспира-
тивными организаціями. Въ маѣ, на Троицу, филареты устроили
большое собраніе, на которомъ Мицкевичъ долженъ былъ вру-
чить Зану отъ имени товарищей кольцо. Изъ писемъ Мицкевича
мы знаемъ, что онъ сидѣлъ безъ денегъ, и не хотѣлъ ѣхать въ
Вильну; въ концѣ концовъ, средства, очевидно, нашлись, и поэтъ,
съ петерифніемъ и большимъ торжествомъ поджидавшійся филаретами,
явился въ ихъ общество. По патетическому тону разска-
за Одынца объ этомъ событіи видно, какую роль духовнаго
вождя игралъ уже тогда Мицкевичъ среди филаретовъ. „Адамъ
говорить по вдохновенію, но прозой, подчеркивая не рядъ за-
слугъ Зана, но сущность его вліянія на братьевъ и тѣ плоды,
которыхъ онъ ожидалъ отъ этого“. Этотъ праздникъ произвелъ
на поэта самое симпатичное впечатлѣніе, и онъ писалъ Петра-
шкевичу въ Варшаву, что „филареты оживлены и объединены
тѣсной духовной связью. Филареты ждутъ реформы, которая по-

ставить уже готовое общество въ то положеніе, которое занимало до сихъ поръ правленіе. Насъ вытягиваютъ на болѣе широкое поприще. Томашъ токуеть между тетеревами (виленскими масонами), Широкий (т.-е. Лозинскій) напалъ на еще болѣе крупныхъ птицъ, появившихся у насъ недавно съ южной стороны¹⁾, но такъ какъ эта птичья стая состоитъ изъ крупныхъ экземпляровъ, то мы держимся пассивно, впрочемъ, не безъ надежды сильно вмѣшаться. Уже раньше мы встрѣтили намеки на какія-то сношенія филаретовъ съ конспираціей Лукасианскаго. Здѣсь передъ нами опредѣленные указанія на связи съ виленскими „шубравцами“. Студенческія и гимназическія общества возникали и въ Царствѣ Польскомъ: 10-го марта 1820 г. Вел. Кн. Константинъ сообщилъ Новосильцеву о томъ, что „семь учениковъ Калишской публичной коллегіи составили сообщество въ духѣ демагогическихъ принциповъ, распространенныхъ въ Германіи“. Отсюда начался надзоръ правительства за настроеніями польской школы, который привелъ къ ряду политическихъ процессовъ, сначала въ Варшавѣ, потомъ въ Вильнѣ. Филареты постепенно теряли свой первоначальный обликъ. Если еще зимой 1820—1821 года Мицкевичъ, огорчась свѣдѣніями изъ Вильны о слабой дѣятельности филаретской организаціи, заявлялъ, что, въ сущности, никогда за предѣлы научнаго взаимодѣйствія студенческое общество не выходило, то онъ стучалъ краски, подъ влияніемъ апатіи и охватывшаго его безвѣрія. Напротивъ, политическій кругозоръ филаретизма все расширялся. Съ какимъ интересомъ слѣдить самъ поэтъ за развитіемъ событій въ Польшѣ какъ страстно онъ нападаетъ на Александра I, быстро терявшаго свою популярность въ польскомъ обществѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что товарищи Мицкевича раздѣляли его интересъ и волненіе. Къ филаретамъ начали приглядываться какъ сочувствующіе, такъ и разные подозрительные люди, а система шпіонства и даже провокаціи была уже сильно развита въ Польшѣ, распространялась и на Литву. Первые удивлялись той неосторожности, съ которой филареты провозглашали свои политическія стремленія, вторые

1) Кто это могъ быть, сказать утвердительно я не рѣшился бы: вѣроятно все, по моему мнѣнію, что рѣчь идетъ о попыткахъ варшавскихъ политическихъ конспирацій завязать отношенія съ филаретами черезъ Зана. См. объ этомъ книгу проф. Ашкенази о Лукасианскомъ.

вертѣлись около видныхъ филаретовъ и около самого Мицкевича. Но его трудно было вызвать на откровенность, и онъ спѣшилъ предостеречь друзей (въ маѣ 1821 года) отъ непрощенныхъ приверженцевъ.

Таково было настроеніе Мицкевича въ эту зиму. Какъ мы видимъ, онъ порядочно запутался во всѣхъ отношеніяхъ: связь съ Ковальской, которая вовсе не собиралась отпустить отъ себя поэта; переписка съ Марылей и отчаянная тоска по ней, пламя которой вѣчно поддерживалось воображеніемъ; а въ Ковнѣ опостылѣвшій учительскій трудъ и сознаніе того, что со смертію матери сидѣніе въ Ковнѣ теряетъ смыслъ; безденежье, доходившее до голоданья ¹⁾, и постоянное чувство какого-то недомоганія... Въ концѣ концовъ это становилось невыносимо, и Мицкевичъ рѣшилъ просить отпускъ на слѣдующій учебный годъ, ссылаясь на „геморроидальную болѣзнь“ (pneumonorrhagia) и предоставляя свидѣтельство доктора Порцянку отъ 12 іюня 1821 г. „Я непременно освобожусь,—писалъ онъ Петрашкевичу,—но что со мной будетъ, не знаю. Можетъ быть, двинусь съ Ярошемъ (Малевскимъ) за границу, можетъ быть, останусь въ Вильнѣ (не останусь), можетъ, можетъ быть?? время это покажетъ“. Такъ ни Вильна, ни что на свѣтѣ не привлекало теперь поэта. Въ такихъ случаяхъ лучшей выходъ—поѣздка за границу, и о ней подумывалъ Мицкевичъ. Пока же его тянуло на родину, бросить послѣдній взглядъ на домъ, въ которомъ онъ выросъ. Какъ Густавъ „Дѣдовъ“, онъ посѣтилъ опустѣлый домъ. „Флигель, въ которомъ мы жили, я нашелъ открытымъ, но темнымъ“, сообщалъ поэтъ Чечоту. „Поставь себя на мое мѣсто. Никто меня не встрѣтилъ, не услышалъ я былого: *Адамъ, Адамъ!* И такая тоска охватила меня, что я долго не могъ опомниться. Я обошелъ всѣ уголки, открылъ двери кладовой. Въ это время сверху сходить наша старая служанка, которую я едва узналъ въ темнотѣ,—да и трудно было узнать ее: она поблѣднѣла и видно было, что давно нуждается. Узнавъ другъ друга, мы долго плакали вмѣстѣ. Вѣдная служанка провела у насъ всю жизнь, а теперь она безъ всякихъ средствъ къ жизни; она долго жила въ этомъ домикѣ, питаясь своимъ трудомъ, и теперь еще бродитъ по пустымъ комнатамъ. Я отдалъ бы ей по-

¹⁾ Въ маѣ 1821 г. Мицкевичъ пишетъ: „Добровольскій сдѣлалъ мнѣ скидку со счета почти въ 30 рублей; правда, что я не ѣмъ условленнаго ужина, а на обѣдъ часто беру только одно или два кушанья“.

сѣдній грошъ, если бы въ то время имѣлъ его. Я хотѣлъ пожить у добрыхъ Тераевичей, но отдѣльно поселиться не могъ, долженъ былъ являться на завтраки, обѣды, ужины, просиживать по нѣскольку часовъ, вести неинтересные разговоры. Я бѣжалъ въ Руту, но не выдержалъ здѣсь даже дня: въ Новогрудкѣ былъ, по крайней мѣрѣ, нашъ прежній дворъ, по которому можно было гулять, и близкія могилки“. А Марыля жила такъ близко. „Всею одна миля! гуляя, и спрашивалъ о каждой дорожкѣ къ Марылѣ. Хоть посмотрѣть въ ту сторону. Но я выдержалъ искушеніе и не побѣжалъ. Да ея тамъ и не было. Изъ Руты ѣду въ Тугановичи. Въ самыхъ воротахъ я встрѣтилъ карету и сразу узналъ, или вѣрнѣе почувствовалъ, что тамъ была М. Не знаю, что сдѣлалось со мной. Мы разѣхались, что-то въ бѣломъ показалось на минуту. Я не смѣлъ оторваться, совѣмъ не знаю, какъ добрался. Узнаю, что встрѣтился съ М., о чемъ въ душѣ уже зналъ“. Въ Тугановичахъ Мицкевичъ засталъ поэтическое настроеніе. Братъ Марыли, Михаилъ, былъ уже „самымъ пламеннымъ романтикомъ“, восхищался рыцарскими вѣтками, проектировалъ поѣздку на озеро Свѣтязь на нѣсколько дней: „будемъ ѣздить по лѣсу и думать“. Но все это не удовлетворяло Адама: „по сравненію съ прошлымъ годомъ это, какъ нашъ пустой дворъ—такъ много исчезло!“ Чувство какой-то новой жизни, которую надо начинать, не оставляло Мицкевича: какъ на Новогрудскѣ, такъ и на Тугановичи онъ хотѣлъ посмотреть въ послѣдній разъ. Онъ понялъ себя. „*Мое эстетическое предназначеніе уже ясно.* Удерживаю здѣсь руку, потому что дальше писать нельзя“. Мы можемъ кончить за него: поэтъ понялъ свое поэтическое назначеніе, грезы о славѣ витали надъ его вдохновенной головой. *Natus est Gustavus!* Теперь передъ нами не робкій юноша, неувѣренно затрагивающій струны романтической арфы и поспѣшно возвращающійся къ ложно-классическимъ авторитетамъ. Теперь мы видимъ сознательнаго романтика, гордо бросающаго вызовъ „мудрецамъ“, надменно протестующаго противъ „разсудка“. Этотъ переворотъ совершился въ Ковнѣ въ годъ тоски и паденія.

ГЛАВА VII.

Годъ въ Вильнѣ (1821—1822). Новыя отношенія съ Марылей.
Первый томъ стихотвореній.

Не вынеся томительнаго одиночества въ Новогрудкѣ и шумнаго общества въ Тугановичахъ, гдѣ все бередило его душевную рану, Мицкевичъ во второй половинѣ іюля вернулся въ Ковно. Но здѣсь онъ пробылъ недолго. Подчиняясь не дававшему ему покоя *principium mobilitatis*, онъ собрался ѣхать съ какимъ-то знакомымъ въ Полагенъ на морское купанье. Въ Ковнѣ было одиноко и скучно. „Я пріѣхалъ сюда, чтобы днемъ читать и писать, а вечеромъ забавляться, — сообщалъ Мицкевичъ Малевскому. — „А случилось со мной, какъ съ китайскимъ императоромъ, который задумалъ семь дней развлекаться. Настроеніе не важное; изъ Ковна всѣ повыѣхали, одни въ деревню, другіе на море: *nota bene, всѣ* (несомнѣнный намекъ на Ковальскую)... Поэтому педѣлю я провелъ въ одиночествѣ, возвращаться мнѣ было не къ чему, и хоть и тамъ (въ Полагенѣ) развлеченія не много общають, все-таки дорога туда и обратно и десятидневное купанье представляютъ много прелести въ смыслѣ движенія“. Сообщая о поѣздкѣ на море, Мицкевичъ считаетъ нужнымъ еще разъ намекнуть, что онъ ѣдетъ вовсе не для свиданія съ Ковальской. „Не думай, что я ѣду на море, а потому *feindliches Gestirn*. Мы будемъ совсѣмъ въ разныхъ сторонахъ“. Однако мысль о какомъ-нибудь возможномъ другомъ приключеніи улыбалась скучавшему поэту, и онъ не безъ юмора предвидѣлъ возможность встрѣчи съ сиренами въ Балтійскомъ морѣ. „Посмотрю, сумѣють ли онѣ меня такъ увлечь, какъ наша сирена, которой передай мой поклонъ“. О комъ идетъ рѣчь? Конечно, не о Марылѣ и не о Ковальской.

Отъ этого времени сохранились два письма къ Малевскому изъ Ковна. Оба они проникнуты нѣмецкими увлеченіями, какъ еще не приходилось встрѣчать въ его прежнихъ письмахъ. Мицкевичъ изучаетъ Шеллинга и не находитъ въ немъ ничего непонятнаго, пока не доходитъ до „прибавленій“, которыхъ никакъ не можетъ „разгрызть“. Особенно смущаетъ его *absolutum*. „Мнѣ кажется, прибавляетъ шутливо Мицкевичъ: его разсужденіе объ абсолют-

номъ не стоитъ моего. Absolutum! Какъ ты могъ предостерегать меня, чтобы я не погружался въ него въ Ковнѣ!“ Рядомъ съ Шеллингомъ шло изученіе Канта, который едва ли болѣе удовлетворялъ молодого романтика. Ему вспоминались слова Снядецкого о Кантѣ, который сбиль съ толку не мало людей, и онъ съ удовольствіемъ соглашался, что, дѣйствительно, Кантъ очень опасный человѣкъ. Симпатіи поэта были, конечно, не на сторонѣ нѣмецкихъ философовъ: Шиллеръ, Муръ, Стернъ — вотъ къмъ полны его письма. Въ такомъ поэтическомъ настроеніи, оживленный перспективой поѣздки и знакомства съ новыми мѣстами, но, какъ всегда, съ грошами въ карманѣ Мицкевичъ поѣхалъ въ Полаangenъ, откуда онъ долженъ былъ вернуться 4 или 5 августа въ Вильно. Другъ его, Францискъ Малевскій, отпраплялся, напротивъ, за границу. Зачѣмъ? Его поѣзка, его письма къ отцу, обнаруженныя Владиславомъ Мицкевичемъ, недавно открытая и напечатанная переписка попечителя Чарторыйскаго съ ректоромъ Малевскимъ: все это должно быть поставлено въ связь. Дѣло въ томъ, что филареты уже обратили на себя вниманіе власти, и Чарторыйскій, хорошо знавшій петербургскія вѣянія, сильно встревожился за судьбу своего дѣтища, созданнаго имъ университета. „Маршалъ“ филаретовъ Т. Лозинскій, Т. Занъ и А. Мицкевичъ особенно бросались въ глаза властямъ, и за ними слѣдовало учредить строгій тайный надзоръ. Сына своего ректоръ снѣшилъ отправить подальше отъ грѣха за границу, и вотъ Францискъ Малевскій обращается (въ сентябрѣ 1826 г.) къ отцу съ нѣсколькими письмами, въ которыхъ проситъ его быть снисходительнѣе и справедливѣе къ Мицкевичу. „Я знаю, кто былъ доносчикомъ на меня и на него“, прибавляетъ онъ. Къ Мицкевичу были несправедливы, смѣло говорилъ Малевскій своему отцу: неужели онъ для того былъ стипендіатомъ учительской семинаріи, чтобы его упрятали въ Ковно, тогда какъ мѣста въ болѣе живыхъ научныхъ центрахъ, въ Кременцѣ или Вишницѣ, отдаются молодымъ, ничѣмъ себя не зарекомендовавшимъ людямъ? „Мицкевичъ подалъ прошеніе объ отставкѣ, когда не было никакихъ вакансій, когда ему запретили надѣяться на лучшее будущее“. Но въ расчеты университетскихъ властей вовсе не входило выпускать Мицкевича изъ Вильны. Напротивъ, держать его около себя представлялось наиболѣе цѣлесообразнымъ и, по представленію Чарторыйскаго, который, очевидно, былъ въ этомъ отношеніи соли-

даренъ съ ректоромъ, поэтъ получилъ желаемый имъ годовой отпускъ съ сохраненіемъ двухъ третей содержанія, что составляло 200 руб. сер. Поэтъ просилъ о сохраненіи за нимъ всего содержанія (300 руб. сер. въ годъ), но университетское правленіе ходатайствовало только о $\frac{2}{3}$ его, т.-е. 200 р. При этомъ въ своемъ представленіи въ министерство правленіе указывало на то, что Мицкевичъ „въ продолженіе двухъ лѣтъ исполнялъ свою должность съ совершеннымъ прилежаніемъ и значительною пользою для учениковъ“.

Въ какомъ настроеніи Мицкевичъ ѣхалъ въ Вильну? Въ состояніи какого то болѣзненнаго индифферентизма. Изъ Ковна, куда онъ заѣхалъ передъ переселеніемъ въ Вильну, онъ писалъ, что, вѣроятно, „этотъ годъ протянется ни такъ, ни сякъ, что на поѣздку за границу надежды мало“. Самое оживленіе въ Ковнѣ передъ путешествіемъ въ Полангенъ представляется какимъ то искусственнымъ. Послѣ шутливыхъ словъ о шеллинговомъ абсолютномъ слѣдуютъ стихи „Къ*“, такіе же отчаянные, такіе же проникнутые безумной и безнадежной любовью, какъ „Пловецъ“ и другіе стихи, написанные послѣ свадьбы Марыли. Но Мицкевичъ зналъ, что и Марыля томится по немъ. И эта временная страсть, обреченная на молчаніе и разлуку, такъ напоминала ему Донъ Карлоса съ его нѣжной, жалостливой любовью къ молодой мачехѣ. За переводъ „Донъ Карлоса“ и взялся Мицкевичъ въ эту пору, и подъ вліяніемъ его написалъ свое посланіе „Къ*“, о которомъ еще будетъ рѣчь ниже.

Въ Вильнѣ наступила „британоманія“, къ которой Мицкевичъ былъ уже подготовленъ въ Ковнѣ чтеніемъ Байрона и Мура. Къ самому началу 1822 года должно относиться письмо поэта къ Фр. Малевскому, бывшему тогда въ Берлинѣ. Въ этомъ письмѣ, дата котораго устанавливается одобрительнымъ отзывомъ о лекторскихъ способностяхъ Лелевеля, открывшаго новый свой курсъ въ Виленскомъ университетѣ 9 января 1822 года, Мицкевичъ сообщаетъ пріятелю, что только что всталъ съ постели послѣ двухнедѣльной лихорадки, и затѣмъ даетъ характеристику своей виленской жизни. „Я отплатилъ (этой болѣзнью) за нѣсколько мѣсяцевъ довольно свободной жизни. Если бы вѣрно было глупое правило, по которому счастливъ тотъ, кто не испытываетъ ни въ чемъ недостатка, я былъ бы на небѣ. Денегъ у меня было такъ много, что въ первый разъ въ жизни я уже не

находились, на что их тратить: да и другія обстоятельства сдѣлали мнѣ эти мѣсяцы особенно пріятными, притомъ обстоятельства совершенно неожиданныя. Въ общемъ, я живу совершенно по-писательски (по literacku), дышу только римами, ими только питаюсь; не знаю, когда онять привыкну читать что-нибудь порядочное. Послѣ германоманіи наступила британоманія; съ словаремъ въ рукахъ я сталъ протискиваться черезъ Шекспира, какъ евангельскій богачъ въ рай черезъ игольное ушко: зато Байронъ идетъ теперь гораздо легче, и въ немъ я зашелъ *уже очень далеко. „Гяура“, навѣрное, переведу. Впрочемъ, этотъ. можетъ быть, величайшій поэтъ не вытѣснить изъ кармана Шиллера; когда я нашелъ въ новомъ изданіи нѣсколько стихотвореній, которыхъ раньше не читалъ, я долго не могъ вернуться къ англичанамъ“.

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя Мицкевичъ писалъ тому же корреспонденту, что „дневникъ его жизни и занятій архи-монотоненъ и кратокъ“, что онъ спитъ, а чаще не спитъ, много ходитъ и пишетъ стихи и комментаріи (къ „Софіовкѣ“), вѣрнѣе, писалъ, потому что теперь пишетъ все меньше; время шло быстро. „Я видѣлся нѣсколько разъ съ Маріей“, прибавляетъ поэтъ: „я провель съ нею двѣ недѣли. Видѣть ее и разговаривать съ ней больше всего меня успокаиваетъ. Что будетъ дальше, не знаю“.

Эти два пьесма, единственные, которыя дошли до насъ за это время, рисуютъ общіе контуры картины, подробности которой мы можемъ восполнить по другимъ источникамъ. Откуда, прежде всего, это матеріальное обезпеченіе Мицкевича при тѣхъ 200 руб., которыя были за нимъ сохранены? Вѣдь даже полнаго жалованія, получаемого въ Ковнѣ, гдѣ жизнь, вѣроятно, была дешевле виленской, не хватало Мицкевичу. Повидимому, его выручили на этотъ разъ литературный заработокъ. Одинъ изъ виленскихъ издателей, желая распространить плохо расходившееся двухтомное изданіе Трембецкаго, рѣшилъ пустить его подъ названіемъ 3-го „увеличеннаго“ изданія. Для этого ему нужно было, во-первыхъ, найти нѣкоторыя новыя, еще неизвѣстныя сочиненія Трембецкаго, а, во-вторыхъ, снабдить комментаріями главное сочиненіе Трембецкаго „описательную поэму Zofijówka“. Составить комментаріи долженъ былъ Мицкевичъ, давній почитатель этого поэта. Трембецкій—панегиристъ Екатерины II. „Екатерина, бессмертная своими подвигами, прекратила грабежи Запорожья и

Крыма. Лишь съ этого времени каждый былъ спокоешь въ своемъ владѣніи и наслаждался защитой вооруженнаго права, свободный отъ нападеній. Она изгнала варварство“ и т. д. Онъ не щадитъ льстивыхъ похвалъ Александру I, въ неумѣренныхъ выраженіяхъ восхваляетъ жену Потоцкаго, *тарговицкаго конфедерата*, Софію и т. д. Трудно всё эти похвалы сочетать съ тогдашнимъ политическимъ міровоззрѣніемъ Мицкевича, который вмѣстѣ со всей Польшей разувѣрился въ Александрѣ, и для котораго имя Екатерины II связывалось съ самыми мрачными воспоминаніями. Стиль Трембецкаго въ этой поэмѣ, какъ и въ другихъ его произведеніяхъ, преисполненъ напыщенности и условностей. „Жилище нашей подруги Флоры“ означаетъ у него оранжерею; выраженія въ родѣ *pokój niespokojny*“ (немирный миръ), *kłosa Cegery* или обороты: „*Kamanych skał rządniejsze poczyniwszy składy, Mieszkać na nich zamorskie wezwano Dryjady*“ (устройвъ болѣе правильные склады ломаныхъ скалъ, пригласили заморскихъ дриадъ поселиться на нихъ) и т. п.; вотъ языкъ Трембецкаго, опять-таки совершенно чуждый уже въ ту пору Мицкевичу. А между тѣмъ онъ долженъ былъ хвалить старомоднаго піиту и, несомнѣнно, хвалилъ искренно и даже сумѣлъ обнаружить лишній разъ свое несочувствіе къ современнымъ эпигонамъ ложноклассицизма. „Стиль Трембецкаго, по его мнѣнію, вытекаетъ изъ природы роднаго языка, т.-е. гибокъ, способенъ передать какъ полетъ, такъ и простоту мысли, и различныя сочетанія и отгѣнки, но всегда соотвѣтствующимъ способомъ, нисколько не теряя признаковъ *народности и оригинальнаго таланта*; въ то время, какъ теперь поэтическое искусство грозитъ перейти въ риомоцлетство и заботится преимущественно о гладкости, гармоніи, лоскѣ, подборѣ рѣдкихъ риемъ и иныхъ вѣтшнихъ прикрасахъ, рѣчь Трембецкаго серьезна, ищетъ красоты въ подборѣ и силѣ мыслей; она богата, разнообразна и должна бы была пристыдить и опечалить насъ, которые такъ передѣлываемъ свой языкъ въ какой-то черкесскій“. Что это за странный намекъ? И самое восхваленіе такъ далеко отъ истины. Какія такія мысли у Трембецкаго нашель Мицкевичъ? Мы знаемъ, что почтеніе къ этому поэту Мицкевичъ сохранилъ до позднихъ дней, но именно въ эту пору „дышанія риемами“ Байрона онъ былъ такъ далекъ отъ Трембецкаго. Однако, мы не имѣемъ права подозрѣвать здѣсь компромиссъ со стороны молодого критика,

нуждавшася въ заработкѣ и взявшася, конечно, хвалить ново издаваемого поэта, потому что нельзя же было (въ интересахъ издателя) дать сухой комментарий къ его поэмѣ.

Душу Мицкевича влекло, однако, не къ ходульнымъ версификаціямъ одописцевъ, но къ Байрону и Гёте. Повидимому, онъ подумывалъ о новомъ переводѣ „Вертера“, зачитывался въ нѣмецкомъ оригиналѣ „Вильгельмомъ Мейстеромъ“, французскій переводъ котораго послалъ Марылѣ; и къ этому времени должно относиться его разсужденіе „о Гёте и Байронѣ“. Съ этимъ мнѣніемъ проф. Калленбаха, къ которому изъ новѣйшихъ польскихъ критиковъ примкнулъ и Т. Грабовскій, насъ заставляеть согласиться увлеченіе Мицкевича именно въ эту пору одновременно Байрономъ и Гёте, а прежде всего, какъ справедливо отмѣтилъ г. Грабовскій, отношеніе обоихъ поэтовъ къ любви. По мнѣнію Мицкевича, Гёте искалъ въ своихъ страстяхъ только источникъ вдохновенія: изливъ свои чувства въ своихъ произведеніяхъ, онъ какъ будто выздоравливалъ отъ болѣзни. Такъ было съ „Вертеромъ“, который имѣлъ для автора огромное моральное значеніе. Другое дѣло Байронъ: онъ привлекалъ Мицкевича и своими политическими стремленіями (Grabowski 66), и своею любовью. „Байронъ сохранилъ чувство до самой смерти: по крайней мѣрѣ, онъ хранилъ живое воспоминаніе объ особѣ, которую любилъ въ молодости; и всякій разъ, когда онъ рисовалъ любовь, ея образъ вставалъ передъ его глазами, и онъ не могъ удержать изліяній собственныхъ чувствъ. Его первая возлюбленная опредѣлила характеръ всѣхъ его героинь“: такъ полагалъ Мицкевичъ. Самое разсужденіе не представляется законченнымъ произведеніемъ. Это, скорѣе, рядъ наброшенныхъ мыслей, впечатлѣній, которыя, дѣйствительно, болѣе всего отвѣчали той эпохѣ въ поэтическомъ развитіи Мицкевича, когда онъ, порвавъ съ условностями французской поэзіи, приостановился въ изумленіи передъ байроническимъ культомъ личности. „Что занимало въ послѣднее время политическое вниманіе Европы? Всеобщая и долгая война, крушеніе въ великомъ народѣ старыхъ законовъ и убѣжденій, единый человѣкъ, вознесенный собственной силой и подчинившій своему игу многіе народы: этотъ образъ не одному изъ философовъ внушалъ печальныя мысли о человѣческомъ родѣ и о могуществѣ, какимъ пользуется среди него одинъ смѣлый и гениальный человѣкъ. Вотъ, собственно, главная идея эпическихъ поэмъ Байрона“. Я уже упомянулъ объ отрицатель-

номъ отношеніи Мицкевича въ этихъ замѣткахъ къ французской поэзіи: Вольтеръ, Буало, „нахально высказывающій свои приговоры всему“, уже перестали быть для него авторитетами, и самая страстность, съ какой онъ высказывается о нихъ, указываетъ на недавнее обращеніе автора въ новую вѣру. Теперь его правиломъ является уже „историческая критика“. Эта были уже новые романтическіе взгляды.

Мицкевичъ задумалъ составить изъ своихъ балладъ цѣлый сборникъ и издать его отдѣльно. Печатавъ въ мартовской книжкѣ одного изъ виленскихъ журналовъ свою „Свитезянку“, онъ предупредилъ читателей, что въ скоромъ времени выйдетъ сборникъ его стихотвореній. Но дѣло нѣсколько затянулось изъ-за трудности найти издателя. Дѣло въ томъ, что вещей накопилось довольно много: кромѣ балладъ и лирическихъ стихотвореній, уже были написаны „Дѣды“ (новые „Дѣды“ упоминаются въ письмахъ Малевскому) и „Гражина“. Мицкевичъ понесъ „старательно переписанную тетрадку съ поэзіей“ проф. Л. Боровскому, но тотъ не похвалилъ ничего, кромѣ „Гражины“ и посоветовалъ печатать стихи понемножку въ „Виленскомъ Дневникѣ“ съ тѣмъ, чтобы изъ отдѣльныхъ оттисковъ постепенно составить книжку. Поэта не удовлетворило такое рѣшеніе вопроса; онъ обратился непосредственно къ издателю, но и тутъ его постигла неудача. По словамъ издателя Завадзкаго, „стихотворенія пишутся въ Варшавѣ, а не въ Вильнѣ“, а полки, заставленные пыльными виленскими пѣтами, краснорѣчиво подтверждали его слова. Друзья уговорили Мицкевича объявить подписку, которую и сталъ собирать Чечотъ; въ концѣ мая 1822 года и вышелъ въ количествѣ 500 экземпляровъ первый томикъ „Poezye“, заключавшій въ себѣ первое обстоятельное разсужденіе о польскомъ романтизмѣ въ качествѣ предисловія къ изданію и рядъ балладъ и лирическихъ произведеній. Еще наборщикъ, приносившій Мицкевичу корректуру, своимъ волненіемъ открылъ ему (подобно Гоголю) ожидавшій его успѣхъ.

Между тѣмъ въ личной жизни поэта далеко не все было благополучно. Наиболѣе утѣшительнымъ событіемъ было сближеніе съ Лелевелемъ, который, и какъ ученый, и какъ живой человекъ съ опредѣленными политическими демократическими стремленіями высоко поднимался надъ уровнемъ чопорной и важной виленской профессуры и быстро привлекъ къ себѣ сердца молодости. Было рѣшено привѣтствовать его, и Мицкевичъ сочинилъ для этого

случая стихи, которые и вручил Лелевелю. Среди студентов они пользовались, по свидетельству современников, огромной популярностью. Лелевель, влияние которого отразилось на содержании оды, приблизил к себе молодого поэта, и друзья Мицкевича рассчитывали, что теперь ему легче будет получить заграничную командировку, о которой он так мечтал. Сами по себе, однако, стихи, несмотря на некоторые удачные места, очень скучны, однообразны. Это настоящая ложноклассическая ода, начинающаяся съ „0'“. („0, давно молитвамъ нашимъ бывшій цѣлю, снова къ намъ коронный—т.-е. изъ Короны, Царства Польскаго—приходишь Лелевель“) и кончающаяся изумленіемъ поэта, что онъ такъ далеко ушелъ въ своемъ пареніи отъ темы. Писалась эта ода въ ту самую пору, когда и комментарія къ Трембецкому, и стиль этого послѣдняго отразился и на одѣ. Удивительно долго Мицкевичъ оставался въ плѣну ложноклассическихъ вкусовъ, уже тогда, когда, казалось бы, романтическое направленіе цѣликомъ охватило его, когда онъ увлекался Байрономъ и Шиллеромъ. Но вѣдь въ ту же пору писалась и „Гражина“.

Сближеніе съ Лелевелемъ, по мнѣнію друзей Мицкевича, могло обезпечить ему осуществленіе его давнишней мечты,—поѣздки на казенный счетъ за границу. Казалось, что этой надеждѣ благоприятствовалъ и другой фактъ: прибытіе въ мартѣ 1822 г. въ Вильну попечителя округа, князя Адама Чарторыйскаго, который былъ встревоженъ извѣстіями о возникновеніи студенческихъ обществъ въ Вильнѣ. Приѣхавъ сюда, онъ назначилъ особую слѣдственную комиссію, которая привлекла къ допросу и Мицкевича. Однако участіе его въ какомъ-нибудь тайномъ обществѣ нельзя было доказать, и поэтъ по секретному предписанію князя (въ маѣ 1822 г) былъ оставленъ подъ особымъ надзоромъ. Тонъ этого предписанія далеко недружелюбенъ по отношенію къ Мицкевичу, и потому кажутся просто юношеской, чистосердечной довѣрчивостью тѣ надежды, которыя были возбуждены въ Мицкевичѣ и его друзьяхъ любезностью князя и его чиновниковъ. Въ началѣ мая, т.-е. за нѣсколько недѣль до предписанія объ „особомъ надзорѣ“, Ежовскій писалъ Малевскому, что „Адамъ представилъ работы, которыя очень поправились“, что князь предложилъ Мицкевичу и ему, Ежовскому, заграничную командировку и т. под. Всѣ эти надежды кончились ничѣмъ: въ университетѣ у поэта было мало друзей; даже степени магистра ему не удалось полу-

чить. Само собой разумеется, что учитель, который вмѣсто того, чтобы спокойно сидѣть въ Ковнѣ, все время напоминалъ о себѣ то стихотвореніемъ въ какомъ-то новомъ „крамольномъ“ духѣ, то представленіемъ самому попечителю своихъ педагогическихъ плановъ, то участіемъ въ студенческомъ сообществѣ довольно подозрительнаго свойства, что такой учитель не могъ рассчитывать на благорасположеніе округа. Вѣдь когда же и гдѣ же начальство любить тѣхъ, кто о себѣ слишкомъ часто „напоминаетъ“? Знатный миллионеръ Чарторыйскій, близкій къ самому императору и едва ли не помышлявшій иногда о королевской коронѣ, не могъ относиться съ сочувствіемъ къ кружку молодежи, который своей неосторожностью могъ ускорить событія. Позже отношенія, вѣроятно, измѣнились, и въ процессѣ филаретовъ могли быть открыты нити, доводящія до самого князя—попечителя. Въ 1822 году отъ этого было еще очень далеко, и Мицкевичъ могъ казаться Чарторыйскому только *опаснымъ человекомъ*. „Zadawniony grzief“ (давнишня неприянь) ректора Малевскаго къ нему должна была передаваться и выше, какъ это бываетъ всегда и вездѣ. Въ маѣ Мицкевичъ сообщилъ, что все кончилось, какъ онъ и предвидѣлъ, по обыкновенію ничего не вышло, но что такіе удары теперь его вовсе не задѣваютъ и т. п. Это ужъ была неправда: поэтъ, несомнѣнно, надѣялся и разочарованіе переносилъ тяжело. Самый равнодушно-презрительный тонъ письма доказываетъ это.

Отношенія съ Маріей Пюткаммеръ складывались болѣзненно и странно. Если бы на письмахъ ея сохранились даты, мы могли бы судить о нихъ съ болѣею достовѣрностью; къ сожалѣнію, на женскихъ письмахъ рѣдко бываютъ даты, а робкія, залитыя слезами записочки Марыли, писанныя Зану, но предназначенныя Мицкевичу, конечно, не нуждались въ календарѣ. Сынъ поэта, Владиславъ, попробовалъ расклассифицировать ихъ и создать романъ Элоизы, тоскующей по своему Абеяру. Хронологія, установленная Влад. Мицкевичемъ, не представляется мнѣ правдоподобной: чтобы Марыля могла писать отчаянныя письма своему возлюбленному съ самой дороги въ имѣніе мужа послѣ свадьбы, это едва ли и вообще возможно, это было совсѣмъ невозможно въ тогдашнихъ условіяхъ жизни. Отъ перваго письма до послѣдняго всѣ они проникнуты однимъ и тѣмъ же настроеніемъ, такъ что съ этой точки зрѣнія хронологію писемъ нельзя опредѣлить.

Настроение ихъ—нѣжная тревога за Мицкевича, просьбы, обращенныя къ нему, не тосковать, забыть ее, помнить о своемъ талантѣ, горькія жалобы на собственную участь. Недавно найденное письмо (отъ окт. 1822 г.) совершенно соотвѣтствуетъ этому общему тону писемъ Марыли; письма, упоминающія опредѣленные событія и допускающія точную датировку (напр. письмо 2 февр. 1822 г.), ничѣмъ не разнятся по тону отъ другихъ. Между тѣмъ трудно думать, чтобы переписка между Мицкевичемъ и Марылей, хотя бы черезъ посредство Зана, началась сейчасъ же послѣ свадьбы. Мнѣ казалось бы наиболѣе правильнымъ отнести всѣ извѣстныя намъ письма Маріи Путкаммеръ къ Мицкевичу (т.-е. къ Зану, который будто бы переписывался съ ней) къ зимѣ 1821—1822 г., т.-е. ко времени пребыванія Мицкевича вмѣстѣ съ Заномъ въ Вильнѣ. Едва ли эта зима не была апогеемъ романической любви влюбленной парочки, едва ли именно не въ эту зиму писалась IV часть „Дѣдовъ“, законченная къ веснѣ 1822 года. Нѣкоторыя изъ обращеній Марыли были попросту переложены въ стихи, въ монологѣ Густава, и едва ли это не было сдѣлано подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ писемъ „невѣрной“.

Переписка не прекратилась и осенью 1822 г., и письма Марыли полны тѣхъ же чувствъ, пока весной 1823 года, кажется, не наступило ей оближеніе съ мужемъ. Такимъ образомъ, не считая возможнымъ установить точныя хронологическія даты писемъ Маріи, я все-таки постараюсь связать ихъ съ событіями. На пасху въ 1822 года мужъ везетъ Марію въ Вильну, гдѣ она видится съ Мицкевичемъ. Вѣроятно это свиданіе было необходимо для нея, и Путкаммеръ со своимъ поразительнымъ великодушіемъ къ женѣ самъ облегчилъ его. Было ли это первое свиданіе? Въ письмѣ (отъ 2 февр. 1822 г.), гдѣ подъ Заномъ, къ которому обращаются такія нѣжная слова, надо подразумѣвать, кажется, Мицкевича, Марыля пишетъ: „Теперь я утѣшаю себя только воспоминаніями о драгоценныхъ минутахъ, проведенныхъ въ Вильнѣ“. Это едва ли не первое изъ сохранившихся писемъ Марыли ¹⁾.

¹⁾ „Завтра мы переѣзжаемъ съ мамой на постоянное жительство въ Плужины къ Михаилу“ (брату Маріи), пишетъ она въ этомъ письмѣ. Слѣдующее письмо, которое Влад. Мицкевичъ считаетъ первымъ (I, 70), говоритъ уже о Плужинахъ и Михаилѣ: „Я получила твое письмо въ Плужинахъ, въ день моего выѣзда въ эти стороны“; ѣхала Марія въ Вильну и писала изъ



Портретъ Маріи Верещакъ.

(Съ миниатюры Невяровича).

На основаніи указанныхъ соображеній я полагаю, что зимой 1822 года Мицкевичъ видѣлся съ Марылей уже во время „карнавала“, т.-е. въ началѣ января, передъ своею болѣзнью, и второй разъ въ апрѣлѣ: что *послѣ* свиданія возобновилась между ними переписка, которая *раньше не велась*, и которая теперь направлялась черезъ Зана, жившаго, можетъ быть, вмѣстѣ съ Мицкевичемъ; что въ связи съ этими свиданіями и перепиской стоять IV часть „Дѣдовъ“, тѣ „новые Дѣды“, о которыхъ поэтъ сообщалъ Малевскому въ январѣ или февралѣ 1822 года. Такимъ образомъ письма Марыли представляютъ важнѣйшій матеріалъ для изученія поэтическаго творчества Мицкевича. Послѣ перваго свиданія съ Маріей душевная боль Мицкевича стала особенно остра; Марія предлагала ему больше совѣмъ не видѣться съ ней; но второе свиданіе въ апрѣлѣ все-таки произошло, и въ маѣ поэтъ писалъ Малевскому: „Я видѣлся *несколько разъ* съ Маріей; я провелъ съ нею двѣ недѣли; ея видъ и разговоры *больше всего успокаиваютъ меня*: что будетъ дальше, не знаю“. Къ моменту острой душевной боли и относится одно изъ любопытнѣйшихъ писемъ Марыли: „Ты страдаешь, мой другъ“...

Болецнахъ, неподалеку отъ Вильны, съ надеждой скоро увидѣть „людей близкихъ ея сердцу“. Это письмо я относилъ бы къ началу апрѣля 1822 г. Письмо 6 марта, которое Влад. Мицкевичъ (I. 73) относитъ къ 1820 г., чрезвычайно подходит по своему настроенію самоотреченія къ письму отъ мая 1823 г. (по хронологіи проф. Калленбаха *Nieznane pisma*. 411); между прочимъ, въ немъ упоминается о „частыхъ“ письмахъ, что было бы невозможно въ 1820 г. и что совершенно подходит къ 1823 г. Письмо (*Niedziela. Brazelce*) имѣеть въ виду совместное пребываніе Мицкевича и Зана въ одномъ городѣ, т.-е. въ Вильнѣ, и слѣдовательно тоже относится къ 1821—1822 гг. Такимъ образомъ порядокъ писемъ я установилъ бы слѣдующій: № 1, 2 февраля 1822 (*Wl. Mickiewicza*. I. 91—93). № 2, 18 марта 1822 г. (*ibid.* I. 74). № 3, 27 марта 1822 г. (*ibid.* I. 74—76). № 4, апрѣля 1822 г. (I. 70). № 5, маѣ или юнѣ 1822 г. (I. 76—77). № 6, 16 октября 1822 г. (*Nieznane pisma*. 410—411). № 7, 6 марта 1823 г. (I. 73) № 8 маѣ 1823 г. (*Nieznane pisma* 411—412). Къ веснѣ 1822 г. я отношу также письма изъ Бражеленъ (имѣнія Путкаммера) (*Żywot*. I. 71—73) и незначительное письмо изъ Болецникъ (другого имѣнія ея мужа) (*Żywot*. I. 71). Нѣсколько иную хронологію, приуроченную къ 1821 г., даетъ Ш. Матусякъ въ статьѣ „*Chronologia listów pani Puttkamerowej do Zana i Mickiewicza*“ (*Pamiętnik Literacki*, t. III). По вышеприведеннымъ основаніямъ я не соглашаюсь съ этой хронологіей, но вдаваться въ детальную критику статьи г. Матусяка здѣсь не считаю возможнымъ.

Обратимся къ письмамъ. 2 февраля 1822 г., сообщая Т. Зану (т.-е. самому Мицкевичу) о смерти ихъ общей знакомой, Маріи предается безнадежному отчаянію. „Въ одной религіи я не нахожу успокоенія. Никогда мнѣ не было такъ необходимо присутствіе дорогого пана Томаша, какъ въ этотъ моментъ. Ты всегда господствовалъ надъ моимъ умомъ. Не откажи же и теперь поддержать меня своими совѣтами, можетъ быть, болѣе или менѣе ты успокоишь меня. Я имѣла много доказательствъ дружбы дорогого пана Томаша и, ободренная его обычной добротой, я рѣшилась написать пану Томашу, чтобы припомнить ему о себѣ. Съ самаго пріѣзда моего въ Новогрудскій уѣздъ я не получила ни одного письма отъ пана Томаша, а отсюда я заключаю, что онъ забылъ обо мнѣ. Хорошо извѣстно пану Томашу, сколько радости онъ можетъ мнѣ доставить, а потому, если онъ сохранилъ отзывчивость къ страданіямъ друзей, пожертвуй хоть короткимъ моментомъ и напиши мнѣ съ теперешней оказіей“. Послѣ этихъ нѣжныхъ и горькихъ жалобъ прекрасной, наивной женской души, такъ смиренно сознающей свою вину, такъ трогательно просящей не забывать ее, Марыля говоритъ все тому же дорогому пану Томашу: „Очень мнѣ хотѣлось видѣться съ добрымъ паномъ Томашемъ, но я не рассчитываю быть въ Вильнѣ раньше Св. Юрія (какъ долго еще ждать). Теперь я только утѣшаю себя воспоминаніемъ о дорогихъ мнутахъ, проведенныхъ въ Вильнѣ. Я усталъ и не надѣюсь больше испытать подобное наслажденіе. Мучатъ меня какія-то мрачныя предчувствія, постоянно нападаетъ на меня черная меланхолія. Панъ Томашъ, милый, ты пожалѣлъ бы меня, если бы могъ войти въ мои страданія“.

О Мицкевичѣ въ письмѣ случайное и сдержанное упоминаніе, потому что „мама“, отъ которой передается порученіе Зану, была тутъ же. „Отсылаю книгу, которую оставилъ панъ Мицкевичъ, будучи въ Тухановичахъ; прошу отдать ему. Я слышала, что онъ послѣ праздниковъ болѣлъ, навѣрное не поберегетъ; нужно смотреть за его здоровьемъ, потому что онъ очень мало обращаетъ вниманія на себя“. Мы знаемъ изъ писемъ самого Мицкевича и Ежовскаго, что, дѣйствительно, въ январѣ 1822 года поэтъ сильно простудился и былъ долго боленъ. Не въ этой ли прищипкѣ и заключается вся суть письма, и не расхворался ли Мицкевичъ послѣ своего перваго свиданія съ Марылей? Характеренъ и постъскриптъмъ: „Очень прошу извиненія у пана Томаша, что надобъ-

даю ему своей пачкотней, но трудно требовать порядка въ письмѣ, когда его давно уже нѣтъ и въ головѣ“. Томился, растревоженный свиданіемъ, и Мицковичъ. Въ мартѣ Марія ухитряется написать письмо лично ему, не прибѣгая къ посредничеству Зана и не сдерживая своихъ чувствъ. Эта французская записочка, гдѣ Марія переходитъ съ *вы* на *ты* и опять на *вы*, представляетъ прямо отрывокъ изъ „Дѣдовъ“, кусочекъ бреда Густава. „Вы страдаете, мой другъ! Вы несчастливы, вы не обращаете на себя вниманія! Скажите мнѣ, что вызываетъ ваши страданія, какое средство вамъ необходимо? Забудьте меня, мой другъ, если это нужно для вашего счастья и вашего здоровья. Если бы для вашего счастья нужна была только моя любовь, вы были бы даже слишкомъ счастливы. Но нѣтъ! Вмѣсто того, чтобы хоть что-нибудь сдѣлать для вашего счастья, это — я, одна и причиняю вамъ столько страданій. Вы не можете себя представить, какъ удручаетъ меня эта мысль. Будемъ разсудительны, мой другъ, не пренебрегайте вашими талантами. Забудьте эту любовь, которая составляетъ ваше несчастье. Если для вашего спокойствія нужно, чтобы ты меня больше не видѣлъ (*que tu ne me voies pas*), я согласна на это. Я предоставляю вамъ полную свободу дѣйствовать, какъ вамъ будетъ угодно: только бы вы были счастливы, довольны и спокойны. Единственная вещь, на которой я настаиваю, это сохраненіе вашего здоровья. Думайте о томъ, что оно мнѣ очень дорого. Будьте великимъ, мой другъ. Панъ Томашъ ѣдетъ. Я должна кончить мою пачкотню. Ради Бога, сожгите это письмо и никому его не показывайте. Еще разъ умоляю васъ беречь свое здоровье. Оно такъ дорого моему сердцу. Вы увидите въ этомъ письмѣ большой беспорядокъ, потому что я пишу его въ нѣсколько пріемовъ“. Записка Марыли вызвала со стороны поэта отвѣтъ, который не удовлетворилъ ее. Уже 27 марта, чѣмъ опредѣляется дата и предыдущаго письма (мартъ, 1822 г.), Марія пишетъ новое письмо, на этотъ разъ адресованное Зану, который былъ теперь въ Вильнѣ. Оно тѣмъ болѣе важно, что напоминаетъ намъ о сценѣ прощанія, вошедшей въ „Дѣды“, о той аллеѣ, въ которой исчезла возлюбленная Густава. Поэтому я приведу цѣликомъ и это письмо Марыли. „Сейчасъ я получила письмо дорогого пана Томаша, посланное по почтѣ, а такъ какъ я уже была предупреждена относительно него, я ждала его съ безконечнымъ нетерпѣніемъ. Панъ Томашъ легко можетъ понять,

сколько радости доставляют мнѣ его строки (jego rozdzialki), но въ *письмахъ* его я нашла слезы и перецъ, который до сихъ поръ никогда не считался десертомъ, хотя бы имъ были приправлены все кушанья; *pour la bonne bouche*, обыкновенно, оставляютъ только сладости. Отвѣтъ на нѣкоторые вопросы я оставляю до личнаго свиданія, такъ какъ письмо дорогого пана Томаша я получила передъ самымъ отъѣздомъ посланнаго, и *мнѣ мало даютъ* времени на писаніе. Такъ какъ панъ задумалъ перевести заново „Вертера“, то пусть онъ исправитъ въ этомъ сочиненіи недостатки Гете, который испортилъ дурнымъ окончаніемъ прекраснѣйшій романъ. Придай больше сантиментальности „Вертеру“, чтобы онъ видѣлъ все свое счастье въ чувствахъ сердца и былъ самымъ счастливымъ изъ людей, хотя бы и не казался такимъ въ глазахъ свѣта“. Здѣсь я останавлиюсь. Какъ можно переводить, измѣняя характеръ героя? Несомнѣнно, Марыля имѣла въ виду вовсе не переводъ „Вертера“, о которомъ не думалъ и Мицкевичъ, а четвертую часть „Дѣдовъ“, герой которой—Густавъ такъ походилъ на Вертера. Но пусть онъ не кончаетъ своей жизни самоубійствомъ; пусть онъ, какъ писала Марыля 18-го числа (марта 1822 г.), въ вышеприведенномъ письмѣ, будетъ счастливъ любовью недоступной любовницы. *S'il ne fallait que mon amour pour votre bonheur vous seriez trop heureux*. Вотъ ясныя указанія на время писанія „Дѣдовъ“ и на замыселъ ихъ автора.

— Я согласна съ паномъ (продолжаетъ Марыля), что нѣкоторые несчастія бывають счастьемъ, но не для всехъ, потому что не каждый думаетъ такъ, какъ мы. Беру назадъ то, что сказала въ последнемъ письмѣ (*намекъ, намъ непонятный, потому что это письмо къ Зану, а не прямо къ Мицкевичу, до насъ не дошло*), что панъ Томашъ не знаетъ меня. Никто больше, чѣмъ панъ Томашъ. Посылаю вальсъ пану Томашу, въ которомъ отражаются все движенія моей души: я сочинила его въ этомъ мѣсяцѣ и посвящаю пану Томашу. Еще я сочинила нѣсколько вариаций на любимую мамину тему и отдаю ихъ на критику пана Томаша, какъ любителя музыки. Въ Тухановичахъ все здоровы и любятъ пана Томаша. Михайлъ (братъ Марыли) собирается въ Вильну на весну, но не знаю, исполнитъ ли онъ свой планъ. *Въ первый разъ* я была позавчера въ Тухановичахъ послѣ тяжелой потери, кото-

рую я понесла ¹⁾). Я пробѣжала аллеи и все милыя мѣста, съ которыми связаны дороги моихъ воспоминаній. Я живу все время съ мамой въ Плужинахъ, но на Пасху насъ зовутъ въ Тухановичи. Беру съ собой верховую лошадь, чтобы объѣздить окрестности и Тухановическія горы ²⁾). Вотъ ужъ и набросаны двѣ странички, какъ панъ велѣлъ. Остальное оставляю до личнаго свиданія. Съ какимъ нетерпѣніемъ я жду этой дорогой минуты. Ахъ, если бы я могла скорѣе дождаться ея; я была бы болѣе, чѣмъ счастлива. Другъ, въ полномъ значеніи этого слова, *Magie*". Передъ отъѣздомъ въ Вильну въ апрѣлѣ Марыля опять посылаетъ Зану письмо, исполненное тоски и безнадежности. „Я остановилась въ Болценикахъ, недалеко отъ Вильны. Мы дышимъ однимъ воздухомъ съ вами, и если моя земная оболочка прикована здѣсь, то моя истосковавшаяся душа рвется къ вамъ. Нравственныя и физическія страданія преслѣдуютъ меня, но нѣкоторое облегченіе моихъ приноситъ надежда скорѣе увидѣть людей, дорогихъ моему сердцу“ и т. д.

Въ апрѣлѣ произошло свиданіе. Оно внесло успокоеніе въ отношенія между Маріей и Мицкевичемъ, но не на долго. Передъ отъѣздомъ въ Тухановичи опять отчаянное письмо Зану. „Душа моя нуждается въ новой поддержкѣ, потому что я уже склоняюсь подъ тяжестью угрызеній совѣсти и тоски (*pod ciężarem zgryzot i tęsknoty*). Поддержи же меня своими совѣтами, мой добрый

1) Подъ этой потерей нельзя подразумѣвать ничего иного, кромѣ смерти Текли Стыпулковской, которая такъ поразила Марылю, о которой она пишетъ въ письмѣ 2 февр. 1822 г. Въ этомъ письмѣ она говоритъ: „jutro przyjeżdżamy z matką nasiągle mieszkanie do Płusyn“, а въ разбираемомъ здѣсь письмѣ отъ 27 марта: „ciągle mieszkam przytanie w Płusynach“. Это совпаденіе опредѣляетъ годъ письма: 27 марта 1822 года; но вѣдь уже лѣтомъ 1821 года Марыля была въ Тухановичахъ, гдѣ въ воротахъ встрѣтилась съ Мицкевичемъ. Такимъ образомъ это „въ первый разъ“ и упоминаніе о „потери“ могутъ относиться не къ свадьбѣ, а къ дѣйствительной потерѣ „добродѣтельной“ Текли Стыпулковской, о которой, къ сожалѣнію, я не могу сообщить дальнѣйшихъ подробностей. Онѣ объяснили бы горе Марыли.

2) Это опять хронологическое указаніе на время письма. 27 марта Марыля собирается на Пасху взять въ Тухановичи верховую лошадь; письмо, написанное Марылей ея родственнику Узловскому, векорѣ послѣ выхода „Поэзій“ Мицкевича, значитъ, въ началѣ іюня 1822 г., говоритъ очень много и объ этой лошади, и о страсти Марыли къ верховой ѣздѣ: она называетъ себя амазонкой, мечтаетъ о новыяхъ поѣздкахъ и т. д. (письмо у Wład. Mickiewicza. Żywot. I. 102—103).

панъ Томашъ, и утѣшь меня, если сумѣешь: иначе я боюсь злыхъ послѣдствій, потому что у меня нѣтъ больше силъ терпѣть. Я очень рассчитываю на обычную доброту пана Томаша и надѣюсь, что онъ не откажетъ мнѣ и напишетъ съ какой-нибудь оказіей, но письма свои адресуй въ Тухаловичи, потому что отсюда (изъ Бражелецъ, около Болценикъ) я уѣзжаю самое позднее черезъ три дня. Я задержала свой отъѣздъ изъ-за дурной дороги. Категорическія строки его (т.-е. Зана) доставили мнѣ большое удовольствіе: я перечитала ихъ нѣсколько разъ, восхищаясь талантомъ добраго пана Томаша. Очень меня радуетъ снисхожденіе (*powolność*) нашего новаго философа (да и кто же не послушался бы совѣтовъ добраго пана Томаша, который умѣетъ войти въ состояніе души человѣка и, несмотря на свою суровость, часто бываетъ такимъ терпимымъ). Если бы данныя правила не были достаточны для успокоенія его ума, дай *ему* новыя средства, мой почтенный панъ Томашъ, но никогда не позволяй поколебаться философіи, которая только что взяла верхъ. Но прежде всего проси отъ меня, чтобы онъ берегъ свое здоровье. Пусть Провидѣніе хранить его "... Въ концѣ приписка по-французски: „Я намѣрена остаться здѣсь до возвращенія нарочнаго. Надѣюсь, панъ Томашъ, что ты не откажешь почтить меня съ этой оказіей нѣсколькими собственноручными стихами“. Теперь вся надежда была на новое свиданіе въ Болценикахъ, на Троицу, о которомъ Мицкевичъ и сообщалъ Малевскому. Это свиданіе привело Марылю въ еще болѣе нервное состояніе. Въ бездѣйствіи богатой жизни, окруженная нѣжными заботами, но и дѣятельнымъ надзоромъ матери и семьи, уживаясь сантиментальными книжками, проводя часы за роялемъ въ сочиненіи собственныхъ „вальсовъ“ и варіацій, Марія Путкаммеръ могла лелѣять свое чувство, томя и муча Мицкевича.

Трудно представить себѣ болѣе романтическую подругу: замужемъ за однимъ, но любящая другого, съ мужемъ-рыцаремъ, который терпѣливо ждетъ, когда жена придетъ къ нему, и первый восхищается поэзіей и умомъ соперника. Это, дѣйствительно, рѣдкое въ жизни соединеніе людей, бросающее яркій свѣтъ на высокій культурный и нравственный уровень среды, въ которой выросла и вращалась Марыля. Какъ щадили ея настроенія и самъ Путкаммеръ, и Занъ, и друзья ихъ! На Троицу поэтъ ѣздилъ въ Болценики.

Вышелъ сборникъ стиховъ Мицкевича. Марыля торопится по-

лучить ихъ. Она жалуется въ письмѣ къ общему пріятелю и своему родственнику Узловскому, что „Богъ наслалъ на нее какой-то летаргическій сонъ (съ самаго отъѣзда ихъ, т.-е. Мицкевича и Узловскаго, въ Вильну)“. Если въ этомъ состояніи и было нѣчто придуманное; если Марыля немножко любовалась на свои душевныя страданія и распускала себя, какъ это видно изъ самаго тона ея письма, то она дѣлала это совершенно искренно и очень тосковала. „Если кто-нибудь меня будиль, я впадала въ страшную ярость (еще больше, чѣмъ на той прогулкѣ, когда моей Гурсы мѣшали перескакивать). Этотъ сонъ сокращалъ мнѣ время и доставлялъ много удовольствія, потому что онъ мнѣ приносилъ пріятныя и сладкія грезы, которыхъ я не описала бы и на листѣ“. Теперь болѣе активной стороною въ любви становилась уже Марыля: она велѣла Узловскому попрекнуть Адама, что онъ не посылаетъ ей балладъ, и прибавляла: „Я не обижаюсь на его забвеніе. Я всегда ожидала, что какъ только онъ вернется въ стѣны Вильны, онъ забудетъ о жителяхъ Болценикъ“. Полетѣло французское письмоце и къ самому Мицкевичу съ горячими признаніями, съ мольбой пріѣхать 18 іюля, съ молитвами за него. Марыля была въ какомъ-то экстазѣ. „Отсылку журнала я принимаю за предлогъ, чтобы написать вамъ нѣсколько словъ. Это слишкомъ смѣлый шагъ съ моей стороны, можетъ быть, достойный порицанія, но въ положеніи, въ которомъ я нахожусь, я могу примѣнить къ себѣ одно мѣсто въ вашемъ стихотвореніи: *Chcaćmnie sądzić nie ze mną trzeba być, lecz we mnie*“.

Все это не могло дѣйствовать успокоительно на Мицкевича. Марыля постоянно бередила его душевную рану, и то же продолжалось въ слѣдующемъ году, въ Ковнѣ. Но, благодаря этому, „дѣды“ проникнуты такой безмѣрной скорбью.

Въ концѣ мая или началѣ іюня 1822 года наконецъ вышелъ первый томикъ „*Poezye Adama Mickiewicza*“. Онъ былъ посвященъ Я. Чечоту, Т. Зану, І. Ежовскому и Ф. Малевскому— „друзьямъ моимъ въ память счастливыхъ минутъ молодости, которыя я пережилъ съ ними“.

ГЛАВА VIII.

Анализъ перваго тома стихотвореній А. Мицкевича (1822 г.).

„Баллады и романсы“, какъ назывался первый томъ, раздѣляются по своему содержанію на нѣсколько группъ. Во-первыхъ, это баллады, которыя представляютъ народныя мистическія вѣрованія, наиболѣе яркія выразительницы „романтическихъ“ взглядовъ автора: ко второй группѣ я отнесъ бы баллады и „романсы“, въ которыхъ доминируетъ Марыля, къ третьей—лирическія стихотворенія, гдѣ личность поэта, освобожденная отъ нуть литературной условности ложноклассицизма или сентиментализма, стремится раскрыть всю глубину и силу своихъ переживаній. Прежде чѣмъ дать общее заключеніе о значеніи этого небольшого сборника стиховъ, произведнаго переворотъ въ польской литературѣ, я остановлюсь на каждомъ изъ его стихотвореній. Шиллеръ, Нѣмцевичъ и Каринскій оказали большое вліяніе на образованіе литературныхъ вкусовъ Мицкевича; безъ двухъ послѣднихъ, по словамъ его самого, не было бы и перваго тома балладъ и романсовъ: Шиллеръ внушилъ и общее настроеніе, и отдѣльные образы; въ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ видно также вліяніе Феллинскаго. Благодаря изслѣдованіямъ Мазановскаго, Брухнальскаго, В. Хлебовскаго, Здзирскаго, Вигелейзена, Третьяка и др., анализъ балладъ можетъ быть сдѣланъ довольно полно.

Прежде всего обратимся къ хронологіи произведеній, вошедшихъ въ первый томикъ. Въ недавно напечатанныхъ письмахъ Мицкевича мы находимъ слѣдующія указанія: въ апрѣлѣ 1820 г. существовали „Tu kaj“ и „Lilia“ (впослѣдствіи названная „Lilie“—„Лилия“), въ маѣ „Rozstanie“ (баллада, которой Мицкевичъ, по видимому, не включилъ въ первый томъ); вѣроятно уже въ декабрѣ 1819 года были написаны *To lubię*, въ которомъ еще чувствуется „рефлексія питомца XVIII вѣка“ (слова П. Хмѣлевскаго), и „*Do rza gza się!*“; въ январѣ 1821 года Мицкевичъ посылаетъ въ двухъ вариантахъ Зану „*Romantyczny osę*“; далѣе, по свидѣтельству Одынца (*Wspomnienia z przeszłości*. 117—118), на собраніи филаретовъ 1 ноября 1820 г. Чечотъ прочелъ товарищамъ, изъ которыхъ большинство не знало еще совсѣмъ произведеній Мицкевича, за исключеніемъ нѣсколькихъ пѣсенъ его, которыя пѣлись

на пикникахъ филаретовъ, три баллады, только что присланныя изъ Ковна. Это были „Kuchanek Maryli“, „Świtez“ и „Świtezianka“, изъ которыхъ послѣдняя была написана однако въ „Плужинахъ надъ Свितязью“, и только лѣтомъ 1821 года. „Гимнъ на Благовѣщеніе“ написанъ въ мартѣ 1821 года, „Zeglarz“ 17 апрѣля 1821 г. По вѣроятному предположенію Б. Хлебовскаго, „Pierwiosnek“ долженъ быть отнесенъ къ первой половинѣ лѣта 1819 года, такъ какъ отражаетъ еще саптиментальное настроеніе первыхъ произведеній поэта. Такимъ образомъ, сборникъ, задуманный весной 1822 года, отражаетъ на себѣ эволюцію литературнаго вкуса и поэтическаго таланта Мицкевича за три года его творчества.

Къ сожалѣнію, не всѣ произведенія, вошедшія въ первый томъ, мы имѣемъ возможность приурочить къ опредѣленнымъ хронологическимъ даннымъ: относительно нѣкоторыхъ приходится ограничиться предположеніями. Во всякомъ случаѣ, въ хронологическаго порядка нельзя разсмотрѣть этотъ сборникъ, который представляетъ, подобно письмамъ поэта, картину поэтическаго и нравственнаго развитія.

Начнемъ съ *Pierwiosnka* (*Primula veris*). Маленькій незамѣтный цвѣтокъ, появляющійся, едва снадетъ снѣгъ, представляетъ глубокой символъ, который привлекалъ многихъ поэтовъ. Въ простомъ и изящномъ стихотвореніи Ленау назвалъ его цвѣткомъ вѣры, который торопливо открываетъ свое сердце первому привѣту неба. „Весна пришла. Пусть опять закроютъ ее морозы и туманы; ты вѣришь, цвѣтокъ, что желанная, божественная весна пришла“... Полная противоположность вдумчивому и грустному Ленау, блестящій французскій поэтъ Т. Готье въ своихъ „*Étaux et Camées*“ превозноситъ скромный и незамѣтный цвѣтокъ, „*la fleur qui fait le printemps*“. Лонгфелло первые цвѣты весны напоминаютъ грезы юности: „*the dreams of youth came back again*“ (*A Spring landscape*). Мицкевичъ не могъ дать этого образа, потому что онъ самъ былъ юнъ; онъ не могъ восхищаться изящной скромностью весенняго цвѣтка въ сравненіи съ другими пышными цвѣтами (каштанами у Готье), потому что и въ его душѣ господствовала простота и скромность. Какой же образъ могъ дать онъ? Образъ молодости, которая снѣшить наслаждаться жизнью, какъ бы она ни была коротка. „Дни наши, какъ дни мотылька“, отвѣчаетъ цвѣтокъ поэту, совѣтующему ему

укрыться „подъ крылышко матери“; „наша жизнь восходъ солнца, смерть—полдень, но милье одно мгновенье въ апрѣлѣ, чѣмъ цѣлые декабри осенью. Если ты ищешь дани богамъ, если хочешь сдѣлать подарокъ другу или возлюбленной, сплети вѣнокъ изъ моихъ цвѣтовъ, это будетъ вѣнокъ изъ вѣнковъ“. Чѣмъ такъ гордитесь цвѣточекъ? „Ни цвѣтъ зари, ни завитки тюльпана, ни убранство (sukienki) лиліи, ни раскрашенная грудь розы“ не плѣняютъ въ немъ взора. Но цвѣтокъ отвѣчаетъ: „Радостно встрѣтать меня твои друзья, ангела молодой весны; дружба не блеститъ ярко и любить тѣнь, какъ моя зелень. Достойна ли я ручекъ возлюбленной? Скажи, о, небесная Марія (niebieska Marylko)! За первый букетикъ молодости я получу первую... ахъ, только слезу!“ Итакъ, у Мицкевича все свелось опять къ прославленію дружбы къ Марылѣ, отъ которой нѣтъ иной награды, кромѣ слезы. Это „первый цвѣтокъ поэтической весны“ самого Мицкевича, какъ хорошо выразился проф. Третьякъ, это его оправданіе передъ читателями, такое далекое отъ заносчивости другихъ романтиковъ. Только друзьямъ, только Марылѣ можетъ быть дорога его скромная поэзія, в стихотвореніе, переполненное уменьшительными именами, „аффектированной паивностью“ (П. Хмѣлевскій) и чувствительностью, дышитъ скорѣе сентиментализмомъ Карпинскаго, чѣмъ влѣянiami романтизма.

Вслѣдъ за этимъ посвященіемъ слѣдовало боевое стихотвореніе романтизма, которое заключало въ себѣ поэтическую программу Мицкевича, его вызовъ ложноклассикамъ, прежде всего Яну Снядецкому, который *два года тому назадъ*, въ январской книжкѣ „Вилленскаго Дневника“ за 1819 года, написалъ разсужденіе „О классическихъ и романтическихъ сочиненіяхъ“. На него и ссылается поэтъ, когда въ январѣ 1821 года онъ посылаетъ друзьямъ два варианта „Романтизма“ (Romantyczność). Два года мысль, возбужденная рѣзкими нападками вилленскаго „мудреца“ на простонародныя (gminne) суевѣрія и на возрождающій ихъ романтизмъ, работала упорно прежде, чѣмъ выяснила свое отношеніе къ этимъ мистическимъ представленіямъ народа. Личныя переживанія указали направленіе, въ какомъ пошла эта работа мысли; жизнь сердца оказалась гораздо значительнѣе, чѣмъ жизнь разума; если хочешь познать высшую истину, загляни въ свое сердце, и ты познаешь такія чудеса, которыя отъ разума скрыты, Эта идея, повидимому, сильно поразила самого Мицкевича, когда онъ пришелъ къ ней: онъ

громоздить одинъ вариантъ за другимъ, чтобы яснѣе и ярче выразиться; онъ помѣщаетъ эпиграфъ ихъ „Гамлета“ (въ англійскомъ подлинникѣ), а въ текстѣ заимствуетъ выраженія изъ Шиллера. И тѣмъ не менѣе приходится сознаться, что стихотвореніе слабо и не доказательно. Миѣ кажется, что оно и по своему составу лишено единства, такъ какъ мы находимъ въ немъ слишкомъ большое внутреннее противорѣчіе: дѣвушка видитъ призракъ *среди бѣлаго дня*, но говоритъ съ нимъ такъ, какъ будто бы вокругъ *ночь*. Хотѣлъ ли Мицкевичъ рѣзко противопоставить реальности жизни полное отдѣленіе грезящей души отъ впечатлѣній внѣшней жизни, или вторая часть взята изъ другого произведенія (можетъ быть изъ неизвѣстной намъ баллады „Разлука“),— это едва ли можетъ быть разрѣшено. Но надъ этимъ противорѣчіемъ поэтъ, какъ показываютъ варианты, не остановился: онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на послѣднихъ строфахъ, заключающихъ въ себѣ основныя положенія романтизма, какъ теоріи о господствѣ вѣры и чувства въ поэзіи и жизни. Подъ влияніемъ „Гамлета“ же Мицкевичъ готовъ былъ видѣть въ безумствѣ высшій разумъ, и его безумная дѣвушка, какъ нѣсколько позже безумный Густавъ „Дѣдовъ“, знаютъ то, что мудрецамъ и не снилось.

Поэтъ изображаетъ толпу народа, ярмарку. Въ тѣлѣ, вперіи взоръ въ пространство, не слыша и не видя окружающаго, стоять дѣвушка. „Послушай, дѣвушка! Она не слушаетъ. Вѣдь это бѣлый день, это мѣстечко! Около тебя нѣтъ ни одной живой души. Что же ты тамъ хватаешь вокругъ себя? Кого ты зовешь, съ кѣмъ ты здороваешься? Она не слушаетъ. То неподвижна, какъ мертвый камень, и глазомъ не поведетъ въ сторону, то во всѣ стороны бросаетъ взгляды, то заливаясь слезами, какъ будто что-то ей не хватаетъ, какъ будто она что-то удерживаетъ, заплачетъ и засмѣется“. Мы слышимъ длинную и монотонную, какъ письма Марыли, какъ жалобы Густава, какъ изліянія самого Мицкевича друзьямъ, жалобу дѣвушки. „Ты ли это *въ ночи*? Это ты, Ясенька! Ахъ, онъ меня любить и послѣ смерти! Сюда, сюда, тихонько! Какъ бы не услышала мачеха. А пусть себѣ слышитъ, нѣтъ уже тебя!.. И самъ ты бѣлъ, какъ платокъ; какой ты холодный, какъ холодны твои руки! Положи ихъ сюда, на грудь! Прижми свои уста къ моимъ. Ахъ, какъ должно быть тамъ холодно въ могилѣ. Ахъ, ты умеръ! Уже два года тому назадъ! Возьми меня,

я умру около тебя, я не люблю свѣта“... Баллада была написана въ январѣ 1821 г., не задолго до свадьбы Марыли (2 февраля).

О какой же смерти говоритъ поэтъ? Позже, въ началѣ 1822 года, когда писались „Дѣды“, мы имѣемъ опять хронологическое указаніе. Густавъ, вернувшись на родину, восклицаетъ: „О, да, я былъ здѣсь, давно, въ молодости, передъ смертью,—этому будетъ уже три года“. Отсюда не трудно сдѣлать выводъ, что смерть наступила въ началѣ 1819 года. Между тѣмъ объясненіе съ Марылей произошло осенью 1820 года, такъ что къ тому событію приурочить „смерть“ возлюбленного Марыли нельзя. Что-нибудь очень важное въ самой интимной жизни Мицкевича произошло въ то время, но что именно, при нашихъ теперешнихъ свѣдѣніяхъ о біографіи поэта сказать, кажется, нельзя. Возвращусь, однако, къ „Романтизму“, къ бреду дѣвушки, которая въ отчаяніи падаетъ безъ чувствъ. На это паденіе, на крикъ страданія сбѣгается толпа людей. — „Говорите молитвы“, кричитъ простой людъ: это, навѣрное, его душа. Яся быть долженъ около своей Каруси (въ первыхъ вариантахъ другое имя — Эльза, Эльжуса), онъ любилъ ее при жизни! И я это слышу, и я такъ вѣрю, плачу и твержу молитвы (говорить отъ своего имени поэтъ). „Слушай, дѣвушка!“ восклицаетъ среди суматохи старецъ и взываетъ къ народу: „Повѣрьте ужъ моему глазу и (моему) стеклышку, я ничего не вижу вокругъ. „Духи—это созданіе кабацкой толпы (karczemnej gawiedzi), расплавленное въ кузницѣ глупости; дѣвица бредитъ попусту, а народная масса (gmin) кощунствуетъ надъ разумомъ“. „Дѣвица чувствуетъ, скромно отвѣчаю я: а толпа вѣритъ глубоко; чувство и вѣра говорятъ мнѣ больше, чѣмъ стеклышко и глазъ мудреца. Ты знаешь мертвыя истины, невѣдомыя народу, ты видишь міръ въ пылинкѣ, въ каждой искоркѣ звѣздъ; но ты не знаешь живыхъ истинъ, ты не увидишь чуда! Имѣй сердце и смотри въ сердце!“ Такую отповѣдь поэтъ далъ разуму, который, вооруженный стекломъ телескопа, видѣлъ міры въ сіяніи далекихъ звѣздъ и съ помощью микроскопа видѣлъ міры въ пылинкѣ. Онъ назвалъ это знаніе мертвымъ, а живыя истины находилъ въ жизни чувства, сердца. Созданіе воображенія, хотя бы больного и разстроеннаго, казалось поэту въ эту эпоху реакціи противъ господства разума не обманомъ, но истиной, познаваемой только сердцемъ. Въ этомъ познаніи онъ видѣлъ существо „романтизма“, а выходку противъ

„стеклышекъ“ онъ позаимствовалъ у Шиллера. „Мистическіе хорорыды сферъ, понятны ли они астроному, который въ свой телескопъ смотритъ на звѣздный сводъ неба?“ спрашиваетъ поэтъ (Menschliches Wissen). Эта жизнь идетъ „въ пространствахъ, которыхъ не вѣдаетъ подзорная труба“. Такъ опредѣлились воззрѣнія Мицкевича надолго: такимъ же мудрецомъ со „стеклышкомъ“ выступаетъ и священникъ въ „Дѣдахъ“, возмущая Густава своимъ реализмомъ. Но простой людъ „gmin“ знаетъ истину, невѣдомую мудрецамъ: его вѣрованія и взгляды скрыты въ народной балладѣ.

Длинная баллада „Свитязъ“, помѣщенная вслѣдъ за „Романтизмомъ“, раскрываетъ тайны народной души. Она показываетъ также отношеніе молодого романтика къ народнымъ преданіямъ, которыя онъ слышалъ въ этой мѣстности, вообще къ произведеніямъ дѣйствительно народнымъ. Насколько первоначальный романтизмъ понималъ настоящую народность, насколько онъ умѣлъ передавать ее въ неприкрашенномъ видѣ, это хорошо обнаруживается въ „Свитязи“. Въ іюлѣ 1821 г. Мицкевичъ сообщаетъ въ письмѣ къ Чечоту, что Михайлъ Верещака, братъ Марыли, проектируетъ поѣздки въ пущу на берегъ озера Свитязи. „Мы будемъ ѣздить по лѣсу и думать“. Баллада посвящена именно Михайлу Верещака, что не указываетъ, однако, на время написанія ея, такъ какъ Одынецъ слышалъ „Свитязъ“ уже въ ноябрѣ 1820 г. Впрочемъ объ этомъ ниже.

Содержаніе баллады раздѣляется на двѣ части: первая заключаетъ въ себѣ собственно рамку, въ которую вставлена вторая часть, самая баллада. Эта рамка состоитъ изъ описанія природы и изъ тонкаго прославленія рода Верещаковъ. „Кто бы ты ни былъ, говорить поэтъ, обращаясь къ невѣдомому путнику: если тебѣ случится быть въ Новогрудскихъ краяхъ, вѣхавъ въ темный боръ Плужинь, не забудь остановить своихъ лошадей и посмотри на озеро. Тамъ раскинула свое блестящее лоно Свитязъ, подобная огромному ободу: по краямъ ея чериѣтъ темная чаша, поверхность ея гладка, какъ ледъ. Если же ты приблизишься къ ней въ ночную пору и обратишь свое лицо къ водамъ, ты увидишь звѣзды и надъ собой, и подъ собой и увидишь два мѣсяца. И самъ ты не будешь знать, не идетъ ли отъ твоихъ стопъ подъ самое небо стеклянная равнина, или небо пригнуло къ твоимъ стопамъ свои стеклянные своды; око не достигаетъ до противно-

положныхъ береговъ, дна не отличаетъ отъ вершины. и покажется тебѣ, что ты висншь въ серединѣ небосвода, въ какой-то безднѣ лазури. Такъ въ ночную пору, если будетъ подходящая погода, твой взоръ будетъ введенъ въ пріятный обманъ, но для того, чтобы ѣхать ночью къ озеру, нужно быть самымъ смѣлымъ изъ людей. Потому что какія штуки выкидываетъ тамъ сатана! Какъ дерзка нечистая сила! Я весь дрожу, когда объ этомъ рассказываютъ старики, и передъ ночью страшно объ этомъ вспоминать“. Въ этомъ описаніи красоты озера, какъ и въ дѣланномъ страхѣ чувствуется преувеличеніе, какъ у Гоголя въ его малороссійскихъ разсказахъ. Вкусъ Мицкевича еще не былъ выработанъ. Что же такого страшнаго въ этомъ озерѣ? „Иногда въ водѣ слышится говоръ, словно въ городѣ, поднимаются густой дымъ и столбы огня, раздаются шумъ сражающихся, крики женщинъ, набатъ, звонъ оружія. И вдругъ опадаетъ дымъ, прекращается весь гамъ, на берегахъ только шумятъ сосны, въ водахъ шепотъ тихой молитвы и жалобныя мольбы дѣвусекъ. Что это значить? Люди плетутъ различное: вѣдь никто не бывалъ на днѣ; а между простымъ людомъ ходятъ сказки. Но кто же угадаетъ правду? Владѣлецъ Плузинъ, прадѣды котораго были обладателями Святязи, давно уже подумывалъ и разспрашивалъ, какъ-бы узнать тайну озера. Онъ велѣлъ въ ближайшемъ городѣ сдѣлать приборы и не щадилъ денегъ: сплели неводъ въ двѣсти футовъ глубины, надѣлали челновъ и лодокъ. Я предупреджалъ, что въ такомъ важномъ дѣлѣ слѣдуетъ начинать съ Богомъ; поэтому въ нѣкоторыхъ костелахъ были заказаны обѣдни, и кесндзь пріѣхали изъ Циринъ. Онъ всталъ на берегу, надѣлъ облаченіе, перекрестилъ (озеро), благословилъ работу; панъ далъ знакъ, распутываются веревки, неводъ съ шумомъ погрузился въ воду: онъ тонетъ и увлекаетъ съ собой внизъ поплавки, такъ глубока водная бездна: напрягаютъ канаты, неводъ идетъ потихоньку; навѣрное, ничего не поймаютъ. На берегъ вытащили уже оба крыла, тянутъ остатокъ сумки. Сказать-ли вамъ, какое страшное лицо было поймано? Хоть и скажу, никто не повѣритъ. И все-таки скажу. Совсе не страшное: въ неводѣ оказалась живая женщина! У нея было ясное лицо, коралловыя уста, бѣлыя волосы, вымоченныя водой. Она стремится къ берегу: одни отъ страха окаменѣли и не могли пошевелиться, другіе пустялись ѣхать со вѣхъ ногъ, она же заговорила нѣжнымъ голосомъ“. Разсказъ

этой водяной жепщины и составляет содержаніе баллады. „Въ тебѣ течетъ наша кровь“, говоритъ она владѣльцу Плузинѣ. Въ Марылѣ, поймемъ мы, текла кровь прекрасной русалки, жившей на днѣ озера. Откуда же она взялась? Извѣстная легенда о затонувшихъ городахъ была примѣнена Мицкевичемъ къ озеру Святизи, но онъ лишилъ ее постоянно присущей ей черты: города погружаются на дно озера въ наказаніе за грѣхи ихъ жителей. Въ изслѣдованіи С. Здзярскаго объ этнографическихъ источникахъ балладъ Мицкевича не указано ни одной польской или литовской народной баллады, въ которой бы, подобно нашему сказанію о градѣ Китежѣ, городъ погибалъ по милости Божьей для спасенія отъ враговъ. Но такая баллада могла существовать, могла быть извѣстна и поэту. Здѣсь былъ городъ Святизь, принадлежавшій князьямъ Туганамъ. Русскій царь пошелъ на Миндовга войной, Туганъ повелъ свои войска на встрѣчу врагу. Сказалъ Туганъ своей дочери: „неужели для защиты чужихъ людей я долженъ погубить собственныхъ гражданъ. Ты знаешь, что у Святизи нѣтъ иного укрѣпленія, кромѣ нашихъ мечей и груди“. Но дочь отвѣтила ему: „Отецъ, напрасно ты тревожишься, иди, куда зоветъ тебя слава! Насъ же защититъ Богъ; сегодня во снѣ я видѣла его ангела надъ городомъ“. Туганъ пошелъ на войну, а русскіе напали на городъ. Въ отчаяніи женщины готовы были для спасенія чести покончить съ собой самоубійствомъ. „Я не позволяла, но напрасно сопротивленіе; онѣ бросаются на колѣни, вытягиваютъ шеи на порогахъ, а другія приносятъ топоры. Готово преступленіе! Что дѣлать: сдаться ордамъ и надѣть на себя подлые оковы или погубить себя безбожной смертью? И я стала взывать: Господь надъ Господами! Если мы не можемъ уйти отъ врага, я молю тебя: пошли намъ смерть; пусть лучше насъ убьетъ твой громъ, или живыми погребетъ земля! И вдругъ что-то бѣлое охватываетъ меня; кажется, что день прогоняетъ темную ночь; я опускаю къ землѣ удивленные глаза, нѣтъ уже земли подо мною. Такъ мы избавились отъ позора и рѣзни. Ты видишь вокругъ себя эти растенія? Это супруги и дочери Святизи, которыхъ Богъ превратилъ въ растенія. Бѣлыми цвѣтками, словно бѣлыми бабочками, онѣ поднимаются надъ омутомъ; зеленъ ихъ листь, какъ сосновая хвоя, когда побѣлятъ ея снѣга. За оскорбленіе невинной добродѣтели при жизни онѣ сохранили ея цвѣтъ послѣ смерти; онѣ живутъ въ своемъ затишьи, длань смерт-

ныхъ не прикасается къ нимъ. Узнавъ это царь и вся русская банда, когда, увидѣвъ прекрасные цвѣты, они принялись рвать ихъ: одинъ мочить въ водѣ свой стальной шишакъ, другой сплетаетъ вѣнокъ и возлагаетъ его на свою голову. Но страшна власть цвѣтовъ: на всякаго, кто опустилъ въ воду руку, немедленно нападаетъ болѣзнь, всякаго постигаетъ внезапная смерть. Время вычеркнуло изъ людской памяти эти событія, но сохранилось лишь эхо кары: и до сихъ поръ въ своихъ преданіяхъ его освящаетъ простой людъ. Эти цвѣты онъ называетъ сагу (царя). Сказавъ эти слова, русалка исчезла подъ водой, и исчезновеніе ея сопровождалось чудесными явленіями: „озеро до самаго дна раздѣлилось на двѣ части, какъ ровъ, на немъ поднялась буря, тонуть лодки и сѣти, шумъ слышенъ въ шумѣ, возмущенная волна съ грохотомъ несется къ берегу“.

Анализъ составныхъ частей этой баллады показалъ, что, во-первыхъ, передъ Мицкевичемъ стояла одна изъ историческихъ пѣсень Нѣмцевича о нападеніи царя Ивана Грознаго на Вендскъ и о спасеніи чести мужчинъ женщиной, которая, одной рукой схвативъ блестящій кинжалъ, пронзила имъ свою бѣлоснѣжную грудь, а другой, приладивъ тлѣющей фитиль къ пороху, погубила толпу мужчинъ, потерявшихъ свое мужество;—что, во-вторыхъ, поэтъ подвергъ различнымъ видоизмѣненіямъ бытовья преданія, слышанныя имъ въ народѣ. Что касается перваго, то характерно отношеніе Мицкевича къ самоубійству; ни въ одномъ изъ своихъ произведеній онъ не выставляетъ его, какъ героизмъ, даже какъ просто позволительное разрѣшеніе запутанныхъ жизненныхъ проблемъ. Вопросъ о самоубійствѣ часто долженъ былъ вставать въ эти печальные годы его жизни, но одинаково мужественно поэтъ отрицалъ его всегда: человекъ растетъ для высшихъ цѣлей; въ угоду своему малодушію онъ не долженъ кончать свою жизнь. Должна быть мужественна и женщина, какъ бы ни было ей тяжело; Марыля, въ жилахъ которой текла кровь прекрасной дочери Тугана, могла взять съ нея примѣръ кротости, самоотреченія, покорности Богу: ей слѣдовало жить и молиться, какъ Свитезянкѣ. Насколько, однако, народенъ образъ этой послѣдней? Уже тотъ фактъ, что подъ Свитезянкой въ другой балладѣ Мицкевичъ подразумѣваетъ совсѣмъ другой образъ, заставляетъ думать, что одинъ изъ нихъ происхожденія литературнаго, а, можетъ быть, и оба. Легенда, такъ, какъ она передана Миц-

кевичемъ, несомнѣнно, чужда народному творчеству: она преслѣдуетъ цѣль правоученія, она проникнута чуждой народу тенденціозностью. Извѣстная сказка о морскомъ чудящѣ, извлеченномъ неведомъ изъ воды, сказка, съ которой поэтъ познакомился по хроникѣ Стрыйковскаго, если не слышалъ ея изъ устъ рыбаковъ, была подвергнута соответствующему измѣненію: чудяще превратилось въ красавицу. Народныя легенды о превращеніи людей въ растенія довольно обычны; подобная легенда о цвѣтахъ „ланы“ могла быть извѣстна Мицкевичу, но въ эту связь она попала искусственно для дополненія разсказа. Городъ, спасенный отъ враговъ озеромъ, одна легенда; извлеченіе морского чудяща изъ воды—другая; превращеніе дѣвушки въ цвѣтокъ—третья; повѣріе, что грѣхъ извѣдывать морскія глубины (если только оно не заимствовано попросту изъ „Кубка“ Шиллера),—четвертый самостоятельный этнографическій элементъ баллады и т. д. Но комбинація всѣхъ этихъ элементовъ въ народномъ творествѣ не встрѣчается; она была совершена поэтомъ искусственно и съ опредѣленной тенденціей, и именно въ этой тенденціозности чувствуется отсутствіе настоящей народности въ первыхъ попыткахъ романтическаго творчества Мицкевича. Едва ли вѣроятно, чтобы весь этотъ процессъ сложнаго развитія сюжета произошелъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ поѣздки на озеро. Въ балладѣ простой людъ все время называется „prostota“, какъ въ предшествующей „Romantycynosć“: въ другихъ балладахъ этого термина нѣтъ: „Святязь“ существовала раньше поѣздки съ Мих. Верещакой, которому *въ печатномъ изданіи* она была посвящена. Напротивъ, можетъ быть, самая поѣздка была принята подъ влияніемъ баллады. Мнѣ представляется правдоподобнымъ, что баллады: „Святязь“ (прочитанная 1 ноября 1820 г.) и „Романтизмъ“ (посланная въ Вильну въ январѣ 1821 года) написаны на близкомъ разстояніи одна отъ другой, въ томъ же строеніи, при томъ же взглядѣ на существо романтизма. Иначе было бы непонятно и мѣсто, отведенное въ сборникѣ балладамъ, которыя, какъ я думаю, помѣщены рядомъ потому, что были и написаны одна за другой. Логически вслѣдъ за „Святязью“ напечатана „Свитезянка“, помѣченная 12 августа 1821 г. и Шлужинами и, слѣдовательно, написанная вскорѣ послѣ поѣздки на озеро. Одынецъ, разумѣется, ошибался, разсказывая, что баллада была получена въ Вильнѣ уже въ началѣ ноября 1820 года. Вѣроятно,

ему изменила память. „Свитезянка“ написана совершенно во вкусъ „романтическихъ чертей и вѣдьмъ“, не безъ вліянія стараго сантиментализма. Ночь, мѣсяцъ, глухое озеро, буря, таинственная русалка, охотникъ, блуждающій по лѣсу: вотъ обычная балладическая обстановка. Цѣль баллады и здѣсь морализаторская; сантиментализмъ проявляется въ образѣ двухъ возлюбленныхъ: „она изъ корзины даетъ ему малину, а онъ подаетъ ей цвѣты для вѣнка“. Содержаніе „Свитезянки“ не сложно, даже слишкомъ не сложно, для тѣхъ 38 строфъ, въ которыхъ оно растянута. Вліяніе „Лѣснаго Царя“ сказывается и въ вопросительной формѣ начала, и въ тѣхъ приманкахъ, которыя сулятъ русалки. „Кто этотъ юноша, прекрасный и молодой, кто эта дѣвица рядомъ съ нимъ, что идутъ по берегу синихъ водъ Свитязи при свѣтѣ мѣсяца?“ Это— молодой охотникъ и какая-то странница дѣвушка, которая таинственно проходитъ и исчезаетъ. „Откуда она пришла? Напрасно вздумаешь услѣдить за ней; куда она ушла, никто этого не откроетъ. Какъ мокрый очереть, она подымается съ болота: какъ ночной огонекъ, пропадаетъ“. Юноша проситъ открыть ему тайну; онъ умоляетъ дѣвушку стать его женой и клянется ей въ вѣчной вѣрности. Но возлюбленная его не вѣритъ мужчинамъ, искушаетъ его: „Можетъ быть, я бы исполнила твои мольбы, но будешь ли ты мнѣ вѣренъ?“ Страшной клятвой поклялся охотникъ. „Смотри, охотникъ, соблюди свою клятву. Совѣтую тебѣ соблюсти ее: ибо, кто нарушитъ клятву, бѣда тому, бѣда при жизни и бѣда его злой душѣ!“ „Послѣ этихъ словъ дѣвушка пропала, исчезла, какъ легкое дуновение вѣтерка, а онъ остался одинъ“. Страшно стало вокругъ него; романтическіе ужасы окружаютъ его. „Подъ его ногами трясется топкая земля, вокругъ тишина, только подъ ногами шелеститъ увядшая вѣточка. Онъ идетъ надъ водой, онъ блуждаетъ и блуждающими глазами смотритъ вокругъ: вдругъ вихрь зашумѣлъ въ густомъ лѣсу, вода возмутилась и поднялась. Возмутилась и поднялась, раздвигаются волны, о необычныя вещи! Надъ серебристой гладью Свитязи возносится дѣвичья прелесть“. Она зоветъ къ себѣ охотника, манить его, какъ дочери „Лѣснаго Царя“ Гѣте, „Ко мнѣ, ко мнѣ; мы будемъ здѣсь вмѣстѣ плясать по водному кристаллу“.

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön:

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein“.

И кончились все эти приманки русалки, какъ въ балладѣ Гете „Der Fischer“, которая такъ напоминаетъ „Свитезянку“ Мицкевича¹⁾: въ объятіяхъ русалки погибаетъ охотникъ, какъ рыбакъ Гёте. Но только у Мицкевича, который въ своемъ сборникѣ никакъ не можетъ обойтись безъ правоученій, мораль, довольно ясная для пронизательнаго читателя, заключается въ томъ, что русалка эта и есть та самая красавица, которая приходила къ охотнику и которую онъ забылъ ради русалки, несмотря на свою клятву. Такимъ образомъ, интрига здѣсь гораздо сложнее, чѣмъ у Гете, и потому гораздо менѣе народна. Это такая же комбинація нѣсколькихъ сюжетовъ, какъ и въ „Святязи“. Миѣ представляется совсѣмъ искусственнымъ толкованіе М. Шйковскаго, что баллада представляетъ „отчетъ совѣсти, годенъ ли Густавъ руки „небесной“, можетъ-ли онъ упрекать ее въ непостоянствѣ чувства“ и т. д. Такъ можно толковать любое произведеніе, непременно находя въ немъ автобиографическія черты. Самое названіе „Свитезянки“, несмотря на примѣчаніе Мицкевича, будто „есть легенда (wiesé), что на берегахъ Святязи показываются ундины (Undiny) или нимфы водъ, которыхъ народъ называетъ свитезянками,—вовсе не народное, какъ и литовское Юрата, будто бы русалка моря. С. Здзярскій рядомъ сопоставленій показалъ, что поэтъ нѣкоторые изъ образовъ этой баллады почерпнулъ изъ литовскаго фольклора, но едва ли пока можно итти дальше этого общаго утвержденія. Съ точки зрѣнія художественной баллада, по сравненію съ родственнымъ „Рыбакомъ“ Гёте, сильно проигрываетъ отъ своей длинноты: быть краткимъ это труднѣйшее изъ достоинствъ поэзіи: Мицкевичъ научился ему поздно. Недостаткомъ баллады является также совсѣмъ ненужная мораль.

Далѣе слѣдуетъ баллада „Рыбка“, которая по указанію самого автора, заимствована изъ народной поэзіи (ze spiewui gminnego). Эти указанія чрезвычайно цѣнны для выясненія отношенія поэта къ народности. Мы видѣли, что это не было еще дѣйствительное

¹⁾ У Гете „Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll“. У Мицкевича „Woda sie burzy i w zdyma“, буквальный переводъ.

пониманіе народной души, но точка зрѣнія сентименталиста, морализировавшаго по поводу народныхъ сюжетовъ и считавшаго совершенно естественнымъ ихъ комбинацію и искаженіе въ угоду морализаторскимъ стремленіямъ. Современная „стилизация“ въ народномъ духѣ ему еще, конечно, и не грезилась.

„Изъ усадьбы, изъ-подъ лѣса, изъ деревни выбѣгаетъ грустная дѣвица; распустила волосы по вѣтру, и лицо слезами омочила. Прибѣгаетъ на конецъ лужайки, гдѣ рѣка впадаетъ въ озеро, и плачетъ; руки бѣлыя заламываетъ дѣва; причитаетъ бѣдная и стонетъ: „о вы сестры-сестры свитезянки, вы, что здѣсь на днѣ воды живете, вы послушайте про тяжкую обиду, брошенной любовницѣ внемлите. Я ли не любила господина? Онъ клялся со мною повѣнчаться, а теперь беретъ княгиню въ жены, Крысю бѣдную забылъ онъ и погубить! ну и пусть живутъ тамъ молодые, пусть ее распутникъ холить-нѣжить, только пусть сюда онъ не приходитъ, надъ моимъ страданьемъ не глумится! Что еще осталось на свѣтѣ для любовницы, покинутой жестоко? Ахъ, меня примите, свитезянки. Но дитя, дитя мое родное!“ Такъ она твердитъ и горько плачетъ, и лицо руками закрываетъ; въ воду съ берега кидается и тонетъ, погружаясь въ омутъ быстрой рѣчки. А изъ лѣсу, гдѣ дворецъ бѣлѣетъ, льется блескъ свѣчей неисчислимыхъ; тамъ веселье, гости, экинажи, шумъ и музыка, и пляска, и разгулъ. Но не могутъ шумъ и гамъ веселья заглушить въ лѣсу томъ дѣтскій плачъ: вѣрный другъ—слуга изъ лѣсу вышелъ и несетъ ребенка на рукахъ. Онъ къ водѣ шаги свои направилъ, гдѣ ивникъ, сплетаясь густою сѣтью, прикрываетъ, слѣдуя извивамъ, прихотливое теченіе рѣки. Тамъ становится онъ въ темномъ закоулкѣ; тамъ онъ плачетъ и взываетъ: „горе!—горе, горе, кто дастъ грудь ребенку? Гдѣ ты, Крыся? Гдѣ ты, гдѣ ты, Крыся?“ И ему отвѣтилъ тихій голосъ: „Я вѣдь здѣсь, на днѣ рѣки, вижу я; вся дрожу отъ холоду рѣчного, и песокъ мнѣ очи выѣдаетъ. По песку, по камушкамъ по острымъ волны бурья несутъ меня насильно, мушки и кораллы служатъ нищей, а росой холодной запываю“. Но слуга взываетъ, какъ и раньше, продолжаетъ плакать: „горе, горе, кто дастъ грудь голодному ребенку? Гдѣ ты, Крыся? Гдѣ ты, гдѣ ты, Крыся?“ Вдругъ какъ-будто что-то шевельнулось, средь прозрачности кристальной зашуршало, и вода легонько замутилась, надъ водою рыбка подскочила. Какъ плотва сверкаетъ плоскимъ бокомъ,

ускользнувъ изъ легкихъ рукъ ребенка, такъ и наша рыбка подлетаетъ и цѣлуетъ мокрую поверхность. Золотыя пятнышки на спинкѣ, перья красныя съ боковъ ея, головка такъ мала, какъ будто бы наперстокъ, а глазокъ ея такъ малъ, какъ бисеръ. Чешую она съ себя снимаетъ и глядитъ глазами прежней дѣвы; волосы головку покрываютъ, тоненькая шея появилась. На лицѣ ея горитъ румянецъ, грудь молочная подобна парѣ яблокъ, а до пояса доходить рыбе плесо: и плыветъ она въ тростникъ прибрежный, и ребенка въ руки принимаетъ, къ бѣлой груди нѣжно прижимаетъ. „Баю, баю,—плачетъ мой малютка, баю-баюшки, баю!“ И дитя унялося отъ плача, а она на вѣтку люльку вѣсить и опять свое сжимаетъ тѣло, причетъ снова милую головку. Въ чешую она облеклась снова, плавники топорчатся, какъ прежде, жабры дышатъ; вновь она пропала: пузыри пошли, и тѣ исчезли. Каждый вечеръ такъ и каждымъ утромъ приходилъ съ ребенкомъ онъ въ затишье; свитезюнка тотчасъ появлялась и дитя свое кормила грудью. Почему жъ, однажды, въ тихій вечеръ не сибинитъ никто ужъ къ этимъ струямъ? Вѣдь обычное минуетъ скоро время, но слуга съ ребенкомъ не приходитъ. Онъ пройти не можетъ этимъ мѣстомъ, подождать немножечко онъ долженъ: панъ съ женой пошелъ гулять по лѣсу и какъ разъ у рѣчки оказался. Онъ вернулся, ждалъ онъ въ отдаленнѣ, за кустами частыми усѣвшисъ. Но напрасно ждетъ онъ, поджидаетъ, тѣмъ путемъ никто не возвратился. Всталъ и сдѣлалъ трубку изъ ладони, и глядитъ онъ чрезъ отверстіе пальцевъ; вотъ и день минуетъ скоро цѣлый, сѣрый мракъ спускается на землю. Долго ждалъ онъ по закатъ солнца, но, когда ночь звѣзды засвѣтила, онъ къ водѣ тихонько подступаетъ и слѣдитъ глазами издалека. Боже мой, то чудо ль, наважденье ль, новый видъ ему внушаетъ ужасъ, тамъ гдѣ рѣчка протекала прежде, тамъ теперь сухой песокъ да ямы. Беспорядочно разбросана одежда, на камняхъ валяется прибрежныхъ; но нигдѣ ни слѣда человѣка: не видать ни барыни, ни пана. Лишь большой кусокъ скалы подводной выдавался тамъ, на днѣ залива; страннымъ видомъ камень былъ подобенъ двумъ тѣламъ, какъ будто человѣчьимъ. Вѣрный рабъ смутился, изумленный, растерялся мыслями и думалъ; минулъ часъ, другой прошелъ, тогда лишь онъ былъ въ силахъ вымолвить словечко. „Крыся, Крыся“ онъ взываетъ, эхо—только эхо „Крыся“ отвѣчаетъ; но напрасно ищетъ онъ глазами, между рвовъ никто не появился.

Онъ на ровъ, на эти камни смотреть, на лицъ на блѣдномъ потъ стираеть и киваетъ грустно головою, точно хочетъ молвить: „знаю, знаю“. Онъ беретъ ребеночка на руки, дикою усмѣшкою смѣется и молитвы про себя бормочетъ, возвращаясь до-дому поспѣшно“

Въ этой длинной балладѣ, гдѣ въ угоду романтизму слуга смѣется дикою усмѣшкой, и „бѣдная Лиза“ топится въ угоду чувствительности, отдана дань и народности, какъ ее понималъ тогдашній романтизмъ. Тема обычная для Мицкевича въ эту пору его несчастливой любви: измѣна, на этотъ разъ со стороны мужчины. Никакой публицистической нотки въ этой балладѣ, конечно, не было. „Наблюдая жизнь народа, Мицкевичъ увидѣлъ въ немъ одинъ роковой недостатокъ“ и т. д. (т.-е. женское безправіе): такъ говоритъ Ст. Здзярскій въ своемъ анализѣ „Рыбки“. Кажется, трудно быть болѣе далекимъ отъ пониманія тогдашняго настроенія поэта, котораго мучила и занимала тогда исключительно проблема любви, а вовсе не положеніе женщины въ народѣ и т. под. отвлеченные вопросы, на которые никакихъ намековъ нѣтъ ни въ его письмахъ, ни въ другихъ матеріалахъ. Мицкевича возмущало крѣпостное право и положеніе въ немъ женщины, но неужели эта баллада должна что-нибудь *доказать*? Это былъ обычный народный мотивъ о невѣрной любви, о проклятій покинутой, которое превращаетъ обидчика въ камень. Но „орнаменты поэтъ искалъ въ своей памяти“ (dziarski), и къ народной легендѣ онъ прибавляетъ еще другую: о превращеніи покинутой дѣвушки въ рыбку; не довольствуясь этимъ, онъ присоединяетъ еще новый мотивъ: превращеніе рыбки въ русалку (съ рыбьимъ хвостомъ), которая кормитъ грудью своего ребенка. Этотъ послѣдній мотивъ тоже не чуждъ народной поэзіи; Ст. Здзярскій приводитъ цѣлый рядъ этнографическихъ записей (между прочимъ, изъ Литвы и Бѣлоруссіи), въ которыхъ выступаетъ тотъ же самый мотивъ кормленія ребенка грудью утопленницы. Но именно сравненіе этихъ записей съ балладой Мицкевича обнаруживаетъ отношеніе этого послѣдняго къ живымъ струямъ народной поэзіи. Царевичъ женился на бѣдной сироткѣ, рассказываетъ широко распространенная сказка, а братъ ея превратился въ барана или вола; когда царевичъ однажды уѣхалъ изъ дому, жена его родила сына, но злая вѣдьма позавидовала счастью сиротки, утопила ее, а дочь свою одѣла въ ея одежды. Вѣдьмина дочь не могла кормить ребенка, груди ея были пусты, но волъ ежедневно

носилъ младенца къ пруду, гдѣ была утоплена его мать, и шѣлъ „Рыся, рыся (или Марыся), дитя плачетъ, молочка хочеть“. Въ отвѣтъ на призывъ изъ воды подымалась полу-рыба, полу-женщина; она кормила ребенка, и волъ уносилъ его обратно. Королевичъ узналъ объ этомъ, русалка рассказала всю правду, вѣдму казнили, а со своей прежней женой королевичъ жилъ долго и счастливо. Такъ оптимистически кончается народная сказка. Мицкевичъ не знаетъ этого конца, да онъ и не соответствовалъ его настроенію. Различные элементы народной пѣсни поэтъ сочеталъ и претворилъ въ своей балладѣ такъ, что вышло нѣчто цѣльное, но уже ни по духу, ни по настроенію не похожее на народную пѣсню. В. Брухнальскій прямо отрицаетъ народно-эпическій источникъ „Рыбки“ и ставитъ ее въ связь съ одной изъ думъ Ю. Нѣмцевича, „Зимой“, гдѣ выступаетъ тоже брошенная съ ребенкомъ дѣвушка. Но она не тонетъ, а мерзнетъ, и, вообще, весь этотъ сюжетъ въ разработкѣ Нѣмцевича очень далекъ отъ мицкевичевской „Рыбки“, которая въ свою очередь, несомнѣнно, находилась подъ влияніемъ народныхъ мотивовъ, хоть и перерабатываетъ ихъ антинародно, въ морализаторскомъ духѣ. Впрочемъ, не у одного Нѣмцевича, но и у Шиллера („Die Kindesmörderin“) нашъ поэтъ могъ познакомиться съ литературной обработкой распространеннаго народнаго сюжета. Только Мицкевичъ ввелъ такъ много лишнихъ подробностей, такъ навязываетъ читателю свое настроеніе, что въ художественномъ отношеніи „Рыбка“ является одной изъ слабѣйшихъ его балладъ.

Гораздо выше баллада „Возвращеніе отца“, основанная на присущей романтикамъ идеализаціи разбойниковъ и на вѣрѣ въ силу молитвы¹⁾. И здѣсь, повидимому, дѣло не обошлось безъ влияния Шиллера, баллада котораго „Die Bürgschaft“ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прямо воспроизведена Мицкевичемъ. Содержаніе баллады несложно, единство построенія гораздо болѣе достигнуто, чѣмъ въ „Рыбкѣ“, нѣтъ излишнихъ подробностей, какъ тамъ. Мать тревожится, что отецъ не возвращается: „всѣ утра и вечера я

¹⁾ Ни на чемъ, по моему мнѣнію, не основано предположеніе В. Бельзы („Zeroki Mickiewicza“. 1911), что эта баллада была написана для дѣтей госпожи Ковальской и что при сочиненіи ея авторъ вспоминалъ о томъ, какъ, будучи юношей, онъ въ дорогѣ удивлялъ своихъ попутчиковъ страхомъ передъ мнимыми разбойниками. Такого рода гипотезы ничего ровно не разъясняютъ.

провожу въ слезахъ и тревогѣ: разлились рѣки, лѣса полны звѣрей, на дорогѣ много разбойниковъ“. Послушавшись матери, дѣтки, все вмѣстѣ, побѣжали за городокъ, гдѣ на пригоркѣ у приходорожнаго креста возвышался чудотворный образъ: здѣсь они принялись горячо молиться за отца, твердя и „Троицу“, и другія молитвы. Съ трогательной простотой поэтъ перечисляетъ ихъ. Тогда раздастся шумъ колесъ; возвращается отецъ; онъ везетъ подарки, онъ счастливъ и доволенъ. Вдругъ „его окружаютъ разбойники, и этихъ разбойниковъ было двѣнадцать“ („da stürzt die räubernde Rotte,—говорилъ Шиллеръ).

Разбойниковъ поэтъ описываетъ яркими красками: „У нихъ длинныя бороды, закрученныя усы, взоръ ихъ дикъ, одежда плоха; ножъ за поясомъ, сбоку сверкаетъ мечъ, въ рукахъ огромная булава“. Это театральные разбойники Шиллера. Смерть грозитъ застигнутому ими купцу, надъ головой его уже занесенъ ударъ, но старшій изъ разбойниковъ разгоняетъ шайку и отпускаетъ купца, его дѣтей и слугъ со всемъ багажомъ. На благодарность купца онъ отвѣчаетъ, что первый бы разбилъ палку на его головѣ, если бы не молитвы дѣтей. „Дѣтки сдѣлали то, что ты уходишь невредимо: они даруютъ тебѣ жизнь и здоровье: ихъ поблагодари за то, что случилось. А что случилось, я тебѣ расскажу. Давно ужъ прослышавъ, что пройдетъ купецъ, я и мои товарищи засѣли на стражу здѣсь за городомъ, на холмѣ у креста. Прохожу сегодня, смотрю черезъ хворостъ: молятся Богу дѣтки: слушаю; сначала разобралъ меня пустой смѣхъ, а потомъ охватили жалость и тревога. Слушаю, и пришли мнѣ на память родныя стороны, булава выпала изъ руки... Ахъ! И у меня есть жена, и у моей жены такой же маленькій ребенокъ... Купецъ, уѣзжай въ городъ, а я долженъ спѣшить въ лѣсъ. Вы же, дѣтки, продолжайте бѣгать на этотъ холмикъ и иногда скажите молитву за мою душу“.

Никакихъ народныхъ элементовъ въ этой балладѣ нѣтъ; поэтъ не былъ принужденъ примѣняться къ условной романтической народности, какъ во многихъ другихъ балладахъ, и эта свобода отъ внѣшнихъ влiяній дала ему возможность сосредоточиться на сюжетѣ, который его манилъ именно мрачнымъ контрастомъ дѣтской вѣжности съ безпощадностью разбойниковъ; онъ вѣрилъ, какъ и все романтики, что въ душѣ убійцы можетъ произойти мгновенный переворотъ; тѣхъ ужасныхъ картинъ, ко-

торыя представили намъ новѣйшіе изобразители „міра отверженныхъ“, Мицкевичъ еще и не предчувствовалъ, и то, что подъ перомъ современнаго поэта казалось бы нестерпимой фальшюю, у первыхъ романтиковъ выливалось изъ души, искренно и тепло. Нѣтъ сомнѣній, что въ этой балладѣ нашъ поэтъ „нашелъ себя“ гораздо легче, нежели въ „Свитязи“ или „Свитезянкѣ“.

„Курганъ Марыли“ (мысль изъ литовской пѣсни) вводитъ насъ въ серію интимнѣйшихъ произведеній Мицкевича, написанныхъ съ живѣйшей душевной болью по утратѣ Марыли, особенно искреннихъ, особенно непосредственно обращающихся къ душѣ читателя. Такихъ стихотвореній въ первомъ сборникѣ было нѣсколько; на фольваркахъ, среди мелкой шляхты они должны были встрѣчать живой откликъ въ сердцахъ влюбленныхъ; то звуки Карпинскаго, то образы балладъ Нѣмцевича вставали въ нихъ, сливаясь съ личнымъ чувствомъ поэта. Мысль баллады, по словамъ автора, взята изъ литовской пѣсни. Изъ литовской или бѣлорусской? Литовскаго языка Мицкевичъ не зналъ, но въ Ковнѣ онъ могъ немного познакомиться и съ нимъ и съ обычной формой литовской пѣсни въ видѣ вопросовъ и отвѣтовъ. „Чужой человекъ“ который такъ часто встрѣчается въ литовской народной поэзіи, а здѣсь, можетъ быть, навѣянъ гётевскимъ *der Wanderer*, пробѣгаетъ на баркѣ по Нѣману мимо красиваго кургана. „Внизу онъ украшенъ, какъ будто бы вѣнкомъ, малиной, терновникомъ и бузиной, бока его покрыты муравой, а глава увѣнчана цвѣтами, а на ней черемуха (опять обычнѣйшее въ литовской поэзіи дерево), а отъ нея идутъ три дороги: одна дорога направо, другая къ хатѣ, а третья дорога налево“. Что это за курганъ, спрашиваетъ пробѣжій. Уже это вступленіе дышитъ истинной народностью; подробность въ перечисленіи деталей, три дорожки: все это точно взято изъ народной пѣсни. Теперь начинаются причитанія (литов. *vanda*, какъ правильно отмѣтилъ г. Здзирскій); дѣвушка, сиротенная чужонивомъ, отвѣтила, что въ могилѣ лежитъ Марыля; „на правой сторонѣ слѣдочки убиты ногой пастушка (Карпинскій); вотъ это—тропочка ея матери, а съ той стороны приходитъ ея подруга. Но вотъ сверкнула зоря, сейчасъ они придутъ на могилу“. Дѣйствительно, они идутъ, неся въ рукахъ цвѣты (*ziółka*) и плача. Начинается плачъ жениха Яна (или Янка), въ которомъ среди условностей сантиментализма попадаются чисто-народныя нотки. Впрочемъ и народная

пѣсня далеко не чужда санитиментальности. “ Былъ я хозяйственнымъ человѣкомъ, когда былъ счастливъ, хвалили меня сосѣди, хвалили меня сѣдой отецъ. А теперь отецъ жалуется на меня, а я ни людямъ, ни Богу! Пусть себѣ зерно въ полѣ пропадаетъ, пусть крадутъ сѣно изъ стога, пусть сосѣдь растащитъ копны, пусть себѣ стадо передушатъ волки. Нѣтъ уже, нѣтъ Марыли. Даетъ мнѣ отецъ хату, даетъ богатую утварь; уговаривали меня сваты, чтобы я взялъ въ домъ хозяйку. Нѣтъ ужъ, нѣтъ Марыли! Сваты не уговорили: не могу, нѣтъ, не могу! Знаю, отецъ, что дѣлать, пойду въ далекую дорогу; больше меня не найдете, хоть и искать станете. Не буду ужъ я на свѣтѣ! Пристану къ москалямъ, чтобы меня сейчасъ же убили. Нѣтъ ужъ, нѣтъ Марыли“. Искренность этихъ строкъ не подлежитъ сомнѣнiю: и Мицкевичу сватали богатую невѣсту, и онъ мечталъ уйти въ далекую дорогу... Еще ни разу интимное чувство не вырывалось въ польской поэзiи (со временъ Кохановскаго) такъ просто и искренно, какъ въ этомъ плачѣ Яна. Причитанiя матери и подруги, конечно, были нужны Мицкевичу лишь для полноты картины; не въ нихъ заключался центръ тяжести, да и не могъ поэтъ, разлученный со своею Марылей именно матерью ея, вложить ей въ уста дѣйствительно прочувствованныя жалобы. Онъ заимствовалъ кое-что изъ народныхъ причитанiй, но, въ общемъ, изъ слащаваго и условнаго тона онъ не вышелъ. Прохожiй выслушалъ всѣ эти плачи, вытеръ слезу и дальше пошелъ со своей баркой. Къ чему введенiе? Къ чему разговоръ посторонней женщины съ прохожимъ? Все это рамки для одной жалобы, плача Яна, но онѣ казались Мицкевичу народными и потому необходимыми.

Баллада „Я люблю это“ (To lubię) и введенiе къ ней „Къ друзьямъ“ были написаны, какъ мы уже видѣли раньше, въ концѣ 1819 года, когда настроенiе поэта было тревожно и уныло, когда вѣра въ Марылю еще не была утрачена, но любовь къ ней уже не радовала поэта. Баллада основана на очень распространенномъ среди католическаго люда вѣрованiи въ загробное странствованiе души, совершившей грѣхъ и получающей искупленiе въ чистилищѣ, когда тотъ грѣхъ заглаженъ соответствующимъ поступкомъ живого человѣка. При жизни сынъ ударилъ своего отца: послѣ смерти онъ бродитъ по землѣ, какъ призракъ, и, наконецъ, онъ получаетъ ударъ отъ собственнаго сына: онъ искупленъ. Дѣ-

вущка, никогда никого не любившая, богачъ, оттолкнувшій бѣднаго и т. п.,—все они бродятъ по землѣ въ видѣ призраковъ, пугая людей и ожидая случайнаго избавителя, который угадаетъ, что онъ долженъ сдѣлать для искупленія грѣшной блуждающей души. Мицкевичъ зналъ эти легенды и положилъ ихъ въ основаніе своей баллады, которая является какъ бы первоосновой его позднѣйшей драмы любви, исторіи Густава. Въ литературѣ, у Нѣмцевича, онъ нашелъ нужный ему образъ прелестной, но легкомысленной дѣвушки, которая изъ тщеславія отталкиваетъ скромнаго юношу, пришедшаго къ ней среди другихъ искателей ея руки, блестящихъ богатствомъ и знатностью. „Эдвинъ и Анеля“ Нѣмцевича, какъ показалъ въ своемъ тонкомъ анализѣ проф. Брухнальскій, дала нашему поэту этотъ образъ, но баллада Нѣмцевича кончается счастливо: Эдвинъ ушелъ отъ спесивой красавицы; распространился слухъ объ его смерти гдѣ-то въ пустынѣ; Анеля раскаялась и тоже рѣшила удалиться отъ міра, но по дорогѣ она зашла къ пустыннику и рассказала ему свою душевную драму. Этимъ пустынникомъ, конечно, оказывается Эдвинъ, и все кончается счастливо. У Мицкевича не было этой счастливой увѣренности: его Эдвинъ не ушелъ въ пустыню и не дождался Анели, онъ умеръ и только послѣ смерти Марыля узнала, какая она грѣшница и какое искупленіе ее ждетъ. Такимъ образомъ мотивы народные и литературные Мицкевичъ переплотилъ въ своемъ творествѣ такъ, что получилась исторія его собственной души, опять-таки нѣчто столь личное, столь проникнутое истиннымъ лиризмомъ, чего въ польской литературѣ не было со времени Кохановскаго, съ конца XVI вѣка. Но вмѣстѣ съ тѣмъ каждому было ясно, что поэтъ построилъ свое творчество на настоящей народной основѣ, правда, не избѣжавъ рефлексіи, присущей сыну XVIII вѣка, но именно этимъ своимъ отношеніемъ къ народности особенно понятный и близкій современникамъ. Для пониманія любовной лирики и драмы Мицкевича эта баллада настолько необходима, что я позволю себѣ привести ее цѣликомъ, въ переводѣ бѣлыми стихами, которые, конечно, далеки отъ яркаго, гибкаго стиха оригинала, но все же болѣе передаютъ лирическое настроеніе его, нежели прозаическій переводъ.

— „Посмотри, Марыля, тамъ направо: тамъ конецъ лѣсовъ, и заросль ивы; тамъhalbо чудная долина, впереди рѣченка, жалкій мостикъ... Старый храмъ, а въ немъ гнѣз-

дятся совы; колокольня, рядомъ срубъ погнившій, широко разросшійся малинникъ, и въ кустахъ старинныя могилы. Бѣсъ ли тамъ, заклятая душа ли, но лишь только полночь наступала, тамъ никто не могъ пройти безъ страха: такъ объ этомъ искони твердили. Только полночь небо заслоняетъ, церковь съ трескомъ двери открываетъ, звонъ съ пустой несется колокольни, и въ кустахъ малины шумъ и грохотъ. Иногда мелькаетъ блѣдный пламень, иногда за громомъ громъ грохочетъ, и съ могилъ слетаютъ сами плиты, и встаютъ изъ гроба привидѣнья. То бѣжить дорогой трупъ безглавый, то безъ тѣла голова катится, пасть раскрыта, выдуплены очи, жаръ горитъ въ глазахъ ея и въ пасти. Волкъ бѣжить, прогнать его захочешь, вдругъ крыломъ орлинымъ онъ замашетъ: скажешь: „сгинь, исчезни“, перекрестишь, волкъ пропалъ, и только смѣхъ несется. Каждый путникъ видѣлъ эти страхи, каждый клялъ заклятую дорогу: тотъ безъ дышла, тотъ перевернулся, у того свихнула ногу лошадь. Я жъ, хоть помниль, какъ Андрей нашъ старый заклиналъ, не разъ предупреждалъ насъ, лишь смѣялся: я не вѣрилъ въ чары, мимо церкви бѣгаль я и ѣздилъ. Ёду какъ-то въ Ругу въ часъ ночной по мосту, на мосту повозка задержалась; кони стали; кучеръ ихъ напрасно бьетъ кнутомъ и гонитъ и торопитъ. Кони стали, вдругъ рванули разомъ; у повозки дышло отлетѣло; одному остаться въ полѣ, ночью! *Вотъ люблю,* сказалъ я, *вотъ люблю-то.* Вдругъ я вижу: страшная мертвица (покойница, martwica) изъ воды, изъ глуби выплываетъ: въ бѣломъ вся, лицо бѣлѣе снѣга, на челѣ вѣнокъ огнемъ пылаетъ. Я бѣжать, но въ ужасѣ свалился, встали дыбомъ волосы, „да будетъ“, крикнулъ я, „Господня сила съ нами!“ А она: „аминь!“ мнѣ отвѣчаетъ. „Кто бъ ты ни былъ, человекъ почтенный, ты меня избавилъ отъ мученій: доживи до старости и счастья, миръ тебѣ, и миръ, и благодарность. Предъ собой ты видишь образъ грѣшный, но я скоро съ небомъ примирюся, ты меня избавилъ отъ страданій лишь однимъ словечкомъ: *вотъ люблю-то.* А пока сверкаютъ въ небѣ звѣзды и пѣтухъ не пѣлъ еще въ деревнѣ, я тебѣ судьбу свою открою, ты жъ другимъ повѣдай въ назиданье (dla nauki). Я жила на свѣтѣ въ оны годы и тогда Марылей называлась. Мой отецъ, въ уѣздѣ самый важный, былъ богатъ, силенъ и уважаемъ. Онъ хотѣлъ меня при жизни выдать: я жъ была юна, съ большимъ приданымъ; жениховъ наѣхало къ намъ процастъ; красота и деньги ихъ манили.

Моему тщеславию было лестно и по вкусу очень мнѣ пришлось, что они мнѣ кланялись толпою, я жъ спесиво чванилась предъ всѣми. Прибыль Юзя; на веснѣ двадцатой, молодой, несмѣлый и невинный; онъ умѣлъ пылать горячей страстью, въ признаньяхъ не былъ онъ искусецъ. И бѣднякъ напрасно истерзался, день и ночь онъ плакалъ мнѣ на радость: я нашла лишь дикое веселье, только смѣхъ въ слезахъ его и мукахъ. „Я пойду!“ — „Иди, когда желаешь!“ Онъ ушелъ и умеръ отъ любви онъ. Здѣсь онъ спитъ: въ могилѣ той зеленой, у рѣки его почилы кости. Съ той поры мнѣ жизнь постыла, поздно поняла я совѣсти укору, но бѣду исправить средства не было, не пришлось покаяться мнѣ даже. Разъ, когда съ отцомъ была я въ полночь, раздались и шумъ, и гамъ, и свисты, прилетѣлъ въ ужасномъ видѣ Юзя. весь въ огнѣ, какъ грѣшникъ осужденный. Удушилъ меня онъ гущей дыма и швырнулъ въ чистилищныя рѣки, гдѣ въ тоскѣ и скрежетѣ зубовномъ приговоръ суровый я узнала: „Знала ты, что Господу угодно женскій родъ создать изъ мужа было, на усладу мужу, не на горе, не на зло, а ради наслажденья. Ты жъ въ груди имѣла словно камень, и тебя не трогали стенанья; ни мольбы, ни слезы, ни страданья у тебя не вымолили ласки. Много лѣтъ свое жестокосердье выкупать въ чистилищѣ ты будешь, до тѣхъ поръ, пока земной мужчина и тебѣ хоть разъ „люблю“ не скажетъ. Этихъ словъ просилъ когда-то Юзя, слезы лилъ онъ горькія, несчастный; ты жъ проси не плачемъ, не мольбою, но страха людей и поражая“. Такъ сказалъ. Меня же злые духи въ мигъ умчали, сотый годъ ужъ минулъ, мучать днемъ, снимаютъ цѣпи на ночь, изъ огня на землю выхожу я. Въ храмѣ томъ иль на могилѣ Юзи, и землѣ, и небесамъ постыла, по ночамъ должна пугать проѣзжихъ, принимая всякій странный образъ. Заведу идущихъ въ грязь и въ лужи иль коня проѣзжему испорчу; всѣ бранятъ, клянутъ меня, ругаютъ, ты одинъ сказалъ, что это *любишь*. Предъ тобой спадетъ завѣса рока, и изъ тьмы судьба твоя предстанетъ... Ахъ, и ты Марылю... но Марыля“... Въ этотъ мигъ пѣтухъ запѣлъ, къ несчастью, а она кивнула мнѣ, и въ тонкій, нѣжный паръ внезапно превратилась, съ глазъ пропавъ, какъ облачко, исчезла, какъ туманъ отъ вѣянья зефира. Я гляжу: цѣла моя повозка; я сажусь въ повозку, понемногу страхъ проходить; и на сердцѣ легче. Помолись, пожалуйста, за души, что въ огнѣ чистилища страдаютъ“.

Шутливое стихотвореніе, которое отвѣчало высказанному во введеніи „Къ друзьямъ“ желанію писать о любви, о Марыль и о страшилицахъ, потомъ превратилось въ трагедію: Юзи превратился въ Густава, а Марыля въ безжалостную измѣнницу. Уже посвященіе „Къ друзьямъ“ давало все нужные мотивы для превращенія шутки въ трагедію: „Нѣжныя сердечныя изліянія Марыля раздѣляла скупо: сто разъ ей скажешь *обожая* (kocham), а она не отвѣтитъ даже и *люблю* (lubię). А за это въ Рутѣ, въ минуту полночи, когда все ложатся спать, я, желая доброй, ночи Марыль, пугалъ ее такой балладой“. Баллада не подѣйствовала, Марыля не сказала желаннаго слова.

Въ примѣчаніи къ балладѣ „То *lubię*“, помѣщенномъ въ первомъ виленскомъ изданіи, поэтъ, повидимому, считаясь съ духовной цензурой (замѣстителя ректора, ксендза Клонгевича), указалъ на то, что баллада является будто бы переводомъ народной пѣсни и что потому авторъ не рѣшился измѣнить представленія о чистилищѣ, хотя они, конечно, ошибочны. „Но наиболѣе неправильно (*najbłędniejsze*) окончаніе этой пѣсни, т.-е. *пѣніе Anioł Pański*“. Само собой разумѣется, что это немного комическое разъясненіе исчезло въ заграничныхъ изданіяхъ, свободныхъ отъ цензуры, осталось только упоминаніе о народной пѣснѣ, будто бы источникъ баллады, осталось, вѣроятно, потому, что баллада слишкомъ ясно отражала личную жизнь поэта, и ему хотѣлось „затереть слѣды“ ея, направивъ читателя на ложный путь.

Двѣ послѣдующія баллады вводятъ насъ въ чисто-народныя представленія о польскомъ Фаустѣ, панѣ Твардовскомъ, и поражаютъ своимъ прониженіемъ въ духъ народности.

Одна изъ основныхъ особенностей творчества Мицкевича, которая вытекаетъ изъ его постоянной литовской природы и которая выражается также опредѣленно и въ его жизни, заключается въ постоянствѣ его литературныхъ замысловъ. Еще задолго до появленія того основнаго сочиненія, въ которомъ Мицкевичъ даетъ наиболѣе полное, удовлетворяющее его выраженіе замысла, можно прослѣдить, какъ онъ возникаетъ, какъ поэтъ нащупываетъ полубезсознательно ту форму, въ которую потомъ выльется этотъ замыселъ. Такихъ сюжетовъ мы можемъ найти у Мицкевича нѣсколько. Это, во-первыхъ, проблема измѣны. Можно ли измѣнить отечеству ради любви? „Мѣшко“ заключаетъ уже нѣсколько зеренъ, которыя потомъ всходятъ

въ „Живилѣ“. Эта послѣдняя повѣсть даетъ опредѣленный отрицательный отвѣтъ: измѣна ради любви позорить мужчину и не привлекаетъ благородной женщины. Тогда вопросъ расширяется; возможна ли измѣна отечеству ради самого отечества, измѣна притворная, которая въ концѣ концовъ обратится ему же на благо и будетъ измѣной уже не родинѣ, а врагамъ, пріютившимъ мнимаго измѣнника. Это проблема „Конрада Валленрода“. Мы увидимъ, что и на этотъ вопросъ, который получилъ для Мицкевича такое жгучее этическое значеніе, поэтъ отвѣтилъ отрицательно: ложь никогда не ведетъ къ добру, измѣна никогда не дастъ истиннаго, не только минутнаго удовлетворенія. А если измѣна—плохое средство борьбы, какими же другими средствами надо пользоваться? Третья часть „Дѣдовъ“, „Книга польскаго пилигримства“ и т. п. стремились разрѣшить этотъ труднѣйшій вопросъ новѣйшей польской жизни, который такъ мучительно и непосредственно переживалъ величайшій польскій поэтъ. Другой сюжетъ, который также развивается на нашихъ глазахъ въ творествѣ Мицкевича, былъ уже затронутъ при разборѣ баллады „To lubię“. Уже здѣсь „для науки“, для наставленія живымъ появляется призракъ дѣвушки, мучившей своимъ кокетствомъ любившаго ее человѣка и доведшей его до самоубійства. Стихотвореніе было еще шуточное, самоубійства (хотя бы нравственнаго) еще не было основанія совершить, „наставленіе“ имѣло ближайшую цѣль: прочесть урокъ милой Марылѣ, какъ она должна относиться къ своему воздыхателю. Но шуточный образъ смѣнился нешуточнымъ: любовь, неудачная, безнадежная, сломила душу, вытравила изъ нея жизнерадостность, поставила вопросъ о самоубійствѣ. Не всѣ, какъ Мицкевичъ, нашли выходъ изъ этого состоянія, не всѣ сказали: „ну, будемъ жить дальше“, и страданія тѣхъ, кто, разочарованный въ смыслъ жизни, покончилъ съ собой, поэтъ изобразилъ въ четвертой части „Дѣдовъ“, но и это онъ сдѣлалъ „для наставленія“ другимъ, болѣе слабымъ, чѣмъ онъ самъ.

Въ „Панѣ Твардовскомъ“ передъ нами прототипъ, самый первый зародышъ „Пана Тадеуша“. Типичный шляхтичъ, своевольный, капризный, но совершенно лишенный сознательной воли къ злу, Твардовскій всю свою жизнь прошутить, прогулялъ; прогулялъ даже свою душу, но такъ весело, съ такимъ юморомъ, какъ это не сумѣлъ бы сдѣлать ни одинъ нѣмецкій „Фаустъ“.

Позднѣйшіе шляхтичи „Пана Тадеуша“, такіе же безпутные, но въ глубинѣ души такіе же добродушные, развились изъ тѣхъ началъ, которыя мы находимъ уже въ этой балладѣ. Это были живыя впечатлѣнія шляхетской жизни, вынесенныя Мицкевичемъ изъ его дѣтства. Легенды о панѣ Твардовскомъ представляютъ въ польской народной словесности весьма распропагандированный циклъ, котораго не могъ не знать и Мицкевичъ. Твардовскій продалъ свою душу чорту за возможность исполнять всякія свои прихоти; черезъ два года онъ долженъ былъ поѣхать въ Римъ, гдѣ чортъ и приобрѣталъ всѣ права на его душу. Но Твардовскій и не думалъ ѣхать въ Римъ. Такъ прошло семь лѣтъ. Наконецъ, чорту удалось заманить Твардовскаго въ одну корчму. Оказалось, что она носитъ гордое названіе „Римъ“, и Твардовскому уже никакъ нельзя было отдѣлаться отъ расплаты. Однако, онъ нашелся и здѣсь: схватилъ въ руки новокрещеннаго младенца, къ которому чортъ не смѣлъ подступиться. Тогда чортъ напомнилъ своему мучителю, что онъ дворянинъ и что дворянское слово свято. Шляхетская гордость пана Твардовскаго была побѣждена: онъ самъ отдался въ руки чорту и полетѣлъ съ нимъ на судъ Божій. По дорогѣ пану вспомнилась церковная пѣсня (кантычка), которую онъ сложилъ еще до своего знакомства съ чортомъ, и онъ запѣлъ ее, а чортъ отступился отъ него и улетѣлъ. Такъ и носится теперь панъ Твардовскій между небомъ и землей и будетъ носиться до самаго Страшнаго суда. Таково болѣе или менѣе содержаніе народныхъ легендъ о панѣ Твардовскомъ. Мицкевичъ внесъ въ нихъ кое-какія подробности и иное заключеніе: его герой остается вѣренъ себѣ до послѣдней минуты, онъ можетъ найти выходъ изъ любого положенія. Извѣстныя сказки о злой женѣ, которая хуже чорта, вполне подходили своимъ тономъ и общимъ содержаніемъ къ такъ понятому сюжету. Въ характерѣ разгульнаго, своевольнаго, но добродушнаго и безхарактернаго шляхтича лежитъ страхъ передъ злой женой, и именно этотъ моментъ удачно использовалъ поэтъ. И легенда знала, что у пана Твардовскаго злющая жена, но она заставляла его подшучивать надъ ней, а не побаиваться ея. Въ художественномъ отношеніи баллада превосходно выдержана, за исключеніемъ одной подробности, навѣянной литературной ученостью Мицкевича. Дѣло въ томъ, что черти Мицкевича вовсе не тѣ мрачныя и злобно-саркастическія фигуры, созданія страшнаго 16 вѣка, „Teufelsjahrhundert“, вовсе не Ме-

фистофели Гёте, а самые обыкновенные славянские черти (какъ въ нашихъ сказкахъ), плутоватые, добродушные, постоянно попадающіеся впросакъ. Изображая своего дьявола, искусителя Пана Твардовскаго, въ соотвѣтствіи съ народными представленіями о нечистой силѣ, Мицкевичъ не долженъ былъ называть его Мефистофелемъ, съ которымъ у всѣхъ литературно образованныхъ людей связываются совершенно иныя представленія, созданныя „Faustbuch“ 16 вѣка и Гёте. Но это, кажется, единственный упрекъ, который можно сдѣлать въ художественномъ отношеніи балладѣ Мицкевича. Какъ же онъ разработалъ свой сюжетъ?

Твардовскій въ корчмѣ, гдѣ кипитъ веселье. Онъ забавляется своими чародѣйскими штучками: одному придѣлываетъ ко лбу трубки, черезъ которыя тянетъ водку; солдата, который обижалъ публику, превращаетъ въ зайца и т. д. Вдругъ на днѣ опорожненнаго стакана что-то свиститъ и скрипитъ. „Дьяволенокъ былъ тамъ въ водкѣ, на днѣ, настоящій нѣмецъ, куцая штука“. Онъ упалъ на полъ, сталъ расти и поднялся до двухъ локтей, „носъ, какъ крючокъ, пѣтушья нога и когти, какъ у ястреба“. Появившійся такимъ образомъ бѣсъ (*bis*, какъ его называетъ по народному Мицкевичъ, шеголяющій въ этой балладѣ знаніемъ простонародной рѣчи) представляется Твардовскому въ качествѣ Мефистофели и напоминаетъ о договорѣ, заключенномъ на Лысой горѣ. Дальше идетъ, согласно народнымъ легендамъ о Твардовскомъ, ловушка, которую чортъ устроилъ пану, заманивъ его въ корчму, но въ отличіе отъ легенды, заставляющей Твардовскаго защищаться крещенымъ младенцемъ, поэтъ вводитъ новую подробность, которая развивается въ цѣлый забавный эпизодъ. Бѣсъ обязанъ, по контракту, исполнить еще три послѣднія желанія пана. Правда, онъ могъ бы и теперь удрать изъ корчмы, но *mobile verbum*, шляхетское слово, удерживаетъ его въ „Римѣ“. Чортъ охотно исполняетъ самыя трудныя приказанія Твардовскаго: какъ въ сказкѣ о „Соломонѣ и Китоврасѣ“ и тому подобныхъ средневѣковыхъ и народныхъ сказаніяхъ о преніяхъ мудрецовъ, онъ вьетъ изъ песка бичъ, вбиваетъ колышки въ маковыя зерна и т. п.; онъ не отказывается даже отъ очень неприятнаго ему дѣла и кушается, по приказанію пана Твардовскаго, въ мискѣ со свяченой водой. Но и панъ хитеръ на выдумки. „Я поселюсь вмѣсто тебя на цѣлый годъ у Вельзевула

(belzebuła)—предлагаетъ шляхтичь: пусть на этотъ годъ моя милая (moja luba) останется съ тобой, какъ съ мужемъ. Общай ей клятвенно любовь, уваженіе и безграничное послушаніе, а если ты нарушишь хоть одно условіе, то и весь нашъ договоръ конченъ“. Дьяволъ былъ смущенъ; онъ поглядывалъ то на пана Твардовскаго, то на его супругу, а самъ все подвигался къ замочной скважинѣ, куда и юркнулъ наконецъ. И до сихъ поръ онъ пропадаетъ гдѣ-то въ неизвѣстности и не является по душу пана Твардовскаго. „Dotąd, jak szmucha, tak szmucha“, говоритъ поэтъ на народный ладъ.

Баллада „Тукай“, помѣщенная вслѣдъ за „Пани Твардовской“, осталась не оконченной. Въ 1822 году были напечатаны только двѣ первыя части ея, а продолженіе обѣщано въ слѣдующихъ томикахъ, но жизнь унесла поэта такъ далеко отъ литовскаго затишья и прежнихъ настроеній что, конечно, къ „Тукаю“ онъ уже не вернулся. Тукай долженъ былъ изобразить польскаго Фауста, въ которые панъ Твардовскій совершенно не годился. Но въ польской жизни было слишкомъ мало элементовъ для философскаго скептицизма Фауста, и оттого этотъ скептицизмъ свелся просто къ кощунству, за которое авторъ въ примѣчаніи обѣщаль наказать Тукаю въ послѣдующихъ балладахъ. И вся баллада въ этой своей части слаба, и Мицкевичъ, такой чуткій къ художественной правдѣ, долженъ былъ почувствовать невѣрность взятаго имъ типа, его несоотвѣтствіе польскому быту. „Тукай“ остался недоконченнымъ; зато изъ друзей поэта нашелся одинъ, который всѣхъ сомнѣній Мицкевича не прочувствовалъ и за него докончилъ „Тукаю“. Это былъ Одынецъ. Въ своей балладѣ Мицкевичъ воспользовался народной легендой о человѣкѣ, который хотѣлъ помолодѣть съ помощью чудесныхъ средствъ. Неудачу этой попытки изобразилъ Альбрехтъ Радзивиллъ въ книжкѣ „Dyskurs Nabożny“, вышедшей въ 1635 году. И въ той редакціи, которую зналъ Мицкевичъ, дѣло кончалось плохо. На это указываетъ конецъ недоконченной Мицкевичемъ баллады въ обработкѣ Одынца, который, вѣроятно, зналъ замыселъ Мицкевича и съ нимъ считался. (Ср. въ львовскомъ изд. соч. Мицкевича, томъ I, 263).

Тукай умираетъ, разочаровавшись въ жизни, въ добродѣтели и наукѣ. Однако разочарованіе его поверхностно, укору жизни очень не глубоки. Вдругъ раздались шумъ и громъ, и въ замокъ

влетѣлъ какой-то неизвѣстный старикъ. Онъ схватилъ Тукаю за руку, поднялъ его и велѣлъ ему итти вслѣдъ за собою. Мѣстность, какъ это любить дѣлать Мицкевичъ, описана чрезвычайно точно, съ указаніями на мѣстныя географическія названія. Путники миновали озеро Колдычево, пришли къ горѣ Дерновой. Здѣсь „старецъ“ сталъ на колѣни на могилѣ, раскрылъ уста, сверкнулъ очами, поднялъ обѣ руки, три раза крикнулъ, три раза свистнулъ:— „Смотри, Тукай, вотъ дорожка, за дорожкой на болотѣ хатка, въ хаткѣ живетъ мудрецъ Полель, мудрецъ хочетъ помочь мудрецу. Извѣстны твоя ученость и добродѣтель; я знаю, что Богъ, привязавъ тебя къ землѣ узами любви, не дастъ тебѣ долгой жизни. Но оставь праздный страхъ, узнай дѣйствительность моихъ средствъ, живи для слугъ, друзей, жены лѣта, вѣка, безсмертіе. Я первый рѣшаюсь показать земному глазу дорогу къ нему, но, согласно приговору судьбы, я только двумъ могу показать ее. Избери другого человѣка, человѣка испытаннаго довѣрія, которому бы ты такъ же повѣрилъ во всякомъ испытаніи, какъ самому себѣ. Найдешь—тебя ждетъ безсмертіе, не найдешь—смерть и вѣчная кара!“ И вотъ передъ Тукаемъ трудная задача: назвать человѣка, которому онъ могъ бы всецѣло повѣрить. Полель помогаетъ ему. Слугѣ? Нѣтъ, слишкомъ часто измѣняютъ слуги. Можетъ быть, любовницѣ или женѣ? Колебанія Тукая Мицкевичъ передаетъ мастерски. „Да“, и вдругъ оборвалъ, печально поглядываетъ; „да“, скажетъ и снова оборветъ; думаетъ, самъ съ собой печально разсуждаетъ: „Да, да, возлюбленной... да, женѣ!“ И вѣрять, и страхъ его беретъ, рѣшилъ, уже готовъ отвѣтить, ужь... и ничего не отвѣчаетъ. „Въ гнѣвѣ Полель возвращаетъ Тукаю на его ложе смерти, только издали раздается голосъ: „Нѣтъ другого человѣка, которому бы ты могъ повѣрить во всякомъ испытаніи такъ, какъ самому себѣ“. На этомъ кончается первая часть. Поэтъ-романтикъ свелъ умственные и душевныя терзанія своего героя не къ тоскѣ духа, разочаровавшагося въ истинѣ, но къ печали человѣка, который не могъ найти на землѣ истиннаго друга, который хотѣлъ всецѣло повѣрить любимой женщинѣ, вѣрному другу и съ горечью пришелъ къ убѣжденію, что нѣтъ на землѣ полнаго душевнаго пониманія даже между ближайшими друзьями. Это—горечь самого Мицкевича, это убѣжденіе—одинъ изъ этаповъ въ его душевномъ развитіи.

Но Тукай нашелъ друга. „Я имѣю, я имѣю друга“, кричать

онъ на смертномъ ложѣ и сразу преобразается, глаза его сверкаютъ здоровьемъ, блѣдность пропадаетъ на его челѣ; доктора дивятся. Тукай такъ силенъ и бодръ, какъ-будто онъ никогда не былъ боленъ. Между тѣмъ на подушкѣ онъ находитъ листокъ пергамента (изъ воловьей шкуры), на которомъ „проклятые черти записали тайну приговора“. Тукай торопливо хватается рукописаніе, которое гласитъ слѣдующее: „Когда мѣсяцъ будетъ въ первой четверти, иди за гору въ рошу. Тамъ ты найдешь камень, изъ-подъ камня вырви бѣлый корень. Когда будешь близокъ къ смерти, вели рубить тѣло на четыре части, сварить корешки въ водѣ и помазать разрубленные куски. Снова духъ срастется съ тѣломъ; ты встанешь, какъ-будто пришла новая весна, и можешь, пользуясь этимъ средствомъ, умирать и воскресать во вѣки вѣковъ“. Дальше шли предостереженія: какъ рубить голову, какъ ноги, въ какой водѣ приготавливать зелье, по какой щепоткѣ брать разныя травы; въ самомъ же концѣ, въ ностскриптумѣ, стояло слѣдующее условіе: „Если кто-нибудь другой, кто долженъ будетъ совершить помазаніе, соблазненный нашимъ фокусомъ, покажетъ другому зелье или не помажетъ твоего тѣла, въ такомъ случаѣ дѣйствіе зелья прекращается, а вашу милость ждетъ къ себѣ въ гости пекло. Если ты рѣшишься на такое дѣло, то въ знакъ нашего соглашенія нашъ посоль Мефистофель передать тебѣ для взаимнаго обмѣна документъ. Мы тебя предупредили относительно нашихъ уловокъ; остерегайся, потому ужъ поздно будетъ жаловаться. Данъ въ Эребѣ, утромъ въ шабашъ. Собственноручно подписано: да будетъ по сему. Люциферъ. Скрѣпилъ: Хадраメラхъ“. Прочитавъ дьявольское рукописаніе, Тукай сильно задумался; онъ „подпираетъ рукой подбородокъ, потеръ лобъ, скривилъ носъ, искоса взглянулъ на контрактъ: понюхалъ два раза табачку, то опускаетъ глаза на землю, то бѣгаетъ глазами по столу. Взялъ пергаментъ, взвѣсилъ его на рукѣ, снова взглянулъ на него сбоку, снова прочиталъ, снова взвѣсилъ, снова смѣрилъ глазами, ударилъ кулакомъ по столу, вздохнулъ, что-то проворчалъ, заскрежеталъ зубами, схватился руками за голову... Вдругъ вскопчилъ и въ волненіи махнулъ рукой: „ну, пусть такъ будетъ!“ Эта сцена колебанія, какъ видитъ читатель, изображена мастерски, съ тонкимъ пониманіемъ психолога. Однако Тукай снова замолчалъ, снова садится, снова думаетъ, снова встаетъ, снова начинаетъ ходить и опять садится. Пусть его за это никто не бранить, потому что

вести дѣла съ чертями не шутка. Думаетъ: или вѣчная жизнь или навѣки душа чорту; ничего не говорить, думаетъ про себя, только немножко шевелить губами. Пришелъ уже часъ отвѣта. Тукай удаляется изъ толпы и, замкнувшись въ лабораторіи разума, сидитъ одиноко. И тамъ еще разъ, прежде чѣмъ приложить свой штемпель, зажимаетъ свой трактатъ въ клещи суровой мысли и крѣпко сдавливаетъ его и т. п. Изъ этой лабораторіи мысли Тукай выходитъ съ рѣшеніемъ подписать договоръ съ дьяволомъ, но опять впадаетъ въ глубокую задумчивость, изображеніе которой начинается наконецъ надоѣдать своей монотонностью. Онъ уже написалъ: „пусть такъ будетъ“, поставилъ и первую букву своего имени Т, но дальше никакъ не могъ ничего написать. „Какъ же онъ долженъ былъ изумиться, когда буква *ѳ* въ словѣ *будетъ* вдругъ начала жужжать и шумѣть и подыматься всѣми своими краями. Вертится, вздымается, растетъ, какъ кусокъ тѣста на дрожжахъ. Нижняя половина буквы распухаетъ и превращается въ животъ и ребра, у верхней дѣлается выпуклой голова, которая раздувается въ огромный ушатъ. Шейка узенькая, какъ у осы, носикъ орлиный, а бородка козлиная, на одной сторонѣ лошадиная нога, а на другой курья лапка; смотреть глазомъ бычьимъ, крылья въ родѣ лопастей у мельничнаго колеса. Это былъ дьяволъ. Однимъ словомъ, это былъ посолъ Мефистофель. Еще Тукай не могъ рѣшить, перекреститься ли или просить чорта сѣсть, когда наглецъ подскочилъ къ нему, схватилъ его за маленькой палецъ, рѣзнулъ ножикомъ подъ кожей и въ крови омочилъ перышко, перышко насадилъ, вложилъ въ руку, водить потихоньку рукою. Когда сдѣлалъ такъ U, K; A и J, сдѣлалось цѣлое *Tukaj*. Чортъ свистнулъ, гикнулъ, пропалъ, ищи теперь вѣтра въ полѣ“. На этомъ кончается и баллада, избыточная, какъ видимъ, чертями и дьявольскими договорами; и опять здѣсь Мефистофель, притомъ совсѣмъ не на мѣстѣ, а кромѣ него, взятый у Шиллера Эребъ и заимствованный у ложноклассиковъ миеологическій славянскій Полель.

Что же было взято изъ народной поэзіи? Отдѣльными черты, какъ и въ другихъ балладахъ. Философское содержаніе и нравственныя колебанія „Тукай“ чужды народной словесности. Вѣдь „Тукай“ былъ написанъ весной 1820 года, вскорѣ послѣ свадьбы Марыли, когда невѣріе въ людей должно было съ особенной силой мучить Мицкевича. Въ народныхъ сказкахъ жилъ человѣкъ,

который также обещалъ выполнить обязательство передъ дьяволомъ за услугу, оказанную ему въ пути, но стоялъ ли этотъ образъ (купца, царя, и т. д., который обещаетъ отдать дьяволу что-то, что, еще невѣдомое, ждетъ его дома: это былъ родившійся ребенокъ) передъ поэтомъ, когда онъ слагалъ своего „Тукая“, это трудно сказать. Скорѣе я не согласился бы съ подобнымъ предположеніемъ С. Здзярскаго. Затѣмъ, какъ указано выше, были извѣстны народной сказкѣ, извѣстны, конечно, и Мицкевичу легенды о чудесномъ возрожденіи съ помощью тѣхъ или иныхъ средствъ. Подобныя этнографическія изысканія указываютъ лишь на кругъ знакомства поэта съ произведеніями народной словесности, но въ его интимную духовную жизнь они мало вводятъ. Напр., такую чисто народную черту, какъ комическое изображеніе дьявола, Мицкевичъ долженъ былъ воспринять изъ самой глубины народной психики. Онъ не списывалъ съ какого-нибудь имѣющагося на лицо народнаго сказанія, сочинялъ самъ, такъ, какъ ему казалось болѣе близко къ народнымъ представленіямъ, и, дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ чертахъ далъ такіе народные образы, какихъ до него не давалъ еще ни одинъ польскій поэтъ. Третьякъ (Młodość I. 354) справедливо отмѣтилъ разницу въ тонѣ первой и второй части баллады. Первая исполнена глубокой и искренней горечи: когда же Мицкевичъ приступалъ къ писанію второй части, это настроеніе уже минуло. Дѣйствительно, жалобы Тукая напоминаютъ позднѣйшія изліянія невѣрія и скептицизма Густава. Баллада во многихъ своихъ частностяхъ представляетъ недоделанное произведеніе, потому что торопливо, залпомъ поэтъ излилъ здѣсь все содержаніе своего тогдашняго настроенія.

Очень длинная баллада „Лилія“, почерпнутая также будто бы „изъ народной пѣсни“, слѣдуетъ за этими двумя „фаустовскими“ произведеніями Мицкевича. „Преступленіе неслыханное: госпожа убила господина; убивъ, похоронила въ рошѣ, на лугу, около ручья: на гробъ посѣяла лилію; засывая, такъ пѣла: расти, цвѣтокъ, высоко, какъ панъ лежитъ глубоко; какъ панъ лежитъ глубоко, такъ ты расти высоко“. Я думаю, уже изъ этого начала, такого обычнаго въ народной поэзіи, читатель догадывается, о чемъ идетъ рѣчь, какъ выдали убійцу лиліи. Обстановка самая романтическая. „Наступаетъ темнота, дуетъ вѣтеръ; темно, вѣтрено, пасмурно; кое-гдѣ каркають вороны и кричатъ совы“. Все, что требуется для романтическаго ужаса. Убійца въ ужасѣ

врывается въ хатку пустытника. Образъ мужа преслѣдуетъ ее; она кается старцу во всемъ, рассказываетъ, какъ ея мужъ ушелъ съ королемъ Болеславомъ на войну съ кievлянами, какъ онъ много лѣтъ пропадалъ, а дорога добродѣтели скользка; она измѣнила мужу, а теперь убила его. Какъ искупить грѣхъ? Старецъ видитъ, что только страхъ наказанія терзаетъ ее. Онъ успокаиваетъ эту новую леди Макбетъ: „по Божьему приговору, только мужъ можетъ выдать то, что ты дѣлаешь тайно, а мужъ твой уже лишился жизни“. Молодая женщина спѣшитъ домой, довольная такимъ приговоромъ судьбы. Ее встрѣчаютъ дѣти и спрашиваютъ объ отцѣ; напрасно они ждутъ его день, другой, цѣлую недѣлю; наконецъ дѣти забыли объ отцѣ. Но матери ихъ трудно, не выгнать изъ мыслей грѣха; на сердцѣ ея залегла вѣчная тоска, сонъ не слетаетъ на ея глаза, улыбка не посѣщаетъ ея устъ. „Часто въ ночную пору что-то стучитъ на дворѣ, что-то ходитъ по свѣтлицѣ. Дѣти, кричитъ оно: это я, дѣти, вашъ отецъ“. На утро прїѣзжаютъ всадники, братья покойника. Баллада переходитъ изъ повѣствованія въ діалогъ; трагизмъ ея становится такимъ же напряженнымъ, какъ въ „Балладилѣ“ Словацкаго, гдѣ также героиня убила мужа и мучится преступленіемъ и старается замаять его слѣды. Баллада слишкомъ велика, чтобы здѣсь можно было изложить ее въ подробностяхъ. Братья ждутъ возвращенія убитаго, который долженъ былъ прїѣхать раньше ихъ, ждутъ цѣлую зиму, „по вкусу имъ прїемъ и молодая хозяйка“, оба брата влюблись въ нее и пошли предложить свою руку; съ ненавистью они смотрятъ другъ на друга, „крѣпко сжаты ихъ посижившія уста, сильно сжимаютъ ихъ руки мечи“. Растерялась молодая женщина, бѣжитъ къ пустытнику, чтобы спросить его совѣта, жалуется, что мучить ее по ночамъ покойникъ, что не для нея уже счастье и замужество. „Дочь моя“, отвѣчаетъ старикъ: „за всякимъ преступленіемъ слѣдуетъ кара: но если искренно раскаяніе преступника, Богъ внимаетъ ему. Я знаю тайны небеснаго приговора, я возвѣщу тебѣ радостную вѣсть; хотя твой мужъ погибъ уже больше года тому назадъ, я еще сегодня воскрешу его“. Но эта вѣсть пугаетъ молодую женщину: „поздно, стонетъ она: это убійственное желѣзо навѣки насъ раздѣляетъ“. Съ грустью видитъ пустытникъ, что другого выхода нѣтъ: онъ совѣтуетъ, женщинѣ выбрать мужа изъ двухъ братьевъ по вѣнку, который каждый изъ претендентовъ на ея руку долженъ возложить на алтарѣ въ костелѣ. Радостно она бѣжитъ

домой, уже не вспоминая объ убитомъ; но что-то слѣдуетъ за ней, что-то шепчетъ ей на ухо: „это я, твой мужъ, твой мужъ“. Вотъ наступаетъ воскресенье, „пани, окруженная дѣвицами, идетъ къ вѣнцу: она вступаетъ на средину костела, беретъ первый вѣнокъ и обноситъ его вокругъ: „вотъ, въ этомъ вѣнкѣ лиліи. Чья же онѣ, чья? кто мой мужъ, кто мой возлюбленный?“ Но оба брата выступаютъ претендентами на вѣнокъ, оба они твердятъ, что ихъ эти лиліи, съ ненавистью смотрятъ другъ на друга и, вынувъ изъ ноженъ мечи, готовы вступить въ рукопашный бой“. Вдругъ затряслись двери костела, налетѣлъ вихрь, погасли свѣчи; входитъ особа вся въ бѣломъ, всѣмъ извѣстенъ ея шагъ, всѣмъ извѣстно ея вооруженіе. Останавливается, всѣ задрожали; останавливается, смотритъ исподлобья и взываетъ подземнымъ голосомъ: „Мой вѣнокъ и ты моя! Цвѣты сорваны на моей могилѣ! Меня, ксендъ, завяжи своей стулой (т.-е. обвѣнчай). Злая жена, горе тебѣ, это я, твой мужъ, твой мужъ. Злые братья, горе вамъ обоимъ! На моей могилѣ вы рвали цвѣты, прекратите бой! Это я, твой мужъ, вашъ братъ! Вы мои, вѣнокъ мой! Идите на тотъ свѣтъ!“ Вздогнуло основаніе церкви, изъ сруба выступаетъ срубъ, сводъ трещитъ, фундаментъ западаетъ, и церковь падаетъ на глубину. Сверху ее покрываетъ земля, на ней растутъ лиліи, и растутъ онѣ такъ высоко, какъ глубоко лежалъ господинъ“. Такъ кончается эта мрачная баллада, въ которой поэтъ достигъ уже извѣстнаго мастерства: ни многословія, ни пустыхъ утрашеній здѣсь нѣтъ, а отъ этихъ повтореній однихъ и тѣхъ же стиховъ, отъ естественнаго сплетенія золь вѣетъ пахосомъ трагическаго. Однако, еще неопытность руки писателя чувствуется и здѣсь. Чрезвычайно внимательный и тонкій анализъ народныхъ мотивовъ, отразившихся на этой балладѣ (Бигелейзена въ „Вислѣ“, т. V), привелъ изслѣдователя къ убѣжденію, что Мицкевичъ хорошо зналъ настоящую народную пѣсню объ убійствѣ женою мужа, что онъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ просто передѣлывалъ ее, иногда усиливая трагическій тонъ, иногда не умѣя справиться съ трагизмомъ народной этики, но что вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подчинился своей обычной эклектической манерѣ. „Включеніе разнородныхъ мотивовъ изъ народныхъ вѣрованій отразилось невыгоднымъ образомъ на композиціи. Мѣсто грознаго, быстрого, порывистаго, какъ горный ручей, дѣйствія заняло медлительное и многорѣчивое изложеніе, которое окончательно испортила еще неопытная рука молодого

поэта излишнимъ сгущеніемъ красокъ и стремленіемъ произвести самое трагическое впечатлѣніе“: такъ гласить черезчуръ суровый приговоръ Г. Бигелейзена.

Другой изъ критиковъ „Лилій“, М. Шійковскій (Bibl. Warsz. 1910, іюнь, стр. 489), справедливо указалъ, что Мицкевичъ не сумѣлъ придать своей балладѣ достаточно законченный видъ. Въ апрѣлѣ 1820 г. онъ самъ сообщалъ друзьямъ, что ей „не достааетъ конца“. Дѣйствительно, развязка баллады плохо согласуется съ началомъ: вѣдь пустынный предсказалъ, что покойникъ не вернется, пока жена сама не призоветъ его, а между тѣмъ въ концѣ онъ появляется непрощенный. Поэтъ пробуетъ объяснить это тѣмъ, что лиліи были срѣзаны на могилѣ убитаго, что этимъ онъ будто бы былъ вызванъ изъ могилы, но это, несомнѣнно, натяжка. Затѣмъ, въ 5 стихѣ рѣчь идетъ объ одной *liliu*, и баллада называлась также „Лиліей“ (въ апрѣлѣ 1820 г.), а въ 304 стихѣ, уже въ концѣ баллады, говорится о *lilijach*. Да и весь конецъ, о свадьбѣ, какъ - будто лишний. Невѣрная жена, убившая мужа, страдающая отъ мукъ совѣсти, и мужъ, вѣчно преслѣдующій ее: эти образы были такъ близки и понятны Мицкевичу, когда онъ потерялъ свою невѣрную Марылю. Можетъ быть, ему самому и не нуженъ былъ конецъ баллады, и онъ придумалъ его потомъ, ради другихъ, которые искали выхода для страданій убитаго и глубоко зарытаго рыцаря; на его могилѣ росли цвѣты женской невинности, лиліи. А этотъ выходъ подсказывался литературными увлеченіями Мицкевича: баллада Нѣмцевича „Аллондзо и Елена“, которая отразилась и на „To lubię“, давала образъ мстителя, вставшаго изъ гроба. При ея появленіи также „погасли свѣчи“. У Нѣмцевича гигантская фигура „въ черномъ вооруженіи“ не противорѣчила логикѣ, у Мицкевича вышло нѣчто не совсѣмъ понятное: его покойникъ явился въ саванѣ (*osoba w bieli*). Какъ же его узнали по вооруженію? Этого пробѣла, какъ и многихъ другихъ, поэтъ не замѣтилъ, увлеченный общей прелестью трагического сюжета. Образъ женщины, не умѣющей любить (*To lubię*), неспособной быть истиннымъ другомъ человѣка (*Tu kaj*), здѣсь осложнился еще одной чертой: въ поискахъ новой любви женщина способна безъ всякаго состраданія убить того, кого она любила раньше. Такъ подготовлялось отчаяніе и презрѣніе къ женщинѣ, которое вылилось потомъ въ безконечныхъ монологахъ Густава. Эти

поэтическія произведенія Мицкевича раскрываютъ намъ его душу полнѣе, чѣмъ самыя интимныя письма къ друзьямъ. Можетъ быть, всякій поэтъ самъ для себя раскрываетъ себя только въ поэзіи.

Послѣдняя баллада въ сборникѣ 1822 года, „Кобзарь“ (Dudarz), представляетъ еще болѣе тѣсную связь съ „Дѣдами“. Образъ Густава, умершаго, но только „для свѣта“, очевидно, уже складывался въ воображеніи поэта; выступали уже и атрибуты его послѣдняго свиданія съ Марылей, увядшій листокъ и ленточка. Баллада носитъ, несомнѣнно, вполне личный характеръ, но изложеніе ея отличается какой-то безпомощностью. Зачѣмъ было вводить въ нее сцену съ кобзаремъ, которая такъ напоминаетъ вызваніе духовъ во второй части „Дѣдовъ“, гдѣ вмѣсто „Кобзаря“ (Dudarz) является „Гусярь“ (Guślarz)? И эта сцена, и многія другія подробности становятся понятны только, какъ художественное нащупываніе сюжета, еще не вполне обрисовавшагося поэту, но уже посягаюся передъ нимъ въ общихъ очертаніяхъ. Съ этой точки зрѣнія генезиса мицкевичевскаго творчества баллада очень интересна. Передъ нами на сценѣ толпа крестьянокъ, которыя справляютъ праздникъ „досѣвокъ“. Праздникъ описанъ въ духѣ идилліи, отъ котораго Мицкевичъ не вполне освободился и въ своей позднѣйшей драматической поэмѣ. Мимо крестьянокъ „мимо нашей нивы“ (разсказъ ведется отъ лица поэта), проходитъ бѣлый, какъ голубь, старикъ, съ сѣдой бородой до самаго пояса. „Старецъ бречитъ на лирѣ и поетъ; мальчики (которые ведутъ его подъ руки) дуютъ въ дудочки изъ церевъ“. Поэтъ зоветъ старика на деревенскій праздникъ, обѣщаетъ угостить его, чѣмъ Господь послалъ, и тотъ поворачиваетъ къ нимъ. Старика встрѣчаютъ радушно, сажаютъ около огня, „за столъ изъ муравы“, угощаютъ медомъ. Онъ спрашиваетъ, что же ему сыграть, настраииваетъ свою лиру и запѣваетъ странную пѣсню: „Иду я вдоль Нѣмапа, съ верховьевъ до устья его, отъ деревеньки къ деревенькѣ, отъ лѣса къ лѣсу, отъ одной ленты полей къ другой, пою мои пѣсенки. Всѣ сбѣжались, всѣ заслушались, но никто меня не понимаетъ; я слезы вытираю, заглушаю вздохи и иду все дальше и дальше. Кто же пойметъ меня, тотъ запечалится и ударитъ въ бѣлыя ладони, уронитъ слезинку, и я урюю, и дальше уже не пойду“. Значитъ, что-то особенное, не для всѣхъ значительное поетъ старикъ: значитъ, онъ не простой

кобзарь, но совершалъ какую-то миссію. „Что-то будетъ, что-то будетъ?“ можетъ спросить толпа его слушателей, какъ во II части „Дѣдовъ“. Прежде, чѣмъ начать настоящую пѣсню, старикъ оглянулся вокругъ; вниманіе его привлекла пастушка, которая то сплетала, то расплетала вѣнокъ, а около нея стоялъ юноша, принимавшій сплетенные цвѣты. Пастушка... это, конечно, та самая пастушка, съ которой мы встрѣтимся въ „Дѣдахъ“, но та будетъ въ траурѣ, тревожна и молчалива, а эта спокойна. Письма Марыли, о которыхъ шла рѣчь въ предшествующей главѣ, еще не успѣли превратить въ глазахъ Мицкевича ея образъ изъ спокойно-задумчиваго въ тоскующій. „На челѣ ея видно спокойствіе души, ея глаза опущены къ землѣ, она не была ни весела, ни печальна, но о чемъ-то глубоко задумывалась. Какъ постоянно колеблется зеленая травка, хотя бы вѣтерокъ затаилъ свое дыханіе, такъ на груди ея высоко поднимается рубашка (zastona), хотя не слышны ея вздохи. Вдругъ она сорвала съ груди пожелтѣвшій листокъ, листокъ неизвѣстнаго дерева; взглянетъ на него, броситъ и что-то тихо шепнетъ, какъ-будто сердится на листокъ. Отворачивается, немного отходить въ сторону, поднимаетъ глаза къ небу, и вдругъ въ глазахъ ея блеснули слезы, и румянецъ выступилъ на щекахъ. А кобзарь молчитъ, тихонько перебираетъ струны и не отрываетъ глазъ отъ пастушки, но, кажется, его соколиный взоръ проникаетъ въ самое ея сердце“. Потомъ онъ запѣлъ. Въ свою балладу Мицкевичъ вставилъ триолеть, принадлежащій Зану, какъ-будто символъ той роли, которую игралъ Занъ въ его отношеніяхъ къ Марылѣ. Триолеть говорить о двухъ юношахъ, которые любятъ дѣвушку, но она лишь одному изъ нихъ отдаетъ цвѣты. Когда кобзарь спѣлъ, послышался шопотъ: „эту пѣсенку пѣлъ кто-то въ нашей деревнѣ, но кто и когда, не помнимъ“. Старецъ открываетъ свою тайну. Однажды, странствуя въ чужихъ краяхъ, онъ встрѣтилъ юношу, одинокаго и тоскливаго. „Онъ былъ очень печалецъ, но о причинѣ своей печали не говорилъ никому; потомъ онъ отдѣлился отъ своихъ товарищей (съ которыми приплылъ изъ Литвы по Нѣману на струѣ) и уже не вернулся домой. Я часто видѣлъ при блескѣ мѣсяца или на зарѣ, когда начинало разсвѣтать, какъ онъ бродилъ по лугамъ или ходилъ по берегу моря, по прибрежнымъ пескамъ. Не разъ среди скалъ, подобный скалѣ, на дождѣ, вѣтрѣ и холодѣ, онъ думалъ, погруженный въ себя, по-

вѣря свои печали вѣтрамъ, а слезы водѣ. Я шель къ нему; онъ бросалъ на меня печальный взоръ, но не сторонился отъ меня: ничего не говоря, я настраивалъ лютню, пѣлъ и ударялъ по струнамъ. У него струились градомъ слезы; но онъ мнѣ кивалъ головой: ему нравилось пѣніе; онъ жалъ мнѣ руку, я обнималъ его, и мы плакали вмѣстѣ. Мы лучше узнали другъ друга и стали друзьями; онъ постоянно молчалъ по своему обыкновенію, я также говорилъ немного. Потомъ, когда, измученный долгимъ терзаніемъ, онъ уже не могъ справиться съ собою, я былъ ему товарищемъ, слугою, я ухаживалъ за нимъ во время болѣзни. Бѣдный, онъ медленно угасалъ на моихъ глазахъ. Однажды онъ позвалъ меня къ своей постели и сказалъ: „я чувствую близкій конецъ страданьямъ, пусть исполнится Божья воля. Я согрѣшилъ только тѣмъ, что мои годы пролетѣли такъ бесполезно, но безъ сожалѣнія я ухожу изъ міра; давно уже я умеръ въ немъ. Съ тѣхъ поръ, какъ уголокъ этихъ дикихъ скалъ скрылъ меня отъ лица толпы, свѣтъ сталъ для меня ничѣмъ, я жилъ только въ мірѣ воспоминаній. Ты, который остался мнѣ вѣрнымъ до гроба, говорилъ онъ, сжимая мои руки: мнѣ нечѣмъ вознаградить тебѣ, но я посвящу тебя въ то, что у меня есть. Ты знаешь пѣсенку, которую я пѣлъ столько разъ, оплакивая свою судьбу; ты помнишь, навѣрное, всѣ ея слова и знаешь, какимъ голосомъ ее пѣть. Есть у меня еще ленточка съ блѣдныхъ волосъ и засохшій листокъ кипариса: выучи эту пѣсенку, возьми эту вѣточку: вотъ все мое сокровище на землѣ. Иди, можетъ быть, ты найдешь на берегахъ Нѣмана ту, которой я уже не увижу; можетъ быть, пѣсенка будетъ ей мила; можетъ быть, она заплачетъ надъ листкомъ: наградить старика, приметъ его въ домъ. Скажи“... При этомъ его очи потускли, а въ устахъ застыло недоконченное имя Пресвятой Дѣвы. Онъ дѣлалъ усилія, чтобы еще что-то сказать; напрасно: онъ могъ только показать на сердце и на ту сторону, куда постоянно смотрѣлъ при жизни“. На этомъ остановился кобзарь. Доставъ изъ бумажки листокъ, онъ кого-то искалъ глазами, но пастушки уже не было въ окружавшей его толпѣ. Лишь вдалекѣ онъ увидѣлъ платъице, потому что она скрыла въ платкѣ свое божественное лицо; какой-то юноша велъ ее подъ руку, вотъ ихъ уже не видно за деревней. Прибѣжала кучка (зггаја) молодежи къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ старикъ. „Что это“.

спрашиваютъ его всё. Онъ ничего не зналъ: можетъ быть и зналъ, но только не хотѣлъ говорить въ толпѣ.

Въ этой балладѣ мы находимъ портретъ самого Мицкевича въ ту пору, когда, тоскуя по Марылѣ, онъ худѣлъ и чахъ въ Ковнѣ. Мѣсто дѣйствія баллады указано очень точно: юноша встрѣтился со старикомъ въ Кенигсбергѣ. Баллада помѣщена въ сборникѣ послѣ всѣхъ и по своему содержанию она ближе всего къ окончательному замыслу „Дѣдовъ“. Это позволяетъ, мнѣ кажется, отнести ее и хронологически къ болѣе позднему времени, нежели „Kurhanek Maryli“ и др. Повидимому, лѣтомъ 1821 года, находясь въ Полаangenѣ близъ нѣмецкой границы, поэтъ и написалъ эту балладу.

Отъ идиллій, иногда столь же чувствительныхъ, какъ „Кобзарь“, этотъ послѣдній отличается живымъ и непосредственнымъ личнымъ чувствомъ. Дѣвушка, уходящая плача съ другимъ, листокъ кипариса, какъ память, о разлукѣ, имя Пресвятой Дѣвы, дорогое поэту уже потому, что его носила его милая: все это переноситъ насъ въ самую интимную жизнь самого поэта. Въ-стѣ съ настоящей народностью первый сборникъ стихотвореній Мицкевича внесъ въ польскую литературу и поэзію личного чувства, которой въ ней не было (исключая Кохановскаго, давно всѣми забытаго). Этимъ чувствомъ проникнуто и лирическое стихотвореніе „Пловецъ“, которое вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими вошло въ отдѣлъ „разныхъ стихотвореній“, слѣдовавшій въ сборникѣ за „балладами и романсами“. Żeglarz (Пловецъ на парусномъ суднѣ) былъ написанъ 17 апр. 1821 г.

Навѣянный монологомъ Гамлета: „Быть или не быть“, „Пловецъ“ разрѣшаетъ вопросъ о самоубійствѣ иначе, чѣмъ Гамлетъ. Въ душѣ польскаго поэта нѣтъ ни той энергіи отчаянія, ни того глубокаго скептицизма, какой мы находимъ у Шекспира. Это мягкая грусть, печаль по непрочности земного счастья и недостижимости идеала. Человѣкъ, который чувствуетъ такъ мягко и нѣжно, не покончить съ собой, и въ монологѣ Мицкевича рѣшеніе жить мотивировано... да ничѣмъ не мотивировано. Гамлетъ хочетъ выступить противъ моря тревогъ, положивъ имъ конецъ (to take arms a iunst sea of troubles, and by opposing end them), но его мучить сомнѣніе, что умереть—не уснуть, но грезить. Но „какія грезы могутъ явиться въ этомъ смертномъ снѣ“ (for in that sleep of death what dreams may come)? Насиліе обидчика, упадокъ закона, без-

совѣстность сановника представляются Гамлету такими же страшными грезами этого сна смерти, какъ и страданія обманутой любви. Вотъ этого соціального момента въ „Пловцѣ“ нѣтъ. Когда въ дальнѣйшемъ изложеніи придется сравнить эротическіе сонеты Мицкевича съ сонетами Петрарки, оказавшими на нихъ такое сильное вліяніе, мы опять увидимъ у Мицкевича отсутствіе этой широкой міровой скорби, подымающей на высоту общечеловѣческаго печаль Гамлета. Петраркой Мицкевичъ заинтересовался именно въ эту пору. Въ „Пловцѣ“ есть извѣстная этическая основа: счастливъ тотъ, кто въ своей жизни руководствуется добродѣтелью. На этой основѣ, внушенной поэту Шиллеромъ (какъ отмѣтилъ уже Мазановскій), Мицкевичъ не удержался и опять свелъ свою рѣчь къ личной горечи. Настроеніе мятежное, неспособное претворить различныя вліянія, но беспорядочно смѣшивающее ихъ, отсутствіе постепенности въ развитіи чувства, но та же импульсивность, которая проникаетъ все поведеніе героя „Дѣдовъ“, Густава, обнаруживается въ полной мѣрѣ уже въ этомъ характернѣйшемъ для Мицкевича того времени стихотвореніи. „Die Führer des Lebens“ Шиллера даютъ законченную мысль. „Есть два рода [geniевъ, говоритъ Шиллеръ, которые ведутъ тебя черезъ жизнь. Благо тебѣ, если они оба, соединившись, помогаютъ тебѣ. Одинъ сокращаетъ тебѣ путешествіе своей игрой, и его рука дѣлаетъ тебѣ легче судьбу и долгъ. Въ шуткахъ и разговорахъ онъ сопровождаетъ тебя до той бездны, гдѣ смертный останавливается съ трепетомъ у моря вѣчности. Здѣсь серьезно, молчаливо и рѣшительно принимаетъ тебя другой и на своихъ гигантскихъ рукахъ переноситъ тебя черезъ глубину. Никогда не отдавай себя цѣликомъ одному изъ нихъ! Никогда не ввѣрай первому своего достоинства, а другому своего счастья“. У Мицкевича эта этическая проблема отступаетъ на задній планъ: доминируетъ личное чувство счастья или несчастья. Несмотря на романтическое настроеніе, поэтъ все еще не отказался отъ вычурности, и вліяніе стиля Трембецкаго сказывается въ довольно безвкусныхъ метафорахъ (balsam gzymski, т.-е. римскій бальзамъ, вм. религія; sławu орока, скала славы). Но всѣ эти недостатки, вся неуравновѣшенность и внутренняя незаконченность стихотворенія искупаются чрезвычайной искренностью его. Горько поэтъ такъ правдиво и глубоко, что къ нему онъ сводитъ все, о чемъ бы ни заговорилъ. „О, море явленій“, восклицаетъ онъ (a sea of troubles Гамлета): „Откуда эта ночь и непогода? Была заря

и тишина, когда я былъ близко отъ берега. Теперь же какія волны, какой вихрь кидаютъ меня! Нельзя плыть, нельзя и остановить свой бѣгъ! Такъ не покинуть ли корабль жизни? Счастливъ тотъ, на чьей ладѣ правятъ рулемъ двѣ небесныя сестры (siostrzuce, сестрицы), Добродѣтель и Красота! Когда стужается ночной мракъ, усиливается волненіе, одна даетъ бокаль, а другая открываетъ свое лицо, и ея образъ разлиываетъ свѣтъ, а нектаръ другой усаждаетъ. Счастливъ тотъ, кто поклялся въ вѣрности одной Добродѣтели! Онъ доплыветъ туда, гдѣ возвышается скала славы, и его стремленія подкрѣпятъ римскій бальзамъ; но если на него не обратитъ своего взора Красота, онъ доплыветъ въ крови и поту. Если же Красота покажетъ ему свое лицо, а потомъ измѣнчиво покинетъ его среди дороги, унося съ собою соблазнительные призраки надежды, ахъ, какъ пусто будетъ для него въ пространствахъ міра. Уже недостаточно будутъ его подкрѣплять и улады добродѣтели! вмѣсто прелести небеснаго восхода бороться съ постоянной бурей, стонать среди мрака, вмѣсто чувствительныхъ сердецъ ударяться о каменную грудь, вмѣсто ея ручекъ хвататься за выступы камня и долго не останавливаться среди такихъ разочарованій. Разочарованіе такъ тяжело, покончить такъ легко и приятно? Не будемъ больше скитаться во мракѣ, носимые волнами.. Но все ли погибнетъ вмѣстѣ съ нами въ этихъ волнахъ? Или тотъ, кто брошенъ уже въ бытіе бездны, не будетъ въ состояніи ни подняться (wylecieć, вылетѣть) изъ нея, ни погибнуть на днѣ? Все, что живетъ, уничтожается: такъ кричитъ людская молва. Почему же она не въ силахъ заморозить (wuziębić) ту внутреннюю вѣру, что звѣзда духа не можетъ ¹⁾ погаснуть и, разъ брошенная, кружится на неизмѣримой глубинѣ, пока время будетъ бѣжать своими вѣчными кругами (вычурный образъ въ духѣ Трембицкаго: *rokі czas wiésznie toczyć będzie koła*). Кто же тамъ закричалъ на сушь? Чьи это сожалѣнія? Ахъ, это вы, о братья мои, друзья мои, вы все еще стоите на прибрежной скалѣ, и ваши очи не боятся утомленія. Вы все еще смотрите на меня и на волны? Если я брошусь туда, куда меня влечетъ (*ciśka*, давить) отчаяніе, будутъ слезы надъ моимъ безуміемъ, жалобы на неблагодарность. Да вѣдь вамъ не такъ видны эти черныя тучи, вамъ

¹⁾ Въ оригиналь *z doła*. Nie z doła wylecieć, nie z doła zagasnąć. Однообразіе, указывающее на небрежность отдѣлки.

не слышать издали вихря, который рветъ здѣсь снасти; громъ, который здѣсь ударяетъ, для васъ только сверкаетъ. И напрасно иные хотѣли бы почувствовать вмѣстѣ со мною, подъ ударами грома то, что я чувствую. Никому, кромѣ Бога, не дано судить насъ. Желая судить меня, нужно быть не со мной, но во мнѣ. Я плыву дальше, а вы идите домой!“ Почему? спросить читатель. Какой переворотъ произошелъ въ душѣ поэта, что удержало его отъ самоубійства? Едва намѣченное сомнѣнiе, что со смертью не все кончается (но развѣ это пугаетъ его, какъ загробные „сны“ Гамлета), дружба друзей, надежда?

Въ дѣйствительности спасла Мицкевича вѣра въ себя, въ свое высшее призванiе поэта-пророка. Достигши впоследствии такого яркаго выраженiя въ импровизацiяхъ, эта вѣра прорывается уже въ „Гимнъ на день Благовѣщенiя“, помѣщенномъ въ первомъ томѣ стихотворенiй. Какъ указалъ проф. Порембовичъ, эта вѣра была внушена Мицкевичу Шеллингомъ, но, конечно, слова Шеллинга упали на почву, хорошо подготовленную личными возвышенными настроенiями поэта. Вѣдь „Гимнъ“ появился въ филаретской атмосферѣ, которая поднимала Мицкевича въ собственныхъ его глазахъ: онъ былъ написанъ, когда имя Марiи было ему особенно свято. Нѣкоторая торжественная холодность присуща, вообще, этому роду поэзiи, „паренiе“ ея здѣсь особенно умѣстно. „Поклонъ пречистой Родительницѣ! Превыше небесъ Твое чело, звѣздами сверкаетъ. Твой вѣнецъ одесную Теговы. Нынѣ мы, вѣрные, торжествуемъ Твой день. Блесни среди Твоей церкви! Вотъ къ землѣ склонились головы, вотъ среди черни, охваченной нѣмымъ страхомъ, встаетъ пророкъ и вопiеть: я ударяю по клавишамъ органа во славу Твою, но лишь отъ божества исходитъ пѣснь, достойная божества. Блесни же среди твоей церкви и опусти свой ангельскiй взоръ! Вотъ я воспламеню божествомъ свой духъ (duchu me), раскрой источникъ голоса моего! И я возгремлю грудью, какъ херувимы при концѣ свѣта, когда они вознесутъ изъ сна небытiя прахъ, упавшiй въ бездну вѣковъ. Пусть такимъ же громомъ облетитъ хвала Твоя безконечность, и тамъ, гдѣ адъ, и тамъ, гдѣ свѣтять звѣзды, пусть она переживетъ вѣчность. Но кто же это восходитъ? Восходитъ на Сионъ Дѣвица. Ликъ Марiи, какъ раннее утро на морской поверхности: снѣжится облако, солнце искоса пускаетъ въ него золотую стрѣлу. Таковъ блескъ развѣвающагося волоса на слѣгу,

что бѣлить одежды¹⁾. Взглянулъ Іегова и въ ней прославилъ себя (w niej upodobał sobie). Разбились зеркала небесъ, бѣлая голубка упала и надъ Сіономъ остановила свои крылья, и увѣнчиваетъ чело небожительницы перьями серебристой радуги. Громъ, молвія! Да будетъ, сбылось: Матерью стала Дѣвица, Богъ—тѣломъ!“ Этотъ гимнь, какъ извѣстно, вошелъ въ сборникъ пѣснопѣній католическаго люда въ Польшѣ; дѣйствительно онъ не выходитъ изъ предѣловъ догматической ортодоксіи и можетъ высоко поднять настроеніе вѣрующихъ и молящихся. Но изысканность образовъ и рискованность нѣкоторыхъ сравненій, и высокопарность стиля показываютъ, какъ далеко еще былъ Мицкевичъ отъ той торжественной простоты, съ которой онъ впоследствии формулировалъ свои поэтическія „пророчества“. Но въ этомъ гимнѣ будущій Мицкевичъ обнаруживается такъ же опредѣленно, какъ въ балладахъ сказывается будущій авторъ „Кѣдовъ“, „Конрада Валленрода“ и „Пана Тадеуша“. Въ томъ же сборникѣ встаетъ передъ нами и будущій авторъ „Сонетовъ“. Такое обиліе мотивовъ и элементовъ заключалъ въ себѣ уже первый сборникъ великаго поэта. Но разработать всѣ ихъ могъ только онъ одинъ, а другіе брали каждый, что ему было особенно близко. Мицкевичъ очень далеко перешагнулъ за тѣ рамки, которыя онъ самъ себѣ ставилъ въ предисловіи, и съ выходомъ его сборника польская поэзія должна была пойти по новому пути.

О поэмѣ „Шапки“ (Warcaby) я уже упоминалъ раньше. Это подражаніе „Шахматамъ“ (Szachy) Яна Кохановскаго, шуточное наставленіе въ игръ, посвященное Франциску Малевскому. Но шутка переходитъ въ тяжелую тоску, когда поэтъ вспоминаетъ о томъ, какъ онъ игралъ съ Марылей, пользуясь лишней минутой побыть съ ней, посмотреть на ея милое лицо. Тоска, которая томилъ поэта, доводила его до видѣній, которыхъ, я думаю, вовсе не слѣдуетъ принимать въ символическомъ смыслѣ. Я увѣренъ въ томъ, что Мицкевичъ, дѣйствительно, видѣлъ, благодаря силѣ своего воображенія, то, что онъ описываетъ: „Однажды, когда погасающая лампа лила уже слабый свѣтъ, неожиданно разстунувшая около меня густота тѣни; мой взоръ остолбѣнѣлъ, и мысли дико сплетались, и я вижу: ясный ангелъ слетаетъ ко мнѣ

¹⁾ Странное мѣсто. Въ оригиналѣ: *Taka na śniegu, co szaty bielii, powiewnego jasność włosów.*

по воздуху. Боже! Это ее личико, блѣдное, какъ раннее утро: волосы спадаютъ на шею серебристыми лучами: прозрачная тучка служить ей одѣянiемъ, краснѣя у груди лентами изъ розъ. И видѣть ее такъ же ясно, какъ вижу тебя, я видѣлъ ее такой, какой она бываетъ всегда, только окруженную большей ясностью, болѣе божественной: но болѣе прекрасной она быть не могла! Потомъ она проскользнула къ столу; мы встрѣтились глазами, я былъ весь въ глазахъ (cały byłem w oku); сердцемъ такъ близко отъ ея сердца, лицомъ отъ ея лица: насъ раздѣляла только жалкая шахматная доска. Съ тѣхъ поръ уже много разъ въ предразсвѣтную пору, въ сумракѣ тѣней, Богъ своей милостью посылаетъ мнѣ подобное видѣнiе. Оно носится всегда около шахматной доски, но не хочетъ, чтобы игрою съ ней я перемѣнилъ положенiе (abym graniem zmienił stanowisko)“. Т.-е. при первомъ движенiи поэта, при его приближенiи къ доскѣ образъ пропадалъ. Неужели это не совершенно реальное изображенiе видѣнiя, которое навѣщало влюбленнаго поэта, какъ нѣчто посылаемое ему самимъ Богомъ въ утѣшенiе, какъ образъ неосязаемый, обожествленный, лучезарный Марыли, образъ, который вель его къ добру и не заключалъ въ себѣ ничего принижающаго, земного. Въ области тѣхъ высокихъ вдохновенiй, которыя посылали Мицкевичу даръ импровизацiи, которыя дѣлали его въ собственныхъ глазахъ возрастающимъ пророкомъ, это видѣнiе божественной Беатриче было такъ возможно и естественно. Только такъ, мнѣ кажется, можно понять это важное для биографiи Мицкевича мѣсто.

Именемъ Лауры и эротическимъ сонетомъ въ духѣ Петрарки кончается сборникъ. „Напоминанiе“ („Przypomnienie“) такъ называется оно. Кому? Не Марыль. „О, Лаура, встають ли еще когда-нибудь въ твоей памяти тѣ прекрасные годы нашего возраста, когда только вдвоемъ и только другъ другомъ заняты, мы не хотѣли и думать обо всемъ остальномъ чуждомъ намъ мiрѣ?“ О чемъ вспоминаетъ поэтъ. О бесѣдкѣ, увитой жасминомъ, о ручьѣ, струившемся журча по лугу. „Тамъ насъ часто закрывала любовная одежда поздней ночи, когда мы изливали другъ другу наши желанiя (Wzajemne tłumaczyszyci chęci). А мѣсяць, выглядывая изъ-подъ бѣлаго облака, озарялъ бѣлоснѣжную грудь и золотыя кольца, придавая божественное очарованiе твоимъ чарамъ“. Если мы припомнимъ описанiе красоты Ковальской въ ея

альковъ, которое Мицкевичъ повѣрилъ друзьямъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, можетъ быть, мы согласимся признать, что ея именемъ кончается сборникъ, начатый именемъ Марыли. И въ сборникъ „Сонетовъ“, вышедшемъ нѣсколько лѣтъ спустя, мы найдемъ отраженія той же любви. Не случайно именно этимъ, такимъ реальнымъ сонетомъ кончается сборникъ: болѣе реальное чувство, болѣе земная любовь проснулись въ поэтѣ, борясь и теперь, и еще много лѣтъ спустя съ призрачной, мечтательной, сладкой и тоскливой любовью къ Марылѣ, въ которой Мицкевичъ находилъ источникъ романтическихъ вдохновеній, и которую поэтому онъ долго и ревниво берегъ въ своей душѣ. Но жизнь уже брала свое, жизнь уже побѣдила, и въ его первомъ сборникѣ стиховъ не „Могилы Марыли“, но „Воспоминаніе“ о бурной земной страсти замыкаетъ книгу.

Анализъ перваго тома „Роезүй“ Адама Мицкевича долженъ былъ дать представленіе о томъ, какое многообразіе сюжетовъ, настроеній, какую новизну чувствъ, какое искреннее пониманіе народности поэтъ внесъ имъ въ родную литературу. Но самъ онъ, кажется, и не догадывался объ этомъ, и думалъ, что „романтическая поэзія“, которой онъ посвящалъ длинное и скучное предисловіе къ своему сборнику, есть прежде всего поэзія Среднихъ вѣковъ и затѣмъ подражаніе ей. „Такъ называемый рыцарскій духъ и соединенныя съ нимъ уваженіе и любовь къ прекрасному полу, чуждыя Греція и римлянамъ, точное соблюденіе законовъ чести, религіозныя вдохновенія, мифическія преданія и представленія варварскихъ народовъ, прежнихъ язычниковъ, а теперь христіанъ: все это въ полномъ смѣшеніи и создаетъ въ Средніе вѣка *романтическій міръ*, поэзія котораго точно также называется романтической. Эта поэзія имѣла свой постоянный характеръ, умѣряемый только мѣстнымъ вліяніемъ сумрачныхъ и вдохновенныхъ нормановъ, веселыхъ миннезингеровъ, чувствительныхъ трубадуровъ. Вышнее выраженіе, или языкъ, будучи слиткомъ языковъ сѣверныхъ и римскаго, былъ названъ *романскимъ*, откуда и вышло, что позднѣйшія поколѣнія прозвали и эту поэзію, и духъ времени романтическими“.

Чтобы выгрузить всю свою школьную ученость, Мицкевичъ и народную пѣсню призналъ за переживание средневѣковой и на основаніи этого назвалъ ее романтической. Конечно своего здѣсь еще очень мало у создателя польскаго романтизма, и поэтому я

покину сухія дебри этого предисловія, отъ котораго еще такъ вѣетъ ложноклассической страстью къ системамъ, опредѣленіямъ, классификаціямъ. О балладѣ „Романтизмъ“, которая должна была служить знаменемъ новой школы, уже была рѣчь выше.

Чѣмъ плѣнили польскую публику „Романы и баллады“ и какую именно публику они нашли?

Первые романтики, какъ это правильно отмѣтилъ проф. Э. Порембовичъ, не понимали и не цѣнили простоты, ибо были воспитаны еще на вкусахъ ложноклассического *bienséance*. А въ протестантской Германіи романтизмъ принялъ нѣкоторыя черты, которыя унаслѣдовали его подражатели и приверженцы. На первый планъ выступала фальшивая морализаторская струна, совершенно чуждая простодушію и естественности истинной народности. Этотъ протестантскій педантизмъ стремился сочетать мнѳологическіе и языческіе элементы народной поэзіи съ христіанской тенденціей, облеченной въ формы поученія или проповѣди. Эту особенность, мѣтко подчеркнутую проф. Порембовичемъ, унаслѣдовалъ и Мицкевичъ, который, однако, сумѣлъ скрыть поученіе въ своихъ балладахъ, не выставляя его такъ грубо, какъ Жуковскій (напр., въ „Свѣтланѣ“ разъясненіе: „Вотъ баллады смыслъ моей“... или длинная проповѣдь въ „Теонѣ и Эсхинѣ“). Но тогдашніе читатели Мицкевича еще не разсуждали такъ, какъ современные критики его. Они именно привыкли къ дидактикѣ, а здѣсь она была облечена въ такія красивыя формы и не была чужда еще и сантиментальной струн, милой этому обществу по чувствительнымъ романамъ, по элегіямъ Карнинскаго и Нѣмцевича. А то истинно народное, что, дѣйствительно, было въ балладахъ, было такъ ярко и ново, что баллады казались верхомъ народности. И еще Тарновскій, ближе стоящій къ тогдашнему поколѣнію, чѣмъ другіе современные историки польской литературы, говоритъ въ своей исторіи польской литературы (IV, 293) слѣдующее: „Онѣ одинъ сумѣлъ приспособить форму баллады къ народнымъ преданіямъ и понятіямъ, онѣ одинъ находитъ среди этихъ преданій и понятій такія темы для своихъ балладъ, что не чувствуется смѣшенія чужого со своимъ и не замѣчается противорѣчія; эта баллада не искусственна“.

Не ученые и чваные ложноклассики, не уметвенная и родовая знать Польши и Литвы, но мелкая шляхта, разбѣянная по фольваркамъ, учащаяся молодежь, трудящаяся городская интел-

лягненці, въ видѣ низшихъ чиновниковъ: вотъ первые читатели и поклонники Мицкевича, расхватавшіе его сборникъ и сразу сдѣлавшіе его главой новой школы. Зато хранители традиціи были возмущены. Старикъ Снядецкій, повидимому, не сумѣлъ скрыть своего гнѣва въ присутствіи самого поэта. Стихи Мицкевича перепечатывали польскіе журналы; публика желала увидѣть поскорѣе второе изданіе; въ Варшавѣ и Галиціи успѣхъ былъ тоже большой и шумный. Мицкевича прозвали польскимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Публика нетерпѣливо ожидала продолженія балладъ. Уже въ ноябрѣ 1822 года было необходимо второе изданіе.

ГЛАВА IX.

Послѣдняя зима въ Ковнѣ. Выходъ II тома. Арестъ. (Осень 1822—осень 1823 гг.).

Осенью 1822 года Мицкевичъ долженъ былъ вернуться въ Ковно. Его поѣздка за границу не удалась. О политической опасности, нависшей у него надъ головой, Мицкевичъ яли зналъ отъ кого-нибудь изъ расположенныхъ къ нему людей, или догадывался. Первое письмо за эту осень, которое мы знаемъ, написано еще изъ Вильны. Оно очень характерно по своему настроенію и свѣдѣніямъ, которыя сообщаетъ о біографіи поэта. „Поѣздка за границу полетѣла вверхъ ногами,—пишетъ онъ Зану:— и теперь всѣ мои усилія направлены къ тому, чтобы сдѣланные въ этомъ направленіи шаги вернуть назадъ и избѣгнуть грозящей опасности. Встрѣтились новыя затрудненія! Право, я убѣждаюсь теперь, что не судьба править міромъ, или что, по крайней мѣрѣ, эта судьба должна имѣть хорошіе глаза и разумъ, потому что просто невозможно лучше разсчитать всевозможныя непріятности для насъ. За это время удалили Козловскаго (замѣстителя Мицкевича, о которомъ визитаторомъ былъ данъ очень неблагопріятный отзывъ). Разумѣется это обстоятельство напомнило о моемъ существованіи университету; и потому отдано приказаніе, чтобы я возвращался въ Ковно. Правда, мнѣ удалось перемѣнить отношеніе (къ Козловскому) ковенскихъ учителей, но рапортъ уже пошелъ къ попечителю, и, если Козловскій какъ-нибудь не выпутается передъ правительствомъ, я долженъ буду ѣхать. Могъ бы отговориться болѣзнью, но чтожь изъ этого выйдетъ?”

Сидѣть въ Вильнѣ невозможно, не подвергая себя многимъ опасностямъ. въ Цорсахъ жизнь хорошая, но сидѣть безъ дѣла и какъ будто зависѣть отъ милости хозяина не согласуется съ моимъ образомъ мыслей. Итакъ, придется, вѣроятно, закрывши глаза, возвращаться въ Ковно. Ты легко представишь себѣ, что меня тамъ ожидаетъ. Одинъ Францискъ (Малевскій), который иногда утѣшалъ меня письмами, и тотъ за границей! Въ другое время я опасался бы за свое здоровье, но кто ничего не ждетъ, тотъ ничего и не боится. Кромѣ того, мнѣ теперь рѣшительно все равно, гдѣ быть, если я не могу быть за Рейномъ, за Альпами, за Пелопоннесомъ. Только путешествіе было моею любимой мечтой, однимъ моимъ желаніемъ, но, какъ всѣ желанія, оно обмануло меня какъ разъ тогда, когда я больше всего стремился къ нему. Вотъ тебѣ все главное, что я могу сообщить, подробности оставляю для другого раза“. Т. Занъ былъ въ это время въ Тугановичахъ, и понятна приписка Мицкевича: „если захочешь, найдешь, что отвѣтить: ты въ Тугановичахъ!“ О Марылѣ въ письмѣ ни слова, поклоны ей братьямъ, почтеніе ей матери; Марыли и не было въ Тугановичахъ, вѣроятно, но сколько свѣдѣній о ней Занъ могъ сообщить своему другу.

Приведенный отрывокъ изъ письма Мицкевича рисуется намъ то состояніе разочарованія и апатіи, которое охватило поэта въ то самое время, когда онъ пользовался такимъ шумнымъ успѣхомъ. Этого разочарованія еще нѣтъ въ „Романсахъ и балладахъ“. Байронomanія не успѣла отразиться на нихъ. Зато теперь байроновскій сплинъ, видимо, сильно охватилъ поэта. Даже грозившая политическая опасность не выводитъ его изъ этого равнодушія, и послѣднее письмо изъ Вильны Зану совсѣмъ необычно для Мицкевича, слишкомъ апатично. Но здѣсь есть чрезвычайно важная подробность о томъ, что уже грозило филаретамъ. Очень настойчиво Мицкевичъ совѣтуетъ Зану, приѣхавъ въ Вильну и вылезши изъ экипажа (вѣроятно, на почтовой станціи), никуда не заходить и ни съ кѣмъ не вѣдаться, а прямо отправиться „къ кандидатамъ, къ Крыницкому“, гдѣ его будетъ ждать письмо отъ Мицкевича. Изъ него онъ узнаетъ, какъ надо поступить. „Не забудь моего предостереженія и выполни мой совѣтъ“, подтверждаетъ поэтъ и еще разъ прибавляетъ: „Повторяю, ни съ кѣмъ не вѣдйся раньше: хорошо бы было, если бы ты сначала не забѣжалъ на старую квартиру. Впрочемъ, не давай моему пред-

остереженію слишкомъ серьезнаго и грознаго толкованія. Дѣло это, навѣрное, кончится ничѣмъ, хотя мнѣ много повредило, что меня винутали въ него“. Такъ уже осенью 1822 г., даже раньше—весной 1822 г., надъ филаретами нависла гроза.

1-го сентября Мицкевичъ былъ уже въ Ковнѣ, а 3-го онъ жадуется на „оливный трудъ, за который опять принялся“. Впрочемъ той юношеской меланхоли, которая томилъ поэта года два тому назадъ, уже нѣтъ; Мицкевичъ становился старше и тосковаль болѣе опредѣленно, чѣмъ раньше. Въ сентябрѣ онъ пишетъ письмо Зану, закидывая его вопросами о Нери (Марыль): знаетъ ли она, гдѣ онъ проведетъ этотъ годъ, не вспоминаетъ ли его кто-нибудь въ Тугановичахъ, кто именно и почему, какъ? Онъ проситъ не ограничиваться общими указаніями, но привести какую-нибудь подробность, мѣсто, время, слово, подхваченное на лету. „Ты умѣешь, ты можешь все это описать такъ хорошо, если только захочешь“. Тутъ же и намекъ на Ковальскую: „нѣчто, что раньше услаждало мое существованіе въ Ковнѣ, а теперь, при моемъ перемѣнившемся положеніи, только печалитъ меня и часто приводитъ въ ужасъ“. Какъ мы знаемъ изъ восторженныхъ словъ Одынца, посѣтившаго Мицкевича и совершенно не догадывавшагося о настоящихъ отношеніяхъ между 28-лѣтней красавицей и поэтомъ, именно въ эту зиму Ковальская окружила Мицкевича особенно нѣжной заботливостью. Что же такъ мучило его? Необходимость скрывать передъ докторомъ Ковальскимъ то, что произошло, или равнодушіе, которое наступило въ душѣ его послѣ перваго увлеченія? По тѣмъ отрывочнымъ даннымъ, которыя мы находимъ въ письмахъ Мицкевича, отвѣтить на эти вопросы едва ли возможно. Но, вообще, эти отношенія были ненормальны, мучительны, полны лжи, и Мицкевичъ не могъ не томиться ими; повидимому, очень страстно онъ никогда не любилъ Ковальской, но долгое одиночество, которое онъ раздѣлялъ съ нею, постепенно ихъ сблизило и перешло въ увлеченіе. И это увлеченіе вспыхнуло въ душѣ Мицкевича и остыло. Она же любила его серьезно, долго, всю жизнь. Это былъ для нея источникъ большой сердечной драмы, и легко понять, почему Мицкевичъ „часто приходилъ въ ужасъ“. Что касается его литературныхъ интересовъ, которые, какъ всегда, отражаются въ его письмахъ, то на первый планъ выступаютъ здѣсь увлеченіе англійской поэзіей и замыслы, вѣроятно, въ духѣ Вальтера Скот-

та. Онъ просить добыть ему „Britische Dichterproben“ по-англійски и по-нѣмецки и достать Гваньини, и русскую исторію Коцебу (т. III), и жизнь Свидригайла. Нужно ли это было для окончательной отдѣлки „Гражины“? Въ III томѣ „Preussens ältere Geschichte“ (1808) Коцебу Мицкевичъ находилъ исторію того же Свидригайла, но здѣсь заключались и нужные ему матеріалы для позднѣйшаго „Конрада Валленрода“. Вѣроятно уже въ эту пору въ его память врѣзалась образы грессмейстеровъ, о которыхъ писалъ Коцебу. И любопытно, что въ одномъ и томъ же письмѣ отразилась та двойственность тогдашнихъ интересовъ Мицкевича, которая обнаружилась и въ вышедшемъ вскорѣ II томѣ его сочиненій, гдѣ романтическіе „Дѣды“ сочетались съ классической „Гражиной“. Однако эта послѣдняя въ ту пору подвигалась уже туго, и Чечоту поэтъ, сообщая о сравнительномъ благополучіи своей внѣшней жизни, заявляетъ: „умъ какъ-то оцѣнѣлъ, повѣсти не могу окончить, стихи вытягиваю, какъ желѣзную проволоку, и не знаю, сумѣю ли окончить за недѣлю, какъ предполагалъ“. Повидимому поэта томилъ тоска по Марылѣ, теперь послѣ свиданій съ ней еще болѣе острая, чѣмъ раньше. Вопросы о Періи встрѣчаются чуть не въ каждомъ его письмѣ къ Зану. Мицкевича удивляетъ и сердитъ, что тотъ, имѣя возможность такъ часто съ ней видѣться и разговаривать, мало пользуется этой возможностью. На новое сообщеніе Зана о Періи, въ которомъ Мицкевичъ нашелъ что-то неясное и страшное, онъ отвѣчаетъ въ началѣ октября: „Сообщи мнѣ съ этой самой okazji непременно, непременно, непременно, что значатъ въ твоёмъ письмѣ эти слова: „не знаю, кто займетъ его (Новицкаго) мѣсто, теперь и всегда необходимое“. Объясни точно и никогда не лжши мнѣ никакихъ извѣстій изъ Болценникъ двусмысленно и расплывчато, каждое слово должно быть математически точно“. Очевидно, что-то произошло въ отношеніяхъ поэта къ Марылѣ, потому что онъ нервничаетъ и настаиваетъ на самыхъ подробныхъ сообщеніяхъ. Не прошло недѣли послѣ этого тревожнаго и ревниваго письма, какъ Мицкевичъ опять пишетъ Зану (18 октября 1822 г.): „Прежде всего дѣлаю тебѣ выговоръ (wygowor) за то, что ты присылаешь мнѣ только извлеченія: съ этихъ поръ, если случится получить что-нибудь изъ Болценникъ, должно быть цѣликомъ положено въ конвертъ и отдано на первую почту. То же самое сдѣлать и съ прошлымъ листкомъ. Если Періи навѣрное

должна быть въ Вильнѣ, я хотѣлъ бы прибѣжать къ вамъ на минутку, а впрочемъ, ты увидишь, хорошо ли или нѣтъ это будетъ... На случай, если бы я не былъ въ Вильнѣ, я жду подробнаго описанія всего разговора, всѣхъ словечекъ, всѣхъ обстоятельствъ. Если что будетъ сказано и обо мнѣ, ты долженъ умѣть отвѣчать и не нуждаешься въ инструкціи“. И здѣсь же любопытная приписка, бросающая яркій свѣтъ на отношенія Мицкевича къ Ковальской: „Была теперь въ Вильнѣ Ков. Но для меня она теперь уже только госпожа Ковальская, велѣла рѣдко видѣться съ собою. Она знаетъ о жизни Пери. Что произошло между нами вслѣдствіе этого обстоятельства, я опишу позже. Я много перечувствовалъ, расставаясь съ такой доброй подругой, которѣю теперь только я узналъ лучше всего“. Это холодное признаніе, которое брошено мимоходомъ, не заслоняясь чувствомъ къ Пери, представляетъ лишь конечный эпизодъ въ исторіи всей этой измѣнчивой любви поэта, лишь одинъ изъ сухихъ, равнодушныхъ отчетовъ о томъ, что такъ недолго его плѣняло. Душа Мицкевича поглощена Марылей. Несомнѣнно ему удалось дѣйствительно съѣздить въ Вильну и лично повѣдаться съ Пери. Сцена была бурная, мучительная для обонхъ. Около 15 октября (какъ полагаетъ Калленбахъ), немедленно по возвращеніи Мицкевичъ пишетъ Зану возбужденное, страстное письмо, все посвященное Марылѣ: „Что же ты за посредникъ мой, ты—холодный философъ, который полагаетъ, что все можно забыть! Обо всемъ можно забыть! Затѣмъ это словечко, которое ты мнѣ вчера сказалъ (значить, въ Вильнѣ?): это средство лѣченія меня похоже на зерно яда, которымъ непрерывно гложеть меня. Какъ ты могъ, какъ ты посмѣлъ притти къ такой мысли, Томашъ? Неужели ты будешь всегда считать такой ничтожной вещь своихъ друзей? Но правдѣ сказать, я самъ не знаю, чего злѣю, чего пристаю къ тебѣ, но я хотѣлъ бы, чтобы желчь лилась съ этого пера. Я въ скверномъ настроеніи. Видясь послѣдній разъ съ Пери, я нарочно сказалъ ей нѣсколько неприятныхъ вещей, чтобы ее огорчить. Опомнившись, я чувствую низость моего поведенія. Она и не взглянула на меня, когда я уѣзжалъ. Томашъ, ты съ ней видишься и разговариваешь. Скажи ей что-нибудь обо мнѣ. Не прочитаешь ли ты въ ея глазахъ прощенія? Брось на время свою философію и утѣшь меня. Ты умѣешь убѣждать, уговори ее, чтобы она берегла свое здоровье, если дорожишь сколько-ни-

будь дружбой ко мнѣ. Самъ я не смѣлъ дѣлать ей никакихъ предложеній, потому что она была на меня разсержена. Отвѣть мнѣ, ради Бога, какъ можно скорѣе! Вѣдь сколько у тебя теперь матеріала для писанія, если бы ты только захотѣлъ. Это письмо я посылаю въ 11 часовъ, а прѣѣхаль въ половинѣ 8-го, не буду спокоенъ, пока не получу твоего отвѣта“.

Не дожидаясь письма Мицкевича, сама Марыля шлетъ ему въ Ковно (16 окт.) торопливое французское письмо. Она не винитъ своего друга въ рѣзкости или несправедливости: напротивъ, извиняется и оправдывается. „Я васъ оскорбила, я заслуживаю вашего гнѣва, я признаю это. Вы должны меня простить, потому что я уже очень наказана за мои безумства. Я терзаюсь угрызениями совѣсти и черной тоской. Если вы хотите хоть сколько-нибудь успокоить мою истерзанную душу, простите меня. Я могу еще сказать въ свою защиту, что вы сами вызвали меня. Вы задѣли во мнѣ самую чувствительную струну. Припомните, пожалуйста, все то, что вы мнѣ сказали съ насмѣшливымъ видомъ. Я слишкомъ горда, чтобы переносить такія униженія. Вы сами натолкнули меня, и я, правда, наговорила вамъ рѣзкостей (*des propos indiscrets*). Но я прошу у васъ теперь тысячу разъ прощенья, и я надѣюсь, что вы согласитесь простить меня. Я не сумѣла воспользоваться минутами, такими дорогими для моего сердца. Я должна васъ видѣть, говорить съ вами, услышать васъ, чего бы это ни стоило. Если вы меня прощаете, будьте добры написать хоть одну строчку (по адресу Том.). Прощайте, будьте здоровы, будьте счастливы, насколько смертній можетъ быть счастливъ въ этомъ мірѣ. Въ истинномъ смыслѣ словъ вашъ другъ (*Votre amie*). 16 окт. Вильна. Я брала этотъ листокъ десять разъ, чтобы отнести его на почту, но такъ и не рѣшилась сдѣлать это. Поэтому я рѣшила сдѣлать это съ другой оказіей“. Отвѣтъ Мицкевича не заставилъ себя долго ждать. Къ счастью, онъ сохранился. Письмо написано по-польски, на ты. Оно слишкомъ длинно для того, чтобы я могъ привести его здѣсь цѣликомъ. Нѣсколько извлеченій достаточно характеризуетъ его. Вотъ начало: „Марія, послѣ всего того, что ты мнѣ сказала во время нашего послѣдняго свиданія, я не рѣшаюсь много писать тебѣ. Если ты взглянешь на этотъ листокъ съ такимъ презрѣніемъ, съ какимъ смотрѣла на меня, мнѣ кажется, что я и здѣсь почувствую этотъ взглядъ. Но нѣтъ, дорогая Марія, ты меня простишь, ты меня

простила, хотя я самъ даль поводъ такъ обращаться со мною. О, если бы ты знала, что я потомъ перечувствовалъ, обдумывая свое ребяческое, дикое и грубое поведеніе. Въ то время, когда ты меня встрѣчала съ такой нѣвинной дѣтской радостью, я отвѣчала съ какимъ видомъ? какимъ тономъ? тебѣ, непривычной къ этому, не ожидающей этого отъ меня... Возлюбленная Марія, я тебя чту и обожаю, какъ небожительницу. Но я не могу удерживаться отъ страшнаго волненія, когда вспоминаю, что я потерялъ тебя навсегда, что я буду только свидѣтелемъ чужого счастья, что ты забудешь обо мнѣ; часто въ одну и ту же минуту я молю Бога, чтобы ты была счастлива, хотя бы и забыла обо мнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ готовъ закричать, чтобы ты умерла вмѣстѣ со мной... Какъ же я смѣлъ опечалить тебя! Тебѣ я обязанъ, если имѣлъ когда-нибудь въ жизни одно божественное мгновеніе. Ты—мой ангелъ хранитель, всегда находящійся около меня...

Правда, моя Марія, ты часто преувеличиваешь мою вину, часто ошибочно объясняешь или не хочешь понять того, что я говорю, не обращаешь вниманія на мое положеніе. Давно, послѣ перваго знакомства, я сказалъ что-то съ пренебреженіемъ объ общественномъ мнѣніи. Какъ ты долго помнила это, какое отвратительное и обидное толкованіе дала моимъ словамъ! Когда по приѣздѣ моемъ въ Вильну я не хотѣлъ или, вѣрнѣе, не смѣлъ видѣться съ тобой, я не знаю, какъ ты это объясняла, но знаю, что не въ мою пользу. Не удивительно, что и теперь, за все, что я выговорилъ такъ быстро, что я вставилъ въ дикомъ увлеченіи, нарочно, чтобы обидѣть тебя (признаюсь и въ этомъ), чтобы отомстить тебѣ за злыя часто шутки,—не удивительно, что ты меня за это сейчасъ же осудила“. Далѣе Мицкевичъ перечисляетъ эти „злыя шутки“ ((ostre żarty), повидимому, плодъ недоразумѣнія: Марія сказала, что онъ напрасно потерялъ время для поѣздки въ Вильну, вѣроятно, вызванная его же рѣзкимъ тономъ и т. под. Потомъ наступаютъ просьбы беречь свое здоровье. „Безпокойство мысли, спутанность чувствъ, обнаруживающіяся въ чертахъ твоего лица, часто заставляли меня содрогаться. Дорогая, единственная моя! Ты не видишь пропасти, надъ которой мы стоимъ. Какое страшное вліяніе это можетъ имѣть на твое здоровье, на спокойствіе твоего ума! А я не переживу тебя ни одной минуты. Неужели ты хочешь сложить на меня тяжкую ответственность, что я былъ виновникомъ твоего несчастья? Если

хочешь, чтобы я был спокоенъ, чтобы я былъ веселъ, чтобы я любилъ тебя съ чувствомъ счастья или, по крайней мѣрѣ, безъ отчаянія, дай мнѣ примѣръ, и съ этой минуты я клянусь подражать тебѣ“¹⁾). Вотъ то настроеніе, въ которомъ складывался образъ Густава. Мы точно слышимъ въ этомъ письмѣ его монологи, его жалобы и вспышки гордой насмѣшливости. „Моя любовь такъ же невинна и божественна, какъ и предметъ ея“, говоритъ здѣсь поэтъ, и именно о чистотѣ своей любви вспоминаетъ съ такой нѣжностью герой „Дѣдовъ“.

Осенью 1822 года Мицкевичъ особенно нервничаетъ, въ каждомъ письмѣ къ Зану и другимъ товарищамъ онъ жалуется на судьбу, на Ковно: холодный и равнодушный тонъ писемъ въ августѣ и сентябрѣ смѣнился какимъ-то безуміемъ. „Никогда еще Ковно не было для меня такъ невыносимо. Быть на разстояніи нѣсколькихъ миль и не видѣться“ (къ Зану, около 20 окт.). „Скажи Томашу, чтобы онъ блага конверта не отдавалъ, только изъ рукъ въ руки, иначе пусть лежитъ у него или пусть отошлетъ мнѣ назадъ“ (Чечоту, въ октябрѣ же). „Еще разъ стучусь къ тебѣ (не получивъ отвѣта). Отвѣть мнѣ сейчасъ же. Вотъ уже нѣсколько дней меня мучатъ злыя предчувствія о вашемъ здоровьи или, вообще, о какомъ-нибудь дурномъ извѣстїи“ (тогда же). „Она точно какой-то заколдованный кругъ, который охватываетъ всѣ мои мысли и чувства... такой хаосъ въ моей головѣ“ (Чечоту, около 25 окт.). Такія же чувства и въ письмѣ къ Зану, посланномъ въ тотъ же день или въ одинъ изъ ближайшихъ дней. Въ письмѣ къ Чечоту поэтъ искренно горюетъ, что, поглощенный своимъ чувствомъ къ Марїи, становится менѣе отзывчивымъ на все остальное, пренебрегаетъ дружескими отношеніями. Къ Зану же онъ относится съ удивительной требовательностью и подозрительностью, вѣчно иляя его за непониманіе, за то, что Занъ со своей прямой и искренней натурой, повидимому, тяготился своей ролью посредника. Посредникъ! — „Быть посредникомъ Марїи!“ — восклицала Мицкевичъ. — „Пусть, кто хочетъ, смѣется надо мной въ душѣ, пусть презираетъ меня.

¹⁾ Марїя уѣхала изъ Вильны въ Болсеники раньше, чѣмъ Занъ успѣлъ отдать ей письмо; Занъ долженъ былъ написать ей въ условныхъ выраженїяхъ, что Мицкевичъ проситъ у нея прощенїя, но самъ онъ, кажется, видѣлъ здѣсь „сору, необходимую въ романахъ“. Niezłame Pisma, 367.

для меня это вода (излюбленные словечки, которые Мицкевич любил иногда употреблять, потомъ совѣсьмъ забывая ихъ); пусть, кто хочет, любить меня, становится моимъ другомъ, и это вода, но пусть, если не льститъ (вѣроятно Занъ въ своихъ упрекахъ заявилъ, что не хочетъ льстить, и сказалъ нѣсколько горькихъ истинъ, еще болѣе возмутившихъ душевное спокойствіе бѣднаго поэта), то, по крайней мѣрѣ, не поблажаетъ, т.-е. больше, чѣмъ укусомъ. (Суди себѣ объ этомъ, что хочешь“ (страшные обороты!) Въ концѣ письма опять намеки на самоубійство. „Двѣ струны всегда одинаково настроенныя, для чужихъ ушей неприятны, но, навѣрное, онѣ уже недолго будутъ звенѣть; слишкомъ натянуты, и которая-нибудь изъ нихъ лопнетъ. Одновременно обѣ!“

Однако ни одна струна не порвалась, и все начинало улаживаться. На цѣлый мѣсяць наши свѣдѣнія о душевномъ состояніи Мицкевича прерываются, а когда возобновляются, мы узнаемъ, что Марія стала спокойнѣе и чувствуетъ себя хорошо. „Хотя хорошо себя чувствовать! Въ то время, когда—но довольно объ этомъ; это послѣдній вздохъ самолюбія; стыжусь его, но это мгновеніе! Всегда буду благодарить Бога, по крайней мѣрѣ, не буду жаловаться, если она совершенно забудетъ меня и будетъ счастлива“. О себѣ Мицкевичъ сообщаетъ мало: „моя физическая и нравственная жизнь все такая же“; зато въ письмѣ все время ссылки на доктора Ковальскаго. Очевидно съ его домомъ продолжалось частое и дружеское общеніе. Какъ бы то ни было, кризисъ миновалъ. Измученный, больно, поэтъ возвращался къ литературѣ. Въ ноябрѣ онъ сообщаетъ Чечоту, что закончилъ „Гражину“. Само собой разумѣется, что эта „повѣсть“ не соответствовала его тогдашнему настроенію. „Это первая работа, окончаніе которой меня не радуетъ, потому что, по большей части, она настроена (клерала) *invita Minerva*. Черезъ нѣсколько дней вы будете ее имѣть“. Поэтическая исповѣдь „Дѣдовъ“ была ему гораздо милѣе и ближе. „И „Дѣды“ были бы уже готовы, но меня душила повѣсть, а первую часть „Дѣдовъ“ я немного исправлю по указаніямъ, которыя мнѣ когда-то сдѣлалъ Боровскій“. Между тѣмъ Боровскій уже въ началѣ 1822 года читалъ и хвалилъ „Гражину“. Какъ же она могла „душить“ Мицкевича теперь, въ концѣ 1822 года? Очевидно поэма была передѣлана, и многое въ ней было написано заново. Это предположеніе подтверждается критикой „Гражины“. Что касается „Дѣдовъ“, то здѣсь имѣется въ

виду, конечно, первая половина драмы, важное указание на время, когда писалась четвертая часть, которая по своему настроению так близка к тогдашним письмам поэта. Это было состояние постоянного нервного напряжения, какого-то беспредметного безпокойства. „У меня все попрежнему“, сообщает он Чечоту в том же письме: „я здоровъ, но часто страдаю отъ силлина; сегодня я не спалъ. не възъ капрюза или добровольнаго самотерзанія, но отъ тоски (nudy) и какого-то безпокойства, отъ которыхъ мнѣ уже давно жизнь опротивѣла, и противъ которыхъ я не могу найти никакого лѣкарства“. Нѣсколько позже, передъ Рождествомъ, Мицкевичъ оправдывается передъ друзьями, что давно не писалъ. Не о чемъ писать, да скоро онъ и самъ прѣдетъ на каникулы, потому что ему нужно проѣхаться. Гимновъ дружбѣ поэтъ уже не слагаетъ; ковенское одиночество, отсутствіе писемъ отъ товарищей, въ которыхъ онъ такъ нуждался, разочаровали молодого мечтателя въ дружбѣ. Только арестъ и новое общеніе съ друзьями въ тюрьмѣ, которое имѣло такое громадное вліяніе на весь душевный складъ Мицкевича, возстановили его вѣру въ утраченный идеалъ братства, опять окрылили душу поэта вышними стремленіями. Теперь же онъ переживалъ эпоху самаго горькаго разочарованія въ смыслѣ жизни, въ женской вѣрности, въ братскомъ самоотверженіи. Это былъ періодъ „бритономаніи“, байронизма, который теперь, именно этой своей стороной разочарованія, соотвѣтствовалъ душевному настроенію Мицкевича. Въ давно уже извѣстномъ письмѣ его къ Малевскому (22 ноября 1822 г.) онъ рисуетъ свое настроеніе въ слѣдующихъ строкахъ: „Не слишкомъ плачусь надо мною. Легче привыкать, нежели отвыкать. Я тоже ко многому привыкъ. Ковно становится теперь для меня домомъ, Вильно поѣздкой въ гости, Новогрудокъ за границей. Прежде я былъ душою въ Вильнѣ. Теперь не испытываю никакого желанія ѣхать туда. Я привыкаю къ школѣ, потому что мало читаю, мало пишу, часто думаю и страдаю, а потому нуждаюсь въ ослиномъ утомленіи. Вечеромъ играю въ бостонъ на деньги, никакого общества не люблю, музыку слышу рѣдко, не питаю никакого интереса къ игрѣ въ карты не на деньги. Читаю только Байрона, всѣ книжки, написанныя въ другомъ духѣ, бросаю въ сторону, потому что лжи не люблю; гдѣ есть описаніе счастья семейной жизни, точно также возмущаетъ меня, какъ и видъ супружествъ, дѣтей... это величайшая моя

антипатія. Вотъ я и описалъ себя съ головы до ногъ“. Дальше жалобы на взаимное охлажденіе друзей, вскользь равнодушная замѣтка объ успѣхѣ балладъ и необходимости новаго изданія ихъ, просьба купить ему, если не дорого, „Gedichte“ Гёте въ трехъ томкахъ, „Lalah-Rook“ Мура, „Roderik“ Саутея, что-нибудь новое Байрона, напримѣръ, „Magino-Falieri“ или другую трагедію.

Въ такомъ душевномъ состояніи находился Мицкевичъ, когда, больной, изстрадавшійся и востосковавшійся по „семейному счастью“ (не даромъ онъ такъ презрительно отзывается о немъ), онъ приѣхалъ на Рождество 1822 г. въ Вильну. Друзей сильно обезпокоилъ его видъ. Одинъ изъ нихъ, Он. Петрашкевичъ, описывалъ такъ состояніе поэта: „Былъ на Рождествѣ Адамъ, вырывалъ и пломбировалъ зубы; казалось, что онъ сталъ немного спокойнѣе, но все такой же фантазеръ (chimeruszyu). Спокойствію его сильно могло поспособствовать отсутствіе въ Вильнѣ Маріи. Поѣздка за границу, разлука съ мѣстами, разжигающими его чувства и возбуждающими столько воспоминаній, были бы лучшимъ и, кажется, наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ леченія его... Какъ онъ измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ я его видѣлъ. Теперь это настоящій мрачный англичанинъ, не расстающійся съ трубкой онъ написалъ пріятную и интересную повѣсть „Гражницю“, которая будетъ напечатана въ второмъ томѣ вмѣстѣ съ „Дѣдами“, этотъ томъ находится въ цензурѣ. Пожалуй, только одно время излѣчить его любовную рану: право, это оригинальная любовь. И тотъ и другой думаютъ, что нашли идеаль, а между тѣмъ остаются людьми. Ахъ, если такія увлеченія полезны въ странѣ воображенія какъ они вредны въ практической жизни“. Это были общій голосъ друзей Мицкевича, которые не знали, какъ спасти поэта отъ его терзаній, тоски, отъ вѣчной головной боли, которой онъ сталъ страдать, отъ бессонницы и полного нервнаго расстройства. П. Зань тревожился, „старался придать болѣе мягкое направленіе чувствамъ Маріи и Адама, но не былъ увѣренъ въ успѣхѣ своихъ стремленій“, а Чечоть прямо въ отчаяніи писалъ Малевскому, застрявшему въ Берлинѣ. „Съ Адамомъ мы не знаемъ, что и дѣлать. Учительствовать онъ больше ни въ коемъ случаѣ не можетъ, иначе окончательно потеряетъ здоровье: говорить, что уроки парализуютъ его на цѣлый день. Хотя теперь онъ кажется болѣе спокойнымъ и даже дѣйствительно болѣе спокойнѣе, но онъ

всегда скученъ, часто страдаетъ безсонницей, постоянно живеть одной трубкой и кофеемъ. Каждый видитъ, и самъ онъ мечтаетъ, и доктора увѣряютъ, что ему совершенно необходимо путешествіе, но какое же это путешествіе? Какого онъ хочетъ? Неужели не учиться? Избави Боже, ходить и ходить“. Самая нѣжная заботливость обнаруживается дальше въ этомъ письмѣ: куда поедетъ Адамъ? да вѣдь его обокрадутъ. Нужно, чтобы за нимъ кто-нибудь присматривалъ, а онъ хочетъ только итти и итти, забраться куда-нибудь въ Riesengebirge, въ долины, подальше отъ людей. „Постарайся, Францискъ, остаться подольше за границей, а то я боюсь отпустить его одного“. Живо интересовались друзья и творчествомъ поэта: Чечотъ расхваливаетъ „Гражину“, и обѣ части „Дѣдовъ“, которыя должны войти во второй томъ.

Изъ всѣхъ этихъ данныхъ мы можемъ извлечь убѣжденіе, что изъ Вильны Мицкевичъ возвратился съ рѣшеніемъ непременно добиться возможности ѣхать за границу, на что у него имѣлись триста рублей, казавшіеся огромнымъ капиталомъ его друзьямъ (напр., Ежовскому, который тоже мечталъ ѣхать за границу). Пока же предстояло привести въ порядокъ все намѣченное для второго тома, и эта работа захватила Мицкевича. Его письма за вторую половину этого учебнаго года, т. е. за весну 1823 года, полны ею; Марыля какъ-то отходитъ на задній планъ.

Съ января 1823 года начинается интенсивная работа надъ „Дѣдами“, приготовленіе ихъ къ печати. Чечоту, Зану, особенно первому, Мицкевичъ пишетъ длинный рядъ писемъ съ указаніями, какъ печатать то или другое мѣсто, съ сообщеніемъ, какъ онъ самъ смотритъ на свои произведенія. Эти письма вводятъ насъ въ лабораторію поэта, и уже поэтому заслуживаютъ особеннаго вниманія. Соберемъ эти указанія, разбросанныя въ письмахъ. „Я отошлю большую часть „Дѣдовъ“, исправить не сумѣлъ ничего. Если бы не это несчастное обязательство печатать (т. е. объявленная подписка на изданіе второго тома), пошли бы они подъ красное сукно. Въ дѣйствительности я имѣлъ о нихъ лучшее представленіе, пока теперь не сталъ читать. Но что же дѣлать? Не принимай этого за преувеличеніе или хвастовство, но я убѣжденъ, что, кромѣ балладъ, все остальное преждевременно и, если я проживу дольше, эти пустяки (szpargaly) будутъ мнѣ колоть глаза. Но повторяю: что дѣлать? Во второй части не хватаетъ нѣсколькихъ стиховъ въ томъ переходѣ (въ десять



А. МИЦКЕВИЧЪ.

Съ акварельнаго портрета Вальковича (1823), находящагося въ Национальномъ музеѣ въ Краковѣ.

съ чѣмъ-то строкъ), который я придѣлать позже, но мнѣ трудно ихъ теперь додѣлать, такъ далеко улетѣла муза, а никакой Зоси для вдохновенія не имѣется. Что же касается Зоси, то я долженъ сдѣлать тебѣ одно признаніе. Изображеніе Каруси въ „Дѣдахъ“ составлено согласно тому, что о ней говорилъ Томашъ (Запѣ). Только ради римы я перемѣнилъ имя: ты вѣдь знаешь, что идеаль Каруси совсѣмъ иной, и я сохраняю его для другого мѣста; поэтому, если ты въ поэтическомъ настроеніи, то я даю тебѣ позволеніе, даже прошу *restituere tertium*, перемѣни имя, соответственно съ этимъ придется, вѣроятно, переделывать одинъ или два стиха. Теперь (Чечотъ, повидимому, самъ былъ влюбленъ въ это время) это должно тебѣ удалиться“ (январь 1823 г. Чечоту). Во второй части „Дѣдовъ“ появляется образъ дѣвушки, которая никого не любила при жизни, „жила на свѣтѣ, но не для свѣта“, порхала, едва прикасаясь къ землѣ и послѣ смерти осуждена носиться также надъ землею, не прикасаясь къ ней. Это не Каруся „Романтизма“, которая грезить наяву своимъ умершимъ Ясемъ, это не трагическій, а сентиментальный образъ. Не соответствовала ли эта перемѣна имени измѣнившемуся отношенію поэта къ Марылѣ, не стало ли ему казаться, что „идеаль Каруси“ не для чего беречь „для другого мѣста“, что онъ вовсе не соответствуетъ Марылѣ? И разъ это такъ, то не для чего и падать Марылю, и если она прежде видѣла себя въ трагической Карусѣ „Romantycznosci“, то пусть теперь она видитъ свой послѣдній портретъ въ „Дѣдахъ“ въ образѣ ко веѣмъ равнодушной, одинокой пастушки, „ямя которой у васъ хорошо извѣстно“ (głośne). *Restituere textum* въ переносномъ значеніи должно было означать возстановленіе прежняго имени героини, которое было Каруся. Пусть Марыля узнаетъ, какъ теперь ея поэтъ смотритъ на Карусю. Этому перевороту въ отношеніяхъ къ Марылѣ, который произошелъ, можетъ быть, не только влѣдствіе разсказовъ Запа, но и подъ влияніемъ личныхъ свиданій въ Вильнѣ, соответствуетъ любопытное признаніе Мицкевича въ письмѣ къ тому же другу, Чечоту, уже въ іюнь 1823 года. „Не слишкомъ жалобся надо мной и имѣй въ виду, что ты, совѣтчикъ, чаще мѣняешься, нежели я, будто бы нуждающийся въ совѣтахъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ ты меня тѣшилъ *naszejdy*, опиравшейся на ея собственныхъ разговорахъ. Спасибо моему характеру, что я принялъ эти общанія равнодушно.

Теперь ты меня утѣшаешь, отнимая у меня надежду, и къ этому я отношусь равнодушно. Мои взгляды, чувства и поступки были неизмѣнны съ того времени, когда я писалъ тебѣ письмо изъ Тугановичъ (въ июль 1821 г.?). Когда я узналъ о чувствахъ Марыли, когда я познакомился съ ней близко, я написалъ, что это будетъ послѣднее письмо жалобъ, упрековъ и восклицаній, и оно было послѣднимъ. Я зналъ, что ея чувства иного рода, нежели мои, что я ее потерялъ; я знаю, что будетъ съ нею и со мной и не считаю ее очень несчастливой. Ты ошибаешься, если думаешь, что ея веселость огорчаетъ меня, а печаль мнѣ льститъ. Это догматъ философіи Томаша. Я самымъ искреннимъ образомъ желаю ей всяческаго счастья, но не всякое можетъ меня радовать такъ, какъ ее, а потому я не обо всемъ хочу знать. Я бы хотѣлъ даже, чтобы она обо мнѣ больше не слышала. Я же буду довыдывать о ней, но отъ другихъ (въ подлинникѣ: „но не отъ другихъ“,—вѣроятно описка). Письмо это сожги; пусть это будетъ послѣдній разговоръ по этому вопросу. Просто сообщай мнѣ, что будешь знать, ничѣмъ меня не рассердишь. Можетъ быть такое объясненіе покажется тебѣ слишкомъ темнымъ, но дѣло не такъ важно, чтобы мучиться надъ его выясненіемъ. Догадайся о томъ, что не ясно. Мнѣ упрекать себя не за что. Если она страдаетъ, то было у нея много и пріятныхъ минутъ; никогда я не хотѣлъ ее мучить и не буду“. Такъ могъ писать Мицкевичъ лишь послѣ „Дѣдовъ“, когда монологи Густава излѣчили его отъ безумной страсти, какъ Вертеръ спасъ Гѣте, и характерно, что, перечитавъ еще разъ „Дѣды“ передъ отсылкой ихъ въ печать, поэтъ уже иначе взглянулъ на Зосю—Марылю. Только боль растравленной раны слышится въ его позднѣйшихъ письмахъ.

Задолго ли до января 1823 года были написаны „Дѣды“? Письмо къ Чечоту, приведенное сейчасъ, казалось бы, даетъ на это отрицательный отвѣтъ. Оно производитъ такое впечатлѣніе, что поэтъ, который осенью и зимой 1822 года, переживая съ новой силой свою печальную любовь, лихорадочно, отрывочно заносилъ свою исповѣдь на страницы романтической драмы, лишь теперь перечиталъ все цѣликомъ, лишь теперь взглянулъ на это цѣлое болѣе объективными глазами и, какъ всегда это бываетъ, остался недоволенъ. Это былъ огромной важности душевный переломъ, который завершилъ все прежнее

развитіе Мицкевича и началъ новую эпоху въ его жизни. Конрадъ еще не родился, но Густавъ уже умеръ. 30 января 1823 г. рукопись „Дѣдовъ“ уже была отправлена Чечоту, а 1 февраля Мицкевичъ изображаетъ въ письмѣ къ Ежовскому свое душевное состояніе, жалуется на утомленіе въ школѣ, на отсутствіе извѣстій о Маріи; удручали его „запутанныя и ужасныя (фатальныя) отношенія съ Клеопатрой“ (т. е. Ковальской). „А если я хочу (въ письмахъ) сообщать о себѣ подробнѣе, я останавливаюсь и думаю, и раскапываю заглушенный въ моей груди Везувій. и тогда лава, градъ камней, дымъ, а въ концѣ *difficulté d'être*, а о письмѣ нечего уже и думать. Прибавь еще скуку школьныхъ занятій. Впрочемъ, сегодня я пишу. Два дня морозовъ въ 29 градусовъ. Уроковъ не было. Завтра праздникъ, и я въ лучшемъ настроеніи духа“. Тутъ же указаніе, важное для генезиса „Гражины“, не задолго до того (въ ноябрѣ) оконченной. Это ссылка на романы Вальтеръ-Скотта. „Были у меня и книжки для чтенія, романы Скотта, трагедія Софокла, и особенно интересная для меня исповѣдь Гёте (N. В. Гёте зналъ человѣка, который, утомленный однообразіемъ, хотѣлъ, чтобы солнце вставало каждый разъ съ другой стороны и въ другихъ цвѣтахъ)“. Сплинь, который давилъ Мицкевича, внушалъ ему опасеніе, что его поэтическій талантъ окончательно покидаетъ его. Но въ то же время у него голова была полна новыхъ замысловъ. Какіе это могли быть замыслы, мы не знаемъ. На „Дѣдахъ“ завершилось юношеское творчество Мицкевича; ближайшія за тѣмъ произведенія его, эротика, крымскіе сонеты, „Конрадъ Валленродъ“ являются отраженіемъ новыхъ событій, новыхъ переживаній уже иной среды; ихъ корни не въ Ковнѣ и не въ Вильнѣ, но въ Одессѣ и Москвѣ. Жизнь и поэзія Мицкевича такъ тѣсно связаны, составляютъ такое неразрывное цѣлое, что трудно и догадаться, о какихъ новыхъ замыслахъ говорилъ поэтъ. Ковенскій періодъ весь исчерпанъ въ „Дѣдахъ“. *Никакихъ* слѣдовъ его въ дальнѣйшей поэзіи Мицкевича (развѣ въ позднемъ „Санѣ Тадеушѣ“ и среди сонетовъ, напечатанныхъ позже, но написанныхъ еще въ Ковнѣ) мы не найдемъ. Это очень характерно для Мицкевича, какъ поэта, и для существа поэзіи вообще.

Однимъ изъ такихъ замысловъ могло быть новое введеніе въ „Дѣды“. Первую часть драмы Мицкевичъ почему-то не могъ приготовить къ этому тому; она дошла до насъ въ отрывкахъ

спорнаго, какъ увидимъ, происхожденія. Мѣсто первой части долженъ былъ занять прологъ „Призракъ“, который былъ написанъ въ февралѣ. Въ эту пору поэту казалось уже невозвратнымъ прошлымъ то настроеніе, въ которомъ слагались „Дѣды“: онъ не могъ ихъ исправить, потому что не былъ въ состояніи „перенестись душой въ то время, когда ихъ писалъ“. Между тѣмъ чрезвычайное сходство писемъ, написанныхъ осенью 1822 года Марыль и Запу, съ монологами Густава заставляетъ думать, что эта часть „Дѣдовъ“ была написана сравнительно недавно,—подтвержденіе высказаннаго выше предположенія, что рождественскія каникулы 1822 года составили эпоху перелома въ душѣ Мицкевича. Въ февралѣ 1823 года было готово и предисловіе къ „Дѣдамъ“, посланное Чечоту съ цѣннымъ замѣчаніемъ: „Посылаю приложеніе къ „Дѣдамъ“ вмѣсто *Zdrowaś Marya* (выпущеннаго по цензурнымъ условіямъ). Нужно переписать согласно съ теперешней поправкой. Приложенія эти не имѣютъ большого значенія, но я напоминаю, что они *взяты съ натуры*, и могутъ внести разнообразіе въ монотонность обряда, придать кое-какое движеніе хору“. О прологѣ „Призракъ“ (Upiór) поэтъ судилъ такъ въ своемъ письмѣ къ Чечоту (15 февраля 1823 г.): „Если въ отсутствіи старыхъ боговъ Муза входитъ въ общеніе съ чертями, не дивись, что появляются на свѣтъ такіа чудовища. Но такъ какъ я уже высказался о прежнихъ плодахъ ея, то объ этомъ хвостѣ ничего не скажу: тутъ нѣтъ ни груди, изъ которой вышетъ пламя, ни горящихъ очей, хвостъ и больше ничего. Ты, Янь, одинъ изъ тѣхъ, которые лучше всего поймутъ этотъ призракъ: ты найдешь въ немъ интересъ, а другимъ онъ пригодится для пониманія остальнаго, да наконецъ это послѣдняя подобная работа въ такомъ родѣ, по крайней мѣрѣ надолго. Что касается вашего протеста противъ мнѣнія о „Дѣдахъ“, то вѣдь вы добрые друзья отца, который съ трудомъ вѣрнѣ похваламъ, такъ щедро достоящимся его дѣтямъ. А, по правдѣ сказать, только одинъ монологъ въ „Дѣдахъ“, *написанный раньше*, и всѣ вторые меньшіе „Дѣды“ не ерунда (*szpagal*). Даже эту любезность мы должны сдѣлать для Зоси“.

Вторые „Дѣды“, вѣроятно, вторая часть; въ четвертой лишь одинъ монологъ нравится Мицкевичу. Первая часть, которая была извѣстна уже Боровекому (письмо отъ ноября 1822 года), такъ и осталось нецѣпленной: и своихъ „Дѣдовъ“ Мицкевичу не хотѣлось

печатать. „Если бы я могъ помѣстить что-нибудь вмѣсто „Дѣдовъ“, или если бы не заставляла печатать предварительная подписка, я не выпустилъ бы этого кривого ребенка съ вылупленными глазами“:—сѣтоваль онъ. Въ другомъ письмѣ онъ считалъ „лучшимъ мѣстомъ“ въ своей поэмѣ: „Jak ona gano wstaje“. Эта нервность была вполнѣ понятна. Стоитъ прочесть письма Мицкевича, писанныя во время печатанія второго тома, чтобы видѣть, какъ онъ много работалъ надъ каждымъ стихомъ, съ какой требовательностью художника относился къ каждому выраженію, въ какое отчаяніе впадалъ, когда друзья не понимали его поправокъ. И когда онъ увѣрялъ, что ему все равно, что онъ совсѣмъ не интересуется больше изданіемъ, мы, конечно, не повѣримъ нервному поэту.

Съ такой же нервностью, требовательностью и придирчивостью по отношенію къ друзьямъ Мицкевичъ говорилъ о своихъ планахъ на будущее. Мечты о поѣздкѣ за границу не покидали его, но надо было, прежде всего, получить отпускъ изъ округа: какъ стипендіатъ, поэтъ долженъ былъ отбыть обязательный срокъ службы. Освободить отъ этой послѣдней могло лишь медицинское свидѣтельство о болѣзни, которое надо было раздобыть, и, конечно, въ дѣло были пушены виленскіе друзья, которые наперывъ усердствовали, напутствуемые грозными внушеніями поэта не тянуть дѣла. Просить о сохраненіи жалованья онъ наотрѣзъ отказался: „не позволяютъ деликатность и совѣтъ, и такъ уже былъ годъ *gratis*“. Да и рѣшеніе затянулось бы, такъ какъ дѣло должно было бы дойти до самого государя. Потомъ начались колебанія. Въ Кременецкомъ лицѣ какъ будто очищалось мѣсто, и на него такіе вліятельные люди, какъ бывшій ректоръ Малевскій, профессоръ Лелевель и Боровскій, мѣтили Мицкевича, который понималъ, что потерять такое выгодное мѣсто было бы чрезвычайно неблагоприятно, и самъ еще годъ тому назадъ мечталъ объ этомъ. Но заграничные планы перетянули: „шагъ сдѣланъ, надо итти дальше, мое здоровье требуетъ поѣздки“, писалъ Мицкевичъ въ мартѣ. Однако судьба и на этотъ разъ не улыбнулась ему, можетъ быть, потому, что онъ хотѣлъ невозможнаго: онъ думалъ, что округъ дастъ ему отставку немедленно, но вѣдь еще предстояли экзамены, еще не былъ законченъ учебный годъ. Университетъ соблюдалъ интересы средней школы, отказывая капризному ковенскому учителю. Мицкевичъ принялъ отказъ нервно и несправедливо. „Это сообщеніе ударило меня по го-

ловѣ. Прозябать здѣсь до ваканціи для меня физически и морально почти невыносимо. Постановленіе университета противорѣчить законамъ, потому что каждый учитель можетъ во всякое время вслѣдствіе разстроенаго здоровья получить отпускъ (sic uwolnić) отъ правленія университета, если только онъ не просить жалованья. Но таковы уже наши судьбы!“ вздыхалъ поэтъ. Это было 9 апрѣля, 14-го онъ собирался ѣхать въ Вильно на праздники, и рѣшеніе его было твердо: „въ Ковнѣ на будущій годъ я не буду“. Впрочемъ это рѣшеніе далеко не исключало дальнѣйшихъ колебаній, и именно тогда, когда (въ маѣ) отъ попечителя было получено увольненіе, и начались настоящія колебанія. Къ іюню 1823 года относятся два письма, совершенно противорѣчающія другъ другу (№ 91 и 95). Я не знаю, на какомъ основаніи издатель ихъ, проф. Калленбахъ, помѣстилъ одно хронологически раньше другого; по моему мнѣнію, могло быть и обратно. На мѣсто Мицкевича, который получилъ отпускъ, былъ назначенъ Бартошевичъ, и поэтъ вдругъ испугался. Въ одномъ письмѣ къ Чечоту (№ 91) онъ сообщаетъ, что уговорился съ директоромъ школы, Добровольскимъ, что „остается на мѣстѣ“ и даже уговорился съ нимъ относительно распредѣленія уроковъ, въ другомъ же не можетъ даже писать о томъ, чтобы еще остаться въ Ковнѣ. „Здѣшніе ученики надоѣли мнѣ до послѣдней степени“, заявлялъ онъ Чечоту. Жизнь устранила все эти колебанія. Бартошевичъ пріѣхалъ, оставалось проститься съ Ковномъ. И поэтому стало жаль его, жаль Ковальской, которая улаждала ему существованіе, вообще невыносимое: „мы привыкли бесѣдовать, дѣлать общія наблюденія, развлекаться; мой отъѣздъ очень ее опечалить. Пришли мнѣ также 15 или, по крайней мѣрѣ, 10 руб. ассигнаціями“, неожиданно закончилъ поэтъ.

Вѣчная бѣдность, постоянныя колебанія въ чувствѣ къ Маріи, которыя такъ ярко отразились въ IV части „Дѣдовъ“, неустойчивыя и тяжелыя своей неопредѣленностью отношенія къ Ковальской, сознательное отвращеніе къ педагогической дѣятельности надъ „жмудекими головами“, хворь, иногда дѣйствительная, иногда мнимая¹⁾, много разбитыхъ надеждъ: вотъ что оста-

¹⁾ Въ августѣ еще велась официальная переписка по поводу желанія Мицкевича ѣхать на два года „въ Австрію и Италію къ тамошнимъ минеральнымъ водамъ“, и ректоръ Твардовскій доносилъ литовскому воен-

влиять Мицкевичъ, навсегда покидая Ковно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ везъ изъ него славу поэта, неизсякаемый родникъ поэзій, пробившійся здѣсь съ такой силой въ его душѣ; здѣсь онъ подготовилъ въ своей душѣ великій переворотъ, который былъ такъ важенъ и знаменателенъ для всей польской жизни. Къ этому времени относится, повидимому, стихотвореніе „Художнику“. Чечоть набросалъ портретъ Марыли и прислалъ его Мицкевичу, который горячо благодарить его въ нѣсколькихъ письмахъ, недавно напечатанныхъ проф. Калленбахомъ. „О, волшебникъ художникъ! Я беру у тебя украденное у моей Маріи лицо! Вѣчно я буду прижимать его къ любящему сердцу, никогда не оторвѣ глазъ и мыслей отъ ея чертъ!“ Въ шутливой формѣ онъ жалуется и здѣсь, что онъ настоящій академикъ (Szczerzy,— слово, которое какъ разъ въ этихъ весеннихъ письмахъ 1823 г. особенно часто встрѣчается у Мицкевича), что „обученіе жмудскихъ головъ скоро надорветъ ему грудь, а мудрецъ, написавъ вязанку шедевровъ, на питье получаетъ дымъ похвалъ, а на закуску лавръ“...Марія не выходила изъ его памяти. „Прочь съ моихъ глазъ! И я слушаюсь сразу. Прочь изъ моего сердца! и сердце повинуется. Прочь изъ моей памяти! Я слушаюсь приказа, но память остается глуха къ приказаньямъ“: такъ писалъ къ М* поэтъ въ 1822 году. „Въ каждомъ мѣстѣ и во всякое время, всегда и всюду я буду съ тобою; тамъ я съ тобой плакать, тамъ смѣяться: всюду я оставилъ частицу своей души“. Весной, выпуская второй томъ своихъ сочиненій, ея же именемъ (Do Marii P.) поэтъ украсилъ книгу. „Марія, сестра моя! Мы побратались не родственной связью, но умомъ и духомъ. Причудливость рока и твой приговоръ не позволяютъ мнѣ повторять названья, такія же святые, но болѣе милыя; все-таки брось свой взглядъ въ минувшіе годы и прими изъ рукъ брата воспоминанья влюбленнаго“. Такъ Мицкевичъ завершилъ свое пребываніе въ Ковнѣ.

Получивъ отпускъ на два года (съ 1 сент. 1823 г.), Мицкевичъ намѣревался ѣхать за границу; начались безконечныя въ ту пору хлопоты изъ-за граничнаго паспорта; весною 1824 года еще продолжались разспросы о политической благонадежности по-

ному губернатору, что „болѣзнь сего учителя, по свидѣтельству ковенскаго уезднаго лѣкаря доктора Ковальскаго, есть грудная, отъ чего происходитъ боль въ правомъ боку и плаваніе кровью“.

эта, который въ эту пору, конечно, уже успѣлъ въ Базиліанскомъ монастырѣ доказать какъ разъ свою неблагонадежность. Какъ и гдѣ Мицкевичъ провелъ это лѣто, въ точности неизвѣстно. Повидимому, въ Вильнѣ, въ обществѣ друзей. 12 іюля Ежовскій въ одномъ изъ своихъ писемъ рассказываетъ, какъ поздней ночью къ нему въ Троки явилась компанія, состоявшая изъ Мицкевича, его брата Александра, Чечота и Янушевскаго.

Между тѣмъ надъ филаретами, какъ и надъ всею молодежью Литвы, висѣла грозная туча. Въ Россіи все болѣе господствовала реакція; съ другой же стороны, движенія среди офицерства, среди молодежи въ Россіи и Польшѣ принимали все болѣе опредѣленный характеръ. Правительство, обо многомъ догадывавшееся, но не обо многомъ знавшее, хваталось за всякія подозрительныя нити, по которымъ могло дойти до клубка заговора. Филареты официально уже давно не существовали, въ университетѣ слабого Малевскаго смѣнилъ болѣе твердый ректоръ Твардовскій; надзоръ за „неблагонадежными“ (въ томъ числѣ Мицкевичемъ) производился все время. Тѣмъ не менѣе, пока все это дѣлалось бережно мѣстными школьными властями. Весною 1823 г. произошло событіе, которое устранило отъ участія въ немъ поляковъ-патріотовъ и передало все дѣло въ руки ненавистниковъ Польши, давно уже точившихъ зубы на Виленскій университетъ. Сенаторъ Новосильцовъ, ведшій слѣдствіе по дѣлу о студенческихъ организаціяхъ въ Варшавѣ, теперь могъ примѣнить свои способности и къ Вильнѣ. 3 мая въ Виленской гимназіи появилась на доскѣ мальчишеская надпись: „Да здравствуетъ конституція 3-го мая“. Внизу кто-то приписалъ: „Некому только напомнить о ней!“ И пошла потѣха. Раскрывались заговорщики въ разныхъ школахъ Литвы, въ Кейданахъ, Крожахъ, Ковиѣ, Свислочи и др.; и для Новосильцова и его помощника, особенно прокурора Байкова, представлялось обширное поле дѣятельности. Случайно наткнулись и на филаретовъ. Въ іюнѣ былъ арестованъ Янковскій, который съ перепугу началъ выдавать направо и налево: пошли аресты, изъ Берлина привезли Фран. Малевскаго, 23 октября 1823 года арестовали Зана и Мицкевича. Этого послѣдняго вмѣстѣ со многими другими заключили въ Базиліанскій монастырь, превращенный для этого торжественнаго случая въ тюрьму. Здѣсь и совершился важный процессъ въ душѣ поэта. Однако

раньше, чѣмъ говорить о немъ, необходимо остановиться на содержаніи второго тома „Поэзій“, который заключаетъ въ себѣ „Гражину“ и „Дѣдовъ“.

ГЛАВА X.

„Гражина“. Ея содержаніе, значеніе въ поэтическомъ развитіи Мицкевича и генезисъ.

Содержаніе „Литовской повѣсти“ вращается въ области все тѣхъ же новгородскихъ преданій, которымъ были уже посвящены „Мъшко“, „Живили“ и нѣсколько балладъ. Героизмъ женщины, которая спасаетъ подвигомъ самоотверженія честь родины и презираетъ измѣну тогда, когда мужчина готовъ пойти на нее, составляетъ сюжетъ „Гражины“. Уже этотъ сюжетъ указываетъ на то, въ какомъ отдаленномъ прошломъ творчества Мицкевича нужно искать корней повѣсти; анализъ текста и стиха указалъ, какія позднѣйшія наслоенія легли на первоначальную основу „Гражины“. Самое содержаніе лишено единства.

Повѣсть начинается романтическимъ описаніемъ пейзажа. „Все сильнѣй, все холоднѣе сѣверный вѣтеръ, въ долині туманъ, а мѣсяць, окруженный водоворотомъ черныхъ тучъ, во мглѣ показывалъ на высотѣ свое нецѣлое око. И міръ былъ подобенъ сводчатому зданію, а небо подобно движущемуся своду, а мѣсяць — окну, въ которое сходитъ день“. Послѣ этого смѣлаго сравненія, въ которомъ бросается въ глаза несоответвіе временъ глагола (*wiatr chłodzi*—настоящее время и вслѣдъ затѣмъ *miesiąc pokazował*—прошедшее), поэтъ переходитъ къ пейзажу Новогрудка. „На плечахъ новгородской горы замокъ бралъ позолоту у мѣсячнаго блеска: на дерновыхъ валахъ и на сипемъ песокъ гигантскимъ столбомъ переламывалась темная тѣнь, спадая въ ровъ, гдѣ въ вѣчномъ стѣсненіи, изъ - подъ зеленой плѣсени дышала вода. Городъ уже спалъ, въ замкѣ погасли огни, только на валахъ и на башняхъ стража вспугиваетъ дремоту (ночи), повторяя лозунгъ“. Въ это время на равнинѣ, у подножья замка, появляются какіе-то всадники, закованные въ латы рыцари. Ихъ трое. Они даютъ знакъ, имъ отвѣчаютъ и опускаютъ подъемный мостъ. Стража узнаетъ по ихъ костюму, что это нѣмцы-крестоносцы. Желая вѣрно передать эпоху, поэтъ рассказываетъ о той ненависти,

съ которой литовская стража встрѣтила нѣмцевъ. „По этимъ знакамъ литовцы узнали мужа, и тихо шепчетъ одинъ другому: это какой-нибудь негодяй изъ псарни крестоносцевъ (krzyżaków), разжирѣвшій отъ прусской крови, которую онъ лакаетъ всякій день. Не будь здѣсь никого изъ стражи, сейчасъ же искупался бы въ болотѣ этотъ мерзавецъ; подъ самый мостъ я согнулъ бы кулакомъ его задранную голову. Такъ они говорятъ, а онъ какъ будто бы не слышитъ. Но долженъ былъ слышать, потому что зачванился еще больше. Хоть и нѣмецъ, а понималъ человѣческій языкъ“. Къ этимъ 10 строчкамъ (строфѣ оригинала) Мицкевичъ счелъ нужнымъ присоединить четыре примѣчанія. Въ одномъ изъ нихъ онъ извиняется передъ читателями за грубый тонъ своихъ литовцевъ: „это голосъ языческій, языкъ, которымъ говорили о нѣмецкихъ рыцаряхъ, какъ это объясняется примѣчаніями“. Остальныя три заключаются въ историческихъ ссылкахъ на ту ненависть, которая существовала между нѣмцами и мѣстнымъ, литовскимъ и прусскимъ населеніемъ. Авторъ обнаруживаетъ отличную начитанность въ специальной исторической литературѣ и, что особенно любопытно, знакомъ съ только что возникавшей литовской письменностью. Онъ цитируетъ Резу и поэму Доналейтиса о временахъ года, одно изъ первыхъ произведеній новой литовской литературы. Съ поэмой Доналейтиса Мицкевичъ познакомился въ нѣмецкомъ переводѣ Резы, „благодаря почтенному мужу, который хотя и чужеземецъ, можетъ пристыдить соотечественниковъ (godaków), пренебрегающихъ исторіей своей родины“. Это примѣчаніе дѣлаетъ большую честь польскому поэту, который одинъ изъ первыхъ привѣтствовалъ національное возрожденіе Литвы. Вернемся, однако, къ содержанію „Гражины“.

Рыцари требуютъ, чтобы ихъ впустили въ замокъ, къ князю; они не хотятъ ждать до утра, и старшій изъ рыцарей передаетъ перстень стражѣ. „Какъ знакъ, возьмите этотъ перстень: его довольно: какъ только онъ увидитъ гербъ, онъ пойметъ, кто я такой, и что насъ привело сюда“. И опять передъ нами романтическая загадка. „Вокругъ тишина, замокъ погруженъ въ сонъ. Что за диво? Полночь. Осенью ночь длинна. Почему же до сихъ поръ въ башнѣ Литавора, какъ звѣздочка, мерцаетъ между рѣшетокъ свѣтъ лампы? Вѣдь онъ сегодня только вернулся, ѣздилъ въ дальній край, усталыя очи нуждаются во снѣ. А онъ не спитъ. Послали развѣдать: не спитъ. Но нягто изъ

дворцовой стражи, ни изъ дворянъ, ни изъ господъ совѣта не смѣлъ приблизиться къ его порогу. Напрасно и грозить, и просить посоль, ни къ чему всё его просьбы и угрозы; наконецъ велѣли разбудить Рымвида. Онъ носить и уносить волю государя: въ совѣтѣ онъ глава, въ сраженіи правая рука, князь называетъ его своимъ вторымъ я, и во всякое время, въ лагерѣ ли или въ замкѣ, ему открытъ доступъ въ покои князя. Въ покоѣ темно, на столѣ мерцающимъ пламенемъ догорала лампа. Литаворъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатамъ, потомъ остановился и погрузился въ свои мысли. Онъ слушаетъ, что Рымвидъ рассказываетъ о нѣмцахъ, но ничего не отвѣчаетъ ему. То покраснѣетъ, то вздохнетъ, то поблѣднѣетъ, обличая на лицѣ чрезвычайную тревогу. Подошелъ къ лампѣ, какъ будто для того, чтобы поправить ее, а на самомъ дѣлѣ давить фитиль внизъ, наконецъ вдавиль и совсѣмъ потушилъ,—не знаю, случайно или нарочно. Видно, онъ не былъ въ силахъ сдержатъ внутреннее волненіе и придать своему лицу болѣе мягкое выраженіе, а между тѣмъ не хотѣлъ, чтобы слуга по его виду угадалъ тайну княжескаго сердца. Снова обходить вокругъ комнаты, но, когда онъ проходилъ мимо рѣшетчатыхъ оконъ, при блескѣ мѣсячнаго круга, который пробивался черезъ стекла и рѣшетки, видны угрюмость наморщенного чела, крѣпко сжатые уста, молнія очей и загорѣлость суроваго лица“. Потомъ Литаворъ заговорилъ, притворясь спокойнымъ и лукаво улыбаясь. „Вѣдь ты самъ, Рымвидъ, привезъ мнѣ изъ Вильны вѣсть, что Витольдъ, нашъ могучій и милостивый господинъ, намѣревался повесить меня, сдѣлать княземъ на Лидѣ и владѣнія, доставшіяся мнѣ по женѣ, пожаловать своему слугѣ Литавору, какъ будто свою собственность и чужую добычу“. И вотъ теперь онъ велитъ вооружаться, сѣсть на коней и мчаться въ Лиду, чтобы на разсвѣтѣ занять ее. „Такъ молвить князь. Въ его рѣчи слышались обычные приказанія передъ выступленіемъ въ походъ, но зачѣмъ же все это такъ сразу, въ такое необычное время? Почему такъ грозенъ былъ его видъ? И когда онъ говорилъ, хотя слова его такъ поспѣшно вырывались, что одно не успѣвало за другимъ, все-таки казалось, что вылетѣла ихъ только половина, а остальная половина застыла, заглушенная въ груди. Этотъ видъ предсказываетъ мнѣ что-то недоброе, и этотъ голосъ не служитъ спокойной мысли“. Замолкъ Литаворъ, молчалъ и Рымвидъ, догадываясь о замыслахъ князя.

пугаясь ихъ. „Онъ знаетъ, что молодой князь не внемлетъ чужимъ внушеніямъ, не любитъ пускаться въ длинные выводы и куется свои планы въ глубинѣ своего духа, а выковавъ ихъ, не смотритъ на препятствія. Еще свирѣпѣе левъ, когда встрѣчаетъ помѣху. Но Рымвидъ, вѣрный совѣтникъ господину и извѣстный рыцарь въ литовскомъ народѣ, конечно, не малымъ позоромъ покроетъ себя, если не предотвратитъ всеобщей бѣды. Молчать или совѣтовать? Мысль его колеблется, но наконецъ онъ останавливается на послѣднемъ“. Рѣчь Рымвида—типичные уговоры умнаго и опытнаго старика. Онъ совѣтуетъ подождать, выступить въ походъ не спѣша, какъ это дѣлали всегда литовскіе князья. Литаворъ молчалъ, а Рымвидъ, подойдя къ окну, какъ бы ненарокомъ упомянулъ о нѣмецкихъ послахъ. Какъ быть съ ними? „Позвать ихъ? Или они узнаютъ твою волю внизу, изъ устъ слуги?“ Въ волненіи Литаворъ раскрываетъ свой планъ. „Я велѣлъ вооружаться и садиться на коней, я спѣшу напасть во всеоружіи, потому что я знаю Витольда, онъ стоитъ съ войскомъ, готовый встрѣтить меня на дорогѣ; а, можетъ быть, для того онъ и хотѣлъ заманить меня въ Лиду, чтобы, заманивши, схватить или убить. Но я заключилъ тайный союзъ съ магистромъ прусскаго ордена, и онъ долженъ дать мнѣ на помощь своихъ рыцарей, за это въ награду я уступлю ему часть добычи. Если, какъ ты говоришь, прибыли послы, значитъ, онъ сдержалъ свое слово“. Князь восхищается силой нѣмецкихъ рыцарей, ихъ чудеснымъ вооруженіемъ, ихъ конями. „Все уже готово, и завтра тайными путями мы подберемся къ Лидѣ, налетимъ, подожжемъ, захватимъ и вырѣжемъ: слишкомъ самомнятели въ Витольдъ: онъ оставилъ въ Лидѣ лишь слабый гарнизонъ“. Измѣна Литавора поразила стараго рыцаря, съ гнѣвомъ и скорбью онъ предостерегаетъ князя отъ братоубійственной войны, отъ союза съ нѣмцами. Далѣе слѣдуетъ прекрасное мѣсто, основанное на большой начитанности Мицкевича въ старыхъ литовскихъ хроникахъ. „Бываетъ иногда“, говоритъ Рымвидъ: „что сосѣдь обнимаетъ сосѣда, съ которымъ много лѣтъ вѣлъ упорную вражду, слагаетъ съ души гнѣвъ, и одинъ другого называетъ пріятелемъ: еще больше, чѣмъ дурные сосѣди, гнѣвны другъ на друга литвины и лихи, а вѣдь и они нерѣдко шируютъ за однимъ столомъ, и ночуютъ подъ однимъ кровомъ, и соединяютъ свою мечи для общаго дѣла; а еще больше, чѣмъ литовскіе мужи и поляки, вра-

ждуютъ другомъ съ другомъ испоконъ вѣковъ люди и змѣи, и все же, если змѣя получить отъ человѣка приглашеніе къ его домашнему очагу, если для прославленія безсмертныхъ боговъ литовець не покусится для нея ни хлѣбомъ, ни молокомъ, тогда прирученный гадъ ползеть къ его рукамъ, вмѣстѣ съ нимъ ужи-наеть, изъ одного съ нимъ кубка пьетъ и не разъ безъ всякаго вреда свинцовымъ вѣнкомъ обвиваетъ грудь спящаго младенца. Но крестоносцаго змѣя ничѣмъ не привлечешь къ себѣ: ни угощеніемъ, ни просьбой, ни дарами? Мало ли пруссаки и мазовецкіе цари бросили въ его пасть земель, людей и золота? Онъ вѣчно голоденъ, хотя пожралъ такъ много: перерветъ въ концѣ концовъ горло и намъ. Только общая сила можетъ насъ спасти! Напрасно мы тянемся каждый годъ цѣлыми ордами разрушать ихъ крѣпости и жечь городки: ужасный орденъ подобенъ дракону—ты отрубишь ему одну голову, сейчасъ же вырастаетъ другая, и эта, если ее отрубишь, разрастается въ десять головъ. Отрубимъ же всѣ!—Напрасно трудится тотъ, кто искренно хочетъ примирить насъ съ крестоносцами. Ни изъ князей, ни изъ простыхъ людей ты не найдешь во всей Литвѣ ни одного, кто бы не звалъ ихъ хитрості и надменности, не сторонился отъ нихъ, какъ отъ крымской чумы, не предпочиталъ бы сто разъ умереть въ полѣ отъ ихъ оружія, нежели у нихъ искать помощи, взять въ руки расплавленное желѣзо, нежели пожать руку крестоносца“. Рымвидъ уговариваетъ князя не сѣбшить съ обвиненіемъ Витольда, но при одномъ упоминаніи о немъ снова раздраженіе вспыхиваетъ въ Литаворѣ, и онъ горько коритъ Витольда въ самовласти, въ желаніи подчинить себѣ вѣхъ князей. „Развѣ не довольно того, что самоволіе Витольда вѣчно держитъ на концѣ всю Литву? Грудь наша вѣчно прикована къ оружію, шишаки уже приросли къ нашему челу; отъ одного набѣга къ другому, отъ битвы къ битвѣ, весь свѣтъ, вширь и вдаль, мы обѣжали вокругъ: то на крестоносцевъ, то черезъ Татры на села Польши, которая такъ прекрасно застроилась. А оттуда по стенамъ, точно несясь по вѣтру на парусахъ, мы мчимся, преслѣдуя таборы кочующаго монгола. И все самое дорогое, что мы добыли въ замкахъ, чего не зарубила наша сабля, и голодъ не догрызъ, и огонь не выжеть, все мы приносимъ, все гонимъ добровольно ему. Пользуясь нашими трудами, онъ становится все могущественнѣе; отъ Римскихъ заливовъ до Хазарскаго моря онъ уже захватилъ подъ свою

власть всё города. А самъ въ какомъ городѣ, въ какомъ дворцѣ! Я видѣлъ великолѣпныя крѣпости крестоносцевъ, на которыя не смѣеть взглянуть безъ страха пруссакъ, а вѣдь онѣ меньше чертоговъ Витольда, его замка, что въ Вильгѣ или надъ Троицкимъ озеромъ! Я видѣлъ чудную долину около Ковна, когда весной и лѣтомъ рука русалокъ разстилаетъ мураву и по ней рассыпаютъ прекрасныя цвѣты. Эта долина всего чудеснѣе на свѣтѣ. Но кто бы повѣрилъ? У сына Кейстута, во дворцѣ его, еще свѣжѣе мурава и цвѣты! Такимъ ковромъ покрыты полы, такіе жемчуга висятъ вдоль стѣнъ, съ листьями изъ серебра и цвѣтами изъ золота. Работа литовскихъ плѣнницъ искуснѣе созданія богинь, разноцвѣтныхъ лентъ (nad smug góznowzory): рѣшетками забраны его стеклянныя оконницы, привезенныя откуда-то съ конца земли: онѣ блестятъ, какъ оружіе польскихъ рыцарей, или какъ Шѣманъ, когда изъ-подъ снѣга онъ открываетъ свое холодное лицо передъ глазами солнца. А я? что добылъ я за труды и раны?“—съ горечью спрашиваетъ Литаворъ, и въ длинной рѣчи онъ жалуется на то, что ничего, кромѣ славы, не дали ему безконечныя походы, но и славою Витольдъ превосходить всѣхъ, его прославляютъ вайделоты на пирахъ... „Его на струнахъ и въ вѣщемъ гимнѣ прославляютъ на радость потомства: ¹⁾ кто замѣтитъ наше имя среди простого люда?“ (въ примѣчаніи близкій переводъ, намѣренно близкій, чтобы передать, насколько это возможно, изысканность мицкевичевскаго стили въ нѣкоторыхъ мѣстахъ „Гражины“). Пенавистью къ Витольду дышатъ слова Литавора; онъ прерываетъ свою безумную рѣчь, исполненную угрозъ, потому что не можетъ говорить отъ гнѣва, „замолкъ, но оружіе отозвалось лягомъ: видно, что вздрогнулъ и вскочилъ съ мѣста.“ Что же за пламя сверкнуло надъ его головой? Какъ оторвавшаяся звѣзда несется въ своемъ паденіи черезъ небеса, стряхивая горячіе угли (жаръ, żağu) съ длинныхъ волосъ, такъ онъ взметнулъ у самаго свода саблей и рубнулъ ею о полъ; отъ страшнаго удара цѣлый рой искръ посыпался отъ камней“. Не желая продолжать разговоръ, Литаворъ повторяетъ свой приказъ и говоритъ, что хочетъ немного заснуть, „онъ не спалъ уже три дня“. Явились слуги, раздѣли князя, и онъ легъ, а Рымвидъ удалился. Онъ звалъ обя-

1) „Его на струнахъ и на вѣщемъ ритмѣ выслаютъ въ сіяніе потомства“.

защность слуги, провозгласилъ (протрубилъ, wу trąbil) указъ, собралъ рыцарство, а потомъ вторично вернулся въ замокъ. „Зачѣмъ? Опять совѣтоваться съ княземъ? О нѣтъ, въ другую сторону направились его шаги, на лѣвое крыло замковаго зданья, туда гдѣ снадалъ къ столицѣ подъемный мостъ. Туда, къ покоямъ княгини, онъ шелъ черезъ дворы (krużgankami). Здѣсь начинается одно изъ лучшихъ мѣстъ повѣсти, описаніе Гражины, въ которой уже старыя критики видѣли г-жу Ковальскую. И теперь, когда мы знаемъ отношенія, связывавшія ее съ поэтомъ, мнѣ кажется, мы все-таки можемъ сохранить эту догадку. Вѣдь г-жа Ковальская была опять для Мицкевича его вѣрнымъ другомъ, хотя уже не была его любовницей.

„Въ то время замужемъ за княземъ была дочь могучаго владѣльца Литвы, первая красавица (krasawica) изъ принѣманскихъ дѣвъ: ее звали Гражина, что значить: прекрасная княжна (литов. graiž — красивая). Хотя своимъ возрастомъ она уже нисходила отъ молодой зари къ полудню женскихъ лѣтъ, однако на своемъ лицѣ она чудеснымъ образомъ сочетала прелести обоихъ возрастовъ, дѣвушки и матроны. Она поразила своей величественностью, восхитила своей свѣжестью. Кажется, что весною созерцаешь лѣто, что цвѣтокъ не утратилъ молодого румянца, а въ то же время вотъ-вотъ созрѣетъ плодъ. И не только красотой лица никто не могъ помѣряться съ нею; лишь она среди всего двора могла похвалиться тѣмъ, что высотой своей стройной фигуры она не уступала гигантскому росту Литавора. Окруженная толпою слугъ княжеская пара, подобно царѣ рослыхъ тополей въ низкомъ лѣсу, возносила свои головы высоко надо всѣми. Подобная мужу лицомъ, одного съ нимъ роста, она и сердцемъ походила на мужа. Презирая иглу, веретено, женскія забавы, она бралась за суровое оружіе: часто охотясь, на жмудскомъ конѣ, въ шершавомъ панцырѣ изъ медвѣжьей шкуры, на лобъ надвинувъ бѣлыя рысьи когти, она скакала среди отряда охотниковъ. Не разъ въ такой одеждѣ, возвращаясь съ поля, она на потѣху мужа вводила въ заблужденіе глазѣющую чернь: не разъ она встрѣчала со стороны придворной стражи, обманутой ея видомъ, почести, надлежащія князю. Такъ, соединенная съ мужемъ въ забавѣ и трудѣ, услада въ печали, товарищъ въ весельѣ, она раздѣляла не только ложе и сердце (Литавора), но и его мысли, и его власть надъ народомъ. Войны, судебныя приговоры, тайныя договоры зачастую зависѣли

отъ ея власти, хотя другимъ объ этомъ не было извѣстно: выше уровня простыхъ женщинъ, которыя, черезчуръ радуясь своему господству въ домѣ, готовы разглашать объ этомъ повсюду, Гражина тщательно скрывала отъ постороннихъ очей, съ какой силой она властвуетъ въ сердцѣ мужа; даже болѣе внимательные и близкіе къ ней могли не скоро и не легко узнать объ этомъ. Тѣмъ не менѣе мудрый Рымвидъ догадывался, гдѣ только ему осталось искать поддержки”.

Такъ характеризованы главныя дѣйствующія лица: пылкій и необузданный литовскій князь, его мудрый благородный совѣтникъ и прекрасная жена, которая, какъ въ „Мѣшкѣ“, „Живилѣ“, „Святизи“, является центромъ разсказа. Это полная противоположность Марылѣ, робкой, не знающей сама, чего она хочетъ, иной женскій образъ, который жилъ въ душѣ поэта съ такой же силой, какъ и образъ Марыли. Навѣянный героинями „Освобожденнаго Иерусалима“, этотъ образъ подъ перомъ Мицкевича принялъ болѣе человѣчныя черты, но вполне человѣческимъ не сталъ: иначе онъ не удовлетворялъ бы тому порыву къ „героическому“, который жилъ въ душѣ поэта именно въ ту пору, когда ему нужно было видѣть хоть что-нибудь „героическое“ въ любимой имъ женщинѣ. Психологически вполне понятна та внутренняя необходимость, съ которой всталъ въ душѣ Мицкевича, подъ вліяніемъ ложноклассическихъ героинь, образъ истинно высокой, безупречной, сильной женщины. Съ большой любовью обрисованы и всѣ детали этого образа. Гражина поражена вѣстью, принесенной ей Рымвидомъ, но она мастерски владѣетъ собой, дѣлаетъ видъ, что не вѣритъ, не теряетъ спокойствія ни въ лицѣ, ни въ голосѣ. Она уговариваетъ Рымвида не тревожиться. Князь вспылчивъ, онъ могъ наговорить лишнее, „но время и спокойное размысленіе разъясняютъ мысли, остудятъ увлеченіе, забвеніе погребетъ торопливыя рѣчи“. Нѣтъ, отвѣчаетъ Рымвидъ, рѣшеніе Литавора безповоротнo. „Откладывать поздно; я сдѣлаю то, что онъ приказалъ, а приказалъ онъ уже передъ второй звѣздой собрать войска у могилы Пересѣвка. Почъ будетъ свѣтла, дорога недалеко“. Въ ужасѣ пришла Гражина. Она пошла къ князю, а за ней и Рымвидъ. Онъ сѣлъ на порогъ, „смотреть въ щель и прикладываетъ ухо“. Съ большимъ художественнымъ пониманіемъ Мицкевичъ избѣгаетъ докучать читателю передачей длинныхъ разговоровъ. Онъ отождествляетъ его съ Рымвидомъ, который слушаетъ у две-

рей, и заставляет его вынести самому то впечатлѣніе, что и литовскій вельможа. „Хотя Рымвидь догадывался относительно содержанія, голоса нельзя было уловить, потому что голосъ, влеченный въ эхо, поглотило мѣсто или отразили стѣны. Разговоръ становился все горячѣе и спутаннѣе, все тише, все труднѣе было разслушать его; чаще слышался голосъ княгини, очень рѣдко голосъ князя; тотъ молчалъ, иногда, казалось, усмѣхался. Наконецъ, княгиня упала на колѣни. Онъ всталъ, неизвѣстно для чего: чтобы поднять ее или оттолкнуть. Потомъ произнесъ болѣе горячо нѣсколько словъ, потомъ замолчалъ и болѣе ничего не говорилъ. И было тихо. Снова фигура въ бѣломъ мелькнула около дверей, стукнула задвижкой. Упросила или просто не рѣшилась просить больше? Княгиня ушла въ свои женскіе покои, а князь вернулся къ постели, легъ. Тихо, и по этой тишинѣ видно, что скоро его убаюкаетъ крѣпкій сонъ“. Рымвидь тоже отошелъ. Онъ увидѣлъ, какъ къ рыцарямъ, ждавшимъ на дворѣ, спустился пажъ. Что-то сказалъ имъ, указавъ рукою на ворота. Крестоносецъ, страшно оскорбленный, грозитъ коварному Литавору страшной местию. „Яма, которую вы подъ нами вырыли, вырыта на вашу собственную гибель. Это такъ же вѣрно, какъ я Дитрихъ Хальсштаркъ фонъ Книпродъ, командоръ Ордена! Сегодня, еще сегодня она будетъ зарыта. За мною, кнехты!“

Старый Рымвидь доволенъ: онъ приписываетъ неожиданный исходъ дѣла успѣху княгининыхъ уговоровъ. „Забывать сѣдобородый старикъ, что княгиня прекрасна, а Литаворъ молодъ“. Но вмѣстѣ съ тѣмъ его мучитъ сомнѣніе: въ комнатѣ князя темно и тихо, самъ онъ спитъ непробуднымъ сномъ. Ужъ не сама ли Гражина рѣшилась отмѣнить приказъ князя? „Сильно боюсь я, чтобы на этотъ разъ она не распустила крыльевъ излишней смѣлости. Правда, уже не разъ она дѣлала смѣлые шаги, но это было бы уже слишкомъ“. Вотъ его зоветъ къ себѣ сама Гражина. Она признается, что сама отравила ни съ чѣмъ нѣмецкихъ пословъ, чтобы „князь въ излишней поспѣшности не пообѣщавъ нѣмцамъ, пылая жаждой мести, чего-нибудь такого, отъ чего онъ самъ откажется, когда остынетъ его гнѣвъ“. Но разговоръ Гражины съ Рымвидомъ обрывается. Является пажъ съ донесеніемъ, что на разсвѣтѣ на Новогрудокъ готовится нападеніе нѣмецкое войско. Начальникъ литовскаго отряда посылаетъ свой совѣтъ налетѣть неожиданно на нѣмецкихъ рыцарей, прежде чѣмъ къ

нимъ подойдетъ пѣшее подкрѣпленіе. „Гдѣ же послы?“ съ удивленіемъ спрашиваетъ Гражина пажа, и онъ напоминаетъ ей, что сама княгиня велѣла выпроводить нѣмцевъ. Поблѣднѣвъ и растерявшись, она не знаетъ, что дѣлать. „Остановилась, молчитъ. Полузакрытыя вѣки, склонившееся чело, на которомъ пробивается какая-то мысль, еще темная и далекая; въ нерѣшительныхъ чертахъ лица она вдругъ обнаружится, исчезнетъ и опять выйдетъ, охватывая все лицо. Намѣреніе дозрѣваетъ, становится рѣшеніемъ: вотъ она уже придумала и выступила впередъ“. Гражина велитъ поскорѣе вооружаться, выстроиться на дворѣ и ждать князя, котораго она идетъ будить. Въ недоумѣніи, совершенно растерянный, стоялъ Рымвидъ „съ лицомъ, опущеннымъ въ землю, и, долго думая, не думалъ ни о чемъ; въ вихрѣ впечатлѣній и догадокъ мысли беспорядочно носятся по собственной волѣ, и разумъ, ослабѣвъ, не можетъ овладѣть ими“. Рымвидъ рѣшается, непременно, переговорить съ княземъ, но въ это время тихонько раскрылись двери, самъ Литаворъ, въ полномъ вооруженіи, вышелъ изъ нихъ. „Казалось, онъ былъ охваченъ гнѣвомъ или тревогой; онъ ступалъ неровными и невѣрными шагами; когда къ нему приблизились рыцари и паны, онъ не удостоилъ окинуть ихъ милостивымъ взглядомъ. Дрожащій, онъ взялъ изъ рукъ пажа лукъ и колчанъ, и даже мечъ повѣсилъ съ праваго бока, и хотя всѣ видѣли его ошибку, никто не посмѣлъ предостеречь государя“. Молча онъ поскакалъ со своими рыцарями, и скоро литовцы увидѣли нѣмецкое войско. Во главѣ своихъ, не отдавая никакихъ приказаній, ѣдетъ Литаворъ, а Рымвидъ распоряжается вмѣсто него. Начинается бой. Съ безумной отвагой впереди сражающихся князь. „Но кто изъ боговъ ослабилъ въ немъ силу? Что изъ того, что онъ настойчиво преслѣдуетъ бѣгущихъ? Что изъ того, что онъ разитъ? Онъ не убилъ никого. Безсилая сабля только звенитъ, ударяясь о панцири, или сгибается, отбитая желѣзомъ, или промахивается, или ложится плашмя“. Крестonosцы чувствуютъ, что въ литовскихъ рядахъ творится что-то неладное, они оправляются и переходятъ въ наступленіе. „Ужь ночь убѣгала, уже заря раскидывала свои розовые волосы на восточномъ облакѣ. Битва все еще кипитъ, летятъ слѣдые удары, ни шагу не сдѣлано ни взадъ, ни впередъ, а богъ побѣды, взвѣшивая будущія судьбы, беретъ съ той и съ другой стороны по одинаковой гирѣ (сіѣзар) крови, и чаши вѣсовъ стоятъ до сихъ

поръ на одномъ уровнѣ. Такъ батюшка Пѣманъ, вѣстунъ многихъ ладей, наткнувшись на гиганта Румшишекъ (подводный камень около д. Румшишекъ, опасный для судоходства), обводитъ его своимъ мокрымъ рукавомъ, основаніе его подкапываетъ, грозно вздымаетъ вверхъ, а тотъ, защищаясь отъ натиска волнъ, до сихъ поръ выдерживаетъ на своихъ твердыхъ плечахъ ихъ силу, и не шелохнется скала, врывшись въ песокъ, какъ и рѣка не уступаетъ ей своего русла“. Наконецъ, литовцы поддались, крестоносцы побѣждаютъ. Но вотъ раздался звукъ громоваго голоса мужчины. На черномъ конѣ, въ черномъ плащѣ на мѣсто битвы мчится всадникъ. „Когда вдоль пущи идутъ лѣсники, валя сосны или дубы, издали уже слышенъ шумъ: стонуть топоры, скрежещутъ зубья пилъ; то тамъ, то сямъ летитъ на землю вершина дерева; наконецъ, среди срубленныхъ стволовъ увидишь и людей, и блескъ стали: такъ, вырубивъ въ серединѣ полка нѣмцевъ, пробирался къ Литвѣ неизвѣстный рыцарь“. Но было поздно. Командоръ ордена добрался до Литавора; тотъ поднялъ саблю, а нѣмецъ „далъ огонь изъ молніеноснаго оружья“. Медленно валится съ сѣдла князь; съ бѣшенствомъ налетаетъ на командора неизвѣстный рыцарь; рубитъ командора, топчетъ его конемъ, а потомъ сбѣжитъ къ раненому Литавору. Осторожно онъ снимаетъ панцырь, изслѣдуетъ глубокую ружейную рану, изъ которой брызнула кровь. Очнувшись, раненый отталкиваетъ съ гнѣвомъ слугъ и солдатъ и, сжимая руку Рымвиду, тихо шепчетъ ему: „Старикъ, все уже кончено; оставь мою грудь, сохрани тайну! Спасти невозможно, скоро наступитъ смерть; везите въ замокъ, тамъ я хочу испустить духъ“. „Рымвидъ смотритъ на него широко раскрытыми глазами, едва смѣетъ вѣрить своимъ глазамъ, едва не лишается чувствъ. Опускаетъ руку, которую обливалъ слезами, морозъ пробираетъ его по кожѣ, потъ выступаетъ на его чель. Теперь онъ узнаетъ голосъ, котораго не слышалъ вчера: увы, это не былъ голосъ Литавора!“

Посадивъ ранскаго на свое сѣдло и передавъ власть Рымвиду, черный рыцарь помчался домой, въ замокъ Литавора. Воины одержали побѣду надъ нѣмцами, но гибель князя ихъ удручила. А въ замкѣ готовятся къ погребенію. „Тамъ, гдѣ властитель грома, богъ, который свищетъ ненастнымъ вихремъ, имѣлъ свою святыню, гдѣ ежедневно священный огонь орошался кровью серебряныхъ стадъ, быковъ и коней, тамъ подъ облака возносятся

высокій костеръ, на двадцать сажень въ длину и ширину. Въ среднѣ возвышался столбъ, а у столба нѣмецкій плѣнникъ на статномъ конѣ, прикованный тройною цѣпью къ столбу, въ панцирѣ, въ шлемѣ и въ полномъ вооруженіи. Это воеждъ крестоносцевъ, что прїѣзжалъ посломъ, убійца князя, Дитрихъ фонъ Книпродѣ. Сбѣгаются мѣщане, рыцари, капланы; ожидаютъ конца и не смѣютъ догадываться о немъ. Всѣ вмѣстѣ и каждый въ отдѣльности колеблются между страхомъ, скорбью и надеждой, не отрываютъ печальныхъ взоровъ отъ замка и съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваются къ новымъ извѣстіямъ. Но вотъ съ башни прозвучала труба, опускается мостъ, и медленными шагами выступаетъ процессія въ черной одеждѣ, неся на щитахъ останки героя; около него лежатъ лукъ, копье, мечъ и колчанъ. Сверкаетъ пурпуромъ широкій плащъ, которымъ онъ покрытъ; одежды князя, но лица не видно, потому что у шлема опущено забрало. Это онъ, это князь! Владыка большого края, мужъ сильной руки, кто сравнится съ нимъ, кто такъ же сумѣетъ громить нѣмцевъ и орды Ногай, а свой народъ судить разумно и мудро? Почему же, господинъ, въ твоемъ погребальномъ обрядѣ не видать давняго обычая? Вѣдь не такъ святая древность чтитъ твоихъ прѣдковъ, литовскихъ князей. Зачѣмъ на небо не идутъ съ тобою твой оруженосецъ, который не долженъ покидать тебя ни въ одномъ пути, и твой конь съ опустѣвшимъ сѣдломъ, товарищъ въ полѣ, конь оленеогій; и соколъ, и псы, что разсѣкаютъ своей мордой вѣтеръ, и другіе псы, чующіе издалека дичь? Такъ ронтала толпа, а рыцари кладутъ на костеръ тѣло и льютъ молоко и медъ; подъ звуки длинной трубы и флейты ваиделоты поютъ погребальныя пѣсни. Старшій изъ нихъ взялъ факель и жертвенный ножъ. Стойте!—Стали.—Подъѣхалъ черный мужъ. Кто онъ, спрашиваютъ всѣ, кто же онъ такой? Войско узнало: это онъ вчера въ битвѣ, когда были сломлены литовскіе ряды и со всѣхъ сторонъ враги окружили Литавора, налетѣлъ и воспламенилъ остывшую отвагу; вырубилъ нѣмцевъ, повергъ командора. Вотъ все, что знали о черномъ рыцарѣ. Сегодня онъ въ томъ же плащѣ и на томъ же конѣ. Но зачѣмъ онъ прибылъ? Кто онъ родомъ? Какъ его имя? Стойте и смотрите! Онъ снимаетъ шлемъ, опускаетъ голову: онъ! Литаворъ! князь! Отъ неожиданности всѣ остолбенѣли, потомъ радость развязала языки. Видя оплакиваемого героя, толпа кричитъ и рукоплещетъ, страшный шумъ до самыхъ небесъ,

крики: Литаворъ живъ, князь нашъ государь живъ! А онъ стоялъ и не поднималъ отъ земли блѣднаго лица. А шумъ, отражаемый эхомъ, все еще продолжается; медленно онъ поднялъ чело, окинулъ взоромъ толпу, легкой улыбкой благодарить толпу за привѣтствія. Это не была улыбка, зародившаяся въ сердцѣ, развѣзняющая лицо и сверкающая въ глазахъ, но, точно насильно припнутая, она слѣла на уста, чтобы сейчасъ же упорхнуть; она придаетъ печальному лицу столько же прелести, какъ цвѣтокъ въ блѣдной рукѣ покойника. „Зажгите костеръ!“—Зажигаютъ, пламя поднимается вверхъ, а князь продолжаетъ: „Знаете ли вы, чьи останки горять на кострѣ?..“ Мертвая тишина. „Женщина! хотя она скрыта подъ мужскимъ вооруженіемъ! Женщина прелестью (z wdzięków), а духомъ герой. Я отомстилъ за нее, но она уже не живетъ!“ Такъ онъ сказалъ, взбѣжалъ на костеръ, упалъ на останки и исчезаетъ въ пламени и тучѣ дыма. Такъ кончается „Гражина“. Такъ бы и кончилъ ложноклассическій поэтъ, кончилъ бы года четыре тому назадъ и самъ Мицкевичъ. Но теперь этотъ конецъ его не удовлетворяетъ. Въ примѣчаніи къ послѣднимъ строчкамъ онъ самъ не безъ ироніи замѣчаетъ, что „характеръ и поступки Гражины могутъ оказаться слишкомъ романтическими (romansowe) и не согласными съ тогдашними обычаями.“ На основаніи разныхъ историческихъ домысловъ, весьма шаткихъ и неубѣдительныхъ, авторъ увѣряетъ себя и читателей, будто бы подобный случай возможенъ, но едва ли онъ сталъ бы вообще „городить огородъ“ этого примѣчанія, если бы его самого не поразила неправдоподобность сюжета? Дѣло въ томъ, что примѣчаніе должно относиться къ другому періоду въ творествѣ Мицкевича, чѣмъ самый рассказъ. Гораздо искреннѣе поэтъ въ „энциклопѣ издателя“, гдѣ ложноклассическая лира замолкаетъ и передъ нами современный писатель, самъ удивляющійся хитрому сплетенію своей повѣсти. „Читатель, если ты терпѣливо дочиталъ до конца, не очень-то довольный (я этому и не дивлюсь), потому что въ скучной запутанной интригѣ, гдѣ раздраженное любопытство не можетъ поймать руководящей нити и не удовлетворенное сердится: почему князь остался одинъ, а самъ отправилъ жену? Почему онъ такъ не во-время оказалъ ей заступу въ битвѣ, по собственной ли волѣ княгиня замѣнила мужа, почему Литаворъ взялся за оружіе противъ нѣмцевъ?.. Тщетно ты сталъ бы ожидать окончательнаго отвѣта. Узнай же, что авторъ, кото-

рый сложил эту исторію, какъ ее видѣлъ или слышалъ—а онъ былъ въ то время въ этомъ городѣ,—такъ и записалъ вкратцѣ, а объ остальномъ умолчалъ, не будучи въ состояніи сказать всю правду явно и не желая въ то же время обманывать выдумками. Когда онъ умеръ, я получилъ эту рукопись въ наслѣдство послѣ покойника. Полагая же, милый читатель, что ты будешь радъ, если она предстанетъ передъ публикой, и конецъ, хоть и немного искусственный, все-таки завершить мой разсказъ, я разспрашивалъ новогрудчанъ, людей достойныхъ вѣры, но никто ничего не зналъ, кромѣ стараго Рымвида, а тотъ, будучи старикомъ, скоро разстался съ жизнью, а пока былъ живъ, никому не разсказывалъ объ этомъ: вѣроятно, онъ былъ связанъ клятвой или общаньемъ. Однако, оказался другой свидѣтель, болѣе простодушный, Это былъ пажъ княгини. Онъ разсказывалъ, а я записывалъ, видя, что его разсказъ подходитъ къ содержанію моей рукописи. Если это правда, трудно въ этомъ поручиться; кто упрекнетъ меня въ неправдѣ, того на поединокъ я не вызову, потому что отъ себя я не прибавляю ни одного слова, а какъ слышалъ отъ пажа, такъ точно и передаю“. Дальше слѣдуетъ разсказъ пажа, въ сущности, совершенно лишній, такъ какъ онъ снимаетъ всѣ покровы таинственности съ событій, о которыхъ читатель уже заранѣе догадался. Кому было неясно, что переодѣтый рыцарь—Гражина, что она пошла въ бой, чтобы спасти честь мужа? Все это было давно понято читателемъ, а пересказывать уже извѣстное ему представляетъ нехудожественный приѣмъ. Не соответствуетъ содержанію героической поэмы, какой была „Гражина“, тонъ этого эпилога, слишкомъ простой и тривіальный. Возможно ли психологически, чтобы раненая Гражина „пала нѣмая и, то обнимая ноги князя, то ломая и протягивая къ нему руки, молила о прощеніи въ этой первой и послѣдней измѣнѣ?“ И самый конецъ производить нехудожественное впечатлѣніе своимъ совершеннымъ отклоненіемъ отъ истины. „Теперь во всей новогрудской землѣ не пайдешъ, никого, кто не пѣлъ бы пѣсенки о Гражинѣ; поютъ ее кобзаря повторяютъ дѣвушки, и до сихъ поръ поле битвы называется полемъ литвинки“. О такомъ мѣстѣ никто не зналъ, пѣсня о Гражинѣ вовсе не ходила изъ устъ въ уста, и примѣчаніе самого Мицкевича съ доказательствами, что подобный образъ героини не совсемъ выдуманъ, но можетъ опираться и на историческіе факты, свидѣтельствуетъ объ искусствственномъ происхожденіи повѣсти. Къ

чему же было вводить столько неправды, всё́мъ явственной? Для того, чтобы поэму, задуманную въ эпоху ложноклассическихъ увлеченій, связать съ основой романтической поэзіи, какъ ее понималъ тогда Мицкевичъ, съ „поэзіей народною“ (piеśń gminna). Въдь къ этой послѣдней были сведены уже въ первомъ томѣ изданія 1822 г. такія баллады, которыя не имѣли никакихъ корней въ народной поэзіи. Это указываетъ на сравнительно давнишнее происхожденіе „Гражины“. Благодаря сохранившемуся отрывку этой поэмы, относящемуся къ первоосновѣ ея ¹⁾, критикѣ удалось установить генезисъ „Литовской повѣсти“.

Напечатанный проф. Брухнальскимъ оригиналъ не есть первая редакція поэмы. Напротивъ, онъ представляетъ ту предпослѣднюю редакцію, за которой слѣдуетъ уже редакція, положенная въ основаніе печатнаго текста, отличающагося лишь въ немногихъ мѣстахъ отъ нея. Эти отличія указываютъ на то, что авторъ все болѣе критически относился къ своему замыслу и счелъ нужнымъ довести насмѣшливое отношеніе къ сюжету до разоблаченія его въ „Эпилогѣ“. Кроме того, въ послѣдней редакціи, предназначенной уже для печати, нѣсколько болѣе детально былъ разработанъ образъ героини. Лишь въ одномъ отношеніи извѣстная предпослѣдняя редакція сильно отступаетъ отъ печатнаго текста: здѣсь Литаворъ называется Корибутомъ, Гражина — Каряной. Корибутъ былъ дѣйствительнымъ историческимъ лицомъ, онъ княжилъ тоже въ Новгородѣ, но только не въ минскомъ Новогрудкѣ, а въ Новгородѣ-Сѣверскомъ; онъ пришелъ въ столкновеніе съ Витольдомъ изъ-за города Лиды, какъ мицкевическій Литаворъ, но, разумѣется, никакой Гражины около него не было, а городъ Новгородъ-Сѣверскій рѣшительно не возбуждалъ въ поэтѣ пламенныхъ чувствъ. Такимъ образомъ, первоначальная мысль назвать повѣсть: „Корибутъ, князь Новогрудка. Поэма изъ литовской исторіи“ представляла слишкомъ много уязвимыхъ мѣстъ для всякаго критика, который хотѣлъ бы обратиться къ исторической основѣ поэмы. Другое дѣло — какой-то мифическій Литаворъ. И вотъ уже въ серединѣ предпослѣдней рукописной редакціи появляется это имя, замѣняя прежняго Корибута, и въ эпилогѣ Ка-

¹⁾ Онъ напечатанъ въ изданіи Мицкевича, сдѣланномъ въ Варшавѣ въ 1858 году, но лишь въ извлеченіи, а цѣликомъ В. Брухнальскимъ въ 1889 г. въ III томѣ „Pamiętnik Towarzystwa liter. imienia Ad. Mickiewicza“.

рина превращается въ Гражину, т.-е. въ „красавицу“ (Krasawica какъ ее называетъ Мицкевичъ, пользуясь мѣстнымъ русскимъ словомъ, распространеннымъ донинѣ среди поляковъ Литвы). Но Кей-стутъ рукописи подвергся замѣнѣ Витольдомъ лишь въ той послѣдней редакціи, которая была воспроизведена въ печати. Если сравнить печатный текстъ съ тѣмъ рукописнымъ, который изданъ проф. Брухнальскімъ, то бросается въ глаза нѣкоторая небрежность въ окончательной отдѣлкѣ поэмы. Мицкевичъ не хотѣлъ поработать надъ текстомъ и наскоро переимѣнилъ имена, сохранивъ старыя римоны и лишь въ нѣсколькихъ мѣстахъ добавивъ кое-какіе стихи. Римоны онъ стремился сохранить во что бы то ни стало, и иногда жертвовалъ даже стилемъ ради этого сохраненія. Такъ стихи: „Przebóg! Czyż niedość, że duma Kiejstuta wiecznie na koniu tuzima cała Litwę?“ (Клянусь Богомъ! Развѣ мало того, что надменность Кейстута вѣчно держитъ всю Литву на конѣ?) даютъ хорошо подходящее къ тексту слово *duma* (гордость, надменность). Но Кейстута пришлось замѣнить другимъ словомъ, такъ однако, чтобы сохранилась рима къ дальнѣйшему *przykuta* (прикована), и слова *duma Kiejstuta* были замѣнены *Witolda buta*, гдѣ нѣсколько вульгарное *buta* (вздорный капризь) мало отвѣчаетъ приподнятому тону поэмы. И еще нѣсколько разъ повторялось слово *Kiejstuta* въ римѣ и вызвало снѣжные поправки (*w palacach Kiejstuta* замѣнено на *Syna Kiejstuta*, хотя Литаворъ всего меньше думаетъ въ это время о томъ, чьимъ сыномъ былъ Витольдъ). Если идти хронологически еще дальше отъ печатнаго текста, то придется обратить вниманіе и на внѣшнюю форму поэмы, которая, по справедливому наблюденію одного критика (Т. Коһи), представляетъ начатую, но не завершенную передѣлку первоначальныхъ октавъ. Дѣйствительно, первая часть „Гражины“ написана строфами въ 6 или въ 8 строкъ, согласно съ требованіями Тассовой октавы, но потомъ строфическій характеръ текста смѣняется сплошнымъ стихомъ съ римами черезъ строчку. Такую же форму должно было получить и начало. Мицкевичъ, дѣйствительно, принялся было передѣлывать его, но скоро бросилъ эту работу. „Остальная часть поэмы сохранила свою прежнюю форму, можетъ быть въ виду снѣжнаго отправления ея въ печать“, говоритъ названный изслѣдователь. И въ текстѣ „Гражины“, окончательномъ печатномъ текстѣ, много всевозможныхъ погрѣшностей, указывающихъ также на поспѣшность, съ которой она печа-

лась, и на равнодушіе Мицкевича къ поэмѣ, которую въ 1822 году совершенно вытѣснили изъ его души „Дѣды“. Эти погрѣшности перечислены Вл. Перингомъ и І. Третьякомъ.

Почему Литаворъ не велитъ немедленно принять пословъ, угостить ихъ, выслушать? Почему Рымвидъ еще ночью, передъ разсвѣтомъ, задаетъ графинѣ вопросъ: „Какъ принялъ князь *вчє-рашній* разговоръ“, хотя этотъ разговоръ происходилъ совѣмъ незадолго передъ тѣмъ? Какъ Литаворъ могъ распорядиться, чтобы рыцарство собралось на восходѣ солнца, а потомъ, черезъ нѣсколько страницъ, восклицаетъ: „Теперь еще темно, но сегодня мѣсяць смыкаетъ рога новолунія, свѣтъ будетъ ясенъ; двинемся же немедленно?“ Почему мы ничего не узнаемъ въ дальнѣйшемъ объ участи нѣмецкаго командора, прикованнаго на костеръ, и какъ самъ Литаворъ, сидя на конѣ, бѣжитъ на костеръ? Какъ, вообще, онъ могъ взбѣжать на костеръ, если этотъ послѣдній былъ такъ высокъ, какъ описываетъ поэтъ? Въ характеристикахъ двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, Литавора и Графини, нѣтъ цѣльности: Литаворъ представленъ то какъ романтическій типъ (разочарованіе и самоубійство), то какъ ложноклассическій герой воинъ. Графиня, которая привыкла къ охотничьимъ подвигамъ, не разъ и раньше переряжалась княземъ, прекрасно владела оружіемъ, вдругъ оказывается нѣжной трепетной женщиной, не умѣющей даже надѣтъ съ надлежащей стороны мечъ, безсиьной на полѣ битвы.

Поэма занимаетъ въ творествѣ Мицкевича переходное мѣсто. Корни ея восходятъ къ отдаленному прошлому, къ годамъ вилленскаго студенчества, къ критическимъ и литературнымъ опытамъ къ кружкѣ филомаговъ и занятіямъ въ Щорсовской библіотекѣ графа Хрептовича, имѣвшаго гербъ *Литаворъ*. Первая поѣздка поэта въ Щорсы, о которой мы знаемъ изъ его писемъ, относится къ ваканціямъ 1819 года; въ началѣ октября 1819 года онъ провелъ здѣсь недѣлю, сидя надъ такими польскими писателями, какъ Коховскій, Кохановскій (Петръ, переводчикъ Тассо?) и Твардовскій. Петръ Кохановскій, племянникъ знаменитаго Яна изъ Чернолясу, перевелъ на польскій языкъ „Освобожденный Іерусалимъ“, а Твардовскій и Потоцкій, поэты XVII вѣка, написали огромныя героическія поэмы изъ исторіи Польши. Такимъ образомъ, цѣлую недѣлю Мицкевичъ, можно сказать, купался въ океанѣ классической поэзіи. Естественнымъ результатомъ этого должны

были явиться какіе-нибудь собственные планы героической поэмы, тѣмъ болѣе, что „Ягеллоида“ Томашевскаго заставила поэта вдуматься еще разъ въ технику этого рода литературы. И дѣйствительно, сообщая друзьямъ о щорсовскихъ занятіяхъ, Мицкевичъ прибавляетъ, что „изъ всего этого зародились кое-какія соображенія относительно дальнѣйшей работы“. Вотъ, повидимому, первые серьезные замыслы, связанные съ „Гражиной“, хотя, можетъ быть, еще не успѣвшіе сложиться около опредѣленнаго сюжета. Въ сентябрѣ 1820 года Мицкевичъ опять серьезно работаетъ въ Щорсахъ. Такимъ образомъ, именно съ библиотекой графа Хрептовича связанъ генезисъ „Литовской повѣсти“. Но только ли актомъ вѣжливости и благодарности была вставка родового имени Хрептовичей, ихъ герба Литавора, въ поэму? Не было ли болѣе серьезной причины для замѣны историческаго Корибута вымышленнымъ Литаворомъ? На одной я уже остановился выше. Уже Третьякъ справедливо указалъ, что историческій Корибутъ былъ слишкомъ мало связанъ съ миѣскимъ Новогрудкомъ, чтобы можно было сдѣлать этотъ городъ мѣстомъ дѣйствія поэмы, а съ Новгородомъ-Сѣверскимъ, въ свою очередь, ничѣмъ не былъ связанъ Мицкевичъ. Однако, быть можетъ, не одна эта причина повліяла на перемѣну главнаго дѣйствующаго лица въ повѣсти. Замыслы „Гражины“ развивались въ ту же пору, когда въ литературной эволюціи Мицкевича совершался поворотъ отъ классицизма къ романтизму: первый требовалъ точной исторической обстановки, хотя и допускалъ въ известной пропорціи и въ опредѣленныхъ рамкахъ „чуждое“, онъ желалъ дѣйствительныхъ историческихъ лицъ и ихъ дѣйствительныхъ подвиговъ, тогда какъ романтизмъ выдвигалъ на первый планъ среду, эпоху, мѣстный колоритъ. Но мѣръ того, какъ драма чувствъ выдвигалась на первое мѣсто, заслоняя героическіе подвиги князей и вельможъ, блѣднѣлъ историзмъ „Гражины“, пока, наконецъ, героемъ ея сталъ никогда не существовавшій Литаворъ. Даже нынѣшній текстъ даетъ цѣлый рядъ явственно различаемыхъ наслоеній, отъ ложноклассической теоріи къ требованіямъ романтической этики; текстъ, изданный В. Брухнальскимъ, обнаруживаетъ это еще болѣе опредѣленно, хотя бы неожиданнымъ вторженіемъ Литавора на мѣсто Корибута ¹⁾. Если

¹⁾ Въ хроникѣ Стрыйковскаго, которой пользовался Мицкевичъ, Корибутъ давалъ слишкомъ мало матеріала для поэтизаціи. Кромѣ назва-

же мы углубимся въ прошлое мицкевичевскаго творчества еще дальше, мы натолкнемся и на замѣчательныя литературныя вліянія, восходящія еще въ 1817 г. Таково отмѣченное г. Шыйковскимъ сходство перваго описанія Новогрудскаго замка съ напечатаннымъ въ 1815 году стихотвореніемъ Тымовскаго „Dumania żołnierza polskiego w Hiszpanii“. Еще въ ноябрѣ 1817 года, разбирая „Dumanie i rozwalin Zamku Giedymina“ О. Петрашкевича, Мицкевичъ восхищается, какъ прекрасно Тымовскій нарисовалъ образъ ночи, озаренной блѣднымъ сіяніемъ луны. Черезъ годъ, въ декабрѣ 1818 года, онъ опять ссылается на „Думу“ этого поэта, которая, очевидно, произвела сильное впечатлѣніе на Мицкевича и, можетъ быть, тогда же вызвала то мѣсто будущей „Гражины“, гдѣ описывается лунная ночь въ Новогрудкѣ.

Переходя къ значенію „Литовской повѣсти“ въ поэтическомъ развитіи Мицкевича, слѣдуетъ отмѣтить прежде всего ея переходный характеръ. Гражина должна была явиться воинственной героиней, какъ воевательницы у Тассо, какъ Ядвига у Нѣмцевича, такой она и рисуется сначала; потомъ на первый планъ выступаетъ элементъ чувства, и Гражина превращается въ прекрасную женственную личность, одаренную высокимъ нравственнымъ чувствомъ, но уже не воевательницу; на полѣ битвы она гибнетъ. Литаворъ дѣйствуетъ сначала подъ вліяніемъ чувствъ, оправдываемыхъ его эпохой; это воинственный честолюбивый князь, не останавливающійся, какъ это бывало въ старину, передъ союзомъ съ вчерашними врагами, чтобы добиться своихъ честолю-

нія его города (Nowogródek), ничто, повидному, не могло обратить вниманія поэта на этого незначительнаго князя. Стрыйковскій упоминаетъ (XIII, 1) о борьбѣ „своевольнаго и непослушнаго Димитрія Корибута Ольгердовича“ съ Кейстутомъ, у котораго онъ отобралъ нѣсколько замковъ въ Литвѣ, пока тотъ враждовалъ съ Ягеллой; въ другомъ мѣстѣ своей Хроники (XIV, 2) Стрыйковскій утверждаетъ, что „Сѣверское княжество, Корибутовъ удѣлъ, и Новогородокъ съ Бринскомъ Витольдъ присоединилъ къ Вел. княжеству Литовскому, а Корибуту далъ изъ милости взамѣлъ замки въ Подоліи и Волынѣ“, и что этому перенесенію предшествовала война между Витольдомъ и Корибутомъ. Упоминается и жена этого послѣдняго, *русская* княжна, дочь рязанскаго князя! Ни о какомъ союзѣ Корибута, по своему происхожденію и географическому мѣстожителству уже далекаго отъ Литвы, съ нѣмцами, ни о какомъ подвигѣ жены Корибута нашъ поэтъ ничего не нашелъ у Стрыйковскаго. Поэтому и замѣна историческаго имени придуманнымъ диктовалась художественнымъ чутьемъ автора.

бивыхъ плановъ: но потомъ и онъ оказывается чувствительнымъ романтикомъ, для котораго любовь—высшій законъ жизни. Согласно требованіямъ классической теоріи, соблюдены три единства: времени, мѣста, дѣйствія; въ духѣ ложноклассической эпопеи дѣйствующія лица обмѣниваются безконечными рѣчами, а развязка имѣеть вполне случайный характеръ. Вѣдь не проси Литаворъ снаряженія его рыцарей въ походъ, ничего бы и не случилось: вѣдь успѣи онъ во-время на выручку Гражины, не погябъ бы князь въ пламени костра.

Таковы слабыя стороны „Гражины“. Онъ принадлежать старому, а новое, чѣмъ жилъ Мицкевичъ, когда придавалъ окончательный видъ своей поэмѣ, было такъ. могуче, что въ цѣломъ „Гражина“ вышла все-таки не ложноклассической поэмой героевъ, но романтической поэмой эпохи и мѣстности. Передъ нами встаетъ старая Литва со своею заклятой ненавистью къ нѣмцамъ, со своимъ языкомъ, который, по отзыву Чехота, переноситъ читателя въ милое прошлое, со своей серьезной величавостью. По сравненію со всею тогдашней польскою эпикой, включая сюда и „Историческія пѣсни“ Нѣмцевича, это былъ огромный шагъ впередъ: Мицкевичъ сумѣлъ заглянуть въ прошлое своего народа, какъ умѣлъ понять и его современную душу. Отдѣльныя сцены, въ родѣ пріема нѣмецкихъ пословъ придворной челядью Литавора, описаніе ночного похода его рыцарей, изображеніе душевной тревоги Рымвида и волненія Литавора ставить „Гражину“ выше всѣхъ современныхъ поэмъ. А надо всѣмъ этимъ царить высокая чисто мицкевичевская идея самопожертвованія ради родины. Таково было значеніе и мѣсто „литовской повѣсти“ въ исторіи польской литературы и въ эволюціи поэтического творчества Мицкевича.

ГЛАВА XI.

„Дѣды“. Первая, вторая и четвертая части ихъ.

Въ томъ изданіи „Дѣдовъ“, которое Мицкевичъ выпустилъ въ 1823 году, было нѣчто странное: драматическая поэма состояла изъ пролога, изъ второй и четвертой частей, которыя въ своей совокупности давали цѣлое. Были ли написаны первая и третья

части и сохранились ли онѣ хотя бы въ отрывкахъ? Самъ Мицкевичъ въ 1829 году сообщилъ К. Генишъ, что „прочитавъ двѣ другія части („Дѣдовъ“), онѣ нашелъ ихъ такими слабыми и скучными, что бросилъ въ огонь“. Л. Ходько сообщалъ въ *Biographie Universelle et portative des contemporains* (Paris. 1830, t. III), что Мицкевичъ написалъ четыре части „Дѣдовъ“ для виленскаго изданія, но только двѣ появились въ печати, „цензура не разрѣшила двухъ слѣдующихъ“. Изъ этихъ словъ вытекало бы, что неразрѣшенные части *слѣдовали* за IV частью. Но это совершенно неправдоподобно. Да и вообще, въ биографіи Мицкевича, написанной Ходькой, было много недостовернаго. За много лѣтъ раньше, въ ноябрѣ 1822 года, поэтъ писалъ друзьямъ, что немного исправляетъ первую часть „Дѣдовъ“ согласно съ указаніями Боровскаго. Въ 1844 году, издавая свои сочиненія, Мицкевичъ сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе. Если даже текстъ этого примѣчанія не принадлежалъ ему самому, то содержаніе его, во всякомъ случаѣ, не могло быть неизвѣстно автору и представляется достовернымъ, такъ какъ Мицкевичъ оставилъ его въ изданіи своихъ сочиненій. Это примѣчаніе гласитъ слѣдующее: „Поэма „Дѣды“ составляетъ одно неразрывное цѣлое. Первая часть ея, написанная еще въ Ковнѣ, находится въ рукописи у автора, но, конечно, выйдетъ въ свѣтъ лишь впоследствии, и тогда изменится порядокъ всей поэмы“. Одынецъ точно также знаетъ, что первая часть было приготовлена для изданія. Всѣ эти факты, однако, еще не позволяютъ безъ дальнихъ разговоровъ отождествлять тѣ отрывки, которые были напечатаны въ 1860 г., уже послѣ смерти поэта, и съ тѣхъ поръ помѣщаются въ изданіяхъ его сочиненій въ видѣ фрагментовъ первой части, съ тѣмъ, что было написано въ Ковнѣ и, по словамъ самого Мицкевича, сожжено. Эти отрывки, какъ полагаютъ нѣкоторые изъ новѣйшихъ изслѣдователей поэта, Г. Костка и В. Хлѣбовскій, относятся къ болѣе позднему времени, къ московскому или швейцарскому періоду его жизни. Такимъ образомъ, желая прослѣдить эволюцію поэтическаго творчества Мицкевича, нельзя миновать и этого вопроса. Что касается III части, то никакихъ признаковъ существованія ея у насъ нѣтъ: можно догадываться о томъ, что было бы ея содержаніемъ, но это лишь догадки, болѣе или менѣе правдоподобныя.

Обратимся къ отрывкамъ первой части. Профессоръ Калленбахъ, изучившій ихъ рукопись, не дѣлаетъ никакихъ ука-

заний на разновременное происхождение ихъ: напротивъ, они представляютъ по своему вѣдшему виду продуктъ одного времени и одного порыва творчества. Это 500 слишкомъ стиховъ, набросанныхъ на бумагу съ видимою поспѣшностью и безпорядкомъ: написавъ одну сторону листка, Мицкевичъ не переворачивалъ его, а бралъ новый; „борьба мысли со словомъ обнаруживается въ рукописи частыми перечеркиваніями и поправками“. Изъ этого слѣдуетъ, что вырвать отсюда тотъ или другой отрывокъ и относить его къ болѣе позднему времени, чѣмъ остальные, едва ли возможно. Дѣйствующія лица первой части не только говорятъ, но и поютъ. Такъ, „дитя“ поетъ балладу о Твардовскомъ, потомъ „хоръ юношей“ обращается къ Дѣвицѣ и къ Старцу: поетъ Густавъ, поетъ Черный охотникъ и т. д. Совершенно то же самое мы находимъ во второй части „Дѣдовъ“: хоръ „Ночныхъ птицъ“, хоръ крестьянокъ, дуетъ гадателя и старца, дуетъ его же и дѣвицы и т. п. Съ вѣдшей стороны, такимъ образомъ, отрывки первой части примыкаютъ ко второй и, какъ это уже отмѣчено изслѣдователями филаретскихъ теоретическихъ взглядовъ Мицкевича-студента, соответствуютъ его тогдашнимъ представленіямъ объ оперѣ и драмѣ, о значеніи „речитатива“ и т. д. Ближайшая внутренняя связь этихъ отрывковъ съ ковенской эпохой въ жизни Мицкевича видна и изъ того, что среди нихъ мы находимъ балладу о Твардовскомъ, которымъ Мицкевичъ былъ занятъ какъ разъ тогда, когда собиралъ свой первый сборникъ балладъ и романсовъ, и изъ того, что вторая часть заключаетъ въ себѣ, въ сущности, именно рядъ балладъ: наконецъ, во время писанія этихъ отрывковъ Мицкевичъ еще жилъ среди своихъ произведеній, помѣщенныхъ въ I томѣ „Поэзіи“. При одномъ изъ хоровъ находится приписка: „см. Романтизмъ“, т.-е. балладу о Карусѣ. Совокупность этихъ данныхъ заставляеть отнести отрывки первой части къ тому же времени, когда была написана вторая; тогда какъ четвертая представляетъ уже дальнѣйшій этапъ въ творчествѣ Мицкевича. Связь отрывковъ первой части съ чтеніями поэта въ Ковнѣ, съ его увлеченіемъ романомъ „Валерія“, который какъ разъ читаетъ героиня отрывковъ, несомнѣнна. Съ другой же стороны, всѣ домыслы I. Костки о томъ, что одинъ изъ отрывковъ, благословіе старцемъ внука, относится къ швейцарскому періоду жизни Мицкевича и къ его дружбѣ съ младшимъ поэтомъ

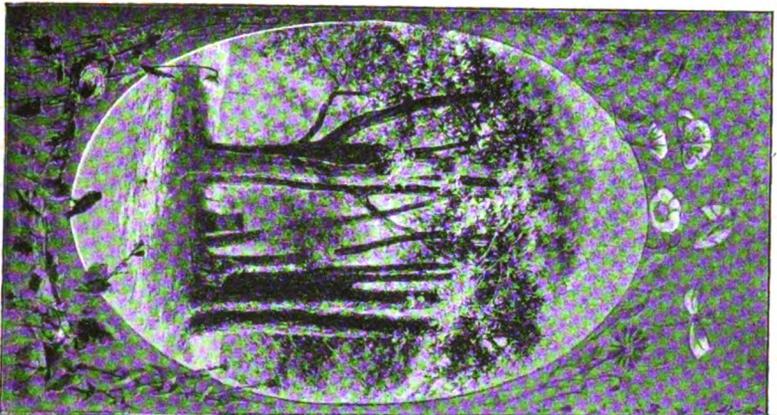
Б. Залѣскимъ (въ 1840 г.), основаны исключительно на психологическихъ соображеніяхъ о душевномъ настроеніи Мицкевича: а изъ того, что поэтъ интересовался и въ Москвѣ однимъ изъ мотивовъ („Хоръ стрѣлковъ“), разработанныхъ имъ въ первой части „Дѣдовъ“, скорѣе всего можно сдѣлать выводъ, что онъ продолжалъ работу надъ мѣстомъ, болѣе ему поправившимся и къ тому же имѣвшимъ самостоятельное значеніе; извлечь отсюда „важнѣйшее указаніе на дату отрывковъ“, какъ хочетъ Г. Костка, можно въ обоихъ направленіяхъ. Б. Хлѣбовскій въ брошюрѣ, посвященной хронологіи отрывковъ первой части, также исходитъ изъ швейцарскаго (лозинскаго) настроенія Мицкевича и видитъ его отраженіе въ этихъ отрывкахъ, — методъ, слишкомъ субъективный, какъ мнѣ кажется. Для г. Костки „Старецъ и внукъ“—Мицкевичъ и Б. Залѣскій, для г. Хлѣбовскаго—Мицкевичъ и его сынъ (1838); между тѣмъ оба изслѣдователя исходятъ изъ того же самаго матеріала. Такъ же субъективно утвержденіе этого послѣдняго критика, что въ I части поэтъ только старается „возсоздать свои мысли и грезы изъ ковенской эпохи“. При нашемъ современномъ знакомствѣ съ душевнымъ складомъ Мицкевича въ Ковнѣ мы можемъ, я думаю, напротивъ смѣло утверждать, что отрывки первой части, дѣйствительно, отражаютъ ковенскій періодъ жизни Мицкевича, какъ отражаютъ его и баллады. Связь ихъ по содержанію и по внѣшней формѣ со II частью несомнѣнна, и рѣшительно ничто не указываетъ на то, что хронологически отрывки относятся къ разнымъ эпохамъ. Поэтому, какъ продукты одной и той же эпохи, я и разсмотрю ихъ въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Мицкевичъ далъ нѣсколько группъ такихъ отрывковъ, которые указываютъ на общій планъ первой части. Однако, кое-что въ нихъ остается неясно и послѣ реконструкцій проф. Калленбаха и другихъ изслѣдователей. Именно, сохранившіеся отрывки представляютъ четыре самостоятельныя сцены: монологъ дѣвушки, погруженной въ мечты о суженомъ, бесѣду старца съ ребенкомъ, обрядъ поминовенія усопшихъ предковъ, т.-е. „Дѣды“, и встрѣчу разочарованнаго юноши съ Чернымъ охотникомъ. Если „Дѣды“ справлялись уже въ первомъ дѣйствіи, то какое значеніе могло имѣть повтореніе того же обряда во второмъ? Если разочарованный перваго дѣйствія является самоубійцей, представшимъ передъ крестьянами во второмъ, то къ чему, вообще, сцены „Дѣдовъ“ въ первомъ дѣйствіи, которое должно было дать психологическое

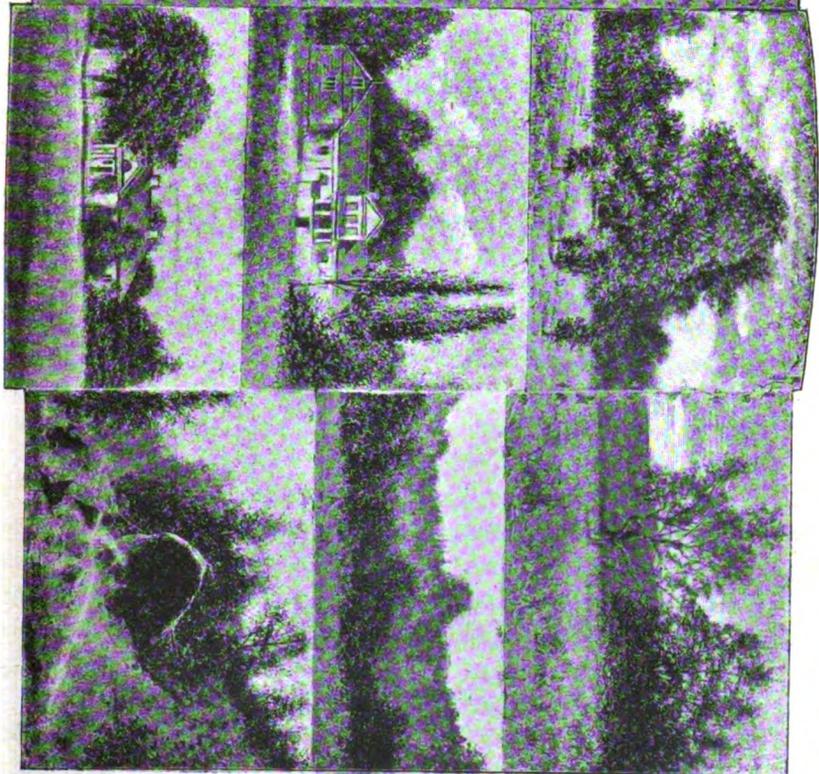
обоснование самоубийства, но, кажется, не нуждалось въ этой сценѣ обряда. Врядъ ли можетъ получить удовлетворительное объясненіе въ общей схемѣ поэмы и сцена между старикомъ и ребенкомъ. Она соответствовала настроенію разочарованнаго юноши, какъ и самого Мицкевича въ эпоху особенно интенсивной тоски, о которой мы знаемъ теперь по его письмамъ, но сама по себѣ эта сцена стоитъ особнякомъ. Можетъ быть, она должна была дать разочарованному пищу для новыхъ горестныхъ размышленій? Въ виду такой неясности не лишены интереса попытки различныхъ критиковъ распределить отрывки первой части по ихъ содержанію и опредѣлить ихъ отношеніе ко всему замыслу „Дѣдовъ“. Прежде, чѣмъ, однако, перейти къ разсмотрѣнію ихъ, остановимся обстоятельнѣе на каждомъ ихъ отрывкѣ. Уже здѣсь я позволю себѣ высказать предположеніе, что не въ „отрывки первой части“, дѣйствительно, относятся къ первой: такъ, сцена „Дѣдовъ“ могла быть наброскомъ для второй части, могла быть однимъ изъ эскизовъ обряда, который позже былъ замѣненъ цѣлымъ рядомъ сценъ. Вѣдь въ самой рукописи нѣтъ указаній на то, въ какомъ отношеніи къ цѣлой поэмѣ стоятъ эти наброски. Если же сравнить ихъ съ напечатанными 2-ой и 4-ой частями, бросается въ глаза принципиальное различіе ихъ: тамъ мы видимъ „поэму“, въ отрывкахъ „зрѣлище“ (widowisko) и наброски даютъ указанія относительно сценарія: „на правой сторонѣ театра“ (дѣвица), „лѣвая сторона театра“ (входятъ старецъ и дитя). Это именно первоначальный замыселъ, въ которомъ и самый обрядъ могъ находиться не въ томъ мѣстѣ драмы, какое онъ занялъ впоследствии. Генеалогически наброски предшествуютъ второй части „Дѣдовъ“, но связаны съ ней очень тѣсно.

Передъ нами „дѣвушка“ въ комнаткѣ, обстановка которой едва ли не списана съ тугановической комнаты Марыли: книжки, фортепьяно, лѣвое окно въ поле, съ правой стороны большое зеркало. На столѣ свѣча и развернутый романъ г-жи Крюденеръ „Валерія“, который Мицкевичъ читалъ осенью 1820 года, т. е. еще до замужества Марыли. Въ этомъ романѣ описывается возвышенная любовь 20-лѣтняго юноши, Густава Линара, къ Валеріи, молодой женѣ стараго графа, друга его покойнаго отца. Линаръ умираетъ отъ любви къ Валеріи, но передъ смертью велитъ сообщить ей о томъ, какъ долго и тайно онъ любилъ ее. „Дѣвушка“ Мицкевича вся подъ впечатленіемъ этого чувствительнаго рома-

ВИДЫ ТУГАНОВИЧЕЙ.



Беседка Милкевича.



Другой видъ на бесѣдку.
Дома вь Тугановичахъ.

Берега,
послѣ рѣской
полаты.

Садъ вь Туга-
новичахъ.

Камень
Фигаретовъ.

на. „Валерія! Густавъ! О, ангель (anielski) Густавъ! Ахъ, такъ часто я грезила о васъ наяву!“ Въ длинномъ монологѣ экзальтированная дѣвушка выражаетъ свое отвращеніе къ реальной жизни. Другое дѣло—жизнь грезъ, навѣваемыхъ книгами. „Похоронимъ свои души еще при жизни въ этихъ страницахъ! Можно великолѣпно воскреснуть и послѣ такой кончины, и черезъ эту могилу вѣдетъ путь на Елисейскія поля; утрата скучной дѣйствительности возмѣстится для тѣхъ, кто поселится среди тѣней придуманнаго міра! Тѣней?“—спрашиваетъ она, и затѣмъ съ той же горячностью передаетъ смутную теорію „лучей“ (promionkowa), которая такъ занимала нашего поэта какъ разъ осенью 1820 г., когда онъ читалъ и „Валерію“ (ср. два письма Мицкевича отъ октября 1820 г., №№ 36 и 37, въ новомъ изданіи проф. Калленбаха). Вотъ эта теорія въ устахъ „дѣвницы“ наброска: „Въ природѣ, всеобщей отчизнѣ тѣль и душъ, у всѣхъ созданій есть близкія имъ существа; каждый *лучъ*, каждый голосъ сочетается съ подобнымъ ему и создаетъ гармонію въ цвѣтахъ и тонахъ; невидимая пылинка блуждаетъ среди тѣль мірозданія въ поискахъ сердца другого атома. Такъ неужели одно только чувствительное сердце должно остаться въ сонмѣ твореній сиротой и тосковать до самой своей смерти? Это сердце мнѣ далъ Творецъ. Хотя въ толпѣ обыкновенныхъ людей никто не можетъ его узнать, потому что никто его не понимаетъ, но есть и долженъ быть гдѣ-то, хотя бы на краю свѣта, нѣкто, кто несется мнѣ на встрѣчу взаимными мыслями“. Въ мечтахъ о такомъ соединеніи и расплывается дѣвница.

Слѣдующая сцена, разговоръ между старцемъ и ребенкомъ на „лѣвой сторонѣ театра“, представляетъ психологическую загадку: въ рѣчахъ старика такое глубокое утомленіе жизнью, что естественно и соблазнительно предположеніе (г. Костки и В. Хлѣбовскаго) о позднѣйшемъ происхожденіи этой сцены. Между тѣмъ своими указаніями на сценаріи она соответствуетъ вышеприведенной сценѣ, написанной, какъ заставляетъ думать развитая здѣсь „теорія лучей“ и романъ „Валерія“, въ октябрѣ или ноябрѣ 1820 года, когда поэтъ еще не утратилъ надежды на соединеніе съ Марылей. И приведенная здѣсь баллада о Твардовскомъ переноситъ насъ къ тому періоду въ творчествѣ Мицкевича, когда онъ еще писалъ баллады (именно о Твардовскомъ), когда вопросы любви занимали первенствующее мѣсто въ его духовной жизни. Это

была весна поэта, не осень его послѣ „Пана Тадеуша“. Такимъ образомъ, и бесѣда старца съ ребенкомъ должна быть отнесена къ ковенской эпохѣ,—едва ли не къ тому же самому времени, когда и I-я сцена. Лишь силою воображенія Мицкевичъ возсоздалъ душевное состояніе старика, какъ и въ IV части „Дѣдовъ“ онъ далъ живой образъ старика-священника.

Дитя зоветъ старика вернуться домой: ему страшно, что-то блеснуло у церкви, говорятъ, что въ эту ночь ходятъ умершіе. „Завтра пойдемъ на кладбище,—проситъ дитя: ты по своему обыкновенію думать, а я украшать кресты цвѣтами и зеленью (тајем)“. Но его пугаетъ, что дѣдъ слабъ; вотъ уже двѣ недѣли, какъ онъ ослѣпъ, и слышитъ онъ плохо. Но старикъ хочетъ итти сегодня же. Онъ горько жалуется, что его всѣ покидаютъ. „И пойду одинъ. Кто блуждаетъ днемъ и не слышитъ живыхъ, тотъ видитъ ночью и знаетъ языкъ могильной тишины. Я не заблужусь. Вѣдь всякій годъ я ходилъ по этой дорогѣ, сначала, какъ и ты, мой сынъ, съ ребяческой тревогою; потомъ мальчикомъ, полный любопытства и бодрости; а потомъ съ душевной болью, теперь же даже безъ горечи, безъ сожалѣнія. Что же влечетъ меня? Какое-то новое стремленіе, темное предчувствіе; можетъ быть, это могильный инстинктъ? Я найду кладбище. Что-то въ глубинѣ души говоритъ мнѣ, что для обратной дороги мнѣ не нужно будетъ проводника. Но раньше, чѣмъ мы разстанемся, я награжу тебя за твою дѣтскую службу. Подойди, мой сынъ, встань на колѣни, сложи руки. Боже! Ты, который приказалъ мнѣ наполнить и вышить слишкомъ большой и слишкомъ горькій кубокъ жизни! Если достойно твоего милосердія терпѣніе, съ которымъ я осушилъ до дна эту горечь, я рѣшаюсь просить у Тебя единой, но величайшей награды: благослови моего внука, дай ему умереть молодымъ! Будь здоровъ! Встань и пожми еще разъ руку дѣда; дай мнѣ услышать твой голосъ, спой любимую пѣсенку, которую ты повторялъ столько разъ, о зачатомъ юношѣ, превращенномъ въ камень“. Слѣдуетъ баллада. Все это очень эффектно на сценѣ, въ представленіи, которое имѣетъ характеръ фееріи съ пѣніемъ, но въ поэмѣ излишне, такъ какъ отвлекаетъ вниманіе отъ развитія душевной жизни героя. Этотъ приѣмъ былъ вполне естественъ для Мицкевича II части „Дѣдовъ“, но не для Мицкевича швейцарскаго періода. Въ балладѣ идетъ рѣчь о Литвѣ, объ Ольгердѣ... Передъ нами атмосфера, въ

которой создалась „Гражина“, атмосфера, чуждая уже литовской поэме, „Палу Тадеушу“. Заклятый юноша постепенно превращающийся въ камень, *Порай!* Онъ былъ влюбленъ въ Марылю, жилъ на берегахъ Святизи! Послѣ открытія поэмы „Мѣшко“ можно ли сомнѣваться, какъ тѣсно сплелись эти отрывки первой части съ Повоградкомъ и Марылей.

Слѣдующій—въ порядкѣ изданія, но не въ логическомъ развитіи фееріи (*widowisko*)—отрывокъ переноситъ насъ въ атмосферу обряда „Дѣдовъ“. Совершитель обряда названъ здѣсь, какъ и во II части, гусяромъ. Тамъ обрядъ долженъ былъ совершать, какъ предполагаютъ нѣкоторые и слѣдователи, священникъ, замѣненный гусяромъ изъ цензурныхъ соображеній, но въдѣ I часть вовсе не подвергалась цензурѣ. Здѣсь гусярь никого не замѣнилъ. Не указываетъ ли это на ошибочность предположенія, будто бы и во II части ему первоначально не было мѣста? Обѣ сцены стоятъ въ ближайшей связи между собой: отрывокъ I части рисуетъ отправленіе крестьянъ съ гусяромъ во главѣ на кладбище, во II части они уже на мѣстѣ и приступаютъ къ совершенію обряда. Въ I части гусярь произноситъ короткія таинственныя рѣчи, на которыя хоръ отвѣчаетъ двуступеніями; то же самое мы находимъ во II части. „Всюду мракъ, всюду тишь!“ (*ciemno wszędzie, głucho wszędzie*)—говоритъ гусярь въ I части; эта фраза служитъ рефреномъ хора во II. Уже выше я высказывалъ предположеніе, что этому отрывку мѣсто не въ I части, но во II, гдѣ въ связи съ дальнѣйшимъ онъ далъ бы цѣльную картину обряда и объяснилъ бы нѣкоторыя неясности: такъ, дѣвушка въ траурѣ, которая не возбуждаетъ никакого вниманія къ себѣ во II части до самаго появленія призрака, въ этомъ отрывкѣ получаетъ объясненіе: къ ней обращается хоръ юношей, отправляющихся на кладбище, съ просьбой не ломать ручекъ и не портить глазъ слезами; и къ старцу, который потомъ во II части уже вовсе не встрѣчается, хоръ юношей обращается съ такими же уговорами.

Жуткое, таинственное настроеніе прекрасно изображено и въ этомъ отрывкѣ: „Всюду мракъ, всюду тишь“,—начинаетъ гусярь. „Съ чуткимъ слухомъ, съ зоркимъ окомъ поснѣвшимъ въ обрядѣ тайномъ, съ тихимъ пѣньемъ, тихимъ шагомъ. Въдѣ поемъ мы не коляду, пѣсню жалобы и скорби; не въ усадьбу съ Новымъ Годомъ, но въ слезахъ идемъ къ могламъ. Поснѣвшимъ, прой-

демь потише за усадьбой и за храмомъ: ксендзь гаданій (gus-
tów) не позволить, панъ проснется, слыша пѣнье. Только мерт-
вые стремятся, на призывъ летить къ гусяру; надъ живыми
панъ помѣщикъ, надъ кладбищемъ власть костела“. Затѣмъ слѣдуютъ
обращенія хора юношей къ дѣвушкамъ и къ старцу; дѣвушка—это,
наѣрное, та самая, что читала „Валерію“, что уже успѣла пере-
жить какую-то драму въ продолженіе перваго дѣйствія и идетъ
на кладбище съ потрясенной душой. Она погубила юношу и
страдаетъ отъ этого, какъ страдала Марья послѣ разлуки съ
Мицкевичемъ. О томъ же, что переживалъ юноша, мы узнаемъ
изъ послѣдняго отрывка I части. Вернемся, однако, къ продол-
женію пѣсни гусяра, которая выражаетъ завѣтное убѣжденіе
Мицкевича, высказанное имъ уже въ балладѣ „Романтизмъ“ и
потомъ, много лѣтъ спустя, приведшее его къ мистикѣ товян-
зма. Это убѣжденіе, что жизнь чувства выше разума, что чувству
доступно раскрытіе такихъ тайнъ, которыя замкнуты передъ ра-
зумомъ. „Кто, блуждая въ юдоли жизни, хотѣлъ итти прямымъ
путемъ, хотя судьба, по своему обыновенію, всюду сѣяла на его
дорогѣ тернія, кто, наконецъ, черезъ много лѣтъ, среди заботъ и
въ тяжкомъ утомленіи, забылъ о пѣли своего пути, чтобы отдох-
нуть послѣ трудовъ. Кто отъ земли обращалъ свой взоръ къ
солнцу, измѣрялъ полеты неба и звѣздъ, и не зналъ земли до
тѣхъ поръ, когда, наконецъ, упалъ въ бездну мрака; кто хотѣлъ
своей скорбью воздвигнуть то, что исчезло въ лонѣ прошлаго;
кто хотѣлъ своимъ стремленіемъ постигнуть будущее, которое
заключено въ лонѣ тайны; кто слишкомъ поздно понялъ свое
заблужденіе, и уже не вѣрить въ исправленіе, но смежаетъ очи,
чтобы жить въ сновидѣніи тѣмъ, чего онъ искалъ на яву. Кто,
постигнутый болѣзнию мечтательности, создастъ самъ для себя
пытки и напрасно стремится увидѣть передъ собою то, что жи-
ветъ только въ его душѣ; кто вспоминаетъ былыя минуты и кто
мечтаетъ о будущихъ, тому мы говоримъ: иди отъ сѣта къ
могилѣ, иди отъ мудрецовъ къ гусярамъ. Насъ окружаетъ
мракъ таинственнаго, насъ ведутъ впередъ поэзія и вѣра. Съ нами
вмѣстѣ тѣ, кто отчаивается, кто вспоминаетъ, кто желаетъ!“

Обрядъ, описанный во II части поэмы, носитъ болѣе реалистиче-
скія черты, и гусярь, совершая обрядъ и вызывая духовъ, не
говоритъ о поэтическомъ міровоззрѣніи челоѣка. Въ той болѣе
реалистической обстановкѣ, которую даетъ вторая часть „Дѣдовъ“

приведенное воззваніе гуслира не было умѣстно; оно похоже именно на первоначальный замыселъ, когда въ сознаніи поэта еще не вполне опредѣлилась общая схема его произведенія. Не потому ли эта сцена и была выкинута въ послѣдующей обработкѣ поэмы, при чемъ оказались уничтоженными и сцены съ дѣвушкой и старикомъ? Благодаря этому совершеніе обряда, какъ оно представлено во второй части, производитъ гораздо болѣе цѣльное впечатлѣніе; оно сконцентрировано около нравственного смысла тѣхъ явленій, которыя наполняютъ весь обрядъ, и самое появленіе призрака оказывается гораздо болѣе неожиданнымъ и страшнымъ, если мы не знаемъ, что среди присутствующихъ въ часовнѣ есть одна, которая ожидаетъ его. Именно, въ интересахъ художественной цѣльности все привходящее извнѣ было исключено, и сохранившіеся отрывки „первой части“ (не всегда, какъ видимъ, первой) бросаютъ свѣтъ на процессъ созданія, совершавшійся въ творчествѣ Мицкевича. И заключительный „хоръ молодежи“ этой сцены представляетъ нѣкоторое несоответствіе съ предыдущимъ и послѣдующимъ: въ началѣ сцены гуслирь говоритъ объ умершихъ, которые поспѣшатъ явиться на его призывъ, въ самой сценѣ „Дѣдовъ“ весь обрядъ заключается въ вызываніи духовъ умершихъ. Между тѣмъ, хоръ молодежи, отправляясь на обрядъ, хочетъ остановиться на половинѣ дороги: „Тамъ на холмѣ лежитъ деревня, а тамъ кладбище въ дубравѣ“. Здѣсь молодежь намѣрена „праздновать Дѣды и сокращать ночь пѣсенками. Мы будемъ идущихъ привѣтствовать, возвращающихся спрашивать, пугливымъ разгонять тревогу, заблудившімся указывать дорогу“. Только-то? Кто же справляетъ самый обрядъ? „Пусть же дѣти и отцы идутъ въ костель съ мольбой и съ хлѣбомъ, а мы, молодые, останемся на половинѣ дороги, подъ чистымъ небомъ“. Такъ кончается эта сцена.

Теперь передъ нами Густавъ, герой IV части „Дѣдовъ“, который въ видѣ призрака, безымяннаго привидѣнія, появляется передъ „дѣвушкой“ въ концѣ II части. Эта сцена I части, которой должно было предшествовать не написанное или не сохранившееся до насъ объясненіе влюбленныхъ, логически предшествуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ всѣмъ дальнѣйшимъ появленіямъ Густава, и въ общей концепціи драмы ей, дѣйствительно, мѣсто въ первомъ актѣ. Густавъ и здѣсь, какъ позже, мечтатель, увлеченный „убійственными книгами“. Его пѣсня: „Средь горъ и овраговъ, долинь

и лѣсовъ“ была въ послѣдствіи переработана Мицкевичемъ, какъ „хоръ охотниковъ,“ и напечатана въ 1827 году въ „Gazecie Polskiej“. И позже она подвергалась различнымъ перемѣнамъ. И въ этомъ самъ авторъ указать и мотивъ этой пѣсни, ссылаясь на „Freischütz“ Вебера¹⁾. Эта опера была поставлена въ Берлинѣ въ іюнь 1821 года и имѣла громаднѣйшій успѣхъ; изъ Берлина ея слава разнеслась быстро и въ Польшѣ, и въ домѣ Ковальскихъ или кого-нибудь изъ литовскихъ знакомыхъ поэтъ могъ познакомиться съ ней; для этого ему вовсе не было надобности самому услышать всю оперу. Изъ „Фрейшицъ“ Мицкевичъ заимствовалъ и „Чернаго Охотника“; „Samuel невидимо сопровождаетъ намѣченные имъ жертвы (Fr. Konarski)“. Роль „Чернаго охотника“ въ этомъ мѣстѣ „Лѣсовъ“ непонятна: Густавъ еще далекъ отъ самоубійства; его грусть безпричинна.

Въ сценѣ первой части Густавъ поетъ свою пѣсню и потомъ спохватывается, что такъ отсталъ отъ другихъ охотниковъ. Они веселы, они полны охотничьяго увлеченія. „А я? Почему я не таковъ, какъ они? Мы выѣхали вмѣстѣ, что же меня влечетъ на охоту? Ахъ, я не ищу развлеченія, я бѣгу отъ скуки. Я люблю не наслажденія охоты, но ея труды: по крайней мѣрѣ думаешь въ это время, мѣняешь мѣсто, и никто не слѣдитъ за моими мечтаніями, за пустыми слезами, которыя невѣдомо почему выступаютъ на очахъ, за безцѣльными вздохами, которые невѣдомо куда несутся, навѣрно не къ сосѣдкамъ, но къ вѣтрамъ, рошамъ, грезамъ... Странная мысль! Вѣчно мнѣ кажется, что кто-то видитъ мои слезы и слышитъ вздохи, и вѣчно кружится около меня, подобно тѣни. Сколько разъ въ тихій день зашелестятъ на дугу, точно какія-то летящія ножки нимфы: взглянешь: качаются цвѣты, поднимаютъ головки, точно слегка задѣтые. Иногда въ своей комнатѣ я одиноко читаю книжку, вотъ книжка выпала изъ рукъ, взглянешь: въ зеркалѣ мелькнула какая-то легкая фигура, шелохнулась ея воздушная одежда. Иногда я грезишь ночью; разлетается мысль, я вздыхаю, и что-то давало подобіе жизни вздохамъ. Сердце билось, и я чувствовалъ біеніе другого сердца: меня прославили повсюду безчувственнымъ

¹⁾ Припомнимъ у Пушкина („Евгеній Онегинъ“, гл. III, стр. XXXI): „Или разыгранный Фрейшицъ перстами робкихъ ученицъ“. Въ вариантѣ „Разыгранный Моцартъ или Дидъ“. Побѣдилъ однако, „Freischütz“. Эта глава была закончена въ октябрѣ 1824 года.

чу. дакомъ. Но кто же, если не они, отняли у меня чувство? Я помню время, когда каждая красавица казалась молодымъ очамъ подобной сонной мечтѣ въ облакѣхъ грезъ, когда подъ вѣшнимъ блескомъ я готовъ былъ угадывать миллионы тайныхъ прелестей и достоинствъ и съ трепетомъ сѣдѣлъ къ чудесному образу; я приходилъ, говорилъ: довольно было одного слова, чтобы образъ, достойный помѣряться красотой съ небожителями, превращался въ статую, вырубленную изъ льда. Какъ часто, когда душа летитъ къ устами, я хочу открыть тайны своего внутренняго міра; глазъ слѣдить въ очахъ за самымъ дномъ мысли, языкъ сердца ждетъ сердечнаго отвѣта, въ это время нѣмая боляница боится моихъ очей, моихъ словъ не слышитъ, потому что ей неприлично ихъ слышать, или, какъ эхо, повторяетъ вѣхъ окончанія, или краснѣетъ, или улыбается, и снова хочетъ втянуть меня въ обыкновенный разговоръ, вчерашній, третьегоднешній, прошлогодній! Пусть же родные своими совѣтами и своей властью продадутъ ее въ замужество хорошему покупателю: невинная, ничего не знающая, не видящая, глухая, какой она будетъ? Стыдно сказать, хотя меня никто не слышитъ. О, души мелкія, скорѣе бездушные скелеты! Вы, которые почерпаете всю свою нравственность изъ этикета, чьи сожалѣнія и радость, воодушевленіе и охлажденіе измѣняются согласно съ модой; любезность и разговоры лучшаго тона, какъ нарядныя конфеты съ пола салона (jak cukierki przybrane z podłogi salonu). Часто даже слово неясное, глухо произнесенное, какъ пролетѣвшая ночная мушка, ласкаетъ мой слухъ“.

Остановимъ на минутку безввязную, наскоро записанную рѣчь Густава. Она дышитъ ранней молодостью, той порой, когда человеку кажется, что кто-то вникаетъ его мечтамъ. Нападки на семью Марыли: на этикетъ Тугановичей, на обычную уклончивость Марыли,—это все то, что мы еще услышимъ во II части. Очевидно, сценѣ въ лѣсу на охотѣ должно было предшествовать какое-то объясненіе Густава съ Марылей. Это объясненіе наполнило его отчаяніемъ. Но вотъ до слуха его доносится пѣсня „Черный охотникъ“ (Вебера) поетъ: „Слишкомъ высоко ты летаешь, птишка! Знаешь ли ты силу своихъ крылышекъ? Посмотри-ка на землю, которую ты такъ презираешь: сколько тамъ приманокъ, сколько силковъ“. На призывъ Густава отозваться Черный охотникъ отвѣчаетъ загадочно, предлагаетъ свою помощь.

Робость охватывает Густава; онъ хочетъ уйти отъ страшнаго спутника, а тотъ продолжаетъ: „Если ты непонятливъ, я объяснюсь, если ты мнѣ не доверяешь, буду правдивъ съ тобой. Знай прежде всего, что, куда бы ты ни ступилъ, повсюду надъ тобой будетъ извѣстное существо, которое не спускаетъ съ тебя глазъ; что оно захочетъ взглянуть на тебя, принявъ человѣчeskій образъ, если ты сохранишь ненарушимо то, что общался...“ Густавъ: „Боже мой! Что это значить? Не приближайся ко мнѣ!“

На этомъ обрывается сцена! О дальнѣйшемъ мы можемъ только догадываться, но трудно представить себѣ, что могъ общаться злой духъ Густаву, потому что при удачѣ: на примѣръ, при завладѣннн съ его помощью Марылей, дальнѣйшая личная драма Густава не могла получить правильнаго развитія. Онъ долженъ былъ погибнуть, а слѣдовательно побѣда надъ Марылей не могла имѣть мѣста въ драмѣ. Въ такомъ случаѣ къ чему же вся эта сцена, если она не простое подражаніе „Френшитцу“, привлекательное само по себѣ, своей таинственностью. Повидимому и самъ Мицкевичъ почувствовалъ, что онъ не выпутается изъ затрудненій, въ которыя вовлекаетъ его сцена съ чернымъ охотникомъ, и даже не докончилъ ее. На этомъ и кончается то, что извѣстно подъ названіемъ отрывковъ первой части „Дѣдовъ“. Посмотримъ, какъ ихъ толкуетъ критика?

По мнѣнію І. Третьяка, всѣ отрывки первой части дѣлятся на двѣ группы: къ первой относятся сцены, въ которыхъ выступаетъ пара мечтателей, Густавъ и дѣвушка; другая группа, по его мнѣнію, не имѣетъ ничего общаго съ первой и, напротивъ, тѣсно связана со второй частью „Дѣдовъ“; между собой эти отрывки не соединены непрерывной цѣпью, но внутренняя связь между ними существуетъ. Столкновеніе Густава съ Чернымъ охотникомъ должно было отклонить героя отъ чистой, идеальной любви. По вышеннзложеннымъ соображеніямъ, я не могу согласиться ни съ однимъ изъ этихъ мнѣній І. Третьяка: Густавъ выступаетъ передъ нами не какъ параллель къ мечтательной дѣвушкѣ, но уже послѣ сильныхъ переживаній, плодомъ которыхъ только и явилась охватившая его мечтательность: между сценой дѣвушки и сценой Густава должна была лежать исторія ихъ встрѣчи, любви и разлуки; послѣдняя сцена вошла въ IV часть, въ рассказъ Густава. Отрывки „другой группы“, по классификаціи Третьяка, представляютъ или первоначальный набросокъ

сокъ обряда, или какую-то сцену, которой было мѣсто, собственно, во второй части. Наконецъ, значеніе „Чернаго охотника“ едва ли было ясно для самого Мицкевича, который увлекся красивой сценой у Вебера, но такъ и не могъ завершить ее. Проф. Калленбахъ также соединяетъ монологи Густава и дѣвушки, какъ „выраженіе одного и того же чувства, юношеской экзальтаціи“, забывая при этомъ, что Густавъ жалуется на совершенно реальныя причины печали, на отказъ ему въ рукѣ дѣвушки, которой сулятъ лучшую партію; при этомъ и сама дѣвушка, подобно Марыль Верещакъ, подчиняется совѣту старшихъ. Какая же это экзальтація? Отправленіе крестьянъ на обрядъ Калленбахъ считаетъ возможнымъ совершенно отдѣлить отъ самаго обряда; это лишь прологъ, и пѣсня гусяра предсказываетъ появленіе Густава. Хмѣлевскій соединяетъ сцены Густава и дѣвушки, какъ это дѣлаютъ и другіе польскіе изслѣдователи, видитъ въ ихъ монологахъ „неопредѣленные мечты, безцѣльныя и безпредметныя исканія, порывы души къ какому-то невѣдомому идеалу, какіе пробуждаются у насъ въ періодъ созрѣванія и развитія инстинкта продолженія рода“. Двѣ другія сцены (хоры крестьянъ, гусяра, разговоръ старика съ мальчикомъ) Хмѣлевскій склоненъ перенести въ другія части. „Ни та, ни другая сцена не могли входить въ первую часть, по крайней мѣрѣ, въ томъ случаѣ, если бы поэтъ захотѣлъ окончить ихъ по напечатаніи II и IV частей“. Съ этимъ утвержденіемъ я вполне согласенъ. Нашлись однако энтузіасты, которые заявили, что первая часть „Дѣдовъ“ представляетъ законченное цѣлое. По увѣренію С. Матусяка, здѣсь есть все до послѣдняго слова: первая сцена—„Марыля передъ знакомствомъ съ Густавомъ“, третья—„Густавъ передъ знакомствомъ съ Марылей“, вторая сцена—„Марыля послѣ разлуки съ Густавомъ и Густавъ послѣ разлуки съ Марылей“. Какъ ни далекъ этотъ оптимизмъ, по моему убѣжденію, отъ истины, и какъ ни произвольны толкованія С. Матусяка отрывковъ, въ родѣ сцены съ Чернымъ охотникомъ, я думаю, что въ одномъ онъ правъ: дѣйствительно, въ отрывкахъ первой части передъ нами Марыля и Густавъ уже послѣ разлуки. Дѣвушка, къ которой обращается хоръ, Марыля послѣ разлуки, и пѣсня хора даютъ ясныя намеки на Путькаммера. Можно фантазировать на тему, что далъ бы Мицкевичъ въ I части, если бы написалъ ее цѣлкомъ, но едва ли это дастъ намъ пониманіе творчества

Мицкевича (напр., Матусякъ увѣряетъ, что „чортъ довелъ героевъ до того съ помощью людей, что они разошлись“ и т. д.). Также сомнительно и другое утверждение этого автора, что Мицкевичъ уже выработалъ окончательный планъ всей поэмы, когда писалъ I часть. По моему мнѣнiю, слѣдуетъ остаться при прежнихъ воззрѣнiяхъ на эти отрывки: они написаны въ Ковнѣ или Вильнѣ, раньше II и IV частей или въ одно время съ ними, но не были ни закончены, ни отдѣланы. Это именно эскизы, наброски, которые сохранились случайно, какъ могли бы сохраниться и другiе, подобные имъ,—эскизы, однако, тѣмъ болѣе цѣнные, что они передаютъ чуть не съ фотографической точностью душевный мiръ поэта послѣ недавнихъ событiй его личной жизни. Комнатка Марыли, ея мечты, ея чтенiя, этикетъ въ домѣ Верещаковъ, уклончивость Марыли отъ объясненiй съ пылкимъ влюбленнымъ поэтомъ, отчаянiе этого послѣдняго: все это нарисовано по свѣжимъ слѣдамъ событiй. Мицкевичъ хотѣлъ сказать, что такое „призракъ“ (*upiór*) II части его „Дѣдовъ“, да такъ и не сдѣлалъ этого въ I части и замѣнилъ отрывки прологомъ, который, какъ мы знаемъ теперь точно, былъ написанъ въ февралѣ 1823 г.

На „Призракъ“ сказалось уже влиянiе байронизма, тогда какъ въ самой поэмѣ герой стоитъ еще подъ знаменемъ Гёте и Руссо. То разочарованiе въ идеалѣ жизни, то презрѣнiе къ человеческому сочувствiю, та тоска невѣрiя въ друзей, которая такъ характерна для Мицкевича зимы 1822—1823 года, сказались здѣсь въ полной мѣрѣ. Этотъ прологъ развиваетъ ту же самую тему, что и монологъ Густава въ отрывкѣ первой части. Онъ могъ бы разсматриваться, какъ передѣлка и дополненiе того, что тамъ сказалъ или хотѣлъ сказать Густавъ. Какъ превратился этотъ послѣднiй въ привидѣнiе (*upiób*, покойникъ, блуждающiй послѣ смерти), мы не знаемъ. Густавъ въ IV части производитъ неопредѣленное впечатлѣнiе: не то онъ живъ, не то только призракъ. Прологъ и долженъ былъ объяснить дальнѣйшее таинственное появленiе героя, который явился лишь для того, чтобы осудить свою безумную любовь, дать „предостереженiе“ инымъ, но самъ Мицкевичъ не могъ осудить ее. Передать эти страстные жалобы трудно, какъ трудно пересказать и жалобы Густава, однообразныя и въ то же время такiя богатыя оттѣнками скорби и гнѣва. Вотъ переводъ этого пролога:

„Сердце остановилось, грудь уже холодна, какъ ледь,

плотно сжаты уста, и замкнуты очи: онъ еще на свѣтѣ, но уже не для свѣта. Что же это за человекъ? Мертвый! Смотри! Духъ надежды даетъ ему жизнь, звѣзда памяти удѣляетъ лучи, мертвый возвращается въ края молодости искать милое лицо. Снова задышала грудь, но она уже холодна, широко раскрыты уста и очи, снова онъ на свѣтѣ, но ужъ не для свѣта. Чѣмъ же сталъ этотъ человекъ? Привидѣніемъ! Тѣ, кто жили близко отъ кладбища, знали, что каждый годъ пробуждается это привидѣніе (упырь, *upyr*), въ родительскую субботу онъ сбрасываетъ могильную плиту и бродитъ между людей. А когда зазвонять, на четвертую недѣлю, ночью онъ возвращается, лишенный силъ; съ окровавленной грудью, какъ будто сегодня только растерзанной, снова засыпаетъ въ могилѣ. Много слуховъ о ночномъ человекѣ: живы еще тѣ, что были на его погребеніи; говорятъ, что онъ погибъ въ молодомъ возрастѣ, будто онъ самъ себя убилъ. Теперь, навѣрное, онъ терпитъ въ наказанье вѣчныя муки, такъ жалобно онъ стонетъ и такъ пылаетъ пламенемъ. Недавно одинъ старый понамарь его увидѣлъ и подслушалъ. Онъ рассказываетъ, что упырь, когда вышелъ изъ земли, обратилъ глаза на утреннюю звѣзду, заломилъ руки и холодными устами возопилъ такую жалобу: „Проклятый духъ! Зачѣмъ ты зажигаешь огонь жизни среди овраговъ безчувственной земли! Проклятый блескъ, ты погасъ снова... Зачѣмъ ты снова миѣ свѣтишь? О, справедливый, но страшный приговоръ! Снова увидѣть ее, узнать и разлучиться и каждый годъ заново страдать, какъ страдалъ, и кончить, какъ кончилъ! Чтобы найти тебя, я долженъ бродить въ толпѣ, выйди изъ своего долгаго убѣжища, но миѣ безразлично, какъ меня встрѣтятъ люди, достаточно всего я испыталъ въ своей жизни. Когда ты смотрѣла, я долженъ былъ, какъ преступникъ, отворачивать свое лицо; я слышалъ твои слова, слышалъ каждый день и каждый день долженъ былъ молчать, какъ гробовая доска. Когда-то смѣялись молодые друзья, называли тоску мою чудачествомъ, преувеличеніемъ; а зрѣлые людижимаютъ плечи и уходятъ или надѣбдаютъ мудрыми совѣтами. Одинаково равнодушно слушалъ насмѣшниковъ и совѣтниковъ, хоть и самъ, можетъ быть, не лучше другихъ: самъ бы себя я огорчилъ излишнимъ увлеченіемъ или смѣялся бы отъ слишкомъ долгой печали. А нѣкто другой полагалъ, что я тебя оскорбляю, что я задѣваю его дворянскую гордость, а все-таки подчинялся необ-

ходимости быть любезнымъ, дѣлалъ видъ, что не понимаетъ. Но я горжусь тѣмъ, что также понялъ его, хоть онъ меня не спрашиваетъ, хотя я умѣю молчать. Я говорилъ насильно, а когда онъ отвѣчалъ, я дѣлалъ видъ, что не понимаю. Но кто не могъ простить мнѣ грѣха, кто едва удерживалъ на устахъ оскорбленіе, недружелюбное лицо заставлялъ улыбаться и глазамъ придавалъ лживый видъ сожалѣнія, только такому я никогда не простилъ. Впрочемъ, никогда я не запятналъ своихъ устъ жалобами и не удостоилъ выразить презрѣніе, когда обращался къ нему съ улыбкой. И то же я испытаю, если изъ мрака я подниму напоказъ свѣту свой дикій образъ: одни будутъ бичевать меня заклинаніями, другіе убѣгутъ, удивленные. Тотъ смѣшитъ надменностью, тотъ надобдаетъ жалостью, другой хочетъ скривить насмѣшливо глаза... Почему же я долженъ оскорблять или удивлять столькохъ людей, когда я иду къ одной? Что бы ни было, я пойду по прежнему пути: жалость лукавымъ, смѣхъ сострадательнымъ! Только, о, милая, только ты попрежнему привѣтстуй привидѣніе! Взгляни и промолви! Прости, мое маленькое преступленіе, что я осмѣливаюсь еще разъ вернуться къ тебѣ, что я осмѣливаюсь, какъ призракъ прошлаго, замутить на одинъ часъ твое теперешнее счастье. Можетъ быть, привыкшіи къ свѣту и солнцу не испугается головы трупа и, можетъ быть, ты согласишься терпѣливо выслушать до конца загробную рѣчь, слѣдить за мыслями, блуждающими по образамъ прошлаго, какъ плющъ, который разстилаетъ свои разросшія вѣточки на камняхъ стараго зданія“.

Благодаря такой замѣтл. первой части „Прологомъ“ композиція поэмы достигла большей цѣльности, а вмѣстѣ съ тѣмъ вниманіе читателя сосредоточилось на чувствахъ влюбленнаго самоубійцы. Вѣдь въ первой части выступила и „дѣвушка“. Это было еще до свадьбы Марыли, когда поэтъ могъ отдаваться грезамъ о взаимности. Жизнь разрушила эту иллюзію въ февраль 1822 года, и тогда же, вѣроятно, у Мицкевича составилось намѣреніе совсѣмъ исключить изъ своихъ „Дѣдовъ“ образъ дѣвушки. Если III часть поэмы являлась прямымъ продолженіемъ II, то въ ней должно было происходить объясненіе между Густавомъ и Марылей, „предостереженіе“ той, которая всю жизнь забавлялась, никого не любя; сцена должна была соответствовать послѣдующему объясненію между Густавомъ и униатскимъ священникомъ. Повидимо-

му, однако, III дѣйствіе и не было вовсе написано: образъ равнодушной красавицы вошелъ во II часть; Марыля и ея чувства не были представлены вовсе, но тѣмъ выпуклѣе стала фигура героя, который явился передъ нами въ неизмѣнномъ образѣ „Призрака“. На его „человѣческое“ существованіе только легкій намекъ бросаетъ прологъ. Такъ достигается и болѣе сильное, и болѣе цѣльное, и болѣе жуткое впечатлѣніе: появленіе Густава въ IV части совершенно неожиданно. Знаи мы изъ перваго дѣйствія прошлое Густава: какъ онъ любилъ, и какъ его любили, и какъ онъ погибъ, и изъ втораго дѣйствія, почему онъ появился на „Дѣдахъ“, а изъ третьяго и четвертаго актовъ: какъ и почему онъ объяснился сначала съ дѣвушкой, потомъ съ ксендзомъ, получила бы длинная, тягучая повѣсть, лишенная драматическаго эффекта. Теперь иное: въ прологѣ мы лишь узнаемъ о томъ, кто будетъ героемъ поэмы, и какъ онъ страдалъ: лишь одинъ намекъ, присутствіе на обрядѣ дѣвушки въ траурѣ, предсказываетъ, что „Дѣды“ не обойдутся безъ появленія того, по комъ дѣвушка носитъ трауръ: ничто не позволяетъ намъ предчувствовать вторженіе страшнаго, таинственнаго призрака въ скромный и чистый домикъ деревенскаго священника. И потому поэма читается съ захватывающимъ, не ослабѣвающимъ интересомъ, и, какъ она разовьется дальше, мы не знаемъ до послѣдней строки. Надо было много работать надъ замысломъ, надъ всѣми его деталями, художественно пережить поэму вмѣстѣ съ читателемъ, чтобы достигнуть такого единства плана. Здѣсь обнаруживается не только добросовѣтность истиннаго художника, но и большая зрѣлость таланта. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ „Гражина“ уступаетъ „Дѣдамъ“, и не даромъ Мицкевичъ снабдилъ свою „Литовскую повѣсть“ юмористическимъ эпилогомъ. „Дѣды“ въ томъ видѣ, какой они приняты въ результатѣ вѣсколькихъ лѣтъ работы, представляютъ, несомнѣнно, дальнѣйшій этапъ въ поэтическомъ развитіи Мицкевича сравнительно съ „Гражиной“.

II часть „Дѣдовъ“ полна мистики. Въ основѣ ея лежитъ народный обрядъ, который описанъ Мицкевичемъ въ коротенькомъ предисловіи. По словамъ поэта, „такъ называется торжество, которое совершаетъ *do siebie parz* простой народъ (*pospólstwo*) во многихъ уѣздахъ Литвы, Пруссіи и Курляндіи, въ память дѣдовъ или, вообще, умершихъ предковъ. Своими началами это торжество восходитъ ко временамъ языческимъ: когда-то оно называлось

пиромъ козла, на которомъ предѣдательствовали козляръ (koźlarz), гусярь (huślar, guślarz), въ одно и то же время жрецъ и поэтъ. Но такъ какъ просвѣщенное духовенство и землевладельцы старались искоренить обычай, сочетавшійся съ суевѣрными обрядами и нерѣдко съ порочными излишествами, то въ настоящее время простой народъ справляетъ Дѣды тайно, въ часовняхъ или пустыхъ домахъ, неподалеку отъ кладбища. Обыкновенно тамъ устраивается ужинъ изъ различныхъ кушаний, напитков и плодовъ и на пирѣ вызываютъ души усопшихъ. Слѣдуетъ отмѣтить, что обычай почитать умершихъ представляется общимъ для всѣхъ языческихъ народовъ: въ древней Греціи въ эпоху гомеровскую, въ Скандинавіи, на Востоку и до сихъ поръ на островахъ Новаго Свѣта. Наши Дѣды имѣютъ ту особенность что языческіе обряды здѣсь смѣшались съ представленіями, созданными христіанскою религіею; особенно этому содѣйствовало то обстоятельство, что около времени этого торжества приходится и день поминовенія усопшихъ (dzień zaduszy). Простой людъ понимаетъ дѣло такъ, что кушаньями, напитками и пѣснопѣвными онъ даетъ облегченіе душамъ, томящимся въ чистилищѣ. Столь важная цѣль праздника, единенность мѣста, ночное время, фантастическіе обряды когда-то производили сильное впечатлѣніе на мое воображеніе, я слышала сказки, легенды, и пѣсни о покойникахъ, приходящихъ съ просьбами или предостереженіями, и во всѣхъ чудовищныхъ вымыслахъ можно было замѣтить извѣстное нравственное стремленіе и извѣстныя наставленія, представленныя, по обычаю народа, реально (zmysłowie). Предлагаемая поэма представить картины въ подобномъ духѣ, а обрядовыя пѣсни, чары и вызыванія душъ заимствованы, по большей части, вѣрно, а иногда и дословно изъ народной поэзіи“. Таково это предисловіе, доставившее не мало хлопотъ изслѣдователямъ Мицкевича.

Въ немъ бросаются въ глаза два элемента: во-первыхъ, указаніе поэта на вѣрность его описанія, на подлинность приводимыхъ пѣсней и обрядовъ, указаніе категорическое и подтвержденное ссылкой на личныя наблюденія; второй элементъ—толкованіе обряда, который возводится къ языческимъ временамъ и объясняется, какъ пережитокъ культа предковъ. Въ этомъ толкованіи идетъ рѣчь и о культѣ козла (пиръ козла), и о происхожденіи слова гусярь отъ слова *козель* (козляръ, отсюда гусярь)

„Культъ козла“, который не имѣеть рѣшительно никакого отношенія къ обряду Дѣдовъ, очевидно, попалъ сюда по недоразумѣнню, вслѣдствіе того, что поэту припомнилось происхожденіе „козлиной пѣсни“ (трагедіи). Что же касается этимологіи слова гусярь, то очевидно, она не имѣеть ничего общаго съ козломъ. Далѣе, въ предисловіи идетъ рѣчь о душахъ, томящихся въ чистилищѣ, которымъ и стремится помочь обрядъ; въ поэмѣ же передъ нами и нѣчто другое: гусярь вызываетъ душу, томящуюся въ аду, и самъ знаетъ, что облегчить ея страданія безсильнъ. Души младенцевъ, порхающихъ у свода церкви, также не подходятъ подь категорію „чистилищныхъ“. Еще одно недоумѣніе: обрядъ совершается, по словамъ Мицкевича, въ Литвѣ, въ Пруссіи и въ Курляндіи. Но въ Пруссіи живутъ (или жили) литовцы и ихъ родственники, древніе пруссы, въ Курляндіи латыши, въ Литвѣ литовцы и бѣлоруссы. Послѣдніе и представлены въ этомъ обрядѣ. Принадлежалъ ли онъ всѣмъ названнымъ народностямъ? Вѣроятно, Мицкевичъ и не думалъ вовсе объ этихъ тонкостяхъ, когда писалъ эту фразу. Разказы хронистовъ нѣмецкаго ордена дали ему рядъ подробностей о языческихъ обычаяхъ литовскихъ племенъ, и онъ обобщилъ ихъ и на обрядъ Дѣдовъ, и на всю ту область, которой касались сообщенія хронистовъ¹⁾. Все это заставляетъ принимать не слишкомъ серьезно разказъ Мицкевича о Дѣдахъ. Искать дѣйствительной этнографической достовѣрности

¹⁾ Что это было въ дѣйствительности такъ, видно изъ сопоставленія хроника Стрыйковскаго, которой Мицкевичъ занимался во время писанія „Гражины“, съ предисловіемъ къ „Дѣдамъ“. — „Въ Курляндской и Смиландской земляхъ и въ Пруссіи,—говоритъ Стрыйковскій (IV. 4, стр. 150 по изд. 1845 г.),—когда справляютъ память по умершимъ, вдутъ изъ костела прямо въ корчму или въ какой-нибудь домъ, гдѣ дѣлають сборъ на варку пива, жены приносятъ за ними въ корзинкахъ холодную жареную или вареную рыбу; вдятъ безъ ножей, а жены имъ прислуживаютъ“ и т. д. У Стрыйковскаго же находимъ основанія для странной этимологіи: Козель-гусярь. Въ описаніи октябрьскаго праздника Земенника (бога плодородія полей) Стрыйковскаго разказываетъ, что, среди другихъ животныхъ, приводили и козла. Потомъ ихъ „жрецъ (wieszczek), или языческій священникъ, простой крестьянинъ, произнесъ молитвы, согласно обычнымъ заклятіямъ (według zwykłych gusów)“ и т. д. Итакъ, здѣсь та же географія обряда, что у Мицкевича, неоднократное упоминаніе о „guslach“, какъ въ предисловіи къ „Дѣдамъ“ и т. д. Это ставитъ замысль II части „Дѣдовъ“ въ хронологическую связь съ „Гражиной“.

здѣсь такъ же невозможно, какъ невозможно приниматьъ въ серьезъ его ссылку на дословную передачу народныхъ пѣсень. Вспомнимъ, что и „Гражина“ записана будто бы со словъ народа, что въ первомъ томѣ „Романсовъ и балладъ“ цигрировались несуществующіе народно-лирическіе сюжеты. Народность была плащомъ, подъ которымъ укрывался романтическій поэтъ, и увѣренія его, что онъ самъ видѣлъ обряды, совершающіеся *do сихъ поръ*, это просто *licentia poetica* въ оправданіе которой едва ли стоитъ перебирать груды этнографическаго матеріала. Однако интересъ къ народному быту у Мицкевича все же былъ. Въ статьѣ „Обрядовая основа Дѣдовъ“ проф. Калленбахъ указалъ на статью Чарновской, напечатанную въ „Виленскомъ Дневникѣ“ въ 1817 году и описывавшую весенній обрядъ поминовенія усопшихъ. Не къ этому ли времени относятся слова ребенка въ отрывкѣ первой части: „ты будешь, по своему обыкновенію, думать, а я украшать кресты цвѣтами и зеленью (majem)“? Вѣдь въ октябрѣ, когда справлялись осенніе „Дѣды“, цвѣтовъ уже нѣтъ. Въ эпоху Мицкевича и самый обрядъ могъ сохранить кое-какія черты древности, которыхъ не было уже спустя десятилѣтія, но развѣ только піэтизмъ могъ внушить проф. Калленбаху заявленіе, что „Дѣды“ имѣютъ „безусловную цѣнность и для этнографіи“. Обстоятельныя изслѣдованія Ст. Здзярскаго показали, какъ переработалъ этнографическій матеріалъ Мицкевичъ: прежде всего онъ перенесъ совершеніе обряда изъ домовъ, гдѣ хозяинъ передъ ужиномъ обращается къ предкамъ съ приглашеніемъ: „Святые дѣды, приходите къ намъ вечерять, прошу васъ на вечеру“,—на кладбище, въ часовню; затѣмъ „фантастичностью и страшнымъ впечатлѣніемъ хороши подобранныхъ контрастовъ“ (слова Ст. Здзярскаго) было многое измѣнено въ дѣйствительномъ бытовомъ обрядѣ. Такого рода отношеніе къ народности соответствовало, вообще, тогдашнимъ воззрѣніямъ на народную пѣсню и обрядъ.

П дѣйствіе „Дѣдовъ“ (Дѣды — такъ называется этотъ праздникъ у бѣлоруссовъ) вводитъ насъ сразу *in medias res*. На сценѣ хоръ крестьянъ и заклинатель, гуслирь. Хоръ поетъ, какъ поютъ и другія дѣйствующія лица: гуслирь дуэтомъ со старцемъ, гуслирь съ призракомъ дѣвушки: дѣвушка одна исполняетъ арію и речитативъ. Какъ показалъ Калленбахъ, Мицкевичъ находился подъ влияніемъ вышедшей въ 1821 году книжки Круликовскаго „*Prozodja polska, czyli o śpiewności i miarach języka polskiego z przykła-*

dami w potach muzycznych“. У этого автора онъ заимствовалъ пониманіе различіи между аріей и речитативомъ. „Речитативъ своимъ внутреннимъ складомъ отличается отъ аріи неровностью страсти, которая измѣняется, прерывается и не представляетъ однообразія... Арія подобна потоку, который течетъ все время одинаково“ и т. п. Музыкальная драма: вотъ былъ идеаль Круликовскаго, идеаль, который, по справедливому замѣчанію Калленбаха, поставилъ себѣ и авторъ „Дѣдовъ“. Это безспорно вѣрное указаніе польскаго изслѣдователя даетъ намъ, какъ terminus post quem сложилась II часть „Дѣдовъ“, такъ и вѣрное свидѣтельство о зависимости Мицкевича еще и въ эту пору отъ „правиль“. До какой степени онъ еще не освободился въ эту пору и отъ тѣхъ сентиментальныхъ литературныхъ вліяній, которыя тамъ и сямъ господствуютъ въ первомъ сборникѣ стихотвореній, обнаруживаетъ образъ пастушки съ овечкой, выведенный во II части. II самый схематизмъ этой послѣдней, и самое дидактическое направленіе ея связываютъ созданіе картины обряда съ той эпохой въ творчествѣ Мицкевича, когда онъ писалъ свои баллады и романы. Здѣсь тотъ же балладическій духъ, что и въ сборникѣ 1822 года, и въ отрывкахъ I части. „Дѣды“ были извѣстны еще Боровскому. Конечно, это была не IV часть, а I которая такъ тѣсно связана своимъ настроеніемъ и колоритомъ съ балладами. На то, что въ это же время писалась IV часть, или что она уже была задумана въ главныхъ чертахъ, бросаетъ свѣтъ близость литературныхъ источниковъ I и IV частей, близость, о которой рѣчь будетъ ниже.

Обрядъ „Дѣдовъ“, по изображенію Мицкевича, заключается въ вызываніи духовъ умершихъ: сначала призываются райскіе, невинные духи, потомъ по контрасту съ ними духъ, томящійся въ аду и не рѣшающійся, согласно народному представленію, появиться въ комнатѣ или церкви, но только заглядывающій въ окно; наконецъ духъ срединный, душа, находящаяся въ чистищѣ. Въ „Бѣлорусскомъ календарѣ“ на 1912 г. (Беларускі календар) напечатано слѣдующее описаніе обряда: „Какъ весной на Радуніцу наши бѣлоруссы идутъ на могилки съ ѣдой и питьемъ, чтобы подѣлиться съ дѣдами своей радостью по поводу наступившаго тепла, такъ и осенью, глядя на полныя гумна и скирды, бѣлоруссы испытываютъ радость и стараются подѣлиться этой радостью съ душами своихъ дѣдовъ. Только уже не идутъ на нихъ могилки, а, будучи гораздо богаче, чѣмъ весной, наготовивъ вся-

кой пищи, призываютъ души дѣдовъ къ себѣ въ хату на честную бесѣду слѣдующими словами:

Святые дяды, просімо васъ,
Хадзіце, ляціце до насъ
Есьці і піці, што Богъ дау,
Што я для васъ ахварявау.
Святые дяды, просімо васъ,
Хадзіце, ляціце до насъ.

Хозяинъ садится въ куту, а вокругъ стола разсаживаетъ приглашенныхъ гостей. Въ углу, какъ и передъ калядами, стояла кутя, покрытая чистымъ полотенцемъ; на столѣ медовая сыта. Изъ кушаній первое мѣсто занимаютъ супъ изъ крови, оладья и др. скоромныя блюда. Бесѣда велась серьезная, и пустыхъ рѣчей нельзя было говорить, ибо всѣ вѣрили, что за столомъ, за бесѣдой присутствовали души предковъ, дѣдовъ всего рода. А когда бесѣда кончалась, всѣ вставали, а хозяинъ говорилъ „выжень“ слѣдующими словами:

Святые дяды
Злеталісь сюды,
Есьці—пад'елі,
Пиць—напіліся,
Чэсць і слава вам!
Цяпер скажыце нам,
Чаго вамъ трэба?
А лепей:
Ляціце у неба!
А кыш! а кыш! а кыш!“

Это описаніе во многомъ близко къ Мицкевичу. Къ сожалѣнію, не указано мѣсто, гдѣ записаны пѣсни. Смущаетъ также неожиданный переходъ рассказа изъ настоящаго времени въ прошедшее. Во всякомъ случаѣ, запись пѣсенъ производитъ впечатлѣніе достоверной.

Схематичность въ изложеніи этой сцены у Мискевича все не романтическая. Зато романтической въ полной мѣрѣ можетъ быть названа обстановка II части: полночь, кладбище, заброшенная часовня. Первые же слова хора. „Всюду мракъ, всюду тишь, что-то будетъ, что-то будетъ?“ сразу вводятъ насъ въ тревожное настроеніе крестьянъ. Гусярь отдаетъ спѣшныя приказанія: „Заприте двери часовни, встаньте вокругъ гробницы; ни свѣчи, ни лампы; завѣсьте стекла на окнахъ, чтобы блѣдный свѣтъ мѣсяца не проникалъ въ щели. Побыстрѣе, посмѣ-

лѣе“. Хоръ отвѣчаетъ тѣмъ же рефреномъ, подымающимъ настроеніе пугливаго ожиданія. Гуслиарь зажигаетъ горсть кудели и велитъ отдувать въ сторону пламя, начинаются заклятія, и вотъ подъ самой крышей часовни (которая здѣсь называется *церковью*, хотя это была не церковь, а лишь часовня съ могилой на кладбищѣ) появляются, трепеща золотыми крылышками, двое дѣтей. „Какъ голубокъ съ голубкою, играетъ ангельчикъ съ ангельчикомъ“. Одинъ изъ нихъ, обращаясь „къ одной изъ крестьянокъ“ (подробность, не лишенная значенія), рассказываетъ ей о себѣ и сестрѣ. Эта крестьянка—его мать. „Мы къ мамѣ летимъ, къ мамѣ. Что же, мама, ты не узнаешь Юзи? Это я—Юзя, это я самый, а это сестра моя Рузи“. Въ прелестной, мелодичной и нѣжной рѣчи, грація которой не передаваема въ переводѣ, дитя рассказываетъ о своей райской жизни. Имъ хорошо, а все-таки скучно и тревожно; закрыта для нихъ дорога на небо, хотя они и летаютъ въ рай. Нѣжно отзываются на эту дѣтскую жалобу хоръ и гуслиарь. Чего не хватаетъ дѣтскимъ душкамъ? „Вотъ здѣсь пышки, пирожное, молочко, фрукты и ягоды“. Но не этого нужно душамъ: и при жизни однѣ радости, одно баловство сопровождали ихъ дни. „Мы прилетѣли на Дѣды не для молитвъ и не для бесѣды; не нужна намъ обѣдня; мы просимъ не пышекъ, не молочка, не хворосту; дайте намъ два зернышка горечи, и эта простая услуга важнѣе для насъ всякихъ богослуженій (*odpusty*)“. И здѣсь слѣдуетъ нравоученіе: „Ибо слушайте и взвѣсьте въ вашихъ душахъ, что, по Божьему велѣнью, кто не испыталъ ни разу горечи, не узнаетъ на небѣ и сладости“. И снова заклятіе гуслиаря, чтобы души младенцевъ скрылись. „Кишь, кишь!“ произноситъ онъ sacramentalную формулу заклинанія и за нимъ хоръ. Это „а kysz, а кузть“ дало досужимъ критикамъ изъ лагеря ложноклассиковъ обильную пищу для всякихъ издѣвательствъ. Они же (Осинскій) передѣляли и хоровой рефренъ: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?“ въ „Ciemno wszędzie, głupio wszędzie“, т. е. „темно вездѣ и глупо (вм. глухо) вездѣ“.

По новому приказанію заклинателя, крѣпко-накрѣпко закладываютъ двери часовни; въ серединѣ ея ставятъ котель водки, ее зажигаютъ. „Взорвалось, закипѣло, погасло“, восклицаетъ старикъ, помогающій гуслиарю. „Что-то будетъ?“ тревожно отзывается хоръ. Подъ окномъ, а не въ самой часовнѣ, согласно народному вѣрованію, появляется духъ, томящійся въ ожида-

ни ада. Онъ былъ помѣщикомъ въ этой деревнѣ, тираномъ, издѣвавшимся надъ всеѣми человѣческими чувствами крестьянъ. Такимъ образомъ, и этотъ призракъ имѣеть ближайшее отношеніе къ совершителямъ обряда. Эта сцена раг excellense романтическая: она должна внушать мистическій страхъ, какъ баллада о чертяхъ и вѣдьмахъ, и въ то же время она представляетъ протестъ противъ ужасовъ крѣпостного права. Съ чрезвычайной тщательностью отдѣланы здѣсь оба эти элемента. Еще ничего не видно, но за окномъ слышится страшный голосъ: „Эй, вороны, совы, орлицы! Проклятыя прожорливыя птицы! Пустите меня къ часовнѣ, пустите меня хоть на два шага!“ „Боже мой! Какой ужасъ!“ восклицаетъ гусярь: „видите въ окнѣ призракъ? Онъ блѣденъ, какъ кость на полѣ. Смотрите, смотрите, какое у него лицо! Въ пасти дымъ и молнія, глаза выльзли на лобъ, горять какъ угли въ пеплѣ; растрепанные волосы свѣшиваются космами и какъ сухой кустъ терновника разбрасываетъ въ своемъ горѣніи цѣлыя снопы искръ, такъ отъ головы осужденнаго сыплются съ трескомъ искры“. Дѣтъ гусяря и старца повторяетъ послѣднее сравненіе, приемъ, обычный въ оперѣ, странный въ драмѣ. Послѣ этого начинаются жалобы страшилища, которое изъ-за окна обращается къ крестьянамъ, жителямъ бывшей его деревни. „Дѣти! Развѣ вы не узнаете меня, дѣти? Приглядитесь поближе, припомните хорошенько: дѣти, я вашъ покойный панъ! Вѣдь моя была деревенька! Теперь идетъ всего третій годъ, какъ вы положили меня въ могилу. О, слишкомъ тяжела Божья рука! Я во власти злого духа, я терплю ужасныя мученія: когда ночь охватываетъ землю, я бреду въ поискахъ ночи, убѣгая отъ солнца: такъ я скитаюсь вѣчно, и не будетъ конца моимъ мукамъ. Я отдаю во власть вѣчнаго голода. Кто захочетъ накормить меня? Рвутъ меня на части прожорливыя птицы. Кто же будетъ моимъ защитникомъ? Нѣтъ, нѣтъ конца моимъ мукамъ!“ Хоръ опять повторяетъ послѣднія строки. Гусярь предлагаетъ страшилищу для утоленія его голода молоко, и хлѣбъ, и плоды. „Скажи, что нужно душѣ, чтобы попасть на небо?“ Эти слова вызываютъ горькій отвѣтъ со стороны призрака: „На небо? Напрасно ты кощунствуешь! О нѣтъ, я не хочу на небо; я хочу лишь одного чтобы скорѣе изъ меня вышла душа. Въ тысячу разъ я предпочту пойти въ адъ, легко я вынесу всѣ муки; лучше мнѣ стонать на

самомъ днѣ ада, чѣмъ съ нечистыми духами вѣчно бродить по землѣ, видѣть слѣды давнихъ угѣхъ, вспоминать о прошлой гнѣсности отъ восхода до захода, отъ захода до восхода, умирать отъ жажды и отъ голода и кормить хищныхъ птицъ. Но, увы! таково приговоръ: до тѣхъ поръ я долженъ влачить въ тѣлѣ осужденную душу, пока кто-нибудь изъ васъ, мои крѣпостные, меня не накормить и не напоить. О, какъ жжетъ меня жажда! Если бы хоть маленькую мѣрочку воды! Ахъ, если бы вы мнѣ подали хоть два зернышка пшеницы!“ На эту жалобу хоръ отвѣчаетъ четверостишіемъ, повторяющимъ послѣднія просьбы привидѣнія. „Ахъ, какъ его жжетъ жажда! Если бы хоть самую маленькую мѣрочку воды! Ахъ, если бы мы ему подали хоть два зернышка пшеницы!“ Это—рефренъ, совершенно въ духѣ оперы. Хору крестьянъ отвѣчаетъ хоръ ночныхъ птицъ, терзающихъ осужденнаго. „Напрасно онъ молить, напрасно плачетъ! Мы здѣсь вѣемъ чернымъ хороводомъ, совы, вороны, сычи; прежде были мы, баринъ, твоими слугами; ты заморилъ насъ голодомъ; мы съѣдимъ кушанья, мы выпьемъ напитки. Эй, сычи, вороны и совы! Когтями, кривыми клыками разорвемъ тѣло на куски! И хоть бы ты уже взялъ въ пасть, и оттуда я достану когтями, доберусь до самой утробы. Не зналъ ты, баринъ, милости! Эй, сычи, вороны и совы, и мы не будемъ знать милости: растерзаемъ ѣду на куски, а когда ѣды не хватитъ, разорвемъ на куски и тѣло, пусть сверкаютъ голыя кости“. Эта сцена становится центральнымъ мѣстомъ обряда. Хотя передъ зрителемъ должны пройти представители трехъ степеней загробной жизни, но духи блаженные и духи, томящіеся въ чистилищѣ, проходятъ какъ будто вскользь, тогда какъ явленіе осужденнаго духа разработано съ чрезвычайной подробностью. Эта непропорціональность характерна для молодого творчества Мицкевича, который хотѣлъ излить хотя бы въ стихахъ все свое отвращеніе къ крѣпостному праву, отдававшему въ руки тирановъ тысячи человѣческихъ жизней. Но и здѣсь дѣло не обошлось безъ нѣкотораго внутренняго противорѣчія, какихъ вообще во II части „Дѣдовъ“ не мало. Достаточно отмѣтить, что птицами, терзающими тѣло злого помѣщика, являются тѣ же самые крестьяне, братья которыхъ совершаютъ обрядъ; и они страдали отъ помѣщика, который умеръ такъ недавно, а между тѣмъ ничего, кромѣ состраданія къ осужденному, они не находятъ въ своихъ душахъ. Они рады облегчить страданія его, а ихъ братья, пре-

вращенные въ хищныхъ птицъ, мстятъ ему. Казалось бы естественнымъ, что появленіе передъ крестьянами жертвъ жестокости страшнаго пана вызоветъ и въ толпѣ воспоминаніе о погибшихъ, хоть какіе-нибудь отзывы о нихъ. Ничего подобнаго, все вниманіе крестьянъ сосредоточено только на панѣ; его жертвы, которыхъ они не могли не знать и не жалѣть, какъ бы не существовать для нихъ. И наконецъ: за что же наказаны эти жертвы, эти крестьяне, превращенные въ ночныхъ птицъ и нашедшіе послѣ смерти не покой, а только суровый приговоръ блуждать и терзать покойника.

Очевидно, эффектность сцены и тенденція заслонили передъ Мицкевичемъ всѣ другія соображенія, и нуженъ былъ его талантъ, чтобы и въ этомъ видѣ она производила сильное впечатлѣніе, особенно при представленіи на сценѣ.

Велѣдъ за хоромъ ночныхъ птицъ страшныя проклятія и угрозы произносятъ отдѣльныя птицы: воронъ, воспоминающій, какъ, еще будучи крестьяниномъ, онъ былъ засѣченъ розгами за одно украденное яблоко, украденное, когда онъ не ѣлъ три дня. Горькую жалобу произноситъ послѣ него сова—крестьянка, которая была выгнана изъ дома съ груднымъ ребенкомъ и замерзла съ младенцемъ на дорогѣ. „Баринъ, молила я въ слезахъ, сжался надъ сиротами! Мой мужъ уже на томъ свѣтѣ, дочь ты забралъ въ усадьбу, мать лежитъ больная въ хатѣ, у груди маленькое дитя! Баринъ, дай намъ подмогу, у меня нѣтъ уже больше силъ!“ По баринъ велѣлъ ее выгнать, и она погибла. Снова угрозы и проклятія хора птицъ. Въ отчаяніи воитъ призракъ. „Нѣтъ, нѣтъ для меня спасенія! Напрасно ты подаешь мнѣ тарелки, что дашь, отнимутъ птицы, не для меня, не для меня. Дѣти! Да, я долженъ мучиться во вѣки вѣковъ. Справедливъ Божій приказъ: кто ни разу не былъ человѣкомъ, человѣкъ тому и не поможетъ!“ Призракъ стоялъ за окномъ; окна были завѣшаны, чтобы ни въ одну щель не проходилъ мѣсячный свѣтъ. Крѣпко-накрѣпко были заперты двери. Какъ же могли накормить покойнаго помѣщика, какъ могли увидѣть его за окномъ? Поэты не считаются съ прозаическими требованіями согласованности и правдоподобія, но надо сказать, что именно въ этой сценѣ особенно чувствуется отсутствіе законченности и отдѣлки. Страшный, яркій образъ явленія жестокаго тирана, терзаемаго его жертвами, такъ плѣнилъ воображеніе поэта-романтика, охваченнаго идеалами сво-

боды, что онъ не обратилъ вниманія на мелочи. А мелочи эти заключались въ томъ, что крестьяне не могли ни видѣть, ни пытаться накормить осужденнаго пана. Образъ охватилъ воображеніе поэта съ такой силой, онъ такъ поразилъ его своимъ мрачнымъ колоритомъ, что ничего, кромѣ него, Мицкевичъ не замѣтилъ. Сконцентрированный ужасъ этой сцены передается читателю.

Наконецъ, по заклітію гуслира, пропадаетъ призракъ осужденнаго пана. Крестьяне приступаютъ къ вызыванію духовъ среднихъ. Вернемся, однако, еще къ осужденному пану помѣщику. Откуда взялъ этотъ образъ поэтъ? Танталь, вѣчно голодный, Прометей, терзаемый птицей, образы Дантовскаго „Ада“: все это слилось и создало новый образъ у Мицкевича. Сова, какъ злые духи, извѣстна и Данте (*Inferno XXI. 96 malvagio uccello*). Можетъ быть вліяніе Дантовскаго „Ада“ отразилось и на слѣдующемъ образѣ, появляющемся въ „Дѣдахъ“. Вѣчно носимые вѣтромъ любовники, Франческа Римини и ея другъ, напоминаютъ легкой, воздушный образъ Зоси. Но только эта послѣдняя пострадала отъ того, что она не знала любви ни къ кому, а не потому, что она узнала преступную любовь, какъ Франческа Римини. Когда гуслирь призываетъ духовъ среднихъ, которые „въ этой доли темноты и суеты жили вмѣстѣ съ людьми, но, свободные отъ людскихъ пороковъ, жили не для насъ и не для свѣта, какъ богородичная трава и проскурнякъ: нѣтъ отъ нихъ ни плода, ни цвѣта; и звѣрь не накормится, и человѣкъ не одѣнется; завитые въ душистые вѣнки, они висятъ высоко на стѣнѣ; такъ высоко, о, земныя жительницы, были ваши сердца и очя“. Почему именно такихъ духовъ, пребывающихъ въ чистилищѣ, призываетъ заклинитель, это одна изъ необъяснимыхъ загадокъ драмы. Тѣмъ не менѣе заклинаніе не остается безслѣднымъ: свѣтлый образъ, окутанный въ бѣлую одежду, появляется въ глубинѣ каплицы: его волосы развиваются отъ вѣтерка, на щекахъ играетъ улыбка, но въ глазахъ блеститъ слеза огорченія. Это идиллическая пастушка. „На головѣ ея красный вѣнокъ“, рисуетъ ея образъ заклинитель: „въ рукѣ зеленая тросточка, а передъ ней бѣжитъ барашекъ, а надъ ней порхаетъ мотылекъ. И она все время зоветъ барашка: бяшка, бяшка, барашекъ! Но барашекъ все далеко. Съ тросточкой она гонится за мотылькомъ, и вотъ вотъ уже держитъ его въ рукѣ: но мотылекъ все время

отлетаетъ“. Тѣ же самыя слова, но только въ первомъ лицѣ, повторяютъ про себя пастушка. Для характеристики тогдашнихъ воззрѣній Мицкевича на идиллію вся эта сцена очень любопытна; она проникнута такимъ же сентиментализмомъ, какъ и нѣкоторыя изъ балладъ. Дѣвица поетъ „арію“, въ которой черезъ каждыя четыре строчки повторяется приѣвъ: „ля-ля, ля-ля!“ „Когда-то здѣсь, весною утромъ, она пасла баранковъ; она была красивѣе всѣхъ въ деревнѣ, прыгала и весело пѣла: ля-ля, ля-ля! Однажды за пару голубковъ Олесь хотѣлъ поцѣловать ея въ губки; но и просьбу, и подарокъ вышутила пустынькая дѣвушка—ля-ля, ля-ля! Юзя далъ пастушкѣ ленту, Антося отдалъ свое сердце: но надъ Юзей, надъ Антосемъ смѣется вѣтреная Зося. Ля-ля! Ля-ля!“ Арія переходитъ въ речитативъ, согласно требованіямъ прозодіи Круликовскаго. Дѣвушка повѣствуетъ, что она была именно этой Зосей, изъ этой самой деревни; „имя мое вамъ хорошо извѣстно“. Она была красива, но не хотѣла итти замужъ, провеселившись девятнадцатую весну, умерла, не узнавъ ни заботы, ни истиннаго счастья. „Она жила на свѣтѣ, но увы! не для свѣта“. Посмертная участь Зоси соответствуетъ ея земной жизни. Она любила общество пастушковъ, которые восхищались ея красотой, но ни къ кому изъ нихъ не привязалась. „Зато, послѣ смерти, я не знаю, что дѣлается со мной. Я горю какимъ-то невѣдомымъ огнемъ, хотя забавляюсь вдоволь. Я лечу, куда меня понесетъ вѣтерокъ; ничто меня не печалитъ, ничто не огорчаетъ; я дѣлаю чудеса, какія пожелаю, я пряду кусочки радуги (przędę sobie z tęszu rąbki), изъ прозрачныхъ слезъ ранняго утра я создаю мотыльковъ и голубковъ, но я не могу понять: откуда эта скука? Чуть что шелохнетъ, я кого-то жду. Ахъ, я всегда одна! Противно мнѣ, что непрерывно вѣтеръ несетъ меня, какъ перышко, и я не знаю, на томъ ли я свѣтѣ, или на здѣшнемъ. Куда я ни приближусь, отовсюду отдаляетъ меня вѣтеръ, гонитъ меня вверхъ, внизъ, вкось; такъ, среди вѣтреной волны пролетая вѣчную дорогу, я не могу ни вознестись подъ небеса, ни прикоснуться къ землѣ“. Чего же нужно душѣ, чтобы подняться на небо, спрашиваетъ гусярь, и опять звучитъ тоскливо рѣчь дѣвицы: „Ничего, ничего мнѣ не нужно! Пусть подбѣгутъ юноши, пусть они схватятъ меня за руки, пусть къ землѣ притянутъ меня, пусть бы я позабавилась съ ними минутку! Ибо услышите и вдумайтесь въ мои слова: по Божьему велѣнью, кто ни разу не при-

коснулся къ землѣ, тотъ никогда ни поднимется на небо“! Нѣсколько юношей спѣшаютъ къ ней, хотѣтъ схватить ее за руки, но ловятъ только воздухъ. Но гусярь утѣшаетъ ее: передъ его очами раскрыты будущія судьбы; еще два года пастушка должна носиться одна, а потомъ она станетъ у небеснаго порога, пусть же теперъ она летитъ и оставитъ живущихъ. Дѣвица исчезаетъ.

Вотъ одинъ изъ самыхъ изящныхъ, интимно нѣжныхъ образовъ, какіе были созданы музой Мицкевича. И вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ изъ самыхъ загадочныхъ. Подъ понятіе „дѣдовъ“ Зося подходитъ еще менѣе, чѣмъ призракъ помѣщика. Какъ и ангельчики, парящіе въ первой сценѣ, такъ и Зося совершенно не соотвѣтствуетъ бѣлорусскимъ „дѣдамъ“, которые означаютъ дѣдовъ, стариковъ, родителей и т. п. Къ культу предковъ ни Зося, ни ангельчики младенцы не имѣютъ никакого отношенія. Но эти ангельчики были все-таки связаны съ присутствующими, среди которыхъ находилась ихъ мать.

Что же привлекло Зося? И почему гусярь вдругъ оказывается пророкомъ, когда появляется Зося? На эти вопросы едва ли можно отвѣтить иначе, какъ предположеніемъ, что Зося была близка поэту. Проф. Третьякъ (въ статьѣ „Dwie Zosie Mickiewicza“) думалъ видѣть въ ней одну изъ сестеръ пріятеля Мицкевича, Фр. Малевскаго, но предупредилъ, что не вызоветъ на дуэль тѣхъ, кто ему не захочетъ повѣрить. Думаю, что и дѣйствительно это не вѣрно: Зося должна была имѣть отношеніе къ Марылѣ. Возрастъ, когда Марыля встрѣтилась съ Мицкевичемъ, соотвѣтствовалъ тому, въ которомъ умерла беззаботная, ко всѣмъ равнодушная Зося. Ея горькое томленіе по человѣкѣ, который могъ бы своей любовью привлечь ее на землю, едва ли не было настроеніемъ Марыли передъ знакомствомъ съ Мицкевичемъ, а эти письма ея, которыя мною были приведены выше, наполнены той тоской неизвѣстности, въ раю ли она или на землѣ, какая слышится въ письмахъ Маріи. И, наконецъ, торжественное утѣшеніе гусяря, которое такъ отличается отъ обычнаго нейтральнаго тона этого послѣдняго, должно имѣть объясненіе въ личной драмѣ Маріи и поэта. Для него, для гусяря, явилась „дѣвица“; и ее именно онъ вызывалъ въ своемъ странномъ обращеніи къ „срединнымъ духамъ“. Но въ драмѣ этотъ эпизодъ такъ и остается какимъ-то случайнымъ.

Обрядъ конченъ: духи, бродящіе по землѣ, носящіеся по небу, не предки, не духи рая, чистилища и ада, но духи, еще не получившіе окончательнаго рѣшенія своей судьбы, появились передъ крестьянами, чтобы возвѣститъ имъ Божью волю. Эти сентенціи довольно плохо вяжутся съ видѣніями. „Кто ни разу не былъ человѣкомъ, тому человѣкъ и не поможетъ“: провозноситъ осужденный тиранъ. Но развѣ люди помогли младенцамъ - ангеламъ, дѣвушкамъ, носившейся между небомъ и землею? Никому изъ нихъ всѣ тѣ кушанья и напитки, которые такъ радушно предлагаются крестьянами, не оказали ни малѣйшей помощи. Но сентенціи были нужны: онѣ отвѣчали тѣмъ требованіямъ, какія предъявлялъ къ поэзіи еще въ эту пору Мицкевичъ.

Обрядъ оконченъ, гуслирь велитъ открыть двери, зажечь лампы и свѣчи, „закончено странное жертвоприношеніе, пора припомнить дѣла отцовъ“. Въ это время появляется новый призракъ. Крестьяне испуганы. „Мракъ повсюду, глухо всюду. Что-то будетъ, что-то будетъ?“ Духъ стоитъ неподвижно. Гуслирь, обращаясь къ одной изъ крестьянокъ, — къ той, которая довела Густава до гибели, — говоритъ ей: „Пастушка, вонъ та, что въ траурѣ... Встань, или мнѣ только кажется, что ты съѣла на могилѣ? Дѣтки, смотрите, ради Бога! Вотъ опускается поле, и поднимается блѣдный призракъ... Обращаетъ стопы къ пастушкѣ. Какъ снѣгъ послѣ Новаго года, бѣлы его лицо и саванъ; взоръ дикъ и угрюмъ, онъ не отрываетъ глазъ отъ ея очей. Смотрите, ахъ, смотрите на сердце! Слово пунцовая полоса, словно пунцовая лента или какъ шнуръ коралловъ, она идетъ отъ груди до ногъ. Что же такое, я не могу понять! Вотъ онъ показалъ рукой на сердце, но ничего не говоритъ пастушкѣ“. Хоръ повторяетъ послѣднія фразы гуслиря, а тотъ опять обращается къ призраку: „Чего же тебѣ нужно, молодой духъ! Просишь ли ты небесной славы? Или освященной пищи? Вдоволь здѣсь молока и хлѣба, есть плоды и ягоды. Въ чемъ ты нуждаешься, молодой духъ, чтобы достичь неба?“ Но призракъ молчитъ, заклинанія гуслиря безсильны: призракъ не отвѣчаетъ и не исчезаетъ. „Вотъ раскрытый поле; откуда вышель, туда и вернись; я проклянута тебя во имя Бога“. Безграниченъ ужасъ толпы и заклинателя. „Это ничто выше человѣческаго ума!“ восклицаетъ гуслирь: „Пастушка, ты знаешь, кто это? Здѣсь должны быть страшныя вещи... По комъ ты носишь трауръ? Вѣдь здоровы твой мужъ и семья? Что же ты не говоришь ни слова?“

Посмотри, отзовись! Что же ты, дитя мое, развѣ мертва? Почему, почему ты улыбаешься? Что же ты въ немъ видишь веселаго?“ Марыля (ибо мы имѣемъ дѣло, конечно, съ ней; вѣдь и ея семья, и ея мукѣ благоденствовали, а она носила въ своей душѣ печаль)—Марыля молчитъ. Снова пробуетъ гусярь отогнать привидѣніе, и опять его усилія безплодны. Въ страхѣ спѣшать уйти крестьяне съ обряда. „Боже мой! и привидѣніе пошло за нами. Куда мы съ ней, онъ всюду съ нами. Что-то будетъ, что-то будетъ?“ Этими тревожными восклицаніями хора заканчивается II дѣйствіе.

Много лѣтъ спустя, въ Дрезденѣ, слагая III часть „Дѣдовъ“, Мицкевичъ вернулся къ обряду. На кладбищѣ гусярь и женщина, та самая женщина, для которой когда-то явился призракъ. Женщина, какъ прежде, въ траурѣ. Она не хочетъ итти въ церковь, куда собираются на „Дѣды“ крестьяне. „Я не пойду туда, гусярь. Я хочу остаться на кладбищѣ; я хочу увидѣть лишь одинъ разъ того, кто много лѣтъ тому назадъ появился послѣ моей свадьбы и *среди толпы духовъ* вдругъ предсталъ, кровавый, блѣдный, и не отрывалъ отъ меня дикаго взора, и не говорилъ ни слова“. Отвѣтъ гусяря очень важенъ для того пониманія послѣдней сцены II части, которая составила у Мицкевича черезъ 10 лѣтъ послѣ написанія ея. Какъ и мы, онъ хотѣлъ понять, почему явился незванный призракъ и былъ ли живъ Густавъ, и какъ объяснить его двойственность? Отвѣтъ поэта, вложенный въ уста заклинателя, соответствовалъ его тогдашнему мистическому настроенію: „можетъ быть, онъ еще жилъ, когда я его разспрашивалъ; и потому онъ не отвѣчалъ. Ибо на собраніе духовъ, въ таинственную ночь на Дѣды, можно вызывать и тѣни живыхъ. Тѣла будутъ на пирушкѣ, или за игрой, или въ бою и тамъ будутъ пребывать въ покой; а душа, призываемая по имени, появляется въ видѣ легкой тѣни; но пока живетъ, она безгласна, стоитъ бѣлая, глухая, нѣмая!“— „Что означала рана на груди?“ спрашиваетъ женщина.— „Видно, что душа его была изранена“. Итакъ, это была лишь аллегорія! Отъ оккультизма Мицкевичъ былъ очень далекъ въ Ковнѣ, и дрезденское толкованіе „Дѣдовъ“ напоминаетъ тѣ позднія мистическія объясненія „Ревизора“, какія давалъ Гоголь въ сороковыхъ годахъ.

Первая часть „Дѣдовъ“ тѣсно связана съ четвертой литературными вліяніями. Эти послѣднія выясняютъ литературное родство героя драмы съ созданными въ концѣ XVIII вѣка типами чув-

ствительныхъ людей. Руссо, Гёте, Жанъ Поль Рихтеръ, Тикъ, Шиллеръ, Шатобрианъ: вотъ тѣ писатели, которые оказали болѣе или менѣе значительное вліяніе на созданіе образа чувствительнаго Густава. Не остались безъ вліянія и нѣкоторые польскіе писатели; неизвѣстный авторъ статьи „О романахъ“ (въ журналѣ „Swiadczenia naukowe“ Warszawa, 1818) опредѣляетъ для романистовъ совершенно утилитарную задачу „исправленія нравовъ“ и разрѣшаетъ имъ выводить безумныя страсти только „для наставленія молодого возраста“. Въ 1820 году появилась двухтомная повѣсть Бернатовича „Неразумный бракъ“ (Nierozsadne sluby), который оказалъ также несомнѣнное вліяніе на творчество Мицкевича въ эпоху „Дѣдовъ“. Какъ всѣ эти вліянія слились и какъ они сошлись съ переживаемой поэтомъ дѣйствительностью, и какъ, въ концѣ концовъ, получился глубокоправдивый, оригинальный психологическій образъ, отвѣчавшій личности автора: объ этомъ слѣдуетъ поговорить послѣ разбора IV части. Здѣсь же я хочу указать лишь на тѣсную литературную связь, соединяющую эту часть съ первой, къ которой надо вернуться, чтобы понять ея отношеніе къ IV части „Дѣдовъ“.

Какъ отмѣтилъ г. Петцольдъ, на нѣкоторыя сцены обѣихъ частей поэмы, гдѣ выступаетъ молодой мечтатель, оказалъ значительное вліяніе разказъ Тика „Der Runenberg“. Сдѣланныя г. Петцольдомъ указанія, дѣйствительно, ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія этотъ фактъ, который вводитъ насъ въ лабораторію творчества Мицкевича. Романтики были отличные разказчики: повѣсти Тика, Новалиса, Жанъ Поль Рихтера, Гофмана захватываютъ читателя до сихъ поръ. Разказъ о замкѣ Руненбергъ, написанный въ 1802 году, принадлежитъ къ числу лучшихъ въ сборникѣ „Phantasmus“. Передъ нами молодой мечтатель, который покинулъ своихъ родителей и родную деревню, чтобы вырваться изъ круга „возвращающейся обыденности“ или, какъ скажетъ Густавъ въ IV части „Дѣдовъ“, „не вынеся скучнаго круговращенія земныхъ вещей“. Какъ молодой охотникъ II части, онъ удалился въ горы, однако, не для охоты, какъ этотъ послѣдній, а въ порывѣ страннаго влеченія къ горамъ, безднамъ и стремнинамъ. Здѣсь въ одиночествѣ онъ поетъ „охотничью пѣсню“ (Jägergesang). Эта пѣсня по своему общему тоу и отдѣльнымъ вырженіямъ очень близка къ той, что поетъ Густавъ, и что была въ передѣлкѣ помѣщена въ сборникѣ стихотвореній подъ названіемъ „Хоръ охот-“

никовъ“. Христіанъ, герой разсказа Тика, блуждалъ по горамъ, рвалъ растенія и случайно вырвалъ чудесный корень мандрагоры, имѣвшій оккультное значеніе: онъ издавалъ стоны, въ которыхъ изливалась вся скорбь земли и отъ которыхъ люди сходили съ ума. Христіанъ спѣшилъ удалиться отъ проклятаго мѣста и вдругъ увидѣлъ за собой какого-то страннаго человѣка, который дружески заговорилъ съ нимъ и предложилъ ему идти вмѣстѣ. Молодой отшельникъ разсказывалъ по пути о своей жизни: „точно какая-то посторонняя сила вырвала меня изъ круга моихъ родныхъ и родственниковъ, мой духъ не владелъ собой: какъ птица, пойманная въ сѣти и тщетно рвущаяся изъ нихъ, душа моя запуталась въ удивительныхъ представленіяхъ и желаніяхъ... Дни и ночи я грезилъ и воображалъ себѣ высокія горы, бездны и сосновые лѣса; моя фантазія создавала громадныя скалы, я слышала мысленно шумъ охоты, рога, лай собакъ и крики звѣрей; всѣ мои сны были исполнены ихъ, и я нигдѣ не могъ найти себѣ покоя... Мнѣ казалось, что люди вокругъ меня прозябаютъ въ жалкомъ невѣжествѣ, и что всѣ чувствовали бы и думали бы, какъ я, если бы хоть разъ въ жизни это сознаніе своего бѣдственнаго существованія встало въ ихъ душѣ. Такъ я терзался, пока въ одно прекрасное утро не принялъ рѣшенія навсегда покинуть домъ родителей“. Изъ этой длинной исповѣди я извлекъ только нѣсколько фразъ, которыя особенно напоминаютъ мечтательное и тревожное настроеніе героя „Дѣдовъ“. Дальнѣйшая судьба его уклоняется отъ „Дѣдовъ“. Христіанъ былъ завлеченъ своимъ таинственнымъ спутникомъ въ дикую непроходимую мѣстность; онъ былъ покинутъ здѣсь и неожиданно оказался у окна таинственныхъ развалинъ стараго замка Руненбергъ, о которыхъ ходили страшныя вѣсти. Въ залѣ этого замка ходила великолѣпная красавица громаднаго роста; она совершала какія-то заклинанія на доскѣ, усыянной драгоценными камнями. Разоблачившись, она навела свѣтъ этой каменной доски на Христіана и провела на ней какія-то магическія линіи, а тотъ, очарованный и неподвижный, точно вбиралъ въ свою душу эти закліянія. Потомъ все исчезло; великанша вручила Христіану доску, и онъ поспѣшно спустился съ горъ. Онъ оказался въ прелестной деревнѣ; здѣсь вошелъ въ церковь, гдѣ увидѣлъ хорошенькую дѣвушку. Дѣло окончилось тѣмъ, что онъ женился;

и все шло наилучшимъ образомъ. Но злая сила не дремала. Странный человѣкъ, тотъ самый, который однажды предсталъ передъ Христіаномъ (онъ не узналъ его, но смутно чувствовалъ, что когда-то видѣлъ), пришелъ въ деревню; онъ поселился въ домѣ Христіана и сблизился съ его семьей, а уходя просилъ сохранить до его возвращенія крупную сумму денегъ. Если онъ не вернется черезъ годъ, пусть эти деньги возьметъ себѣ Христіанъ въ награду за гостепрѣимство. Старикъ исчезъ, а деньги не давали покоя Христіану. И старое поднималось передъ его глазами. Длинный, подробный, фантастическій разсказъ тихо повѣствуетъ о постепенной побѣдѣ страсти къ золоту, охватившей душу Христіана, надъ всеми его другими чувствами. Онъ гибнетъ, покидаетъ семью и уходитъ въ горы, гдѣ его уже ждетъ страшная женщина. А деньги, проклятыя деньги злой силы, быстро уплывають изъ семьи: она впадаетъ въ полное разореніе, и бѣдная женщина вторично выходитъ замужъ, но этотъ бракъ несчастенъ. „У нихъ осталось лишь нѣсколько овецъ и одна корова, которыхъ Елизавета пасла часто сама съ дѣтьми. Такъ однажды она сидѣла, съ работою на колѣняхъ, на лугу, Леопора держалась около нея, а у груди дремалъ грудной младенецъ. И вотъ она увидѣла вдали какую-то странную фигуру. Это былъ человѣкъ въ совершенно разорванной одеждѣ, босой, съ лицомъ, которое отъ солнечныхъ лучей превратилось въ темнокоричневое; его длинная вьющаяся борода придавала ему еще болѣе странный видъ; голова его не была ничѣмъ защищена, но только въ волосы онъ вилелъ вѣнокъ изъ зеленыхъ листьевъ, который придавалъ его дикому образу еще болѣе странный и необычный характеръ. На спинѣ, въ крѣпко завязанномъ мѣшкѣ онъ несъ тяжелую пошу, а идя онъ опирался на молодую сосну“. Эта послѣдняя подробность еще болѣе сближаетъ безумнаго отшельника, пришедшаго (въ IV части) въ домъ священника, съ героемъ разсказа нѣмецкаго романтика: Густавъ въ своемъ скитаніи несетъ съ собою именно *сосну*; причудливый образъ Тика, очевидно, сильно поразилъ воображеніе Мицкевича.

Христіанъ открывается Елизаветѣ, высыпаетъ изъ мѣшка свои драгоценности, которыя оказываются простымъ шлакомъ и каменнымъ углемъ, а потомъ оправдывается, что ему надо спѣшить назадъ, прощается съ плачущей женой и торопливо удаляется въ лѣсъ, гдѣ его уже поджидаетъ „лѣсная женщина“. Съ тѣхъ

поръ его уже никогда больше не видѣли. Романтики любили вносить фантастическое въ реальное. Тикъ объясняетъ безуміе своего героя не просто развитіемъ его страннаго влеченія въ уединеніе, въ горы, но дѣйствительнымъ вторженіемъ нечистой силы въ человѣческую жизнь. Его „лѣсная женщина“ видна не одному Христіану, но и постороннимъ людямъ, которые видятъ ее на опушкѣ лѣса поджидающей Христіана. Это смѣшеніе реальнаго съ фантастическимъ проникаетъ и „Дѣды“, особенно IV часть ихъ. Образъ героя, томящагося среди сказки обыденной жизни, былъ схваченъ Мицкевичемъ; но дальтѣйшій рассказъ Тикъ развилъ, а Мицкевичъ сразу оборвалъ сцену встрѣчи своего героя съ представителемъ этой злой силы. Онъ оборвалъ эту сцену уже потому, что центръ тяжести для него лежалъ не въ приключеніяхъ Густава, но въ его любовной драмѣ, въ его безумной и нѣжной страсти къ Марылѣ. Къ чему ему была эта „лѣсная женщина“?

Обратимся къ другимъ литературнымъ влияніямъ, связывающимъ II и IV части „Дѣдовъ“. Въ очень детальномъ изслѣдованіи З. Матковскій разсмотрѣлъ зависимость ихъ отъ „Эмиля“ Руссо. Чрезвычайно длинное философское и педагогическое разсужденіе Руссо „*Émile ou de l'éducation*“, въ которомъ романическій элементъ пропадаетъ за множествомъ трактатовъ по вопросамъ дѣтской и общей психологій, за множествомъ политическихъ афоризмовъ и т. д., видимо, изучалось Мицкевичемъ внимательно и прилежно. Литовскій поэтъ схватилъ и общую идею женеваго философа, его проповѣдь чувствительности и воображенія. Онъ заимствовалъ и цѣлый рядъ подробностей, которыя могли дать характеристику такого чувствительнаго. Такова, между прочимъ, теорія „воображаемой“ любви, которую Руссо развиваетъ очень подробно. (Цитирую по изданію 1822 г., т. IX, 163—170.) Предостерегая какъ отъ излишней суровости, такъ и отъ потакающаго страстямъ молодости, философъ обращается къ своему воображаемому слушателю: „Твое сердце, говорю я ему, нуждается въ подругѣ; пойдемъ же искать ту, которая къ тебѣ подходитъ; можетъ быть, намъ не легко будетъ найти ее, истинныя заслуги всегда рѣдки, но не будемъ слѣпнуть и не станемъ отчаиваться. *Нѣтъ сомнѣній, что такая найдется* (il en est une), и наконецъ мы найдемъ ее или ту, которая наиболѣе подобна ей. Съ предположеніемъ, столь привлекательнымъ для него, я ввожу его въ свѣтъ.

Нужно ли говорить больше? Развѣ вы не видите, что я уже все сдѣлала? Рисуя ему возлюбленную (*la maitresse*), которую я для него *назначаю*, неужели я не сумѣю заставить его слушать меня и не сдѣлаю для него дорогими и пріятными тѣ качества, которыя онъ долженъ любить, неужели я не приобрету возможности располагать всѣми его чувствами, поскольку онъ долженъ чего-нибудь избѣгать или желать? Я долженъ быть самымъ безтолковымъ (*maladroit*) въ людяхъ, если я *не сдѣлаю его заранее* влюбленнымъ еще неизвѣстно въ кого (*passionné sans savoir de qui*). Такова теорія любви, которая предпочитаетъ дѣйствительности химеру, обманъ, иллюзію и довольствуется „воображаемымъ объектомъ“. Именно такая безпредметная любовь ради любви внушаетъ „дѣвицу“ II дѣйствія „Дѣдовъ“ ея ожиданія кого-то, кто стремится къ ней. Эмилю соотвѣтствуетъ идеальный образъ Софи (*Sophie—Зоси*), относительно которой Руссо (II. 340) категорически утверждаетъ, будто бы онъ придумалъ лишь ея имя, но „ея воспиганіе, нравы, характеръ и самая фигура взяты изъ дѣйствительности. Эта Софи своимъ настроеніемъ (*le seul besoin d'aimer la dévore*; „Софи обладаетъ слишкомъ большою чувствительностью, чтобы сохранять полное душевное равновѣсіе“ и т. д.) очень напоминаетъ чувствительную героиню Мицкевича. Изслѣдованіе З. Матковскаго даетъ такія несомнѣнныя параллели между „Эмилемъ“ и обѣими частями „Дѣдовъ“, что невозможно сомнѣваться въ зависимости послѣднихъ отъ перваго.

Не вдаваясь въ дальнѣйшія подробности, которыя заставили бы просто повторить изслѣдованіе З. Матковскаго, я ограничусь лишь однимъ яркимъ примѣромъ этой зависимости и приведу общія соображенія этого критика. Съ монологомъ „Дѣвицы“ во II дѣйствіи нельзя не сопоставить жалобъ Софи, которая „испытывала потребность любить и не видѣла никого, кто бы ей нравился“. — „Дайте мнѣ, говорила она, человѣка, проникшагося моими утѣжденіями, или такого, котораго я могла бы привести къ нимъ, и я выйду за него замужъ. Но теперь почему же вы порицаете меня? Пожалуйте меня. Я несчастна, а не безумна. Развѣ сердце зависитъ отъ воли? Развѣ мой отецъ не утверждалъ противнаго? Моя ли вина, что я люблю того, кто не существуетъ? Я вовсе не соннамбула (*visionnaire*); я вовсе не хочу прынца, я не ищу Телемака; я знаю, что онъ только продуктъ воображенія: я ищю кого-нибудь, кто погладитъ бы на меня (*co do miuie myślami wza-*

jęmieni wzłala, переводить Мицкевичъ). *И почему же не можетъ, въ дѣйствительности, существовать этотъ кто-нибудь* (jesti musi byé kędyś, говорить Мицкевичъ), разъ существую я, которая чувствуетъ, какъ подобно мое сердце его сердцу. *Итъмъ, не будемъ такъ унижать человѣчество* (nie pogęprzrodzenia tą myślą obrażać); не будемъ думать, что любезный и добродѣтельный человѣкъ есть лишь химера. *Онъ существуетъ, онъ живетъ, можетъ быть, онъ ищетъ меня*; онъ ищетъ душу, которая бы сумѣла любить его. Но кто онъ? Гдѣ онъ?» Такихъ сопоставленийъ можно сдѣлать очень много, и они проходятъ не только черезъ монологъ «дѣвницы» во II дѣйствіи, но и черезъ всю IV, лишній разъ подтверждая, что эти части написаны въ одну и ту же эпоху творчества Мицкевича, подъ одними и тѣми же литературными вліяніями. Нѣкоторые мотивы, едва намѣченные въ «Дѣдахъ», достигаютъ полного развитія въ «Эмиль». Густавъ въ IV части осуждаетъ «обманчивыя книжки», которыя доводятъ людей до гибели. Такъ и Софи въ «Эмиль» (II. 345) изваливаетъ вину своихъ странностей на книжку: «вы хотите знать причину? Вотъ она, сказала она, бросая на столъ книгу». Эта книга «Les Aventures de Télémaque», Софи влюбилась въ Телемака, сдѣлалась «соперницей Эвхаристъ». Мицкевичъ, который заставляетъ своего героя бросать слова и мысли, не доканчивая ихъ, не называетъ, кѣмъ вообразилъ себя Густавъ, но только книжкамъ приписываетъ чрезмѣрное развитіе въ немъ чувствительности. Образъ священника-учителя (бѣдный униатскій ксендзь долженъ былъ развитъ чувствительность у Густава, воспитать его на французскихъ романахъ!) заимствованъ также изъ «Эмиля», и вообще безграничную подчиненность чувству и воображенію герой «Дѣдовъ» заимствовалъ изъ Руссо. Но у него — только чувство, у Густава сильна и рефлексія. Откуда онъ взялъ ее?

Конечно, и Эмиль мастеръ и большой любитель поразсуждать, но что значить вся его рефлексія передъ развѣдающимъ анализомъ Вертера, который уже совсѣмъ лишенъ способности дѣйствовать и занимается только самонаблюденіемъ и подглядываніемъ за малѣйшими проблесками своихъ мыслей и чувствъ. Герой Мицкевича въ этомъ отношеніи далеко уступаетъ ему: и онъ грѣшитъ излишней рефлексіей, но не она, а порывъ отчаянія губить его. Тѣмъ не менѣе Вертеръ сильно запечатлѣлся въ воображеніи поэта. Поводовъ для этого было достаточно. «Страда-

нія молодого Вертера» (появившіяся въ ихъ нынѣшнемъ видѣ въ 1783 году) представляли поразительную аналогію съ тѣмъ, что пережилъ самъ Мицкевичъ. Вертеръ познакомился съ Лоттой, когда она была уже невѣстой другого, Альберта, человѣка почтеннаго, благороднаго, но едва ли понимающаго всю сложность ея души. Онъ увидѣлъ Лотту, окруженную сіяніемъ женственности, когда она кормила ужиномъ младенцевъ братьевъ и сестеръ; мы знаемъ, какое впечатлѣніе дѣвичья прелесть платья Марыли произвела на автора «Пана Тадеуша». Лотта подружилась съ Вертеромъ; ихъ дружбѣ покровительствовалъ женихъ Лотты, Альбертъ, который умѣлъ понять глубокое и чистое чувство Вертера. Въ февралѣ, какъ и Марыля, Лотта вышла замужъ; Вертеру оставалось одно утѣшеніе, писать длинныя письма Вильгельму, который въ романѣ Гёте играетъ роль Зана, т.-е. принимаетъ душевныя изліянія отчаявшагося юноши. Потомъ Вертеръ не выдерживаетъ борьбы съ собой и стрѣляется, тогда какъ Мицкевичъ мужественно справился со своимъ чувствомъ. Душевные страданія молодого Вертера напоминаютъ переживанія Мицкевича въ такой же мѣрѣ, какъ и слагавшееся у нихъ обоихъ, подъ вліяніемъ одиночества и разочарованія, міровоззрѣніе. Многія мѣста изъ писемъ Вертера точно живьемъ взяты изъ мицкевичевскихъ писемъ или, наоборотъ, перенесены Мицкевичемъ въ свои письма изъ Гёте. Эти постоянныя сѣтованія молодого ковенскаго учителя на забвеніе друзей отвѣчаютъ жалобамъ Вертера на то, что человѣкъ «такъ быстро исчезаетъ изъ сердецъ и воспоминанія своихъ ближнихъ, стоитъ ему лишь отъ нихъ удалиться». И вотъ у Вертера складывается глухое раздраженіе противъ общества, какъ это было и съ Мицкевичемъ. Лотта упрекала своего пылкаго друга, что онъ «родился съ печальной способностью относиться ко всему съ такой необузданной страстностью»; но въ томъ же самомъ упрекала Марыля Мицкевича, а онъ ни въ чемъ не могъ упрекнуть ея, какъ и Вертеръ Лотту. Оба они могли въ раздраженіи наговорить обидныхъ словъ своимъ возлюбленнымъ, и оба сознавали, что онѣ выше упрековъ; «дѣтская невинность» ихъ любви возвышала ихъ въ собственныхъ глазахъ; но въ жизнь Лотты любовь Вертера внесла такое же тяжелое раздвоеніе, какъ и въ судьбу Марыли ея роковая встрѣча съ Мицкевичемъ. «Ея чистая, прекрасная душа, всегда такъ легко успокаивавшаяся сама въ себѣ, теперь

уже не находила покоя, сердце ея было сжато, надежда на счастье померкла, передъ глазами клубилась темная туча» *).

Въ душѣ Мицкевича новое чувство изгнало старыя литературныя симпатіи. Онъ забросилъ своихъ ложноклассиковъ, забросилъ и писателей древностей и перешелъ къ Оссіану, Шиллеру, Гёте. «Оссіанъ побѣдилъ въ моемъ сердцѣ Гомера!» патетически восклицаетъ Вертеръ и услаждаетъ Лотту чтеніемъ своего перевода Оссіана. Такъ и Марыля съ Мицкевичемъ зачитывались сантиментальными романами. «Слезы ручьемъ полились изъ глазъ Лотты, облегчая ея измученное борьбою и тревогой сердце. Вертеръ пересталъ читать, отбросилъ тетрадь, схватилъ ея руку и тоже горько зарыдалъ (при чтеніи Оссіана). Лотта достала свободной рукой платокъ и закрыла имъ лицо. Оба были глубоко взволнованы». Что долженъ былъ чувствовать Мицкевичъ при чтеніи этой сцены, которая въ современномъ читателѣ вызоветъ развѣ только снисходительную улыбку. И какъ героя «Дѣдовъ» погубили книги, такъ и герой Гёте даже въ послѣднюю минуту своей жизни не могъ обойтись безъ чувствительнаго романа: когда онъ застрѣлился, на письменномъ столѣ его нашли чувствительную комедію Лессинга «Эмилию Галотти». Она была раскрыта: очевидно, Вертеръ передъ смертью читалъ ее.

Какъ Мицкевичъ, Вертеръ посѣтилъ въ самую грустную минуту своей жизни родной домъ, онъ уѣхалъ на родину «съ религиозностью истиннаго пилигрима», его обуяли странныя, неожиданныя мысли; цѣлый рой воспоминаній дѣтства охватилъ его. И много еще сходнаго со своей судьбой молодой Мицкевичъ долженъ былъ найти въ безсмертной повѣсти Гёте. Герой ея оказалъ несомнѣнное вліяніе на разработку IV части «Дѣдовъ». Это вліяніе, которое много разъ подвергалось изслѣдованію польскихихъ критиковъ, новѣйшій критикъ, К. Войцеховскій, опредѣляетъ въ слѣдующихъ словахъ: «Какія именно изъ представленій, мыслей, чувствъ Густава возникли подъ вліяніемъ чтенія «Die Leiden des jungen Werthers», этого мы не прослѣдимъ, но очевидно, что сходныхъ пунктовъ очень много и что о зависимости «Дѣдовъ» отъ Вертера говорить, прежде всего, самый фактъ введенія въ поэму тѣхъ же самыхъ, такихъ многочислен-

*) Цитирую «Страданія юнаго Вертера» въ переводѣ О. П. Хмѣлевой (изданіе М. Ледерле. 1893).

ныхъ и разнородныхъ мотивовъ. Основное сходство заключается, какъ указалъ Хмѣлевскій, въ одинаковомъ пониманіи любви, а мы прибавимъ, что оно заключается также въ развитіи «теоріи» самоубійства и въ техникуъ разсказа Густава». Разумѣется, въ ту пору жизнь кишѣла большими и маленькими Вертерами, влюбленными въ небожительницу Эмилиями, страдающими отъ любви безумцами. Могъ ли не попасть въ ихъ число и герой Мицкевича?

Сцену возвращенія героя домой послѣ долгихъ лѣтъ странствованій и горькихъ разочарованій, сцену, которую, какъ мы знаемъ теперь, Мицкевичъ пережилъ лично, онъ нашелъ не въ одномъ «Вертерѣ». Шатобрианъ, котораго Мицкевичъ, несомнѣнно, хорошо зналъ, заставилъ своего героя Ренэ пережить подобныя же впечатлѣнія. Ренэ посѣщаетъ свой домъ случайно. Онъ ѣхалъ къ своей сестрѣ Амеліи, которая мучила его своими письмами, исполненными какихъ-то полупризнаній, какой-то тайны. По дорогѣ, случайно, онъ заѣхалъ въ свой домъ. «Когда я замѣтилъ лѣса, среди которыхъ прошли единственныя счастливыя минуты моей жизни (говоритъ Ренэ), я не могъ удержаться отъ слезъ, я не былъ въ состояніи отказаться отъ искушенія сказать имъ послѣднее прости». Какъ это напоминаетъ настроеніе Мицкевича, когда онъ заѣхалъ въ свой родной домъ въ Новогрудкѣ. И картина, которую засталъ Ренэ, совершенно отвѣчала тому впечатлѣнію, которое это посѣщеніе произвело на нашего поэта. Ст. Добржицкій, обратившій вниманіе на сходство извѣстной сцены въ «Дѣдахъ» съ эпизодомъ «Ренэ», удивляется, почему именно этотъ эпизодъ отразился въ блужданіяхъ Густава. Теперь, когда мы знаемъ реальную подкладку этой сцены въ «Дѣдахъ», намъ становится ясно, что Мицкевича должно было поразить совпаденіе. Оно особенно говорило его сердцу еще потому, что не одному Ренэ были дороги эти развалины. Сестра его, Амелія, плававшая къ нему тайной любовью, также посѣщала ихъ. Она упала въ обморокъ, увидя родной домъ. Марыля любила поэта такъ же безнадежно и скорбно, какъ Амелія, и образъ послѣдней дѣлалъ для Мицкевича особенно дорогимъ романъ Шатобриана, и если теперь его отрицаніе культуры не отразилось на «Дѣдахъ», то впоследствии его культъ возвышеннаго сердца не прошелъ безслѣдно. «Я попалъ въ замокъ по длинной аллеѣ изъ елокъ; пѣшкомъ я прошелъ по пустымъ дорожкамъ; я остановился взглянуть на закры-

тыя или полувыбитыя окна, на волчець, росшіи у основанія стѣнъ, на листья, которыми былъ усыпанъ порогъ дверей, на безлюдное крыльцо, на которомъ я такъ часто видѣлъ отца и его вѣрныхъ слугъ. Ступеньки были уже покрыты мохомъ, между ихъ дрожащими и раздвинувшимися камнями росла желтая гвоздика. Незнакомый сторожъ грубо распахнулъ двери... Закрывъ глаза платкомъ, я вступилъ подъ стѣнъ моихъ предковъ. Я пробѣжалъ черезъ гулкія комнаты, гдѣ раздавался лишь шумъ моихъ шаговъ. Комнаты едва были озарены слабымъ свѣтомъ, проникавшимъ черезъ закрытыя ставни; я посѣтилъ ту комнату, гдѣ разсталась съ жизнью матушка, произведя меня на свѣтъ... Повсюду залы были запущены, и въ заброшенныхъ углахъ паукъ вилъ свою сѣть.

Такимъ образомъ, связь IV части «Дѣдовъ» съ цѣлымъ рядомъ современныхъ писателей можетъ быть доказана непосредственными ссылками. Но ближе всего Мицкевичъ все-таки къ нѣмецкой романтикѣ. Чѣмъ болѣе изслѣдуются ея вліянія, тѣмъ ярче встаетъ передъ нами вліяніе этого культа гордой и сильной личности, еще не байроновскэй, егдѣ не презирающей міра, но проникнутой чувствительностью и рефлексіей, на творчество польскаго романтика, перваго польскаго писателя, который *пережилъ* «страданія молодого Вертера» и воплотилъ ихъ въ своемъ творествѣ. Я уже ссылался на одну работу Э. Петцольда, посвященную вліянію Тика на Мицкевича. Теперь укажу на другую его статью, въ которой отмѣчается связь «магическаго самоубійства», совершеннаго надъ собой одной изъ трагическихъ героинь Клейста («Penthesileä»), съ заявленіемъ Густава о смертельной ранѣ, которую онъ носитъ въ душѣ, хотя кажется здоровымъ. Этотъ послѣдній мотивъ у Мицкевича такъ своеобразенъ, что его литературное происхожденіе представляется вѣроятнымъ, а совпаденіе не случайнымъ. Пентезилея, убивъ въ безуміи Ахиллеса, хочетъ лишитъ себя жизни, но не земнымъ оружіемъ. «Я нисхожу въ бездны своего лона, какъ въ подземный рудникъ, я рою здѣсь уничтожающее меня чувство, холодное, какъ желѣзо. И это желѣзо я закаляю въ пламени своей скорби, и оно становится твердо, подобно стали; палящимъ ядомъ *раскаиванія* я пропитываю его и несю на вѣчную наковальню надежды; и изъ него я выковываю себѣ кинжалъ, и теперь этому кинжалу я подставляю грудь. Такъ, такъ! Еще разъ, теперь

все хорошо!» До такой замысловатости Мицкевичъ не дошелъ. Его герой заявляетъ, что до страшнаго суда его кинжалъ будетъ въ ножахъ. «О ранахъ нечего беспокоиться; вѣдь я кажусь здоровымъ». Ксендзь изумленъ, но Густавъ успокаиваетъ его: «Есть драгоценное оружіе, остріе котораго глубоко проникаетъ и тонетъ въ самой душѣ, хотя видимо оно не вредитъ тѣлу. Такимъ оружіемъ я былъ пронзенъ дважды... Такимъ оружіемъ бываютъ глаза женщины; а послѣ смерти *раскаіаніе* терзающагося грѣшника».

Такъ авторъ «Дѣдовъ» проникся литературой нѣмецкаго романтизма (и предшественниковъ его). Онъ схватывалъ родственные сюжеты, учился у родственныхъ писателей романтически превращать дѣйствительность, заимствовалъ то странное, что поражало въ нихъ его (сосну, какъ палку путника, у Тика; магическое самоубійство у Клейста). Не прошелъ безслѣдно въ созданіи образа Густава и популярнѣйшій писатель начала XIX вѣка, Жанъ Поль Рихтеръ.

Въ спеціальной работѣ, посвященной анализу IV части «Дѣдовъ», проф. Калленбахъ отмѣтилъ сильное вліяніе одного изъ романовъ Жанъ Поль Рихтера «Blumen, — Frucht — und Dornenstücke, oder Ehestand, Tound Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs». Романъ этотъ появился въ 1796 году, второе изданіе его вышло въ 1818 году. Герой романа принадлежитъ къ типу излюбленныхъ въ то время странныхъ людей, носителей оригинальной, чрезвычайно развитой индивидуальности, которая заставляетъ ихъ чудачиться и презирать будничную жизнь. «Презрѣніе къ возведеннымъ въ санъ благородства дѣтскимъ выходкамъ жизни, отвращеніе къ мелочности, соединенное съ умѣніемъ падать малыхъ, ненависть къ безчестному себялюбію, насмѣшливость, естественная въ прекрасномъ сумасшедшемъ домѣ земли, глухота къ голосамъ людей, но не чести» *): такова характеристика этого причудливаго героя, которая такъ соответствовала тогдашнимъ идеальнымъ воззрѣніямъ Мицкевича и нашла такое определенное выраженіе въ рѣчахъ Густава. Къ этому надо присоединить чувствительность, которая часто вызывала у

*) I. 27. «Verschmähung der geadelten Kinderpossen des Lebens, Anfeindung des Kleinlichen bei aller Schonung des kleinen, Ingrim gegen den ehrlosen Eigennutz, Lachlust in der schönen Irrenanstalt der Erde, Taubheit gegen die Stimme der Leute, aber nicht der Ehre».

него слезы, и особое какое-то ироническое отношеніе къ себѣ, весьма обычное у романтиковъ, которые не умѣли относиться просто даже къ самимъ себѣ: «ни надъ кѣмъ онъ не смѣялся такъ часто, какъ надъ самимъ собой» (I. 35). И наружность Зибенкеса отвѣчала его постоянной душевной бурѣ: глаза его сверкали, а лицо было покрыто землистой блѣдностью; онъ былъ высокъ и очень худъ. О такомъ лицѣ Жанъ Поль справедливо выражается, какъ объ «игрѣ» (*Naturspiel ähnlicher Gesichter ist häufiger, als man glaubt*).

Такимъ образомъ, конецъ XVIII и начало XIX вѣковъ создали цѣлую галерею героевъ чувствительности и индивидуальности; всѣ они переживаютъ драму любви, отъ которой гибнуть, или одержимы странными необычными стремленіями; свою личность они ставятъ превыше общественной мѣрки, прилагаемой къ страстямъ и желаніямъ: напротивъ, они неустойчивы въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, въ своихъ радостяхъ и страданіяхъ. Такихъ людей, навѣрное, не мало было и въ жизни; взаимодѣйствіе между жизнью и литературой особенно ясно проявляется именно въ такія эпохи, когда литература извлекаетъ изъ жизни образы могучей индивидуальности. Эти образы обратно идутъ въ жизнь, но надѣленные уже литературными чертами. Печоринъ, Вертеръ, Чайльдъ Гарольдъ взяты изъ жизни и вернулись въ жизнь, гдѣ отъ нихъ пошли самые искренніе Вертеры, Печорины и Чайльдъ Гарольды.

Въ началѣ 20-хъ годовъ, когда у Мицкевича складывался образъ его Густава, Мицкевичъ, несомнѣнно, переживалъ самымъ искреннимъ образомъ страданія Вертера и Эмиля, разочарованіе въ нашей книжной культурѣ Ренэ, странныя стремленія къ одиночеству и чудесному герою Тика, вѣру въ могучее воздѣйствіе психики на физическую сторону жизни, культъ *своего* чувства. Это заставляло его говорить громко и открыто, какъ бы навязывая свое чувство людямъ, о неудачной любви къ Марылѣ, чѣмъ не мало шокировались друзья Мицкевича. Можно сказать, что до тѣхъ поръ въ польской жизни еще не было такой яркой и могучей лирической индивидуальности, какой былъ Мицкевичъ, и интересъ къ ней уже пробудился, вкусъ къ сильнымъ чувствамъ въ личной жизни уже образовался въ польскомъ обществѣ. Нужно было только, чтобы кто-нибудь великій узаконилъ права индивидуальности, низвергъ господство въ

литературѣ условныхъ и общихъ чувствъ и завоевалъ уваженіе для личнаго, реальнаго чувства всякаго человѣка. Такое завоеваніе соответствовало поступательному движенію народа на пути къ идеалу искренности и правды и было крупной общественной заслугой. Ее и выполнили Мицкевичъ въ IV части «Дѣдовъ». «Жилецъ ксендза; столъ накрытъ; только что поужинали; на столѣ двѣ свѣчки, лампада передъ образомъ Божьей Матери; на стѣнѣ часы съ боемъ». Вотъ обстановка, въ которую переносить насъ поэтъ. Старый униатскій священникъ съ двумя дѣтьми сидитъ за столомъ. «Сегодня костель молится за души тѣхъ христіанъ, которые взяты отъ насъ и терять въ чистилищѣ муки. Помолимся за нихъ»,—говоритъ ксендзъ, развертывая книгу. И въ тотъ моментъ, когда дѣти приступаютъ къ чтенію, на порогѣ появляется «пустышникъ» въ странной одеждѣ. Дѣти перепуганы: «ахъ, трупъ, трупъ, привидѣніе!» Смущенъ и старикъ: «кто ты такой? зачѣмъ? на что?» Медленно и печально отвѣчаетъ пришелецъ: «да, трупъ, вы правы, дѣти!»—«Трупъ, трупъ, ахъ, не бери пану!»—«Мертвый? О нѣтъ, мертвый только для свѣта! Я пустышникъ, понимаете ли вы меня?» *Ксендзъ*: «Откуда ты приходишь такъ поздно? Кто ты? Какъ твое имя? Когда я къ тебѣ приглядываюсь, мнѣ кажется, что я видѣлъ тебя когда-то въ этихъ краяхъ. Скажи, братъ мой, откуда ты родомъ?» На этомъ, въ сущности, и кончается вводная сцена. Въ дальнѣйшемъ роли ксендза и дѣтей ограничиваются отдельными репликами, которыя служатъ одной цѣли—созданію *настроенія*, цѣли современной драмы. И въ этомъ точно такъ же обнаруживается тонкій художественный инстинктъ Мицкевича, который въ области польскаго импрессионизма является прямымъ предшественникомъ Словацкаго. Тогдашняя драма этой игры настроеній не знала, и каждое дѣйствующее лицо служило развитію дѣйствія или учило зрителей своими монологами и высокими чувствами. Въ IV части «Дѣдовъ» дѣйствія нѣтъ никакого; это исключительно душевныя изліянія пустышника, которыя, въ сущности, можно переставлять, какъ угодно. Попытки различныхъ критиковъ указать послѣдовательность въ развитіи чувства героя мнѣ представляются весьма произвольными: онъ уходитъ съ тѣмъ же чувствомъ, съ какимъ является, его сердечная рана останется съ нимъ до Суднаго дня. И кто такой Густавъ: привидѣніе, покойникъ, или живой человѣкъ,—этого намъ, а, можетъ быть, и самому себѣ Миц-

кевичъ такъ и не захотѣлъ выяснитъ. Онъ все время играетъ словами: «мертвый для свѣта», но этотъ мертвый только для свѣта совершаетъ поступки, какіе живымъ не проходятъ даромъ. Привидѣніе можетъ, вѣроятно, пробить себя кинжаломъ и потомъ преспокойно удалиться; оно можетъ магически тушить свѣчи и вызывать пискъ загробныхъ душъ; но съ живыми людьми такихъ вещей не бываетъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ Густавъ, несомнѣнно, живой человѣкъ, который живетъ только земными чувствами и ни въ чемъ ни на іоту не отрѣшился отъ земли. Въ этой двойственности его образа, въ недоконченности рисунка тоже заключается «настроеніе», и едва ли не намѣренно Мицкевичъ не начертилъ болѣе ясныхъ контуровъ.

Перейдемъ къ монологамъ Густава, которые представляютъ цѣлую гамму любви. Пустышникъ не хочетъ отвѣтить прямо на вопросы ксендза. Правда, онъ былъ здѣсь, но «давно, въ молодости, передъ смертью, уже года три тому назадъ»; своего имени онъ не хочетъ сказать: еще рано. «Я иду издалека, не знаю, изъ ада или изъ рая, и сиѣшу въ ту же самую страну. Ксендзь, если знаешь, покажи дорогу». Но ксендзы исправляютъ только ложные пути; они никому не указываютъ путей смерти. Съ раздраженіемъ, характернымъ для тогдашняго антирелигіознаго настроенія Мицкевича, Густавъ напускается на священника: «Другіе заблуждаются; а ксендзь въ маленькомъ, но собственномъ домѣ, ни о чемъ не тревожась, сидитъ себѣ съ дѣтьми у камина, а на свѣтѣ миръ или военныя бури, упадаетъ народъ, гибнетъ влюбленный; ему все равно, а я мучусь въ грязную, темную погоду. Слышишь, какой вѣтеръ на дворѣ, видишь, какъ сверкаетъ молнія? (оглядывается). Благословенна жизнь въ маленькомъ собственномъ домѣ! (поетъ пѣсенку о счастливой жизни въ такомъ домикѣ)». Ксендзь принимаетъ иронию за чистую монету и простодушно предлагаетъ пришельцу сѣсть у огня и погрѣться, чѣмъ вызываетъ съ его стороны новый взрывъ гнѣва. «Погрѣйся! добрый ксендзь, архи-прекрасный совѣтъ» (опять *архи*, — *arcy* —, которое Мицкевичъ любилъ въ извѣстную пору своей жизни). И опять Густавъ поетъ, сначала показывая на свою грудь, потомъ на каминъ. «Ты не знаешь, какое пламя здѣсь пылаетъ, и при дождѣ и въ холодъ, всегда пылаетъ. Иногда я хватаю снѣгъ и ледъ и прижимаю къ горячей груди: и снѣгъ таетъ, и ледъ таетъ, отъ груди паръ валитъ,

огонь пылаеть! Онъ растопилъ бы металлы и камни (показывая на каминъ), хуже этого въ тысячу разъ, въ миллионъ разъ! И снѣгъ таетъ, и ледъ таетъ, изъ груди жаръ валить, огонь пылаеть!» По этому поводу между пустыннокомъ и ксендзомъ начинается обмѣнъ репликами: «я свое, а онъ свое», резюмируетъ эту странную бесѣду деревенскій священникъ, который принимаетъ своего страннаго гостя за сумасшедшаго. «Покажи: вѣдь ты хорошо это знаешь, дорогу къ смерти!»—говоритъ Густавъ. «Хорошо, я готовъ на всякую услугу, но вѣдь отъ твоего возраста до могилы чрезвычайно далекій путь» (*gościniec arcy—długi*, опять это *arcy—archu*). Желая пригрѣть и накормить бѣднаго, прсызбшаго и промокшаго гостя, который дрожитъ всѣмъ тѣломъ, ксендзъ выходитъ распорядиться, оставляя его дѣтямъ. А тѣ съ удивленіемъ разсматриваютъ прохожаго: его странную одежду изъ разныхъ кусковъ матеріи, траву и листья на головѣ, кинжалъ, висящій на шнуркѣ. «Право, вы похожи на привидѣнье (*na stracha*)», заключаютъ со смѣхомъ дѣти. Тогда пустынный вздрагиваетъ, какъ будто припоминаетъ, «что когда-то и онъ видѣлъ такую же несчастную, какъ онъ самъ теперь; на головѣ листья, на тѣлѣ лохмотья; всѣ смѣялись и издѣвались надъ ней. И онъ засмѣялся, и кто знаетъ, не за это ли Богъ наказалъ его теперь». Такъ могъ говорить и чувствовать только живой, страдающій человекъ. Ксендзъ возвращается, приглашаетъ юношу сѣсть за столъ, но тотъ поглощенъ своими мыслями, напѣваетъ пѣсенку. «Ахъ, уфхатъ отъ нея скучно, а прѣхатъ къ ней трудно» и, полный своихъ литературныхъ воспоминаній, продолжаетъ, вынимая книжки изъ шкапа: «Ксендзъ, а знаешь ли ты жизнь Элоизы, знаешь огонь и слезы Вертера? (поеть). Столько я вытерпѣлъ, столько я выстрадалъ (изъ Гёте, прим. Мицкевича)! Развѣ смерть утолитъ мои печали? Если я оскорбилъ пустымъ увлеченіемъ, это оскорбленіе я искуплю своей кровью» (вынимаетъ кинжалъ). Ксендзъ удерживаетъ его: Безумецъ, возможно ли это? Отнимите у него желѣзо, разожмите ему кулаки. Вѣдь ты христіанинъ! Какая безбожная мысль! Знаешь ли ты Евангеліе? Пустынный: «А знаешь ли ты несчастіе? (прячетъ кинжалъ). Пусть такъ! Не надо братья за него слишкомъ рано. (Смотритъ на часы.) Стрѣлка на девяти, и горять три свѣчки (опять поеть, потомъ продолжаетъ). Ахъ, если ты знаешь Гёте въ оригиналѣ... Если бы къ тому же ея голосокъ и звуки фор-

тепьяно. Впрочемъ, ты думаешь только о Божьей славѣ, преданный только обязанностямъ своего сана (быстро просматриваешь книги). Вотъ какъ, ты любишь свѣтскія книги; ахъ, эти убійственные книги! (сжимаетъ книжку). О, небо и пытки моей юности! Онѣ свихнули основу моихъ крыльевъ и выломали ее, поднявъ вверхъ, и съ этихъ поръ я уже не могу исправить свой полетъ книзу. Влюбленный въ грезы, видѣнная лишь во снѣ, не вынося скучнаго оборота земныхъ вещей, презирая существа обычной природы, я искалъ, — ахъ, я искалъ той божественной возлюбленной, какой не было въ подлунномъ мѣрѣ, которую создало лишь изъ тѣны волнъ воображеніе, восторгъ увлеченія, а страсть убрала въ собственные цвѣты. Но въ это холодное время нѣтъ идеала, и черезъ теперешнее я улетаю въ золотые вѣка: я носился по небу, выдуманному поэтами, преслѣдуя и блуждая, неутомимый преслѣдователь въ блужданіи. И наконецъ, напрасно изрыскавъ далекіе края, я начинаю падать и уже бросаюсь въ грязныя рѣки наслажденій; но прежде чѣмъ броситься, я оглядываюсь еще разъ вокругъ себя... О, наконецъ, я ее нашелъ! Я нашелъ ее около себя, я нашелъ ее, чтобы потерять навѣки!» Со свойственнымъ простодушному деревенскому священнику любопытствомъ ксендзь разспрашиваетъ гостя, давно ли онъ ютерпѣлъ свою утрату. Пустыжникъ отказывается отвѣчать, но проситъ позволенія ввести въ домъ своего спутника. Черезъ минуту онъ возвращается, таща вѣтку елки, какъ герой тиковской повѣсти опирается на цѣлую елку. Дѣти испуганы: не разбойникъ ли это, который хочетъ убить ихъ отца дубиной; смущенъ и ксендзь, а гость представляетъ своего пріятеля и извиняется за него: «человокъ онъ, въ лѣсу воспитанъ; ну, кланяйся!» Подробностей, найденную у одного изъ романтиковъ, Мицкевичъ сумѣлъ выдвинуть и подчеркнуть для того, чтобы образъ его героя сталъ еще болѣе страннымъ и прихотливымъ. Новый монологъ пустытника: «Это — елка? Ахъ, ученый ксендзь! Ахъ, ты, голова, голова. Вглядишься хорошенько; вѣдь это вѣтвь кипариса! Это память о разлукѣ, это символъ моей участи. (Беретъ книжки.) Возьми-ка книгу да прочитай исторію прошлыхъ вѣковъ; два дерева считались священными у грековъ. Тотъ, кто любилъ, взаимно любимый, радостно украшалъ свою голову миртовой зеленью. (Пауза.) Кипарисовая вѣтвь, сломанная ея рукой, постоянно напоминаетъ мнѣ послѣднее прости! Я взялъ ее и спря-

талъ, и до сихъ поръ она мнѣ вѣрно служить! Безчувственная, она лучше этихъ будто бы чувствующихъ людей! Мой плачь ея не забавляетъ, мои жалобы не надоѣдаютъ ей; она одна осталась со мною изъ всего множества друзей. Она владѣетъ всѣми тайнами моей души! Если хочешь узнать что-нибудь обо мнѣ, спроси ее, мой другъ. Я оставлю васъ наединѣ, поговори съ ней. (Къ вѣткѣ.) Скажи, какъ давно я оплакиваю такую тяжкую утрату... Это должно было случиться давно, много лѣтъ тому назадъ. Я помню, какъ взялъ изъ ея рукъ кипарисъ, это былъ маленькій-маленькій листикъ; я унесъ его, посадилъ его вдалекѣ на песокъ и поливалъ горячей рѣкою слезъ. Смотри, какая вѣтка выросла изъ этого листка, какъ высокая и густая! Когда послѣдняя печаль добила меня, не желая глядѣть на разгнѣванные небеса, я покрылъ свою могилу тѣнью этихъ кося. (Съ кроткой улыбкой.) Ахъ, какъ разъ такого цвѣта волосы, какъ эти вѣточки кипариса! Хочешь, покажу (ищетъ и тянетъ на груди). Не могъ отвязать завязку. (Все съ большими усиліями.) Мягкая завязка... изъ дѣвичьей косы... Но едва я положилъ на грудь, она опоясала меня, точно власяница; она вонзается въ грудь, проникаетъ въ тѣло, вѣдается все глубже и скоро не позволитъ мнѣ вздохнуть! Ахъ, какъ я страдаю! Ахъ, велики и грѣхи мои!» Таковъ одинъ изъ самыхъ типичныхъ монологовъ Густава. Было бы утомительно въ пересказѣ прослѣдить всѣ эти однообразные монологи, развивающіе то философію романтической любви съ вѣрой въ предназначеніе душъ носиться по одной окружности, такъ какъ онѣ привязаны цѣпью къ одному центру, то цѣлую гамму любовныхъ страданій. Въ этихъ монологахъ, какъ и въ болѣе раннемъ своемъ творествѣ, Мицкевичъ не знаетъ мѣры; онъ расплывается въ своихъ изліяніяхъ, отчего страдаетъ прежде всего энергія чувства. Съ жалобами на неудачную любовь сплетаются воспоминанія, очень реальныя и дорогія Мицкевичу: прощанія съ Марылей, посѣщенія родного дома и т. п. Часть этихъ картинъ была уже приведена мною раньше въ изложеніи біографіи Мицкевича. Поэтому, не возвращаясь къ нимъ, я остановлюсь на дальнѣйшемъ развитіи поэмы. Въ увѣщаніяхъ ксендза успокоиться, въ его мистической вѣрѣ въ загробное сліяніе душъ, разлученныхъ на землѣ, Густавъ узнаетъ все то, что онъ слышалъ отъ своей возлюбленной. «Какъ, ты знаешь обо всемъ, ты измѣнически подслушала насъ, ты обманомъ добыла тайну, укрытую на са-

момъ днѣ сердца, о которой не знаютъ самые близкіе друзья: положивъ одну руку на кипарисовое дерево, а другую на грудь, мы поклялись молчать, и никто не знаетъ о ней». Безуміе все болѣе охватываетъ героя поэмы. Но разрѣшается оно все тѣми же воспоминаніями любви, горькими переживаніями одиночества и безутѣшной тоски. Сердце надрываютъ эти жалобы безумнаго, въ которыхъ такъ много реальной, живой скорби молодого ковенскаго учителя, томившагося вдали отъ Марыли, вдали отъ друзей въ скукѣ занятій съ тупыми «жмудскими головами». Съ этими жалобами смѣшивается мистика, которая точно такъ же установилась уже тогда нечужда Мицкевичу. Густавъ рассказываетъ о томъ, какъ однажды утромъ, проплакавъ всю ночь, онъ бродилъ въ саду. «Дождь лить, какъ изъ ведра, дулъ рѣзкій вѣтеръ»; а онъ прижался головой къ мокрому кусту и повѣдалъ свою душевную боль маленькому червячку, который ползъ у его головы. Ксендзь и дѣти не знаютъ, какъ понять его: развѣ червяки говорятъ такъ, какъ люди? «А развѣ нѣтъ», отвѣчаетъ пустынный: «Подойди сюда, мальчикъ, наклонись къ столу, приложи ушко; здѣсь бѣдная душка проситъ твоей молитвы. Ага, ты слышишь, какъ онъ возится?» И затѣмъ идетъ рассказъ о томъ, какимъ скупцомъ-ростовщикомъ былъ при жизни этотъ маленький червячокъ, буравящій дерево; и при жизни душа его лежала на днѣ конторки, у мѣшка съ золотомъ. Реальность этой сцены доходитъ до того, что дитя, дѣйствительно, слышитъ «пискъ злого духа». Изъ области фантастики мы вступаемъ уже въ область настоящихъ «явленій духовъ», и этотъ переходъ, апеллирующій къ мистическому настроенію читателя, неминуемо произведетъ неприятное, просто комическое впечатлѣніе на читателя, не расположеннаго вѣрить въ пискъ злыхъ духовъ. Но этимъ не ограничивается мистическая окраска «Дѣдовъ»: отъ 9 часовъ до 12 пустынный переживаетъ свои душевныя страданія, приведшія его къ самоубійству, и сама собой гаснетъ черезъ каждый часъ одна изъ трехъ свѣчей. Ergo, умозаключить читатель, Густавъ дѣйствительно явленіе изъ области сверхъестественнаго, и его приходъ сопровождается сверхъестественными событіями. Однако, онъ мертвъ лишь для міра, онъ живетъ реальными чувствами, и вода охлаждаетъ его, и отъ дождя онъ мокнетъ, что едва ли случается съ безплотными «привидѣніями».

Вернемся къ страданіямъ молодого Густава. Бьютъ часы, по-

еть иѣтухъ, гаснетъ одна свѣча; пустынный оглядывается и становится спокойнѣе и тише; онъ узнаетъ старика-священника, и тотъ вдругъ узнаетъ въ немъ своего любимаго ученика, Густава. Казалось бы, теперь рѣзкій тонъ пустытника по отношенію къ ксендзу долженъ былъ измѣниться. Если раньше могли представляться естественными его замѣчанія, что природа не открываетъ своихъ тайнъ мудрецамъ и священникамъ, что старики не слышатъ голоса природы и т. д., то теперь всѣ эти наладки звучать странно. «О, старикъ! А если я начну тебя обвинять, проклинать твои наставленія, скрежетать зубами отъ одного вида тебя? Ты меня убилъ, ты научилъ меня читать! Читать прекрасныя книги и прекрасную природу! Ты для меня сдѣлалъ землю адомъ (съ сожалѣніемъ и улыбкой)... и раемъ. (Сильнѣе и съ презрѣніемъ.) А это только земля!» Теперь Густавъ, увлеченный воспоминаніями дѣтства, торопливо и волнуясь, рассказываетъ своему старому учителю о томъ, какъ онъ посѣтилъ недавно домъ покойной матери. Вспоминаетъ онъ и дѣтскіе годы, первое чтеніе, военныя игры... Цѣнныя автобіографическія воспоминанія Мицкевича, которыя уже давно использованы его біографами. Къ нимъ присоединяются и болѣе новыя, мучительныя, растрavляющія всю душевную боль воспоминанія о мѣстѣ послѣдней разлуки съ Марылей. Мы знаемъ, что поэтъ не былъ на ея свадьбѣ, но силой воображенія онъ перенесся на свадебный пиръ; Густавъ подслушиваетъ у дверей прѣвѣтствія новобрачнымъ, бѣшенство охватываетъ его. «Я хотѣлъ высадить окно и упалъ безъ души... Думалъ, что безъ души, а только безъ разума. Какъ одинокій трупъ, рядомъ со свадебной толпой, я лежалъ на травѣ, орошенной горькими слезами, столкновеніе послѣднихъ на свѣтѣ ласковыхъ словъ (pieszczot) и мученій! Очнувшись, я увидѣлъ кровавый лучъ восхода. Я жду одно мгновеніе, нигдѣ ни свѣта, ни шума. Ахъ, эта минута долга, какъ вѣчность, и мгновенна, какъ молнія. Развѣ на Страшномъ судѣ будетъ еще подобная ей! (пауза, медленно). Тогда Ангель смерти вывелъ меня изъ райскаго сада». Ксендзъ старается успокоить Густава обычной ссылкой на Божью волю, и это вызываетъ со стороны его собесѣдника длинный монологъ, который можно разсматривать, какъ кульминаціонный пунктъ поэмы. Въ странномъ возбужденіи отъ охватившихъ его воспоминаній Густавъ заново переживаетъ сцену самоубійства. Онъ пронзаетъ себя кинжаломъ и потомъ спокойно вынимаетъ его

къ ужасу священника, который начинает догадываться, что имѣет дѣло съ загробнымъ жителемъ. Въ страхѣ онъ подзываетъ къ себѣ дѣтей; онъ готовъ зачать ужасный призракъ, который, въ свою очередь, вызываетъ изъ неодушевленныхъ предметовъ голоса духовъ. И тутъ обнаруживается странная цѣль прихода Густава: ему будто бы необходимо было внушить духовенству уваженіе къ старому обряду дѣдовъ, который въ глазахъ ксендзовъ оказывается преступнымъ языческимъ праздникомъ. «Они просятъ черезъ меня, и я сердечно совѣтую: верни намъ Дѣды. Тамъ, у престола Всемогущаго, когда чаши вѣсовъ точно измѣряютъ нашу жизнь, тамъ больше вѣситъ слеза одного слуги, искренно пролившаго ее надъ тобой, когда ты умеръ, нежели лживыя сожалѣнія, о которыхъ трубятъ печать, нежели нанятая толпа провожающихъ и одѣтая въ трауръ процессіи. Если, жалѣя о смерти добраго помѣщика, народъ ставитъ на его могилѣ купленную имъ свѣчу, эта свѣча ярче горитъ въ мракѣ вѣчности, нежели тысяча лампадъ, зажженныхъ въ неискренней печали. Если онъ принесетъ кусокъ медовыхъ сотовъ, скромный горшокъ молока и посыпетъ могилу горстью муки, онъ накормитъ душу лучше, о, гораздо лучше! чѣмъ родные моднымъ баломъ, устроеннымъ на поминкахъ». И снова диспутъ между ксендзомъ и Густавомъ, который упрекаетъ священника въ томъ, въ чемъ никакъ нельзя было упрекать ксендза, заявившаго свое исповѣданіе вѣры согласно ученію Церкви. Никогда ксендзъ не отрицалъ существованія душъ, и ироническое замѣчаніе Густава: «Итакъ, духовъ нѣтъ? Этотъ міръ бездушенъ? Живетъ, но живетъ только, какъ голый скелетъ, который врачъ приводитъ въ движеніе тайной пружиной?» — это замѣчаніе бьетъ мимо цѣли. Оно характерно только для тогдашняго суроваго отношенія самого Мицкевича къ рационализму и духовенству, но вовсе не отвѣчаетъ настроенію чувствительнаго священника, который именно фантастическими романами «убилъ» Густава. Характеренъ для поэта и тонъ глубокаго демократизма, проникающій его нападки на суету тщеславія, на богатыхъ и знатныхъ. Въ этомъ тонѣ проведенъ и заключительный монологъ Густава, который начинается съ мистическаго раскрытія тайнъ загробной жизни и постепенно переходитъ въ примиреніе съ судьбой, въ апоэозъ высокой любви, въ яркій идеализмъ вѣры, въ милосердіе и правосудіе Бога. И наконецъ слѣдуетъ «наставленіе». Густавъ выступаетъ въ роли одного изъ

призраковъ второй части «Дѣдовъ», и «хоръ» подтверждаетъ его слова. Что это за хоръ, мы не знаемъ. По связи съ цѣлой сценой онъ долженъ состоять изъ ксендза и его дѣтей, но можетъ быть Мицкевичъ предполагаетъ хоръ высшихъ силъ, внимавшихъ Густаву. Вся эта заключительная сцена такъ характерна для зародышей мистицизма въ душѣ будущаго вождя польскаго мессіанизма, что я приведу ее цѣликомъ. Идеалы филаретовъ, глубокая примиренная любовь къ Марылѣ, вѣра въ свое назначеніе — все слилось въ этой удивительной сценѣ, гдѣ Мицкевичъ обнаружилъ особенно отчетливо великій душевный переворотъ, совершившійся въ немъ: онъ примирился со своей сердечной драмой для того, чтобы итти въ жизни дальше, не поддаваясь любви, но служа инымъ идеаламъ. Романтическая индивидуальность, впервые въ польской литературѣ нашедшая себѣ яркое выраженіе въ лицѣ героя «Дѣдовъ», сама себя осудила и разрѣшилась въ романтизмъ общественной борьбы, человѣческаго служенія. Она не погрязла въ личномъ чувствѣ, но перешагнула черезъ него на пути къ высшимъ задачамъ человѣка. Для развитія польскаго народа это было спасительно, и Мицкевичъ самой эволюціей своего Густава показалъ, къ чему долженъ вести свой народъ поэтъ-вождь. Не бѣжать, какъ Ренэ, не стрѣляться, какъ Вертеръ... Вотъ эта сцена. Густавъ ловитъ около свѣчки мотылька и показываетъ его ксендзу: «А, это ты, господинъ мотылекъ! Этотъ крылатый рой, тѣнящийся въ темнотѣ къ пламени, при жизни гасилъ каждый лучъ просвѣщенія, за это послѣ Страшнаго суда ихъ охватитъ мракъ... А пока, блуждая съ осужденной душой, они, и не любя свѣта, должны летѣть въ свѣтлую полосу! Вотъ самое тяжкое мученіе для темныхъ душъ. Смотри, вотъ этотъ мотылекъ, разодѣтый въ цвѣтныя одежды, былъ какимъ-нибудь царькомъ или богатымъ бариномъ и, широко раскрывъ свои крылья, покрывалъ мракомъ цѣлые города и уѣзды. А этотъ другой, поменьше, черный и пузатый, былъ глупымъ цензоромъ книгъ и, летая надъ изящными цвѣтами искусствъ, чернилъ каждую красоту, какую только высматривалъ, высасывалъ всякую сладость своимъ отравленнымъ языкомъ или змѣинымъ зубомъ выгрызалъ изъ самаго зародыша зерна науки и прибавлялъ ихъ къ землѣ. А тѣ, что носятся тамъ говорливой толпой, это лъстецы надменныхъ, бумагомаратели; на какія нивы прогнѣвался ихъ господинъ, туда летитъ эта проклятая туча и, подобно саранчѣ, истребляетъ



А. МИЦКЕВИЧЪ.

въ 1829 г.

жатву, или едва всходящую, или уже дозрѣвшую. За нихъ за всѣхъ, милыя дѣти, не стоитъ произнести даже одинаго Ave-Maria!.. Есть другія существа, достойныя состраданія, и между ними твои друзья, твои ученики, которыхъ ты научилъ высоко уноситься воображеніемъ, въ которыхъ врожденное пламя ты разжегъ искусственно... Я показалъ тебѣ, какъ тяжело они платились за это еще при жизни; а преступивъ порогъ вѣчности, я сжалъ свою жизнь въ три короткіе часа и снова перестрадалъ ее въ поученіе тебѣ (dla twojej przestrogi). Имъ старайся облегчить участь молитвой и богослуженіемъ (mszalną ofiarzą, жертвой мессы). А для себя я не прошу ничего, кромѣ воспоминанія. Моя жизнь была уже достаточной карой за грѣхъ, и теперь я самъ не знаю, награду или искупленіе я несю, ибо тотъ, кто на землѣ позналъ райское блаженство (rajskie pieszczoty), кто нашель другую половину своего существа, кто, подымаясь выше мірской жизни, утопаетъ душой и сердцемъ въ возлюбленной, думаетъ ея мыслями, дышитъ ея дыханіемъ, тотъ и послѣ смерти теряетъ свою самобытность, но, притянутый дорогимъ образомъ, становится только его тѣнью. Если при жизни онъ былъ преданъ святому господину, то онъ раздѣляетъ съ нимъ небесную славу, или, низвергнутый вмѣстѣ со злымъ въ вѣчную гибель, становится товарищемъ его печальной судьбы. Къ счастью, Богъ сдѣлалъ меня подданнымъ ангела: будущее радостно улыбается и ей, и мнѣ. А пока, блуждая тѣнью за прелестью возлюбленной, я бываю то на небесахъ, то въ адскихъ мукахъ. Когда она вспоминаетъ обо мнѣ, вздохнетъ и прольетъ слезинку, я приближаюсь къ ея губкамъ, развиваю бѣлые волосы, сливаюсь съ ея дыханіемъ и проникаю въ нее и бываю на небесахъ! Но когда — внемлите вы, которые любили, — о, какимъ пламенемъ сожигаетъ зависть! Долго еще придется блуждать по свѣту, пока Богъ не призоветъ ее въ свои объятія, а тогда, вслѣдъ за милымъ ангеломъ, на небеса прокрадется и моя блуждающая тѣнь. (Часы начинаютъ бить, Густавъ поетъ.) Ибо внемлите и взвѣсьте въ своей душѣ, что, по Божьему приказанію, кто при жизни хоть разъ былъ на небѣ, тотъ по смерти не сразу войдетъ въ рай. (Часы кончаютъ бить, пѣтухъ поетъ, гаснетъ передъ образомъ лампада; Густавъ исчезаетъ.) Хоръ: «Вонмемъ и взвѣсимъ въ своей душѣ, что, по Божьему приказанью, кто при жизни хоть разъ былъ на небѣ, тотъ по смерти не сразу войдетъ въ рай!»

Такъ кончается этотъ странный апоэозъ несчастной любви. Оригинальный конецъ, которому едва ли найдется аналогія въ романтической литературѣ. Благословляя Шарлотту, умираетъ Вертеръ, но его смерть не представляетъ лишь начала новой блаженной, раздѣленной любви, какъ въ «Дѣдахъ». А эта вѣра въ мистическое единеніе душъ послѣ смерти, во исполненіе тайной клятвы, вѣра Мицкевича придаетъ особый характеръ и всей драмѣ любви Густава. Она служитъ лишь предостереженіемъ для тѣхъ, кто предается излишней чувствительности, но вѣдь участь Густава завидна: свѣтлое будущее ожидаетъ его. О какомъ же предостереженіи можетъ быть рѣчь? Невольно чувствуется противорѣчіе въ самой постановкѣ вопроса: «не убивайте себя, несчастные влюбленные», говоритъ Густавъ. «Однако, въ конечномъ исходѣ васъ ждетъ высшее блаженство», добавляетъ онъ. Едва ли самъ Мицкевичъ замѣтилъ это противорѣчіе: онъ освободился, создавая образъ Густава, отъ подчиненія единому чувству любви и отчаянья. Не замѣтили этого и современники: классики скрежетали зубами, отмалчивались и лишь про себя вышучивали и пародировали поэму; Казиміръ Бродзинскій хранилъ упорное молчаніе, но среди молодежи слава Мицкевича росла быстро: 2-й томъ «Поэзій» разошелся по предварительной подпискѣ въ числѣ 338 экземпляровъ, что для того времени было цифрой значительной. Въ альманахѣ «Астрея» за 1823 годъ появилась осторожная похвальная статья Гржималы, писателя, стоящаго на рубежѣ между романтиками и классиками: онъ находилъ у Мицкевича «всѣ достоинства, необходимыя для поэта», хотя не считалъ возможнымъ рекомендовать безусловное подражаніе ему. Иначе судила молодежь, выразителемъ которой явился черезъ нѣсколько лѣтъ вождь демократической партіи повстанцевъ 1830 года, Мохнацскій. Отнесясь равнодушно ко II части «Дѣдовъ», онъ превознесъ четвертую, въ которой видѣлъ «потокъ чистѣйшаго вдохновенія, высочайшее лирическое пареніе». При этомъ Мохнацскій безъ дальнихъ словъ отождествилъ Густава съ Вертеромъ. Былъ ли онъ правъ? Позднѣйшая польская критика отмѣтила существенное различіе между этими двумя представителями чувствительности, рефлективнымъ Вертеромъ и жаждущимъ дѣятельности Густавомъ. Страстное обличеніе зла во имя идеала человеколюбія и справедливости, неудержимое стремленіе къ борьбѣ съ тираніей и эгоизмомъ являются самыми существенными особенностями героя

Мицкевича, какихъ мы не найдемъ у его чувствительныхъ родственниковъ, Вертера или Эмиля, или Санъ-Пре, или Ренэ. Густавъ — и самъ «филаретъ», какимъ былъ его авторъ, и передъ нимъ длинный путь блужданій по землѣ въ поискахъ идеала. «*Weltschmerz'a*, отвращенія къ жизни, какъ бездѣльному существованію, въ немъ нѣтъ вовсе; свѣтъ совсѣмъ не кажется ему всепоглощающимъ чудовищемъ, но представляется ему поприщемъ славы, заслуги и стремленія къ идеаламъ. Если онъ страдаетъ, доходя до безумія, если онъ борется съ міромъ, то дѣлаетъ это потому, что люди не понимаютъ или противятся божественнымъ цѣлямъ, что они стали на пути къ осуществленію союза двухъ душъ, которыя самъ Богъ цѣпью увлеченія сковалъ другъ съ другомъ навѣки». Такъ характеризуетъ это различіе между Густавомъ и Вертеромъ проф. Третьякъ. Однако, замѣчаетъ другой писатель, Адамъ Белциковскій, «той энергіи, той эластичности души, которая позволяетъ высвободиться изъ-подъ всякой тяжести, въ авторѣ «Дѣдовъ» не было. Не могъ онъ сказать себѣ, какъ Гёте, что не хочетъ страдать и отдѣлаться отъ страданья, какъ Гёте, разъ это послѣднее парализовало дѣятельность его духа». И потому, продолжаетъ тотъ же авторъ, характеръ Густава не развивается, не растетъ; онъ одинаковъ съ первой до послѣдней минуты. Въ статьѣ, посвященной «Дѣдамъ», Ст. Тарновскій справедливо отмѣчаетъ еще одну яркую особенность душевнаго склада мицкевичевскаго героя: Густавъ отличается отъ Вертера, отъ Линара «Валеріи» и подобныхъ имъ гѣроевъ тѣмъ, что «не теряетъ сознанія того, что въ немъ является болѣзненнымъ»; развивая эту мысль въ своей исторіи польской литературы, Тарновскій (IV. 30) замѣчаетъ, что «въ пониманіи поэта, даже въ собственномъ своемъ пониманіи, Густавъ далекъ отъ правды, дѣйствуетъ вопреки требованіямъ справедливости, и потому, хотя самъ онъ, какъ образъ, принадлежитъ къ числу болѣзненныхъ героевъ, однако въ цѣломъ поэмѣ, четвертая часть «Дѣдовъ», таковой не представляется». Этотъ обзоръ взглядовъ польской критики на Густава я заключу, какъ выводомъ, слѣдующими словами проф. Калленбаха изъ его статьи о IV части поэмы: «На возникновеніе четвертой части «Дѣдовъ» оказали вліяніе два могучіе элемента, безпредѣльная любовь и эти «убійственные» книжки. Первая была живымъ огнемъ, упавшимъ съ неба, послѣднія — обильно собранымъ горючимъ матеріаломъ. Густавъ - Геркулесъ

взошелъ на костеръ; онъ сгорѣлъ, чтобы когда-нибудь встать изъ пепла инымъ, обновленнымъ».

Таково было литературное значеніе «Дѣдовъ». Еще выше были ихъ нравственный смыслъ, какъ для общества, такъ и для самого поэта, пережившаго всю горечь отчаянія и сумѣвшаго понять, что у человѣка есть высшія цѣли, нежели личная любовь. Жизнь очень скоро подтвердила этотъ выводъ. Въ ея суровой школѣ Мицкевичъ, какъ онъ самъ признавался, научился быть веселымъ. Къ этому перевороту въ личной жизни поэта мы и перейдемъ теперь.

ГЛАВА XII.

Тюрьма и ссылка. Петербургъ и Одесса.

О процессѣ филаретовъ за послѣдніе годы такъ много писано, и изложеніе его отвлекло бы меня такъ далеко въ сторону отъ Мицкевича, который игралъ въ немъ весьма второстепенную роль, что я ограничусь лишь самымъ существеннымъ. Мицкевичъ былъ арестованъ въ ночь съ 23 на 24 октября 1823 г. и помѣщенъ въ упраздненномъ Базилианскомъ монастырѣ, превращенномъ на этотъ случай въ тюрьму. Уже это указывало на второстепенное значеніе, которое придавала ему слѣдственная коммиссія. Зана, который бралъ на себя всю отвѣтственность, съ цѣлью отвлечь вниманіе слѣдствія отъ Адама Чарторыйскаго, держали въ томъ самомъ помѣщеніи, гдѣ засѣдала коммиссія. Очевидно, она понимала, что напала на слѣдъ какой-то серьезной организаціи, цѣлой сѣти школьныхъ и студенческихъ обществъ, объединенныхъ общей революціонной идеей, и теперь она выбивалась изъ силъ, чтобы, во-первыхъ, добраться до первоисточника «кромоль», Чарторыйскаго, съ которымъ Новосильцову давно хотѣлось свести счеты, а, во-вторыхъ, раздуть дѣло до такихъ предѣловъ, въ которыхъ подвиги слѣдователей представлялись бы уже въ свѣтѣ «спасенія отечества» и вели бы къ самой блестящей карьерѣ. Подходящихъ людей набралъ себѣ и Новосильцовъ: это были худшіе изъ намѣчавшагося уже тогда типа истинно-русскихъ сверхъ-патріотовъ, какіе потомъ наводнили и Польшу, и Западный край. Какъ это постоянно бывало въ Россіи, слѣдствіе велось съ ненужной

жестокостью, съ запугиваніемъ, съ привлеченіемъ ни въ чемъ неповинныхъ людей, съ искуснымъ раздуваніемъ мелочей, и озлобленіе польскаго общества было очень велико, озлобленіе и печаль: ссылали въ Сибирь, отдавали въ солдаты, забивали и застрѣкали на допросахъ мальчиковъ; губили зря и жестоко массу молодыхъ жизней. Подробности этого процесса возмутительны; онѣ наполняли содроганіемъ и ненавистью души и Мицкевича, и его товарищей, филаретовъ, которые вдругъ опять оказались всѣ вмѣстѣ. Естественно, что польскіе историки этого процесса, отъ Лелевеля до нашихъ дней, могутъ только возмущаться, вспоминая о «дняхъ Новосильцова въ Вильнѣ». Я думаю, что при болѣе безпристрастномъ отношеніи къ этому процессу филаретовъ слѣдуетъ признать, что поводъ для тревоги правительства все-таки былъ, что стремленіе дойти по нити до узла, какимъ являлся попечитель Чарторыйскій, оправдывалось правильнымъ сыскнымъ чутьемъ Новосильцова, какими бы личными и безчестными побужденіями онъ ни руководился помимо того, и потому процессъ филаретовъ и родственныхъ школьныхъ организацій былъ не только ужаснымъ преслѣдованіемъ польскаго національнаго дѣла въ Литвѣ, но серьезнымъ политическимъ процесомъ. Именно эта серьезность, сознаваемая такими участниками его, какъ Занъ, Янковскій, Мицкевичъ и др., вызвала въ душѣ этого послѣдняго огромный нравственный переворотъ. 1 ноября 1823 года, по словамъ его, «умеръ Густавъ», и родился герой второй половины жизни Мицкевича, «Конрадъ».

Вмѣстѣ съ Мицкевичемъ въ Базилианскомъ монастырѣ содержались лишь второстепенные участники процесса, ксендзь Львовичъ (ксендзь Петръ III части «Дѣдовъ»), Янъ Соболевскій, Фрейендъ, Сузинъ, Александръ Ходько, Игнатій Домейко. Послѣдній и оставилъ въ своихъ мемуарахъ картину тюремной жизни арестантовъ. Все-таки это было другое время, другіе нравы, чѣмъ теперь. Мыслимо ли въ настоящее время, чтобы заключенные въ крѣпости, состоящіе подъ слѣдствіемъ, могли каждую ночь собираться другъ у друга и бесѣдовать до утра, обмѣниваясь впечатлѣніями минувшаго дня и вырабатывая отвѣты для комиссіи. Солдатъ-полякъ, приставленный сторожить арестантовъ, за соотвѣтствующую мзду разрѣшалъ имъ такія сборнища. «Полночь бывала для насъ восходомъ солнца,—разсказываетъ Домейко,—мы собирались въ кельѣ Адама и до разсвѣта проводи-

ли ночь въ тихой, но не печальной бесѣдѣ. Фрейендъ устранивалъ чай и смѣшилъ насъ». Днемъ узники много читали; иные предавались сочинительству. То же самое происходило и въ другомъ монастырѣ, гдѣ сидѣлъ Одынецъ.

Здѣсь, въ этихъ тихихъ бесѣдахъ по почамъ, напряженномъ чтеніи и размышленіяхъ днемъ, Мицкевичъ отрывался отъ личной драмы. Показанія его на слѣдствіи имѣли самый общій характеръ и, повидимому, не привлекли также особаго вниманія комиссіи: онъ представлялся просто неблагонамѣреннымъ, но, по сравненію съ Заномъ или даже Чечотомъ, не подлежалъ суровой карѣ. «Адамъ Мицкевичъ, читаемъ мы въ докладѣ комиссіи Новосильцову 20 апр. 1824 г., не принадлежалъ къ обществу филаретовъ, а зналъ токмо о обществѣ томъ. Сей Мицкевичъ, находясь въ присутствіи слѣдственной комиссіи, изъявлялъ искреннее раскаяніе въ заблужденіи своемъ; хотя онъ и не принадлежалъ къ секретному обществу, а только, имѣя участіе въ бесѣдахъ, поступилъ тѣмъ неблагоразумно и могъ быть сочленомъ такимъ, что въ пылкости воображенія преступилъ обязанности неприличными рѣчами своими». Такъ, вѣроятно, было условлено въ ночныхъ собраніяхъ. Во время слѣдствія чувство солидарности было живо у всѣхъ. «Какъ прежде въ кружкахъ, такъ теперь по монастырямъ, гдѣ каждый сидѣлъ отдѣльно подъ замкомъ, усиленно охраняемый, филареты составляли союзъ болѣе тѣсный, чѣмъ когда-либо, — говоритъ Домейко. Днемъ насъ водили въ судъ, каждаго подъ стражей двухъ солдатъ съ ружьями, и тянули признанія инквизиціей съ всей русской (московской) формалистичкой, съ угрозами, хитростью, подавливаніемъ на словѣ, ложью и обманами... Ночью же мы покупали стражу, которая позволяла намъ собираться и проводить болѣе веселые часы. За тюрьмой была зима, морозы, грозящая всѣмъ намъ Сибирь. Въ тюрьмѣ на собраніяхъ господствовали весна и надежда на будущее, хотя и отдаленное, Польши» (Домейко). Общество филаретовъ снова пробудило у Мицкевича даръ импровизаціи, и темы ея, конечно, не были теперь тѣми веселыми, задорными обращеніями къ товарищамъ, какія мы встрѣчаемъ въ первыхъ филаретскихъ импровизаціяхъ Мицкевича. Не были это, однако, и «откровенія въ бурю и грозу», какія поэтъ вложилъ впоследствии въ уста своего Конрада, когда передъ нимъ раскрылись мессіанскія судьбы Польши. О

настроениі его мы знаемъ изъ стихотворенія «На новый годъ» (1824-й), содержаніе котораго, какъ указалъ проф. Калленбахъ, заимствовано отчасти изъ романа Жана Поля Рихтера «Siebenkäs», давшего кое-какія черты и Густаву IV части «Дѣдовъ».

Въ романѣ пѣмецкаго писателя мы находимъ «Мое новогоднее пожеланіе самой себѣ». Чувствительная, возвышенная героиня романа, Наталія, написала это пожеланіе стихами на англійскомъ языкѣ. Жанъ Поль Рихтеръ «рѣшается» представить его въ переводѣ прозой, а Мицкевичъ, такъ сказать, возстановляетъ его въ стихотворной формѣ. Вотъ переводъ текста Жана Поля. «Новый годъ открываетъ свои двери; судьба стоитъ на кучѣ пепла отъ закатившагося года между пылающими утренними облаками и солнцемъ и распредѣляетъ дни: о чемъ ты просишь для себя, Наталія? Не о радости. Ахъ, всѣ радости, какія только были въ моемъ сердцѣ, не оставили ничего, кромѣ черныхъ шиповъ, а благовоніе розъ разсѣялось такъ скоро; рядомъ съ солнечнымъ окомъ встаетъ тяжелая грозовая туча, и если вокругъ насъ сіяетъ свѣтъ, то это лишь взмахи блестящаго меча, который направляетъ на радующуюся грудь грядущій день. Нѣтъ, я не прошу радостей; онѣ дѣлаютъ такимъ пустымъ алчущее сердце, только печаль наполняетъ его. Судьба распредѣляетъ будущее. Чего ты желаешь для себя, Наталія? Не любви. О, тотъ, кто прижметъ къ своему сердцу колючую бѣлую розу любви, истекаетъ кровью, и теплая слеза радости, покоящаяся въ ея розовой чашечкѣ, скоро становится холодной и пересыхаетъ. Цвѣтущая, блистающая любовь покрываетъ утро жизни, какъ великая розовая заря — небеса. О, не вступай въ сѣрое облако. Оно состоитъ изъ тумана и слезъ. Нѣтъ, нѣтъ, не желай любви; умри отъ лучшей скорби, застынь подъ болѣе высокимъ ядовитымъ деревомъ, чѣмъ маленькая мирта. — Наталія, ты стоишь колѣнопреклоненная передъ судьбой. Скажи ей, чего ты желаешь? — Я не желаю больше и друзей. О, нѣтъ, всѣ мы стоимъ рядомъ у вырытыхъ могилъ, и если мы такъ любовно держали другъ друга за руки и такъ долго страдали вмѣстѣ, то раскрывается пустой могильный холмъ друга, и въ него скатывается блѣдная смерть (der Erbleichende rollt hinab), и я стою съ холодной жизнью одиноко, рядомъ съ зарытой ямой... Нѣтъ, нѣтъ! Но, если сердце безсмертно, если друзья когда-нибудь будутъ стоять рядомъ въ вѣчномъ мірѣ, о, въ такомъ случаѣ выше взды-

маіся, болѣе увѣренная грудь, радостиѣ плачѣте, нетлѣнныя очи, и уста, которыя уже не могутъ поблекнуть, шепчите: теперь приди ко мнѣ, возлюбленная душа; теперь будемъ любить другъ друга, теперь мы уже не разлучимся. — О ты, покинутая Наталія, чего же ты просишь здѣсь, на землѣ? — Только терпѣнія и могилы, и больше ничего. Но въ этомъ ты не откажи мнѣ, безмолвная судьба! Осуши очи и потомъ закрой ихъ! Утиши сердце и потомъ разбей его. — Да, нѣкогда, когда духъ возлетитъ на болѣе прекрасныя небеса, когда новый годъ взойдетъ въ міръ болѣе чистомъ и когда все воскреснетъ и оживетъ, тогда я скажу свои желанья... И себѣ я ничего не пожелаю тогда, ибо я была бы уже слишкомъ счастлива...»

Мицкевичъ читалъ «Зибенкеза» въ ту пору, когда писалъ или задумывалъ писать IV часть «Дѣдовъ», слѣдовательно, задолго до своего тюремнаго заключенія. Изъ трогательной жалобы Наталіи онъ запомнилъ, повидимому, лишь схему и общую мысль, но тюрьма, которая «сдѣлала его веселымъ», вернула ему утраченный идеалъ дружбы и научила его еще разъ отнестись критически къ земной любви. Общая мысль Жанъ Поля была близка и Мицкевичу: спокойствіе мечтательной жизни манило его грезить и въ отдаленіи любить міръ, жалѣть людей... Большимъ нравственнымъ утомленіемъ только и можно объяснить это настроеніе у такой кипучей, дѣятельной натуры, какой былъ Мицкевичъ. «Новый годъ» (мысль заимствована изъ Жанъ Поля Рихтера) 1823, $\frac{1}{4}$ Вильна». Вотъ точность, съ которой было озаглавлено это стихотвореніе, точно намѣренно подчеркивая условія, въ какихъ оно было написано. «Умеръ старый годъ; изъ его пепла встаетъ новый фениксъ; вотъ онъ уже распускаетъ на небесахъ свои крылья, и весь свѣтъ привѣтствуетъ его надеждой и пожеланіями. Чего же мнѣ пожелать для себя въ этомъ новомъ году? Можетъ быть, веселыхъ минутъ? Знаю я эти молніи. Когда онѣ раскрываютъ небо и золотятъ землю, мы ждемъ, что вознесемъ на небеса, но еще болѣе мрачная почъ, чѣмъ прежде, затмеваетъ наши взоры. Можетъ быть, любви? Знаю я эту горячку молодости. Она уноситъ въ сферы Платона, къ образамъ рая, а потомъ низвергаетъ сильныхъ и веселыхъ въ область страданія и безсилія съ седьмого неба въ пустыню, въ холодныя скалы. Я болѣлъ, грезилъ, леталъ и упалъ. Я грезилъ о божественной розѣ, вотъ-вотъ готовъ былъ сорвать

се, и проснулся; сонъ исчезъ, пѣть у меня розы, въ пальцы вошлились только шипы. Нѣтъ, я не желаю любви! — Можеть быть, дружбы? Кто жь не пожелаетъ дружбы? Изъ богинь, которыхъ умѣть творить на землѣ молодость, вѣдь первой она, обыкновенно, создаетъ и послѣдней убиваетъ эту прекраснѣйшую дочь воображенія. О друзья, какъ вы счастливы, живя всѣ вмѣстѣ, словно въ пальмѣ Армиды! Одна закаята душа одухотворяетъ цѣлое дерево, хотя каждый листочекъ кажется отдѣльной стихіей. Но когда по дереву ударить бурный градъ, или начнетъ его терзать жало ядовитыхъ насѣкомыхъ, какъ мучится невыносимо каждая вѣточка за себя и за другихъ. Нѣтъ, я не хочу дружбы! Такъ чего же мнѣ пожелать въ этомъ новомъ году? Одиночества въ затишьѣ, дубовой постели, съ которой я не видѣлъ бы ни блеска солнца, ни смѣха враговъ, ни слезъ друзей. Тамъ до самаго конца, и даже послѣ конца міра, я хотѣлъ бы въ непробудномъ снѣ мечтать, какъ промечталъ свои молодые годы: любить свѣтъ, желать ему добра, — вдали отъ людей».

Итакъ, еще вѣрный друзьямъ (какая боль за нихъ), Мицкевичъ смотрѣлъ уже на свою любовь какъ на событіе прошлой жизни, минувшей молодости. Онъ чувствовалъ себя теперь уже сложившимся, зрѣлымъ человѣкомъ, и общественныя страданія уже заглушали въ немъ личное горе. Это сказалось и на его отношеніяхъ къ Марылѣ, и на содержаніи импровизацій, которыя въ товарищескомъ кругу Мицкевичъ возобновилъ. Въ Вильнѣ, въ старое студенческое время, онѣ носили, какъ мы знаемъ изъ недавно найденныхъ образцовъ, шуточный характеръ. И въ базилианской кельѣ возобновились импровизаціи Мицкевича. Слѣдствіе уже заканчивалось; Одынецъ былъ выпущенъ на свободу въ февралѣ 1824 года, въ апрѣлѣ, по ходатайству Лелевеля и на его поруки, былъ выпущенъ Мицкевичъ, поселившійся въ Вильнѣ; считавшіеся болѣе опасными преступниками и предназначенные къ высылкѣ въ Оренбургъ Занъ, Чечотъ и Сузинъ содержались подъ стражей въ Базилианскомъ монастырѣ, но свиданія съ ними разрѣшались безъ труда, такъ какъ процессъ филаретовъ заканчивался. Ничего важнаго открыть не удалось, но преступность филаретской организациі прекрасно чувствовалась тогдашней реакціей и требовала искупительныхъ жертвъ. Участь другихъ филаретовъ еще не была извѣстна, но Мицке-

вичъ, задремавъ однажды въ своей кельѣ, слышалъ предсказаніе такой же скитальческой участи «въ видѣ какого-то внутренняго голоса». И какъ онъ ни старался казаться своимъ знакомымъ, — въ томъ числѣ вѣрной и преданной ему Ковальской, устроившей поэта въ Вильнѣ у своей сестры Мацевичъ, — веселымъ и шутливымъ, на душѣ у него, навѣрное, было очень тяжело. И вотъ въ кельѣ Зана произошла однажды сцена, сильно заломившаяся друзьямъ Мицкевича и очень важная для пониманія его тогдашняго настроенія и позднѣйшаго литературнаго творчества. Услышавъ бѣлорусскую пѣсенку Чечота: «Да лятуць, лятуць, да дзюкіе гуси, да насъ повезуць до далекой Руси», Мицкевичъ пришелъ въ страшное возбужденіе. Передъ его умственнымъ взоромъ какъ будто пронеслись вереницы повозокъ, на которыхъ везуть въ далекіе края ссыльную польскую молодежь. «О, милыя сестры, что же это будетъ, что это значить, о ужась! По всѣмъ дорогамъ, вездѣ, отовсюду везуть какихъ-то юношей». Дальше импровизація отклоняется отъ позднѣйшаго видѣнія ксеендза Петра въ III части «Дѣдовъ». Это везуть крѣпостныхъ, которые пожаловались пану на эконома, и за это сосланы на дальніе хутора, чтобы косить траву и дѣлать кирпичъ. Здѣсь сильное воодушевленіе охватило поэта; лицо его преобразилось, голосъ сталъ удивительно звучнымъ. «Будутъ тамъ они косить цвѣты, будутъ дѣлать кирпичъ, но только далекое время угадать, что сдѣлаютъ такіа мастерскія. Для кого изъ этихъ кирпичей будетъ постройка, кому будетъ могила изъ нихъ, — объ этомъ моя душа сохранить про себя, и такъ она слишкомъ долго говорила». Слушатели были потрясены импровизаціей, долго никто не рѣшался ничего сказать, и самъ Мицкевичъ какъ будто бы былъ удивленъ своей пѣснью.

Къ этому тяжелому періоду въ жизни Мицкевича относится одно письмо Марыли, адресованное по обыкновенію къ Т. Зану. Написано оно по-французски, помѣчено «samedi, de mon bouchoir», и трудно сказать, къ какой именно минутѣ оно относилось. Да и все письмо какое-то страшное, искусственное; не прежняя Марыля, искренняя и тоскующая, сказывается въ немъ. «Дорогой Томашъ, — писала г-жа Путкаммеръ, — примите эти нѣскольکو словъ въ доказательство моеї дружбы къ вамъ и будьте увѣрены, что ничто не переменитъ дружескихъ чувствъ, которыми они внушены. Лишенная единственнаго счастья видѣть дорогихъ

моему сердцу друзей, если бы я знала, по крайней мѣрѣ, какая минута насъ соединить и какое пространство насъ раздѣлить! Не забывайте, дорогой Томашъ, напоминайте себѣ иногда, что есть несчастное созданіе, существующее лишь для того, чтобы страдать; дни его сливаются въ одну непрерывную ночь. Ахъ, какая мука видѣть себя отлученной отъ предметовъ, съ которыми хотѣлось бы провести всю свою жизнь. Мои молитвы и мои мысли послѣдуютъ за вами повсюду, но, ради Бога, думайте о своемъ здоровьѣ, дорогой Томашъ; разъ потерявъ его, уже не вернешь. Послѣ этого маленькаго совѣта à la maman, мнѣ нужно спѣшить закончить это письмо, потому что я чувствую себя очень скверно; у меня большой жаръ со страшной головной болью; вотъ уже скоро два дня я лежу въ постели и не могу пошевелиться. Прощайте же, дорогой Томашъ. Будьте здоровы и вѣрьте, что солнце снова взойдетъ послѣ этого затменія; оно покажется еще болѣе блестящимъ. Прощайте еще разъ, не забывайте вашего отсутствующаго друга М.»

Какое впечатлѣніе произвело на Мицкевича это письмо, въ которомъ столько разсудочности, столько сентиментальности и такъ мало правдиваго чувства? Впервые обнародовавшій это письмо, Владиславъ Мицкевичъ рассказываетъ, что его отецъ ограничился тѣмъ, что послалъ Марылѣ единственное стихотвореніе, написанное имъ въ заключеніи, «Новый годъ». Отказъ отъ любви, которая оставила въ рукахъ только шипы, когда розу сорвалъ другой, желаніе подалше уйти отъ людей въ покой мечты: вотъ грустный отвѣтъ, который далъ поэтъ передъ разлукой навсегда повелительницѣ его юношеской поэзіи. Теперь начиналась суровая реальная жизнь. «Безразсудный польскій націонализмъ», въ которомъ винилъ филаретовъ высочайше утвержденный приговоръ, а также не менѣе тяжкое преступленіе, «даваніе совѣтовъ министру народнаго просвѣщенія», требовали возмездія; Мицкевичъ отдѣлался сравнительно легко: вмѣстѣ съ другими онъ подлежалъ высылкѣ изъ польскихъ губерній и передачѣ въ распоряженіе министра народнаго просвѣщенія, который долженъ былъ назначить имъ мѣста служенія на нивѣ обученія русской молодежи всякимъ наукамъ.

Время между освобожденіемъ изъ тюрьмы и высылкой въ Россію Мицкевичъ провелъ въ Вильнѣ. О настроеніи его легко догадаться: неизвѣстное будущее, необходимость разстаться со

всѣмъ любимымъ и привычнымъ, разлука съ друзьями и Марией. Во всякомъ случаѣ, начинался совсѣмъ новый періодъ жизни, а человекъ, въ которомъ было такъ много нравственной энергии, это не могло только пугать. Разсуждая а priori, можно думать, что Мицкевичъ не безъ интереса ждалъ, какъ развернется его жизнь дальше. До іюля, какъ сообщаетъ Одынецъ, часто происходили товарищескія собранія, на которыхъ Мицкевичъ не разъ импровизировалъ. Въ іюлѣ Зань, Чечоть и Сузинъ были вынуждены покинуть Вильну и ѣхать въ ссылку; друзья проводили ихъ до Острой Браны, гдѣ путникамъ было разрѣшено помолиться. Въ началѣ сентября, вернувшись изъ деревни въ Вильну, Одынецъ нашелъ здѣсь уже совсѣмъ иное настроеніе, нежели то, которое существовало до отъѣзда оренбургскихъ ссыльныхъ. «Тогда была какъ будто весенняя веселость послѣ освобожденія отъ оковъ зимы; теперь туманная, угрюмая осень, которой вскорѣ опять угрожала зима». Получилось извѣстіе, что Мицкевичъ, Домейко, Пясецкій и др. уже скоро будутъ высланы изъ польскихъ губерній. «Врѣмя отъѣзда еще не было опредѣлено точно, однако, всѣмъ было приказано приготовляться въ дорогу. А ожиданія такого рода какъ-то никого не настраивали на веселый ладъ». По вечерамъ у Мацевичей, куда пріѣхала проводить своего друга и Ковальская, поэтъ любилъ поиграть въ карты, при чемъ немилосердно плутовалъ и приводилъ въ ужасъ старушку, мать Ковальской. «И вотъ 22 октября эта игра въ киксъ шла, пожалуй, еще веселѣе и продолжалась больше обыкновеннаго. Мы вышли около полуночи, и уже на дворѣ насъ удивилъ какой-то свѣтъ во всѣхъ окнахъ нашей квартиры. Мы полагали, что у Ежовскаго (который поселился вмѣстѣ съ Мицкевичемъ) гости, но такихъ гостей мы не ожидали. Это былъ капитанъ квартальный, Круковский, который поджидалъ какъ разъ Адама, чтобы ему лично, какъ передъ тѣмъ Ежовскому, вручить для подписи распоряженіе властей, чтобы послѣзавтра утромъ онъ готовъ былъ въ путь, въ столицу имперіи. Это извѣстіе, которое было сообщено въ вѣжливой формѣ, Адамъ принялъ спокойно, подписалъ, и мы остались одни. Весь этотъ вечеръ, скорѣе ночь, я помню такъ хорошо, точно это было вчера. О снѣ не было уже и рѣчи. Но доказательствомъ душевной твердости Адама и его настроенія въ эту минуту можетъ служить слѣдующая подроб-

ность. Игнатій Ходько, въ послѣднее свое пребываніе въ Вильнѣ, за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ, просилъ и взялъ слово съ Адама, что передъ отъѣздомъ онъ напишетъ что-нибудь на память въ альбомъ его невѣстѣ, Людвикѣ Мацевичъ, и съ этой цѣлью оставилъ альбомъ у меня. Я не разъ намекалъ объ этомъ Адаму, но онъ всегда откладывалъ. Въ эту минуту мнѣ было вовсе не до альбома, но онъ самъ, набивъ трубку и покрывшись плащомъ, вышелъ въ другую комнату и, проспавъ съ полчаса у печи, пока мы разговаривали съ Ежовскимъ, вернулся и попросилъ меня дать альбомъ. Онъ сѣлъ въ другой комнатѣ и написалъ всѣмъ извѣстное теперь стихотвореніе: «Незнакомой, далекой я посылаю, неизвѣстный и дальній, въ ту минуту, когда судьба хочетъ разогнать насъ еще дальше, посылаю, чтобы одновременно познакомиться и проститься, два слова: Привѣтъ! Будь здорова навѣки! Такъ путникъ, заблудившись среди альнійскихъ луговъ, хочетъ пѣсенкой сократить скучный путь, и если нѣтъ у него, кому раскрыть свою сирую душу, онъ поетъ пѣсенку возлюбленной своего друга. Но, можетъ быть, вѣчный снѣгъ покроетъ путника еще раньше, чѣмъ эхо донесетъ пѣсенку въ эту сторону».

Слѣдующій день прошелъ въ дорожныхъ хлопотахъ; укладывалъ Мицкевича его другъ, Маріанъ Пясецкій, который въ 1829 году выполнилъ ту же роль въ Петербургѣ, когда поэтъ уѣзжалъ за границу. Самъ Мицкевичъ дѣлалъ прощальные визиты, при чемъ — слѣдуетъ отмѣтить — посѣтилъ и вдову профессора Бекю, незадолго до того убитаго громомъ. Впослѣдствіи Мицкевичъ горько обидѣлъ эту женщину и ея сына, великаго поэта Словацкаго, опозоривъ въ III части «Дѣдовъ» память Бекю. Теперь же онъ, очевидно, былъ еще далекъ отъ мистическаго толкованія его смерти. Нѣкоторые изъ этихъ визитовъ превращались въ раздирательныя сцены прощанья; но самъ Мицкевичъ хранилъ «спокойствіе статуи», а вечеромъ въ домѣ Мацевичей даже шутилъ и издѣвался надъ печалью друзей. Характерно однако, какъ уже въ это время у него вырывались учительскіе тона; будущій товянистъ сказывался и въ пророчествахъ, которымъ онъ придавалъ такое значеніе, и въ импровизаціяхъ. Простодушный Одынецъ такъ передаетъ одну изъ характернѣйшихъ для будущаго Мицкевича сцену. «Послѣдняя ночь пребыванія въ Вильнѣ предназначалась для послѣдняго

собрания и прощания утѣжающихъ товарищей съ остающимися. Это была настоящая древнехристіанская Агапе. Она была совершена въ квартирѣ Томаша Масальскаго, въ глубинѣ двора угрюмаго дома, почти около самой Острой Брамѣ. Заранѣе было условлено, чтобы она не была печальной. Пѣсни, ямбы и молоко должны были напоминать о самыхъ веселыхъ временахъ». Адамъ импровизировалъ вторую часть своей баллады «Паша». — «Звонокъ къ *primarii* въ Острой Брамѣ положилъ конецъ бесѣдѣ, и, навѣрное, каждый былъ радъ соединить въ одно цѣлое свои впечатлѣнія и закончить ихъ молитвой въ этомъ мѣстѣ. Адамъ слушалъ обѣдню на галлерей, стоя на колѣняхъ съ лицомъ, закрытымъ руками. Потомъ лицо его было блѣдно, но совершенно спокойно. Возвращаясь, онъ обратился къ намъ *тономъ педагога* съ рѣчами объ обязанностяхъ человѣка, о необходимости подчиняться рѣшенію Провидѣнія, которое не покидаетъ никого, кто доверится ему». Друзья долго слѣдовали пѣшкомъ за бричкой, въ которой поэтъ Литвы навсегда покидалъ свою родную страну, чтобы ѣхать въ чужой холодный Петербургъ, а оттуда начать новую скитальческую жизнь. На этотъ разъ онъ, дѣйствительно, могъ почувствовать себя мореплавателемъ, гонимымъ вѣтромъ въ невѣдомыя страны. Это настроеніе вылилось въ стихотвореніи «Морякъ», которое должно относиться къ этому времени.

Это стихотвореніе прекрасно отражаетъ тогдашнее настроеніе Мицкевича, неровное, колеблющееся между разными чувствами; и въ художественномъ отношеніи оно неровно: первая семь строфъ лучше послѣднихъ пяти, вслѣдствіе чего возникъ даже споръ объ ихъ принадлежности Мицкевичу и объ ихъ одновременномъ пропехожденіи съ первыми строфами. Сомнѣнія, высказанныя по этому поводу І. Третьякомъ, какъ мнѣ кажется, разсѣиваются тѣми данными, которыя привелъ Л. Мейеръ (доказавшій, что уже въ 1828 году, когда по цензурнымъ соображеніямъ были напечатаны лишь первая семь строфъ, существовало уже все стихотвореніе). И именно тѣмъ, что въ этой элегій, какъ въ моментальной фотографіи, отпечатлѣлось не прикрашенное настроеніе поэта, она особенно интересна. «Развѣ можно такъ сѣбно бѣжать изъ родной земли, бѣжать съ улыбкой?» такъ упрекаютъ моряка. «Слушай, сказалъ морякъ, много лѣтъ уже я наблюдаю и этотъ край, и людей, и ни разу

въ душѣ не пробудило радость то, что я видѣлъ. Я видѣлъ мужественную добродѣтель подъ гнетомъ, темноту въ головахъ толпы, стремленія къ наживѣ въ головахъ умныхъ, пустоту въ женскихъ сердцахъ. Я, котораго не манитъ собственное счастье, который ввѣрилъ родимой ладѣ остатокъ мыслей, чувствъ и желаній, развѣ могъ прельщаться соблазнами жизни, когда видѣлъ послѣднія надежды въ послѣдней лодкѣ, готовой разбиться, если повѣетъ вихрь?» Это было настоящее разочарованіе. Но стихотвореніе записывалось въ альбомъ знакомой дамѣ, Людвикѣ Костровицкой, и поэтъ сразу мѣняетъ тонъ. Семья Костровицкихъ, очевидно, принимала дѣятельное участіе въ узникахъ, и благодарныя слова Мицкевича были заслужены ею. Уѣхать, не оставивъ въ альбомѣ ни одного слова благодарности, а только разочарованные, презрительные отзывы о пустыхъ женскихъ сердцахъ, просто не было вѣжливо, и потому естественно, что эти строфы, вызванныя необходимостью, холодны и неискренни. «Теперь я не буду грѣшить отчаяніемъ, говоритъ поэтъ: прежде, чѣмъ я отплылъ отъ этихъ береговъ, Богъ утѣшилъ меня повымъ зрѣлищемъ: я узналъ благородное семейство. Я узналъ мать съ сердцемъ спартанки (намекъ на драму Княжнина «Мать Спартанка»), польской спартанки, проливающей материнскія слезы; я узналъ дочь, подобную небожительницѣ, дѣвушку съ духомъ сарматки (амазонки?). Какъ святымъ исповѣдникамъ вѣры, осужденнымъ стать добычей львовъ, онѣ осмѣливались посылать намъ въ глубь пещеры облегченіе, утѣшеніе и поддержку, — несмотря на желѣзный лязгъ засововъ и тревожные крики толпы, на вой дикихъ звѣрей и въ сто разъ болѣе дикихъ стражниковъ я узналъ ихъ, и будущее меня не пугаетъ. Кормчій, поднимай паруса! Ыдемъ... не погибнетъ наша родина, пока у нея есть такія матери и дочери».

Какое впечатлѣніе произвела на поэта первая встрѣча съ Россіей? Нѣсколько лѣтъ спустя Мицкевичъ разсказалъ о своихъ впечатлѣніяхъ отъ Россіи въ «Эпизодѣ» (Петербургѣ), посвященномъ «друзьямъ-москалямъ». Возможно, что онъ вспомнилъ тогда и кое-какія первыя впечатлѣнія свои отъ русскаго народа. До того времени Мицкевичъ Россіи совсѣмъ не зналъ, съ русскими людьми почти не встрѣчался. Слишкомъ большую душевную узость фанатика онъ проявилъ бы, если бы при первой встрѣчѣ съ неизвѣстнымъ ему народомъ онъ

ощутилъ бы только ненависть и презрѣніе къ нему. Итакъ, откинувъ тѣ ноты, которыя вырвались позже, смягчивъ настроеніе и умѣривъ сарказмъ поэта, посмотримъ, что же онъ вынесъ при первомъ столкновеніи съ Россіей? «Я встрѣчаю людей съ широкими плечами, съ широкой грудью, съ толстой шеей; какъ звѣри и деревья Сѣвера, они полны свѣжести, здоровья и мощи, но лицо cadaго изъ нихъ, какъ и самая ихъ страна, — пустая, открытая, дикая равнина; до лицъ ихъ еще не достигъ огонь, пылающій въ ихъ сердцахъ, какъ въ подземныхъ вулканахъ; онъ еще не сверкаетъ въ ихъ разгорѣвшихся устахъ, еще не застываетъ въ глубокихъ морщинахъ чела, какъ на лицахъ людей Востока и Запада, гдѣ прошло уже столько преданій и событій, смѣнилось столько сожалѣній и надеждъ, что каждое лицо стало памятникомъ народа. Здѣсь глаза людей, какъ города ихъ земли, велики и чисты, и никогда душевная буря не промелькнетъ въ ихъ очахъ непривычнымъ выраженіемъ; никогда не затуманитъ ихъ надолго и сожалѣніе. Издали смотришь, — какъ они прекрасны и величественны, подойдешь ближе, — увидишь, какъ они пусты и безлюдны. Тѣла этихъ людей подобны грубой ткани, въ которой томится душа бабочки, пока она не создастъ себѣ груди для летанія, и не выпрядетъ, не выткетъ, не разукраситъ крыльевъ. Но, когда сверкнетъ солнце свободы, какая бабочка вылетитъ изъ этого кокона? Поднимется ли надъ землею блестящій мотылекъ, или вылѣзетъ ночная бабочка, поганое отродье ночи?» И мѣстность поражала поэта своей загадочностью. «Страна пустая, бѣлая и раскрытая, точно страница, приготовленная для писанія. Что же начертитъ на ней переть Божій?» Дома казались ему странными. «Деревья, обрубленные топоромъ, ободранныя отъ коры и сложенные въ кучу, представляютъ удивительную фигуру, какъ будто бы крышу и стѣны, и люди ихъ кроютъ, и они называются: дома». Съ такой предвзятостью поэтъ смотрѣлъ и на предметы столицы, и на самый Петербургъ. Повсюду онъ видитъ слѣды жестокой тираніи, добычу насилія и обиды, «кровь Литвы, слезы Украины, золото Польши». Въ Петербургъ поэтъ пріѣхалъ 9 ноября 1824 года, т. е. на другой день послѣ знаменитаго наводненія, описаннаго Пушкинымъ. Тяжелое, зловѣщее впечатлѣніе произвелъ городъ на Мицкевича, и это впечатлѣніе не только не сгладилось, но еще усилилось послѣ возвращенія въ столицу Россіи

съ юга и изъ Москвы. Мрачное описаніе Петербурга, относящееся въ этому позднѣйшему періоду въ жизни поэта, я приведу на своемъ мѣстѣ. Само собой разумѣется, что съ очень стѣсненнымъ сердцемъ Мицкевичъ вѣхалъ въ городъ, гдѣ его ждало такое неизвѣстное будущее. Его политическое прошлое, репутація человѣка, гонимаго правительствомъ, и польское происхождение облегчили ему пребываніе въ Петербургѣ, гдѣ и тогда было много поляковъ, гдѣ уже назрѣвало движеніе декабристовъ. Случай свелъ Мицкевича сейчасъ же послѣ приѣзда въ Петербургъ съ однимъ изъ его университетскихъ товарищей, Пшецлавскимъ, и на слѣдующій день они пошли осматривать мѣста, наиболѣе пострадавшія отъ наводненія. Картина разрушенія и опустѣнія, представившаяся ихъ глазамъ, произвела, по словамъ Пшецлавскаго, чрезвычайно сильное впечатлѣніе на поэта. Присущій ему мистицизмъ нашель себѣ новую пищу въ этой картинѣ, которая такъ логически вѣрно завершила нить мыслей, развертывавшихся по дорогѣ. Кара Божья за деспотизмъ однихъ, за глупость другихъ. «Кто видѣлъ Петербургъ, тотъ скажетъ, что его строили должно быть дьяволы» (*ze widowały go chyba szatany*). Гнѣвъ Господень долженъ разразиться надъ такимъ городомъ. «Спите спокойно, какъ глупые звѣри!»

Въ такомъ настроеніи Мицкевичъ черезъ своего виленскаго товарища встрѣтился съ человѣкомъ, о которомъ еще много лѣтъ позже онъ вспоминалъ съ какимъ-то суевѣрнымъ благоговѣніемъ. Это былъ полякъ Олешкевичъ, членъ Академіи Художествъ. «Но справедливѣе его назвать волшебникомъ (*guślarzem*), говоритъ Мицкевичъ въ стихотвореніи, посвященномъ этому человѣку. — Онъ давно отвыкъ отъ красокъ и кисти; онъ изучаетъ только Библию и Кабалу и, говорятъ, бесѣдуетъ даже съ духами». Горячій патріотъ и ненавистникъ русскаго режима, Олешкевичъ былъ тѣмъ ближе виленскому изгнаннику, что вѣрилъ въ неминуемое Божье наказанье Россіи за раздѣлъ Польши. Пшецлавскій увѣрялъ, будто онъ предсказалъ даже само наводненіе 8 ноября, въ которомъ, конечно, видѣлъ «страшное, но непонятое» предсказаніе будущей участи Петербурга. Пietetистъ, мистикъ, вдохновенный проповѣдникъ кротости и любви къ людямъ, знатокъ окултной литературы, Олешкевичъ произвелъ огромное впечатлѣніе на Мицкевича, который и самъ принялся за Якова Беме и С.-Мартена. Это вліяніе оставило слѣдъ на всей позднѣйшей жизни поэта.

Другое вліяніе шло совѣтъмъ съ иной стороны. Мицкевичъ познакомился и сблизился съ русскими революціонерами, особенно съ Рылѣвымъ и Бестужевымъ, но къ дѣятельности ихъ не примкнулъ. Бестужева онъ зналъ еще, должно быть, по Вильнѣ, куда прїѣзжалъ русскій декабристъ во время процесса филаретовъ. Одинъ изъ довольно легендарныхъ источниковъ, приведенный въ сочиненіи Владислава Мицкевича (I. 195), сообщаетъ, что поэтъ отталкивало фразерство декабристовъ, ихъ крики и угрозы, отъ исполненія которыхъ они были очень далеки. Если этотъ источникъ, нѣкій Леонардъ Реттль, говоритъ правду, то она не дѣлаетъ чести проникаемости и чувству справедливости польскаго поэта, который, къ сожалѣнію, не былъ и позже справедливъ въ оцѣнкѣ своихъ русскихъ друзей (напр. Пушкина). Впрочемъ, въ посвященіи «Друзьямъ-москалямъ» своего «Петербурга» Мицкевичъ такъ горячо и сердечно вспоминаетъ о Бестужевѣ и Рылѣвѣ, что не хочется придавать вѣры высокому разсказу этого Реттля о необычайной глупости этихъ «россиянъ», лѣзшихъ къ Мицкевичу со своими объятіями и за то получавшихъ отъ него нравоученія и щелчки. Въ позднѣйшихъ своихъ лекціяхъ по славянской литературѣ, читанныхъ въ Парижѣ и окрашенныхъ товянизмомъ, Мицкевичъ высказываетъ такіе взгляды на декабристовъ, какихъ онъ не могъ высказывать въ 1824 году. Здѣсь онъ полагаетъ, что декабристы, «принимая за соединительное звено заговора общую ненависть, должны были въ концѣ концовъ поссориться и взаимно возненавидѣть другъ друга», но и въ это время онъ высоко цѣнилъ «честность всѣхъ заговорщиковъ. Почти пятьсотъ человекъ разнаго положенія, разныхъ ранговъ, принимало дѣятельное участіе въ заговорѣ, продолжавшемся десять лѣтъ подъ окомъ бдительнаго и подозрительнаго правительства, и никто его не выдалъ». Повидимому, уже тогда у Мицкевича могло сложиться впечатлѣніе, позже высказанное въ парижскихъ лекціяхъ. Ему казалось, что въ сношеніяхъ русскихъ революціонеровъ съ поляками обѣ стороны взаимно обманываютъ другъ друга: поляки только ждали случая, чтобы поднять возстаніе и освободиться отъ Россіи, а русскіе, хотя и обѣщали полякамъ независимость, совершивъ переворотъ, постарались бы только покрѣпче прибрать Польшу къ рукамъ. Такое убѣжденіе могло сложиться у Мицкевича за все время его пребыванія въ Россіи, но не

ясность и неполнота декабристских замысловъ по отношенію къ Польшѣ, должно быть, сразу поразили его и оттолкнули отъ болѣе тѣснаго сближенія съ заговорщиками. Впрочемъ, и виѣшнія обстоятельства спасли его отъ участія въ возстаніи 14 декабря 1825 года. Въ Петербургѣ Мицкевичъ былъ привезенъ лишь на время, для представленія министру Шишкову и избранія новаго мѣста служенія. Шишковъ, какъ славянофилъ, не былъ настроенъ враждебно противъ поляковъ. Повидимому, и правительство не считало нужнымъ продолжать преслѣдованіе филаретовъ. Такимъ образомъ, уже въ декабрѣ 1824 г. судьба Мицкевича была рѣшена наилучшимъ образомъ, какого онъ только могъ желать¹⁾. вмѣстѣ съ Ежовскимъ онъ былъ назначенъ преподавателемъ Ришельевского лицея въ Одессѣ, а Малевскій долженъ былъ поступить въ канцелярію генераль-губернатора въ томъ же городѣ. Это былъ хорошій исходъ дѣла. Малевскій писалъ домой восторженные письма. Онъ долженъ былъ сознаться, что «пріемъ, какой онъ повсюду встрѣчалъ въ Петербургѣ, совершенно отличался отъ того, какой онъ себѣ предсказывалъ». Въ концѣ января 1825 года Малевскій, Мицкевичъ и Ежовскій отправились въ путь. Два послѣдніе получили отъ министерства народнаго просвѣщенія по 300 руб. сер. на дорогу «въ виду ихъ бѣднаго состоянія». Новыя знакомства и сложные вліянія, новая среда, такая не похожая на виленскую, обстановка жизни въ громадномъ городѣ, въ какомъ впервые очутился Мицкевичъ: все это отрывало его отъ старыхъ воспоминаній, расширяло умственный горизонтъ и выдвигало въ его міровоззрѣніи на первый планъ общественные и философскіе интересы. Это уже не былъ прежній юноша-поэтъ, скромный и застѣнчивый провинціальный учитель, влюбленный въ недоступную Марылю. Мицкевичъ еще не завершилъ своего развитія, превратившаго его изъ пѣвца личнаго чувства въ эпика и поэта-гражданина, но онъ уже вступилъ на этотъ путь. Первый толчокъ къ такому развитію былъ данъ процессомъ филаретовъ, но это не былъ очень сильный толчокъ: вѣдь только черезъ восемь лѣтъ эти событія породили поэму, и для этого потребовались новыя не-

¹⁾ «Мы, Осипъ Ежовскій и Адамъ Мицкевичъ, желаемъ отправиться въ Одессу или въ Харьковъ и опредѣлиться тамъ на службу, которой бы соответствовали способности наши», и дальше: «Нижеподписавшійся объявилъ желаніе служить при Ришельевскомъ лицей». См. документы у Вержовскаго 25—26.

обычайныя переживанія. Во всякомъ случаѣ, теперь Мицкевичъ хотѣлъ жить, чувствовать, страдать реальной радостью и страданіемъ, а не выдуманными, и онъ не безъ основанія говорилъ, что въ Вильнѣ, непременно, выдумалъ бы себѣ новое мученіе и самъ себя терзалъ бы.

Путешествіе зимой по необъятнымъ равнинамъ Россіи, «съ сѣвера въ другой конецъ Европы», то на саняхъ, то въ тарантасѣ, черезъ Витебскъ и Кіевъ, было очень полезно для Мицкевича. Оно должно было обогатить его цѣлой массой новыхъ впечатлѣній. Въ Елизаветградѣ путешественники представились своему новому начальству, графу Витту, который совѣщаль должность попечителя учебнаго округа съ командованіемъ войсками Новороссійскаго округа. Попечитель отнесся къ ссыльнымъ полякамъ благожелательно. Хотя въ лицѣ не было свободныхъ учительскихъ мѣстъ, онъ опредѣлилъ Мицкевича и Ежовскаго кандидатами на должность съ жалованіемъ отъ 600 до 750 руб. асс. и съ правомъ жить и столоваться въ самомъ лицѣ. Въ февралѣ 1825 г. Мицкевичъ уже въ Одессѣ. Учительской должности Мицкевичъ не получилъ не только потому, что всѣ мѣста были заняты, но и потому, что правительство начинало все тревожище смотрѣть на движеніе, происходившее въ южныхъ губерніяхъ имперіи. Виттъ уже имѣлъ отъ Шервуда свѣдѣнія о подготовлявшемся заговорѣ и долженъ былъ отправить его въ Петербургъ. Наплывъ такихъ неблагонадежныхъ элементовъ, какими были филареты, не могъ быть желателенъ власти, тѣмъ болѣе, что Одесса при своемъ тогдашнемъ интернаціональномъ характерѣ была довольно слабыми узами соединена съ Россіей. Уже въ февралѣ польскіе изгнанники получили увѣдомленіе, что Императоръ Александръ I не находитъ возможнымъ оставлять ихъ въ Одессѣ и что они должны искать себѣ мѣсто въ другихъ русскихъ губерніяхъ. Опять приходилось ѣхать, выбирать городъ и родъ службы. Мицкевичъ просилъ перевести его въ московскій архивъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и въ ожиданіи отвѣта остался въ Одессѣ. Этотъ періодъ въ его жизни, продолжавшійся съ февраля до конца октября 1825 года, имѣлъ огромное значеніе. Пестрая, еще совсѣмъ не установившаяся жизнь города доставляла яркія впечатлѣнія, а море, сверкающее и переливающееся у береговъ Одессы, давало такъ много живыхъ, вѣчно новыхъ картинъ; Мицкевичъ до тѣхъ поръ

никогда не видалъ моря. И весь складъ жизни этого нерусскаго города, который былъ такъ чуждъ бюрократической нивелировкѣ, представлялъ много простора для личности. Здѣсь блистали красотою прекрасныя женщины, о которыхъ ходили цѣлыя легенды; здѣсь еще такъ недавно брали уроки чистаго атензма Пушкинъ, здѣсь онъ влюблялся, волновался, наполнялъ своимъ остроуміемъ гостиныя этихъ полуитальянцевъ, полугрековъ, которые давали тонъ одесской жизни. И общество, привыкшее сорить деньгами, свободное отъ предрасудковъ, было до такой степени непохоже на чинную литовскую шляхту, на захолустныя традиціи Вильны. Мицкевичъ еще никогда не видалъ такого общества, гдѣ случайный выскочка, разбогатѣвшій сомнительными способами, брался съ родовитымъ аристократомъ, гдѣ женщины капризно и торопливо дарили свою любовь новому интересному пришельцу, чтобы завтра забыть о немъ. Въ такую атмосферу попалъ польскій поэтъ, слава котораго уже опередила его. А въ Одессѣ была довольно многочисленная и богатая польская колонія, въ которой выдѣлялась своею красотой, граціей, умственнымъ изяществомъ молодая Собанская, урожденная графиня Ржевуская. Приѣздъ въ Одессу новаго лица, изгнанника съ сѣвера, поэта, не могъ остаться незамѣченнымъ. Мицкевича быстро втянули въ кругъ польскихъ знакомыхъ; его оригинальная красота пророка должна была особенно манить испорченныхъ женщинъ, соблазняя ихъ своею неразгаданностью, суровостью, недоступностью. «Черный охотникъ» первой части «Дѣдовъ» уже ждалъ со своими силками, чтобы уловить чловѣка, который слишкомъ высоко леталъ.

Повидимому, эти силки не сразу уловили поэта. Какъ рассказываетъ Аеръ со словъ престарѣлой Собанской (1898), Мицкевичъ сначала сторонился отъ этого общества, чувствовалъ себя въ немъ чужимъ, и оно, со своей стороны, не находило его достаточно свѣтскимъ. «Il est original, mais tout de même, bon enfant»: такъ судили одесскія красавицы. Связи съ польскимъ обществомъ были завязаны черезъ посредство гостепріимнаго дома Залѣскихъ, съ хозяйкой котораго, серьезной и нравственной женщиной, Мицкевичъ очень сошелся. Повидимому, домъ Залѣскихъ составлялъ центръ польской колоніи въ Одессѣ, и отсюда легко было попасть повсюду. А Мицкевича старались залучить въ свою гостиную уже потому, что его даръ импро-

визаціи составлялъ постоянную приманку для избалованнаго общества. На этомъ пути онъ и встрѣтился съ красавицей Собанской, которая такъ мало походила на предметъ его перваго увлеченія, Ковальскую, не говоря уже о чувствительной и мечтательной Марылѣ. Ковальская оставила нѣжное и благодарное чувство въ душѣ поэта и тогда, когда страсть миновала; съ тоской и отчаяніемъ вспоминалъ онъ о Марылѣ. Презрѣніе къ женщинамъ, къ этимъ «Данандамъ», вынесъ Мицкевичъ изъ своихъ одесскихъ исторій, въ которыхъ онъ, какъ писалъ годъ спустя, игралъ роль «паши».

Виѣшняя жизнь Мицкевича за это время шла, кажется, недурно: братъ его сообщалъ знакомымъ, что Адамъ хорошо перенесъ путешествіе и здоровъ; море вдохновляло поэта и вызывало у него импровизаціи; матеріальное положеніе было сносно. На свободѣ Мицкевичъ принялся за итальянскій языкъ, читалъ и переводилъ Петрарку и Данте; нашли и англичанина, у котораго стали брать уроки англійскаго языка; часто посѣщали оперу, видѣли веберовскаго «Фрейшютца». Въ апрѣлѣ Ежовскій и Малевскій, которые переводились въ Москву, уѣхали на сѣверъ; Мицкевичъ же получилъ отвѣтъ, что въ архивѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ всѣ мѣста заняты, и подалъ прошеніе о назначеніи его въ канцелярію московскаго военнаго губернатора. Предстояло провести въ Одессѣ цѣлое лѣто. Судя по стараніямъ Собанской внушить Аеру (Ржонжевскому), что съ Мицкевичемъ ее соединяла чисто братская дружба, такъ какъ, во-первыхъ, она была замужемъ, а, во-вторыхъ, за ней уже ухаживалъ генералъ Виттъ (особенно, если неизвѣстную Д. Д., героиню самыхъ пламенныхъ одесскихъ сонетовъ Мицкевича, слѣдуетъ отождествить, какъ полагаетъ проф. Третьякъ, именно съ Собанской) — судя по этимъ даннымъ, можно утверждать, что между одесской «львицей» и польскимъ поэтомъ установились далеко не братскія отношенія. Бурная, безумно-ревнивая страсть охватила Мицкевича на югѣ Россіи, въ періодъ неизвѣстности и бездѣятельности; и позже, въ 1831 году, въ такихъ же условіяхъ невѣдѣнія завтрашняго дня, какой-то нравственной распущенности онъ ушелъ самъ отъ себя въ такую же ненужную, чуждую его нравственной природѣ связь съ замужней женщиной. Но никогда такія страсти не давали радости Мицкевичу. Различные эпизоды этой любви, ея торжество и рѣзкій конецъ, Мицкевичъ воспѣлъ въ «Любов-

ныхъ сонетахъ», которымъ я посвящу слѣдующую главу; здѣсь же я ограничусь исторіей мѣсяцевъ, проведенныхъ поэтомъ на югѣ Россіи. Самъ онъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на время нравственнаго паденія, и покидая Одессу, давалъ себѣ слово впредь не опускаться въ своемъ полетѣ слишкомъ низко къ землѣ, но въ исторіи польской поэзіи эти мѣсяцы странной, причудливой жизни, мѣсяцы бурныхъ страстей были въ высшей степени плодотворны: они обогатили польскую литературу еще невѣдомымъ ей великолѣпіемъ эротическихъ сонетовъ, отражавшихъ живыя радости и страданія реальной любви великаго индивидуалиста, и внесли въ нее поэтическое описаніе природы, которое осталось надолго недосыгаемымъ образцомъ для польскихъ поэтовъ. Такимъ образомъ, ни имена, ни личности женщинъ, прошедшихъ черезъ жизнь Мицкевича, не могутъ быть безразличны для его толкователей. Госпожа Собанская подъ старость, когда она дѣлилась своими воспоминаніями съ журналистомъ Аеромъ, прикидывалась благочестивой и вѣрной супругой, которая питала къ молодому поэту почти материнское чувство. На самомъ же дѣлѣ, это была опасная кокетка, окруженная поклонниками, питавшими къ ней далеко не платоническія чувства, пустая женщина, проводившая всю жизнь въ пріемахъ и развлеченіяхъ, изучавшая практически науку страсти нѣжной и умѣвшая увидѣть подъ скромной внѣшностью Мицкевича интересъ опасной и увлекательной игры. И странно встрѣтились въ ея домѣ соперники: губернаторъ, генералъ Виттъ, въ распоряженіе котораго былъ командированъ молодой изгнанникъ изъ Литвы, и Мицкевичъ. Сохранились анекдоты о томъ, какъ влюбленный старикъ переносилъ капризы и разсѣянные промахи фаворита Собанской. Насколько можно судить по воспоминаніямъ о времени, проведенномъ Мицкевичемъ въ Одессѣ, это уже не былъ прежній застѣнчивый юноша, для котораго деревенскій домъ Верещаковъ былъ верхомъ аристократизма. Уже увѣренный въ себѣ, уже носившій въ душѣ ту святую ненависть, которой онъ жилъ въ послѣдующіе годы, Мицкевичъ держался гордо и рѣзко отвѣчалъ на безтактности зазнавшихся баръ. Можно повѣрить свидѣтельству Собанской, что Марыля продолжала жить въ его сердцѣ, какъ идеальный образъ, какъ неприкосновенная святыня, которая не смѣшивалась съ жизненной суетой, стояла выше плотскихъ увлеченій и паденій поэта. Онъ рѣзко обрывалъ всякія попытки по-

стороннихъ проникнуть въ его чувства къ Марылѣ и однажды на нѣсколько дней исчезъ изъ дома Собанскихъ, когда неосторожно задѣли это чувство.

Въ концѣ лѣта Собанскіе съ обычной своей свитой, въ которую входилъ и генералъ Виттъ, предпріяли поѣздку по Крыму. Поѣхалъ и Мицкевичъ, который впервые оказался на морѣ. 17 августа 1825 года Черное море было бурно, какъ обыкновенно въ августѣ. Небольшое парусное судно, на которомъ ѣхало общество, трепало такъ сильно, что чуть не всѣ подверглись морской болѣзни. Только Мицкевичъ, по словамъ его младшей дочери, Маріи, записывавшей позднія отеческія воспоминанія, уцѣлѣлъ. Онъ «долго восхищался великолѣпнымъ зрѣлищемъ разбушевавшихся водъ, но потомъ напрасно принялся искать, чѣмъ бы удовлетворить голодь, такъ какъ вода залила кухню, а волны на глазахъ у него унесли ящикъ съ съѣтными припасами и корзину съ курами. Буря все усиливалась; наконецъ и самъ капитанъ началъ уже сомнѣваться, удастся ли спасти судно, и тогда поднялся общій плачь». Наконецъ добрались до Севастополя, гдѣ общество раздѣлилось: Собанскіе уѣхали въ Евпаторію, а Мицкевичъ частью одинъ, частью въ обществѣ двухъ товарищей совершилъ рядъ экскурсій по Крыму. Насколько сильныя впечатлѣнія произвели на него эти экскурсіи, видно изъ того, что онъ рассказывалъ о нихъ еще много лѣтъ спустя, чуть не черезъ 30 лѣтъ. Нѣкоторые изъ этихъ рассказовъ, которые собраны съ благоговѣйной тщательностью его сыномъ Владиславомъ, чрезвычайно характерны какъ по господствующему въ нихъ духу недружелюбія къ русскимъ, такъ и по романтическому отпечатку тогдашнихъ стремленій поэта. Подобно тому, какъ Пушкинъ провелъ нѣсколько дней въ цыганскомъ таборѣ, Мицкевичъ спѣшилъ уйти въ лоно первобытной культуры татарской деревни. «Однажды я заблудился въ степи, — рассказывалъ онъ впоследствии старшему сыну, — и попалъ въ татарскій аулъ. Я просилъ начальника его принять меня къ себѣ, и тотъ согласился, и я нѣсколько дней провелъ въ его шатрѣ (?). Уѣзжая, я подарилъ ему нѣсколько монетъ за ѣду и хлопоты, которыя надѣлалъ ему. Онъ былъ такъ благодаренъ, что подарилъ мнѣ, со своей стороны, серебряный кубокъ, украшенный татарскими надписями, довольно значительной цѣнности. Нѣкоторое время я берегъ его, а потомъ отдалъ пріятелю». Вѣроятно, въ этомъ рассказѣ есть недоразумѣніе: щедрый подарокъ татарскаго

князька не былъ выраженіемъ какой-то особенной благодарности за нѣсколько полученныхъ монетъ. Это былъ актъ восточной любви, не понятый Мицкевичемъ, который, видимо, хотѣлъ почувствовать себя въ обстановкѣ первобытной жизни, среди «шатровъ», которыхъ вовсе и не было въ Крыму. Ренэ и начезы стояли передъ его воображеніемъ, и татары въ шатрахъ должны были замѣнить ихъ.

Въ письмахъ Лелевелю, написанныхъ года два спустя послѣ поѣздки (въ январѣ 1827 года), Мицкевичъ байронизировалъ, вспоминая свои крымскія впечатлѣнія: «Я топталъ тучи на Чатырь-Дагѣ, спалъ на диванахъ гиреевъ и въ лавровой роцѣ игралъ въ шахматы съ ключникомъ покойнаго хана». Конечно, Крымъ со своими невысокими живописными горами, на вершинѣ которыхъ такъ рѣдко удается «топтать тучи», плохо подходилъ къ романтическимъ требованіямъ, но зато онъ давалъ много эстетическихъ впечатлѣній. «Часть Крыма между горами и моремъ, — вспоминалъ Мицкевичъ подъ старость, — представляетъ одну изъ прекраснѣшихъ мѣстностей въ мірѣ. Небо такъ же чисто и климатъ такъ же мягокъ, какъ въ Италіи, но зелень красивѣе. Попадаются лѣса и тѣнь, которыхъ такъ мало въ Италіи». Въ Крыму поэтъ провелъ всю осень, до 15 октября. Вернувшись въ Одессу, онъ нашелъ отвѣтъ на свою просьбу о переводѣ въ Москву. Этотъ фактъ опровергаетъ достовѣрность одного изъ мемуаровъ, относящихся ко времени пребыванія поэта на югѣ. Н. Малиновскій рассказываетъ, будто бы «по возвращеніи въ Одессу Мицкевичъ былъ окруженъ все возрастающей толпой поклонниковъ; объ этомъ дошелъ слухъ до Вильны, и Вацлавъ Пеликанъ (ректоръ Виленскаго университета, главный врагъ филаретовъ) донесъ объ этомъ Новосильцову» и т. д. На самомъ дѣлѣ, уже 12 октября былъ посланъ приказъ отправляться въ Москву, на что предназначалось 161 руб. на лошадей и 100 р. на дорожные расходы. 10 ноября 1825 г. Мицкевичъ снова уже былъ въ дорогѣ*).

*) Невинный рисунокъ, изображавшій «планъ Черноморскаго королевства и посланный (Софіи Малевской), какъ повелительницѣ его», былъ перехваченъ на почтѣ и пересланъ Новосильцевымъ Вел. Кн. Константину. «Тайный, инсказательный смыслъ» этого рисунка вызвалъ Высочайшее повелѣніе о переводѣ филаретовъ подальше отъ Польскихъ губерній. Рисунокъ Ежовскаго изображалъ будто бы «Польскую державу, страну отечественной славы и неотъемлемое достояніе польскаго народа отъ береговъ Каспійскаго до береговъ Чернаго моря». См. отъ всей этой исторіи *H. Mościcki*: «Przyczynek do pobytu Filomatów w Odessio». *Kwartalnik Historyczny* за 1905 г.

Въ исторіи пребыванія его въ Одессѣ, о которомъ мы знаемъ такъ мало достовѣрнаго, всего опредѣленнѣе выступаютъ на первый планъ любовныя увлеченія, совершенно отличныя отъ первыхъ юношескихъ, виленскихъ и ковенскихъ. На ряду съ Собанской, мы встрѣчаемъ и другія имена. Такъ, еще къ 1828 году относится влюбленное письмо къ нему его первой одесской покровительницы и почитательницы, Залѣской, которой Мицкевичъ поручилъ взять у Собанской его письма. Это нѣжное посланіе, въ которомъ молодая женщина заявляетъ, что «бываютъ чувства, принадлежащія болѣе небу, чѣмъ землѣ», не оставляетъ сомнѣнія о томъ, что она уже давно и горячо любила поэта. Она умоляетъ сообщить ей, «будетъ ли она имѣть радость когда-нибудь еще увидѣть здѣсь», въ Одессѣ, Мицкевича, просить немедленно отвѣтить ей: однимъ словомъ, говорить языкомъ экзальтированной любви. Разрывъ съ Собанской, о которомъ говорятъ, и это требованіе вернуть письма, и рѣзкій тонъ стихотворенія «Прощанье», трудно при нашихъ данныхъ приурочить къ опредѣленному времени. Надо имѣть въ виду, что сама Собанская (Лакруа) старалась запутать слѣды, рассказывая Аеру о пребываніи Мицкевича въ Одессѣ. По ея словамъ выходило, что она-то и затѣяла поѣздку по Крыму, и поэтъ былъ «ей послушенъ какъ ребенокъ» и даже при всемъ желаніи не пошелъ проститься съ Д. Д. Между тѣмъ, эта Д. Д. и есть сама Собанская. Но потомъ, послѣ поѣздки по морю, она осталась въ Евпаторіи, и «такъ какъ она все время болѣла или, можетъ быть, *только притворялась* больной, то въ хлопотахъ о ней мужъ и генералъ Виттъ до такой степени усердствовали, что *для третьяго опекуна* уже не оставалось мѣста». Не заключается ли въ этихъ простодушныхъ словахъ нашего источника, который, вообще, не мудрствуя лукаво, передаетъ рассказы г-жи Лакруа, что отношенія ея съ Мицкевичемъ уже были порваны. Но объяснить взаимное охлажденіе слѣдовало дипломатически, и вотъ на сцену выступаетъ Яго въ лицѣ красавицы - соперницы и интриганки. Для тогдашней атмосферы бездѣлія и сытой праздности, въ которой — такъ непривычно для него — очутился Мицкевичъ, легендарныя розсказни г-жи Собанской представляютъ характерныя черты. «Его отношенія съ Д. Д., повѣствуетъ со словъ г-жи Собанской Аеръ, подъ роскошнымъ небомъ юга, при отсутствіи жизненныхъ заботъ, безъ ежедневныхъ необходимыхъ занятій, можетъ быть, продолжались бы очень долго, если бы не *интрижки и женскія сплетни*, объясняю-

щіяся простой ревностью». Новая попытка очернить соперницу. Въ Одессѣ нашлась эта соперница въ лицѣ графини Гурьевой. «Происходя отъ французскихъ родителей и, можетъ быть, уже въ самой крови нося зародыши легкомыслія, она уже была испорчена столичной петербургской жизнью и чувствовала себя тѣмъ болѣе свободной, что мужъ ея былъ старъ. Мицкевичъ произвелъ на нее съ перваго раза сильное впечатлѣніе, и, едва познакомившись съ нимъ, она начала дѣлать ему очень явные авансы. Такъ какъ нашъ поэтъ въ эту пору своей жизни былъ большимъ мастеромъ говорить комплименты и ухаживать за женщинами, то онъ, навѣрное, напентывалъ въ ея маленькія ушки не мало любовностей, а такъ какъ она была испорчена столичными триумфами, то она была уже увѣрена, что держитъ его, какъ раба, въ своихъ оковахъ». Вотъ характеристика женщины, данная другой женщиной. Ея желчность, не исчезнувшая за много-много лѣтъ, показываетъ, что «интрижки» графини Гурьевой увѣнчались успѣхомъ. Разрывъ, которому предшествовали бурныя объясненія, отразившіяся въ одесскихъ сонетахъ, долженъ былъ произойти еще передъ поѣздкой въ Крымъ, потому что послѣ нея Мицкевичу врядъ ли было дѣло до всѣхъ этихъ «Данандъ». Можетъ быть, и самая-то поѣздка была предпринята г-жей Собанской для возвращенія поэта въ «повиновеніе», которымъ она такъ дорожила (не даромъ отмѣтила и въ признаніяхъ Аеру). Но цѣль не была достигнута: г-жа Собанская, «притворяясь больной» (отъ кого, какъ не отъ нея самой, могъ узнать объ этомъ Аеръ), осталась въ Евпаторіи, на рукахъ мужа и генерала Витта, а Мицкевичъ путешествовалъ по Крыму. Въ ноябрѣ онъ покинулъ Одессу съ непріятнымъ чувствомъ нравственнаго паденія, озлобленный и непріязненный къ русскимъ. Какъ далека отъ филаретскихъ идеаловъ оказалась одесская жизнь! Онъ рвался къ новой жизни, на сѣверъ.

ГЛАВА XIII.

Эротика Мицкевича на югѣ Россіи и болѣе ранняго времени.

Въ концѣ 1826 года, уже въ Москвѣ, вышелъ новый сборникъ стихотвореній Мицкевича, заключавшій въ себѣ сонеты. Въ значительной своей части, — можно сказать, почти весь, — онъ передаетъ переживанія поэта на югѣ Россіи, въ Одессѣ и въ Крыму. Другой вопросъ — когда были написаны самые сонеты? Этотъ вопросъ разрѣшался разнo, и въ настоящее время доминируетъ взглядъ, что въ числѣ эротическихъ сонетовъ сборника 1826 года тѣ, которые посвящены Марылѣ, восходятъ еще къ ковенскому и виленскому творчеству Мицкевича; другіе, говорящіе о горячей чувственной страсти, имѣютъ въ виду г-жу Собанскую или другую одесскую красавицу; что же касается Крымскихъ сонетовъ, то они передаютъ живыя крымскія впечатлѣнія Мицкевича, но написаны уже въ Москвѣ. Такова точка зрѣнія, усвоенная Третьякомъ, Хмѣлевскимъ и др. Принять ее, по моему мнѣнію, можно далеко не цѣликомъ: часть сонетовъ, дѣйствительно, восходитъ къ ковенскому періоду въ жизни Мицкевича, но это какъ разъ не тѣ, которые посвящены Марылѣ. Что же касается ихъ, то мы знаемъ, что любовь къ Марылѣ, можетъ быть, уже переродившаяся въ любовь воображенія, еще долго отзывалась въ его поэзи: и въ Одессѣ и за границей.

Какъ мы знаемъ изъ мемуаровъ Аера, самое воспоминаніе о Марылѣ вызывало у Мицкевича припадокъ неудержимой тоски. Это было уже въ Одессѣ. Въ Крымскихъ сонетахъ онъ вспоминаетъ о Литвѣ, мечтаетъ услышать голосъ оттуда. Психологически ничто не препятствуетъ отнести всѣ сонеты, посвященные Марылѣ, къ одесскому періоду въ жизни поэта. Однако, возражаютъ на это, Мицкевичъ переживаетъ здѣсь совсѣмъ другого рода увлеченія. Развѣ могли уживаться рядомъ съ ними болѣзненные, нѣжныя воспоминанія о Марылѣ. Въ настоящее время, когда съ исторіи отношеній его къ Ковальской сорвана «одежда невинности» (*niewinności szata*), мы знаемъ, что самая жгучая страсть къ Ковальской не препятствовала Мицкевичу переживать муки Густава и писать безумно тоскливыя письма самой Марылѣ, Зану и Чечоту, и въ то же время, какъ ниже увидимъ,

создать великолѣпные сонеты, посвященные именно госпожѣ Ковальской. Сложна человѣческая душа, а душа поэта въ особенности!

Можно ли заставлятъ ее переживать только одно чувство, одну любовь? Любя и одновременно презирая и ненавидя Собанскую и ея соперницъ, Мицкевичъ, можетъ быть, именно поэтому особенно болѣзненно чувствовалъ утраченный прекрасный идеаль Марыли и рвался къ нему, и писалъ нѣжные сонеты, ей посвященные. И, выполнивъ эту чистѣйшую обязанность сердца, онъ возвращался къ своимъ прекраснымъ любовницамъ - Данайдамъ и имъ пѣлъ въ вдохновенныхъ стихахъ о своей страсти. И есть еще признаки того, что почти всѣ сонеты, вошедшіе въ сборникъ 1826 года, написаны въ Одессѣ: это ихъ байронизмъ, уже отмѣченный мной въ воспоминаніяхъ поэта о пребываніи въ Крыму. Критика Мицкевича справедливо указала на то, что въ одномъ изъ сонетовъ въ честь Марыли (а значитъ, сочиненномъ будто бы ранѣе) упоминаніе о братоубійствѣ Каина восходитъ къ байроническимъ вліяніямъ. Что же касается Петрарки, то вѣдь именно въ Одессѣ Мицкевичъ, снова принялся за итальянскій языкъ.

Однако, утверждая, что бóльшая часть московскаго сборника восходитъ къ творчеству поэта на югѣ Россіи, необходимо отмѣтить наличность несомнѣнно болѣе раннихъ произведеній. Сонетъ «Къ Нѣману» былъ написанъ, по словамъ самого Мицкевича, еще въ Литвѣ, во время одного изъ пребываній въ Щорсахъ. О какомъ-то сонетѣ «Лаура», который Мицкевичу нравился, онъ пишетъ въ мартѣ 1823 года Чечоту. Можетъ быть, это и есть сонетъ «Къ Нѣману», въ которомъ поэтъ обращается къ Лаурѣ? Сборникъ 1822 года заканчивается также сонетомъ «Przymnienie» (Напоминаніе), представлявшимъ близкое подражаніе Петраркѣ. Наконецъ, какъ указалъ проф. Третьякъ, Мицкевичъ могъ еще въ Виленскомъ университетѣ хорошо познакомиться съ Петраркой, такъ какъ здѣсь итальянецъ Капелли читалъ по-французски исторію итальянской литературы, а въ 1816 году именно «Петрарку; какъ поэта, филолога, моралиста», Капелли избралъ темой для своей рѣчи на публичномъ засѣданіи университета. Такимъ образомъ, знакомство съ Петраркой могло восходить къ сравнительно далекому прошлому въ поэтическомъ развитіи Мицкевича, но въ годы душевной горячки отвлечен-

ный и однообразный итальянскій поэтъ, вѣроятно, былъ довольно чуждъ влюбленному юношѣ. Рефлексія одесскаго времени позволила и любовь къ Марылѣ вылить въ форму сонета Петрарки, а страсти, промчавшіяся въ душѣ поэта въ этотъ годъ, не проникли въ нее слишкомъ глубоко, оставались прежде всего красивыми переживаніями и, какъ таковыя, удовлетворялись формой сонета.

Однако духъ эротической поэзіи Мицкевича совсѣмъ иной, нежели у Петрарки. 96 сонетовъ Петрарки охватываютъ большой промежутокъ времени, передаютъ всѣ фазисы его любви и разрѣшаются философскимъ, универсальнымъ чувствомъ, котораго нѣтъ у Мицкевича. Петрарка воспѣвалъ умершую Лауру, польскій поэтъ не могъ отрѣшиться отъ реального, живого образа Марыли, которая его любила и дѣлила съ нимъ часы радости и печали. Поэтому обобщить свою любовь, сдѣлать ее общимъ чувствомъ любви къ міру и людямъ Мицкевичъ не могъ. «*Onde i miei guai nel commune dolor s'incominciaro*» («поэтому и мои страданія зачались въ общемъ страданіи міра»), говоритъ Петрарка въ одномъ изъ первыхъ сонетовъ. Въ одномъ изъ послѣднихъ, оплакивая смерть Лауры, онъ опять придаетъ универсальный оттѣнокъ своему чувству.

Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe.

Connobil' io, ch'a pianger qui rimasi,

E'l ciel, che del mio pianto or si fa bello.

Не позналъ ея міръ, когда вла- дѣлъ ею.

Я позналъ, которому выпало горе пережить ее,

И небо, которое обогатилось отъ моего горя.

Соотвѣтственно такому пониманію любви, въ сонетахъ господствуетъ рефлексія. «Если это не любовь, что же это такое, что я испытываю», спрашиваетъ себя поэтъ: «Но если это любовь, о, Боже, пусть я познаю ее! Если она благо (*se buona*), почему же она причиняетъ такія смертельныя муки? Если зло, почему же такъ сладостно все это мученье? А если я наслаждаюсь пылая, откуда эти стоны и рыданія? А если страдаю противъ воли, къ чему послужать эти стенанія? О, живая смерть, о, сладостное страданье, какъ вы взяли такую силу надо мной, если я на это не соглашаюсь. А если я согла-

шаюсь, то я совершенно несправедливо сѣтую. Безъ руля я оказался посреди моря въ утлой ладѣ при противномъ вѣтрѣ...» Эти мысли Петрарка повторяетъ много разъ на разные лады, играя противорѣчiami и неожиданными выводами. Развѣ не игра словами такая строфа въ сонетѣ, гдѣ поэтъ самъ себя утѣшаетъ поэтической славой:

Dolci ire, dolci sdegni, e dolci
раси,
Dolce mal, dolce affanno, et dolce
peso.
Dolce parlar, e dolcemente inteso,
Or di dolce ora, or pien di dolci
faci.

Сладостныя вспышки гнѣва,
 сладкое возмущеніе, сладкое
 примиреніе, сладостное страда-
 ніе, сладостная печаль и слад-
 кая тяжесть, сладостная бесѣ-
 да и сладкое свиданіе, сладкія
 уста, сладостное лицо.

При такомъ отношеніи къ Лаурѣ, которая такъ поразительно рѣдко упоминается въ сонетахъ подъ своимъ именемъ, а не подъ названіемъ *госпожи*, Петрарка долженъ былъ видѣть нравственный смыслъ въ своей любви. «E son fermo d'amare il tempo, e l'ora, ch'ogni vil cura mi levar d'intorno» (Могу ли я не любить времени и часа, которые увлекли изъ моего сердца всѣ низкія заботы?), восклицаетъ онъ въ одномъ изъ первыхъ сонетовъ. Спустя 14 лѣтъ послѣ увлеченія Лаурой, поэтъ все еще исполненъ сознанія о высшемъ значеніи его любви. «La voglia e la ragion combattut'hanno sette, e sett'anni» (Страсть и разумъ боролись семь и семь лѣтъ), говоритъ Петрарка, вѣря, что любовь его побѣдитъ время. И онъ чувствуетъ себя лучшимъ отъ этой безнадежной, рефлексивной любви. Восхваляя духовную прелесть Лауры, ея нѣжныя и возвышенныя слова, ея вздохи, поэтъ заканчиваетъ сонетъ фразой, которая, видимо, вырвалась у него изъ сердца: «Этими чарами я былъ превращенъ». Въ восхваленіи внутреннихъ и внѣшнихъ прелестей Лауры Петрарка не знаетъ мѣры. Ангельская красота (*ogni angellica vista*), все прекрасное, чѣмъ восхищаются въ другихъ женщинахъ; «любовь, соединенная у нея съ честностью; изящная одежда съ природной красотой и жестъ, который говоритъ безмолвно»: все нравится поэту въ его госпожѣ. Узнавъ ее, онъ находитъ темными (*oscura*) всѣхъ другихъ красавицъ; почти-тельно и нѣжно онъ благодаритъ Лауру за то духовное пре-

вращеніе, которое она произвела въ немъ. Такова эта любовь, въ которой такъ мало реального.

И, тѣмъ не менѣе, Петрарка поэтъ реального чувства; основатель индивидуализма въ европейской литературѣ, онъ умѣлъ придать своему отвлеченному чувству совершенно индивидуалистическія черты. «Одинокій, задумчивый, я брожу въ самыхъ глухихъ мѣстахъ, измѣряя ихъ медленными шагами, и внимательные взоры я бросаю вокругъ, чтобы узнать по слѣдамъ людей мѣста, особенно ими посѣщаемыя, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ избѣгнуть. Я не нахожу другого средства, чтобы скрыть отъ людей мою страсть...» Такихъ выраженій не придумаетъ тотъ, кто не испытываетъ настоящаго живого чувства. Оно гонитъ его отъ людей, заставляетъ искать одиночества. Какъ трогательна эта простая жалоба поэта!

La sera desiar, odiar l'aurora
Soglion questi tranquilli e lieti
amanti,
A me doppia la sera e doglia
e pianti:
La mattina è per me più felice
ora.

Желать вечера, ненавидѣть
зарю имѣютъ обыкновеніе спо-
койные и веселые любовники,
а у меня вечеръ удваиваетъ
боль и тоску; утро для меня
болѣе счастливое время.

Реализмомъ, хотя и нѣкоторой условностью, ведущей свое начало еще отъ временъ трубадуровъ, дышать и описанія природы, которыхъ такъ много въ сонетахъ Петрарки. «Возвращается зефиръ и ведетъ съ собой прекрасное время и свою милую семью (*sua dolce famiglia*), и цвѣты, и траву; защебетала ласточка (*Progne*), зарыдалъ соловей (*pianger Filomena*), появились первые бѣлые и красные цвѣточки; смѣются луга, яснѣе становится небо. Юпитеръ радуется, снова увидя свою дочь; воздухъ, земля и вода полны любви; весь животный міръ (*ogni animal*) только и думаетъ о любви». Великолѣпно описаніе ночи, когда «небо, земля и вѣтеръ безмолвны; и звѣри, и птицы подъ властью сна; и ночь странствуетъ въ своей колесницѣ по звѣдному небу, и недвижимое море (*il mar senz'onda*) поконтея въ своемъ ложѣ». А поэтъ горестно восклицаетъ: въ такую ночь «*veggió, penso, ardo, piango*» (бодрствую, грежу, горю и стенаю)! Въ такую ночь товарищемъ поэта является



АДАМЪ МИЦКЕВИЧЪ.

(Съ портрета Вальковича).

соловей. «E tutta notte par che m'accompagne, e mi rammente la mia dura sorte», съ отчаяньемъ восклицаетъ Петрарка.

Таковъ великій учитель всѣхъ влюбленныхъ поэтовъ. Природа, раскрывшаяся христіанской поэзіи, и личность, воспитанная на высокихъ идеалахъ древности, универсализмъ новой культуры и индивидуализмъ современнаго человѣка: все это есть у Петрарки, и все это выражено прекрасно.

Мицкевичъ по своей натурѣ былъ очень далекъ отъ той мечтательной любви, которой жилъ и довольствовался въ продолженіи многихъ лѣтъ Петрарка. Его чувство было всегда дѣятельно, требовало примѣненія къ жизни, и душа его томилась особенно отъ невозможности проявить всю энергію чувства. И томленіе его въ годы увлеченія Марылей происходило совсѣмъ отъ иныхъ причинъ, чѣмъ у Петрарки. Характеренъ тотъ инстинктъ, который заставилъ Мицкевича найти у Петрарки немногія родственныя ему струны. Онъ заимствуетъ какъ разныя сонеты, въ которыхъ итальянскій поэтъ сумѣлъ воплотить свое реальное чувство. Это уже приведенный мною сонетъ о вечерѣ и утрѣ. Сличеніе оригинала съ подражаніемъ обнаруживаетъ, однако, какъ и въ этомъ случаѣ Мицкевичъ былъ ближе къ реальному. Вотъ сонетъ Мицкевича: «Солнце сверкаетъ на востокѣ въ вѣнкѣ огненныхъ тучъ, а на западѣ омрачаетъ свое блѣдное лицо мѣсяць; роза обращаетъ вслѣдъ за солнцемъ свои развернутыя почки, фіалка стоитъ колѣнопреклоненная, согнувшись подъ каплями утренней росы. Въ окнѣ сверкнула Лаура. И я всталъ на колѣни на крыльцѣ, а она, теребя сплетеніе своихъ золотыхъ косъ, сказала: «Почему уже съ утра печальны ваши очи, о, мѣсяць и фіалка и ты, мой возлюбленный?» Вечеромъ пришлось насладиться новымъ зрѣлищемъ. Возвращается мѣсяць, его лицо полно и румяно, фіалка подняла листки, отрезвленные мракомъ. Снова стала въ окнѣ моя возлюбленная, еще въ болѣе прекрасномъ платьѣ и съ болѣе веселыми глазами. А я снова стою на колѣняхъ у ея ногъ и такъ же печаленъ, какъ утромъ». Поэтическій аппаратъ въ этомъ сонетѣ петрарковскій: розы, фіалки, нѣтъ только соловья. Но чувство гораздо правдивѣе, и сравненія менѣе изысканы. «Утро для меня болѣе счастливое время», говоритъ Петрарка и продолжаетъ: «Въ это время я вижу, какъ одновременно встаютъ два солнца, столь похожія другъ на друга красотою и блескомъ, что самое небо

влюбляется въ землю». Закапчивается сонетъ Петрарки заявленіемъ, что утро и вечеръ внушаютъ ему разныя чувства: утро даетъ ему успокоеніе, а вечеръ приноситъ томленіе и скуку. «А я такъ же печаленъ (вечеромъ), какъ и утромъ», заключаетъ Мицкевичъ гораздо правдивѣе и проще. А влѣдствіе этого реализма настроенія польскій поэтъ, даже вдавшись въ рефлексію, выходитъ изъ нея несравненно скорѣе и проще, чѣмъ его итальянскій учитель. Старый польскій поэтъ XVII в., Андрей Морштынъ, любилъ въ своей эротикѣ такіе замысловатые вопросы, какъ Петрарка: «Если это не любовь...» Мицкевичъ гораздо менѣе склоненъ къ нимъ. «Когда чувствую пожатія твоихъ рукъ, когда изъ устъ твоихъ я воспринимаю пламя, могу ли я, о, дорогая, назвать это страданіемъ? А когда наши лица орошаются слезами, когда остатки жизни уносятся во вздохахъ, могу ли я, о, дорогая, назвать это наслажденіемъ?» И даже сонетъ III, своимъ началомъ такъ напоминающій сантиментальныя звуки жалобъ Петрарки, обрывается такой живой вспышкой сердечнаго страданія, что передъ нами встаетъ вовсе не чувствительный поклонникъ Лауры, а уже знакомый образъ Густава. Такимъ образомъ сила Мицкевича, правдивость и энергія чувства, пролагающаго пути въ поэзіи помимо всякихъ условностей, находятъ себѣ выраженіе и въ тѣхъ первыхъ 13 сонетахъ, которые были посвящены Лаурѣ-Марылѣ.

Если бы Густавъ, переживъ «для науки» сцену самоубійства, захотѣлъ раскрыть своему старому учителю исторію не только печальныхъ, но и счастливыхъ мгновеній своей любви къ Марылѣ, онъ заговорилъ бы этими сонетами. Онъ вспомнилъ бы, съ какой нѣжностью обращался къ молодой дѣвушкѣ, прося ее не бояться своего чувства. «Едва я тебя увидѣлъ, я уже весь загорѣлся; въ еще незнакомыхъ глазахъ я искалъ прежняго знакомства, и на твоихъ щекахъ расцвѣталъ взаимный румянецъ, точно роза, грудь которой раскрыло раннее утро. Едва ты заплѣла пѣсенку, у меня полились слезы; твой голосъ проникъ до сердца и хваталъ за душу; мнѣ показалось, что ангелъ назвалъ ее по имени, и часы небесъ прозвонили по его приказанію мгновеніе спасенія. О, дорогая! пусть твои глаза не бояться признаться! Если я взволную тебя своимъ взглядомъ, голосомъ, мнѣ будетъ все равно, что противъ насъ возстанутъ судьба и люди, что я буду долженъ бѣжать и любить безъ

взаимности! Пусть земное обрученіе наградитъ другого твоею рукой, ты признай лишь одно, что Богъ обручилъ со мной твою душу!» (II сонетъ.) IV часть «Дѣдовъ» со своимъ эпилогомъ и съ тою тайной, которую точно подслушалъ ксендзъ въ сердцѣ Густава, дополняетъ смыслъ этого сонета. Онъ не могъ быть написанъ раньше, чѣмъ въ IV части «Дѣдовъ» поэтъ переболѣлъ свою любовь. Это, такъ сказать, ретроспективное чувство, примиреніе съ безнадежностью, — примиреніе, которое слишкомъ спокойно, чтобы быть близкимъ къ событіямъ. «Сонъ пропалъ, розы нѣтъ, а въ рукахъ остались одни шипы», писалъ Мицкевичъ на «Новый годъ» 1825. Теперь онъ не чувствуетъ уже и этихъ шиповъ. Все это уже пережито, стало невозвратнымъ прошлымъ. Врядъ ли ранѣ Петербурга или Одессы могъ быть написанъ этотъ сонетъ, хотя въ хронологіи любви онъ какъ будто занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

Труднѣе опредѣлить, мнѣ кажется, психологическое состояніе автора III сонета. Онъ можетъ быть гораздо болѣе близкимъ къ событіямъ, хотя ясное вліяніе Петрарки (противъ чего высказывается проф. Третьякъ) указывало бы скорѣе на позднѣйшее время. «Я говорю самъ съ собой, путаюсь въ разговорѣ съ другими; бурно колотится сердце, я не владѣю дыханьемъ; въ глазахъ искры, а лицо блѣдно; нерѣдко даже чужіе спрашиваютъ о моемъ здоровьѣ или перешоптываются между собой о моемъ разсудкѣ. Такъ мучусь я весь день. Когда же бросаюсь на постель въ надеждѣ, что хоть во снѣ я украду мгновенье у страданій, сердце воспламеняетъ въ головѣ моей огненные призраки. И я срываюсь съ постели, бѣгу, подбираю въ памяти слова, которыми я буду корить твою жестокость, — слова, тысячу разъ подобранныя и вѣчно забываемыя. И когда я снова увижу тебя, я самъ не понимаю, почему я опять спокоенъ и холоднѣе камня, чтобы потомъ снова горѣть и попрежнему молчать». Какіе это были несправедливые, незаслуженные Марылей упреки, мы уже знаемъ изъ IV части «Дѣдовъ». Но когда Мицкевичъ переживалъ настроеніе, породившее этотъ сонетъ, онъ еще не освободился отъ желанія помучить Марылю насмѣшками и упреками. Изъ переписки ихъ, относящейся къ 1822 и 1823 годамъ, мы знаемъ, какія бурныя сцены происходили между ними, какое жгучее раскаяніе охватывало потомъ обоихъ. Во всякомъ случаѣ, картина душевнаго состоянія поэта, набросанная въ этомъ

сонетъ, можетъ относиться и къ болѣе позднему времени (1823 — 1824 г.), когда друзья не знали, «что дѣлать съ Адамомъ». Во всякомъ случаѣ, кажется, сонетъ относится къ эпохѣ до Одессы.

Какимъ-то удивленіемъ, почему Марыля такъ притягиваетъ сердца людей, культомъ ея, напоминающимъ Петрарку и совѣмъ чуждымъ тѣмъ письмамъ и разговорамъ между Марылей и Мицкевичемъ, о какихъ мы знаемъ, дышитъ слѣдующій IV сонетъ. Можетъ быть, только въ Одессѣ, среди свѣтскихъ ослѣпительныхъ красавицъ юга, Мицкевичъ впервые задумался надъ тѣмъ, чѣмъ же такъ сильно обаяніе его «госпожи»? Раньше въ Вильнѣ домъ Верещаковъ, какъ мы знаемъ и изъ воспоминаній друзей, и изъ такихъ произведеній, какъ «Dziady», «Warcaby» и т. д., казался Мицкевичу, напротивъ, очень важнымъ и аристократическимъ. Теперь не то: лишь душевной чистотой привлекаетъ людей Марыля, и въ одеждѣ пастушки она королева. Все тутъ нѣтъ «слѣдовъ идиллической сентиментальности», которые находилъ Хмѣлевскій. Это было для самого себя оправданіе въ любви, оправданіе, для котораго краски были заимствованы у Петрарки. «Въ твоей внѣшности нѣтъ свѣтскости, не выдуманы твои слова, ни лицо, ни глаза не поражаютъ ничѣмъ особеннымъ, а между тѣмъ каждый радъ тебя увидѣть, радъ услышать тебя. Хоть и въ одеждѣ пастушки, видно, что ты королева. Вчера раздавались пѣсни и громкая бесѣда, произносились имена твоихъ ровесницъ, тотъ сыплетъ имъ комплименты, другой изощряется въ остроуміи: но ты вошла, и воцарилось благоговѣнное молчанье. Такъ во время пира, когда пѣвецъ обращается къ хору, танцующія пары, которыя кружились по залу, вдругъ останавливаются и замолкаютъ; каждый спрашиваетъ, но ни кто не знаетъ, почему онѣ стоятъ въ задумчивости. «Я знаю, — говоритъ поэтъ, — пролетѣлъ ангелъ». Почтили всѣ гостя, но не всѣ его узнали». Что значить это обращеніе пѣвца къ хору, о какомъ пѣвцѣ и о какомъ хорѣ идетъ здѣсь рѣчь: все это какъ-то непонятно. Да и весь сонетъ съ его преувеличеннымъ изображеніемъ того культа, какимъ пользовалась «madonna» Мицкевича, представляетъ именно позднѣйшее, внѣшнее литературнымъ влияніемъ Петрарки произведеніе.

Въ томъ же духѣ и слѣдующій V сонетъ. То, что выражено такъ просто, непосредственно въ жалобѣ Густава, въ его признаніи объ «одеждѣ невинности», облекшей всю эту любовь, здѣсь

передано съ такимъ подчеркиваніемъ этой невинности и такъ холодно, что цѣлая пропась отдѣляетъ этотъ сонетъ отъ «Дѣдовъ». Отнести это къ ковенской или виленской эпохѣ въ жизни поэта мнѣ кажется совершенно невозможнымъ. «Свиданіе въ роцѣ» изложено въ видѣ діалога. «Это ты — и такъ поздно?» — «Я заблудился среди лѣсовъ, а ты тосковала въ невѣрныхъ лучахъ мѣсяца?» — «Милый неблагодарный! Спроси меня, могу ли я думать о чемъ-нибудь другомъ?» — «Позволь пожать твои руки, поцѣловать твою ногу. Ты дрожишь! Отчего?» — «Не знаю. Бродя по роцѣ, я пугаюсь шороха листьевъ, крика ночныхъ птицъ. Ахъ, мы, должно быть, поступаемъ нехорошо, если въ моей душѣ тревога!» — «Взгляни мнѣ въ глаза, посмотри на лобъ: никогда къ такому челу не пристунаетъ грѣхъ, тревога не глядитъ такъ смѣло. Боже мой, неужто наша вина лишь въ томъ, что мы сидимъ вмѣстѣ? Вѣдь я сижу такъ далеко, говорю такъ немного и такъ держусь съ тобой, мой земной ангель, какъ будто бы ты уже стала небеснымъ ангеломъ». Этотъ сонетъ не былъ написанъ по свѣжимъ слѣдамъ событій. Въ немъ мало страсти, но много разсудочности.

Въ область иныхъ отношеній вводитъ насъ слѣдующій, шестой сонетъ. Уже здѣсь мы слышимъ о странныхъ отношеніяхъ между молодыми влюбленными людьми, которые предоставлены судьбой обществу только другъ друга и долго скрываютъ отъ самихъ себя охватившую ихъ страсть. Эта серія сонетовъ восходитъ несомнѣнно къ ковенской эпохѣ и рисуетъ исторію любви поэта къ госпожѣ Ковальской. «Уединенныя стѣны (Samotno Sciany) были только въ Ковиѣ: ни въ Одесѣ, ни въ Тугановичахъ поэтъ не жилъ въ одиночествѣ. «Ханжа насъ осудить, развратникъ (rozpusznik) станетъ смѣяться надъ тѣмъ, что мы окруженныя уединенными стѣнами, хотя она такъ молода, а я такъ влюбленъ, — я опускаю глаза, а она льетъ слезы. Я борюсь съ увлеченіемъ, она же хочетъ разсѣять надежды и бряцаетъ цѣпями, которыми связала наши руки горькая судьба. Мы сами не знаемъ, что дѣлается въ нашихъ сердцахъ. Что же это такое: страданіе или наслажденіе?..»

VII сонетъ «Утро и вечеръ», такой сердечный и правдивый, былъ уже разсмотрѣнъ выше. Въ немъ Мицкевичъ обнаружилъ большую поэтическую самостоятельность, внеся въ сонетъ Петrarки поправку, внутреннюю художественнымъ чутьемъ. Съ этимъ

сонетомъ мы вступаемъ въ циклъ сонетовъ, представляющихъ или переводъ, или близкое подражаніе пѣвцу Лауры. Ихъ — четыре: «Утро и вечеръ», «Къ Нѣману», «Благословенье» (изъ Петрарки) съ эпиграфомъ «*Senuccio i'vo'che sappi*». У Петрарки есть два сонета, обращенные къ рѣкамъ. Въ первомъ изъ нихъ, обращаясь къ Ронѣ, поэтъ проситъ ее «поцѣловатьъ ногу и руку (Лауры), бѣлую и прекрасную, сказать ей на своемъ языкѣ, что духъ бодръ, плоть же немощна». Во второмъ, написанномъ по поводу путешествія Петрарки по рѣкѣ По по направленію къ Ломбардіи, обращеніе къ рѣкѣ служить лишь предлогомъ для выраженія своей вѣрности Лаурѣ. Обращеніе Мицкевича къ Нѣману гораздо теплѣе и проще. Написанный еще въ Литвѣ сонетъ передаетъ хорошо намъ знакомое по письмамъ изъ Ковны душевное состояніе его, когда онъ такъ страстно ждалъ каждой строки отъ друзей и еще вѣрилъ въ *свою* Лауру. «Нѣманъ, домашняя рѣка! Гдѣ тѣ воды, которыя я нѣкогда черпалъ младенческими руками, по которымъ плылъ потомъ въ дикія страны (*w dzikie ustronie!*) искать успокоенія мятежному сердцу? Здѣсь Лаура, съ гордостью смотря на тѣнь своей статной фигуры, любила заплетать волосы и украшать голову цвѣтами; здѣсь не разъ я, молодой энтузіастъ, смущалъ слезами ея образъ, отражавшійся на серебряномъ лонѣ волны! О Нѣманъ, домашняя рѣка! Гдѣ теперь тѣ струи и вмѣстѣ съ ними гдѣ былое счастье, бывшія надежды? Гдѣ милая радость дѣтскихъ лѣтъ? Гдѣ еще болѣе милая тревога бурной юности? Гдѣ моя Лаура? Гдѣ друзья? Все минуло... отчего же не проходятъ мои слезы?» Слѣдующій сонетъ «Благословеніе» представляетъ переводъ изъ Петрарки. Выборъ этого сонета, въ которомъ поэтъ благословляетъ день и часъ и мѣсто, гдѣ «возлюбленная вдохнула въ поэта чувства, которыхъ она сама не раздѣляетъ», представляетъ одинъ изъ доводовъ того примирительнаго, петрарковскаго настроенія, въ которомъ была написана большая часть сонетовъ Мицкевича, посвященныхъ уже отжитой любви, лишь иногда начинавшей снова ныть въ сердцѣ. Извѣстный сонетъ Петрарки «*Senuccio, i'vo'che sappi, in qual maniera trattato sono, e qual vita è la mia*» («Сенуччіо, я хочу, чтобы ты зналъ, какъ со мной обращаются и какова моя жизнь?») превращается подъ перомъ Мицкевича въ обращеніе къ друзьямъ и въ жалобу на свои страданія. Сличеніе оригинала съ переводомъ показываетъ, сколько личного и въ этотъ сонетъ внесъ Мицкевичъ.

«Сенуччіо, я хочу, чтобы ты зналъ...», говоритъ Петрарка. «Ровесники мои, вы хотите знать, какъ я страдаю», превращаетъ эту фразу Мицкевичъ. «Ровесники» это, конечно, друзья, филареты, Занъ, Чечотъ, къ которымъ поэтъ такъ часто писалъ, вѣря въ ихъ неизмѣнное участіе къ его душевнымъ *страданіямъ*. «Я пылаю и все еще таю (struggo), какъ и прежде (com'io solia): Лаура вертитъ мной, а я все тотъ же, что и раньше», продолжаетъ итальянскій поэтъ. Ничего подобнаго нѣтъ у Мицкевича. «Вы хотите знать, какъ я страдаю. Я нарисую вамъ это самымъ вѣрнымъ образомъ, какъ только сумѣетъ перо. До сихъ поръ среди *храма воспоминаній* я преслѣдую мыслью ея призракъ, и духъ мой грезитъ о прошломъ». Такъ и здѣсь просыпается обычный реализмъ Мицкевича. Онъ отлично отдастъ себѣ отчетъ въ томъ, что лишь грезитъ, что живетъ воспоминаніями и оплакиваетъ только призракъ (мага). Слѣдующія строфы переданы Мицкевичемъ довольно близко къ оригиналу. Оба поэта жалуются на непостоянство своихъ возлюбленныхъ, но у Мицкевича тонъ гораздо болѣе интимный: онъ вспоминаетъ о томъ, какъ красавица, имя которой онъ не называетъ (у Петрарки, въ видѣ исключенія, выступаетъ Лаура, а не анонимная донна), то «звала его глазами, то становилась угрюмой; то жала его руку, то начинала съ нимъ бесѣду». Отдаленное обожаніе и восхищенное созерцаніе замѣняютъ у Петрарки эти простыя и жизненные переживанія влюбленнаго юноши. Поэтому и конецъ сонета оказался у него гораздо болѣе простымъ, чѣмъ у итальянскаго поэта. Петрарка жалуется на Амура («il signor nostre Amore» — «господинъ нашъ Амуръ»), который день и ночь, муча его, поддерживаетъ въ немъ любовную тревогу. Мицкевичъ же кончаетъ такъ: «Ахъ, среди этихъ воспоминаній вѣчно мятется сердце и путаются мысли!» Какъ и въ монологахъ Густава, выступаетъ ясное сознаніе болѣзненности этого нежизненнаго, мечтательнаго чувства къ «призраку». Тѣмъ болѣе трудно опредѣлить время этого сонета. Настойчивое указаніе на то, что остались лишь воспоминанія, «храмъ воспоминаній», свидѣтельствуетъ, повидимому, объ отдаленности его отъ времени и мѣста событій, о той порѣ, когда поэтъ почему-то болѣзненно возвращался къ воспоминаніямъ, но уже ничего не ждалъ, ничего не хотѣлъ отъ Марыли. Кажется, это было въ Одессѣ.

Совсѣмъ не въ духѣ Петрарки XI сонетъ. Онъ передаетъ

какой-то реальный эпизодъ изъ душевной жизни Мицкевича, вѣроятнѣе всего, минутную жажду мести, охватившую его. Изъ писемъ Мицкевича, особенно тѣхъ, въ которыхъ онъ описываетъ свое посѣщеніе Тугановичъ послѣ свадьбы Марыли и свои послѣдующія свиданія съ ней, изъ «Дѣдовъ» и изъ сонетовъ мы знаемъ, что ненависти къ счастливому сопернику у Мицкевича, въ сущности, не было и что для нея не было и основаній. Но что минутами эта ненависть вспыхивала, можно ли въ этомъ сомнѣваться, зная гордую и гнѣвную душу поэта, который съ такимъ трудомъ и часто такъ неудачно настраивалъ себя на кроткій ладъ. Непонятно только, почему такую минуту Мицкевичу вздумалось запечатлѣть въ сонетѣ? Представляется вѣроятнымъ, что дѣло не обошлось безъ вліянія Байрона и его злобныхъ, мстительныхъ героевъ, его Каиновъ и корсаровъ. «Я видѣлъ, какъ весь день на солнечной жарѣ бродилъ молодой охотникъ. Вотъ онъ остановился у ручья, долго смотрѣлъ вокругъ и сказалъ со вздохомъ: «я хочу видѣть ее, прежде чѣмъ навсегда покину этотъ край; хочу видѣть, но быть невидимымъ». Въ эту минуту изъ-за рѣчки вылетаетъ на конѣ охотница, одѣтая въ одежду Діаны; она удерживаетъ коня, останавливается, оборачивается назадъ; навѣрное, вдали ѣхалъ за ней товарищъ. Охотникъ отступилъ, задрожалъ и горько улыбался, устремивъ на дорогу взоръ Каина. Дрожащей рукой онъ заряжаетъ ружье, хмурится и сосредоточивается... Вотъ онъ немного отошелъ въ сторону, точно отказался отъ своей мысли. Но въ этотъ мигъ онъ увидѣлъ тучу пыли. Онъ беретъ въ руки ружье, прицѣливается. Облако пыли приближается, но никто не подѣхалъ». Горькая усмѣшка, взоръ Каина — все это байронизмъ, но какой-нибудь дѣйствительный случай долженъ лежать въ основаніи этого сонета. Слишкомъ ужъ онъ реаленъ. Тайну свою, однако, Мицкевичъ унесъ въ могилу. Не будемъ гадать, какъ онъ поступилъ бы, если бы соперникъ былъ передъ нимъ.

XII сонетъ, записанный въ т. наз. альбомъ Мошинскаго (о немъ см. ниже), врывается рѣзкимъ диссонансомъ въ сонеты любви, составившіе сборникъ 1826 года. Мицкевичъ не помѣстилъ его ни въ сборникъ 1826 года, ни въ послѣдующихъ изданіяхъ. «Поэзія, гдѣ чудная кисть твоей руки?» спрашиваетъ поэтъ, томясь въ чужомъ краю. «Не только звукъ и краски, ангелы мысли, но и перо, чернорабочій невольникъ поэта, не признаютъ на чу-

жой землѣ законовъ прежняго господина...» Такого томленія въ рабствѣ мы еще не находимъ въ одесскихъ произведеніяхъ Мицкевича. Оно соотвѣтствуетъ его позднѣйшему настроенію и, когда въ Москвѣ поэтъ поднесъ княгинѣ З. Волконской экземпляръ своихъ сонетовъ, было естественно, что въ посвященіи онъ написалъ именно его во французскомъ переводѣ. Марыля занимаетъ какое-то странное мѣсто въ этомъ сонетѣ. «Я пою, а она не услышитъ моего пѣнья; такъ соловей, царь пѣсни, не слышитъ ручья, который стонетъ въ подземной глубинѣ».

Цикль сонетовъ, посвященныхъ Марылѣ, заканчивается виѣшнимъ образомъ XIII сонетомъ, заглавіе котораго по-польски— «Rezygnacya». Это трудно переводимое слово, обозначающее примиреніе со своей судьбой человѣка, отчаявшагося въ возможности счастья, но умѣющаго отказываться отъ него. Это стихотвореніе, несомнѣнно, относится къ тому времени, когда поэтъ былъ окруженъ женщинами, готовыми пойти навстрѣчу его любви; когда онъ старался забыться среди нихъ, найти наслажденіе въ новой любви, а память о «святой любви» къ «божеству» не давала ему забвенія даже въ минуты страсти. Это именно то настроеніе, которое должно было доминировать въ душевномъ состояніи Мицкевича въ Одессѣ и которое нашло выраженіе какъ въ разсказѣ Собанской о выходкѣ Мицкевича, когда она стала его разспрашивать о Марылѣ, такъ и въ извѣстномъ стихотвореніи, написанномъ передъ отъѣздомъ изъ Одессы. Тоны, замѣтнованные у Петрарки, уже совершенно отступаютъ въ сонетѣ «Rezygnacya» на задній планъ передъ реализмомъ жгучей тоски. «Несчастливъ тотъ, кто тщетно молить о взаимности; еще несчастіе, кого томить пустое сердце, но всего тяжеле тому, по-моему, несчастнѣйшему изъ людей, кто не любя не можетъ забыть, что любилъ». Это— цѣнное признаніе о разрывѣ съ прошлымъ, который совершался въ душѣ Мицкевича именно на югѣ Россіи. «Созерцаая блестяще глаза и безстыдные лбы, онъ отравляетъ воспоминаніями мапящее его наслажденіе; а если прелесть и добродѣтель пробудятъ въ немъ чувство, онъ не смѣетъ итти съ отцвѣтшимъ сердцемъ къ ногамъ ангела. Онъ или презираетъ другихъ, или винитъ себя; мнуетъ земную женщину, уступаетъ съ дороги богинѣ и, смотря на обѣихъ, прощается съ надеждой. А сердце его подобно бывому храму, опустошенному чередой непогодъ и эпохъ, гдѣ божество жить не хочетъ, а люди не смѣютъ».

Такъ вылилась большая душевная мука, результатъ не одной неудачной любви, но и позднѣйшаго жизненнаго опыта. Это позднѣйшій изъ сонетовъ, посвященныхъ Марыль, и въ то же время начало чего-то новаго. Уже здѣсь мы находимъ рѣдкое выражение о «безстыдныхъ лбахъ», которое такъ близко къ презрѣнiю къ «Данаидамъ». Только въ этомъ сонетѣ чувствуется еще не одно презрѣнiе къ нимъ, а еще и тоска по идеалу, вѣра въ чистую любовь, стремленiе къ новому, живому идеалу, который принадлежитъ уже не царству воспоминанiй, а дѣйствительно жизни. Точно какое-то новое чувство зарождается въ душѣ Мицкевича, и онъ самъ не считаетъ себя способнымъ на него. Не Собанская, не Гурьева возбуждали это чистое чувство, за которымъ послѣдовало болѣзненное признанiе самому себѣ въ банкротствѣ любви, въ потерѣ божества, которое покинуло свой храмъ. Для характеристики послѣдующихъ сонетовъ Мицкевича обратимся прямо къ его послѣднему «прости» Одессѣ и ея пустымъ забавамъ.

— «Ну, что же? Покину городъ, пропадутъ изъ глазъ его жители, которые *ко мнѣ не привыкли сердцемъ*; мой отъѣздъ никого не погрузитъ въ печаль, и я самъ не хочу оставить по себѣ ни одной слезы. Зачѣмъ же здѣсь у дверей стоитъ эта ненужная грусть? Еще разъ возвращаюсь въ пустыя комнаты, какъ будто что-то забыть; блуждающiй взоръ еще разъ возвращается, чтобы проститься съ дружественными стѣнами. Вѣдь столько разъ онѣ терпѣливо внимали и раннимъ утромъ, и среди ночи моимъ безцѣльнымъ вздохамъ. У этого окна я много разъ просиживалъ вечера, всматриваясь во что-то, самъ не знаю— во что. Усталъ. Утомила все та же картина. Шумъ моихъ одинокихъ шаговъ пробудилъ эхо. Снова отъ двери къ двери блуждаю безъ цѣли, считаю такъ желѣзнаго хода часовъ, прислушиваюсь къ шопоту червячка, который, гдѣ-то притаившись, кажется, стучится въ двери къ своей женѣ. Скоро ужъ утро. Извозники ждутъ и сердятся. Ыдемъ! Никѣмъ не встрѣченный я переступилъ этотъ порогъ, такъ одиноко и покидаю его: никто не пожелаетъ мнѣ добраго пути. Помню: бывало, въ молодые годы, изъ дорогихъ странъ, я уѣзжалъ отъ любимыхъ друзей, отъ моей дѣвушки, ѣхалъ и смотрѣлъ, и изъ-за деревьевъ слышалъ голоса, видѣлъ, какъ махали платками. Я плакалъ. — Славно плакать, покуда молодая душа кипитъ. Въ сто

разъ горше плачетъ равнодушный старецъ! Молодому легко умереть! Онъ не знаетъ свѣта, онъ думаетъ, что будетъ жить въ сердцѣ жены, друга, брата. А старикъ, который сорвалъ съ жизни покровъ обмана, который не вѣритъ ни въ человѣческія, ни въ сверхчеловѣческія чудеса, знаетъ, что онъ навѣки и весь цѣликомъ замкнется въ своей могилѣ. Такъ по равнинѣ, сверкающей всѣми цвѣтами радуги, одиноко летитъ душистый цвѣтокъ (*midły kwiatek rajęszy*), сорванный вѣтромъ съ какой то далекой засохшей вѣтки; мертвой рукой онъ хватается за встрѣченную розу и хочетъ отдохнуть среди майскихъ почекъ. Напрасно: вѣтеръ снова срываетъ его и несетъ дальше. Такъ и я невѣдомое имя, чужеземное лицо носилъ по этимъ люднымъ улицамъ и площадямъ и каждый день встрѣчалъ цѣлые рои прекрасныхъ женщинъ. Онѣ хотѣли познакомиться со мной... Почему? Потому, что я здѣсь пришлый человѣкъ. Дѣти гонятся за бабочкой, пока она блеситъ вдали; поймаетъ дитя, взглянетъ и стиснетъ: пусть себѣ летитъ дальше! Полетимъ же! Къ счастью еще остались крылья, чтобы вернуться. Полетимъ и не будемъ больше опускаться низко!»

Этимъ «прекраснымъ женщинамъ», которыя оставили такимъ равнодушнымъ и усталымъ сердце поэта, посвящены сонеты и отдѣльныя стихотворенія. Это «Дананды», Д. Д., Каролина Собанекая, безымянная герония сонетовъ. Нѣтъ основанія относить любовные сонеты только къ одной изъ цѣлаго роя прекрасныхъ женщинъ, желавшихъ познакомиться съ «пришлымъ» поэтомъ, поразившихся «его лица нездѣшнимъ выраженьемъ». Рядомъ съ романомъ, который можно прослѣдить по сонетамъ, стоятъ другія увлеченія, можетъ быть, еще менѣе серьезныя, но все же возвышавшія сонеты и стихи. Вѣдь эти «Дананды» и требовали стиховъ, по крайней мѣрѣ, отъ тѣхъ, кто не могъ платить дороже. «О прекрасный полъ! Гдѣ тотъ золотой вѣкъ, когда за полевые цвѣточки, за нарядъ, украшенный майскими колосьями, покупали дѣвичьи сердечки и чары любви, когда къ возлюбленной посылали сватомъ голубя? Теперь времена стали болѣе дешевыми, а за любовь приходится платить дороже. Та, которой я плачу золотомъ, проситъ еще и пѣсенокъ, а та, которой я отдавалъ сердце, требовала моей руки; та же, которую я воспѣвалъ, спрашивала, богатъ ли я. О Дананды, въ бездну вашей алчности я бросаю дары, пѣсни и душу, растопленную

въ слезахъ, теперь я превратился изъ щедраго въ скупого, изъ чувствительнаго въ лицемеръ. И хоть и теперь еще меня привлекаетъ смазливое личико, хоть все еще я принужденъ васъ восхвалять и вамъ дарить, но прежде я все бы вамъ отдалъ, а теперь все — только кромѣ сердца.

Зная реализмъ Мицкевича, я убѣжденъ въ томъ, что здѣсь имѣются въ виду три женщины: одна требовала подарковъ, другая хотѣла женить на себѣ Мицкевича, третья довольствовалась подарками, но хотѣла еще стиховъ. Ту, которой поэтъ «отдавалъ сердце», онъ любилъ, повидимому, болѣе серьезной любовью: но она требовала его руки; другое дѣло—двѣ остальные: онѣ хотѣли одного и того же, подарковъ и пѣсенъ, но любовь одной *покупалась* подарками, другой стихами. Двѣ женщины, съ которыми поэтъ, вѣроятно, былъ близокъ, подразумеваются въ этомъ сонетѣ. Въ «Прощаніи», презрительномъ сонетѣ, обращенномъ къ Д. Д., Мицкевичъ заявляетъ, что золота ей не дастъ, какъ и прежде не давалъ. Но теперь онъ открылъ ея тайну: «Ты хотѣла похвальныхъ стиховъ!» Такіе похвальные стихи, посвященные Д. Д. и написанные, очевидно, въ болѣе счастливую минуту, имѣются дѣйствительно. Слѣдовательно, эта Д. Д. была та изъ его любовницъ, которая была воснѣта поэтомъ. Но вѣдь, говорятъ «Дананды», она интересовалась и матеріальнымъ положеніемъ Мицкевича. На это онъ и намекаетъ въ рѣзкой фразѣ «Прощанія» о золотѣ. Такимъ образомъ одна изъ красавицъ, привлечшихъ сердце поэта, намъ известна. На основаніи того, что «Элегія къ Д. Д.» въ иномъ своемъ видѣ была записана Мицкевичемъ въ альбомѣ Каролины Собанской, проф. Третякъ дѣлаетъ выводъ, что эта Д. Д. и Собанская одно лицо.

Сонетъ XIV, обращенный къ безымянной героинѣ одного изъ нихъ, «къ ***», рѣзко отличается своимъ тономъ отъ послѣднихъ сонетовъ, посвященныхъ Марылтѣ. Уже XIII-й говорилъ объ «ангелѣ», къ которому поэтъ не смѣетъ приближаться съ отцвѣтшимъ сердцемъ. Героиня XIV сонета такъ же добра и прекрасна. «Ты смотришь мнѣ въ глаза, вздыхаешь? Пагубно твое простодушіе! Бойся яда, который пылаетъ въ глазахъ змиѣ; бѣги, прежде чѣмъ услышишь дыханіе отравы, если не хочешь проклясть остатокъ своей жизни. Искренность — вотъ единственная добродѣтель, которая еще осталась мнѣ: знай, что въ груди моей ты зажигаешь недостойное пламя, но я умѣю жить одинокимъ, — къ чему же

предъ смертю въ мою судьбу будетъ вмѣшиваться невинное созданіе? Я люблю наслажденіе, но соблазнять? Я слишкомъ гордъ для этого. Ты дитя, а меня испепелили страданія страсти. Ты счастлива, твое мѣсто въ кругу пирующихъ, мое же тамъ, гдѣ кладбище и могилы прошлаго. Молодой плющъ, обвивай зеленые тополя, а терніямъ оставь окружать могильныя колонны». Настроеніе этого сонета не похоже на одесскія настроенія Мицкевича, и едва ли онъ относится къ одесской эпохѣ. Байроническое презрѣніе къ людямъ, слова о близкой смерти и объ одиночествѣ соотвѣтствуютъ ковенскимъ письмамъ, проникнутымъ такимъ же байронизмомъ. Этотъ сонетъ составляетъ одно цѣлое съ шестымъ и переноситъ насъ въ Ковно, къ исторіи любви Мицкевича къ Ковальской. VI сонетъ посвященъ зарожденію любви, въ XIV героиня уже готова отдаться своему чувству: она жалѣетъ страдающаго поэта, хочетъ спасти его своей привязанностью, а онъ спрашиваетъ себя съ тревогой: неужели онъ соблазнитель, неужели онъ хочетъ воспользоваться слабостью женщины? Слѣдующій сонетъ, XV, говоритъ, что неминуемое совершилось, но чувство осталось и послѣ сближенія ровнымъ и спокойнымъ.

«Въ первый разъ я, невольникъ, радъ своей неволѣ», начинается съ игры словъ Мицкевичъ: «Смотрю на тебя, съ чела не сходитъ спокойствіе; мысля о тебѣ, изъ мысли не выходитъ свобода: люблю тебя, а сердце все-таки не болитъ. Не разъ я принималъ за счастье минуту каприза, не разъ вводили меня въ заблужденіе молодое воображеніе или обманчивыя слова, прелестная фигура, но тогда я ропталъ и на самое наслажденіе. Даже тогда, когда я любилъ ту, ту небожительницу, сколько слезъ, какое пламя, какая тревога когда-то и даже теперь какая грусть при одномъ упоминаніи ея имени! Съ тобою только я счастливъ, съ тобой, моя дорогая! Хвала Богу, что Онъ далъ мнѣ такую возлюбленную, хвала и ей, что она учитъ меня восхвалять Господа Бога!» Характерно отнесеніе Марыли уже къ пережитому прошлому. Опять она божество, какъ въ XIII сонетѣ, небожительница, а «счастливъ» поэтъ только съ какой-то земной женщиной, которую можно любить спокойно, не теряя свободы, не страдая сердцемъ!

Совсѣмъ иное чувство встаетъ передъ нами въ XVI сонетѣ. Это отчаяніе послѣ паденія! И онъ, и героиня сонета боролись со своей страстью, мучились, когда оказались не въ силахъ проти-

виться ей. Такого настроенія въ Одессѣ мы не знаемъ у Мицкевича. Ни къ одной изъ «Данандъ» не подходитъ тотъ удивительно иѣжный, задушевный тонъ, въ которомъ онъ обращается къ безымянной возлюбленной, воспѣтой въ этомъ, въ трехъ предшествующихъ и трехъ послѣдующихъ сонетахъ. Если это была связь, то очень непохожая на одесскія: нѣтъ здѣсь никакого намека на подарки, на деньги и стихи, которыми онъ долженъ былъ платить за любовь. Напротивъ, долгіе разговоры, тихія женскія слезы тоски и неудовлетворенія жизнью, стыдливость прекрасной женщины, которая и отдаваясь сохраняла застѣнчивый стыдъ: вотъ черты, въ которыхъ выступаетъ передъ нами эта героиня любви Мицкевича. Внимательный читатель самъ замѣтитъ, несомнѣнно, какъ далеко этотъ тонъ отъ тона сонетовъ, писанныхъ въ Одессѣ для одесскихъ красавицъ.

«Милая, я вздыхаю!» такъ начинается этотъ сонетъ: «Минуты ужаснаго размышленія отравляютъ воспоминанія о божественной иѣгѣ. Ахъ, можетъ быть, твое сердце, которое столько страдало, можетъ быть — боюсь сказать — терзается угрызениями? Милая, но развѣ ты виновата, что стрѣлы твоихъ глазокъ такъ жгучи, что твои уста улыбаются такъ мило? Ты слишкомъ довѣрилась моей добродѣтели, слишкомъ положила на собственную свою силу, а Творецъ слишкомъ много огня влилъ въ наши души! Мы боролись много и дней, и недѣль, юные, вѣчно уединенные, всегда вдвоемъ, и долго мы были достойны другъ друга. Теперь же — ахъ, я пойду обливаться слезами алтари, не буду умолять простить мое преступленіе, только пусть Богъ не наказываетъ меня твоей душевной тревогой». Можно ли сомнѣваться въ томъ, что эта «милая» не Каролина Собанская и что оплакиваетъ свое «преступленіе» уже вовсе не Густавъ «Дѣдовъ».

Затѣмъ идутъ три сонета, составляющіе какъ бы одно цѣлое. «Добрый день», «Доброй ночи», «Добрый вечеръ»; три изящные, граціозные привѣта, къ которымъ никакъ нельзя примѣнить характеристику проф. Третьяка объ этой группѣ сонетовъ, будто они исходятъ «не изъ глубины, а съ береговъ сердца». Реализмъ этихъ сонетовъ — удивительный. Поэтъ нисколько не считается съ требованіями условной лжи и выражаетъ свои чувства такъ же прямо и громко, какъ онъ звалъ филаретовъ къ добру или жаловался имъ на Марылю. Эта неспособность Мицкевича сгибаться составляла всегда его существенную особенность. Повидимому, эти

три сонета составляютъ послѣдніе, съ которыми поэтъ обращается къ подругѣ своихъ одинокихъ дней. Страсть, иногда жгучая, иногда чарующе нѣжная, привлекала его къ той, которой онъ отдавалъ въ эти грустные дни свое сердце. «Добрый день! Не смѣю разбудить. О, прелестный образъ! Ея душа наполовину улетѣла въ райскіе края, наполовину осталась здѣсь, оживляя ея божественное лицо. Такъ солнце наполовину играетъ на небѣ, наполовину горитъ въ серебряномъ облакѣ. Добрый день! Она уже вздохнула, въ глазахъ сверкнулъ лучъ! День добрый! Свѣтъ уже тревожитъ твои глаза, устамъ надоѣдаютъ шалуньи-мухи. Добрый день! Солнце въ окнахъ, а я около тебя. Я несъ тебѣ болѣе горячій привѣтъ, но твоя спящая прелесть отняла у меня смѣлость. Сначала надо узнать: встаешь ли ты съ привѣтливымъ сердцемъ, съ освѣженнымъ тѣломъ? Добрый день! Ты не позволяешь поцѣловать руку? Велишь мнѣ уйти? Ухожу: вотъ твои платице, одѣвайся и выходи скорѣе. Я скажу тебѣ доброе утро!» (XVII). Прошелъ день, наступаетъ время прощаться и уходить. Подчеркнутая уже въ предыдущемъ сонетѣ близость, позволяющая поэту входить въ комнату спящей женщины, здѣсь выступаетъ еще опредѣленнѣе. «Доброй ночи! Сегодня довольно наговорились (bawili). Пусть ангелъ сна покроетъ тебя голубыми крыльями. Доброй ночи! Пусть отъ слезъ отдохнутъ твои очи! Доброй ночи! Пусть сердце подкрѣпится покоемъ! Доброй ночи! Пусть отъ каждой минутки, которую ты проговорила со мной, останется отзвукъ, тихій и прелестный; пусть онъ звучитъ въ твоихъ ушахъ, а когда покроется мракомъ мысль, пусть мой образъ предстанетъ передъ твоими спящими глазами. Доброй ночи! Обрати ко мнѣ еще разъ свои глаза, дай мнѣ свое лицо. Доброй ночи! Ты хочешь позвать слугъ? Дай мнѣ поцѣловатьъ грудь... Доброй ночи... застегнута... Доброй ночи! Ты уже убѣжала и хочешь захлопнуть двери? Желаю тебѣ доброй ночи! Въ скважину двери. Увы! закрыта! Повторяя «доброй ночи», я не далъ бы тебѣ заснуть». (XVIII) 1).

Послѣ этихъ двухъ сонетовъ, которые говорятъ о большой физической близости, сонетъ XIX «Доброй ночи» представляется болѣе раннимъ: тамъ утромъ поэтъ входить въ комнату спящей возлюбленной, вечеромъ онъ хочетъ поцѣловатьъ ея грудь. Очевидно преграды разрушены: это уже разгаръ страсти. Но только признаніе

1) В. Брухпальскій сравниваетъ съ этими сонетами „Good night“ Мура, но въ ихъ основѣ лежитъ, конечно, реальное чувство.

въ любви заключается въ послѣднемъ стихотвореніи, обращенномъ къ героинѣ этой группы сонетовъ. «Добрый вечеръ! Для меня это самое горячее пожеланіе. Никогда, отдѣляется ли насъ передъ ночью закрытая дверь, или снова зоветъ меня къ тебѣ утренняя пора, я не прощаюсь и не здороваюсь съ такимъ восхищеніемъ, какъ въ эту минуту, ободренный вечерней тѣнью. И даже ты, любительница молчать, такъ часто краснѣющая (*plonie się skora*), когда услышишь пожеланіе добраго вечера, начинаешь говорить оживленнѣе и вздыхаешь громче. Пусть добрый день восходитъ для тѣхъ, что живутъ вмѣстѣ, пусть онъ освѣщаетъ трудъ, который соединяетъ ихъ руки, а добрая ночь пусть покрываетъ счастливыхъ любовниковъ, когда они пьютъ изъ чаши наслажденія утѣшеніе въ тревогахъ. А тѣмъ, кто любитъ другъ друга и скрываетъ свою любовь, пусть добрый вечеръ прикроетъ слишкомъ краснорѣчивые глаза». (XIX) На этомъ замыкается циклъ этихъ сонетовъ, въ которыхъ такъ полно нарисована исторія любви поэта къ его ковенской подругѣ. Зная о связи Мицкевича съ Ковальской, не трудно убѣдиться въ томъ, какъ соотвѣтствуетъ обстановка XVI сонета ковенской жизни ихъ: «молодые, всегда одинокіе, всегда вдвоемъ», боролись *долгіе* дни и недѣли. О томъ, что Мицкевичъ въ Ковнѣ писалъ сонеты, мы знаемъ. Вспомнимъ описаніе Ковальской, ея красоты и прелести, когда она «покоится въ своей спальнѣ», описаніе, приведенное Мицкевичемъ такъ же просто и реально, какъ въ этихъ сонетахъ. Почему разошлись Мицкевичъ и Ковальская такъ скоро? Не потому, что она не хотѣла связи, но требовала, чтобы поэтъ женился на ней? Намекъ на это находимъ въ «Данаидахъ».

На этомъ обрываются сонеты, посвященные старой жизни Мицкевича. Передъ нами разворачивается новая жизнь его, бурная, суетная, среди красавицъ, которыя возбуждали не нѣжное ласковое чувство, какъ Марыля, какъ Ковальская, а только самыя жгучія страсти и ревность. Героиней многихъ изъ этихъ эротическихъ стихотвореній и сонетовъ, написанныхъ на югѣ Россіи, является, какъ мы уже знаемъ, Каролина Собанская. Въ ея альбомѣ Мицкевичъ занесъ стихотвореніе, которое замѣчательно въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, оно посвящено не Собанской, а Ржевуской, т.-е. озаглавлено дѣвичьей фамиліей героини, а, во-вторыхъ, проникнуто тѣмъ горькимъ чувствомъ, какое мы находимъ и въ «Данаидахъ», хотя здѣсь нѣтъ упрековъ. «Была

безъ радости любовь, разлука будетъ безъ печали — можно было бы написать эпитафю на этомъ стихотвореніи. «Разной судьбою брошенные на волны міра, мы встрѣчаемся другъ съ другомъ, какъ двѣ различныя ладьи. Твоя сверкаетъ свѣжими красками и обивкой, хватаетъ вѣтеръ, грудью разсѣкаетъ поверхность моря. А моя брошена на волю бури и морскихъ страшилищъ, безъ руля, съ жалкими остатками парусовъ. Когда тайный червь насквозь прогрызетъ ея грудь, когда звѣзды закроются тучами, я брошу въ море компасъ. Разстанемся. Когда-то мы снова пойдёмъ одной дорогой? Ты не захочешь снова искать меня, а я тебя не могу». Это стихотвореніе производитъ впечатлѣніе написаннаго передъ разлукой, передъ вынужденнымъ отъѣздомъ Мицкевича изъ Одессы. Почему же не Собанской, а Ржевуской оно посвящено? Можетъ быть потому, что ревнивому мужу ея (см. *Э. Е. Коршъ, «Пушкинъ и его современники» IV. 57—59*) было непріятно соединеніе имени Каролины съ фамиліей чужого ему человѣка, какимъ былъ Мицкевичъ.

Собанской предназначено среди одесской эротики этого послѣдняго нѣсколько стихотвореній, которыя относятся къ двумъ моментамъ: къ господству страсти въ ихъ отношеніяхъ и къ холодной разлукѣ, оставившей въ душѣ поэта чувство горечи. Эти моменты отражаются въ трехъ сонетахъ (XX, XXI и XXII), въ стихотвореніяхъ «Въ альбомъ Каролинѣ Ржевуской», «къ Д. Д.», «Элегія къ Д. Д.» и наконецъ еще въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ, которыя лишь предположительно можно отнести къ той же возлюбленной Мицкевича. Это — «Разговоръ», элегія «Часъ» и, можетъ быть, «Сонъ». Рядомъ съ ними къ одесскому времени принадлежать и такія произведенія, которыя несомнѣнно обращены къ одной изъ «Данаидъ», той, «которая спрашивала, богатъ ли я». Это не Д. Д., не Собанская, а какая-то дѣвушка, надъ которой дрожать маменька (*matunia*) и дядя. Къ ней поэтъ обращается съ презрительнымъ стихотвореніемъ «Кокетство» (*Zaloty*). Гдѣ же то «воспѣваніе», о которомъ Мицкевичъ говорилъ дважды въ «Данаидахъ» и въ «Кокетствѣ»? Слѣдовъ его осталось очень мало. Напротивъ, сохранилось гораздо больше «похвалъ» Д. Д., которой именно въ «похвальныхъ стихахъ» поэтъ и отказывалъ потомъ такъ гнѣвно и презрительно. Быть можетъ, лишь незначительная часть эротики, написанной въ Одессѣ, дошла до насъ. Возможно, что посвященіе «Въ альбомъ» («Въ разныя сто-

роны протянуты наши руки...»), «Два слова», «Пловець», относятся къ этому эпизоду въ жизни Мицкевича. Поэтъ запутался среди женщинъ, утомился ими, почувствовалъ душевную пустоту и нравственное паденіе и сталъ рваться къ своей прежней сосредоточенной, одинокой и чистой жизни: вотъ тотъ выводъ, къ которому приводитъ изученіе одесской эротики. И здѣсь рѣзко отличается отъ нея то, отъ чего вѣтъ еще ковенскими переживаніями. Такъ, прекрасное стихотвореніе, положенное на музыку, «Неизвѣтность» (*Nierewność*), котораго каждая строфа заканчивается вопросомъ: «Дружба ли это или любовь?», едва ли не обращено къ госпожѣ Ковальской: вѣдь именно этотъ вопросъ задавалъ себѣ Мицкевичъ, когда, любя Марылю и отчужденный отъ Ковальской, не желавшей быть на второмъ планѣ, Мицкевичъ не хотѣлъ удовольствоваться одной дружбой и томился «фатальными запутанными отношеніями» къ ней, а съ другой стороны чувствовалъ, что настоящей любви къ ней у него уже нѣтъ.

Такова эротика Мицкевича, которая восходитъ ко времени пребыванія его на югѣ Россіи и такъ или иначе съ нимъ связана. Это такое разнообразіе переживаній, такая сложная игра чувствъ, которая дѣлаетъ Мицкевича въ высшей степени современнымъ поэтомъ. Однимъ шагомъ онъ оставилъ безконечно далеко за собою всю прежнюю польскую эротiku, Карпинскаго, Княжнина и др. Онъ оставилъ за собою и самого Густава «Дѣдовъ», который переживалъ сильное и искреннее чувство, но однообразное, еще тѣсно связанное и съ литературными влияніями. Теперь же школа жизни, черезъ которую поэтъ прошелъ въ Одессѣ, сдѣлала его поэзію многогранной призмой, въ которой переливаются яркими цвѣтами самая разнообразная чувства. Стихотворенія къ Д. Д. начинаются съ коротенькаго посвященія, написаннаго въ «Альбомѣ» Мошинскаго подъ заглавіемъ «A la donna Giovanna» и изданнаго въ 1829 году. Какъ отмѣтилъ В. Брухнальскій въ львовскомъ изданіи сочиненій Мицкевича, эта «Donna Giovanna» (вліяніе дантовской «*Vita nuova*»), къ которой обращается одинъ изъ крымскихъ сопетовъ, «Ястребъ на вершинѣ горы Кикинейсъ», можетъ быть только Собанской, и самыя буквы Д. Д. являются лишь начальными буквами въ польской передачѣ этого имени (Донна Джіованна). «Въ веселую минутку моя малютка (*pieszczotka*), принявшиесь щебетать, ворковать и распѣвать (*kwilić*)

такъ мило щебечеть, воркуеть, поеть, что я боюсь потерять хоть одно словечко, не смѣю прервать, не смѣю отвѣчать, и все бы только хотѣлъ слушать, слушать и слушать. Но когда живой разговоръ зажжетъ ея глазки, и ярче разгорятся щеки, и среди коралловъ блеснутъ жемчужные зубки, ахъ—въ это время я смѣлѣе смотрю ей въ глаза, уста замыкаю и не хочу слушать. Лишь цѣловать, цѣловать, цѣловать!» Какъ показывается это стихотвореніе, которое такъ граціозно въ оригиналѣ и такъ проигрываетъ въ прозаическомъ переводѣ, отношеніе Мицкевича къ Собанской не было серьезно: она была для него лишь щебетушей, мотылькомъ, который летаетъ по цвѣтамъ жизни. Такое же отношеніе къ этой женщинѣ сказывается и въ «Элегіи», посвященной Д. Д. Поэтъ дѣлаетъ какую-то попытку заинтересовать ее своимъ душевнымъ міромъ и чувствуетъ тщетность этого: его терзають бури въ духѣ Байрона, его внѣшность можетъ отпугнуть, но глубина его души такъ привлекательна! «Если бы ты хоть одинъ день побыла въ моей душѣ», начинается Мицкевичъ, повторяя свою давнишнюю мысль о томъ, что надо быть въ немъ, а не съ нимъ, чтобы судить о немъ. — «Зачѣмъ цѣлый день? Нѣтъ, такой муки я тебѣ не желаю, — если бы только на одинъ часъ, счастливое созданіе, ты побыла въ моей душѣ, о, ты узнала бы сейчасъ же, что такое страданье! Мои мысли пригвождены къ пыткамъ, въ моихъ чувствахъ буря: то гнѣвъ бушуетъ въ моемъ сердцѣ, покрывая тучею мое чело, то грусть погружаетъ меня въ угрюмую задумчивость, то вдругъ затуманить глаза горячая слеза печали. А ты или съ возмущеніемъ убѣгаешь отъ моего гнѣва, или боишься соскучиться съ навязчивымъ меланхоликомъ». Поэтъ пробуетъ объяснить себя суетной красавицѣ: «Ты не знаешь меня, страсть сдѣлала темнымъ мое лицо, но загляни вглубь моей души! Ты найдешь въ ней сокровища чувствительности, самопожертванія, кроткой доброты и воображенія, которое золотитъ земную долю. Теперь ты ихъ не можешь видѣть. Вѣдь когда гудитъ вѣтеръ и горитъ молнія, развѣ ты увидишь на днѣ волны красныя раковины, жемчужныя ягоды? Чтобы составить мнѣніе обо мнѣ, жди солнца и погоды!» Собанская скучала съ разочарованнымъ поэтомъ, но онъ старался обезоружить ее: «О, если бы у меня была увѣренность, что я любилъ, если бы хоть на минуту я изгналъ изъ сердца страхъ перемѣны, которымъ пугаетъ меня не разъ испы-

танная измѣна! О, пусть я буду счастливъ, ты будешь мной довольна». Мицкевичъ общается сдѣлать довольной свою возлюбленную: «хоть гордость запрещаетъ признаться», онъ былъ бы ей слугой, угадывалъ бы все ея желанія. А за это онъ требуетъ такъ немного: «чтобы ты соглашалась побыть со мной лишнюю минутку, носить платье и причесываться по моему вкусу, отказывалась отъ мелкихъ домашнихъ хлопотъ для того, чтобы выслушать старыя признанья и новыя пѣсенки; мнѣ вовсе не нужно, чтобы ты все это проявила въ великихъ заботахъ: мнѣ довольно одного часа терпѣнія, получаса скуки или хоть минутки притворства. Когда я буду воображать, что ты внимаешь моимъ риемамъ, ты можешь подремать; хотя твои глаза будутъ выражать совсѣмъ инныя чувства, я хочу читать въ нихъ добро, объяснять все въ лучшую сторону. Вручивъ тебѣ мою будущую судьбу, я сложилъ бы на твоей груди свой разумъ, чтобы никогда ничего не чувствовать отдѣльно отъ тебя. Тогда бы безумная буря, которая кидаетъ меня до сихъ поръ, выпала изъ души, какъ изъ носящейся по волнамъ лодки падаетъ тотъ несправедливый, изъ-за котораго поднимается буря и пѣнятся волны. Мы тихо плыли бы по поверхности жизни, хотя бы судьба возносила грозныя волны; какъ сирена, я поднимался бы надъ ними и пѣлъ».

Если бы охарактеризовать нѣсколькими словами то душевное чувство, сложное и стыдливое, которое лежитъ въ основаніи этой горькой элегии, можно было бы назвать его душевнымъ утомленіемъ. Прежняя требовательность, которой дышитъ каждое слово Густава, уступила мѣсто примиренію съ дѣйствительностью. Пусть притворство, съ одной стороны, сознательный самообманъ, съ другой, только бы не быть такимъ одинокимъ, только бы имѣть челоуѣка, на котораго можно было бы излить всю накопившуюся нѣжность и ласку. И тогда полились бы новыя пѣсни надъ волнами житейскаго моря. Мицкевичу было уже 27 лѣтъ; онъ искалъ уже не минутной страсти, а подругу, съ которой можно было бы всю жизнь «тихо плыть по волнамъ этого моря». Попросту говоря, ему пора было и хотѣлось жениться и создать собственный уголокъ, и въ то же время онъ сознавалъ, что «Донна Джіованна», привыкшая только веселиться и роскошествовать, не подходящая для него пара, и все-таки онъ обманывалъ себя. Впрочемъ, недолго. Среди сонетовъ, напе-

чатанныхъ въ 1826 году, три (XX — XXII) несомнѣнно относятся къ Собанской. Въ нихъ мы видимъ какъ разъ нарастаніе гнѣвнаго и презрительнаго чувства, которое внушало ему невѣрная и легкомысленная красавица по мѣрѣ того, какъ первый пылъ увлеченія замѣнялся болѣе глубокимъ чувствомъ. Особенно докучали поэту, который хотѣлъ бы наговориться съ ней досыта, постоянные визитеры. Въ шутливой формѣ, но съ досадой, онъ говоритъ въ сонетѣ «Визитъ» о томъ, какъ хотѣлъ бы окружить домъ Д. Д. волчьими ямами, лисьими капканами, коваными цѣпями, чтобы только отвадить визитеровъ, непрерывнымъ потокомъ стремящихся въ домъ Собанской. «Едва одинъ за ворота, другой уже входитъ въ воротъ». И не слишкомъ любезно Мицкевичъ отзывается объ этихъ визитерахъ: «О, проклятый надоѣдала! Какъ преступникъ, котораго ждетъ послѣдняя мука, я считаю минуты, а ты плетешь всякій вздоръ о вчерашнемъ балѣ... Ну, вотъ берешь перчатки, ищешь шляпу: теперь я вздохну немножко, опять будетъ душа на мѣстѣ. О, боги, снова садится, сидитъ, какъ прикованный!» Какъ смѣялась, должно быть, донна Джіованна на этотъ траги-комическій сонетъ.

Не менѣе выразителенъ и слѣдующій сонетъ, представляющій уже прямо обращеніе къ визитерамъ и отличающійся простодушнымъ реализмомъ. «Ты хочешь быть пріятнымъ гостемъ? Прочитай мои наставленія: недостаточно войти и сейчасъ же приняться сообщать то, о чемъ всѣ знаютъ, что сегодня тамъ-то тапцуютъ, а тамъ-то даютъ обѣдъ, что дешевле хлѣбъ, что идетъ дождь, а въ Греціи разбой. Если ты увидишь, что въ гостинной сидитъ парочка, смотри внимательно, какъ съ тобой раскланяются, заговорятъ, далеко ли они сидятъ другъ отъ друга, все ли на своемъ мѣстѣ, *въ порядкѣ ли ихъ одежда?* Если хозяйка готова разсмѣяться на всякое слово, хотя ея уста вовсе не желаютъ смѣяться, а молодой человекъ поглядываетъ искоса и то и дѣло вынимаетъ и прячетъ часы, и на устахъ его любезность, а въ глазахъ горитъ какой-то злой огонекъ, знаешь ли ты, какъ тебѣ слѣдуетъ ихъ привѣтствовать? Словами: до свиданія! Знаешь ли, когда тебѣ слѣдуетъ снова ихъ навѣстить? Черезъ годъ!» Ясный намекъ на то, какъ проводили время между докучными визитами влюбленные. Между чистымъ и возвышеннымъ тономъ элегии, которая проситъ у возлюбленной лишь сердечнаго участія, лишь попытки пониманія, а не объятія и не поцѣлуевъ, — между

этой разобранной выше элегіей и немного циничнымъ сонетомъ цѣлая идейная пропасть. Госпожа Собанская оказалась плохой подругой сердца, но то, что она могла дать, физическое обаяніе, она дала. Поэтъ влюбленъ, но уже и тѣни того настроенія нѣтъ въ этомъ сонетѣ. И естественно вслѣдъ за этимъ охлажденіе, можетъ быть, взаимное, можетъ быть, вызванное какимъ-нибудь грубымъ намекомъ нечуткой и недоброй кокетки. Наступаетъ разрывъ, воспѣтый въ сонетѣ «Прощаніе», который не безъ жестокости посвященъ Д. Д. Издатель сонетовъ, В. Брухнальскій, напоминаетъ восторженный отказъ Петрарки воспѣть Лауру: сколько разъ онъ ни начиналъ, и перо, и рука, и разумъ его останавливались передъ невыполнимостью этой задачи (XVIII сонетъ: *Più volte incominciai di scriver versi: Ma la penna e la mano e l'intelletto Rimaser vinti nel primiero assalto*). Эти восторженные строки Мицкевичъ перефразируетъ такъ, что получается особенно оскорбительный смыслъ. «Ты меня отталкиваешь?» спрашиваетъ онъ съ ироніей. «Или я уже потерялъ твое сердце? Но я никогда и не имѣлъ его! Или на защитѣ твоей стоитъ добродѣтель? Однако ты нѣжно любишь (*pieścisz*) другого! Или потому, что я не даю тебѣ золота? Но я и прежде не давалъ его; однакоже обладай тобою. О, и не даромъ! Правда, драгоценностей я передъ тобою не клалъ, но я покупалъ каждую твою ласку на вѣсъ моей души, спокойствіемъ жизни. Такъ почему же ты меня отталкиваешь? Праздный вопросъ. Теперь я открываю въ твоемъ сердцѣ новую алчность: ты хотѣла, оказывается, хвалебныхъ стиховъ! О, пустой дымъ похвалъ! Значить, изъ-за нихъ ты играешь счастьемъ и спокойствіемъ ближнихъ? Не купишь музы! Я скользилъ на каждой рюмѣ, когда шелъ на Парнасъ вѣнчать тебя лавровымъ вѣнкомъ, да и теперь, едва я вспомнилъ твое имя, сразу окостенѣлъ мой стихъ». Это былъ разрывъ, а на себя клевета: стихи, посвященные Собанской, особенно «Элегія», представляютъ настоящую сокровище въ польской поэзіи.

Кромѣ стихотвореній, носящихъ инициалы Д. Д., есть нѣсколько другихъ, которыя, по всей вѣроятности, относятся къ ней же; на это указываетъ близость ихъ содержанія къ выше-разсмотрѣннымъ мотивамъ. Всѣ вмѣстѣ они образуютъ группу, чрезвычайно важную для изученія душевнаго склада и поэтического творчества Мицкевича въ такую переходную для него эпоху,

какой была жизнь на югъ Россіи. Разрушились старые вѣрованія и планы, не намѣтились еще новыя, и нужно было чѣмъ-нибудь наполнить душевную пустоту, томившую его, человѣка высшихъ стремленій. И вотъ она наполнена одной любовью, вѣриѣ влюбленностью (*kochanie*, а не *miłość*, которую поэтъ питалъ къ Марылѣ). «Возлюбленная моя, къ чему разговоры?» восклицаетъ онъ, забывая, что именно безконечныя бесѣды съ близкой и дорогой женщиной были ему такъ нужны (сонеты къ Ковальской, элегія къ Д. Д.). «Почему я не могу, когда хочу, раздѣлить съ тобою свои чувства, просто перелить свою душу въ твою? Для чего нужно дробить ее на слова, которыя, еще не достигнувъ твоего слуха и сердца, превращаются въ вѣтеръ на устахъ и стынуть въ воздухѣ? Ахъ, я люблю, люблю — повторяю я сотни разъ, а ты становишься печальна и начинаешь сердиться, что я не умѣю, какъ слѣдуетъ, высказать, выразить, воспѣть свою любовь (тотъ же мотивъ, что въ сонетѣ «Прощанье»); и, какъ одержимый летаргіей, я не нахожу средства проявить признаки жизни, чтобы спастись отъ могилы. Я утомилъ уста напраснымъ попытками, теперь хочу слить ихъ съ твоими устами и разговаривать только біеніемъ сердца, и вздохами, и поцѣлуями, и такъ говорить цѣлые часы, дни и годы, до конца міра и послѣ конца міра». *Ityko sałować, sałować, sałować*, какъ оканчивается стихотвореніе, посвященное Д. Д. Но здѣсь и другой мотивъ: желаніе совсѣмъ уйти въ любовь, заснуть въ любви навѣки, до конца міра и послѣ него. Больше, какъ будто, и не чѣмъ жить. Еще сильнѣе эта душевная мука выражена въ элегій «Сонъ», напечатанной вмѣстѣ съ «Разговоромъ» въ петербургскомъ изданіи 1829 года. Тамъ только страсть, здѣсь же тревожное сознаніе, что рано или поздно наступитъ разрывъ, еще болѣе жгучая тоска пустоты и одиночества. Характерна еще и вѣра въ свою любовь, убѣжденіе, что возлюбленная не сама «броситъ» его, но можетъ быть вынуждена къ этому. Чѣмъ? Условіями жизни, замужествомъ съ другимъ человѣкомъ. Только глубокой душевный переворотъ, вызванный любовью, можетъ нарушить эти условія, но опытъ Марыли былъ слишкомъ горекъ, и Мицкевичъ уже не вѣрилъ въ такіе перевороты. Вотъ смыслъ стихотворенія, приведеннаго ниже. «Хотя ты будешь вынуждена покинуть меня, если не перемѣнишь своего сердца въ любви, но, покидая, не желай меня огорчить и разставаясь не говори о разлукѣ!

Пусть еще вечеромъ передъ нерадостнымъ утромъ послѣдняя минутка промчится въ ласкахъ. Когда же настанетъ пора разлучиться, тогда ты дай мнѣ нѣсколько капель яда. Къ устамя твоимъ я прижмусь устами; я не хочу закрывать глаза, когда смерть покроетъ ихъ мракомъ, пусть сладострастно (rozkosznie) я засну навѣки, цѣлуя твое лицо, смотрясь въ твои очи. И много дней или много лѣтъ спустя, когда мнѣ прикажутъ покинуть могилу, ты вспомнишь о своемъ спящемъ другѣ и сойдешь съ небесъ, чтобы разбудить его. Снова положишь меня на свою бѣлую грудь, снова обвинеть меня любимая рука, и я проснусь, воображая, что задремалъ на мигъ, цѣлуя твое лицо, смотрясь въ твои очи».

Разлука произошла однако не такъ поэтично. Для поэтическихъ выступлений Каролина Собанская, перемѣнившая трехъ мужей и неизвѣстное число поклонниковъ, была куда менѣе пригоднымъ матеріаломъ, чѣмъ Марыля или Ковальская. Повидимому ей просто-напросто надоѣла эта игра въ какую-то возвышенную любовь и наскучило положеніе ангела, которому суждено сойти съ небесъ для того, чтобы разбудить въ концѣ міра спящаго поэта. На небесахъ-то былъ онъ, а она парила очень близко къ землѣ. И въ элегии «Часть» (Godzina) Мицкевичъ уже отдаетъ себѣ отчетъ въ нравственныхъ качествахъ своей героини и, уже отрезвляясь отъ страсти, возвращается къ своему душевному міру, міру одинокихъ грезъ. «Лишь часть тому назадъ, не отрывая глазъ отъ часовъ, ты хотѣла ускорить глазами движеніе стрѣлки, и напряженнымъ слухомъ ты распознавала среди городского шума, издалека, шумъ моихъ шаговъ. Въ день былъ одинъ часть — мнѣ дорого вспомнить объ этомъ, когда не у одного меня сердце билось сильнѣе. А я, вплетенный вѣчной пыткой въ этотъ часть, какъ Иксионъ, кружился вокругъ него со своей душой, и пока онъ наступалъ, я ждалъ его весь день, а когда миновалъ, я цѣлый день думалъ о немъ, увлекаясь множествомъ мелкихъ, но милыхъ воспоминаній. Какъ ты меня встрѣтила? Съ чего начала разговоръ? Какъ иногда вырывалось неприятное слово, за нимъ споръ, потомъ еще болѣе милое примиреніе. Я становился печальнымъ, ты по глазамъ угадывала причину; приходилъ съ просьбами, ты одинъ предупреждаешь, другія не позволяешь выговорить; откладываю на завтрашній день, а завтра опять не рѣшаюсь; иногда влетаю сердитый, ты обезоружива-

ешь улыбкой, а когда въ гнѣвѣ я заходилъ слишкомъ далеко, ты сердилась, и тогда уже я просилъ прощенья. Ахъ, каждое твое слово, каждый взглядъ, ласки и надежды и общія страданія: все это сохраняетъ память въ вѣрныхъ образахъ. И я держу ихъ передъ глазами души, какъ скряга, которому удалось найти кладъ, смотреть и сохнуть, и не можетъ оторвать глазъ. Этимъ часомъ я соединялъ прошлое съ моимъ будущимъ*), съ него я началъ болѣе счастливые дни и на немъ окончилъ ихъ; онъ одинъ блеснулъ, какъ одна золотая нитка въ темной (запачканной, zbrukaném raśmie) лентѣ моей жизни; и я схватился за нее, какъ крылатый мотылекъ (jak prządek skrzydlaty), обвилъ ее вокругъ себя и въ ней замкнулся навѣки, какъ въ склепѣ. Солнце вступило въ ту самую часть неба, пробилъ тотъ же часъ! Гдѣ же ея глаза? Гдѣ же ея мысли? Теперь, невѣрная, въ чувствительной рукѣ она держитъ чужую руку и прижимается устами къ чужому лбу, и слеза ея падаетъ на чужое лицо, и сердце отвѣчаетъ бѣнію чужой груди. Теперь, можетъ быть, этой новой пары не раздѣлила бы сама молнія, которая ударила бы въ меня у порога». Такъ, потрясенный измѣнной, поэтъ возвращается въ свой міръ. «Уединеніе, забытое, оставленное въ этотъ же самый часъ, я возвращаюсь въ твое святилище, какъ возвращается къ своей нянѣ плачущее дитя, обманутое и заманенное лакомствомъ. Прости меня, соблазнъ счастья всегда слишкомъ силенъ, и слишкомъ трудно убѣдиться въ томъ, что онъ всегда обманчивъ. Можетъ быть мнѣ еще удастся заглушить этотъ недостойный огонь; вѣдь я еще могу надѣяться на время и на безмолвную гордость. Но прочь надежды! Сегодня погода манитъ искать забвенія въ поляхъ, въ небѣ, въ волнахъ. Пора итти гулять. Почему же я все не выхожу? И при каждомъ движеніи двери все жду отъ нея посланца; то читаю измѣненный почеркъ ея руки, то хватаюсь безъ всякой надобности за часы. Однажды я вскочилъ съ мѣста, остановился на порогѣ: ахъ, это былъ тотъ часъ. Велика сила привычки! Такъ тотъ, у кого смерть отняла дорогого человѣка, иногда забываетъ на мгновение о своей утратѣ, несмотря на томящую его грусть и долгій трауръ, и погруженный въ свои мысли — счастливое заблужденіе! — бѣжитъ и до такой степени увлекается са-

*) „Ta godzina jam przeszłość z mą przyszością łączyl“ — образъ, повторяющийся въ мопологѣ Коврада въ III части „Дѣловъ“.

мообманомъ, что уже переступаетъ порогъ, — и вдругъ заливае-ся слезами». Эта элегія представляетъ, несомнѣнно, точное изоб-раженіе душевнаго состоянія, которое переживалъ Мицкевичъ послѣ разрыва съ Собанской, разрыва, вызваннаго, какъ мы ви-димъ, не имъ, а ею. Несмотря на рѣзкое выступленіе противъ одной изъ Данандъ, поэтъ съ большой горечью пережилъ этотъ разрывъ. Исторія его недолгой любви, блаженства и разлуки вы-ступаетъ передъ нами очень ярко въ эротическихъ сонетахъ и стихотвореніяхъ, представляя цѣнный матеріалъ для біографіи Мицкевича.

О другой любви мы узнаемъ изъ нѣсколькихъ стихотвореній, которыя, повидимому, могутъ быть отнесены къ одному лицу. Если жениться на Собанской Мицкевичъ не могъ и мечтать, по все же позволялъ себѣ строить планы о совмѣстномъ счастли-вомъ существованіи, то по отношенію къ особѣ, воспрітой имъ въ этой группѣ эротики, онъ питалъ, повидимому, опредѣленные матримоніальныя намѣренія. Изъ стихотворенія «Кокетство» это вытекаетъ очень ясно. Характерно, что намекъ на кого-то хо-рошо извѣстнаго одесскому обществу былъ такъ ясенъ, что ни въ петербургскомъ изданіи 1829 года, ни въ другихъ изданіяхъ, вышедшихъ при жизни поэта, его нѣтъ. Мицкевичъ издѣвается надъ тревогой, которая охватила родню дѣвушки, когда онъ «вздохнулъ по ея сердцу и рукѣ». Сейчасъ же посыпались во-просы объ его имущественномъ положеніи, «мама болтаетъ о де-ревенькахъ и о дунахъ, дядя о чинахъ и доходахъ, а горнич-ная спрашиваетъ лакея о монхъ любовныхъ приключеніяхъ». Рѣзкимъ сарказмомъ отвѣчаетъ на это Мицкевичъ: «Мама и дя-дюшка! Душа у меня только одна, а помѣстья мои на Парнасъ; добывать доходы я долженъ своимъ перомъ, а мой чинъ въ по-томствѣ». Въ доказательство же того, что любить онъ умѣетъ, поэтъ проситъ въ этомъ убѣдиться: «брось лакея, кошка - горнич-ная, приди вечеромъ ко мнѣ въ комнату». Мало такихъ презри-тельныхъ и грубыхъ вещей среди произведеній Мицкевича.

Самолюбіе его было задѣто самымъ чувствительнымъ образомъ. Указаніемъ на то, что стихотвореніе относится къ одесской эпо-хѣ, а не къ Марытѣ и ея роднѣ, служить фактъ записи его въ «Альбомъ» Мошинскаго, куда Мицкевичемъ занесенъ цѣлый рядъ именно одесскихъ стихотвореній. Однако полной увѣренности относительно этого не можетъ быть уже потому, что сюда же

попала впервые и «Неувѣренность» (Niepewność), которой каждая строфа кончается вопросомъ: «Что же это такое, любовь или дружба?» и которая общимъ своимъ тономъ особенно соответствуетъ позднѣйшему отношенію Мицкевича къ Ковальской, когда связь прекратилась, а осталась, по настоянію Ковальской, лишь дружба. «Я не вздыхаю, не плачу, когда не вижу тебя; а когда увижу, не теряю разума; однако, когда я долго бываю безъ тебя, чего-то мнѣ не хватаетъ, кого-то я хочу увидѣть, и, тоскуя, я часто задаю себѣ вопросъ: что же это такое, дружба или любовь?» Такъ начинается это удивительно иѣжное, изящное стихотвореніе, которое тону одесской лирики, мятежной, страстной и сладострастной, совѣтъ не отвѣчаетъ. Безъ колебанія я его отношу къ той группѣ, къ какой относятся сонеты «Доброе утро», «Добрый вечеръ» и т. п. А разъ они восходятъ къ ковенскому періоду, то и «Кокетство» (Zaloty) можетъ относиться къ нему же. Неглубокое стихотвореніе «Два слова», «варіаціи» котораго повторяютъ все тѣ же два слова: «Люблю тебя», можетъ относиться къ любому изъ увлеченій, однако, вѣроятнѣе всего, именно одесскихъ. Мицкевичъ хотѣлъ бурь и тревогъ, когда пріѣхалъ въ Одессу. Въ стихотвореніи «Пловецъ», написанномъ 14 апр. 1825 г., значить, вскорѣ послѣ пріѣзда, онъ обращается къ какой-то женщинѣ, — должно быть, къ Залѣской, — съ просьбой не тревожить свое «ангельское сердце» тревогой и отчаяніемъ при видѣ опасности, которой подвергается среди разбушевавшихся волнъ «барка странника». Вѣдь «эту барку вихрь отбилъ отъ корабля, на который пловецъ возложилъ все свои надежды, и если все становится жертвой бездны, чего же ему плакать, о чемъ тревожиться? Лучше ему, среди стихій анархіи (żywiołów bezrzędu), бороться то и дѣло съ новыми приключеніями, нежели выбратъся на сушу и оттуда смотрѣть на море и считать свои потери?» Этихъ приключеній одесская жизнь послала Мицкевичу не мало, но они не удовлетворили его. Сердце устало любить и презирать; потеря вѣры въ «корабль, на который были возложены все надежды», чувствовалась такъ же горько и болѣзненно, какъ и раньше, и нечѣмъ было замѣнить ее; напротивъ, къ ней присоединилось еще чувство недовольства собой. Но сильная душа выпрямилась: поэтъ почувствовалъ стремленіе опять къ одинокимъ горнымъ вершинамъ. Въ Москву онъ пріѣхалъ уже инымъ, чѣмъ въ Одессу.

ГЛАВА XIV.

„Крымскіе сонеты“.

«Крымскіе сонеты» появились въ Москвѣ въ 1826 году, въ одномъ сборникѣ съ другими сонетами и эротическими стихотвореніями. Эти послѣднія предшествовали Москвѣ; они посвящены чувствамъ, которыя поэтъ переживалъ раньше, въ Литвѣ и въ Одессѣ. «Крымскіе сонеты» частью написаны въ самой Москвѣ, частью получили здѣсь окончательную отдѣлку, но въ основѣ ихъ также лежатъ личныя впечатлѣнія, почерпнутыя Мицкевичемъ во время его поѣздки по Крыму въ обществѣ Каролины Собанской и нѣсколькихъ знакомыхъ, а отчасти вдвоемъ съ проводникомъ. Появленіе «Крымскихъ сонетовъ» въ Москвѣ обязывало поэта, который уже былъ близокъ въ это время съ Пушкинымъ и признавался ихъ общими друзьями выше русскаго поэта. Скромный Пушкинъ охотно присоединился къ этому приговору. Какъ можно судить по послѣдующимъ замѣчаніямъ Мицкевича о Пушкинѣ, и самъ онъ считалъ себя выше. Разумѣется, при такихъ условіяхъ польскій поэтъ долженъ былъ особенно потрудиться надъ темой, которую выбралъ русскій соперникъ его для одного изъ своихъ лучшихъ произведеній. «Бахчисарайскій фонтанъ» былъ извѣстенъ Мицкевичу, который упоминаетъ объ этой поэмѣ, написанной «со свойственнымъ (Пушкину) талантомъ» въ одномъ изъ примѣчаній къ «Крымскимъ сонетамъ». Съ другой стороны, и сонеты сдѣлались сейчасъ же извѣстны русскому обществу, такъ какъ среди друзей и поклонниковъ Мицкевича были люди, владѣющіе польскимъ языкомъ. Такимъ былъ, напр., князь Вяземскій, переведшій всѣ сонеты и снабдившій свой переводъ тонкой и умной статьей. Естественно поэтому, что надъ «Крымскими сонетами» Мицкевичъ поработалъ особенно много. Въ альбомѣ, куда онъ заносилъ свои стихотворенія (въ т. наз. «Альбомѣ Мошинскаго», который черезъ М. Пясецкаго, одного изъ друзей Мицкевича, попалъ въ 1829 году къ графу Петру Мошинскому, находившемуся въ Петропавловской крѣпости), видна эта упорная работа. «Сравнивая варианты крымскихъ сонетовъ, находящіеся въ альбомѣ, — говоритъ ихъ издатель, Б. Губриновичъ, — съ вариантами другихъ стихотвореній Мицкевича, пора-

жасъсья тѣмъ, насколько велико здѣсь число поправокъ сравнительно съ другими произведеніями». Но въ альбомѣ Мошинскаго всего 10 сонетовъ изъ 19 (считая и не доконченный, не помѣщенный въ московскомъ изданіи, сонетъ «Ястребъ»). Кромѣ этого альбома, у поэта была во время путешествія другая записная книжка. Возможно, что другіе сонеты попали сюда. Но наиболѣе вѣроятнымъ представляется предположеніе, что часть сонетовъ была и написана уже въ Москвѣ какъ по личнымъ воспоминаніямъ, такъ и по тѣмъ литературнымъ даннымъ, какія Мицкевичъ здѣсь нашель.

Въ крымской поэзіи Пушкина мы видимъ картины столкновения двухъ культуръ, христіанской и мусульманской, или картины классическаго міра. «Бахчисарайскій фонтанъ» рисуетъ байроническую фигуру героя, который такъ трагически пережилъ конфликтъ Креста и Луны; онъ даетъ нѣжный женскій образъ христіанской плѣнницы, и лишь въ сочувствіи къ ней, лишь въ отдѣльныхъ указаніяхъ мы видимъ личность поэта. Даръ претворенія, даръ Пушкина, создаетъ живые образы старой татарской жизни, а самъ поэтъ остается за ними. Мицкевичъ со своей энергіей чувства, со своею обычной сосредоточенностью настроенія не можетъ ступешваться и здѣсь. Крымская природа даетъ лишь рамки для его душевныхъ переживаній; личность поэта доминируетъ надъ природой, его субъективное настроеніе претворяетъ эти картины природы такъ, что онѣ выражаютъ его собственное чувство. Крымъ давалъ такое разнообразіе пейзажа, какого только могъ пожелать поэтъ. Море, одно изъ самыхъ красивыхъ морей Европы, то безконечно спокойное, то бурное, готовое вотъ-вотъ залить нарусное судно; остатки прежнихъ гордыхъ царствъ и владыкъ, Гиреевъ, генуезцевъ; зеленыя горы, которыя не такъ высоки, чтобы производить подавляющее впечатлѣніе, но все-таки внушительны и создаютъ высокую вершину въ Чатырь-Дагѣ. Крымъ былъ тогда иной, чѣмъ теперь: горныя деревушки лѣпились у опасныхъ обрывовъ; тамъ, гдѣ стелются теперь широкія шоссеиныя дороги, вились горныя тропинки, по которымъ могла пройти только привычная татарская лошадь. Путешествіе по Крыму, дѣйствительно, представляло извѣстныя опасности; а населеніе еще хранило свой восточный колоритъ, еще жило воспоминаніями о независимости. Относящіяся къ тому же времени записки о Крымѣ А. С. Грибоѣдова полны

археологическихъ описаній. И самая поѣздка по Черному морю на парусномъ суднѣ, — значить, только во время вѣтра, — должна была казаться опасной и въ человѣкѣ, соотвѣтственно настроенномъ, пробуждать байроническія чувства. Байронъ заинтересовалъ Европу Востокомъ, Гёте издалъ въ 1819 году сборникъ подражаній арабской поэзіи «West-östlicher Divan»; за годъ передъ тѣмъ извѣстный ориенталистъ Гаммеръ выпустилъ огромный трудъ «Geschichte der schönen Redekünste Persiens», гдѣ были приложены сотни образчиковъ восточной поэзіи. Романтическій міръ бредилъ Востокомъ. Мицкевичъ зналъ и Гаммера, и Гёте. Будучи въ Петербургѣ, онъ познакомился съ польскимъ ориенталистомъ Сенковскимъ, трудомъ котораго («Collectanea изъ турецкихъ историковъ» 1824) пользовался для усвоенія татарской терминологіи, нужной ему въ качествѣ *couleur locale*. Такимъ образомъ «ориентализмъ» крымскихъ сонетовъ былъ своего рода знаменемъ романтизма. Но самъ поэтъ чуждъ Востоку; онъ только «странникъ» (пилигримъ, *-pielgrzysm*), который принесъ съ собою инья чувства, иные замыслы. Море и горы, воспѣтыя словами восточной поэзіи, воспринимались все-таки настроеніемъ европейца, и этотъ дуализмъ, иногда подчеркнутый діалогомъ между татаринномъ - проводникомъ («мирза» въ терминологіи сонетовъ*) и поэтомъ - пилигримомъ, представляетъ одну изъ самыхъ яркихъ сторонъ сонетовъ. Онъ даетъ фонъ, на которомъ еще живѣе отражаются впечатлѣнія и мысли западнаго наблюдателя, какимъ явился въ Крыму поэтъ. Является еще вопросъ о формѣ этихъ картинокъ. Зачѣмъ Мицкевичу понадобилась такая неподвижная, чопорная форма, какой представляется сонеть? Этотъ вопросъ разрѣшался различными критиками очень субъективно. Такъ, одинъ изъ изслѣдователей «Крымскихъ сонетовъ», проф. Виндакевичъ, полагаетъ, что сонеть представляетъ удобнѣйшую форму для изліяній спокойныхъ, тогда какъ сонеты, описывающіе горы Таврическаго государства, напротивъ, полны движенія. «Сосудъ оказался слишкомъ филиграннымъ для нихъ», полагаетъ г. Виндакевичъ. Другой изслѣдователь, г. Бигелейзенъ, утверждаетъ, что въ «Крымскихъ сонетахъ» поэтъ «не играетъ формой, не по-

*) Едвали этотъ «мирза» не заимствованъ у Муравьева-Апостола. «Мурзы-паредворцы» стр. 116 и др. или на стр. 155: «Мы пристали въ домѣ почтеннаго здѣшняго помѣщика Меметь-Мурзы». Въ альбомѣ Мошвицкаго *не mirza*, но постоянно *mirza*.

казываетъ какихъ-нибудь акробатическихъ фокусовъ, но создаетъ органическое цѣлое, нѣчто единое съ точки зрѣнія содержанія и формы» и т. д. Графъ С. Тарновскій идетъ еще дальше: онъ находитъ, что для цѣлей Мицкевича сонетъ давалъ наиболѣе подходящую форму. Лирическое и короткое стихотвореніе, какимъ является сонетъ, позволялъ поэту, по словамъ этого критика, обрисовать самый предметъ лишь бѣглыми чертами, одной линіей, только дать почувствовать впечатлѣніе, какое она производитъ. Самъ Мицкевичъ отдавалъ себѣ отчетъ въ тѣхъ трудностяхъ, какія представляетъ форма сонета; она способна, по его выраженію, «убить поэта». И тѣмъ не менѣе онъ пользовался ею въ самыхъ первыхъ наброскахъ сонетовъ, сдѣланныхъ еще во время самой поѣздки. Но только ли для изліянія своихъ крымскихъ впечатлѣній Мицкевичъ прибѣгъ въ эту пору къ сонету? Нѣтъ, онъ пользовался имъ тогда также и въ своей любовной лирикѣ. Между «Крымскими сонетами» и тѣми, что написаны въ увлеченіи Д. Д., есть иногда близкая связь, и не было ли естественно, что въ одну и ту же форму, тогда полюбившуюся ему, онъ влилъ свои чувства, не соображаясь съ тѣмъ, въ какую рубрику войдутъ потомъ сонеты. Справился же Мицкевичъ съ этой формой, кажется, не вездѣ удачно: для діалога она совсѣмъ не подходитъ, перебивая потокъ речей; въ одномъ изъ сонетовъ поэту понадобилось даже прибавочное восклицаніе: «а-а!», чтобы стихотвореніе не обрывалось безъ отвѣта на разсказъ проводника-мирзы. Для другихъ мотивовъ, каковы впечатлѣнія морской тиши и т. п., трудно найти болѣе подходящую, болѣе законченную форму, чѣмъ сонетъ. Любовная лирика одесскаго времени и письма Мицкевича достаточно ясно рисуютъ намъ психологическое состояніе, въ какомъ находился поэтъ во время поѣздки по Крыму. Перерабатывая свои наброски и приводя въ законченный видъ сонеты, Мицкевичъ сумѣлъ сохранить въ нихъ единство настроенія крымскаго времени. Это удалось ему, можетъ быть, потому, что и въ Москвѣ онъ былъ далекъ отъ душевнаго равновѣсія, которое такъ чуждо сонетамъ. Это именно «вулканическіе взрывы молодого романтика, который легко переходитъ отъ одной крайности къ другой, отъ ужаса къ восхищенію, отъ презрѣнія къ нѣжности, отъ горечи къ удовлетворенію» (Вицкевичъ). Природа составляетъ лишь аккомпанементъ для этой сложной музыки сердца; не ею объясняются измѣнчивыя душевныя

настроения поэта, но только они приводятся въ гармонію съ нею. Личная душевная жизнь самого Мицкевича: вотъ все, о чемъ говорятъ эти сонеты. Напрасно мы стали бы искать въ нихъ какой-нибудь общественной или политической нотки. Какъ было поляку не затронуть этой нотки при видѣ разрушенныхъ царствъ Крыма, съ удивленіемъ спрашиваетъ польская критика, которая склонна объяснить этотъ индифферентизмъ поэта его осторожностью, нерѣшительностью. Едва ли это такъ: политическая нотка внесла бы рѣзкій диссонансъ въ поэзію глубоко интимныхъ, лирическихъ настроеній, какой явились сонеты. Набросанные въ пору любви, когда душа его разрывалась между старой больной любовью къ Марыль и Литвѣ и новой бурной страстью къ Д. Д., нашедшей свое мѣсто и здѣсь, эти сонеты были чужды политикѣ. И, въ сущности, какая далекая связь между восточнымъ ханствомъ Гиреевъ и Литвой, сохранившей столько своей государственной самобытности до 1830 года. Поэтъ «гражданской скорби» нашелъ бы эту связь и заставилъ бы себя вдохновиться политической участью крымскихъ ханствъ. Мицкевичъ въ эту пору былъ еще слишкомъ непосредственнымъ поэтомъ-романтикомъ, и лишь красота забытыхъ развалинъ, лишь легенды, съ ними связанныя, заставили забиться его сердце. Море и горы царятъ въ сонетахъ, не люди и не политика. И разныя чувства внушаютъ они поэту: среди крымскихъ горъ онъ чувствуетъ себя властелиномъ. Онъ готовъ былъ бы произнести вмѣстѣ съ Пушкинымъ гордые слова о горахъ, которыя разстилаются «подъ нимъ». Онъ можетъ заглянуть въ такія бездны, куда гибельно проникнуть человѣческому взору. А море-властелинъ надъ нимъ. Оно раскинется въ недвижномъ просторѣ, — и такое же спокойствіе снисходитъ въ тревожное сердце поэта. Бушуетъ, оно даетъ ему наслаждение, опасности; онъ сливается въ мятежномъ чувствѣ со стихіей.

Мицкевичъ всегда оставался поэтомъ дѣйствительности. Чувство правды слишкомъ сильно говорило въ его душѣ; оно разбило кору условности, когда поэтъ еще признавалъ требованія условной поэзіи; и онъ заговорилъ о томъ, что дѣйствительно пережили. Это чувство правды, которое достигло могучаго выраженія въ монологахъ Густава, проникло эротику Мицкевича, которая съ какой-то совѣтливой точностью стремится передать переживанія любви. Описывая Крымъ, поэтъ такъ же точенъ, какъ въ описаніи родного дома (въ IV части «Дѣдовъ») или

Новоградскаго замка. Онъ старался даже карандашомъ закрѣпить въ памяти очертанія тѣхъ мѣстъ, которыя ему особенно нравились. Но рисункомъ Мицкевичъ владѣлъ еще въ меньшей степени, чѣмъ Пушкинъ, и друзья совѣтовали ему оставить чужое оружіе и взяться за свое, за стихъ. Къ ихъ радости они и застали поэта за набрасываніемъ стиховъ въ дорожный альбомъ. Но рисунокъ представлялъ хорошее мнемотехническое средство: занося неумѣлой рукой на страницы альбома контуры горъ, Мицкевичъ схватывалъ глазомъ и памятью воображенія то, чего не умѣла передать рука, и позже, уже въ Москвѣ, писалъ по нимъ сонеты, какъ художники рисуютъ по эскизамъ. И какъ художники сливаютъ нѣсколько эскизовъ въ одинъ образъ, такъ и поэтъ сочеталъ различные горные пейзажи въ одномъ сонетѣ. Такъ, сонетъ: «Дорога надъ пропастью въ Чуфуть-Кале», носить въ альбомѣ заглавіе: «Надъ пропастью Кикинеисъ Чуфуть-Кале», а это едва ли указываетъ на тотъ общій пейзажъ, который сложился въ его памяти на основаніи созерцанія разныхъ мѣстъ. Но работѣ памяти помогли и позднѣйшія пособія. Какъ на главный источникъ, которымъ пользовался Мицкевичъ при обработкѣ сонетовъ, критика указала, съ его же словъ, на книжку Муравьева - Апостола «Путешествіе по Тавридѣ» (1823. Москва). Другимъ источникомъ, откуда взять рядъ сравненій, былъ гётевскій «Диванъ», а въ примѣчаніяхъ, которыя должны были объяснять непонятныя татарскія слова или оправдывать смѣлость сравненій, поэтъ съ добросовѣстностью автора «Гражины» ссылается и на Сенковского, и на Гаммера. Но, что особенно характерно, это вліяніе стараго Трембецкаго, которое, прорвавшись черезъ романтизмъ, дало поэту и нѣкоторую вычурность въ описаніяхъ, и даже отдѣльныя слова (*żyjątek* — живое существо, выдуманное Трембецкимъ слово — *żyjątko*; *szczeblować* — подниматься по лѣстницѣ — взято также у этого ложноклассика станиславской эпохи). Все это указываетъ на то, что сонеты подверглись большой литературной обработкѣ, прежде чѣмъ приняли свою теперешнюю форму.

Въ предисловіи, которымъ князь Вяземскій снабдилъ свой прозаическій переводъ «Крымскихъ сонетовъ», высказано нѣсколько очень вѣрныхъ замѣчаній о восточномъ колоритѣ, *наведенномъ* на сонеты, о нѣкоторой искусственности ихъ. «Крымскіе сонеты всѣ переведены нами потому», говоритъ Вяземскій, «что въ каждомъ

изъ нихъ болѣе или менѣе встрѣчаются красоты безусловныя, цѣльныя. Можетъ быть, нѣкоторымъ изъ русскихъ читателей, вообще довольно робкихъ и старообрядныхъ, покажется страннымъ яркій восточный колоритъ, наведенный на многіе изъ сонетовъ. Замѣтимъ для этихъ сѣверныхъ читателей, что поэтъ переноситъ ихъ на востокъ и, слѣдовательно, что должны они вмѣстѣ съ нимъ поддаться вдохновеніямъ восточнаго солнца, что наивосточнѣйшія сравненія, обороты вложены поэтомъ въ уста Мурзы, проводника пилигрима польскаго, и еще, держась мнѣнія, изложеннаго выше, напомнимъ, что нѣкоторый отблескъ восточныхъ цвѣтовъ есть колоритъ поэзіи вѣка, что кисти Байрона, Мура и другихъ первоклассныхъ поэтовъ современныхъ напоены его радужными красками. Мы сами почти готовы сознаться, что въ иныхъ мѣстахъ, хотя и очень рѣдко, польскій поэтъ увлекается въ выраженіяхъ и сравненіяхъ своихъ гиперболическою смѣлостью, сбивающеюся на дерзость въ глазахъ нашего гиперборейскаго благоразумія, что въ нѣкоторыхъ употребленіяхъ, оборотахъ встрѣчается у него что-то похожее на принужденіе, изысканность и т. д.». Эти строки показываютъ, что въ русскомъ обществѣ Москвы Мицкевичъ нашелъ литературную среду, достойную его. Если сравнить современные отзывы польской критики, о которыхъ еще будетъ рѣчь ниже, то бросится въ глаза разница между этой тонкой и благожелательной оцѣнкой и пристрастіемъ польскихъ ложноклассиковъ, съ одной стороны, и польскихъ романтиковъ, съ другой. Естественно, что именно это московское произведеніе польскаго генія подверглось такой тщательной, внимательной отдѣлкѣ. На первоначальную основу налегла масса позднѣйшихъ нарощеній и измѣненій, которая бросаютъ свѣтъ на процессъ поэтическаго творчества Мицкевича. На этомъ процессѣ и слѣдуетъ остановиться теперь.

Нѣкоторые изъ сонетовъ отражаютъ какъ будто непосредственность впечатлѣнія. Таковъ, напр., сонетъ «Байдары», переведенный поэтически, хотя и не близко къ подлиннику, А. Майковымъ. Кн. Вяземскій перевелъ этотъ сонетъ такъ: «Пускаю на вѣтеръ коня и не щажу ударовъ; лѣса, долины, скалы, то порознь, то вмѣстѣ (wkołci, w natłoku), уплываютъ изъ-подъ ногъ моихъ, теряются, какъ волны потока, хочу обезумѣть, упиться (этимъ) вихремъ образовъ. А когда покрытый тѣнью конь не слушается (ближе: перестаетъ слушаться), когда міръ утрачиваетъ свои

краски подь саваномъ мрака, тогда въ моемъ разгорѣвшемся окѣ (w tѣm sріekłѣm okіe, въ моихъ разгоряченныхъ глазахъ), какъ въ разбитомъ зеркалѣ, мелькають привидѣнія (taгу, призрачные образы) лѣсовъ, долинъ и скалъ. Спитъ земля, но мнѣ не спится. Кидаюсь въ лоно морское. Черный, вздутый валъ стремится къ берегу; склоняюсь къ нему челомъ, протягиваю руки. Волна разламывается надъ головой, меня окружаетъ хаосъ; жду, пока мысль, какъ челнъ, попавшій въ водоворотъ, завертится и на мгновение погрузится въ забвеніе». Въ этомъ сонетѣ передъ нами одинъ моментъ изъ поѣздки по Крыму: бѣшенная скачка, остановка у морского берега, прыжокъ въ море. Плавная и спокойная форма сонета не соотвѣтствуетъ приподнятому, нервному настроенію его, обуревающей поэта тревогѣ, желанію задурманить меня (odurzyć się) скачкой, забыться на мигъ подъ волной, расколовшейся надъ головой. Въ непосредственности настроенія, кажется, нельзя дальше итти, а между тѣмъ едва ли этотъ сонетъ написанъ подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ Байдаръ. Его нѣтъ въ «альбомѣ Мошинскаго», что можетъ служить лишь косвеннымъ указаніемъ на время написанія сонета. Важнѣе, мнѣ кажется, непольское выраженіе *‘amnie sni nieta*», которое встрѣчается здѣсь. Это руссизмъ, проникшій въ поэзію Мицкевича, вѣроятно же всего, подъ вліяніемъ постоянного общенія съ русскими. Самая картина неясна: отъ Байдаръ до моря вовсе не такъ близко, спускъ былъ бы, во всякомъ случаѣ, такъ крутъ, что скакать къ морю бѣшено на конѣ едва ли было возможно. Но поэтъ своимъ воображеніемъ создалъ такую яркую, живую картину, что, кажется, будто она создана подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ пережитого. Между тѣмъ черты ея такъ общи, что ничего характернаго для Байдарскихъ воротъ здѣсь нѣтъ. Почему именно къ Байдарамъ Мицкевичъ приурочилъ эту бурную скачку къ морю? Не потому ли, что здѣсь вдругъ открывается широкая перспектива моря и къ морю потянуло поэта. Въ какомъ случаѣ у него осталось только общее воспоминаніе о Байдарахъ, и Мицкевичъ какъ бы самъ свидѣтельствуетъ о позднемъ происхожденіи сонета, который представляется на первый взглядъ такимъ непосредственнымъ. Для характеристики творчества Мицкевича этотъ фактъ, я думаю, не лишень значенія.

Такое же впечатлѣніе непосредственности производитъ сонетъ

«Пилигримъ». Откуда взялось это слово въ поэтическомъ словарѣ Мицкевича, слово, съ которымъ онъ связывалъ потомъ, во времена польской эмиграціи въ Парижѣ, такія мистическія представленія? Странникъ, идущій къ какой-то далекой цѣли — вотъ пилигримъ. Но раньше Мицкевичъ не называлъ себя пилигримомъ. Въ альбомѣ Мошинскаго, въ вариантахъ *одного* сонета выступаетъ на сцену пилигримъ, но оба раза онъ не противопоставляется мѣстному жителю, мирзѣ, а, повидимому, представляется также мусульманиномъ; такимъ образомъ, тамъ съ этимъ словомъ еще не связывалось особаго элегическаго настроенія. Совсѣмъ другое дѣло въ разсматриваемомъ сонетѣ, который въ альбомѣ Мошинскаго носилъ названіе «Въ Крыму на Чатырь-Дагѣ». Здѣсь не упоминается пилигримъ, какъ и въ сонетѣ «На видѣ Чатырь-Дага въ степи за Козловымъ» вмѣсто позднѣйшаго пилигрима является просто путешественникъ (*podróźny*). Отсюда ясно, что лишь позже, въ Москвѣ, въ иномъ уже настроеніи у поэта складывается взглядъ на себя, какъ на странника, идущаго къ высшей цѣли, какъ на «пилигрима».

На вершинѣ Чатырь-Дага, среди прекрасной природы, поэту встоскинулось по родинѣ; прекрасныя лица окружающихъ женщинъ (Собанской?) не вытѣснили изъ памяти сердца той, которую онъ когда-то любилъ (въ альбомѣ: «о *прежнемъ* возлюбленномъ», но потомъ, болѣе согласно съ общимъ настроеніемъ, исправлено: «о *вѣрномъ* возлюбленномъ»). Это настроеніе было потомъ, въ окончательной редакціи, понято Мицкевичемъ, какъ настроеніе «пилигрима», котораго никакія красоты чужой земли не удержатъ отъ его завѣтныхъ стремленій. Проще и непосредственнѣе первый набросокъ сонета, гдѣ еще поэтъ не замѣнилъ словъ «милая родина» неяснымъ намекомъ на «милую страну», гдѣ онъ еще самъ дивится, неужели Литва красивѣе этого пейзажа Крыма. Въ окончательномъ видѣ сонета этотъ характеръ вопроса уже утраченъ. «У ногъ моихъ страна избытка и красотъ», восклицаетъ поэтъ. «Надъ головой ясное небо, а рядомъ прекрасныя лица. Почему же сердце уносится отсюда въ далекіе края и — увь! — въ еще болѣе далекое время?» Такъ начинается этотъ сонетъ, отличающійся отъ другихъ и своимъ настроеніемъ: вмѣсто параллели образа, заимствованнаго изъ крымской природы, душевному настроенію поэта, мы видимъ сразу его душу, тоскующую и томящуюся среди чужихъ. «О, Литва! Твои шу-

мящіе лѣса пѣли мнѣ очаровательнѣе, нежели байдарскіе соловьи и дѣвы Салгири (въ альбомѣ Мошинскаго: «ручьи между скаль», дѣвы Салгири появились для «наведенія» восточнаго колорита). Веселѣе мнѣ было топтать твои трясины, нежели рубиновыя ягоды и золотыя ананасы. Я такъ далеко! Столько различныхъ приманокъ привлекаетъ меня! Отчего же въ раздумьѣ я непрерывно вздыхаю о той, которую любилъ на утрѣ моихъ дней? Она въ милой отчизнѣ¹⁾, которая отнята у меня. Здѣсь все говоритъ ей о вѣрномъ другѣ. Помнить ли она обо мнѣ, ступая по моимъ свѣжымъ слѣдамъ?»

Недоконченный одинъ изъ лучшихъ сонетовъ «Ястребъ» не вошелъ въ число «Крымскихъ сонетовъ». Особенно ярко онъ отражаетъ настроеніе Мицкевича во время поѣздки по Крыму, когда его сердцемъ владѣла новая страсть. Сонетъ посвященъ Д. Д., уже хорошо намъ извѣстной доннѣ Джіованнѣ (Собанской), чье «прекрасное лицо» грозило стереть въ сердцѣ поэта нѣжный образъ литовской «небожительницы». Слишкомъ личный характеръ сонета, вѣроятно, и не позволилъ Мицкевичу закончить его: минуло настроеніе, и ему не оказалось мѣста, среди крымскихъ переживаній. Этотъ «бѣдный ястребъ, котораго застигла среди небесъ туча, занесла его въ чужую стихію и далекія страны», — этотъ бѣдный ястребъ не «пилигримъ», хранящій свой чистый идеалъ. «Измокшій отъ морской росы, измученный бурями, онъ распустилъ свои перья среди людей, на той мачтѣ». Но онъ въ безопасности; ничья рука его не схватитъ; вѣдь онъ гость, «а кто плѣнить гостя, о, Джіованна, если онъ на морѣ, пусть страшится бури». И онъ, поэтъ, такой же гость, онъ молодой ястребъ, занесенный въ чужой край и отдыхающій на кораблѣ. «Вспомни же и мою, и свою собственную исторію. Вѣдь и ты на морѣ жизни видѣла страшные призраки, а меня далеко загналъ вихрь, дождь вымочилъ крылья. Зачѣмъ же эти милыя слова, эти измѣнчивыя надежды? Сама въ опасности, ты разставляешь сѣти

¹⁾ Такъ переводитъ Вяземскій, чутьемъ восстанавливая оригиналь, слова „w lubej dziedzinie“, которыми замѣнены слова перваго наброска: „w lubej ojczyźnie“. Что самъ Мицкевичъ подъ „dziedzina“ подразумѣвалъ вообще страну, видно изъ той же записи сонета въ „альбомѣ Мошинскаго“: „u stop moich dziedzin dostatków i krasu“, въ печатномъ же видѣ: „u stop moich krain“. Очевидно русскіе читатели понимали, о чемъ идетъ рѣчь, хотя Мицкевичъ изъ осторожности ограничился намекомъ.

другимъ...» На этомъ сонетъ обрывается и такъ и остался незаконченнымъ. Что было прибавить къ нему?

Если и въ сонетахъ, отражающихъ моментальное настроеніе автора, литературная критика находитъ слѣды долгой и кропотливой работы, изученія источниковъ, развитія вариантовъ въ стилѣ и концепціи, то что же сказать о сонетахъ, посвященныхъ болѣе общимъ описаніямъ природы? По словамъ проф. Виндакевича, это «добросовѣстные этюды путешественника, умѣющаго смотрѣть и передавать читателю свои впечатлѣнія. Такой оборотъ, какъ «взберемся по лѣстницѣ на башенку» (szczeblujmy na wieżycę) въ описаніи развалинъ Балаклавы, который возбудилъ восхищеніе уже у современниковъ (реценз. Стротинскаго въ «Dziennik Warszawski» 1827 г.),— точно соответствуетъ положенію мѣстности. Отъ замка генуезцевъ въ Балаклавѣ сохранились зазубренныя стѣны на морскомъ берегу и высокая башня съ крутымъ входомъ, съ которой открывается живописный видъ на всѣ развалины. Точно такъ же въ сонетѣ о Бахчисараѣ всѣ эти «крылечки, сѣнцы, софы, троны, убѣжища любви» представляютъ собою части и отдѣльныя комнаты дворца Гиреевъ. «Фонтанъ гарема» находится внизу у входа, а «разноцвѣтныя окна», представляющія прекрасное украшеніе каждаго памятника арабской архитектуры, находятся на первомъ этажѣ и съ восхищеніемъ упоминаются всѣми путешественниками. Вѣрность и точность Мицкевича въ его отчетахъ о Крымѣ распространяется, разумѣется, и на описанія живой природы. Кипѣніе морскихъ волнъ, такъ пластично изображенное по наблюденіямъ съ горы Аю-Дагъ, морская тишь на вышинѣ маяка Тархангутъ, отъ которой ужасъ бралъ тогдашнихъ туристовъ, обреченныхъ на плаваніе на парусныхъ судахъ, всѣ эти явленія были вѣрно схвачены и точно изложены, какъ это видно изъ каждыхъ воспоминаній о крымскихъ путешествіяхъ». Къ этимъ справедливымъ замѣчаніямъ польскаго критика слѣдуетъ прибавить, что точности мицкевичевскихъ описаній, которая, какъ онъ вѣрно указываетъ, нисколько не препятствуетъ его свободѣ, много содѣйствовала имѣвшаяся у него литература. Это, прежде всего, «Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 годѣ» (съ эпитафией изъ Байрона). Книжка эта представляетъ научное описаніе Крыма, но въ видѣ общедоступныхъ писемъ (къ кому, неизвѣстно: П. В. Муравьева - Апостоль, «нѣжный другъ» автора, была его сопут-

ницей по Тавридѣ, и въ письмахъ не видно никакого отношенія къ корреспонденту; повидимому, форма письма, заимствованная у Карамзина, имѣла лишь условный характеръ). Была ли эта книжка у Мицкевича во время его поѣздки по Крыму, или онъ познакомился съ нею лишь въ Москвѣ, это — вопросъ любопытный для исторіи творчества Мицкевича. Я убѣжденъ въ этомъ и постараюсь ниже подтвердить свой взглядъ. Простая вѣроятность говоритъ за то, что, отправляясь въ Крымъ, поэтъ хотѣлъ познакомиться съ литературой о немъ, а у попечителя Витта, конечно, книжка Муравьева-Апостола была. Связь между нею и «Крымскими сонетами» несомнѣнна, хотя основная тенденція авторовъ совершенно различна: Муравьевъ интересовался прежде всего классической стариной, сохранившейся въ Крыму, который онъ и называетъ его классическимъ названіемъ Тавридой, тогда какъ для Мицкевича Крымъ лишь «Востокъ въ миниатюрѣ», и онъ, бывшій преподаватель классическихъ языковъ, минуетъ все, что могло бы ему напомнить объ эллинскомъ мірѣ. Въ описаніяхъ природы прозаикъ Муравьевъ-Апостоль и поэтъ Мицкевичъ сходятся иногда довольно близко, и сравненіе бросаетъ свѣтъ на психологію Мицкевича во время его поѣздки по Крыму. Остановимся на этой связи подробнѣе.

Муравьевъ ѣхалъ по сушѣ, изъ Одессы черезъ Сивашъ. Въ степи издалека «на небокраѣ» онъ увидѣлъ *синее облако*. «Оно отдѣляется отъ полосы земной; неподвижно; видъ его правильный. Неужели это гора? Я спрашиваю ямщика, и онъ утверждаетъ догадку мою: это подлинно *Чатырь-Дагъ*, видимый за полтора ста верстъ. Я предчувствую, что это гора та самая, которую Стравонъ называетъ Трапезусъ» и т. д. Въ письмѣ изъ Севастополя Муравьевъ еще разъ возвращается къ панорамѣ горъ на Крымскомъ берегу. «Я увидѣлъ бухты, овраги, холмы, хутора, Севастополь, вѣрнѣе, нежели на новой картѣ Тавриды (которой, мимоходомъ сказать, желалъ бы я нѣкоторыя поправки) и за всѣмъ этимъ на востокѣ горы, позлащенные лучами къ западу склоняющагося солнца. Зрѣлище великолѣпное! Надъ всѣмъ господствуетъ Чатырь-Дагъ. Исполнѣ возносится превыше облаковъ, и чело его перуновъ не страшится. *Это Трапезусъ!* Я не имѣю болѣе въ томъ никакого сомнѣнія: каковымъ онъ мнѣ казался отъ Перекопа, таковымъ точно и здѣсь; таковымъ же (увѣрили меня здѣшніе моряки) онъ представляется и съ моря: это Страв-

вуновъ Трапезусть. *Столь - Гора!*» Такимъ образомъ и здѣсь археологическій интересъ господствуетъ надъ эстетическимъ чувствомъ. Для Мицкевича этотъ интересъ въ данномъ случаѣ совѣмъ не существовалъ, но описаніе Муравьева должно было показаться ему вѣрнымъ; самъ онъ увидѣлъ Чатырь-Дагъ и горную цѣпь приблизительно тамъ же, гдѣ и его ученый предшественникъ: по дорогѣ изъ Евпаторіи (Козлова) въ Симферополь. Близость между сонетомъ «Видъ на горы изъ степей Козлова» и книжкой Муравьева - Апостола указана уже давно (Бигелейzenомъ, Видакевичемъ, Брухнальскимъ въ львовскомъ изданіи сочиненій Мицкевича), но не въ достаточной мѣрѣ: Брухнальскій беретъ изъ нѣмецкаго перевода «Путешествія по Тавридѣ» лишь вторую изъ приведенныхъ цитатъ, тогда какъ сонетъ Мицкевича ближе къ первой, гдѣ Чатырь-Дагъ сравнивается съ синей тучей. Въ объясненіи къ своему сонету Мицкевичъ утверждаетъ, что Чатырь-Дагъ «виденъ издалека, съ разныхъ сторонъ, почти за 200 верстъ, въ видѣ огромной *тучи синяго цвѣта*». Въ самомъ сонетѣ дѣло не обошлось безъ заимствованія восточнаго колорита изъ «Дивана» Гёте («Даже тамъ, гдѣ надъ моимъ тюрбаномъ была только звѣзда», — у Гёте: «ueber meiner Mütze nur die Sterne»), изъ сборниковъ Гаммера и Сенковскаго. Во всякомъ случаѣ, именно надъ этимъ сонетомъ, съ котораго начиналось въ окончательной редакціи описаніе Крыма, а не моря или степей, Мицкевичъ потрудился особенно много. И формы сонета для него не хватило: пришлось присоединить коротенькую добавочную строку, оканчивающуюся восклицаніемъ. И для переводчика этого стихотворенія, мастера формы, Лермонтова, оказалась непосильной форма сонета. Онъ перевелъ его красивымъ и мощнымъ стихомъ, но смыслъ и духъ мицкевическаго сонета во многомъ пострадали. Вотъ прозаическій переводъ: «*Пилигримъ. Туда! Аллахъ ли это поставилъ стѣной море льда? Или изъ замершей тучи онъ сдѣлалъ тронъ ангеламъ? Или эти стѣны воздвигли изъ цѣлой четверти суши дивы, чтобы не пропускать съ востока караваны звѣздъ? Какое зарево на вершинѣ! Пожаръ Цареграда! Не Аллахъ ли это повѣсилъ среди небосвода фонарь для міровъ, плывущихъ по морю природы, когда ночь разостлала свой бурый халатъ?» У Лермонтова эти строки переданы съ нѣкоторыми искаженіями (троны ангеловъ превратились въ пригоны и т. п.) и распространеніями. «Аллахъ*

ли тамъ, среди пустыни, застывшихъ волнъ воздвигъ твердыни, *притоны* ангеламъ своимъ? Иль дивы, *словомъ роковымъ*, стѣной умѣли такъ высоко *громады скалъ* нагромоздить, чтобъ путь *на стъверъ* заградить звѣздамъ, кочующимъ съ востока? *Вотъ свѣтъ все небо озарилъ* *): то не пожаръ ли Цареграда? *Иль Богъ ко сводамъ пригвоздилъ тебя, полночная лампада* **), маякъ спасительный, отрада *плывущихъ по морю свѣтилъ*?» Последняя строка прямо непонятна: свѣтила плывутъ по морю природы, говоритъ Мицкевичъ. На вопросы пилигрима отвѣчаетъ мурза: «Тамъ? Я былъ тамъ; тамъ сидитъ зима; я видѣлъ, какъ изъ ея гнѣзда пьютъ клювы потоковъ и горла рѣкъ (*gardła rzek*): ядохнулъ, изъ устъ моихъ вылетѣлъ снѣгъ; я ставилъ свои шаги тамъ, гдѣ не знаютъ путей орлы, гдѣ кончается конная потѣха (*jazba*) тучъ; я миновалъ громъ, дремлющій въ колыбели изъ облаковъ, я восходилъ туда, гдѣ надъ моимъ тюрбаномъ была лишь звѣзда: это Чатырь-Дагъ». Пилигримъ: «А-а!». Эти строки переданы Лермонтовымъ такъ: «Тамъ былъ я; тамъ со дня созданья бушуетъ вѣчная метель; потоковъ видѣлъ колыбель;дохнулъ, и мерзнулъ паръ дыханья. Я проложилъ мой смѣлый слѣдъ, гдѣ для орловъ дороги нѣтъ, и дремлетъ громъ надъ глубиною; и тамъ, гдѣ надъ моей чалмою одна сверкала лишь звѣзда. То Чатырь-Дагъ *былъ!*.. — А!» Многія яркія черты сонета померкли въ этомъ переводѣ.

Слѣдующіе четыре сонета связаны съ Бахчисараемъ, который съ тщательной кропотливостью былъ описанъ и нашимъ ученымъ соотечественникомъ. «Бахчисарай», «Бахчисарай ночью», «Могила Потоцкой», «Могила гарема»: вотъ названія этихъ сонетовъ. Обратимся сначала къ «Путешествію по Тавридѣ» Муравьева - Апостола. Онъ пріѣхалъ въ столицу крымскихъ хановъ подъ вечеръ. «Чѣмъ менѣе видимы становилися предметы, тѣмъ живѣе дѣлалася игра воображенія моего, исполнившагося *радуше-*

*) Мицкевичъ имѣлъ въ виду, вѣроятно, не мгновенный свѣтъ, озаряющій небо, а *зарю*, т.-е. тѣ костры, которые пастухи разводятъ на крымскихъ горахъ, или же отблескъ заката, во всякомъ случаѣ не *вспышку*, какъ передалъ это мѣсто Лермонтовъ.

**) Лермонтовъ понимаетъ подъ „лампадой“ самъ Чатырь-Дагъ, какъ показываетъ это *или*, тогда какъ у Мицкевича ясно, что онъ говоритъ лишь о свѣтѣ на вершинѣ горы. *Съу* означаетъ просто вопросъ и не имѣетъ характера: *или*, *или*?

ными цвѣтами восточной поэзіи. Я не знаю, что бы я далъ вчера за то, чтобы имѣть 1001 ночь; конечно, напролетъ всю вчерашнюю ночь прослушалъ бы Шехерасаду». Такъ впечатлѣнія Бахчисарая захватили даже прозаическаго классика: «восточная поэзія» и ему не дала спать. Какъ же она должна была увлекать поэтовъ, Пушкина и Мицкевича. Къ первому изданію «Бахчисарайскаго Фонтана» (М. 1824) Вяземскій приложилъ выписку изъ книжки Муравьева - Апостола, хотя основная точка зрѣнія этого послѣдняго была Пушкину чужда. Тамъ, гдѣ онъ видѣлъ лишь поэтическія картины разрушенія, Муравьевъ и Мицкевичъ чувствовали нравственное возмущеніе. Вотъ два типичныя мѣста изъ «Бахчисарайскаго фонтана»:

„Покинувъ сѣверъ наконецъ,
Пиры надолго забывая,
Я посѣтилъ Бахчисарая
Въ забвеньи дремлющій дворецъ;
Среди безмолвныхъ переходовъ
Бродилъ я тамъ, гдѣ бичъ народовъ,
Татаринъ буйный пировалъ
И послѣ ужасовъ набѣга
Въ роскошной лѣни утопалъ.
Еще понынѣ дышитъ нѣга
Въ пустыхъ покояхъ и садахъ;
Играютъ воды, рдѣютъ розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещетъ на стѣнахъ.
Я видѣлъ ветхія рѣшетки,
За конми, въ своей веснѣ,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены въ тишинѣ.
Я видѣлъ хавское кладбище,
Владыкъ послѣднее жилище.
Сии надгробныя столбы,
Вѣнчанны мраморной чалмою,
Казалось мнѣ, завѣтъ судьбы
Гласили внятную молвою.
Гдѣ скрылись ханы? Гдѣ гаремъ?
Кругомъ все тихо, все уныло,
Все илѣжилось!.. Но не тѣмъ
Въ то время сердце полно было:
Дыханье розъ, фонтановъ шумъ
Влекли къ невольному забвенью..

Жизнь этих гаремныхъ красавицъ, вздыхающихъ въ тишинѣ, не представляется Пушкину мрачной:

Безпечно ожидая хана,
Вокругъ игриваго фонтана
На шелковыхъ коврахъ ояѣ
Толпою рѣзвою сидѣли
И съ дѣтской радостью глядѣли,
Какъ рыба въ ясной глубинѣ
На мраморномъ ходила днѣ.
Нарочно къ ней на дво инья
Роняли серьги золотыя.
Кругомъ невольницы межъ тѣмъ
Шербетъ носили ароматный
И пѣсню звонкой и пріятной
Вдругъ огласили весь гаремъ.

Мицкевичъ зналъ «Бахчисарайскій фонтанъ» и холодно, какъ всегда, когда онъ отзывался о Пушкинѣ, похвалилъ въ примѣчаніи къ сонету VIII «Могила Потоцкой» эту поэму: «На основаніи народной повѣсти о бахчисарайской могилѣ русскій поэтъ, Александръ Пушкинъ, написалъ съ присушимъ ему талантомъ повѣсть «Бахчисарайскій фонтанъ». Мы увидимъ, что въ точкѣ зрѣнія на Бахчисарай между польскимъ и русскимъ поэтами была цѣлая пропасть, которая раздѣляла ихъ и во многихъ другихъ вопросахъ, несмотря на видимую дружбу.

Муравьевъ - Апостолъ подробно описываетъ ханскій дворецъ. Онъ доходить до крыльца, ведущаго на верхнія палаты. «Но сперва остановимся въ сѣняхъ и посмотримъ на два прекрасные фонтана, безпрестанно льющіе воду изъ стѣны въ бѣлыя мраморныя чаши». Приводятся надписи, сдѣланныя надъ фонтанами. Затѣмъ описываются различныя залы дворца. «Для защиты отъ яркости лучей въ комнатѣ, съ трехъ сторонъ освѣщенной, кромѣ ставней служатъ еще и цвѣтныя узорчатыя стекла въ окнахъ, любимое рыцарскихъ замковъ украшеніе, безъ сомнѣнія занятое европейцами отъ восточныхъ народовъ, во время крестовыхъ походовъ». Очень характерны замѣчанія о гаремѣ, которыя я привожу цѣликомъ. «Ты легко догадаться можешь, что въ сторонѣ отъ сего строенія находился гаремъ, неприступный для всѣхъ, кромѣ хана, и для него одного имѣющій сообщеніе черезъ коридоръ съ дворцомъ. Эта часть болѣе всѣхъ въ упадкѣ. Разные домки, въ коихъ нѣкогда *жертвы любви, или, лучше*

сказать, *любогострація, томилися въ неволіъ*, представляютъ теперь *печальную картину разрушенія*: обвалившіеся потолки, изломанные полы. Время сокрушило *узлище*; но что въ томъ пользы, когда то же время, рокомъ узникамъ определенное, протекло для нихъ безотрадно, *въ рабскихъ угожденіяхъ одному*, не по сердцу избранному другу, но жестокому властелину! — На краю сего гарема стоитъ на большомъ дворѣ высокая шестиугольная бесѣдка, съ рѣшетками вмѣсто оконъ, изъ которой, какъ сказываютъ, ханскія жены невидимыя смотрѣли на игры, въѣзды пословъ и другія позорища. Иные говорятъ, что будто бы тутъ ханъ любовался фазанами и показывалъ ихъ любимицамъ своимъ. Это послѣднее потому только вѣроятно, что пѣтухъ съ семействомъ своимъ есть единственная картина, которую супругъ-мусульманъ можетъ представлять *невольницамъ своимъ въ оправданіе многоженства*. — Между сею полусгнившею бесѣдкою и комнатою, о которой я говорилъ, на нижнемъ помостѣ, съ мраморнымъ фонтаномъ, есть прекрасный цвѣтничокъ, гдѣ миртъ и розы могли нѣкогда внушать пѣсни татарскому Анакреону. Но пора оставить сіи *грудь тѣснящіе памятники невольничества* и выйти подышать на чистомъ воздухѣ». Отсюда путешественникъ идетъ на кладбище хановъ. Прахъ ихъ покоится подъ бѣлыми мраморными гробницами, обѣнными высокими тополями, ореховыми и шелковичными деревьями... «Въ томъ же кладбищѣ, но на открытомъ мѣстѣ, за стѣною мечети, сооружены двѣ подобныя другъ другу ротонды съ куполами. Въ нихъ безъ порядка разбѣяны по полу деревянные пустые гробы, означающіе мѣста, гдѣ сокрытъ прахъ Гиреевъ... Гробы эти нѣкогда были покрыты тканями, теперь одиѣ голыя доски; не на многихъ только остались доскутки черного сукна...» Отсюда Муравьевъ-Апостоль переходитъ къ легендѣ о Потоцкой (*Marie* Пушкина), будто бы погребенной въ Бахчисараѣ. Онъ относится къ этой легендѣ отрицательно, вызывая этимъ отповѣдь со стороны Мицкевича, который въ примѣчаніи къ сонету «*Grób Potockiej*» доказываетъ, что фактъ похищенія татарами или возбужтовавшимся казаками польской шляхтянки вполне возможенъ въ XVIII в. «Прежде, нежели оставить сію юдоль сна», говоритъ авторъ «учебой и прекрасно написанной» (по справедливому выраженію Мицкевича) книги: «юдоль сна непробуднаго, я укажу тебѣ отсюда на холмъ, влѣво отъ верхней садовой террасы, на коемъ стоитъ

красивое зданіе съ круглымъ куполомъ: это мавзолей прекрасной грузинки, жены хана Керимъ-Гирея (Kerim-Giraya у Мицкевича). Новая Заира, силою прелестей своихъ, она повелѣвала тому, кому все здѣсь повиновалось; но не долго: увялъ райскій цвѣтъ въ самое утро жизни своей, и безотрадный Керимъ соорудилъ любезной памятникъ сей, дабы ежедневно входить въ оный и утѣшаться слезами надъ прахомъ незабвенной. Я самъ хотѣлъ поклониться гробу красавицы, но нѣтъ уже болѣе входа къ нему; дверь наглухо заложена. Странно очень, что всѣ здѣшніе жители непременно хотятъ, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керимъ-Гиреемъ. Сколько я ни спорилъ съ ними, сколько ни увѣрялъ ихъ, что преданіе сіе не имѣетъ никакого историческаго основанія и что во второй половинѣ XVIII вѣка не такъ легко было татарамъ похищать полячекъ; всѣ доводы мои остались бесполезными: они стоятъ въ одномъ: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, какъ развѣ принятое и справедливое мнѣніе, что красота женская есть, такъ сказать, принадлежность рода Потоцкихъ».

Послѣ нѣсколькихъ замѣчаній о мусульманскомъ богослуженіи Муравьевъ заканчиваетъ свой рассказъ о Бахчисараѣ романтическимъ описаніемъ его ночью, при лунномъ свѣтѣ. Онъ отдается воображенію. «Здѣсь представлялося мнѣ такое зрѣлище, котораго описать никакъ нельзя, а надобно видѣть самому, чтобы имѣть о немъ понятіе. Дабы хотя немного объяснить тебѣ эту картину, я долженъ прибѣгнуть къ сравненію *поэзіи классической съ романтической*. Въ Римѣ и Веронѣ — Virgilій; величіе, соразмѣрность, выпренность, вкусъ. Здѣсь — Ariosto и Шекспиръ: необузданный полетъ воображенія; величественная природа, но дикая; чудовища и подлѣ нихъ Анджелика и Дездемона. Но гдѣ же, ты спросишь меня, всѣ эти предметы, съ коими я сравниваю сіи два разные рода поэзіи? — Около меня, мой другъ; на вершинѣ горъ, со всѣхъ сторонъ Бахчисарай окружающихъ. Здѣсь я вижу башню, къ паденію склонившуюся, надъ пропастью висящую и т. д. «Любуясь сими предметами природы, такъ сказать, искусству подражающей, погруженный въ мечтаніе, я увидѣлъ быстро *бѣгущее надъ собою облако* и невольно вспомнилъ Данте...» Заканчиваются эти замѣтки есте-

ственнымъ для русскаго путешественника 20-ыхъ годовъ подъ-
емомъ патріотическихъ чувствъ: «Давно ли тому, что послы
хановъ требовали отъ русскихъ дани и что гордые наши Іоанны
еще били челомъ преемникамъ Батяя! Все измѣнилось! Прекрас-
ная Таврія, искони добыча сильнаго, наконецъ подъ пятою Рос-
сіи». Эти чувства, конечно, были чужды польскому поэту-изгнан-
нику. Скорѣе въ немъ пробудились бы иныя воспоминанія, иныя
настроенія, но, какъ я уже говорилъ выше, всякій политическій
элементъ отсутствуетъ въ «Крымскихъ сонетахъ». Зато описаніями
Муравьева-Апостола Мицкевичъ пользовался широко и бралъ тѣ
же картины, что и тотъ.

Какъ и Муравьева-Апостола, польскаго поэта поражаетъ пре-
жде всего картина запустѣнія и разрушенія. Все исчезаетъ, «вре-
мя сокрушило узилище» молодыхъ невольницъ, но — увы! — и ихъ
дни миновали, и онѣ не воспользуются свободой. Этотъ мотивъ
проходитъ и черезъ шестой сонетъ, посвященный общей картинѣ
Бахчисарая и удивительно передающій настроеніе человѣка, со-
зерцающаго непрерывную струю фонтана тамъ, гдѣ все живое
уже исчезло. «Обширны еще, но уже пусты владѣнія Гиреевъ!
Саранча облетаетъ, змѣя обвиваетъ крылечки и сѣни, гдѣ оби-
вали пороги своими головами паши, и софы, троны могущества,
пріюты любви. Взбираясь сквозь рѣшетки разноцвѣтныхъ окопъ на
глухіе стѣны и своды, растеніе занимаетъ во имя природы созданіе
людей и пишетъ письменами Валтасара: «Разрушенье». Въ сере-
динѣ залы сосудъ, высѣченный изъ мрамора: это — фонтанъ га-
рема. Онъ цѣль до сихъ поръ, жемчужныя слезы точитъ и во-
піетъ въ пустынь: гдѣ ты, о, любовь, могущество и слава? Вы
должны переживать вѣка, а воды источника струятся. О, позоръ,
вы миновали, а источникъ уцѣлѣлъ!» — «Все безмолвствуетъ въ
обители смерти, и оглашаетъ пустыню одинъ только шумъ источни-
ковъ, текущихъ въ каменные чаши!» восклицаетъ Муравьевъ-Апо-
столь. Но какъ онъ далекъ по своему настроенію отъ Мицкевича.
Его описаніе безмолвія и тишины, которое едва ли не вдохно-
вило польскаго поэта, кончается не размышленіемъ о пре-
ходящихъ суетахъ міра, а слѣдующимъ простодушнымъ замѣча-
ніемъ: «Однакоже не лучше ли, какъ говорятъ добрые люди, по-
молиться Богу да лечь спать...» VI сонетъ сохранился въ «альбо-
мѣ» Мошинскаго. Слѣдовательно, онъ былъ написанъ, вѣроятно, въ
Крыму, а въ такомъ случаѣ, какъ указано выше, книжка Муравьева

у Мицкевича была съ собой во время путешествія. Къ такому выводу приводитъ изученіе и другихъ сонетовъ. Если же это такъ, становится понятнымъ возникновеніе въ связи съ описаніями «Путешествія по Тавриду» и такихъ сонетовъ о Бахчисараѣ, которые, *вѣроятно*, были записаны позже и въ альбомъ Мошинскаго уже не попали. Таковъ — «Бахчисарай ночью», при лунномъ свѣтѣ, въ облачную ночь, описанный въ такую же самую пору перомъ русскаго путешественника. Въ этомъ сонетѣ Мицкевичъ, можно сказать, слишкомъ усердно «наводилъ» восточный колоритъ при помощи арабскихъ словъ, которыя пришлось объяснять въ примѣчаніяхъ. Плодъ «ученой поэзіи», для которой потребовался цѣлый аппаратъ (Collectanea Сенковскаго, арабская хрестоматія Де-Саси, сборникъ Гаммера), едва ли былъ созданіемъ непосредственнаго впечатлѣнія. Искусственность его идетъ въ ущербъ художественности. «Расходятся изъ *джамидовъ* благочестивые жители, эхо *изана* замираетъ въ тихомъ вечернемъ воздухѣ, заря застыдилась румянымъ лицомъ, серебряный король ночи спѣшитъ отдохнуть около возлюбленной. Въ гаремѣ небесъ блестятъ вѣчные свѣтильники звѣздъ, среди нихъ по сапфировому простору плыветъ одно облако, словно сонный лебедь на озерѣ; грудь его бѣла, а края окрашены золотомъ. Здѣсь падаетъ тѣнь отъ *минарета* и вершины кипариса, дальше чернымъ кругомъ стоятъ гранитные гиганты, словно дьяволы, сидящіе въ *диванѣ Эльблиса*, подъ шатромъ мрака; иногда на ихъ вершинахъ рождается молнія, съ поспѣшностью *фариса* она перелетаетъ молчаливыя пространства лазури». Мицкевичъ считалъ нужнымъ объяснить читателямъ, что *джамидъ* — мечеть, *изанъ* — призывъ муэдзина, *Эльблисъ* — люциферъ магометанъ и *фарисъ* — рыцарь у арабовъ-бедуиновъ.

Слѣдующій сонетъ посвященъ могилѣ Потоцкой. Полякъ-поэтъ, такъ неожиданно нашедшій въ чужой странѣ могилу соотечественницы, долженъ былъ испытать странное чувство: вѣдь и онъ попалъ въ эту столицу Гиреевъ не добровольно, и онъ тоскуетъ по родинѣ, какъ тосковала она. Трудно представить себѣ, чтобы это стихотвореніе явилось плодомъ позднѣйшей рефлексіи, а между тѣмъ и отсутствіе его въ альбомѣ Мошинскаго, и ссыла на Пушкина скорѣе указывали бы именно на сравнительно позднее возникновеніе сонета. «Въ странѣ весны, среди роскошныхъ садовъ, ты увяла, юная роза!.. Ибо мгновенія про-

текшаго, улетая отъ тебя, какъ золотые мотыльки, заронили въ глубину сердца червь (червей, *owady*) воспоминаній. Туда на сѣверъ, къ Польшѣ, тянутся сіяющія громады звѣздъ. Почему же такое множество ихъ сверкаетъ на этомъ пути? Не взоръ ли твой, исполненный огня, выжегъ блестящія слѣды, вѣчно летя туда, пока не угасъ въ могилѣ! Полька! Я такъ же закончу свои дни въ одинокой тоскѣ. Пусть здѣсь пріязненная рука броситъ мнѣ горсть земли. Путники часто бесѣдуютъ у твоей могилы, и меня *тогда* разбудитъ звукъ родной рѣчи, и поэтъ, замышляя одинокую пѣсню о тебѣ, увидитъ близкую могилу и запоетъ для меня». Последнія строки, по меньшей мѣрѣ, неясны: *когда* поэта разбудитъ звукъ родной рѣчи? Почему и какую именно одинокую пѣсенку (*samiotną piósnkę*) поэтъ будетъ «думать» о Маріи? Насколько просты первыя обращенія къ Потоцкой, настолько же представляются искусственными три последнія строки («Путники» и т. д.). Не указываетъ ли это на ихъ позднѣйшее происхожденіе?

Издатель «Крымскихъ сонетовъ» В. Брухнальскій отмѣтилъ, что слѣдующій (IX) сонетъ «Могилы гарема» представляетъ зависимость отъ книжки Муравьева-Апостола и что врядъ ли онъ былъ написанъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ. Въ примѣчаніи Мицкевичъ повторилъ описаніе своего русскаго источника, но при этомъ сдѣлалъ любопытное измѣненіе, указывающее на его стремленіе къ романтически страшному. Муравьевъ-Апостоль упоминаетъ, что на нѣкоторыхъ гробахъ уцѣлѣли куски чернаго сукна («не на многихъ только остались лоскутки чернаго сукна»). Это была обивка («теперь однѣ голыя доски»), а не саваны покойниковъ. Но Мицкевичъ превратилъ эти лоскутки сукна въ «куски савана» (*szmaty safiny*), хотя Муравьевъ-Апостоль ясно говоритъ, что въ гробахъ этихъ никогда покойники не лежали. «Пустые гробы, означающіе *мѣста*, гдѣ сокрытъ прахъ Гиреевъ, *предпочтительнѣе каменный сводъ небесному* и ограду открытой пивѣ Божьей». Едва ли соответствуетъ духу сонета и его форма: «Мирза-пелигриму»: мирза, мусульманинъ, не могъ бы высказывать такіа чувства, которыя естественно приходили въ голову людямъ съ другой культурой и другими воззрѣніями на бракъ, напр., Муравьеву-Апостолу. II, какъ въ сонетѣ «Бахчисарай ночью», *couleur locale* усиленно подчеркивается обиліемъ замысловатыхъ сравненій. По сравненіи съ простотой и свѣжестью перваго сонета

та «Бахчисарай», сохранившагося въ альбомѣ Мошинскаго, эти сонеты, не вошедшіе въ него, отличаются обиліемъ литературности и рефлексій. «Здѣсь взяты на столъ Аллаха изъ винницы любви незрѣлыя грозди; здѣсь гробъ, раковина вѣчности, унесъ на свое мрачное лоно, вырвавъ изъ моря наслажденій и счастья, молодыя жемчужинки Востока. Скрыла ихъ завѣса забвенія и времени; надъ ними холодный тюрбанъ блеснить среди сада, точно бунчукъ войска и тѣней, и только въ самомъ низу остались имена, вырѣзанныя рукою гяура. О, вы, райскія розы! У потока чистоты и подъ листьями стыда отцвѣли ваши дни, навѣки скрытые отъ невѣрнаго глаза. Теперь вашу могилу позорить взглядъ чужеземца... Прости мнѣ, о, великій пророкъ, я позволяю ему! Онъ, единственный изъ чужеземцевъ, смотрѣлъ со слезами». На этомъ сонетѣ заканчивается группа, посвященная Бахчисараю. Отсюда Мицкевичъ проѣхалъ черезъ Севастополь въ Балаклаву и изъ Балаклавы верхомъ, на татарской лошади, черезъ Киркенисъ, Ялту, Аю-Дагъ, Алушту на Чатырь-Дагъ и оттуда черезъ Чуфуть-Кале въ Бахчисарай. Однако порядокъ сонетовъ не соответствуетъ маршруту: за бахчисарайскими сонетами слѣдуетъ уже приведенный выше сонетъ «Байдары». Байдарская долина лежитъ на пути изъ Севастополя въ Ялту, и сонетъ находится на соответствующемъ мѣстѣ. Но далѣе слѣдуетъ описаніе Алушты (днемъ и ночью), затѣмъ Чатырь-Дагъ, Чуфуть-Кале. Все это не нарушаетъ маршрута, но совершенно вырываются изъ него три послѣдніе сонета: «Гора Кикинейс», «Развалины замка въ Балаклавѣ», «Аю-Дагъ», возвращающіе насъ то въ окрестности Севастополя, то къ Ялтѣ. Они и поставлены на конецъ, составляя какъ бы приложение къ послѣдовательному описанію путешествія *).

Алушта имѣла въ то время иное значеніе для путешественниковъ, чѣмъ теперь: юго-западный берегъ Крыма былъ мало населенъ, ни Алушка, ни Ялта еще не привлекали къ себѣ туристовъ; Алушта была первымъ мѣстомъ для нихъ «въ обѣтованномъ краю Тавриды: на южномъ берегу». Съ какимъ восторгомъ говоритъ о ней Муравьевъ-Апостоль: «Стѣна между мною и сѣверомъ. Пускай за нами бунтуютъ чада Бореевы; здѣсь царствуетъ По-

*) По мнѣнію Б. Брухнальскаго, сонеты I—X идутъ въ направленіи отъ Симферополя къ морю (до Байдаръ), а съ XI—XVII въ обратномъ направленіи. Однако и это объясненіе не разъясняетъ всѣхъ недоумѣній.

мона. Давно я такъ не наслаждался, какъ теперь; давно такъ сильно не волновалось сердце во мнѣ отъ сладкаго ощущенія бытія, посреди роскошной природы». Надо прочесть страницы, посвященные Муравьевымъ Алуштѣ и природѣ южнаго берега Крыма, чтобы понять то настроеніе, въ какое тогдашнихъ туристовъ приводилъ этотъ городокъ. Мицкевичъ описываетъ «Алушту» днемъ и вечеромъ, но о самой Алуштѣ здѣсь нѣтъ ни слова. Это восторженное описаніе южнокрымской природы, съ которой онъ познакомился близко въ Алуштѣ. Байдары такого настроенія не вызвали. «Это одно изъ самыхъ роскошныхъ мѣстъ Крыма», восклицаетъ поэтъ въ объясненіи къ сонетамъ объ Алуштѣ: «Туда ужъ сѣверные вѣтры никогда не доходятъ, и нерѣдко путешественникъ въ ноябрѣ ищетъ холода подъ тѣнью огромныхъ грецкихъ орѣховъ, еще зеленыхъ». Тѣмъ же настроеніемъ окрашены эти сонеты, которыхъ въ «Альбомѣ» Мошинскаго нѣтъ. Вѣроятно, въ Алуштѣ Мицкевичъ былъ въ ту пору, когда море у береговъ ея свѣтится фосфорическимъ блескомъ. Вѣроятно, это было во второй половинѣ сентября.

«Гора уже стряхиваетъ съ груди туманные халаты, утреннимъ намазомъ шумитъ золотокошная нива, кланяется лѣсъ и сыплеть изъ майскихъ волосъ, какъ изъ четокъ халифа, рубины и гранаты». Такими смѣлыми сравненіями и эпитетами Мицкевичъ начинаетъ описаніе «Алушты днемъ». Вл. Брухнальскій указываетъ, что нѣкоторые изъ этихъ образовъ ему дала восточная поэзія въ переводахъ Гаммера *). Но халаты тумана, которые гора стряхиваетъ, майскіе волосы лѣса производятъ впечатлѣніе искусственности, придуманности именно по сравненію съ тѣми восточными стихотвореніями, которыя могли внушить Мицкевичу его картины. Вотъ, напр., описаніе дня у Хаджи Хальфа (Hammer. 278): «Когда на темныхъ волнахъ ночи показалась серебряная полоса утренней зари, поднявъ бѣлыя, какъ слоновою костью, волны воротника (der Halskrause) Востока, когда *разстѣлось отъ вѣтра* (sich lüftete) темное фіолетовое покрывало, скрывавшее прекрасное лицо міра, завѣса тьмы поднялась со всѣхъ сторонъ, и свѣтлое лицо вселенной скинуло покровъ табачнаго

*) „Als nun der Morgen Licht verstreut Und feurigen Rubinstaub, Als er aufschloss den Schatz der Welt, den Berg mit gold'nen Stoff bekleidet“, или „Als der Tag mit krystallner Hand... von dem Saume des grünen Himmels gewölbes... Korallen und Perlen ausstroute“...

цвѣта; когда день кристальной рукой разорвалъ лотосоцвѣтную нить неба и съ края зеленого небеснаго свода рассыпалъ прозу и стихи, т.-е. кораллы и перлы; когда были отломаны серебряные кольца (звѣзды) голубого небеснаго шатра и перомъ свѣта были начертаны на таблицѣ неба серебряныя линіи; когда пышащее бѣлымъ пламенемъ дыханье времени запалило огонь на темномъ лицѣ воздуха и зажгло бронзоваго ворона ночи, раздувъ пламя мѣхами эфира» и т. д. Мы видимъ, что одушевленными предметами являются здѣсь свѣтъ, вѣтеръ, время и т. под., но не гора, не лѣсъ. Нива, привѣтствующая Бога, — образъ христіанской поэзіи, болѣе близкій «Шестодневу» Василия Великаго, нежели арабамъ. Во всякомъ случаѣ, не входя въ дальнѣйшій разборъ образовъ Мицкевича, я хотѣлъ бы подчеркнуть на указанныхъ примѣрахъ, что этотъ «восточный колоритъ» крымскихъ сонетовъ иногда переходитъ за границу художественности. Вернемся къ сонету. Послѣ этого архи-восточнаго описанія разсвѣта мы ожидали бы такого же продолженія. Ничуть не бывало: нарушая уже сложившееся у читателя отъ первыхъ строкъ настроеніе, поэтъ обращается къ нему съ *европейскими* образами и байроническими мотивами. «Весь лугъ въ цвѣтахъ: надъ лугомъ летающіе цвѣты, разноцвѣтныя бабочки, точно лента радуги; балдахиномъ изъ брилліантовъ они покрыли небеса; а дальше саранча растягиваетъ свой крылатый саванъ, а тамъ, гдѣ въ воды заглядываетъ лысая скала, море кипитъ и отверженное (odparte) стремится съ новыми силами, и въ шумѣ его играетъ блескъ, какъ въ глазахъ тигра, предвѣщая краю земли еще болѣе страшную бурю, а вдали (na głębinie) слегка колеблется волны, и въ ней купаются корабли и стада лебедей». Ночной пейзажъ написанъ въ болѣе мягкихъ тонахъ. У того же персидскаго поэта, подъ влияніемъ котораго Мицкевичъ находился въ сонетѣ «Алушта днемъ», есть и описаніе ночи. Но подражанія ему польскій поэтъ счастливо избѣгъ; вмѣсто набора сравненій и эпитетовъ, онъ сосредоточилъ настроеніе въ душѣ человѣка, давъ ему ту интимность, которая отличаетъ европейскую поэзію отъ красочной вѣншей поэзіи Востока. «Уже горы почернѣли, въ долинахъ глухая ночь; точно сквозь сонъ шепчуть ручьи на шелковомъ ложѣ; дышащій благоуханіемъ, этой музыкой цвѣтовъ, воздухъ что-то говоритъ сердцу голосомъ, тайнымъ для слуха. Я засыпаю подъ крыльями тишины и мрака!»

Послѣ Алушты слѣдуетъ описаніе опять въ восточномъ вкусѣ, вложенные въ уста мирзы, горы Чатырь-Дага. У Гаммера Мицкевичъ, кажется, не нашель образца для описанія высокой горы. Благодаря этому сонетъ, написанный едва ли въ Крыму, представляется гораздо болѣе проникновеннымъ, чѣмъ чисто внѣшнія описанія, какія мы находимъ у Гаммера. «Великій Чатырь-Дагъ, мачта крымскаго корабля, минареть свѣта, падишахъ горъ!» такъ обращается къ этой горѣ мирза. Благоговѣніе его возбуждается вѣчной неподвижностью горы. «Ты постоянно глухъ и неподвиженъ; между свѣтомъ и небомъ точно толкователь (драгоманъ) мірозданія ты сидишь, разостлавъ у своихъ ногъ земли, людей и горы, и только внимаешь тому, что Богъ говоритъ природѣ». Ближайшая связь существуетъ между сонетомъ XV «Дорога надъ пропастью въ Чуфуть-Кале» и книгой Муравьева-Апостола. Сонетъ записанъ въ альбомѣ Мошинскаго, и этотъ фактъ даетъ лишнее подтвержденіе предположенію, что у Мицкевича во время путешествія была съ собою книжка Муравьева-Апостола. Генезисъ сонета, о которомъ я уже говорилъ выше, представляетъ нѣкоторые спорные пункты. Гора Кикинейсъ и Чуфуть-Кале слились въ одинъ горный пейзажъ; положеніе Чуфуть-Кале («сія жидовская крѣпость лежитъ прямою дорогою версты три отъ Бахчисарая, на высокой каменной горѣ») объясняетъ, почему этотъ сонетъ попалъ за описаніе Чатырь-Дага и Алушты. Стоитъ прочесть въ книжкѣ Муравьева описаніе его поѣздки въ Чуфуть-Кале (стр. 125—127) и Кикинейсъ (165), чтобы понять, почему Мицкевичъ соединилъ эти два горные пейзажа въ одинъ. «Мы пустились верхомъ: это былъ первый опытъ странствованія нашего по горамъ и первое знакомство съ татарскими лошадами. Выѣхавъ изъ города на востокъ по правому краю лоцины и поднявшись до половины горы, мы принуждены были оставить лошадей, по невозможности ѣхать выше верхомъ... Возвратившись къ мѣсту, гдѣ остались лошади наши, мы поѣхали по тропинкѣ, въ полгоры надъ пропастями извивающейсея, и тутъ уже узнали, что можно полагаться на твердость ногъ татарскаго коня» (125—127). «Сколько я ни наглядѣлся на пропасти, сколько ни увѣрился въ надежности татарскихъ лошадей, не менѣе того сердце во мнѣ содрогалось отъ ужаса, когда случалось, что коню моему надобно было переступить съ камня на камень, надъ самую стремінную, такъ что, если бы онъ только оступился,

не говорю уже споткнулся, то не было бы спасенія ни ему, ни всаднику. Особливо и выше всякаго описанія ужасенъ уголь каменной горы, который объѣзжается у самаго моря. Скалы на скалѣ заграждаютъ путь; страшные ихъ обломки висятъ надъ головою и на каждомъ шагу грозятъ страннику участію Титановъ. Лошадь отъ страха останавливается, озирается, высматриваетъ, гдѣ бы вѣрнѣе ступить; иногда, по нѣкоторомъ размышленіи, не находя способа итти, слагаетъ накрестъ переднія ноги, садится на заднія и такимъ образомъ, можно сказать, не спускается, а съѣзжаетъ подъ гору. Здѣсь мѣсто усеяно мелкими камнями, катящимися въ пропасть на каждомъ шагѣ трепетно ступающаго коня: это обломки скалы, слетѣвшей съ вершины Яйлы и отъ удара разсыпанной на дробныя части. Тамъ ужасная громада, какъ будто чудесною какою силою на покаты остановленная, виситъ — и ожидаетъ единого дуновенія бури, чтобы довершить неоконченное паденіе свое... О, роковое страшилище, помедли. Не о себѣ молю тебя...» (165 — 167). Послѣ этихъ словъ намъ легко представить себѣ то впечатлѣніе, какое горная поѣздка произвела на жителя равнинъ, поэта. Два горные пейзажа, объединенные общимъ настроеніемъ, даны подъ именами двухъ мѣстностей, которыя произвели такое сильное впечатлѣніе и на Муравьева: сначала Чуфуть - Кале, потомъ Кикинейсь, хотя Кикинейсь лежитъ близъ Сименза, а Чуфуть-Кале около Бахчисарая. Оба сонета написаны въ альбомѣ Мошинскаго рядомъ, и оба носятъ названіе: «Надъ пропастью». Въ послѣднемъ особенно много отличій отъ печатнаго варианта; отличія эти указываютъ, какъ тщательно надъ подборомъ характерныхъ чертъ работалъ Мицкевичъ. «Скажи молитву, брось поводья, отврати лицо; здѣсь наѣздникъ ввѣрляетъ свой разумъ конскимъ ногамъ. Чудный конь! Смотри, какъ онъ стоитъ (*вар.* дрожить, думаетъ), измѣряетъ глазомъ глубину, становится на колѣни (*Муравьевъ*; слагаетъ накрестъ переднія ноги, *вариантъ*: прыгаетъ), хватается за берегъ обрыва копытомъ (*вар.*: хватается копытомъ за десятую ступеньку) и повисъ. Туда не смотри. Взоръ, упавшій туда, какъ въ колодець Аль-Каира (*вар.* Каира), не достигаетъ дна, и рукой туда не показывай, нѣтъ перьевъ у рукъ, и мысли туда не опускай, ибо мысль, какъ якорь, брошенный въ неизмѣримую глубину съ мелкой ладью, упадетъ, какъ молнія, не произить моря до дна, но потянетъ съ собою и лодку въ бездны хаоса».

Но пилигримъ отвѣчаетъ мирзѣ: «Но я заглянулъ! Сквозь расщелины міра я видѣлъ тамъ... Что видѣлъ, я скажу послѣ смерти, потому что нѣтъ для этого звуковъ (голоса) на языкѣ живущихъ».

Другой сонетъ получилъ въ окончательной обработкѣ характеръ монолога мирзы, но въ записи альбома онъ представляетъ діалогъ. Пилигримъ (*мусульманскій* пилигримъ, которому мирза велитъ молиться) задаетъ вопросы о томъ, что виднѣется вдали, проводникъ поправляетъ его ошибки: «это не мухи, а орлы» и т. п. Не было въ первой редакціи и восточнаго колорита («горы-птицы» арабскихъ сказокъ). Въ окончательной обработкѣ сонетъ влагаетъ въ уста мирзы такую рѣчь: «Загляни въ пропасть! Небеса, лежащія внизу, — то море. И среди волнъ, чудится, птица-гора, убитая громомъ, распустила свои громадныя (мачтовыя, *masztowe*) перья кругомъ, болѣе широкимъ, чѣмъ полукругъ радуги, и накрыла островомъ снѣга голубое поле водъ. Этотъ островъ, плавающий въ безднѣ, — туча! Отъ груди ея на полміра падаетъ темная ночь. Видишь ли пламенную ленту на челѣ ея? Это молнія. — Стой! Подъ ногами бездны. Мы должны взлетѣть наверхъ во весь карьеръ. Я скачу, а ты, держа наготовѣ бичъ и шпоры, когда я пропаду изъ глазъ, смотри на тѣ края скалъ. Если тамъ блеснетъ перо, это будетъ мой шлемъ (кофрак). А если нѣтъ, никогда уже людямъ не ѣздитъ по этой дорогѣ».

Въ концѣ этихъ сонетовъ, внѣ прямой связи съ маршрутомъ стоятъ послѣдніе, посвященные крымскимъ пейзажамъ. Въ одномъ изъ нихъ воспѣты «развалины замковъ въ Балаклавѣ». Предшественникъ Мицкевича въ описаніи Крыма, Муравьевъ-Апостоль, попавъ въ Севастополь и Балаклаву, погрузился въ археологическія изысканія, которыя мало могли помочь воображенію поэта. Но самыя развалины крѣпости навѣвали столько мыслей, создавали такое настроеніе, что впечатлѣніе отъ поѣздки въ Балаклаву глубоко запало въ душу Мицкевича. Результатомъ этого былъ сонетъ, написанный, можетъ быть, позже, такъ какъ въ альбомѣ Мошинскаго его нѣтъ. Восточный колоритъ здѣсь отсутствуетъ; зато въ первый и единственный разъ въ «Крымскихъ сонетахъ» здѣсь нашла себѣ мѣсто классическая струя, и въ этомъ, пожалуй, отразилось вліяніе книги Муравьева. «Эти замки, повергнутые въ беспорядочныя развалины, когда-то охраняли и украшали тебя, о, неблагодарный Крымъ. Теперь они торчатъ на горахъ, какъ гигантскіе черепа;

въ нихъ живутъ змѣи и люди, которые хуже змѣй. Поднимемся на башню. Я ищу слѣдовъ гербовъ; есть и надпись; здѣсь, можетъ быть, имя героя, которое было когда-то ужасомъ для войскъ, дремлетъ въ забвеньѣ, обвитое, какъ червь, листомъ винограда. Здѣсь грекъ выбивалъ долотомъ въ стѣнахъ аѳинскія украшенія; отсюда итальянецъ возлагалъ оковы на монголовъ, здѣсь путникъ, пришедшій изъ Мекки, пѣлъ пѣснь намаза. А теперь вокругъ могилъ летаютъ коршуны, махая черными крыльями. Такъ надъ городомъ, вымершимъ отъ заразы, вѣчно развиваются на башняхъ траурные флаги». Въ примѣчаніи къ этому сонету Мицкевичъ опять повторяетъ Муравьева.

Сонетъ «Аю-Дагъ» долженъ былъ занять свое мѣсто въ концѣ сонетовъ по логическому смыслу. Въ вѣчномъ стремленіи къ одному идеалу поэтъ оправдывался самъ передъ собой, когда вмѣсто лиры «народнаго вѣтїи» бралъ арфу пѣвца любви и красоты. Свои эротики Мицкевичъ закончилъ сонетомъ «Оправданіе», въ которомъ бросилъ въ глаза современникамъ — «толпѣ ровесниковъ», что они не способны внимать высокимъ призывамъ поэзіи. Вѣдь они упрекали его: «развѣ на то боги дали ему вѣщій голосъ, чтобы только о себѣ онъ пѣлъ въ каждой думѣ». И тогда поэтъ схватилъ «алкейскій бардонъ» и заигралъ «на ладъ Урсина» (т.-е. Нѣмцевича). И что же? «Разсыпались въ разныя стороны всѣ друзья (саѳа дружина), унося удивленный слухъ. И я обрываю струны, въ Лету кидаю глухой бардонъ. Таковъ поэтъ (wieszcz), каковъ слушатель. Но придетъ часъ...» Неуспѣхъ «Гражины» также огорчилъ Мицкевича, но вѣры въ высшее назначеніе поэта онъ не утратилъ, и опять къ оссіановскому «бардону» онъ возвращается въ послѣднемъ крымскомъ сонетѣ. Среди праздної жизни, вдали отъ своихъ, лишенный возможности страдать и бороться вмѣстѣ со своими, но все болѣе чувствуя себя призваннымъ вождемъ народа, его Тиртеемъ, Мицкевичъ долженъ былъ въ глубинѣ сердца сильно тосковать и сильно ненавидѣть. Ему не хотѣлось жить такъ, какъ складывалась жизнь, а новаго пути онъ еще не выяснилъ себѣ. Въ смыслѣ настроенія горные сонеты представляютъ одно мятежное чувство: радость опасности и одно печальное успокоеніе: преходящестъ всего земнаго, которое такъ ничтожно передъ величіемъ природы. Восточная мудрость давно поняла это, и она влекла къ себѣ Мицкевича.

На вершинахъ горъ челоуѣкъ всегда испытыааетъ особый душевный подъемъ. Сонетъ «Аю-Дагъ» именно своимъ подъемомъ даетъ логическое заключеніе крымскимъ переживаніямъ поэта. «Летимъ дальше»: можно бы поставить эпитафіомъ къ нему. Муравьевъ-Апостоль былъ тоже на Аю-Дагѣ. Онъ сдѣлалъ здѣсь весьма правдоподобное наблюденіе, что гора Аю-Дагъ, отдаленная отъ Кучукъ-Лабмата на 24 версты, есть древній «Бараній лобъ», Кримутопонъ, удаленный отъ Лампаса на 120 стадій, и это открытіе такъ воодушевило нашего ученаго соотечественника, что онъ позабылъ даже полюбоваться видомъ моря, раскрывающимся съ горы. Мицкевичъ остался равнодушенъ къ ученому энтузіазму своего предшественника. Море внушило ему инныя мысли. Обычное поэтическое сравненіе моря съ душой челоуѣка приняло подъ его перомъ своеобразіе, которое дается лишь глубокимъ чувствомъ. Около Аю-Дага, на дачѣ Артекъ, Мицкевичъ провелъ нѣсколько времени. Такимъ образомъ, не мгновенное впечатлѣніе, а устоявшееся прочное настроеніе, навѣянное долгимъ созерцаніемъ, говоритъ устами поэта въ этомъ сонетѣ. «Высоко поднявшись на скалу Ю-Дага (Аю-Дага), я люблю смотрѣть, какъ пѣнящіеся валы то высоко взмечаются, сомкнувшись черными рядами, то чередуются (колуја) великолѣпно, подобные серебрянымъ снѣгамъ милліонами радугъ; они ударяются объ отмель, разбиваются на волны, словно войско китовъ, осаждающее берега. Съ триумфомъ они завоевываютъ сушу и бѣгутъ назадъ, оставляя за собой раковины, жемчугъ и кораллы. Такъ и въ твоемъ сердцѣ, о, поэтъ, часто подымаетъ страсть грозныя бури; но когда ты поднимешь бардонъ, она, не коснувшись тебя, бѣжитъ, чтобы погрузиться въ бездны забвенія, а послѣ себя она оставляетъ, роя, безсмертныя пѣсни, изъ которыхъ вѣка сплетутъ вѣнецъ твоему челу».

Какъ не случайно этотъ сонетъ занялъ послѣднее мѣсто, такъ же не случайно на первое попалъ сонетъ, который былъ написанъ раньше крымской поѣздки, такъ какъ относился къ пейзажу, который Мицкевичъ увидѣлъ еще весной. Это были степи около Одессы, которыя поэтъ проѣзжалъ на пути въ Аккерманъ, гдѣ жилъ одинъ изъ его виленскихъ знакомыхъ. Въ хуторѣ богатаго помѣщика Мархоцкаго, сопровождавшаго Мицкевича, и былъ набросанъ этотъ сонетъ; альбомъ Мошинскаго сохранилъ двѣ редакціи его. Это было время, когда поэтъ, еще не зна-

комый съ пейзажами Крыма, тосковалъ по Литвѣ, и самая поѣздка была связана съ виленискими воспоминаніями. Тоска по родинѣ и отразилась въ немъ особенно живо. И именно эта тоска, которая напоминала Мицкевичу о великомъ поприщѣ, выбранномъ имъ, соотвѣтствуетъ заключительнымъ аккордамъ «Крымскихъ сонетовъ». Литва зоветъ его на великое служеніе, страсти и красоты чужой природы поглощаютъ его сердце, но все исчезаетъ, когда голосъ долга призываетъ къ дѣлу. Между «Аккерманскими степями» и «Аю-Дагомъ» лежитъ внѣшнее и временное, внутренній Мицкевичъ заключенъ въ этихъ двухъ сонетахъ. Самымъ расположеніемъ стихотвореній поэтъ хотѣлъ напомнить, что его «часъ придетъ», что Литва не ушла изъ его сердца, а пока пусть на славу ей служатъ «безсмертныя пѣсни», которыя плетутъ вѣнецъ вѣчности ея поэту. Первый набросокъ, сохранившійся въ альбомѣ Мошинскаго, показываетъ, что первое чувство, охватившее поэта въ степяхъ, была тоска по Литвѣ. Но строки, посвященныя ей и вошедшія въ позднѣйшій набросокъ и въ окончательную отдѣлку сонета, были сначала зачеркнуты. На первый планъ выдвинулась нѣга: «я дремлю въ... (зачеркнуто); какъ хорошо дремать, смотрѣть и прислушиваться вокругъ (оставлено); способный чувствовать одновременно прелесть сна и бдѣнія (зачеркнуто), полусонный, способный полу-наяву чувствовать и грезить (оставлено; *Senny i czujny rozem, czuie i marzyc zdolny*)... Потомъ все эти стихи о сладкой дремотѣ, которая охватила поэта въ степяхъ, были уничтожены. Мѣсто «наслажденія сна и бдѣнія въ одно время» (*roskosz snu i czuwania zarazem*) заняло жгучее чувство тоски. Тишина только содѣйствуетъ внутреннему сосредоточенію, и въ окончательной редакціи сонета, которую представляетъ уже почти цѣлкомъ второй набросокъ, сохранившійся въ альбомѣ, подобраны все тѣ впечатлѣнія, которыя усугубляютъ это настроеніе тишины. Въ переводѣ кн. Вяземскаго этотъ сонетъ гласитъ такъ: «Вилыя на пространство сухого океана, колесница (во второй редакціи была «почтовая ладья») ныряетъ въ зелени и, какъ лодка, зыблется; среди волнъ шумящихъ нивъ, среди разлива цвѣтовъ минуя багряные острова бурьяна. Уже сумракъ нисходитъ. Нѣтъ ни стези, ни кургана; смотрю на небеса, ищу звѣздъ, путеводительницъ ладьи. Тамъ вдали блещетъ облако? Тамъ денница виходитъ? Нѣтъ, то блещетъ Дифстръ, то загорѣлся маякъ аккерманскій! Остановимся!

Какъ тихо. Слышу, какъ тянутся журавли, которыхъ не достигнута бы взоръ сокола, слышу, какъ мотылекъ колышется на травѣ, какъ змѣя дотрогивается до растений скользкой грудью. Въ этой тиши такъ напрягаю ухо любопытное, что могъ бы услышать голосъ съ Литвы... Ёдемъ, никто не зоветъ!»

Отъ тишины степей къ тишинѣ моря. Три морскіе пейзажа даетъ Мицкевичъ въ «Крымскихъ сонетахъ»: штиль на морѣ, буря, попутный вѣтеръ. Байронизму Лермонтова: «а онъ мятежный ищетъ бури, какъ будто въ бурѣ есть покой» литовскій поэтъ былъ чуждъ. Онъ радовался не бурѣ, а быстрому движенію судна, которое поднимало въ немъ душу. А въ бурю онъ испытывалъ чувство одиночества и ненужности своей: о немъ некому вспомнить, и ему нечего терять. И та же тоска вшивалась когтями въ его сердце, когда на морѣ была полная тишина, когда все, казалось, дремало. Восточнаго колорита въ этихъ сонетахъ нѣтъ, и къ Крыму они имѣютъ далекое отношеніе: развѣ только то, что были написаны подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ морского путешествія къ крымскимъ берегамъ. Два сонета сохранились въ альбомѣ Мошинскаго, но и на третій здѣсь есть прямое указаніе: около сонета «Буря» приписка: «см. сонетъ: «Тишь—на высотѣ Кики (нейса?)». Кики-нейсъ здѣсь какъ будто не на мѣстѣ; мимо него Мицкевичъ не проѣзжалъ на кораблѣ; въ печатной редакціи приписка иная: «На высотѣ Тарканхута». Тарканхутъ — это мысъ на Крымскомъ полуостровѣ по дорогѣ изъ Одессы въ Евпаторію. Здѣсь полуостровъ выступаетъ рѣзкимъ угломъ въ море. Это одно изъ самыхъ бурныхъ мѣстъ на переѣздѣ изъ Одессы въ Крымъ. Странно, что именно оно попало въ сонетъ, воспѣвшій «Морскую тишь». Привожу эти сонеты въ собственномъ переводѣ. *Морская тишь*. «Едва колеблетъ уже вѣтеръ ленту вымпела; тихой грудью играетъ разъяснившаяся вода. Такъ молодая невѣста, грезя о счастіи, проснется, чтобы вздохнуть, и сейчасъ же заснетъ опять. Паруса, точно знамена, когда окончена война, дремлютъ на голыхъ мачтахъ; легкимъ движеніемъ колеблется корабль, точно прикованный цѣпью; матросы отдохнули, кружокъ путешественникъ развеселился. О, море, среди твоихъ веселыхъ жителей (żujatek, слово Трембескаго) есть поликъ, который спитъ на днѣ, когда небо хмурится, а во время затишья вытягиваетъ свои длинныя лапы. О, мысль! въ твоей глу-

бинѣ есть гидра воспоминаній; она спитъ во время преслѣдованій судьбы и бури страстей, а когда сердце спокойно, вонзаетъ въ него когти». *Поѣздка по морю* (Żegluga). «Шумъ все сильнѣе, все чаще снуютъ морскія чудовища; матросъ взбѣжалъ на лѣстницу. Готовьтесь же, дѣти! Взбѣжалъ, растянулся, повисъ въ невидимой сѣти, точно паукъ, притаившійся, чтобы накинуть петлю. Вѣтеръ! Вѣтеръ! Надувается судно, срываясь со своей привязи, наклоняется, ныряетъ въ пѣнистыхъ сугробахъ, поднимаетъ шею. Вотъ оно растоптало волну и летитъ сквозь небеса, разсѣкаетъ челомъ облака, подъ свои крылья хватается вѣтеръ. И мой духъ, какъ мечта, несется среди хаоса, вздымается воображеніе, какъ космы этихъ парусовъ. Невольный крикъ вырывается изъ устъ, присоединяясь къ общему веселью; я вытягиваю руки, падаю на грудь корабля. Кажется мнѣ, что моя грудь гонитъ его скорѣе впередъ: легко мнѣ, свободно, любо! Я знаю, какъ это быть птицей!» *Буря*. «Паруса сорваны, руль лопнулъ, ревъ водъ, вой бури, голоса встревоженнаго общества, зловѣщіе стоны помпъ; послѣдніе канаты вырвались изъ рукъ; солнце заходитъ кровавымъ свѣтомъ, а съ нимъ и послѣдняя надежда. Вихрь взвылъ съ триумфомъ, а на влажныя горы, громоздящаяся въ нѣсколько уступовъ изъ морской бездны, взошелъ геній смерти; онъ двинулся къ кораблю, какъ солдатъ, прокладывая путь въ низверженныя стѣны. Одни лежатъ полумертвые, тотъ ломаетъ руки, другой бросается, прощаясь, въ объятія друзей; одни молятся передъ смертью, другіе надѣются прогнать молитвой смерть. Лишь одинъ путешественникъ сидѣлъ въ сторонѣ и молча думалъ: счастливъ тотъ, кто лежитъ безъ сознанія, или умѣетъ молиться, или у кого есть, съ кѣмъ проститься».

Такимъ образомъ, подводя итоги настроеніямъ «Крымскихъ сонетовъ», можно сказать, что Мицкевичъ началъ свое путешествіе съ безнадежной тоской. Никто не звалъ его съ Литвы, вокругъ него не было никого родного и близкаго; «прекрасныя женскія лица» не могли изгнать изъ сердца безнадежной тоскливой любви. Горы и быстрая поѣздка по морю освѣжили поэта: онъ летѣлъ, какъ птица, на легкомъ кораблѣ, вихремъ неся на кофѣ черезъ Байдары, спускаясь къ морскимъ волнамъ. Потомъ картины старор татарской культуры, горныя тропинки, по которымъ приходилось пробираться верхомъ съ опасностью для жизни, новыя впечатлѣнія, новыя мысли отвлекли его отъ безсильной грусти и отъ

женскаго вліянія. Пробудилась дремавшая жажда подвига, вновь заговорило въ душѣ призваніе къ высшимъ задачамъ. Съ этимъ настроеніемъ, навѣяннымъ Крымомъ, Мицкевичъ покидалъ Одессу, чтобы ѣхать въ Москву.

Польская критика не сразу отозвалась на «Сонеты». Съ марта 1827 года начали появляться рецензіи, но не въ Вильнѣ, гдѣ хранили полное молчаніе о Мицкевичѣ, а въ Варшавѣ. «Gazeta Polska», желая проявить полное безпристрастіе, стала помѣщать самые разнообразныя отзывы, и восторженныя, и суровыя, и народніи. «Помѣтивши хвалебный гимнъ, правда, написанный не слишкомъ ясно и не слишкомъ логично однимъ изъ основателемъ журнала, Маврикіемъ Мохнацкимъ, который былъ доктринеромъ польскаго романтизма, вскорѣ послѣ этого редакція напечатала отвѣтъ на этотъ гимнъ, авторъ котораго (I. K.) выражалъ удивленіе, что «къ стыду нашему» еще могутъ появляться такія статьи. Затѣмъ она дала мѣсто «Стихамъ къ Адаму Мицкевичу послѣ прочтенія его сонетовъ, изданныхъ въ Москвѣ», стихамъ, которые были составлены *Mej-r* изъ иностранныхъ словъ и особенно удачныхъ выраженій, встрѣчающихся въ Сонетахъ; вскорѣ послѣ этого она же напечатала «Стихи г. *Mej-r* послѣ прочтенія его виршей въ польской газетѣ», которые заключали въ себѣ насмѣшку надъ неудачнымъ авторомъ, и кромѣ того отдѣльную статью «По поводу стихотворенія г. *Mej-r*» (Chmielowski I, 335). Отозвались и другіе журналы: «Dziennik Warszawski» напечаталъ восторженную статью Сьротинскаго; старикъ Дмоховскій, глава варшавскихъ ложноклассиковъ, отозвался въ послѣднемъ томѣ издававшейся имъ «Biblioteka Polska». Онъ отнесся одобрительно къ произведенію Мицкевича, но такъ какъ классики привыкли въ каждомъ литературномъ созданіи находить или подражаніе, или предметъ для подражанія, то и онъ испугался за участь тѣхъ малодаровитыхъ поэтовъ, которые вздумали бы подражать Мицкевичу: имъ грозила участь вступить «на путь преувеличенія, выдуманныхъ чувствъ, надутости». То ли дѣло,—говорилъ онъ,—«Георгіики» (Ziemiaństwo) Козьмяна.

Лучше всего реформаціонное значеніе «Сонетовъ» обнаруживается въ томъ, что ихъ не поняли ни хулители, ни поклонники. Одинъ изъ вождей вымирающаго, но еще вліятельнаго и очень заносчиваго ложноклассицизма, Моравскій, увѣрялъ, что «онъ все не хвалитъ Сонетовъ, что онъ не мало мучился, пока не по-

нять ихъ, сто разъ плюнулъ, сердился, посылалъ къ чорту книжку». Онъ утверждалъ, что «только дураки могутъ ставить въ примѣръ молодымъ такую поэзію», и все-таки признавался, что считаетъ Мицкевича поэтомъ и что у него есть стихи, достойные величайшихъ поэтовъ, «но, разумѣется, эти жемчужины такъ забрызганы грязью, что ихъ едва можно замѣтить». Больше всего, однако, критику занимало, классикъ ли или романтикъ Мицкевичъ. Въ частномъ письмѣ, изъ котораго взяты эти строки, можно было говорить откровеннѣе, чѣмъ въ чопорной и важной критической статьѣ, и тутъ - то Моравскій обнаружилъ весь комизмъ своего положенія: Мицкевичъ оказался романтикомъ безъ романтизма. «Я нахожу, заявлялъ онъ, что именно въ этихъ сонетахъ Мицкевичъ повернулъ на дорогу классицизма. Вы хотите, чтобы я это доказалъ. Постараюсь. Начинаю съ того, что стиль и экзекуцію (которые суть не поэзія, но ея одежда) я всецѣло уступаю вамъ. Но когда я обращаю вниманіе на форму, я вижу, что ею пользовался классическій поэтъ Италін и что ее предписалъ Буало. Когда же я приму въ соображеніе, что мы называемъ романтическимъ характеромъ мыслей и чувствъ, я совѣмъ не вижу, чтобы онъ пробивался въ Сонетахъ Мицкевича». Приведя рядъ глубокомысленныхъ соображеній въ этомъ родѣ, Моравскій заканчиваетъ увѣреніемъ, что могъ бы привести тысячи доказательствъ, «что сонеты знаменуютъ переходъ Мицкевича отъ романтизма къ классицизму». Гораздо рѣшительнѣе былъ приговоръ старика Козьяна тоже въ частномъ письмѣ, написанномъ безъ стѣсненія: «Не знаю, что можно найти хорошаго въ сонетахъ. Все въ нихъ дрянно, подлю, грязно, темно; все можетъ быть по-крымски, по-турецки, по-татарски, но не по-польски...» Мицкевичъ самъ, по его мнѣнію, какой-то «сумасбродъ, выпущенный изъ дома сумасшедшихъ, который вопреки хорошему вкусу изрекаетъ на сумбурѣ словъ непонятнаго языка непонятныя и дикія мысли». Для Козьяна не было сомнѣнія, куда отнести автора Сонетовъ: къ классикамъ или къ романтикамъ.

Въ недоумѣніе пришли и поклонники. Мохнацкій признавался, что «въ поэзіи Адама Мицкевича обо всемъ надо догадываться». Настолько нова была манера Мицкевича говорить о своихъ чувствахъ и самая эти чувства были такъ сложны для тогдашняго поколѣнія. Поэты учатъ людей любить, раскрывая имъ душевныя силы и тайники чувства, прежде недоступныя обыкновенному чело-

вѣку. Такъ и чуткая скорбь, и страстныя проклятія, и нѣжное со-
страданіе эротики Сонетовъ были откровеніями для молодежи. Мох-
нацкій чутьемъ угадывалъ, что Сонеты создадутъ эпоху, что
они представляютъ гораздо болѣе рѣзкій разрывъ съ прошлымъ,
чѣмъ баллады, «Гражина», даже нравоучительная по замыслу
поэма «Дѣды». Сонеты открывали новое пониманіе любви, новое
отношеніе къ природѣ. «Всякія потрясенія въ литературномъ мі-
рѣ», говорилъ Мохнацкій: «въ мірѣ, гдѣ такъ долго господ-
ствовала тишина, полезны. Мицкевичъ нарушилъ эту тишину,
оказалъ вліяніе на міровоззрѣніе молодежи, и если когда-нибудь
мы будемъ имѣть оригинальную поэзію и литературу, мы бу-
демъ обязаны ими ему».

Мицкевичъ читалъ эти отзывы въ Москвѣ, когда умъ его былъ
занятъ новыми литературными замыслами. Пока публика недо-
умѣвала, а романтики и классики рвали другъ друга на клочки
изъ-за сонетовъ, поэтъ далеко ушелъ отъ эротики и отъ поэзіи
природы. Онъ опять взялъ «бардонъ» Оссіана, чтобы въ лагерѣ
враговъ спѣть страшную пѣсню мести, и только, чтобы отпихнуть-
ся отъ докучливыхъ приставаній классиковъ, бросилъ имъ въ
лицо ядовитую сатиру. Обратимся къ московскому періоду въ жи-
зни литовскаго барда. Это особенно важная эпоха въ его жизни.
Здѣсь созрѣвалъ Конрадъ, родившійся въ кельѣ Базилианскаго
монастыря. Здѣсь онъ томился въ поискахъ отвѣта: какъ спасти
свой народъ. Этотъ отвѣтъ онъ хотѣлъ дать въ «Конрадъ Валлен-
родъ», но онъ не удовлетворилъ его самого.

Библиографія къ I тому.

Къ I главѣ. Главными источниками для изученія юности Мицкевича служатъ мемуары Франциска Мицкевича, напечатанные въ книгѣ *Владислава Мицкевича Żywot Adama Mickiewicza* (t. I. 1890), и письмо Игн. Домейки къ Б. Залѣському «O młodości Mickiewicza» (*Przegląd lwowski*. 1 июля 1872 г.). Кромѣ общихъ біографій Мицкевича (*P. Chmielowski*. 2 тома, 3-е изд. 1901 г. „Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno literacki“. I. *Kallenbach*. Adam Mickiewicz. 2 тома. 1897), молодости поэта посвящено специальное изслѣдованіе проф. I. Третьяка (*I. Tretiak. Młodość Mickiewicza. 1798—1824*. 2 тома. 1898). Въ 1898 г. былъ изданъ юбилейный альбомъ пейзажей на родинѣ Мицкевича. Поэтическое описаніе этой области см. въ статьяхъ З. Василевскаго (*Z. Wasilewski. Śladami Mickiewicza*. 1905) и I. Калленбаха («Kraj lat dziecińczych» въ сборникѣ *I. Kallenbach. «Czasy i ludzie*». 1905). Цитированные мемуары: *A. Odyniec. Wspomnienia z przeszłości*. 1884. *I. Chodźko. Obrazy litewskie*. tom. I. 1840. Пользуясь случаемъ исправить недосмотръ относительно пребыванія Иеронима Бонапарте въ Новогрудкѣ, какъ указалъ Вл. Белза (въ книгѣ «Z epoki Mickiewicza» 1911), Иеронимъ остановился не въ домѣ Мицкевича, а во дворцѣ Радзивилла, гдѣ жилъ предводитель дворянства Рялтовскій.

Ко II главѣ. *Н. И. Костомаровъ*. Последніе годы Рѣчи Посполитой. Историческая монографія. 2 изд. 1870. *С. М. Соловьевъ*. Исторія паденія Польши. 1863. *Н. И. Карневъ*. Польскія реформы XVIII в. 1890. *W. Smoleński. Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII*. 1891. *Его же*. Pisma historyczne. 2 тома. 1901. *Его же*. Rządy prusskie na ziemiach polskich (1793—1807). Warszawa. 1903. *I. I. Kraszczewski*. Polska w czasie trzech rozbiorów. 3 тома. 2 изд. 1903. *В. Dembiński. Źródła do dziejów drugiego i trzeciego*

rozbiarów Polski, t. I. 1902. *O. Balzer*. Konstytucya trzeciego Maja. 1907. *T. Korzon*. Zamknięcie dziejów wewnętrznych Polski za Stanisława Augusta. 1889 (выводы изъ его многотомнаго изслѣдованія объ эпохѣ Станислава Августа). *В. А. Францевъ*. Польское славяновѣдѣніе конца XVIII и первой четверти XIX вѣка. Прага. 1906. *St. Askenazy*. Wczasy Historyczne, изд. 2. 1903. *Его же*. Roszsa a Polska. 1815—1831. *А. Kraushar*. Towarzystwo Warszawskie przyjaciół nauk. 1800—1832, т. I. 1900 (монументальное изслѣдованіе въ 3 томахъ и 6 книгахъ). *St. Smolka*. Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowem. 2 тома. 1907. *А. Rembowski*. Z życia konstytucyjnego w Księstwie Warszawskim. 1906. *Его же*. Aleksander I i pierwszy sejm Król. Polskiego. Bibl. Warsz. 1906, май. *І. Bielinski*. Uniwersytet Wileński, т. III. 1899—1900. *А. Л. Погодинъ*. Виленскій учебный округъ. 1803—1831. Спб. 1901 (Введеніе къ IV тому Сборника матеріаловъ для исторіи просвѣщенія въ Россіи, извлеченныхъ изъ архива мин. нар. просв.). *І. Kallenbach*. Kuratorya Wileńska (въ книгѣ «Czasy i ludzie» см. выше). *Wł. Kozłowski*. Autonomja Król. Polskiego. 1908. Общій обзоръ литературы этой эпохи. *Tretiak*. Szkice literackie serya I. 1896. *P. Chmielowski*. Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. 1886. *А. Bęlcikowski*. Ze studyów nad literaturą polską 1886. *St. Tarnowski*. Historia literatury polskiej, т. IV. 1906. *А. Brückner*. Dzieje literatury polskiej w zarysie, т. II. 1908. О мессіаниззмѣ Воронича *К. Jarecki*. Idee historyozoficzne Woronicza a messyanizm polski. Pamiętnik literacki, т. III. 1904. *А. Niemojewski*. Sybilla a Przedświt. (сборникъ Мысль. 1904). *А. Bem*. Echa mesjanistyczne w literaturze polskiej (сборникъ Studja i Szkice literackie. 1904). Превосходно составленная хрестоматія изъ польскихъ писателей XIX вѣка съ подробнымъ обзоромъ ихъ сочиненій, характеристиками, принадлежащими лучшимъ историкамъ литературы, и библиографіей— „Wiek XIX“ (первые 5 томовъ обнимаютъ эпоху отъ начала XIX вѣка и кончая Словацкимъ и Красинскимъ). „Bard Polski“ Ад. Чарторыйскаго напечатанъ въ 1840-хъ годахъ въ книгѣ «Skarbice» К. Сепковича. О Нѣмцевичѣ см. Iankowski *W. Genesa i dzieje „Śpiewów historycznych“ Niemcewicza*. Pam. literacki. IX. 1910. О литературныхъ настроеніяхъ въ Польшѣ и Литвѣ въ началѣ XIX вѣка и концѣ XVIII см. *К. Wojciechowski*. Werter w Polsce. 1904. *М. Szykowski*. Génie du christianisme a prądy umysłowe w Polsce porozbiorowej. 1908. *В. Gabrynowicz*. Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta I.

Pam. liter. II. 1903. *K. Wojciechowski*. Przedmowy do pierwszych powieści polskich. Pam. liter. IV. 1905. *H. Mościcki*. Ze stosunków wileńskich w okresie 1816—1823 (Bibl. Warsz. 1904, маі). *H. Mościcki*. Sprawa włościańska na Litwie w pierwszej ćwierci XIX stulecia. 1908. *Jwaszkiewicz*. Litwa w przededniu wielkiej wojny r. 1812. (Bibl. Warsz. 1906, дек.). *B. Chmielowski*. Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815—1823). Biblioteka dzieł wyborowych za 1898 r. № 21. Въ настоящее время выходитъ исторія Литвы въ XIX в. г. Мосцицкаго.

Къ III главъ. I. Kallenbach. Nieznane pisma Adama Mickiewicza (1817—1823) z archiwum filomatów. Kraków. 1910. *I. Kallenbach*. Lata uniwersyteckie Mickiewicza. (Bibl. Warsz. 1910, февраль и мартъ). *I. Kallenbach*. O nieznanym utworach młodzieńczych Adama Mickiewicza (Pamięt. Literacki, т. VII 1908). *M. Szyjkowski*. Mickiewicz w świetle nieznanym pism (Bibl. Warsz. 1910, апрѣль и маі). *N. Mościcki*. Zniesienie uniwersytetu Wileńskiego. (Bibl. Warsz. 1910, маі).

S. Pietraszkiewiczówna. Dzieje Filomatów w zarysie („Przegląd Powszechny“ 1909 — 1910). *N. Mościcki*. Wilno i Warszawa w „Dziadach“ Mickiewicza. 1908. *M. Czarnocki*. Krótka wiadomość o tajnych towarzystwach uczniów uniwersytetu Wileńskiego aż do ich rozwiązaniu w r. 1824 (Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie 1907). *T. Grabowski*. Krytyka literacka w czasach romantyzmu (1818—1830). (Bibliot. Warsz. 1909, окр.), *P. Chmielowski*. Estetyczno-krytyczne poglądy A. Mickiewicza (ч. I. Pamięt. Towarzystwa literackiego imienia Ad. Mickiewicza, т. II. 1888). *K. Kaszewski*. Mickiewicz i epepeja (Pamięt. literacki, т. III. 1904). *W. Bełza*. Notaty uniwersyteckie Mickiewicza (Pam. towarz. liter. т. III. 1889). *A. Kraushar*. Panta Koina. Związek tajny młodzieży polskiej w Warszawie i Berlinie (1817—1822). (Miscellanea historyczne. XV. 1907). *Azkenazy*. Waleryan Łukasiński. (Bibl. Warsz. 1906, июль и августъ) отд. книга. *I. Tretiak*. Mickiewicz i Trembecki (Szkiecy literackie. Ser. I).

Къ IV главъ. P. Chmielowski. Kobiety Mickiewicza, Sło owackiego i Krasińskiego (характеристика Марыли). 1886. *P. Chmielowski*. Dzieje krytyki literackiej w Polsce. 1902. *P. Chmielowski*. Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. Ser. II. 1886 (здѣсь статьи о Каз. Бродзинскомъ и о балладахъ Т. Зана). *Z. Hordynski*. Mickiewicz i Brodziński. Pamiętn. Tow. Mick. IV. *M. Maza-*

nowski. O wpływie Schillera na poezye Ad. Mickiewicza. *Ibd.* O влиянии Тика: *E. Petzold*. Reminiscencye z Tiecka w „Dziadach“ (Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. IV gimnazjum we Lwowie. 1906). Ср. также литературу къ II и III главамъ.

Къ V главъ. Кромъ выше перечисленной литературы, см. *S. Dobrzycki*. Klasycyzm w „Odzie do mlodości“ Mickiewicza (Pam. liter. II). *L. Finkel*. Oda do mlodości. Czas powstania. Wpływ Schillera (Pam. taw. III). *W. Gostomski*. Ideaty filareckie w „Odzie do mlodości“ (въ сборникъ статей „Z przeszłości i z terażniejszości“. 1904). O переводахъ Шиллера на польскій языкъ Каменскимъ см. *W. Baworowski* (Pam. tow. II). *A. Zipper*. „Hej! użyjmy żywota“ (Pam. tow. II). *R. Pilat*. Kilka dokumentow urzędowych uniwersytetu Wilenskiego z lat 1819—1820 (Pam. tow. III).

Къ VI главъ. Эта глава составлена преимущественно по недавно изданнымъ письмамъ Мицкевича; см. также *Odyniec* Wspomnienia z przeszłości и *A. Kraushaer*. Miiscellanea historyczne. IV. Sprzysiężenia studenckie. Kartki z dziejów królestwa kongresowego 1820—1827. We Lwowie. 1905. Специальное изслѣдованіе объ отношеніи декабристовъ къ Польшѣ см. *Wł. Jabłonowski*. Przegląd. Historyczny. 1909, вып. 2 и дал. *B. B. Семеновскій*. Общественныя и политическія идеи декабристовъ. СПб. 1909.

Къ VII главъ. Главнымъ матеріаломъ для этой главы служить письма Мицкевича и М. Путкаммеръ, напечатанныя въ „Биографіи“, составленной Влад. Мицкевичемъ, въ изданіи „Korespondencja A. Mickiewicza“ т. I. 1871, въ изданіи проф. Калленбаха „Niesnane pisma“. O разсужденіи „Гёте и Байронъ“ см. *T. Grabowski* (ср. III глава). Объ одѣ Лелевелю см. *R. Pilat*. (Pamiętnik Towarz. literac. imienia A. Mickiewicza, t. I).

Къ VIII главъ. *M. Mazanowski* ср. гл. IV. *W. Bruchnalski*. Mickiewicz — Niemcewicz. Pamiętnik Literacki, тт. II. III. IV. *St. Zdziarski*. Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku 1901. *B. Biegeleisen*. Motywy ludowe w balladzie A. Mickiewicza „Lilie“. Wisła. V. 1891. *Tretiak*. Młodość Ad. Mickiewicza t. I. *B. Chlebowski*. Биографія Мицкевича, помѣщенная въ 3 томъ изданія „Wiek XIX“. *M. Szykowski*. Mickiewicz w świetle nieznanых pism. V. Romantyzm w życiu i poezyi. Bibl. Warsz. 1910, июнь. *I. Tretiak*. Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny (Pamiętnik Towarzystwa liter. VI). *Edw. Porębowicz*. Gdzie jest źródło wiary Mickiewicza w godność proroczą poety (ibid). *Edw. Porębowicz*. Przyczynek do

рожежа „romantyczności“ и Mickiewicza (ibid. t. VI). Когда эта глава была уже написана, появилась статья проф. Калленбаха. Съ обычной своей пронизательностью авторъ вноситъ нѣчто новое (напр., по поводу баллады „To lubię“), но, въ общемъ, я не имѣлъ надобности измѣнять текстъ этой главы. Это статья „Mickiewicz w Kownie“ (Bibliot. Warszawska № 1 за 1911 г.).

Къ IX главѣ. Эта глава составлена преимущественно по недавно напечатаннымъ письмамъ Мицкевича, ср. также другія сочиненія, уже названныя раньше.

Къ X главѣ. Литература о „Гражинѣ“ обширна. Важнѣйшес: I. *Tretiak*. *Młodość Mickiewicza*. II. *Wł. Nehring* „Grażyna i Konrad Wallenrod Mickiewicza“ (Studyja literackie 1884). *W. Bruchnalski* Grażyna, Według autografu ze zbiorówchr. K. Przedziackiego (Pamięt. tow. lit III). *W. Bruchnalski*. Geneza Grażyny (Sprawozdania Zakładu narod. im. Ossolińskich. 1889). *W. Bruchnalski*. „Mickiewicz—Niemcewicz“ (Pamięt. Literacki. II. стр. 563—566). *M. Szykowski*. Mickiewicz w świetle nieznanych pism. (Bibl. Warsz. 1910, апр. 27—28). Другая литература приведена П. Хмѣлевскимъ въ биографіи Мицкевича и С. Тарновскимъ въ IV томѣ „Исторіи польской литературы“.

Къ XI главѣ. Кромѣ общихъ сочиненій о Мицкевичѣ, перечисленныхъ раньше, *Sz. Matusiak*. О „Dziadach“ Mickiewicza 1903 (довольно вздорная книга, грѣшащая излишней „пронизательностью“ и чтеніемъ въ душѣ автора); старое сочиненіе Цыбульскаго „Dziady Mickiewicza“ 1863 было мнѣ недоступно; повидному, оно уже совсѣмъ устарѣло. Важны изслѣдованія проф. Калленбаха: „Rewizya tekstu pierwszej części „Dziadów“ A. Mickiewicza podług autografu“. 1887 (Pamięt. Akad. Umiejętn. VI), „Czwarta część „Dziadów“, studjum porównawcze“ 1888 (Pamiętn. Akad. Umiejętn. VII), „Тіо obrzędowe Dziadów“ въ книгѣ „Czasy i ludzie“ 1905. По вопросу о происхожденіи первой части поэмы крайнія мысли были высказаны I. Косткой („Fragment lozański Dziadów“. Bibliot. Warszawska 1905, т. IV) и Б. Хлебовскимъ („Idea, układ i artyzm „Dziadów“ kowieńskich i „Fragmentów“ pośmiertnych“. Odbitka z „Myśli Polskiej“ Warszawa. 1907). По вопросу о литературномъ родствѣ II и IV части „Дѣдовъ“, кромѣ статей проф. Калленбаха и названной выше статьи Мазановскаго о вліяніи Шиллера на Мицкевича, а также приведенныхъ раньше сочиненій о „Вертерѣ въ Польшѣ“ о „Шато-

брианъ“, главнѣйшія работы слѣдующія: *St. Dobrzycki*. Do „Wertera w Polsce“. (Pamiętn. Literacki. IV); *E. Petzold*. Motywy Mickiewiczowskie. III Samobójstwo i zabójstwo magiczne. (Pamiętn. Liter. II); *E. Petzold*. Reminiscencye z Tiecka w „Dziadach“. Sprawozdanie dyrekcji C. K. IV. Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1906; *Z. Matkowski*. Rousseau—Mickiewicz („Dziady“ wileńskie a „Emil“). Studium porównawcze. (Rozprawy Akad. Umiejętn. Wydział filologiczny. Ser. II, t. XXVII. 1907); *A. Beteikowski*. Gustaw i Werter (wъ книгѣ „Ze studyów nad literaturą polską“. Warszawa. 1886); *St. Tarnowski*. Статья его о „Дѣдахъ“ въ „Biblioteka Warszawska“ 1877 г.; *K. Wojciechowski*. Bernatowicz a „Nierosądne Śluby“, jako pierwszy objaw Werteryzmu w Polsce (Pamięt. Liter. III).

Къ XII главѣ. О пребываніи Мицкевича на югѣ Россіи см. *Aër (Rzazewski)*. „Mickiewicz w Odessie i twórczość jego z tego czasu“. Warszawa. 1898. I. *Tretiak*. „Mickiewicz w Odessie. Stosunki i pieśni miłosne“ (Szkice literackie. I. 1896); о пребываніи въ Петербургѣ мемуары Ципринуса въ „Русскомъ архивѣ“ за 1872 г. См. также седьмую и восьмую главы въ I томѣ „Żywota Adama Mickiewicza“ Владислава Мицкевича.

Къ главамъ XIII и XIV. Aër „Mickiewicz w Odessie“. 1898. *B. Gubrynowicz*. Album Piotra Moszyńskiego. (Pamiętnik. VI). *S. Windakiewicz*. Sonety Krymskie (Przegląd Polski 1896). *H. Biegeleisen*. Sonety A. Mickiewicza (Życie 1887, № 8—12). *Муравьевъ-Апостоль*. „Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 годѣ“. СПб. 1823. *Кн. Вяземскій*. „Крымскіе сонеты“ („Московский телеграфъ“ 1827). *Klaczko*. Etude sur Adam Mickiewicz, la Crimée poétique. (Revue contemporaine. 1862—1863; миѣ было недоступно). Переводовъ „Крымскихъ сонетовъ“ на русскій языкъ имѣется нѣсколько: кн. Вяземскаго—прозаическій; въ стихахъ, на неправильномъ русскомъ языкѣ, въ изданіи Ю. О. Салтыка-Романскаго — „Вѣнецъ славянскихъ поэтовъ“, томъ IV (Львовъ. 1888); „Русская Мысль“ издала въ 1894 году также поэтическій переводъ „Крымскихъ сонетовъ“ П. Медвѣдева, но я не могъ достать это изданіе. За присылку миѣ книги Муравьева выражаю глубокую признательность библиотекѣ С.-Петербургскаго университета. Объ отношеніи критики къ сонетамъ см. *L. Siemiński*. Obóz klasyków. Krakow. 1866. *A. Sliwiński*. Maurycy Mochnacki. Żywot i dzieła. Lwow. 1910.

„Wer-
Motywy
amietn.
Spra-
zkolny
skie a
Wyd-
ustaw
zawa.
oteka
iero
(Pa-

и см.
го з
essie.
ебы-
ивѣ“
гомѣ

898.

VI).

ege-

888 -

323.

27).

уче

овѣ

ки.

омѣ

ян-

ала

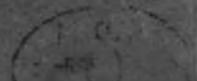
не-

ри-

сть

ри-

86.



Издательство
31 ноября 1958
Москва

Книгоиздательство В. М. Саблина.



ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Т-во „КУЛЬТУРА“

СКЛАДЫ и ОТДѢЛЕНИЯ:

Варшава, Видоцк, 10.	Вильна, Жаиларский пер., 7. Тел. 823.	Екатеринбург, Вознесенский пр. 3. Тел. 219. Магазины: Пушкинская, 3.	Екатериносл., Александровская ул., 17. Телеф. 241.
Иркутск, Ивановская ул., уг. Харла- мшевой, д. 24/50. Тел. 774.	Киев, Николаевск., 6. Тел. 11-52.	Лодзь, Вульчакск., 28. Поч. ящ. 76 549. Тел. 1914.	
Москва, М. Дмитровка, 1. Телеф. 212-80. Магазин: Кузнецкий м., 11. Телеф. 306-27.	Одесса, Ланжероновская, 2. Тел. 17-55.	Рига, Перкошная, 31. Почт. ящ. 1082. Тел. 62-86.	
Ростов н/Д. Большой пр., 31. Тел. 13-78.	Самара, Дворянская ул., 116. Тел. 737.	С.-Петербург, Невский пр., 25, тел. 171-22; 3-я Рождеств., 20, тел. 158-75; Пет. стор., Больш. пр., 5/2, тел. 505-66.	
Ташкент, Уг. Моск. и Николаевск., 49/33. Тел. 87.	Тифлисы, Эриванск. пл., 3. Тел. 338.	Харьков, Лопатинск. пер., 15. Тел. 17-36.	

Цѣна 2 руб.

Проф. А. Л. Погодинъ.

АДАМЪ МИЦКЕВИЧЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ
И ТВОРЧЕСТВО.

Томъ II.

ИЗДАНИЕ В. М. САБЛИНА. МОСКВА. — 1912.

Проф. А. Л. Погдинъ.

АДАМЪ МИЦКЕВИЧЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ИЗДАНИЕ В. М. САБЛИНА.

Москва.—1912.

ТИПОГРАФИЯ В. М. САБЛИНА.
Петровка, д. Обидной. Телефонъ 131-34.
Москва.— 1912.

Содержаніе II-го тома.

Глава	XV. Мицкевичъ въ Москвѣ.	1
„	XVI. „Коврадъ Валленродъ“.	34
„	XVII. Мицкевичъ въ Петербургѣ.	72
„	XVIII. Мицкевичъ за границей до возстанія 1830 года.	89
„	XIX. Возстаніе 1830 года. Дрезденъ и Парижъ. Культъ эми- граціи.	128
„	XX. Трагедія возстанія. Третья часть „Дѣдовъ“.	155
„	XXI. „Панъ Тадеушъ“.	194
„	XXII. Женильба. Переездъ въ Лозанну. Лекціи въ Швейцаріи (1834 — 1840).	248
„	XXIII. Мицкевичъ — профессоръ въ Collège de France. Товя- низмъ. (1840 — 1844).	271
„	XXIV. Послѣдніе годы жизни (1844 — 1855).	308
	Библиографія ко II тому.	347



Мицкевичъ (съ посмертной маски, снятой Прео).

ГЛАВА XV.

Мицкевичъ въ Москвѣ.

Какое отношеніе къ полякамъ Мицкевичъ нашелъ въ Москвѣ, куда онъ пріѣхалъ въ декабрѣ 1825 года, вскорѣ послѣ неудачи возстанія декабристовъ? Князь П. А. Вяземскій въ своей статьѣ «Мицкевичъ о Пушкинѣ», написанной много лѣтъ спустя послѣ этого, въ 1873 году, даетъ нѣсколько любопытныхъ воспоминаній, касающихся русско-польскихъ отношеній вообще. По его словамъ, въ ту пору «польскаго вопроса еще не было. То время не было столь вопросительно, какъ наше. Возбужденіе вопросовъ рождаетъ часто затруднительность и многосложность ихъ. Польшу тогда знали мало, мало говорили о ней. Это было не хорошо: теперь журнальные публицисты знаютъ ее не лучше, но говорятъ о ней больше; и это худо. Польская литература оставалась въ совершенномъ невѣдѣніи. Нѣкоторые государственные люди и другіе мыслители сѣтовали о привилегированномъ положеніи, въ которомъ императоръ Александръ возсоздалъ Царство Польское. Но и тутъ племенной вражды не было: было одно политическое соображеніе съ точки русскаго государственнаго воззрѣнія. Впрочемъ, не должно забывать, въ огражденіе памяти императора, что это привилегированное положеніе Польши было въ видахъ Александра только временное». Такимъ образомъ изъ разсказа Вяземскаго вытекало бы, что въ русскомъ обществѣ 20-хъ годовъ господствовалъ совершенный индифферентизмъ по отношенію къ полякамъ. Съ этимъ никакъ нельзя согласиться. Мы знаемъ по современнымъ даннымъ и по мемуарамъ польскихъ писателей, что между русскими и поляками въ Варшавѣ господствовали взаимное недовѣріе и неприязнь. Рѣчи Александра I при открытіи сеймовъ вызывали страшное раздраженіе въ русскомъ обществѣ, которое

видѣло въ нихъ униженіе русскаго національнаго достоинства. То, что писалъ Пушкину (правда, въ разгарѣ польскаго возстанія, 20-го января 1831 года) непосредственный и пылкій пріятель его П. В. Нащокинъ, вѣроятно, раздѣлялось большинствомъ дворянскихъ круговъ, отъ которыхъ Нащокинъ не отличался ни вкусами, ни умственнымъ или нравственнымъ развитіемъ. «Поляковъ я всегда не жаловалъ, и для меня радость будетъ, когда не будетъ ни одного поляка въ Польшѣ, да и только. Оставшихся въ высылку въ степи. Польша отъ сего пуста не будетъ; фабриканты русскіе займутъ ее. Право, мнѣ кажется, что не мудрено ее обрусить». — Дѣйствительно, мечты объ обрусеніи уже тогда приходили въ голову многимъ, и мы знаемъ, что послѣ возстанія правительство прямо вступило на этотъ путь, который въ общественномъ настроеніи, какъ видимъ, былъ уже подготовленъ. И декабристы—кн. С. Волконскій въ своихъ мемуарахъ рассказываетъ о далеко недружелюбныхъ отношеніяхъ, которыя существовали между русскимъ офицерствомъ и польскимъ дворянствомъ, и которыя, по его словамъ, вызывались высокомернымъ отношеніемъ этого послѣдняго къ русскимъ. И самая эпитафия Пушкина на Булгарина: «Не то бѣда, что ты полякъ; Костюшко ляхъ, Миткевичъ ляхъ»... указываетъ на то, что въ глазахъ многихъ польское происхождение Булгарина ставили ему въ минусъ. И надо сказать, что такіе люди, какъ Булгаринъ, Сенковскій, не могли расположить русскихъ къ полякамъ.

Было ли и передовое общество Россіи расположено къ полякамъ? О декабристахъ говорить нечего: польскіе революціонеры были ихъ союзниками, славянская федерація ихъ политической мечтой, но все это рисовалось смутно, въ самыхъ неопредѣленныхъ чертахъ. И самъ Бестужевъ утверждалъ, что въ переговорахъ съ поляками русскіе декабристы были неискренни. Масса общества стояла далеко отъ декабристовъ, а среди передовыхъ людей было столько колебаній между искреннимъ націонализмомъ Карамзина, пугливымъ подобострастіемъ передъ властью и либерализмомъ за стаканомъ вина, что о серьезномъ отношеніи къ «польскому вопросу», котораго тогда будто бы и не было, нельзя и говорить. Самъ Пушкинъ, котораго такъ охотно дружатъ съ Мицкевичемъ, во время возстанія поляковъ говорилъ: «Ихъ надобно задушить, и наша медленность мучи-

тельна. Для насъ мятежъ Польши есть дѣло семейственное, старинная, наслѣдственная распря... (изъ письма къ кн. Вяземскому 1-го іюня 1831 г.). А. О. Смирновой въ началѣ сентября 1831 года Пушкинъ писалъ о взятіи Варшавы, какъ о великомъ событіи: «la comtesse Lambert m'ayant annoncé la première prise de Varsovie, il est juste qu'elle reçoive le premier exemplaire; le second est pour vous. Отъ васъ узналъ я плѣнъ Варшавы, вы были вѣстницею *славы* и вдохновеньемъ для меня». Три стихотворенія на взятіе Варшавы были встрѣчены русскимъ обществомъ съ восторгомъ: П. А. Осипова писала Пушкину о «безграничномъ удовольствіи», которое они доставили ей; С. С. Уваровъ, «восхищенный прекрасными, истинно *народными* стихами» Пушкина, переложилъ на французскій языкъ его оду «Клеветникамъ Россіи»; и въ старомъ Хвостовѣ, который хвалился: «Противъ крамоль писалъ я много, избличалъ безумцевъ строга», ода Пушкина вызвала поэтической жаръ.

Если такъ судило огромное большинство русскаго общества послѣ 1830 года, то судъ его не былъ вызванъ однимъ «мятежомъ Польши». Мы знаемъ, что уже давно подготовлялось неприязненное отношеніе къ Польшѣ, вызванное и освободительными мѣрами Александра, которыя вовсе не соответствовали его домашней политикѣ, и дѣйствіями Чарторыйскаго въ Вильнѣ, которыя привели къ Новосильцовскому разгрому. При добродушии московскаго общества эта таившаяся на глубинѣ души неприязнь, вѣроятно, прорывалась не часто, случайно, но создавала иногда тяжелыя положенія въ сношеніяхъ русскіхъ съ поляками. И тѣ, въ свою очередь, навѣрное, нерѣдко держали себя заносчиво, вызывающе. По крайней мѣрѣ даже воспоминанія, относящіяся лично къ Мицкевичу и его русскимъ знакомымъ, указываютъ на рядъ колкихъ замѣчаній съ обѣихъ сторонъ. Когда Мицкевичъ ѣхалъ въ Москву, ему уже предшествовала литературная слава. Если его и не читали, то знали, что онъ крупный поэтъ, и вѣрили, такъ сказать, въ кредитъ его славы. Къ тому же онъ былъ гонимъ правительствомъ, а, по характерному замѣчанію кн. Вяземскаго, «мало ли было и по другимъ учебнымъ округамъ примѣровъ» преслѣдованія молодыхъ людей, «поднадавшихъ дѣйствию административныхъ мѣръ»? И личныя свойства Мицкевича привлекали къ нему общество. Но пропасть между нимъ, какъ полякомъ, и тѣми кругами, среди которыхъ

онъ вращался, не исчезала: Мицкевичъ не могъ забыть, что онъ находится въ станѣ враговъ, хотя его балуютъ вниманіемъ и уваженіемъ, хотя ему отдаютъ первенство передъ самимъ Пушкиннымъ. Въ этой обстановкѣ долженъ былъ создаться «Конрадъ Валленродъ».

Какъ долженъ былъ чувствовать себя въ Москвѣ Мицкевичъ, когда русскій человѣкъ, В. С. Печеринъ, съ ужасомъ бѣжалъ изъ нея за границу. Съ дороги, изъ Брюсселя, Печеринъ писалъ графу Строгонову слѣдующія строки, которыя приходится помнить, когда думаешь о первыхъ впечатлѣніяхъ Мицкевича отъ Москвы. «Вы призвали меня въ Москву... писалъ Печеринъ (23 марта 1837 г.). Ахъ, графъ! Сколько зла вы мнѣ сдѣлали, сами того не желая! Когда я увидѣлъ эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этихъ людей безъ вѣрованій, безъ Бога, живущихъ лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, какъ животныя; этихъ людей, на челѣ которыхъ напрасно было бы искать отпечатка ихъ Создателя, когда я увидѣлъ все это, я погибъ! Я видѣлъ себя обреченнымъ на то, чтобы провести съ этими людьми всю мою жизнь, я говорилъ себѣ: кто знаетъ? Быть можетъ, время, привычка приведутъ тебя къ тому же результату»... (М. Гершензонъ: Жизнь В. С. Печерина. Москва. 1910). Впослѣдствіи сближеніе съ извѣстными московскими кружками помогло Мицкевичу примириться на время съ Москвой и даже ввело его, повидимому, въ кругъ новыхъ для него идей, но жизнь въ забитой русской обстановкѣ, сближеніе съ такими русскими людьми, какъ М. П. Погодинъ и ему подобные, не могли всецѣло удовлетворить чуткаго нравственно поэта, хотя отзывъ Печерина, конечно, несправедливъ и преувеличенъ. Пушкинъ тосковалъ и сгибался, Мицкевичъ лично былъ благодаренъ за доброе къ нему отношеніе, но все болѣе глубоко ненавидѣлъ русскіе общественные нравы. Онъ бѣжалъ отсюда въ Петербургъ, а изъ Петербурга при первомъ удобномъ случаѣ за границу.

Глубокая пронасть между нимъ и московскимъ обществомъ была и въ самомъ отношеніи къ власти и къ народу. Мицкевичъ и въ Крыму, и въ Москвѣ думалъ только о своей Литвѣ, мечталъ лишь о томъ, какъ онъ возьметъ свой «бардонъ» и поведетъ свой народъ къ освобожденію. Въ Россіи этого воодушевленія живого патриотизма онъ встрѣтилъ слиш-

комъ мало. Офиціального было сколько угодно. Слова: «государь», «отечество» не сходили съ устъ, но съ ними связывались совѣмъ иныя чувства, чѣмъ въ Польшѣ. Только что вспыхнуло и погасло движеніе декабристовъ. Производилась розыски частныхъ къ нему, и въ обществѣ господствовала паника. Поэтому выставляли свою благонамѣренность, гдѣ и какъ могли. Кончающіе студенты, собравшись въ ресторанахъ или въ частномъ домѣ, начинали пирушку съ офиціальныхъ тостовъ: «первый нашъ тостъ за обѣдомъ быть, по обыкновенію, посвященъ отечеству и государю», рассказываетъ въ своихъ запискахъ Никитенко («Записки и дневникъ» I, 247). Доносовъ боялись чрезвычайно, и доносы, дѣйствительно, процвѣтали. Зато пользовались всякимъ случаемъ, чтобы проявить почтительность передъ начальствомъ, правильные націоналистическіе взгляды и патріотическую радость по поводу русскихъ завоеваній. «Если война начнется, то это для того, чтобы усилить могущество Россіи и озарить славою царствованіе Николая», пишетъ тотъ же авторъ 28 апрѣля 1828 года. Въ глубинѣ сердца, однако, таилась большая неудовлетворенность: нужно было обладать оппортунизмомъ М. П. Погодина, чтобы видѣть въ событіи 14 декабря шагъ къ новой русской исторіи, чуть ли не съ представительнымъ проявленіемъ (Барсуковъ. «Жизнь и труды» II, 18). Впрочемъ, въ это время М. П. Погодинъ, сблизившись съ Булгаринимъ, находилъ у себя большое сходство въ мысляхъ съ Шиллеромъ и предавался мечтамъ. И у него иногда вырываются тревожныя замѣчанія о внутреннемъ положеніи Россіи. Никитенко уже въ 1830 году ужасается, что «цензурный уставъ совѣмъ неспроверженъ. Намъ пришлось удостовѣриться въ горькой истинѣ, что на землѣ русской нѣтъ и тѣни законности». Такъ уже подготовлялся унылый тонъ знаменитаго письма Чаадаева и статьи Кирѣевского въ «Европейцѣ». Князь Вяземскій, который въ 1873 году уже считалъ нужнымъ оправдывать либеральную политику Александра I по отношенію къ Польшѣ, въ это время былъ настроенъ иначе, и въ 1828 году писалъ Тургеневу, что «для Россіи онъ уже пропалъ и могъ бы эмигрировать безъ большого огорченія; и за Павлушу (сына) не поморщилась бы душа, а за дочерей и говорить нечего. *Я не понимаю романтической любви къ отечеству*», прибавлялъ Вяземскій («Остафьевскій архивъ» III, 181). Таковъ былъ фонъ, на которомъ развертыва-

лась жизнь русской интеллигенціи въ тѣ годы, когда съ ней столкнулся Мицкевичъ: у этой интеллигенціи не было, прежде всего, истиннаго уваженія къ Россіи, къ народу и власти. Былъ страхъ, былъ крикливый патріотизмъ для казенной надобности, но не было «романической любви» къ родинѣ. А у Мицкевича была именно эта романическая, восторженная любовь къ своей Литвѣ. И потому онъ казался Вяземскому «кровнымъ полякомъ». Это было немного смѣшно, но Мицкевичу прощали такой недостатокъ за его достоинства. Въ сущности же между русскимъ обществомъ и Мицкевичемъ не могло быть прямыхъ и искреннихъ отношеній. Они говорили совѣмъ на разныхъ языкахъ.

Пріѣзду Мицкевича въ Москву предшествовала обширная переписка между министромъ народнаго просвѣщенія и московскимъ генералъ-губернаторомъ. Два сановника тратили время на переписку по такому пустяшному предмету, точно рѣчь шла о дѣйствительной государственной надобности. Шишковъ спрашивалъ кн. Голицына, «можетъ ли Мицкевичъ быть опредѣленъ, по желанію его, въ канцелярію (князя) съ назначеніемъ приличнаго жалованія», и въ то же время просилъ попечителя Виленскаго учебнаго округа выслать Мицкевичу свидѣтельство на степень кандидата. На это Голицынъ отвѣчалъ, что жалованья Мицкевичу нельзя положить до тѣхъ поръ, пока «не покажетъ онъ на самомъ дѣлѣ своихъ способностей и усердія къ службѣ. А какъ сей Мицкевичъ есть изъ числа членовъ филوماتскаго общества, коего виды признаны правительствомъ предосудительными, и о которомъ онъ (т.-е. кн. Голицынъ) не имѣетъ ни малѣйшаго свѣдѣнія», то ген.-губернаторъ просилъ министра сообщить «о тѣхъ правилахъ, коими сіе общество, такъ же и филареты, руководствовались, дабы можно было знать, какой надзоръ за людьми сего рода имѣть должно». Очень скоро, всего черезъ недѣлю, послѣдовалъ обстоятельный секретный отвѣтъ со стороны Шихова. Цѣлью *трехъ* обществъ, существовавшихъ въ Виленскомъ университетѣ (филоматовъ, филаретовъ и промнистыхъ: очевидно, и само правительство плохо разбиралось въ нихъ) признавалось воспитаніе будущаго поколѣнія въ духѣ «закоснѣлой ненависти противу Россіи и мечтаній о возстановленіи независимости Польши». При этомъ, однако, Шишковъ настаивалъ, ссылаясь на Высочайшую волю, чтобы Мицкевичу было назначено, если не «приличное жалованье», то «хотя такое, чтобы

опъ не нуждался въ самыхъ необходимыхъ потребностяхъ». Эта заботливость Шишкова дѣлаетъ большую честь его сердечности: не часто министры такъ принимаютъ къ сердцу нужды людей, пострадавшихъ за свои убѣжденія. И одесскому попечителю, графу И. О. Витте, Шишковъ посылаетъ (26 сент. 1825 г.) предписание отправить Мицкевича въ Москву, «снабдивъ его казенною дорожною, прогоными деньгами и пособіемъ такимъ, какое получилъ кандидатъ Ежовскій, т.-е. 300 рублей». Всего Мицкевичу было выдано на поѣздку въ Москву 465 руб. 61 коп. Вскорѣ пришло изъ Виленскаго университета и требуемое свидѣтельство, и въ немъ было сказано, что кандидатъ философіи, Адамъ Николаевъ сынъ Мицкевичъ, выдержалъ по отдѣленію словесныхъ наукъ и изящныхъ художествъ экзаменъ на степень магистра, но его не окончилъ, и что по принадлежанію къ тайнымъ обществамъ филатовъ и филаретовъ онъ былъ отправленъ въ отдаленныя отъ Польши губерніи, а Новосильцевъ прибавлялъ къ этой бумагѣ, что Мицкевичъ состоитъ въ 12 классѣ, и что при врученіи ему патента отъ него слѣдуетъ потребовать свидѣтельство о дворянскомъ его происхожденіи. Такое свидѣтельство у Мицкевича и было, но оказалось, что оно было представлено въ канцелярію Виленскаго университета еще въ 1815 году. По этому поводу велась длинная переписка между различными учрежденіями. Между тѣмъ виновникъ всей этой усердной переписки давно уже находился въ Москвѣ.

О первыхъ мѣсяцахъ пребыванія его здѣсь у насъ мало свѣдѣній. Какъ видно изъ отношеній къ Шишкову, московскій генералъ-губернаторъ, во-первыхъ, нисколько не нуждался въ услугахъ новаго чиновника, который былъ ему навязанъ сверху, а, во-вторыхъ, и просто опасался видѣнія неблагонадежнаго элемента въ свою канцелярію. Далѣе, опредѣливъ Мицкевича въ штатъ своей канцеляріи,—при чемъ однако ни Малевскій ни Мицкевичъ ничего не получали даже въ концѣ 1827 г. 1), — онъ охотно держалъ его подальше отъ

1) Вотъ относящееся сюда мѣсто изъ письма Александра Мицкевича, датированнаго 10/22 ноября 1827 г. „Адамъ и Малевскій считаются на службѣ въ канцеляріи генералъ-губернатора, не получаютъ никакой платы, но и не принуждаются къ исполненію служебныхъ обязанностей. Оба они располагаютъ своимъ временемъ, какъ хотятъ“ (Zywot I 289).

своихъ чиновниковъ и предоставилъ Мицкевичу дѣлать, что ему было угодно. И еще въ концѣ іюня 1826 года поэтъ писалъ Головинскому, владѣльцу Стеблева, гдѣ онъ провелъ нѣсколько приятныхъ дней во время поѣздки въ одесское изгнаніе, что «этотъ почтенный человекъ (кн. Голицынъ, *zasny ten pan*) позволилъ ему спокойно готовиться къ службѣ, пока онъ не научится языку и не выработаетъ почерка (*charakter*). Къ несчастію, эта работа подвигается слишкомъ трудно, и мнѣ, говоритъ Мицкевичъ, потребуется еще много времени, прежде чѣмъ я стану настоящимъ писцомъ (*aktualnym piszczykiem*)». Между тѣмъ мы знаемъ, по свидѣтельству кн. Вяземскаго и другихъ лицъ, что Мицкевичъ хорошо говорилъ по-русски, да и почеркъ его вовсе не былъ неразборчивъ. Только 1 февраля 1826 года онъ былъ опредѣленъ въ число чиновниковъ канцеляріи московскаго военнаго ген.-губернатора, и 11 февраля 1826 г. «поступилъ въ штатъ гражданской канцеляріи» его. Въ «аттестатѣ», выданномъ поэту 9 апрѣля 1829 года, дается самый лучшій отзывъ объ его службѣ: «въ штрафахъ и подѣ судомъ не бывалъ, всегда аттестовался способнымъ и къ повышенію чина достойнымъ, при отличномъ поведеніи возлагаемая на него порученія исполнять съ примѣрнымъ усердіемъ и дѣятельностью». Насколько этотъ отзывъ соответствовалъ дѣйствительности, видно изъ другого документа, ходатайства кн. Голицына о предоставленіи отпуска Малевскому и Мицкевичу. Въ этой любопытной бумагѣ, подписанной 24 августа 1826 года, т.-е. всего черезъ два мѣсяца послѣ письма поэта къ Головинскому, мы читаемъ слѣдующія строки: «Чиновники еін, исполняя съ усердіемъ возлагаемая на нихъ должности и ведя себя съ самаго прибытія въ Москву весьма хорошо, испрашиваютъ нынѣ дозволенія воспользоваться отпускомъ на родину свою для устройства семейственныхъ дѣлъ». Два мѣсяца тому назадъ Мицкевичъ еще «готовился» къ службѣ и не предвидѣлъ еще конца этого приготовления, а теперь онъ, оказывается, уже съ усердіемъ исполняетъ возлагаемую на него должность. Кн. Голицынъ, видимо, не стремился засадить литовскихъ изгнанниковъ за серьезную работу. Когда Мицкевичъ, желая переселиться въ Петербургъ, сталъ хлопотать о переводѣ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, кн. Голицынъ (9 апр. 1829 г.) опять удостоверяетъ, что онъ «при хорошемъ поведеніи всегда исполнять возложенную на него обязанность съ усердіемъ». Степень этого усердія опредѣляется

помѣткою объ отпускахъ въ формулярномъ спискѣ, выданномъ Мицкевичу 15 апрѣля 1829 года. Оказывается, что съ 13 апрѣля 1828 года онъ на службѣ вовсе не былъ, пользуясь все время отпусками на различные сроки, во-время не являясь и получая новыя отерочки. Такое отношеніе начальства къ службѣ Мицкевича, при всѣхъ этихъ лестныхъ для него аттестаціяхъ, могло объясняться лишь тѣмъ, что кн. Голицынъ вовсе не хотѣлъ запрягать поэта въ чиновничью лямку и радъ былъ его намѣреніямъ перевестись въ Петербургъ. Каковы бы ни были его соображенія, онъ, повидимому, тяготился причисленіемъ къ его канцеляріи участника какихъ-то тайныхъ польскихъ обществъ, о которыхъ онъ не имѣлъ никакого представленія, но отъ которыхъ все-таки лучше было держаться подальше. Но личныя его отношенія къ поэту были самыя лучшія. вмѣстѣ съ Голицынымъ Мицкевичъ ѣздилъ въ Петербургъ, ему онъ посвятилъ нѣсколько теплыхъ строкъ на польскомъ языкѣ и т. п. Но служба -- другое дѣло и, вѣроятно, по молчаливому уговору она оказалась фикціей.

Такимъ образомъ, матеріальное положеніе Мицкевича было сначала довольно затруднительно, хотя въ іюнѣ 1826 года онъ довольно оптимистически смотритъ на эту сторону своего существованія, надѣясь въ этомъ отношеніи на изданіе «Конрада Валленрода» и прибавляя: «до сихъ поръ и въ этой области (категоріи) я изворачиваюсь довольно счастливо; могу вамъ даже послать нѣсколько десятковъ рублей, если дадите мнѣ точный адресъ». Конечно, это увѣреніе могло исходить только изъ деликатности товарища, который помогаетъ еще болѣе несчастливымъ, но деньги-то все-таки у Мицкевича, значить, были, хотя бы ихъ сбереженіе стоило ему извѣстнаго труда ¹⁾. Изъ канцеляріи кн. Голицына, казалось бы, онъ уже долженъ былъ получать, какъ штатный чиновникъ, жалованье, но брать поэта, какъ мы видѣли, это отрицаетъ. Розыски въ московскихъ архивахъ могли бы привести въ этомъ отношеніи къ опредѣленнымъ результатамъ. Вернемся, однако, къ его московскому быту. Сначала Мицкевичъ поселился вмѣстѣ съ пріѣхавшими раньше его Малевскимъ и Кежовскимъ и еще

¹⁾ Это подтверждается и помѣткой въ спискѣ распределенія средствъ, собранныхъ въ Вильнѣ на нужды сосланныхъ филаретовъ. Въ этомъ спискѣ, составленномъ 4 мая 1826 года, записано при фамилии Мицкевича: „na różnicę“ (впослѣдствіи). См. приложеніе XXIII къ 1 тому сочиненія Влад. Мицкевича.

однимъ литовскимъ знакомымъ, Будревичемъ, въ пансионѣ Лехнера на Малой Дмитровкѣ. Здѣсь скверно кормили, мало топили, и въ началѣ февраля 1826 года Мицкевичъ жалуется, что въ Одессѣ онъ жилъ, какъ паша, а въ Москвѣ, «какъ послѣдній янычаръ; нѣтъ у него отдѣльной комнаты (kwatery), столъ отвратительный, нѣтъ даже хорошаго кофе». Въ февралѣ они рѣшили перебраться на новую квартиру: поселились втроемъ въ Алексѣевскомъ переулкѣ, въ домѣ священника Иванова; денежные дѣла были неважныя; Малевскій заплатилъ все, что у него было, за комнату, Ижевскій самъ стряпаль и кормилъ товарищей, но и у него финансы были на исходѣ. Однако въ концѣ марта въ письмахъ Малевского, которыя даютъ подробности о бытѣ филаретовъ въ Москвѣ, уже болѣе радостный тонъ: онъ рассказываетъ сестрамъ, какъ научился готовить, сколько стоитъ провизія, хвалится, что обѣдъ на трехъ не стоитъ двухъ золотыхъ, и что всѣ они поправились послѣ Лехнероваго пансіона. Жили они уединенно; знакомство ихъ было сначала ограничено кругомъ мелкаго польскаго чиновничества, акушерокъ, кеендзовъ, съ которыми велъ компанію Онуфрій (Петрашкевичъ), «синдикъ здѣшной парафинъ». Знакомство это не привлекало Мицкевича и его товарищей, и они жили въ полномъ одиночествѣ. Еще въ іюнѣ 1826 года поэтъ писалъ Зану: «мы прозябаемъ недурно. Книжка въ рукахъ не часто, чаще шахматы, почти всегда болтовня. Знакомствъ никакихъ, общества у насъ, кромѣ собственнаго, нѣтъ». Описавъ товарищей, поэтъ переходитъ къ тому, «съ чего начинается нѣмецкая философія, т.-е. къ я. И такъ я, живя съ ними, мало отличаюсь отъ нихъ и вѣшне, и внутренне. Со времени отъѣзда изъ Одессы, гдѣ я жилъ, какъ паша, муза моя облѣнилась: я не могу окончить литовскую повѣсть, которая должна заполнить (kompletować) третій томикъ; однако я все-таки надѣюсь окончить». Далѣе идетъ уже приведенное выше сообщеніе о недурномъ положеніи финансовъ. Кое-какія надежды литовскіе изгнаники связывали съ предстоящей коронаціей императора Николая. Приписка объ этомъ въ цитируемомъ письмѣ къ Зану составлена, очевидно, на случай, если бы письмо попало въ постороннія руки. «Предстоящій обрядъ коронаціи его величества (najjaśniejszego Cesarza), можетъ быть, обѣщаетъ намъ болѣе счастливое будущее; можетъ быть, всемилостивѣйшій государь обратитъ свои взоры и на насъ». Эта замѣтка дышитъ какъ будто про-

ней, но иронія здѣсь врядъ ли была. Литература, несомнѣнно, связывала извѣстныя надежды съ наступленіемъ новаго царствованія. Офиціозный тонъ письма легко объясняется тогдашней напуганностью общества.

Говоря о полномъ отсутствіи знакомствъ среди русскихъ, Мицкевичъ былъ не совсѣмъ правъ. Уже въ концѣ 1825 года онъ познакомился съ двумя изъ самыхъ дѣятельныхъ русскихъ литераторовъ, братьями Полевыми, но тогда изъ этого знакомства какъ-то ничего не вышло. Весною слѣдующаго года завязалась болѣе крѣпкая связь. «Близкій пріятель моего брата, рассказываетъ Кс. Полевой, Ю. И. Познанскій, тогда молодой офицеръ генеральнаго штаба, пріѣхавшій изъ Польши, привезъ съ собою нѣсколько стихотвореній, переведенныхъ изъ Мицкевича, и при свиданіи съ братомъ удивился, что онъ почти не знаетъ лучшаго поэта Польши, который живетъ въ Москвѣ. Восхищеніе, съ какимъ Ю. И. Познанскій говорилъ о Мицкевичѣ, и переводы его, хотя не образцовые, заставили моего брата поѣхать къ Мицкевичу, пригласить его къ себѣ, и послѣ нѣсколькихъ свиданій онъ былъ, какъ родной, въ нашемъ домѣ. Онъ почти ни съ кѣмъ не былъ знакомъ въ Москвѣ, жилъ уединенно съ немногими своими товарищами, и, кажется, любящая душа его была обрадована искреннимъ привѣтомъ, какой нашель онъ въ русскомъ семействѣ, въ кругу образованныхъ людей и литераторовъ». Здѣсь Мицкевичъ познакомился съ кн. Вяземскимъ, съ Баратынскимъ, позже, осенью 1826 года, съ Пушкинымъ. Отзывъ Вяземскаго такъ же восторженъ, какъ и слова Кс. Полевого. Характерно, чтобы оба писателя дѣлились своими воспоминаніями уже послѣ смерти Мицкевича, который съ 1830 года и до самой смерти выступалъ всегда враждебно по отношенію къ Россіи и умеръ въ Константинополѣ, во время Крымской кампаніи, готовя противъ Россіи хотя и фантастическіе, но вражескіе планы. И даже М. П. Погодинъ, при своемъ оппортунизмѣ, оставался вѣренъ Мицкевичу и во время самаго возстанія, и еще много лѣтъ спустя.

«Все въ Мицкевичѣ возбуждало и привлекало сочувствіе къ нему, рассказываетъ кн. Вяземскій. Онъ былъ очень уменъ, благовоспитанъ, одушевителенъ въ разговорахъ, обхожденія утонченно вѣжливаго. Держался онъ просто, т.-е. благородно и благо-

разумно, не корчилъ изъ себя политической жертвы; не было въ немъ и признаковъ ни заносчивости, ни обрядной уничтожительности... При отбѣнкѣ меланхолическаго выраженія въ лицѣ, онъ былъ веселаго сѣлада, остроумецъ, скорѣ на мѣткія и удачныя слова. Говорилъ онъ по-французски не только свободно, но изящно и съ примѣсью иноплеменной поэтической оригинальности, которая оживляла и ярко расцвѣчивала рѣчь его. По-русски говорилъ онъ тоже хорошо, а поэтому могъ онъ скоро сблизиться съ разными слоями общества. Онъ былъ вездѣ у мѣста: и въ кабинетѣ ученаго и писателя, и въ салонѣ умной женщины, и за веселымъ пріятельскимъ обѣдомъ. Поэту, т.-е. степени могущества дарованія его, вѣрили пока на слово и по наслышкѣ; только весьма немногіе, знакомые съ польскимъ языкомъ, могли оцѣнить Мицкевича - поэта, но все оцѣнили и полюбили Мицкевича - человѣка». Далѣе Вяземскій рассказываетъ объ импровизацияхъ Мицкевича, котораго онъ называетъ не только великимъ поэтомъ, но и великимъ импровизаторомъ. «Импровизированный стихъ его свободно и стремительно вырывался изъ устъ его звучнымъ и блестящимъ потокомъ. Въ импровизаціи его были мысль, чувство, картины и въ высшей степени поэтическія выраженія. Можно было думать, что онъ вдохновенно читаетъ наизусть поэму, имъ уже написанную. Для русскихъ пріятелей своихъ, не знавшихъ по-польски, онъ иногда импровизировалъ по-французски, разумѣется, прозою, на заданную тему». Объ одномъ такомъ случаѣ и рассказываетъ Вяземскій. Мицкевичъ долженъ былъ импровизировать на тему: «*приплытіе* Чернымъ моремъ къ Одесскому берегу тѣла Константинопольскаго православнаго патріарха, убитаго турецкою чернью». Мицкевичъ согласился. «Поэтъ на нѣсколько минутъ, такъ сказать, уединился во внутреннемъ святилищѣ своемъ. Векорѣ выступилъ онъ съ лицомъ, озареннымъ пламенемъ вдохновенія: было въ немъ что-то тревожное и пророчательное... Импровизація была блестящая и великолѣпная... Жуковскій и Пушкинъ, глубоко потрясенные этимъ огнедышащимъ изверженіемъ поэзіи, были въ восторгѣ». И позднѣйшія встрѣчи Вяземскаго съ Мицкевичемъ, уже послѣ возстанія, въ Парижѣ, были встрѣчами *близкихъ* людей, какъ утверждаетъ нашъ писатель.

Съ осени 1826 года мы видимъ Мицкевича частымъ гостемъ въ русскихъ литературныхъ кругахъ Москвы. При основаніи

«Московского Вѣстника», 24 окт. 1826 г., въ домѣ Хомякова на Кузнецкомъ мосту собрались Пушкинъ, Мицкевичъ, Баратынскій, два брата Кирѣевскихъ, Шевыревъ, Погодинъ и др. Все это были будущіе сотрудники новаго журнала, и присутствие среди нихъ Мицкевича очень характерно. Надо прибавить, что «Московскій Вѣстникъ» выступалъ конкурентомъ «Московскому Телеграфу» братьевъ Полевыхъ, которые первые и ввели Мицкевича въ кругъ русскихъ писателей. Годъ спустя, по свидѣтельству біографа М. П. Погодина, Барсукова, «Погодинъ сошелся короче съ Мицкевичемъ и другомъ его Малевскимъ. Они нерѣдко видѣлись, и любимую темою ихъ бесѣдъ была исторія Польши». Погодинъ «выспрашивалъ» у нихъ, и слышанное служило ему «подтверженіемъ собственныхъ догадокъ». Толковали они также о французской политикѣ и о европейскихъ государяхъ. Однажды Мицкевичъ при прощаніи даже «расцѣловалъ Погодина». Въ день своихъ именинъ редакторъ «Московского Вѣстника», Погодинъ, опять созвалъ московскихъ литераторовъ; среди нихъ мы снова находимъ Мицкевича и Ф. Малевского. «Жаль, что Мицкевичъ не остался дольше», меланхолически замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ М. П. Погодинъ. «Съ нимъ говорилъ съ удовольствіемъ и съ Малевскимъ». Чтобы не прерывать разсказа о литературныхъ связяхъ Мицкевича въ Россіи, придется забѣжать нѣсколько впередъ и коснуться и того времени, когда поэтъ жила въ Петербургѣ, то въ Москвѣ. «Въ неизданныхъ тетрадяхъ дневника Н. М. Снегирева записано, что 20 ноября 1826 года въ Москвѣ Снегиревъ у А. А. Елагина и братьевъ Кирѣевскихъ» «видѣлъ польскаго поэта Мицкевича, молодого человѣка, высланнаго изъ *Варшавы* въ Крымъ, отсюда въ Москву, будто по неизвѣстной причинѣ». Подъ 6 декабря 1826 г. Снегиревъ отмѣчаетъ, что на вечерѣ у Долговыхъ видѣлъ Мицкевича» (сообщеніе Н. К. Лернера). 16 мая 1828 г. Пушкинъ читаетъ у гр. Лаваль «Бориса Годунова»; въ числѣ его слушателей находятся Грибоѣдовъ и Мицкевичъ, а 21 мая кн. Вяземскій предлагаетъ устроить въ Царскомъ Селѣ пикникъ. «Предполагаемые собесѣдники» его опять-таки Грибоѣдовъ, Мицкевичъ, кн. С. Голицынъ, Пушкинъ, Киселевъ и др. Мы видимъ, такимъ образомъ, что Мицкевичъ свой человѣкъ въ кругу высшей русской интеллигенціи; онъ близокъ къ Пушкину и Жуковскому. Въ недавно найденномъ пись-

цѣ Мицкевича къ Жуковскому, относящемуся къ 1827 году ¹⁾, видна уже нѣкоторая близость. Мицкевичъ называетъ Жуковскаго, который былъ на десять лѣтъ старше его, «мой другъ». Онъ сообщаетъ здѣсь подробности о своей высылкѣ въ Россію, притомъ не вполне точныя: «я уѣхалъ въ Одессу съ тѣмъ, чтобы тамъ прикомандироваться къ графу Витте. Но новое распоряженіе заставило меня вернуться съ дороги, и я получилъ мѣсто въ канцеляріи князя Голицына, гдѣ служу по сей день». Уже въ эту пору, когда былъ законченъ «Конрадъ Валленродъ», у Мицкевича, повидимому, былъ планъ описать процессъ филаретовъ, осуществленный позже, уже за границей и послѣ возстанія. Вотъ это мѣсто изъ письма его къ Жуковскому: «Вотъ, дорогой Пане, вторая часть моей исторіи, охватывающая путешествіе: это моя «Одиссея». Что же касается «Иліады», въ которой я описываю неистовства нашего литовскаго Ахиллеса, причинившаго столько зла ученикамъ, то Вы ея сегодня читать не будете. Я Васъ сегодня избавляю отъ этой скуки, но зато готовлю для Васъ длиннѣйшее посланіе. Вашъ слуга Мицкевичъ». Чтобы закончить обзоръ тѣхъ дружескихъ чувствъ, какія русскіе литераторы питали къ Мицкевичу, и затѣмъ перейти специально къ вопросу объ отношеніяхъ между этимъ послѣднимъ и Пушкинымъ, я напому о послѣднемъ пребываніи Мицкевича въ Москвѣ весной 1829 года. Изъ короткихъ замѣтокъ, занесенныхъ М. П. Погодинымъ въ свой дневникъ, можно, кажется, сдѣлать нѣсколько выводовъ о переломѣ, уже готовившемся въ польскомъ поэтѣ. Погодинъ склонялся къ славянофильству и послѣ разговора съ Мицкевичемъ записываетъ 21 марта 1827 г.: «Къ Мицкевичу. Свиданіе съ удовольствіемъ. О нашемъ просвѣщеніи. Россія непременно должна покровительствовать всѣмъ славянскія партии, и этою мѣрою она привлечетъ себѣ болѣе, чѣмъ войскамъ». Намѣчается и религіозный переворотъ въ душѣ Мицкевича, тогда какъ Пушкинъ склонялся къ рационализму. Ихъ

¹⁾ Издатель письма, М. Л., утверждаетъ, что „документъ относится къ петербургскому періоду жизни великаго польскаго поэта, очутившагося въ 1827 г. въ С.-Петербургѣ“ и т. д. („Биржев. Вѣдом.“, веч. выш., 30 нояб. 1910 г.) Въ такомъ случаѣ оно было написано въ ноябрѣ 1827 года и относится, повидимому, къ хлопотамъ Мицкевича о разрѣшеніи ему издавать журналъ (см. объ этомъ ниже).

разговоръ, происшедшій за завтракомъ у Погодина въ присутствіи Хомякова, Аксакова, Венелина и др., не удовлетворилъ, повидимому, собесѣдниковъ: «нечего было сказать (о немъ), кроме: предразсудокъ холоденъ, а вѣра горяча». Если мы вспомнимъ, какъ мало религіозный вопросъ выступалъ до сихъ поръ въ произведеніяхъ Мицкевича, разрѣшаясь чаще всего въ духѣ неглубокомысленнаго сохраненія обрядности да ночитанія Дѣвы Маріи, то представляется, думается мнѣ, не лишенымъ вѣроятія, что именно общеніе съ русскимъ обществомъ заставило польскаго поэта вдуматься въ вопросы религіи, вступить на тотъ путь предпочтенія вѣры разуму, который такъ ясно опредѣлился вскорѣ послѣ его отъѣзда изъ Россіи. И славянофильскія тенденціи позднѣйшихъ парижскихъ лекцій Мицкевича — кто знаетъ, не восходятъ ли въ своихъ первоосновахъ къ духовному общенію съ нашими родоначальниками славянофильства. Здѣсь, въ Москвѣ, религіозный вопросъ волновалъ лучшіе умы: Хомяковъ, Аксаковъ, Кирѣевскій, именно тѣ люди, съ которыми и былъ близокъ Мицкевичъ, клали его въ основаніе своего міровоззрѣнія. Противоположность разума, основы европейской католической культуры, вѣрѣ, какъ основанію восточной православной жизни, — эта противоположность составляетъ фундаментъ славянофильства. Въ Москвѣ «о Богѣ» говорили постоянно, на всякомъ собраніи интеллигенціи. Бѣлинскій почти въ ту же самую пору не хотѣлъ садиться ужинать, пока не рѣшится вопросъ о существованіи Бога, а Погодинъ о завтракѣ, на которомъ велась упомянутая религіозная бесѣда, сообщаетъ Шевыреву кратко, но сильно: «Много было сальнаго, которое не понравилось».

Это было характерно для сумбурности, хаотичности тогдашней русской жизни: сальность и бесѣда о горячности вѣры; самое искреннее увлеченіе философіей и глубокая искренняя религіозность и крѣпостничество, низкопоклонство передъ властью. И самъ Пушкинъ — такой неровный, то простодушный товарищъ, то надменный баринъ, желающій показать купцамъ Полевымъ, какой онъ важный дворянинъ, то авторъ стиховъ о свободѣ, то сочинитель патріотическихъ стиховъ. 22 сент. 1827 г. Никитенко записитъ въ свой дневникъ слѣдующія строки: «Поэтъ Пушкинъ уѣхалъ отсюда (изъ Петербурга) въ деревню. Онъ проигрался въ карты. Говорятъ, что онъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ухлопалъ 17,000 рублей. Поведеніе его

не соотвѣтствуетъ человѣку, говорящему языкомъ боговъ и стремящемуся воплощать въ живые образы высшую идеальную красоту. Прискорбно такое нравственное противорѣчіе въ соединеніи съ высокимъ даромъ, полученнымъ отъ природы». Такъ суждѣлъ русскій наблюдатель, привыкшій къ картинамъ русской жизни. На чужого человѣка, какимъ былъ Мицкевичъ, всѣ эти явленія, — а сколько подобныхъ могло ему броситься въ глаза? должны были производить особенно тяжелое впечатлѣніе. Оно отразилось въ его позднѣйшихъ отзывахъ о Россіи и о Пушкинѣ. Лично Мицкевичъ могъ быть только благодаренъ русскимъ за отношеніе къ нему: я уже приводилъ отзывы его начальства объ «усердіи» поэта къ службѣ, отзывы, которые оказали ему добрую услугу впоследствии; русскіе друзья хлопотали за него, когда Мицкевичъ хотѣлъ перебраться на службу въ Петербургъ, а потомъ ѣхать за границу. Въ «Быломъ» за 1906 г. (апрѣль) напечатана записка Мицкевича, поданная имъ въ началѣ 1829 г. шефу жандармовъ Бенкендорфу, когда онъ сталъ хлопотать о разрѣшеніи ѣхать за границу. У польскаго поэта оказались такіе вліятельные защитники въ Россіи, что на вел. кн. Константина Павловича, намѣстника Царства Польскаго, было оказано нѣкоторое давленіе для благополучнаго разрѣшенія дѣла Мицкевича и въ препроводительной къ нему бумагѣ говорилось даже о томъ, что самъ государь «благоволитъ повелѣть мнѣ (т.-е. Бенкендорфу) испросить всепокорнѣйше В. Имп. Высочества разрѣшеніе на дозволеніе Мицкевичу отправиться за границу». А между тѣмъ выходъ въ свѣтъ «Конрада Валленрода» возбудилъ уже подозрѣніе со стороны Новосильцева. Русскіе друзья отстояли Мицкевича отъ новыхъ непріятностей и дали ему возможность избѣжать ихъ отъѣздомъ изъ Россіи. И когда Мицкевичъ, собираясь поклонить ее, въ послѣдній разъ посѣтилъ Москву, ему на память поднесли серебряный кубокъ съ надписью на днѣ: «Не позабудь» и съ именами участниковъ проводовъ (Баратынскій, Кирѣевскіе, Елагинъ, Рожалинъ, Н. Полевой, Соболевскій). Стихи Ив. В. Кирѣевскаго, прочитанные на прощальномъ обѣдѣ Веневитиновымъ, говорили о живомъ чувствѣ пріязни, которое увозилъ съ собой польскій поэтъ.

Чѣмъ же онъ отвѣчалъ имъ? Въ письмахъ мы встрѣчаемъ откровенные отвѣты на этотъ вопросъ. Филареты, далекіе отъ Москвы, хмурились, когда до нихъ доходили вѣсти о томъ го-

СЕМЬЯ АДАМА МИЦКЕВИЧА.



Францискъ, братъ поэта. Силуэты родителей поэта. Александръ, братъ поэта.

Целина Мицкевичъ.—Адамъ Мицкевичъ.

Марія Горецкая, дочь поэта.

Софья Гриневецкая, дочь поэта.

Владиславъ Мицкевичъ, сынъ поэта.

рячемъ сочувствіи, какое поэтъ-изгнанникъ нашель въ столицѣ «москалей», объ его свѣтскомъ образѣ жизни. Они боялись, что онъ забудеть свое призваніе. Такимъ образомъ Мицкевичу пришлось объясняться и оправдываться. 5 янв. 1827 г. онъ пишетъ въ Оренбургъ Чечоту и Зану цѣлое посланіе. На ихъ подозрительныя намеки онъ отвѣчаетъ прямо: «О возлюбленныхъ: у тебя, ты говоришь, двѣ возлюбленныя... Другой я не любилъ, поэтому о ней послѣ. Первая, если я хорошо понялъ, кто она, имѣеть въ насъ всѣхъ горячихъ и постоянныхъ поклонниковъ. Горе намъ, если хоть на одно мгновеніе одинъ будетъ сомнѣваться въ вѣрности ей другого; но, навѣрное, до сихъ поръ ни одинъ не сомнѣвается въ этомъ. Эта возлюбленная ревнива. Будемъ же свою любовь проявлять не такъ, какъ Донъ-Кихоть, стоя на дворѣ и вызывая всѣхъ безъ исключенія, или сидя въ пустынѣ Черной Горы, но такъ, какъ король Карлъ Великій приказывалъ своимъ рыцарямъ заслуживать любовь Анжелики. О Япъ! Можно ли съ этимъ высокимъ и благороднымъ чувствомъ сочетать и связывать ничего незначащія подробности? Неужели обѣды, танцы, пѣніе могутъ оскорблять эту божественную возлюбленную? Смотри, не походи на столовицкихъ мужиковъ, которые, желая отомстить за распятіе Христа, били каждаго еврея. И не лравъ ли былъ тотъ еврей, который вопилъ: «это не я, а мирскій кагалъ совершилъ это преступленіе?» Клянусь тебѣ всѣмъ святымъ: вѣдь ты впадаешь въ настоящее педанство. Упоминаешь о моавитянахъ! Что же, ты хотѣлъ бы по-ветхозавѣтному выражать свою месть на первородныхъ дѣтяхъ, даже на собакахъ, потому что, какъ я вижу, ты не щадишь даже мышей? Можетъ быть, тебѣ еще Библію цитировать: я скажу тебѣ откровенно, что не только я готовъ съѣсть трѣфный бифштексъ моавитянь, но даже мясо съ самого алтаря Дагона и Ваала, разъ я голоденъ, и все-таки буду, какъ былъ, добрымъ христіаниномъ. Ты спрашиваешь, что я читаю: читаю «Фіеско» Шиллера и исторію Макиавелли. Хвалю тебя за то, что у тебя больше, чѣмъ у другихъ, упорства въ перенесеніи бѣдности, что ты довольствуешься обѣдами Курція, что тебѣ достаточно собственнаго общества. Все это прекрасно. Но, если я полагаю, что было бы лучше и полезнѣе измѣнить этотъ образъ жизни, таково было мое мнѣніе, можешь съ нимъ согласиться или поступать, какъ тебѣ угодно, можешь рекомендовать другимъ свой образъ мыслей и жизни; но все-таки не слѣдуетъ ни навязывать

его, ни кричать, ни издѣваться надъ другими, потому что одинъ Господь Богъ знаетъ, чье мнѣніе лучше». Какъ видимъ, изъ подъ вліянія кружковщины Мицкевичъ уже окончательно вышелъ. Онъ судилъ самостоятельно, съ широкимъ знаніемъ міра и людей, которое ему дала разнообразная и сложная жизнь въ Россіи. Для духовнаго развитія поэта та обстановка, въ которой онъ жилъ, являлась чрезвычайно сильнымъ средствомъ: то въ Москвѣ, то въ Петербургѣ, среди людей, на которыхъ было обращено общественное мнѣніе, и самъ одинъ изъ самыхъ видныхъ среди нихъ. Какъ отличалось это существованіе отъ тихихъ годовъ развитія въ Вильнѣ, отъ учительства въ Ковнѣ, отъ вѣчнаго томленія по Марылѣ. Насколько не хватало Мицкевичу уже тогда болѣе широкой арены, видно изъ его словъ, что только во время слѣдствія и заключенія въ монастырѣ онъ «началъ быть веселымъ». Такъ раздѣлавшись въ цитируемомъ письмѣ съ Чечотомъ, Мицкевичъ обращается къ Зану и начинаетъ описывать свою личную жизнь: «Такъ какъ я пишу это письмо для васъ обоихъ, то за разъ ужъ я скажу свое мнѣніе и Томашу. Если его приглашаютъ на обѣдъ или, если онъ можетъ, не нарушая пристойности, итти безъ приглашенія, пусть идетъ и хорошенько поѣсть. Вѣдь хорошій обѣдъ подкрѣпляетъ силы, а деньги лучше отдать другому, который нитается на свой счетъ, или купить на нихъ табаку или книжку. Если во время обѣда можно поболтать съ хорошимъ пріятелемъ, тѣмъ лучше: такъ можно пріятно убить время, а главнѣйшая, единственная цѣль его: сохранить здоровье. Больше не о чемъ думать и нечего дѣлать. Если Томашъ играетъ въ бостонъ, онъ поступаетъ самымъ лучшимъ образомъ. Я самъ испыталъ, что, когда играешь въ бостонъ, математическіе расчеты занимаютъ сердце и охлаждають умъ, и, если долго играешь, такъ даже во снѣ чудятся тrefы, ники и бубны, а это, право, лучше сновъ, послѣ которыхъ слезы текутъ изъ глазъ. Если Томашъ сможетъ писать, пусть пишетъ, и я отъ души желаю ему писать, но не заставляю: писать это не шить сапоги на заказъ. Я писалъ, потому что были обстоятельства, благопріятствующія музамъ, а теперь снова бездѣльничаю. «Будетъ, будетъ, — закричишь ты: что это за афоризмы Адама!» Подожди, братецъ (bratku, обращеніе, котораго мы не встрѣчаемъ до московскаго періода въ жизни Мицкевича, и которое сильно отзывается русскимъ „братецъ“), сейчасъ я расскажу и *pro domo sua*. У

меня тутъ есть много знакомыхъ, и отъ многихъ я встрѣчаю доброе расположеніе къ себѣ, отъ нѣкоторыхъ даже дружбу, и я былъ бы радъ платить имъ за это благодарностью. Прокляты тѣ, кто ничего не платитъ! Извини, что я цитирую «Дѣды». Бываю и въ салонахъ, но тамъ не слишкомъ фигурирую; не потому, чтобы не хотѣлъ, но потому, что не умѣю. Если бы я хорошо или хоть сносно танцевалъ, я былъ бы очень этому радъ; если бы я игралъ на флейтѣ или на гитарѣ, это было бы еще лучше; если бы пѣлъ, и это очень пригодилось бы; можетъ быть, со временемъ научусь хоть говорить комплименты, и тогда ужъ постараюсь въ этомъ усовершенствоваться. Право, говоря серьезно, можно танцевать, играть, пѣть и быть любезнымъ, не дѣлаясь паразитомъ, и можно быть полезнымъ для другихъ, а это величайшая награда за все старанія въ такихъ мелкихъ вещахъ. Правда, если бы я вернулся въ нашу Литву, можетъ быть, какъ спущенная пружина я уналъ бы на прежнее мѣсто, и если бы мнѣ ничто не мѣшало извѣтъ, выдумалъ бы самъ себѣ какое-нибудь страданіе и былъ бы печаленъ и опять грызъ бы себя. Я началъ быть веселымъ у отцовъ Базилиановъ, а спокойнымъ и почти-что умнымъ въ Москвѣ».

Изъ этого письма можно сдѣлать выводъ, что въ Москвѣ Мицкевичъ чувствовалъ себя хорошо, что онъ *хотѣлъ* искренно любить своихъ русскихъ друзей, но самъ себѣ не *позволялъ* этого, потому что боялся забыть, что онъ въ странѣ враговъ. И все-таки духовная связь съ виленискимъ кружкомъ становилась все болѣе тонкой: въ апрѣлѣ 1828 г. поэтъ признается, что сталъ необычайно лѣнивъ на письма, что *зачастую* отвѣтъ на письмо откладывается на полгода. Это говоритъ Мицкевичъ, который когда-то только и жилъ перепиской съ друзьями! Теперь и тонъ его писемъ иной: это увѣренный въ себѣ человѣкъ, привыкшій, чтобы его слушали. Въ Москвѣ онъ чувствовалъ себя настолько счастливо, что боялся, какъ бы «завистливая Немезида» не готовила ему новыхъ ударовъ; его жизнь шла ровно и приятно; онъ много читалъ и писалъ по утрамъ, въ 3 часа дня обѣдалъ или одѣвался, чтобы ѣхать на обѣдъ къ знакомымъ; вечеромъ отправлялся въ концертъ или на какую-нибудь «иную забаву», возвращался обыкновенно поздно. Въ Москвѣ, куда его тянуло изъ Петербурга, гдѣ онъ былъ въ концѣ 1827 г., Мицкевичъ училъ польскому языку нѣкоторыхъ дамъ. Впрочемъ,

прибавлялъ онъ, здѣсь многіе учатся по-польски, и попечитель даже подумываетъ основать специальную кафедру польскаго языка, которую Мицкевичъ, по его словамъ, могъ бы ужъ давно получить. «Но, не намѣреваясь остаться въ Москвѣ, я къ этому дѣлу отношусь равнодушно». На лѣто у него были планы поѣздки: на Кавказъ, въ Крымъ, пожалуй, и въ Оренбургъ (гдѣ жилъ Запъ); «порою грезится и Италія». Розмахъ жизни импонируетъ Мицкевичу: въ одномъ изъ очень характерныхъ писемъ къ Одынцу (1827 г.), сообщая о своемъ намѣреніи печатать «Конрада Валленрода» въ Москвѣ, онъ прибавляетъ, что «Варшава и далеко, и трудно съ ней завязать отношенія, и продажа не велика. Повидимому, у васъ моя слава, говоритъ поэтъ, не слишкомъ-то привлекаетъ людей въ книжную лавку, хотя Валеріанъ (Красинскій), чтобы меня утѣшить, сваливаетъ вину на форматъ сонетовъ. Поэтому въ моихъ дальнѣйшихъ литературныхъ предпріятіяхъ Варшава будетъ второстепеннымъ пунктомъ, — еще болѣе второстепеннымъ, нежели Кіевъ, не говоря уже о Петербургѣ и Москвѣ». «Что дѣлаетъ Залѣвскій (поэтъ-романтикъ)? продолжаетъ Мицкевичъ: Почему онъ переводитъ стихи Козлова, очень непосредственнаго поэта, когда никто не хочетъ прикоснуться къ Гёте, когда столько сочиненій Байрона не переведено. Ради Бога, бросьте вы переводить этихъ второстепенныхъ поэтовъ! Гдѣ же теперь, кромѣ Варшавы, еще переводятъ Легувэ и Делиля и, что еще хуже, Мильвуа и т. под. Русскіе покачиваютъ головой отъ жалости и удивленія! Вѣдь мы отстали въ литературѣ на цѣлый вѣкъ! Здѣсь каждый новый стихъ Гёте вызываетъ всеобщій энтузіазмъ, сейчасъ же переводится и комментируется. Каждый новый романъ Вальтеръ Скотта немедленно пускается въ оборотъ, всякое новое философское сочиненіе немедленно появляется въ книжной лавкѣ... а у насъ! Почтенный Дмоховскій признаетъ Георгики Козьяна за идеалъ польской поэзіи!» То высокомеріе, съ которымъ Мицкевичъ говоритъ о современной ему польской литературѣ, могло созрѣть у него лишь на почвѣ близкаго знакомства съ тогдашней умственной культурой русскаго общества, которое въ странномъ противорѣчьи съ жестокой политической атмосферой жило вопросами философіи и литературы. Только этотъ путь и оставался для него немного болѣе открытымъ, разумѣется, пока отъ мысли никто не собирался перейти къ дѣлу.

И съ вождемъ тогдашней русской поэзии, Пушкинымъ, судьба близко столкнула, какъ мы знаемъ, польскаго поэта. Соединяла ли ихъ дружба, оказали ли они вліяніе на творчество другъ друга? Эти вопросы создали цѣлую литературу (Спасовичъ, Третьякъ, М. Здзеховскій, С. Брайлоскій и др.), въ которую я здѣсь не могу вдаваться. Мицкевичу приписывается вліяніе на созданіе образа Петра Великаго въ «Мѣдномъ Всадникѣ», притомъ однако такое, что Пушкинъ старался оправдать Петра отъ рѣзкихъ нападокъ Мицкевича. Со своей стороны, я напомнимъ, что въ московскихъ кругахъ, въ которыхъ вращался Мицкевичъ, вопросъ о личности Петра Великаго и о значеніи его реформы для Россіи составлялъ уже краеугольный камень міровоззрѣній. Объ этомъ говорили и будущіе славянофилы, и намѣчавшіеся западники. И если въ сатирическихъ стихахъ о Россіи, вошедшихъ въ заграничное изданіе сочиненій Мицкевича послѣ возстанія, такъ много мѣста удѣлено Петру Великому, то въ этомъ чувствуется отголосокъ именно московской среды. Вѣдь дата на этихъ стихахъ 1828 — 1830 указываетъ на то, что часть ихъ была написана или хоть задумана еще въ Россіи. Для Пушкина это былъ не менѣе животрепещущій вопросъ, чѣмъ для Мицкевича, и рядъ сходствъ въ точкѣ зрѣнія или «возраженіи», который приведенъ Третьякомъ, можетъ объясняться тѣмъ, что о Петербургѣ, какъ о созданіи Петра, о самодержавіи, завѣщанномъ имъ, о непорядкахъ русской жизни, пошедшихъ отъ Петра, говорилось во всѣхъ подробностяхъ. Тѣми общими указаніями, какими ограничивается критика за и противъ вліянія Мицкевича на Пушкина, нельзя, какъ мнѣ кажется, доказать съ убѣдительною факта этого вліянія, но можно думать, что въ воззрѣніяхъ на Петра польскій поэтъ примыкалъ къ воззрѣніямъ московскихъ славянофиловъ, съ которыми его, вообще, связывало многое. Мицкевичъ упрекалъ Петра Великаго за то, что онъ далъ Россіи не настоящую культуру, а только вѣншній европейскій видъ; обрѣзалъ бороды, укоротилъ одежду («obetnę suknie iogole brody»), насильно ввелъ въ общество женщинъ, велѣлъ тапцовать при дворѣ менуеты; онъ создалъ винныя откупа, чины, папорты и т. д. Читая сатиру Мицкевича «Przegląd wojska», такъ и слышишь въ той части, которая касается Петра, отголоски рѣчей Хомякова, Аксакова, Кирѣевскихъ. А Пушкинъ защищалъ Петра.

Мицкевичъ только *благосклонно* признавалъ Пушкина, но не любилъ его. Однажды, когда при немъ стали хулить Пушкина, онъ остановилъ собесѣдника замѣчаніемъ, что Пушкинъ имѣеть права на славу, «потому что онъ первый поэтъ своего народа», похвала очень невысокая. Мицкевича превозносили въ московскихъ кругахъ превыше Пушкина, и самъ онъ скромно признавалъ первенство за польскимъ поэтомъ и радовался, что «злобы въ душѣ своей къ намъ *не питалъ онъ; мы его любили*; мирный, *благосклонный*, онъ посѣщаль бесѣды наши. Съ нимъ дѣлились мы и чистыми мечтами, и пѣснями. Онъ вдохновленъ былъ свыше и съ высоты взиралъ на жизнь... Мы жадно слушали поэта. Онъ ушелъ на Западъ, и благословеніемъ его мы проводили». Въ письмахъ же Пушкина мы находимъ, къ удивленію, только случайныя и пустышныя упоминанія о Мицкевичѣ. Ни въ одномъ изъ нихъ нельзя прочесть сколько-нибудь близкаго чувства къ польскому поэту. На прощальномъ обѣдѣ въ Москвѣ, когда Мицкевичу былъ поднесенъ кубокъ, Пушкинъ не присутствовалъ. 18 марта 1828 года въ письмѣ поэта къ Одынцу мы находимъ нѣсколько строкъ о Пушкинѣ: «Когда-нибудь я напишу о немъ подробнѣе, теперь скажу только, что я съ нимъ знакомъ, и мы часто видимся. Пушкинъ почти моего возраста (на два мѣсяца младше), въ разговорѣ очень остроумень и увлекателенъ, читалъ много и хорошо, знаетъ современную литературу, о поэзіи имѣеть чистыя и возвышенныя понятія. Теперь написалъ трагедію: «Борисъ Годуновъ»; я знаю изъ нея нѣсколько сценъ въ историческомъ жанрѣ; онъ хорошо задуманъ, подробности прекрасны». Вотъ и все. И позже, когда Пушкинъ былъ убитъ на дуэли, опять тотъ же благосклонный, по суховатый отзывъ: «я близко зналъ русскаго поэта, и притомъ довольно долгое время. Я считалъ его человѣкомъ нѣсколько легкомысленнымъ и впечатлительнымъ, но всегда искреннимъ, благороднымъ, экспансивнымъ. Повидимому, недостатки его происходили отъ условій, въ которыхъ онъ жилъ, а то, что было въ немъ хорошаго, вытекало изъ его собственного сердца». Пишутъ ли такъ о людяхъ, смерть которыхъ искренно поразила. И еще составила легенда, будто Мицкевичъ вызвалъ на дуэль убійцу Пушкина, Дантеса! И въ знаменитомъ своемъ стихотвореніи, гдѣ разсказывается, какъ «двое юношей» укрывались подъ однимъ плащомъ у памятника Петра Великаго, упоминается, что «знали

они другъ друга съ недавняго времени, но знали коротко и были *уже нѣсколько дней* друзьями». Взаимное признаніе, интересъ другъ къ другу, но не настоящая дружба: вотъ что, мнѣ кажется, соединяло поэтовъ. Мицкевичъ не терпѣлъ около себя гениальныхъ соперниковъ (какъ въ послѣдствіи Словацкаго): онъ былъ гордъ и властолюбивъ. А Пушкинъ едва ли съ легкимъ сердцемъ внималъ хору похвалъ, расточавшихся Мицкевичу въ ущербъ ему, съ которымъ друзья, конечно, не прочь были свести счеты хотя бы этимъ косвеннымъ способомъ. «Въ самомъ дѣлѣ, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича Пушкинъ не могъ сравнивать себя съ нимъ, и сознание въ томъ дѣлаетъ величайшую честь уму нашего поэта». Такія рѣчи (К. Полевого) Пушкину, вѣроятно, приходилось выслушивать нерѣдко. Біографъ М. П. Погодина, Барсуковъ, рассказываетъ (II 305), «что въ то время, когда «Вѣстникъ Европы» Каченовскаго на своихъ страницахъ топталъ въ грязь нашу народную славу, Пушкина, въ то же время и тотъ же «Вѣстникъ Европы» почтительно расшаркивался передъ польскимъ писателемъ. Г. Мицкевичъ, читаемъ тамъ, находится теперь въ Москвѣ. Имѣемъ достовѣрное свѣдѣніе, что сей достойный любимецъ польской публики будущею весною отправится за границу освѣжить прекрасный талантъ свой поэтическимъ воздухомъ Европы» (1829, № 6, стр. 174). Это, дѣйствительно, было обидно лично для Пушкина и оскорбительно для его народнаго самолюбія. Но и помимо этого: между Пушкинымъ и Мицкевичемъ была болѣе глубокая рознь. Вѣдь Пушкинъ былъ такимъ же націоналистомъ въ глубинѣ души, какимъ былъ и Мицкевичъ. Слова о «русскомъ морѣ» вылились у него искренно, его благодарность Богу за *всю* ту исторію, которую онъ далъ Россіи, совершенно исключала ту постановку польскаго вопроса, которой требовалъ Мицкевичъ. Мнѣ кажется, что самое основательное, что было написано до сихъ поръ объ отношеніяхъ между двумя поэтами, принадлежит все-таки Спасовичу, и всецѣло справедливо его замѣчаніе: «если бы дошло до совершенно откровеннаго разговора съ Мицкевичемъ по польскому вопросу, то неизбѣжно Пушкинъ выразилъ бы то, что составляетъ основу «Бородинской Годовщины» и «Клеветникамъ Россіи» (Спасовичъ. Сочиненія VIII, 81). Я прибавлю къ этому, что такъ высказались бы и кн. Вяземскій, и Жуковскій, и М. П. Погодинъ. Мицкевичъ это чувствовалъ, можетъ быть, и зналъ, и потому при личныхъ

дружескихъ отношеніяхъ съ московскими и петербургскими литературными кружками, окруженный вниманіемъ и повсюду прославляемый, сознающій, что здѣсь его понимаютъ лучше, чѣмъ въ Варшавѣ или въ Вильнѣ, раздѣляющій многіе взгляды намѣчающагося славянофильства по вопросамъ вѣры и разума, а также въ области историческаго отношенія къ Петру Великому: при всемъ этомъ Мицкевичъ оставался, какъ говоритъ Вяземскій, «кровнымъ полякомъ» и чувствовалъ себя въ станѣ враговъ. Такъ, я думаю, внутренній смыслъ тѣхъ въ высшей степени важныхъ въ развитіи Мицкевича годовъ, которые онъ провелъ въ Москвѣ. Нѣтъ надобности въ предѣлахъ этого труда разсматривать болѣе детально эту жизнь. Въ біографіи Мицкевича, составленной его сыномъ Владиславомъ, московскій періодъ освѣщенъ очень подробно по письмамъ Малевскаго и воспоминаніямъ поляковъ, видѣвшихъ въ это время поэта. Къ этому труду мнѣ и приходится отсылать читателя, желающаго почерпнуть болѣе полныя свѣдѣнія о виѣшней жизни Мицкевича въ Москвѣ.

Если русскіе друзья старались заставить Мицкевича забыть, что онъ живетъ въ странѣ изгнанія, если и со стороны своего начальства поэтъ не видѣлъ никакого желанія засадить его за скучный черный трудъ, то все же многое напоминало ему, что въ Москвѣ онъ живетъ не по собственной волѣ, и что въ глазахъ правительства онъ все-таки политическій преступникъ, ссыльный. Не даромъ осторожный М. П. Погодинъ иногда побаивался большого сближенія съ Мицкевичемъ въ виду того, что онъ «состоитъ подъ надзоромъ полиціи». Когда же Мицкевичъ дѣлалъ попытку выйти изъ пассивности, онъ постоянно наталкивался на непреодолимую преону, которой являлось полицейское *veto*! Уже въ августѣ 1826 г. онъ сталъ хлопотать вмѣстѣ съ Малевскимъ объ отпускѣ на родину для устройства семейственныхъ дѣлъ. Кн. Голицынъ снесся съ Новосильцевымъ, который въ свою очередь обратился къ ректору Виленскаго унив. Пеликану. Тотъ оказался вѣренъ себѣ: Малевскій и Мицкевичъ, отвѣчалъ онъ, признаны дѣятельнѣйшими по предосудительнымъ видамъ тайнаго общества филлатовъ и филаретовъ; затѣмъ появленіе въ Вильнѣ этихъ людей, «получившихъ слишкомъ скоро настоящіе чины, могло бы побудить къ дерзкимъ и несвойственнымъ заключеніямъ. Впрочемъ могутъ они себя вести хорошо въ Москвѣ, но при всемъ томъ здѣсь, гдѣ было гнѣздо всѣхъ ихъ зловредныхъ мечтаній и

замысловъ, нельзя совершенно положиться на ихъ исправленіе». Местъ Пеликана удалась: въ томъ же духѣ высказался и Новосильцевъ (9 ноября 1826 г.), и Мицкевичъ утѣшалъ себя (въ письмѣ въ Казань Ковалевскому): «Что жъ дѣлать? Не слѣдуетъ падать духомъ». Надежда на коронацію Николая такимъ образомъ не оправдалась. «Наши надежды погасли съ послѣднимъ блескомъ лампъ здѣшней иллюминаціи», писалъ поэтъ въ сентябрѣ. Годъ спустя Мицкевичъ опять убѣдился, что онъ все еще состоитъ въ подозрѣніи. Въ концѣ 1827 года онъ задумалъ издавать съ 1828 года періодическое сочиненіе на польскомъ языкѣ «Iris». Въ программѣ, представленной въ московскій цензурный комитетъ, все дышало благонамѣренностью: «Польско-россійскія провинціи имѣютъ съ давняго времени обезпеченныя благодѣянія народнаго обученія. Отъ нихъ послѣдоваль очевидный успѣхъ просвѣщенія, обнаруживающійся въ числѣ выходящихъ ученыхъ сочиненій и въ цвѣтущемъ состояніи учебныхъ заведеній, воздвигнутыхъ Монаршею щедростію. При столь усилившемся къ приобрѣтенію наукъ порывѣ одно только ученое періодическое сочиненіе, издаваемое въ Вильнѣ для польско-россійскихъ губерній, не можетъ удовлетворить нуждамъ многочисленной читающей публики, ниже соотвѣтствовать числу и разнообразію, въ коихъ нынѣ появляются ученые труды». Дальше шло еще благонамѣреніе: «Многократно повторено было непріятное замѣчаніе, что ложныя о нынѣшнемъ состояніи Россіи понятія поддерживаются донынѣ между иностранными писателями, но еще непріятнѣе вспомнить, что тѣ же ложныя понятія поддерживаются донынѣ въ краяхъ, коихъ жители по сходству языка и первоначальныхъ обычаевъ столь много имѣютъ удобностей къ исправленію старыхъ или къ приобрѣтенію новыхъ о Россіи извѣстій. Литературы россійская и польская, кромѣ столь многихъ и столь сильныхъ побужденій, до сихъ поръ не сдружились. Богатства одной оставались и остаются неизвѣстными другой, и сіе равнодушіе едва не изглаживаетъ слѣдовъ истиннаго родства. Напрасно неоднократно противъ него возставали знаменитые россійскіе и польскіе писатели, не было понынѣ истиннаго желаемаго обмѣна ученыхъ произведеній, не внимая тому, что сіи произведенія, искусно пересаженные, находя ту же землю и небо, всегда могутъ хорошо принятыся» и т. д. Итакъ, цѣль журнала была примирительная, его основа—убѣжденіе въ близкомъ родствѣ и

сходствѣ культурныхъ побужденій двухъ народовъ. Какъ было не поощрить подобнаго изданія? Кн. Голицынъ согласился и разрѣшилъ Мицкевичу; предѣдатель моск. ценз. комитета также склонялся на сторону разрѣшенія; попечитель Московскаго учебнаго округа «не находилъ со своей стороны препятствія къ изданію означеннаго журнала», а главный цензурный комитетъ не только соглашался съ отзывомъ московскаго попечителя, но даже прибавлялъ комплиментъ по адресу Мицкевича, который «нискалъ великую извѣстность своими поэтическими произведеніями». Пройдя четыре инстанціи, дѣло, начавшееся 25 окт. 1827 г., добралось наконецъ ко 2 декабря до министра народнаго просвѣщенія, попало въ его канцелярію и передано было товарищу министра Блудову. Этотъ «разсматривалъ» три дня и къ 10 декабря представилъ свои соображенія: «Не бывъ членомъ комитета, который разсматривалъ дѣла тайныхъ обществъ университета Виленскаго, я не въ состояніи судить, до какой степени гг. Мицкевичъ и Малевскій могли быть виновны и могутъ доселѣ быть подозрительными, слѣдовательно, не мнѣ судить и о томъ, будутъ ли они благонадежны въ званіи журналистовъ. Я замѣчу только, что, если правительство нашло нужнымъ запретить имъ жить и служить въ Польшѣ, то, вѣроятно, по тѣмъ же причинамъ сіе правительство не дозволитъ имъ дѣйствовать на умы въ Польшѣ посредствомъ журнала. Впрочемъ, скажу еще разъ, что мнѣ, по незнанію виленскаго слѣдственнаго дѣла, нельзя основательно судить объ этомъ». Этого было достаточно: сомнѣніе Блудова относительно неблагонадежности Мицкевича, который былъ высланъ изъ Вильны «по неизвѣстнымъ ему причинамъ», было принято за отказъ, и министръ безъ дальнихъ словъ распорядился *не давать* разрѣшенія. Опять покатилося дѣло отъ инстанціи къ инстанціи и черезъ двѣ недѣли, къ 24 декабря, дошло до Мицкевича. Огорчила ли его эта неудача? Никакихъ свѣдѣній по этому предмету мы не имѣемъ, но что дѣло не было для него безразлично, видно изъ того, что Мицкевичъ въ ноябрѣ 1827 года лично отправился въ Петербургъ и тогда же, вѣроятно, обратился съ извѣстнымъ письмомъ къ Жуковскому. Представляется правдоподобнымъ, что и самая поѣздка была вызвана желаніемъ ускорить разрѣшеніе вопроса. Трудно было не озлобиться, узнавъ, что журналъ, преслѣдовавшій цѣли русско-польскаго примиренія, безъ всякихъ объясненій просто напросто запрещенъ.

Тамъ, гдѣ есть яркій успѣхъ, красота и сила, тамъ всегда будетъ и женщина, прекрасная, чуткая, вносящая въ жизнь поэта прелесть тонкаго чувства. Мицкевичъ самъ признавался, что женщины всегда увлекали его, но какая разница въ ихъ отношеніи къ нему прежде и теперь. Бѣдный ковенскій учитель изъ неродовитой шляхты (въ формулярномъ списокѣ его такъ и указано, что данныхъ о дворянствѣ онъ не могъ представить), Мицкевичъ могъ увлечь какую-нибудь дворяночку, Юзю или Анелю, но даже въ Марылѣ онъ возбуждалъ лишь платоническія чувства: развѣ могли спѣсивые Верещаки породниться съ сыномъ уѣзднаго новгородскаго адвоката! Въ Одессѣ Мицкевичъ вызываетъ мимолетную страсть, но горько жалуется, что одиѣ его любили въ ожиданіи сонетовъ, а другія ждали денегъ. И только въ Москвѣ признанный всѣми поэтъ, забалованный общественнымъ вниманьемъ, становится кумиромъ для женщинъ. Здѣсь расцвѣла его молодость, и ея благоуханіе влекло къ нему самыхъ блестящихъ и свѣтскихъ женщинъ Москвы. Но въ станѣ враговъ могъ ли онъ связать свою жизнь съ чужою?

Въ началѣ января 1827 года Мицкевичъ и Малевскій познакомились съ кн. Зинаидой Волконской, которая устраивала въ своемъ роскошномъ домѣ любительскія представленія оперъ съ собственнымъ участіемъ, литературные вечера, балы и концерты. Интересная, образованная и умная женщина, обладавшая притомъ прекраснымъ голосомъ, кн. Волконская представляла центръ, около котораго вращалась дворянская и интеллигентная Москва. Она любила окружать себя знаменитостями,—гипнозъ имени до сихъ поръ въ Москвѣ сильнѣе, чѣмъ въ Петербургѣ,—любила «поумничать» и прицѣпить къ каждой знаменитости «характеристику». Пушкину она объясняла величіе Пушкина (въ письмѣ отъ 29 окт. 1826 г.), передъ отъѣздомъ Мицкевича изъ Москвы прочла (по вѣроятному предположенію Владислава Мицкевича) восторженную характеристику поэта въ своемъ кружкѣ. Повидимому она порядкомъ донимала своихъ друзей этими литературными поползновеніями, и Малевскій, который рассказываетъ, какъ княгиня читала имъ свои французскіе романы, прибавляетъ, что «кромѣ литературныхъ претензій, другихъ у нея нѣтъ, это очень добрый человекъ». Съ большимъ вниманіемъ скучающая барыня отнеслась къ обоимъ польскимъ изгнанникамъ, она зазывала ихъ къ себѣ на обѣды и вечеринки, не обижаясь на отказы и про-

пуски, вдохновляла Мицкевича. «Княгиня Волконская это—настоящий воплощенный ангелъ доброты, а какъ прекрасно, какъ тепло въ ея домѣ; на лѣстницѣ въ домѣ княгини теплѣе, чѣмъ у насъ въ комнатѣ около печки»: писалъ Малевскій. И Мицкевичъ относился къ ней съ большимъ расположеніемъ, хотя ни въ посвященіи кн. Волконской «Крымскихъ сонетовъ», ни въ извѣстномъ описаніи ея античной комнаты, ни въ вдохновленномъ ею стихотвореніи «Поэзія, гдѣ чудная кисть твоя?» не обнаруживается ни одной искры живой страсти. Въ самыхъ любезно-равнодушныхъ словахъ признанія чувствуется большая холодность. Одынецъ рассказываетъ объ этихъ отношеніяхъ (въ письмѣ изъ Рима отъ 25 нояб. 1829 г.) то же, о чемъ можно догадываться и по другимъ даннымъ. «Это (не любовь, а) только настоящая и взаимная дружба, основанная съ одной стороны на горячемъ преклоненіи передъ поэтомъ и гениальнымъ человѣкомъ, а съ другой на уваженіи къ прекрасной, благородной, поэтической душѣ,—дружба, проникнутая поэтической прелестью, сопровождающей обыкновенно отношенія между друзьями и подругами, и оживленная благодарностью за взаимное благорасположеніе, которому обѣ стороны одинаково довѣряютъ. И, право, невозможно передать, съ какой деликатностью и тонкостью княгиня Зинаида умѣетъ угадывать и предупреждать мысли друга, который также, долженъ признать это, съ меньшей, можетъ быть, граціей простоты и свободы принимаетъ это, какъ обыкновенную вещь, и все-таки даетъ понять, что умѣетъ чувствовать и цѣнить оказываемое ему вниманіе. Жалѣю тѣхъ людей, которые не могутъ ни почувствовать, ни понять отношеній этого рода, а потому и не вѣрятъ въ ихъ возможность», патетически восклицаетъ Одынецъ, и потомъ даетъ нѣсколько словъ для характеристики этой «патронессы» (patronki) Мицкевича. Въ это время княгиня Волконской было около 35 лѣтъ. «Она и теперь, и, кажется, никогда не была красавицей въ настоящемъ значеніи этого слова. Но въ выраженіи ея лица, какъ и во всемъ обликѣ, въ движеніяхъ, улыбкѣ, взглядѣ, есть что-то невыразимо привлекательное, что плѣняетъ сердце. И это, несомнѣнно, результатъ большой доброты и притомъ удивительной живости и скромности мыслей и чувствъ, которыя составляютъ сущность ея характера. Правда, въ ней видна и дама изъ высшаго общества, но только въ отсутствіи мелочности и тактѣ обхожденія съ людьми. Чванства или салонныхъ претензій въ ней нѣтъ и тѣни». Въ этомъ

описаніи между строкъ сквозить то же, что мы знаемъ и изъ писемъ Малевскаго: кн. Волконская шла навстрѣчу Мицкевичу, а онъ относился къ ней довольно сдержанно, избѣгалъ пользоваться слишкомъ часто ея гостепрѣимствомъ, и въ его личной жизни Волконская не играла никакой роли. И та удивительная комната въ античномъ вкусѣ, которая представляла предметъ зависти для всей богатой Москвы, описана Мицкевичемъ въ любезныхъ выраженіяхъ, за которыми не чувствуется души.

«Среди развалинъ стоялъ одинъ цѣльный образъ Сатурна; подлѣ него одна урна, изваянная изъ коринфской бронзы. Внутри ея чуть-чуть вспыхиваетъ блѣдный огонекъ: не геній ли это воскресающей Эллады? Онъ поднялъ голову, сверкнулъ глазами и, взлетая на радужныхъ крыльяхъ, еще разъ вѣнчаетъ лучами чело боговъ, дремлющихъ небожительницъ и прелестное чело нимфы-предводительницы. О, пусть всѣ эти божества надъ страшною воспоминаній вѣчно спятъ мраморнымъ и бронзовымъ сномъ! Лишь бы только тебя, прелестная предводительница, пробудилъ меньшій изъ боговъ, до сихъ поръ чтимый людьми! Проказникъ! убѣжавъ съ лона Афродиты, ты дремлешь, сося рубиновые перси винограда. Грѣхъ большой безъ жертвы миновать твое божество! прелестная нимфа, будемъ набожны оба. Увы! предводительница поражаетъ холоднымъ взглядомъ, какъ жезломъ Меркурія, и мою душу, стремящуюся въ роскошный край наслажденія, безжалостно изгоняетъ за рубежъ надежды! И что жъ расскажу я, возвратясь въ страну смертныхъ? Ахъ, я расскажу, что былъ на половинѣ пути къ раю, съ душою полугрустною, полурадостною; я уже слышалъ этотъ райскій разговоръ полувнятный, и видѣлъ этотъ райскій полусвѣтъ, эту полутьму,—и узналъ—увы—только полуспасеніе» (переводъ П. П. Дубровскаго 1858 г.). Въ такомъ тонѣ Мицкевичъ никогда не писалъ, когда любилъ серьезно. Почему-то такъ же шутливо обращался къ Волконской и Пушкинъ, прося ее «не отвергать смиренной дани» и внять ему, «какъ мимоѣздомъ Каталани цыганкѣ внемлетъ кочевой!» Можетъ быть слишкомъ недоступной для обонхъ была княгиня Волконская, и они предпочитали спастись отъ серьезнаго чувства, ограничиваясь полшутливыми признаніями?

Въ Москвѣ же Мицкевичъ познакомился съ молодой дѣвушкой, принадлежавшей къ кругу Елагинныхъ, Кирѣевскихъ, Хомякова, Языкова. Это была дочь московскаго профессора К. А. Янина

(Jaenisch), Каролина Карловна Янишъ, извѣстная и въ русской литературѣ подъ своей позднѣйшей фамиліей Павловой. Вл. Мицкевичъ, Третьякъ и др. говорятъ о ней, какъ о «красавицѣ», но лично знавшій ее П. Бартенева («Русскій Архивъ» 1894) даетъ иной отзывъ: «Съ дѣтскихъ лѣтъ она была окружена ученостію и, будучи единственной дочерью, получила многостороннее образованіе. *Природа не дала ей красоты физической*, зато щедро надѣлила способностями, и въ особенности къ языкамъ. Она изумляла своей памятью и начитанностію и, будучи еще отроковицею, занималась словесностію на трехъ - четырехъ языкахъ. Когда провожали изъ Москвы Мицкевича, она читала ему хвалебные стихи. Гумбольдтъ проѣздомъ черезъ Москву на Уралъ удивлялся ея дарованіямъ» и т. д. Еще въ 1858 г. «стихи, свои и чужіе, не сходили съ ея устъ», говоритъ Бартенева. Изъ воспоминаній самой Каролины Павловой, которая, къ сожалѣнію, обрываются на ея дѣтскихъ годахъ, мы видимъ, съ какой чуткой и развитой душой встрѣтился Мицкевичъ. Въ ту пору, когда крѣпостное право такъ мало возбуждало этическихъ чувствъ въ обществѣ, молодая нѣмка ужасалась, видя «простоту и хладнокровіе», съ которыми лучшіе люди говорили о помѣщичьемъ произволѣ. «Тотъ же самый князь Одоевскій, памятный мнѣ, какъ человекъ въ высшей степени добродушный и благородный, сказалъ разъ отцу моему, что часть тому назадъ онъ своему зятю продалъ пятьсотъ душъ по копейкѣ за душу. Онъ улыбался, говоря объ этой шуткѣ». Такихъ наблюденій въ этихъ запискахъ Каролины нѣсколько; уже тотъ фактъ, что молодая дѣвушка запомнила ихъ, поразила въ нихъ, указываетъ на исключительное благородство ея души. Могла ли она, восторженная поклонница поэзіи, 20-лѣтняя дѣвушка, не влюбиться въ Мицкевича? Его вдохновенныя импровизаціи, слава поэта, репутація политическаго борца, «кровнаго поляка», какъ опредѣляетъ его кн. Вяземскій, должны были покорить сердце К. Янишъ, и покорили его.

Какъ же отнесся къ этому Мицкевичъ? Повидимому онъ готовъ былъ одно время жениться на Каролинѣ, но полюбилъ ли онъ ее, это сомнительно. Во всякомъ случаѣ не страсть, а только нѣжное чувство симпатіи возбуждала въ немъ эта дѣвушка. Къ нему благоволила и семья ея. Когда въ концѣ 1827 г. поэтъ уѣхалъ въ Петербургъ и здѣсь остался больше, чѣмъ думалъ,

отецъ Каролины писалъ ему, и Мицкевичъ отвѣчалъ извиненіями, оправданіями и говорилъ съ откровенной симпатіей объ его дочери. «Мнѣ очень пріятно узнать, что ваша жена и m-lle Каролина хорошо себя чувствуютъ и немножко помнятъ обо мнѣ. M-elle Каролина сдѣлала въ польскомъ языкѣ успѣхи, которые всѣхъ удивляютъ, — всѣхъ, кромѣ тѣхъ, кто знаетъ ея необыкновенныя способности ко всякаго рода наукамъ. Какъ ея бывший учитель, я горжусь такой ученицей. Такъ какъ книжки, по которымъ берутся первые уроки, легко треплются, то я прошу васъ передать m-elle Каролинѣ два новые томика. Пусть за это она отдастъ мнѣ книжку, по которой училась читать по-польски; она будетъ для меня дороже парижскихъ и лондонскихъ изданій». Если Мицкевичъ рѣшался такъ писать отцу молодой дѣвушки, это могло значить, что онъ не скрываетъ отъ него свое чувство. Отецъ, повидимому, и не препятствовалъ Каролинѣ выйти замужъ за поэта, но братъ его вмѣшался въ эту исторію и грозилъ лишить наслѣдства семью профессора въ случаѣ этого брака. Каролина принесла себя въ жертву семьѣ и отказалась отъ счастья. Однако, потомъ, черезъ годъ и это препятствіе было устранено: богатый дядюшка не мѣшалъ. Но бракъ все-таки не состоялся. 19 февр. 1829 г. К. Янишъ умолила поэта пріѣхать въ Москву изъ Петербурга хоть на короткое время. «Я не могу долже выносить столь продолжительной неизвѣстности, этого томительнаго ожиданія, этой вѣчной тревоги. Надобно, чтобы ты такъ или иначе рѣшилъ мою судьбу (писала она по-французски). Я была бы спокойнѣе, если бы знала, что мнѣ нечего больше терять». Наконецъ передъ отъѣздомъ изъ Москвы Мицкевичъ объяснился съ Каролиной. 5 апр. 1829 г. она пишетъ ему новое посланіе, въ которомъ благодаритъ его «за все, за дружбу, за любовь». И это нѣмецкое письмо, какъ первое французское, написано на *ты*; оно дышитъ безкорыетной преданностью, обожаніемъ, готовностью все перенести отъ любимой руки. А Мицкевичъ такъ мало могъ дать ей.

«Привѣтъ тебѣ, мой милый! — писала Каролина. Еще разъ благодарю за все, за твою дружбу, за твою любовь. Я дала клятву, что постараюсь быть достойной этой любви, никогда не подумаю, чтобы я могла нарушить эту клятву — такова единственная моя къ тебѣ просьба. Если я буду увѣрена, что ты никогда не измѣнишь своего мнѣнія обо мнѣ, то я всегда буду

спокойна, довольна и счастлива: я счастлива и теперь, разставаясь съ тобою, быть можетъ, на вѣки, и хотя бы намъ никогда уже не суждено было свидѣться, я всегда буду убѣждена, что все къ лучшему для насъ обонхъ, ибо такова воля Божья. Что бы ни случилось въ будущемъ, жизнь для меня будетъ пріятной: я часто буду искать въ глубинѣ своего сердца драгоценныхъ воспоминаній о тебѣ, съ радостью буду перебирать ихъ, потому что всѣ они для меня—алмазъ чистой воды. Прощай, мой другъ! Тяжело мнѣ кончить письмо съ мыслью, что, быть можетъ, никогда не придется и словомъ перекинуться съ тобой... Но такъ быть должно — прощай, мой другъ! — все же я знаю, что ты меня любишь». Быть можетъ настоящая любовь говорить проще, но, во-первыхъ, Каролинѣ было всего 20 лѣтъ, и во-вторыхъ, она была поэтическая особа, чуть не думающая стихами. Княгиня Волконская со скучными литературными претензіями, молодая влюбленная нѣмка, слишкомъ погруженная въ поэзію, чтобы не запутаться сама въ себѣ: отъ нихъ обѣихъ Мицкевичъ бѣжалъ. Бѣжали и другіе: К. Янишъ вышла замужъ по тогдашнему времени поздно, и то лишь послѣ того, какъ получила хорошее наслѣдство. Покидая Каролину безъ всякаго повода, поэтъ чувствовалъ себя, повидимому, и пристыженнымъ, и тронутымъ ея прощальнымъ письмомъ. 6 апрѣля, на другой день послѣ того письма, онъ занесъ въ альбомъ Каролины элегію въ духѣ тѣхъ, какія онъ любилъ писать передъ разлукой съ городомъ, гдѣ онъ любилъ и мечталъ. Былъ ли намекъ, въ ней заключающійся, искреннимъ?

«Когда, улетая отъ вихрей и снѣжныхъ бурь, перелетныя птицы начинаютъ грустную нѣсню разлуки, не вини ихъ за непостоянство. Съ каждой весной на прежнее мѣсто возвращаются онѣ тѣмъ же путемъ. Услыша ихъ голоса, вспомни, другъ, объ изгнанникѣ. Всякій разъ, когда послѣ бури засіяетъ надъ нимъ надежда, его духъ будетъ уноситься на крыльяхъ радости на сѣверъ и возвращаться къ тебѣ». Каролина до самой смерти (1894) сохранила свѣтлую память о Мицкевичѣ. Она писала сыну поэта, что «онъ не пересталъ жить для нея, что онъ продолжаетъ оставаться ея, какимъ былъ когда-то», а извѣстный нѣмецкій писатель, Варигагенъ фонъ Энзе, занесъ въ свой дневникъ подъ 20 мая 1858 года замѣтку о разговорѣ съ Каролиной Пав-

ловой ¹⁾. Она хвалила русскій народъ, разсказывала много интереснаго о русскихъ писателяхъ. Когда-то «она была невѣстой Мицкевича; она спасла его изъ Россіи передъ взрывомъ польской революціи и оплакиваетъ еще теперь его раннюю смерть; она говоритъ, что *Мицкевичъ былъ евреемъ* (sie sagt, Mickiewicz «sei ein Jude gewesen»)! Можетъ быть Павлова говоритъ о „вѣчномъ жидѣ“, съ которымъ себя сравнивалъ поэтъ? Варшавенъ спуталъ, какъ и въ увѣреніи, что Павлова спасла (rettete) Мицкевича передъ революціей, о которой она и не знала, какъ никто не зналъ объ этомъ въ 1829 году.

Въ Москвѣ созрѣло поэтическое сознаніе Мицкевича. Слава его на родинѣ была уже такъ велика, что теперь приходилось не искать издателя, а бороться съ противозаконными перепечатками и съ пріятельскою услужливостью: они печатали безъ вѣдома поэта его импровизаціи, имѣвшіяся у нихъ рукописи и т. п. Все это сильно раздражало Мицкевича, который все-таки читалъ, хоть и сердился, критическіе выпады противъ него. Такъ было и въ 1826 году, еще до выхода въ свѣтъ «Сонетовъ». Когда же появились они, сразу произведя небывалое впечатлѣніе въ московскомъ обществѣ и вызвавъ множество переводовъ, Мицкевичъ не безъ волненія ожидалъ отзывовъ въ польской печати. Мы уже знаемъ, что эти отзывы могли только возмутить его. Весь 1827 годъ поэтъ былъ занятъ окончаніемъ и изданіемъ «Конрада Валленрода». Въ іюлѣ онъ получилъ цѣлую книгу варшавскихъ журналовъ съ рецензіями на «Сонеты». Одинъ изъ рецензентовъ предлагалъ, чтобы Полевой перевелъ его статью и напечаталъ ее въ «Московскомъ Телеграфѣ», но Мицкевичъ даже не удостоилъ его отвѣтомъ. Въмѣсто него пріятель его, Кширианъ Дашкевичъ, отвѣтилъ Лелевелю высококомѣрнымъ заявленіемъ, что Полевой не будетъ печатать въ своемъ «Телеграфѣ» всякій вздоръ, и что рецензія варшавскаго критика вовсе не увеличитъ славы Мицкевича въ русскомъ обществѣ. «Вообще Адамъ былъ недоволенъ ею и много разъ повторялъ, что она написана очень неполно и непонятно, и вѣроятно самъ авторъ не зналъ, что онъ хотѣлъ сказать». 21 февраля 1828 г. вышелъ въ Петербургѣ «Конрадъ Валленродъ». Опять посыпались рецензіи, отзывы друзей и т. п. Со

¹⁾ Указаніемъ на „Дневники“ Варшавскаго, какъ и многими библиографическими указаніями, относящимися къ этой главѣ, я обязанъ знатоку нашей литературы Н. К. Лернеру, котораго очень благодарю и здѣсь.

стороны Мицкевича они вызвали все большее пренебреженіе и высококомѣрную насмѣшливость къ вырождавшимся классикамъ. Не вступая въ мелкую борьбу съ ними, онъ разразился въ 1829 г. статьей о варшавскихъ рецензентахъ и критикахъ, о которой рѣчь будетъ ниже. Но уже здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, что этотъ немолчаливый гулъ восторженныхъ похвалъ въ русской критикѣ и такое грубое непониманіе у себя на родинѣ воспитывали Мицкевича. Все болѣе онъ чувствовалъ себя выше толпы, ея вождемъ, въ котораго сегодня она бросаетъ камни, и за которымъ она завтра послушно пойдетъ, куда онъ ни поведетъ ее. Къ концу 1827 года относится очень цѣнное свидѣтельство о Мицкевичѣ, принадлежащее перу его стараго знакомаго, Малиновскаго. «Послѣ столькихъ лѣтъ разлуки, пишеть онъ: послѣ столькихъ несчастій, перенесенныхъ нами обоими, мы встрѣтились съ братскимъ чувствомъ растроганнаго умиленія. Мицкевичъ съ наружной стороны измѣнился немного: отпустилъ себѣ бакенбарды, что придаетъ ему болѣе солидный видъ. Цвѣтъ лица сталъ лучше. Онъ немного возмужалъ, измѣнился, но къ своей выгодѣ. Въ обществѣ онъ держится не такъ эксцентрично, какъ прежде: очень свободно и привѣтливо. Даже съ тѣми, кто имѣетъ меньше всего права рассчитывать на предупредительность съ его стороны, онъ чрезвычайно любезенъ. Талантъ его созрѣлъ; его разговоръ, оживленный всею видѣннымъ и прочитаннымъ, носитъ печать его богатой фантазіи. Теперь онъ говоритъ много и охотно, часто въ обществѣ раздается только его голосъ, и все сейчасъ же затихаютъ и прислушиваются къ нему». Таковъ былъ авторъ «Конрада Валленрода».

ГЛАВА XVI.

„Конрадъ Валленродъ“.

Ни одно изъ произведеній Мицкевича не вызвало такой бури восторга у современниковъ, какъ поэма «Конрадъ Валленродъ». И ни въ чемъ, кажется, не выражается такъ полно идейная связь позднѣйшихъ поколѣній польскаго народа съ поколѣніемъ Мицкевича, какъ въ томъ, что это преклоненіе передъ «Валленродомъ» живо донынѣ. Здѣсь Мицкевичъ остался и теперь такимъ же

вождемъ народа, какимъ онъ былъ передъ возстаніемъ 30 года. Если галиційская молодежь конца двадцатыхъ годовъ заливалась слезами, прочтя стихи поэмы: «Счастья онъ дома не встрѣтилъ, на родинѣ не было счастья», то развѣ и теперь этотъ стихъ не беретъ за душу любого изъ честныхъ и благородно мыслящихъ польскихъ юношей? И польская критика ставитъ эту поэму чрезвычайно высоко, непомѣрно высоко, закрывая глаза на ея литературные недостатки, часто заставляя себя видѣть единство и цельность, гдѣ ихъ не видѣть самъ авторъ, оправдывая психологическія противорѣчія аргументомъ въ родѣ того, что «все бываетъ на сценѣ». Пѣтизмъ критики понятенъ и простителенъ. Спасовичъ ставитъ «Конрада Валленрода» на одномъ уровнѣ съ «Паномъ Тадоушомъ»; Тарновскій считаетъ эту поэму самымъ великимъ изъ произведеній Мицкевича; по мнѣнію Брюкнера, выше польская поэзія не поднималась никогда; И. Хмѣлевскій утверждаетъ, что «въ подробностяхъ поэма не имѣетъ себѣ равной», хотя и видитъ значительные недостатки въ ея композиціи; М. Здѣховскій такъ же, какъ и Спасовичъ, восхищается этическимъ подъемомъ «Валленрода» и т. под. Впрочемъ поэма подверглась и очень детальной и научной обработкѣ: указаны (Брухнальскимъ, Першгомъ, Прохаской) ея историческіе элементы; отмѣчены (Вернеромъ, Брухнальскимъ, Галле и др.) литературныя вліянія, въ ней отразившіяся; изслѣдованы (Третьякомъ, Гжегожевичемъ и др.) процессы измѣненія и приспособленія ея плана къ замыслу и т. п. Литература о «Конрадѣ Валленродѣ» чрезвычайно обширна: самое обиліе ея указываетъ на то значеніе, какое приобрѣла въ исторіи польской литературы и въ исторіи польскихъ идеаловъ эта поэма.

Популярность Мицкевича среди польской молодежи конца 20-хъ годовъ была уже очень велика; но многіе знали о немъ «только по его славу», какъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ современниковъ поэта, М. Даровскій, бывший въ 1828 г. студентомъ Краковскаго университета (воспоминанія В. Белзы). «Тогда не такъ-то легко было доставать книжки; не то, что теперь; книжный рынокъ не отличался оживленіемъ, а охрана границъ слѣдила за книжной контрабандой больше, чѣмъ за всякой другой. Не трудно понять, что съ нами сдѣлалось, когда въ руки попала «Ода къ молодости» Мицкевича». Но и болѣе чуткіе изъ старшаго поколѣнія не устояли передъ «Конрадомъ Валленродомъ»: такіе упорные классики, какъ Козьмянъ, Моравскій продолжали возмущаться испорченностью»

вкусовъ, но одонисецъ Венжикъ (1785 — 1862) обратился къ автору «Валленрода» въ 1831 году съ восторженной одой. «Кто не заплакалъ надъ судьбой вайделюта», говорилось здѣсь: «тому мы должны снѣтъ при жизни погребальную пѣснь. О слава и честь рединыхъ поэтовъ! Воскрешалъ ли ты дѣдовъ, поднимая ихъ изъ могилъ забвенья, или новую жизнь создавалъ «Дражингъ», или живописалъ зеркальную поверхность Свѣязи, или на великолѣпной вершинѣ крымскихъ горъ вытаптывалъ безмертные слѣды своихъ вдохновеній, сейчасъ же угадывала тебя душа народа. Можно сказать, что таковъ былъ всенародный приговоръ, произнесенный «Конраду Валленроду» сейчасъ же послѣ его появленія и сохранившій все свое значеніе до сихъ поръ. Конечно, это кажется лишь идейной стороной поэмы. Ея художественность вызывала и иные отзывы, правда, робкіе и рѣдкіе.

«Конрадъ Валленродъ» былъ начатъ, повидимому, уже давно. Слова поэта въ его письмѣ къ Зану (9 іюня 1826 г.) о томъ, что въ Одесѣ онъ жилъ, какъ наша, что муза его облѣгилась, и онъ не можетъ кончить литовскую повѣсть, — эти слова Нерингъ (въ изданіи сочиненій Мицкевича, вышущемъ Литератур. Обществомъ) и др. понимаютъ въ томъ смыслѣ, что поэма была начата или хотя бы задумана въ Одесѣ. Однако такое пониманіе вовсе не вызывается словами письма: «литовская повѣсть» могла быть начата и ранѣе, до Одессы, а здѣсь, на югѣ Россіи, облѣгившаяся муза Мицкевича не могла ея докончить. И о чемъ говорила задуманная тогда литовская повѣсть? О мести Конрада. Повидимому, да: вѣдь въ кельѣ Базиліанскаго монастыря 1 ноября 1823 года «natus est Conradus», герой III части «Дѣдовъ», тезоименникъ другого мстителя поработителямъ народа, Конрада Валленрода. Потомъ надолго эническое перо выпало изъ рукъ Мицкевича. Онъ возвратился къ нему уже въ Москвѣ, откуда въ началѣ 1827 года писалъ оренбургскимъ друзьямъ о томъ, что недавно «писалъ, потому что были обстоятельства, благоприятныя для музы», а теперь снова бездѣльничаетъ, а потомъ указывалъ на содержаніе своей поэмы намеками на Макіавелли и «Заговоръ Фіеско» Шиллера. И тогда же, 6 янв. 1827 г., Мицкевичъ говорилъ Одынцу, что скоро пошлетъ ему въ Варшаву для отдѣльнаго изданія «Валленрода, повѣсть изъ литовско-крестоносной исторіи». Однако опять наступилъ перерывъ. 14 іюля Малевскій жалуется Лелевелю: «Не могу выпросить у Адама пѣ-

скольких десятков стиховъ. Вотъ уже два мѣсяца, какъ на нихъ оборвался уже готъвый великолѣпный «Валленродъ». Такъ унерся, что даже его любимый Донъ-Жуанъ, котораго я ему каждый день играю у постели, не можетъ вдохновить его на такой маленькій кусокъ». Вскорѣ, не позже 30 августа (Wł. Mickiewicz *Żywot* I. 290) поэма была закончена, но только въ февралѣ 1828 г., послѣ долгихъ цензурныхъ мытарствъ, «Конрадъ Валленродъ» вышелъ въ свѣтъ. И сразу посыпались восторженные похвалы, а бдительная русская власть въ Царствѣ Польскомъ — справедливо, со своей точки зрѣнія, какъ это показали событія, — обратила вниманіе на революціонный замыселъ поэмы.

Чѣмъ вызвана была остановка въ писаніи «Конрада Валленрода»? Тѣмъ, что Мицкевичъ переживалъ внутренній кризисъ, заставившій его передѣлывать поэму и въ концѣ концовъ выпустить ее въ то время, когда самъ онъ ушелъ уже дальше въ своемъ духовномъ развитіи. Какъ всякій поэтъ, воплощающій свои личныя душевныя переживанія въ произведеніи, Мицкевичъ освобождался отъ остроты страсти, создавъ героя ея. И вотъ героемъ коварной мести явился Валленродъ въ то самое время, когда въ душѣ поэта уже совершался поворотъ къ христіанскому прощенію и милости къ врагамъ, когда самъ Мицкевичъ уже склонялся къ отрицанію гордости и гордаго разума. Валленродъ, который даже на рисункѣ долженъ былъ передать черты автора ¹⁾, уже не покрывалъ собою его этическихъ идеаловъ. Онъ былъ созданъ байроническимъ вліяніемъ, и для Мицкевича выпустить изъ своей души «Валленрода» значило въ духовномъ развитіи преодолѣть злое начало. Его позднѣйшія сужденія о Байронѣ, который только раздражилъ (раstrawili, rozjątrzył) то зло, которое онъ чувствовалъ и хотѣлъ исправить въ человѣчествѣ, стоятъ

1) Три литографіи, украшавшія изданіе 1828 г., не соответствовали первоначальному намѣренію поэта приложить къ поэмѣ вѣнкетку съ изображеніемъ Конрада Валленрода. Но сохранился проектъ этой вѣнкетки въ описаніи Мицкевича. На ней герой долженъ былъ имѣть лѣтъ тридцать съ небольшимъ, быть худымъ, съ печальнымъ лицомъ, т. е. походить на самого поэта. Въ поэмѣ упоминается о томъ, какъ рано начали сѣдѣть волосы Валленрода. У самого Мицкевича первые серебряные волосы появились также рано, когда ему не было еще 30 лѣтъ: уже въ 1827 году Малевскій упоминаетъ о первыхъ сѣдыхъ волосахъ между черными у Мицкевича и своей лысинѣ. И въ общей характеристикѣ наружности литовскаго героя не трудно найти много общаго съ нервной вѣшностью поэта, какъ его описываютъ его русскіе друзья.

въ связи именно съ этимъ осужденіемъ валленродизма. Еще въ 1826 году Мицкевичъ писалъ Одыщу, что онъ не очень доволенъ «Валленродомъ»: есть отдѣльныя хорошія мѣста, но не все ему приходится по вкусу. Когда же поэма появилась въ свѣтъ, онъ говорилъ: «Ахъ если бы все мы (начиная *ab ego*) не такъ скоро печатали!» И наконецъ мы имѣемъ чрезвычайно цѣнное признаніе Мицкевича въ письмѣ къ Одыщу, писанномъ черезъ нѣскольکو недѣль послѣ выхода въ свѣтъ поэмы: «Твои замѣчанія о «Валленродѣ», высказанныя очень скромно и робко, совершенно справедливы. Пиръ слишкомъ растянулся; это не моя вина. Я хотѣлъ сдѣлать двѣ отдѣльныя повѣсти, начать поэму описаніемъ заразы etc, но долженъ былъ по разнымъ причинамъ вложить ее въ уста вайделоту, и это испортило планъ. Замѣчаніе дамы (г-жи Наталіи Бишиницкѣ) о христіанствѣ Конрада живомъ, но потому забытомъ, чрезвычайно глубоко. Вся бѣда произошла отъ плана, который потомъ измѣнился».

Слѣды этого недовольства своимъ произведеніемъ сохранились и въ рукописи Мицкевича. Изъ трѣхъ сохранившихся отрывковъ, правда, совершенно незначительныхъ по размѣрамъ (III и IV томъ *Рamięt. издан. Обществ. Мицкев.*), одинъ, баллада «Альнухара», представляетъ слѣды обработки, но другой, изображающій сцену опьяненія Конрада, почти ни въ чемъ не вызвалъ необходимости перемѣтъ и обработки; третій (въ IV томѣ) едва ли не первый оригиналь, къ которому относится то, что говоритъ Дубровскій. Именно П. П. Дубровскій «имѣлъ случай видѣть черновую рукопись этой поэмы еще въ 1833 году, въ Москвѣ, у покойнаго Ежовскаго». У него сохранилась полчетверка изъ этой рукописи, подаренная ему покойнымъ Ежовскимъ и содержащая въ себѣ первыя четыре строфы, 2-ой, 3-й и 4-й стихи 9-й строфы, и 10-ю 11-ю и 12-ю строфы. «Эта рукопись изумляла тѣмъ, что показывала, съ какой легкостью создавался «Валленродъ». Видно было, что Мицкевичъ такъ свободно и скоро писалъ его, что даже не имѣлъ времени ставить знаки преніянія, которые замѣтны только кое-гдѣ, и все поправки, изрѣдка встрѣчавшіяся, сдѣланы были во время самой работы. Одно выраженіе было зачеркнуто и тутъ же въ строку замѣнено другимъ, или вновь вписывалось то же самое. Иногда цѣлыя страницы шли безъ малѣйшихъ поправокъ. Почеркъ неровный и нетвердый, хотя довольно выразительный». Свидѣтельство П. П. Дубровскаго, единственнаго изъ

біографовъ Мицкевича, видѣвшихъ всю рукопись «Валленрода», конечно, очень цѣнно, но оно приводитъ къ выводу, иному, чѣмъ у него: «Валленродъ» не только создавался «свободно», но, по видимому, и не подвергался тщательной обработкѣ, какъ «Сонеты» или даже «Гражина». Правдивенно Мицкевичъ переросъ Конрада Валленрода уже въ то время, когда заканчивалъ поэму, побуждаемый настойчивыми напоминаніями друзей и желаніемъ доказать имъ, что въ лагерь побѣдителей онъ не перешелъ на ихъ сторону.

О первоначальномъ планѣ «Валленрода» въ польской критикѣ установился взглядъ проф. Третьяка, согласно которому, собственно, о двухъ отдѣльныхъ повѣстяхъ не можетъ быть и рѣчи. Предполагались двѣ части: въ первой говорилось о ранней исторіи Валленрода, объ его возвращеніи на родину изъ нѣмецкаго плѣна и о замыслѣ мести, во второй о самой мести. В. Брухнальскій полагаетъ также, что сначала у Мицкевича не могло быть иной задачи, кромѣ «изображенія идеала мужа, который мститъ за обиды своего народа». Однако потомъ что-то измѣнилось въ этомъ планѣ: можетъ быть потому, что не хватило историческаго матеріала для изображенія такого мужа; пришлось искать иного героя, и здѣсь бросилась въ глаза поэта загадочная фигура командора ордена меченосцевъ, Внриха. Во всякомъ случаѣ и В. Брухнальскій полагаетъ, что извѣстная послѣдовательность въ разсказѣ сохранилась. Между тѣмъ, въ «Конрадѣ Валленродѣ», по моему мнѣнію, скрываются дѣйствительно двѣ отдѣльныя повѣсти: повѣсть о мести литвина, принявшаго образъ нѣмецкаго рыцаря, и повѣсть о вѣрной любви рыцаря.

«Конрадъ Валленродъ» раздѣляется въ теперешнемъ своемъ видѣ на шесть частей, очень неравномѣрныхъ. Въ первой части авторъ сразу вводитъ насъ *in medias res*. Орденъ долженъ избрать новаго магистра. Выборы пронесодятъ въ столицѣ ордена, Маріенбургѣ. «Зазвонили въ колокола на Маріенбургской башнѣ, загремѣли пушки, забили въ барабаны; торжественный день въ орденѣ крестоносцевъ. Отовсюду командоры спѣшно собираются въ столицу, гдѣ въ кругу канитулы, призвавъ Святой Духъ, они рѣшаютъ, на чьей груди повѣсить великій крестъ и въ чьи руки отдать великій мечъ. Одинъ день и другой день прошли въ совѣщаніяхъ: много мужей соперничаетъ другъ съ другомъ, и всѣ они одинаково высокаго рода, и равны за-

слуги всѣхъ передъ орденомъ. До сихъ поръ, однако, общее мнѣніе братіи выше всѣхъ ставитъ Валленрода». Такимъ образомъ вниманіе читателя сразу устремлено на героя поэмы. «Онъ чужеземець, неизвѣстный въ Пруссіи, наполнилъ своей славой чужбину (заграничные дома) : преслѣдовалъ ли онъ мавровъ въ кастильскихъ горахъ, или по морскимъ пучинамъ гнался за отоманами, онъ былъ во главѣ войска въ битвахъ, первый на стѣнахъ, первый захватывалъ крюкомъ суда поганыхъ, и когда на турнирахъ онъ подступалъ къ барьеру, стоило ему поднятъ забрало, и никто не рѣшался помѣряться съ нимъ конемъ, уступая ему безъ борьбы первые вѣщицы. Но онъ не только прославилъ оружіемъ свои молодые годы, проведенные среди крестоносныхъ отрядовъ, его украшаютъ великія христіанскія добродѣтели: бѣдность, скромность и презрѣніе къ міру. Въ толгѣ придворныхъ Конрадъ не славился изяществомъ рѣчи, граціей поклоновъ и не продавалъ онъ къ услугамъ враждующихъ бароновъ ради подлой корысти своего оружія. Свой молодой возрастъ онъ посвятилъ монастырскимъ стѣнамъ, пренебрегъ аплодисментами и высокими должностями, и даже болѣе почетныя и пріятныя награды, гимны министрелей и чары красоты, ничего не говорили его холодному сердцу. Равнодушно внималъ похваламъ Конрадъ, издали только взглядывалъ на прекрасныя лица, избѣгалъ чарующихъ бесѣдъ. Трудно сказать, былъ ли онъ нечувствителенъ и гордъ отъ природы, или сталъ такимъ съ годами, потому что у него уже были сѣдые волосы, и увяли его щеки, запечатлѣнныя старостью страданья, хотя онъ былъ еще молодъ. Бывали минуты, когда онъ дѣлалъ забавы молодежи, даже весело слушалъ женскую болтовню, отстрѣливался шутками на шутки дворянъ и щедро разсыпалъ комплименты дамамъ, съ холодной улыбкой, точно лакомство дѣтямъ. Это были рѣдкія минуты забвенья. Но вскорѣ какое-нибудь безразличное словечко, которое не имѣло значенія для другихъ, въ немъ возбуждало глубокое волненіе. Слова: родина, долгъ, возлюбленная, упоминаніе о крестовыхъ походахъ и о Литвѣ отравляли сразу веселость Валленрода. Услышавъ ихъ, онъ снова отворачивался, снова становился нечувствительнымъ ко всему и погружался въ таинственныя думы. Можетъ быть, вспоминая о святости своего призванія, онъ запрещаетъ самъ себѣ земныя радости? Онъ зналъ только радости дружбы, онъ избралъ себѣ только одного друга, освященнаго (святого, świętego) добро-

дѣтелью и благочестивымъ саномъ. Это былъ сѣдой монахъ, — его звали Хальбаномъ. Онъ дѣлилъ одиночество Валленрода, онъ былъ и исповѣдникомъ его души, и повѣреннымъ его сердца. Счастливая дружба! Святъ на землѣ, кто умѣлъ пріобрѣсти дружбу святыхъ. Такъ вожди орденскаго совѣщанія вспоминаютъ достоинства Конрада». Остановимся пока здѣсь. Какія достоинства у Валленрода? Онъ прославился своими военными подвигами, однако не въ Литвѣ, гдѣ дѣйствовалъ орденъ, а въ далекихъ странахъ; онъ ведетъ монашескій образъ жизни, удаляется отъ женщинъ и отъ забавъ; его единственный другъ — святой монахъ. Однако, никакихъ способностей вождя, никакихъ дипломатическихъ талантовъ, никакихъ подвиговъ въ Литвѣ у него, какъ видимъ, нѣтъ. Въ Пруссіи онъ былъ никому неизвѣстный чужеземецъ. Вѣроятно ли при такихъ условіяхъ его выборъ? Тѣмъ болѣе, что у кандидата въ магистры былъ большой порокъ, и поведение его не могло не казаться подозрительнымъ для всѣхъ, кто не хотѣлъ, вопреки всему, избрать Конрада въ магистры. Мицкевичъ старается смягчить впечатлѣніе. Вотъ продолженіе поэмы.

«Но онъ имѣлъ недостатокъ. Впрочемъ, кто же безъ недостатковъ? Конрадъ не любилъ мірскаго суеты, Конрадъ не участвовалъ въ пьяныхъ пирушкахъ; но, запершись въ уединенной комнатѣ, томимый скукой или угрызеніями совѣсти, искалъ утѣшенія въ горячихъ напиткахъ. И казалось тогда, что онъ преображается: его лицо, блѣдное и угрюмое, покрывалось какимъ-то болѣзненнымъ румянцемъ, и въ большихъ, когда-то голубыхъ глазахъ, которые отъ времени немного потускли и погасли, сверкали искры прежнихъ огней; изъ груди вырывались тяжелые вздохи, и на глазахъ нависали жемчужныя слезы; рука его искала люти, изъ усть лились пѣсни, пѣсни, сложенные на чужеземномъ языкѣ, но понятныя для сердець слушателей. Достаточно услышать ихъ заунывный мотивъ, достаточно взглянуть внимательно на пѣвца. На лицѣ отражается напряженіе памяти, подняты брови, опущены взоры, точно хотятъ что-то достать изъ темной глубины. Какая же можетъ быть нить его пѣсни? Навѣрное, его блуждающая мысль ищетъ молодость въ омутѣхъ прошлаго. Гдѣ же душа его? Въ странѣ воспоминаній. Но въ музыкальномъ увлеченіи никогда его рука не добываетъ изъ люти болѣе веселыхъ тоновъ, и, кажется, его лицо бонт-

ся невинной улыбки, какъ смертельнаго грѣха. Онъ ударяетъ по всѣмъ струнамъ по очереди, кромѣ одной струны, кромѣ струны веселья, слушатель раздѣляетъ съ нимъ всѣ чувства, кромѣ одного чувства — надежды». Языкъ, на которомъ пѣлъ Валленродъ, былъ литовскій. Какъ бы ни далеко стояли отъ населенія Литвы и отъ туземнаго населенія Пруссіи нѣмецкіе рыцари, они не могли не узнать, что онъ поетъ по-литовски, а въ такомъ случаѣ: не былъ ли подозрителенъ самый фактъ такого возбужденія пѣвца, который блуждалъ «въ странѣ воспоминаній»? Какъ это часто бываетъ, авторъ дѣлалъ своихъ дѣйствующихъ лицъ менѣе понятливыми, чѣмъ это допустимо даже «поэтическому воображенію». Дѣйствительно, мы узнаемъ слѣдующее: «Не разъ братья заставляла его врасплохъ и чрезвычайно дивилась такой переменѣ. Конрадъ, очнувшись, содрогался и гнѣвался, бросалъ лютию и не пѣлъ пѣсенъ; онъ громко произнесилъ богохульные (bezbožne) слова, что-то тихонько шепталъ Хальбану, кричалъ на войска, отдавалъ приказанья, страшно грозилъ неизвѣстно кому. Тревожится братья. Старый Хальбанъ садится и устремляетъ взоръ на лицо Конрада, взоръ пронизательный, холодный и суровый, исполненный какого-то тайнаго краснорѣчія. Напоминаетъ ли онъ, совѣтуетъ ли что-то, или пробуждаетъ тревогу въ сердцѣ Валленрода, — сейчасъ же разясняется его нахмуренное чело, гаснуть очи, и становится холоднымъ лицо. Такъ на аренѣ, когда укротитель львовъ, спросивъ позволенія у господъ, дамъ и рыцарей, ломаетъ рѣшетку желѣзнаго дворца, даетъ знакъ трубой; и тогда... царственный звѣрь гремитъ изъ глубины груди, — страхъ нападаетъ на зрителей, и лишь одинъ укротитель не отступаетъ ни на шагъ. Онъ спокойно складываетъ руки на груди и наноситъ льву могучій ударъ глазами; этимъ талисманомъ безсмертной души онъ держитъ на привязи неразумную силу».

Такова характеристика Валленрода въ нервной пѣснѣ, которую я привелъ цѣликомъ. Подвиги Конрада неизвѣстны братьѣ, но его страшное поведеніе, нѣянство и «безбожныя слова» удивляютъ ее. Это неукротимая натура, исполненная какой-то тайны, чего-то страшнаго въ прошломъ, чего-то грозящаго въ будущемъ. Такъ странны, сверхчеловѣчны и герои Байрона. Мы знаемъ этихъ героевъ: презирая людей, они страдаютъ за чело-вѣчество, они исполнены тонкихъ и пѣжныхъ чувствъ и пла-

менной, восторженной любовью любить ту, которая сумѣла плѣнить ихъ могучую душу. Въ эпоху всеобщаго увлеченія байроновскими героями польскій читатель сразу угадывалъ въ Конрадѣ знакомый величавый образъ и не искалъ больше пошлой будничной естественности въ развитіи поэмы. Ему нужно было знать, во имя чего этотъ страшный человѣкъ, котораго воспоминаніе о Литвѣ такъ волновало, который съ такой несправедливо чѣмъ-то страшнымъ грозилъ нѣмецкимъ рыцарямъ, живетъ среди нихъ? Но уже заранѣе онъ чувствовалъ, что Конрадъ Валленродъ не пойдетъ заодно съ врагами его Литвы, и между польскимъ читателемъ и поэтомъ сразу устанавливалось безмолвное пониманіе, залогъ успѣха и вдохновенія.

Въ II главѣ Мицкевичъ рассказываетъ о томъ, какъ произошелъ этотъ выборъ Конрада въ магистры ордена. Дѣло не могло обойтись безъ чуда, такъ какъ собственно правъ на избраніе, какъ мы видѣли, у Валленрода не было. Ночь, уединенная башня, глухіе неясные голоса: вотъ романтическія краски этой главы. После цѣлаго дня совѣщаній рыцари въ орденской церкви ноютъ молитвы и гимны; потомъ рыцари идутъ гулять, разбредясь по окрестностямъ въ тихую лунную ночь, чудесно описанную Мицкевичемъ. А главный командоръ собираетъ вліятельнѣйшихъ членовъ братья, и въ томъ числѣ Хальбана, и опять совѣщается съ ними, но не въ замкѣ, а во время прогулки. «Такъ разсуждая, не смотря на дорогу, они блуждали нѣсколько часовъ въ окрестностяхъ, близъ спокойныхъ береговъ озера. Уже разсвѣтаетъ, пора вернуться въ столицу. Вдругъ они останавливаются: какой-то голосъ. Откуда? Изъ наружной башни. Слушаютъ внимательно: это голосъ отшельницы». Здѣсь, въ этой башнѣ, лѣтъ десять тому назадъ замкнулась какая-то женщина. Ее замуровали, оставивъ лишь маленькое окошечко, въ которое подавали ей пищу; догадывались, что она еще жива, но не видѣли ея. И вотъ теперь, «направивъ туда свои шаги и проходя мимо наружной башни, командоръ слышалъ: «Это ты, Конрадъ!.. О Боже, свершилось предназначенье! Ты долженъ быть магистромъ, чтобы ихъ убить? Но развѣ они не узнаютъ? Напрасно скрываешь... И если бы даже, какъ змѣй, ты принять иное тѣло. много прежняго осталось въ твоей душѣ... да и во мнѣ осталось! И если бы даже ты вернулся послѣ своего погребенія, все-таки крестоносцы узнали бы тебя... Слушаютъ рыцари. Это голосъ

отшельницы! Взглянули на рѣшетку: кажется, она откинулась, кажется, къ землѣ она протягиваетъ руки... Къ кому же? Пусто вокругъ. Только издали что-то блеститъ, какъ будто играть лучъ на стальномъ забралѣ, и тѣнь на землѣ... не плащъ ли это рыцаря? Все исчезло... навѣрное, обманъ зрѣнія; то блеснулъ, должно быть, румяный взоръ зари; утренній туманъ скользнулъ по землѣ». Конечно все это невѣроятно: гуляющіе ночью рыцари, которые слышать тихій шопотъ отшельницы въ высокой башнѣ, но не видятъ рыцаря, стоящаго у башни! Но развѣ нужна была романтикамъ и ихъ читателямъ эта жалкая естественность? Довольно того, что плащъ Конрада начинаетъ раскрываться передъ ними, что на подвигъ спасенія родины Конрада посылаетъ любимая женщина, отшельница въ таинственной башнѣ. Хальбанъ воспользовался тѣмъ, что слышали рыцари. Онъ увѣрилъ ихъ, что само небо устами вѣщей отшельницы велѣло имъ остановить свой выборъ на Конрадѣ. «Согласны, закричали они, согласны!» А Хальбанъ? Онъ «глубоко задумался, бросилъ взглядъ презрѣнія на кричащихъ рыцарей» и заигралъ грустную чувствительную пѣсню о бѣдной литвинкѣ, которая утопаетъ въ волнахъ забвенья, какъ Вилія утопаетъ въ водахъ Немана. «Тяжело удерживать сердце и потокъ! Дѣвица любить, а Вилія струится; Вилія пропала въ Неманѣ возлюбленномъ, дѣвица плачетъ въ одинокой башнѣ».

Дѣйствіе продолжаетъ развертываться въ третьей главѣ. Первые двѣ представили намъ Валленрода съ двухъ сторонъ: онъ угрюмый нѣмецкій рыцарь, не занятившій себя кровью Литвы, и вмѣстѣ съ тѣмъ какая-то таинственная связь соединяетъ его съ литвинкой-отшельницей. И вотъ теперь Конрадъ Валленродъ—магистръ ордена крестоносцевъ. «Поцѣловавъ книги святыхъ записовъ, магистръ окончилъ молитву и принялъ отъ командора мечъ и большой крестъ, символы его власти. Онъ поднялъ гордое чело, хотя надъ нимъ нависла туча заботы, и бросилъ вокругъ взглядъ, въ которомъ сверкнула радость вмѣстѣ съ гнѣвомъ... И, невиданная гостья на его лицѣ, пролетѣла улыбка, слабая и мгновенная, какъ блескъ, разрѣзавшій раннюю тучу, возвѣщая за разъ восходъ солнца и грозу». Рыцари увидѣли въ этой улыбкѣ грозное предзнаменованіе для Литвы. «Дрожите, литовцы! Уже близка минута, когда на стѣнахъ Вильны блеснетъ знаменіе креста. Напрасны надежды. Проходятъ дни, недѣли;

нѣлый долгіи годъ проплыль въ спокойствіи. Литва грозить, а Валленсродъ безъ всякаго достоинства ни самъ не борется, ни шлеть другихъ на бой; а когда очнется и примется что-нибудь дѣлать, переворачиваетъ вверхъ дномъ весь установленный строй. Кричить, что орденъ вышелъ изъ своихъ святыхъ границъ, что братья нарушаютъ принесенныя ею клятвы. Будемъ молиться, изываесть онъ, откажемся отъ богатствъ, будемъ искать славы въ добродѣтеляхъ и мирѣ. Онъ налагаетъ посты, эштеміи, разныя тяготы, запрещаетъ развлечения и невнишыя удобства, за малѣйшій грѣхъ налагаетъ самыя тяжкія кары въ родѣ подземнаго заключенія, изгнанія, смертной казни». Литва осмѣляла, хвастается, нападаетъ на деревни около самой орденской столицы. «А между тѣмъ можно ли найти время, болѣе удобное для войны? Внутренніе раздоры разрываютъ Литву на части. Со всѣхъ сторонъ ведутъ на нее могучія войска тамъ отважный русинъ, тамъ неспокойный ляхъ, тамъ крымскіе ханы. Витольдъ, сверженный съ трона Ягеллой, прѣхалъ искать защиты ордена, въ награду обѣщаетъ богатства и земли, но тщетно до сихъ поръ ждетъ поддержки. Ронцетъ братья, собирается совѣтъ: магистра не видно». Такъ обрисовывается общее тревожное настроеніе, на почвѣ котораго должны разыгратъся событія. Гдѣ же Конрадъ? Хальбанъ находитъ его все у той же башни. «Слѣдили братья, куда онъ уходитъ ночью. Всѣмъ извѣстно: каждый вечеръ, когда на землю спускается глубокій мракъ, онъ идетъ блуждать по берегамъ озера, или на колѣняхъ, прижавшись къ стѣнѣ, закрытый плащомъ, свѣтится издалека до бѣлой зари, точно мраморная статуя, и во всю ночь его не клопнуть дремота. Часто на тихій голосъ отшельницы онъ встаетъ и даетъ тихіе отвѣты. Издали ухо не можетъ схватить звуковъ этихъ словъ, но по блеску качающагося забрала, неспокойныхъ рукъ, поднятой головы видно, что ведутся какія-то важныя бесѣды».

Нѣтъ возможности передать въ короткихъ словахъ содержаніе этихъ чувствительныхъ разговоровъ, которымъ Мицкевичъ посвятилъ такъ много страницъ. Отшельница вспоминаетъ о прошломъ, о молодости, когда, дочь Кейстута, она узнала его. Все взялъ онъ, — оставилъ только надежду. На что надежду? Мы понимаемъ ее. На Конрада эти слова оказываютъ страшное дѣйствіе. Мы видимъ, что измѣна страшитъ его своей моральной низостью, что уже на землѣ онъ переживаетъ адскія муки. Это

одно изъ самыхъ характерныхъ мѣсть поэмы, безъ котораго трудно понять ея этическую подкладку. «На что эти пѣсни», восклицаетъ Конрадъ, очнувшись при словѣ надежда. «Я помню твоё счастье: три красивыя дочки, росли вы у матери; тебя первую взяли замужъ... О горе вамъ, горе, прелестныя цвѣты! Страшная змѣя пробралась въ садъ. Гдѣ проскользнетъ она своей лѣзвовой грудью, тамъ засохнуть травы, увянуть розы, и стануть блѣдны, какъ грудь змѣи. Бѣги своей мыслью, вспоминай тѣ дни, которые мы проводили бы въ весельи до сихъ поръ, если бы... Ты молчишь? Пой и проклинай. Пусть страшная слеза, которая прожигаетъ камни, не пропадетъ напрасно; я сниму съ головы шишакъ. Пусть она упадетъ сюда, пусть она жжетъ мое чело! Пусть она упадетъ сюда. Я готовъ страдать, я хочу знать заранѣе, что меня ждетъ въ аду». Отшельница умоляетъ ее простить и снова даетъ реплику Конраду, говоря, что счастливъ тотъ, кто узналъ великаго Бога на небѣ и великаго человѣка на землѣ. Слова о величїи будить его. «Величїе! и снова величїе, мой ангелъ! Величїе, ради котораго мы страдаемъ въ несчастїи! Пусть еще нѣсколько дней переболитъ сердце, нѣсколько дней: ихъ уже такъ немного. Стало! Напрасно жалѣть, слишкомъ поздно. Будемъ плакать, но пусть дрожать враги: Конрадъ плакалъ, чтобы убивать». Такъ, обмѣниваясь длинными жалобами, то упреками, то нѣжными словами примиренїя, Валленродъ раскрываетъ свои планы. Онъ долженъ мстить, но своимъ появленїемъ отшельница обезсилила его: «Ты пришла, чтобы отнять у меня побѣду. Съ тѣхъ поръ, какъ вновь изъ окна своей башни ты кинула на меня свой взоръ, снова во всемъ мїрѣ нѣтъ для меня ничего, кромѣ озера, и башни, и рѣшетки. Вокругъ меня все кипитъ волненїемъ войны, а я среди звуковъ трубъ, въ бряцанїи оружія стараюсь услышать напряженнымъ, петерифливымъ ухомъ звукъ твоихъ ангельскихъ устъ. И весь мой день—одно ожиданье. Я считаю свою жизнь вечерами». Однако больше откладывать нельзя, мстительный Хальбанъ не даетъ покоя, орденъ требуетъ войны. А онъ... «Я думаю лишь о тебѣ, ницѣ поводовъ къ оторочкѣ, чтобы намъ еще одинъ день прожить вмѣстѣ. О молодость, какъ велики твои жертвы! Для блага народа я умѣлъ посвящать въ молодые годы любовь и счастье, и небо, скорбно, но мужественно! А теперь я старъ, теперь обязанность, отчаянїе, Божья воля гонять меня на поле брани, а я не могу оторвать съдой

головы отъ подножья этихъ стѣпъ, чтобы не утратить твоей бесѣды»... Въ башнѣ молчаніе, рыданье и стоны. Природа проснулась. Утро. Конрадъ очнулся, опустил забрало и исчезъ въ кустахъ. «Такъ исчезаетъ, услышавъ утренній колоколь, духъ ада, покидая врата отшельника».

4-я глава, несоразмѣрно длинная, психологически не соответствуетъ своимъ размѣрамъ. Изъ первыхъ трехъ главъ мы уже знаемъ, что за человѣкъ Конрадъ Валленродъ, знаемъ, почему онъ не могъ выполнить свой планъ, но знаемъ также, что событія помимо его воли заставляютъ его приступить къ дѣлу мести. Намъ осталось еще неизвѣстно прошлое Конрада; только намеки на судьбу Альдоны-отшельницы разсѣяны въ третьей главѣ. И вотъ теперь въ главѣ, посвященной «Пиру», мы узнаемъ это прошлое въ эпизодической пѣснѣ стараго вайделота. Походъ неизбѣженъ:—мы это знаемъ уже изъ предыдущаго; Конрадъ долженъ погубить крестоносцевъ: и это извѣстно намъ изъ прежняго. Въ четвертой главѣ онъ ведетъ себя такъ, что только глуность рыцарей позволяетъ ему сохранить свое инкогнито. И, въ концѣ концовъ, эта глава вышла нагроможденіемъ различнаго матеріала, искусственно связаннаго въ одно цѣлое, какъ это рѣшился отмѣтить еще Перингъ. Здѣсь я долженъ ограничиться лишь краткимъ изложеніемъ этой главы.

«Быль день патрона, великое торжество. Командоры и братья съѣзжаются въ столицу. На башняхъ висятъ бѣлые флаги; Конрадъ устраниваетъ рыцарямъ пиръ». Здѣсь и Витольдъ, вчерашній врагъ ордена, а сегодня его союзникъ. Пиръ во всемъ разгарѣ, только Конрадъ, опершись о локоть, съ презрѣніемъ слушаетъ непристойныя рѣчи. Презрѣніемъ дышитъ и его рѣчь: «Будемъ же веселиться! Что же, братья, развѣ такъ пристойно веселиться рыцарямъ? Сначала пьяный шумъ, а теперь тихій шопотъ... Неужели мы пируемъ, какъ монахи или убійцы? Иные обычаи были въ мое время, когда на покрытомъ трунами полѣ битвы, среди Кастильскихъ горъ или Финляндскихъ лѣсовъ, мы пили у лагернаго костра. Тамъ были пѣсни! Развѣ нѣтъ среди вашей толпы барда или минестреля? Вино веселитъ сердце человѣка, но пѣсня вино для мысли». Какъ въ «Графѣ Габсбургскомъ», гдѣ императоръ, какъ пристало хозяину, съ пріятливымъ лицомъ обращаясь къ гостямъ, выливаетъ пѣвца, и здѣсь появляются пѣвцы: итальянецъ и

французскій трубадуръ. Но «Валленродъ дремалъ» и, вдругъ очнувшись, бросилъ съ пренебреженіемъ пѣвцамъ золото. Онъ хотѣлъ иныхъ пѣсеней. «Намъ, что святимъ (święcim) и убиваемъ людей, пусть проповѣдуетъ святость пѣсня убійства, пусть она насъ и пѣжитъ, и сердить—и наскучаетъ намъ, и пусть, прискучивъ, снова пугаетъ. Такова жизнь, такова наша пѣсня». На вызовъ магистра выходитъ «сѣдой старикъ, который сидѣлъ у дверей, между поэтами и оруженосцами. Пруссака или литвинъ, какъ видно по одеждѣ, онъ былъ украшенъ густой бородой, убѣленной годами; голову окаймляетъ (обвіваєть, obwiewa) сѣтатокъ сѣдины, лобъ и глаза закрыты покрываломъ, на лицѣ глубокія морщины, вырытыя годами и страданіями. Въ правой рукѣ его старая прусская лютия, лѣвую онъ протянулъ къ столу».

Старый литовець—какъ онъ могъ оказаться на пирѣ своихъ враговъ?—поетъ пѣсню, въ которой выражаетъ глубокую ненависть къ рыцарямъ, презрѣніе къ Витольду. Онъ «последній въ Литвѣ вайделоть, онъ поетъ последнюю литовскую пѣсенку». Витольдъ вскочилъ, хотѣлъ уйти, но вернулся, закрылся плащомъ и залился слезами, а Конрадъ, разжигая его, заявилъ, что, навѣрное, литовскому князю будетъ приятно услышать литовскую пѣсню. Чудесную пѣсню снѣлъ старый вайделоть, пѣсню Тиртея, зовущаго на бой. Сколько воодушевленія она должна была будить въ сердцахъ польской молодежи! «Ахъ, кто могъ сохранить литовскую душу, приди ко мнѣ, едемъ на могилѣ народовъ, будемъ думать, пѣть и лить слезы. О, народная легенда! Ты радуга примиренія между прежними и нынѣшними годами. Въ тебѣ народъ складываетъ вооруженіе своего рыцаря, пряжу своихъ мыслей и цвѣты своихъ чувствъ. О, радуга завѣта! Не сломишь тебя никакой ударъ, пока не презреть тебя твой собственный народъ. О, народная пѣсня, ты стоишь на стражѣ храма народныхъ воспоминаній, стоишь съ крыльями и голосомъ архангела... Пламень пожретъ писаную исторію, богатства расхитятъ воры, а пѣснь будетъ невредима! Она бродитъ среди толпъ народа, а если низкія души не умѣютъ кормить ее скорбью и поить надеждой, она улетаетъ въ горы, прижимается къ скаламъ и оттуда поетъ о прошлыхъ временахъ». Конецъ пѣсни особенно характеренъ для Мицкевича. Вѣдь его вѣра въ близкій приходъ великаго мужа, спасителя родины, была всегда жива. И не только старый вайделоть обращается къ Конраду съ при-

звонъ, это самъ Мицкевичъ зоветъ великихъ людей изъ своего народа. «Къ чему однако воскрешать минувшіе вѣка? И своего времени не станеть укорять пѣвецъ. Есть мужъ, великій, онъ живъ, онъ недалеко... О немъ я спою вамъ. Учитесь, литовцы!» Пѣвецъ замолкъ. Въ залѣ царила глухая тишина, которая обыкновенно снова вдохновляетъ поэтовъ. Теперь онъ началъ длинную повѣсть о юношѣ, который былъ воспитанъ нѣмцами, но вернулся въ родную Литву и сталъ мстителемъ за народъ. «Повѣсть вайделота» написана гекзаметромъ. Она представляетъ, какъ это отмѣчаютъ почти всѣ критики, нѣчто самостоятельное, лишь потому вставленное въ описаніе пира. Эпическій тонъ разсказа выдержанъ превосходно. Вотъ содержаніе его. Литовцы возвращались съ набѣга на нѣмцевъ и вели толпы плѣнныхъ, которые заливались слезами, предвидя смерть на кострѣ. Среди плѣнныхъ ѣхали и два рыцаря, которые сами перешли на сторону Кейстута и были имъ приняты, но ради предосторожности окружены стражей. Одинъ былъ молодъ и прекрасенъ, другой отягченъ годами. На вопросъ Кейстута, кто онъ, молодой рыцарь разсказалъ, что еще ребенкомъ онъ былъ взятъ въ плѣнъ и увезенъ къ нѣмцамъ. «Это былъ деревянный городъ, расположенный на высокихъ холмахъ; домъ былъ изъ краснаго кирпича. Около холмовъ на равнинахъ шумѣли сосновые боры, а среди лѣсовъ вдали блестяло озеро». Конечно, это опять Новогрудокъ, къ которому вернулась память поэта. Ночью нѣмцы напали на городъ; среди шума и треска пожара, рыцарь глубоко запомнилъ отчаянный крикъ его матери, когда нѣмецъ схватилъ мальчика на сѣдло и помчался съ нимъ. Смутныя воспоминанія, точно во снѣ, остались у него отъ родины и семьи. Онъ жилъ среди нѣмцевъ, какъ нѣмецъ, назывался Вальтеромъ, носилъ прозвище Альфа. «Имя было нѣмецкое, но душа осталась литовской, осталась скорбь по родинѣ, ненависть къ чужеземцамъ. Винрихъ, магистръ крестоносцевъ, воспитывалъ меня въ своемъ дворцѣ, онъ самъ велъ меня къ крещенію, любилъ и нѣжилъ, какъ сына. Я же скучалъ во дворцѣ и съ колѣни Винриха убѣгалъ къ старому вайделоту». Этотъ вайделотъ былъ взятъ нѣмцами въ плѣнъ и жилъ у нихъ въ качествѣ переводчика. Онъ пригрѣлъ мальчика и воспитывалъ въ немъ ненависть къ нѣмцамъ и Винриху. Потомъ уже юношей онъ уѣзжалъ вмѣстѣ со старькомъ на лодкѣ къ берегамъ Полангена, рвалъ цвѣты ро-

дины, «ихъ волшебное благоуханіе вливалo въ душу какія-то темныя и давнія воспоминанія». А старикъ мучилъ его, рисуя картины порабощенія и страданія его народа. «О, сынъ мой, весенняя жатва, заживо брошенная въ могилу,—это покоренные народы, это—наши братья, литовцы, а песокъ, который приноситъ буря съ моря, это—орденъ». Юноша хотѣлъ убить нѣскольکو крестоносцевъ и бѣжать въ Литву, но вайделотъ его сдерживалъ. «Свободные рыцари могутъ,—онъ говорилъ,—свободно брать оружіе и биться равными силами въ открытомъ бою. Ты же невольникъ; единое оружіе невольниковъ—измѣна. Останься еще, перейми отъ нѣмцевъ военное искусство, старайся приобрѣсти ихъ довѣріе. А дальше увидимъ, что дѣлать». Но въ первой же битвѣ съ литовцами не выдержалъ юноша: онъ бросился вмѣстѣ со старцемъ къ своимъ. Съ интересомъ выслушалъ его повѣсть Кейстутъ; слышала ее и молодая дочь Кейстута, Альдона, молодая и прекрасная, какъ божество. Потомъ наступило сближеніе между молодыми людьми. Христіанство глубоко запало въ душу Вальтера Альфа: онъ говорилъ дѣвушкѣ «о великомъ Богѣ, который царитъ за Нѣманомъ, и о Ненорочной Матери Сына Божья, ангельскій образъ которой онъ показалъ ей на чудной иконѣ. Эту иконку юноша благоговѣнно носилъ на груди; а теперь онъ подарилъ ее литвинкѣ, когда обращалъ ее въ свою вѣру, когда говорилъ вмѣстѣ съ ней молитвы». Кейстутъ замѣтилъ любовь своей дочки къ молодому рыцарю. А Вальтеръ былъ нуженъ ему: онъ былъ искусенъ въ письмѣ, какъ ксендзь, онъ лучше всего ставилъ въ боевой порядокъ войско, лучше всѣхъ устраивалъ окопы, налаживалъ огнестрѣльное оружіе, одинъ онъ стоилъ цѣлаго войска. И Кейстутъ рѣшилъ: «Пойди сюда, Вальтеръ, будь моимъ зятемъ и бейся за Литву!»

Но на этомъ не кончились удивительныя судьбы Вальтера-Альфа. «Вальтеръ любилъ свою жену, но имѣлъ благородную душу; счастья онъ дома не нашелъ, его не было и на родинѣ». Каждую весну нѣмцы совершали кровавыя, грабительскіе походы на Литву; разрушены Ковно, Кейданы; среди лѣсовъ и горъ укрываются литовцы. Вальтеръ предвидѣлъ будущее, онъ зналъ нестоимыя богатства ордена, его могущество и видѣлъ гибель пруссаковъ. Эту же участь онъ предсказывалъ Кейстуту, который приходилъ въ отчаяніе отъ его злого пророчества. И тогда страшный планъ зародился въ сердцѣ Вальтера, и онъ,

прежде веселый и спокойный, измѣнился. Цѣлыми днями онъ мрачно смотрѣлъ на дымъ, поднимавшійся отъ палимыхъ нѣмцами деревень и мѣстечекъ; ночью ему не даютъ заснуть тяжелыя предчувствія. Альдона молитъ его уѣхать подальше отъ нѣмцевъ. Куда же уйти отъ нихъ? Альдона въ смущеніи молчала. «Раньше ей казалось, что родина долга, какъ мѣръ, широка безъ конца; въ первый разъ она слышитъ, что во всей Литвѣ негдѣ было укрыться. Ломая руки, она спрашиваетъ Вальтера: что же дѣлать? «Есть, Альдона, одинъ способъ,—онъ одинъ остался литовцамъ,—сокрушить мощь ордена; мнѣ вѣдомъ этотъ способъ. Но не спрашивай меня, молю тебя Богомъ. Да будетъ стократъ проклять тотъ часъ, когда я буду вынужденъ врагами взяться за него!» Больше онъ ничего не хотѣлъ сказать; просьбъ Альдоны не слушалъ, только несчастья Литвы слышалъ и видѣлъ передъ собой. И вотъ наконецъ пламень мщенія, питаемый въ молчаніи видомъ бѣдъ и страданій, высоко поднялся и охватилъ его сердце; онъ выжегъ всѣ чувства, даже то единственное чувство, которое услаждало ему жизнь, даже чувство любви. Такъ, когда охотники разложить потихоньку огонь у бѣловѣжскаго дуба и глубоко выжгутъ его сердцевину, скоро утратить свои трепещущіе листья монархъ лѣсовъ, отъ вѣтра полетятъ на землю вѣтви, и даже корона омелы, единственная зелень, которая украшала его чело, — и та засохнетъ». Наконецъ послѣ одного пораженія Вальтеръ рѣшилъ бѣжать, не сказавъ ничего Альдонѣ. «Женщинамъ горе,—сказалъ онъ,—когда онѣ любятъ безумцевъ, око которыхъ привыкло глядѣть за предѣлы селенія, мысли которыхъ, какъ дымъ, безпрестанно надъ крышею вьются, сердцу которыхъ домашняго счастья не будетъ довольно. Души великія ульямъ просторнымъ подобны, Альдона, медъ ихъ не можетъ наполнить, гнѣздомъ онѣ ящерицъ стануть... Другъ мой Альдона, прости мнѣ! Я дома останусь сегодня, все позабуду сегодня, сегодня другъ другу мы будемъ тѣмъ, чѣмъ бывали мы прежде, а завтра»¹⁾... Утромъ Альдона услышала конскій топотъ; она бросилась наперерѣзъ и встрѣтилась съ всадниками. Ея мольбы не удержали Вальтера. «Ты свободна,—говорилъ онъ ей: ты вдова великаго человѣка, который для блага отчизны отрекся отъ всего, даже отъ тебя! Будь здорова, за-

1) Близкій къ оригиналу переводъ Н. Семенова.

будь; когда-нибудь поплачь надо мною. Вальтеръ все потерялъ, Вальтеръ остался одинъ, какъ вѣтеръ въ пустынѣ; онъ долженъ блуждать по свѣту, быть измѣнникомъ, убійцей и потомъ погибнуть позорной смертью. Но пройдутъ годы, и снова загремитъ въ Литвѣ имя Альфа, и когда-нибудь изъ устъ вайделота ты услышишь объ его подвигахъ». Все поняла Альдона, и тогда Вальтеръ открылъ ей свой плачь. Она ушла въ женскій монастырь. «Альфъ съ вайделотомъ уѣхалъ. Не слышно объ нихъ и донинѣ. Горе, когда бы доселѣ онъ клятвы своей не исполнилъ, если отрекшись отъ счастья и счастье сгубивши Альдоны, если, пожертвовавъ столькимъ, все въ жертву принесъ онъ напрасно... Время покажетъ, что будетъ... Окончилъ я пѣснь мою, пѣмцы!» Такъ кончается эта знаменитая пѣснь вайделота.

Начался роногъ: гдѣ же подвиги Вальтера? въ чемъ заключается его мечь? Кто могъ это спрашивать? Пѣмцы не понимали литовскихъ словъ вайделота, а если бы поняли, все открылось бы имъ. Вельможи Витольда? Но неужели они не знали событій, происшедшихъ въ семьѣ Кейстута? Вѣдь Витольдъ былъ сынъ Кейстута, Альдона его тетка. Не говоря уже о томъ, что хронологія совѣмъ не выдержала бы такого превращенія Конрада въ старшаго родственника Витольда. Но, если съ хронологіей Мицкевичъ, какъ мы увидимъ ниже, кое-какъ устроился, то съ вопросами естественности, мы знаемъ, онъ мало считался въ своей байронической поэмѣ, могучій замысль которой плѣнилъ его. Его Валленродъ потрясенъ пѣснью вайделота, въ которомъ мы давно уже узнали переряженного Хальбана. Въ страшномъ возбужденіи онъ возвращаетъ пѣвца и самъ поетъ грозную балладу «Алпухара», объ Альманзорѣ, «мусульманскомъ королѣ», который добровольно отдался въ руки испанцевъ, чтобы заразить ихъ чумой. Такъ и въ Литвѣ найдутся метители. Не всѣ подобны Витольду. Пѣсня магистра, его страшный видъ, гнѣвъ Витольда привели въ смущеніе рыцарей. «Всѣ они *напрасно* теряются въ догадкахъ». Наконецъ разыгралось и самое событіе, которому посвящена 5-я глава, несоразмѣрно малая. Въ общей композиціи «Конрада Валленрода» эта незначительность послѣдней главы становится вполнѣ понятной. Вѣдь не самый фактъ мести, но психологическая проблема измѣны интересовала Мицкевича. Какъ Конрадъ дошелъ до того, что, преодолевъ еще разъ свою любовь, свое нравственное отвра-

щеніе къ измѣнѣ, самое чувство апатіи, изнурившее его душу, какъ онъ могъ, наконецъ, приступить къ выполненію своего плана? Объ этомъ и говоритъ 4 глава, которая показываетъ намъ, что больше уже не могло быть мѣста для колебаній въ душѣ Валленрода.

Витольдъ измѣнилъ ордену, съ помощью коварства проникалъ въ замки тевтоповъ, отнималъ у гарнизоновъ вооруженіе, перебивалъ ихъ. Война неизбѣжна; безчисленное множество воиновъ собираются на призывъ ордена въ его ряды. Вотъ уже они проникли глубоко въ Литву; говорятъ, осадили Вильну и Ковно. «Наконецъ прекратились и вѣсти, и послы. Уже въ окрестностяхъ не видно пламени, а небо загорается заревомъ все дальше и дальше. Напрасно пруссаки поджидаютъ плѣнниковъ и богатой добычи изъ завоеваннаго края; напрасно они шлютъ частыхъ гонцовъ за новостями; спѣшно ѣдутъ гонцы, а назадъ не возвращаются. И, томясь въ страшной неизвѣстности, люди предпочли бы услышать самое ужасное». Наконецъ возвратились остатки войска, подобные войску «призраковъ». Всю зиму бездѣятельно продержалъ ихъ Конрадъ, не пачиная битвы и не обращая вниманія на войска. А когда Витольдъ напалъ на нѣмцевъ, онъ первый бѣжалъ съ поля битвы. Что-то сатанинское было въ его лицѣ: бѣшенство и радость одновременно. Чужая какую-то тайну, народъ дрожалъ; а Конрадъ созвалъ на совѣтъ враждебно ему настроенныхъ рыцарей. Ночью же собрался тайный судъ въ подземельи Маріенбурга, въ маскахъ, съ обнаженными мечами, и одинъ изъ рыцарей выступилъ обвинителемъ. Тайна Валленрода открылась. «Человѣкъ, который называетъ себя Конрадомъ Валленродомъ, не есть Валленродъ. Кто онъ, неизвѣстно. Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ онъ пріѣхалъ неизвѣстно откуда въ прірейскія страны. Когда графъ Валленродъ пошелъ въ Палестину, онъ былъ въ его свитѣ, послалъ одежду оруженосца. Вскорѣ рыцарь Валленродъ погибъ гдѣ-то безъ вѣсти, а этотъ оруженосецъ, подозрѣваемый въ его убійствѣ, тайно исчезъ изъ Палестины и прибылъ къ испанскимъ берегамъ. Тамъ въ стычкахъ съ маврами онъ далъ доказательства своего мужества и получилъ много наградъ на турнирахъ, и всюду онъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Валленрода. Наконецъ, онъ принялъ орденскую присягу и сдѣлался магистромъ на гибель ордена. Какъ онъ правиль, вы знаете всѣ. Въ эту послѣднюю зиму, когда

мы боролись и съ морозомъ, и съ голодомъ, и съ Литвой, Конрадъ ѣздилъ одинъ въ лѣса и дубравы и тамъ велъ тайные переговоры съ Витольдомъ. Мои шпионы давно уже слѣдятъ за его дѣлами, они скрывались вечеромъ у наружной башни, они не поняли, о чемъ Конрадъ говорилъ съ отшельницей, но, судья, онъ говорилъ — на языкѣ литвиновъ!» Такъ гласило обвиненіе въ «измѣнѣ, коварствѣ, убійствѣ и ереси». Всѣ двѣнадцать судей сошлись въ смертномъ приговорѣ Валленроду. «Горе, всѣ воскликнули хоромъ, и стѣны три раза повторили эхомъ: горе!»

Но Мицкевичу еще жаль разстаться съ Валленродомъ. Въ послѣдней главѣ онъ даетъ чувствительную сцену разставанья Альфа съ Альдоной. Валленродъ у подножья башни подробно рассказываетъ возлюбленной объ ея родномъ домѣ, который онъ посѣтилъ теперь; онъ умоляетъ Альдону вернуться вмѣстѣ съ нимъ домой. Но та не соглашается. Почему? Потому что она измѣнилась, подурнѣла. «Нѣтъ, пусть никогда лишенья отшельницы не искажаютъ лица прекрасной Альдоны». Таковъ смыслъ длиннѣйшихъ рѣчей, которыми обмѣниваются Альфъ и Альдона, какъ въ сантиментальномъ романѣ начала XIX вѣка. Такъ изъ кокетства Альдона оставляетъ Валленрода на гибель, а онъ блуждаетъ вокругъ замка, сорвавъ со своей груди все, «кромѣ угрызѣній совѣсти». Утромъ онъ вернулся, случайно попавъ на городскіе окопы. Крики «горе, горе» пробудили его изъ забытья. Онъ вернулся къ башнѣ Альдоны, открылъ ей, что его узнали, и просилъ бросить ему вѣточку или хотя бы нитку отъ одежды, ленточку съ волосъ... Но Альдона оказалась болѣе суровой, чѣмъ Марыля: она не дала ни «вѣточки» (gałazka, которая появилась здѣсь изъ Дѣдовъ», ибо какая «вѣточка» могла быть въ этой башнѣ?), ни нитки. Такъ же трогательно и многословно Альфъ прощается съ Хальбаномъ и выливаетъ ядъ. Хальбанъ не слѣдуетъ его примѣру: онъ хочетъ пережить Альфа и распространить его славу въ народѣ. «Я пройду по деревнямъ, замкамъ и городамъ Литвы. Куда самъ не дойду, туда долетитъ моя пѣсня. Барды будутъ пѣть ее рыцарямъ въ битвахъ, а женщина въ домѣ для своихъ дѣтей, — будетъ пѣть ее, и *когда-нибудь въ будущемъ изъ этой пѣсни возстанетъ мститель за наши кости*... Но вотъ врываются въ комнату убійцы Альфа. А онъ «припалъ со слезами къ окну и долгимъ-долгимъ взглядомъ смотрѣлъ на башню (Альдоны), какъ будто хотѣлъ вдоволь

насмотрѣться на милый видъ, котораго онъ долженъ будетъ сейчасъ лишиться». При видѣ вошедшихъ судей онъ поднялся съ мѣста, сорвалъ съ себя плащъ и швырнулъ на землю знакъ магистра. Онъ топталъ ихъ ногами и съ презрѣніемъ говорилъ, что онъ погубилъ и орденъ. «Какъ я великъ и гордъ. Какъ много головъ гидры я снесъ однимъ ударомъ, словно Самсонъ, который, потряси колонны, сокрушилъ все зданіе и погибъ въ его развалинахъ». Альфъ уговорился съ Альдоной, что онъ уже больше къ ней не вернется, если лампа погаснетъ до вечера. Онъ не забылъ объ этомъ, даже умирая. «Такъ онъ сказалъ, взглянулъ въ окно и упалъ безъ чувствъ, но раньше, чѣмъ упасть, сбросилъ съ окна лампу. А она, трижды сдѣлавъ кругъ, еще горѣла, а потомъ легла у чела *Конрада* (здѣсь вдругъ появляется имя Конрада вмѣсто обычнаго въ этой пѣсни Альфа). Въ разлитомъ маслѣ тлѣетъ фитиль, но онъ погружается все глубже, все сильнѣе мигаетъ, и, наконецъ, какъ символъ смерти, вспыхиваетъ въ послѣдній разъ яркимъ пламенемъ. И при свѣтѣ его видны очи Альфа: они уже померкли. И, вспыхнувъ, погасъ свѣтъ лампы. И въ это мгновеніе сквозь стѣны башни прорвался крикъ неожиданный, страшный, пронзительный; онъ сразу оборвался... Изъ чьей груди онъ вырвался? Вы догадаетесь. А тотъ, кто услышалъ бы его, понялъ бы, что больше изъ груди, откуда вырвался такой вопль, уже не раздастся голоса: вся жизнь вылилась въ немъ. Такъ отъ рѣзкаго удара зазвенять струны лютни и лопнуть. Ихъ сбивчивые звуки какъ будто начинаютъ какую-то новую пѣсенку, но никто уже не ожидаетъ ея конца. Такова моя пѣсня о судьбахъ Альдоны: пусть допоютъ ее на небесахъ ангель гармоній и чувствительный слушатель въ своей душѣ». Такъ кончается поэма о Валленродѣ, словно главное содержаніе ея было посвящено не трагической измѣнѣ литовскаго воина-мстителя, но чувствительнымъ судьбамъ Альдоны. Эти послѣднія строки, мы знаемъ, были написаны незадолго до выхода «Конрада Валленрода» въ свѣтъ. Несомнѣнно поздно было составлено и «вступленіе» къ поэмѣ, гдѣ опять лишь романтическая исторія «двухъ любящихъ сердецъ» выдвинута на первый планъ.

Вступленіе своимъ элегическимъ настроеніемъ такъ же мало отвѣчаетъ трагическому сюжету, какъ и нѣжная романтическая любовь ея героя къ Альдонѣ. Поэтъ, начертавшій на своемъ знамени слова Макиавелли, былъ очень далекъ душой отъ ко-

варнаго и холоднаго итальянскаго политика. Онъ мечталъ не о томъ, чтобы «essere vopre e leone» (быть лисицей и львомъ), какъ училъ Макиавелли, но о мирѣ народовъ; онъ скорбѣлъ о ненависти, раздѣляющей ихъ. «Вступленіе» ближе всего напоминаетъ чудные стихи Пушкина о мечтахъ Мицкевича, «когда народы, распри позабывъ, въ великую семью соединятся», и не даромъ именно изъ этого вступленія Пушкинъ перевелъ начало, правда, и тяжело, и далеко отъ оригинала. «Прошло уже почти сто лѣтъ, какъ орденъ крестоносцевъ бродилъ въ крови сѣверныхъ язычниковъ; прусакъ уже склонилъ голову и надѣлъ оковы, или отдалъ свою землю, а самъ ушелъ, куда глаза глядятъ (z duszą). Нѣмецъ разослалъ погоню вслѣдъ за бѣглецомъ, и до самыхъ границъ Литвы все грабилъ, убивалъ, полонилъ. Нѣманъ отдѣляетъ литовцевъ отъ враговъ. По одной сторонѣ блестятъ верхушки святынь, и шумятъ лѣса, обитающа боговъ, а на другой сторонѣ, на холмѣ, высоко подымается къ небесамъ свое чело крестъ, символъ нѣмцевъ. Онъ грозно простираетъ руки къ Литвѣ, какъ будто хочетъ свыше захватить всю область Палемона и собрать ее подъ себя. На той сторонѣ толпы литовской молодежи, въ рысѣхъ колпакахъ, въ одеждѣ изъ медвѣжьихъ шкуръ, съ лукомъ на плечахъ и съ пучкомъ стрѣлъ въ рукѣ, онѣ спуютъ, слѣдя за маневрами нѣмцевъ (obrotów). А на другой сторонѣ стоитъ неподвижно на своемъ конѣ нѣмецъ въ шишакѣ и вооруженіи, устремивъ очи на вражескія укрѣпленія, онъ заряжаетъ ружье и считаетъ четки. И тѣ, и другіе охраняютъ переправу. Такъ Нѣманъ, прежде славившійся гостепріимствомъ и соединявшій державы братскихъ народовъ, теперь былъ для нихъ порогомъ вѣчности, и никто не могъ перешагнуть черезъ запретныя воды, не рискуя потерять жизнь или свободу. Только вѣточка литовскаго хмеля, привлекаемая чарами прусскаго тополя, перебирается на ту сторону по вербамъ и рѣчнымъ травамъ и, прыгая черезъ рѣку краснымъ вѣнкомъ, попрежнему протягиваетъ смѣлыя объятія и соединяется съ возлюбленнымъ на чужой землѣ. Только соловья ковенской дубравы ведутъ, какъ прежде, литовскія бесѣды со своими братьями съ того берега, или, взмахнувъ свободными крыльями, летаютъ въ гости на общіе острова. А люди? Людей раздѣлили распри. Прежняя дружба пруссовъ и литовцевъ забыта; только иногда любовь соединяетъ и людей... Я зналъ двухъ

людей... О, Нѣманъ, скоро устремятся къ твоимъ струямъ ряды людей, несущихъ смерть и пожары, и топоръ обнажить отъ зеленыхъ вѣтвей твои берега, еще пока пощаженные. Гуль пушекъ выгонитъ изъ огородовъ соловьевъ. Все, что связала золотая цѣпь природы (przyrodzenia, — можетъ быть, лучше перевести: естественности), — все разорветъ ненависть народовъ... Только сердца влюбленныхъ снова соединятся въ пѣсняхъ вайделота».

Нѣкоторый «макиавеллизмъ» можно найти только въ прозаическомъ предисловіи къ «Конраду Валленроду», гдѣ затерты всякіе слѣды политическаго содержанія поэмы. Предисловіе сообщаетъ кое-какія свѣдѣнія изъ прошлаго Литвы: какъ она боролась съ нѣмцами, какъ слилась съ Польшей и въ соединеніи съ ней отреклась отъ своего національнаго существованія. «Уже нѣсколько вѣковъ скрыло описанныя здѣсь событія. Сошли со сцены политической жизни и Литва, и ея страшнѣйшій врагъ, орденъ; совершенно измѣнились отношенія сосѣднихъ народовъ; интересы и страсти, которые воспаляли тогдашнія войны, угасли; *даже народныя пѣсни не сохранили никакихъ воспоминаній о нихъ.* Литва уже цѣликомъ въ прошломъ; съ этой точки зрѣнія ея исторія представляетъ особенно счастливое поприще для поэта: воспѣвая тогдашнія событія, онъ долженъ имѣть въ виду только историческій сюжетъ, заниматься только углубленіемъ (zglebieniem) темы и ея художественнымъ изложеніемъ, а не привлекать на помощь себѣ интереса, страстей или моды читателей. Именно такіе предметы совѣтоваль выискивать Шиллеръ:

Was unsterblich im Gesang soll leben,
Muss im Leben untergehen,

т.-е. что должно жить въ пѣснѣ, должно погибнуть въ дѣйствительности».

Читатель, который буквально понялъ бы это предисловіе, вѣроятно не мало удивился бы, найдя въ поэмѣ изреченія о силѣ народной пѣсни, соединяющей прошлое народа съ его настоящимъ, создающей мстителя изъ праха прошлаго. Но читатель Мицкевича останавливался не на этихъ строкахъ, которыя должны были служить тенетами для подозрительности цензора, но на рѣшительныхъ сужденіяхъ предисловія о полномъ сліяніи

Литвы съ Польшей. «Великое княжество Литовское перестало быть литовскимъ». А если такъ, то будущій метитель, который встанеть изъ Литвы, за кого будетъ метить? И польская молодежь давала на это одинаково дружный отвѣтъ въ Вильнѣ, въ Варшавѣ и Краковѣ. А читая строки поэтического вступленія о томъ, какъ на берегахъ Нѣмана скоро начнется война, относилась ли она ихъ къ содержанію поэмы или къ своему будущему? Такъ «Конрадъ Валленродъ» задѣвалъ осторожно, но тѣмъ болѣе чувствительно самыя тонкія струны польской души. «Въ Мицкевичѣ видятъ мнимые патриоты репрезентанта тайныхъ своихъ помышлений», доносилъ Новосильцовъ вел. кн. Константину Павловичу (10 апр. 1828 г.) ¹⁾. По какой-то ироніи судьбы такимъ же зловреднымъ писателемъ казался и Оаддей Булгаринъ, и, спасая себя, онъ содѣйствовалъ (какъ справедливо полагаетъ Н. Дубровинъ въ «Русской Старинѣ» 1903, нояб.) составленію записки, въ которой доказывалъ, что «въ журналѣ и сочиненіяхъ г. Булгарина нѣтъ ни одной строки, дышащей польскимъ патриотизмомъ», но что такъ же далекъ отъ этого и «Конрадъ Валленродъ». И тогда Николай I (26 ноября 1829 г.) приказалъ снять съ поэмы подозрѣніе, «оставить сіе дѣло безъ дальнѣйшаго вниманія».

Обратимся къ плану «Конрада Валленрода», который, какъ мы уже знаемъ со словъ самого поэта, подвергся значительному измѣненію по сравненію съ первоначальнымъ замысломъ. Въ характерѣ Валленрода уже давно, начиная съ Мохнацкаго, критика указала непримиримыя противорѣчія... «Между Конрадомъ Валленродомъ, питающимъ планъ отмщенія ордену съ помощью измѣны, и тѣмъ же самымъ Конрадомъ, чувствительнымъ любовникомъ Альдоны, непроходимая пропасть», говорилъ Перрингъ (1882 г.). Утвержденія Тарновскаго и Здѣховскаго о полнѣйшей цѣлостности (jednolita całość) личности Конрада интересны скорѣе всего, какъ доказательства того, до какихъ признаній можетъ довести критику пристрастное отношеніе къ любимому писателю. Валленродъ созданъ по образцу байроновскихъ героевъ, прежде всего «Корсара», котораго звали,

¹⁾ По правдоподобию предположенію г. Корбута (Pamiętn VI), вниманіе Новосильцова было привлечено рецензіей проф. Шидловскаго, написанной по заказу ректора Целикана.

какъ и Мицкевичаго героя, Конрадомъ. Корсаръ любитъ женщину такъ же нѣжно и самоотверженно, какъ и Валленродъ, и гибнетъ изъ-за нея. Личность Корсара близко напоминаетъ Валленрода. Онъ суровъ съ пиратами, какъ Валленродъ съ нѣмецкими рыцарями. «Онъ кратко отдастъ имъ приказанья, смѣлъ острый взоръ, рука безъ содроганья; не дѣлать онъ ихъ празднествъ и утѣхъ, но замкнутость прощаютъ за успѣхъ. Онъ не наполнить кубка, не прильнетъ къ его краямъ. Зато изъ шайки тотъ, кто всѣхъ неприхотливѣе изъ стана, не соблазнится пицей атамана». («Конрадъ Валленродъ» въ переводѣ А. М. Федорова). Пираты повинуются ему безпрекословно. «Покорные, они идутъ, чтобъ вскорѣ опять уплыть въ безбережное море. Они не ропщутъ: ихъ Конрадъ ведетъ. И кто изъ нихъ спросить его дерзнетъ: Куда? Они едва ль когда видали его улыбку, вздохъ его слышали. Отчаяннѣйшій въ шайкѣ—трусъ предъ нимъ. Блѣднѣютъ всѣ предъ именемъ однимъ». Это ли не подходящая характеристика для Валленрода? Какъ этотъ послѣдній, Корсаръ былъ «съ виду скромный, но взоръ его блестѣлъ подъ бровью темной... Въ презрительной насмѣшкѣ хохотъ ада звучалъ, какъ громъ. Когда же онъ въ упоръ вонзалъ смертельной ненависти взоръ, беспомощно надежда угасала, и милосердье тихо отлетало». Кому и за что мститъ Корсаръ? Человѣчеству за то, что онъ «разочарованъ на бѣду», за то, что «невольнo вовлекли его дѣянья въ борьбу съ людьми и съ небомъ во вражду». Это ненависть къ людямъ только за то, что они люди, страданія дьявольскаго эгоизма. «Онъ въ юности постигъ надеждъ тщету, позналъ гоненье, зависть, клевету; людей возненавидѣлъ такъ глубоко, что совѣсть не извѣдала упрека; божественнымъ призывомъ онъ считалъ велѣнiе гнѣва; гнѣвъ повелѣвалъ мстить за немногихъ тамъ, гдѣ есть защита; злодѣемъ онъ считалъ себя открыто, но остальныхъ не выше». Конрадъ Валленродъ мститъ нѣмецкому ордену, чтобы спасти родину; онъ прибѣгаетъ къ такой мести потому, что «онъ рабъ; единое средство рабовъ—измѣна». И все-таки онъ мучится, мстя. Конрадъ Байрона тѣнится зломъ ради зла. Про Словацкаго говорили, что онъ перебайронизировалъ, про Мицкевича можно сказать обратное: онъ не добайронизировалъ, потому что зло и жестокость были ему отвратительны: онъ осудилъ ихъ еще въ своихъ юношескихъ «дѣдахъ». Потомъ, когда всякія слова о добрѣ и пра-

вдѣ казались ему лицемѣрной ложью, когда онъ читалъ только Байрона, а всѣ остальные книжки отбрасывалъ (если только вѣрить этому письму), — Мицкевичъ могъ серьезно вообразить себя разочарованнымъ презрителемъ людей. Но и тогда у него осталось чувство, которое роднило его съ байроновскимъ корсаромъ. «Не все въ немъ зло. Привязанность святая таилась въ немъ, глубь сердца оживляя. Онъ часто насмѣхался надъ глупцомъ, объятымъ страстью. Самъ же предъ лицомъ имъ овладѣвшей страсти онъ терялся». О нѣжной любви Конрада къ Медорѣ и рассказываетъ поэма. Медора, какъ и Альдона, живетъ въ уединенной башнѣ. Когда читаешь байроновскаго «Корсара», начинаешь понимать, чѣмъ именно этотъ сюжетъ долженъ былъ плѣнять воображеніе Мицкевича. Гюльнара, спасающая Конрада изъ плѣна, и нѣжная Медора: эти два образа, вѣроятно, отражались и въ первоначальномъ замыслѣ «Валленрода». Вѣдь и Корсаръ «измѣнникъ», какъ Конрадъ; онъ измѣнилъ своимъ мусульманамъ, чтобы мстить имъ; онъ проникъ къ врагамъ подъ видомъ дервиша, и «плащъ монаха и шапку прочь отбросилъ онъ съ размаха; кольчуга блещетъ на груди». Гюльнара спасла его, но Медора, узнавъ отъ ниратовъ, что Конрадъ въ плѣну у султана, умерла. Что далѣе случилось съ Гюльнаррой, намъ безразлично, и дальнѣйшія судьбы Конрада скрыты отъ насъ поэтомъ. Если бы «Пѣснь вайделота» не оборвалась, можетъ быть, мы бы узнали изъ нея, что Альдона погибла въ своей уединенной башнѣ, услышавъ о плѣнѣ Альфа, который поѣхалъ совершить свой подвигъ въ столицу ордена. О томъ, что Альдона была на первомъ планѣ въ одной изъ двухъ задуманныхъ повѣстей, говорятъ послѣднія строки поэмы, посвященные не Конраду, а ей. Въ такомъ случаѣ «Пѣснь вайделота» не была по отношенію къ цѣлому поэмы лишь вставочнымъ эпизодомъ: Конрадъ Валленродъ восходитъ къ тому же литературному источнику, что и Альфа. Самая «Пѣснь вайделота» представляетъ мотивировку суровости и мстительности магистра, — мотивировку, которую Мицкевичъ, все еще не оторвавшійся отъ требованій ложноклассической обстоятельности, вѣроятно, считалъ необходимой. Въ своемъ изслѣдованіи о «балладическомъ элементѣ» въ «Конрадѣ Валленродѣ» г. Галле указываетъ еще, какъ на одинъ изъ источниковъ Мицкевича, на балладу Шиллера «Ritter Togenburg». Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сходство доходитъ до совпаденія подробно-

стей; сходство есть и вообще въ сюжетѣ: вѣрная любовь рыцаря, который не можетъ нигдѣ забыть своей возлюбленной, нѣкогда отвергшей его, но потомъ раскаявшейся и ушедшей въ монастырь, напоминаетъ преданность Конрада Альдонѣ. Сюжетъ «Рыцаря Тогенбурга» былъ особенно близокъ самому Мицкевичу, который видѣлъ въ судьбѣ Тогенбурга и его возлюбленной судьбу свою и Марыли. Но эта любовь не имѣетъ ничего общаго съ трагической задачей Валленрода и могла бы составить тему отдѣльной повѣсти.

Для того, чтобы выяснитъ генезисъ одного изъ величайшихъ произведеній Мицкевича, необходимо разсмотрѣть и другія литературныя вліянія, отразившіяся въ «Конрадѣ Валленродѣ». Они указываютъ и на время, когда складывались тѣ или другіе замыслы поэмы. Такъ, въ продолженіе 1822—1826 лѣтъ Мицкевичъ хорошо изучилъ Мура, котораго ставилъ въ одномъ ряду съ Гёте, Шиллеромъ и Байрономъ, и еще въ 1828 году поэтъ заявляетъ, что не знаетъ равнаго ему по тонкости и изяществу, какъ и позже онъ не разъ съ восхищеніемъ упоминаетъ о Мурѣ, удивляется, что варшавскіе критики его мало знаютъ, совѣтуютъ переводить его и т. под. Какъ указано выше, сонетъ «Доброй ночи» представляется, по словамъ проф. Брухнальскаго, реминисценціей или подражаніемъ «Рондо» Мура; въ Альбомѣ Мошинскаго есть и переводъ одного изъ стихотвореній Мура, «The meeting of the waters», напечатанный въ 1829 г. Однако, при установленіи хронологіи «Конрада Валленрода» важно, что уже къ 1822 году восходятъ, по свидѣтельству того же изслѣдователя, несомнѣнныя вліянія Мура, отразившіяся на «Валленродѣ». Именно, въ 1822 году Мицкевичъ зачитывался «Лаллой Рукъ», одна изъ частей котораго, «Огненоклонники», описываетъ борьбу иранцевъ съ ихъ угнетателями и завоевателями—арабами. Но, говоря объ иранцахъ и арабахъ, Муръ имѣлъ въ виду собственную родину, старую кельтскую Ирландію, и ея угнетателей—англичанъ. Поэтому особенно горячо звучать его рѣчи о свободѣ и борьбѣ, и произведеніе Мура должно было глубоко занастъ въ душу Мицкевича. Сюжетъ «Огненоклонниковъ» близокъ къ «Конраду Валленроду»: молодой иранецъ Гафидъ, видя гибель, угрожающую родинѣ, и паденіе стараго культа Митры, рѣшается отмстить арабамъ, но онъ любитъ дочь своего врага, Хинду. И «она любитъ, но не знаетъ кого любить; она не знаетъ ни

его происхожденія (race), ни откуда онъ пришелъ. Такъ иногда въ лѣсахъ Индіи встрѣчаешь прекрасную птицу, у которой нѣтъ имени. Ее принесъ послѣдній благоуханный (ambrosial) вѣтерокъ съ острововъ на невѣдомыхъ моряхъ. Всего одинъ день она являетъ восхищеннымъ глазамъ твое оперенье, и потомъ исчезаетъ. Неужели улетитъ и онъ, ея безымянный возлюбленный?» Хианда презираетъ персовъ и однажды высказываетъ это презрѣніе въ бесѣдѣ съ Гафидомъ. «Остановись! Ужасны твои слова», воскликнулъ чужеземецъ, сбрасывая рѣзкимъ движеніемъ мантию и обнаруживая опоясывавшій его поясъ гебровъ. «Вотъ, дѣва, смотри, рыдай, краснѣй при видѣ того, что такъ возмущаетъ твоего отца. Да, я происхожу изъ той нечистой расы, отъ тѣхъ читателей огня, которые утромъ и вечеромъ привѣтствуютъ обитель своего творца среди живыхъ свѣтилъ неба! Да, я одинъ изъ тѣхъ немногихъ изгнанниковъ, которые, вѣрные Ирану и отмщенію, ежечасно проклинали васъ, арабовъ, пришедшихъ разрушить наши священные огни, которые поклялись передъ пылающимъ окомъ Бога сокрушить цѣпи, сковавшія нашу родину, или умереть. О, кровожадный государь,—о, нѣтъ, не трепещи,—о, тотъ, который произвелъ на свѣтъ (gave birth) эти дорогіе глаза, священные для меня, какъ то мѣсто, на которомъ поднимаются наши святые огни! Знай, только его я видѣлъ въ ту ночь, когда со своей сторожевой лодки на морѣ я замѣтилъ дрожащій свѣтъ этой башни и смѣло взобрался на дикія скалы, чтобы ограбить ее (to my prey). Ты знаешь остальное. Я проникъ въ окровавленное гнѣздо коршуна и нашелъ въ немъ трепещущаго голубя. Твоя, твоя побѣда, твой грѣхъ, что любовь завладѣла духомъ, который принадлежитъ мести прежде всего, и послѣ всего, и всецѣло! О, если бы мы никогда, никогда не встрѣчались съ тобой или если бы сердце могло теперь забыть тебя. Какъ счастливы, какъ блаженны мы могли бы быть, если бы судьба не раздѣлила насъ такой темной тучей. Если бы ты родилась персидскою дѣвушкой, мы жили бы въ соседнихъ долинахъ, мы играли бы въ дѣтствѣ на тѣхъ же самыхъ поляхъ и стояли бы на колѣняхъ у тѣхъ же пылающихъ алтарей, а затѣмъ всѣ тѣ безымянные нити (those nameless ties), въ которыхъ заключаются чары страны, сплетались бы ежечасно вокругъ нашихъ сердець, пока дѣло Ирана и твое не стали бы одно и то же! И въ утреннихъ пробуждающихъ звукахъ лют-

ми я слышалъ бы голосъ прошедшихъ дней, и въ каждой твоей улыбкѣ я видѣлъ бы возвращеніе часовъ минувшей славы. И если бы злой духъ нашей страны вселился въ тебя и черезъ тебя вѣщалъ свою злобу, Боже, кто могъ бы противиться этому мечу? Его яркій блескъ былъ бы уже побѣдой! А теперь мы такъ чужды другъ другу, разлучены навѣки, такъ далеки, какъ только можетъ отдалить рука судьбы! Тѣ единственные узы, которыя сплела любовь, разрѣзаны вѣрой, друзьями и родиной. Твой отецъ злѣйшій врагъ Ирана; ты сама, можетъ быть, теперь—но нѣтъ! Ненависть никогда не смотрѣла съ такой любовью. Нѣтъ, священна твоей душѣ будетъ земля того, кто могъ забыть для тебя все, кромѣ этой залитой кровью земли. Когда другіе глаза будутъ смотрѣть равнодушно на слезы ея вдовы, на гибель ея воиновъ, ты вспомнишь, какъ любилъ тебя одинъ гебрь, и о немъ ты будешь вѣчно плакать. Но смотри...»—

Быстрымъ движеніемъ онъ повернулся и указалъ на высокую волну (to the distant wave), на которой сверкали огни, подобно метеорамъ, словно на могилѣ морехода; и огненные стрѣлы взвивались отъ времени до времени, все озаряя, пущенныя чьей-то рукой, словно всѣ звѣзды, которыя падаютъ ночью, устремились опять на небеса. «Мои сигнальные огни! Я долженъ удалиться. Мы оба, оба погибли, если я буду медлить! Прощай, безмятежная жизнь, ты не удержишь меня. Теперь, отщепеніе, я твой». Стремительно онъ бросился внизъ, не останавливаясь, не оборачиваясь; онъ соскользнулъ съ рѣшетки окна и исчезъ между остроконечными утесами, какъ будто онъ спѣшилъ отъ любви къ смерти. А молодая Хида стояла блѣдная и нѣмая. Она не двигалась, пока мгновенный всплескъ въ недвижимыхъ водахъ, раздавшійся внизу, не вывелъ ея изъ оцѣпенѣнія печали». Въ дальнѣйшемъ изложеніи поэма рассказываетъ о томъ, какъ погибъ Гафидъ. Умерла и Хида. Она бросилась въ море.

Поэма Мура представляетъ такимъ образомъ иное расположеніе дѣйствующихъ лицъ, чѣмъ «Конрадъ Валленродъ». Герой ирландскаго поэта, мстя врагу, влюбляется въ его дочь и пребываетъ въ бездѣятельности, пока товарищи не призываютъ его къ спасенію родины; герой «Корсара» точно такъ же изъ плѣна освобождается женщиной изъ вражескаго стана. Ни въ одномъ изъ своихъ источниковъ поэтическаго характера Мицкевичъ не нашелъ героини, воодушевленной тѣми же патріотическими чув-

ствами, что и герой—мститель. И едва ли въ первоначальномъ замыслѣ поэмы былъ ея образъ. Впрочемъ, представляется совершенно неправдоподобнымъ, чтобы въ воображеніи Мицкевича уже сложились отчетливо «двѣ отдѣльныя повѣсти», которыя онъ потомъ слилъ и передѣлалъ въ одну. Ни одинъ поэтъ не могъ бы продѣлать такого эксперимента съ произведеніями, которыя приняли въ его творчествѣ законченную форму, составили, такъ сказать, уже прожитое богатство его души. Мы знаемъ, какъ трудно и Мицкевичъ возвращался къ уже написанному, какъ ему трудно было добавить нѣсколько десятковъ строкъ для окончанія «Конрада Валленрода». Несомнѣнно, что лишь въ самыхъ общихъ чертахъ рисовались поэту замыслы этихъ повѣстей. Въ одной изъ нихъ герой, проникшій въ станъ враговъ, неузнанный, переодѣтый (какъ Корсаръ въ видѣ дровиша, Гафидъ подъ плащомъ, прятанномъ его священникъ по-ясъ), здѣсь сталкивался съ женщиной, которая такъ влекла его, что онъ едва не забылъ о своей задачѣ. Такъ, ради Альдоны Валленродъ не шелъ на подвигъ мести, томимый отчасти угрызениями совѣсти, а больше всего своей любовью. Другая повѣсть могла разсказывать о вѣрной любви рыцаря къ монахинѣ, какъ въ «Рыцарѣ Тогенбургѣ», и эта повѣсть служила все еще связью съ прошлымъ, все еще имѣла автобиографическое значеніе для Мицкевича, потому что рыцарь, прежній Порай, былъ онъ, а монахиня, отвергшая его и въ слезахъ искупающая свою вину, Марыля. Таковы, какъ мнѣ кажется, основные элементы «Конрада Валленрода», которые въ своемъ соединеніи дали непримиримыя противорѣчія: рыцарь Тогенбургъ, всѣмъ жертвующій, ради своей любви, никакъ не могъ уложиться на образъ Гафида, который всѣмъ,—и въ томъ числѣ своей любовью—жертвовалъ ради священнаго долга мести для спасенія родины. Но кромѣ небольшихъ отрывковъ, едва ли было написано что-либо изъ того или другого замысла «отдѣльныхъ повѣстей», и пѣсня Хальбана, сложенная гекзаметромъ въ подражаніе гомеровскимъ разсказамъ, написана была для главы о «Ширѣ», хотя гармоническому развитію поэмы этимъ наносился ущербъ, прекрасно сознаваемый самимъ Мицкевичемъ. Но по части композиціи страстный и стремительный гениі Мицкевича былъ перѣдко слабъ. Недостатки композиціи значительны въ «Дѣдахъ», которые вышли въ такомъ необычномъ видѣ: вторая

и четвертая часть. Только «Панъ Тадеушъ» представляетъ, дѣйствительно, единое и законченное цѣлое.

Обратимся къ другимъ литературнымъ источникамъ «Конрада Валленрода». Кромѣ англійскихъ поэтовъ Байрона и Мура, въ поэмѣ Мицкевича отразились вліянія по преимуществу нѣмецкихъ поэтовъ. Шиллеръ далъ нѣсколько мотивовъ. Неузнанный нѣмецъ, напоминающій властелину на пирѣ объ его прошломъ («Графъ Габсбургскій»); рыцарь, томящійся подъ окномъ возлюбленной и даже передъ смертью бросающій на нее послѣдній взглядъ («Рыцарь Тогенбургъ»); герой, удерживающій своимъ взглядомъ льва на аренѣ («Перчатка»): всѣ они восходятъ къ эпохѣ увлеченія Шиллеромъ. Рядомъ съ этимъ послѣднимъ стоитъ другой нѣмецкій балладистъ, Уландъ: отъ него Мицкевичъ взялъ мотивъ убійства рыцаря оруженосцемъ («Мечь»), имя мавританскаго короля Альманзора («Almanzor, der Mohrenkönig...») и т. д. Наконецъ, самый сюжетъ баллады «Альпухара», какъ указалъ Р. Вернеръ, взятъ изъ одного разсказа Клейста, гдѣ, впрочемъ, мстительницей является молодая негритянка, заражающая желтой лихорадкой своего жестокаго господина. Разсказъ Клейста Мицкевичъ могъ знать въ двухъ изданіяхъ: въ 1810 году вышли его «Erzählungen», въ 1826 году Тикъ издалъ собраніе сочиненій Клейста. Если Мицкевичъ пользовался этимъ послѣднимъ изданіемъ, то мотивъ «Альпухаръ» возникъ уже въ Москвѣ, и это представляется вѣроятнымъ потому, что никакихъ слѣдовъ вліянія Клейста въ предшествующемъ творествѣ поэта не отмѣчено. Но романтическая часть «Валленрода» восходитъ къ тому времени, когда Мицкевичъ увлекался нѣмецкой поэзіей, то-есть ко временамъ Ковна и Вильна. Въ эту пору уже слагались первые замыслы поэмы. Къ тому же выводу приводитъ изученіе исторической подкладки «Конрада Валленрода». Этому вопросу посвященъ цѣлый рядъ изслѣдованій (А. Прохаски, Неринга, Брухнальскаго, Гжегожевича и друг.). Самъ Мицкевичъ, какъ и Муръ въ примѣчаніяхъ къ «Лалла Рукъ», старался дать ученый аппаратъ, подкрѣпляющій его характеристики. При этомъ онъ ссылается и на главные источники. Это, во-первыхъ, «хроники того времени», во-вторыхъ, народная поэзія, откуда заимствованъ мотивъ «дѣвы мора» (morgowa dziewica), наконецъ сочиненіе Коцебу «Preussens Geschichte. Belege und Erläuterungen». Однако главнаго своего пособія поэтъ здѣсь не называетъ. Онъ

ссылается на него, какъ на «очень цѣнную книгу» въ 19 примѣчаніи къ «Гражинкѣ». Это примѣчаніе имѣетъ ближайшее отношеніе къ «Конраду Валленроду». Бекеръ, авторъ книги «*Versuch einer Geschichte der Hochmeister. Berlin. 1798*», говоритъ Мицкевичъ, «цитируетъ старинную хронику Винцентія Майнуцкаго, который былъ придворнымъ капланомъ великаго магистра Дузенера фонъ-Арфберга и писалъ исторію своего времени (съ 1346 года). Между прочимъ, мы читаемъ здѣсь, что во время большого пира по случаю избранія магистра Винриха фонъ-Кинпроденъ, пѣлъ нѣмецкій миннезингеръ, награжденный аплодисментами и золотымъ бокаломъ. Такой лестный приемъ внушилъ присутствующему пруссаку, по имени Рикселюсу, мысль попросить разрѣшеніе снѣтъ на своемъ родномъ литовскомъ языкѣ. Онъ воспѣлъ подвиги перваго литовскаго короля Вайдевута, но магистръ и рыцари, не понимая и не любя литовскаго языка, высмѣяли поэта и дали ему въ награду тарелку пустыхъ орѣховъ». Этотъ мотивъ цѣлкомъ вошелъ въ «Конрада Валленрода», но совершенно измѣнилъ свой внутренній смыслъ: намѣренно на непонятномъ языкѣ поетъ вайделоть. И пѣсня его производитъ иное дѣйствіе на магистра, который, правда, награждаетъ нѣмецкаго миннезингера, но дѣлаетъ это съ пренебреженіемъ, враждебно. Вотъ одинъ изъ встрѣчныхъ пунктовъ двухъ поэмъ Мицкевича изъ литовской исторіи, говорящихъ объ одномъ и томъ же времени, эпохѣ князя Витольда.

Съ историческимъ Конрадомъ Валленродомъ мицкевичевскій герой имѣетъ мало общаго, развѣ только коварство и жестокость. «Историческій Валленродъ, говоритъ Прохаска, это крестоносець-нѣмецъ въ полномъ значеніи этого слова. Это настоящій продуктъ традиціи и хитрой политики своего ордена, порожденіе духа времени, поистинѣ достойный представитель падающихъ учрежденій крестоносцевъ. Онъ вовсе не преступникъ, выступающій противъ Бога; въ немъ нѣтъ и демоничности, которой окружили его, какъ черной тучей, позднѣйшія хроники». Точно такъ же не соответствуетъ дѣйствительности и поведеніе Витольда въ поэмѣ, которое рисуется «щезяно, а отчасти и противорѣчиво». Эти выводы польскаго историка легли въ основаніе дальнѣйшихъ поисковъ. Ни одинъ изъ магистровъ ордена не представлялъ точнаго подобія поэтическому Конраду Валленроду. Это образъ скомбинированный. В. Брухнальскій указываетъ на нѣсколько со-

ответствующих мѣсть у Бекера. Такъ, въ 1361 году магистръ Виррихъ фонъ-Книпроде взялъ въ плѣнъ литовскаго князя Кейстута. «Кейстутъ долженъ былъ сдаться и былъ отведенъ подъ стражей въ Мариенбургъ. Здѣсь онъ просидѣлъ шесть недѣль. Случилось такъ, что прислуживалъ ему молодой литовець, по имени Альфъ, принявшій крещеніе. Кейстутъ старался привлечь его на свою сторону обѣщаніемъ почетнаго будущаго, если онъ поможетъ ему бѣжать. Были выбраны день, часъ и лозунгъ. Кейстутъ спустился по веревкѣ въ темную ночь. Внизу ожидалъ Альфъ. Онъ повелъ князя черезъ ровъ, и они счастливо ускользнули подъ видомъ орденскихъ рыцарей. Альфъ, который зналъ дороги, ѣхалъ впереди, Кейстутъ за нимъ. Они скакали безъ отдыха, пока не добрались до страны герцога Яна Мазовецкаго, который дружелюбно принялъ бѣглецовъ и препроводилъ ихъ въ Литву». Коцебу приводитъ еще нѣкоторыя подробности, которыми воспользовался Мицкевичъ. По его словамъ, Альфъ пользовался особымъ довѣріемъ Вирриха, такъ какъ долго прислуживалъ ему въ его покояхъ. Кейстутъ же привлечь на свою сторону молодого литовца обѣщаніемъ обращаться съ нимъ, какъ съ роднымъ сыномъ. Такимъ образомъ имя для молодого рыцаря, литовца родомъ, воспитанника нѣмцевъ и будущаго мстителя имъ, было найдено. Но Альфъ, какъ мы знаемъ, носилъ и другое имя: Вальтеръ. Это имя онъ получилъ оттого, что принялъ на себя черты еще другого рыцаря, Вальтера фонъ-Стадіона. Примѣчаніе о немъ, помѣщенное въ приложеніи къ «Валленроду», было неточно и мало обстоятельно, написано, по справедливому предположенію В. Брухальскаго, или по памяти, или по неточной замѣткѣ. «Вальтеръ фонъ-Стадіонъ, говоритъ поэтъ: нѣмецкій рыцарь, взятый въ пеловолю литовцами, женился на дочери Кейстута и съ нею тайно уѣхалъ изъ Литвы»... Между тѣмъ Бекеръ рассказываетъ о Вальтерѣ слѣдующее: «Въ концѣ 1359 года три тысячи крестоносцевъ возвращались домой, многіе съ литовскими дѣвушками. Вальтеръ Стадіонъ увозилъ 19-лѣтнюю дочь Кейстута, но онъ не взялъ ея въ жены. За безжалостными стѣнами, въ монастырѣ св. Агнесы, бѣдная дѣвушка должна была провести въ Майнцѣ свою печальную жизнь и, не вѣдая любви, искупить принятіе христіанства въ то время, какъ самые знатные литовцы добивались ея руки и на родинѣ ее ожидала богатая счастливая жизнь». То же самое рассказы-

ваетъ Коцебу. Описывая героизмъ Валленрода, Мицкевичъ опять-таки прибѣгалъ къ содѣйствию Бекера, который восхваляетъ воинственный героизмъ Винриха. У того же историка онъ нашель подробности выбора новаго магистра. Послѣ отказа Арфберга отъ должности въ 1351 году предстояло сдѣлать выборъ между двумя кандидатами на санъ магистра, Винрихомъ фонъ-Книпроде и Людеромъ. «Но выборъ былъ разрѣшенъ, благодаря чуду, повѣствуетъ Бекеръ. Подъ погребальнымъ сводомъ въ церкви Мариенбурга послышался голосъ: Winrice, Winrice, ordo facillat (Винрихъ, Винрихъ, орденъ въ бѣдѣ!). Что другое оно могло означать, какъ не то, что безъ помощи Винриха орденъ окажется въ бѣдѣ. Къ счастью, такое толкованіе и было принято на собраніи капитула, и Винрихъ рѣшительнымъ большинствомъ голосовъ былъ облеченъ въ достоинство магистра». Близко придержививался Бекера Мицкевичъ и въ своемъ разсказѣ о страшныхъ пораженіяхъ, которыя крестоносцы наносили литовцамъ. Въ 1362 году было взято Ковно, затѣмъ въ промежутокъ между 1362 и 1370 годами происходили лишь отдѣльныя стычки, и наконецъ въ 1370 году послѣдовало новое ужасное пораженіе литовцевъ «на поляхъ Рудавы». Обо всемъ этомъ поетъ вайделоть, точно придержививаясь повѣствованія Бекера и иногда пользуясь Коцебу.

Откуда же почерпнуто центральное событіе, измѣна Валленрода? Историческая личность гроемейстера Конрада Валленрода окружена такими разпорѣчивыми сужденіями, проклятіями и восторженными похвалами, что Коцебу не рѣшается дать «правильную характеристику» его. Однако при всѣхъ несчастіяхъ, которыя онъ навлекъ на орденъ, никакихъ слѣдовъ измѣны не было въ источникахъ, доступныхъ Мицкевичу, и поэтъ въ послѣднемъ примѣчаніи оправдывается въ «домыслахъ», допущенныхъ имъ въ исторіи Валленрода, «сходствомъ съ правдой». Эта «правда», заключается въ слѣдующемъ: Коцебу передаетъ молву, будто бы Конрадъ не происходилъ изъ рода Валленродовъ, а былъ какимъ-то «поповскимъ сыномъ», ein Praffenkind (а, стало быть, не литовець); выбранный магистромъ, онъ оттягивалъ войну, чѣмъ-то обидѣлъ своего союзника Витольда, такъ что тотъ ему измѣнилъ, и, наконецъ, осадивъ Вильно, потерялъ около его стѣнъ напрасно много времени, потомъ покинулъ осаду и осенью отступилъ. «Всѣ эти противорѣчія въ характерѣ и поведеніи нашего героя

можно объяснить, допустивъ, что онъ былъ литовцемъ и что онъ вступилъ въ орденъ съ цѣлью отомстить ему». Подобные случаи отмѣчены въ хроникѣ Стрыйковскаго и въ исторіи прусскаго народа. Но Валленродъ умеръ своей смертью и, хотя согласно враждебной ему хроникѣ, «въ бѣшенствѣ» (in Raserei), однако никто его не подозрѣвалъ въ измѣнѣ, и никакого суда надъ нимъ не было. Здѣсь Мицкевичъ пригибаетъ для своей цѣли исторію, какъ дѣлаетъ это и въ другомъ примѣчаніи, утверждая, что Вальтеръ Стадіонъ обвинчался (zaślubił) съ дочерью Кейстута, чего на самомъ дѣлѣ не было. Утверженіе Прохаски, что домыселъ Мицкевича о литовскомъ происхожденіи Валленрода, можетъ быть, даетъ самое лучшее объясненіе его странному поведенію, — это утверженіе, подхваченное и другими критиками, основано исключительно на піэтизмѣ историка передъ великимъ народнымъ поэтомъ. Самъ Мицкевичъ чувствовалъ всю слабость сочетанія въ одномъ лицѣ историческихъ лицъ, Альфа, Вальтера Стадіона и Конрада Валленрода, и ему пришлось «сократить лѣтъ на десять слишкомъ время, прошедшее между отъѣздомъ Вальтера изъ Литвы и появленіемъ Конрада въ Мариенбургѣ». Дѣйствительно, хронологія никакъ не укладывается въ рамки поэмы. Остроумный анализъ этого вопроса представилъ В. Гжегожевичъ. Онъ показалъ, какими средствами Мицкевичъ добился того, что его герой умеръ не на пятомъ десяткѣ лѣтъ, а человѣкомъ лѣтъ тридцати съ небольшимъ. Историческій Альфъ вернулся на родину въ 1361 году, историческій Конрадъ Валленродъ умеръ въ 1394 году. Едва ли Альфу могло быть менѣе 16 лѣтъ, когда онъ принялъ участіе въ первой битвѣ, а стало быть въ 1394 году ему было уже подъ 50 лѣтъ. Оставалось назначить смерть Валленрода на болѣе раннее время: Альфъ бѣжалъ послѣ битвы подъ Рудавой, гибельной для литовцевъ (1370); на судъ его обвинитель отмѣтилъ, что онъ появился среди рыцарей 12 лѣтъ тому назадъ, а значить Конрадъ Валленродъ былъ убитъ въ 1382 году. Историческая основа поэмы приспособлена къ этому году: о событіяхъ 1386 года не упоминается, литовцы еще язычники, Витольду орденъ еще довѣряетъ, и онъ въ первый разъ обращается къ помощи нѣмцевъ, еще не измѣнялъ имъ ни разу.

Въ виду этого комбинированія источниковъ и событій, которое указываетъ на продолжительную разработку сюжета и на ту свободу отъ своихъ непосредственныхъ источниковъ, какая

дается отдаленностью отъ ихъ вліянія, столь сильнаго непосредственно послѣ ихъ изученія, позволительно, мнѣ кажется, заключить, что въ рукахъ Мицкевича, когда онъ принялся за писаніе «Конрада Валленрода», не было ни хроникъ, ни литературныхъ источниковъ, въ родѣ Мура, Байрона, Шиллера. Имѣлись выписки, восходящія еще ко временамъ занятій въ Щорсовской бібліотекѣ; были общіе замыслы, навѣянные байроническими увлеченіями и патріотическимъ воодушевленіемъ; это воодушевленіе питало гордое самосознаніе поэта, какъ вѣщателя выснихъ правдъ своему народу, и онъ вложилъ въ пѣсни Хальбана свой призывъ къ свободѣ и чести. Но пѣтъ никакихъ слѣдовъ того, чтобы уже въ Вильнѣ, Ковнѣ, даже Одесѣ были написаны какіе-либо отрывки изъ «Конрада Валленрода». По моему мнѣнію, онъ цѣликомъ восходитъ къ Москвѣ, и «двѣ отдѣльныя повѣсти» о двухъ герояхъ и двухъ любимыхъ женщинахъ такъ и не вышли изъ стадій общихъ неясныхъ предположеній. Исторія мщенія была написана не ранѣе того времени, когда Мицкевичъ сошелся съ русскимъ обществомъ, съ тѣми «иѣмцами», къ которымъ привыкъ и Валленродъ. Когда же Валленроду пришлось сдѣлаться измѣнникомъ, Мицкевичу стало тяжело. Спасовичъ находилъ у Конрада «разладъ между намѣреніемъ и совѣстью». Я думаю, что эти слова надо отнести не столько къ Валленроду, который боится, правда, «адскихъ мукъ», но еще болѣе терзается необходимостью разлуки съ Альдоной, сколько къ самому поэту. Переживая вмѣстѣ со своимъ героемъ его болѣзненное чувство одиночества среди чужихъ, страстную ненависть къ притѣснителямъ, Мицкевичъ былъ окруженъ, однако, людьми изъ стана «притѣснителей», ни въ чемъ неповинными передъ его родиной, и онъ чувствовалъ, что было безнравственно губить тысячи людей лишь потому, что они должны идти за вождами гнета. Періодъ метительныхъ чувствъ завершался въ душѣ Мицкевича разъ навсегда; позже еще болѣе рѣзко, какъ сатанинскую гордость, онъ осудилъ жажду мести и сталъ проповѣдовать смиреніе передъ карающей десницей Бога, искупленіе грѣховъ міра въ страданіи народовъ. Байронъ, по его убѣжденію, не раздавилъ зла, борясь съ нимъ, но только раздражилъ его, и это осужденіе байронической этики находится въ тѣсной связи съ душевными переживаниями поэта, когда вмѣсто героя мстителя, байроновскаго Корсара, муровскаго Гафида, онъ дѣлаетъ мстителя поповоль, слабодушнаго, подогрѣвающаго себя вл-

помъ, трагическаго въ своемъ раздвоеніи, но непривлекательнаго и жалкаго. Только страшное соотвѣтствіе идеи заговора тогдашнему настроенію польскаго общества, только могущество призывовъ Хальбана къ мести, въ которыхъ видѣли призывы самого Мицкевича, придали «Конраду Валленроду» то политическое значеніе, которое онъ имѣлъ и которое правильно было замѣчено проникательнымъ взглядомъ Новосильцова. Поэма, несомнѣнно, имѣла симптоматическое значеніе.

Съ художественной точки зрѣнія поэма не лишена большихъ недостатковъ. Видно, что Мицкевичъ, какъ онъ самъ заявляетъ, лѣнился заняться отдѣлкой ея. Противорѣчія зачастую бросаются въ глаза (они указаны Нерингомъ во вступленіи къ поэмѣ, въ III томѣ львовскаго изданія, и другими); возрожденіе сантиментальнаго Густава въ Валленродѣ было подмѣчено уже Мохнацкимъ. Композиція страдаетъ неотдѣланностью.

И, тѣмъ не менѣе, «Конрадъ Валленродъ» одно изъ величайшихъ произведеній польской литературы. Уже не говоря о томъ, что каждое отдѣльное мѣсто поэмы великолѣпно, что прелесть описаній еще превышаетъ «Крымскіе сонеты», а мощность стиха захватываетъ читателя, и въ цѣломъ «Конрадъ Валленродъ» — памятникъ безмѣрной скорби. Эта скорбь льется изъ сердца, какъ родникъ чистой воды, бьющій изъ земной глубины. Скорбна фигура безумнаго Конрада, скорбны пѣсни Хальбана, плачемъ проникнуты жалобы Альдоны. И эта скорбь понятна читателю, она передается ему съ непостижимой силой. *Надъ Польшею* будетъ скорбѣть, плѣненный поэтомъ, и такой читатель, которому чужда Польша и безразлична ея судьба. Этой скорби накопилося такъ много въ душѣ Мицкевича, что за великую печаль Конрада Валленрода о гибели его Литвы прощаешь ему и странную любовь къ Альдонѣ, и слабость его нерѣшительности. Ни одинъ изъ иностранныхъ современниковъ Мицкевича не испытывалъ такой реальной душевной боли: муки самоуслажденія презрѣніемъ къ людямъ, къ міру испытываютъ герои Байрона; задумчивая «сладкая» печаль томить рыцарей Тогенбурговъ; изящная культурная муза Томаса Мура свободна отъ этихъ воплей, вдругъ вырывающихся среди спокойнаго разсказа, отъ однообразныхъ, томящихъ, безысходныхъ, безнадежныхъ жалобъ, которыя цѣлыми страницами тянутся въ «Конрадѣ Валленродѣ». Скорбь народа нашла здѣсь такое выраженіе, какого у нея еще не было; скорбь народа осталась и нынѣ

все той же. Вотъ почему польская критика, разбирая достоинства и недостатки «Валленрода», какъ поэтическаго произведенія, приходитъ къ единодушному выводу, который, собственно, и не вяжется съ этой критикой, что «Конрадъ Валленродъ» стоитъ на вершинѣ самой возвышенной поэзіи. Такъ судятъ историки польской литературы самыхъ различныхъ направленій, Тарновскій и Брокнеръ, и это свидѣтельствуетъ объ единствѣ чувства всѣхъ сыновъ польскаго народа, когда затронута самая глубокая и скрытая струна ихъ тоски по родинѣ. «Все, что въ немъ есть лучшаго, *mutato nomine* говорить прямо нашему сердцу»: такъ выразился въ 1828 году одинъ изъ среднихъ читателей Мицкевича въ письмѣ къ Деловелю (Wl. Mickiewicz. Żywot—I. 350).

ГЛАВА XVII.

Мицкевичъ въ Петербургѣ.

(декабрь—февраль 1828 г., апрѣль 1828 — май 1829 г.)

Еще въ ноябрѣ 1827 года Мицкевичъ поѣхалъ въ свитѣ князя Голицына въ Петербургъ. Передъ тѣмъ въ Москвѣ онъ познакомился съ Маріей Шимановской, знаменитой пианисткой, которая пріѣхала въ Москву дать нѣсколько концертовъ. Это была молодая женщина, мать трехъ дѣвочекъ, изъ которыхъ одна стала впоследствии женой поэта. Дружескими письмами Марія Шимановская сопровождала друзей, Мицкевича и Малевскаго, въ столицу, гдѣ у нея было много знакомыхъ. Слава Мицкевича уже гремѣла. Это не былъ уже бѣдный высланный учитель, какъ во время перваго пребыванія въ С.-Петербургѣ. Это былъ знаменитый поэтъ, авторъ сонетовъ, импровизаторъ, авторъ поэмы, которая еще не была напечатана, но о которой уже ходили восторженные отзывы. Къ этому времени относится уже приведенный выше отзывъ Малиновскаго о благопріятной перемиѣ въ наружности поэта, объ его авторитетности. Одинъ изъ знакомыхъ устроилъ у себя вечеръ, на который приглашалъ «на Мицкевича» всѣхъ представителей лучшаго польскаго общества, какіе тогда жили «на брегахъ Невы». И тотъ фактъ, что на вечеръ съѣхались самые видные люди изъ польской колоніи въ Петербургѣ, ука-

зываетъ на большую извѣстность Мицкевича. Прїѣхалъ даже такой важный человѣкъ, какъ графъ Ходкевичъ, горячій приверженецъ стараго классицизма въ литературѣ. Мицкевичъ декламировалъ «Конрада Валленрода» и увлекъ присутствующихъ. Посыпались приглашенія на вечера. Поэтъ часто импровизировалъ, однажды по просьбѣ мистика Олешкевича, на тему о созданіи Богомъ міра. Новое было особенно сродни таланту Мицкевича, и такая тема должна была удался; Малиновскій восхваляетъ эту импровизацію въ восторженныхъ выраженіяхъ. 24 декабря Мицкевичъ выступилъ уже настоящимъ вождемъ своего народа. Бывшіе въ Петербургѣ поляки, въ числѣ которыхъ оказались и высшіе сановники Царства Польскаго, и польская аристократія, устроили въ складчину ужинъ. Среди приглашенныхъ находились знаменитый польскій художникъ Орловскій, мистикъ-художникъ Олешкевичъ, Мицкевичъ и др. Настроение было повышенное и торжественное. Малиновскій замѣтилъ на лицѣ поэта «пробуждающее вдохновеніе» и совѣтовалъ попросить его импровизировать. Мицкевичъ сталъ пѣть подъ аккомпанементъ рояля «великолѣпную похвалу Литвѣ, ея древней славѣ, добытой оружіемъ, ея жизни традиціонной, поэтической, но возвышенной, ея соединенію съ соседнимъ народомъ, благороднымъ и просвѣщеннымъ, ея успѣхамъ въ религіи, смягченію обычаевъ, приобрѣтенію свободъ, — и обо всемъ этомъ онъ говорилъ въ возвышенныхъ, истинно поэтическихъ выраженіяхъ». Потомъ поэтъ перешелъ къ царствованію Сигизмунда III и воспѣлъ похвалу Литовскому статуту, благодѣянія котораго Литва сохранила и послѣ паденія Рѣчи Посполитой. Потомъ, немного отдохнувъ, поэтъ заявилъ, что будетъ импровизировать трагедію и просилъ дать ему тему изъ польской исторіи. Малиновскій назвалъ исторію Самуила Зборовскаго.

Ни одной исторической трагедіи Мицкевичъ послѣ себя не оставилъ. Въ этомъ отношеніи Словацкій оказался счастливѣе его. Но стремленіе къ такой трагедіи у него было постоянно: «Демосенъ», «Самуилъ Зборовскій», «Барекіе конфедераты» — вотъ заглавія задуманныхъ, частью и написанныхъ, но не законченныхъ или не появившихся на польскомъ языкѣ трагедій Мицкевича. Можетъ быть слишкомъ много лиризма было въ талантѣ автора «Дѣдовъ» и «Конрада Валленрода», чтобы онъ могъ переволотить себя въ героевъ далекаго прошлаго. Въ томъ изло-

женіи «Самуила Зборовскаго», которое дасть на основаніи нѣсколькихъ современныхъ сообщеній П. Хмѣлевскій (Adam Mickiewicz I. 361—363), поэтъ импровизировалъ нѣсколько сценъ, въ которыхъ обнаруживалось сильное вліяніе Шекспира. Самуиль Зборовскій, виновникъ возстанія, находится въ тюрьмѣ вмѣстѣ со своимъ вѣрнымъ слугою Вацлавомъ изъ Рогозина, который, проникнувъ къ заключенному, уговариваетъ его бѣжать. Духъ смѣлаго мятежника былъ такъ выдержанъ въ импровизаціи Мицкевича, что «всѣмъ казалось, будто они слышатъ и видятъ самого Зборовскаго». Въ другой сценѣ шель діалогъ между женой Замойскаго, Гризельдой, и Зборовскимъ. Эта сцена указывала на то, что замыселъ трагедіи давно уже лежалъ на душѣ Мицкевича, потому что она развертываетъ широкія перспективы коллизіи личныхъ чувствъ, которая въ скелетѣ исторической повѣсти о Зборовскомъ отсутствуетъ. Когда-то въ дни юности Гризельда любила Зборовскаго, но разлука, репутація авантюриста, какую пріобрѣлъ этотъ послѣдній, время погасили искру любви въ ея сердцѣ, и она испытала величайшее счастье, «какого только можетъ желать женщина: стала женой великаго человѣка». Вѣрная, однако, своему обѣщанію, данному ею когда-то Зборовскому, что она, не заботясь о себѣ, поможетъ ему въ минуту опасности для жизни, Гризельда проникаетъ въ темницу и тоже уговариваетъ его бѣжать. Она не любить Зборовскаго и на его горячія ревнивыя рѣчи отвѣчаетъ напоминаніемъ о своемъ обѣщаніи, и тогда Зборовскій въ безумномъ порывѣ гнѣва, который давалъ такой просторъ для пламенныхъ изліяній Мицкевича, отказывается отъ помощи Гризельды. Оскорбленная грубой выходкой, она удаляется. Эти сцены занимали почти двѣ тысячи стиховъ, и поэтъ въ изнеможеніи опустился на кресло, окруженный восхищенными слушателями. Скоро вѣсти объ этой импровизаціи дошли до Варшавы, и въ нѣсколькихъ газетахъ появилось восторженное описаніе вѣчера въ домѣ Рогольскаго. «Казалось, что въ душѣ его вѣщаетъ какое-то божество, говорилось здѣсь о трагедіи Мицкевича. Съ несравненной страстью (*gwałtowność*) онъ декламировалъ сцены, которыя по силѣ и прелести стиха не уступаютъ лучшимъ сценамъ Шекспира. Онъ произнесъ подъ рядъ нѣсколько сотъ стиховъ. Онъ уже приближался къ концу этого высокогениальнаго произведенія, но въ рѣчи Замойскаго Самуилу силы его оставили, и онъ почти безъ чувствъ упалъ въ кресло. Слезы

умиленія, крики восторга послышались въ ту же минуту. А другіе стояли, какъ окаменѣлые, устремивъ глаза на предметъ ихъ восхищенія». Въ такой формѣ Малиновскій рассказываетъ объ этомъ событіи въ варшавскихъ газетахъ. Разумѣется, вѣсть о большомъ польскомъ собраніи, на которомъ воздавались почести неблагонадежному поэту-филарету и романтику, не могла укрыться отъ вниманія тѣхъ, кто слѣдилъ за общественными теченіями въ Польшѣ и ненавидѣлъ романтизмъ. Отъ Новосильцова полетѣлъ доносъ намѣстнику Царства Польскаго. Зашипѣли классики, видя въ торжествѣ Мицкевича новое пораженіе для себя. На обѣдѣ у генерала Красинскаго, собиравшаго эпигоновъ ложноклассицизма, Лелевель прочиталъ письмо изъ Петербурга съ извѣстіемъ объ импровизаціи и о томъ, что дѣлають бюстъ Мицкевича изъ мрамора. Одынецъ, присутствовавшій на обѣдѣ, началъ восхвалять своего друга; старцы Кастанъ, Козьянъ и Моравскій не выдержали и забрюзжали. И долго еще брюзжали въ пьсьмахъ: «навѣрное, думали они, Мицкевичъ упалъ безъ чувствъ какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ кончалась рукопись. Фокусничество все это!» Вѣдь по собственному опыту они знали, какъ трудно сочинять стихи. Нѣсколько дней спустя Мицкевичъ опять импровизовалъ въ домѣ Оаддея Булгарина на тему о путешествіи Пэрри (Parry) на сѣверный полюсъ, заданную ему со злокозненной цѣлью Сенковскимъ. Возможно, какъ предполагаетъ Хмѣлевскій, что къ этой темѣ поэтъ былъ подготовленъ своей юношеской поэмой о путешествіи Хр. Колумба («Картофель»). По крайней мѣрѣ, сцена бунта на кораблѣ могла быть реминисценціей изъ тогдашней поэмы.

Окруженный всеобщимъ вниманіемъ, Мицкевичъ провелъ въ Петербургѣ нѣсколько мѣсяцевъ. «Импровизаціи и пѣсни напомнили мнѣ годы моей юности, писалъ онъ 3 апр. 1828 г. Начались ежедневныя приглашенія въ разныя мѣста, и время прошло очень пріятно. Познакомился въ столицѣ съ русскими литераторами: Жуковскимъ, Козловымъ и пр., и нѣкоторые изъ нихъ дали доказательства своего искренняго ко мнѣ расположенія». 21 февраля 1828 года, когда Мицкевичъ уже вернулся въ Москву, вышелъ «Конрадъ Валленродъ». Памятникомъ этого второго пребыванія его въ Петербургѣ былъ портретъ Вальковича, о «поразительномъ сходствѣ» котораго сообщаетъ Малиновскій (въ письмѣ 27 декабря 1827 г.). Тенерь Мицкевича тянуло

обратно въ Петербургъ, откуда легче было выбраться за границу. Снова онъ беретъ отпускъ въ канцеляріи кн. Голицына и въ апрѣлѣ 1828 года покидаетъ «не безъ грусти» Москву, гдѣ жилъ «спокойно, не зная ни большихъ радостей, ни печалей». Этотъ отъѣздъ какъ-то не гармонируетъ съ отношеніями поэта къ Каролинѣ Елишъ, съ которой его все-таки связывало доброе чувство, можетъ быть, слишкомъ спокойное, слишкомъ далекое отъ одесскихъ переживаній. Да и изъ Петербурга его гнало извѣстіе объ опасной болѣзни неизвѣстной намъ «подруги», которую онъ уже не засталъ въ живыхъ. Ея смерть причинила ему также «большое огорченіе». Тѣмъ не менѣе, годы въ Москвѣ принадлежатъ, дѣйствительно, къ числу самыхъ безмятежныхъ лѣтъ въ жизни Мицкевича: здѣсь ему было тепло и уютно.

Въ Краковѣ и Львовѣ безъ разрѣшенія Мицкевича, подрывая его денежные расчеты, выходили перепечатки его произведеній; въ Парижѣ подготавливалъ на средства гр. Островской изданіе его сочиненій Леонардъ Ходько; въ Познани учитель гимназіи Мучковскій. Кое-какія деньги отъ изданій доходили до Мицкевича. Парижское и познанское дали ему даже довольно много¹⁾, такъ что мысль о заграничномъ путешествіи могла казаться осуществимой. Однако, первые мѣсяцы этого третьяго пребыванія въ Петербургѣ были скучны. Планы поѣздки въ Одессу, на Кавказъ, въ Оренбургъ не удавались; неизвѣстность относительно будущаго тяготила поэта, хотя дружескія отношенія съ русскими писателями и съ польскою колоніей продолжались. Особенно тѣсно Мицкевичъ сошелся съ семействомъ Шимановскихъ, гдѣ былъ со-всѣмъ своимъ человѣкомъ. Въ маѣ онъ поселился вмѣстѣ съ Малевскимъ на отдѣльной квартирѣ (на Большой Мѣщанской, № 21), держалъ собственный столъ и даже могъ приглашать къ себѣ на обѣды знакомыхъ, Шимановскихъ, Вяземскаго, Олешкевича и др. И здѣсь Мицкевичъ импровизировалъ. Но вообще творчество его дремало. Онъ мало писалъ. Въ двухтомномъ изданіи сочиненій, вышедшемъ въ Петербургѣ въ 1829 году, — было нѣсколько стихотвореній, еще неизвѣстныхъ публикѣ. Здѣсь было много переводовъ: отрывокъ «Уголино» изъ Данта и «Ромео и Джульетты» Шекспира, 65 строкъ изъ Петрарки, гётевской «Wandere», байроновская

¹⁾ Точныя и подробныя данныя, на которыхъ здѣсь не стоитъ останавливаться, приведены въ сочиненіи Владислава Мицкевича „Żywot“ I. 323—331.

«Darkness», муровская «The meeting of the waters», «сербская» пѣсня «Морякъ въ Венеціи» изъ «La Guzla» Мериме, откуда и Пушкинѣ заимствовалъ пѣсни западныхъ славянъ, арабская пѣсня изъ хрестоматіи Саси, «Воспоминаніе» Пушкина, написанное 19 мая 1828 г. Почти всѣ эти переводы восходятъ или къ московскому періоду въ жизни Мицкевича, или къ еще болѣе раннему, одесскому. Оригинальныхъ произведеній мало, такъ мало, словно творчество поэта, создавъ «Конрада Валленрода», отдыхало. Замыслы трагедіи, «Самуилъ Зборовскій», «Варвара Радзивиллъ», о которой есть неясныя неопредѣленныя сообщенія, такъ и остались замыслами. Цензоръ Анастасевичъ подписалъ разрѣшеніе на изданіе 28 апрѣля 1828 года, т.-е. всего черезъ недѣлю послѣ пріѣзда Мицкевича въ Петербургъ, но кое-что вошло въ изданіе и позже: напр., знаменитое предисловіе, написанное въ послѣдніе мѣсяцы 1828 года, переводъ пушкинскаго стихотворенія, можетъ быть «Фарисъ». Во всякомъ случаѣ оригинальнаго въ петербургскомъ изданіи было мало, и оно восходило по своему происхожденію ко временамъ до конца 1828 г. Такимъ образомъ именно здѣсь и слѣдуетъ остановиться на этихъ оригинальныхъ произведеніяхъ Мицкевича. Это двѣ баллады: «Szaty» (написано до 11 февр. 1828 г.), «Три Будрыса» (въ то же самое время, нѣсколько посвященій (кн. Д. Голицыну), Целинѣ Шимановской, Н. С., Маріи Шимановской), «Фарисъ» и двѣ басни («Заяць и лягушка» и «Друзья»); послѣднія напечатаны однако гораздо позже.

Самымъ значительнымъ изъ этихъ произведеній, позволяющимъ глубже другихъ заглянуть въ душу Мицкевича, является «Фарисъ», подражаніе арабской поэзіи. Оно было напечатано впервые въ альманахѣ Одынца «Melitela», появившемся въ январѣ 1829 года, а затѣмъ нашло мѣсто въ собраніи сочиненій, вышедшемъ нѣсколько позже. Мицкевичъ ставилъ эту балладу выше многихъ своихъ произведеній, и когда въ 1830 году писалъ Ходкѣ о томъ, чтобы онъ выбралъ изъ своихъ сочиненій для перевода, онъ указывалъ лишь на «Фариса», отрывки изъ «Валленрода», «Крымскіе сонеты», пару другихъ сонетовъ, двѣ или три баллады и «Дѣды». Мотивъ «Фариса» встрѣчается уже раньше въ поэзіи Мицкевича, въ сонетѣ «Байдарская долина», гдѣ съ такимъ восхищеніемъ поэтъ вспоминаетъ о безумной скачкѣ. Еще въ Одессѣ Мицкевичъ имѣлъ случай узнать о реальномъ случаѣ, который отвѣ-

чалъ его настроенію. Извѣстный польскій путешественникъ по пустынямъ Азіи, графъ Вацлавъ Ржевускій, промчался 600 верстъ въ нѣсколько дней, не обращая вниманія на время дня и погоду въ сопровожденіи всего одного мамелюка. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ имя Ржевускаго было очень популярно среди европейскихъ ориенталистовъ, какъ имя усерднаго собирателя восточныхъ рукописей, издателя «Fundgruben des Orients» (Mines de l'Orient) и отважнаго изслѣдователя малоазіатской старины. Въ кругу, гдѣ Мицкевичъ вращался въ Одессѣ, Ржевускій имѣлъ близкихъ родственниковъ и друзей. Естественно, что объ его подвигахъ поэтъ зналъ, когда рассказывалъ о впечатлѣніяхъ дикой скачки по горамъ и долинамъ. Определить точно время, когда былъ написанъ «Фарисъ», едва ли возможно, потому что, несмотря на тщательное изслѣдованіе Р. Пилата, источники, откуда почерпнуть образъ бедуина-наѣздника, остаются неизвѣстны: вѣрнѣе, нельзя установить, пользовался ли Мицкевичъ только хрестоматіями Саси и Гаммера или и книгой Де Лагранжа «Anthologie arabe» (1828), изъ которой переведено одно стихотвореніе, помѣщенное въ «Медителѣ» за 1830 годъ. Несомнѣнно, что еще со временъ Одессы поэтъ не оставялъ своихъ изученій Восточнаго міра, и «Фарисъ» возникъ, вѣроятно всею, въ московскіе или петербургскіе годы его жизни. Точно определить это время трудно, но не лишено значенія, что «Фарисъ» ближе къ переводу касиды «Шанфара», сдѣланному не раньше конца 1828 г. Но настроеніе «Фариса» уже иное, чѣмъ въ «Крымскихъ сонетахъ». Тамъ нѣтъ того стремленія къ цѣли, какое есть въ «Фарисѣ», въ «Байдарской долигѣ» только одно желаніе, развѣять грусть бѣшеной скачкой; здѣсь есть стремленіе достигнуть цѣли, вопреки всѣмъ препятствіямъ. «Уже плыветъ мой конь по сухому морю и разсѣкаетъ грудью дельфина сыпучія волны». Прочь съ дороги горы и лѣса. «Напрасно поджидаетъ меня со своей тѣнью и плодами зеленая пальма; я вырываюсь изъ ея объятій; и пальма со стыдомъ убѣгаетъ назадъ, скрывается въ глубинѣ оазиса и шопотомъ листьевъ насмѣхается надъ моею гордостью». Такъ и Валленрода не удержало счастье домашняго очага. Можетъ быть удержать угрозы? Послѣднія скалы, охраняющія границы пустыни, грозятъ отважному путешественнику: «О безумецъ! Куда онъ несется! Тамъ отъ острыхъ стрѣлъ солнца уже не спасутъ его головы ни зеленоволосая пальма, ни

бѣлое лого шатровъ; тамъ одинъ шатеръ — небеса. Только скалы тамъ ночуютъ, только звѣзды тамъ кочуютъ. Напрасно грозить, напрасно! Я гою и хлещу коня еще чаще; взглянулъ назадъ: гордыя скалы остались уже за мной, убѣгаютъ назадъ длинной веренищей, скрываются одна за другой». Теперь грозитъ степной коршунъ: онъ задумалъ взять бедуина живьемъ, ударилъ своими крыльями и закружился надъ головой наѣздника. «Слышу, каркаетъ онъ, трупный запахъ, о глупый наѣздникъ, о глупый конь! Наѣздникъ ищетъ дороги среди песковъ, бѣлоногій конь ищетъ травы въ пустынѣ!» И долго издѣвался коршунъ, но бедуинъ взглянулъ ему прямо въ глаза, и хищная птица испугалась его взора, высоко поднялась и исчезла въ небѣ раньше, чѣмъ наѣздникъ прицѣлился въ нее. Тогда за нимъ погналась туча, которая вырвалась изъ-подъ солнца и нависла надъ головой всадника. «О бедуинъ! Куда онъ несется! Тамъ жажда истомитъ грудь, туча не окропитъ дождемъ головы, засыпанной пылью, не отзовется серебрянымъ словомъ ручей на безлюдной равнинѣ, а роса не успеетъ упасть на землю, какъ на лету ее раскредетъ голодный вѣтеръ! Напрасно грозить! Я мчусь и хлещу еще чаще... Утомленная туча начала шататься на небѣ, она склоняла голову все ниже и наконецъ оперлась о скалы. А когда, обернувшись, я бросилъ на нее презрительный взглядъ, на цѣлое лебо я уже оставилъ ее за собой. Я видѣлъ по ея лицу, что она замышляла въ сердцѣ: она покраснѣла отъ злости, облилась желчью зависти и наконецъ почернѣла, какъ трунъ, и скрылась въ горахъ». Такъ ни нѣга зеленого оазиса, ни зловѣщія предсказанія коршуна, ни черныя тучи не могли удержать наѣздника. Страшная буря налетѣла на него, но раньше видѣнія прошлаго стремятся удержать слишкомъ смѣлаго. Караванъ, погребенный въ пескахъ пустыни, стоялъ передъ нимъ. «На скелетахъ верблюдовъ сидятъ кости всадниковъ. Черезъ ямы, гдѣ были глаза, черезъ провалившіяся щеки сыплется цѣлой струей песокъ. Зловѣще онъ шепчетъ: Безумный бедуинъ! Куда ты летишь? Тамъ ураганы. Но я мчусь, я не знаю тревоги! Несней, мой бѣлоногій летунъ. Прочь съ дороги, труны, ураганы!» Борьбой съ ураганомъ кончаются тревоги всадника. «Онъ налилъ огненнымъ дыханіемъ, онъ валитъ съ ногъ крыльями ныли, подымалъ вверхъ и билъ оземь, насыпалъ тяжелый песокъ. Но я вырываюсь, смѣло борюсь, сокрушаю клубы его членовъ, четвертую песчаное тѣло, грызу его

бѣшенными зубами. Ураганъ хотѣлъ подняться столбомъ съ моихъ плечей и унести въ небеса, но не вырвался; разорвался пополамъ и рухнулъ, и дождемъ песокъ посыпался сверху и легъ у моихъ ногъ трупомъ длиннымъ, какъ городской валъ». Пѣсню триумфа, которая своимъ тономъ удивительно напоминаетъ патетическія мѣста III части «Дѣдовъ», кончается «Фарисъ». «Я отдохнулъ. Къ звѣздамъ я бросилъ гордый взоръ; всѣ звѣзды, всѣ, какія есть, взглянули на меня золотыми глазами, потому что, кромѣ меня, никого не было на землѣ. Какъ пріятно дышать здѣсь полной грудью, и я дышу такъ полно, такъ глубоко! Весь воздухъ въ Арабистанѣ едва хватить мнѣ на то, чтобы дышать. Какъ пріятно смотрѣть здѣсь во всѣ глаза! И проник мой взоръ такъ далеко и такъ широко, что охватилъ больше міра, чѣмъ есть въ кругу горизонта. Какъ пріятно здѣсь вытянуть объятія во всю ширь! И я ласковыя объятія протянулъ міру; мнѣ кажется, что я обниму его съ востока на западъ. Стрѣлою летитъ моя мысль въ бездну лазури, все выше, выше, выше, до самой вершины небесъ. Какъ пчела, погружая свое жало, погребаетъ вмѣстѣ съ нимъ и сердце, такъ и я вслѣдъ за мыслью утопилъ въ небѣ душу». Фарисъ былъ посвященъ Ржевускому, но аллегорическій характеръ стихотворенія слишкомъ ясенъ. Это тотъ же «Конрадъ Валленродъ» по ненависти къ гнету и по стремленію, но здѣсь нѣтъ скорби. Это боевая пѣсня людей, утѣренныхъ въ побѣдѣ надъ всякимъ врагомъ, хотя бы это была стихія. Настроеніе «Фариса» отвѣчаетъ посланію къ доктору Сѣмашкѣ, «предпринимающему ученое путешествіе по Азии съ цѣлью естественно-исторической». Посланіе написано, несомнѣнно, въ январѣ 1827 года, когда Сѣмашко находился на перепутьи въ Москвѣ. Желая ему счастливой дороги, Мицкевичъ кончаетъ посланье слѣдующими строками: «Я благословляю тебя! Иди, найди свои богатства въ прошломъ, напомни матери землѣ о временахъ ея дѣвничества. А меня, поэта, охватило уже новое стремленіе: я началъ бесѣду съ небомъ о будущемъ. Окомъ астрологини я прочиталъ по звѣздамъ и близкій, и радостный конецъ нашей вѣды. Слова, освѣживъ чело отъ дорожнаго утомленія (z podróznycch znojów), мы примѣшаемъ къ старому Токаю пѣманскія струи». Сѣмашко былъ литовцемъ по мѣсторожденію, какъ и Мицкевичъ. Имѣютъ ли эти строки отношеніе къ надеждѣ поэта въ 1827 году вернуться на родину?

Едва ли. Какъ разъ 17 янв. 1827 г., когда Сѣмашко видѣлся съ Малевскимъ, этотъ послѣдній съ грустью сообщалъ, что Новосильцовъ помѣшалъ ихъ возвращенію въ Литву, хотя бы въ отпускъ, а Мицкевичъ писалъ объ этомъ еще въ сентябрѣ 1826 года. Такимъ образомъ иного смысла, кромѣ надежды на «скорый и радостный конецъ» странствованій всего народа приведенныя строки, повидимому, не могутъ имѣть, а въ такомъ случаѣ и «Фарисъ» со своимъ стремленіемъ къ желанному концу относится приблизительно къ тому же времени. Начало 1827 года, какъ мы знаемъ, было время душевнаго подъема въ жизни Мицкевича, увѣренности, что вездѣ можно служить «единой возлюбленной»—родинѣ.

Другія посвященія, относящіяся къ этимъ годамъ (1825—1829), имѣютъ совершенно личный характеръ. Что же касается двухъ балладъ, вошедшихъ въ изданіе 1829 года, то одна изъ нихъ хорошо извѣстна по пушкинскому переводу «Будрысь и его сыновья». Будрысь это Викентій Будревичъ, одинъ изъ филаретовъ и ближайшихъ пріятелей Мицкевича. Назначенный на должность учителя гимназій въ Твери, онъ покинулъ Москву въ апрѣлѣ 1827 года. Другая «украинская баллада» «Czaty» переведена также Пушкинымъ подъ названіемъ «Воевода». Дѣйствіе баллады, какъ утверждалъ Аѣг, относилось къ событію, сравнительно незадолго до того происшедшему на Украинѣ. О немъ рассказывалъ Мицкевичу его одесскій знакомый, Генрихъ Ржевускій, и поэтъ намѣренно перенесъ дѣйствіе въ прошлое, замѣнивъ титулъ графа воеводой. Обѣ баллады очень отличаются отъ первыхъ романтическихъ балладъ виленскаго и ковѣнскаго періода: въ нихъ нѣтъ фантастичности. Онѣ такъ же просты и реальны, какъ баллады Пушкина, который, словно подчеркивая ихъ близость своему таланту, перевелъ обѣ.

О языкѣ всѣхъ этихъ балладъ можно сказать то же, что говорить о языкѣ «Фариса» извѣстный польскій писатель, Болеславъ Прусь, разобравшій со скрупулезностью естествовѣда всѣ элементы, изъ которыхъ состоитъ стиль этого произведенія.

Онъ признаетъ языкъ Мицкевича верховъ выпуклости (*jedność*) «Съ точки зрѣнія возможно меньшаго числа конкретныхъ существительныхъ это гранитный языкъ. Какъ будто машина для вызыванія образовъ и чувствъ, онъ приближается къ идеалу, такъ какъ вызываетъ въ душѣ читателя maximum полезной работы».

Несомненно, и самъ Мицкевичъ чувствовалъ, что достигъ расцвѣта своего таланта. По множеству изданій его сочиненій, которыя выходили или затѣвались за границей, онъ видѣлъ распространеніе своего вліянія. О значительности его онъ могъ судить по тому энтузіазму, съ какимъ былъ встрѣченъ «Конрадъ Валленродъ». И онъ долженъ былъ чувствовать себя поэтомъ угнетеннаго народа, какъ Хальбанъ его поэмы. Тѣмъ противѣе и забавѣ казались сплетня и ропоть, исходившіе изъ лагеря энигоновъ ложноклассицизма, и потому, выпуская въ 1829 году собственное изданіе сочиненій, Мицкевичъ не удержался и уже послѣ того, какъ цензоръ поднесъ разрѣшеніе на изданіе, разразился громовой статьей противъ «варшавскихъ критиковъ и рецензентовъ». Въ письмахъ уже не разъ поэтъ негодовалъ на отсталость польской литературы по сравненію съ тогдашней русской, въ устныхъ бесѣдахъ онъ дѣлалъ вѣрныя и злыя характеристики варшавскаго литературнаго ареопага; теперь, повидимому, не обошлось безъ какого-то личнаго укола, и статья дышитъ личнымъ чувствомъ, которое не позволяетъ быть справедливымъ. Мицкевичъ заявляетъ, что долго читалъ одинаково равнодушно ругательныя и похвальныя отзывы критиковъ. Этому не будетъ удивляться тотъ, кто имѣетъ представленіе о людяхъ, которые засѣли въ критики» (*wzdzierających się na urząd krytyków*). Выходка личная, оскорбительная своей неопредѣленностью. Далѣе, все та же рѣзкая пронія: рецензентовъ надо благодарить уже за то, что они читаютъ книжки, *по крайней мѣрѣ* польскія, а такихъ людей въ Польшѣ (*w naszym kraju*) немного. Смѣшивая въ одну кучу глушцовъ и невѣждъ своихъ критиковъ, хвалившихъ или порицавшихъ его, Мицкевичъ по очереди перебираетъ одного за другого. Въ чемъ его винили? Въ томъ, что онъ вводилъ провинциализмы въ баллады, пѣсни и другія произведенія изъ народнаго быта? Но такъ же поступали и Бернсъ, Гердеръ, Гёте, В. Скоттъ, Карпинскій, Богданъ Залѣскій. Нововведенныя слова или удерживаются въ употребленіи, или забываются: этого нельзя предвидѣть, и это рѣшаетъ само общество. Впрочемъ не варшавскимъ критикамъ судить объ этихъ вещахъ. Для этого нужно имѣть «литературный авторитетъ»! А какой у нихъ авторитетъ? Они роются по словарямъ, считаютъ себя охранителями стиля, а между тѣмъ никакъ не могутъ сойтись въ оцѣнкѣ произведеній. Такъ, напр.,

«Сонеты» подверглись самому тщательному разбору, и получилась такая разногласица, въ которой не разберешь толку. Одинъ говоритъ, что Мицкевичъ первый придалъ польской литературѣ характеръ народности, а Дмоховскій отвѣчаетъ на это, что онъ первый уничтожилъ эту народность въ польской литературѣ; одинъ радуется, что Мицкевичъ, оставивъ въ сторонѣ баллады, ввелъ въ поэзію совершенно новый жанръ; другой жалѣеть, что Мицкевичъ, до сихъ поръ воздѣлывавшій ниву народной поэзи, баллады и повѣсти, теперь забросилъ ее и принялся за сонеты, жанръ совершенно чуждый польской литературѣ.

Мало-по-малу тонъ предисловія становится болѣе серьезнымъ. Мицкевичъ переходитъ къ оцѣнкѣ общественнаго значенія того, что дали Польшѣ ложноклассики. Едва ли это не одна изъ первыхъ попытокъ смѣло взглянуть критическимъ окомъ на общественныя отношенія эпохи, предшествовавшей паденію Рѣчи Посполитой. Отзывъ о ней Мицкевича очень рѣзокъ: «чѣмъ болѣе сложны общественныя отношенія, говоритъ онъ, тѣмъ болѣе учеными должны быть юристы по профессіи и судьи (какъ и критики). По странному противорѣчію мы имѣли въ своей литературѣ ученыхъ поэтовъ и артистовъ, но наши теоретики, начиная съ грамматиковъ и кончая эстетиками, жили только обрывками правилъ, вынесенныхъ изъ школы, а въ остальномъ были невѣжественны и преисполнены предубѣжденій, соединенныхъ съ невѣжествомъ. Исторія такой литературы имѣетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое сходство съ политической. У насъ были хорошіе солдаты, честные граждане, но сочинять законы и управлять брались, особенно въ послѣднее время, люди безъ всякихъ знаній и опыта. Въ одинаково жалкомъ состояніи были нравовѣдѣніе и литературная администрація (*administracya literacka*). Уже Мрозинскій далъ основательную оцѣнку прославленныхъ въ Варшавѣ грамматиковъ; наши риторы еще ожидаютъ этой печальной погребальной услуги». Такъ литературная критика уже переходитъ въ политическую. Давъ характеристики писателей начала XIX вѣка и обрисовавъ «еще болѣе печальную картину, если только можетъ быть печальнѣе, критической школы въ эту эпоху», Мицкевичъ не можетъ надвинуться консерватизму и отсталости этихъ критиковъ. «Вокругъ нихъ все въ литературѣ измѣнилось, отъ Гибралтара до Бѣлаго моря, а они все стоятъ неподвижно на школьной позтикѣ, точно корабль на якорѣ. Слабѣющую отва-

гу они подкрѣпляютъ чтеніемъ брошюрокъ и нѣсколькихъ французскихъ журналовъ, наименѣе распространенныхъ во Франціи. Ихъ можно сравнить съ нашими законодателями, упорно державшимися на основаніи конституціи, которой они не понимали, за гетманскую власть и *liberum veto*, сопротивлявшимися, несмотря на принятую въ сосѣднихъ странахъ новую тактику, заграничному вліянію (*autogamentowi*) и убѣжденіями, что, кромѣ народной кавалеріи, все остальное пустяки нѣмецкія выходки». Нужны широкіе горизонты, серьезная подготовка, поменьше дилетантства: такова основная мысль этого предисловія. «Классическіе рецензенты, разсуждающіе смѣло и нахально (*zarozumiale*) о важныхъ литературныхъ предметахъ, похожи на тѣхъ политиковъ изъ маленькихъ мѣстечекъ, которые, не читая даже заграничныхъ газетъ, вѣщаютъ о тайнахъ кабинетовъ и дѣйствіяхъ вождей. Счастливы!» Это было не въ бровь, а въ глазъ салоннымъ политикамъ, которые задавали тонъ въ польскомъ обществѣ передъ возстаніемъ 1830 года, какъ и потомъ на эмиграціи, въ Парижѣ. Но то, чтобы было простительно въ годы невыносимой сердечной тоски и душевной пустоты, то было только смѣшно у этихъ «*miasteczkowych politików*». Значеніе разсужденія Мицкевича при всѣхъ его личныхъ выходкахъ и несправедливыхъ упрекахъ людямъ, которые въ свое время оказались очень полезны, заключается въ стремленіи влить свѣжую струю въ застоявшуюся атмосферу житейскаго прозябанія и самодовольства, встряхнуть людей, потребовать отъ нихъ дѣйствительной подготовки къ труду, настоящаго добросовѣстнаго знанія. И литературный вопросъ далеко вышелъ изъ рамокъ борьбы между двумя поэтическими школами. Мицкевичъ несъ съ собою новое міровоззрѣніе, трезвое и ясное, вовсе не романтическое. Напрасно Дмоховскій увѣрялъ въ «*Przewodnik Warszawski*», что все предисловіе написано въ «необыкновенномъ пароксизмѣ романтическаго безумія». Между собой классики переписывались съ еще большимъ негодованіемъ. А Мицкевичъ, который не могъ не знать объ ихъ встрѣчахъ у Потоцкаго съ Лелевелемъ, писалъ ему совершенно откровенно: «Это предисловіе только вступленіе къ отчаянной борьбѣ, которую я хочу вскорѣ начать, и въ которой я чувствую смѣлость выдержать до конца». Лелевель былъ не очень доволенъ выпадами Мицкевича. Буря поднялась страш-

ная: всѣ причастные къ литературѣ считали себя вынужденными стать въ опредѣленное отношеніе къ сатирѣ на варшавскую отсталость. Часть прессы горячо поддерживала Мицкевича. Мохнацкій полагалъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ съ нимъ будутъ согласны и тѣ, кому теперь статья не понравилась. Старики, понявъ, что ударъ направленъ вовсе не на литературные вкусы, а на цѣлое міровоззрѣніе, взывали къ чувствамъ уваженія къ прошлому; сокрушались, что авторитеты Чарторыйскихъ и Снядецкихъ не говорятъ ничего «нынѣшней молодежи». Мицкевичъ уже не принималъ участія въ этой полемикѣ, которая продолжалась въ теченіе всего 1829 и еще въ 1830 году, пока болѣе серьезныя событія не отвлекли вниманія общества въ другую сторону. Однако Мохнацкій еще успѣлъ провозгласить триумфъ романтизма въ своемъ извѣстномъ разсужденіи «О польской литературѣ XIX вѣка».

Изданіе двухтомнаго собранія сочиненій было послѣднимъ дѣломъ Мицкевича въ Россіи. Теперь онъ мечталъ только о поѣздкѣ за границу. Одновременно съ этимъ, повидимому, на тотъ случай, если разрѣшеніе не будетъ дано, поэтъ хлопочетъ о переселеніи въ Петербургъ и поступленіи на службу въ одно изъ центральныхъ петербургскихъ учрежденій. Наиболѣе удобнымъ изъ нихъ представлялась коллегія иностранныхъ дѣлъ, гдѣ числилось не мало людей, фактически не несшихъ никакой службы. Въ февралѣ 1829 года Мицкевичъ подаетъ прошеніе на Высочайшее имя объ опредѣленіи его въ коллегію. Начинается длинная переписка между вѣдомствами, напечатанная проф. Вержбовскимъ. Кончается она письмомъ графа Нессельроде къ московскому генералъ-губернатору отъ 31 іюля 1829 года: «до свѣдѣнія моего дошло, пишетъ министръ иностранныхъ дѣлъ, что г. Мицкевичъ прежде, нежели učinено было распоряженіе объ опредѣленіи его въ коллегію, отправился въ чужіе края. По сей причинѣ, не находя нужнымъ причислять къ коллегіи чиновника, за границею пребывающаго, я вмѣняю себѣ въ обязанность увѣдомить о семъ Ваше Сіятельство». Такимъ образомъ, сообщеніе самого Мицкевича въ письмѣ къ Лелевелю (въ началѣ 1829 года) о томъ, что онъ «поступилъ на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ», оказывается преждевременнымъ. Дѣйствительно, уже въ мартѣ этого года поэтъ получилъ разрѣшеніе на выѣздъ за границу: сильныя связи въ

придворныхъ сферахъ, съ Жуковскимъ, кн. Волконской и др., облегчили ему то, чего такъ щедно добивался Пушкинъ. Съѣздивъ на мѣсяць (съ половины марта до половины апрѣля) въ Москву, Мицкевичъ 15 мая уже уѣхалъ на пароходѣ за границу. Нѣсколько изданій дали ему необходимыя деньги, хотя ихъ было въ обрѣзъ. Приходилось экономить.

Къ сожалѣнiю, о духовной жизни Мицкевича за эти послѣднiе годы его пребыванiя въ Россiи мы знаемъ очень мало. Намъ извѣстны чисто внѣшнiе факты: съ кѣмъ поэтъ былъ ближе, чѣмъ съ другими, гдѣ онъ бывалъ, какимъ поклоненiемъ пользовался въ польскомъ да и въ русскомъ обществѣ. Свидѣтельствомъ послѣдняго является отмѣтка на заграничномъ паспортѣ, выданномъ «извѣстному польскому поэту», тогда какъ Пушкинъ официально назывался только «извѣстнымъ сочинителемъ», котораго постоянно смѣшивали съ Булгариннымъ или Сенковскимъ. Письма Мицкевича за эти годы мало отражаютъ его душевное настроенiе. Тѣ стихотворныя посвященiя разнымъ лицамъ, которыя составляютъ почти весь вкладъ въ поэзiю Мицкевича за эти годы, не считая не дошедшихъ до насъ импровизацiй, не выдаютъ его интимной жизни, и только исторiя Каролины Янингъ, покинутой поэтомъ, ради служенiя высшимъ цѣлямъ предназначенiя, да отдѣльные намеки въ простодушныхъ разсказахъ Одынца позволяютъ заглянуть нѣсколько глубже въ тотъ душевный процессъ, который развивался въ душѣ Мицкевича. Эти разсказы цѣнны тѣмъ, что относятся къ самому послѣднему времени пребыванiя поэта въ Россiи, стало быть, отмѣчаютъ именно завершенiе этого процесса, поскольку онъ происходилъ въ обстановкѣ Петербурга и Москвы. Прежде всего, мы видимъ здѣсь большую близость Мицкевича къ семейству пианистки Марiи Шимановской. Съ двумя ея дочерьми поэтъ держался почти по-родственному, правда, съ оттѣнкомъ старшинства. Это были подростки - дѣвочки Целина и Елена. «Нанна Целина прехорошенькая; глазами и цвѣтомъ кожи совѣмъ похожа на испанку. Панна Елена не такъ красива, но полна жизни, доброты и остроумiя». Первая изъ нихъ сдѣлалась черезъ нѣсколько лѣтъ женой Мицкевича. Изъ писемъ Одынца видно, что она уже тогда была равнодушна къ нему, и, напр., отъѣздъ поэта за границу огорчалъ ее до такой степени, что она не владела собой. Мицкевичъ былъ очень близокъ съ домомъ Шимановскихъ, являлся къ нимъ незваный

обѣдать, дѣлалъ иногда даже замѣчанія дѣвочкамъ. Маріи Шимановской, извѣстной піанисткѣ, онъ повѣрялъ свои первыя впечатлѣнія за границей.

Другой человѣкъ, который былъ очень дорогъ Мицкевичу въ Петербургѣ, былъ художникъ Олешкевичъ, съ которымъ онъ сблизился въ первый свой пріѣздъ въ столицу и которому онъ посвятилъ одинъ изъ самыхъ интимныхъ отрывковъ въ своемъ «Петербургѣ», начатомъ еще въ 1828 году. «По всему видно, говоритъ Одынецъ, что этотъ человѣкъ имѣетъ большое влияние на Адама, который рассказываетъ о немъ множество подробностей, на видъ шутливо, какъ объ оригиналъ, но изъ его же рассказовъ видно, какъ онъ глубоко уважаетъ и любитъ его, и какъ увѣренъ во взаимности». У Олешкевича была репутація «мистика, т.-е. человѣка, вѣрующаго не только въ догматы, но и въ присутствіе Бога всегда и во всемъ... При этомъ постоянное чтеніе Библіи придаетъ его мыслямъ и воображенію сведенборговское, какъ выражается Адамъ, настроеніе и направленіе, такъ что онъ даже, какъ Сведенборгъ, иногда предвидитъ будущее, и, дѣйствительно, онъ многое предсказалъ правильно. Однако онъ не пускается въ пророчества и вообще въ этомъ отношеніи чрезвычайно остороженъ. Самой же выдающейся чертой его является любовь, въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, обнимающая не только всѣхъ безъ исключенія ближнихъ, но и всѣ живыя созданія, даже растительный міръ. Выше этого чувства любви ко всему міру у него стоятъ только почитаніе и благоговѣніе передъ Творцомъ и Спасителемъ, и то усердіе, съ которымъ онъ воздаетъ хвалу Ему. Иногда нѣкоторые злоупотребляютъ этими чувствами и его легковѣрной добротой; но самъ онъ не только этого не видитъ и не предполагаетъ, но даже возмущается тѣми, которые такъ думаютъ и хотятъ его въ этомъ убѣдить, потому что сужденіе о ближнихъ, а особенно осужденіе ихъ, онъ считаетъ величайшимъ грѣхомъ». Сѣмена, брошенные Олешкевичемъ еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, возвращенныя и взлелѣянныя московскою средой религіозныхъ нескателей, ставившихъ вѣру выше разума, теперь начинали всходить. И уже въ это послѣднее пребываніе въ Петербургѣ поэтъ начинаетъ пророчествовать и обличать міръ въ излишнемъ преклоненіи передъ разумомъ. Простодушный Одынецъ даетъ нѣсколько интересныхъ подробностей объ этомъ укрѣплявшемся у Мицкевича направленіи. «Теперь,

когда онъ говоритъ что-нибудь болѣе важное, отъ его словъ исходитъ какъ будто бы свѣтъ, такъ ясно становится у тебя на душѣ. И притомъ онъ обладаетъ, очевидно, вѣщимъ духомъ, который, впрочемъ, и прежде уже не разъ объявлялся у него. Самъ онъ мнѣ говорилъ, что выигралъ тысячи двѣ рублей ассигн., держа пари съ разными лицами, иначе представлявшими себѣ событія, которыя должны были наступить во время послѣдней турецкой кампаніи, и имѣвшихъ за собой всю логику дѣйствительности (*wszelką racjonalność*), а онъ основывался только на внутреннемъ чувствѣ». Оказывается, что это отрицаніе логики въ угоду чувству,—результатъ, къ которому Мицкевича, какъ и многихъ другихъ романтиковъ, привело постепенное развитіе первоосновъ романтизма,—это отрицаніе заставляло поэта уже въ эту пору писать нѣчто въ родѣ послѣдующихъ своихъ мистическихъ сочиненій. Теперь онъ писалъ по-французски огромное сочиненіе. «Исторія будущаго», котораго Одынецъ видѣлъ болѣе 30 листовъ. Мицкевичъ прочелъ ему вслухъ нѣкоторыя патетическія отрывки, т.-е. рѣчи въ духѣ Ливія. «Какая это чудесная вещь!» восклицаетъ Одынецъ. «Въ серьезномъ тонѣ исторіи Адамъ хочетъ представить предвидимыя послѣдствія матеріалистическаго эгоизма и эгонстическаго рационализма, передъ которыми преклоняется теперешній міръ... Адамъ намѣренъ показать это на судьбахъ цѣлыхъ народовъ, сопоставляя наивысшую вершину матеріалистической цивилизаціи съ самымъ глубокимъ упадкомъ чувствъ, духа и вѣры,—*нотабене* только въ мужчинахъ». Самое изложеніе содержанія представлено Одынцомъ довольно сумбурно, да оно и не важно: съ той же самой идеей, представленной тоже на судьбахъ народовъ, мы встрѣтимся позже, когда Мицкевичъ пророчествовалъ въ Парижѣ. Чрезвычайно знаменательно, что отъ романтизма, протестующаго, индивидуальнаго, Мицкевичъ уже переходилъ къ романтизму религіозному, къ піетизму, къ культу благочестія. Эти новыя точки зрѣнія отразились, прежде всего, на его впечатлѣніяхъ отъ поѣздки.

ГЛАВА XVIII.

Мицкевичъ за границей до возстанія 1830 года.

Одинокъ Мицкевичъ вступалъ въ новый и важный періодъ жизни. Пароходъ, на которомъ онъ долженъ былъ ѣхать, отходилъ раньше, чѣмъ онъ рассчитывалъ, и пріятели спѣшно собирали его ¹⁾. Мицкевичъ не успѣлъ проститься съ семействомъ Шимановскихъ. Въ то время, какъ друзья укладывали его вещи, онъ ходилъ и думалъ. Снова начиналась бродячая жизнь, но теперь не нужно было стыдиться пережитаго, какъ при отъѣздѣ изъ Одессы, и нельзя было сказать: «некому руку подать». Напротивъ, такъ тяжело было покидать друзей и пускаться въ неизвѣстное будущее, что у Мицкевича являлась мысль неожиданно прервать путешествіе и вернуться «съ ложкой въ карманѣ» къ гостепримнымъ дверямъ Шимановскихъ. Въ крайне тенденціозномъ изложеніи біографіи своего отца Владиславъ Мицкевичъ рассказываетъ о той радости, съ которой поэтъ покидалъ страну рабства, о той ненависти, которой онъ пылалъ къ русскому правительству и т. п. Ни въ письмахъ, ни въ воспоминаніяхъ друзей о Мицкевичѣ эта ненависть въ эту пору не проявляется. Давила общая атмосфера жизни, возмущала казарменная обстановка, въ которой жило русское общество, но революціоннаго настроенія у Мицкевича, несомнѣнно, не было, и уѣхать онъ изъ Россіи не потому, что такъ ненавидѣлъ русскую жизнь, что не могъ больше жить въ Россіи. Въ сущности, отъ русскаго правительства поэтъ не видѣлъ въ эти послѣдніе годы обидъ: кн. Голицынъ относился къ нему очень тепло, на его просьбу о переводѣ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ отвѣчали благопріятно, доносъ Новосильцова, если и былъ извѣстенъ поэту, прошелъ безслѣдно, а запрещеніе «Приды», мимолетной затѣи скучающаго поэта, не отразилось даже въ письмахъ, хотя сначала и могло огорчать его. Въ русскомъ обществѣ, среди котораго вращался Мицкевичъ, опредѣленнаго, оппозиціоннаго настроенія не было, несмотря на политическіе, довольно, впрочемъ, невинные выпады Пушкина.

¹⁾ Извѣстія о томъ, что будто бы было предписано отобрать у Мицкевича заграничный паспортъ, и потому онъ будто бы спѣшилъ уѣхать и даже прятался подъ палубой, совершенно не достовѣрны.

И самая возможность искренней дружбы между Мицкевичем и Оаддеем Булгаринимъ указываетъ, что авторъ «Конрада Валленрода» былъ весьма далекъ отъ «мятежническихъ» думъ. Мицкевичъ мечталъ объ Италіи, сѣнилъ туда черезъ Берлинъ и Веймаръ, гдѣ долженъ былъ представиться «королю поэтовъ» Гёте: это было путешествіе поэта и мыслителя, а вовсе не политика. И именно въ этихъ высшихъ областяхъ политической и умственной жизни вращается все время мысль Мицкевича. Обратимся къ его письмамъ.

Первое письмо изъ Гамбурга было послано Шимановскимъ. «Я самъ хотѣлъ этого путешествія, пишетъ поэтъ Маріи Шимановской; я не жалуясь на *предназначенье*; здѣсь такъ много, на что посмотреть; столько интереса и любопытства все возбуждаетъ; и все-таки грустно путешествовать съ мыслью, что, куда я ни приѣду, никто меня не встрѣтитъ, никто не обрадуется моему приѣзду. Спѣшу отсюда какъ можно скорѣе въ Дрезденъ, гдѣ надѣюсь получить письма изъ Петербурга. Есть у меня надежда, что и вы будете добры (рани dobra) прибавить нѣсколько словечекъ и *маленькія дѣточки* тоже. Панну Елену благодарю за перочинный ножикъ; онъ долженъ быть гдѣ-нибудь въ моей комнатѣ, пусть поищетъ Herr Sprachlehrer (Малевскій?). А панна Целина (будущая жена Мицкевича) пусть проститъ мнѣ все старыя грѣхи (czązu, obidy), а мои наставленія можетъ помнить, потому что они всегда исходили изъ искренняго расположенія». Трудно въ этихъ интимнѣйшихъ строкахъ видѣть какой-то революціонный подъемъ путешественника, какой непременно хотеть приписывать своему отцу Владиславъ Мицкевичъ. Впрочемъ, много лѣтъ спустя, поэтъ рассказывалъ нѣкому Бергелю, а тотъ передавалъ Владиславу Мицкевичу, что при отъѣздѣ изъ Кронштадта онъ «инстинктивно прятался на палубѣ», а потомъ, почувствовавъ себя на свободѣ, сталъ швырять въ море мелкія деньги «съ изображеніемъ русскаго орла», но если эта ребяческая выходка имѣла мѣсто (что довольно сомнительно), и если революціонность поэта этимъ и ограничивалась (а ничего другого Влад. Мицкевичъ, какъ ни старается, не можетъ найти), то особой опасности для государства она не представляла. Слѣдующее письмо, уже изъ Берлина, датированное 12 іюня нов. ст., отправлено Булгарину и содержитъ нѣсколько сообщеній о варшавской коронаціи Николая I, въ которыхъ нѣтъ основанія видѣть

скрытой ироніи, и затѣмъ горячую просьбу помнить о друзьяхъ-филаретахъ, для которыхъ Булгаринъ, пріятель вліятельнаго жандармскаго генерала фонъ-Фока, могъ кое-что сдѣлать. «Еще разъ протягивая тебѣ руку черезъ бранденбургскіе пески и Балтійское море, напоминаю тебѣ о нуждахъ Томаша (Зана) и нѣсколькихъ моихъ друзей. Дорогой Фаддей, если ты захочешь быть для нихъ такимъ же добрымъ, какимъ былъ для меня, я буду тебѣ благодаренъ всю жизнь, сохраню для тебя одно изъ первыхъ мѣстъ въ сердцѣ». Повидимому Булгаринъ не разъ вручалъ Мицкевича изъ бѣды: вѣдь въ отвѣтъ III отдѣленія на доносъ Новосильцова справедливо была найдена Дубровиннымъ его рука.

Въ Берлинѣ многое не понравилось Мицкевичу. «Если вездѣ такъ много интереснаго, сколько я нахожу здѣсь, не стоило мнѣ выбираться съ такими хлопотами, денежными затрудненіями и скукой изъ дома Юахима», писалъ поэтъ 12 іюня М. Шимановской, отъ которой имѣлъ рекомендательныя письма къ Менделсону и музыканту Цельтеру, другу Гёте. Цельтеръ и рекомендовалъ Мицкевича Гёте, какъ «галантливаго земляка Шимановской, поэта», о которомъ онъ однако не можетъ судить. Само собой разумѣется, что самолюбіе Мицкевича, привыкшаго въ Россіи къ поклоненію, должно было сильно страдать. Оно страдало въ Берлинѣ и потому, что среда польской молодежи, въ которой онъ теперь вращался, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ была выше его по своему научному развитію. Узнавъ о пріѣздѣ поэта, имя котораго было такъ популярно и въ Познани, польское студенчество въ Берлинѣ успѣшило войти съ нимъ въ сношенія, устроило ему торжественный обѣдъ, вообще окружило его вниманіемъ и поклоненіемъ. Но Мицкевичъ не былъ подготовленъ своимъ образованіемъ къ пониманію тѣхъ уместныхъ запросовъ, которые волновали берлинское студенчество. Къ философіи онъ относился равнодушно, Гегеля, вѣроятно, совѣтъ и не зналъ, а вокругъ него только и рѣчи было о Гегелѣ. И вотъ Мицкевичъ пошелъ на лекцію знаменитаго философа и отозвался о ней пренебрежительнымъ замѣчаніемъ: «Философія здѣсь всѣхъ сбила съ толку; я боюсь, что перейду на сторону Снядецкаго, такъ надобѣдаютъ мнѣ гегелианцы. Хожу на Гегеля. Двѣ лекціи заняла разница между Vernunft и Verstand». Съ привычкою говорить авторитетно и безапелляционно, которую онъ усвоилъ въ Россіи, Мицкевичъ, несомнѣнно, сталъ

наставлятъ и своихъ берлинскихъ знакомыхъ, что «человѣкъ, который такъ неясно говоритъ и такъ мучится битый часъ, чтобы разъяснить значеніе двухъ понятій, навѣрное и самъ нехорошо разбирается въ нихъ». Даровитый Карлъ Либельтъ, впоследствии одинъ изъ идейныхъ вождей Познани, тогда студентъ, даль отпоръ самоувѣренному поэту, и начались диспуты, взаимное недовольство, слѣды которыхъ отразились въ современной перепискѣ между разными знакомыми Мицкевича, — пока обѣ стороны молчаливо не признали, что имъ будетъ спокойнѣе перейти въ ту область, гдѣ Мицкевичъ царствуетъ. И тогда все пошло хорошо: полились импровизаціи, вдохновенныя рѣчи о будущихъ поэтическихъ замыслахъ. Мицкевича познакомили съ молодымъ профессоромъ Гансомъ, который читалъ исторію французской революціи. Искренно ли (хотя что онъ могъ прочесть изъ Мицкевича, кромѣ только что вышедшихъ въ переводѣ Каролины Янишъ отрывковъ изъ «Валленрода») или желая сдѣлать приятное польской молодежи, которой онъ повѣрилъ на слово въ вопросѣ о значеніи Мицкевича, — но на одной лекціи, на которой присутствовалъ этотъ послѣдній, Гансъ заявилъ, что великолѣпную тему для современной эпопеи дало бы объединеніе всѣхъ народовъ Европы для общей борьбы «съ однимъ всемірно историческимъ народомъ, съ однимъ человѣкомъ, который сталъ во главѣ его». Среди живущихъ поэтовъ Гансъ не находилъ никого болѣе подходящаго для разработки этой темы, чѣмъ Мицкевича, «члена народа, который до послѣдней минуты боролся рядомъ съ этимъ героемъ». Послѣ лекціи Гансъ подъ руку увелъ Мицкевича изъ аудиторіи. Такія манифестаціи должны были сильно льстить его самолюбію. Великихъ темъ Мицкевичъ въ эту пору, дѣйствительно, искалъ. Онъ говорилъ одному изъ своихъ берлинскихъ знакомыхъ, Цыбульскому, позднѣйшему историку польской литературы, что намѣренъ написать что-нибудь въ библейскомъ стилѣ. «Исторія будущаго», писанная въ Петербургѣ, подготавливала его къ пророчествамъ и возвышенной прозѣ. И этого ждали отъ него. Когда въ одной импровизаціи онъ воскликнулъ: «Пусть Шиллеръ или Гёте назовутъ мнѣ равнаго поэта; я господинъ риомъ (pan gumów); силой духа я создаю тому, кто меня слушаетъ, пѣснь изъ груди моей», — слышались восторженные отвѣты: «Ты духъ Польши, ты нашъ ангель-хранитель!» Великую отвѣтственность бралъ на себя поэтъ.

«Въ Берлинѣ, писалъ Мицкевичъ Малевскому въ ноябрѣ того же года, кажется, мнѣ все были рады, потому что ученики меня чествовали и проводили до экипажа, а къ познанскимъ номѣщикамъ я проникся уваженіемъ и имѣю доказательства, что они меня взаимно любили, и принимали самымъ милымъ образомъ: въ Берлинѣ я постоянно жилъ между ними».

Отъѣздъ поэта былъ обставленъ особенно торжественно, а впечатлѣніе отъ его пребыванія въ Берлинѣ оставило глубокіе слѣды въ жизни польской молодежи: съ этого времени, увѣряетъ Цыбульскій, прекратились мелкіе счеты и партійныя распри между студентами. «Казалось, что какой-то свѣтлый духъ (*duch promienisty*) перенесся изъ Вильны въ Берлинъ. Все эти перемѣны создало нѣсколько дней пребыванія Мицкевича въ Берлинѣ». А онъ поѣхалъ дальше, въ Дрезденъ, гдѣ нескончи существовала обширная польская колонія, связанная такъ или иначе съ саксонскою династіей Рѣчи Посполитой и Герцогства Варшавскаго. Здѣсь жило не мало аристократическихъ семействъ старой Польши, оставались еще славные ветераны временъ борьбы за независимость; между ними одинъ изъ лучшихъ, генералъ Княжевичъ, съ которымъ Мицкевичъ сошелся особенно близко, явившись какъ бы представителемъ молодого поколѣнія въ борьбѣ за тѣ же идеалы. Со времени «Конрада Валленрода» Мицкевичъ уже пересталъ быть для польскаго общества выразителемъ романтизма въ балладахъ или сонетахъ; онъ становился прежде всего, а для многихъ и исключительно пѣвцомъ борьбы, народнымъ патріотическимъ поэтомъ, вождемъ. Этого значенія не имѣли въ русской поэзіи ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Надо было, чтобы народъ много пережилъ и перестрадалъ, чтобы созданъ такой воплотитель его горя и радостей, какимъ явился Мицкевичъ.

Въ Дрезденѣ было очень много поляковъ. «Мазуровъ и варшавяковъ здѣсь чуть не столько же, сколько нѣмцевъ, и все мазурки красивы», писалъ поэтъ Малевскому. Общество польское, собравшееся изъ разныхъ краевъ Рѣчи Посполитой и жившее традиціями Костюшки и независимости, прекрасныя окрестности, среди которыхъ такъ пріятно было бродить, знаменитая картинная галлерія, гдѣ Мицкевичъ проводилъ ежедневно 4 — 5 часовъ (съ 8 до 12 или до 2): все это превратило двухнедѣльное пребываніе въ Дрезденъ въ одинъ изъ пріятнѣй-

нихъ этаповъ въ его путешествіи по Европѣ. Изъ Саксоніи на нѣсколько дней Мицкевичъ заѣхалъ въ Прагу, чтобы познакомиться съ Ганкой. Чехія тогда пробуждалась для національной жизни; первые шаги еще едва были сдѣланы, политическія требованія не выставлены. Но духъ Гуса и Жижки уже виталъ надъ воскресающимъ народомъ, и отчаянная борьба чеховъ за независимость должна была много говорить пѣвцу Валленрода. Сохранилось довольно глухое извѣстіе, что Ганка внушала Мицкевичу мысль написать поэмѣ о Жижкѣ, и что даже будто бы онъ написалъ часть ея, но уничтожилъ въ 1841 году. Все это весьма сомнительно.

Напротивъ, едва ли реальное соприкосновеніе съ пронырливымъ Ганкой и съ очень прозаическими дѣятелями чешскаго возрожденія могло произвести сильное впечатлѣніе на поэта, тѣмъ болѣе, что ихъ руссофильства онъ не могъ раздѣлять. Въ Карлсбадѣ, куда онъ поѣхалъ изъ Праги, онъ опять попалъ въ общество поляковъ и въ атмосферу поклоненія, которая начинала уже прискучивать. Мицкевичъ торопиль Одынца, засидѣвшагося въ Дрезденѣ, чтобы онъ снѣшилъ освободить его «отъ мукъ славы, которая отравляетъ (emetykiem zaprawra) ему воды въ Карлсбадѣ». Весьма характерная подробность, что въ книгѣ пріѣзжихъ Мицкевичъ значился не «извѣстнымъ поэтомъ», какъ было написано въ его паспортѣ, а просто русскимъ чиновникомъ (russisch kaiserlicher Beamter aus S.-Petersburg). Если онъ самъ такъ записался, новое подтвержденіе тому, что, во-первыхъ, Мицкевичъ вовсе не думалъ порывать окончательно съ Россіей, а, во-вторыхъ, что онъ и не тяготился такъ, какъ увѣряетъ его сынъ, службой русскому правительству: однимъ словомъ, что революціонное настроеніе лично ему было чуждо. О пребываніи Мицкевича въ Карлсбадѣ извѣстно очень мало. Повидимому, и здѣсь онъ былъ окруженъ поклонниками; особенно же донимали его стихоплеты, которые упрасивали его оцѣнить ихъ творенія. Но, «когда берешь воды, нѣтъ настроенія слушать глухие стихи. Зато со всей прозой я былъ въ полномъ согласіи», писалъ поэтъ Малевскому. Въ началѣ августа пріѣхалъ наконецъ Одынецъ, и нѣсколько дней спустя Мицкевичъ отправился вмѣстѣ съ нимъ въ дальнѣйшія странствованія. Теперь у насъ есть такой цѣнный источникъ, какъ письма Одынца, изданныя имъ въ 1875 году. Въ основѣ ихъ лежатъ часто дѣйстви-

тельные письма, кое въ чемъ однако они были измѣнены, прикрашены подробностями, не всегда оправдывающимися хронологически. По мелкія замѣчанія Мицкевича, занесенныя его спутникомъ, темы бесѣдъ, отдѣльныя впечатлѣнія, все это, конечно, трудно было придумать впоследствии, и здѣсь письма Одынца имѣютъ большое значеніе для биографовъ Мицкевича.

Одынецъ засталъ Мицкевича въ нетерпѣливомъ настроеніи: ему такъ надоѣли постоянныя приставанія, что онъ хотѣлъ поскорѣе уѣхать изъ многолюднаго Карлсбада. Очень оживленно поэтъ сталъ разспрашивать пріятеля о Ковнѣ и Вильнѣ, черезъ которыхъ тотъ проѣзжалъ. «Онъ оживился и началъ самъ разсказывать, но только о старыхъ и веселыхъ приключеніяхъ. Вильна и Ковно какъ будто встали передъ нами. По очереди приходили ему на память не только друзья и близкіе знакомые, но даже разныя уличныя фигуры, которыя чѣмъ-нибудь выдѣлялись. Объ одной только Марылѣ, какъ всегда раньше, такъ и теперь не было даже упоминанія. Онъ разспрашивалъ меня о сотнѣ другихъ, которые были для него совершенно безразличны, и только о ней и ея семьѣ онъ не упоминалъ не только прямо, но и косвенно. Вѣдь онъ же знаетъ, въ какихъ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ съ ними я былъ. Это меня поразило и напомнило то, что я слышалъ отъ г-жи Ковальской, его ближайшаго друга въ Ковнѣ: что бывая ежедневно и въ продолженіе столькихъ лѣтъ ея гостемъ въ Ковнѣ и говоря съ полной откровенностью обо всемъ, никогда онъ не произнесъ передъ ней ни одного слова по этому поводу». О томъ, что въ Одессѣ нескромныя разспросы Ржевуской-Собанской вызвали рѣзкій отпоръ со стороны Мицкевича, было уже упомянуто выше. Въ это время душевная рана поэта была еще слишкомъ свѣжа. Однако и въ русскій періодъ его жизни она продолжала сочиться кровью. И въ «Крымскихъ сонетахъ», и въ напечатанномъ въ 1827 году (въ Виленскомъ Дневникѣ) «Сонетѣ», авторство котораго съ большимъ вѣроятіемъ приписывается Мицкевичу, такъ какъ «Сонетъ» напечатанъ между другими, несомнѣнно его стихотвореніями,—та же незабытая, горькая любовь. Въ ней онъ видитъ и нравственную опору для себя, передъ Марылей онъ мысленно исповѣдуется. «Нѣкогда мое сердце, близкое твоей груди, несло тебѣ въ юношеской красѣ прекрасныя чувства и благородныя дѣла; теперь, увы, оно шлетъ по своей винѣ порочныя» (występie.) Хотя

для другихъ оно страдало отъ безумной боли, не пренебрегай имъ: когда-то оно было посвящено тебѣ».

Одынецъ, кажется, не замѣтилъ, что своей болтовней онъ опять растревожилъ сердце поэта, и оно затосковало, и на одной изъ вершинъ Швейцаріи нѣжное обращеніе къ Марылѣ опять вырвалось изъ этого безмолвія тоски по ней. «Великій духъ въ простотѣ и правдѣ»: такъ резюмируетъ Одынецъ другое свое впечатлѣніе, сравнивая послѣ маріенбадскаго свиданія съ госпожей Бекю ея сына, знаменитаго Юлія Словацкаго, съ Мицкевичемъ. Последній былъ простъ и доступенъ, а первый хотѣлъ, «чтобы всѣ на него смотрѣли съ восхищеніемъ, и со страхомъ и почтеніемъ склонялись передъ нимъ». Словацкаго Одынецъ просто-на-просто не понималъ, но онъ былъ правъ, говоря о томъ, что мыслью объ истинно великомъ жилъ его гениальный другъ. И по дорогѣ въ Веймаръ Мицкевичъ много говорилъ объ этомъ. Въ маленькомъ чешскомъ городкѣ Эгерѣ (Хебѣ) когда-то былъ убитъ Валленштейнъ. Сохранился и домъ, гдѣ было совершено убійство; въ немъ жилъ теперь бургомистръ, и такая пропасть была между теперешнимъ его характеромъ и грознымъ прошлымъ! Содержаніе длиннаго разговора, запявшаго друзей до самаго Франценсбада, Одынецъ излагаетъ на нѣсколькихъ страницахъ, которыя очень важны для пониманія духовнаго роста Мицкевича. Нечего и прибавлять, что «разговоръ былъ, въ сущности, монологомъ Мицкевича. Его младшій спутникъ внималъ: «слова Адама имѣютъ для меня иногда значеніе весенняго грома. Мысли послѣ нихъ высыпаютъ, какъ трава изъ земли послѣ дождя, хотя и вянутъ бесплодно, какъ трава».

Изъ этого разговора необходимо привести самый характерный отрывокъ, хотя онъ довольно значителенъ по размѣрамъ. Разговоръ былъ вызванъ осмотромъ орудія смерти Валленштейна. Слова Мицкевича переданы въ видѣ слѣдующихъ размышленій: «Если бы не «Валленштейнъ» Шиллера, который не выходитъ у насъ изъ ума, навѣрное, обзоръ этихъ вещей не произвело бы на насъ никакого впечатлѣнія. Вѣдь не сама исторія, а только поэзія придаетъ событіямъ имъ монументальный, бессмертный видъ, въ которомъ ихъ созерцаетъ потомство. Богъ вѣдаетъ, что тамъ, въ дѣйствительности, былъ подъ Троей, но вѣка слѣпо вѣрятъ тому, кто самъ, будучи слѣпымъ, даже не созерцалъ этого человѣческими очами. Если бы вмѣсто «Иліады»

мы имѣли только сообщенія хроникъ, составленныхъ даже троинскими и греческими очевидцами, навѣрное, Александръ Великій не почерпнулъ бы въ нихъ стремленія и силы удивить и покорить мiръ. Такимъ образомъ *настоящимъ жрецомъ исторiи является не хронистъ, но поэтъ*. Только черезъ поэзію исторiя можетъ дѣлаться учительницею человѣчества. Но какой же должна быть эта поэзія? Конечно, не искусство ради искусства, но, можетъ быть, истина ради истины. (Характерно, что этотъ вопросъ занимаетъ Мицкевича именно въ 1829 году, когда въ русскихъ литературныхъ кружкахъ велись горячіе споры объ искусствѣ ради искусства. «Чернь» Пушкина со словами его о «жрецахъ» поэзиі появилась въ I части «Моск. Вѣстн.» за 1829 г., а сначала была прочитана въ салонѣ кн. З. Волконской. Едва ли мысли Мицкевича о правѣ искусства быть только искусствомъ не являются отраженіемъ этихъ русскихъ споровъ, въ которыхъ онъ не соглашался съ мнѣніемъ Пушкина. Такимъ же отраженіемъ можетъ быть и отрицаніе разума, о которомъ мнѣніе Мицкевича приводитъ Одынецъ въ дальнѣйшемъ изложеніи разговора.) Однако дойди до истины или разгляди ее съ помощью одного только разума! Ты увидишь ее только въ порывѣ вдохновенія; можетъ быть, только вдохновеніе принесетъ ее тебѣ. Безъ этого ты не разгадаешь прошлаго такъ же, какъ не отгадаешь будущаго. Только одни пророки были истинными поэтами въ настоящемъ значеніи этого слова. («Пророкъ» Пушкина, написанный въ 1826 году, былъ напечатанъ въ «Моск. Вѣстн.» 1828, въ книжкѣ, которая вышла въ 1829 г.!). Всѣ остальные болѣе или менѣе велики, поскольку къ нимъ приближаются, поскольку обладаютъ бѣльшимъ или меньшимъ вдохновеніемъ, которое на нихъ нисходило свыше. Но если вдохновеніе есть даръ Божiй, то можетъ ли Господь Богъ дать ему тому, кто—а вѣдь Онъ это знаетъ—готовъ торговать имъ *изъ гордости* или для удовлетворенія своей гордости? Такіе только притворяются вдохновенными, подражая истинно вдохновеннымъ, но въ дѣйствительности усваивая только форму ихъ вдохновеній: потому что ничему ничому подражать нельзя. Такъ возникла поэзія, какъ искусство. Это подражаніе древнимъ формамъ, совершившееся въ т. наз. эпоху Возрожденія, стало въ дѣйствительности временной смертью (*zamarciem*) развивавшейся до тѣхъ поръ въ правдѣ чувства Среднихъ вѣковъ новой поэзиі: христіанской и національной. Этого искусства было

достаточно для тѣхъ вѣковъ, когда народная жизнь сосредоточивалась при дворахъ государей или въ обществахъ придворныхъ, которыхъ чувства и жизнь были также постояннымъ притворствомъ и искусствомъ. Теперь, когда міръ возжаждалъ новой истины, искусство уже не удовлетворяетъ человечества, и поэзія должна вернуться къ истинѣ. Да она и начинаетъ уже возвращаться, но пока еще черезъ искусство, путемъ подражанія новымъ формамъ, которыхъ она ищетъ въ народномъ творчествѣ, гдѣ природа преобладаетъ надъ искусствомъ. А узкія границы народнаго пониманія, одиѣ искренность и простота чувствъ еще не достаточны для высшей поэзіи. Источникъ ея живыхъ и высшихъ вдохновеній — живая вѣра, какъ самая высшая правда, является еще для теперешнихъ поэтовъ сокровищемъ, сказочнымъ заклатымъ кладомъ, какимъ-то забытымъ людьми другимъ полушаріемъ, которое найдеть развѣ только вдохновенный геній, и откроетъ только вдохновенное слово. Величайшимъ поэтомъ силою вѣры былъ Данте. Шекспиръ наиболѣе увидѣлъ правды въ сердцахъ и дѣлахъ людей. Байронъ уже теперь есть въ правдѣ (*jest już dziś w prawdzie*), но только въ правдѣ собственныхъ своихъ чувствъ. Гёте ищетъ правды умомъ, Шиллеръ чувствовалъ ее чаще въ вдохновеніи. Вліяніе Шиллера на жизнь своего народа больше вслѣдствіе того, что, дѣйствуя на сердца, онъ оказываетъ болѣе значительное дѣйствіе на молодежь, которая вырабатываетъ эту жизнь. Гёте больше говоритъ тѣмъ, кто уже только размышляетъ надъ жизнью. Вотъ экстрактъ разговора, который записать у насъ всю дорогу отъ Эгера до Франценбада».

Исследователь духовнаго развитія Мицкевича не можетъ не поблагодарить Одыща за сохраненіе этой бесѣды, которая показываетъ, какъ уже далеко въ эту пору поэтъ шагнулъ отъ поэзіи ради поэзіи къ поэзіи ради нравственной истины. Конечно только объ этой послѣдней, а не о реализмѣ въ искусствѣ шла рѣчь, и поэзіи ставилась моральная задача. Въ сущности отъ этой точки зрѣнія Мицкевичъ никогда не отказывался: ее онъ воспринялъ еще отъ своихъ классическихъ учителей, но только грубое разсудочное правоученіе поклонниковъ разсудка и разума онъ замѣнилъ той высокою истиною нравственнаго просвѣтленія, которая, по его убѣжденію, раскрывается передъ людьми въ вдохновеніи, не передъ всеми людьми, но передъ поэтами и пророками, орудіями Бога, который наказываетъ ихъ, если они

падаютъ въ гордость. Такое убѣжденіе Мицкевичъ выработалъ еще передъ отъѣздомъ изъ Россіи, тогда какъ Пушкинъ все колебался между «Пророкомъ» и Чернью». Къ высшему представителю поэтическаго «разума», Гёте, Мицкевичъ и Ѳалгъ теперь. Во второй половинѣ августа друзья были уже въ Веймарѣ, и Мицкевичъ получилъ рекомендательныя письма отъ Шимановской къ Гёте и его невѣсткѣ, Оттиліи. Благодаря содѣйствію этой послѣдней, Гёте уже на другой день принялъ Мицкевича и Одынца, которые предстали передъ нимъ съ сильно бьющимися сердцами, готовые внимать ему и записать каждое его слово въ своихъ сердцахъ.

О пребываніи Мицкевича въ Веймарѣ есть специальная польская работа Штальбергера, основанная по преимуществу на письмахъ Одынца. Изъ этихъ послѣднихъ мы узнаемъ, что въ обществѣ, окружавшемъ Гёте, среди разныхъ европейскихъ знаменитостей, собравшихся въ Веймарѣ ко дню 80-лѣтія Гёте, Мицкевичъ сумѣлъ показать свой умъ и гений. Уже въ Россіи онъ приобрѣлъ искусство выдѣляться въ самомъ блестящемъ обществѣ, и теперь это искусство пригодилось ему. Съ самимъ Гёте поэту удалось видѣться нѣсколько разъ за столомъ, обратить на себя вниманіе великаго старца и приобрѣсти его расположеніе, въ доказательство котораго Гёте подарилъ ему (и Одынцу) по одному писанному перу и автографу¹⁾. Но съ Гёте не столько разговаривали, сколько почтительно внимали ему, и не въ обществѣ Гёте, а среди его гостей и родственниковъ вращались

¹⁾ Какъ доказываетъ В. Белла («Karta Goethego» въ сборникѣ «Zerok Mickiewicza», 1911), это былъ обычный способъ Гёте раздавать свои автографы на печатныхъ карточкахъ со своими стихами. Сохранилось и было напечатано послѣ смерти Гёте его двусторонне: «An Mickiewicz mit einer angeschriebenen Feder», но едва ли оно пошло въ руки Мицкевича. Въ разсказѣ Одынца о пребываніи ихъ въ Веймарѣ слишкомъ сгущены краски, чтобы представить успѣхъ Мицкевича. Тѣмъ не менѣе, приходится имъ пользоваться, такъ какъ, во-первыхъ, у насъ почти нѣтъ другого матеріала, а, во-вторыхъ, умственная и душевная жизнь Мицкевича въ его изображеніи соответствуетъ тому, что мы знаемъ о ней по другимъ источникамъ. Если бы Одынецъ писалъ на память, не могъ бы онъ такъ послѣдовательно и непротиворѣчиво изложить развитіе взглядовъ Мицкевича на вѣру и разумъ, къ которымъ онъ возвращается нѣсколько разъ, несомнѣнно въ связи съ дѣйствительными беседами, вѣдшимися на пути. Излишній скептицизмъ въ отношеніи къ письмамъ Одынца едва ли можетъ быть оправданъ.

по преимуществу польскіе гости, облаканные гостепріимной семьей поэта. Оставляя въ сторонѣ вѣщія подробности пребыванія Мицкевича въ Веймарѣ, изложенныя въ брошюрѣ Штальбергера и въ книгахъ Хмблевскаго и Вл. Мицкевича, я обращаюсь къ вопросу, какой слѣдъ въ духовномъ развитіи Мицкевича оставило это свиданіе съ Гёте. «Чортъ знаетъ, какой умный!» таково было первое восклицаніе его послѣ разговора со старикомъ. Однако чего-то не хватало въ Гёте. Онъ держался вѣщепеносцемъ, удостоивалъ разговоромъ то одного, то другого изъ гостей, но около него было холодно. По поводу одного такого разговора Одынецъ дѣлаетъ характерную замѣтку: «Гёте, правда, не сказалъ ничего такого, чтобы кровь въ жилахъ останавливалась,—*какъ это часто случается съ Адамомъ*; но во всемъ, что онъ говоритъ, чувствуешь такую глубокую, развитую и ясную мысль, что прямо умищаешь, слушающая его». И все-таки Мицкевичъ казался Одынцу выше, чѣмъ Гёте: «Тамъ одинъ умъ, а здѣсь и умъ, и воодушевленіе, и какъ будто пророческое ясновидѣніе». Этимъ своимъ ясновидѣніемъ Мицкевичъ воспользовался и на этотъ разъ, въ Веймарѣ, чтобы и здѣсь быть пророкомъ. Онъ заявилъ дамамъ, что «знаетъ способы читать въ мысляхъ другихъ и угадывать самыя скрытыя тайны ихъ сердецъ». Стали проверять; дамы клали на тарелку свои любимыя кольца, а онъ долженъ былъ угадывать, чье это кольцо, и что думаетъ и чувствуетъ его обладательница. Мицкевичъ перемѣнился въ лицѣ, по которому разлилась мраморная блѣдность; его взоръ принялъ сосредоточенное выраженіе: «казалось, онъ все видѣлъ, хотя ни на что не смотрѣлъ». Точь-въ-точь, какъ въ Вильнѣ во время импровизации, добавляетъ Одынецъ. Перепуганнымъ дамамъ Мицкевичъ сталъ вполголоса раскрывать ихъ тайны. Въ другой разъ въ разговорѣ со скульпторомъ Давидомъ, который дѣлалъ профиль Мицкевича, поэтъ привелъ въ восхищеніе французскаго художника, когда сталъ говорить о *призваніи Франціи*. Такимъ образомъ то же напряженное настроеніе сдержаннаго экстаза, которое, повидимому, не оставляло Мицкевича съ Берлина, владело имъ въ Веймарѣ: поэтъ пророчествовалъ, угадывалъ тайны. 31-го августа 1829 г. поѣхали дальше. Путешествіе по городамъ Германіи, очень подробно описанное Одынцемъ, не даетъ много матеріала для исторіи духовнаго и поэтическаго развитія

Мицкевича. Впечатлѣнія смѣнялись быстро, но едва ли глубоко залегали въ душу поэта, слишкомъ поглощеннаго своей внутренней сложной жизнью. Если въ шуточной формѣ онъ выразилъ эти свои впечатлѣнія нѣсколькими словами: «Гамбургъ—бифитекъ, Веймаръ—Гёте, Боннъ—картофель», то и привсемъ стараніи биографовъ извлечь что-нибудь важное изъ писемъ Одынца это совсѣмъ не удастся. Въ Боннѣ Мицкевичъ видѣлъ Августа Шлегеля и сказалъ ему плохой комплиментъ, въ родѣ того, что онъ, Шлегель, плохой поэтъ, но зато хорошій ученый. Въ Дармштадтѣ онъ такъ соскучился на шиллеровской архи-ученой «Мессинской невѣстѣ», что ушелъ изъ театра до конца представленія, около Карлсруэ встрѣтили въ мѣстечкѣ Бруксаль духовную процессію. «Адамъ, который съ Вильны не видѣлъ уличныхъ процессій, повидимому, былъ очень взволнованъ, и по дорогѣ горячо доказывалъ Давиду (французскому художнику, съ которымъ познакомился въ Веймарѣ и теперь встрѣтился на одной изъ станцій) необходимость совершать публично торжественные обряды, чтобы будить, сосредоточивать и выше подымать души людей». Это все бѣльшее тяготѣніе къ религіи такъ же характерно для тогдашняго Мицкевича, какъ его интересъ къ родной исторіи. Онъ «чудесно говорилъ о драматичности нашей исторіи», сообщаетъ Одынецъ, который, очевидно, со словъ Мицкевича прибавляетъ излюбленные его теоріи о разумѣ и вѣрѣ. «Разумъ можетъ быть великолѣпнымъ анатомомъ, сердце способнымъ физиологомъ, но только гениіи есть жрецъ и ясновидецъ (weiszcz) исторіи; онъ одинъ способенъ и вызывать ея духъ, и угадывать ея очертанія». Но все это имѣло мало отношенія собственно къ путешествію по Германіи. Про путешествіе по Швейцаріи приходится сказать то же. Обращенный духомъ въ прошлое, живя воспоминаніями родины, Мицкевичъ былъ уже мало отзывчивъ на красоты чужой природы, полная противоположность Словацкому, который отразилъ въ своей поэзіи впечатлѣнія Швейцаріи, Греціи, Египта, Малой Азіи и т. д. Напротивъ въ письмахъ Одынца (I. 340) мы находимъ въ высшей степени характерную замѣтку: «Отъ Майнца до Дармштадта всего три съ половиной милн, дорога такъ *отвратительна*, такіе пески и грязь, что мы предпочитали чаще итти пѣшкомъ, нежели плестись нога за ногу. Экипажъ нашъ былъ einspännig, т.-е. въ одну лошадь, но только лошадь не была такъ прицѣплена съ одной стороны

къ дышлу, какъ было у меня по дорогѣ изъ Бреславля въ Дрезденъ, но была запряжена, какъ слѣдуетъ, въ очень удобной экипажъ на два человѣка. Правильность этой упряжки и самая одежда извозчика, хотя и простая, но не дырявая, не заплатаанная, достаточно убѣждали насъ въ томъ, что мы не у себя дома; но зато край былъ въ общемъ такъ похожъ на нашъ, что на каждомъ шагу напоминалъ намъ какую-нибудь знакомую мѣстность и пробуждалъ связанныя съ нею воспоминанія, которыми мы дѣлились на перебой. Это привело Адама въ самое лучшее настроеніе духа, а сходство пейзажа доставило ему, какъ онъ самъ говорилъ, въ сто разъ больше удовольствія, нежели красивѣйшіе виды Рейна». Въ Швейцаріи случайное напоминаніе о Марыль опять вывело Мицкевича изъ равновѣсія. По разсказу Одынца дѣло было такъ. По дорогѣ въ Силюгенъ надо было пробираться по долинѣ Шамъ. Узкая дорожка вилась надъ Рейномъ. Увидя на ней большой камень, Мицкевичъ и Одынецъ принялись въ шутку подкапывать его, но камень неожиданно обрушился, и поэтъ едва не упалъ въ пропасть; къ счастью онъ схватился за дерево и выбрался наверхъ. Настроеніе обоихъ сразу стало серьезное; естественно пришла въ голову мысль о чудесномъ спасеніи и промыслѣ Божьемъ. Во время остановки Одынецъ, любившій дѣтей, забавлялся съ маленькой дочкой хозяина. Мицкевичъ, какъ показываетъ разсказъ его пріятеля, не слишкомъ-то долюбивалъ общество маленькихъ дѣтей, но тутъ смотрѣлъ на ребенка съ такой нѣжностью, что Одынецъ спросилъ, какъ бы онъ относился къ собственнымъ дѣтямъ. Сначала Мицкевичъ шутилъ, говорилъ, что самое трудное съ дѣтьми, какъ со стихами—мыть ихъ и причесывать, потомъ перешелъ въ серьезный тонъ и добавилъ, что онъ любилъ бы дѣтей настолько, насколько былъ бы привязанъ къ женѣ. «Сказавъ это», прибавляетъ Одынецъ (II, 69): «онъ сразу сталъ мраченъ, но потомъ вдругъ спохватился и, желая скрыть волненіе, принялся опять по-своему подшучивать надо мной, но я почувствовалъ, что это было притворство. Когда мы отъѣзжали отъ станціи, онъ, видимо, избѣгалъ разговоровъ; я понялъ, и сталъ думать о своемъ. Но, когда я взглядывалъ на него, выраженіе лица или вѣтрище, лба напоминало мнѣ тѣ времена, когда онъ писалъ четвертую часть «Дѣдовъ», или когда я его встрѣчалъ по дорогѣ изъ Автокольской рощи, гдѣ, гуляя по утрамъ и постѣ обѣда, онъ сло-

жилъ въ теченіе трехъ дней цѣлое посланіе Лелевелю. Такъ какъ онъ велѣлъ слушать это посланіе по мѣрѣ того, какъ прибывала новая часть, а о «Дѣдахъ» никогда не упоминалъ ни одного слова, то я дѣлаю отсюда выводъ, что, если онъ, дѣйствительно, слагалъ сегодня (24 сент. 1829 г.) стихи, и самъ мнѣ ничего не говоритъ о нихъ, то можно поручиться, что это нѣчто *amorososo*. Одынецъ не ошибся. Въ Сплюгенѣ было написано стихотвореніе «Къ ***». Образъ Марыли опять всталъ передъ поэтомъ, въ послѣдній разъ озаривъ его поэзію. «Значить, никогда, никогда я не разстанусь съ тобой! Ты плывешь со мною по морю и идешь со мной по сушѣ; на льдинахъ я вижу твои блестящіе слѣды, и въ шумѣ альпійскаго водопада я слышу твой голосъ. Волосы встаютъ у меня дыбомъ (*mi sie jeża*) когда я, оглядываясь, и хочу, и боюсь увидѣть твое видѣніе. О, неблагодарная. Когда здѣсь, въ этихъ поднебесныхъ горахъ, падая въ пропасти и теряясь среди тучъ, я задерживаю свои шаги, утомленные вѣчными льдами, и стирая съ глазъ брызги воды, ищу сѣверную звѣзду на туманномъ небѣ,—въ это время я ищу Литву, и твой домикъ, и тебя. О, неблагодарная, можетъ быть, въ это самое время ты, царица бала, несешься въ танцѣ впереди веселаго общества, а, можетъ быть, забавляешься новыми любовными интрижками (*miłostkami*), или со смѣхомъ рассказываешь о нашей интрижкѣ (*o naszymi miłostkach*)! Скажи, счастлива ли ты оттого, что твои подданные, склоняя передъ тобой рабскія головы, называютъ тебя: *Госпожа*, что наслажденіе тебя усыпляетъ, а будить веселость, и что даже ни одно воспоминаніе не смущаетъ тебя? Была ли бы ты счастлива, если бы, ставъ моею возлюбленной, ты дѣлила участь вѣрнаго тебѣ изгнанника? Ахъ, я бы водилъ тебя за руку по этимъ скаламъ, я услаждалъ бы пѣснями твой тяжелый путь, я первый бросался бы въ шумящіе ручьи и доставалъ бы изъ воды камни, чтобы твоя ножка прошла по нимъ, не касаясь воды, а ручки твои согрѣвалъ бы поцѣлуями. Въ избѣ горныхъ жителей насъ ожидалъ бы отдыхъ, тамъ я покрывалъ бы тебя своей собственной одеждой, и ты, сидя у очага пастуховъ, засынала и просыпалась бы на моемъ плечѣ!» Всѣ струны IV части «Дѣдовъ» опять задѣты здѣсь, всѣ чувства дѣлитъ съ поэтомъ читатель, кромѣ одного чувства—надежды.

Дождемъ и туманомъ Италія встрѣтила путешественниковъ, которымъ пришлось то спускаться съ горъ Швейцаріи прыжкомъ, то плыть по озеру на простой лодкѣ, покрытой полотномъ. Только въ концѣ сентября добрались до Милана. Письма Одынца изъ Милана полны описаніями чудесъ искусства, впечатлѣніями уличной жизни веселой итальянской толпы, разсказами о театрѣ, но самаго важнаго для насъ, какъ относился ко всему этому Мицкевичъ, мы тщетно стали бы искать здѣсь. Отдѣльныя замѣчанія наивнаго и восхищеннаго автора писемъ, въ родѣ того, что «даже Адамъ пришелъ въ восхищеніе» или, что «Адамъ не заботится о томъ, чтобы непременно увидѣть все, на что стоитъ посмотреть», представляются современными событіямъ и указываютъ на то же сосредоточенное въ себѣ, мало доступное поверхностнымъ взглядамъ впечатлѣніемъ настроеніе Мицкевича. Не знаю, откуда Хмѣлевскій почерпнулъ убѣжденіе, что Мицкевичъ въ Миланѣ былъ въ веселомъ настроеніи духа, поддавался мимолетнымъ впечатлѣніямъ и т. д. (II. 43); Владиславъ Мицкевичъ, какъ всегда, впадаетъ въ противоположную крайность и съ пафосомъ говоритъ о громадномъ впечатлѣніи, которое производили на поэта памятники прошлаго (II. 53). Но тѣмъ ничтожнымъ даннымъ, которыя относятся къ этому времени, можно было бы нарисовать, вѣрнѣе, картину какой-то душевной апатіи, охватившей Мицкевича. Такъ, онъ никому изъ пріятелей не писалъ, предоставивъ эту обязанность Одынцу, не создавалъ, по видимому, и никакихъ литературныхъ плановъ. Но зато, какъ это было въ Одессѣ при такихъ же условіяхъ, какъ это повторилось потомъ въ Познани при томъ же настроеніи душевной усталости и апатіи, Мицкевичъ тянулся къ женщинамъ. По дорогѣ изъ Милана въ Верону онъ встрѣтилъ въ лицѣ одной изъ своихъ спутницъ по diligenzу красивую молодую итальянку, которая уже успѣла узнать отъ Одынца, «что онъ поэтъ, и притомъ великій». Поэтому «съ обѣихъ сторонъ, прибавляетъ Одынецъ, есть стимулы для оживленной бесѣды, въ которую я рѣдко вмѣшиваюсь, предоставивъ ихъ самимъ себѣ». Какъ далеко зашли эти разговоры, сказать трудно, но Мицкевичъ сильно ревновалъ Одынца къ прекрасной Рахели (*Listy z podróży* II. 130), и тотъ, наконецъ, пустился осматривать достопримѣчательности попутныхъ мѣстностей въ одиночествѣ. Въ Vicenza Адамъ вернулся только послѣ 11 часовъ, былъ съ синьорой Рахелей въ театрѣ (II. 137). Такъ, проѣхавъ черезъ Падую,

добрался до Венеціи. Здѣсь днемъ бродили или ѣздили на гондолахъ по каналамъ, вечеромъ шли въ театръ. Случайная встрѣча съ чехомъ, который, увидѣвъ поляковъ, радъ былъ оказать услугу «братьямъ-полякамъ», дала возможность устроиться удобно въ одномъ семействѣ, гдѣ были двѣ хорошенькія молоденькія дочери. Ихъ встрѣтили такъ радушно, что «даже Адамъ обратилъ на это вниманіе и былъ со своей стороны очень любезенъ». Почему *даже*? Потому, что «Адамъ беретъ не шутя уроки (итальянскаго языка) въ обществѣ signora Racheli, которая тоже перѣѣхала изъ гостиницы на частную квартиру къ какой-то вдовѣ адвоката, неподалеку отъ насъ». Синьора, которая казалась Одынецю актрисой (а чѣмъ она была въ дѣйствительности, онъ такъ и не узналъ), была постоянной спутницей ихъ въ разныхъ прогулкахъ; вечера Мицкевичъ проводилъ съ ней. Знакомство было ему не по карману. «*Melkie ragioni* въ Венеціи все болѣе теряли характеръ мелкихъ, такъ что, наконецъ, какъ вѣрный стражъ его кошелекъ, я осмѣлился обратить его вниманіе на это». Мицкевичъ разсердился и потребовалъ, чтобы Одынецъ отдалъ ему его деньги. Всѣ послѣдніе дни пребыванія въ Венеціи онъ былъ въ довольно кислому настроеніи духа. Прощаніе съ синьорой передъ отъѣздомъ изъ Венеціи было тоже мрачно. «Закутанная въ черную мантилю и закрытая черной вуалью, она была какъ будто воплощеніемъ черной минуты разлуки».

На ряду съ этими переживаніями, которыя должны были заполнить «душевную пустоту» поэта въ нныя минуты, въ другія его охватывало все болѣе знакомое ему религіозное и мистическое настроеніе. Однажды ночью, на берегу снокойнаго и гладкаго, какъ зеркало, моря они слышали звонъ колоколовъ, которые били Angelus. «Мы были на холмѣ надъ равниной, гдѣ, на вѣрное, не разъ стоялъ лордъ Байронъ. Я прилежъ на землю, Адамъ стоялъ, опершись о дерево. По лицу его я видѣлъ, что онъ серьезно задумался; поэтому я оставилъ его въ покоѣ и думалъ про себя. Только, когда стало дѣлаться холодно, я всталъ и спросилъ, не озябъ ли онъ? Онъ ничего не отвѣтилъ, но, положивъ руку на мое плечо и смотря мнѣ въ глаза, спросилъ: «Чувствуешь ли ты, кто здѣсь съ нами?» Я былъ увѣренъ, что онъ шутитъ, и все-таки не могу сказать, что этотъ вопросъ, а особенно его тонъ, не произвелъ на меня извѣстнаго впечатлѣнія.

Онъ же, не снимая руки съ моего плеча, говорилъ дальше... Это не была импровизація, но, очевидно, онъ испытывалъ потребность высказать то, о чемъ думалъ». Это были извѣстные, уже приведенныя раньше слова его о Байронѣ и Наполеонѣ, которые, посланные Богомъ бороться со зломъ, не выполнили своего назначенія, только раздражили зло, вызвали его на месть и борьбу. Рано или поздно, говорилъ Мицкевичъ: «придутъ новые посланники, которые продолжатъ ихъ работу съ ихъ свѣтомъ (światło) и силой, но уже въ иномъ духѣ, въ духѣ любви и смиренія: а закончатъ ли ее люди когда-нибудь до окончанія міра, знаетъ только Тотъ, кто самъ есть этотъ духъ и образецъ его даль міру въ своемъ лицѣ. А откуда Адамъ ожидаетъ появленія этихъ новыхъ труженниковъ (прибавляетъ Одынецъ), объ этомъ, дасть Богъ, я расскажу уже когда-нибудь на словахъ, устно». Если даже эти слова написаны послѣ появленія III части «Дѣдовъ», все же можно думать, что они основаны на дѣйствительной бесѣдѣ съ Мицкевичемъ, который и въ письмѣ къ Жуковскому уже думалъ о виленскомъ «Ахиллѣ». Можетъ быть, уже въ эту пору передъ Мицкевичемъ носились смутные замыслы трагедіи Конрада и кесидза Петра. Уже здѣсь борьбу со зломъ онъ считаетъ необходимымъ вести не насиліемъ и не принужденіемъ, но смиреніемъ и любовью.

И другую любопытную подробность сообщаетъ Одынецъ въ своемъ письмѣ изъ Венеціи. «Хотя итальянцы славятся своей музыкальностью, Адамъ утверждаетъ, что ни одна изъ ихъ пѣсенокъ не имѣетъ такого чудеснаго мотива, какъ наша «Гуси, лебеди, домой!» и др. Такъ все время Мицкевичъ оставался душой на родиѣ, и случайное воспоминаніе о Марылѣ опять вызывало на лицѣ его перемену.

По дорогѣ въ Болонію путешественники случайно познакомились со старымъ художникомъ В. Алленомъ, другомъ Вальтеръ-Скотта. Онъ также бѣжалъ во Флоренцію и оказался очень полезнымъ и интереснымъ спутникомъ. Въ самой Флоренціи жило довольно много польскихъ аристократовъ, съ которыми Мицкевичъ познакомился черезъ русскаго посла князя Горчакова, товарища Пушкина по лицію. Наконецъ, 18 ноябрю подъ вечеръ достигли Рима. Еще издали, увидя куполь Св. Петра, «Адамъ снялъ самъ и велѣлъ мнѣ (говоритъ Одынецъ) снять шапку передъ этой тиарой міра», какъ онъ называлъ его. Я помолился въ душѣ за всѣхъ васъ.

Отсюда уже, какъ пилигримы, мы идемъ въ Римъ пѣшкомъ. Тибръ подь нами. Я зачерпнулъ его въ манерку, и мы осушили тостъ за Вилію и Нѣманъ, т.-е. за васъ, которые живете надъ ними. Этотъ мостъ составляетъ какъ будто порогъ Рима и великихъ его воспоминаній. Здѣсь Константину явился крестъ на небѣ. Здѣсь онъ *in hoc signo* *visit*. Здѣсь утопился послѣдній языческій императоръ Максенцій. Молнія Юпитера погасла на Канитолин; Ватиканъ началъ расти изъ катакомбъ. *На площади del Popolo, на ступеняхъ эбелиска, въ 4½ часа.* (Запись на письмѣ). Вотъ мы уже въ Римѣ,—и прежде всего идемъ въ первый костель поблагодарить за это Господа Бога» (II. 386). Процессъ возвращенія къ религіи и церкви уже завершался, какъ видно изъ этихъ торжественныхъ словъ, въ душѣ Мицкевича. Новыя встрѣчи ускорили его и направили всѣ помыслы поэта въ область мистики. Первое время пребыванія въ Римѣ прошло въ осмотрѣ достопримѣчательностей. Книгиня Зинаида Волконская, имѣвшая въ Римѣ дворецъ и жившая какъ разъ въ это время въ Римѣ, приглашала къ себѣ поэта и его спутника, который былъ въ восхищеніи отъ доброты и гостеприимства княгини. «Домъ княгини представляетъ, кажется, очагъ,—писалъ онъ,—около котораго собираются не только ея земляки и выдающіеся иностранцы, но также мѣстные художники и высшая римская аристократія». Здѣсь Мицкевичъ встрѣтился съ такими знаменитостями, какъ Торвальдсенъ, Брюлловъ и др. Русскій посланникъ, князь Гагаринъ, поддерживалъ живыя связи съ поляками, жившими въ Римѣ, и даже называлъ себя посломъ короля Польскаго, такъ какъ самый *raison d'être* своего пребыванія въ Римѣ объяснялъ представительствомъ за польскіе интересы передъ куріей. На одномъ изъ баловъ поэтъ познакомился съ галиційскимъ графомъ Анквичемъ, который пригласилъ Мицкевича къ себѣ. Здѣсь онъ встрѣтился съ дочерью хозяина, молодой и застѣливой дѣвушкой Генріеттой Евой и съ ея подругой Марцелиной Лемницкой. Сначала онъ отнесся къ обѣимъ равнодушно.

Древность со всѣхъ сторонъ обступала Мицкевича. Онъ читалъ по утрамъ Ливія, а днемъ осматривалъ тѣ мѣста, о которыхъ говорилъ римскій историкъ. Задумалъ было писать біографіи польскихъ поэтовъ, набросалъ замѣтки о Карпинскомъ, но такія слабыя и ошибочныя, что, кажется, больше и не возвращался къ этой затѣѣ. Манило другое, что отвѣчало слагавшемуся мистическому взгляду на исторію, хотѣлось написать большой трудъ

о какой-нибудь важной эпохѣ родной исторіи. Но писать было некогда. Жизнь была слишкомъ разнообразна и интересна, не позволяла сосредоточиваться. Такъ же разнообразны были и знакомства. Въ Римѣ жила бывшая голландская королева, жена Луи Бонапарта. Мицкевичъ былъ представленъ скучавшей ex-королеви, удостоился приглашенія на вторники и субботы и особенно внимательнаго пріема. Здѣсь же онъ познакомился и съ будущимъ императоромъ Наполеономъ III, и съ его дядей, Иеронимомъ Бонапартомъ, который когда-то проѣзжалъ черезъ Новогрудокъ. Съ нимъ, утверждаетъ Владиславъ Мицкевичъ (II. 70), у его отца завязались болѣе тѣсныя отношенія. Среди другихъ многочисленныхъ знакомствъ Мицкевича въ Римѣ эта встрѣча съ родомъ Наполеона была особенно многозначительна для развитія поэта. Онъ видѣлъ людей, жившихъ культю великаго человѣка, культю, который онъ и самъ былъ готовъ раздѣлить, и Наполеонъ становился ближе и понятнѣе въ обществѣ ихъ. Въ дальнѣйшихъ идеяхъ Мицкевича французскій императоръ сыгралъ роль, которая едва ли была возможна безъ этого сближенія съ Наполеонидами. Среди другихъ знакомствъ въ Римѣ видное мѣсто занимала русская семья Хлюстиныхъ, особенно Настасья Хлюстина, умъ и изящество которой привлекали тѣмъ поклонниковъ. Однимъ изъ нихъ, — правда, полусутья, — сдѣлался и Мицкевичъ, которому было весело и пріятно въ обществѣ остроумной, свѣтской барышни, нахватавшейся всевозможныхъ знаній и умѣвшей заинтересовать собой людей. Конечно, эта симпатія не была любовью, но она вносила много оживленія и веселья, а позже пріобрѣла болѣе серьезный характеръ. Въ домѣ Волконской собиралась знать. Изъ русскихъ дамъ Одынецъ называетъ княженъ Воронцовыхъ, княгиню Голицыну, другую Голицыну. «Всѣ эти дамы буквально на рукахъ носятъ и балуютъ Адама. Но, что для меня особенно интересно, это какой-то отбѣнокъ, котораго я не встрѣчалъ среди своихъ: иначе говоря, предметомъ этихъ овацій не являются только его сочиненія или его личная гениальность, но какъ будто какой-то общій духъ, представителемъ котораго онъ какъ-то служитъ... Правда, и онъ въ этомъ обществѣ нѣсколько иной, чѣмъ среди своихъ. Въ немъ все та же простота и свобода въ обхожденіи и рѣчи, но вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то достоинство и серьезность, которыхъ онъ не напускаетъ (nie przebiega) среди своихъ. Впрочемъ, и здѣсь это

не напускное, а является естественнымъ результатомъ разумнаго пониманія своего положенія. Конечно, это не устраняетъ вовсе минутъ каприза или протѣлокъ избалованнаго ребенка, но это случается тогда, когда ему надѣдають излишней любезностью или заботливостью» (III. 77-78). И въ томъ же самомъ письмѣ, въ которомъ Одынецъ сообщаетъ объ этомъ ухаживаніи русскихъ дамъ за польскимъ поэтомъ, онъ прибавляетъ нѣсколько подробностей, бросающихъ иной свѣтъ на римскую жизнь Мицкевича, на вліянія, которыя и здѣсь дѣйствовали на него. Мысль поэта продолжала работать въ мистическомъ направленіи. «Недавно я прочелъ книги пророка Даніила, рассказываетъ Одынецъ; онѣ произвели на меня огромное впечатлѣніе. Если бы я чувствовалъ себя великимъ поэтомъ, я написалъ бы на основаніи ихъ поэму или драму, и если бы кто-нибудь, дѣйствительно, это сдѣлалъ, и притомъ хорошо, онъ оказалъ бы великую услугу не только литературѣ, но и всему нашему обществу. Мы много говорили объ этомъ съ Адамомъ. Каждый человекъ, а можетъ быть и народъ, имѣетъ въ себѣ какъ духъ Божій, такъ и таинственный источникъ своей силы, котораго не одолѣють ни человѣческая мощь, ни врата адавы, если только онъ самъ въ себѣ не замутистъ этого источника, или не дастъ ему высохнуть... Человекъ, знающій въ себѣ этотъ истинный источникъ силы Духа Божьяго, есть мудрецъ; человекъ знающій его *въ своемъ народѣ*, пророкъ». Одынецъ надѣялся, что такую именно тему разработаетъ Мицкевичъ. «Но мысль его теперь занята другимъ предметомъ. Это ни болѣе ни менѣе, какъ трагедія «Прометей». Адамъ думалъ надъ ней, по его собственнымъ словамъ, уже давно, но при теперешнемъ своемъ настроеніи и поэтическихъ чувствахъ онъ опять принялъ ее ближе къ сердцу». Вѣрнымъ поводомъ оказалась книжка Брюмъа «О греческомъ театрѣ», которую Мицкевичъ взялъ у Шевырева. Однажды, вернувшись изъ театра, Одынецъ засталъ поэта сидящимъ на диванѣ съ ногами. «Онъ кланялъ головою, какъ равнинъ, надъ книжечкой, разложенной на столѣ, собственно, онъ ея не читалъ, а только раздумывалъ надъ ней и постоянно заглядывалъ въ нее. (Это былъ греческій оригиналъ Эсхила). Выраженіе его лица напоминало мнѣ ту памятную минуту въ Вильнѣ, когда, придя къ нему однажды вечеромъ, я засталъ его сидящимъ съ трубкой передъ печью, и свѣтъ, падающій изъ печки на его лицо, придавалъ ему какое-то неземное

чарующее выражение. Тогда онъ писалъ какъ разъ четвертую часть «Дѣдовъ», о которой я тогда впервые узналъ». Мицкевичъ съ увлеченіемъ сталъ декламировать одну сцену изъ эхилловскаго «Прометея», разговоръ прикованнаго титана съ посланникомъ Зевса, Гермесомъ. «Окончивъ ее, онъ началъ рассказывать мнѣ въ главныхъ чертахъ свой планъ. Это не будетъ ни переводъ, ни даже простое подражаніе греческому поэту, но только далекая парафраза его идеи, приспособленная къ христіанскимъ воззрѣніямъ на духъ. По содержанию же это исконная исторія чело-вѣческаго духа, не лишеннаго, по существу, доброй воли, но введеннаго въ заблужденіе *гордостью*, борющагося съ силами вышшими, или, вѣрнѣе, только болѣе могучими, которыхъ онъ не хочетъ и не можетъ признать, чтобы имъ подчиниться. Такимъ образомъ спасителемъ и освободителемъ Прометея является у Адама не кто иной, какъ Христосъ, сынъ истиннаго Бога, который самъ есть Духъ, наивысшій, могущественнѣйшій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и наилучшій; Онъ — источникъ истины и любви, въ которыхъ единственно заключаются покой, свобода и счастье, изъ-за которыхъ Прометей боролся съ ложными богами, и которыхъ онъ принимаетъ съ уваженіемъ и благодарностью изъ рукъ истиннаго Бога». Это столкновеніе двухъ міровъ, старо- и ново- римскаго: такъ формулируетъ Одынецъ, очевидно, со словъ Мицкевича, идею задуманной имъ трагедіи, въ которой Одынецъ справедливо видитъ связь съ послѣдующей III частью «Дѣдовъ».

Но пока это былъ лишь замыселъ. День проходилъ за днемъ, «барышни» представляли слишкомъ сильное искушеніе, чтобы можно было усидѣть дома и сосредоточиться на работѣ. «Наша ли вина, что для настоящей работы у насъ не было ни минутки свободной, да, вѣроятно, и не будетъ», съ комическимъ ужасомъ восклицаетъ простодушный пріятель Мицкевича. Дѣйствительно, изъ того расписанія ближайшихъ трехъ дней, которое онъ приводитъ, видно, что оба они жили въ какомъ-то чадѣ. Букетъ самыхъ звонкихъ именъ разсыпался передъ ними: князь Радзивилль, графъ Замоійскій, разные послы, завтракъ у Гагарина въ обществѣ дипломатовъ, вечеръ у Волконской... Въ отчетѣ Одынца чувствуется порядочная доза тщеславія.

Съ Анкивичами завязывались уже въ эту пору, передъ Рождествомъ 1829 года, болѣе тѣсныя отношенія. На рожденіе Мицкевича, которое приходилось въ сочельникъ, въ ихъ домѣ, «что-

бы почтиту Адама» былъ устроень ужинъ, «въ полномъ соотвѣтствіи съ польскимъ ритуаломъ». Среди аристократіи должны были пройти для нихъ обоихъ и слѣдующіе дни праздниковъ.

«Панна Генріетта (дочь Анквича) будетъ (на Рождествѣ, на балахъ у пословъ) совершать свои первые выѣзды въ свѣтъ; поэтому естественно, что мы предпочтемъ сопровождать ее на эти балы, нежели мучиться съ Прометеемъ около скалы». Какъ ни объяснять позднѣйшія отношенія Мицкевича къ Генріеттѣ Анквичъ, это брошенное вскользь замѣчаніе Одынца указываетъ на извѣстную близость поэта къ молодой аристократкѣ. О томъ, что уже въ эту пору друзьямъ его могли приходиться въ голову матримональные планы, свидѣтельствуетъ слѣдующее письмо Одынца (28 дек. 1829 г.), въ которомъ онъ описываетъ ужинъ у Анквичей, устроенный въ честь Мицкевича. На пожеланіе исполненія ея желаній «она вся покраснѣла, какъ роза, и, поднявъ глаза, бросила на меня одинъ взглядъ, но какой! Блескъ метеора ничто въ сравненіи съ этимъ свѣтомъ, который вдругъ озарилъ меня внутри. Я угадалъ и понялъ все, и былъ пораженъ какъ будто молніей. Въ этомъ взглядѣ высказалась душа. Въ немъ было и несмѣлое доверчивое признаніе сестры и мольба, обращенная ею какъ бы къ брату: «Помоги мнѣ!» Господи, какъ хотѣлось бы мнѣ этого. Но эта обязанность упала на меня, какъ камень. Я не говорю, что хочу отъ нея уклониться, но что же мнѣ дѣлать-то? Я борюсь съ мыслями, какъ съ волнами, по которымъ не умѣю плавать. Вижу счастье такъ близко; повидимому, оно такъ доступно! Кажется, самые ангелы указываютъ на него. Но свѣтъ, но люди!.. И прежде всего первый онъ самъ, о которомъ идетъ рѣчь. Его самого я боюсь больше всего, ради него самого. Можетъ быть, потому, что его я лучше всего знаю, а о другихъ составляю только представленіе, какое захочу. И хоть бы я могъ поговорить съ нимъ! Но объ этомъ нечего и думать. Я не знаю даже, что онъ задумалъ дѣйствительно: мысль его чѣмъ-то занята, это я вижу. А что если въ немъ снова пробудится Густавъ?» продолжаетъ свои патетическія восклицанія Одынецъ, который, какъ видимъ, чрезвычайно близко къ сердцу принялъ обязанности свата. Не слишкомъ ли онъ сибильничилъ, увидѣвъ то, чего не было? Во всякомъ случаѣ на пути Мицкевича опять стояла дѣвушка, которая могла привлечь его

сердце, гѣбная и художественная натура, принадлежавшая къ тому кругу общества; который всегда манилъ къ себѣ поэта.

Очень характерное признаніе онъ дѣлаетъ самъ въ письмѣ, посланномъ мѣсяцъ спустя (2 февраля 1830 г.) самому интимному изъ тогдашнихъ друзей, Фран. Малевскому. «Уже прошло то время, говоритъ Мицкевичъ, когда люди женятся сами, наступаетъ (для меня) эпоха, когда ихъ женять другіе; я опасаясь, что дождусь лѣтъ, въ которыхъ, какъ говорится, чортъ путаетъ». Одынецъ не считался съ такимъ настроеніемъ поэта: вѣчно агитированный, постоянно болтающій и суемящійся, la bonne de M. Mickiewicz, какъ его называла римская чаровательница Хлюстина, хорошая пріятельница Мицкевича въ эту пору,—Одынецъ все болѣе наскучивалъ поэту. Въ началѣ 1830 года Мицкевичъ жаждетъ на полное одиночество, на отсутствіе общаго языка съ Одынцомъ, котораго отдѣляетъ отъ него цѣлая пропасть. И настроеніе его не было веселое, хотя шутливыя записки къ Анастасіи Хлюстиной, внушавшей ему «мальчишескую веселость», указываютъ какъ будто на обратное. Извѣстія съ родины не были радостны: застрѣлился К. Дашкевичъ, безнадежно влюбленный въ Каролину Явишъ, умеръ въ бѣдности и забвеніи другой филаретъ Соболевскій; на братьевъ Мицкевича, которые тоже были привлечены къ процессу, свалилось новое бремя: военный губернаторъ требовалъ отъ нихъ уплаты судебныхъ издержекъ; на новгородскомъ домѣ лежали налоги. Такимъ образомъ приходилось помогать родственникамъ, а у самого поэта денегъ было весьма немного. Къ тому же заграничные почитатели распространяли о немъ недѣйствительныя слухи, которыя могли только повредить и ему, и его друзьямъ. То начинали рассказывать о громадномъ политическомъ значеніи «общества промышленовъ», которое представляло собой чуть не заговоръ, то о самомъ Мицкевичѣ пускали слухъ, будто онъ прожилъ семь лѣтъ въ Сибири въ ссылкѣ, и поэтъ справедливо опасался, чтобы его не обвиняли въ намѣренномъ изображеніи изъ себя политической жертвы. И было ему скучно и одиноко. «Не знаю, почему больше, чѣмъ раньше, охватила меня тоска по родинѣ», пишетъ онъ въ февралѣ. Жизнь его въ Римѣ вовсе не такъ завидна, какъ могло бы показаться, читаемъ мы въ этомъ письмѣ. Климатъ ужасный, вѣчная сырость, въ домахъ холодъ. «Два мѣсяца сижу, зашптый въ кафтанъ, халатъ и плащъ. Только выходя на улицу,

одъваюсь болѣе легко». Холодъ такъ «седеморализоваль», что муза заснула, и рукъ нельзя высунуть изъ-подъ плаща. Когда нишешь, приходится дуть на пальцы. «Цѣлые дни провожу за книжкой, а вечеромъ иду куда-нибудь чай пить, а иногда на балъ». Это было праздное, безпечное существованіе, которое не могло наполнить души содержаніемъ. вмѣстѣ съ тѣмъ все чаще прорываются нотки сожалѣнія, что наступаетъ старость (въ 31 годъ!), посѣдѣли волосы. Такъ жить было скучно, и душа поэта искала пріюта. Было естественно, что сначала простая симпатія къ юной Евѣ Анквичъ начала превращаться въ болѣе серьезное чувство. Личность Евы не представляетъ ничего загадочнаго и неяснаго, какъ личность Марыли. Сынъ поэта съ обычнымъ своимъ пристрастіемъ изображаетъ ее въ довольно непривлекательныхъ чертахъ: это была хорошенькая барышня, очень начитанная, очень музыкальная, знакомая съ достопримѣчательностями Рима и съ новѣйшей французской и англійской поэзіей. Она казалась себѣ байронической героиней, заливалась слезами надъ сочиненіями англійскаго поэта, жалѣла, что онъ не нашель достойной себя утѣшительницы. При этомъ она не была лишена патріотическихъ чувствъ, выражала глубокое состраданіе литовскимъ жертвамъ; она не отличалась религіозностью, но горячо защищала католицизмъ. А вообще,—дѣлаешь выводъ изъ характеристики Владислава Мицкевича, это была не глубокая натура, больше представлявшаяся серьезной, чѣмъ бывшая такою въ дѣйствительности. Впослѣдствіи это была свѣтская львица, любившая суету и поклоненіе. Такъ, по поводу восклицанія Мицкевича, увидѣвшаго Генріетту на первомъ ея балу: «Я не узналъ бы васъ, такая вы парядная и свѣтская»,—сынъ поэта мрачно прибавляетъ: «давая ей понять, что онъ предпочитаетъ видѣть ее въ будничномъ платьѣ (откуда это?), Мицкевичъ не угадалъ, какое мѣсто наряды и свѣтскость займутъ впослѣдствіи въ жизни этой еще тихой и скромной барышни». Хмѣлевскій противопоставляетъ двухъ дѣвушекъ, въ обществѣ которыхъ поэтъ такъ часто вращался въ Римѣ: съ одной стороны, А. Хлюстина—«салонная смѣлость, увѣренность въ себѣ, блестящее остроуміе», съ другой Генріетта—Ева Анквичъ—«и нѣкоторая простота, наивность, немножко сентиментальность». Мало-по-малу «прелестъ кроткой сердечности и наивности начала дѣйствовать на поэта сильнѣе, нежели блескъ яркаго остроумія и пронизательнаго

ума». Какое чувство соединяло Мицкевича съ этой дѣвушкой, которая была его чичеропе въ осмотръ римскихъ древностей и такъ плѣняла его своимъ художественнымъ настроеніемъ, своей приверженностью къ католицизму и чуткимъ состраданіемъ къ участи Литвы? Знакомые поэта утверждали въ послѣдствіи, что это чувство не было глубоко. «М-ле Генриетта цѣнила не человѣка, но поэта, любила его славу, но не живое лицо. И тотъ и другой старались внушить себѣ чувства, которыхъ не испытывали. Это не была любовь. Я не придавала особаго значенія такимъ увлеченіямъ, лишеннымъ будущаго». Это приговоръ Хлюстиной (въ послѣдствіи граф. Де-Сиркуръ). Княгиня Сангушко, также свидѣтельница этого романа, увѣряла Владислава Мицкевича по поводу писемъ Одынца, что въ нихъ «много поэтическихъ преувеличеній; самая эта любовь не представляла ничего большого (nie była nic wielkiego)». Пусть такъ. Но поэтъ, хотя и намеками, сдѣлалъ предложеніе Генриеттѣ. Въ исторіи его мистическихъ настроеній эта встрѣча также не прошла безслѣдно. Конечно, сдѣлаться опять «Густавомъ», чего опасался такой плохой психологъ Одынецъ, Мицкевичъ уже не могъ, потому что у него не могло уже быть прежней свѣжести чувства, не могло быть по отношенію къ подростку чувства равнаго и требовательнаго, какое было къ Марылѣ. Но нѣжная и добрая любовь пожившаго человѣка къ молодой дѣвушкѣ, которая кажется ему возможной женой,—такая любовь теплилась и теперь въ душѣ поэта. Въдѣ именно такое чувство соединило его въ послѣдствіи и съ Целиной Шпмановской, ставшей его женой. Мицкевичу нужно было жениться, крѣпко привязаться къ одной женщинѣ, и инстинктивно онъ искалъ ее. Генриетта Анквичъ подходила къ его требованіямъ, какъ и Целина. А сама она относилась къ Мицкевичу съ такимъ чистымъ, дѣвическимъ обожаніемъ, съ такой гордостью отмѣчала, что осматривала то или другое произведеніе въ обществѣ «другого возвышеннаго гения», съ такой нѣжностью связывала для него букетки изъ розъ! Изъ этой дружбы могъ выйти хорошій бракъ. Глупая спесь польскаго шляхтича разрушила и на этотъ разъ счастье поэта.

Выраженіемъ этого чувства было стихотвореніе, написанное Мицкевичемъ въ альбомѣ Генриетты весной 1830 года. О времени, когда написано это стихотвореніе, было много споровъ. Одынецъ въ письмѣ отъ 24-го марта заявляетъ, что «послѣ цѣ-

лаго дня странствованій по развалинамъ, которыя объясняла имъ Генріетта, пока онъ самъ, еле живой, спалъ летаргическимъ сномъ, Мицкевичъ долженъ былъ просидѣть, по меньшей мѣрѣ, два часа, и написавъ сначала свое имя наверху альбомнаго листка, подписалъ подъ нимъ: «Моему Чичероне»... Этотъ день на недѣлю предшествовалъ 24-го марта, когда было написано самое письмо: слѣдовательно приходился на половину марта. Между тѣмъ, подъ заголовкомъ стихотворенія написано: «Римъ, 1830, апрѣля—». За тѣмъ идетъ стихотвореніе, которое написано другими чернилами, нежели посвященіе. Такимъ образомъ, возможно, что дата была приписана позже, въ апрѣлѣ, когда все уже было кончено. Разсказъ объ этомъ концѣ въ изложеніи Одынца такъ тѣсно связанъ съ возникновеніемъ посланія въ мартѣ, что приходится допустить или полный вымыселъ со стороны Одынца, или что стихотвореніе возникло дѣйствительно въ мартѣ. Вотъ это посвященіе: «Мой Чичероне! Вотъ какой-то странникъ начертилъ на памятникѣ незнакомое, неясное имя въ знакъ того, что онъ былъ въ Римѣ. Я хочу знать что-нибудь объ этомъ странникѣ. Можетъ быть, скоро приметъ его въ свое убѣжище сердитая волна; можетъ быть, пѣмой песокъ утантъ его жизнь и приключенія, и никогда мы ничего не узнаемъ о немъ. Я хочу отгадать, что онъ чувствовалъ и думалъ, когда въ твоей книгѣ, въ итальянской землѣ, онъ начертилъ вмѣсто цѣлой надписи это имя, этотъ единственный свой слѣдъ на дорогѣ жизни. Дрожащею ли рукой, послѣ долгаго размышленія, онъ медленно вырѣзывалъ его, какъ надгробную надпись въ скалѣ? Или бросилъ его небрежно передъ отходомъ, какъ одинокую слезу во время прощанья? О, мой Чичероне! У тебя дѣтское личико, но старая мудрость свѣтится надъ твоимъ челомъ; ты была для меня ангеломъ-проводникомъ по римскимъ воротамъ, могиламъ и святынямъ. Ты умѣешь проникнуть взоромъ даже въ сердце камня, а когда ты бросишь взглядъ своихъ голубыхъ глазъ, по одному слову ты узнаешь прошлое. Ахъ, можетъ быть, ты знаешь и будущее пилигрима?» Въ апрѣлѣ 1830 г. Мицкевичъ и Одынецъ въ домѣ Анквичей справляли пасху; при этомъ старый графъ чокнулся съ поэтомъ за исполненіе всѣхъ его желаній. Какъ это было понять? Одынецъ рассказываетъ, что Мицкевичъ какъ будто избѣгалъ провести этотъ день въ Римѣ: въ концѣ марта онъ настаивалъ на томъ, что на Пасху долженъ ѣхать въ Неаполь, и сѣтовалъ

на пріятеля, что тотъ отговорилъ сдѣлать это раньше. Кажется, поэтъ самъ боялся того чувства, которое охватило его, и, не вѣря въ удачу, хотѣлъ развязкой положить ему естественный конецъ. Какъ-то въ началѣ апрѣля Одынецъ пошелъ къ Анквичамъ и тамъ нашелъ также какое-то напряженное настроеніе. Графъ прочелъ стихотвореніе, отъ этого, вѣроятно, и «скисъ». Впрочемъ, добавляетъ Одынецъ, все это только мое предположеніе, не больше.

Какъ бы то ни было, отношенія сохранились хорошія; Пасху какъ и Рождество, Мицкевичъ встрѣчалъ въ домѣ Анквичей. Впрочемъ, здѣсь было около 40 человекъ, «почти всѣ живущіе въ Римѣ поляки» (III, 342). Вниманіе къ Мицкевичу выразилось въ томъ, что специально для него былъ выписанъ откуда-то хрѣнъ, такъ какъ, по его дѣтскимъ воспоминаніямъ, на пасхальномъ столѣ, непременно, долженъ былъ красоваться поросенокъ съ хрѣномъ въ зубахъ. И опять пили за исполненіе *«всѣхъ»* желаній Адама, при чемъ въ тонѣ многихъ желающихъ ему счастья нетрудно было угадать мысль болѣе глубокою, которую, повидимому, поняли и хозяева, а бѣдная панна Генріетта краснѣла все время, какъ роза. Ахъ, если бы исполнились всѣ эти желанія». Въ половинѣ апрѣля Мицкевичъ былъ нездоровъ и нѣсколько дней пролежалъ въ постели, а въ это время Одынецъ по собственной инициативѣ переговорилъ съ графиней Анквичъ, которая высказала полное сочувствіе къ разсказу Одынца. Но иначе, повидимому, отнесся самъ графъ. Не объясняясь съ Мицкевичемъ, онъ объявилъ, что 1 мая вся семья поѣдетъ въ Парижъ. Это былъ отказъ, пренебрежительный, не достаивающій великаго поэта даже нѣсколькихъ словъ объясненія, но самый приличный по виѣшности. Мицкевичъ могъ продолжать знакомство до самаго отъѣзда семьи изъ Рима. И онъ, дѣйствительно, участвовалъ съ Генріеттой въ послѣднихъ экскурсіяхъ, даже импровизировалъ по поводу участи Беатриче Ченчи. 4 мая Анквичи, задержавшись въ Римѣ вслѣдствіе смерти знакомаго, выѣхали. Мицкевичъ подарилъ Генріеттѣ два тома петербургскаго изданія своихъ сочиненій съ надписью: «Въ день ея отъѣзда изъ Рима, 4 мая 1830 года», а на первой страницѣ написали: «Въ воротахъ del Popolo. Выѣзжая изъ Рима, не будемъ плакать ни днемъ, ни ночью, будемъ здоровы, до свиданія». А Одынецъ разсказываетъ, что Мицкевичъ проводилъ дамъ до первой станціи и вернулся домой кроткій и смягченный. Черезъ день, 6 мая 1830 г., вмѣстѣ съ Одынцемъ онъ

тоже покинулъ Римъ. Но ѣхалъ въ другую сторону, не на Флоренцію, какъ Анквичи, а въ Неаполь. Теплое чувство къ дѣвушкамъ у него сохранялось, несмотря на оскорбленное самолюбіе. Конечно въ немъ не было ничего бурнаго, ничего густавовскаго, но еще въ Неаполь Мицкевичъ пишетъ «Къ Г***. Приглашеніе въ Неаполь» (Подражаніе Гете)... «Ты знаешь край, гдѣ зрѣютъ апельсины?..» И здѣсь опять поэтъ называетъ себя пилигримомъ, словомъ, которое онъ все чаще связываетъ со своими скитаніями. «Знаешь ли ты этотъ край? Ахъ, здѣсь, моя милая, для меня былъ бы рай, если бы ты была со мной!»

Встрѣча съ Генриеттой и короткій, спокойный романъ представляетъ лишь одинъ изъ эпизодовъ римской жизни Мицкевича, эпизодъ, не лишенный значенія именно въ той духовной обстановкѣ, въ которой тогда вращался поэтъ. Именно въ эту пору въ немъ завершался процессъ возвращенія къ религіи. Этотъ процессъ начался въ Москвѣ, сильно подвинулся впередъ въ Петербургѣ; онъ развивался въ продолженіе всего его путешествія по Германіи, и въ Римѣ, столицѣ католичества, естественно привелъ къ вспыскѣ религіознаго чувства. Противопоставленіе разума вѣрѣ, ведущее свое начало еще отъ Виленскихъ временъ, но именно въ Москвѣ, въ средѣ славянофиловъ, нашедшее себѣ новое выраженіе, привело къ тому, что первенство было отдано вѣрѣ и чувству. Приведенныя въ предыдущихъ главахъ свидѣтельства не позволяютъ мнѣ согласиться съ отзывомъ проф. Калленбаха («Ad. Mickiewicz», I, 282), будто только «подъ южнымъ солнцемъ таяла оболочка религіознаго индеферентизма, приобрѣтеннаго во время странствованія по Россіи». Поэтъ началъ обнимать мыслью все болѣе и болѣе широкіе горизонты, началъ объединять ихъ общимъ очагомъ (ogniwem) вѣры. Зародыши этого настроенія мы встрѣчали уже въ Петербургѣ подѣ влияніемъ общенія съ Олешкевичемъ, но они замирали подѣ космополитическимъ вѣяніемъ петербургскихъ салоновъ, среди впечатлѣній поѣздки по Германіи и т. д. Едва ли съ мнѣніемъ проф. Калленбаха можно согласиться послѣ тѣхъ многочисленныхъ извлеченій изъ произведеній самого поэта и рассказовъ Одынца, которыя были приведены выше.

Несомнѣнно, однако, что въ Римѣ были обстоятельства, сильно способствующія разрушенію послѣдней «оболочки индиферентизма». Это были новыя знакомства съ художниками, мистиками и

духовными лицами, фанатически преданными церкви. Съ галиціаниномъ, художникомъ Войцехомъ Сатлеромъ Мицкевичъ сошелся въ началѣ 1830 года. Въ февралѣ онъ писалъ Ежовскому слѣдующее: «Постепенно раскрываются мои глаза на искусство, которое я начинаю понимать и различать. Мнѣ сильно помогаетъ одинъ художникъ полякъ Сатлеръ, сужденія котораго много значать для меня». Сатлеръ познакомилъ поэта съ прерафаелитомъ Овербекомъ, выразителемъ христіанскаго настроенія въ живописи. Сатлеръ описываетъ ихъ первую встрѣчу въ характерныхъ патетическихъ выраженіяхъ: «Передъ нами въ дверяхъ стоялъ самъ Овербекъ. Поэты слились, какъ одно пламя. Они познали другъ друга, какъ знакомые предвѣчные духи. Овербекъ показывалъ ему рисунки образовъ изъ св. Письма. Когда черезъ часъ мы разстались съ нимъ, Мицкевичъ сказалъ прерывающимся голосомъ, точно ему мѣшало сильное біеніе сердца: я не зналъ, на что смотрѣть, на него или на его картины?» И позже, по свидѣтельству Сатлера, онъ утверждалъ, что въ картинахъ Овербека ему чудились откровенія древнихъ пророковъ. Эта живопись такъ гармонировала съ образами «Вѣчнаго Города». Не разъ, рассказываетъ тотъ же Сатлеръ: въ лунныя ночи мы отправлялись на старый форумъ Колизея. Тамъ онъ сидѣлъ скромно, какъ *пилигримъ*, подъ деревяннымъ крестомъ, стоящимъ на серединѣ арены, и сосредоточивался въ себѣ, какъ будто пораженный видомъ львовъ и тигровъ, которые по мановенію Нерона бросались пожирать христіанъ...

Молодой графъ Владиславъ Замойскій встрѣтился въ это время въ Римѣ съ Мицкевичемъ, почитателемъ котораго онъ былъ уже давно. Его поражала и раньше трезвость политическихъ взглядовъ поэта, высказанныхъ въ полемической статьѣ противъ наивнаго варшавскаго политиканства (въ предисловіи 1829 г.). Теперь въ Римѣ глубокое впечатлѣніе на Замойскаго произвели вѣра и набожность Мицкевича. «Вѣра его, привязанность къ церкви, утвержденіе черезъ вѣру въ любви къ родинѣ: все это внушило мнѣ впервые мысль, что не такъ трудно, какъ казалось, согласить самыя горячія чувства поляка съ равно горячей любовью къ церкви и ревностнымъ соблюденіемъ ея наставленій». (Jenerał Zamoyski. *Poznań*. 1910. I. 325).

Мицкевича все больше тянуло изъ блестящихъ гостинныхъ къ немногимъ людямъ, настроеннымъ такъ же, какъ онъ. Это были больные и уже порывавшіе свои земные счета люди, ксендзь

Парчевскій, смерть котораго, исполненная радостнаго смиренія вѣрующаго христіанина, глубоко взволновала польскую колонію Рима и отсрочила на нѣсколько дней отъѣздъ Анквичей, и гегелянецъ, чахоточный поэтъ Гарчинскій, съ которымъ Мицкевичъ сошелся особенно близко. Принадлежала къ этому кружку и другая молодежь, и среди нея поэтъ чувствовалъ себя прекрасно. Особенное удовольствіе доставляли ему рассказы изъ старой польской жизни. Онъ не могъ удержаться отъ радостнаго хихиканья, говоритъ Сатлеръ, когда рѣчь заходила о продѣлкахъ Пана Коханку (Радзивилла). Въ этой обстановкѣ Мицкевичъ еще ближе примыкалъ къ прошлому своего народа; въ немъ уже подготовлялось настроеніе, приведшее къ созданію «Пана Тадеуша». Естественнымъ образомъ сближеніе съ церковью своего народа стало его душевной потребностью. Если прежде онъ не выходилъ за предѣлы общихъ теоретическихъ разсужденій о первенствѣ вѣры передъ разумомъ, то теперь и самые обряды церкви вызываютъ въ немъ умиленіе. Выраженіемъ этихъ чувствъ было поздравительное стихотвореніе по поводу причастія, посвященное набожной и кроткой подругѣ Генриетты, Марцеллинѣ Лемпичкой. Во время экскурсій въ маленькое горное мѣстечко Генеззано вся компанія зашла въ церковь стараго средневѣковаго монастыря. «Нашего пріѣзда точно ждали, рассказываетъ Одынецъ (III, 321) : едва мы вошли внутрь, раздался звонокъ, и за нимъ послышались звуки органа; изъ сакристіи вышло духовенство, направившись къ прекрасной и богатой часовнѣ, гдѣ находится чудотворный образъ Божьей Матери. Мы выслушали святую мессу, *во все время которой Адамъ стоялъ на колѣняхъ*, какъ нѣкогда вмѣстѣ со мной въ Остробрамскихъ воротахъ, въ день своего отъѣзда изъ Вильны. Послѣ мессы дамы исповѣдывались, а мы въ это время осматривали церковь». Потомъ дамы причащались; потомъ туристы закусывали въ монастырѣ и осматривали его достопримѣчательности. «Завязалась длинная бесѣда о монашеской жизни, при чемъ Адамъ съ такимъ убѣжденіемъ и горячностью доказывалъ ея необходимость въ человѣческомъ обществѣ и въ такихъ поэтическихъ краскахъ описывалъ ея наслажденія, что даже противникъ, какъ Стржелецкій, наконецъ, былъ, повидному, убѣжденъ, а панна Марцеллина, которая одна изъ всѣхъ насъ чувствуетъ влеченіе къ такой жизни, была такъ тронута, что у нея неволью полились слезы. Она сама, бѣдняжка, сконфузилась,

по слезы ея были не безплодны». Вернувшись домой, Мицкевичъ написалъ первое изъ своихъ религіозныхъ стихотвореній. «Сегодня Христосъ за столомъ своимъ угостилъ тебя, сегодня не одинъ изъ ангеловъ позавидовалъ тебѣ», начинается поэтъ. «Ты опускаешь очи, которыя горятъ божествомъ; какъ трогаешь ты меня своимъ смиреніемъ! Святая и скромная!» А ночью у ея постели сидѣлъ ангель-хранитель, склоняясь надъ ней, какъ мать надъ спящимъ младенцемъ. «Наслажденія всѣхъ дней я не считалъ бы ни за что, если бы хоть одну ночь я прогрезилъ, какъ ты!» А во время этихъ ночныхъ прогулокъ по Колизею Мицкевичъ говорилъ о таинственной силѣ христіанства, которое, «выйдя изъ маленькаго еврейскаго городка, разрушило величайшее на свѣтѣ государство, болѣе могущественное, нежели царство Николая I, и на развалинахъ его поставило крестъ». Такъ къ отъѣзду изъ Рима поэтъ сталъ смиреннымъ служителемъ папъ. Задумчивый, молчаливый, онъ бродилъ по Неаполю въ обществѣ Одынца; потомъ, желая полнаго одиночества, онъ поѣхалъ одинъ въ Сицилію, гдѣ пробылъ нѣсколько дней. А въ Неапольъ его поджидали Хлюстины и Потоцкіи, которые не любили меланхолин. Съ ними надо было держаться веселымъ и остроумнымъ, и Одынецъ постоянно отмѣчаетъ, съ какой быстротой Мицкевичъ отражалъ каламбуры Хлюстиной. Сохранившіяся записочки его къ ней также остроумны и исполнены рыцарскаго почитанія. И вотъ Неаполь, Помпей, кратеры Везувія, Салерно быстро смѣнялись въ дорожныхъ впечатлѣніяхъ поэта, перемѣшиваясь съ разными пикниками, балами, веселыми ужинами. Что у него, дѣйствительно, было на душѣ, мы не узнаемъ изъ себялюбивой болтовни Одынца. И только посланіе къ Генриеттѣ, полное тоски о возможномъ для него счастья со своей Миньоной, позволяеть увидѣть въ душѣ его неудовлетворенность, которая укрывалась отъ спутниковъ. 20 іюня 1830 года Мицкевичъ опять уже былъ въ Римѣ, у воротъ котораго его встрѣчали друзья. Но теперь онъ провелъ въ этомъ городѣ всего десять дней: его тянуло въ Швейцарію. «Положеніе мое во многихъ отношеніяхъ можетъ считаться завиднымъ, писалъ онъ въ своемъ обычномъ шутливомъ тонѣ Игнатію Домейкѣ: когда мы съ трубкой во рту совѣтуемся, гдѣ намъ лучше провести карнавалъ, въ Неаполь или въ Римѣ, и куда ѣхать на зиму, въ Парижъ или Лондонъ, насъ можно поставить рядомъ съ владѣтельными герцогами, которыхъ здѣсь таскается такая

тъма. При этомъ у меня есть счастливый талантъ не думать о завтрашнемъ днѣ, и никто не докажетъ мнѣ, что я не важный баринъ, пока у меня въ карманѣ есть наполеондоры». Впрочемъ этихъ послѣднихъ у Мицкевича было уже маловато, и о завтрашнемъ днѣ приходилось думать. Можетъ быть, поэтому, не слишкомъ долго медля въ Римѣ, уже 1 июля Мицкевичъ опять въ сопровожденіи Одынца двинулся на сѣверъ. Изъ Флоренціи черезъ Пизу дорога лежала на Геную. «Почему во время этого путешествія изъ Пизы въ Геную, имѣя передъ глазами чудные пейзажи, поэтъ оказался такъ настроеннымъ, что у него вылилось стихотвореніе къ «Матери полькѣ», такое печальное, какъ судьба поколѣній, которыя возрастаютъ для палача и гибнутъ въ тюрьмахъ и на висѣлицахъ?» спрашиваетъ Владиславъ Мицкевичъ (II, 124). Дѣйствительно, изъ писемъ поэта мы знаемъ, какъ неотступно тревожили его мысли объ участи товарищей, раскиданныхъ по Россіи. И чѣмъ самому ему было лучше, тѣмъ больше мучила его совѣсть за нихъ. Филареты умирали въ Россіи, какъ погибли Соболевскій и К. Дашкевичъ; другіе томились въ глухихъ мѣстахъ ея, и лишь онъ, прославленный, забалованный всеобщимъ поклоненіемъ поэтъ, наслаждался этими чудными картинами и жилъ привольной, свободной жизнью художника. И чуткая совѣсть обращалась къ его душѣ и твердила ему, что онъ все еще слишкомъ мало сдѣлалъ для своего народа, а Богъ, къ которому съ такой искренностью вернулся Мицкевичъ въ Римѣ, требуетъ отъ людей непрерывнаго служенія Ему. На свадьбѣ Сатлера, женившагося въ Италіи на итальянкѣ, поэтъ за нѣсколько дней до отъѣзда въ Пизу произнесъ тостъ, который такъ соответствовалъ его тогдашнимъ чувствамъ. Талантъ и вдохновеніе, говорилъ онъ, Божій даръ, и все искусство и весь трудъ художника должны обращать и возносить мысли и чувства людей къ Божьимъ цѣлямъ. Между тѣмъ люди не дѣлаютъ этого, а въ хвалебныхъ статьяхъ, которыхъ не мало тогда выходило въ иностранныхъ газетахъ и журналахъ по поводу Мицкевича, этотъ послѣдній видѣлъ, по большей части, такое непониманіе себя и такой вредъ Польшѣ и филаретамъ, которые намѣренно изображались страшными революціонерами, что его душа была охвачена глубокой тревогой. Вотъ почему въ самой красивой части Италіи, подъ лучезарнымъ небомъ юга, слагаются скорбныя ноты обращенія къ матери полькѣ. Еще въ апрѣлѣ 1830 года онъ пи-

саль: «Смерть нашихъ друзей пробудила меня отъ усыпленія надеждами. Неужели мы будемъ только вздыхать о Иерусалимѣ нашего возвращенія и совмѣстной жизни, умирая одинъ за другимъ?» Картина Рафаэля, изображающая младенца Спасителя съ крестомъ, дала одинъ изъ образовъ для этого стихотворенія. «О, мать полька! Если въ глазахъ твоего сына горитъ сіяніе генія, если на его дѣтскомъ челѣ свѣтятся гордость и благородство прежнихъ поляковъ: если, покинувъ кружокъ ровесниковъ, онъ бѣжитъ къ старцу, который поетъ ему думы; если со сложенной головой онъ внимаешь повѣсти о дѣяніяхъ предковъ,—о, мать полька, на плохой дорогѣ твой сынъ! Стань на колѣни передъ образомъ Скорбящей Богоматери и смотри на мечъ, который пронзилъ ея сердце. Такимъ мечомъ пронзить твою грудь твой врагъ! Если въ спокойствіи процвѣтетъ даже весь міръ, если даже примирятся правительства, народы, партіи,—сынъ твой все-таки будетъ вызванъ на бой безъ славы и на муки... безъ воскресенія. Вели же ему скорѣе удалиться въ уединенную пещеру, думать, лечь на рогожи, дышать гнилыми влажными испареніями, дѣлать ложе съ ядовитой змѣей. Тамъ онъ научится скрывать подъ землей свой гнѣвъ и быть, какъ пропасть, непроницаемымъ въ своихъ мысляхъ и, точно гнилыми дыханіями, потихоньку отравлять рѣчью и, какъ холодная змѣя, принимать скромный видъ. Нашъ искупитель, младенцемъ въ Назаретѣ, любилъ свой крестикъ, на которомъ онъ спасъ весь міръ. О, мать полька, я забавлялъ бы твое дитя его будущими игрушками. Пораньше скрути ему руки цѣпью, прикажи приковать его къ тачкѣ, чтобы онъ не поблѣднѣлъ передъ молотомъ палача, чтобы онъ не вспыхнулъ при видѣ веревки. Вѣдь онъ не пойдетъ, какъ прежніе рыцари, водворить побѣдоносный крестъ въ Иерусалимѣ или, какъ воины Новаго Свѣта, пахать ниву свободы... Онъ будетъ поливать землю кровью. Вызовъ пришлетъ ему невѣдомый шпіонъ, въ битву съ нимъ вступить неправый судъ, ареной битвы будетъ подземелье, а приговоръ произнесетъ могущественный врагъ. Могильнымъ памятникомъ побѣжденному останется сухія бревна висѣлицы, а вся его слава — будетъ недолгій плачъ женщины и долгія ночныя бесѣды земляковъ».

Въ Генуѣ Мицкевичъ едва не сдѣлался авторомъ опернаго либретто. Случайная встрѣча съ опернымъ капельмейстеромъ полякомъ заставила его выработать даже схему такого либретто, въ которомъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ являлся по-

лякъ легионеръ, по имени Тадеушь, и особенно видная роль принадлежитъ женщинѣ, какъ въ «Живилѣ» или «Гражинѣ». По-видимому, этотъ замыселъ былъ скоро забытъ, и я упоминаю о немъ лишь, какъ о первомъ появленіи въ творествѣ Мицкевича имени Тадеушь, съ которымъ впоследствии связанъ образъ добродушнаго и простодушнаго богатыря. Въ томъ же городѣ поэтъ встрѣтился съ сыномъ Гёте, Густавомъ, съ которымъ провелъ веселый вечеръ. Наконецъ 20 іюля 1830 г. пріѣхали въ Миланъ, гдѣ ихъ уже поджидали Хлюстины. На обѣдѣ у одного итальянскаго художника, который изъ французскихъ журналовъ зналъ о знаменитости Мицкевича, поэтъ всѣхъ увлекъ своими словами. «Рѣчь шла, говорить Одынецъ (IV, 208), не объ отвлеченныхъ безразличныхъ предметахъ, но о самыхъ жизненныхъ вопросахъ настоящаго времени, о теперешней жизни странъ и народовъ Европы... И удивительная вещь, какъ *предсказанія* Адама о близкомъ переворотѣ во Франціи и о возвращеніи Наполеоновъ возбуждали здѣсь, какъ и въ Неаполѣ, отзвукъ такого же сочувствія!» Въ предсказаніяхъ Мицкевича о близости французской революціи не было ничего мистическаго: еще въ Петербургѣ онъ пріучилъ себя читать нѣсколько иностранныхъ газетъ, а за границей постоянныя встрѣчи съ цѣлымъ рядомъ выдающихся людей, близкое знакомство съ дипломатическимъ корпусомъ въ Римѣ смогли внушить ему совершенныя правильныя представленія о положеніи вещей въ Европѣ. Не мистическое откровеніе, но проныцательный умъ былъ источникомъ этихъ предсказаній, которыя, однако, казались Одынцу да, вѣроятно, и самому Мицкевичу весьма таинственными.

24 іюля Мицкевичъ и Одынецъ выѣхали въ Швейцарію. Дорога черезъ Альпы была ими совершена частью пѣшкомъ, частью въ экипажѣ. 31 іюля подъ вечеръ добрались до Женевы, гдѣ ихъ уже поджидали Хлюстины. Когда они вступили въ домъ Хлюстиныхъ, Анастасія «вмѣсто того, чтобы привѣтствовать его, какъ онъ, можетъ быть, ожидалъ, схватила со стола листъ какой-то газеты и, разложивъ его обѣими руками, встала передъ Мицкевичемъ на колѣни, крича: *Gloire au Prophète!* Такимъ образомъ мы узнали, что случилось въ Парижѣ въ послѣднихъ числахъ іюля и что, дѣйствительно, было какъ будто буквальнымъ исполненіемъ того, что ужъ цѣлый годъ предсказывалъ Адамъ, самъ испытывая при этомъ по большей части судьбу Кассандры... Не уди-

вительно, что эта новость поразила насъ какъ громомъ, — громомъ, который не заканчиваетъ бури, а напротивъ предвѣщаетъ и начинать ее; по дальнѣйшимъ пророчествамъ Адама, эта буря распространится по всему свѣту». (Odyniec. Listy. IV, 256—257). Мицкевичъ былъ сильно встревоженъ этимъ извѣстiемъ, потому что Анквичи находились въ Парижѣ. «Безпокойство до такой степени удручаетъ Адама, что это отразилось даже явнымъ образомъ на его здоровьи, и въ продолженiе нѣсколькихъ дней онъ былъ по-настоящему боленъ». Между тѣмъ въ Женевѣ онъ пользовался радушиемъ швейцарцевъ, изъ которыхъ нѣкоторые прежнiе знакомые «принимали его такъ, что онъ чувствовалъ себя у нихъ, какъ дома», по словамъ Одынца. Не было недостатка и въ польскомъ обществѣ: какъ разъ въ это время въ Женевѣ находились Замойскiй и молодой восторженный поэтъ Зигмунтъ Красинскiй, пламенный поклонникъ Мицкевича. 11 августа 1830 г. онъ писалъ своему отцу о встрѣчѣ съ этимъ послѣднимъ. «Одынецъ представилъ меня Мицкевичу, который отнесся ко мнѣ очень любезно. Но онъ блѣденъ и боленъ. Онъ средняго роста, съ худымъ лицомъ, но съ прекрасными, спокойными, меланхолическими чертами. Онъ холоденъ, печаленъ, кажется очень разсудительнымъ человѣкомъ». Поѣздку въ Швейцарiю они совершили вмѣстѣ, и Красинскiй сохранилъ не мало отдѣльныхъ замѣчанiй Мицкевича. Новаго для насъ они ничего не содержатъ. Поэтъ могъ писать Хлюстинымъ, что ему очень хорошо въ Женевѣ, но его отчаянное письмо къ Анквичамъ съ мольбой сообщить хоть что-нибудь о себѣ, его нетерпѣливое ожиданiе отвѣта противорѣчили тѣмъ шутивнымъ записочкамъ, которыя предназначались для Анастасiи Хлюстиной. Въ записяхъ Красинскаго душа Мицкевича раскрывается глубже. Его удручалъ материализмъ вѣка: и теперь, говорилъ онъ, иноземцы предпринимаютъ далекия путешествiя, въ родѣ Крестовыхъ походовъ, но теперь цѣль ихъ исключительно мирская, а оружiе ихъ не копья и не панцири, а гишени и франки. Въ другой разъ онъ говорилъ о томъ, какъ прекрасна была бы земля, если бы на ней не было людей. «Обыкновенно онъ грустенъ и задумчивъ, писалъ Красинскiй отцу: несчастiя уже въ тридцать лѣтъ провели борозды на его челѣ. Онъ всегда спокоенъ и тихъ, но по глазамъ его видно, что брошенная искра сразу воспламенитъ пламя, дремлющее въ его груди». Повидимому Мицкевичу въ это время было безразлично, гдѣ быть, а состоянiе неизвѣстности объ участiи

дорогой ему дѣвушка было такъ мучительно, что постоянная смѣна впечатлѣній, давая возможность отвлечься отъ себя, была ему нужна, — и вотъ до начала сентября поэтъ въ обществѣ Красинскаго и Одынца объѣздилъ значительную часть Швейцаріи. Въ Женевѣ ихъ ожидали двѣ новости: во-первыхъ, Хлюстина сдѣлалась невѣстой одного французскаго офицера, графа Де-Сиркуръ, который не былъ симпатиченъ Мицкевичу, а, во-вторыхъ, въ Женевѣ уже находились Анквичи, которые пріѣхали сюда всего черезъ нѣсколько часовъ послѣ отъѣзда Мицкевича въ путешествіе по странѣ. Одынецъ рассказываетъ о чрезвычайно радушнои пріемѣ со стороны отца-Анквича и барышень; «тѣ поблѣднѣли и подуриѣли», рассказывали, какъ были огорчены, не заставъ Мицкевича въ Женевѣ. Онѣ были намѣрены пробыть въ Женевѣ до конца мѣсяца, а оттуда ѣхать на зиму въ Римъ, куда собирался и поэтъ, тогда какъ его вѣрный спутникъ Одынецъ долженъ былъ возвращаться домой или ѣхать въ Парижъ. Теперь Мицкевичу, кажется, дѣйствительно было хорошо и въ Женевѣ: повидному, Генриетту онъ успѣлъ полюбить серьезнѣе, чѣмъ думали окружающіе. Впрочемъ, въ глазахъ самого графа исполненіе пророчествъ Мицкевича объ іюльской революціи подняло поэта. Поэтому, «какъ во мнѣ, такъ и въ другихъ, увѣряетъ Одынецъ (IV, 353), появляются болѣе свѣтлыя надежды на будущее, и онѣ животворящимъ образомъ дѣйствуютъ на настроеніе всѣхъ насъ. Однимъ словомъ, мы проводимъ время роскошно и приносимъ себя, по-настоящему, въ жертву, когда намъ приходится непременно провести вечеръ гдѣ-нибудь въ другомъ домѣ. Чаще всего это приходится примѣнять къ дому Хлюстиныхъ. Правда, къ намъ относятся здѣсь попрежнему радушно, но присутствіе повонареченнаго во многомъ измѣнило положеніе вещей». Судя по рассказамъ Одынца, началъ таять ледъ и въ отношеніяхъ между графомъ Анквичемъ и Мицкевичемъ. Анквичи двинулись въ Римъ 5 октября, и графъ, на этотъ разъ особенно любезный, выразилъ надежду, что поэтъ еще успѣетъ догнать ихъ въ Миланѣ, чтобы ѣхать вмѣстѣ въ Римъ. Тайна Мицкевича была всегдѣ извѣстна: на его сторонѣ была графиня Анквичъ; Генриетта не смѣла и надѣяться и со слезами въ голосѣ и на лицѣ шептала англійскіе стихи: «I knew, i knew, it could not last; T'was bright, t'was heavenly, — but t'is past!» И самъ Мицкевичъ, принеся Генриеттѣ печатку, совѣтовалъ вырѣзать на ней слова:

«Положимся на Провидѣніе!» Но онъ былъ очень печаленъ и, разставаясь съ Одынцомъ, прибавилъ: «опять я буду одинъ, какъ перстъ» и быстро вышелъ изъ комнаты. Послѣ печальной разлуки съ Одынцомъ Мицкевичъ въ уныломъ настроеніи возвращался черезъ Симплонъ въ Италію. Въ Миланѣ онъ нашелъ не много веселаго. Генриетта Анквичъ была нездорова. Поэтъ безпокоился за нее, негодовалъ на безсердечное отношеніе родителей къ дѣвушкѣ. «Мать замучить ее излишней заботливостью, а отецъ удивительной холодностью; не повѣришь, какъ таскали ее по озерамъ и горамъ», писалъ онъ Одынцу. Произошло ли здѣсь какое-нибудь объясненіе со старымъ графомъ, мы не знаемъ. Однако сообщеніе Мицкевича въ письмѣ (19 ноября) къ Одынцу, прекрасно понимавшему намеки его: «Я покинулъ Миланъ больной и удрученный. Но приходится смириться съ предназначеніемъ. *Mon parti est pris*», — это сообщеніе едва ли можно понять иначе, какъ намекъ на неудачу. Разрыва съ Анквичами не было: напротивъ, они просили поэта подыскать для нихъ квартиру въ Римѣ, куда они вернулись въ концѣ ноября. Позднѣйшія встрѣчи съ этой семьей, по свидѣтельству Владислава Мицкевича (II, 137), происходили уже «на обычной почвѣ салоннаго знакомства». И въ это самое время онъ получаетъ «последнее письмо» отъ Марыли. Въ іюнѣ изъ Рима онъ послалъ ей и ея матери четки, освященныя палой. Ихъ долженъ былъ передать Домейко, родственникъ Верещаковъ, и лишь 31 окт. 1830 года онъ выполнилъ порученіе Мицкевича. Марыля отвѣчала письмомъ, которое было послано въ конвертѣ съ адресомъ, написаннымъ чужой рукой. Какимъ голосомъ съ того свѣта должно было показаться это письмо съ выраженіемъ все тѣхъ же застывшихъ, однообразныхъ чувствъ поэту, который за эти восемь лѣтъ такъ много пережилъ, такъ много видѣлъ новаго, столько любилъ. Любовь къ Марылѣ уже давно должна была выродиться въ любовь воображенія, а она была все та же, несмѣлая и сантиментальная. «Съ нашей разлуки, писала Марыля, я ни разу не рѣшилась написать тебѣ. А теперь, подъ вліяніемъ Жеготы, рѣшаюсь приписать нѣсколько словъ къ его письму и поблагодарить тебя за четки, которыя ты такъ любезно прислалъ. Я думаю, что шумная жизнь (*wielki świat*) стерла съ твоей памяти твою старую знакомую, а твой образъ всегда стоитъ передъ моей душой; каждое слово, которое я слышала изъ твоихъ устъ, до

сихъ поръ звучить въ моемъ сердцѣ; мнѣ часто кажется, что я тебя вижу и слышу, но все это только сны воображенія. Ахъ, если бы еще разъ я могла увидѣть тебя сама, будучи сама невидимой; больше я ничего не желаю. Можетъ быть, когда вернешься¹⁾, уже не найдешь меня въ числѣ живыхъ. Тогда вырѣжь крестъ на камнѣ, покрывающемъ мою могилу; я велю похоронить себя съ четками, съ которыми никогда не расстаюсь. Съ Богомъ. Я написала тебѣ больше, чѣмъ должна была. Пусть эти слова застанутъ тебя въ самомъ лучшемъ здоровьѣ и такимъ довольнымъ и счастливымъ, какъ желаетъ тебѣ этого Марія. Затѣмъ слѣдовалъ постскриптумъ, какъ въ прежнихъ ковенскихъ печальныхъ записочкахъ: «Сожги эти каракули. Благословляю Провидѣніе, которое удалило тебя съ родины, гдѣ cholera morbus совершаетъ страшныя опустошенія». По странной прониі судьбы именно отъ этой cholera morbus и умеръ Мицкевичъ. Письмо Марыли произвело на него сильное впечатлѣніе. Годъ спустя онъ писалъ Домейкѣ, что при видѣ ея почерка плакалъ, какъ ребенокъ. «Это были первыя слезы со времени разлуки съ Чечотомъ и Заномъ. Мы уже никогда не увидимся. Но скажи ей, что она навсегда сохранитъ въ моемъ сердцѣ мѣсто, съ котораго никто никогда не устранилъ ея и на которомъ ея никто не замѣнитъ».

Въ Римѣ, послѣ поѣздки по Швейцаріи, Мицкевичъ ушелъ въ чтеніе. Кромѣ историковъ Рима и историковъ искусства, онъ читалъ сочиненія Ламенэ, газеты и т. п. Въ письмахъ къ Одынцу онъ жаловался на страшную путаницу, которая образовалась въ его головѣ отъ множества видѣннаго и пережитаго. «Послѣ беспорядочныхъ впечатлѣній путешествія началась цѣлая буря сумбурнаго чтенія». Вышнее положеніе его было удовлетворительно, и денегъ должно было хватить до мая 1830 г. Впрочемъ, часть денегъ была дана въ долгъ Хляюстину. Было кое-какое польское общество: кромѣ прежнихъ, товарищъ по крымскому путешествію Ржевускій. Но самое сильное вліяніе на поэта оказывалъ въ это время ксендзь, толкователь и поклонникъ Ламенэ, Холоневскій. По общепринятому взгляду (ср. Kallenbach I, 291), именно онъ содѣйствовалъ кристаллизациі католическихъ взглядовъ Мицкевича. И самъ поэтъ признавался, что ксендзь Холоневскій помогъ ему выработать «новый взглядъ на міръ, лю-

¹⁾ Мицкевичъ все еще вѣрилъ въ возможность возвращенія въ Литву и на прощанье написалъ Одынцу слова: „До свиданія въ Литвѣ“.

дей, науку». Это не было вполнѣ вѣрно, такъ какъ культъ вѣры, противопоставленной разуму, давно уже складывался въ его міровоззрѣніи. Холоневскій, повидимому, придалъ ему опредѣленный католическій отпечатокъ, вернулъ Мицкевича окончательно въ лоно католической церкви. И опять этотъ процессъ совершается рядомъ съ другимъ, съ новымъ приливомъ тоски по родинѣ. «Слушая польскую рѣчь (Ржевускаго), писалъ онъ Малевскому въ концѣ ноября: я чувствую, къ несчастью, какъ много я теряю отъ недостатка книгъ и, что еще хуже, польскихъ разговоровъ въ теченіе столькихъ лѣтъ. Какъ бы я хотѣлъ забыть всея языки, на время забросить всея чужія книги и засѣсть въ какой-нибудь нашей библіотекѣ. Какъ это человѣкъ никогда не бываетъ доволенъ собой, мѣняетъ желанія и стремленія и великая это милость Божія, что онъ не караетъ за такія капризы ума. На Сѣверѣ я тосковалъ по Югу, а здѣсь тоскую по снѣгамъ и лѣсамъ!» Въ послѣднихъ числахъ ноября Мицкевича мучило предчувствіе важныхъ событій на родинѣ (*Żywot. II. 142*). Дѣйствительно, въ Польшѣ вскинуло возстаніе. Въ началѣ декабря на балу у какого-то важнаго сановника секретарь вручилъ ему депешу, въ которой сообщалось объ этомъ. Вскорѣ всея газеты были полны извѣстіями о польскихъ событіяхъ. Въ судьбѣ Мицкевича наступилъ новый важнѣйшій моментъ. Жизнь безпечнаго путешественника онъ долженъ былъ перемѣнить на жизнь народнаго пѣвца.

ГЛАВА XIX.

Возстаніе 1830 года. Дрезденъ и Парижъ. Культъ эмиграціи.

Владиславъ Мицкевичъ утверждаетъ, что почти всея поляки, жившіе въ Римѣ, когда сюда пришло извѣстіе о возстаніи, были обрадованы имъ. Если это и такъ, то, во всякомъ случаѣ, самъ поэтъ не раздѣлялъ общей радости. Онъ былъ потрясенъ извѣстіемъ, тѣмъ болѣе, что не могъ выѣхать изъ Рима вслѣдствіе отсутствія денегъ. Расчеты не оправдывались; банкиръ, у котораго лежали деньги, полученные отъ распродажи парижскаго изданія, обанкротился, и Мицкевичу приходилось устривать

свои денежные дѣла прежде, чѣмъ предпринять какой-нибудь шагъ. Едва ли, однако, и при наличіи нужныхъ средствъ онъ успѣшилъ бы на поле битвы. Онъ не сочувствовалъ возстанію и потому, что не вѣрилъ въ его успѣхъ, и потому, что уже не вѣрилъ въ моральную цѣнность гордыхъ замысловъ ума. Для того, кто могъ со стороны наблюдать партійную рознь, кипѣвшую въ Варшавѣ, кто зналъ, какъ еще не устоялись здѣсь новые элементы въ борьбѣ со старыми, какъ дезорганизована политическая жизнь страны репрессіями русскаго правительства, а съ другой стороны, кто видѣлъ такъ близко, какъ Мицкевичъ, государственную силу тогдашней Россіи,—для того не могло быть иллюзіи: въ борьбѣ съ громаднымъ перевѣсомъ русскихъ силъ Польша могла продержаться лишь дольше или меньше, но побѣдить не могла. Но и, помимо этого, смиреніе въ страданіи, кроткое спасительное терпѣніе казались теперь Мицкевичу требованіемъ нравственнаго долга. И вотъ при первыхъ извѣстіяхъ о возстаніи онъ спѣшилъ къ своему теперешнему духовному наставнику, ксендзу Холоневскому. О чемъ они бесѣдовали? Памятникомъ этой бесѣды осталась книжечка Өомы Кемпійскаго «Подражаніе Христу», подаренная Мицкевичу ксендзомъ, да подиись его, что эту книжку онъ подарилъ А. Мицкевичу «въ память дня 8 декабря 1830 г., котораго ничто не сотретъ изъ его сердца». И это общеніе, однако, не приносило облегченія встревоженной душѣ поэта: «днемъ онъ бѣгалъ безъ цѣли, вечеромъ думалъ». Въ томъ же письмѣ къ Ан. Хлюстиной (теперь уже графинѣ Де Сиркуръ) Мицкевичъ жаловался, что не можетъ связать двухъ мыслей въ головѣ, что онъ напрасно ждалъ минуты если не веселости, то хоть успокоенія, чтобы написать ей. Это письмо относится къ 31 дек. 1830 года. Уже здѣсь Мицкевичъ выражаетъ надежду, что черезъ нѣсколько дней покинетъ Римъ и Италію. Нѣсколько позже, въ началѣ слѣдующаго года, онъ откровенно признавался своему московскому пріятелю Соболевскому, что не ждетъ отъ возстанія ничего, кромѣ ужасныхъ (funestes) послѣдствій, но въ качествѣ народнаго поэта чувствуетъ себя обязаннымъ быть на мѣстѣ движенія. Пока же онъ съ жадностью читалъ газеты. «Мокрый листокъ грязной нѣмецкой газеты теперь занимаетъ меня больше, чѣмъ всѣ Виячи и Рафаэли», признавался онъ Сатлеру (19 апр. 1831 года).

Нервное, возбужденное настроеніе первыхъ недѣль послѣ воз-

станія смѣнилось у Мицкевича уже въ февралѣ 1831 года глубокой меланхоліей. Въ этомъ состояніи онъ искалъ выхода въ религіи, и 2 февраля онъ впервые послѣ многихъ лѣтъ исповѣдывался у священника. Зайдя на обратномъ пути къ Анквичамъ, онъ услышалъ о чудесномъ снѣ, который въ эту ночь видѣла Генриетта. Дважды въ ночь ей приснился Мицкевичъ въ бѣлой одеждѣ, спускающейся до земли, съ бѣлымъ барашкомъ на рукахъ. Такому сну Мицкевичъ въ своемъ тогдшнемъ настроеніи не могъ не приписывать особаго мистическаго значенія, и онъ признался ей, что рѣшилъ приобщиться. А нѣсколько дней спустя, когда во время богослуженія папа обратился въ ту сторону, гдѣ стояли Мицкевичъ и Генриетта Анквичъ, поэтъ схватилъ ее за руку и держалъ ея руку въ своей, пока папа не повернулъ лица въ другую сторону. «Высшій пастырь церкви благословилъ насъ вмѣстѣ; онъ смотрѣлъ на насъ, и значить, мы соединены», прошепталъ онъ дѣвушкѣ. Я не знаю, откуда Хмѣлевскій (II. 98) взялъ эту сцену, о которой умалчиваетъ Мицкевичъ, а потому не могу судить о томъ, насколько серьезно было настроеніе поэта въ эту минуту. Характерно, что, разставаясь съ Генриеттой въ апрѣлѣ 1831 года, онъ шепнулъ ей: «Да благословитъ тебя Господь!» Вѣроятно именно на почвѣ возвращенія къ обрядовому благочестію, которое такъ высоко ставилось въ семьѣ Анквичъ, и была возможна эта новая вспышка чувствъ къ дѣвушкѣ, съ которой у Мицкевича уже не могли связываться матримоніальныя надежды. Вообще же это время представляетъ въ его жизни періодъ всяческихъ исканій неуравновѣшенной души: въ письмахъ къ Маріи Шимановской онъ спрашиваетъ, не выходитъ ли замужъ «Целися» (Целина, его будущая жена), а съ кс. Кайсевичемъ толкуетъ о монашествѣ и признается ему, что чувствуетъ призваніе къ духовному сану. На почвѣ этого нервнаго состоянія объясняются и позднѣйшія событія этихъ смутныхъ мѣсяцевъ.

Видимо въ настроеніи Мицкевича господствовало также мучительное раздвоеніе, изъ котораго не было исхода въ дѣйствіяхъ, и поэтъ бросается то въ Парижъ, то въ Познань, то на мѣста, охваченныя возстаніемъ, то впадаетъ въ религіозный мистицизмъ, то предается безумной страсти. Источникъ этого тяжелаго настроенія заключался, конечно, въ отношеніи Мицкевича къ революціи 1830 года: официально онъ долженъ былъ

бы радоваться и пламенѣть теперь патриотическимъ восторгомъ, въ дѣйствительности же его душа содрогалась передъ неизбѣжными гибельными для народа послѣдствіями. Но можно ли было предсказывать неудачу его священной войны народу, который ждалъ отъ своего поэта пѣсенъ торжества и побѣды, самъ воспѣвалъ его гимнъ «къ молодости» и нетерпѣливо ждалъ, когда же онъ пріѣдетъ и станетъ въ рядахъ сражающихся.

И потому не спокойствіемъ убѣжденія, а тоской нравственнаго томленія проникнуты тѣ произведенія Мицкевича, которыя восходятъ къ этимъ послѣднимъ мѣсяцамъ его пребывания въ Римѣ. Къ числу ихъ относится рядъ стихотвореній, посвященныхъ одному и тому же вопросу: борьбѣ добра со зломъ, Ормузда съ Ариманомъ, сухого ума съ чуткимъ сердцемъ. Хотя точное опредѣленіе времени, когда написаны эти произведенія, невозможно, такъ какъ при однихъ стоитъ лишь дата 1830, а при другихъ нѣтъ и ея, а напечатаны они всѣ были позже и въ разное время (начиная съ 1833 года), однако они всѣ проникнуты тѣмъ же самымъ настроеніемъ, и потому справедливо относятся всѣми издателями къ концу 1830 и началу 1831 года. При этомъ стихотвореніе «Къ одиночеству» является какъ бы вступленіемъ къ нимъ: оно выражаетъ такую тоску души въ суетномъ мірѣ, въ которой человѣкъ сосредоточивается въ себѣ и обращается къ вѣчному Богу.

«О, одиночество! Я стремлюсь къ тебѣ, какъ къ водѣ, отъ ежедневнаго зноя жизни! Съ какимъ наслажденіемъ я бросаюсь въ ясный и чистый холодъ твоихъ неизвѣданныхъ кристалльных глубинъ. Я пыряю и поднимаюсь въ мысляхъ надъ мыслями, играю съ ними, какъ съ волнами, пока, остывшій и утомленный, не погружаю хоть на мгновеніе въ глубокій сонъ свое тѣло. Ты—моя стихія; эти стеклянно-свѣтлыя воды услаждаютъ мое сердце, одѣваютъ мракомъ чувства. Зачѣмъ же я долженъ опять, какъ летучая рыба, вознестись надъ водой, искать глазами солнце? И, не дыша свободно наверху, безъ тепла внизу, я вездѣ изгнанникъ, въ обѣихъ стихіяхъ». Это стихотвореніе еще далеко отъ мистики тѣхъ произведеній, которыя относятся почти несомнѣнно къ концу года. Здѣсь яркая картина лѣта на Средиземномъ морѣ позволяетъ относить стихотвореніе скорѣе къ тѣмъ лѣтнимъ мѣсяцамъ 1830 года, когда поэтъ былъ въ Неаполѣ или Генуѣ. Пламеннымъ восхищеніемъ передъ вѣчнымъ добромъ про-

никнуто слѣдующее «подражаніе» Зендъ-Авестѣ, — конечно, въ дѣйствительности, совершенно чуждое дѣйствительному настроенію Гатъ или Вендидада, или какой-либо другой части Авесты. «Въ самомъ центрѣ бездонной пронасти, въ самомъ густомъ зародышѣ (zagodku) тьмы засѣлъ Ариманъ, какъ укрытый воръ, гнѣвный, какъ левъ, ядовитый, какъ змѣй. Во оно время онъ надулся и воздвигся, и изрыгнулъ грудью великій мракъ, и по тьмѣ, какъ наукъ по сѣти, взобрался наверхъ, туда, гдѣ сіяетъ Божество. Опершись о грань между днемъ и ночью, онъ высунулъ голову и поднялъ глаза. И едва въ самомъ центрѣ неба, въ самомъ зародышѣ чистѣйшаго свѣта, онъ увидѣлъ Ормузда, который сіяетъ среди творенія, какъ солнце между звѣздами, какъ отецъ среди дѣтей; едва при видѣ предвѣчнаго солнца злой духъ помыслилъ о безконечномъ блаженствѣ, эта мысль, огромная, какъ бремя всего міра, съ такой тяжестью упала на его голову, что онъ потерялъ силы и рухнулъ внизъ головой, и падалъ вѣки вѣковъ и снова сѣлъ въ самой серединѣ бездонной пропасти, въ самомъ густомъ зародышѣ тьмы».

Въ общеніе съ Божествомъ, которое сіяетъ «въ своей чистѣйшей ясности» въ серединѣ небесъ, душа поэта вступаетъ въ томъ циклѣ произведеній, который, созданный однимъ мощнымъ порывомъ творчества, долженъ относиться къ тому же самому времени. Подъ общимъ названіемъ «Вечерняя бесѣда» мы находимъ три обращенія къ этому Божеству. Но здѣсь уже не отвлеченное начало добра и нравственнаго свѣта стоитъ передъ душой поэта. Мицкевичъ взываетъ къ распятому Христу и его страданія беретъ на себя. Въ другой бесѣдѣ тонъ покаянія и смиренія. Третья вводитъ насъ въ душу поэта. «Когда спокойнымъ зовуть меня дѣти міра, я скрываю отъ глазъ ихъ свою смятенную душу, и равнодушная гордость, какъ одежда тумана, золотитъ облакомъ внутренніе громы. И только ночью, тихо, на Твое лоно я изливаю бурю, разлившуюся слезами». Ко времени, когда уже вспыхнуло возстаніе, должно относиться стихотвореніе «Разумъ и вѣра». Его настроеніе и даже отдѣльныя выраженія («*przejrzalem niskie ludzkości obszary*») напоминаютъ монологи 3-ей части «Дѣдовъ», созданной годъ спустя, но уже издавна подготовлявшейся въ міросозерцаніи Мицкевича и отлагавшейся уже въ видѣ отдѣльныхъ образовъ въ его воображеніи. Это рѣзкая выходка противъ человѣческаго ума. «О, ра-

зумъ людской, какъ ты малъ передъ Господомъ. Ты лишь капля въ Его всемогущей десницѣ. Миръ называетъ тебя неизмѣримымъ океаномъ и хочетъ на твоей глубинѣ (na twoj toni) взлетѣть къ небу». Въ томъ же духѣ поэтъ продолжаетъ свои упреки безсильному, но самомнительному человѣческому уму. Что же онъ противопоставляетъ ему? Обратимся къ началу стихотворенія. Оно звучитъ такъ же гордо, какъ нѣкогда обращеніе къ Богу въ юношескомъ «Гимнѣ на день Благовѣщенія», и своими корнями восходитъ къ глубокому убѣжденію Мицкевича въ «сверхчеловѣческомъ» внушеніи, выразителями котораго являются поэты. «Когда я склонилъ передъ Господомъ разумное, громоносное (gromowładne) чело, какъ тучу передъ солнцемъ, Господь вознесъ его на небо, какъ колесо радуги, и расцвѣтилъ тысячу лучей. И оно будетъ блистать во свидѣтельство вѣры, и когда съ небесныхъ стропиль падутъ бѣдствія, и когда мой народъ устрашится потопа, онъ взглянетъ на радугу и вспомнитъ о союзѣ съ Богомъ. О, Господи! Духъ смиренія воспламенилъ мою гордость, и хотъ высоко блистаю я на синевѣ небесъ, я свѣчу, Господи, не своимъ блескомъ. Мой блескъ лишь слабое отраженіе твоихъ очей. Я обозрѣлъ низкіе просторы человѣчества, съ цвѣтомъ и шумомъ разныхъ мнѣній его: великіе и глубокіе, когда я смотрѣлъ разумомъ, малые и призрачные передъ глазами вѣры. И васъ я замѣтилъ, гордые изслѣдователи. Въ то время, какъ вихрь носитъ васъ, какъ пыль, вы, замкнувшись въ себѣ, какъ улитка въ раковинѣ, хотѣли обозрѣть малый кругъ свѣта». Опять мы возвращаемся къ терминологіи первыхъ филаретскихъ признаній: опять «самолюбы», «мудрецы со стеклышкомъ» и пр. Единственнымъ стимуломъ земной «мудрости» объявлено чванство (pucha).

Такъ поступили «мудрецы» съ Богомъ, который открылъ себя вполнѣ и сталъ, какъ человѣкъ, говоритъ людямъ о вѣчности. «Они зажигали ночью свои лампы и на своихъ книгахъ точили умы, холодные и твердые, какъ стальные мечи; и, взявъ съ собой толпы слѣпыхъ учениковъ, шли ловить Бога, а измѣня, идя впереди, вела ихъ прямой, но гибельной дорогой». Сынъ Божій былъ распятъ и умеръ. «А мудрецы на погребеніи Бога наполнили чашу своей гордости. Природа въ смятеніи дрожала о Богѣ. Но миръ царилъ на небесахъ: Богъ живъ, но только умеръ въ душѣ мудрецовъ». Заканчивается этотъ циклъ религіоз-

ныхъ стихотвореній восторженной похвалою Создателю (Архитектору, Arcy—mistrz). И этому творцу міра противопоставляетъ себя жалкій земной художникъ (Sztukmistrz ziemski), просто «штукаръ» по сравненію съ тѣмъ, кто «въ одинъ хоръ соединилъ всѣхъ духовъ и всѣ сердца настроилъ такъ, чтобы они ему творили, и всѣ стихіи натянулъ, какъ струны, и, вода по нимъ вихрями и громами, искони поетъ одну пѣснь, а міръ доселѣ не понималъ ея мелодіи». Какъ жалокъ рядомъ съ нимъ земной художникъ. «Что такое всѣ твои картины и твои слова? А ты жалуешься на то, что кто-нибудь въ толпѣ братьевъ не понимаетъ твоихъ мыслей, рѣчей и созданій? Взгляни на мастера (mistrz) и терпи, Божій сынъ, неизвѣстный или презрѣнный толпой».

Въ такомъ настроеніи преклоненія лишь передъ Божественной волей и мудростью и равнодушія къ страху Мицкевичъ выѣхалъ въ половинѣ апрѣля 1831 года изъ Рима. Онъ ѣхалъ не одинъ, но въ обществѣ тѣхъ русскихъ, съ которыми сжился въ Римѣ и съ которыми продолжалъ добрыя отношенія, несмотря на невольное политическое отчужденіе. Это были Голицыны и Соболевскій, который рассказываетъ, что Голицыны были проникнуты патриотическимъ настроеніемъ, тогда какъ княгиня Голицына, въ первомъ бракѣ Ходкевичъ, имѣвшая въ польскомъ войскѣ двухъ сыновей, приходила въ бѣшенство отъ этого патриотизма; самъ онъ, Соболевскій, переходилъ изъ одного лагеря въ другой. Такимъ образомъ непрерывно ссорились и мирились. И то же самое происходило уже въ польской средѣ; княгиня Голицына вѣрила въ успѣхъ возстанія, а Мицкевичъ не только не вѣрилъ, но даже въ случаѣ побѣды его не ждалъ ни прочныхъ успѣховъ, ни добрыхъ послѣдствій. Не потому ли онъ такъ не спѣшилъ на мѣсто боя? Только 26-го апрѣля онъ былъ во Франціи, 16-го мая въ Женевѣ и въ іюнѣ въ Парижѣ, который, конечно, не лежалъ на пути въ Польшу. Зачѣмъ поэту понадобилось ѣхать въ эту минуту въ Парижъ? Кромѣ догадокъ, здѣсь нельзя сказать ничего: были сдѣланы предположенія, что Мицкевичъ надѣялся добиться въ столицѣ Франціи сочувствія къ польскому дѣлу и реальной помощи¹⁾. На это указываетъ,

¹⁾ Княгиня Гедройцъ рассказываетъ въ своихъ мемуарахъ, что Мицкевичъ вмѣстѣ съ другими долженъ былъ устроить польскій заемъ въ Парижѣ (Wład. Mickiewicz. Żywot).

повидимому, и его письмо къ Лелевелю, въ которомъ онъ выражаетъ свое разочарованіе по поводу какъ правительства, такъ и оппозиціи Франціи. «Объ эти партіи, писалъ Мицкевичъ, я считаю шайкой безнравственныхъ эгоистовъ и нисколько не рассчитываю на нихъ». Такъ можетъ говорить только человѣкъ, разочаровавшийся въ своихъ предположеніяхъ. «Франція для меня Аонны во время Демосоена, она будетъ пищать, смѣнять ораторовъ и вождей, но не изльчится, потому что ракъ гложетъ ея сердце. Знаешь ли ты сочиненія Ламенэ? Это единственный французъ, который искренно плакалъ надъ нами; его слезы были единственныя, которыя я видѣлъ въ Парижѣ». Теперь Мицкевичу не оставалось уже ничего другого, какъ ѣхать въ Польшу. 6 августа подъ нѣмецкой фамиліей онъ пріѣхалъ въ Дрезденъ, гдѣ уже собралось обширное польское общество. И здѣсь не было ни единства настроенія, ни настоящаго воодушевленія. Предлагались удивительные проекты, которые съ другой стороны встрѣчали лишь издѣвательство: повидимому заходила рѣчь даже о вооруженіи женщинъ. Насмѣшки возмущали Мицкевича, рассказываетъ княгиня Гедройцъ, встрѣтившаяся съ поэтомъ впервые въ Дрезденѣ. По его мнѣнію, онѣ исходили только изъ ложнаго стыда: какъ бы не стали смѣяться надъ поляками на берегахъ Сены. Между тѣмъ было не до смѣха: возстаніе уже падало, нѣсколько отрядовъ сдалось русскимъ войскамъ. Тѣмъ не менѣе Мицкевичъ считалъ себя обязаннымъ побывать въ Польшѣ, и въ половинѣ августа онъ пріѣхалъ въ Познань, въ имѣніе графа Горженскаго Смѣлевъ, лежавшій недалеко отъ русской границы. Въ Смѣлевѣ стояли прусскія войска, которыя охраняли границу; за всѣми прибывающими былъ установленъ надзоръ, и Мицкевича выдавали за учителя помѣщичьихъ дѣтей. Съ помощью крестьянина поэтъ перешелъ по ту сторону границы, но, по собственному признанію, онъ оставался въ Царствѣ Польскомъ очень недолго и скоро опять возвратился въ Смѣлевъ. По другимъ даннымъ Мицкевичъ даже и не перебирался на русскую территорію. Участникъ возстанія, Мальчевскій, рассказываетъ, что поэтъ хотѣлъ перейти на другую сторону рѣки Прсны, «былъ даже на мосту, но друзья и поклонники отговорили его отъ этого намѣренія». Еще въ 1846 году онъ рассказывалъ о страшномъ отчаяніи, которое охватило его. «Въ Познани меня охватило желаніе покончить съ собой, только мысль, сколько хлопотъ я доставлю хозяину, удер-

жала меня». Кто может повѣрить такой отговоркѣ, которая едва ли когда удерживала людей отъ самоубійства, пусть вѣрять. Мицкевичъ былъ слишкомъ полонъ жизни. «Не будемъ терять надежды, спасемъ то, что возможно, и какъ возможно», говорилъ онъ, подымая молодой дубокъ, вырванный вихремъ. Онъ видѣлъ въ немъ символъ Польши.

Самъ онъ оставаться долго въ одномъ мѣстѣ не могъ, такъ какъ за нимъ слѣдила прусская полиція. Подъ именемъ Адама Мюля или Неголевскаго онъ переѣзжалъ изъ одного имѣнія въ другое. Одинъ изъ помѣщиковъ, видѣвшій Мицкевича въ декабрѣ 1831 г., такъ описываетъ его наружность: «брюнетъ, глаза темно-зеленые, волосы черные, носъ прекрасный, а такъ какъ онъ носитъ бороду по парижской модѣ, то онъ похожъ на ученаго еврея. Лицо его ничего не выражаетъ; онъ часто бываетъ задумчивъ, рѣдко веселъ, большой либераль, глубоководенъ, по-нѣмецки, французски, англійски, итальянски, гречески и латински говорить, какъ по-польски. Очень любитъ играть въ шашки, и поэтому мы играли съ нимъ по нѣскольку часовъ. Не любитъ, чтобы ему давали альбомъ для записыванія, также не любитъ декламировать стихи. Насколько ученъ, настолько онъ и скромнѣе; а народные обычаи любитъ до излишества. Онъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы въ канунъ Рождества Христова ѣли на сѣнѣ, чтобы въ углу стояла солома, чтобы на волосѣ висѣла звѣздочка. Любитъ только народныя кушанья: борщъ, капусту, колбасы, клецки и т. д.; все это онъ привлекаетъ (*wciąga*) къ народности. Благочестивъ, крестится, садясь и вставая изъ-за стола, бываетъ на богослуженіи; пріятный человекъ, когда его ближе узнаешь; отлично рассказываетъ свои впечатлѣнія». Такъ судила помѣщицья среда о Мицкевичѣ, которому она, видимо, порядочно надоѣла просьбами декламировать и записывать въ альбомы свои стихи.

Между тѣмъ пала Варшава. Ъхать въ Польшу уже не имѣло смысла, не безопасно было оставаться долго на одномъ мѣстѣ и въ Познани, гдѣ прусская полиція слѣдила за неблагонадежными элементами. Пользуясь приглашеніемъ графа Лубенскаго, Мицкевичъ переѣхалъ въ другое мѣстечко Познани, Будишево. Здѣсь онъ опять пережилъ бурное увлеченіе, которое, по справедливому замѣчанію Калленбаха (II. 295), напоминаетъ одесскую эпоху въ жизни поэта. Роль Собанской сыграла на этотъ разъ графиня Лубенская, которая была значительно моложе сво-

его мужа и славилась своей красотой и остроуміемъ. Конечно нымъ уже былъ въ это время самъ Мицкевичъ. Во всякомъ случаѣ завязался форменный романъ со свиданіями въ разныхъ мѣстахъ, для отвода глазъ и подозрѣній, со всеѣмъ пыломъ чувственнаго увлеченія. Скрыть эту исторію было трудно, чѣмъ одесскія увлеченія, и родня Лубенской сохранила недобрую память о Мицкевичѣ. И еще позже, уже въ Парижѣ, онъ долженъ былъ испытать нѣсколько непріятныхъ минутъ объясненій съ мужемъ увлекшейся женщины. Въ поэзіи его она не оставила никакихъ слѣдовъ. Теперь муза поэта отзывалась лишь на великое и важное.

Надо впрочемъ прибавить, что и въ исторіи съ Лубенской далеко не все ясно. Человѣкъ, который хорошо зналъ Мицкевича, Невяровичъ, положительно утверждалъ, что настойчивыя приставанья г-жи X, преслѣдовавшей поэта «своими прелестями, кокетствомъ и письмами», не увѣщались успѣхомъ. Даже будто бы какая-то таинственная сила не давала ему войти въ комнату, когда къ нему однажды вечеромъ явилась эта госпожа. И тогда Мицкевичъ весьма любезно выпроводилъ ее отъ себя. Дѣйствительно, слѣдовало бы выяснить, что было правдой, и что простой выдумкой истерички въ этой навязчивой любви гр. Лубенской къ Мицкевичу.

Въ Познани Мицкевичъ опять импровизировалъ и много компоновалъ, такъ какъ онъ полагалъ, что его настоящее призваніе не поэзія, а музыка. Однажды, въ домѣ польскаго помѣщика, въ сумерки, въ дождливый день поэтъ стоялъ около камина. И вотъ «онъ началъ пѣть. Въ страшныхъ краскахъ онъ описывалъ будущее Польши, и мы стали грустны, дыханіе замирало въ груди, слышались вздохи, кое-кто едва сдерживалъ рыданія. Въ самомъ концѣ поэтъ нѣсколько разъяснилъ лица слушателей, указавъ вдали звѣзду, озаряющую все человѣчество и Польшу. «Кончилъ», произнесъ онъ наконецъ, спокойно поворачиваясь къ обществу». Такъ рассказываетъ очевидецъ. Но сохранить записъ этой импровизаціи, которая отвѣчала своимъ печальнымъ содержаніемъ его тогдашнему настроенію, поэтъ не позволилъ. По нѣкоторымъ даннымъ можно судить о горечи этого настроенія. Такъ, узнавъ о намѣреніи Игнатія Домейки потихоньку пробраться въ Литву, въ свое имѣніе, Мицкевичъ писалъ ему: «Бродяжничая уже столько лѣтъ, я привыкъ къ цыганской жизни,

но я понимаю, какъ она должна быть тяжела новичкамъ. По вернуться, видѣть, что тамъ дѣлается! Впрочемъ, поступай, какъ тебя Богъ вдохновить! Я здоровъ, грустенъ, что мнѣ не удалось хоть на минуту быть съ вами, и постоянно завидую вамъ!» Въ другомъ письмѣ, къ брату Францеску, который принялъ дѣятельное участіе въ возстаніи, и теперь, перебравшись въ Познанское княжество, просилъ брата о помощи, Мицкевичъ сообщалъ, что, по его свѣдѣніямъ, Новогрудокъ страшно погорѣлъ. Безпокойство за брата тоже удручало его, но вскорѣ братъ пріѣхалъ.

Такъ, кочуя изъ одного имѣнія въ другое, присматриваясь къ начинавшейся эмиграціи, къ жизни польскаго помѣщичьяго класса въ этой части Польши, Мицкевичъ пробылъ въ Познани до половины марта 1832 года. Здѣсь онъ даже будто бы задумалъ своего «Папа Тадеуша». Отсюда онъ отправился вмѣстѣ съ массой другихъ поляковъ въ Дрезденъ. 7 апрѣля Одынецъ сообщаетъ одному изъ своихъ пріятелей, что Мицкевичъ «здоровъ и работаетъ. Переводитъ Гяура». Въ Дрезденѣ, столицѣ саксонской династіи, съ которой у поляковъ было столько связано, жило много польской знати и интеллигенціи. Здѣсь возникли кружки для оказанія помощи эмигрантамъ, въ отдѣльныхъ польскихъ домахъ устраивались собранія, на которыхъ велись живыя бесѣды о недавнихъ событіяхъ. Гордились своими военными подвигами, вѣрили въ будущіе успѣхи, надѣялись на сочувствіе Европы. Во всякомъ случаѣ, здѣсь не было минорнаго тона, и настроеніе Мицкевича плохо отвѣчало этой приподнятости. Этого простить ему не могли, и многіе должны были испытывать тѣмъ болѣе сильное разочарованіе въ своемъ народномъ поэтѣ, чѣмъ больше вѣрили прежде въ его сочувствіе и готовность пожертвовать собой въ борьбѣ за свободу родины. И какъ ни близко мы знакомы съ настроеніемъ Мицкевича въ предшествовавшіе годы, все-таки печально, что онъ, дѣйствительно, не пошелъ вмѣстѣ со своимъ народомъ въ тяжелую для него эпоху, а праздно стоялъ въ сторонѣ, предаваясь мрачнымъ предчувствіямъ и топя свое горе въ увлеченіи красной кокеткой.

Не всегда деликатно ему давали понять, что теперь ему лучше не учить людей истинному патриотизму. Такъ, когда онъ заявилъ, что эмигранты лучше бы сдѣлали, если бы похоронили себя подъ развалинами Варшавы, нежели уходить за границу,

онъ получилъ заслуженный отвѣтъ: «Конечно, имъ слѣдовало бы такъ сдѣлать, для того, чтобы вамъ имѣть еще одной развалиной больше; вы бы усѣлись на ней и стали съ душевной болью воспѣвать нашъ упадокъ». Другіе напоминали, что теперь все стали «Валленродами», и если они погибнуть среди развалинъ, поэтъ не будетъ достоинъ раздѣлить съ ними могилы, какъ не дѣлилъ съ ними крови и почета борьбы. Мицкевичъ не могъ не чувствовать, что въ горькихъ укорахъ было много правды, и онъ сталъ сторониться отъ незнакомыхъ, старался уйти въ свою работу, передѣлывалъ и продолжалъ начатый еще въ Ковнѣ переводъ байроновскаго «Гяура», который, казалось бы, былъ такъ далекъ отъ настроеній текущей минуты. Можетъ быть это-то и привлекало Мицкевича къ нему теперь? Но тогдашнія переживанія его бросаетъ яркій свѣтъ письмо, посланное имъ въ Парижъ Лелевелю въ концѣ марта 1832 года. «Богъ не позволилъ мнѣ быть участникомъ какимъ бы то ни было въ дѣлѣ, такомъ великомъ, такомъ важномъ по своимъ будущимъ послѣдствіямъ. Я живу только надеждой, что бездѣятельно не сложу въ могилѣ рукъ. Ты не повѣришь, какъ горячо мнѣ хотѣлось увидѣть тебя; ради одного этого я не разъ хотѣлъ ѣхать въ Парижъ, который, вообще, мнѣ противенъ, какъ адъ. Ты объяснилъ бы мнѣ много непонятныхъ событій, а то приходится вѣрить любимъ объясненіямъ. Впрочемъ, все это принадлежитъ уже прошлому, исторіи, а ты призванъ работать для будущаго, и еще больше мнѣ хотѣлось бы знать твои взгляды на него. Здѣсь общія жалобы на несогласія, которыя легко было предвидѣть, потому что онѣ вынесены изъ Варшавы и только дозрѣваютъ во Франціи. Мнѣ кажется, что одни довѣряютъ французскому правительству, другіе народу, или людямъ *du mouvement*. Я же объ эти французскія партіи считаю шайкой безправственныхъ эгонистовъ и нисколько на нихъ не разсчитываю... Я возлагаю большія надежды на нашъ народъ и на ходъ событій, которыхъ не предвидитъ никакая дипломатія. Впрочемъ у тебя больше просвѣщенности (*światła*) и опытности; дѣйствуй, какъ знаешь. Я думалъ бы только, что нашимъ стремленіямъ слѣдовало бы давать религиозно-правственный характеръ, отличный отъ финансоваго либерализма французовъ, и что фундаментъ надо поставить на ка- толичество. Знаешь ли ты сочиненія Ламенаэ?.. Можетъ быть *нашъ*

народъ призванъ повѣдать народамъ евангеліе національности, нравственности и религіи, презрѣнія къ бюджетамъ, единственному принципу теперешней политики, истинно таможенной. Самые ученые французы не чувствуютъ ни патріотизма, ни горячаго влеченія къ свободѣ; они только разсуждаютъ. Теперь я много пишу, но вещи какъ будто не подходящія къ обстоятельствамъ. Здѣсь мы сидимъ въ полномъ одиночествѣ, ни съ кѣмъ не видимся. О будущемъ я не думаю, ни паспортовъ, ни средствъ у меня нѣтъ, но есть надежда на гонорары».

Изъ этого весьма цѣннаго для біографовъ Мицкевича письма мы видимъ, что въ 1832 году у него уже была готовая вѣра въ призваніе своего народа, въ его мистическое предназначеніе. Мессіаниззмъ Мицкевича восходитъ къ далекимъ временамъ, еще къ XVII вѣку, когда онъ сталъ слагаться впервые. У Чарторыйскаго, у Воронича онъ нашелъ уже болѣе отчетливое выраженіе. Но едва ли отъ нихъ въ настоящую минуту проникся своей вѣрой въ назначеніе польскаго народа Мицкевичъ. Едва ли онъ не принялъ этого пониманія у Казимира Бродзинскаго, который въ засѣданіи общества любителей наукъ, 3 мая 1831 года, когда въ Польшѣ кишѣло возстаніе, произнесъ рѣчь: «О народности поляковъ». Здѣсь уже вполне отчетливо рисуется образъ польскаго народа, какъ мученика ради другихъ народовъ. «Если бы даже нашъ народъ въ цѣломъ поколѣніи, какъ первый на свѣтѣ примѣръ, далъ себя замучить для выполненія своего призванія, и тогда воля его достигла бы торжества; прахъ нашъ былъ бы святыней; крестъ, поставленный надъ нимъ, былъ бы цѣлю пилигримства людей, идущихъ ко гробу народа, ученика Христова». Дальше еще болѣе рѣшительно: «Народъ мой! Міръ тебя не позналъ. Онъ не знаетъ, что ты для него сдѣлалъ, почему ты такъ долго страдалъ: теперь только онъ замѣтилъ лишь то, что ты самый несчастный изъ народовъ. Будь имъ, но будь сознательно! Лучше останься самымъ несчастливимъ, нежели сдѣлаться самымъ счастливымъ, переродившись въ иныхъ людей или въ эгоистической народъ». Такими выраженіями и взглядами проникнуто разсужденіе Бродзинскаго, которое представляетъ естественное развитіе его основныхъ воззрѣній на особенности польскаго народа, отмѣченныя имъ еще въ старомъ разсужденіи о классицизмѣ и романтизмѣ. Другое дѣло эти выраженія въ устахъ Мицкевича. Стараясь прослѣдить по его письмамъ, стихотворе-

ніямъ и даже по разсказамъ Одынца, не всегда относящимся ко времени событій, эволюцію міросозерцанія Мицкевича, съ его воззрѣніями на польскій народъ приходилось сталкиваться рѣдко. Личность человѣческая его, несомнѣнно, занимала гораздо больше, чѣмъ коллективная психологія народа, и вопросы личного совершенствованія выдвигались впередъ всѣми остальными. И вдругъ сразу теперь, въ Дрезденѣ, Мицкевичъ постигаетъ сущность народной польской психологіи и выражаетъ ее въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что высказываетъ Бродзинскій. Въ томъ покаянномъ настроеніи, которое переживалъ теперь Мицкевичъ, тѣмъ выше должны были рисоваться ему героизмъ и святость подвига народа. «Я долженъ пасть къ вашимъ ногамъ», восклицаетъ поэтъ, слушая разсказы участниковъ востанія: «Вы сражались за родину, за Польшу. Я никогда не прощу себѣ, что я не поспѣшилъ къ вамъ и не былъ съ вами. Вы называете меня великимъ, а я такой маленькій». Такъ повѣствуетъ одинъ восторженный почитатель Мицкевича, вѣроятно, поириукрашившій слова поэта, но вѣрно передающій ихъ общій смыслъ. (Wł. Bełza, Zpoki Mickiewicza. 1911, стр. 113). Въ это время Мицкевичъ, по заявленію Одынца (въ письмѣ отъ 19 мая 1832 г.), былъ уже христіаномъ великой вѣры, безъ которой никто не будетъ ни великимъ, ни полезнымъ, ни счастливымъ. Могло ли такого христіанскаго поэта удовлетворять байроновское настроеніе, такъ ярко вылившееся въ «Гуярѣ»? И вотъ, дойдя до середины перевода, Мицкевичъ вдругъ почувствовалъ влеченіе совсѣмъ къ другому творчеству. Какъ ни постепенно готовилось пробужденіе его личнаго творчества, поэту казалось, что оно наступило неожиданно. Молясь въ костелѣ, онъ почувствовалъ, что «надъ нимъ разбилася банка съ поэзіей». Онъ принялся писать. Въ мартѣ онъ писалъ познанскимъ друзьямъ, звавшимъ его на Пасху къ себѣ, что послѣ долгой праздности, или какого-то оцѣпенѣнія, когда онъ могъ думать только о газетахъ и политическихъ новостяхъ, онъ возвращается къ своимъ прежнимъ занятіямъ, «много вещей въ это время переводить, нныя кончаетъ, нныя начинаетъ. Разъ муза показала свои милостивыя очи, надо воспользоваться съ уваженіемъ ея услугами и ни на минуту не отходить отъ нея, иначе она убѣжитъ и не вернется». Дѣйствительно въ жизни Мицкевича наступаетъ эпоха необычайнаго напряженія творчества, какъ за десять лѣтъ передъ тѣмъ: онъ пишетъ въ это

время 3-ью часть «Дѣдовъ», въ сущности отдѣльную длинную трагедію, рядъ эпическихъ стихотвореній, имѣющихъ отношеніе къ возстанію, обрабатываетъ горькую сатиру на Россію, извѣстную подъ именемъ «Ustęp», и наконецъ замышляетъ «Пана Тадеуша», завершеніе и высшее созданіе его поэтическаго творчества. Этотъ періодъ тянется около двухъ лѣтъ, и послѣ него Мицкевичъ не создаетъ уже ничего крупнаго въ поэтической области. Онъ становится только учителемъ своего народа на его тяжеломъ нравственномъ пути, но обращается къ нему съ проповѣдью религіозной или съ политическими рѣчами. Въ возрастѣ около 40 лѣтъ родникъ художественнаго творчества, повидимому, изсякаетъ въ душѣ Мицкевича. Но теперь, въ 1831—34 годы, онъ бьетъ особенно живительно. «Я сдѣлался schreibe-maschine, и нѣсколько недѣль подъ рядъ не выпускаю изъ рукъ пера. Еще не все, что я началъ, закончено, а пока не кончу, не двинусь изъ Дрездена, развѣ выгонять, на что пока не похоже. Куда я дѣнусь потомъ, еще не знаю и, по правдѣ сказать, совѣмъ объ этомъ не думаю, потому что писаніе есть нѣчто въ родѣ тетеревиного тока, отъ котораго трудно пробудить даже выстрѣломъ. Я не показываюсь изъ дому, конгрессы меня страшно разочаровали и ни къ чему не приведутъ. И потому я хочу теперь зарыться въ прошломъ, пока не блеснетъ какая-нибудь надежда на будущее». Такъ пишетъ Мицкевичъ 26 апр. 1832 года, а черезъ 3 дня въ письмѣ къ брату Франциску прибавляетъ: «Я такъ занятъ вотъ уже нѣсколько недѣль, что едва успѣваю обрить бороду. Я столько писалъ, что число склеенныхъ стиховъ (wierszy skleconych) за этотъ мѣсяцъ равняется третьей части, а можетъ быть и половинѣ всего, что я до сихъ поръ напечаталъ». Нѣсколько недѣль спустя, 20 мая 1832 года, мы узнаемъ изъ письма Мицкевича къ Лелевелю, что поэма и нѣсколько мелкихъ отрывковъ были уже закончены, «все болѣе или менѣе касается нашего дѣла и можетъ быть напечатано только въ Парижѣ», при чемъ займетъ томъ такихъ же размѣровъ, какъ «Валленродъ». Въ этихъ произведеніяхъ Мицкевичъ видѣлъ «продолженіе войны, которую теперь, когда мечи вложены въ ножны, нужно вести далѣе перомъ». Рѣчь идетъ, конечно, о «Дѣдахъ», о нѣсколькихъ патріотическихъ стихотвореніяхъ, связанныхъ съ возстаніемъ, и о сатирѣ на Россію, извѣстной подъ именемъ «Ustęp». Но творчество Мицкевича еще

не изсякло, и въ концѣ того же письма опъ добавляетъ: «Со времени писанія «Дѣдовъ» я еще никогда не былъ въ такомъ поэтическомъ чадѣ (ferwog), и теперь пишу очень много». Эти указанія относятся, повидимому, къ двумъ прозаическимъ произведеніямъ, посвященнымъ также «справкѣ», но не вошедшимъ въ сборникъ, объ изданіи котораго Мицкевичъ писалъ Лелевелю. Это были двѣ «Книги», написанныя въ библейскомъ стилѣ: «Книга польскаго народа» и «Книга польскихъ пилигримовъ». На то, что онѣ возникли именно теперь, можно найти, мнѣ кажется, дѣльное указаніе въ письмѣ Мицкевича къ графу Грабовскому 16 іюня 1832 г. Поэтъ уже видѣлъ, въ какое несчастное положеніе попали въ Парижѣ эмигранты, какъ несбыточны ихъ надежды на французскую помощь, въ какую бесплодную свару превратится теперь ихъ политическая рознь. «Наши строятъ много надеждъ на парламентскія дебаты, которыя, какъ мнѣ думается, сведутся къ пустякамъ. Не слышалъ я, чтобы какой-нибудь народъ воскрешали дебатами и дипломатическими нотами! Впрочемъ, дѣлать имъ нечего, пусть болтаютъ. Жаль только, что они слишкомъ много надеждъ возлагаютъ на дипломатію; мы уже дорого заплатили за нихъ! Я же надѣюсь только на Господа Бога; Онъ смѣшаетъ всѣ ихъ планы, а потомъ за саблю, если только удастся еще разъ обнажить ее!» Чтобы дать этой толпѣ эмигрантовъ нравственное руководство, чтобы поднять ее въ собственныхъ глазахъ надъ омутомъ мелкихъ партійныхъ счетовъ и напомнить ей о высшемъ назначеніи страдающаго народа, Мицкевичъ и написалъ эти «Книги». Въ Дрезденѣ это было еще психологически возможно: съ массой эмигрантовъ, перенесшихъ на почву Парижа всѣ свои старые счеты, онъ еще не сталкивался, онъ могъ еще идеализировать ее, потому что видѣлъ еще только ея идею, а мелкой будничной жизни, затемняющей всякую идею, еще не дѣлилъ съ ней. Въ Парижѣ онъ уже иначе почувствовалъ себя среди своихъ. Предисловіе къ «Пану Тадеушу», какъ небо отъ земли, далеко отъ настроенія «Книгъ». Поэтому слова поэта въ письмѣ къ брату (19 іюня): «Ничего не дѣлаю, потому что закончилъ почти все, что задумалъ, а потому предаюсь теперь лѣни, на будущее никакихъ плановъ не строю, потому что кто же теперь думаетъ о завтрашнемъ днѣ»,—эти слова позволяютъ думать, что «Книги» были закончены, а не только набросаны (наszkicowane, какъ говоритъ проф. Балленбахъ) въ Дрезденѣ. Съ ихъ окончаніемъ горячка творчества прошла. Едва ли могъ пре-

даться Мицкевичъ лѣни, пока не поставилъ точки, изливъ все то, что накопилось на его душѣ. «Книги» проникнуты всецѣло тѣмъ же настроеніемъ, что и «Дѣды», и должны относиться къ тому же самому времени, что и 3-я часть «Дѣдовъ».

Закончивъ все это, поэтъ могъ покинуть Дрезденъ и ѣхать въ Парижъ. По настоянію русскаго правительства, дрезденскія власти старались понемногу сплавить изъ Саксоніи польскихъ эмигрантовъ. Мицкевичъ, по его словамъ, не хотѣлъ ждать, пока дойдетъ очередь и до него. «У меня есть личныя основанія направиться поближе къ Франціи, писалъ онъ Грабовскому: на моихъ прежнихъ опекуновъ я не слишкомъ-то полагаюсь, хорошо зная ихъ длинныя руки». На кого намекалъ Мицкевичъ? Вѣдь въ то же время онъ сообщалъ, что могъ бы добиться права на возвращеніе въ Россію даже для своего брата Франциска, принимавшаго дѣятельное участіе въ возстаніи, хотя ему было тяжело просить кого-либо изъ русскихъ. Во всякомъ случаѣ, мы знаемъ, что лично никакой опасности Мицкевичу не грозило. Болѣе того: въ Познань, для участія въ возстаніи, онъ ѣхалъ изъ Рима въ обществѣ русскаго посланника, кн. Голицына, и нисколько не опасался говорить съ нимъ. Наконецъ, насколько извѣстно, никто изъ повстанцевъ не былъ выданъ русскому правительству, а Мицкевичъ и не былъ повстанцемъ, и до изданія 3-ей части «Дѣдовъ» не былъ даже ничѣмъ скомпрометированъ передъ русскимъ правительствомъ. Такимъ образомъ эта выходка противъ «прежнихъ опекуновъ» не имѣла, вѣроятно, никакой реальной основы, и была порождена только общимъ недружелюбіемъ къ Россіи. Какъ бы то ни было, числа 23 іюня поэтъ покинулъ Дрезденъ и въ обществѣ нѣсколькихъ поляковъ поѣхалъ черезъ Германію въ Парижъ. Домейко, ѣхавшій съ Мицкевичемъ, сохранилъ описаніе этого переѣзда, который не былъ ни скучнымъ, ни печальнымъ, хотя по дорогѣ то и дѣло встрѣчались направлявшіеся во Францію «въ нуждѣ и убожествѣ» польскіе офицеры и солдаты.

Но особенно поразили Мицкевича эмигранты нѣмецкіе, отправлявшіеся въ Россію для колонизаціи ея малонаселенныхъ мѣстностей, и имъ поэтъ посвятилъ, какъ полагаетъ I. Третьякъ, брошюру: «De l'émigration des Allemands en Russie précédé de quelques lettres sur mon dernier voyage en Allemagne, au mois de juin 1832, par. I. D., réfugié polonais».

Тогдашніе нѣмцы. еще не отрѣшнвшіеся отъ романтизма,

съ горячей симпатіей встрѣчали эти остатки разбитой арміи борцовъ за свободу; они устраивали для нихъ обѣды, давали имъ пріютъ въ своихъ домахъ, развлекали ихъ. Лично Мицкевичъ былъ и теперь предметомъ овацій. Въ Страсбургѣ устроили концертъ, на которомъ исполнили по-польски произведеніе Мицкевича «*Wilija, naszym strumieni rodziga*» (изъ «Конрада Валленрода»). «Слезы полились изъ его глазъ». Въ Парижѣ, куда онъ пріѣхалъ 1 августа, его встрѣтилъ Лелевель. Поэтъ сейчасъ же сталъ центромъ всеобщаго вниманія. Нѣскольکو дней спустя устроили для него обѣдъ литовцы.

Каждая изъ партій, которыя и теперь, послѣ возстанія, продолжали ожесточенную борьбу, старались завербовать въ свои ряды Мицкевича. На него сыпались почести и знаки вниманія. Литовская молодежь поднесла ему адресъ, въ которомъ благодарила его за пріѣздъ въ Парижъ съ цѣлью «озолотить звѣздой надежды сердца, тоскуюція по отчизнѣ, по родицѣ»; изъ золота, пожертвованнаго на войну, она сдѣлала перстень съ лирой и поднесла его поэту. Въ горячемъ письмѣ онъ благодарилъ за поднесеніе: «Этимъ перстнемъ вы свидѣтельствуете, что я сохранилъ вѣрность родицѣ, въ которой я поклялся въ дѣтствѣ; этимъ перстнемъ я вторично обручаюсь съ ней». Здѣсь слышится какая-то покаянная нота. И не подлежитъ сомнѣнію, что Мицкевича намеками или даже прямо перѣдко корили за его абсентеизмъ во время возстанія и что его душевное состояніе было очень тяжелое. Однажды онъ расплакался, когда какой-то изъ сочувствующихъ любопытныхъ спросилъ его, чѣмъ собственно надо объяснить его отсутствіе въ эту пору. Другіе горячо выступали на защиту поэта, въ сущности же, его непрерывно терзали, и онъ былъ въ настоящемъ трагическомъ раздвоеніи: въ своемъ духовномъ развитіи онъ уже пережилъ вѣру въ дѣйствительность насилиі, онъ не любилъ ихъ и не могъ въ нихъ участвовать. А какъ иначе онъ могъ быть вождемъ своего народа, занимать въ его судьбѣ то выдающееся положеніе, къ которому его толкало какъ сознаніе своего превосходства надъ людьми, такъ и врожденное честолюбіе вождя? Мицкевичу приходилось обманывать себя, закрывать глаза на мелкую суетню эмиграціоннаго муравейника, въ которомъ уже не было возможности проявить великія и высокія чувства, гдѣ чувства вырождались въ маленькія интриги, сплетню, соперничество самолюбій. Поэтъ старался поддержать вы-

сокій тонъ, онъ благодушно наставлялъ, бесѣдовалъ; много импровизировалъ, стараясь выразить патріотическое настроеніе эмиграціи. Наконецъ, въ началѣ декабря отдѣльной брошюрой, безъ имени автора, вышли «Книги народа и пилигримства польскаго», встрѣченныя одними съ восторгомъ и благоговѣніемъ, другими уже съ здоровой критикой, которая почитателей поэта возмущала до глубины души. Эта критика, вызванная разумнымъ желаніемъ повернуть эмиграцію на путь реальной работы и протестомъ противъ лозунговъ романтизма въ жизни, казалась Мицкевичу личной выходкой противъ него. Онъ увѣрялъ, будто бы критика, сердившая его друзей, его самого только смѣшить, но уже въ самомъ подозрѣніи, будто его хотятъ «дискредитировать», доказать, что онъ «глупъ» и пр., чувствуется прежде всего оскорбленное самолюбіе. То же чувство внушало ему преувеличенія въ письмѣ къ Одынцу (28 янв. 1833 г.): «Я живу здѣсь съ неприятнымъ чувствомъ (niemile) среди чуждыхъ мнѣ элементовъ, и одни меня ненавидятъ, другіе косятся на меня, доктринеры считаютъ меня сумасшедшимъ; всѣ они одинаково торжественно глупы, крикливы и ни къ чему не годны».

Обратимся къ этимъ «Книгамъ». Первая изъ нихъ содержитъ «Книги народа польскаго», удивительное соединеніе какого-то кощунства со смиреніемъ, желанія быть искреннимъ и такого фальшиваго тона. Когда въ концѣ книги Мицкевичъ заявляетъ, что писалъ «нѣкоторыя вещи по милости Божіей» (z łaski Bożej), а въ началѣ ихъ устанавливаетъ хронологію «отъ начала міра до страстей (do umęczenia) польскаго народа»; когда, **возвѣщая** свои истины тономъ Евангелія, поэтъ говорилъ тенденціозныя, исторически-неправильныя вещи, когда подъ покровомъ смиренія и благочестія онъ таилъ гордое сердце, чуждое прощенья, и при этомъ искажалъ самое Евангеліе, нахвѣренно смѣшивая лица Лазаря съ Лазаремъ, воскресеннымъ Христомъ, то все это представляло нѣчто, что должно было возмущать искреннее религіозное чувство. И въ этомъ смыслѣ писатель, подошедшій къ «Книгамъ» Мицкевича съ чувствомъ религіозно настроеннаго человѣка, правъ, когда говоритъ, что «въ своемъ выполненіи онѣ отвратительны» (są w wykonaniu przukre, слова гр. С. Тарновскаго). Вѣрилъ ли въ свою философію исторіи Мицкевичъ? Можетъ быть, онъ вѣрилъ въ то, что «Исторія будущаго» пойдетъ такъ, какъ онъ рисовалъ ее въ своемъ воображеніи, но

онъ говорилъ здѣсь о прошломъ и при всемъ своемъ стремленіи къ синтезу онъ едва ли могъ дойти до такихъ упрощенныхъ формулъ, какія далъ въ своихъ «Книгахъ». Правда, эти послѣднія были предназначены для сѣрой массы эмигрантовъ, для тѣхъ десятковъ тысячъ людей, которые были раскиданы по казармамъ Франціи, но даже и для нихъ нравственное чувство поэта должно было бы избѣгнуть сознательной фальсификаціи исторіи. Не мудро, что самъ Владиславъ Мицкевичъ, воспѣвающий гимны этому творенію своего отца, замѣчаетъ, что объ истинности его наставленій нельзя судить, такъ какъ эмиграція, принявъ съ восхищеніемъ «Книги», не пошла въ своемъ дальнѣйшемъ поведеніи по путямъ, указаннымъ поэтомъ (II. 193).

Вотъ образцы той философіи исторіи, которая возвѣщена въ «Книгахъ польскаго народа» библейскимъ слогомъ. «Сначала была вѣра въ одного Бога, и въ міръ была свобода. И не было законовъ, а только воля Божья, и не было господъ и рабовъ, а только патріархи и ихъ дѣти. Но потомъ люди отреклись отъ единого Бога и надѣлали себѣ идоловъ, и кланялись имъ, и приносили въ честь ихъ кровавыя жертвы и воевали за честь своихъ идоловъ. И за это Богъ ниспослалъ на идолопоклонниковъ величайшее наказаніе, т.-е. рабство. И стала половина людей рабами другой половины, хотя всѣ происходили отъ единого Отца... Ибо отреклись они отъ своего происхожденія и выдумали себѣ разныхъ отцовъ: одинъ сказалъ, что онъ происходитъ отъ земли, а другой отъ моря, а иные отъ иныхъ. И пока, такъ воюя, одни другихъ брали въ рабство, всѣ они вмѣстѣ попали въ рабство къ римскому императору. Императоръ же римскій назвалъ себя богомъ: что онъ похвалить, то будетъ называться добродѣтелью, а что осудить, то будетъ называться преступленьемъ. И нашлись философы, которые доказывали, что императоръ, такъ поступаая, поступаетъ хорошо». Такъ, съ помощью этой своеобразной философіи исторіи, Мицкевичъ переходитъ отъ первоначальнаго равенства людей къ римскому деспогизму, который взялся неизвѣстно откуда. По дорогѣ онъ задѣваетъ «философовъ», обнаруживая обычный для отрицателей «разума» радикализмъ. «Императоръ римскій не имѣлъ ни подъ собой, ни надъ собой ничего такого, что онъ почиталъ бы. И вся земля стала рабой, и не было такого рабства нигдѣ на свѣтѣ, ни раньше, ни позже, только въ Россіи въ наши дни.

Ибо и у турокъ султанъ долженъ почитать законъ Магомета и не можетъ самъ толковать его, но существуютъ для этого турецкіе кесенды. Въ Россіи же императоръ есть глава *вѣры*, и во что онъ прикажетъ вѣрить, въ то и должны вѣрить». Мицкевичъ не могъ не знать, что онъ говоритъ неправду, что «главой вѣры» не признавали себя ни Иванъ Грозный, ни Петръ Великій, ни Николаій I, что между понятіями «глава вѣры» и «глава церкви» большая разница. По ему нужно было сгустить краски, сравнивая языческой Римъ съ самодержавной Россіей, и онъ допустилъ сознательную неправду, которая производитъ тѣмъ болѣе непріятное впечатлѣніе, что возвышена торжественнымъ библейскимъ стилемъ. Отъ Россіи прямой переходъ къ неточнику христіанства. «Когда рабство слишкомъ усилилось на свѣтѣ, стало такъ, что въ немъ наступилъ кризисъ (*przesilenie*); какъ переломъ почи въ самую долгую и темную ночь, такъ переломъ рабства во время римскаго рабства. Во оно время пришелъ на землю Сынъ Божій, Иисусъ Христосъ, уча людей, что всѣ они родные братья, дѣти одного Бога, и что тотъ больше всѣхъ между людьми, кто имъ служитъ и кто жертвуетъ собой для ихъ блага. А чѣмъ кто лучше, тѣмъ больше долженъ пожертвовать собой. Христосъ же, будучи наилучшимъ, долженъ былъ отдать ради нихъ свою кровь на мукѣ самой тяжкой». Далѣе слѣдуетъ поученіе, что нужно чтить не мудрость человѣческую, не богатство и не власть, но лишь самоотверженіе ради блага людей. Возвращаясь къ своей исторіи міра, Мицкевичъ продолжаетъ такъ же тенденціозно излагать исторію Среднихъ вѣковъ. Забывая или намѣренно упуская изъ виду заявленіе Евангелія, что царство Божіе «не отъ міра сего», поэтъ вѣщаетъ слѣдующее: «Христосъ воскресъ и, изгнавъ императоровъ, водрузилъ свой крестъ на ихъ престолѣ, и тогда господа освободили своихъ рабовъ и признали въ нихъ братьевъ, а короли, помазанные во имя Божье, признали надъ собой законъ Божій, и вернулась на землю Справедливость. И всѣ народы, которые приняли вѣру, будь то нѣмцы, итальянцы, французы или поляки, считали себя однимъ народомъ, и назвали они этотъ народъ христіанствомъ. И короли разныхъ народовъ признавали себя братьями и шли подъ однимъ знаменіемъ креста. А кто былъ человекомъ рыцарственнымъ, тотъ вѣхалъ воевать съ язычниками въ Азію или защищать азіатскихъ христіанъ и отвоевы-

вать гробъ Спасителя. И называли эту войну въ Азїи войной крестоносной. И хотя христіане воевали не для славы и не ради прїобрѣтенія земель или богатствъ, а для освобожденія Святой земли, но все-таки Богъ наградилъ ихъ за эту войну славой, и землями, и богатствами, и мудростью. И Европа просвѣщалась, и устранилась, и богатѣла. И наградилъ ее Богъ за то, что она пожертвовала собой для блага другихъ». Все шло хорошо, но вотъ въ королей вступилъ злой духъ, и, «отрекшись отъ Христа, они надѣлали новыхъ боговъ, идоловъ, и поставили ихъ передъ лицомъ народовъ, и велѣли имъ поклоняться и за нихъ сражаться». Здѣсь Мицкевичъ впадаетъ въ подробности относительно того, какихъ именно идоловъ создали короли. Такими идолами оказываются для французовъ «честь» (*honor*), для испанцевъ «политическій перевѣсъ» или «политическое вліяніе», для англичанъ «господство на морѣ и господство при помощи торговли», для нѣмцевъ «*Brodsinn*, или благосостояніе». И люди кланялись своимъ идоламъ. Дальше идетъ нѣчто ужъ совсѣмъ темное. «И сказалъ король французамъ: встаньте и деритесь за гоноръ. Встали и бились пятьсотъ лѣтъ. А король англійскій сказалъ: встаньте и бейтесь за мамона. Встали и бились пятьсотъ лѣтъ. И другіе народы тоже бились, каждый за своего идола. И забыли народы, что всѣ они происходятъ отъ одного отца. И сказалъ англичанинъ: отецъ мой *корабль*, а мать моя *паръ*. Французъ же сказалъ: отецъ мой—*суша*, а мать моя—*биржа*. А нѣмецъ сказалъ: отецъ мой—*мастерская*, а мать моя—*портерная* (*кпајра*)». Кажется, что это какаля-то кощунственная насмѣшка, но Мицкевичъ вѣщаетъ истины, открытыя ему будто бы свыше. Апогея своего эта профанация религіознаго чувства, это ненужное безвкусное вмѣшательство вѣчнаго въ политическія, временныя дѣла достигается тамъ, гдѣ «Книги» съ той же исторической непоследовательностью, съ тѣмъ же нарушеніемъ исторической истины переходятъ къ эпохѣ раздѣловъ. Онъ убѣжденъ, что «Богъ» его непременно долженъ смотрѣть на событія конца XVIII вѣка глазами его, Мицкевича, и самыя имена Фридриха, Екатерины II и Марїи Терезїи представляются ему «кощунствомъ». Польское государство погибло лишь потому, что польскій народъ былъ слишкомъ хорошъ. «Сатанинская троица, противоположная Троицѣ Божьей, была какъ бы надругательствомъ и насмѣшкой надо всѣмъ, что только есть

святого». Какъ можетъ вѣрующій человекъ сопоставлять съ Троичнымъ Божествомъ трехъ государей, временныхъ исполнителей преходящихъ событій? И вотъ эта «троица, видя, что еще недостаточно народы глуны и испорчены, создала новаго кумира, самаго отвратительнаго изъ всѣхъ, и назвала этотъ кумиръ *интересомъ*, какового идола не знали древніе язычники». Всѣ народы принялись усердно служить интересу. «Одинъ только польскій народъ не поклонялся новому кумиру и не имѣлъ на своемъ языкѣ слова для того, чтобы окрестить его по-польски, или имени для того, чтобы окрестить его почитателей, которые называются словомъ *эгоисты*, взятымъ изъ французскаго языка ¹⁾. Польскій народъ почиталъ Бога, зная, что тотъ, кто почитаетъ Бога, воздастъ честь всему, что есть добраго. Былъ же народъ польскій съ начала до конца вѣренъ Богу своихъ предковъ. Его короли и рыцарственные люди никогда не обижали ни одного вѣрнаго народа, но защищали христіанство отъ язычниковъ и варваровъ, несущихъ рабство. И шли польскіе короли на защиту христіанъ въ далекія страны, король Владиславъ подѣ Варну, а король Іоаннъ подѣ Вѣну для защиты Востока и Запада. Никогда же короли и рыцарственные мужи не забирали сосѣднихъ земель насильно, но принимали народы въ свое братство, связуя ихъ съ собою благодѣяніями Вѣры и Свободы. И наградилъ ихъ Богъ, ибо великій народъ Литва соединился съ Польшей, какъ мужъ съ женой, составивъ двѣ души въ одномъ тѣлѣ. И раньше, до того, никогда не бывало такого сочетанія. Но потомъ будетъ. Ибо это соединеніе и бракосочетаніе Литвы съ Польшей представляетъ прообразъ будущаго соединенія всѣхъ народовъ христіанскихъ во имя Вѣры и Свободы». Затѣмъ рисуется картина того нравственнаго совершенства, въ какомъ находилась Польша. «И сказала, наконецъ, Польша: кто только придетъ ко мнѣ, будетъ свободенъ, свободенъ и равноправенъ, ибо я есмь Свобода. Но короли, услышавъ объ этомъ, встревожились въ сердцахъ своихъ и сказали: мы согнали съ лица земли Свободу, а вотъ она возвращается въ лицѣ справедливаго народа, который не поклоняется нашимъ идоламъ. Пойдемъ, убьемъ этотъ народъ. И они составили между собой заговоръ». Дальнѣйшее находится въ тѣснѣйшей связи съ третьей частью «Дѣдовъ», которая,

¹⁾ Точно отзывкъ тѣхъ мыслей, которыя заставили Мицкевича когда-то въ юности назвать эгоистовъ „самодобами“.

какъ извѣстно, была написана за нѣсколько недѣль до «Книгъ польскаго народа». Какъ тамъ рисуется въ самомъ мрачномъ свѣтѣ одинъ изъ русскихъ государственныхъ людей, Новосильцовъ, котораго по ночамъ стерегутъ дьяволы, такъ здѣсь выступаетъ орудиемъ сатаны французскій министръ Казиміръ Перье, ничѣмъ, въ сущности, неповинный передъ поляками и уже во всякомъ случаѣ не заслуживающій той чести, какую оказалъ ему Мицкевичъ, предсказывая, что имя его будетъ вѣчно памятно полякамъ. Имя его славянское — Казиміръ, которое Мицкевичъ толкуетъ, какъ «исказитель мира» (*Skaziciel miru*), а фамилія романская: *Perier*, которая происходитъ будто бы отъ латинскаго глагола *perire* или французскаго *périr* и означаетъ губителя или сына гибели. «А имя это и фамилія антихристовы. И будетъ оно равно проклято въ поколѣніи романскомъ и въ поколѣніи славянскомъ». Дѣло въ томъ, что Казиміръ Перье сыгралъ роль евангельскаго судьи по отношенію къ польскому народу, который безъ всякаго стѣсненія отождествляется Мицкевичемъ съ І. Христомъ. Прусскій король Іуда: «онъ пришелъ и поцѣловалъ польскій народъ, говоря ему: «Союзникъ мой», а между тѣмъ, онъ уже предалъ его за тридцать городовъ великопольскихъ, какъ Іуда за тридцать сребренниковъ. А два другіе короля бросились и связали польскій народъ. А Галль судилъ и сказалъ: понстинѣ, не нахожу вины въ этомъ народѣ, а жена моя Франція, женщина пугливая, томится отъ злыхъ сновидѣній. А, впрочемъ, возьмите себѣ и замучьте этотъ народъ. И умыль руки. А французскій правитель (т.-е. Казиміръ Перье, министръ финансовъ, который, повидимому, отъказалъ въ 1831 году въ кредитъ на польское возстаніе) сказалъ: мы не можемъ искупить сего невиннаго ни кровью нашей ни деньгами, ибо кровь моя и деньги мои принадлежать мнѣ, а кровь и деньги народа моего принадлежать моему народу... И когда онъ произнесъ эти слова, тогда спали кресты съ башенъ безбожной столицы, ибо впредь Христа не могъ чтить народъ, почитающій кумирь Интересъ». Франція, — жена Галла, тридцать великопольскихъ городовъ въ роли тридцати сребренниковъ производятъ просто комическое, антихудожественное впечатлѣніе. Но послѣдній образъ книги, къ счастью, уже не комиченъ, хотя авторъ подводитъ къ нему читателя черезъ столько преувеличеній, придуманныхъ образовъ, просто неправ-

ды, что сила и этого образа умалена здѣсь. «И замучили польскій народъ, и положили его въ гробъ, а короли воскликнули: мы убили и похоронили свободу. И безсмысленны были ихъ крики, потому что, совершая послѣднее изъ преступлений, они завершили мѣру своихъ неправыхъ дѣлъ, и сила ихъ разрушилась въ тотъ самый мигъ, когда радость ихъ достигла высшаго предѣла. Ибо не умеръ польскій народъ: тѣло его сошло въ могилу, а душа исчезла съ лица земли, т. е. изъ жизни общественной удалилась въ подземный міръ, въ домашнюю жизнь людей, страдающихъ въ рабствѣ въ родной землѣ и виѣ ея; она спустилась туда, чтобы видѣть ихъ страданія. Но на третій день душа вернется въ тѣло, и воскреснетъ народъ и освободитъ отъ рабства всѣ народы Европы.

И вотъ ужъ прошло два дня: одинъ день кончился вмѣстѣ съ первымъ взятіемъ Варшавы, другой день кончился со вторымъ взятіемъ Варшавы, а третій день придетъ и не окончится. И какъ послѣ воскресенія Христова навсегда прекратились кровавыя жертвоприношенія, такъ съ воскресеніемъ польскаго народа прекратится въ христіанствѣ война». На этомъ кончаются «Книги польскаго народа». Далѣе слѣдуютъ «Книги польскаго пилигримства», которыя начинаются утверженіемъ, что «душой польскаго народа является польская эмиграція» (*pielgrzymstiso*), и заключаютъ въ себѣ большею частью моральныя наставленія. Рядомъ съ весьма полезными совѣтами и поученіями и съ отдѣльными красивыми и поэтическими мѣстами поражаетъ и здѣсь отсутствіе перспективы. «Вы призваны возстановить въ вашей странѣ и во всемъ христіанствѣ уваженіе къ порядку и наукѣ», зывалъ Мицкевичъ къ эмигрантамъ, видя ихъ нелады и слыша ихъ упреки, что возникшее недавно въ Парижѣ Литовское общество, поставившее своей цѣлью сохраненіе памяти о возстаніи, превращается въ чисто ученое общество. Какъ въ написанной нѣсколько раньше 3-ей части «Дѣдовъ», такъ и въ этихъ «Книгахъ» поэтъ общается своему народу появленіе какого-то таинственнаго мужа-спасителя. «Кто не узнаетъ подъ плащомъ повстанца Мужа, который побѣдилъ подъ Ваверомъ, и Мужа, который побѣдилъ подъ Сточкомъ, и Мужа, который вывелъ войско изъ Литвы, и Мужа, который привелъ Волинскій полкъ, и Мужа, который сказалъ въ дни возстанія: Юноши! дѣлайте то, что вы задумали, идите и боритесь, и Юношей, которые первые изна-

ли тирана, и Мужа, который первый изрекъ: долой Николая? Известны міру ихъ имена?» Такъ отдѣльные событія изъ исторіи возстанія изображены какими-то дѣйствіями Провидѣнія. Между тѣмъ въ этой книгѣ есть прекрасныя мысли. «Сѣйте любовь къ родинѣ и духъ самоотверженія, и будьте увѣрены, что возрастеть Рѣчь Посполитая, великая и прекрасная». Къ сожалѣнію, однако, эти мысли тонуть въ сумбурѣ преувеличеній, мистическихъ намековъ, безвкусныхъ нападокъ, безчисленныхъ повтореній. Нужно было испытывать особенное расположеніе къ такого рода мистикѣ, чтобы найти въ ней опору и утѣшеніе. Естественно, что часть эмигрантовъ была удовлетворена «Книгамн», которыя такъ высоко ставили ихъ въ собственныхъ глазахъ, сулили имъ такое великое будущее, усыпляли въ мечтахъ. Другіе же именно вслѣдствіе этого возмутились противъ Мицкевича: въ ту пору, когда народъ такъ нуждался въ простомъ и мужественномъ словѣ утѣшенія, поэтъ рисовалъ передъ нимъ рядъ туманныхъ картинъ, затмилъ его сознаніе преувеличеннымъ восхищеніемъ прошлаго, повелъ его въ края фантазіи. Для чего онъ это дѣлалъ? На это отвѣчаетъ соврѣменный писатель, родственникъ своимъ настроеніемъ товянизму и національной мистикѣ, Артуръ Гурскій въ своей извѣстной книгѣ «Monsalwat» (Warszawa, 1908). «Не можетъ народъ жить безъ своей святыни; онъ гибнетъ, когда перестаетъ ее строить, когда забываетъ пути къ ней, когда она уже не отражается въ его глазахъ. И тамъ, гдѣ не почитается алтарь народа, нѣтъ уже для духовныхъ силъ достойнаго приюта». А самъ Мицкевичъ, по его словамъ, «непрестанно углубляется въ основную идею народа, изслѣдуетъ расовыя предназначенія. Какъ водолазъ, этотъ человѣкъ погружается на цѣлые года въ глубину исторіи... и возвращается со звѣздами въ рукахъ».

У Мицкевича былъ предшественникъ и послѣдователь въ этомъ пониманіи историческаго процесса. Въ первоначальной редакціи «Книгъ пилигримства» была фраза, не попавшая въ печатный текстъ. Она гласитъ слѣдующее: «А особенно изъ наставленій поляка, который назывался Олешкевичъ и умеръ недавно, и изъ наставленій ксендза Станислава (т.-е. Холоневскаго), который живетъ донныѣ, и изъ наставленій людей поляковъ и изъ книгъ ксендза, который называется Ламенэ»... О томъ, что сочиненіями Ламенэ Мицкевичъ увлекался уже въ Римѣ, что съ авторомъ ихъ

онъ познакомился въ Парижѣ въ годъ возстанія, когда лишь онъ плакалъ надъ судьбой поляковъ, мы уже знаемъ. Здѣсь же слѣдуетъ прибавить, что Ламенэ, познакомившись въ 1833 г. во французскомъ переводѣ съ «Книгамъ» Мицкевича, называлъ ихъ «Книгой всего человѣчества», говорилъ, что «это прекрасно, какъ Евангеліе», и написалъ, тѣсно примыкая къ философской исторіи Мицкевича, собственный историко-философскій трудъ «Les paroles d'un croyant». Въ развитіи Мицкевича, которое совершалось помимо вліянія Ламенэ до конца 1830 года, знаменательно совпаденіе въ общемъ пути съ Ламенэ. Такимъ образомъ, французскій мистикъ не создалъ чего-нибудь новаго въ міровоззрѣніи польскаго поэта, но только подкрѣпилъ его увѣренность въ своей правотѣ, когда онъ отрицалъ значеніе человѣческаго разума и связывалъ наступленіе будущихъ лучшихъ временъ съ нравственнымъ исправленіемъ человѣчества. Въ своемъ «Essai sur l'indifférence en matière de religion» Ламенэ утверждаетъ, что «въ самихъ себѣ мы не находимъ никакихъ истинъ, что всѣ онѣ приходятъ къ намъ *изнутри*, а разумъ не что иное, какъ только способность воспріятія ихъ, распознаванія и соединенія». Преклоняясь передъ авторитетомъ Рима, передъ папой, Мицкевичъ шелъ какъ будто за вліяніемъ Ламенэ и за его мыслями, изложенными въ сочиненіи «De la Religion considerée dans ses rapports avec l'ordre politique et civile» (1825). Или атеизмъ, или теократія, говоритъ Ламенэ. «Безъ папы нѣтъ церкви, безъ церкви нѣтъ христіанства; безъ христіанства нѣтъ религіи, по крайней мѣрѣ, для каждаго народа, который былъ христіанскимъ, а потому нѣтъ и общества». Такъ въ Мицкевичѣ совершился духовный переворотъ, отчасти подъ вліяніемъ родственныхъ душъ, отчасти въ связи съ тѣми настроеніями, которыя какъ бы носились въ воздухѣ. Но, прежде всего, онъ былъ тѣсно связанъ съ судьбами собственнаго поэта. Нѣсколько лѣтъ спустя (въ мартѣ 1842 года) Мицкевичъ уже враждебно отзывался о Ламенэ. «Мы были несходны съ нимъ по духу и настроенію. Ксендзь Ламенэ все основывалъ на разсужденіи, на полемикѣ, интригахъ etc; это былъ сухой рациональный богословъ. Вѣру, созданную чудесами, кровью и воскресеніемъ изъ мертвыхъ, онъ хотѣлъ достроить газетами, брошюрами и учрежденіемъ политическихъ обществъ. Я никогда не раздѣлялъ его мнѣній и, даже когда былъ особенно увлеченъ имъ (*najwziętszy*), избѣгалъ личныхъ

отношеній съ нимъ». Отзывъ, характерный для того періода въ жизни Мицкевича, когда онъ погрузился въ омутъ мистики.

ГЛАВА XX.

Трагедія возстанія. Третья часть «Дѣдовъ».

Уже давно Мицкевича занимала идея Прометея. Еще въ концѣ 1829 г. въ Римѣ онъ зачитывался Эхиловою трагедіей и развивалъ въ бесѣдахъ съ Одынцемъ прометеевскую идею, приспособленную къ христіанскимъ представленіямъ о духѣ. Еще въ письмѣ къ Жуковскому онъ давалъ понять, что процессъ филаретовъ занимаетъ его поэтическую мысль, а волненіе при воспоминаніи о юныхъ мученикахъ, охватившее его на лекціи въ Лозаннѣ, бросаетъ свѣтъ на тотъ обликъ, который стала принимать въ его воображеніи исторія филаретовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не переставалъ строить планы будущей исторической трагедіи, которую онъ когда-нибудь напишетъ, а форму для такой трагедіи онъ нашелъ у двухъ французскихъ писателей, Кавэ и Дитмера, которые въ 1828 году издали подъ псевдонимомъ де-Фонжерэ «драматическіе и историческіе эскизы», «*Les soirées de Neuilly*». Эскизы имѣли большой успѣхъ у французской публики, и за одинъ годъ выдержали 4 изданія и надѣлали, вообще, столько шуму въ литературномъ мірѣ, что уже въ маѣ 1828 года Мицкевичъ писалъ о нихъ, еще изъ Петербурга, восторженное письмо Одынцу. «Эти драматическія сцены, по-моему, самое интересное и поэтическое произведеніе нашей эпохи; оно можетъ составить эпоху въ драматическомъ искусствѣ, и во всякомъ случаѣ предвѣщаетъ новую, чудесную (*szczytny*) форму, отличную отъ греческой и отъ шекспировской, форму, поистинѣ характерную для нашего вѣка, самую пригодную для изображенія современныхъ событій». Эта форма заключалась, по объясненію проф. Калленбаха, въ чрезвычайной живости діалога, простомъ, самомъ обыденномъ слогѣ и частыхъ политическихъ намскахъ. «Полная свобода въ смыслѣ времени и мѣста драматическаго дѣйствія могла казаться для той эпохи литературной революціей». Среди эскизовъ де-Фонжерэ нѣкоторые касаются самыхъ животрепещущихъ, современныхъ событій. Но

больше всего впечатлѣнія на Мицкевича произвела, по его словамъ, драма «*Malet ou une conspiration sous l'empire*», герой которой, Мале, составляетъ въ 1812 году планъ низверженія Наполеона съ престола. Именно на эту драму поэтъ ссылался въ бесѣдѣ съ Одынцомъ о «новѣйшей исторической драмѣ», которая въ «*Listach z podróży*» Одынца фигурируетъ подъ 4 апрѣля 1830 года.

Такимъ образомъ, обличеніе гордости (pucha) современнаго Прометея, съ одной стороны, замыселъ дать въ драматической безискусственной формѣ изображеніе ближайшаго прошлаго—съ другой: эти два элемента 3-ей части «Дѣдовъ» имѣлись налицо уже до возстанія 1830 года. Но Мицкевичъ долго не рѣшался изобразить процессъ филаретовъ, опасаясь, повидимому, ухудшенія участи его друзей, жившихъ въ Россіи. Болѣе того, онъ жестоко обрушивается на французскихъ журналистовъ, которые изобразили общество филаретовъ какимъ-то серьезнымъ тайнымъ политическимъ клубомъ. «Раструбили, будто общество променистыхъ важное политическое общество, — а это именно доказывали и *доказываютъ наши враги*, а мы до сихъ поръ боролись съ этимъ, стараясь дать правительству правильное представленіе о дѣлѣ». Нѣтъ никакого основанія заподозривать искренность Мицкевича. И его судебное показаніе при всемъ естественномъ желаніи спутать слѣды и представить вещи въ самомъ невинномъ свѣтѣ все-таки представляется въ отрицаніи конспиративныхъ цѣлей филаретовъ искреннимъ. Иначе онъ не могъ бы видѣть въ филаретахъ исключительно мучениковъ, которые нужны были тиранамъ въ родѣ Новосильцова для личныхъ корыстныхъ цѣлей. Та стадія развитія, на которой былъ захваченъ кружокъ филаретовъ, конечно, была сообществомъ политическимъ, но то, что онъ успѣлъ сдѣлать, представлялось столь несерьезнымъ и незначительнымъ, что Мицкевичъ могъ искренно оспаривать предъявленныя ему обвиненія. Но вотъ теперь, въ 3-ей части «Дѣдовъ», картина мѣняется: литературная дѣятельность, которая должна была явиться въ пониманіи Мицкевича «продолженіемъ возстанія», избираетъ своимъ предметомъ именно процессъ филаретовъ. Почему это могло случиться? Я думаю, по двумъ причинамъ: процессъ привлекъ столько юныхъ заговорщиковъ, а расправа Новосильцова съ ними была такъ свирѣпа, что масса невинныхъ служила какъ бы показателемъ того ужаса, какой переживали

Польша и ея Литва. Но недаромъ были непосланы безвинному краю эти незаслуженныя кары. Ихъ мистическое значеніе тѣсно связано съ будущимъ польскаго народа. Другая причина заключалась въ интимнѣйшихъ чувствахъ поэта: страдая отъ сознанія своей бездѣятельности въ періодъ возстанія, онъ могъ съ гордостью и радостью остановиться душой на томъ времени, когда и онъ страдалъ вмѣстѣ со своимъ народомъ, когда онъ самъ былъ вождемъ движенія. Все это заставляетъ думать, что не раньше Дрездена и тѣснаго дружескаго общенія съ прежними филаретами началась работа надъ 3-ей частью «Дѣдовъ», какъ исторической драмой, заимствованной изъ самаго недавняго прошлаго.

Что касается «Импровизациі Конрада», занимающей въ ней какъ бы отдѣльное самостоятельное мѣсто, то, по признанію самаго Мицкевича, онъ написалъ ее за одну ночь. Психологически немислимо, чтобы это могло произойти до того времени, когда въ Дрезденѣ на него нахлынуло вдохновеніе. Въ ту пору, когда онъ писалъ запоемъ, никуда не выходя и забывъ весь міръ, онъ могъ такъ писать: но ни въ Римѣ, ни въ Познани у него не было соотвѣтствующаго настроенія. Поэтому едва ли раньше апрѣля — мая 1832 года было написано хоть что-нибудь изъ 3-ей части «Дѣдовъ». И, недостаточно обработавъ свое произведеніе, не позаботясь устранить тѣ промахи, которые вытекали изъ нарушенія первоначальнаго плана, изъ перенесенія одной изъ послѣднихъ сценъ на начальное мѣсто, Мицкевичъ носѣбилъ выпустить ее въ свѣтъ: такъ переполнена была его душа образами, чувствами, выливающимися на бумагу, но все еще не успокоившимися въ его душѣ. Трагедія была названа «Дѣдами». Матусякъ, Калленбахъ и др. полагаютъ, что это названіе связано съ единствомъ идеи въ «Дѣдахъ» ковенскихъ и «Дѣдахъ» дрезденскихъ: здѣсь та же вѣра во вліяніе добрыхъ и злыхъ духовъ на человѣческую жизнь, въ общеніе людей живыхъ съ загробнымъ міромъ. Не потому ли трагедія оказалась въ глазахъ самаго Мицкевича частью «Дѣдовъ», что герой ея остался тотъ же: тамъ — влюбленный Густавъ, здѣсь Конрадъ, осужденный носить на душѣ цѣпи, вѣчный изгнанникъ и странникъ. Оба они воплощенія одного лица, самаго поэта.

И эта внутренняя связь двухъ героевъ была настолько ясна, что въ первоначальномъ планѣ трагедіи Мицкевичъ вовсе не отмѣтилъ ея внѣшнимъ образомъ. Страшной надписи: «Густавъ умеръ».

Конрадъ родился» въ сохранившейся части первоначальнаго наброска не было вовсе, или вѣриѣе, она была внесена въ рукопись, когда списокъ ея былъ уже готовъ. Только въ 1893 году сдѣлался извѣстенъ этотъ единственный списокъ 3-ей части «Дѣдовъ». Онъ сталъ достояніемъ Ягеллоновской бібліотеки въ Краковѣ, и въ 1896 году извѣстный польскій бібліографъ, Карлъ Эстрейхеръ, обнародовалъ изъ него варианты. Рукопись принадлежитъ почерку Домейки; можетъ быть это былъ единственный цѣльный списокъ первоначальныхъ отрывковъ, такъ какъ именно въ него самъ Мицкевичъ внесъ поправки, порою измѣняющія весь характеръ трагедіи. По словамъ К. Эстрейхера, «этотъ списокъ представляетъ замысль гораздо болѣе первоначальный. Прежде всего здѣсь нѣтъ никакой связи между Густавомъ и Конрадомъ. Прологъ въ тюрьмѣ, который теперь составляетъ первую сцену, переходъ къ дальнѣйшему, тамъ былъ поставленъ на концѣ, какъ сцена 9-я (изъ 10). А вмѣстѣ съ тѣмъ и содержаніе его было иное, нежели въ теперешнемъ видѣ. Прежде всего въ немъ отсутствуютъ какіе бы то ни было намеки на превращеніе Густава въ Конрада. Знаменитый латинскій эпизодъ (т.-е. вышеприведенная надпись), касающійся этого превращенія, былъ внесенъ впервые въ эту рукопись, въ уже готовый экземпляръ, рукою Мицкевича. Поэтому мы имѣемъ право утверждать, что въ первоначальномъ замыслѣ этого эпизода не было. Вписавъ его, только теперь Мицкевичъ измѣняетъ текстъ сцены согласно этому новому замыслу. Герой, который назывался прежде съ самаго начала пролога Конрадомъ, теперь получаетъ отъ него общее названіе: Узнкъ, что должно сдѣлать возможнымъ его отождествленіе съ Густавомъ. Одновременно поэтъ задумалъ переставить всю эту сцену съ конца на начало поэмы и сдѣлать ее переходнымъ звеномъ между двумя сначала различными замыслами». Повидимому, въ связи съ этимъ стоитъ и возникновеніе этой 9-ой сцены, сдѣланной позже прологомъ. А. Третьякъ указываетъ на ея связь съ трагедіей Марло о Фаустѣ. «Замысль ея, по мнѣнію этого критика, былъ заимствованъ Мицкевичемъ извнѣ; и даже для превращенія Густава въ Конрада эта сцена первоначально не была ему нужна, такъ какъ лишь въ рукописи Домейки появилась надпись о превращеніи». Не вдаваясь въ подробности, мнѣ кажется, можно согласиться съ А. Третьякомъ въ томъ, что Мицкевичу живо припомнилась сцена искушенія Фауста у Марло и что ею до

извѣстной степени былъ опредѣленъ характеръ 9-ой сцены «Дѣдовъ». И тогда поэту гораздо яснѣе самому сдѣлалась задача трагедіи, и сцена злыхъ и добрыхъ вліяній на узника превратилась въ его пониманіи замысла «Дѣдовъ» въ прологъ къ дальнѣйшимъ сценамъ. Могло ли это случиться, если 3-я часть «Дѣдовъ» была задумана давно? Напротивъ, все указываетъ на горячку» (ferwoj, какъ говоритъ самъ Мицкевичъ), въ которой она писалась. Авторъ не позаботился даже о томъ, чтобы согласовать съ измѣнившимся планомъ тѣ или другія выраженія ранѣе написанной части, вслѣдствіе чего многое не соответствовало порядку разсказа. Тогда же была придѣлана и послѣдняя заключительная сцена «На кладбищѣ», которая должна была связать Густава и Конрада единствомъ любви къ той же самой женщинѣ, несмотря на то, что «ея возлюбленный перемѣнилъ свое имя».

Поэма посвящена «Яну Соболевскому, Кипріану Дашкевичу, Феликсу Кулаковскому, товарищамъ по ученію, заключенію и изгнанію, потерпѣвшимъ преслѣдованіе за любовь къ родинѣ, умершимъ въ тоскѣ по родинѣ въ Архангельскѣ, въ Москвѣ, въ Петербургѣ, мученикамъ народнаго дѣла». Предисловіе вводитъ читателей въ исторію тайнаго студенческаго общества въ Вильнѣ и другихъ ученическихъ обществъ въ Литвѣ. «Уже полстолѣтія Польша представляетъ зрѣлище, съ одной стороны, столь непрерывнаго, неутомимаго и немилостиваго жестокосердія тирановъ, съ другой же столь неограниченнаго самоотверженія населенія и столь упорной выдержки, которымъ не было равныхъ со времени гоненій на христіанъ. Кажется, будто короли имѣютъ предчувствіе Пророка о появленіи новаго свѣта на землѣ и о близкомъ своемъ упадкѣ, а населеніе все крѣпче вѣрится въ свое возрожденіе и воскресеніе». Такъ начинается это предисловіе, которое съ первыхъ строкъ уподобляетъ Польшу распятому Христу и своей мистической философій должно напомнить человѣчеству о грядущемъ переворотѣ жизни. «Исторія мученической Польши обнимаетъ много поколѣній и безконечное множество жертвъ; кровавыя сцены разыгрываются во всѣхъ сторонахъ нашей земли и въ чужихъ краяхъ. Поэма, которую мы выпускаемъ теперь, содержитъ нѣсколько мелкихъ чертъ этой огромной картины, нѣсколько эпизодовъ изъ эпохи гоненій, воздвигнутыхъ императоромъ Александромъ». Коснувшись перемѣны въ политикѣ Александра I, происшедшей около 1822 года, и страшныхъ потря-

сеніи, которыя свалились на Польшу усиліями Новосильцова и цесаревича Константина Павловича, Мицкевичъ продолжаетъ: «Всѣ писатели, которые упоминали о тогдашнихъ преслѣдованіяхъ Литвы, согласны въ томъ, что въ дѣлѣ виленскихъ студентовъ есть что-то мистическое и таинственное. Мистическій, краткій, но непреклонный характеръ Томаша Зана, вождя молодежи; религіозная покорность, братское согласіе и любовь молодыхъ узниковъ, Божья кара, видимо ниспосланная на угнетателей, оставили глубокое впечатлѣніе на умахъ тѣхъ, кто былъ свидѣтелемъ или участникомъ событіи, а въ описаніи они какъ-то уносятъ читателей въ далекія времена, времена вѣры и чудесъ. Кто хорошо знаетъ тогдашнія событія, выдастъ автору свидѣтельство, что онъ добросовѣстно начертилъ историческія сцены и характеры дѣйствующихъ лицъ, ничего не прибавляя и нигдѣ не сгущая красокъ. Да и зачѣмъ ему было прибавлять или сгущать? Для того ли, чтобы оживить въ сердцахъ соотечественниковъ чувства ненависти къ врагамъ? Чтобы вызвать сожалѣніе въ Европѣ? Но что всѣ тогдашнія жестокости въ сравненіи съ тѣмъ, что выносить теперь польскій народъ и на что Европа смотритъ теперь равнодушно? Авторъ хотѣлъ только сохранить народу вѣрную память о литовской исторіи, происшедшей больше десяти лѣтъ тому назадъ (lat kilkunastu): онъ не нуждался въ томъ, чтобы возбуждать въ соотечественникахъ отвращеніе къ врагамъ, которыхъ они знаютъ уже цѣлые вѣка. А жалостливымъ европейскимъ народамъ, которые сокрушались надъ Польшей, какъ неразумныя дѣвы Иерусалимскія надъ Христомъ, нашъ народъ скажетъ только словами Спасителя: «Дщери Иерусалима, не надо мной плачьте, но сами надъ собою». Этой рѣзкой выходкой, отвѣчающей настроенію «Книгъ польскаго народа», заканчивается предисловіе къ поэмѣ-трагедіи.

Прологъ, вставленный сюда, какъ указано выше, лишь тогда, когда у автора явилась мысль объединить одной личностью двухъ своихъ героевъ, Конрада 3-ей части и Густава 4-ой, представляетъ мистическую сцену борьбы добраго и злого началъ за душу человѣка. «Узникъ», какъ называется герой этой сцены, изображенъ утомленнымъ послѣ слѣдствія, на которое его ведутъ лишь въ 8-ой сценѣ, гдѣ онъ встрѣчается съ ксендзомъ Петромъ. Онъ узнаетъ отъ духовъ, что «завтра» будетъ свободенъ, что вѣжется съ этой 8-ой сценой, но представляется въ прологѣ лишь слу-

чайнымъ недосмотромъ при попыткѣ приспособить эту заключительную сцену къ прологу. Такихъ недосмотровъ здѣсь указало (Калленбахомъ, Эстрейхеромъ) не мало.

Узникъ спитъ, опершись на окно. Онъ сидитъ въ кельѣ Базиліанскаго монастыря, превращеннаго въ тюрьму. Ангель-хранитель, обращаясь къ нему, упрекаетъ его въ нѣжныхъ и мелодичныхъ словахъ: «Недоброе, нечуткое дитя! Земныя заслуги твоей матери, ея молитвы на томъ свѣтѣ долго хранили твоей молодой возрастъ отъ искушенія и бѣдъ. Такъ роза, ангель садовъ, днемъ цвѣтетъ, а ночью ея обоняніе охраняетъ сонное чело ребенка отъ заразы и комаровъ. Не разъ, по просьбѣ матери и съ Божьяго разрѣшенія, я спускался тихій, въ тѣни тихой ночи къ твоей хаткѣ, я спускался по лугу и останавливался надъ твоимъ ложемъ. Когда ночь убаюкивала тебя, я стоялъ надъ твоими страстными грезами, какъ бѣлая лилія, склонившаяся надъ замутившимся источникомъ. Не разъ противна была мнѣ твоя душа, но среди толпы злыхъ мыслей я искалъ добрую, какъ въ муравейникѣ ищутъ благоуханіе (kadzidła). И едва, бывало, сверкнетъ добрая мысль, я бралъ твою душу за руки и уводилъ въ тотъ край, гдѣ блистаетъ вѣчность, и пѣлъ ей пѣсенку, которую рѣдко слышатъ земныя дѣти, рѣдко и только во снѣ, а пробудившись забываютъ. Я говорилъ тебѣ о будущемъ блаженствѣ, я уносилъ тебя на своихъ рукахъ на небо, а ты, пробудившись, относился къ звукамъ небесъ, какъ къ пѣснямъ пьяной пирушки. Тогда я, сынъ безсмертной славы, принималъ образъ отвратительнаго адекаго призрака, чтобы устрашить тебя, чтобы высѣчь тебя (by cię chłostać, а ты принималъ Божью розгу (chłoste), какъ дикарь мученія врага: и душа твоя пробуждалась въ безпокойствѣ, но полная надменности, какъ будто бы цѣлую ночь она пила мяту (męty piła) въ источникѣ забвенія, и воспоминанія о высшихъ мірахъ ты затыгивалъ въ глубину: такъ водопадъ, низвергаясь въ подземную пропасть, уноситъ на дно листья деревьевъ и цвѣтовъ. И въ то время я горько плакать, закрывая лицо руками, хотѣлъ, но долго не смѣлъ возвращаться въ небесныя страны, чтобы не встрѣтить твоей матери: вѣдь она спроситъ, что новаго на земномъ шарѣ, что новаго въ моей хаткѣ, какой сонъ былъ у моего сына?» Въ этой сценѣ, поражающей своимъ смѣлымъ реализмомъ, одинъ изъ критиковъ М. Кавчинскій видѣлъ отзвукъ фаустовскаго про-

юга. Мнѣ кажется, что слишкомъ мало общаго между настроеніемъ пролога «Фауста» и всей первой сценой «Дѣдовъ». Я чувствовалъ бы скорѣе въ словахъ ангела-хранителя голосъ совѣсти, который удручалъ самого Мицкевича, когда онъ тяжело переживалъ періоды нравственнаго паденія. Вѣдь еще такъ недавно, во время самага возстанія, его сны нарушались «страстными, бурными грезами». И, можетъ быть, вѣрилъ онъ, только мать, которую рано утратилъ Мицкевичъ, своимъ загробнымъ участіемъ не давала ему окончательно пасть. Это страница, интимнѣйшая, быть можетъ, изъ автобіографической исповѣди самого поэта. Здѣсь она становится понятна только послѣ «Импровизацин», за которую ангель, дѣйствительно, имѣлъ право корить «недоброе, нечуткое дитя». Узникъ пробуждается со страннымъ чувствомъ: «тревожится спящій чловѣкъ, смѣется, когда проснется». Рефлексія его по поводу творца міра напоминаетъ, дѣйствительно, гетевскаго Фауста; впрочемъ, это сходство носитъ слишкомъ общій характеръ. «Говорять, что и ощущеніе наслажденія и страданій во снѣ есть только игра воображенія. Глупцы! только съ чужихъ словъ они знаютъ о воображеніи, и намъ, поэтамъ, говорятъ о немъ». Узникъ опять засыпаетъ, а около него ведется борьба духовъ. Злые твердятъ ему о веселіи, которое кипитъ въ городѣ, о кометахъ, «съ глазками и свѣтлой косою», о пирахъ; ангель, съ правой стороны, говоритъ свое: «Мы умолили Бога, чтобы онъ отдалъ тебя въ руки врага. Одиночество — учитель мудрецовъ, и ты, въ одиночномъ заключеніи, думай, какъ пророкъ въ пустынѣ, о своемъ предназначеніи». Опять искушаютъ злые духи, но ангель возвѣщаетъ, что завтра узникъ будетъ свободенъ. Тотъ просыпается: «Буду свободенъ? Помню, кто-то вчера говорилъ мнѣ объ этомъ!» Новая борьба духовъ. «Выиграетъ ли злая мысль, побѣдитъ ли добрая, *завтра* обнаружится въ его рѣчахъ и дѣлахъ; и одна минута этой битвы произнесетъ приговоръ на всю жизнь о судьбахъ чловѣка». Слѣдуетъ знаменитый монологъ Коирада. «Я буду свободенъ! Да! Не знаю, откуда пришло это извѣстіе, но я знаю, что значитъ быть свободнымъ по милости москвитина. Негодяи снимутъ оковы съ моихъ ногъ и рукъ и наложатъ ихъ на душу: я буду сосланъ! Я буду блуждать среди чужеземцевъ, въ толпѣ враговъ, я — пѣвецъ, и никто не пойметъ въ моей пѣснѣ ничего, кромѣ безформенныхъ и ненужныхъ звуковъ... Негодяи, только этого оружія они не вырвали изъ моихъ рукъ, но они испортили его,

изломали его въ моухъ рукахъ; живой, я стану мертвымъ для моей родины, и мысль ляжетъ замкнутая въ тѣни моей души, какъ алмазъ, спрятанный въ грязномъ камнѣ».

И затѣмъ слѣдовали слова, вставленные лишь въ послѣднюю редакцію 3-ей части. Узникъ встаетъ и пишетъ углемъ на одной сторонѣ: «D. O. M. Gustavus obiit M. D. C. C. XXIII Calendis novembris», съ другой: Нис natus est Conradus. M. D. C. XXIII. Calendis novembris». Затѣмъ онъ прислоняется къ окну и засыпаетъ. Духъ вѣщаетъ: «О, человѣкъ! Если бы ты зналъ, какова твоя власть! Когда въ твоей головѣ, какъ молнія въ тучѣ, сверкнетъ невидимая мысль, она нагромождаетъ тучи и творитъ плодотворный дождь, или громы и бури; если бы ты зналъ, что, едва ты разожжешь одну мысль, уже ждуть въ молчаніи, словно стихіи ожидаютъ грома, этой мысли твоей сатана и ангелы. Они ждуть, метнешь ли ты ее въ адъ или пошлешь сіять на небѣ. А ты, какъ облако, какъ высоко взлетѣвшая, но заблудшаяся стрѣла, и самъ не знаешь, куда летишь, самъ не вѣдаешь, что ты дѣлаешь... О, люди! Каждый изъ васъ, и одинокій, и заключенный, могъ бы мыслью и вѣрой разрушать и создавать троны».

Въ первой сценѣ изображена хорошо памятная Мицкевичу картина. Ночью въ одной изъ келій Базилианскаго монастыря собираются молодые узники. Какъ утверждаетъ г. Мосцицкій, Мицкевичъ соединилъ здѣсь воспоминанія о первыхъ тюремныхъ собраніяхъ, устраивавшихся въ «келіи Конрада» подь конецъ 1823 года, съ позднѣйшими собраніями товарищей, происходившими уже въ 1824 году у Зана. Нѣкоторое нарушеніе хронологіи заключается и въ томъ, что Жегота (Домейко) представленъ только что появившимся въ тюрьмѣ въ сочельникъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ попалъ въ Базилианскій монастырь уже въ половинѣ ноября 1823 года. Въ этой сценѣ бросается въ глаза отсутствіе наиболѣе выдающихся филаретовъ, Іежовскаго, Чечота, Малевскаго и нѣкоторыхъ другихъ, тогда какъ названы люди незначительные, въ родѣ Ягеллы и какого-то «Яцка». Не вытекало ли это изъ желанія поменьше напоминать русскому правительству о людяхъ, которые и безъ того казались ему подозрительными и находились въ его рукахъ, какъ Чечотъ, Іежовскій, Малевскій? А изъ тѣхъ, которые были названы въ этой сценѣ, Соболевскій уже умеръ въ 1823 году, Домейко былъ за гра-

ницей, но другіе также находились въ ссылкѣ, можетъ быть, только они менѣе обращали на себя подозрительное вниманіе властей? Наконецъ, подъ именемъ Tomasz скрывается, несомнѣнно, Зань. Почему о немъ не постѣснялся говорить Мицкевичъ? Отвѣтить на эти вопросы пока трудно, но они имѣютъ существенное значеніе для пониманія «Дѣдовъ» и этой сцены, въ которой такъ вѣрны всѣ подробности, вплоть до старика-капрала, разрешающаго сходку, бывшаго легіониста, оказавшагося теперь тюремнымъ надзирателемъ. Объ этомъ «старичкѣ-капралѣ» вспоминаетъ въ своихъ письмахъ Зань.

Товарищи сходятся у Конрада. Полночь. Завтра Рождество Христово. Фрейендъ заявляетъ, что ему хочется много говорить и пѣть; пусть въ городѣ подумаютъ, что это поютъ въ костелѣ. Есть нѣсколько бутылокъ. И вотъ идутъ къ Конраду. Съ удивительнымъ реализмомъ схвачены отрывочные разговоры, надежды легковѣрныхъ, безнадежность тѣхъ, кто знаетъ и понимаетъ, зачѣмъ Новосильцову понадобилось создать шумный процессъ и что онъ получитъ за свой патріотическій подвигъ. Настроеніе бодрое, но какъ-то неожиданно смѣняется грустью, даже вырываются слезы. Спокойный рассказъ Зана объ ужасной пищѣ, которой его кормили въ тюрьмѣ и къ которой онъ привыкъ только послѣ нѣсколькихъ недѣль болѣзни, вызываетъ «дѣланную веселость» у другихъ. Настоящее настроеніе прорывается все чаще. Мицкевичъ умѣетъ подчеркнуть его въ этихъ будто бы веселыхъ рѣчахъ, въ безопасныхъ разговорахъ товарищей. И мы чувствуемъ, что атмосфера въ кельѣ невеселая и что только глубокая, самоотверженная любовь другъ къ другу заставляетъ этихъ людей, собравшихся здѣсь, точно христіанскіе мученики въ катакомбахъ, только эта любовь заставляетъ ихъ шутить. «Я предпочелъ бы быть подъ землей, въ голодѣ и болѣзни», полушутливо говоритъ Зань: «терпѣть побои и хуже, чѣмъ побои, слѣдствіе, нежели тутъ, въ лучшихъ условіяхъ, быть вашимъ сосѣдомъ... Негодяи, они хотятъ всѣхъ насъ зарыть въ одной могилѣ». На это ствѣчаетъ Фрейендъ: «Такъ вотъ что! Ты плачешь изъ-за насъ? Есть кого жалѣть! Ужъ не меня ли ты жалѣешь, позволь тебя спросить? Кому какая польза отъ моей жизни! Если бы еще на войнѣ... у меня есть небольшой талантъ драться, и я могъ бы нашинговать спины нѣсколькимъ донцамъ. Но въ мирное время! Но что будетъ, если я проживу сто лѣтъ, и буду

проклинать москалей, и умру, и сгнию? На свободѣ я былъ бы весь свой вѣкъ жалкимъ субъектомъ (mizogakiem), какъ пыль, или какъ вино плохенькаго сорта... Ахъ, Томашъ, такой, какъ я, я далъ бы себя повѣсить, чтобы ты хоть одну минутку прожилъ на свѣтѣ дольше. Такіе, какъ я, служатъ родинѣ только своею смертью. Я умеръ бы десять разъ, чтобы только воскресить тебя, тебя или печальнаго поэта Конрада, который, какъ цыганъ, погадаетъ намъ о будущемъ (обращаясь къ Конраду). Я вѣрю, Томашъ говорилъ, что ты великій поэтъ, я люблю тебя, потому что ты тоже похожъ на бутылку. Ты разливаешь пѣснь чувствомъ, дышишь увлеченіемъ; мы пьемъ, слушаемъ, а ты все убываешь—все ближе ко дну. (Беретъ за руку Конрада и вытираетъ себѣ слезы. Обращаясь къ Зану и Конраду.) Вы знаете, что я васъ люблю, но вѣдь можно же любить и не плакать. Такъ вотъ, братья, вытрите ваши глаза; а то, если и я расчувствуюсь и примусь всхлипывать, такъ и чаю не сдѣлаю, и огонь погашу».

Въ дальнѣйшей бесѣдѣ рѣчь заходитъ о жмудскихъ гимназистахъ, которыхъ въ это утро выслали въ Сибирь. Соболевскій, который видѣлъ эту сцену, въ подробномъ разсказѣ, который я не берусь передать въ сокращеніи, излагаетъ весь ужасъ ссылки маленькихъ дѣтей, закованныхъ въ кандалы, окруженныхъ штыками, измученныхъ допросами и избитыхъ палками. Неправисть къ угнетателямъ и возмущеніе противъ Бога, который терпитъ столько невинной крови на землѣ, приводятъ въ содроганіе сердца молодежи, и изъ устъ ея вырывается кощунственная пѣснь съ рефреномъ «Jesus Magua». Этотъ припѣвъ выводитъ Конрада изъ состоянія задумчивости. Имя Маріи для него священно, онъ не позволитъ издѣваться надъ нимъ. Старый капраль хвалитъ его и вспоминаетъ эпизодъ изъ собственной жизни во время службы въ легіонахъ, когда имя Маріи спасло его отъ смерти. Потомъ опять запѣваютъ революціонную пѣсню. Только Конрадъ сидитъ безмолвно, погруженный въ себя, обращая на себя вниманіе товарищей тѣмъ, что онъ то краснѣетъ, то блѣднѣетъ. Это признакъ, что вдохновеніе находитъ на поэта. «Духъ его ушелъ и блуждаетъ гдѣ-то далеко, онъ еще не вернулся: можетъ быть, на звѣздахъ читаетъ будущее; можетъ быть обмѣнивается тамъ привѣтствіями со знакомыми духами, и они откроютъ ему то, что узнаютъ по звѣздамъ... Какіе странные

глаза: огонь сверкает за полуопущенными вѣками, а глаза ничего не говорят и ни о чемъ не спрашиваютъ; въ нихъ теперь нѣтъ души; они горятъ, какъ костры, оставленные войскомъ, которое во мракѣ ночи безмолвно выступило въ дальнюю экспедицію; пока они горятъ еще, войско вернется на свои позиціи». Фрейендъ начинаетъ играть на флейтѣ, и Конрадъ запѣваетъ. Это импровизація, которая составляетъ конецъ второй сцены и всю третью, и является центральнымъ мѣстомъ поэмы. Какъ она ни длинна, ее необходимо привести цѣликомъ, такъ какъ безъ знакомства съ «импровизаціей» нельзя понять тогдашняго Мицкевича. Конрадъ поетъ: «Моя пѣсня уже была въ могилѣ, уже была холодна; вотъ она почувствовала кровь: выглядываетъ изъ-подъ земли и встаетъ, какъ вампиръ, алчущая крови; она требуетъ крови, крови, крови. Да! Мечь, мечь, мечь врагу съ Богомъ и даже противъ Бога (mimo Bogu). (Хоръ повторяетъ.) И говорить пѣсня: я пойду вечеромъ; сначала я буду грызть братьевъ соотечественниковъ; кому только занушу клыки въ душу, тотъ, какъ я, станетъ вампиромъ. Да! Мечь, мечь... Потомъ пойдемъ, выпьемъ вражью кровь; тѣло врага разрубимъ топоромъ, руки и ноги гвоздями пробьемъ, чтобы онъ не всталъ и не сдѣлался вампиромъ. Да! Мечь, мечь... Съ душою его мы должны итти въ адъ, всѣ разомъ усядемся на его душѣ, пока не выдавимъ изъ нея безсмертіе, будемъ грызть ее, пока она только будетъ чувствовать. Да, мечь, мечь»... Эта жестокая пѣсня вызываетъ возраженія въ слушателяхъ. Ксендзь Львовичъ останавливаетъ Конрада: «Остановись, ради Бога, это языческая пѣсня. Капраль восклицаетъ: «Какъ онъ ужасно смотритъ! Это сатанинская пѣсня», но Конрадъ продолжаетъ: «Вотъ я поднимаюсь, лечу, туда! на вершину скалы! Вотъ я уже надъ человѣческимъ родомъ, между пророками! Здѣсь грозныя тучи будущности я разсѣкаю своимъ взоромъ, какъ мечомъ. Ея туманы я разрываю руками, какъ вихрями... Вотъ уже все видно, все ясно... Съ высоты я смотрю на народы: тамъ сивиллова книга будущихъ судебъ міра! Тамъ, внизу—смотри, смотри—будущіи событія и грядущіе годы. Они подобны мелкимъ птишкамъ, которыя завидѣли орла, меня, орла въ небѣ! Смотри, какъ они припадаютъ къ землѣ, бѣгутъ; смотри, какъ ихъ стадо зарывается въ песокъ. За ними, эй, за ними, мои соколы очи! За ними, мои когти! Я замѣчу ихъ,

схвачу... Но что же это? Какая птица поднялась и распростерла крылья, всёхъ заслоняетъ, бросаетъ мнѣ вызовъ взглядомъ? Черныя крылья, какъ грозовая туча, широки и длинны, какъ лукъ радуги, и цѣлое небо она закрываетъ? Это громадный воронъ!.. Кто ты? Кто ты, воронъ? Кто же ты? Я—орель... Смотрить воронъ... сбиваетъ мою мысль. Кто же ты? Я повелѣваю громамъ! Вотъ онъ взглянулъ на меня: точно дымомъ ударилъ меня по глазамъ; мѣшаетъ, сбиваетъ мои мысли... Слушатели прерываютъ Конрада, который страшно поблѣднѣлъ, просить его успокоиться, но онъ, качаясь въ полусознаніи, просить дать ему окончить пѣсню. «Довольно этихъ пѣсенъ», замѣчаетъ благочестивый ксендзъ Львовичъ; къ нему присоединяются и другіе филареты и капралъ. И пора кончить: подъ окнами обходить, надо гасить огни и поскорѣе расходиться. Конрадъ опять одинъ въ своей кельѣ, съ своимъ вдохновеніемъ и страшными образами. Мы знаемъ теперь, что роднить его съ Густавомъ: вѣдь онъ тоже—вампиръ, и пѣсня его такъ же грызетъ и мучитъ людей, какъ жалоба Густава невѣрную невѣсту. Страшный орель, поднявшійся навстрѣчу ему, не можетъ быть не кѣмъ инымъ, какъ сатаной, скрывающимъ отъ гордаго безумца свѣтлое будущее его народа. Богъ открываетъ это будущее смиреннымъ и кроткимъ: видѣніе ксендза Петра — параллель къ импровизаціи Конрада, побѣда идей добра и состраданія надъ гордой отвагой, надъ жаждой мести и надъ ненавистью. Такъ уже здѣсь передъ нами этическая идея поэмы, отвѣчающая духовной эволюціи Мицкевича въ 1828—1832 годахъ. «Одинъ героизмъ, одна отвага въ бою и пожертвованіе своей жизни не спасутъ насъ. Они дадутъ славу, дадутъ побѣды, дадутъ славную смерть на полѣ битвы, но не создадутъ народа индивидуалистовъ. Нужна сила высшая, совершеннѣйшая, нуженъ человѣкъ мессіаническій, народу потребна мессіаническая идея. Мицкевичъ порицаетъ въ себѣ конрадизмъ. Гений народа очистилъ его. Онъ предсталъ ему во всемъ своемъ могуществѣ и страданіи и затронулъ всѣ струны его сердца. Заговорили чувства самыя чистыя, наиболѣе самоотверженныя, наступило искушеніе винъ. Импровизація есть переходъ отъ идеи героизма въ поэтѣ къ мессіанизму». Такъ опредѣляетъ значеніе этой сцены одинъ изъ новѣйшихъ толкователей этического идеала Мицкевича, А. Гурскій (Bibliot. Warszaw. 1906. III, 542).

Третья сцена поэмы (II-я, по порядку Мицкевича, послѣ про-

лога) такъ и называется «импровизація». Конрадъ одинъ и послѣ долгаго молчанія произноситъ: «Одиночество... гдѣ же люди? Развѣ я не для людей пѣвецъ? Гдѣ же тотъ человѣкъ, который услышитъ въ моей пѣснѣ всю мысль, обниметъ взоромъ всѣ лучи ея духа? Жалокъ тотъ, кто утруждаетъ для людей свой голосъ и языкъ! Языкъ лжетъ голосу, а голосъ лжетъ мыслямъ: мысль быстро летитъ изъ души, пока не сломается въ словахъ, и слова поглотятъ мысль, и такъ дрожать надъ мыслью, какъ земля надъ невидимой рѣкой, которую она пожрала. Но развѣ по дрожанію земли люди могутъ узнать глубину ея струй, развѣ они могутъ догадаться, куда она стремится? Чувство кружится въ душѣ, воспламенется, горитъ, какъ уголь, какъ кровь въ своихъ глубокихъ, невидимыхъ проходахъ. И сколько крови люди видятъ на моемъ лицѣ, столько лишь изъ моихъ чувствъ они змѣстятъ въ моихъ пѣсняхъ. И земной взоръ, посланный къ тебѣ гонцомъ, не долетитъ до тебя, хотя бы взялъ стеклянныя крылья; онъ ударится только о твой млечный путь, догадается, что это солнце, но не сочтетъ, не измѣритъ ихъ. Не нужны вамъ, пѣсни, людскія очи и уши! Струитесь въ глубинѣ моей души, блестите на ея высотахъ, какъ подземные ручьи, какъ небесныя (nadniebne) звѣзды. Ты, Боже, ты, природа, внемлите мнѣ! Достойны васъ эта музыка и пѣнье: ибо я художникъ (mistrz)! Я, художникъ, протягиваю руки, протягиваю ихъ до самыхъ небесъ и кладу мои ладони на звѣзды, какъ на стеклянныя кружки гармоникки. То быстрымъ, то тихимъ движеніемъ я вращаю звѣзды моимъ духомъ; и несется миллионъ тоновъ, и въ этомъ миллионѣ тоновъ каждый добытъ мной, и я знаю каждый тонъ. Я соглашаю ихъ, дѣлю и сочетаю, и сплетаю въ радугу, и въ аккорды, и въ строфы, разливаю ихъ въ звукахъ и въ лентахъ молній. Вотъ я отнял руки, поднялъ ихъ надъ краями міра, и круги гармоникки остановились на всемъ ходу... Я самъ пою и слышу свои напѣвы: долгіе, протяжныя, какъ завыванія вихря, они пронизываютъ всѣ глубины человѣческаго рода, стонутъ жалостью, рычатъ бурей, и глухо имъ вторятъ вѣка, и каждый этотъ звукъ въ одно и то же время и играетъ, и пылаетъ; онъ въ ушахъ моихъ, онъ въ моихъ глазахъ, словно вѣтеръ колышетъ волны, я слышу его полетъ по свистамъ, я вижу его въ одеждѣ облака. Достойно такое пѣніе Бога и природы!.. Это великая пѣснь, пѣснь-твореніе, такая пѣснь есть сила, геройство, такая пѣснь—

безсмертіе! Я чувствую безсмертіе, я творю безсмертіе: что болѣе великое ты могъ создать, о Боже? Смотри, какъ эти мысли я добываю самъ изъ себя, какъ я воплощаю ихъ въ слова: они летятъ, рассыпаются по небу, катятся, играютъ, блестятъ: вотъ они уже далеко; я ихъ еще ощущаю, люблюсь ихъ видомъ, чувствую рукою ихъ округлость, угадываю мыслью ихъ движеніе: я васъ люблю, мои вѣщія дѣти! Мои мысли! Мои звѣзды! Мои чувства! Мои вихри! Я стою среди васъ, какъ отецъ среди семьи, вы—всѣ мои! Я топчу васъ, всѣ поэты, всѣ мудрецы и пророки, которыми восхищался широкій міръ! Если бы они ходили донинѣ среди дѣтей своей души, если бы всѣ похвалы и всѣ аплодисменты они слышали, чувствовали и считали заслуживающими, и зажгли лучами на челѣ своемъ всѣ блестяги славы ежедневной, со всей музыкой похвалъ и красотою вѣнцовъ, собранной за столько вѣковъ и со столькоихъ поколѣній, они все-таки не чувствовали бы такъ собственнаго счастья и могущества, какъ чувствую теперь я, въ эту уединенную ночь, когда я пою самъ въ себѣ, пою самому себѣ. Да, я полонъ чувства, я силенъ и разуменъ! Я никогда не чувствовалъ этого такъ, какъ въ эту минуту; сегодня мой зенитъ, сегодня моя мощь переживетъ кризисъ (się przesili), сегодня я узнаю, всѣхъ ли я выше или только надмененъ; сегодня мигъ предназначенія, сегодня я напрягу всего сильнѣе мускулы (wytężę ramiona) своей души: это минута Самсона, когда онъ, слѣпой и узникъ, думалъ у колонны... Я сброшу тѣло и только, какъ духъ, возьму крылья... Мнѣ нужно взлетѣть! Я вылечу изъ круговорота планетъ и звѣздъ, я пройду туда, гдѣ граничатъ Творецъ и природа. И есть у меня, есть два крыла. Довольно мнѣ. Я раскину ихъ съ запада на востокъ, лѣвымъ покрою прошлое, а правымъ будущее, и по лучамъ чувства достигну Тебя. Я загляну въ Твои чувства, о Ты, о которомъ говорятъ, что Ты тамъ, на своемъ небѣ, бодрствуешь! Я здѣсь, вотъ я уже пришелъ. Видишь, какъ велико мое могущество, до самага неба достигаетъ мое крыло. Но вѣдь я человѣкъ, а тамъ, на землѣ, мое тѣло. Я тамъ любилъ, на родинѣ осталось мое сердце... Но эта земная любовь моя, она почилла не на одномъ человѣкѣ, какъ червь на цвѣткѣ розы, не на одной семьѣ и не на одномъ вѣкѣ. Я люблю весь народъ. Я принялъ въ свои объятія всѣ его поколѣнія, прошлыя и будущія. Всѣхъ ихъ я прижалъ къ своей груди,

какъ другъ, какъ любовникъ, какъ мужъ и какъ отецъ! Хочу его воздвигнуть, осчастливить, хочу имъ удивить весь мѣръ... Но средства нѣтъ у меня, и я пришелъ къ Тебѣ за нимъ, пришелъ вооруженный всей властью мысли, той мысли, которая вырвала у небесъ Твои грома, выслѣдила ходъ Твоихъ планетъ, раскрыла глубину морей. И еще больше есть у меня: та сила, которой не дадутъ люди, то чувство, которое таится само въ себѣ, какъ вулканъ, и только иногда въ словахъ вырывается его дымъ.... И силы этой я не взялъ съ райскаго дерева, съ древа познанія добра и зла, не взялъ ея изъ книгъ или изъ легендъ, или изъ разрѣшенія загадокъ, или изъ чародѣйскихъ опытовъ. Я самъ родился творцомъ! Оттуда пришли ко мнѣ мои силы, откуда къ Тебѣ пришли Твои, потому что вѣдь и Ты ихъ не искалъ: Ты владѣешь ими, Ты не боишься ихъ потерять, и я не боюсь. Даль ли Ты мнѣ, или я самъ взялъ оттуда, откуда и Ты, быстрый и могучій взоръ: въ минуту моей силы, когда я взгляну ввысь на пути (szlaki) облаковъ или услышу перелетъ птицъ, которыя несутся, едва шевеля крыльями, захочу, и сейчасъ же остановлю ихъ взоромъ, точно онѣ попали въ силки... Жалобно зазвенитъ свою пѣсню все стадо, но пока я не выпущу птицъ, Твой вѣтеръ не сгонитъ ихъ съ мѣста. Когда со всею силою души взгляну на комету, пока я смотрю на нее, она не движется съ мѣста... Только люди, порочные, жалкіе, но бессмертные, не служатъ мнѣ, не знаютъ,—не знаютъ насъ обоихъ: меня и Тебя! И здѣсь, на небѣ, я ищу управы противъ нихъ. Ту власть, которой я обладаю надъ природой, я хочу имѣть надъ человѣческими душами; какъ птицами и звѣрями я правлю однимъ мановеніемъ руки, такъ я долженъ править ближними: не оружіемъ—оружіе отбиваетъ оружіе, не пѣснями—онѣ долго растутъ, не наукой—она быстро гниетъ, не чудесами—это слишкомъ шумно; я хочу править чувствомъ, которое есть во мнѣ. Править, какъ Ты, всѣми всегда и тайно. То, что я захочу, пусть они тотчасъ же угадаютъ, и, исполнивъ, будутъ этимъ счастливы, а если будутъ противиться, пусть страдаютъ и погибнуть! Пусть люди будутъ для меня, какъ мысли и слова, изъ которыхъ, когда я захочу, складывается основа пѣсни! Говорятъ, что Ты владѣешь такъ! Я знаю, что мыслей я не испортилъ, языкъ не погубилъ: если Ты дашь мнѣ равную власть надъ душами, я создамъ бы мой народъ, какъ живую пѣсню, и сдѣ-

лалъ бы бѣльшее чудо, чѣмъ Ты: я запѣлъ бы счастливую пѣсню! Дай же мнѣ власть надъ душами! Я такъ презираю это мертвое зданіе, который толпа называетъ міромъ, который она привыкла хвалить, что я еще не пробовалъ до сихъ поръ, можетъ ли мое слово сейчасъ же разрушить его; но я ощущаю въ себѣ, что, если бы я напрягъ свою волю, собралъ ее всю и освѣтилъ (wyswiści), можетъ быть, я погасилъ бы сто звѣздъ и другія сто зажегъ! Ибо я безсмертенъ... и въ кругу творенья есть иные безсмертные: всѣхъ я не встрѣтилъ. Навысшій на небесахъ! здѣсь я искалъ Тебя, я—навысшій изъ чувствующихъ въ земной юдоли. До сихъ поръ я Тебя не встрѣтилъ, но что Ты есть, я догадываюсь. Пусть же я Тебя встрѣчу, и пусть я почувствую Твое превосходство. Я хочу власти, дай мнѣ ее, или укажи къ ней дорогу. Слышалъ я, что были пророки, властелины душъ; вѣрю этому, но то, что могли сдѣлать они, могу сдѣлать и я. Я хочу имѣть власть, какой обладаешь Ты; я хочу владѣть душами, какъ Ты владѣешь ими. (Долгое молчаніе. Съ ироніей.) Молчишь, молчишь! Я знаю теперь, что теперь я Тебя открылъ; я понялъ, что Ты есть, и какъ Ты владѣешь міромъ. Лжець тотъ, кто называлъ Тебя любовью, ибо Ты—только мудрость. Люди мыслью, а не сердцемъ развѣдаютъ Твои пути, мыслью, а не сердцемъ открываютъ склады Твоего оружія. Только тотъ, кто зарылся въ книги, въ металлъ, въ число, въ тѣло Перуна, только тому удавалось завладѣть частью Твоего могущества: онъ найдетъ ядъ, порохъ, паръ, онъ найдетъ блескъ, дымъ, шумъ, найдетъ управу на мудствующихъ и на невѣждъ. Ты отдалъ пользованіе міромъ мыслямъ, а сердца оставляешь въ полномъ раскаяніи. Ты далъ мнѣ кратчайшую жизнь и сильнѣйшее чувство... (Молчаніе.) Что же такое мое чувство? Ахъ, только *искра!* Что же такое моя жизнь? Ахъ, только одно мгновеніе! Но что же такое сегодня тѣ громы, которые загрохочутъ завтра? Только искра. Что такое вся вереница вѣковъ, извѣстная мнѣ изъ исторіи? Одно мгновеніе. Изъ чего выходитъ весь человѣкъ, этотъ микрокосмъ? Только изъ искры. Что такое смерть, которая превратитъ въ прахъ все богатство моихъ мыслей? Одно мгновеніе! Чѣмъ былъ Онъ, пока держалъ міры въ своемъ лонѣ? Только искрой. Чѣмъ будетъ вѣчность міра, когда Онъ поглотитъ его? Одно мгновеніе! *Голосъ съ лѣвой стороны.* Мнѣ нужно сѣсть на душу, какъ на коня. Скорѣй, скорѣй! Сидиши! *Голосъ съ правой стороны.* Что за безуміе! Защитимъ

его, защитимъ, заслонимъ его голову крыломъ. *Конрадъ*. Мгновеніе и искра, продолжившись, разжигаютъ, творятъ и разрушаютъ. Смѣлѣй, смѣлѣй! Продолжимъ это мгновеніе, сдѣлаемъ длиннымъ. Смѣлѣй, смѣлѣй, разожемъ эту искру, раскалимъ. Теперь... хорошо такъ... Еще разъ взываю къ Тебѣ, еще разъ по-дружески открываю Тебѣ душу... Молчишь? а вѣдь съ сатаной Ты боролся самъ? Я торжественно вызываю Тебя! Не пренебрегай мною: я не одинъ. Хотя я и самъ стою высоко, но здѣсь на землѣ я связанъ сердечными узами братства съ великимъ народомъ. А за собой я имѣю войска, и державы (тосе), и троны; если я стану кощунствовать, я вступлю съ Тобой въ болѣе кровавый бой, чѣмъ Сатана: онъ дрался на разумахъ, я вызову драться на сердцахъ. Я страдалъ, любилъ, я выросъ въ мукахъ и любви; когда-то Ты вырвалъ у меня личное счастье. Въ собственной груди я обагрилъ кровью свои руки, и я поднялъ ихъ противъ неба. *Голосъ слева*. Коня я превращу въ птицу, съ орлиными перьями! Вверхъ! Лети! *Голосъ справа*. О, падающая звѣзда! Какое безуміе влечетъ тебя въ пропасть! *Конрадъ*. Теперь я воплощенъ душой въ свою родину, тѣломъ я поглотилъ ея душу; я и родина стали одно. Я называюсь Милліонъ, ибо за милліоны я люблю и страдаю. Я смотрю на бѣдную родину, какъ сынъ на отца, привязаннаго къ колесу; я чувствую муки всего народа, какъ мать чувствуетъ въ своемъ лонѣ боли своего плода. Я страдаю, я становлюсь безумнымъ. А Ты, мудро и весело, всемъ управляешь, все судишь, и говорятъ, что Ты непогрѣшимъ! Слушай же! Если правда то, что я, явившись на этотъ свѣтъ, принялъ съ сыновней вѣрой, что Ты любишь; если Ты любилъ міръ, рождая его, если къ рожденному Ты питаешь отцовскую любовь; если было чувствующее сердце въ числѣ звѣрей, которыхъ Ты заключилъ въ ковчегъ и спасъ отъ наводненія; если это сердце не есть уродъ, который случайно появляется, но никогда не достигаетъ преклонныхъ лѣтъ, если подъ Твоей властью чувство не есть анархія, если на милліонъ людей, воющихъ: «Спасите!», ты не смотришь, какъ на ненужное (zawife) сведеніе счетовъ, если любовь на что-нибудь нужна въ Твоемъ мірѣ, а не является только ошибкою въ счетѣ... *Голосъ слева*. Орла превращу въ гидру! Вырву у него глаза! Дальше штурмуй! Дыми! Жги! Грохотъ, громъ! *Голосъ справа*. О, комета заблужденія, ты уходишь отъ яснаго солнца! Гдѣ конецъ твоего стремленія? Безъ конца,

безъ конца! *Конрадъ*. Молчишь! Я раскрылъ передъ Тобой свое сердце до самой глубины... Я заклинаю тебя: дай мнѣ власть; одну ничтожную частицу ея, часть того, чего на землѣ добилась надменность. Съ этой одной частицей сколько бы счастья я создалъ. Ты молчишь! Ради сердца Ты не даешь. Дай ради разума! Ты видишь, что я первый между людьми и въ толпѣ ангеловъ, что я знаю Тебя лучше, тѣмъ Твои архангелы, я стою того, чтобы Ты подѣлился со мной пополамъ своей властью... Если я не угадалъ, отвѣчай!.. Ты молчишь... Я не лгу! Ты молчишь и полагаешься на то, что у Тебя сильная рука... Знай же, что чувство сожжетъ то, чего не сломаетъ мысль... Видишь ли мой костеръ: чувство! Вотъ я беру его, сжимаю, чтобы оно сильнѣе пылало, вбиваю въ желѣзныя оковы моей воли, какъ зарядъ въ разрушительное жерло пушки... *Голосъ слѣва*. Огня! Пали! *Голосъ справа*. Милость! Жалость. *Конрадъ*. Отзовись! Иначе я буду стрѣлять по Твоей природѣ! И, если я не превращу ея въ груды развалинъ, то я потрясу всю массу Твоихъ государствъ, ибо мой голосъ разнесется во всѣ края творенья, и перейдетъ онъ изъ поколѣнія въ поколѣніе. Я крикну, что Ты не отецъ свѣта, но... *Голосъ дьявола*. Царь! *Конрадъ* (шатается и падаетъ). Около Конрада начинается борьба злыхъ и добрыхъ духовъ. Самаго страшнаго богохульства онъ не произнесъ, но духъ надменности господствовалъ въ его рѣчахъ, и злые духи чувствуютъ себя здѣсь хозяевами. Но входитъ ксендзь Петръ съ капраломъ. Это одинъ изъ монаховъ, монастырь которыхъ былъ превращенъ въ тюрьму. Въ комнатѣ остаются ксендзь Петръ и Конрадъ, который тяжело дышитъ и мечется въ постели; векакивая съ нея, онъ бредитъ, видя въ пророческомъ снѣ бѣдствія родины. Ксендзь чувствуетъ присутствіе злого духа и заклинаетъ его. «Кто ты?» спрашиваетъ Петръ. Духъ вынужденъ отвѣтить: «Лукрецій, Левіаѳанъ, Voltaire, alter Fritz, legio sum...» Но священникъ продолжаетъ мучить заклинаніями, и дьяволъ признается, что онъ «гордость» (pucha), и самъ начинаетъ искушать монаха, льстя его силѣ, увѣряя, что его должны были бы выбрать въ папы. Но лѣсть не имѣетъ власти надъ душой кс. Петра. Тогда дьяволъ пускается на болѣе сильныя средства; «А знаешь ли ты, что будетъ съ Польшей лѣтъ черезъ двѣсти? А знаешь, почему такъ золъ на тебя пріоръ? А знаешь, что значитъ звѣрь въ Апокалипсисѣ?» Такъ смущаетъ священника злой духъ. Это

уже не жалкій и смѣшной чертенокъ «Тукая», не бѣсъ въ шуточной поэмѣ о Твардовскомъ, о которой говоритъ Мицкевичъ въ Веймарѣ, увидя на сценѣ первое дѣйствіе «Фауста». Это полный яда, сарказма, глупаго чванства и злости духъ суеты, страшный своей пошлостью, обыденностью, своей разсудочностью. Но сила чувства выше силы разума, полагалъ Мицкевичъ, въ Римѣ отдавшій первенство вѣрѣ передъ умомъ. Вѣра и здѣсь побѣждаетъ. Молитвой побѣждены козни дьявола: онъ противъ воли сообщаетъ, что узникъ, томящійся въ кельѣ, нуждается въ «хлѣбѣ и винѣ», т.-е. въ Причастіи. Дьяволь исчезъ.

Откуда онъ, вообще, появился въ этой сценѣ? Какое значеніе имѣеть «Импровизація»? О христіанскомъ перевоплощеніи идеи Прометея Мицкевичъ думалъ уже давно, еще во время своего путешествія съ Одынцомъ. «Прометей» Эсхила его занималъ въ первое время пребыванія въ Римѣ, съ трагедіей Гете, посвященной этому герою, онъ также былъ знакомъ. Уже въ декабрѣ 1829 г. онъ самъ былъ занятъ трагедіей «Прометей», а сочиненіе Брюма (Brumoy. Théâtre des Grecs. 1785) напомнило ему, по словамъ Одынца, давно задуманный планъ. Изъ этого сочиненія проф. Калленбахъ (въ статьѣ объ «Импровизаціи Конрада») приводитъ замѣчательное мѣсто, которое показываетъ, въ какомъ духѣ долженъ былъ дѣйствовать мицкевичевскій Прометей. «On voit les plus tristes infortunes et les plus cruelles injustices s'attacher aux hommes qui ont le mieux mérité de leurs concitoyens». Однако дальше общихъ замысловъ дѣло пока не пошло. «Импровизація» была написана въ Дрезденѣ и до такой степени утомила поэта, что утромъ его нашли безъ чувствъ на полу. Трудно теперь рѣшить, была ли эта сцена исходнымъ пунктомъ для сочиненія всей поэмы, такъ какъ надменность Конрада надо было противопоставить смиренію Петра, или, напротивъ, въ общемъ замыслѣ III части «Дѣдовъ» Мицкевичъ естественно пришелъ къ «Импровизаціи». Я склонялся бы въ сторону послѣдняго предположенія и въ превознесеніи чувства («мѣръ силы намѣреніями») видѣлъ бы филаретскіе завѣты. Калленбахъ полагаетъ иначе, но и онъ, конечно, ставитъ только гипотезы, для провѣрки которыхъ у насъ нѣтъ данныхъ. Во всякомъ случаѣ, не вся «Импровизація» появилась сразу подъ перомъ автора. Кое-что было дописано позже. Что касается литературныхъ вліяній, отразившихся въ «Импровизаціи», то прежде всего надо отмѣтить гётев-

скаго «Прометей», который во имя разума не желаетъ признавать боговъ. Что они сдѣлали, чтобы заслужить довѣріе и любовь людей? Они не смягчили ничѣй печали, не осушили ничьихъ слезъ. Люди—«дорогія дѣти» его, Прометей, а на его силы боги не имѣютъ никакихъ правъ. Сопоставленіе (Кавчинскаго) монолога Фауста съ «Импровизаціей» можно назвать этимологіей слова *lucus a non lucendo*. Трудно найти болѣе глубокое различіе: тамъ Erdgeist является Фаусту, чтобы поставить зазнавагося человѣка на свое мѣсто: «*Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir*»,— здѣсь духи поютъ о безконечной силѣ человѣка. Между образомъ Моисея въ поэмѣ Альфреда де Виньи «*Moïse*» (1824) и Конрадомъ есть кое-что общее: мотивъ непризнанности людьми, глубокой жалости къ своему народу. Пожалуй, и стихи: «Я простираю свои ладони и кладу ихъ»... навѣяны стихомъ Виньи: «*J'impose mes deux mains sur les fronts des nuages*». Но зависимость одного образа отъ другого въ смыслѣ литературнаго вліянія на созданіе его не можетъ быть доказана такими общими сходствами или такими единичными заимствованіями. Конрадъ былъ слишкомъ долго и слишкомъ мучительно выношенъ Мицкевичемъ въ глубинѣ души, его «Импровизація», какъ справедливо отмѣтилъ А. Гурскій, слишкомъ тѣсно связана съ душевной жизнью Мицкевича на переломѣ къ мессіанизму, чтобы чужая фраза въ прочитанномъ произведеніи, чужой образъ могли повліять на его созданіе. Конфликтъ Конрада и кс. Петра представляетъ результатъ нѣсколькихъ лѣтъ мучительныхъ религіозныхъ исканій Мицкевича: они начались еще въ Москвѣ и завершились во время бури возстанія. Только ради курьеза можно упомянуть о догадкахъ Кавчинскаго (достаточно опровергнутыхъ критикой), который нашелъ въ «*Revue des deux mondes*» за 1832 годъ романъ «*Stello*» де Виньи, а въ немъ отыскалъ фразу героя: «я гордъ не разумомъ, а чувствомъ, любовью народа, любовью къ его страданьямъ». И вотъ Конрадъ готовъ: это *Stello* Альф. де Виньи. Быть можетъ на фигуру дьявола III части оказалъ вліяніе образъ Мефистофеля, но Конрадъ принадлежитъ только Мицкевичу. Отъ всей «Импровизаціи», говоритъ Калленбахъ, «вѣетъ такимъ горячимъ желаніемъ вѣрить въ благость и милосердіе Творца, такая святая жажда Царства Божьяго на землѣ». У кого же изъ современныхъ писателей это исканіе добра и правды въ Божьей власти надъ землей было такъ страстно и сильно, какъ у Мицкевича?

Импровизация—центральная сцена въ «Дѣдахъ». Въ дальнѣйшемъ изложеніи мнѣ придется ограничиться пересказомъ или только упоминаніемъ, сдѣлавъ исключеніе лишь для «Видѣнія» ксендза Петра. Историческія сцены трагедіи, рисующія въ нѣсколько карикатурномъ видѣ варшавское высшее общество или компанію, окружающую Новосильцова въ Вильнѣ, нашли такихъ прекрасныхъ толкователей въ сочиненіяхъ г. Мосцицкаго «Wilno i Warszawa w «Dziadach» Mickiewicza» (1908) и Ш. Аскенази «Łukasiński» (1908), что мнѣ придется къ нимъ направить русскаго читателя. Я же остановлюсь на сценахъ, отражающихъ нравственное состояніе и міровоззрѣніе Мицкевича въ ту пору, когда онъ писалъ эту часть «Дѣдовъ».

Дьяволъ бѣжалъ изъ кельи Конрада, но узникъ все такъ же мятежно бредитъ и кощунствуетъ. «Я брезговалъ людьми, а ангеловъ не зналъ». Петръ проситъ его молиться, молить Бога о прощеніи его кощунства. Конрадъ не хочетъ брать назадъ свои слова: они «уже тамъ, они отлиты». Тогда самъ монахъ обращается къ Богу. «Боже, вотъ я, твой старый слуга, старый грѣшникъ, уже уставшій и ни на что негодный. А онъ такъ еще молодъ. Сдѣлай же его вмѣсто меня служителемъ твоей вѣры, а я приму на себя все наказанія за его грѣхи. Вѣдь онъ исправится, онъ прославитъ твое имя. Мы будемъ молиться. Добрый Господи, Боже, прими мою жертву!» Хоръ ангеловъ поетъ въ кельѣ Конрада, надъ головой молящагося монаха. Услышана его молитва. «Миръ! Миръ покорной простотѣ, тихой добродѣтели! Слуга, слуга покорный и смиренный! Ты внесъ миръ въ обитель города, ты далъ миръ сиротливому грѣшнику!»

Въ слѣдующей сценѣ, мало связанной съ драмой, та же тихая и грустная обстановка. Ева (т.-е. Ева — Генриетта Анквичъ) молится за польскихъ дѣтей, которыхъ хочетъ истребить новый Продъ. Странно входитъ въ трагедію Мицкевича это имя. Не забыта еще и Марыля. Имя ея дорого Конраду; онъ не позволяетъ кощунствовать надъ нимъ. И архангелы въ сценѣ примиренія Конрада съ Богомъ поютъ: «Онъ не ходилъ испытывать Твои суды ради любопытства. Не ради мудрости людской онъ пыталъ ихъ и не для славы.—Онъ Тебя не позналъ, онъ Тебя не почтилъ, нашъ великій Господь! Онъ Тебя не любилъ. Онъ къ Тебѣ не взывалъ, о, нашъ Спаситель!—Но онъ чтилъ имя Твоей Пресвятой Родительницы! Онъ любилъ народъ, онъ любилъ много,

онъ любилъ многихъ!» Но не Марія, а Марцеллина (Лемпицкая) и Ева явились выразительницами этой простой вѣры, передъ которой Мицкевичъ преклонился въ Римѣ. Съ Евой бесѣдуетъ мистическая роза, явившаяся ей во снѣ. Ангелы и роза сплетаются около нея «ангельскій вѣнокъ». Тихой радостью вѣетъ отъ этой сцены.

Участь той молодежи, за которую молится Ева, принимавшая, какъ мы знаемъ, очень близко къ сердцу рассказы Мицкевича о филаретахъ,—эта участь встанетъ передъ нами въ другой важнѣйшей сценѣ трагедіи: «Видѣніе» ксендза Петра, которому Богъ за его душевную простоту и смиреніе открываетъ то, что Онъ скрылъ отъ мудрыхъ и гордыхъ, представляетъ параллель къ «Импровизациі» Кошрада. Ксендзъ Петръ молится одинъ въ своей кельѣ. Ему дано видѣніе, подобно тому, какъ Евѣ въ предшествующей сценѣ. «Поднялся тиранъ... Иродь... Господи, молодая Польша отдана въ руки тирана. Что я вижу? Длинныя бѣлыя ленты крестнаго пути, дороги долгія... не видно конца имъ... черезъ пустыни, по снѣгамъ: все на Сѣверь. Туда, въ далекій край, онѣ текутъ, какъ рѣки. Вотъ эта дорога приводитъ прямо къ желѣзнымъ воротамъ, а та, какъ ручей, ушла куда-то подъ скалу, въ яму, а та выходитъ къ морю. Боже! По дорогамъ несется вереница повозокъ: точно тучи, гонимыя вѣтромъ, всѣ онѣ несутся въ одну сторону. Боже мой, это наши дѣти... туда... на Сѣверь. Господи, Господи, значить ихъ доля—ссылка! И ты дашь всѣхъ ихъ истребить смолоду и безъ остатка погубить наше поколѣніе? Нѣтъ... Смотри... А! Ушло дитя... растеть... защитникъ! Воскреситель народа! Отъ матери чужеплеменной, а кровь его старые герои, и имя ему будетъ 44. Господи, соблаговоли ускорить его пришествіе! Обрадуй мой народъ! Нѣтъ, народъ еще многое вытерпитъ... Вижу какую-то толпу. Тираны, душегубы... вотъ бѣгутъ... схватили... связанъ мой народъ, собирается вся Европа, чтобы поглумиться надъ нимъ. На судъ его! Какія-то морды за судейскимъ столомъ, безъ сердець, безъ рукъ. Это—судьи, это—его судьи. Кричатъ: «Галь, Галь будетъ судить!» Но тотъ не нашелъ въ немъ вины и умываетъ руки. А короли кричатъ: «Осуди его и отдай на муки! Кровь его падаетъ на насъ и на нашихъ дѣтей. Распни сына Маріи, выпусти Варраву. Распни его: онъ оскорбляетъ корону цезаря, распни его—иначе мы скажемъ, что и ты врагъ цезаря».

«Галь выдашь... Вотъ они схватили его... вотъ уже окрова-

влено терновымъ вѣнцомъ его невинное чело. Они подняли его на показъ цѣлому міру, и сбѣжались народы, а Галь кричитьъ: «Вотъ народъ свободный и независимый!» Ахъ, Господи, я вижу крестъ. Ахъ, какъ долго ему придется нести его. Боже, смилуйся надъ своимъ слугою! Дай ему силы: вѣдь онъ упадетъ и умретъ. Долгія руки у креста: онѣ охватываютъ всю Европу, а сдѣланъ онъ изъ трехъ высохшихъ народовъ, какъ изъ трехъ твердыхъ деревьевъ... Влекутъ! Вотъ уже на Лобномъ мѣстѣ мой народъ! Молвить: «Жажду!» Ракусъ (Австрія) поить его уксусомъ, Борусъ (Пруссія) подаетъ ему желчь, а Мать свобода стоитъ въ слезахъ у подножья креста! Смотри! Вотъ подскочилъ съ копьемъ солдатъ москаль и пролилъ невинную кровь моего народа... Что ты сдѣлалъ, самый глупый и самый жестокий изъ палачей? Но только одинъ онъ исправится, и Богъ проститъ его!.. Возлюбленный мой! Вотъ онъ уже опустилъ свою умирающую голову, зоветъ: «Боже, Боже, за что Ты покинулъ меня?» Скончался!.. (Слышится хоръ ангеловъ, издали доносятся пасхальные пѣснопѣнія. И наконецъ раздается: «Аллилуя! Аллилуя!»). Вотъ онъ возносится, поднимается къ небу! А у ногъ его развѣвается бѣлоснѣжная одежда!.. Упала... Широко распростерлась... охватила весь міръ! Мой возлюбленный на небѣ! Онъ не исчезъ изъ глазъ! Какъ три солнца, сверкаютъ три его зѣницы, и народамъ онъ показываетъ пробитую гвоздемъ длань! Кто жъ этотъ Мужъ?.. Это намѣстникъ въ земной юдоли! Я зналъ его—онъ былъ дитя—я зналъ его: какъ онъ выросъ душой и тѣломъ! Онъ слѣпъ, но его ведетъ отрокъ-ангелъ! Страшный Мужъ... у него три лица, три чела. Какъ балдахинъ, распростерта надъ его головой таинственная книга, закрываетъ его лицо. Подножьемъ его служатъ три солнца. Три конца свѣта дрожать, когда онъ зоветъ; и я слышу съ неба голоса, словно грома. Это намѣстникъ свободы, видимый на землѣ! На славѣ онъ создаетъ громадность своей церкви! Вознесенный надъ народами и надъ королями, онъ стоитъ на трехъ коронахъ, а самъ безъ короны; а жизнь его—трудъ трудовъ, а титуль его—народъ народовъ. Отъ матери иноплеменной; кровь его древніе герои, а имя его

44. Слава! Слава! Слава!»

Польская критика потратила много труда, чтобы разъяснить это апокалипсическое видѣніе, которое составляло, несомнѣнно, святая святыхъ тогдашнихъ мистическихъ чаяній Мицкевича.

Еще въ 1847 году нѣмецкій писатель, А. Мейснеръ, познакомившись съ Мицкевичемъ, котораго онъ зналъ мало, и о которомъ говоритъ съ удивительнымъ высокобъриемъ, какъ о человѣкѣ, доведенномъ бѣдностью, преслѣдованіями и домашними несчастіями до полусумасшествія,—Мейснеръ передаетъ, что Мицкевичъ вѣрилъ въ «старое предсказаніе, будто Польша будетъ спасена человѣкомъ, имя котораго будетъ состоять изъ 41 буквы. Онъ создастъ союзъ 41 городовъ и выставитъ войско изъ 41 легіона. Мицкевичъ, повидимому, твердо вѣрилъ въ эту чепуху и даже высказывалъ убѣжденіе, что этотъ Спаситель уже родился». Нѣсколько раньше, въ своей послѣдней лекціи въ Collège de France (28 мая 1844 г.), Мицкевичъ остановился на мужѣ предназначенья и пояснилъ, что этотъ мужъ не слѣпъ: онъ только кажется такимъ, а между тѣмъ читаетъ въ таинственной книгѣ. Геній руководитъ имъ. Но число 44 (ошибка у Мейснера легко объясняется его пренебрежительнымъ отношеніемъ къ этому «Unsinn») такъ и осталось не разъясненнымъ самимъ поэтомъ. А вѣдь въ немъ долженъ заключаться ключъ къ разгадкѣ тайны о Мужѣ, которую Мицкевичъ унесъ съ собой въ могилу.

Одинъ изъ современниковъ Мицкевича, относившійся къ нему недружелюбно, въ брошюрѣ, вышедшей въ 1845 году, писалъ: «Загадка подъ названіемъ 44 разрѣшалась въ разныя времена по-разному. Пока Мицкевичъ былъ вице-предсѣдателемъ Литературнаго Общества, члены его разрѣшали ее въ пользу своего предсѣдателя (кн. Адама Чарторыйскаго), а вице-предсѣдатель таинственно кивалъ головой». Потомъ такимъ Мужемъ представился Товянской, потому будто бы, что онъ нанялъ въ Парижѣ домъ подъ № 44, а когда-то въ молодости былъ слѣпымъ. Такъ же толковалъ и другой противникъ товынизма, Витвицкій, въ 1844 г. Однако и самъ поэтъ жилъ въ 1851 г. на Rue de l'Ouest № 44, и въ этомъ обстоятельстве нѣкоторые видѣли извѣстное знаменіе, утверждаетъ дочь Мицкевича, Марія Гурецкая, въ 1875 г. Такимъ образомъ, уже рано мистическое настроеніе эмиграціи готово было увидѣть такого мужа, посланнаго рокомъ, въ самомъ Мицкевичѣ. Трезвый познанскій писатель Цыбульскій, подходя къ вопросу съ чисто литературной точки зрѣнія, обратился къ счету буквъ и уже въ 1845 г. доказывалъ, что Адамъ (4 буквы) *Mickiewicz* (10 буквъ) составляетъ $4 \times 10 + 4 = 44$, и что, стало быть, поэтъ имѣлъ въ виду самъ себя. Позже

въ 1888 г., другой писатель, Э. Кшичковский, нашель эти 44 въ имени принца Людовика Наполеона (Xiąże Ludwik Napoleon = XLN = XLIV = 44). С. Пташинскій въ книгѣ, специально посвященной этой загадкѣ, доказываетъ путемъ перечисленія подсчета буквъ во всѣхъ именахъ Мицкевича (Адамъ Бернардъ Наполеонъ, настоящія крестныя имена Мицкевича, затѣмъ его литературныя перевоплощенія: Густавъ Альфъ Конрадъ и наконецъ фамилія Мицкевичъ), что поэтъ имѣлъ въ виду самого себя. Кажется, трудно итти дальше въ произвольныхъ толкованіяхъ.

Наконецъ, въ послѣднемъ и, кажется, самомъ правдоподобномъ объясненіи передъ нами Литва, какъ названа была въ изданіи 1833 года вся эта часть «Дѣдовъ». А. Нѣмоевскій предложилъ сосчитать числовое значеніе буквъ, составляющихъ слово «Литва» ($12 + 9 + 19 + 3 + 1$), и получилось 44. Участіе Литвы въ польскомъ возстаніи Мицкевичу всегда казалось особенно знаменательнымъ и мистическимъ актомъ. «Это—одинъ изъ вопросовъ, связанныхъ съ великой задачей славянства», говорилъ онъ въ своихъ парижскихъ лекціяхъ. Изъ Литвы придетъ спаситель польскаго народа. Три столицы (Варшава, Краковъ, Вильна?) онъ объединитъ подъ своей властью. Отъ матери иноплеменки (Литвы) онъ происходитъ...

Конечно и это толкованіе не во всемъ ясно. Но самый вопросъ въ послѣдующемъ мистическомъ развитіи Мицкевича и его духовнаго дѣтища, тованизма, имѣлъ такое значеніе, что на немъ нельзя было не остановиться. Мицкевичъ не открылъ своей тайны, но не потому ли, что въ себѣ самомъ, уроженцѣ Литвы, онъ видѣлъ рокового мужа?

Рѣзкій контрастъ къ этимъ прекраснымъ возвышеннымъ сценамъ представляютъ тѣ сцены, въ которыхъ рисуются злыя силы тогдашней Польши и Литвы. Новосильцовъ спитъ, а около него толкутся черти, и страшные сны о царской немилости мучаютъ его. Въмѣсто страшнаго и потрясающаго получается нѣчто смѣшное и безвкусное: театральныи злодѣй Новосильцовъ, лубочныи черти. Развѣ могъ Мицкевичъ вѣрить въ такое воплощеніе злой силы? Въ седьмой сценѣ онъ вводитъ насъ въ варшавскій салонъ, гдѣ ведутся бесѣды на текущія темы. Этой среды Мицкевичъ лично совершенно не зналъ, въ Варшавѣ онъ не былъ ни разу въ жизни: болѣе того, противъ Варшавы онъ имѣлъ преду-

бѣженіе. Поэтому варшавскій салонъ представляетъ нѣчто сим-
волическое, какъ «Баль у человѣка» въ извѣстной пьесѣ Лео-
нида Андреева. Одни бесѣдуютъ о тѣхъ событіяхъ, которыя
предшествовали возстанію (судь надъ Махницкимъ, конфликтъ
съ Немоевскимъ), другіе угодничаютъ передъ русскимъ прави-
тельствомъ. И здѣсь Мицкевичъ не соблюдя мѣры. Совершенно
неправдоподобна, напр., слѣдующая рѣчь камеръ-юнкера: «Вы
изъ Литвы и говорите по-польски?.. Совсѣмъ не понимаю... я
думалъ, что въ Литвѣ—все это москали. О Литвѣ, ей Богу,
я знаю меньше, чѣмъ о Китаѣ. Constitutionel что-то писалъ
однажды о литовцахъ, но въ другихъ французскихъ газетахъ
ни слова». Каррикатурны и рѣчи ложноклассиковъ, которые, вы-
слушавъ потрясающій рассказъ о Махницкомъ, жалѣютъ, что
описать его судьбу нельзя, потому что можно описывать только
событія, которыя произошли одну, двѣ тысячи лѣтъ тому на-
задъ. Другой литераторъ, подъ которымъ подразумѣвается, ко-
нечно, Бродзинскій, стоитъ на сторонѣ «идилліи», увѣряетъ, что
польскій народъ «сценъ ужасныхъ и страшныхъ не любитъ».
Для чего нужна была эта сцена? Чтобы сдѣлать такой выводъ:
«Нашъ народъ подобенъ лавѣ. Сверху она холодна и тверда,
суха и грязна, но внутренняго огня не погасятъ и сто лѣтъ.
Плюнемъ же на эту скорлупку и вступимъ на глубину!» Восъ-
мая сцена и переноситъ насъ туда, гдѣ кипитъ горячая внут-
ренность лавы. Въ Вильнѣ въ самомъ разгарѣ процессъ филаре-
товъ. Новосильцовъ окруженъ своими приспѣшниками: здѣсь
Байковъ, ректоръ Пеликанъ, докторъ, т.-е. профессоръ Бежю,
отчимъ Словацкаго, едва ли повинный въ тѣхъ преступленіяхъ
противъ польскаго студенчества, какія приписалъ ему Мицкевичъ.
Сенаторъ кончилъ обѣдать, пить кофе и бесѣдуетъ въ весе-
ломъ и шутливомъ тонѣ о пыткахъ, которымъ подвергли моло-
дежь. Новосильцовъ, злой духъ русско-польскихъ отношеній на-
чала прошлаго вѣка, до сихъ поръ возбуждаетъ такую нена-
висть польскаго общества, что о безпристрастномъ отношеніи къ
нему до нынѣ нѣтъ и рѣчи. Если прочесть его характеристику въ
извѣстномъ трудѣ Аскеназы о Лукасинскомъ, поймешь, въ какіе
цвѣта долженъ былъ облечь всю эту сцену поэтъ-мессіанистъ.
Юноша Роллисонъ забить на слѣдствіи палками, и мать его,
слѣпая женщина, приходитъ къ сенатору, чтобы добиться сви-
данія съ сыномъ. Происходитъ раздирательная сцена, которая

немного выводитъ изъ равновѣсія даже Новосильцова. Но онъ скоро успокаивается и настраивается на прежній веселый ладъ. Входитъ кс. Петръ, который разсказалъ матери Роллисона объ участи ея сына. Издѣвался надъ его личностью и саномъ, сенаторъ старается добиться, какъ онъ попалъ въ чужой монастырь, грозить повѣсить его. «Если я тебя повѣшу, а императоръ узнаетъ о томъ, что я поступилъ неформально, знаешь, что онъ скажетъ: «Эй, сенаторъ, вижу, что ты уже бѣсишься». А ты, монахъ, будешь себѣ висѣть попрежнему!» Ксендза бьютъ; особенно ретиво науськиваетъ противъ него докторъ (Бекю). «Господи, прости его, Господи, онъ самъ не знаетъ, что творить! Ахъ, братъ, злымъ совѣтомъ ты самъ себя добилъ. Сегодня ты предстанешь предъ Богомъ»: произноситъ пророчески кс. Петръ. Грубую сцену прерываетъ появленіе дамъ, и начинается балъ. Эта сцена («сцена поющая» *scena śpiewana*) представляетъ предчувствіе новаго театра, новаго символическаго театра, Метерлинка, Л. Андреева, Выспанскаго. И приѣвъ гостей: «Ахъ, какой блескъ, какая роскошь. Ah quelle beauté, quelle grâce» такъ напоминаетъ балъ въ «Жизни человѣка». Среди гостей есть и будущіе декабристы¹⁾, будущіе повстанцы, и ихъ бесѣды вводятъ насъ въ закулисную сторону всѣхъ этихъ торжествъ. Въ залу врывается мать Роллисона. Она хочетъ броситься на Новосильцова, который прячется. Раздается ударъ грома. Бекю убить. Балъ прервался, и опять кс. Петръ на допросѣ у сенатора, который и удивленъ, и встревоженъ исполненіемъ его пророчества. Но онъ не рѣшается трогать его. Кс. Петръ удаляется и на порогѣ встрѣчается съ Конрадомъ, котораго ведутъ на допросъ. Происходитъ слѣдующій діалогъ: «Странная вещь! Я никогда не видалъ этой особы (*tej postaci*), говоритъ Конрадъ, а между тѣмъ знаю его, какъ одного изъ моихъ родныхъ братьевъ. Не во снѣ ли? Да, во снѣ: теперь я припомнилъ... То самое лицо, тѣ же глаза... я его видѣлъ во снѣ. Да, онъ это, казалось мнѣ, вырывалъ меня изъ пропасти. (Ксендзу.) Мой ксендзъ, хотя мы мало знаемъ другъ друга — по крайней мѣрѣ, вы меня не знаете, — примите

¹⁾ Особенно характерно появленіе Бестужева, который, дѣйствительно, въ 1823 и 1824 г. былъ инкогнито, переходящимъ въ Вильнѣ и Варшавѣ. Это представляетъ одно изъ немногихъ указаній на какія-то сношенія между декабристами и филаретами. См. статью Г. Мосуцкаго „*Młodzież litewska i dekabrści*“ (Biblioteka Warszawska. 1910, tom I, стр. 474—505).

мою благодарность за одолженіе, о которомъ знаетъ только моя совѣсть. Дороги даже тѣ друзья, которыхъ видишь только во снѣ: наяву настоящихъ друзей мы видимъ такъ мало. Возьмите, пожалуйста, это кольцо, продайте его: отдайте половину бѣднымъ, другую на обѣдни, за души, томящіяся въ чистилищѣ. Я знак, какъ онѣ страдаютъ, если чистилище—рабство... А мнѣ, кто знаетъ, позволять ли ужъ когда-нибудь быть на обѣднѣ. *Ксендзь Петръ*. Позволять... За кольцо я дамъ тебѣ наставленіе. Ты поѣдешь въ далекую, неизвѣстную дорогу, будешь въ толпѣ великихъ, богатыхъ и умныхъ: ищи мужа, который знаетъ больше, чѣмъ они. Ты узнаешь его потому, что онъ первый будетъ привѣтствовать тебя во Имя Божье! (здѣсь слѣдовалъ въ первой редакціи послѣдній стихъ: «Слушай, что онъ скажетъ; онъ тебѣ поможетъ во многомъ»; въ печатной редакціи сцена кончается такъ: «Слушай, что онъ скажетъ», говоритъ ксендзь Петръ). *Конрадъ* (всматриваясь). Что же это? Ты ли это? Можетъ ли это быть? Остановись на мгновение... ради Бога! *Кс. Петръ*. Будь здоровъ! Не могу. *Конрадъ*. Одно слово... *Солдатъ*. Нельзя! Каждый въ свою сторону... Въ рукописи Домейки слѣдовала та сцена, которая потомъ была переставлена авторомъ въ самое начало трагедіи, какъ прологъ. Рукой самого Мицкевича были вписаны строки о смерти Густава и рожденіи Конрада. Теперь герой прежнихъ «Дѣдовъ» былъ связанъ преемственной связью съ героемъ новаго произведенія, и только теперь эта трагедія могла получить право на названіе «Дѣдовъ», которое замѣнило первоначальное заглавіе «Литва». Заключительная сцена ставитъ въ новую связь исторію Густава съ будущимъ Конрадомъ. На кладбищѣ справляется «Ночь дѣдовъ». На сценѣ нашъ старый ковенскій знакомый: гусларь (guslarz) и «женщина въ траурѣ», какъ тамъ была дѣвушка въ траурѣ. Это опять Марыля. Она не хочетъ итти въ церковь, чтобы вмѣстѣ съ другими совершить обрядъ. «Я не пойду туда, гусларь: я хочу остаться на кладбищѣ, я хочу видѣть только одного духа, того, что много лѣтъ тому назадъ явился *послтъ моей свадьбы* (Мицкевичъ забылъ, что тамъ выступала не замужняя женщина, но еще дѣвушка, но написана была трагедія дѣйствительно *послтъ свадьбы* Марыли), что среди толпы духовъ вдругъ предсталъ окровавленный и блѣдный, и не отрывался отъ меня дикими очами, и не молвилъ ни слова». Теперь поэтъ

старается разрѣшить загадку, которую онъ оставилъ не разрѣшенной въ 4 части «Дѣдовъ»: живой ли человекъ Густавъ или только призракъ. Теперь онъ влагаетъ въ уста гусларю такое объясненіе: «Быть можетъ, онъ былъ еще живъ, когда я спрашивалъ его, и потому не отвѣчалъ. Вѣдь въ таинственную ночь Дѣдовъ можно вызывать на собраніе духовъ тѣни живыхъ». Вотъ по кладбищу бѣгутъ трупы, свѣжіе трупы: одинъ пересыпаетъ серебро изъ рукъ въ руки, дукаты жгутъ ему голову (Бекю), другой въ свадебной одеждѣ (это прокуроръ Байковъ, который умеръ неожиданно, когда ѣхалъ къ невѣстѣ). Но Густава нѣтъ. «И не пришелъ онъ на Дѣдовъ», грустно говоритъ женщина. «Если духъ тотъ еще въ тѣлѣ, совѣтуетъ гусларь: скажи теперь его имя; а я въ таинственныхъ стихахъ произнесу заклятіе на волшебныхъ травахъ; и духъ оставитъ свое тѣло и предстанетъ передъ тобой». *Женщина*: «Я сказала». *Гусларь*: «Онъ не внимаетъ... Я произнесъ заклятіе... *Женщина*: «Нѣтъ духа!» *Гусларь*: «О, женщина! Твой возлюбленный или перемѣнилъ вѣру отцовъ, или измѣнилъ свое прежнее имя. Видишь, уже близится утро, наши чары потеряли свою силу, не покажется твой милый. (Выходятъ изъ-за деревьевъ.) Что же это? Смотри на западъ: тамъ, отъ замка Гедимина, среди густой пыли мятели несется нѣсколько десятковъ повозокъ! Всѣ онѣ несутся къ сѣверу, летятъ изо всѣхъ лошадиныхъ силъ! Видишь, тамъ одинъ впереди въ черной одеждѣ... *Женщина*: Онъ! *Гусларь*. Онъ, ѣдетъ тамъ. *Женщина*. И опять обратился назадъ, и только одинъ взглядъ бросилъ, одинъ только разъ... но какой взглядъ! *Гусларь*. Его грудь залита кровью, потому что много ранъ на этой груди: онъ терпитъ страшныя муки; тысяча мечей пронзила его тѣло, и всѣ они прошли въ самую душу. Развѣ одна смерть излѣчитъ его раны. *Женщина*. Кто же поразилъ его столькими мечами? *Гусларь*. Враги народа. *Женщина*. На челѣ его всего одна рана, одна и небольшая; она кажется черной капелькой. *Гусларь*. А она и причиняетъ самую страшную боль. Я ее видѣлъ, я ее изслѣдовалъ; эту рану онъ самъ себѣ нанесъ: даже смерть не можетъ исцѣлить ее. *Женщина*. Ахъ, исцѣли его, великій Боже!» На этомъ кончается трагедія.

Третья часть «Дѣдовъ» имѣла большое значеніе въ исторіи польской литературы и исторіи польскихъ народныхъ идеаловъ. Она создала новый видъ драмы, въ которомъ реализмъ такъ

причудливо сливался съ символичкой, составляя одно нераздѣльное, сложнѣйшее цѣлое, соотвѣтствующее своей сложностью современной человѣческой душѣ. Мицкевичъ, повидимому, не зналъ второй части «Фауста», когда писалъ трагедію Конрада. Эта часть появилась въ печати лишь въ концѣ 1832 года. Правда, и предположеніе Кавчинскаго о вліяніи отдѣльныхъ сценъ этой части на «Дѣдовъ» (напр., сцена съ цвѣтами) не представляется совсѣмъ невѣроятнымъ: въ Италіи Мицкевичъ встрѣтился съ сыномъ Гёте, провелъ съ нимъ цѣлый вечеръ и отъ него могъ узнать и планъ, и отдѣльные отрывки второй части. Какъ бы то ни было, 3-я часть «Дѣдовъ» образуетъ вмѣстѣ съ 2-й частью «Фауста» то новое слово въ литературѣ, которое было порождено новыми запросами. Реализмъ и фантастика, холодная разсудочность и безпредѣльный паѳосъ сплелись здѣсь какой-то неразрѣшимой связью. И именно 3-й частью «Дѣдовъ» Мицкевичъ сталъ во главѣ общеевропейскаго литературнаго движенія. Своей борьбой за идеаль, своей вѣрой въ наличность такого идеала, своимъ протестомъ противъ грубаго матеріализма и оппортунизма онъ занялъ въ міровомъ развитіи человѣческаго идеализма такое же исключительное мѣсто, какое въ послѣдствіи Толстой. И какъ Толстой—единственный, ни съ кѣмъ изъ современниковъ несравнимый, палимый сверхчеловѣческой жаждой добра и правды, есть геній нравственнаго совершенствованія человѣчества, такъ и Мицкевичъ высоко надъ всѣми современниками поднялся въ своемъ неудержимомъ стремленіи къ Богу справедливости и любви. Ни одинъ изъ польскихъ писателей не сравнился съ нимъ въ этомъ стремленіи, и какъ этическій геній, какъ нравственный вождь своего народа, онъ стоитъ донинѣ во главѣ польской жизни.

Нравственный смыслъ этой части «Дѣдовъ» заключался въ опроверженіи «Конрада Валленрода». Дѣлать зло людямъ ради высшихъ благихъ цѣлей—позволительно, героично: такъ можно было судить по проповѣди Хальбана. Не зломъ, но смиреніемъ, покорностью передъ Божьею волей, прощеніемъ и личнымъ нравственнымъ самосовершенствомъ можно достигнуть спасенія своего народа. «Послѣ обращенія, окончательнаго и полнаго примиренія съ Богомъ его уже не могли привлекать сверхъестественныя злыя средства, а оставались только сверхъестественныя добрыя средства, какъ единственный выходъ и путь къ желанной цѣли.

Собственно говоря, существовало только одно такое средство, именно чудо: слѣдовало святостью мысли, чувствъ и подвиговъ приобрести несокрушимую чудесную силу, которая смягчила бы и убѣдила бы даже сердца враговъ и заставила бы небо примириться съ народомъ. Эту мысль Мицкевичъ и провелъ въ третьей части «Дѣдовъ» (*M. Zdziechowski* *Byron i jego wiek.* II. 443).

Поэзія возстанія Мицкевича проникнута тѣми же идеалами. Таковъ отрывокъ изъ исторіи возстанія, вышедшій въ 1833 году въ сборникъ «стихотвореній» С. Гарчинскаго подъ названіемъ «Редуть Ордона», и написанный, вѣроятно, въ январѣ или февралѣ 1832 г. Въ образѣ этого стихотворенія отмѣчено вліяніе байроновскаго «*The siege of Corinth*» (Е. Kucharski въ *Pamiętn. Liter.* V. 461). Ордонъ, одинъ изъ польскихъ офицеровъ, который долженъ былъ съ небольшимъ отрядомъ защищать редуть, преграждавшій входъ въ Варшаву, взорвалъ укрѣпленіе вмѣстѣ съ его защитниками и нападавшими. Въ эпическомъ разсказѣ, спокойствіе и выпуклость котораго уже позволяютъ предчувствовать позднѣйшаго «Пана Тадеуша», поэтъ описываетъ, какъ на развалинахъ редута въ первый разъ и защитники, и нападавшіе заключили «искренній вѣчный міръ». Это была Божья воля. «Дѣло уничтоженія съ доброй цѣлью такъ же свято, какъ дѣло созданія. Богъ изрекъ слово: «Да будетъ!» Богъ изречеть и слово: «Исчезни!» Когда вѣра и свобода покинуть людей, когда землю зальютъ деспотизмъ и безумная гордость, какъ москали заняли редуть Ордона, тогда, карая племя побѣдителей, отравленное преступленіями, Богъ взорветъ эту землю, какъ Ордонъ свой редуть». Погибнуть въ бою, но не лгать, не быть коварнымъ и надменнымъ измѣнникомъ: эту поправку Мицкевичъ вноситъ теперь въ народный идеаль. Какъ дополненіе къ третьей части «Дѣдовъ», которая носила первоначальное названіе «Литва», — можетъ быть, какъ вторая часть задуманной трилогіи, въ томъ же самомъ томѣ появился „Ustęp“ (отрывокъ), эпическое описаніе Россіи. Сохранившаяся первоначальная рукопись его была набросана въ промежутокъ 1828—1830 годовъ и рисуетъ развитіе христіанскихъ и мистическихъ чувствъ въ душѣ поэта. Посланіе «Друзьямъ-Москалямъ» было написано только въ 1830 году. Это «голосъ прощенія и любви» (какъ выражается гр. С. Тарновскій), гармонирующій съ настроеніемъ «Дѣдовъ».

«Отрывокъ» состоитъ изъ слѣдующихъ главъ: «Дорога въ Рос-

сію», «Предмѣстья столицы», «Петербургъ», «Памятникъ Петру Великому», «Парадъ», «Олешкевичъ» (день передъ петербургскимъ наводненіемъ 1824 года) и изъ посвященія «Друзьямъ-Москалямъ». Страшный правительственный произволъ, милитаризмъ, обращенный прежде всего на парады и смотры, и безмолвіе народныхъ массъ, отвѣчающая этому безмолвію безжизненность природы,— вотъ что удручаетъ польскаго поэта въ Россіи. Въ черновой рукописи «Дороги въ Россіи» было описаніе бури, гудящей въ лѣсу. Это описаніе не гармонировало съ картиной плоской, однообразной природы и было выкинуто въ послѣдней редакціи. «Какъ вѣтеръ въ пустынѣ», летитъ по ровнымъ свѣгамъ кибитка; глазъ не встрѣчаетъ ни города, ни горы, никакихъ памятниковъ, людей или природы, «земля такъ пуста, такъ безлюдна, какъ будто бы лишь вчера вечеромъ была сотворена». И люди гармонируютъ съ этой природой: широкоплечіе, ничего не выражающіе на своемъ лицѣ, «какъ звѣри или деревья сѣвера, исполнены свѣжести, здоровья и силы». Въ этой странѣ дикіе нравы; грабежъ и распутство властныхъ, разноязычныхъ авантюристовъ, насиліе надъ слабыми; по дорогамъ безчисленными линіями передвигаются войска, а вотъ летитъ кибитка; жандармъ кого-то везетъ въ столицу. Никто не смѣетъ спрашивать, кого и за что? «Можетъ быть, этотъ жандармъ ѣдетъ изъ-за границы?» говоритъ генераль. «Кто знаетъ, кого онъ поймалъ». Можетъ быть, прусскій, французскій или саксонскій король впалъ въ царскую немилость, и царь рѣшилъ заточить его въ тюрьмѣ. Можетъ быть, схвачена еще поважнѣе голова, можетъ быть, везутъ самого Ермолова». Наконецъ, открываются «Предмѣстья столицы». Это дачи Екатерининскихъ вельможъ. «О, какъ чудесна работа этихъ зданій! Столько камней на островкахъ (на керасъ) среди болотъ! Нѣкогда въ Римѣ, чтобы воздвигнуть театръ для императоровъ, пришлось вылить цѣлую рѣку золота. На этомъ же предмѣстьѣ подлые слуги царей вылили океанъ нашей крови и слезъ, чтобы построить себѣ роскошные замки. Чтобы свезти камни для этихъobelisksовъ, сколько нужно было придумать заговоровъ, сколько невинныхъ выслать или убить, сколько нашихъ земель обокрасть и ограбить, пока кровью Литвы, слезами Украины и золотомъ Польши не было щедро заплачено за все, что есть въ Парижѣ и Лондонѣ, и не были выстроены модные дворцы, и не были вымыты шампанскимъ полы буфетовъ, и не были

истоптаны па менуетовъ». Эти гнѣвные стихи мы находимъ въ той части рукописи «Отрывка», которая относится еще ко времени пребыванія Мицкевича въ Россіи. Это гнѣвъ Валленрода, еще далекій отъ всепрощенія къ Петру. Отрывокъ «Петербургъ» въ печатномъ видѣ получилъ окончаніе, котораго нѣтъ въ рукописи, и которое соотвѣтствуетъ позднѣйшему, уже римскому и дрезденскому настроенію поэта.

Разумѣется, въ созданіи Петербурга, на самомъ краѣ государства Мицкевичъ видитъ только произволъ русскихъ царей, и съ этой точки зрѣнія онъ разсматриваетъ его. Такъ, въ Парижѣ Петръ видѣлъ площади, въ Амстердамѣ каналы, въ Римѣ дворцы и т. д. «Поразило это царя, и сейчасъ же онъ въ своемъ городѣ перерѣзалъ каналами болотистое поле, повѣсилъ черезъ нихъ мосты и пустилъ гондолы. Вотъ у него и есть другая Венеція, Парижъ, Лондонъ, нѣтъ только ихъ красоты, блеска и множества судовъ (żeglugi)». Въ своемъ отрицательномъ отношеніи къ Петру, навѣянномъ Мицкевичу едва ли еще не славянофилами (неужели ему больше нравились старые московскіе цари?). Поэтъ доходитъ до восклицанія: «Кто видѣлъ Петербургъ, тотъ скажетъ, что строили его развѣ черти (szatany)». О населеніи Петербурга нечего и говорить: ни искры симпатіи оно не внушаетъ фанатику-поэту. Страстное отвращеніе къ русской жизни охватывало, впрочемъ, въ ту пору и многихъ русскихъ: Печерина, Никитенко, Герцена и Чаадаева и мн. др. Въ толпѣ людей по улицамъ Петербурга, читаемъ мы въ этомъ отрывкѣ, шло нѣсколько человѣкъ, которые отличались отъ другихъ лицомъ и одеждой. «Они едва бросаютъ взоры на прохожихъ, но съ изумленіемъ смотрятъ на городъ, не отрываютъ глазъ отъ фундаментовъ, стѣнъ и вывѣсокъ, отъ всего этого желѣза и гранита, будто бы они пробуютъ, крѣпко ли вдѣланы кирпичи. И съ отчаяніемъ они опускаютъ руки, какъ будто думая: человѣкъ ихъ не разрушить! Такъ они рѣшили и пошли дальше. Изъ одиннадцати на мѣстѣ остался одинъ пилигримъ. Онъ злобно засмѣялся, поднялъ руку, сжалъ ее и мстительно (mściwie) ударилъ по камню, какъ будто грозилъ этому городу камней. Потомъ онъ сложилъ руки на груди и задумался, и въ царскій дворецъ вперилъ два глаза, какъ двѣ ножа. И въ это время онъ былъ подобенъ Самсону, когда, взятый измѣннически и скованный цѣпями, онъ думалъ подъ елонами филистимлянъ». Образъ Самсона мы встрѣчаемъ и въ

3-ей части «Дѣдовъ»: видимо, онъ сильно поражаель воображеніе Мицкевича. На другой сторонѣ улицы стояель другой человекъ, который здѣсь не былъ недавнимъ пришельцемъ: онъ многихъ знаель и, подавая милостыню, разспрашиваель бѣдныхъ. Наконецъ они замѣтили другъ друга. Первый подошелъ человекъ съ правой стороны (Олешкевичъ, сыгравшій такую видную роль въ жизни Мицкевича): «Братъ, я вижу, сказалъ онъ, что ты остался одинъ, что ты печаленъ и можетъ быть чужеземець. Скажи во имя Божье, что тебѣ нужно». На этомъ заканчиваель отрывокъ въ рукописи. Но въ Дрезденѣ, уже въ иномъ настроеніи, Мицкевичъ добавиль слѣдующія строки: «Я христіанинъ и полякъ, привѣтствую тебя знакомъ креста и погони (литовскаго герба). Пилигримъ, слишкомъ поглощенный своими мыслями, опомнился (*otrząsnął głową*) и побѣждалъ съ набережной, но на слѣдующій день, постепенно разъясня пучину своихъ мыслей и освѣжая память, онъ не разъ пожалѣль объ этомъ навязчивомъ незнакомцѣ. Если онъ его встрѣтитъ, онъ узнаеть его и удержитъ; хотя онъ не помнитъ чертъ его лица, но что-то было въ его голосѣ и словахъ: знакомое ушамъ и душѣ пилигрима. Можетъ быть, онъ снился пилигриму». Эта прибавка — созданіе позднѣйшаго развитія поэта; мотивъ, чрезвычайно сходный съ послѣдней встрѣчей Конрада въ залахъ Новосильцова съ кс. Петромъ.

Слѣдующій отрывокъ приобрѣль особенно широкую извѣстность и послужиль поводомъ для сопоставленій взглядовъ Пушкина и Мицкевича на русское самодержавіе. Къ этой темѣ, уже слегка затронутой въ одной изъ предшествующихъ главъ, я не буду возвращаться. Два поэта, еще недавно узнавшие другъ друга, но уже успѣвшие сблизиться, это — «пилигримъ, пришелець съ Запада», и «поэтъ русскаго народа, прославленный своими пѣснями па всемъ Сѣверѣ». Пилигримъ что-то думаль, стоя передъ памятникомъ Петра, а русскій поэтъ тихимъ голосомъ говорилъ ему о тираніи и насиліи и сравниваель этого мѣднаго всадника съ конной статуей «любимца народовъ», Марка Аврелія, поставленной въ старомъ Римѣ. Пушкинъ никогда не видѣль этого памятника, Мицкевичъ могъ изучить его въ Римѣ, и тамъ же, въ Римѣ, вѣроятно, возникло это стихотвореніе, котораго нѣтъ въ первоначальной рукописи. Почему именно въ уста Пушкина вложено сравненіе двухъ памятниковъ? Вѣроятно, жалость къ рус-

скому поэту, который всю жизнь такъ рвался въ свободные края Европы и такъ безнадежно томился въ русскихъ условіяхъ, внушила Мицкевичу вольнолюбивыя рѣчи, вложенныя въ уста его. Это должно было предшествовать тому роковому году, когда и Пушкинъ, и Жуковский выступили съ патріотическими одами на взятіе Варшавы и побѣды русскихъ войскъ надъ возстаніемъ. Тогда съ иными рѣчами Мицкевичъ обратился къ «Друзьямъ-Москалямъ».

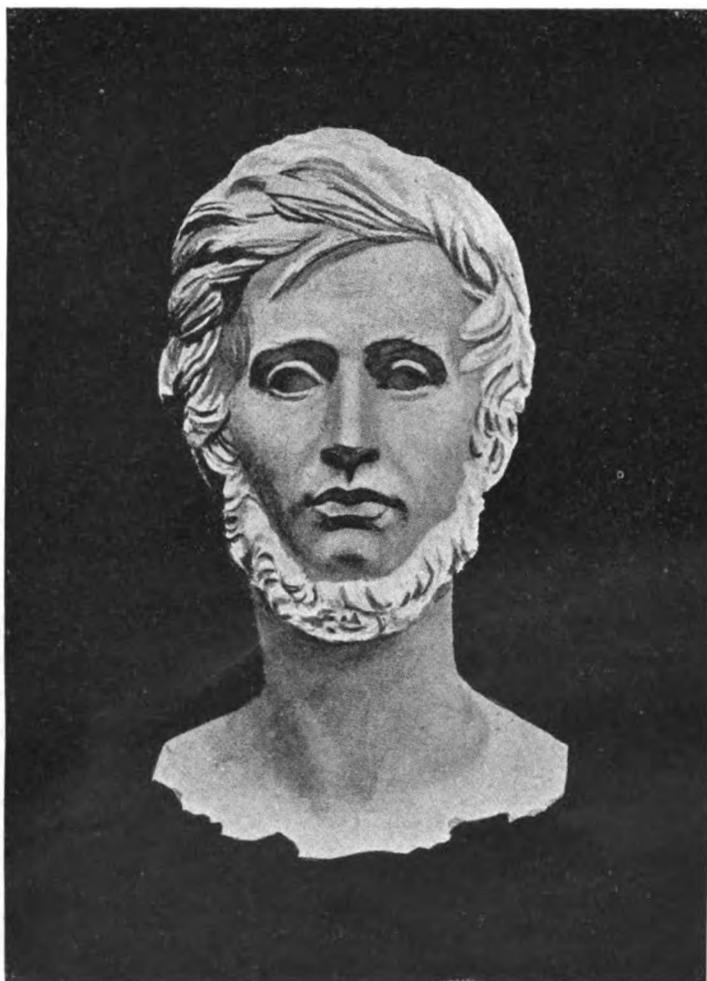
Очень значителенъ по размѣрамъ отрывокъ «Смотръ войскъ», который изъ 230 строкъ первой рукописи разросся до 480 въ печатной редакціи. Очень характерная перемена произошла въ самомъ концѣ его. Описавъ гибель денщика, забытаго офицеромъ на морозѣ и замерзшаго въ снѣгу, это достойное завершеніе картины парада, Мицкевичъ писалъ въ рукописи: «Подлый народъ! (начала: «Подлая страна»), я проклинаю твою судьбу. Ты знаешь только одинъ героизмъ — рабства!» Въ Дрезденѣ Мицкевичъ уже не чувствовалъ желанія кого-нибудь проклинать, и онъ замѣнилъ эти стихи строками: «Бѣдный народъ! Мнѣ жаль твоей судьбы: ты знаешь только одинъ героизмъ рабства!» Трудно выразить сосредоточеннѣе чувство ненависти и отвращенія къ режиму забиванія человѣческой совѣсти и мысли, къ порабощенію всѣхъ свободныхъ стремленій людей, чѣмъ это сдѣлалъ Мицкевичъ въ этомъ отрывкѣ. Каждая строка его дышитъ ужасомъ и полна благороднымъ гнѣвомъ. «Люблю, военная столица...» писалъ въ ту же пору Пушкинъ...

Послѣдній отрывокъ посвященъ Олешкевичу. Въ петербургской атмосферѣ нравственной испорченности и лжи это свѣтлый геній Мицкевича. Самый климатъ столицы съ постоянными оттепелями среди зимы полонъ гніенія. «Точно лицо покойника, разгорѣвшееся въ комнатѣ передъ печью, наберетъ тепла, но не жизни, вмѣсто дыханія отъ него пойдетъ запахомъ гніенія». На улицахъ грязь, застучали колеса. Въ это время надъ берегомъ огромной Невы шли два молодыхъ путешественника (Мицкевичъ и, вѣроятно, Малевскій). Они любятъ гулять въ сумерки, чтобы не видѣть чиновниковъ и не встрѣтиться въ пустомъ мѣстѣ со шпиономъ. И вотъ они встрѣтили какого-то страннаго человѣка, который съ фонаремъ въ рукахъ какъ будто измѣрялъ воду веревкой и что-то внимательно изслѣдовалъ, склонившись надъ грудой бумаги. Кто могъ это быть? Не шпионъ, не рыбакъ. Путники подо-

шли къ нему. «Одинъ изъ нихъ заглянулъ въ его лицо и воскликнулъ: Это онъ! Кто же это онъ? Полякъ, художникъ: впрочемъ, правильнѣе было бы назвать его заклинателемъ (gué-larz). Онъ давно уже отвыкъ отъ красокъ и кисти, изслѣдуетъ только библію и кабалу, и даже, говорятъ, бесѣдуетъ съ духами. Между тѣмъ художникъ всталъ, сложилъ свои рукописи и сказалъ, какъ будто бы разговаривая самъ съ собой: кто дожилъ до завтрашняго дня, дожилъ до великихъ чудесъ. Будетъ другое, не послѣднее еще испытаніе. Господь потрясетъ ступени ассирійскаго трона, Господь потрясетъ фундаментъ города Вавилона! Но не дай, Господи, увидѣть третье испытаніе!» Видѣвшіе и слышавшіе это смѣялись, а художникъ со своимъ фонаремъ пошелъ дальше, и только одинъ побѣждалъ за нимъ и нашелъ его на широкой площади среди кучи камней. На одномъ изъ камней стоялъ художникъ, и видно было изъ направленія фонаря, что онъ смотрѣлъ на стѣны императорскаго дворца. А въ стѣнахъ его одно окно на самомъ углу было освѣщено; и онъ пытливо смотрѣлъ на этотъ свѣтъ, шепталъ, обратившись къ небу, слова молитвы». Онъ молился за Александра, жалѣлъ его! «Прежде онъ былъ человѣкомъ, но, спускаясь постепенно, сталъ тираномъ: ушли Господни ангелы, а онъ съ лѣтами все крѣпче попадалъ подъ власть сатаны. Послѣдній совѣтъ, это тихое предчувствіе онъ выгонитъ изъ головы, какъ злое мечтаніе: а завтра льстецы вознесутъ его за предѣлы высокомѣрія, все выше и выше, пока его не растопчетъ сатана»... И еще долго страшныя угрозы, укоризны, слова сожалѣнія о «наименѣ виновныхъ», которые первые пострадають, шепчетъ художникъ. Но вотъ онъ замѣтилъ, что его слушаютъ, гаситъ фонарь и уходитъ. «Исчезъ, какъ предчувствіе несчастій, которое неожиданно поражаетъ сердце, и проходитъ страшное, но непонятое». На другой день разразилось наводненіе, описанное Пушкинымъ въ «Мѣдномъ Всадникѣ». И здѣсь отношеніе двухъ поэтовъ къ одному и тому же событію было такъ различно. Орывокъ «Олешкевичъ» оказался въ послѣдней редакціи почти неизмѣненнымъ по сравненію съ извѣстной намъ рукописью. Онъ занимаетъ послѣднее мѣсто въ собраніи очерковъ Петербурга, и именно къ нему относится дата 1830, поставленная подъ сборникомъ. Въ это время поэтъ, можетъ быть, узналъ и о смерти Олешкевича (въ октябрѣ 1830 г.), которая произвела на него потрясающее впечатлѣніе. Прежде онъ нерѣдко отзывал-

ся о немъ шутило, съ этого же времени, по свидѣтельству Одынца, онъ не говорилъ о немъ иначе, какъ о самомъ добродѣтельномъ и возвышенномъ человѣкѣ, какого зналъ въ жизни. Такъ, по-видимому, лишь въ концѣ 1830 года возникъ этотъ эпизодъ «Отрывка», уже подходящій по своему мистическому настроенію къ поэзіи возстанія.

Въ первомъ изданіи 3-ей части «Дѣдовъ» (1832) послѣ «Объясненій» къ этой части слѣдовало стихотвореніе къ «Друзьямъ-Москалямъ», какъ нѣчто самостоятельное. Такъ Мицкевичъ, по-видимому, смотрѣлъ и позже на это посланіе, которое въ первоначальной рукописи представляетъ еще слѣды своего возникновенія. По изслѣдованію А. Креховецкаго, оно было написано на бумагѣ съ *русскими* водяными знаками и возникло не сразу. Сначала были написаны слѣдующія двѣ строфы: «Вспоминаете ли вы обо мнѣ? А я, когда думаю о казняхъ, ссылкахъ, заключеніяхъ моихъ друзей, думаю и о васъ; ваши лица, лица чужеземцевъ, приобрѣли себѣ право гражданства въ моихъ грезахъ. Гдѣ вы теперь? Благородная шея Рылѣва, которую я обнималъ, какъ шею брата, виситъ теперь, по царскому приговору, привязанная къ позорному столбу. Проклятіе народамъ, которые убиваютъ своихъ пророковъ!» Казалось, что дальше Мицкевичъ не собирался писать. Продолженіе написано поспѣшнѣе; въ немъ уже больше поправокъ, почеркъ похожъ на рукопись «Отрывка» (Креховецкій). И здѣсь есть также характерныя измѣненія: строки о возможномъ согласіи народовъ («Dla zgody ludów stawiam ten kielich godowy») не вошли въ печатную редакцію. Послѣ Рылѣва Мицкевичъ вспоминаетъ Бестужева, который попалъ и въ число дѣйствующихъ лицъ 3-ей части «Дѣдовъ». «Другимъ, быть можетъ, ниспослана и болѣе суровая кара небесъ; быть можетъ, позорно прельщенный чиномъ или орденомъ, иной изъ васъ продалъ навѣки свободную душу на лестъ царю и теперь бьетъ поклоны на его порогѣ. Можетъ быть, нанятымъ языкомъ восхваляетъ его триумфы и радуется мученіямъ своихъ друзей; можетъ быть, ходитъ по моей родинѣ, окровавленный ея кровью и ея проклятіемъ хвалится передъ царемъ, какъ заслугой. Если издалека, отъ свободныхъ народовъ, долетятъ на сѣверъ эти скорбныя пѣсни и гдѣ-то высоко зазвучатъ надъ страной льдовъ: пусть онѣ возвѣстятъ вамъ свободу, какъ журавли возвѣщаютъ весну! Вы меня узнаете по голосу! Пока я былъ въ оковахъ, я ползаль



БЮСТЪ МИЦКЕВИЧА.

A son ami Adam Mickiewicz P. I. Dawid. Paris, 1835.

молча, какъ змѣя, обманывая деспота, по вамъ я открылъ тайны, замкнутыя въ чувствахъ, и къ вамъ я всегда обращался съ глубиной простотой. Теперь я выливаю въ міръ эту чашу яда. Жжетъ и палитъ горечь моихъ словъ. Эта горечь создана изъ крови и слезъ моей родины. Пусть же она жжетъ и палитъ не васъ, но ваши оковы. Если кто-нибудь изъ васъ начнетъ жаловаться на меня, для меня его жалоба будетъ подобна лаянью пса, который такъ привыкъ къ давно, терпѣливо носимому ошейнику, что наконецъ готовъ кусать руку, которая хочетъ снять его».

Возникшіе въ разное время, подъ разными впечатлѣніями отрывки первоначально не могли быть частями планомѣрно задуманго произведенія, напримѣръ: какой-нибудь частью трагедіи «Дѣдовъ». Но въ 1830 году они были переработаны такъ, что оказались проникнуты общимъ настроеніемъ и дали одну картину страшнаго самовластия, надъ которымъ уже виситъ Домокловъ мечъ Божьяго гнѣва. Среди Вавилона, обреченнаго на гибель за забвеніе всѣхъ основъ милосердія, есть нѣсколько праведниковъ, людей изъ избраннаго благочестиваго народа: они предсказываютъ гибель Вавилона, они бѣгутъ въ «страну свободы» изъ печальнаго края рабства, отъ безумнаго народа, который проклинаетъ своихъ пророковъ. Лучшие гибнутъ въ тюрьмахъ и на Лобномъ мѣстѣ, слабые продаютъ себя надменнымъ тиранамъ и вмѣстѣ съ ними готовы хвалиться невинно пролитой кровью. Такова концепція «Отрывка», которая всецѣло соотвѣтствуетъ замыслу 3-ей части «Дѣдовъ», и потому мнѣ представляется вѣроятнымъ предположеніе Спасовича, что этотъ «Отрывокъ» въ своей окончательной переработкѣ составилъ одно цѣлое и подъ видомъ «Петербургъ» былъ противопоставленъ «Литвѣ», какъ была названа 3-я часть «Дѣдовъ».

Отъ проповѣди ненависти къ народамъ и людямъ Мицкевичъ возвышался до глубокаго состраданія къ тѣмъ, кто по слабости или неразумію несетъ гнѣть. Онъ осудилъ месть и всякое насиліе. Только любовью будетъ спасенъ міръ. И, сказавъ это, поэтъ надолго отвернулся отъ политики, ушелъ въ свои грезы и въ прошлое народа. Въ своемъ послѣднемъ и величайшемъ произведеніи онъ вернулся къ картинамъ мирной молодости, еще не знавшей національной ненависти; отъ страшныхъ взрывовъ пророческой ненависти къ богамъ, готовой потрясти небосводы, чтобы добиться отъ боговъ справедливости и состраданія къ людямъ,

поэтъ съ поразительной свободой обратился теперь къ эпосу. Создавъ великое въ области лирики и драмы, Мицкевичъ далъ одно изъ величайшихъ произведеній мірового эпоса въ своемъ «Панѣ Тадеушѣ».

ГЛАВА XXI.

«Панъ Тадеушъ».

Когда Мицкевичъ въ августѣ 1832 года пріѣхалъ въ Парижъ, среди эмигрантовъ, жившихъ здѣсь, кипѣла политическая жизнь. Реакціонная партія въ правительствѣ «короля баррикадъ», Луи Филиппа, уже усилилась. Казимиръ Перье, Гизо, Броли стояли во главѣ этой партіи и старались увѣрить европейскія правительства въ отсутствіи всякихъ агрессивныхъ намѣреній Франціи. Разумѣется, польская эмиграція, которая вѣрила въ возможность начать въ ближайшемъ будущемъ новую войну съ Россіей при поддержкѣ Европы, представляла совершенно нежелательный элементъ для этого правительства, тѣмъ болѣе, что она революціонизировала народныя массы, возбуждала рабочихъ, подготавливала самой своей наличностью взрывчатый матеріалъ для новой революціи. «Чтобы Польша существовала, необходима революція во всемъ мірѣ», писалъ въ это время Мохнацкій своей матери. Въ этомъ убѣжденіи эмигрантовъ поддерживали европейскіе мистики и энтузіасты свободы. Монталамберъ писалъ, что «польское дѣло срослось съ дѣломъ человѣчества, и потому безсмертно, какъ человѣчество» и т. д. По словамъ одного изъ видныхъ эмигрантовъ, Гельтмана, только теперь поляки убѣдились, какое огромное и общее значеніе имѣла ихъ борьба. Сынъ Адама Мицкевича, который зналъ во всѣхъ подробностяхъ исторію эмиграціи и своими корнями такъ тѣсно сросся съ ней, рассказываетъ слѣдующее: «Французское правительство разсѣяло эмигрантовъ въ провинціи, создавая здѣсь т. наз. *Depôts*, которые образовались въ Пуатье, Безансонѣ, Авиньонѣ и др. Здѣсь эмигранты остановились въ казармахъ, со своимъ офицерами во главѣ, довольные военной организаціей, которая поддерживала въ нихъ вѣру въ то, что имъ вскорѣ опять придется выступить въ походъ. Генераламъ, депутатамъ (бывшаго сейма), выдающимся и богатымъ людямъ было предоста-

влено право устранивать и въ Парижѣ сеймики, и вотъ начались попытки объединить эмигрантовъ подъ одной властью и выработать общую программу. Эти попытки оказались тѣми сизифовыми камнями, которые эмигрантамъ пришлось подымать наверхъ до самаго конца существованія эмиграціи. Каждый возникающій комитетъ требовалъ отъ соотечественниковъ послушанія и проклиналъ всѣ другіе комитеты. Собранія происходили чрезвычайно бурно. Умы были до такой степени раздражены, что никто не признавалъ положительныхъ сторонъ своихъ противниковъ, а смута среди эмиграціи еще усиливалась подъ вліяніемъ французскихъ политическихъ партій и соціальныхъ школъ». А. Сливинскій въ своей извѣстной книгѣ о Мохнацкомъ рассказываетъ о нѣкоторыхъ изъ этихъ комитетовъ. Въ ноябрѣ 1831 года возникъ «Временный комитетъ польской эмиграціи» для опеки надъ эмигрантами. Комитетъ этотъ просуществовалъ очень недолго, и уже въ декабрѣ онъ смѣнился «Народнымъ польскимъ комитетомъ», цѣлью котораго было «служеніе интересамъ народа и облегченіе участи поляковъ, вытѣсненныхъ изъ родины». Комитетъ поддерживалъ въ эмигрантахъ вѣру въ будущее: «Еще и намъ блеснетъ звѣзда свободы. Недалеко то время, когда мстительный рокъ повернется въ иную сторону. Придетъ минута, когда звуки трубъ призвуть насъ на родныя нивы»... Прошло три мѣсяца, и изъ комитета выдѣлилась группа членовъ, которая основала «Демократическое польское общество» (17 марта 1832 г.). Приблизительно въ это время даже такой страстный и партійный борецъ, какъ Мохнацкій, писалъ обо всей этой неразберихѣ слѣдующее: «Такъ наз. аристократы обвиняютъ калишанъ (партію Немоевскихъ, основавшихъ первый изъ названныхъ комитетовъ), революціонеры калишанъ и аристократію, калишане — революціонеровъ. А я утверждаю, что виноваты всѣ три партіи, потому что всѣ три были слабы». Въ другомъ письмѣ онъ обвиняетъ ихъ въ эгоизмѣ, неспособности, политическомъ недомысліи. Наконецъ въ апрѣлѣ 1832 года французскій парламентъ принялъ законъ, который подчинялъ эмиграцію полицейскому надзору, стѣснялъ свободу ея передвиженій, — вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, оказывалъ благотворительную матеріальную помощь эмигрантамъ. Въ октябрѣ того же года, параллельно уже существующему комитету, возникъ другой, подъ названіемъ «Национальнаго комитета польской эмиграціи». Борьбу между ними завершилъ Тьеръ, который по требованію

русскаго посольства предложилъ (въ декабрѣ 1832 года) Лелевелю и его единомышленникамъ, стоявшимъ во главѣ перваго изъ этихъ комитетовъ, покинуть Парижъ. Такимъ образомъ, въ первые мѣсяцы пребыванія Мицкевича въ Парижѣ здѣсь боролись между собой партія Чарторыйскаго, стремившаяся и теперь къ легальному исходу борьбы на основѣ Вѣнскаго трактата, Демократическое общество, мечтавшее о возстановленіи Польши въ границахъ до раздѣловъ, и наконецъ эти Народные комитеты, которые приближались въ своихъ стремленіяхъ къ Демократическому обществу. Трагическій хаосъ увеличивали еще спеціальныя литовскія общества. Такъ, еще до пріѣзда Мицкевича въ Парижъ, въ декабрѣ 1831 года, было организовано Литовское общество, въ которомъ съ самаго начала принималъ видное участіе самолюбивый Юлій Словацкій, впоследствии вынужденный и здѣсь уступить первенство ненавистному сопернику, Мицкевичу. Одной изъ первыхъ задачъ новаго общества было собраніе матеріаловъ для описанія возстанія въ Литвѣ и самая исторія его. Уже 13 августа среди его членовъ былъ Мицкевичъ. На слѣдующемъ засѣданіи, 20 августа, шла рѣчь объ изданіи обращенія къ соотечественникамъ, въ которомъ предполагалось изложить цѣли общества. Обращеніе вышло 23 августа 1832 года и было снабжено спискомъ наиболѣе почетныхъ членовъ общества. На первомъ мѣстѣ упоминалось имя Мицкевича, тогда какъ фамилія Словацкаго была совсѣмъ упущена. Задача общества Литвы и русскихъ земель были здѣсь сведены къ слѣдующему: «заботиться объ участи несчастныхъ эмигрантовъ, облегчать нашей молодежи возможность учиться наукамъ и искусствамъ, выяснять исторію послѣдняго возстанія, доказывать Европѣ право польскаго народа на независимость Польши, давать дѣйствительное представленіе о природѣ нашего края, приготовляться къ использованію великихъ перемѣнъ, какія могли бы наступить въ политическомъ мірѣ, а особенно соединить наши усилія съ вашими», т.-е. усилія поляковъ изъ Литвы съ «коронными». Такъ Мицкевичъ сразу по пріѣздѣ въ Парижъ погрузился въ политику. О тѣхъ чествованіяхъ, предметомъ которыхъ онъ былъ, уже была рѣчь раньше. Въ сентябрѣ онъ былъ избранъ предсѣдателемъ историко-литературнаго отдѣленія общества, которое, въ сущности, не знало, чѣмъ ему заниматься, собирало матеріалы и мемуары для исторіи возстанія, устроило въ годовщину его объѣдъ, на которомъ

Словацкій имѣлъ удовольствіе покрасоваться импровизаціей, тогда какъ Мицкевичъ уклонился отъ нея, казался больнымъ и ушелъ. И уже въ началѣ 1833 года «Общество морально распадалось и клонилось къ упадку» (Z. Wasilewski. Śladami Mickiewicza. 1905). А самъ поэтъ въ письмѣ къ Ст. Гарчинскому признавался (5 марта 1833 г.), что не любитъ «играть тряпками и свистѣть въ пустые орѣхи». Но избавиться отъ необходимости свистѣть заодно съ другими въ пустые орѣхи Мицкевичъ не могъ. Ему пришлось принять участіе и въ Польскомъ литературномъ обществѣ, предсѣдателемъ котораго былъ Чарторыйскій, и въ Обществѣ научной помощи (польской молодежи и эмигрантамъ). Въ ноябрѣ 1832 года. Е. Янушкевичъ сталъ издавать маленькую газетку для эмигрантовъ подъ названіемъ «Pielgrzym Polski». Мицкевичъ взялся бесплатно редактировать этотъ органъ, съ помощью котораго надѣялся оказывать вліяніе на массу эмигрантовъ. Съ апрѣля слѣдующаго года эта газета стала выходить въ бѣльшихъ размѣрахъ. Извѣстно, что Мицкевичъ помѣстилъ здѣсь безъ подписи не мало статей, задачей которыхъ служило примиреніе враждующихъ партій, умиротвореніе того хаоса, въ которомъ «каждый хотѣлъ ввести въ Польшу свою форму правленія, въ Польшу, которой нѣтъ, которая еще не народилась», гдѣ всѣ дышали ненавистью другъ къ другу, «военные гнѣвались на всѣхъ, всѣ на военныхъ... (изъ письма поэта Богдана Залѣскаго, 3 ноября 1832 г. Mickiewicz. Żywot. II 239).

Разумѣется, не разъ доставалось и Мицкевичу. На ряду съ поклонниками было не мало людей, которые жалѣли, что поэтъ пустился въ публицистику, смѣялись надъ его политическими фантазіями, надъ манифестами, которые онъ подписывалъ вмѣстѣ съ другими. И все это дѣлало жизнь въ Парижѣ скучной, утомительной и мелочной.

Мицкевичъ ушелъ опять въ творчество, но теперь его уже не тянуло къ политической поэзии. Ему хотѣлось унести въ воображеніемъ подальше отъ политики и публицистики, которымъ онъ и такъ отдавалъ уже много силъ. И вотъ 8 дек. 1832 года въ письмѣ къ Одынку онъ сообщаетъ, что пишетъ поэму въ духѣ гётевской поэмы «Германъ и Доротея» и что его новое произведеніе, котораго онъ набросалъ уже тысячу стиховъ, очень понравилось шляхтѣ. Вотъ первое свидѣтельство о «Панѣ Тадеушѣ». Однако на этотъ разъ жизнь не позволила Мицкевичу ра-

ботать такъ напряженно, какъ это онъ могъ дѣлать раньше. Работа прерывалась всевозможными помѣхами, то отвлекавшими отъ писанія, то вліявшими на настроеніе и смущавшими душевный покой поэта. Такъ, пришлось заново переводить «Гяура», рукопись котораго была продана, но куда-то затерялась. Стефану Гарчинскому, поэту, участнику возстанія, котораго Мицкевичъ ставилъ очень высоко, именно какъ пѣвца событій 1830—31 г., было очень худо. Поэтъ догоралъ отъ чахотки и спѣшилъ издать свою поэму «Исторію Вацлава». Онъ поручилъ изданіе Мицкевичу. А у того не было для этого денегъ, которыя приходилось доставать не всегда легко. Гарчинскій волновался, торопиль, готовъ былъ подозрѣвать добрую волю Мицкевича. Неожиданно свалилась въ концѣ 1832 г. другая непріятность. Графиня Лубенская, предметъ мимолетнаго увлеченія поэта, отвѣтила на него, повидимому, болѣе серьезнымъ чувствомъ. Она продолжала писать Мицкевичу, хотѣла увидѣться съ нимъ, денервировала его до того, что онъ былъ «боленъ по ея винѣ». Гарчинскій, съ которымъ Лубенская видѣлась въ это время въ Дрезденѣ, передавалъ Мицкевичу свои переговоры и совѣтовалъ хорошенько поблагодарить Бога за то, что дѣло окончилось такъ благополучно. «У нея были разныя мысли, очень странныя». Однако, несмотря на увѣренія Гарчинскаго, что теперь графиня выкинула изъ головы всѣ свои проекты, повидимому, она не оставляла Мицкевича въ покоѣ, и еще въ мартѣ 1833 г. онъ писалъ, что онъ часто бываетъ измученъ нравственно, видитъ, что его хотятъ опять запутать, но онъ рѣшилъ молчать и молчать: «ничего никогда не отвѣчать». Последнее свидѣтельство о романѣ, угнетавшемъ Мицкевича, мы находимъ въ письмѣ къ нему Гарчинскаго въ апрѣлѣ того же года. Письмо заключаетъ увѣренія, что Мицкевичу нечего казнить, что «Лубенская такая женщина, которую всякій, пишущій стихи, можетъ поворачивать, куда угодно». Какъ бы то ни было, все это приключеніе не мало отравило крови бѣдному Мицкевичу и отрывало его отъ работы надъ «Паномъ Тадеушомъ», за которую онъ, было, взялся такъ любовно.

Одинъ изъ ближайшихъ знакомыхъ поэта въ Парижѣ, уже названный выше, Богданъ Залѣскій оставилъ воспоминанія о томъ, какъ создавалась эта литовская поэма, съ сентября 1832 года до іюля 1834 года. Онъ сообщаетъ, согласно съ Грабовскимъ, который познакомился съ Мицкевичемъ въ Познани, что «Панъ Та-

деушъ» былъ задуманъ въ деревнѣ во время пребыванія Мицкевича въ княжествѣ Познанскомъ. «Тамъ онъ обдумалъ первоначальный планъ поэмы и началъ ее съ описанія шляхетскаго двора въ Польшѣ». Въ этомъ приходится сомнѣваться. Какъ правильно формулируетъ современное состояніе вопроса проф. І. Третьякъ («Mickiewicz i Domejko» въ «Bibliot. Warszawska», 1908, июль, стр. 37 — 38), «мы ничего не знаемъ о томъ, когда зародился въ головѣ Мицкевича замыселъ его шляхетской идилліи, которая потомъ превратилась въ эпопею. Это могло случиться и въ Познани, и еще раньше, въ Римѣ, подъ влияніемъ разсказовъ Ржевускаго, а можетъ быть только по дорогѣ въ Страсбургъ, когда встрѣча съ нѣмецкими эмигрантами напомнила ему картины изъ «Германа и Доротен». Но, когда бы ни возникъ замыселъ, къ выполненію его поэтъ приступилъ только по пріѣздѣ въ Парижъ въ 1832 году». Цѣннѣе то, что Залѣсскій сообщаетъ, какъ очевидецъ. Осенью 1832 г., рассказываетъ онъ, Мицкевичъ былъ такъ заваленъ иными дѣлами, печтаніемъ 3-ей части «Дѣдовъ», редакціей «Польскаго Пилигрима» и изданіемъ сочиненій Ст. Гарчинскаго, что едва успѣвалъ находить время для сочиненія и жаловался, что «его Тадеушка давятъ въ пеленкахъ». Но въ болѣе свободныя минуты отъ присаживался за свою «любимую повѣсть», какъ самъ называлъ ее, и писалъ по нѣскольку десятковъ стиховъ. «Уже въ это время Адама окружало нѣсколько человекъ соотечественниковъ, къ которымъ онъ сразу послѣ знакомства прильнулъ сердцемъ. Этотъ ближайшій кружокъ составляли Ант. Горецкій, Игн. Домейко, Богданъ Янскій, Стефанъ Запъ, я и нѣсколько позже Стефанъ Витвицкій и братъ мой Іосифъ. Мы имѣли свободный доступъ къ Адаму во всякое время дня, думалъ ли онъ, писалъ, или обѣдалъ. Мы пользовались этой привилегіей и часто злоупотребляли ею, особенно тѣмъ, что приносили съ парижскихъ мостовыхъ и съ эмигрантскихъ сеймиковъ ненужную болтовню. Великодушный и чуткій Адамъ все это прощалъ и любилъ насъ, несмотря на невыносимые недостатки и странности того или другого изъ нашего кружка. Нерѣдко вредили «любимой повѣсти» и друзья. Особенно докучалъ Адаму я своимъ политиканствомъ, слѣды чего остались въ нашей корреспонденціи. Но главной помѣхой въ писаніи являлся для него мятежный духъ, который тогда вѣялъ въ Европѣ и который и его самого захватывала иной разъ на цѣлые дни и недѣли». Эмигранты, особенно изъ болѣе

умѣренныхъ партій, и знакомые французы постоянно сходились у Мицкевича по вечерамъ. «Адамъ находился въ это время въ зенитѣ, продолжаетъ Залѣсскій, на вершинѣ своего поэтическаго творчества и въ постоянно приподнятомъ настроеніи. Въ рѣчахъ и обыкновенныхъ разговорахъ онъ сверкалъ притчами, озаряющими глубины души, сыпалъ, какъ изъ рукава, гениальными замѣчаніями, чудесными мыслями, оригинальными остротами въ оригинальной формѣ. Начиналъ говорить, кто хотѣлъ. Читали письма съ Литвы, изъ Украины, и затѣвались споры. Адамъ успокаивалъ самыхъ неугомонныхъ цитатами изъ Евангелія или изреченіями стараго ума благочестивыхъ отцовъ. Къ сожалѣнію, добрая сѣмена его заглушала политикоманія или, какъ онъ ее пазывалъ. «риторика политикъ», господствовавшая тогда среди эмигрантовъ. Адамъ, видимо, огорчался, на удивительно выразительномъ лицѣ его отражалось неудовольствіе, а можетъ быть и сожалѣніе о давно оставленной «любимой литовской повѣсти». Эти собранія прекратились сразу. Неожиданно въ Парижѣ разразилась страшная буря». Въ беспорядкахъ приняли участіе и поляки, которымъ первымъ пришлось поплатиться, когда Луи Филиппъ справился съ революціей. Поляки ходили угнетенные. Затосковалъ и Мицкевичъ. «Чтобы найти нѣкоторое успокоеніе отъ всегдашней печали и оторваться отъ дѣйствительности, Адамъ принялся съ большимъ усиленіемъ за умственную работу, которая сразу благопріятно отразилась на заброшенномъ «Палѣ Тадеушѣ». «Пилигримъ» прекратился уже съ нѣкотораго времени, приближалось къ концу и печатаніе сочиненій Гарчинскаго, поэтому онъ чувствовалъ себя болѣе свободнымъ и тѣмъ упорнѣе принялся за писаніе. Сначала дѣло подвигалось туго, но постепенно онъ разгорѣлся душой, и вскорѣ забилъ обильной струею источникъ Ипокрены. Онъ написалъ вторую и третью книги «Паня Тадеуша». (Это было уже въ маѣ 1833 г.). Читая лучшіе отрывки изъ поэмы, размѣривъ которой мы еще не знали и всего содержанія не понимали, онъ и насъ уговаривалъ взяться за трудъ, особенно за внутреннюю работу надъ самими собой. Онъ совѣтовалъ намъ оставить на нѣкоторое время реформу обществъ, пока сначала и онъ, и мы съ нимъ сами не реформируемся и не воспламенимъ въ своихъ усталыхъ сердцахъ остывающія вѣру, надежду и любовь... Около этого времени начались у Адама общія молитвы, которыя произносилъ съ особеннымъ благоговѣніемъ старшій изъ насъ, Анто-

ній Горецкій». Весной поэтъ затосковалъ по лѣсу и свѣжему воздуху и перебрался къ Домейкѣ, у котораго была комната около Люксембургскаго парка. Но тутъ и случилась бѣда, о которой уже было упомянуто раньше: пришлось заново переводить «Гяура», и это такъ опротивѣло Мицкевичу, что ему не захотѣлось больше оставаться у Домейки. На новой квартирѣ, которую нашелъ Стефанъ Занъ, поэтъ почувствовалъ себя спокойно и опять съ жаромъ взялся за «Пана Тадеуша». Теперь онъ писалъ за день въ одинъ присѣсть (*za jednym szamachem*) по 100 и 150 стиховъ, которые по вечерамъ читалъ друзьямъ. «Мы восхищались ихъ свѣжестью, красотой, яркостью и благоуханіемъ родины. Раздобрѣвши Адамъ уговаривалъ и пріятелей, которые занимались стихоплетствомъ, чтобы они приносили ему отрывочныя шляхтекія рапсодіи (*luźne rapsody szlacheckie*). Онъ хотѣлъ включить ихъ въ свою повѣсть на память объ отношеніяхъ, связывавшихъ насъ на чужбинѣ. Такимъ образомъ въ описаніи глухого бора (*matecznika*) осталось нѣсколько десятковъ стиховъ Витвицкаго, и они вставлены такъ искусно, что теперь едва ли кому удастся ихъ отличить. Начались лѣтнія жары, а поэтъ нашъ писалъ и писалъ, пользуясь тѣмъ, что на него нашло рабочее настроеніе. Теперь онъ рѣдко выходилъ изъ дому, развѣ только вечеромъ погулять или навѣстить кого-нибудь изъ друзей или парижскихъ знакомыхъ. Иногда же, когда онъ чувствовалъ себя очень утомленнымъ, онъ наѣзжалъ ко мнѣ на одинъ—два дня въ Севръ, чтобы, какъ онъ выражался, отдохнуть и поглотить свѣжаго воздуха. Я отлично зналъ о каждомъ новомъ прибавленіи къ «Пану Тадеушу»... Была уже написана четвертая книга, большая часть пятой. Друзья хотѣли, чтобы поскорѣе окончилась и вся поэма, потому что на нашихъ глазахъ Адамъ худѣлъ и сохъ отъ напряженной работы. Въ концѣ іюня, среди утомительной жизни въ Парижѣ, Адамъ получилъ печальное письмо изъ Дрездена съ извѣстіемъ, что Стефану Гарчинскому худо, и что онъ уже не спѣша ѣдетъ въ Швейцарію. Сердечный другъ больного немедленно рѣшилъ ѣхать къ нему. На слѣдующій день онъ уже былъ въ пути. Сначала мы, было, надѣялись, что Стефану станетъ лучше и что, освѣженный альпійскимъ воздухомъ, Адамъ наберется новыхъ силъ и хоть потихоньку, но будетъ въ состояніи продолжать писать «Пана Тадеуша». Домейко (у котораго онъ оставилъ рукопись четырехъ первыхъ книгъ поэмы, чтобы Занъ

переписалъ ее) часто получалъ отъ него записки (kartki). Письма эти были не слишкомъ утѣшительнаго содержанія. Стефанъ видимо гасъ, а Адамъ, измученный видомъ его страданій и бессонными ночами около больного, совсѣмъ забросилъ писать. Тогда, съ согласія пріятелей, я рѣшилъ отправиться самъ поухаживать за нашими бѣдняками, Стефаномъ, Адамомъ и «Паномъ Тадеушемъ»... Однако, Залѣсскій не зналъ точно, гдѣ находится Мицкевичъ, и долго разыскивалъ его, пока не попалъ на него случайно въ Лионѣ. «Я увидѣлъ его въ окнѣ съ бумагой въ рукахъ. Войдя въ комнату, я засталъ Адама надъ «Паномъ Тадеушемъ». Онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ вокругъ себя. Вечеромъ въ тотъ же самый день, кажется, въ послѣдній день сентября 1833 года, мы отправились въ Парижъ. Изъ дилижанса Адамъ сейчасъ же отправился на свою квартиру около Saint-Nicolas-d'Antin, которую мы наняли для него заранѣе. На слѣдующій день онъ окончателно устроился въ ней и сразу принялся за работу; вдохновеніе въ это время особенно окрыляло его. Только теперь сталъ вырисовываться «Панъ Тадеушъ» въ ясныхъ чертахъ своей эпической структуры. Великій художникъ вполне подчинилъ себѣ свое орудіе; языкъ, рѣзмы, размѣры, какъ растопленный металлъ, выливались въ огромныя формы, изъ которыхъ выходили, точно по мановенію волшебника, являясь словно изъ-подъ земли, статуя, колоколь или пушка. Мы наслаждались вмѣстѣ съ Адамомъ, поглощая эти новинки его поэтическаго генія. Читая ихъ, мы снова преображались, какъ-будто чудесно переносились въ Польшу къ братьямъ и сестрамъ: такъ все живо было въ «Панѣ Тадеушѣ», такъ все дышало родиной; мы забывали бѣды и заботы эмигрантской жизни, забывали грызущую насъ тоску о родинѣ и семьяхъ. Мы увлекались славой Адама и, вмѣстѣ съ тѣмъ, народной гордостью, что вотъ и у Польши есть своя эпопея. Адамъ торопливо шелъ къ концу, додѣлывая одновременно вставки въ прежнія книги. Никогда не исчезнуть изъ памяти друзей блаженные вечера у Адама зимой 1833 года. Мы пѣли пѣсни литовскія, бѣлорусскія, украинскія, пѣли хоромъ вмѣстѣ съ поэтомъ. Адамъ охотно рассказывалъ намъ эпизоды изъ исторіи своей молодости въ Новогрудкѣ, Вильнѣ и Ковнѣ, вызывая и насъ взаимно на откровенные рассказы, такъ что cadaго изъ насъ онъ зналъ, можно сказать, насквозь. Въ болѣе серьезныя минуты онъ охотно разсуждалъ о тайнахъ за-

гробной (zaziemski) жизни, о мірѣ духовъ и ихъ іерархіи, по ученію св. Діонисія Ареопагита; однимъ словомъ, онъ и тогда уже испытывалъ неудержимое влеченіе къ мистическимъ тонкостямъ. Въ ежедневномъ обхожденіи съ нами онъ былъ удивительно добродушенъ, мягокъ, сердеченъ, такъ что мнѣ и Витвицкому поневолѣ припоминался простодушный Казиміръ Бродзинскій; онъ умѣлъ каждому сдѣлать милѣе участь эмигранта, смягчить внутреннюю борьбу и боль, которой у насъ всегда было достаточно. Въ эту пору писанія «Пана Тадеуша» сколько-нибудь лично я былъ обязанъ Адаму! У меня въ сердцѣ была рана; онъ заживилъ ее чувствительностью брата и нѣжной лаской сестры. За слезу, которую онъ стеръ поцѣлуемъ, я до сихъ поръ благодарю его слезами, съ которыми я молю Бога за его душу. Въ половинѣ февраля 1834 г. въ сумерки, когда мы какъ-то собрались на улицѣ Saint-Nicolas и тихонько разговаривали, видя, что въ сосѣдней комнатѣ у камина хозяинъ «быстро машетъ перомъ по бумагѣ», Адамъ съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ поднялся отъ стола и закричалъ: «Слава Богу! Въ эту минуту я подписалъ подъ «Паномъ Тадеушемъ» большое *finis*». Мы радостно повторили вслѣдъ за нимъ: «Слава Богу!» и трижды прокричали *vivat*, горячо его поздравляя и обнимая. На слѣдующее утро, по старопольскому обычаю, мы отправились сначала къ обѣднѣ въ костелъ Saint-Louis-d'Antin, а послѣ обѣдни пригласили его на обѣдъ въ Palais Royal». Теперь предстояла работа надъ редакціонной отдѣлкой поэмы: въ первоначальномъ текстѣ стояли дѣйствительныя собственныя имена лицъ и мѣстностей, которыя теперь нужно было замѣнить выдуманными. Предлагалось множество названій, которыя Мицкевичъ разсматривалъ, принималъ или отвергалъ. Особенно пригодился Домейко, который, происходя изъ того же уѣзда, что и самъ поэтъ, отлично зналъ родную сторону. И самая поэма была названа сначала «Żegota» (т. е. Домейко). Мицкевичъ заклиналъ друзей, пока не поздно, указывать ему недостатки «Пана Тадеуша» и принялся читать имъ книгу за книгой, требуя съ ихъ стороны самага строгаго отношенія къ поэмѣ. Зачастую онъ зачеркивалъ стихи. Особенно досталось героинѣ поэмы, Телименѣ. Недоволенъ былъ Мицкевичъ и общимъ тономъ; по его мнѣнію, настроеніе надо было поднять повсюду на полтона выше, но теперь было уже поздно, и поэтъ надѣялся исправить этотъ недостатокъ въ другой повѣсти, въ сынѣ «Пана Тадеуша» или въ

дальнѣйшихъ частяхъ «Дѣдовъ». Однако «Панъ Тадеушъ» былъ его послѣднимъ крупнымъ произведеніемъ, по крайней мѣрѣ, на польскомъ языкѣ.

Въ разсказѣ Залѣскаго, который такъ ярко передаетъ духовную обстановку, въ которой слагался «Панъ Тадеушъ», есть несомнѣнно нѣкоторыя ошибки: анализъ трехъ редакцій описанія глухой пущи («Matecznik») привелъ изслѣдователя къ убѣжденію, что, если Мицкевичъ и включилъ въ него чужіе стихи, то можетъ идти рѣчь лишь о нѣсколькихъ строкахъ, а не о нѣсколькихъ десятковъ стиховъ. Къ сожалѣнію, Залѣскій ничего не сообщаетъ о первоначальномъ замыслѣ поэмы и его дальнѣйшихъ видоизмѣненіяхъ, а между тѣмъ эта перемѣна, основная, какъ доказываетъ издатель «Пана Тадеуша», проф. Р. Пилать, произошла на глазахъ у ближайшихъ друзей поэта, послѣ третьей пѣсни. Именно, изслѣдованіе сохранившихся рукописей поэмы позволило проф. Пилату дать очень убѣдительный анализъ того процесса, который произошелъ въ творествѣ Мицкевича во время работы надъ «Паномъ Тадеушемъ». Въ дальнѣйшемъ изложеніи я и послѣдую за нимъ. Въ своемъ первомъ сообщеніи о поэмѣ въ письмѣ къ Одыщу Мицкевичъ имѣетъ въ виду нѣчто идиллическое, въ родѣ «Германа и Доротси» Гёте, и въ эту пору называетъ свою поэму деревенской, сельской, шляхетской. Такъ онъ выражается еще въ апрѣлѣ 1833 года, когда кончаетъ 3-ю пѣснь «Пана Тадеуша», а ужъ въ началѣ мая недоумѣваетъ: «дѣло начинается принимать длинный оборотъ» (*zanosi się na długą chrugę*). Съ этого времени исчезаютъ названія: «деревенская», «сельская» поэма. Авторъ уже другими глазами смотритъ на свое произведеніе. Сравнивая сохранившіяся первоначальныя рукописи первыхъ книгъ съ печатнымъ текстомъ, проф. Пилать констатируетъ, что всѣ большіе или меньшіе эпизоды, заключающіе въ себѣ какія-нибудь подробности или общія замѣчанія историческаго и политическаго характера, вставлены или въ позднѣйшую, или даже въ послѣднюю редакцію поэмы, когда послѣ перемѣны плана нужно было уже готовыя начальныя пѣсни подогнать къ характеру послѣдующихъ. Въ первыхъ наброскахъ нѣтъ и слѣда историческаго фундамента и связанныхъ съ нимъ историческихъ и политическихъ элементовъ. И даже послѣ всѣхъ вставокъ и измѣненій первоначальный характеръ первыхъ книгъ остался, въ сущности, все тотъ же: это все еще «деревенская» поэма, кар-

тинки изъ жизни помѣщичьей усадьбы, прогулка по лѣсу, ужинъ, на которомъ спорятъ охотники, охота на зайцевъ, собираніе грибовъ, воспоминанія шляхты о былыхъ временахъ... Уже въ первоосновѣ поэмы лежалъ главный мотивъ ея, споръ между двумя претендентами изъ-за замка. Къ нему примыкалъ и другой мотивъ, сохранившійся въ дальнѣйшемъ развитіи поэмы, бракъ между двумя домами, враждующими изъ-за замка, между Тадеушомъ и Зосей. Чтобы запутать отношенія между ними и не такъ скоро закончить поэму свадьбой, уже въ первоначальномъ планѣ выступила Телимена, которой принадлежала здѣсь менѣе значительная роль, чѣмъ въ позднѣйшей обработкѣ этого плана.

Вопросъ о томъ, принадлежалъ ли уже къ первоначальному замыслу поэмы мотивъ исконной вражды между двумя шляхетскими родами, которые здѣсь были названы «Soplica» и «Orzeszko», разрѣшается Пилатомъ въ утвердительномъ смыслѣ, такъ какъ рассказъ стараго слуги, Гервазія, объ этой распрѣ долженъ былъ находиться уже въ первоначальной рукописи II пѣсни. Точно такъ же, по мнѣнію этого знатока мицкевичевскихъ рукописей, уже въ первоначальномъ планѣ рядомъ съ Тадеушемъ, а, можетъ быть, и выше его, какъ центральная фигура поэмы, долженъ былъ стоять «шляхтичъ». И самая поэма носила названіе «Жегота», и къ этому названію относилось замѣчаніе поэта въ письмѣ, написанномъ въ апрѣлѣ 1833 г. послѣ окончанія первыхъ двухъ книгъ: «Возвращаюсь къ шляхтичу». А этимъ послѣднимъ могъ быть только отецъ Тадеуша, которому принадлежитъ такая видная роль въ поэмѣ, монахъ-бернардинъ Робахъ. Пограничныя распри между шляхетскими родами были очень обычнымъ дѣломъ въ старой Польшѣ, и Мицкевичи вели въ свое время длинный процессъ съ Соплицами. Въ судебныхъ актахъ этого процесса, говоритъ внукъ Мицкевича, Горецкій («Крај» 1892), можно было бы найти интересныя указанія на исторію возникновенія «Пана Тадеуша». Есть ли въ исторіи шляхтича, сватавагося къ дочери знатнаго стольника, получившаго отказъ и отомстившаго ему, а потомъ принявшаго ради покаянія монашество, — есть ли въ исторіи ксендза Робака черты субъективныя, принадлежавшія самому Мицкевичу и относившіяся къ исторіи его знакомства съ Анквичами, — это вопросъ, для разрѣшенія котораго въ утвердительномъ смыслѣ, по моему мнѣнію, у насъ слишкомъ мало матеріала. Надо припомнить, во всякомъ случаѣ, что и въ Пари-

жѣ, въ годы писанія поэмы, у Мицкевича не исчезло чувство обиды на Анквицей: несмотря на усиленные просьбы Генриетты и ея матери отвѣтить на ихъ письма, Мицкевичъ молчалъ. Съ другой же стороны, обстановка старошляхетской жизни была такъ далека отъ переживаній поэта въ Римѣ, что развѣ отдаленные отголоски оскорбленнаго чувства его могли найти себѣ мѣсто въ «Панѣ Тадеушѣ», и я не думаю, чтобы въ самомъ настроеніи первоначальнаго плана могла отразиться эта субъективная струна: вѣдь Мицкевичу не въ чемъ было каяться, передъ Анквичами онъ не былъ ни въ чемъ повиненъ, а покаяніе за убійство надменнаго стольника составляетъ исходный пунктъ въ исторіи Робака. Какъ бы то ни было, никакой политической окраски первоначальный замыселъ не имѣлъ; трагическій моментъ, тѣсно связанный съ политическими отношеніями (вмѣшательство русскихъ войскъ и все дальнѣйшее), здѣсь отсутствовалъ. Вражда родовъ прекращалась свадьбой. Въ такомъ видѣ, какъ я полагаю, поэма не могла быть такъ коротка, какъ предполагалъ проф. Пилать («Szczerzyłch rozmiarów poemat»), но могла быть дѣйствительно названа идилліей. Впрочемъ, несомнѣнно, планъ ея рисовался Мицкевичу сначала лишь въ самыхъ общихъ чертахъ.

Послѣ окончанія второй пѣсни Мицкевичъ долженъ былъ на три мѣсяца прекратить работу надъ своей поэмой, занявшись новымъ переводомъ «шелмы и надобника Гяура» и политическими статьями для «Пилигрима». Когда онъ опять принялся за «Пана Тадеуша», передъ нимъ сталъ контрастъ между той тихой жизнью, которую онъ рисуетъ здѣсь, и политическими бурями, громадными историческими событіями, которыя развертывались въ это время въ Европѣ. И вотъ въ концѣ III пѣсни появляется сопоставленіе, которое переноситъ интересы читателей въ другую жизнь. Потому оно было перенесено въ первую пѣсню, когда, вообще, измѣнился и окрасился въ политическіе цвѣта планъ поэмы. Но эта картина грандіозныхъ европейскихъ событій была такъ значительна, что на сторонѣ ея поэма должна была получить значеніе не скромной идилліи изъ жизни старосвѣтскихъ помѣщиковъ, но большой народной эпопеи. Въ первой редакціи проф. Пилать (въ статьѣ о рукописяхъ трехъ первыхъ книгъ «Пана Тадеуша» (Pamięt. V, 135—136) нашелъ указанія на то что, дѣйствіе ея должно было происходить въ 1813 или 1814 г., а въ это

время Литва стояла уже въ сторонѣ отъ европейскихъ войскъ. Поэтому заключеніе третьей пѣсни заставляло автора въ послѣдующей обработкѣ поэмы перенести арену европейскихъ событій въ Литву, а такой ареной Литва была лишь въ 1812 году. Съ того момента, какъ совершилось это перенесеніе, и вся поэма должна была получить новый характеръ, и таинственный ксендзь Робаць, который прежде укрывался лишь потому, что онъ слишкомъ близокъ къ Тадеушу и окружающимъ и былъ бы ими узнавъ, если бы снялъ свой «каптуръ», теперь становится носителемъ политической тайны, эмиссаромъ польскихъ легионовъ, сражающихся за дѣло Наполеона. Впрочемъ, Мицкевичу все еще казалось, что его поэма не разрастется, и, закончивъ 4-ю пѣсню, онъ сообщалъ Одынцу (въ іюль 1833 г.), что уже $\frac{3}{4}$ поэмы готовы. Потомъ опять наступилъ перерывъ въ писаніи, о которомъ рассказываетъ Залѣсскій. Это былъ отъѣздъ въ Швейцарію, къ больному Гарчинскому, уходъ за нимъ, переѣзды и смерть больного поэта, — эпизодъ, который съ такой умиленной простотой рисуетъ душевную высоту Мицкевича. Послѣ возвращенія его въ Парижъ мы уже не слышимъ о скоромъ окончаніи поэмы. Напротивъ, въ ноябрѣ 1833 года Мицкевичъ считаетъ, что 6-я пѣсня это только половина всего, что до конца поэмы еще очень далеко. Перемѣнился и характеръ всей поэмы. «Мы вступаемъ какъ-будто бы въ другой міръ, говоритъ Пилать, и движемся уже совершенно по другой почвѣ. Почти сразу измѣняется вся декорація... Передъ нашими глазами раскрывается широкая картина отношеній народа, его нравовъ, общественной и политической жизни... Становится иной и атмосфера поэмы». И всѣ эти перемѣны стоятъ въ связи съ основнымъ мотивомъ, который выдвинулся теперь, мотивомъ т. наз. «заѣзда», захвата вооруженной силой спорнаго имѣнія.

Прежде чѣмъ приступить къ анализу художественнаго и историческаго значенія «Пана Тадеуша», необходимо разсмотрѣть его содержаніе. Къ сожалѣнію, русскій переводъ Минаева далеко не передаетъ духа поэмы, начиная съ разиѣра и именъ. Поэтому и здѣсь я буду вынужденъ прибѣгать къ прозаическому переводу. Вступленіе рисуетъ настроеніе Мицкевича, которое заставило его перенестись въ Литву. Съ этимъ настроеніемъ мы знакомы и по отчету Залѣскаго, который, однако, не раскрываетъ того глубокаго отвращенія поэта къ эмигрантской суетнѣ, какая охватила его теперь. Удивительное дѣло: прежніе пилигримы, чуть не

святые носители будущей Польши, оказываются теперь просто «бѣглецами», прежніе планы пустой болтовней. «О чемъ тутъ думать на парижской мостовой?» спрашиваетъ Мицкевичъ. «Возвращаясь домой, приносишь полныя уши скуки, проклятій и лжи, несвоевременныхъ плановъ, слишкомъ позднихъ сожалѣній, сваръ и взаимныхъ упрековъ. Горе намъ, бѣглецы, что въ часъ моровой язвы мы унесли за границу свои робкія головы! Куда мы ни ступали, передъ нами шла тревога, въ каждомъ сосѣдѣ мы находили врага, и наконецъ, насъ окружили тѣснымъ кольцомъ цѣпей и велеть намъ поскорѣе испустить дыханіе. А на наши жалобы свѣтъ не обращаетъ вниманія, такъ какъ каждую минуту его пугаютъ и изумляютъ новости, которыя несутся изъ Польши, какъ звонъ кладбищенскихъ колоколовъ»... Это тѣ же тоны, что въ «Книгахъ польскаго пилигримства», то же отвращеніе къ мѣщанству на французскомъ престолѣ и во главѣ власти, изъ котораго Мицкевичъ находилъ выходъ только въ возвращеніи Наполеоновъ. «Не удивительно, что людямъ опостылѣетъ жизнь и что, потерявъ разумъ отъ долгихъ мукъ, они плюютъ на себя и пожираютъ другъ друга». Поэтъ переходитъ къ своимъ замысламъ. «Какъ птица, не залетающая высоко, я хотѣлъ миновать полосу ливня и громовъ, искать только тѣнь и ясное небо: время дѣтства, домашній уютъ... Одна была радость: усѣвшись въ сумерки съ нѣсколькими друзьями передъ каминомъ, закрыть двери, чтобы не доносился шумъ Европы, и унести въ душю въ болѣе счастливыя времена, думать и мечтать о своей сторонѣ. Но отъ крови, которая лилась недавно, о тѣхъ слезахъ, въ которыхъ утопаетъ вся Польша, о славѣ, которая еще не отзвучала, думать объ этомъ мы не имѣли отваги!.. Ибо такія пытки терпитъ народъ, что даже отвага, бросивъ взоръ на его муки, въ отчаяніи ломаетъ руки». Тѣ же томительныя жалобы и дальше. «Теперь для насъ, непрощенныхъ гостей въ мірѣ, во всемъ прошломъ и во всемъ будущемъ, есть только одна сторона, гдѣ еще есть немного счастья для поляка: это край дѣтскихъ лѣтъ! Онъ всегда останется, святой и чистый, какъ первая любовь, не смущенный воспоминаніями о заблужденіяхъ, не подкопанный обманчивостью надежды, не измѣненный потокомъ событій». Прекраснымъ обращеніемъ къ этому «краю, счастливому, убогому и тѣсному», къ друзьямъ, которые помогали въ работѣ, и «въ пѣсню кидали слово за словомъ», мечтой, что когда-нибудь «крестьянки возъ-

мутъ въ руки эти книги, простыя, какъ ихъ пѣсенки», заканчивается предисловіе.

Излагать содержаніе «Папа Тадеуша» по пѣснямъ—трудная и неблагодарная задача. Разсказъ такъ богатъ отдѣльными тонкими замѣчаніями, подробностями, описаніями, что, если ихъ откинуть при пересказѣ содержанія, останется безжизненный скелетъ, а изложить все подробно въ рамкахъ настоящаго изслѣдованія невозможно. Въдѣ труды, посвященные «Пану Тадеушу», книги Гостомскаго, Бигелейзена и др., представляютъ цѣлые томы. Фабула романа заключается въ слѣдующемъ.

Между двумя шляхетскими родами, Соплицами и Хорешками (Hogeszko изъ Horzeszko, первоначально въ рукописи *Orzeszko*) давнишняя рознь. Послѣдняго изъ Хорешковъ, гордаго и важнаго Стольника, убилъ измѣнническимъ образомъ, изъ-за угла, во время нападенія на его усадьбу русскихъ войскъ, Яковъ Соплица. Онъ былъ влюбленъ въ его дочь Еву, и съ ея стороны видѣлъ взаимность, но Стольникъ не хотѣлъ отдать свою дочь за небогатаго шляхтича. Опозоривъ себя этимъ вѣроломнымъ убійствомъ, Яковъ Соплица рѣшилъ принести себя въ жертву родинѣ, чтобы смыть лежащее на его родѣ пятно. Онъ оставилъ своего маленькаго сына отъ перваго брака, Тадеуша, брату судѣ, а самъ скрылся неизвѣстно куда. Принявъ монашество въ орденѣ бернардиновъ, Яковъ сталъ неутомимымъ борцомъ за свободу польскаго народа. Онъ подвергался заключенію въ Пруссіи и въ Австріи, былъ въ Сибири, но бѣжалъ отовсюду, а теперь, укрывшись подъ капюшономъ бернардиновъ, сдѣлался посредникомъ между войсками Наполеона и населеніемъ Литвы. И вотъ представители ея вмѣсто того, чтобы вести общее дѣло, предаются праздности и мелкимъ сварамъ. Гаснутъ въ бездѣйствіи старыя шляхетскія доблести, вмѣсто войнъ охота на зайцевъ, а барышни охотятся на жениховъ. И наконецъ дѣло доходить до крайней нелѣпости. Хорешковъ уже нѣтъ; послѣдняя представительница ихъ, дочь Евы, Зося, воспитывается у сестры судьи Соплицы, Телимены; и наслѣднику Стольника по женской линіи. Графу нѣтъ, въ сущности, никакого дѣла до спорнаго владѣнія замка. И все кончилось бы хорошо и спокойно, если бы не вмѣшательство стараго фанатика этой вражды, слуги убитаго Стольника, Гервазія. Онъ не можетъ допустить до такого позора, чтобы родовой замокъ Хорешковъ перешелъ къ ненавистнымъ

Соплицамъ. Графъ, молодой романтикъ, поддается нашептываніямъ старика, увлекается красивой ролью и выступаетъ защитникомъ старыхъ претензій Хорешковъ. А Гервазіи помнитъ то старое доброе время, когда пограничные споры рѣшались просто, т.-наз. «заѣздами» (zajazd). Соберется шляхта у одного претендента на спорныя владѣнія и отправляется къ сосѣду завоевывать его землю, а тотъ въ свою очередь собираетъ своихъ сторонниковъ. Происходитъ битва, которая веселитъ буйный шляхетскій нравъ. Иногда у нея есть видимость правосудія; судъ постановилъ дѣло въ пользу нападающаго и только предоставилъ ему самому отстоять свое право. Иногда же «заѣзды» происходили просто такъ, оттого, что люди отчаялись дожидаться праведнаго и выгоднаго приговора. Теперь, въ 1812 году, «заѣздъ» былъ совсѣмъ не въ пору и закончился тѣмъ, что побѣдителей, побѣдившихъ Соплицу и напившихся его виномъ, перевязали русскіе солдаты подъ начальствомъ майора Плута, родомъ изъ поляковъ-ренегатовъ. Однако побѣдители съ побѣжденными примирились и, соединившись, принялись за русскихъ же солдатъ. Произошла настоящая битва, послѣ которой главнымъ участникамъ ея оставалось только уходить изъ Литвы и идти къ Наполеону. Среди нихъ былъ и молодой Тадеушъ, виленскій студентъ, пріѣхавшій на каникулы домой. Его приключенія составляютъ содержаніе тѣхъ книгъ, въ которыхъ политическая жизнь страны отступаетъ на задній планъ. Тадеушъ, едва успѣлъ пріѣхать къ дядѣ въ Соплицово, какъ влюбился. Влюбился онъ со всѣмъ пыломъ молодости въ неизвѣстную ему обладательницу бѣлаго платья, которое онъ нашелъ развѣшеннымъ въ его прежней комнатѣ, куда зашелъ послѣ пріѣзда въ пустую усадьбу. Это было платье Зоси, но Тадеушъ не разобралъ хорошо проскользнувшаго передъ нимъ женскаго образа, и запутался въ сѣтяхъ опытной кокетки, петербургской львицы Телимены, уже не молодой барышни, которая была въ томъ возрастѣ, когда наступаетъ критическій моментъ—жениться или остаться въ старыхъ дѣвахъ. Телимена не мало пожила и не отличалась особенной прюдостью, но теперь она рѣшила, что ей пора жениться. Дѣло было только за женихомъ. Панъ Тадеушъ заинтересовалъ Телимену и показался ей достойнымъ ея руки. Нѣсколько тонкихъ и скромныхъ замѣчаній автора позволяютъ намъ догадываться, что въ своемъ кокетствѣ Телимена не щадила средствъ и зашла слишкомъ далеко. Та-

деушъ подчинился страсти, но опомнился, увидѣвъ, что Телимена красится, и она стала ему противна. Только тогда онъ понялъ, что влюбленъ не въ нее, а въ тотъ нѣжный дѣвичій образъ, который промелькнулъ передъ нимъ нѣсколько дней тому назадъ. Это была Зося. Мицкевичъ отрицалъ, что въ Телименѣ онъ воплотилъ кого-нибудь изъ извѣстныхъ ему живыхъ людей. Друзья догадывались, что это гр. Лубенская. Можетъ быть поэтъ не такъ энергично спорилъ бы, если бы они предположили, что въ образѣ Телимены сохранилась Ковальская, когда-то плѣнившая его, едва не оторвавшая отъ Марыли. Тадеушъ встрѣтилъ въ Зосѣ робкій и нѣжный отвѣтъ еще неопытнаго сердца. Передъ лицомъ Якова Соплицы, раненаго въ происшедшей на дворѣ битвѣ и открывшаго лишь теперь, передъ смертью, свое инкогнито, соединились два враждовавшіе рода, примирились Хорешки и Соплицы. Но Тадеушъ считаетъ себя недостойнымъ любви Зоси. Онъ хочетъ заслужить право быть ея мужемъ и уѣзжаетъ за Нѣманъ. Въ послѣдней пѣснѣ онъ опять дома, но вмѣстѣ съ польскими вождями, явившимися въ Литву съ войсками Наполеона. Такова канва поэмы.

На этой канвѣ вышитъ сложный и многоцвѣтный узоръ поэмы. Ея дѣйствіе перенесено въ Литву, и съ картинъ природы будетъ самымъ правильнымъ начать ея анализъ. Тоска по Литвѣ, о которой поэтъ говоритъ въ первыхъ строкахъ своего произведенія, заставила его съ умиленіемъ вернуться душой къ ея природѣ. Въ ноябрѣ 1830 года онъ писалъ Малевскому о тѣхъ чувствахъ, которыя охватили его среди горныхъ равнинъ Швейцаріи: «Ты не можешь себя представить, съ какимъ наслажденіемъ, чуть не слезами я привѣтствовалъ въ горныхъ степяхъ съверную растительность, зеленую траву и елки». Особенно горячо Мицкевичъ любилъ и въ Литвѣ именно *нѣкоторыя* мѣста, нѣкоторые людей; остальное, какъ онъ полагалъ, онъ любилъ только «христіанской и гражданской любовью, какъ родной край». Такъ писалъ поэтъ въ 1830 году. Позже, однако, когда возвращеніе на родину стало для него уже дѣломъ невысказаннымъ, когда въ Парижѣ онъ тосковалъ уже по всей Литвѣ, онъ расширилъ свое чувство, и литовскіе боры, долины, грозы, вечера и полдни стали для него самыми красивыми на всемъ свѣтѣ. И тогда, конечно, передъ любовью художника отступили на задній планъ чувства христіанской и гражданской любви къ родинѣ. Однако при описа-

ни ихъ встали естественнымъ образомъ тѣ впечатлѣнія, которыя особенно глубоко залегли въ памяти. Это были картины природы Новогрудскаго уѣзда, въ которомъ вообще разыгрывается дѣйствіе поэмы. «Нѣманъ является здѣсь границею во всей поэмѣ: отсюда ѣдутъ по разнымъ дѣламъ въ Кенигсбергъ, Данцигъ, Познань, Ченстохово и т. д. Судья вспоминаетъ о своихъ «далекихъ путешествіяхъ» въ Петроковъ, Дубно и Варшаву. Тадеушъ учится въ Вильнѣ; Тадеушъ Рейтанъ владѣетъ усадьбой въ Ляховичахъ, охотится въ налибокскихъ лѣсахъ; даже архитекторъ, vulgo мастеръ хорешковскаго замка, происходитъ родомъ изъ Вильны. Отецъ подкоморія живетъ неподалеку, въ Ошмянскомъ уѣздѣ; въ поямилѣ отъ Новогрудка, около лѣса, находится корчма Зубково, гдѣ кс. Робакъ угощалъ ченстоховскимъ табакомъ шляхту» (*U. Biegeleisen* «Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza 1884 съ ссылкой на книгу *E. Pawłowicz. Wspomnienia z Nadwili i Niemna*). Названный авторъ «Воспоминаній», Павловичъ, перечисляетъ деревни и поселки, около которыхъ вращается рассказъ Мицкевича, вспоминаетъ о дорогѣ въ Ворончу и Тугановичи. «Съ Тугановичъ до Дворца, рассказываетъ онъ, дорога идетъ по мѣстности, усѣянной усадьбами и помѣстьями сосѣдней шляхты. Это Соплицы, Горбатовичи (упомянуты въ «Панѣ Тадеушѣ», какъ и воронецкіе лѣса), которые раскинулись живописными группами, точно просясь на картину, среди рощъ, холмовъ и долинъ. Именно эту мѣстность, которая была ему лучше всего знакома, Мицкевичъ принялъ за фонъ для своей поэмы, потому что еще во времена воеводъ, когда Воронча была резиденціей послѣдняго воеводы Несѣловскаго, эта часть была наиболѣе густо заселена шляхтой». Самъ Бигелейзенъ приводитъ нѣсколько типичныхъ описаній мѣстностей изъ разныхъ сочиненій литовскихъ писателей. Эти описанія доказываютъ, что пейзажъ Новогрудскаго уѣзда былъ именно типичнымъ пейзажемъ бассейна Нѣмана. Гдѣ-нибудь около Ковна, Россіенъ, Шавель открывалась совершенно та же картина, что и около Новогрудка.

То, что представляетъ большую прелесть литовскаго пейзажа, заключается въ его свѣжести и разнообразіи: высокіе холмы, покрытые темно-зеленымъ ковромъ густой растительности, узенькія быстрыя рѣчки въ высокихъ берегахъ, иногда широкія рав-

нины, луга и нивы съ высокими хлѣбами, и небо такое непо- стоянное: то мимолетная бурная гроза, то безоблачный зной, рѣдко долгіе дни сѣраго, дождливаго ненастья. По такой при- родѣ стоскуешься среди однообразія южной красоты. «У насъ достаточно поднять голову, и сколько видовъ увидишь! Сколько сценъ и картинъ открываетъ одна игра облаковъ», восклицаетъ Тадеушъ. Этимъ разнообразіемъ литовской природы Мицкевичъ пользуется широко для того, чтобы обогатить свою поэму мно- жествомъ описаній. Одно и то же явленіе онъ описываетъ не- рѣдко по нѣсколько разъ, не впадая въ повтореніе. Между кри- тиками «Пана Тадеуша» шелъ довольно схоластическій споръ, объективны или субъективны эти описанія, и наконецъ В. Го- стомскій заявилъ, что «Мицкевичъ не отражаетъ природы идеали- стично, ибо идеализмъ есть проявленіе субъективизма, но не отражаетъ ея также матеріалистично, ибо не трактуетъ ея, какъ чуждый ему мертвый предметъ, но разсматриваетъ ее, какъ жи- вущую въ своей собственной жизни сущность. Другими словами, природа, изображенная въ «Панѣ Тадеушѣ», не есть ни чистый духъ, ни бездушная матерія, но и то, и другое вмѣстѣ: она проявляется въ полнотѣ реальной жизни, съ душою и тѣломъ,—и въ этомъ заключается реальная правда образованія (obrazo- wania) у нашего поэта». Вѣроятно критикъ имѣлъ въ виду именно то разнообразіе описаній, которое составляетъ одну изъ прелестей поэмы.

Восходъ и заходъ солнца описаны нѣсколько разъ. Картины иногда соотвѣтствуютъ тому настроенію, которое передаетъ эпи- ческій рассказъ о событіяхъ. Въ 9-й пѣснѣ повѣствуется о томъ, какъ завоеватели Соплицова, графъ со своей дружиной, спали крѣпкимъ сномъ побѣды, дружина же вся перепилась. А въ это время русскіе солдаты всѣхъ ихъ перевязали, пока и сами не попали впросакъ. Произошло настоящее сраженіе, которое опи- сано съ гомеровской полнотой и обстоятельностью, съ юморомъ, котораго нѣтъ у Гомера. Когда шляхта-воители лежали связанные на дворѣ, еще до битвы съ русскимъ отрядомъ, всходило солнце. «Вотъ уже восходить и солнце, красяѣтъ кровавымъ блескомъ. На половину оно видно тупымъ краемъ, у котораго лучи точно ободраны, на половину прячется въ чернотѣ тучъ, точно под- кова, разожженная докрасна на угольяхъ кузнеца. Вѣтеръ уси- ливался и гналъ съ востока облака, густыя и разорванныя, точ-

по глыбы льда; и мимоходомъ каждое облако сѣяло холоднымъ дождемъ, а за нимъ сзади летѣль вѣтеръ и снова сушилъ дождь, а за вѣтромъ опять налетало влажное облако; и такъ день попеременно былъ холодный и мокрый». Въ слѣдующей пѣснѣ Яцекъ Соплица передъ смертью раскрываетъ свое инкогнито и рассказываетъ тяжелую исторію своей борьбы за благо родины, исторію, которая примиряетъ съ нимъ даже его лютаго врага Гервазія. Въ это время «ночь уже кончалась, и по небу — молочно-бѣлому и розоватому (niebo mleczne różowe) пробѣгали первые солнечные лучи; вотъ они проникли сквозь стекла, точно брилліантовые стрѣлы, и упали на постель у головы больного, въ золото убравъ его лицо и чело, такъ что онъ сіялъ, какъ святой, въ огненномъ вѣнцѣ». Этимъ описаніемъ заканчивается и самая пѣсня. А въ слѣдующей, посвященной 1812 году, когда появленіе Наполеоновскихъ войскъ какъ бы возвѣщало зарю новой жизни этому краю, мы находимъ тщательно отдѣланное описаніе первыхъ минутъ разсвѣта. «Послѣднія жемчужины звѣздъ уже померкли и погасли на днѣ небесъ, и небеса блѣднѣютъ серединою чела (i niebo środkiem czoła bladnie). Правымъ вискомъ возлегши на изголовьѣ тѣни, оно (чело небесъ) еще сумрачно, а лѣвый високъ становится все румянѣе, а дальше горизонтъ раскрывается, какъ широкое вѣко, и въ серединѣ его виднѣется бѣлокъ глаза, видна радуга, зарница; уже брызнулъ лучъ, выгнувшись на выпуклыхъ небесахъ, онъ сверкнулъ и повисъ, какъ золотое копье, въ бѣлой тучкѣ. Въ отвѣтъ на этотъ выстрѣлъ, на лозунгъ дня, вылетаетъ цѣлый пукъ огней, тысяча ракетъ скрещивается на окружности міра. А око солнца взошло. Еще нѣсколько сонное, оно жмурится, съ дрожью встряхиваетъ своими лучистыми рѣсницами, сверкаетъ сразу семью цвѣтами: сапфировое и въ то же время кроваво-красное, какъ рубинъ, и желтое, какъ топазъ. Потомъ разгорѣлось, стало прозрачно, какъ кристаллъ, потомъ ярко, какъ брилліантъ, и наконецъ сдѣлалось огненное, большое, какъ мѣсяцъ, какъ мигающія звѣзды. Такъ по безконечному небу плодинокое солнце». Это описаніе достойно того, чтобы стать классическимъ подтвержденіемъ ученія Лессинга о словесномъ описаніи.

Если при блескѣ дня мы руководимся зрѣніемъ, то во мракѣ мы познаемъ окружающій міръ при помощи слуха и осязанія.

Соотвѣтственно съ этимъ должны быть выбраны краски въ описаніи ночи. И здѣсь Мицкевичъ опять прибѣгаетъ къ генетической формѣ описанія. Онъ рассказываетъ, какъ постепенно на землю спускается ночь: «Послѣ ужина судья и гости его выходятъ на крыльцо насладиться вечеромъ. Они усаживаются на завалинкахъ, устланныхъ травой. Все общество въ серьезномъ и тихомъ настроеніи поглядываетъ на небо, которое, казалось, становилось ниже, уже и все больше приближалось къ землѣ, пока, не скрывшись подъ темной заслоной, какъ влюбленные, земля и небо начали таинственный разговоръ, открывая свои чувства въ затаенныхъ вздохахъ, шопотѣ, полунедосказанныхъ словахъ, изъ которыхъ складывается дивная музыка вечера. Началъ ее филинъ, стеная подъ крышей усадьбы; зашептали легкими крыльями летучія мыши, летятъ къ дому, гдѣ блестятъ стекла оконъ, лица людей; а еще ближе вьются роемъ сестры летучихъ мышей, мошки, привлеченныя бѣлыми платьями женщинъ. Особенно онѣ надоѣдаютъ Зосѣ, лѣзутъ въ лицо и свѣтлые глазки, которые онѣ принимаютъ за двѣ свѣчки. А въ воздухъ собирается большой хороводъ комаровъ, онъ вращается, играя, какъ гармоника (gtajas, jako harmoniki sfera); среди тысячи звуковъ ухо Зоси различаетъ аккорды мошекъ и фальшивые полутоны комаровъ. Въ полѣ вечерній концертъ только что начинается, и музыканты какъ разъ кончаютъ настраивать свои инструменты. Уже три раза пискнулъ дергачъ, первая скрипка луговъ; уже издалика отзывается ему изъ болотъ вторая скрипка; выпь и бекасы, вырвавшись вверхъ, уже вьются на высотѣ и точно бьютъ въ маленькіе бубны, издавая отрывистый періодическій крикъ. И, какъ финаль жужжанія мошекъ и писка птицъ, двойнымъ хоромъ отозвались два пруда. Такъ въ кавказскихъ горахъ есть заклятыя озера, которыя безмолвны цѣлый день, а ночью полны звуковъ (gtajase). Одинъ прудъ имѣлъ глубокое дно и песчаный берегъ; изъ глубины своей голубой груди онъ издалъ звукъ тихій и торжественный, другой прудъ, съ болотистымъ дномъ и мутной глоткой (gardzielem metnym), отвѣтилъ ему скорбно-страстнымъ крикомъ. Въ обоихъ пѣли безчисленныя орды лягушекъ, оба хора были настроены на два большіе аккорда. Одинъ загремѣлъ фортиссимо, другой началъ тихую мелодію, кажется, что тотъ проклиняетъ, а этотъ только вздыхаетъ. Такъ два пруда говорили другъ съ другомъ черезъ

поля, какъ двѣ арфы Эолы, звеняція попеременно. Мракъ сгу- щался. Только въ рощѣ и около рѣчки въ лозахъ сверкали, какъ свѣчки, волчьи глаза, а дальше, у стѣсненныхъ границъ кругозора, тамъ и сямъ мерцали костры пастуховъ. Наконецъ засвѣтилъ свой серебряный факелъ мѣсяцъ, вышелъ изъ бора и освѣтилъ небо и землю. А они теперь, полураскрывшись въ потемкахъ; дремали другъ около друга, какъ счастливые супруги; небо чистыми объятіями охватило грудь земли, которая свѣтилась, посереб- ренная луной. Вотъ сверкнула напротивъ мѣсяца одна, другая звѣзда; вотъ ихъ жмурится уже тысяча, уже миллионъ. Ка- сторъ съ братомъ Поллуксомъ, которыхъ славяне называли ког- да-то Лель и Полель, сіяли на небѣ. Теперь въ простонародномъ зодіакѣ имъ дали опять другія имена: одинъ называется Лит- вой, а другой Короной (Польшей). Дальше блистаютъ двѣ ча- ши небесныхъ вѣсовъ: на нихъ, какъ рассказываютъ старики, въ дни мірозданія Богъ взвѣшивалъ поочереды всѣ планеты и землю, раньше чѣмъ въ безднахъ воздуха водворилъ ихъ тяж- кое бремя. Потомъ онъ повѣсилъ на небѣ и самые золотые вѣ- сы; отъ нихъ и люди взяли въ образецъ свои вѣсы и чаши вѣсовъ. На сѣверѣ горитъ кругъ звѣзднаго сита, черезъ которое Богъ, какъ говорятъ, просѣялъ зерна пшеницы, когда съ неба кидаль ихъ для праотца Адама, лишеннаго за грѣхи рай- скихъ наслажденій. Немного выше повозка Давида, пригото- вленная къ отъѣзду; длиннымъ дышломъ она поворочена къ по- лярной звѣздѣ. Старые литовцы знаютъ, что несправедливо этотъ рыдванъ называютъ несвѣдущіе люди Давыдовымъ, когда на самомъ дѣлѣ это повозка ангельская. Именно на ней во время оно ѣхалъ Люциферъ, когда вызвалъ Бога на борьбу. По млечной дорогѣ онъ мчался во весь опоръ къ небеснымъ вратамъ, но Михаилъ сбиль его съ воза, а повозку сбросилъ съ дороги. Те- перь, поврежденная, она валяется между звѣздами, а Архангелъ Михаилъ не позволяетъ ея исправить. И еще извѣстно старымъ литовцамъ (а извѣстіе это они заимствовали, должно быть, у равви- новъ), что этотъ зодіачный Змѣй, длинный и толстый, который дѣ- лаетъ на небѣ звѣздочные изгибы, котораго астрономы ошибочно называютъ Змѣй, есть вовсе не змѣя, но рыба и называется Ле- виаоанъ. Когда-то онъ жилъ въ моряхъ, но послѣ потопа сдохъ отъ недостатка воды, и вотъ на стропилахъ неба ангелы повѣсили не то изъ любопытства, не то на память, его мертвые останки.

Такъ въ костелѣ Мирскій плебанъ повѣсилъ выкопанныя ребра и позвонки гигантовъ». Таково это художественное описаніе, исполненное удивительной близости къ пониманію народа. Простодушный тонъ его гармонируетъ съ настроеніемъ бѣлорускаго простонародья, съ сердечными бесѣдами старозавѣтныхъ шляхтичей, которые, усѣвшись на завалинкахъ, любятъ ночью.

Неисчерпаемо богатъ «Панъ Тадеушъ» описаніями природы и быта дорогихъ поэту мѣстностей Литвы. Но особенно хороши описанія лѣсовъ. Мицкевичъ много работалъ надъ созданіемъ своего «Matecznik»'а, надъ описаніемъ той глубины лѣсовъ, куда уходить, какъ на родину свою, умирать звѣри. Слѣдуетъ также указать на удивительныя описанія грозы, лѣсныхъ дорогъ и пр. Нельзя однако имѣть представленіе о «Панѣ Тадеушѣ», не зная его описанія лѣсной пущи. Едва ли кто-либо изъ современныхъ Мицкевичу поэтовъ проникался до такой степени стихійной жизнью природы. «Кто проникъ въ безбрежныя страны литовскихъ пущъ до самой ихъ середины, до самаго ядра гущи (do jądra gęstwiny)? Вѣдь рыбаки только у самыхъ береговъ изслѣдуютъ дно моря. Такъ охотники кружатся около логовища литовскихъ пущъ, знаетъ ихъ только снаружи, ихъ общій видъ, ихъ обликъ, но чужды ему ихъ внутреннія сердечныя тайны. Только молва или сказка знаютъ, что въ нихъ творится, потому что, пройдя черезъ боры и опушки лѣсовъ, наткнешься въ глубинѣ на большой валъ изъ пней, колодъ, корней, защищенный трясиной, тысячею ручьевъ и сѣтью сплетшихся зарослей, и кучами муравейниковъ, и гнѣздами осъ, шершней, и клубами змѣй. Если преодолѣешь сверхчеловѣческимъ мужествомъ и эти преграды, дальше встрѣтишь еще большія опасности. Дальше на каждомъ шагу подстерегаютъ, какъ волчьи ямы, маленькія озера, на половину заросшія травой, такія глубокія, что люди не могутъ достигнуть ихъ дна (весьма вѣроятно, что тамъ сидятъ черти). Вода въ этихъ колодцахъ какъ стеклянная; она покрыта пятнами кровавой ржавчины, а извнутри постоянно подымается дымъ, распространяя противный запахъ, отъ котораго окружающія деревья теряютъ листья и кору. Лысыя, недостижшія настоящихъ своихъ размѣровъ, червивыя, больныя, наклонивъ вѣтви, покрытыя колтуномъ мховъ, сгорбивъ свои стволы, одѣтые бороною изъ отвратительныхъ грибовъ, эти деревья разсѣлись вокругъ воды, точно группа вѣдьмъ, грѣющихся надъ котломъ, въ ко-

торомъ варятся трупы. Напрасно стремиться проникнуть за границу этихъ озерковъ; не только ногами, но даже взоромъ не проникнешь: тамъ, дальше, уже все покрыто туманнымъ облакомъ, которое вѣчно стоитъ надъ зыбкой трясиной. И, наконецъ, уже за этимъ туманомъ (какъ говоритъ народная молва), тянется очень красивая богатая страна. Здѣсь главная столица царства звѣрей и растений; въ ней сложены сѣмена всѣхъ деревьевъ и травъ, изъ которыхъ вырастаютъ ихъ поколѣнія въ мѣрѣ. Здѣсь, какъ въ Ноевомъ ковчегѣ, изъ рода всѣхъ звѣрей питается, по крайней мѣрѣ, хоть одна пара для развода. А въ самой серединѣ, какъ говорятъ, живутъ въ своихъ усадьбахъ древній туръ, зубръ и медвѣдь, императоры пущъ. Около нихъ, на деревьяхъ, гнѣздятся быстрая рысь и прожорливая росомаха, ихъ бдительные министры; а дальше, какъ подчиненные, благородные вассалы, живутъ кабаны, волки и рогатые лоси; надъ головами парятъ соколы и дикіе орлы, придворные паразиты, живущіе на панскомъ столѣ. Эти пары звѣрей, главныя и патриархальныя, укрытыя въ самой глубинѣ пущи, невидимыя для міра, посылаютъ своихъ дѣтей селиться за границами лѣса, а сами наслаждаются жизнью въ столицѣ. Онѣ никогда не гибнутъ отъ холоднаго или огнестрѣльнаго оружія, но въ старости умираютъ естественною смертію. Есть у нихъ и свое кладбище, куда, приближаясь къ смерти, птицы прилетаютъ сложить свои перья, звѣри приходятъ сложить свои кости. Сюда, на кладбище, идетъ медвѣдь, когда, съѣвъ свои зубы, онъ уже не можетъ пережевывать пищу, и одряхлѣвшій олень, когда онъ едва волочить ноги, и поѣдѣвшій заяцъ, когда въ его жилахъ уже стынетъ кровь, и воронъ, когда становится больнымъ, соколы, когда ослѣпнутъ, орелъ, когда его острый клювъ изогнется въ дугу и, замкнувшись навѣки, уже не можетъ питать его тѣло. И даже звѣрь поменьше, будучи раненъ или боленъ, бѣжитъ умирать въ свои родныя страны. Поэтому-то въ доступныхъ мѣстахъ, гдѣ гоститъ человѣкъ, никогда не встрѣчаются кости мертвыхъ звѣрей. Говорятъ, что тамъ въ столицѣ, между звѣрями господствуютъ добрые обычаи, потому что звѣри управляются сами собой; еще не испорченные человѣческой цивилизаціей, они не знаютъ законовъ собственности, изъ-за которой враждуетъ нашъ мѣръ, не знаютъ поединковъ, не вѣдаютъ военнаго искусства, и какъ отцы жили въ раю, такъ теперь живутъ внуки, дикіе и ручные въ одно и то же время, и одинъ другого не кусаетъ и не

бодаеть. И если бы даже туда попалъ человѣкъ, хотя бы безоружный, онъ могъ бы спокойно пройти по серединѣ между звѣрями, и они смотрѣли бы на него такимъ же удивленнымъ взглядомъ, какъ ихъ древніе предки, гнѣздившіеся въ раю, смотрѣли на Адама въ тотъ послѣдній, шестой день мірозданія, пока между ними не произошла распря. Къ счастью, человѣкъ не заходитъ въ этотъ пріютъ: трудный путь, тревога и смерть преграждаютъ ему доступъ. Только иногда охотничьи псы, зарвавшись въ своемъ преслѣдованіи, неосторожно заходятъ въ болота, мхи и яры, но пораженные видомъ картины, которая встаетъ передъ ними, убѣгаютъ прочь съ воемъ, съ безумными глазами, и еще долго потомъ, когда ихъ ласкаетъ рука господина, они дрожать у ногъ его, и все еще ихъ объемлетъ испугъ. Эти столичныя (stoleczne), невѣдомыя людямъ тайники пущч охотники называютъ на своемъ языкѣ «маточниками» («mateczniki»).

Таковы картины природы, щедрой рукой разсѣяныя въ «Панѣ Тадеушѣ». Ихъ такъ много, и онѣ такъ разнообразны, что жизнь литовской природы и животнаго міра Литвы встаетъ передъ нами, какъ нѣчто самодовлѣющее для поэта. Обычно, такія описанія являются лишь рамками, въ которыя вставлены дѣйствія человѣка, или фономъ, на которомъ развертываются событія человѣческой жизни. У Мицкевича въ его предшествующихъ произведеніяхъ мы видимъ то же самое: «Крымскіе сонеты», картины природы въ IV части «Дѣдовъ», описанія въ «Конрадѣ Валленродѣ» отступаютъ на задній планъ передъ жизнью человѣческаго сердца. И въ «Панѣ Тадеушѣ» извѣстнымъ настроеніямъ соотвѣтствуетъ нерѣдко колоритъ описаній. Но, во-первыхъ, это можно отмѣтить далеко не всегда, а, во-вторыхъ, и въ этихъ случаяхъ, кажется, что настроеніе людей подчипено скорѣе жизни природы, нежели обратно: картина природы нужна поэту не для изображенія людей, а во имя того смысла, какой имѣетъ сама по себѣ природа, жизнь вселенной, еще не испорченной человѣкомъ. О такой жизни еще во время своего пребыванія въ Россіи Мицкевичъ мечталъ, какъ объ образѣ высоко поэтическомъ. Это отношеніе поэзии къ жизни внѣчеловѣческой было однимъ изъ крупныхъ завоеваній новаго духа культуры. Расширилось сердце новаго человѣка и постигло смыслъ міровой жизни помимо того, какое значеніе она имѣетъ непосредственно для людей. Когда христіанскій проповѣдникъ

восхищался красотой мірозданія, онъ восхвалялъ создателя его и призывалъ вѣрующихъ преклониться передъ благостью Бога. Когда средневѣковой миннезингеръ приводилъ свои шаблонныя строки о веснѣ и розахъ, онъ бралъ только первые аккорды своей любовной пѣсни. Символика природы или условный фонъ исчерпываютъ, въ общемъ, то, что создали въ пониманіи и описаніи природы литературныя школы до романтизма. Яркія поэтическія индивидуальности постоянно вырывались изъ этихъ рамокъ, но суть дѣла не мѣнялась отъ этого, такъ какъ на массу читателей и на посредственныхъ писателей давила «школа». Романтизмъ сталъ разрушать установившіяся и въ этой области традиціи, но эта работа освобожденія поэтического творчества отъ стѣсняющихъ его правилъ совершалась здѣсь менѣе революціонно, чѣмъ въ другихъ вопросахъ. И у романтиковъ природа лишь постепенно завоевываетъ свои права. Въ польской же поэзіи реформу и въ этой области совершилъ Мицкевичъ, и притомъ уже на закатѣ своего поэтического творчества, въ «Панѣ Тадеушѣ». Значеніе этой реформы въ сознаніи Европы было немаловажно: красота природы стала ощущаться людьми не потому, что въ ея явленіяхъ находили соотвѣтствія, фонъ для человѣческихъ переживаній, а потому, что во всемъ мірѣ стали чувствовать гармонию, единство, цѣлое, въ которомъ одно изъ мѣстъ принадлежитъ и человѣку. Отсюда былъ одинъ шагъ къ перевороту общественнаго міровоззрѣнія, къ развитію естествознанія и т. под. Мицкевичъ, со своей стороны, подошелъ къ новому пониманію значенія природы въ поэзіи бессознательно: тоска по Литвѣ и проникновеніе его души ея жизнью были настолько сильны, что онъ внесъ въ свою поэму картины этой жизни, не считаясь ни съ экономикой цѣлаго, ни съ практической надобностью писать фонъ для человѣческихъ дѣйствій. Но, идя въ этомъ направленіи, онъ шелъ на ряду съ прогрессомъ поэзіи и съ расширеніемъ человѣческаго сознанія, будучи и въ этомъ отношеніи вождемъ своего народа на пути къ высшему познанію. Когда-то въ «Балладахъ и романахъ» Мицкевичъ раскрылъ передъ польскимъ читателемъ душу простого крестьянина, теперь въ «Панѣ Тадеушѣ» онъ далъ ему познаніе души литовской природы, ощущеніе того стихійнаго духа, который живетъ лѣса и воды Литвы, ея звѣрье, ея простой людъ. Этого Мицкевичъ, вѣроятно, не *задумывалъ* сдѣлать, но онъ это сдѣлалъ, потому что

самъ почувствовалъ, первый среди своихъ современниковъ, душу Литвы. И, конечно, въ творествѣ его элементъ безсознательный преобладаетъ надъ сознательнымъ. Самъ поэтъ отдавалъ себѣ отчетъ въ этомъ, когда говорилъ въ предисловіи: «Dziś pięknosc twą w całej ozbobie widzę i opis je, bo tęsknię po tobie!»

Этой грустной нотой проникнуть и юморъ «Пана Тадеуша». На этой сторонѣ поэмы необходимо остановиться подробно. Характеристикъ автора «Пана Тадеуша», какъ юмориста, посвящаетъ нѣсколько замѣчаній. Бигелейзенъ въ своемъ трудѣ объ этой поэмѣ. По его мнѣнію, юморъ служитъ Мицкевичу для того, чтобы смягчить неблагоприятное впечатлѣніе, произведенное извѣстнымъ событіемъ или лицомъ. «Мицкевичъ не можетъ питать гомеровою вѣрой въ историческую правду своего предмета. Желая быть объективнымъ эпикомъ, онъ смягчаетъ этотъ сознательный элементъ мягкой, незамѣтной ироніей или юморомъ, а самый предметъ оставляетъ ненарушимымъ во всей его внѣшней дѣйствительности. Юмористическій тонъ разсказа не уничтожаетъ картины, не отвлекаетъ вниманія читателя, а наоборотъ, помогаетъ воображенію спокойно охватить цѣлое». Юмористическое изображеніе предмета позволяетъ поэту сгладить тяжелое впечатлѣніе, которое производитъ изображаемая имъ дурная или непріятная вещь. Такъ полагаетъ этотъ писатель. Подробно останавливается надъ юморомъ «Пана Тадеуша» В. Гостомскій. Онъ вспоминаетъ слова поэта Красинскаго, что въ этой поэмѣ «Донъ Кихоть» слился съ «Иліадой», и отмѣчаетъ недовольство, которое возбудилъ этотъ юморъ у современниковъ Мицкевича, видѣвшихъ въ немъ профанацію прошлаго. Что же такое юморъ въ эстетикѣ, спрашиваетъ Гостомскій. Смѣхъ сквозь слезы? Не всегда, потому что юмористически можно изображать и веселыя, и симпатичныя стороны жизни. «Юморъ не разъ соединяется со всевозможными эстетическими элементами; онъ особенно поощряетъ наблюдательность въ области комическихъ контрастовъ, настраиваетъ умъ къ остроумнымъ опредѣленіямъ, сопутствуетъ проявленіямъ сатирическаго чувства, — и притомъ онъ представляетъ извѣстную самостоятельную особенность ума и можетъ существовать самъ по себѣ». Что же касается спеціально современной поэмы, то въ ней юморъ является совершенно неизбѣжнымъ элементомъ: описывать свой предметъ съ наивной объективностью стараго эпическаго поэта новый поэтъ

не может, и вот на сцену выступает спасительный юмор. Въ «Панѣ Тадеушѣ» Мицкевичъ съ чрезвычайно правильнымъ художественнымъ чувствомъ подошелъ къ своему предмету съ юмористической стороны; взявъ героически-приподнятый тонъ, поэтъ не могъ бы нарисовать реальную картину жизни и нравовъ старой жизни. При этомъ, какъ очень тонко и правильно отмѣчаетъ Гостомскій, «и въ области юмора Мицкевичъ стоитъ на чисто-національной почвѣ и является типическимъ представителемъ шляхетско-польской умственной культуры. Юморъ составлялъ одну изъ выдающихся особенностей старой польской шляхты».

Въ юморѣ «Пана Тадеуша» сатирическаго оттѣнка нѣтъ, и на своихъ героевъ поэтъ смотритъ со снисходительной симпатіей, немножко подшучивая надъ ихъ слабостями и смѣшными выходками. Лишь иногда вырывается грустная нота, выдающая ту глубокую тоску по родинѣ, которая лежала глубоко на днѣ души Мицкевича. Юморъ позволяетъ поэту нѣсколькими словами опредѣлить несоотвѣтствіе мечтательнаго сентиментализма какого-нибудь новомоднаго героя-графа простодушному реализму шляхетской среды, или отмѣтить, какъ должна была показаться этой средѣ извѣстная фигура, извѣстное првключеніе. Комическое впечатлѣніе на окружающихъ долженъ былъ производить этотъ графъ, который пріѣхалъ изъ заграничныхъ странъ и привезъ съ собой новое настроеніе, который любитъ красотами природы, вздыхаетъ объ итальянскихъ разбойникахъ въ тиши литовскихъ лѣсовъ и очень хочетъ походить на влюбленныхъ героевъ послѣдняго сентиментальнаго романа. Въ сущности, это свой братъ, такой же простодушный шляхтичъ, какъ и судья или подкоморій. И въ немъ ни съ того, ни съ сего загорается шляхетская спѣсь, и вдругъ развалины замка, на которыя онъ не обращалъ вниманія, представляются ему такими милыми, что, забывъ всю свою цивилизацію, онъ пускается въ старо-шляхетскую авантюру и вступать въ форменный бой съ противниками. По существу своему это образъ забавный, комическій, и всѣ дѣйствія графа отличаются смѣсью прирожденнаго душевнаго благородства съ путаницей, которая царитъ въ его головѣ. Это видимъ мы, читатели «Пана Тадеуша», но люди, среди которыхъ вращался самъ графъ, понимали, что онъ долженъ постоять за родовое добро, и не видѣли ничего смѣшнаго и страннаго въ такихъ его подвигахъ, какъ набѣгъ на усадьбу Сонлицы. Вокругъ уже стояли русскія вой-

ска, и всякія движенія среди шляхты давали поводъ карьеристамъ изъ русскихъ проявить свою энергію, а шляхта все еще не понимаетъ, какъ измѣнились условія ея существованія, и по-старому устраняетъ свои дѣла. Въ этомъ заключается трагизмъ положенія, источникъ всѣхъ тѣхъ страшныхъ несчастій, которыя съ сокрушеннымъ сердцемъ видѣлъ Мицкевичъ. Но въ быту этомъ, гдѣ было столько простодушной незлобивости, нѣтъ мѣста для трагическихъ людей. Трагедія виѣ ихъ; она заключается въ роковомъ для Литвы ходѣ событій, гдѣ желанія или воля самой Литвы ничего не значатъ. И эти люди, въ свою очередь, не могутъ быть носителями трагическаго. Развѣ Яковъ Соплица, измѣнически убившій магната, который измучилъ его, надругался надъ его любовью, трагическое лицо? Нѣтъ, это добрый и мягкій по существу своему человѣкъ, который по какому-то наущенію «лукаваго», какъ-то неожиданно для себя, въ запальчивости совершилъ преступленіе, и потомъ всю жизнь свою кается и искупаетъ свой грѣхъ. И самое искупленіе идетъ по проторенной дорогѣ: монашество, служеніе Наполеону, отъ котораго онъ вмѣстѣ со всѣми ждетъ возстановленія государства. А между тѣмъ этотъ Яковъ Соплица — единственный болѣе трагическій образъ. Остальные — неглупые, но безалаберные люди, совершенно лишенные смысла политической оріентаціи, глубокіе провинціалы, для которыхъ поѣздка въ Варшаву представляется дальнимъ путешествіемъ, старосвѣтскіе помѣщики. Въ ту минуту, когда такъ нужны были настоящіе политическіе умы, ихъ не оказалось. У Литвы не было вождей. Вотъ тотъ выводъ, который напрашивается у безпристрастнаго читателя послѣ ознакомленія съ версицей лицъ, выведенныхъ въ поэмѣ. И потому въ основѣ всего лежитъ, дѣйствительно, смѣхъ сквозь слезы. Слезы очень чувствуются въ «Панѣ Тадеушѣ», вопреки тѣмъ польскимъ критикамъ, которые не хотѣли ихъ замѣтить. То, что Мицкевичъ видѣлъ въ Парижѣ, вызывало только слезы; но и въ прошломъ, и тогда, когда Литвѣ такъ нужны были вожди, ихъ не оказалось въ этой толпѣ добрыхъ и честныхъ людей, готовыхъ пойти въ наполеоновское войско, способныхъ на героизмъ момента, но такихъ мелочныхъ, до такой степени погруженныхъ въ домашніе счеты, такихъ отсталыхъ и неприспособленныхъ къ долгой политической борьбѣ. Но поэтъ не хочетъ останавливаться на этомъ горькомъ чувствѣ. Онъ торопливо смахиваетъ слезу и уносится душой отъ

эмигрантской суматохи въ тишь Литвы; застѣчиво, какъ-будто помѣняаясь самъ надъ собой, онъ любуется каждой подробностью этого шляхетскаго быта, выводитъ смѣшныя положенія, которыхъ прежніе люди, навѣрное, и не замѣчали. Точно взрослая дѣти проходятъ предъ нами, и кажутся дѣтской игрой ихъ серьезные толки о гербахъ, объ охотѣ, о шляхетскихъ распряхъ, примиренныхъ какимъ-нибудь пустышнымъ приключеніемъ... И невольно поэтъ противопоставляетъ этой игрѣ тѣ великія, трагическія событія, которыя волновали тогда Европу и все ближе подходили къ Литвѣ. Чужой человѣкъ сталъ бы говорить объ этихъ людяхъ съ ироніей, но Мицкевичъ ихъ слишкомъ любитъ. Онъ не хочетъ ихъ судить, а только ласково и шутливо описываетъ ихъ жизнь. Вотъ модная петербургская кокетка, Телимена, сверкающая своими туалетами и знакомствами, добилась своего, вскружила голову юному Тадеушу. Вотъ она въ лѣсу, въ «храмѣ размышленія» (*Świątynia dumania*). Около нея влюбленный Тадеушъ, готовый растаять. И вдругъ «Телимена быстро вскакиваетъ со своего сидѣнья, бросается направо, налево, прыгаетъ черезъ ручки; съ вытянутыми, какъ крестъ, руками, съ распущенными волосами, блѣдная, она бѣжитъ въ лѣсъ, подпрыгиваетъ, становится на колѣни, падаетъ и не можетъ встать, а только вертится на травѣ. По движеніямъ ея видно, что она испытываетъ страшныя мученія; она хватается за грудь, за шею, за пятки и за колѣни. Тадеушъ бросился къ ней, опасаясь, что она сошла съ ума или сильно больна. Но отъ другой причины происходили эти движенія. У самой березы былъ муравейникъ. Хозяйственные наѣкомыя свовали по травѣ, энергичныя и черныя; Богъ вѣсть почему: по какой-либо извѣстной имъ причинѣ или просто такъ, они особенно любили посѣщать «храмъ размышленія». Отъ холмика, на которомъ была ихъ столица, до самыхъ береговъ ручья они протоптали дорожку, по которой водили свои ряды. На бѣду Телимена усѣлась среди дорожки, а муравьи, прельщенные блескомъ бѣленькаго чулка, взобрались на него цѣлой массой и принялись щекотать и кусать». Съ такимъ гомерическимъ спокойствіемъ и обстоятельностью описана эта сцена. Какъ подсчиталъ одинъ изъ послѣдователей «Шана Тадеуша», въ поэмѣ имѣется около восьмисотъ короткихъ или болѣе длинныхъ характеристикъ, вскользь брошенныхъ замѣчаній, юмористическихъ опредѣленій, которыя нѣсколькими штрихами рисуютъ положеніе или личность героя и составляютъ

именно тот юмористическій фонъ, который такъ характеренъ для «Пана Тадеуша» (*D. Zgliński. Humor w Panu Tadeuszu. 1898*). Въ двухъ строкахъ Мицкевичъ умѣетъ дать цѣлую картину, цѣлую характеристику лица. Вотъ нотаріусъ Болеста, который прежде былъ адвокатомъ, «его прозвали проповѣдникомъ, потому что онъ слишкомъ любилъ жесты». Увлечшійся охотникъ описываетъ сцену погони за звѣремъ, «онъ вытянулъ руки по столу и удивительно искусно изображалъ пальцами движенья собакъ». Юморомъ окрашены и самыя серьезныя, даже трагическія сцены поэмы. Надъ людскимъ муравейникомъ все время высоко стоитъ духъ поэта, который со снисходительной, не то грустной, не то веселой улыбкой смотритъ на человѣческія страсти и столкновенья. Всякому кажется самой важной его работа, но поэтъ каждому отводитъ со спокойной объективностью принадлежащее ему мѣсто, и въ этомъ несоотвѣтствіи дѣйствительнаго мѣста человѣка съ той ролью, которую ему хочется играть, заключается неисчерпаемый источникъ комическаго. Но съ той душевной высоты, на которую поднялся поэтъ, и комическое представляется такимъ понятнымъ, такимъ простительнымъ. Въ «Панѣ Тадеушѣ», по словамъ Юлія Словацкаго, «время задержало свои шаги и повернуло лицо, чтобы еще разъ издали взглянуть на красоту, которая такъ прекрасно сверкаетъ радугой, закатывается такимъ розовымъ облакомъ».

Но я думаю, что выше этой прелести вѣншей, живыхъ характеристикъ людей, прекрасныхъ описаній природы та моральная красота, которой вѣетъ отъ личности поэта. Она обезпечиваетъ безсмертіе «Пану Тадеушу». Мицкевичъ сумѣлъ быть совершенно безпристрастнымъ ко всѣмъ и въ каждомъ увидѣлъ доброе начало. Какъ справедливо отмѣтилъ Пгн. Хржановскій (*Ign. Chrzanowski. Za co rowinnisłmu kochać Pana Tadeusza? 1908*), въ этой поэмѣ такой народной и патріотической, нѣтъ и тѣни національнаго шовинизма. «Во всей нашей патріотической поэзии, говоритъ этотъ писатель, нѣтъ другого произведенія, въ которомъ патріотизмъ достигалъ бы такой глубины и пламенности, но былъ бы въ то же время такъ незапятнанно чистъ, непороченъ, не тронуть заразой націонализма, отравляющаго теперь міръ». Идея родины настолько господствуетъ надъ всѣмъ, что, жертвуя собой ради нея, люди преобразуются, становятся выше и чище. «Кто любить свою родину, тотъ любитъ «Пана Тадеуша», говоритъ П.

Хржановскій. И это въ равной мѣрѣ относится и къ поляку, и къ чело­вѣку другой національности, потому что добрыя чувства, возбуждаемыя поэмой, отрываютъ отъ мелкихъ житейскихъ счетовъ, ставя передъ глазами то высшее и лучшее, что живетъ въ каждомъ чело­вѣкѣ. Въ «Панѣ Тадеушѣ» Мицкевичъ далъ произведе­ніе мірового значенія, не говоря уже о томъ, что онъ далъ безсмертное завѣщаніе добра и любви своему народу.

Обратимся къ дѣйствующимъ лицамъ. Владѣлецъ имѣнія, въ которомъ разыгрывается дѣйствіе поэмы, судья Солица, чело­вѣкъ по своему положенію видный, но, въ сущности, тоже лишь пережитокъ старыхъ отношеній. Въ одномъ изъ примѣчаній къ поэмѣ Мицкевичъ объясняетъ, что въ началѣ XIX вѣка «Литвѣ было оставлено прежнее устройство гражданскихъ и уголовныхъ судовъ, такъ что по-старому выбирали земскихъ и городскихъ судей въ уѣздахъ и главныхъ въ губерніяхъ. Но такъ какъ апелляціи направляются въ Петербургъ, по многимъ инстанціямъ различныхъ степеней, то у мѣстныхъ судовъ осталась только тѣнь прежняго традиціоннаго авторитета». Братъ судьи — зна­менитый Яковъ Солица, о которомъ сохранилась такая злая слава въ уѣздѣ, но это не мѣшаетъ тому, что судья пользуется уваженіемъ въ обществѣ, черта терпимости, характерная, вообще, для польскаго индивидуальнаго строя: каждый отвѣчаетъ за се­бя, а не за чужія вины. Судья хорошій хозяинъ. Несмотря на то, что у него много гостей, онъ не хочетъ упустить важную обя­занность хозяина и, когда съ поля вернулся скотъ, идетъ къ колодцу. «Вечеромъ хозяинъ лучше всего видитъ, въ какомъ по­ложеніи скотъ; такого надзора онъ никогда не поручитъ слу­гамъ, потому что знаетъ судья, что отъ господскаго глаза жи­рѣетъ конь». Вообще онъ представитель старыхъ шляхетскихъ воззрѣній и обычаевъ. Когда за ужиномъ Тадеушъ плохо испол­няетъ свои обязанности кавалера по отношенію къ своимъ со­сѣдкамъ, дочерямъ подкоморія, дядя его, судья, раздражает­ся длинной рѣчью о новшествахъ и добромъ старомъ времени. «Теперь по новой модѣ мы посылаемъ молодежь учиться въ сто­лицу. Не спорю: наши сыновья и внуки получаютъ больше книж­ныхъ знаній, чѣмъ имѣли старики. Но я всякій день вижу, какъ много ущерба тернитъ молодежь оттого, что нѣтъ школъ, гдѣ бы учили жить съ людьми и свѣтомъ. Прежде молодой шлях­тичъ ѣздилъ на панскіе дворы, и самъ я былъ десять лѣтъ

при дворѣ воеводы, отца нашего уважаемаго подкоморія (при этомъ онъ стиснулъ колѣно подкоморія); своимъ совѣтами онъ меня подготовилъ къ общественной службѣ и до тѣхъ поръ не отпускалъ меня на волю, пока не сдѣлалъ человѣкомъ. Въ моемъ домѣ всегда будетъ чтиться его память, и каждый день я молю Господа Бога за его душу. Если при дворѣ его я не выгадаю столько, какъ другіе, и вернувшись, пашу дома землю въ то время, какъ другіе, болѣе достойные вниманія воеводы, достигли потомъ самыхъ высокихъ должностей въ нашей землѣ, то по крайней мѣрѣ, я приобрѣлъ ту пользу, что никто въ моемъ домѣ никогда не упрекнетъ меня, что я былъ съ нимъ не любезенъ или невѣжливъ. А я смѣло скажу: любезность не есть ни малая, ни легкая наука. Не легкая, потому что не въ томъ дѣло, чтобы ловко шаркнуть ногой или съ улыбкой приветствовать, кого поцало; такая людская любезность мнѣ представляется прикащицкой, а не старопольской и не шляхетской. Со всѣми надо быть любезнымъ, но со всякимъ по-своему: вѣдь не лишена любезности и дѣтская любовь, и обращеніе мужа съ женой при постороннихъ, и отношеніе господина къ своимъ слугамъ, а въ каждой формѣ любезности есть свой оттѣнокъ. Нужно много учиться, чтобы не погрѣшить въ этомъ отношеніи и каждому оказать надлежащую учтивость. И старики, дѣйствительно, учились: разговоръ среди нановъ представлялъ живую исторію края, а бесѣды, которыя велись среди шляхты, давали домашнюю хронику уѣзда. И этимъ давали понять брату-шляхтичу, что о немъ всѣ знаютъ, что имъ не пренебрегаютъ, а это заставляло его держаться на сторожѣ. Теперь человѣка и спрашивать нечего, что онъ за субъектъ (со *zacz*), кто его родители, съ кѣмъ онъ жилъ, что дѣлалъ? Каждый входитъ, куда хочетъ, не былъ бы только правительственный шпионъ или бѣднякъ. Какъ тотъ знаменитый Веснасіанъ не нюхалъ денегъ и не хотѣлъ знать, откуда онѣ, изъ какихъ рукъ и странъ, такъ у насъ теперь не хотятъ знать рода и обычаевъ человѣка; достаточно того, что онъ идетъ въ оборотъ, и что на немъ есть штемпель; такъ у насъ и цѣнять друзей, какъ еврей деньги». Помолчавъ немного и видя, что его слушаютъ, судья продолжалъ: «Любезность и не малое дѣло; когда человѣкъ учится чтить, какъ это пристало, возрастъ, происхожденіе, добродѣтели и права другихъ, тогда онъ познаетъ и свою собственную цѣнность.

Вѣдь и на всѣхъ, желая узнать свою тяжесть, мы должны на противоположной чашкѣ посадить кого-нибудь другого. Но особеннаго вашего вниманія, господа, заслуживаетъ та любезность, которая должна быть у молодежи по отношенію къ прекрасному полу, особенно, когда прирожденные прелесть и достоинства украшаются еще больше благородствомъ происхожденія и щедротами фортуны. Отсюда идетъ путь къ чувствамъ (afekty), и здѣсь начинается знатный союзъ домовъ. Такъ думали старики. А поэтому...

Судья — представитель той мудрости, которая когда-то нашла своего толкователя въ лицѣ Николая Рея, автора «Жизни почтеннаго человѣка» (1568). Завѣты его шляхта хранила ненарушимо до самаго паденія польскаго государства, и старый Соплица старается имъ быть вѣренъ во всемъ. Эта мудрость требовала отъ человѣка въ извѣстную минуту забвенія личныхъ обидъ ради дѣла отчизны. Вѣсть о близости войскъ Наполеона радуется судья; онъ мечтаетъ о возстаніи, въ которомъ прославится имя Соплицовъ, и готовъ поскорѣе примириться съ графомъ, претендентомъ на спорный замокъ. Когда же страсть къ приключеніямъ, жившая въ сердцахъ всѣхъ этихъ вспыльчивыхъ и неуравновѣшенныхъ людей, привела къ горькой обидѣ, которую графъ нанесъ судья, занавъ по-разбойщически на его замокъ, и дѣло кончилось конфликтомъ съ русскими солдатами, надо было всѣмъ объединиться, чтобы спасти отъ гнѣва русской власти «бунтовщиковъ». И въ этомъ чувствѣ солидарности судья опять оказывается на высотѣ нравственнаго долга: онъ искренно и просто примиряется съ графомъ. Представитель старой средней шляхты умѣетъ жертвовать собою для родины. Рядомъ съ судьей стоитъ другой старошляхетскій типъ, Подкоморій. По объясненію Мицкевича, «я Подкоморій, нѣкогда важное и видное лицо, princeps nobilitatis, превратился при русскомъ правленіи въ простое званіе. Иногда онъ еще судить пограничныя дѣла, но потомъ утратилъ и эту часть юрисдикціи. Теперь онъ иногда замѣщаетъ маршалка (предводителя дворянства) и назначаетъ коморниковъ, или уѣздныхъ землемѣровъ». По своему происхожденію подкоморій «Нана Тадеуша» стоитъ выше судьи, и авторъ тонкими чертами отмѣчаетъ эту разницу въ ихъ положеніи, нѣсколько покровительственный тонъ подкоморія и нѣсколько подбострастное отношеніе судьи. Подкоморій человѣкъ стараго свѣт-

скаго воспитанія и отъ прямодушнаго судьи отличается умѣніемъ дать понять своему собесѣднику неловкость его поступка. Когда Тадеушъ по разсѣянности не достаточно внимателенъ къ его дочерямъ, подкоморій самъ оказываетъ имъ услугу, ограничиваясь замѣчаніемъ: «Приходится мнѣ самому услуживать вамъ, барышни, хоть я старъ и неловокъ». Когда же судья въ вышеприведенномъ монологѣ обрушивается на пышную молодежь, подкоморій заминаетъ неприятное впечатлѣніе и увѣряетъ, что теперь, напротивъ, стало лучше. «Не знаю, мода ли и насъ, стариковъ, измѣняетъ, или молодость стала лучше, но только я вижу меньше порочности». И, брякнувъ по золотой табакеркѣ (жестъ, который Мицкевичъ съ методичностью эника предносылаетъ постоянно рѣчамъ подкоморія), онъ пускается въ длинный разсказъ о прежнемъ обезьянчаніи французскимъ модамъ. «Слава Богу, что теперь, если наша молодежь ѣдетъ за границу, то уже не за нарядами и не для того, чтобы искать себѣ законовъ въ книжныхъ лавкахъ или учиться краснорѣчію въ парижскихъ кофейняхъ. Теперь - то Наполеонъ, человекъ мудрый и энергичный, не даетъ времени гоняться за модами и заниматься пустыми рѣчами. Теперь гремитъ оружіе, а у насъ, стариковъ, сердце не на мѣстѣ отъ радости, что опять по свѣту загремѣла вѣсть о полякахъ. Есть слава, а, значитъ, будетъ и Рѣчь Посполитая! Постоянно изъ лавровъ распускается дерево свободы. Грустно только, что у насъ, увы, проходитъ годъ за годомъ въ бездѣятельности, а они все еще далеко! Такъ долго ждать; даже извѣстія приходятъ такъ рѣдко!» Но и подкоморій типъ вымирающій. Онъ исполненъ значенія того высокаго сана, которымъ онъ облеченъ, хотя отъ сана осталось только пустое названіе, и потому его слова полны сановитаго благоволенія къ людямъ. Горячая кровь и въ немъ говоритъ, однако, лишь тогда, когда этотъ санъ задѣтъ, когда дѣло доходитъ до чести. Но, какъ и судья, онъ умѣетъ стать выше личнаго чувства, умѣетъ ото всей души простить обидчику, если дѣло родины требуетъ забвенія личныхъ счетовъ. Въ этихъ старошляхетскихъ типахъ Мицкевичъ далъ прекрасные образы угасающихъ традицій Рѣчи Посполитой. Множество шляхетскихъ образовъ поставлено Мицкевичемъ рядомъ съ этими двумя. Каждый изъ нихъ обладаетъ своими индивидуальными чертами, но среда, ихъ питающая, уже очерчена выше, и нѣтъ возможности изучить каждый изъ типовъ въ рамкахъ настоящаго

изслѣдованія. Сошлицы представляютъ, по выраженію С. Тарновскаго (Hist. liter. pol. V, 112), имя коллективное, родовое; оно означаетъ всю деревенскую польскую шляхту, изъ которой одни, можетъ быть, немного лучше, другіе немного хуже, но всѣ они не далеко ушли отъ своихъ отцовъ, какъ говорили поэтъ о самомъ панѣ Тадеушѣ.

Больше оригинальныхъ чертъ представляютъ только особый классъ этой шляхты, т. наз. «szlachta zaściankowa», да тѣ, кто старался эмансипироваться отъ старошляхетскихъ воззрѣній и вкусовъ. Изъ нихъ на первомъ планѣ надо поставить комическую фигуру графа, котораго до такой степени прельстила заграничная жизнь, что о ней онъ только и можетъ думать. Подобные типы были перѣдки въ старой Польшѣ, гдѣ петиметры, набравшіеся французскихъ манеръ и забывшіе хорошее свое, вышучивались патріотической сатирой Нѣмцевича и Красницкаго. И во время своихъ скитаній на чужбинѣ Мицкевичъ долженъ былъ встрѣчать не мало соотечественниковъ, которые до карикатурности восприняли виѣшній европейскій лоскъ, оставшіе въ душѣ носителями той же шляхетской вольницы, что и графъ «Пана Тадеуша». А графъ больше всего на свѣтѣ любилъ позу, воображалъ себя чувствительнымъ романтическимъ героемъ и совсѣмъ потерялъ способность реального отношенія къ жизни. Изъ него могъ бы выйти Донъ-Кихотъ Польши, но въ душѣ графа нѣтъ того возвышеннаго идеализма, какой вдохновлялъ героя Сервантеса на борьбу съ мельницами, и фантазія его мелка,—мелка потому, что и душа его, въ сущности, ничтожна. Своимъ виѣшнимъ блескомъ его привлекла Телимена, по сердечныхъ моральныхъ требованій къ ней, какія предъявляетъ Тадеушъ, онъ не представляетъ. Ради красиваго жеста онъ готовъ вмѣстѣ съ Тадеушемъ на патріотическій шагъ и уходитъ за Нѣманъ къ Наполеону. Пожалуй, ему одному не симпатизируетъ Мицкевичъ, и образъ графа даже въ этихъ мягкихъ тонахъ «Пана Тадеуша» вышелъ жалкимъ и смѣльнымъ. «Графъ любилъ новые и необыкновенные виды, звалъ ихъ романическими (romansowe); онъ увѣрялъ, что у него и голова романическая (romansowa, отъ romans—романъ); а въ сущности, онъ былъ большой чудакъ. Не разъ, гоняясь за лисницей или зайцемъ, онъ вдругъ останавливался и печально устремлялъ свои взоры къ небу, какъ котъ, который завидѣлъ воробьевъ на высокой соснѣ; часто безъ собаки, безъ ружья онъ бродилъ по ро-

щѣ, точно бѣглый рекрутъ, часто сидѣлъ неподвижно около ручья, склонивши голову надъ водой, словно цапля, желающая глазами проглотить всѣхъ рыбъ. Такія странныя повадки были у графа. Всѣ говорили, что ему чего-то не хватаетъ; впрочемъ, его все-таки уважали, потому что онъ происходилъ изъ стараго барскаго рода, быть богатъ, добръ къ крестьянамъ, человѣколюбивъ къ сосѣдямъ, даже къ евреямъ». Такіе люди, носимые случайными вѣтрами по поверхности жизни, легко становятся жертвами чужой воли. И съ графомъ можно было играть, какъ кому угодно. Изображая эту черту, Мицкевичъ не утрировалъ. Онъ бралъ одну изъ типическихъ фигуръ, которая въ Польшѣ послѣднихъ десятилѣтій передъ ея паденіемъ играла важную, роковую роль. У этихъ графовъ и воеводъ, лишенныхъ старшляхетскихъ традицій любви къ родинѣ и надѣвшихъ на себя маску французскаго вольномыслія, не было никакихъ устоевъ. Графъ «Пана Тадеуша» не нуждается въ деньгахъ; ему незачѣмъ и некому продаваться. Его товарищи, жившіе при дворѣ Станислава Августа, легко шли на компромиссъ со своей совѣстью, благо это было такъ легко и заманчиво, и они шли на службу къ Екатеринѣ или Фридриху, поддерживали смуту въ несчастной странѣ и, когда это оказалось подходящимъ для державъ - покровительницъ, устроили Тарговицу. Это вовсе не были злодѣи, гнѣвно и умышленно отдававшіе свою родину на порабощеніе и на позоръ. Навѣрное, все это были добрые малые, не хуже «графа», такіе же безалаберные, какъ онъ, такіа же безвольныя орудія въ чужихъ рукахъ. Съ большимъ мастерствомъ Мицкевичъ рисуетъ психологію этого человѣка, который отъ готовности прекратить всякіе споры изъ-за никому ненужнаго замка переходитъ къ необычайно пылкой приверженности къ родовымъ развалинамъ. Стоитъ Гервасію, этому носителю родовой ненависти Хорешковъ къ Соплицамъ, рассказать ему исторію гибели послѣдняго Хорешки, какъ графъ уже воспламенился: «О! воскликнулъ графъ, поднимая руку къ небу: недаромъ у меня было предчувствіе, что я такъ полюблю эти стѣны. А я еще не зналъ, что въ нихъ скрывается такой кладъ, столько драматическихъ сценъ и столько легендъ! Когда я отниму у Соплицъ замокъ моихъ предковъ, въ этихъ стѣнахъ я оставляю тебя въ должности бургграфа. Твой рассказъ, Гервасій, сильно занялъ меня. Жаль, что ты не привелъ меня сюда въ ночную пору; задрашировавшись въ плащъ,

я уѣлся бы на развалинахъ, а ты рассказывалъ бы мнѣ о кровавыхъ дѣяніяхъ. Жаль, что у тебя такъ мало таланта рассказывать! Не разъ я слышалъ и читалъ подобныя преданія; въ Англии и Шотландіи каждый замокъ лордовъ, въ Германіи каждый дворецъ графовъ были ареной убійствъ. Въ каждомъ старомъ, дворянскомъ могущественномъ родѣ идетъ молва о какомъ-нибудь кровавомъ или измѣнническомъ подвигѣ. Послѣ нихъ къ потомкамъ переходить по наслѣдству долгъ мести; а въ Польшѣ я въ первый разъ слышу о такомъ приключеніи. Чувствую, что во мнѣ течетъ кровь могучихъ Хорешковъ; знаю, въ чемъ состоитъ мой долгъ передъ славой и родомъ моимъ! Да! Я долженъ прекратить всѣ мирныя переговоры съ Солицей, хотя бы дѣло дошло до пистолетовъ или шпаги. Такъ велитъ честь...» Какая-то придуманная обязанность внушаетъ графу всѣ его глупѣйшіе дикіе поступки. Графу надо найти себѣ войско для похода на Солицово. Къ услугамъ его оказывается всегда охочая къ приключеніямъ мелкая шляхта, любопытный пережитокъ старины.

«Большой извѣстностью въ Литвѣ пользуется Добржинскій застѣнокъ (Dobrzyński zaścianek, поселекъ мелкой шляхты). Онъ славится мужествомъ своихъ шляхтичей, красотою шляхтянокъ. Нѣкогда онъ былъ зажиточенъ и многолюденъ; когда король Мигъ Третій созвалъ разсылкою витей посольное рушенье, хорунжіи воеводства привели къ нему изъ-подъ самаго Добржина шестьсотъ человѣкъ вооруженной шляхты. Теперь этотъ родъ упалъ, уменьшился и оскудѣлъ. Прежде Добржинскіе, бывало, жилали на даровщинку при папскихъ дворахъ или въ войскахъ, или въ шляхетскихъ набѣгахъ другъ на друга, или на сборахъ шляхты. Теперь имъ приходится самимъ работать на себя, какъ будто они крѣпостные крестьяне! Только и есть отличія, что они не носятъ сермяги, а надѣваютъ бѣлые кафтаны (karoty) съ черными полюсами, а въ воскресенье контуши. И самыя бѣдныя шляхтянки также отличаются своей одеждой отъ крестьянскихъ бабъ (katanek): онѣ всегда ходятъ въ ситцевыхъ платьяхъ (w drelichach albo perkaliczkach), скотъ пасутъ не въ лаптяхъ, а въ башмакахъ, и жнутъ хлѣбъ и даже прядутъ въ перчаткахъ. Разлились Добржинскіе отъ братьевъ литовцевъ своимъ языкомъ, а также ростомъ и наружностью. Чистая шляхетская кровь, всѣ они были черноволосы, съ высокими лбами, черными глазами и орлиными носами; свой древній родъ они вели изъ Добржинской

земли, и хоть уже четыреста лѣтъ тому назадъ ослѣли въ Литвѣ, все же сохранили свою мазурскую рѣчь и нравы». Во главѣ этихъ людей стоялъ старый Матвѣй Добржинскій, когда-то выдавшій видъ. «72 года считалъ себѣ Матвѣй, крѣпкій старикъ, низкаго роста, когда-то барскій конфедератъ. Помнѣть и свои, и враги его кривую дамаскую саблю, которой онъ рубилъ, какъ сѣчкой, пики и штыки, и которой въ шутку далъ скромное прозвище розочки. Изъ конфедерата онъ сталъ сторонникомъ короля и держался Тызенхауза, литовскаго подскарбья. Но когда король принялъ участіе въ Тарговицѣ, Матвѣй снова оставилъ королевскую партію. И вслѣдствіе того, что онъ перемѣнилъ такъ много партій, онъ получилъ когда-то прозвище Пѣтуха на костелѣ, потому что, подобно пѣтуху (флюгеру), онъ поворачивалъ свой флажокъ по вѣтру. Напрасно ты сталъ бы довѣдываться у него о причинахъ столь частыхъ перемѣнъ. Можетъ быть, Матвѣй слишкомъ любилъ войну и, будучи побѣжденъ на одной сторонѣ, снова пускался въ бой на другой? Можетъ быть, какъ тонкій политикъ, онъ угадывалъ духъ времени и шелъ туда, гдѣ видѣлъ благо отчизны? Кто знаетъ? Одно можно сказать, что имъ никогда не руководили ни стремленіе къ личной славѣ, ни подлая корысть, и что онъ никогда не держался русской партіи (z moskiewską partyą); при одномъ видѣ москаля онъ начиналъ кипититься и ежится. Чтобы не встрѣтить москаля, онъ послѣ захвата края засѣлъ въ своемъ домѣ, какъ медвѣдь, который въ своей берлогѣ сосетъ лапу». Въ великолѣпной сценѣ Мицкевичъ рассказываетъ, какъ старикъ разгуливалъ по своей усадьбѣ, когда явился посланецъ графа, Гервазій, собирать себѣ дружину среди Добржинскихъ. Вся 7-я книга посвящена этому «военному совѣту», который повидимому представляетъ сколокъ съ тѣхъ сеймиковъ, какіе устраивала польская эмиграція въ Парижѣ. «Раздѣляется на двѣ кучи толпа и, кивая головами въ двѣ противоположныя стороны, одни кричатъ: не позволяемъ, а другіе: просимъ!» Сначала шла рѣчь о войнѣ съ Россіей, потомъ дѣло было повернуто ловкимъ манеромъ въ другую сторону, и оказалось, что прежде всего слѣдуетъ сдѣлать набѣгъ на Соплицово. И тогда «Мацекъ (Матвѣй), до тѣхъ поръ покурый, неподвижный, всталъ съ лавки и медленными шагами вышелъ на середину комнаты и, подерши руки въ боки, глядя передъ собой и кивая головою, началъ говорить, произнося от-

дѣльно каждое слово, останавливаясь и подчеркивая свои слова: «Ахъ, глушые, глушые, глушые вы! Кому будетъ выгода, а вамъ только худо (na kim się mleło, na was skrupi). Пока дѣло шло о воскресеніи Польши, объ общемъ благѣ, у васъ, глушые, только распря. Нельзя было, глушые, и слова сказать, ни порядку, глушые, удержать, ни вождя надъ вами, глушые, поставить. А какъ только кто заведетъ рѣчь о собственной обидѣ, у васъ, глушые, сейчасъ же согласіе! Вонъ отсюда! Покуда я Манекъ, пошли ко всѣмъ чертямъ». Задохнулся старикъ ругательствами, но Добржинскіе, на минуту притихнувъ, не вняли его голосу и съ шумомъ и гамомъ стали собираться въ славный походъ подъ знаменемъ графа на усадьбу соседа. Въ описаніи этого совѣта и приготовленій къ походу много юмора, но юморъ здѣсь совѣтъ не веселый. Поэтъ не ушелъ отъ впечатлѣній «парижской мостовой», отъ суетни эмигрантской жизни, отъ тяжелыхъ воспоминаній о безурядицѣ шляхетской жизни, которая особенно сказывалась тогда, когда нужны были согласіе, умѣние подчиняться и выдержка. Подаромъ этой эпизодической сценѣ отведено въ поэмѣ такое видное мѣсто. Если въ судѣ и подкоморіи Мицкевичъ оправдывалъ тѣхъ среднихъ людей изъ болѣе культурной и зажиточной шляхты, на которыхъ въ трудныя минуты все-таки можно было положиться, то въ лицѣ графа онъ вынесъ суровый приговоръ шляхтѣ, гонящейся за послѣдней заграничной модой, а въ Добржинскихъ осудилъ крикливую и безтолковую низшую шляхту, любившую вмѣшаться въ чужое дѣло, понировать на чужой счетъ, съ серьезной миной рѣшить судьбу отечества, а прежде всего подратъея и побуянить. Невеселая вышла картина, несмотря на эническое спокойствіе рѣзца художника.

Для дополненія этой картины Мицкевичъ выводитъ еще двѣ типическія фигуры, которыя составляли необходимую принадлежность шляхетскаго двора. Около болѣе зажиточныхъ помѣщиковъ пристраивались въ качествѣ управляющихъ или довѣренныхъ не то слугъ, не то пріятелей-приживальщиковъ бѣдные шляхтичи, которые такъ свыкались съ домомъ, что уважали и хранили свято его традиціи. Это были драгоцѣнные люди, берегшіе господское добро, не чуждые шляхетскихъ представлений о гонорѣ и готовые крѣпко постоять за пана, хотя, конечно, особенно рьяные выразители и общешляхетскихъ недо-

статковъ. Въ «Шанѣ Тадеушѣ» такихъ фигуръ двѣ: на сторонѣ графа стоитъ бывшій довѣренный послѣдняго Хорешки, чужакъ и силачъ Гервазій, а на сторонѣ Соплицы Протазій, который когда-то былъ низшимъ служащимъ («возный») при трибуналѣ и продолжалъ и теперь, послѣ уничтоженія этихъ судовъ, высоко держать знамя своего достоинства, облачаясь въ торжественныхъ случаяхъ въ свой старый мундиръ. Какъ отмѣчаетъ поэтъ, «Протазій былъ силенъ языкомъ; физической силой онъ не обладалъ, а между тѣмъ въ былое время ему приходилось нести весьма ответственную обязанность. Онъ долженъ былъ разносить повѣстки по шляхетскимъ дворамъ, а это было сопряжено съ немалыми опасностями, ибо шляхта правъ не признавала. Протазій человекъ хитрый, умѣющій всякаго заговорить, знатокъ всякихъ судебныхъ крючковъ. Это онъ придумалъ устроить ужинъ въ спорномъ замкѣ, чтобы хоть этимъ путемъ ввести своего пана во владѣніе спорнымъ имуществомъ. Живетъ онъ весь въ прошломъ, въ томъ славномъ прошломъ, когда ему приходилось подкрадываться къ шляхетскимъ усадьбамъ, чтобы вручить повѣстку, и поскорѣе спастись отъ дворянскаго гнѣва. Ночью всѣ снятъ въ Соплицовѣ. Только возный тихонько вышелъ въ сѣни, сѣлъ около свѣчки и изъ кармана досталъ книжечку, съ которой онъ не расстаётся, какъ съ молитвенникомъ («Oftazzyk Złoty»), которой онъ никогда не бросаетъ ни дома, ни въ дорогѣ. Это былъ списокъ вызововъ къ трибунальскому суду (trybunalska wokanda): тамъ по порядку стояли дѣла, которыя когда-то самъ возный своимъ собственнымъ голосомъ выкликалъ передъ судомъ, или такія дѣла, о которыхъ ему удалось получить свѣдѣнія позже. Простымъ людямъ эта воканда кажется спискомъ именъ, но возному она представляется наброскомъ великолѣпныхъ картинъ. Такъ онъ читалъ и размышлялъ: Огнискій съ Визгирдомъ, доминиканцы съ Рымшей, Рымша съ Высогирдомъ, Радзивиллы съ Верещакой, Гедройць съ Родултовскимъ, Обуховичъ съ Кагаломъ, Юраха съ Петровскимъ, Малевскій съ Мицкевичемъ и наконецъ графъ съ Соплицей. И читая, изъ этихъ именъ онъ извлекаетъ воспоминанія о большихъ дѣлахъ, о всѣхъ перипетіяхъ процессовъ. И встаютъ у него передъ глазами суды, стороны и свидѣтели, и онъ видитъ себя самого: вотъ онъ стоитъ передъ трибуналомъ, въ бѣломъ жупанѣ, въ гранатовомъ контушѣ, положивъ одну руку на саблю,

а другой приглашая къ столу обѣ стороны. «Тише!» кричитъ онъ. Такъ мечтая и кончая вечернюю молитву, понемногу уснулъ послѣдній въ Литвѣ возный трибунала.

Въ иномъ духѣ хранитель хорешковской традиціи, Гервазіи. Онъ славится своей могучей силой. Какъ справедливо отмѣтилъ Вал. Гостомскій, этотъ тишь сильно разнится отъ другихъ шляхетскихъ фигуръ. «Въ тѣхъ тинахъ мы увидимъ главныя черты домашняго и общественнаго быта прежней шляхты, въ Гервазіи же поэтъ изобразилъ суровую, нѣсколько дикую сторону ея характера. Это одинъ изъ тѣхъ шляхетскихъ рубаекъ, которые всегда были готовы размахивать саблею, гдѣ придется: на сеймикѣ, во время шляхетскаго набѣга или въ какой-нибудь частной распрѣ; при этомъ о справедливости защищаемаго ими дѣла они заботились не слишкомъ - то многу и перѣдко служили партійнымъ или эгонистическимъ видамъ магнатовъ, не зная даже, о чемъ идетъ рѣчь. Такой типъ, непременно, долженъ былъ выработаться среди мало просвѣщенной шляхты, призванной къ воинственности, въ странѣ, гдѣ законъ не ставилъ преграды произволу индивидуальности. Но въ Гервазіи есть черты, которыя не могутъ быть признаны общешляхетскими. Его непримиримая ненависть къ Соплицамъ, жажда кровавой мести всему роду, не исключая даже совершенно невинныхъ людей, обнаруживаютъ характеръ не только порывистый и склонный къ насиліямъ, но также метильный и упрямый. Эти послѣднія черты не были свойственны шляхетской массѣ, отличавшейся, напротивъ, довольно мягкой, въ сущности, добродушной и кроткой натурой. Въ характерѣ Гервазіи онѣ могутъ быть послѣдствіемъ соединенія фантазіи и обычно-шляхетскаго самодурства съ литовскимъ упрямствомъ, вошедшимъ въ поговорку. Въ связи съ этимъ находятся выдержка и глубина его чувствъ, особенность, которая точно также характерна для литовца. Мы видимъ, что Гервазіи постоянно не только въ ненависти къ Соплицамъ, но и въ привязанности къ своимъ прежнимъ господамъ: его ненависть является только оборотной стороною вѣрной и непоколебимой любви. Это обстоятельство морально поднимаетъ его личность и дѣлаетъ изъ него, несмотря на всѣ отрицательныя черты, фигуру симпатичную». Гервазіи и является защитникомъ ссоры, а когда графу оказывается нужна дружина головорѣзовъ, то Гервазіи отправляется къ Добржинскимъ. Аргументъ его простъ: «Царь

(Александръ) будетъ драться съ императоромъ (Наполеономъ), короли съ королями, какъ это всегда бываетъ среди государей. А намъ-то что же, сидѣть смирно? Когда большой будетъ душить большого, мы примемся за меньшихъ; каждый своего, сверху и снизу, большіе большихъ, малые малыхъ. Какъ начнемъ рубить, такъ всё подлецы (całe szelmostwo) провалятся, и такъ зацвѣтетъ счастье и Рѣчь Посполитая». Это для Гервазія достаточный предлогъ для затѣи междуусобной распри среди шляхты.

Изъ той же шляхты вышелъ и единственный носитель драматическаго элемента въ «Панѣ Тадеушѣ», Яцекъ (Яковъ) Соплица, выступающій въ поэмѣ до самаго конца не признаннымъ подыменемъ бернардина ксендза Робака и въ монашескомъ капюшонѣ, который скрываетъ его лицо. Въ исторіи этого лица, какъ передаетъ ее поэтъ, есть нѣкоторыя давно уже отмѣченныя автобіографическія черты. Эти черты относятся не только къ недавней исторіи неудачной любви поэта къ Евѣ Анквичъ, но и къ давнему прошлому, къ такой же неудачѣ въ любви къ Марылѣ. И тамъ, и здѣсь бѣдный и незнатный шляхтичъ оказался неравной дочери спесивыхъ магнатовъ. По собственному горькому опыту Мицкевичъ зналъ, какой тишической характеръ имѣютъ пережитые имъ конфликты, и онъ поступилъ художественно правильно, включивъ одинъ изъ нихъ въ свою поэму. Въ рассказъ Яцека поэтъ вложилъ такъ много чувства, что прерывистая рѣчь умирающаго, неповѣдующагося передъ самымъ заклятымъ своимъ врагомъ Гервазіемъ, и теперь производитъ жуткое и горькое впечатлѣніе. «Ты знаешь, милый Гервазіи, какъ часто стольникъ приглашалъ меня на пиры, пилъ за мое здоровье, не разъ кричалъ, высоко поднявъ стаканъ, что его лучший другъ Яцекъ Соплица. Какъ онъ меня обвинялъ! Всё, кто это видѣлъ, думали, что онъ со мной душой своей подѣлится... Онъ другъ? Онъ зналъ, что въ это время дѣлалось въ моей душѣ. Между тѣмъ вокругъ уже шептались сосѣди. То одинъ, то другой говаривалъ мнѣ: «эхъ, панъ Соплица! Напрасно ты ухаживаешь: слишкомъ высокъ сановнической пороги для ногъ подчашника Яцка». А я смѣялся, притворяясь, что ни магнаты, ни ихъ дочки ничего для меня не значатъ, и что я не обращаю вниманія на аристократовъ, а если бываю у нихъ, то дѣлаю это по дружбѣ, въ жены же себѣ я возьму только ровню... А все-таки эти шутки

жгли мою душу. Я былъ молодъ, отваженъ, цѣлый міръ былъ раскрытъ передо мной: вѣдь я жилъ въ странѣ, гдѣ—вы знаете—прирожденный шляхтичъ такой же кандидатъ на корону, какъ и великіе паны. Вѣдь когда-то Тенчинскій сватался къ королевской дочкѣ, и король отдалъ ее безъ всякаго срама. А развѣ честь Солицъ ниже Тенчинскихъ, не равна имъ кровью, гербомъ, вѣрной службой Рѣчи Посполитой! Какъ легко человѣкъ можетъ испортить счастье другимъ: испортишь въ одинъ мигъ, а потомъ не поправишь всей долгой жизнью. Одно слово столпника, и какъ мы были бы счастливы. Кто знаетъ, можетъ быть, мы жили бы и донынѣ: можетъ быть, и онъ жилъ бы около своей любимой дочери, около своей прекрасной Евы и благодарнаго зятя, спокойно состарѣлся бы, можетъ быть, нянчилъ бы своихъ внуковъ. А что теперь? Обоихъ насъ погубилъ, и самъ... и это убійство... и все послѣдствія этого злодѣянія, все мои бѣды и преступленія. Я обвинять его не имѣю права, я, его убійца! Я обвинять его не имѣю права; я прощаю ему отъ всей души, но и онъ... Если бы онъ хоть открыто отказалъ мнѣ! Вѣдь онъ знаетъ о нашихъ чувствахъ... Если бы онъ велѣлъ меня не принимать, то кто знаетъ—можетъ быть, я уѣхалъ бы, посердился бы, побранился, а потомъ и оставилъ бы все. Но онъ, хитрый и гордый человѣкъ, придумалъ новую штуку: онъ притворялся, что ему не могло даже въ голову притти, чтобы я могъ мечтать о такомъ союзѣ! А я былъ ему нуженъ: я пользовался симпатіями у шляхты, и все помѣщики любили меня. Такъ вотъ онъ какъ будто не замѣчалъ моей любви, принималъ меня попрежнему и даже настаивалъ, чтобы я бывалъ чаще, а когда мы оставались съ нимъ вдвоемъ, онъ, видя, что мои глаза полны слезъ, что сердце переполнено и вотъ-вотъ разорвется, онъ, хитрый старикъ, сейчасъ же вставлялъ какое-нибудь безразличное слово о процессахъ, сеймикахъ, охотѣ... Ахъ, не разъ за чашей, когда онъ, бывало, расчувствуется, обнимаетъ меня и увѣряетъ въ своей дружбѣ, нуждаясь въ моей саблѣ или въ моемъ голосѣ на сеймѣ, когда я въ свою очередь долженъ былъ любезно обнимать его, такъ злость кипѣла во мнѣ, что я кусалъ себѣ губы, а ладонью сжималъ рукоять сабли, желая плюнуть на эту дружбу и обнажить саблю... Но Ева, замѣчая мой взглядъ и мою осанку, какъ-то угадывала, что дѣлалось во мнѣ, смотрѣла на меня умоляюще, и лицо ея блѣднѣло...

А она была такая голубка, такая кроткая! И взгляды ея были такъ кротокъ, такъ ласковъ! Такой ангельскій взглядъ! И у меня не хватало рѣшимости разсердить ее или встревожить, и я молчалъ... И я, извѣстный по всей Литвѣ зачинщикъ ссоръ, передъ которымъ не разъ трепетали самые важные паны, который для не прожилъ безъ драки и не далъ бы себя въ обиду не то, что стольнику, а и самому королю, котораго малѣйшее сопротивление приводило въ бѣшенство, я... въ то время злой и пьяный, молчалъ, какъ овечка, какъ будто бы увидѣлъ Sanctissimum!..» Такovy признанія этого новаго Густава. Мицкевичъ отказался отъ Евы и ушелъ въ свою углубленную духовную жизнь, герой его, неукротимый и неужержно страстный шляхтичъ, рѣзко порвалъ со стольникомъ и въ минуту безумнаго отчаянiя измѣнически убилъ его въ ту минуту, когда стольникъ защищалъ свой замокъ отъ русскаго захвата. Но опомнившись, онъ такъ же не разсуждая понесъ свой крестъ искупленiя. Онъ посвятилъ себя служенiю родиѣ и подъ видомъ добродушнаго ксендза, имѣющаго доступъ ко всякому шляхетскому двору, всю свою долгую жизнь, если только не сидѣлъ въ тюрьмѣ или не былъ на каторгѣ, агитировалъ, разносилъ конспиративныя вѣсти и готовилъ возстанiе. Это тишъ, рождественный Гервазiю, такой же упорный и страстный, только болѣе сознательный и выше настроенный. Но и онъ не могъ быть вождемъ народа, потому что одного самоотреченiя ради служенiя ему, одной отваги для этого мало. Ни широты идеи, ни даже большого честолюбiя мы не находимъ въ этой шляхетской средѣ.

Этимъ людямъ Мицкевичъ противопоставляетъ новое поколѣнiе, представителемъ котораго является прежде всего самъ панъ Тадеушъ, молодой богатырь, на образѣ котораго Мицкевичъ останавливается съ особенно теплымъ чувствомъ. Это далеко не идеаль, не книжный герой, который призванъ совершить великiе, романтическiе подвиги. Панъ Тадеушъ до извѣстной степени недоросль: онъ учится въ Виленскомъ университетѣ, но не питаетъ особенной склонности къ отвлеченной наукѣ и лучше себя чувствуетъ въ деревнѣ, въ лѣсу, на охотѣ, чѣмъ за письменнымъ столомъ. И свое настоящее призванiе Тадеушъ почувствовалъ только въ польскомъ войскѣ, охотно оставивъ пыльные стѣны университета. Въ области нравственной жизни Тадеушъ еще менѣе можетъ быть названъ героемъ: отъ чаръ Телимены онъ не уберется, и

голосъ молодой страсти заговорилъ въ немъ очень громко, когда его чувственность была затронута. Идеаль Тадеуша еще меньше героиченъ: онъ мечтаетъ о томъ, что женится на доброй дѣвушкѣ, самъ сядетъ на землю хозяйничать, обзаведется семьей и будетъ такимъ же кореннымъ шляхтичемъ, какимъ былъ его дядя. Но то, что дѣлаетъ этого юношу особенно близкимъ польскому поэту, особенно симпатичнымъ читателю, это живое и здоровое нравственное чувство, которое въ немъ просыпается во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ жизни. Тадеушъ не разсуждаетъ, какъ надо поступить; въ трудныхъ случаяхъ онъ повинуется своей совѣсти, которая указываетъ ему всегда правильный путь. Рѣшивъ жениться на Зофѣ, воспитаницѣ Телимены, онъ чувствуетъ себя недостойнымъ ея руки, нечистымъ; это чувство не придуманное, но непосредственно вытекающее изъ отвращенія къ тому, что связало его мимолетной связью съ вѣтреной Телименой, а Тадеушу нужно почувствовать, что онъ сталъ лучше и чище. Поэтому онъ оставляетъ свою невѣсту и уходитъ за Нѣманъ, на встрѣчу «великой арміи», въ рядахъ которой возвращается въ родное Солицово. Во всемъ поведеніи Тадеуша сказываются его простодушное благородство и душевная мягкость. Мицкевичъ не подчеркиваетъ этихъ свойствъ въ характерѣ своего героя и не комментируетъ его поступковъ, но, видимо, онъ такъ привязался самъ къ милому литовскому медвѣжонку, что особенно любовно обрисовалъ этотъ типъ. Такихъ Тадеушей, должно быть, было не мало въ эту пору юности самого поэта. Умственно они уже на цѣлую ступень стояли выше предшествовавшаго поколѣнія: для нихъ уже не существовала старошляхетская узость взглядовъ, имъ уже и въ голову не приходило бывшее фанфаронство ихъ отцовъ. Они знали, что живутъ въ суровое время, и готовились къ своей будущей работѣ серьезно. Если бы у Мицкевича не было вѣры въ эту грядущую молодежь, колоритъ «Пана Тадеуша» вышелъ бы не свѣтлымъ и радостнымъ, но мрачнымъ и угнетеннымъ.

Въ то же время Тадеушъ удивительно яркій выразитель польскаго національнаго характера. Глубоко заложенная въ польской натурѣ мечтательность заставляетъ его влюбиться въ воображаемую обладательницу женскаго дѣвичьяго платица, которое онъ нашелъ въ своей прежней комнатѣ. Оно вводитъ его въ комическое положеніе, когда Тадеушъ, не разобравъ толкомъ, влюбился не

въ Зою, настоящую обладательницу этого платья, а въ окрашенную и уже выдавшую виды ея «тетю», Телимену. Но съ мечтательностью у Тадеуша, опять въ согласіи съ польскимъ національнымъ характеромъ, связаны здравый умъ и живое чувство дѣйствительности. Онъ быстро опомнился отъ перваго увлеченія, когда увидѣлъ Зою. Это вышло забавно. Телимена, по настоянію судьи Соплицы, рѣшила ввести свою молоденькую воспитанницу въ общество. Она «исполняетъ обязанности хозяйки, привѣтствуетъ входящихъ, сажаетъ ихъ, занимаетъ разговоромъ и всѣмъ по очереди представляетъ племянницу, а прежде всего Тадеушу, какъ близкому родственнику. Зоя изящно присѣла (*dygnęła*), онъ низко поклонился, хотѣлъ что-то сказать ей, уже раскрылъ ротъ, но, посмотрѣвъ въ глаза Зосѣ, такъ взволновался, что стоялъ передъ ней нѣмой, то краснѣя, то блѣднѣя; онъ самъ не могъ понять, что происходило въ его душѣ. Онъ только почувствовать себя очень несчастнымъ: онъ узналъ Зою по росту, и по свѣтлымъ волосамъ, и по голосу; эту фигурку и эту головку онъ видѣлъ на заборѣ, этотъ милый голосокъ разбудилъ его въ то утро, когда ѣздили на охоту. Войскій помогъ Тадеушу выйти изъ смущенія. Видя, что онъ блѣднѣетъ и едва держится на ногахъ, онъ посоветовалъ ему пойти къ себѣ и отдохнуть. Тадеушъ сталъ въ углу, прислонился къ печкѣ и, ничего не говоря, обращалъ широко раскрытые блуждающіе глаза то на тетку, то на племянницу». И, конечно, Телимена, которая какъ будто бы украла его чувство, стала ему сразу противна. Когда же Телимена, не догадываясь, въ чемъ дѣло, оставшись съ нимъ вдвоемъ, стала его участливо расспрашивать, Тадеушъ «неподвижно, опершись на локоть и не произнося ни слова, только морщилъ брови и криво улыбался. Телимена еще больше смѣшалась и удивилась; она перемѣнила выраженіе лица и тонъ разговора, съ гнѣвомъ поднялась съ мѣста и стала осыпать его упреками и обидными словами. Вскочилъ и Тадеушъ, точно ужаленный; не коса взглянулъ, не говоря ни слова, плюнулъ, толкнулъ стулъ ногой и бросился вонъ изъ комнаты, хлопнувъ дверями. Къ счастью, никто изъ гостей не видалъ этой сцены, кромѣ Телимены. А онъ, выбѣжавъ изъ воротъ, пустился прямо въ поле. Какъ щука, которой крючокъ пробьетъ своимъ остриемъ грудь, мечется и ныряетъ, воображая, что убѣжить, а между тѣмъ всюду тащитъ за собой желѣзо и веревку, такъ и Тадеушъ влачитъ за собой угрызения совѣсти, мчась черезъ рвы

и скача черезъ заборы, безъ цѣли и безъ дороги». Такъ онъ попалъ въ «Храмъ размысленія», гдѣ встрѣтился съ Телименой. Муравьи, напавшіе на Телимену, примирили ихъ. Вспыльчивый Тадеушъ былъ, въ сущности, очень кротокъ и добродушенъ, да и Телимена вовсе не была театральной разлучницей.

Самъ Мицкевичъ успокаивалъ пріятелей, нападавшихъ на образъ Телимены, утвержденіемъ, что она ему была нужна для контраста чистой и ибжной Зося, но едва ли допустимо, чтобы тѣ сцены, которыя такъ тщательно разработаны и въ которыхъ Телимена выступаетъ, какъ типъ вполне жизненный, были нужны поэту только для этой побочной цѣли. Телимена занимаетъ такое же пошловправное мѣсто въ «Напѣ Тадеушѣ», какъ Зося или любая другая фигура поэмы. Подобно Рыкову или майору Плоту, обрусѣвшему оппортунисту - поляку, дрянному, какъ всѣ ренегаты, Телимена является представительницей тѣхъ новыхъ политическихъ отношеній, которыя начинали складываться въ Литвѣ. Русская струя должна была врываться въ ея жизнь; она проникла сюда виѣшнимъ путемъ: русскія войска окружали литовскія деревни, и русскіе офицеры находили гостепріимный пріемъ въ польскихъ помѣщичьихъ домахъ. Обѣ стороны избѣгали политическихъ разговоровъ и не довѣряли другъ другу. Добродушный капитанъ Рыковъ, старшій суворовскій служака, все-таки держался на сторожѣ и ждалъ «бунта» въ каждую минуту, а поляки-шляхта, дружелюбно бесѣдуя съ нимъ, въ душѣ его немножко презирали и были убѣждены, что деньгами съ нимъ сдѣлаешь, что угодно. Во всякомъ случаѣ, вмѣшательство этихъ русскихъ офицеровъ въ польскую жизнь ограничивалось чисто-виѣшними отношеніями. Гораздо глубже проникали тѣ столичныя вѣянія, которыя принесла съ собою въ тихую литовскую усадьбу петербургская кокетка Телимена. Распушенность тогдашней петербургской жизни сильно отразилась на ней; она гордится своими столичными успѣхами и аристократическими знакомствами. Она усвоила и легкомысленный свѣтскій тонъ, и легкія воззрѣнія на нравственность. Слишкомъ глубоко вырѣзанъ ея корсажъ, замѣчаетъ съ отвращеніемъ Тадеушъ; она кокетничаетъ одновременно съ двумя, съ Тадеушемъ и графомъ. Первый возбуждаетъ въ ней привычную чувственность. «Она смѣрила глазами его высокую и стройную фигуру, его сильныя плечи, его широкую грудь, и взглянула въ лицо, на которомъ всыхивалъ румянецъ всякій разъ, когда юноша

встрѣчался съ ней глазами». Отсюда одинъ шагъ до опаснаго сближенія: Телимена вручаетъ своему избраннику ключъ отъ своей комнаты. Развѣ иначе дѣлалось въ томъ высшемъ петербургскомъ кругу, въ которомъ съ такой гордостью вращалась Телимена, да и въ одномъ ли петербургскомъ? Графъ нуженъ старѣющей кокеткѣ въ смыслѣ возможной партіи. Увы! бѣжалъ изъ ея стѣнъ и графъ, забравъ себѣ въ голову, что теперь онъ долженъ быть «героемъ». Онъ сформировалъ на свой счетъ цѣлый полкъ и вмѣстѣ съ нимъ вернулся въ Соплицово. И здѣсь, къ удивленію своему, увидѣлъ, что Телимена обзавелась наконецъ уже настоящимъ женихомъ, довольно комическимъ и уже старѣющимъ Регентомъ (regent, нотариусъ теперь; прежде рейенты управляли канцеляріей, писали декреты и т. п., т.-е. были чиновниками, которыхъ назначали секретари суда). Такую невидную партію сдѣлала Телимена. Но и за нее она держится крѣпко. Въ послѣдней пѣснѣ поэмы описана сцена, которая произошла, когда графъ, вернувшись съ арміей въ Соплицово, увидѣлъ Телимену невѣстой регента. Она «сверкаетъ своей красотой и длатьемъ, которое съ ногъ до головы шито по послѣдней модѣ. Какое это было платье, какая прическа на головѣ, напрасно и писать, перомъ этого не расскажемъ; развѣ кисть могла бы изобразить весь этотъ тюль, petit fin (ptyfenie), блондины, кашемиры, жемчуга и камни, и розовое лицо, и живой взглядъ. Графъ сразу узналъ ее. Поблѣднѣвъ отъ удивленія, онъ всталъ изъ-за стола и сталъ искать шагу. «Ты ли это? — закричалъ онъ: или меня обманываютъ глаза? Ты? Въ моемъ присутствіи пожимаешь чужую руку? О невѣрное созданіе, о душа измѣнницы! И ты не спрячешь отъ стыда своего лица подъ землю? Такъ, значитъ, ты не помнишь своей недавней клятвы? О легковѣрный! Зачѣмъ же я послалъ эти ленты? Но горе сопернику, который меня такъ оскорбилъ. Развѣ только черезъ мой трупъ онъ перешагнетъ къ алтарю!» Гости повставали съ мѣстъ, регентъ ужасно смѣшался, подкоморій снѣшилъ примирить соперниковъ, но Телимена, отвѣдя графа въ сторону, шепнула ему: «Регентъ еще не женился на мнѣ; если вы хотите помѣшанъ ему, отвѣйте мнѣ, но отвѣйте сейчасъ же, кратко и ясно—любите ли вы меня, не измѣнило ли еще ваше сердце, готовы ли вы сейчасъ же жениться на мнѣ, сейчасъ же, сегодня? Если вы хотите, я откажусь отъ регента». Графъ сказалъ: «Женщина, непонятная мнѣ! Прежде въ своихъ чувствахъ вы были поэтичны, теперь вы мнѣ каже-

тесъ совершенно прозаической! Что такое вашъ бракъ, какъ не цѣль, которая связываетъ только руки, а не души? Вѣрьте мнѣ: бывають признанія, даже безъ словъ, бывають обязанности, но безъ обязательствъ! Два сердца, пылающія на двухъ концахъ земли, бесѣдуютъ другъ съ другомъ, какъ звѣзды дрожащими лучами... Кто знаетъ! Можетъ быть, потому земля такъ стремится къ солнцу и потому она всегда такъ мила для мѣсяца, что они вѣчно смотрять другъ на друга и ближайшей дорогой бѣгутъ другъ къ другу, а сблизиться не могутъ!» «Довольно ужъ этого,—прервала Телимена,—я, по милости Божьей, не планета, а женщина; все остальное я знаю; перестаньте говорить вздоръ. А теперь я предостерегаю васъ: если вы пискнете хоть одно слово, чтобы сорвать мою свадьбу, то клянусь Богомъ, что вотъ съ этими ногтями я къ вамъ подбѣгу...» «Не буду, — сказалъ графъ, — мѣшать вашему счастью». И онъ отворотилъ глаза, полные печали и презрѣнія, и, чтобы наказать невѣрную любовницу, выбрать предметомъ своихъ ухаживаній дочь подкоморія». Такимъ образомъ, у Телимены одна цѣль — выйти замужъ. Когда она убѣдилась, что Тадеушъ не женихъ для нея, она великодушно предоставила его Зосѣ и даже уговаривала Тадеуша, смущеннаго прошлымъ, что, въ сущности, ничего особеннаго не произошло. Было ли это великодушіе, какъ говорятъ нѣкоторые критики? Просто расчетъ человѣка, по натурѣ своей не злого, да къ тому же заинтересованнаго въ томъ, чтобы правда не вышла наружу.

Невѣста Тадеуша, Зося, являлась, конечно, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ первоначальномъ замыслѣ поэмы, которая должна была представить идиллическую любовь въ тихой помѣщичьей усадбѣ. И она такъ и осталась носительницей идиллическаго элемента въ «Панѣ Тадеушѣ». Но по мѣрѣ того, какъ этому элементу отводилось все менѣе мѣста въ произведеніи, которое превращалось въ народную эпопею, и образъ Зося отодвигался на задній планъ. Она осталась только возможностью, и говорить объ ея образѣ можно, мнѣ кажется, лишь съ этой точки зрѣнія. Въ февралѣ 1834 года Мицкевичъ писалъ Одынцу, что «часто имѣлъ въ мысли его Софію (жену), когда писалъ героиню своей поэмы, Зося». Едва ли однако для такого общаго образа, какимъ является эта героиня поэмы, нуженъ былъ живой оригиналь. Это просто набросокъ, не успѣвшій достаточно оформиться, но, во всякомъ случаѣ, задуманный съ большой симпатіей. Сказать,

что Зося относится къ числу отрицательныхъ типовъ «Шана Тадеуша», по моему мнѣнію, нельзя. Изъ этой дѣвушки, которая правильно чувствуетъ и умѣетъ инстинктомъ понять добро, должна была выйти стойкая и прекрасная женщина. На своемъ примѣрѣ Мицкевичъ могъ убѣдиться, что польская дѣвушка не сильна волей и твердостью. Его Тадеушъ оказался счастливѣе самого автора, и его сердце выбрало человѣка, который сумѣлъ его поднять и сохранить ему вѣрность. Въ 12-й пѣснѣ Зося уже сознательная личность, быстро развившаяся изъ ребенка, какимъ она была въ началѣ поэмы. Въ 13-й пѣснѣ это была бы уже женщина, способная на такое же рыцарское пониманіе долга, какое неожиданно оказалось у простодушнаго и наивнаго Тадеуша, еще вчера увлекавшагося охотой. Сферой дѣятельности Зоси осталась бы деревня; городъ ея не привлекаетъ, а модные наряды настолько ей противны, что вопреки настоянню Телимены она надѣваетъ въ день обрученія съ Тадеушемъ не модное платье, а простой деревенскій нарядъ. И на такое повшество, какъ отдать крестьянамъ земли, на которыхъ они сидятъ, Зося соглашается безпрекословно. Этотъ разговоръ стоить привести. Онъ показываетъ, чѣмъ былъ дорогъ Тадеушъ сердцу Мицкевича, что хотѣлъ поэтъ сказать въ этой поэмѣ, чтобы утѣшить и обнадежить свѣтлымъ будущимъ свой разбитый народъ. «Тадеушъ что-то важное (соріпнего) говорить шопотомъ своей будущей женѣ. «Софія! Я долженъ посоветоваться съ тобой по очень важному дѣлу; дядо я ужъ спрашивалъ, онъ ничего не имѣетъ противъ. Ты знаешь, что значительная часть деревень, которыми я долженъ владѣть, по закону должна была бы достаться тебѣ. Эти крестьяне не мои, а твои крѣпостные (rodzani), и я не рѣшился бы устроить ихъ судьбу безъ согласія ихъ госпожи. Теперь, когда у насъ уже есть дорогая Родина (вѣра въ Наполеона, который долженъ былъ соединить Польшу съ Литвой и возстановить Рѣчь Посполитую), неужели отъ этой счастливой перемены крестьяне пріобрѣтутъ лишь то, что получаютъ новаго господина? Правда, что до сихъ поръ ими владѣли милостиво, но послѣ моей смерти, Богъ вѣсть, кому они достанутся. Я солдатъ, а смертны мы оба; я человѣкъ, и самъ боюсь своихъ капризовъ. Будетъ безопасно, если я откажусь отъ власти и предоставлю участь крестьянъ защитѣ закона. Сами свободные, сдѣлаемъ свободными и крестьянъ, отдадимъ имъ въ наслѣдственное владѣніе землю, на которой они родились, которую они

завоевали (сдѣлали культурной) кровавымъ трудомъ и которой они всѣхъ кормятъ и обогащаютъ. Но я долженъ тебя предупредить, что раздача этихъ земель уменьшитъ наши доходы, и намъ придется жить скромно. Я смолоду привыкъ къ бережливой жизни, но ты, Софія, происходишь изъ знатнаго рода; свои молодые годы ты провела въ столицѣ. Согласишься ли ты жить въ деревнѣ, вдали отъ свѣта, какъ простая помѣщица?..» На это Зося отвѣчала скромно: «Я женщина, и не мнѣ управлять дѣлами. Вѣдь ты же будешь мужемъ, а я еще молода, чтобы совѣтовать. На все, что ты задумаешь, я согласна всѣмъ сердцемъ. А если, освобождая крестьянъ, ты станешь, Тадеушъ, бѣднѣе, то еще дороже ты будешь моему сердцу. О родѣ своемъ я знаю мало и не забочусь объ этомъ. Помню только, что я была бѣдной сиротой (дочерью Евы; «дочь стольника со своимъ мужемъ воеводой была куда-то отправлена въ Сибирь и тамъ умерла молодой, а дома оставила дочку, маленькую Зося», которая и была воспитана Телименой), что въ домѣ Солицъ я была принята, какъ дочь, въ ихъ домѣ воспитана и выдана замужъ. Деревни я не боюсь. Если я и жила въ большомъ городѣ, то ужъ давно забыла объ этомъ, а деревню я всегда любила. Повѣрь мнѣ, что мои пѣтушки и курочки гораздо больше мнѣ нравятся, чѣмъ тамошнія петербурженки. Если я иногда скучала по развлечениямъ и по людямъ, такъ это просто отъ ребячества; теперь я знаю, что въ городѣ мнѣ скучно. Этой зимой, когда я недолго побывала въ Вильнѣ, я убѣдилась, что рождена для деревенской жизни: среди развлеченій я мечтала о Солицовѣ. Работы я тоже не боюсь; вѣдь я молода и здорова; я умѣю хозяйничать, беречь добро; ты увидишь, какъ я научусь хозяйничать!» Такимъ аккордомъ кончается эта пѣжная мелодія тихой и идиллической любви Тадеуша. И онъ, и его невѣста уже новые люди. Это не старая шляхта, но граждане новаго государства съ новыми уметвенными и нравственными запросами. Однако между ними и старшиной нѣтъ конфликта. Никого не возмущаетъ намѣреніе Тадеуша отпустить крестьянъ на волю. Эта подробность согласна съ исторіей. Мы знаемъ, что съ 1807 года шляхта сначала Бѣлостокскаго округа, потомъ Виленской губерніи поднимала нѣсколько разъ вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права. И въ этомъ отношеніи, какъ во всѣхъ остальныхъ, Тадеушъ не былъ «героємъ» героической эпохи. Это былъ средній представитель своего поколѣнія. Мицкевичъ могъ гордиться и радовать-

ся, что, не отступая от исторической правды, онъ далъ свѣтлые образы этого поколѣнія, Тадеуша и Зося. Но спасти Литву они все-таки не могли. Настоящихъ политическихъ умовъ, какихъ либо большихъ талантовъ здѣсь не было, и поэма заканчивается картиной теплаго солнечнаго заката, создающей грустное, но примиренное настроеніе. «Солнце уже гасло, вечеръ былъ теплый и тихій; небосводъ кое-гдѣ былъ закрытъ тучками, наверху онъ былъ голубоватъ, а къ западу розовѣлъ. Тучки предсказываютъ хорошую погоду: легкія и блестящія, тамъ онѣ подобны стадамъ овецъ, спящихъ на травѣ, здѣсь онѣ нѣсколько меньше и похожи на стада чирковъ; на западѣ стоитъ облако въ видѣ занавѣски съ фестонами, прозрачное, все въ складочкахъ, сверху жемчужное, по краямъ позолоченное, въ глубинѣ цуриуровое; оно еще тлѣло и пылало блескомъ заката, но понемногу все болѣе желтѣло, блѣднѣло и сѣрѣло. Солнце опустило голову, отодвинуло облако и уснуло, еще разъ вздохнувъ теплымъ дыханіемъ. А шляхта все еще пьетъ за здоровье Наполеона, военачальниковъ, Тадеуша, Зоси и наконецъ поочереды всѣхъ трехъ обрученныхъ паръ, за всѣхъ присутствующихъ гостей, за всѣхъ приглашенныхъ, всѣхъ друзей, какихъ только можетъ припомнить въ живыхъ, и за всѣхъ почившихъ, о которыхъ хранится вѣчная память. И я тамъ былъ съ гостями, медъ и вино пилъ, и то, что видѣлъ и слышалъ, помѣстилъ въ этихъ книгахъ». Такъ кончается сказочнымъ рефреномъ послѣдняя польская поэма великаго эника, воплоителя шляхетскихъ стремленій и вѣрованій.

«Панъ Тадеушъ» появился въ печати въ началѣ іюля 1834 года. По свидѣтельству Владислава Мицкевича (II. 304), эмиграціонная печать, всецѣло поглощенная внутренними раздорами, или обошла поэму молчаніемъ, или сурово обрушилась на нее. Не доѣхавши сначала «Пана Тадеуша» и тѣ, которые прежде всего могли понять его значеніе? Словацкій сообщалъ въ письмѣ къ матери, что «героиня поэмы, хоть и пасеть гусей, отличается какой-то свѣжестью старинныхъ описаній». Красинскій считалъ «Пана Тадеуша» поэмой мелкой шляхты. Другіе возмущались «провинціализмомъ» Мицкевича, обнаружившимся въ восклицаніи: «Litwo, ojczyzna moja», и пародировали: «О, Кіевская губернія!» или «О, Латышевскій уѣздъ» и т. п. Видимо, достигшій гениальнаго расцвѣта поэтъ переросъ своихъ современниковъ. Пужно было привыкнуть къ его образамъ и такъ же бессознательно проникнуться ихъ красотой.

какъ мы всегда проникаемся новыми идеями и новыми чувствами, которыя раскрываетъ въ нашей душѣ художникъ, чтобы всѣмъ стало ясно, какое великое національное твореніе далъ Мицкевичъ въ своемъ «Панѣ Тадеушѣ». Ни одинъ польскій поэтъ до того времени не вложилъ въ свои произведенія столько горячей, умленной, всепрощающей любви къ родинѣ, какъ это сдѣлалъ Мицкевичъ въ своей поэмѣ. И надъ дразгами взаимныхъ счетовъ онъ высоко зажегъ маякъ этой любви, который освѣтилъ и продолжаетъ освѣщать тернистый путь многихъ поколѣній польскаго народа въ обѣтованный край воскресенной и объединенной родины.

ГЛАВА XXII.

**Женитьба. Перѣздъ въ Лозанну. Лекціи въ Швейцаріи
(1834—1840).**

Весной 1834 года, окончивъ «Пана Тадеуша», Мицкевичъ сильно затосковалъ. Его томилъ одиночество, и мучила «жизненная борьба» (*walka zycia*). Вопросъ о женитьбѣ все чаще вставалъ передъ нимъ, но женскаго общества около Мицкевича теперь не было. Въ это время въ Парижъ пріѣхалъ изъ Петербурга его знакомый, Ст. Моравскій, который черезъ Мицкевича же близко сошелся съ семьей Шимановскихъ. Пѣанистка Марія Шимановская уже умерла; одна изъ ея дочерей вышла замужъ за Франциска Малевскаго, у другой тоже былъ женихъ и, въ концѣ 1830 года, Мицкевичъ добродушно разспрашивалъ, вышла ли уже замужъ «наша прекрасная оригиналка», и просилъ, чтобы она выбрала его въ крестные отцы перваго сына. Между тѣмъ Марія Шимановская скончалась, матеріальное положеніе семьи ухудшилось, женихъ Целны послѣднѣ отказался отъ ея руки, и бѣдная дѣвушка должна была поселиться въ Варшавѣ у родственниковъ. Въ февралѣ 1834 года, Мицкевичъ рѣшилъ сдѣлать ей черезъ Моравскаго предложеніе. Письмо его къ Одынцу, относящееся къ тому же времени, рисуетъ душевное настроеніе поэта и объясняетъ, какъ онъ пришелъ къ этому шагу: «Ты счастливѣе другихъ, нищеть Мицкевичъ Одынцу, въ своемъ *положеніи мужа* и въ своихъ религіозныхъ чувствахъ ты най-

дешь защиту и утѣшеніе. Не бывши никогда очень дурнымъ, легче сдѣлаться очень хорошимъ. Вѣрь мнѣ, что это и есть основа счастья, а кромѣ сознанія собственныхъ винъ, другого настоящаго несчастья не бываетъ. Не оглядываться ни на кого, кромѣ себя, мало обращать вниманія на свѣтъ и людей: вотъ единственное наставленіе, которое легко повторять, но всю важность котораго лишь поздно удастся почувствовать во всемъ его значеніи. Я живу здѣсь почти одинокій, съ людьми мнѣ дѣлается все труднѣе, а чѣмъ меньше я ихъ вижу, тѣмъ мнѣ пріятнѣе. Я убѣждаюсь, что жить и работать слишкомъ много только для свѣта, ради пустыхъ похвалъ и мелкихъ цѣлей. Мнѣ кажется, что больше я уже никогда не возьмусь за перо изъ-за пустяковъ. Только то сочиненіе чего-нибудь стоитъ, изъ котораго человекъ можетъ чему-нибудь научиться для своего исправленія. Можетъ быть, я бросилъ бы и «Тадеуша», но онъ уже приближался къ концу. Какъ разъ вчера я его кончилъ. Двѣнадцать огромныхъ листовъ! Много пустого, но много и хорошаго. Самъ прочитаешь. Недѣли черезъ двѣ начну печатать. Множество работы съ перепиской. Что тамъ лучше всего, такъ это картинки, взятая изъ природы, картины нашего края и нашихъ домашнихъ нравовъ. Я едва могъ окончить, потому что душа (dush) тянула уже въ другую сторону, къ дальнѣйшимъ частямъ «Дѣдовъ», отрывки которыхъ я писать мимоходомъ. Изъ «Дѣдовъ» я хочу сдѣлать единственное свое сочиненіе, достойное чтенія, если Богъ дастъ закончить его». Это былъ такой же душевный переломъ, какой пережилъ Гоголь, ужаснувшись своихъ прежнихъ произведеній, какой съ извѣстными измѣненіями пережилъ и Толстой. Мицкевича тянуло начать «настоящую жизнь», серьезный подвигъ самосовершенствованія и праведнаго учительства. Опору для этого подвига онъ хотѣлъ найти въ «домашнемъ счастьѣ, пока можно быть дома», и въ этомъ отношеніи Мицкевичъ оказался счастливѣе Толстого: больная и слабая, Целина не была для польскаго поэта «десятишудовой тяжестью», которой онъ долженъ былъ отдавать все свои силы. Какъ могла, она шла рядомъ съ нимъ, неся вмѣстѣ съ нимъ тяжкій подвигъ жизни.

20 февраля Целина дала свое согласіе на предложеніе Мицкевича, 29 іюня она пріѣхала въ Парижъ, усталая и смущенная свиданіемъ съ женихомъ, котораго она не видѣла уже нѣсколько лѣтъ. Нѣсколько дней спустя между ними произошло серьезный

разговоръ, въ видѣ взаимнаго откровеннаго признанія во всемъ-прошломъ, ибо «безъ такой искренности въ совместной жизни не можетъ быть и тѣни счастья». 22 июля 1834 года была совершена скромная свадьба, о которой мало кто и зналъ. И жизнь послѣ свадьбы пошла такая же скромная и уединенная въ маленькой квартирѣ въ три комнаты. «У насъ хорошенекій домикъ, писала Целина, въ которомъ, кромѣ хозяевъ и насъ, никто не живетъ. Я выхожу очень мало, ты знаешь, что мой папъ не любитъ ни визитовъ, ни этикета, но у насъ есть друзья, которые не забываютъ о насъ. Я буду много играть на фортепьяно, чтобы хоть этимъ развлекать милаго Адама». Целина жаловалась на то, что она плохая хозяйка, хотя и очень старается: «мы живемъ очень бережливо, а тратимъ все-таки довольно много». Мицкевичъ же въ августѣ писалъ Одыщу: «Распространяться о моемъ теперешнемъ счастьѣ еще рано. Скажу только, что вотъ уже три недѣли я не былъ ни разу въ дурномъ расположеніи духа, а часто чувствовалъ себя такимъ веселымъ и пустымъ, какимъ давно уже не былъ. Пожелай же, чтобы такъ было всегда. Целина тоже увѣряетъ, что совершенно счастлива, и тѣшится, какъ ребенокъ. Съ утра она варитъ кофе, потомъ дѣлаетъ видъ, что хозяйничаетъ, вертится, щебечетъ и смѣется до самаго вечера. Вечеромъ прежняя компанія, иногда къ намъ заглядываютъ Домейко и кое-кто изъ другихъ. Но мои знакомые еще не совсѣмъ привыкли къ моей новой мебели; немножко стѣсняются. Понемножку, однако, я вернусь къ прежнему образу жизни, начну что-нибудь дѣлать, а то все это время тѣшился и только наслаждался жизнью». Работать надо было уже потому, что денегъ у новобрачныхъ было не слишкомъ-то много: приданое Целины состояло въ платьяхъ да нѣсколькихъ драгоценностяхъ. Сестра ея, Елена, вышедшая замужъ за Малевскаго, имѣла всего около 600 р. въ видѣ украшеній и посуды; у Целины было какъ будто немножко больше. Одынецъ переслалъ Мицкевичу нѣсколько тысячъ франковъ за продажу варшавскаго и познанскаго изданій, но лицо, которое должно было доставить деньги въ Парижъ, проиграло ихъ въ карты. До конца 1834 года средствъ все-таки хватало, хотя съ потерей этихъ денегъ печѣмъ было заплатить за обстановку, которую Мицкевичъ сдѣлалъ передъ свадьбой. Подкрадывалась бѣдность. Въ апрѣлѣ слѣдующаго года пришлось уже отказаться отъ прислуги: «Целина сама завѣдуетъ и домою и кухней»,

не безъ торжественности записатьъ въ своемъ дневникѣ хроникеръ эмигрантской жизни, Э. Янушкевичъ. Пріятели упрощали Мицкевича, чтобы онъ далъ продолженіе «Пана Тадеуша», напр., исторію его сына. По развѣ это могло обезнечить поэта, нуждавшагося въ заработкѣ? Въ мартѣ сталъ выходить журналъ «Revue des Etats du Nord», гдѣ Польшѣ было удѣлено видное мѣсто. Въ первомъ же номерѣ его Мицкевичъ напечаталъ статью «De la peinture religieuse moderne des Allemands», гдѣ застаивалъ на высокомъ нравственномъ служеніи живописи. Въ маѣ онъ помѣстилъ въ томъ же журналѣ «отрывокъ изъ мемуаровъ польскаго сержанта», проникнутую патриотическимъ настроеніемъ «Медовую недѣлю повобранца»; на этомъ и кончилось сотрудничество Мицкевича въ этомъ журналѣ, издатель котораго, Шнациръ, сдѣлалъ неблаговидную вещь, напечатавъ нѣмецкій переводъ «Пана Тадеуша», надъ которымъ онъ трудился будто бы совместно съ авторомъ, хотя поэтъ прослушалъ только начало перевода. Мицкевичъ углубился въ мистическую литературу, въ сочиненія Сень-Мартена и т. под. И на задачи писателя онъ смотрѣлъ теперь все серьезнѣе: «Истинная поэзія нашего вѣка еще не родилась, писалъ онъ въ октябрѣ Кайсевичу: видны только признаки пришествія. Мы слишкомъ много писали для забавы или для слишкомъ ничтожныхъ цѣлей. Припомни, пожалуйста, слова Сень-Мартена: *on ne devai écrire de vers qu'après avoir fait un miracle*. Мнѣ кажется, что вернется времена, когда нужно будетъ быть святымъ, чтобы быть поэтомъ, что потребуются вдохновеніе и познаніе свыше о вещахъ, которыя разумъ не можетъ повѣдать, чтобы пробудить въ людяхъ почтеніе къ искусству, которое слишкомъ долго было актрисой, блудницей или политической газетой. Эти мысли часто возбуждаютъ во мнѣ сожалѣніе и почти угрызенія совѣсти; мнѣ часто кажется, что я вижу обтраванную землю поэзіи, какъ Моисей съ горы, но я чувствую, что недостойнъ войти въ нее. И все-таки, я знаю, гдѣ она лежитъ, и вы, молодые, смотрите въ ту сторону». Можно ли было съ такимъ пониманіемъ поэзіи и съ такимъ жгучимъ сознаніемъ своего безплія писать по заказу? А денегъ уже совѣтъ не было. Целина стойко выносила нужду, просила родныхъ прислать все, что у нея было, и продолжала увѣрять, что она совершенно счастлива, и что съ каждымъ днемъ «Адамъ кажется ей все лучше». Молодые ждали перваго ребенка. 7 сент. 1835 года родилась дочка

Марія, первый желанный ребенокъ, въ которомъ родители находили все больше достоинствъ. «Мать съ каждымъ днемъ открываетъ все новыя, и я понемногу начинаю вѣрить ея открытіямъ», шутилъ поэтъ. Для нравственныхъ исканій Мицкевича въ эту пору особенно характерно его требованіе въ одномъ изъ писемъ къ Нѣмцевичу, чтобы всеѣмъ была предоставлена свобода возможность по-своему служить родинѣ, «потому что, дѣйствительно, нельзя угадать, въ чемъ заключается наше земное спасеніе, судьба нашей отчизны». Эти слова въ устахъ автора «Книгъ польскаго народа» и 3-ей части «Дѣдовъ» обнаруживаютъ не прекращавшійся въ сознаніи поэта процессъ напряженныхъ исканій нравственнаго выхода изъ сложившагося тяжкаго политическаго положенія. Убѣнный этому принципу, онъ сочувствуетъ возникающему среди шляхты религіозно-мистическому направленію и даже беретъ на свое имя въ долгъ у кн. Адама Чарторыйскаго 600 франковъ для найма помѣщенія для какого-то сомнительнаго опыта въ этомъ родѣ, гдѣ бывшіе поклонники философіи и свѣтскихъ удовольствій (Янскій, Кайсевичъ и др.) должны были учить истинной католической вѣрѣ. «Повидимому, они мечтали сдѣлаться рыцарями будущаго ордена, который долженъ будетъ освободить гробъ Польши изъ рукъ невѣрныхъ, но ограничились тѣмъ, что наняли нѣсколько человекъ, утомленныхъ безплодной борьбой партій, и готовили себя и другихъ для учительства среди эмигрантовъ» (*Żywot*. II. 348.) Организція, одна изъ многихъ, предшествовавшихъ тованизму или идущихъ съ нимъ рядомъ, довольно скоро прекратила свое существованіе, хотя т. наз. «домикъ Янскаго» пережила ее на нѣсколько лѣтъ.

Въ началѣ 1836 года матеріально Мицкевичамъ было очень тяжело. Въ февралѣ братъ поэта, Александръ, профессоръ Харьковскаго университета, прислалъ ему 1000 польскихъ злотыхъ, но жить въ Парижѣ все-таки было невозможно, и весною Мицкевичи переселись въ окрестности столицы, деревню Domont, гдѣ художникъ Давидъ предоставилъ имъ бесплатно свой домикъ. 24 февр. Целина писала сестрѣ: «Все мы трое вполне здоровы, съ кормленіемъ у меня не было никакихъ затрудненій. Няньки я не взяла, потому что намъ и одну прислугу держать трудно. Играю, когда позволяетъ время, а пѣніе совѣмъ забросила... Что касается насъ, то разъ ты меня просишь, чтобы я сказала откровенно, то я считаю своимъ долгомъ сказать тебѣ правду. Постоян-

ныхъ доходовъ у насъ ни гроша, и мы не надѣемся имѣть ихъ. Что касается работъ Адама, то ихъ много, но какъ ихъ сбыть? Живемъ, какъ возможно, скромнѣе, но все-таки жить-то нужно, а деньги ни откуда не приходятъ. Что будетъ дальше, не знаю. Можетъ быть, поможетъ Господь Богъ. На Него одна надежда! И все-таки Целина благословляла свою судьбу и упрасивала сестру ничего не рассказывать объ ихъ бѣдственномъ положеніи въ Парижѣ: «намъ было бы очень больно, если бы объ этомъ кто-нибудь зналъ, кромѣ васъ». Въ поискахъ денегъ Целина вспоминала, что у нея есть еще какой-то «черный кружевной велонъ», и просила продать его за 100 франковъ. Но достойный товарищъ Мицкевича въ этой жизненной борьбѣ, молодая жена его, не падала духомъ. Грустныя письма она писала только сестрѣ, другимъ же сообщала, что у нихъ все благополучно: «знамъ очень хорошо и спокойно». Въ маѣ этого года Мицкевичъ работалъ «надъ своей польской исторіей, а иногда бросаю ея, и тогда мы (пишетъ Кайсевичъ) уговариваемъ его опять взяться за нее. Я надѣюсь, что до зимы онъ ее кончитъ, но онъ говоритъ: я убѣжденъ, что напечатаю опять что-нибудь незаконченное, какъ это было со мной всю жизнь». Эмигранты получали пособіе отъ французской казны, но Мицкевича вполнѣ справедливо французское правительство не хотѣло занести въ число эмигрантовъ, такъ какъ въ возстаніи 1830 года онъ, въ сущности, не принималъ участія, и самъ Мицкевичъ въ 1833 году протестовалъ въ письмѣ къ министру Броли, чтобы съ нимъ поступали, какъ съ эмигрантомъ. Такимъ образомъ, всѣ старанія Адама Чарторыйскаго добыть для Мицкевича какую-нибудь пенсію разбились. Въ іюль 1836 года опять любопытное письмо Целины къ сестрѣ: «Адамъ хотѣлъ бы на зиму уѣхать въ провинцію, гдѣ жизнь гораздо дешевле, но это лишь въ томъ случаѣ, если наши денежныя дѣла позволятъ намъ дѣлать путешествія; иначе мы совсѣмъ устроимся въ деревнѣ, въ Domont. Квартира здѣсь намъ ничего не стоитъ, а мы больше всего думаемъ объ экономіи». И опять она прибавляла, что «для полного счастья» ей не хватаетъ только повидаться съ сестрой, которой она посылаетъ при этомъ матерію, привезенную ей родственницей изъ Лондона. «Это *à la mode*, а я все-равно носить не буду». Въ концѣ іюля Мицкевичъ получилъ 1000 франковъ отъ познанскаго магната Рачинскаго, который посылалъ ему эти деньги въ видѣ гонорара за какую-нибудь

балладу. Какъ отвѣтить на это поэтъ, не знаетъ и его тщательнѣйшій биографъ, сынъ Владиславъ, но въ августѣ мы опять слышимъ о довольно плохомъ состояннн денежныхъ дѣлъ Мицкевича. Поэтъ ссылался на Платона, утверждавшаго, что забота о завтрашнемъ днѣ убиваетъ душу, приводить притчу о птицахъ небесныхъ. «Его достойная Целина это второй Адамъ: прекрасная, но какъ, онъ безпорядочная (игра словъ: ładna ale jak on bezładna), мало заботящаяся о томъ, что будетъ черезъ два или три мѣсяца». Этотъ отзывъ принадлежитъ весьма практичному человѣку, Янушкевичу. И онъ же прибавляетъ нѣсколько подробностей, которыя показываютъ, что матеріальная невзгода все-таки сильно удручала обоихъ Мицкевичей. Предстояло жить зимой въ заброшенной и почти пустой виллѣ Давида, въ Домонѣ. Целина плакала, Адамъ не могъ взяться ни за какую работу, ходилъ печальный и понурый: въ концѣ августа была больна и дѣвочка, обожаемая родителями, и самъ Мицкевичъ. Однако, въ то же время у нихъ нашлось въ сердцѣ мѣсто и для другихъ нуждающихся: больной, чахоточный эмигрантъ Водзинскій, который давалъ урокъ въ одномъ французскомъ семействѣ, не захотѣлъ оставаться здѣсь дольше, когда мальчика отдали въ пансіонъ, какъ ни уговаривали его родители мальчика. Целина Мицкевичъ настойчиво уговаривала Водзинскаго перебраться къ нимъ. «Комната для васъ уже готова. Поздравляемъ васъ, милый нашъ Карлъ, и желаемъ себѣ поскорѣ видѣть васъ здѣсь». Вскорѣ Водзинскій былъ уже въ Domont. А 3 октября Янушкевичъ записываетъ въ своемъ дневникѣ слѣдующее: «Получилъ 569 франковъ отъ графа Вонсе(овича). Отдалъ Мицкевичу 500, которые будто бы приходится ему за изданіе «Пилигрима», на 24 франка купилъ чаю, а 45 фр. далъ его портному и этимъ уменьшилъ его долгъ. По дорогѣ въ Домонъ разминулся съ Адамомъ. Целина, получивъ деньги, признала въ такомъ ихъ появленнн удивительную милость Промысла, потому что въ касѣ не было уже ни гроша. Она оставила меня на обѣдъ, который сама готовила, потому что кухарка, не имѣя, что готовить, пошла стирать бѣлье. Была холодная жареная говядина, а какой-то соусъ не удался, молоко для макаронъ и супа сбѣжало. Возвращаюсь въ Парижъ и нахожу Адама, дремлющаго на моей постели съ трубкой во рту. Обрадованный новостью, онъ велѣлъ на утро приготовить платье, а мнѣ далъ званіе *единственнаго издателя*, который такъ хо-

рошо расплачивается съ авторами. Вотъ незаслуженная похвала». Получка окрылила Мицкевича. Онъ принялся искать квартиру въ Парижѣ и составилъ новый практическій планъ: «хочетъ выкупить брилліанты жены и продать ихъ; разсудилъ, что брилліанты не пужны, а за нихъ можно получить 2500 франковъ». Квартиру наняли за 520 фр. На самомъ дѣлѣ она стоила 600, но Янушкевичъ взялъ по секрету на себя 80 фр., такъ какъ Мицкевичъ не хотѣлъ платить больше. Такъ вели друзья непрактичнаго поэта его финансовыя дѣла. Янушкевичъ, вообще, не представляется симпатичной личностью. Большой практикъ, онъ и въ Парижѣ на польскихъ изданіяхъ умѣлъ ничего не терять, и его отношеніе къ Словацкому было далеко не безупречнымъ. И самъ передъ собою онъ какъ будто оправдывается: «Вы не можете себѣ представить, что такое Адамъ. Моя любовь къ нему доходитъ почти до фанатизма. Онъ представляется мнѣ какимъ-то высшимъ существомъ, къ которому я приближаюсь со священнымъ трепетомъ. Это, какъ въ стихотвореніяхъ, для меня *Dla watplwych rokolei świadectwo o Bogu* (для сомнѣвающихся поклѣпкій свидѣтельство о Богѣ)». Вскорѣ послѣ переезда въ Парижъ, въ ноябрѣ 1836 года, вышелъ VIII томъ сочиненій Мицкевича, заключавшій въ себѣ произведенія, заимствованныя изъ журналовъ послѣднихъ лѣтъ, и кое-какія раньше не напечатанныя стихотворенія (напр., религиозную оду «*Arcymistrz*»). Совѣтъ новаго здѣсь не было ничего. Въ эти послѣдніе мѣсяцы 1836 года Мицкевичъ опять писалъ, но, къ сожалѣнію, не по-польски, а по-французски. Онъ видѣлъ, что французскіе драматурги зарабатываютъ большія деньги, и хотѣлъ написать драму на французскомъ языкѣ, чтобы поставить ее на сцену. «Если удастся и поправится публикѣ (уже готова), писалъ онъ Одыщу, она можетъ поправить наши денежные дѣла; другая же работа (*dzielko*) уже задумана, если хорошо пойдетъ первая». хлопоты о постановкѣ этой драмы, «*Барскіе конфедераты*», заняли нѣсколько мѣсяцевъ въ 1837 году и окончились неудачей, несмотря на протекцію Жоржъ Зандъ.

Я не буду останавливаться подробно на этомъ произведеніи, такъ какъ, написанное на французскомъ языкѣ, оно, несомнѣнно, не сыграло никакой роли въ исторіи польскаго общества, польской литературы. Да и самая рукопись драмы затерялась, и сохранились лишь два первыхъ дѣйствія, которыя даютъ представление только о началѣ «*Барскихъ конфедератовъ*». Такимъ обра-

зомъ, она интересна, какъ миѣ кажется, только какъ одно изъ проявленій умственной жизни Мицкевича. Своей драмой поэтъ хотѣлъ пробудить падающія во французскомъ обществѣ симпатіи къ Польшѣ и показать ему, какъ выражается критикъ этой драмы, А. Белзиковскій, что въ наследство отъ прошлаго, исполненнаго рыцарскимъ духомъ и благородствомъ, Франція получила братство съ несчастнымъ народомъ, котораго она не должна покидать. Эта политическая тенденція ложится тяжелымъ бременемъ на творчество художника и мѣшаетъ свободному полету его воображенія. А между тѣмъ за образецъ для этого своего произведенія Мицкевичъ избралъ самое свободное по формѣ изъ всѣхъ своихъ твореній, третью часть «Дѣдовъ». Въ этихъ двухъ актахъ такъ же мало дѣйствія, какъ въ «Дѣдахъ», но были набросаны фигуры историческихъ людей эпохи, Каз. Пуласкаго, ксендза Марка, которому посвятилъ трагедію и Словацкій, русскаго ген.-губернатора, графини, которая стоитъ между побѣдителями и побѣжденными. Ксендзь Марекъ представленъ Мицкевичемъ иначе, чѣмъ у Словацкаго: у этого послѣдняго онъ мученикъ народнаго дѣла, отрешився ради него отъ своей личной жизни и умирающей смертью святого; у Мицкевича этотъ священникъ лишь въ извѣстныя минуты подъема достигаетъ нравственной высоты настроенія, а чаще это человѣкъ минуты и страстнаго увлеченія. Одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, воевода, которому въ дальнѣйшемъ развитіи драмы предстояла, вѣроятно, доминирующая роль, приступаетъ къ возстанію барскихъ конфедератовъ не по убѣжденію, но влѣдствіе оскорбленнаго чувства гордости: его дочь, графиня, считается любовницей русскаго генерала, и именно противъ него составляетъ планъ воевода. «Онъ приступилъ къ конфедерации, вызвалъ Пуласкаго въ Карпаты и внушилъ ему мысль нанять на Краковъ только потому, что тамъ находились его дочка и генераль, и съ той цѣлью, чтобы захватить ихъ въ свои руки и распорядиться, какъ ему подскажетъ чувство справедливости. Личная месть, чувства чисто человѣческой натуры, однимъ словомъ, личные интересы руководятъ его поступками». Пуласкій когда-то былъ влюбленъ въ графиню, но даже и думать не смѣлъ о женитьбѣ на ней. Такимъ образомъ, къ политическимъ событіямъ присоединялась въ задуманной Мицкевичемъ драмѣ и борьба личныхъ чувствъ, коллизія, которая требовала именно драмы, дѣйствій. Между тѣмъ, по свидѣтельству выдающагося французскаго драматурга Мальфи-

ля, именно дѣйствія-то и было мало въ «Барскихъ конфедератахъ». Такъ же судить и французскій актеръ, Бокажъ. Драма не появилась на сценѣ. Не была закончена и другая французская драма, которую задумалъ Мицкевичъ: «Jacques Jasinski ou les deux Polognes». Неудача первой попытки, повидимому, остановила работу надъ этой драмой, отъ которой сохранилось только нѣсколько сценъ. Здѣсь должна была представиться противоположность между двумя поколѣніями, столкнувшимися въ 1794 году, поколѣніями французской подражательности и старыхъ польскихъ обычаевъ.

Въ убогомъ хозяйствѣ Мицкевича неудачи его предпріятій значили, конечно, очень много: терялась надежда имѣть приличный заработокъ, который позволилъ бы семьѣ существовать. Можно догадываться, что нужда заставила поэта воспользоваться тѣми деньгами, которыя прислалъ ему Рачинскій. Въ апрѣлѣ 1837 года Мицкевичъ писалъ ему, что скоро вышлетъ стихи, и Рачинскій не сталъ ждать обѣщанныхъ стиховъ, просилъ Мицкевича писать по-польски о Польшѣ, бралъ на себя обязанность издавать все, что пропустить берлинская цензура, и отправилъ поэту еще 200 талеровъ, чувствуя себя какъ бы его должникомъ за «Пана Тадеуша».хлопоталъ за Мицкевича опять и Чарторыйскій, которому, наконецъ, удалось получить для него отъ французскаго правительства 1000 франковъ единовременнаго пособія и по 80 ежемѣсячнаго. Это было въ іюлѣ, и тогда же Мицкевичъ получилъ тысячи три франковъ изъ Вѣны. Такимъ образомъ, онъ могъ выкупить и женщины брилліанты и оставить у Янушкевича на храненіе полторы тысячи франковъ. Судьба неожиданно помогла «птицамъ небеснымъ», которыя не думали о завтрашнемъ днѣ. Они могли и лѣто провести на дачѣ (въ Saint-Germain), и на зиму обзавестись теплой одеждой. И даже фортепяно для Целины могъ теперь купить Мицкевичъ, и она горячо (szczyrze) принялась за музыку. Въ октябрѣ одинъ изъ его издателей, Геловицкій, предложилъ перепечатать первые три тома, такъ, чтобы вмѣстѣ съ другими сочиненіями они представили какъ будто совершенно новое изданіе. Мицкевичу предлагали за это половину прибыли, которую опредѣляли minimum въ 300 франковъ. Эту сумму Геловицкій брался уплатить непременно послѣ новаго года, а «если изданіе распродается, то остатокъ половины прибыли, которая можетъ дойти до 1000 франковъ, если разоидутся всѣ

экземпляры», должна была достаться также Мицкевичу. Онъ согласился на это предложеніе. Такъ закончился 1837 годъ, который имѣлъ еще то значеніе въ жизни поэта, что у него начинали складываться новыя связи: чрезвычайно важная въ развитіи его религиозныхъ настроеній дружба съ Эдгаромъ Кинне и съ Мишле относится къ 1837 году. И въ это время папа благоволилъ къ Мицкевичу и посылалъ ему свое благословеніе. Настроеніе мистически-религіозное становилось, какъ кажется, его постояннымъ настроеніемъ.

Жизнь поэта шла чрезвычайно уединенно. «Мы живемъ какъ будто бы не въ Парижѣ, а въ какомъ-нибудь деревенскомъ затишнѣ,—писала Целина 15 марта 1838 года:—кромѣ костела и Люксембурга я нигуда не выхожу и очень довольна этимъ; у насъ бываетъ нѣсколько друзей, но очень тихо и скромно. Вотъ отчетъ о нашей жизни. Конечно, это не можетъ быть названо блестящимъ положеніемъ, но мы счастливы и спокойны, и я нахожу, что большаго въ этой жизни нечего и требовать». И даже отъ литературныхъ критиковъ Парижа Мицкевичъ держался въ сторонѣ, ограничивая свои знакомства Жоржъ Зандъ, которая ставила его очень высоко, Альфредомъ Де-Виньи и еще кое-къмъ. Съ религіознымъ братствомъ «Объединенныхъ братьевъ», которые все больше сливались съ католичествомъ, у Мицкевича были живыя связи и близкіе знакомые (Залѣсскій, Витвицкій), и самъ онъ принадлежалъ къ братству, которое влачило, впрочемъ, весьма жалкое существованіе.

Въ концѣ іюня 1838 года родился второй ребенокъ, сынъ Владиславъ, здравствующій понынѣ, біографъ своего отца, трудомъ котораго приходится пользоваться прежде всего біографу Мицкевича. Крестнымъ отцомъ малютки былъ Адамъ Чарторыйскій, крестной матерью *православная* Вѣра Хлюстина. Такой выборъ, конечно, указывалъ на большую самостоятельность Мицкевича: избрать въ крестныя матери своего перваго сына русскую и православную такъ скоро послѣ возстанія противъ Россіи, значило вызвать не мало пересудовъ въ польской колоніи. Увеличеніе семьи опять ставило очень остро вопросъ о хлѣбѣ насущномъ, а существованіе на случайные доходы, на ничтожную эмигрантскую пенсію, на пособія великодушныхъ магнатовъ, прикрытыя теплыми фразами, было и тяжело, и страшно. Найти какой-нибудь источникъ постоянныхъ доходовъ было очередной за-

дачей Мецкевича. Въ это время онъ узналъ, что въ Лозаннскомъ университетѣ объявленъ конкурсъ на кафедру римской словесности. Профессура оплачивалась, на взглядъ Мицкевича (*P. Chmielowski Adam Mickiewicz Odczyty w Lozannie. 1885*), довольно выгодно: за нормальное число лекцій, 6 или 7 въ недѣлю, профессоръ получалъ 2800 франковъ, на которые при швейцарскихъ цѣнахъ съ семьей можно было жить. Мицкевичъ поѣхалъ во второй половинѣ октября въ Лозанну. Онъ сильно волновался и просилъ жену помолиться за него и сходить къ исповѣди. «Счастье для меня, что швейцарцы, которые ничего не знаютъ, кромѣ цѣнъ на сыръ и вино, какъ-то прослышали обо мнѣ,— писалъ онъ Целинѣ:—и почти въ эту самую минуту, когда я пишу тебѣ, я получилъ извѣстiе, что въ Женевѣ есть мѣсто профессора *des littératures comparées*, и что важные люди республики говорили обо мнѣ. Это мѣсто было бы еще лучше лозаннскаго». Пока всю свою энергію Мицкевичъ сосредоточилъ на хлопотахъ о лозаннскомъ «мѣстѣ». Великій поэтъ, духовный вождь своего народа долженъ быть ради куска хлѣба смиренно ждать, дадутъ ли ему мѣсто или отправятъ ни съ чѣмъ (*z kwitkiem*), долженъ былъ искать рекомендацій и заключать нужныя знакомства. Рекомендательное письмо пишетъ ему Чарторыйскій¹⁾; къ бывшему ректору женевской академіи Де-Кандоллю обращается съ просьбой помочь Мицкевичу его старая знакомая, бывшая Хлюстина, теперь Де-Сиркуръ. Но сочиненія Мицкевича были очень мало извѣстны въ Швейцаріи; его имя знали, но съ такой стороны, которая какъ разъ внушала швейцарцамъ извѣстныя опасенія. Именно, знали, что онъ эмигрантъ, и боялись его назначеніемъ раздражить русское правительство, знали, что онъ ревностный католикъ, и немножко безнокоплись, не внесетъ ли онъ въ свое преподаваніе элементъ «обращенія». Благодаря, однако, связямъ, которыя были у Мицкевича, ему удалось добиться отъ совѣта народнаго просвѣщенія кантона предписанія Лозаннской академіи разсмотрѣть предложеніе Мицкевича относительно «преподаванія нѣкоторыхъ предметовъ латинской литературы» и сообщить, «на какую специальную отрасль или

¹⁾ Мицкевичъ проситъ его засвидѣтельствовать, что онъ „получилъ степень магистра по литературѣ“, хотя Мицкевичъ, какъ мы знаемъ, былъ лишь кандидатомъ.

на какой специальный предмет направить преподавательскую деятельность г. Мицкевича». После такого предписания, которое раньше предполагало благоприятный для кандидата отзыв, со стороны университета в заседании 23 ноября 1838 года рассмотрели дело Мицкевича, прочитали рекомендательные письма Сисмонди и Сентбева и единогласно постановили принять кандидата и просить о назначении ему, елико возможно, большого жалования. Какъ тяжело все это было Мицкевичу, мы знаемъ по стихотворению, помѣченному Lausanne 1838, которое можетъ относиться только къ этому времени исканіи мѣста. «Надъ водою, великою и чистой, стали рядами скалы, и вода на своей прозрачной поверхности отразила ихъ черныя лица. Надъ водою, великою и чистой, пробѣжали черныя тучи, и вода на своей прозрачной поверхности отразила ихъ непостоянныя очертанія. Надъ водою, великою и чистой, сверкнула молнія и загрохоталъ громъ, и вода на своей прозрачной поверхности отразила молнію, а голосъ грома прональ, и вода, какъ прежде чистая, стоитъ великая и прозрачная. Я вижу вокругъ эту воду и вѣрно все отражаю, миную и гордая чела скаль, и молніи. Скаламъ должно стоять и грозить, тучамъ переносить дождь, молніямъ гремѣть и пронадать, а мнѣ все плыть, плыть и плыть». Это стихотворение относится, конечно, къ поѣздкѣ Мицкевича на пароходѣ по Женевскому озеру и, передавая мысль, угнетавшую поэта, что онъ осужденъ на вѣчное странническое житье, отражаетъ его тоску. Еще въ юнѣ 1837 года онъ писалъ въ Литву, что «величайшее его желаніе— еще разъ увидѣть ту сторону, гдѣ онъ провелъ свои дѣтскіе годы», и поэтъ смѣялся, что даже его бюсту предназначены вѣчныя странствованія.

Между тѣмъ его ждало большое горе, одно изъ тѣхъ несчастій, которыя ломаютъ душу человѣка, а Мицкевичъ былъ уже утомленъ и безъ того. Въ половинѣ ноября онъ получилъ извѣстіе, что Целина сошла съ ума. Это былъ первый припадокъ, предсказывающій много бѣдъ въ будущемъ. Онъ произошелъ будто бы оттого, какъ она объявляла сама позже, что молоко ударило ей въ голову. Мицкевичъ посѣлилъ въ Парижъ. Друзья его были сильно встревожены положеніемъ какъ жены, такъ и младенца, но самъ поэтъ «не былъ въ состояніи заняться ничѣмъ, кромѣ денежныхъ недостатковъ. Въ это время я не могъ даже ничего читать, — прибавляетъ Мицкевичъ, — а когда читалъ, не по-

нималь. Я вынесъ болѣе тяжелаго, чѣмъ описываю тебѣ». Жену пришлось помѣстить въ лѣчебницу, дѣтей разобрали знакомые. Отъ этого времени сохранилась цѣлая пачка писемъ поэта къ женѣ, которыя относятся, конечно, уже къ той порѣ, когда она стала поправляться. Они полны душевной боли, которая даетъ представленіе о томъ душевномъ состояніи, которое Мицкевичъ переживалъ въ концѣ 1838 года. Вѣчное возбужденіе, бессонница, тревога изъ-за денегъ. Онъ «сильно состарѣлся душой», какъ писалъ въ началѣ января 1839 г. Домейкѣ. Дѣла швейцарскія также шли подъ гору. Университетъ требовалъ присылки программы, за которую Мицкевичъ никакъ не могъ приняться; дѣло начинало «приходить въ забвеніе», какъ выражался одинъ изъ друзей поэта. Жена требовала свиданія съ дѣтьми и мужемъ, настаивала на быстромъ возвращеніи домой, приходилось успокаивать ее, убѣждать. Въ мартѣ Целлигъ стало лучше, но врачи еще не выпускали ея изъ лѣчебницы. Небо начинало разясняться надъ усталой головой поэта. Онъ былъ убѣжденъ, что мѣсто въ Лозанигъ ждетъ его, и 13 марта писалъ брату, что онъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ съ жалованьемъ въ 4800 франковъ, а 9 мая сообщаетъ Домейкѣ, что въ этомъ мѣсяцѣ собирается перебраться въ Швейцарію. «Но въ домашнихъ хлопотахъ я не имѣлъ силъ заняться корреспонденціей съ (университетскими) властями и писаніемъ проектовъ, такъ что теперь, можетъ быть, окажутся какія-нибудь препятствія». Тѣмъ не менѣе, въ началѣ іюня вся семья отправилась въ путь. Незадолго до того у Мицкевича побывали М. П. Погодинъ и Шевыревъ. Гости нашли, что онъ «похудѣлъ, постѣдѣлъ, постарѣлъ»; комната, въ которой онъ ихъ принялъ, была порядочная, но безъ всякаго убранства; самъ Мицкевичъ былъ въ старомъ изношенномъ халатѣ. У М. П. Погодина была оригинальная мысль: отъ кн. З. Волконской онъ слышалъ, будто бы Мицкевичъ раскаивается, и ему пришло въ голову уговаривать польскаго поэта «предаться великодушію» имп. Николаю. Откуда онъ взялъ, что Мицкевичъ «раскаивается», трудно сказать: вѣроятно, ему передавали пренебрежительные отзывы объ эмигрантахъ, которые «и теперь еще не прозрѣли» (въ письмѣ 9 мая 1839 г.), но предаться «великодушію» правительства, которое только что учинило новую расправу надъ Конарскимъ и его сообщниками! М. П. Погодинъ мѣрлялъ Мицкевича на свой аршинъ.

17 іюня Мицкевичи уже были въ Лозаннѣ. Они доѣхали благополучно и рѣшили пока остановиться въ меблированныхъ комнатахъ. Вскорѣ оказалось, что дѣло съ университетомъ обстоитъ не такъ хорошо, какъ они думали. «О мѣстѣ Адама я не могу еще сказать ничего опредѣленнаго, — писала Целина, — общаются, что онъ его непременно получить, но нужно ждать, такъ какъ въ Академіи произошли большія перемѣны: новый начальникъ, и онъ перемѣнилъ весь прежній порядокъ. Ты знаешь, что намъ ни въ чемъ не везетъ. Впрочемъ, — прибавляетъ жена поэта, — я не теряю надежды, нужно только немного терпѣнія». Въ виду наступившихъ въ университетѣ перемѣнъ, Мицкевичу пришлось снова выставить свою кандидатуру. Если даже это была пустая формальность (*Żywot* II. 431), она была связана съ извѣстной отерочкой, да и можно ли опредѣленно рассчитывать на успѣхъ въ какой бы то ни было избирательной коллегіи. Оказалось, что подъ видомъ застольной бесѣды его даже форменнымъ образомъ проэкзаменовали по исторіи римской литературы. Къ осени дѣло выяснилось: повидимому, обошлись безъ новыхъ выборовъ, но Мицкевичу дали только званіе экстраординарнаго профессора и предоставили возможность участвовать въ конкурсѣ на ординатуру. Другими словами, уже пройденный въ прошломъ году путь приходилось повторять теперь. 1 августа 1839 года поэтъ писалъ Домейкѣ въ Чили: «Въ прошломъ году я получилъ мѣсто профессора римской литературы въ Лозаннской Академіи. Длинная болѣзнь жены помѣшала мнѣ водвориться тамъ. Теперь я опять пріѣхалъ сюда со всей семьей и, навѣрное, верну себѣ мѣсто, буду держать экзамень на бакалавра (*będę bakałarzem*). Жена и дѣти здоровы. Мися (Марія) сильно выросла. Владя выбрался изъ долгихъ и опасныхъ болѣзней и начинать ползать; мальчуганъ будетъ худой, вышелъ въ меня, какъ Мися въ мать. Мы живемъ довольно хорошо и платимъ 80 фр. въ мѣсяць; домъ меблированный. Окна изъ моей комнаты выходятъ на Женевское озеро и на Альпы, жаль только, что до озера далеко. Я предпочитаю литовскіе пейзажи, гдѣ сейчасъ же можно улечься и заснуть; лучше они, чѣмъ эти далекія великолѣпія, которыя утомляютъ глаза, какъ волшебный фонарь. Впрочемъ, Лозанна довольно скучный городъ. Жители относятся къ намъ дружелюбно, и намъ было бы здѣсь хорошо, если бы мы могли привыкнуть къ чужой землѣ. Но тщетно: мы, какъ цыгане, всю-

ду гости. И я здѣсь, въ Лозаннѣ, такъ же одинокъ, какъ ты въ Коквимбо: только къ своимъ ближе. Я прекрасно понимаю твою тоску». Уже въ это время Мицкевичъ ждалъ разрѣшенія польскаго вопроса отъ осложненія восточнаго. «Я постоянно прошу Бога, чтобы москали взяли Константинополь. Тогда измѣнилась бы карта (postać) Европы. Но что подблаещь: москали умны, не сѣшнать, а глупые французы мѣшаютъ имъ, если не чѣмъ другимъ, то крикомъ». Это убѣжденіе привело Мицкевича въ послѣдній годъ его жизни въ Константинополь.

Только въ октябрѣ, наконецъ, выяснилось положеніе Мицкевича. Онъ получилъ назначеніе только на одинъ годъ, жалованія лишь 2700 франковъ, 8 часовъ обязательнаго преподаванія, съ обязанностию весной держать экзаменъ на бакалавра и представить диссертацию. Потомъ, по просьбѣ поэта, занятія его были нѣсколько уменьшены: онъ долженъ былъ давать 4 урока въ гимназiи и читать 2 лекціи въ университетѣ. И, когда всѣ эти переговоры были закончены, у Мицкевича еще не было увѣренности въ успѣхѣ; «Быть можетъ, и тогда меня выгонитъ русское посольство, или революція». Во всякомъ случаѣ онъ уже подготавлился къ лекціямъ и 20 сентября писалъ, что изучаетъ литературу *de re metrica, de asse romano, de siglio etc.* «Иногда умиляюсь, читая, когда вызываю передъ собой съ академическихъ лавокъ эти старыя воспоминанія. Впрочемъ, я принадлежу къ числу тѣхъ людей, которые не могутъ вынести удачи, и начинаютъ брыкаться, если у нихъ хоть три дня все хорошо. Вотъ почему Провидѣніе всегда держитъ меня подъ уздцы, и иногда такъ затягиваетъ, что я едва могу передохнуть». 12 ноября Мицкевичъ читалъ вступительную лекцію. Еще донынѣ сохранилась та кафедра «богословской» аудиторiи, на которой онъ читалъ въ Лозаннѣ. Высокая кафедра, на которую вело нѣсколько ступеней, напоминала ему эшафотъ: такъ онъ вошелъ передъ первой лекціей. Но стоило ему заговорить, и волненіе прошло. «Это былъ огонь, который пылалъ, едва разожженный, и сверкалъ, и вырывался пламенемъ...» Такъ отзывался одинъ изъ очевидцевъ лекціи, Ж. Оливье. Эта лекція сохранилась и напечатана П. Хмелевскимъ. Въ ней говорится о назначеніи курса латинской литературы, сравнивается эта послѣдняя съ греческой. «Стихіей, силой римской литературы, — говорилъ Мицкевичъ, развивая свое любимое противопоставленіе разума чувству, — является разумъ, я сказалъ бы даже, расчесть.

Греческая поэзія была природное вдохновеніе, наивное и почти животное. Это была пѣсенка народа, состоящаго изъ импровизаторовъ». Не ограничиваясь стариной, лекторъ указывалъ на современную романтическую поэзію, которая представляетъ результатъ глубокаго изученія римскихъ классиковъ. Такимъ образомъ, сравненіемъ Байрона съ римскими поэтами начала христіанской эпохи Мицкевичъ заканчивалъ эту лекцію, которая такъ отличалась отъ обычнаго шаблона. Студенты устроили ему серенаду и стали массами посѣщать его лекціи, такъ что въ аудиторіи была тѣснота. И уже тогда обнаружилось то, что впоследствии такъ сильно захватило Мицкевича: ихъ проповѣдническое и общественное направленіе. Старый профессоръ Герминьяръ рассказывалъ въ 1898 году Каллембаху о тѣхъ лекціяхъ Мицкевича, которыя ему привелось слушать студентомъ. Онъ говорилъ, что слушатели не записывали этихъ лекціи, потому что «предпочитали слушать пламенно краснорѣчивую рѣчь, которая производила колоссальное впечатлѣніе». Старикъ припомнилъ одну такую лекцію о Пруденціи, о римскихъ палацахъ, издѣвавшихся надъ христіанскими дѣтьми, «такія страшныя подробности, что взволнованный Мицкевичъ пересталъ говорить, а слушатели, затаивъ дыханіе, почувствовали, угадали душой, что дѣлалось въ это время въ сердцѣ поэта». И въ тѣхъ запискахъ, которыя дошли до насъ, обнаруживается стремленіе къ исканію «духа» народовъ, которое потомъ проходитъ и въ парижскихъ лекціяхъ. «Духъ Востока», «духъ Европы», ихъ взаимодѣйствіе: вотъ что увлекало поэта. Его лекціи часто превращались въ импровизаціи, хотя подготовка къ нимъ требовала усидчиваго труда, «каторжной» работы, какъ выражался самъ Мицкевичъ. «Я по цѣлымъ днямъ не встаю изъ-за стола, а часто до часу ночи разбираюсь въ какомъ-нибудь трудномъ латинскомъ размѣрѣ. Въ лекціонные дни я долженъ быть на ногахъ уже въ семь часовъ утра. Тогда я пожираю латынь и выплевываю ее по-французски».

Разумѣется, такая усиленная специальная работа не оставляла досуга для поэзіи. Пока не начались лекціи, въ августѣ или сентябрѣ 1839 года, поэтъ набросалъ на бумагу нѣсколько десятковъ стиховъ «съ цѣлью *сдѣлать* первую часть «Дѣдовъ». Содержаніе то же самое: мальчикъ бродитъ между могилами. Только у меня фантастичѣе (чѣмъ у Залѣскаго, которому пишетъ Мицкевичъ): онъ спитъ, а надъ нимъ хоромъ поютъ и

сѣрая польшь, и лебеда, и улитки etc. etc. Вдохновеніе меня покинуло, и я бросилъ писать». Къ осени же относится и стихотвореніе, въ которомъ говорится о постепенномъ развитіи дара любви въ человѣкѣ, дающей ему «силу создателя міра». А тоску по родинѣ, которая не оставляла его и теперь, онъ изливъ въ чудесномъ стихотвореніи, которое въ переводѣ гласитъ такъ: «Когда среди васъ сидитъ мой трупъ, смотритъ вамъ въ глаза и громко задаетъ вамъ вопросы, какъ далека отъ васъ моя душа! Она блуждаетъ и жалуется, да, жалуется. Есть у меня край, родина моихъ мыслей, много родни у моего сердца: край прекраснѣе, чѣмъ этотъ, что стоитъ передъ моими глазами, мое семейство милѣе, что вся родня (*rodzina miłsza, niż całe pokrewieństwo*: мѣсто не совсѣмъ понятное, если *rodzina* не взято въ смыслѣ родной семьи, отцовскаго дома). Туда я бѣгу среди трудовъ и заботъ, и среди развлеченій. Тамъ я сижу подъ елками, тамъ лежу среди высокой и душистой травы, тамъ гоняюсь за воробьями, ищу раковины. Тамъ вижу, какъ съ крыльца она сходитъ бѣлая, какъ летитъ къ намъ въ лѣсъ среди зеленыхъ луговъ, какъ она купается среди хлѣбовъ, въ токъ водѣ и намъ свѣтитъ съ горь, какъ заря»... О чемъ говоритъ Мицкевичъ въ этой послѣдней строфѣ? О родинѣ, о надеждѣ? О чемъ-то такомъ интимномъ, чего не хотѣлось называть даже словомъ. Такъ грезилъ поэтъ во время своихъ уроковъ, когда онъ спрашивалъ учениковъ. Вспоминались ли ему ковенскіе годы, учительство и отчаяніе по поводу тупости «жмудскихъ лбовъ»? Не даромъ именно въ эту пору его такъ живо охватывали воспоминанія о Литвѣ.

Впрочемъ, уже эта тоска по Литвѣ означала, что, въ сущности, Мицкевичу не худо. Онъ не умѣлъ быть ни спокойнымъ, ни счастливымъ, и если теперь онъ переживалъ только чувство мечтательной тоски по родинѣ, значитъ, болѣе реальнаго повода къ грусти у него не было. Порою бывало, конечно, и скучно, и одиноко, и томилась мысль о своей ненужности въ этомъ тихомъ уголкѣ Европы, но живая, серьезная работа, сравнительное спокойствіе въ семьѣ (только весной 1840 года смерть дѣда опять вывела изъ душевнаго равновѣсія Целшу, которая снова была беременна), относительная обезнеченность, отъ которой поэтъ уже отвыкъ; все это должно было сдѣлать пребываніе Мицкевича въ Швейцаріи, въ концѣ-концовъ, приятнымъ. Но судьба точно смѣялась надъ нимъ: не успѣлъ еще онъ устроиться въ одномъ

мѣстѣ, какъ она готова была перекинуть его въ другое, опять въ Парижѣ. Дѣло въ томъ, что пріятель Тьера и Кузена, которые уже были близки къ министерскимъ портфелямъ, Фонтэ (Foucher), редакторъ вліятельной газеты «Le Courrier Français», былъ женатъ на двоюродной сестрѣ Целины, Воловской. Онъ сталъ настаивать на установленіи въ «Collège de France» кафедръ славянской литературы и на приглашеніи Мицкевича на эту кафедру. Первые сношенія Фонтэ съ Мицкевичемъ по этому вопросу восходятъ къ ноябрю 1839 года. Къ веснѣ 1840 года дѣло подвинулось уже такъ далеко, что совѣтъ Лозаннскаго университета счелъ нужнымъ предпринять со своей стороны нѣкоторые шаги, чтобы удержать въ своей средѣ Мицкевича. Слава о немъ, какъ европейски извѣстномъ поэтѣ, о которомъ пишутъ восторженныя статьи сама Жоржъ Зандъ, дошла и до практическихъ швейцарцевъ, и они спохватились, что потеря его будетъ вовсе невыгодна для Лозанны. И вотъ 15 февраля 1840 года «Faculté des lettres», повидимому, поддерживая предположеніе о назначеніи Мицкевича ординарнымъ профессоромъ, отзывается въ самомъ восторженномъ тонѣ объ его заслугахъ. «Появленіе одного изъ высшихъ поэтическихъ геніевъ на университетской кафедрѣ въ Лозаннѣ, яркій блескъ, который отъ его славы распространяется и на наши учрежденія, представляютъ слишкомъ важное, слишкомъ почетное для насъ явленіе, чтобы мы могли обойти его молчаніемъ, и не привѣтствовать съ радостью. Съ первыхъ же лекцій г. Мицкевича слушатели оцѣнили его большой критическій талантъ, который не всегда соединяется, какъ у него, съ поэтическимъ, но который поддерживаетъ и вдохновляетъ этотъ послѣдній и расширяетъ его горизонты». Эти цитаты изъ длиннаго хвалебнаго отзыва достаточно выясняютъ, какъ факультетъ хотѣлъ удержать въ своей средѣ Мицкевича. Нѣсколько позже, 9 марта, поэтъ сообщилъ Фонтэ о предложеніи правительства Лозаннскаго кантона, сдѣланномъ ему. Теперь Мицкевичу предлагали 3500 фр. всего за шесть лекцій, въ то время какъ его товарищи читали по десяти и болѣе лекцій. Но свое положеніе въ Лозаннѣ поэтъ все-таки не считалъ прочнымъ: «первая революція можетъ снести всю нашу академію, исключая и мою латынь». Но еще болѣе тревожила Мицкевича болѣзнь дочери Маріи, у которой доктора находили признаки зоба; сдѣлать ей операцію значило бы оставить ей навсегда ис-

порченную шею, хорошее приданое для дочери бѣднаго эмигранта, у которой не будетъ другого приданого, кромѣ красоты. Поэтому Мицкевичъ рѣшился принять кафедру въ Парижѣ, если Кузенъ учредитъ ее. «Пожалуйста, держите меня въ курсѣ этого дѣла, потому что меня торопятъ съ окончательнымъ отвѣтомъ». Дѣйствительно, и печать, и университетъ употребили всѣ усилія, чтобы Мицкевичъ остался въ Лозаннѣ. «Nouveliste Vaudois» помѣстилъ настоящій панегирикъ поэту, а правительство назначило его ординарнымъ профессоромъ вопреки обычаю, который требовалъ, чтобы назначеніе состоялось послѣ окончанія школьнаго года. Между тѣмъ, въ Парижѣ Кузенъ, который былъ уже министромъ, проводилъ черезъ палаты учрежденіе новой славянской кафедры. Онъ опасался только, чтобы Мицкевичъ не придалъ слишкомъ политическаго характера своему преподаванію, и, конечно, имѣлъ основаніе для такихъ опасеній. «При отсутствіи политической родины эмигранты мечтали о «литературной», т.-е. о такомъ научномъ или литературномъ центрѣ, около котораго они могли бы группироваться». На опасенія министра Мицкевичъ отвѣчалъ заявленіемъ, что онъ не собирается заниматься политикой на кафедрѣ, но настаивалъ на своей независимости. И въ письмахъ поэта отъ этого времени есть слѣды опасеній, которыя ему самому приходили въ голову, сомнѣній, не придется ли ему, дѣйствительно, превратиться въ политическаго вождя. «По правдѣ сказать, писалъ онъ уже въ іюль 1840 г. Адаму Чарторыйскому: склонность привязываетъ меня къ Лозаннѣ. Вы хорошо знаете, что это такое—жить въ Парижѣ, да еще на долгѣ эмиграціи». И раньше, въ апрѣлѣ, онъ писалъ Залѣскому: «Все-таки жаль мнѣ Лозанны, гдѣ у меня есть теперь и хлѣбъ, и покой. Жаль мѣста, которое я приобрѣлъ своимъ собственнымъ трудомъ, безъ всякой иной помощи, кромѣ Божьей, невзирая на большія преніяствія. И люди здѣсь хорошіе. Но многое говорить и за Парижъ». Что же говорило за Парижъ? На это мы находимъ отвѣтъ въ письмѣ Мицкевича тому же другу, написанномъ 2 іюля 1840 г.: «Мнѣ будетъ жаль Лозанны. Славянская кафедра еще не прошла черезъ палату пэровъ. Я долженъ буду принять ее, чтобы не влѣзъ на нее какой-нибудь иѣмецъ, и не сталъ насъ ругать съ нея. Есть и другіе мелкіе поводы». Опасность, чтобы на эту кафедру не «влѣзъ» кто-нибудь недостойный, дѣйствительно, была. 15 мая 1840 г. эмигрантскій жур-

паль «Demokrata polski» обрушивается на двухъ «страшныхъ соперниковъ», которые готовы взять кафедру штурмомъ, въ то время какъ «поэтъ колеблется, желая предварительно добросовѣстно провѣрить свои силы». Это были Боньковскій, сотрудникъ журнала «Revue Slave», написавшій и переведшій нѣсколько работъ по славистикѣ, и другое лицо, фамилія котораго осталась неизвѣстна. Слѣдовательно, Мицкевичу и правда слѣдовало подумать, можетъ ли онъ уступить такое важное мѣсто національной работы кому-нибудь другому. И Целлина съ обычнымъ своимъ героизмомъ, который не покидалъ ее до самой смерти, уговаривала его: «Милый Адамъ, я понимаю, что здѣсь намъ очень хорошо, но въ Парижѣ ты сможешь еще больше послужить нашей Польнѣ, а здѣсь ты живешь пустышкой» (Żywot II. 446). Вопреки опасеніямъ Кузена относительно политическаго характера кафедры, самъ Фонтэ, проводникъ этой идеи въ французскомъ обществѣ и правительствѣ, настаивалъ на томъ, что эта кафедра будетъ имѣть «политическую черту», что дѣло идетъ о «націонализаци Польни во Франціи». Эмигранты шли дальше: они ждали отъ Мицкевича прямо пророчества, толкая его на тотъ опасный путь, къ которому у него и безъ того была склонность. Въ журналѣ «Trzeci Maj», привѣтствуя предстоящее назначеніе поэта, который будетъ призванъ въ столицу культурнаго міра *открывать, объяснять и учить тому, что есть славянство*, эмигрантъ-публицистъ прибавлялъ: «Великій поэтъ бываетъ часто не только учителемъ, но и пророкомъ: быть можетъ, онъ станетъ открывать западнымъ народамъ не только прошлыя, но и будущія сокровища этихъ (славянскихъ) народовъ, какъ и cadaго въ отдѣльности». Кафедрѣ придавали политическій характеръ не одни поляки; во французскихъ газетахъ помѣщались инспирированныя русскою властью статьи съ протестомъ противъ назначенія Мицкевича; много говорили о немъ и нѣмцы. Такимъ образомъ, удержаться въ предѣлахъ скромнаго научнаго преподаванія славянской филологіи было бы невозможно. Все вынуждало будущаго профессора ея, кто бы это ни былъ, вступить на путь именно «открытія» того, что такое славянство.

Въ Швейцаріи все еще надѣялись сохранить Мицкевича для Лозанны, и въ концѣ іюня его торжественно возвели въ санъ ординарнаго профессора. Ему поднесли дипломъ, говорили привѣтственныя рѣчи; Мицкевичъ прочелъ лекцію, въ которой опять

были политическія мѣста. «Вся драма несчастной Польши развернулась передъ глазами присутствующихъ», говорить въ своемъ отчетѣ объ этомъ торжествѣ «Молодая Польша». Неужели же въ Парижѣ онъ долженъ былъ ограничиться изложеніемъ славянскихъ литературъ, прежде всего русской?

Лекція о Пруденціи, которая напечатана П. Хмелевскимъ въ названной брошюрѣ, иногда превращается прямо въ лирику. «Честь вамъ, о вы, первые цвѣты воюющей церкви (христіанскія дѣвушки, потерявшія мученія за вѣру), которыхъ врагъ Христовъ сорвалъ при восходѣ зари, какъ вихрь срываетъ едва расцвѣтшія розы! О вы, первыя жертвы Христа, подобныя ягнятамъ, приведеннымъ къ алтарю! Въ простотѣ своей вы играете пальмами и вѣнками, мученическими вѣнцами, которые васъ ожидаютъ». Христіанской поэзіи, образцы которой даетъ Мицкевичъ, онъ приписываетъ особенное значеніе: въ языческой римской литературѣ, говоритъ онъ, было бы напрасно искать той priestliness и тонкости чувства, той патріархальной простоты, которыхъ много въ первоначальныхъ христіанскихъ гимнахъ. Такъ по своему настроенію лозаннскія лекціи представляютъ лишь органическое начало того, что выросло изъ воодушевлявшаго ихъ настроенія въ парижскихъ курсахъ Мицкевича.

Между тѣмъ, въ началѣ іюля 1840 года въ палатѣ пэровъ прошла каедрa славянскихъ литературъ, о которой докладчикомъ выступилъ Де-Жерандо. Въ его докладѣ опять смѣшивались интересы чисто научные съ политическими, и въ тѣхъ общихъ положеніяхъ, которыми ограничивался ораторъ, обнаружилось лишній разъ, что и у создателей каедры не было ясныхъ представленій о ея назначеніи, и что ими руководило прежде всего благородное сочувствіе къ судьбамъ Польши и польскихъ эмигрантовъ. Каедрa прошла въ палатѣ безъ преній, большинствомъ 64 голосовъ противъ 27. Дѣло складывалось, такимъ образомъ, благопріятно, но, конечно, былъ правъ Владиславъ Мицкевичъ, утверждая, что его отецъ смотрѣлъ на новое назначеніе, какъ на тяжелый крестъ, который онъ обязанъ будетъ взять на себя. Теперь приходилось только обезпечить за нимъ это мѣсто, которое по политическимъ соображеніямъ французское правительство нѣсколько опасалось предоставить польскому эмигранту и посту. 5 августа Чарторыйскій увѣрялъ министра Кузена, что онъ не пожалѣетъ, если назначить Мицкевича, 10 августа Кузенъ съ

своей стороны сообщили Мицкевичу, что по получении от него удостоверения, что он примет приглашение, министр представит его на утверждение королю. Луи-Филиппъ, въ свою очередь, колебался и только, не желая входить въ столкновение съ кабинетомъ, согласился на это назначеніе. 8 сентября министр подписалъ его, но пришло назначеніе въ Лозанну лишь 19 числа. Парижскіе знакомые торопили Мицкевича, и 23 сентября онъ обратился къ совѣту кантона съ заявленіемъ о своемъ отказѣ отъ должности профессора въ Лозаниѣ. При этомъ онъ отказывался отъ вознагражденія ординарнаго профессора, которое ему было назначено въ мартѣ, соглашался принять только то жалованіе экстраординарнаго, которое было назначено ему по первоначальному договору, и просилъ позволенія сохранить выданный ему дипломъ на память о времени, проведенномъ въ Швейцаріи. Въ очень теплыхъ выраженіяхъ Мицкевичу отвѣчалъ совѣтъ кантона, настаивая на выдачѣ ему всего причитающагося жалованья за ординатуру и выражая ему благодарность за службу. «Нашъ край считаетъ себя счастливымъ, что въ продолженіе нѣкотораго времени обладать человѣкомъ, посящимъ справедливо такое славное имя». Лозанцы доказали, что это не были пустыя слова: надъ кафедрой, на которой Мицкевичъ читалъ свои лекціи, была прибита 30 лѣтъ спустя юбилейная доска. Послѣдніе мѣсяцы пребыванія поэта въ ихъ городѣ они старались сдѣлать ему особенно пріятными. Мицкевичъ чувствовалъ себя, какъ онъ выражается, «балованнымъ ребенкомъ и правительства, и академіи». Связь не прекратилась и послѣ его отъѣзда; въ ноябрѣ того же 1840 года Мицкевичъ былъ избранъ почетнымъ профессоромъ Лозаннской академіи; въ нѣсколькихъ письмахъ, отправленныхъ ему университетскими властями, посылаются ему пожеланія и благословенія. На грустномъ пути поэта эта оцѣнка современниковъ и иностранцевъ—трогательный эпизодъ, на которомъ пріятно остановиться біографу.

И все-таки послѣднее время пребыванія въ Швейцаріи связалось у Мицкевича не съ радостными, а съ самыми горькими воспоминаніями. Въ то самое время, когда онъ въ концѣ августа отправился побродить по Швейцаріи, сильно захворалъ его сынъ, Владиславъ. Целина успокаивала мужа, но, повидному, онъ поспѣшилъ вернуться, а 19 сент. писалъ Залѣсскому: «Моя жена была тяжело больна. Сынъкъ едва спасся отъ смерти; у него

было воспаленіе мозга. Опять мы были разбиты: я съ женой въ деревнѣ, одно дитя дома, другое у Юнзилловъ». Въ октябрѣ надо уже было ѣхать въ Парижъ. О впечатлѣніи, которое произвелъ на него Парижъ послѣ «достопочтенной Лозанны», онъ сообщалъ 18 октября въ письмѣ къ швейцарскому знакомому, Юнзиллу слѣдующее: «Теперь мы ищемъ квартиру и мебель. Я бѣгаю цѣлый день и вижу, что отвыкъ отъ парижскихъ разстояній, такъ усталъ. Въ газетахъ уже издѣваются надо мной, ругаютъ, что пріѣхалъ набирать деньги. Это еще только начало. Эмиграцію я нашелъ постарѣвшей, но суетливой и возмущающейся. Вотъ и всѣ новости». Дѣйствительно, среди эмигрантовъ уже раздавались голоса недовольныхъ, которые ставили Мицкевичу въ вину, что онъ добился каѳедры будто бы интригами, безъ конкурса, а были люди и болѣе достойные этой каѳедры: Лелевель, Шафарикъ, Ганка, Юнгманъ, Коляръ. Вся вздорность этихъ обвиненій теперь намъ ясна, но среди вѣчно возбужденной, «волнующейся» эмиграціи, конечно, они должны были производить свое впечатлѣніе. Самые защитники Мицкевича оказывали ему плохую услугу въ томъ отношеніи, что заранѣе опредѣляли направленіе его лекцій, ждали отъ него прежде всего «возвышенности чувствъ и мыслей», увѣряли, что и французское правительство, очевидно, видитъ въ немъ нѣчто большее, нежели «учителя языковъ для людей, торгующихъ съ Триестомъ или Одессой». И французскій офиціозъ, «Moniteur Universel», отмѣчаетъ, что выборъ Мицкевича въ Парижъ былъ предопредѣленъ ожиданіями, которыя связывались съ его назначеніемъ.

ГЛАВА XXIII.

Мицкевичъ—профессоръ въ Collège de France. Товянизмъ (1840 — 1844).

Лекціи въ Collège de France начинались въ декабрѣ, такъ что у Мицкевича оставалось на приготовленіе къ нимъ около двухъ мѣсяцевъ. Званія профессора онъ не получилъ, такъ какъ для этого надо было принять французское подданство, а Миц-

кевичу «жалко было перестать официально назваться литвиномъ и превратиться во француза»: поэтому онъ остался только chargé du cours. Сестрѣ своей Целина сообщала свои практическія соображенія: «Мѣсто у Адама очень хорошее, жалованья 6.000 франковъ: 5000 за каеодру и 1000 за составленіе славянской бібліотеки; кромѣ того, есть надежда, что его повысятъ. Литературныя работы не будутъ въ забросѣ. Квартира удобная, платимъ за нее 1100 франковъ; дорого для насъ, да что же подѣлаешь: Адаму нужно имѣть отдѣльную комнату, чтобы не слышать крики дѣтей и спокойно работать. Двухъ прислугъ я привезла изъ Лозанны. Знакомыхъ у меня много, но я выхожу мало: довольно у меня дѣла съ дѣтьми. Купили порядочную мебель, безъ всякой элегантности. Все, что не такъ необходимо, т.-е. часы, лампы и т. д. мы оставляемъ на потомъ, потому что намъ трудно столько истратить сразу». Такъ убого начиналась жизнь около новаго очага. Люди какъ будто обживались, устраивались заново; впереди было что-то лучшее: казалось, что не страшно начинать эту новую жизнь. Судьба не пощадила Мицкевичей и на этотъ разъ. Уже въ концѣ ноября одинъ изъ друзей Мицкевича писалъ Залѣскому: «Адамъ со своимъ семейнымъ крестомъ очень несчастливъ. Женѣ его худо. Онъ страшно измученъ и валится съ ногъ; мнѣ такъ его жаль, что просто сердце сжимается. Составляй-ка курсъ при такихъ благопріятныхъ условіяхъ! Въ придачу захворала еще и прислуга. Вчера мы должны были идти въ театръ, чтобы развлечься, но онъ не пошелъ, потому что былъ очень печаленъ». Нѣсколько дней спустя и самъ Залѣскій получилъ отъ Адама Мицкевича печальное письмо: «Бѣднякъ боленъ и измученъ, рассказываетъ Залѣскій: жена по-старому сходить съ ума, дѣти пищать и вянуть. А тутъ готовъ курсъ! Говори о славянизмѣ, когда дома и на сердцѣ такъ спокойно. Бѣсъ съ ней, и со славой, и съ значеніемъ, и съ достаткомъ на этомъ свѣтѣ! Не говори о бѣдахъ Адама никому, потому что люди объ этихъ вещахъ судятъ по-своему». Такое душевное состояніе Мицкевича неминуемо должно было отразиться на его лекціяхъ. Остается несомнѣннымъ фактомъ, что сколько-нибудь сносно приготовиться къ своему курсу онъ не имѣлъ возможности. Душевное состояніе его, влѣдствіе всѣхъ тѣхъ бѣдъ, которыя опять навалились на него, отвѣчало не усидчивымъ занятіямъ чловѣка науки,



Медаль въ честь Мицкевича, Мишле и Кине, профессоровъ
Collège de France.

но настроенію душевнаго самоуглубленія. Мицкевичъ былъ болѣе склоненъ къ тому, чтобы проповѣдовать и пророчествовать, нежели къ тому, чтобы читать научный курсъ по исторіи славянъ.

Событія опять толкали его на этотъ путь. Въ декабрѣ 1840 года прахъ Наполеона былъ возвращенъ родицѣ. Въмѣстѣ съ другими волновался и Мицкевичъ, который и раньше такъ много думалъ о странной судьбѣ Наполеона, объ его высшемъ предназначеніи, непонятномъ имъ. И теперь онъ имѣлъ «видѣніе», которое сыграло въ его жизни важную роль. Объ этомъ видѣніи мы узнаемъ изъ письма поэта, написаннаго 16 мѣсяцевъ спустя, когда въ его сознаніи образъ видѣннаго слился съ образомъ его новаго учителя, Андрея Товянскаго. Этотъ поздній срокъ сообщенія необходимо учесть, потому что психологически невозможно допустить, чтобы первоначальное «видѣніе» не окрасилось въ мистическіе цвѣта подъ вліяніемъ послѣдующихъ событій. И рассказываетъ о немъ Мицкевичъ человѣку, не склонному вѣрить въ чудеса, котораго надо было убѣдить въ высокомъ посланничествѣ Товянскаго. Именно, 23 марта 1842 года поэтъ писалъ генералу Скъшнецкому слѣдующія строки: «Моя вѣра въ слова Андрея есть послѣдствіе всей моей жизни, всѣхъ моихъ стремленій (*usposobień*) и духовныхъ трудовъ. Кто прочтетъ мои сочиненія, можетъ въ этомъ убѣдиться. Я не упоминаю о мелкихъ прѣсняхъ, пущенныхъ мною въ свѣтъ въ молодости («Романтизмъ», «Ода къ молодости»); но позднѣйшія сочиненія, а именно: «Книги пилигримства» и III часть «Дѣдовъ», свидѣтельствуютъ о томъ, что я перечувствовалъ ихъ содержаніе. Всѣ, кто со мной знакомы, знаютъ, что я никогда не говорю о своихъ поэтическихъ сочиненіяхъ и не цитирую себя, но въ вопросѣ столь важномъ я долженъ оставить въ сторонѣ все касающееся мірской тактики. Я знаю, что ты умѣешь мыслить о подобныхъ вещахъ, сознаешь ихъ важность. Поэтому я тебѣ скажу, что публично и опредѣленно я предсказалъ Андрея эмигрантамъ. Въ прошломъ году нѣсколько десятковъ поляковъ давало мнѣ банкетъ; я чувствовалъ особый подъемъ духа и сказалъ имъ, что всѣ они на злыхъ путяхъ; что ихъ разсужденія и интриги ни къ чему не приведутъ, что, если Богъ сжалятся надъ нами, то Онъ пошлетъ намъ человѣка, который будетъ для насъ *живымъ закономъ*, котораго слова, дѣянія и *gesta* будутъ статьями устава (*artykułami*). Я не

помню словъ стихотворенія (роезји), но таково было ихъ содержаніе, и я заклиналъ ихъ, чтобы они его помнили! Многіе уже забыли. Стефану Зану, который пришелъ ко мнѣ на другое утро, я сказалъ съ глубокой печалью, что, если бы меня въ то время не прервали, я открылъ бы великую вещь, но на другой день я уже не былъ въ состояніи подняться до такой высоты. Меня въ то время прервали: одни протестовали во имя разума, другіе думали, что я говорилъ о князѣ Чарторыйскомъ, когда возгласилъ, что только изъ *такого мужа предназначенія могутъ выйти капланы, короли и гетманы*. Около этого времени въ декабрѣ мѣсяцѣ (дня не припомню), когда я осматривалъ приготовленія къ погребенію Наполеона, я имѣлъ въ бѣлый день видѣніе; я увидѣлъ человѣка, ѣдущаго изъ глубины края въ однокошной телѣжкѣ; онъ ѣхалъ съ трудомъ по грязи и среди тумана (po błocie i mgle), и я почувствовалъ, что *этотъ* человѣкъ везетъ великое, великія дѣла! Я не принялъ этого за пророческое видѣніе, но счелъ за чрезвычайно живой поэтической образъ; хотѣлъ рассказать о немъ, но боялся, что это слишкомъ непохоже на правду, и потому молчалъ. Послѣ знакомства съ Андреемъ я не скоро разузналъ подробности его путешествія и узналъ истину видѣнія». О томъ, что Мицкевичъ ждалъ и предсказывалъ появленіе рокового мужа, мы знаемъ изъ «Книги пилигримства» и изъ III части «Дѣдовъ». О томъ, что долженъ былъ сдѣлать этотъ мужъ и откуда онъ долженъ былъ притти, мы знаемъ также. «Видѣнія», или проща, какъ отмѣтилъ самъ Мицкевичъ, «живые поэтическіе образы», конечно, далеко не были чужды поэту, одаренному столь пламеннымъ воображеніемъ. А содержаніе видѣнія было подказано тѣмъ настроеніемъ, какое переживалъ Мицкевичъ въ эту пору высокаго душевнаго подъема и торжественныхъ впечатлѣній, связанныхъ съ погребеніемъ другого «мужа предназначенья», Наполеона. И отождествленіе «видѣнія» съ Товяшскимъ, какъ видимъ изъ признанія самого поэта, произошло не сразу и было подказано сознаниемъ. Но уже въ концѣ 1840 года мистика полонила поэта. А между тѣмъ ему предстоялъ научный трудъ, не имѣющій ничего общаго съ этими поэтическими грезами и таинственными видѣніями. Надо было готовиться къ курсу, который открывался 22 декабря, а кромѣ того заниматься за особое вознагражденіе (1000 франковъ въ годъ) описаніемъ славянскихъ рукописей королев-

ской библиотеки. Последняя работа требовала специальных знаний, а Мицкевичъ не имѣлъ никакого представленія о библиографіи и палеографіи и чрезвычайно тяготился этимъ трудомъ. Въ то время, какъ Шафарикъ, Копитаръ, Добровскій оказались бы здѣсь на своемъ мѣстѣ, Мицкевичъ терялся передъ церковно-славянскими рукописями, долженъ былъ переписывать по нѣскольку разъ ихъ заглавія, такъ какъ постоянно дѣлалъ «орфографическія ошибки», и ограничился, какъ полагаетъ Влад. Мицкевичъ (III. 17), всего однимъ отчетомъ, представленнымъ по требованію министра. Едва ли и къ курсу своему поэтъ могъ приготовиться сколько-нибудь основательно. Въ Швейцаріи онъ могъ все-таки исходить изъ своихъ давнишнихъ изученій, вспоминать лекціи Гродека, припоминать и то, съ чѣмъ, конечно, познакомился при изученіи римскихъ древностей. Наконецъ, и общая начитанность должна была не разъ выручать профессора изъ затруднительныхъ положеній. Въ Парижѣ Мицкевичъ оказался совершенно въ другомъ положеніи: онъ долженъ былъ читать специальный курсъ, по предмету, почти совершенно лишнему въ ту пору общихъ руководствъ, не имѣя никакой опытности въ этой отрасли знаній, совершенно чужой въ семьѣ славистовъ, изъ которыхъ онъ былъ знакомъ—да и то поверхностно и уже больше десяти лѣтъ тому назадъ—съ однимъ Ганкой. Къ тому же въ Парижѣ не было достаточной славянской библиотеки. Конечно, очень пригодилося здѣсь Мицкевичу знакомство съ исторіей старой русской письменности, вынесенное еще изъ Виленскаго университета: вѣдь и въ Ковниѣ онъ долженъ былъ преподавать «русскую литературу». Громадныя способности Мицкевича выручили его до нѣкоторой степени и теперь: онъ быстро освоился съ неизвѣстными ему раньше славянскими языками (напр., сербскимъ), ориентировался въ исторіи славянъ, но, какъ человѣкъ безъ основательной специальной подготовки, попалъ на ложный путь, увлекшись страстью къ этимологіямъ (сербъ — *sierb*, *serb*, отсюда *sierota*; *sórka* — дочь, отъ *soг* — сынъ и т. п. См. статью Нернига). Шафарикъ былъ правъ въ своемъ скептицизмѣ, когда, узнавъ о назначеніи поэта профессоромъ славистики въ Парижѣ, заявилъ: «откровенно признаться, для науки я жду отъ этого не много пользы». Слѣдуетъ прибавить, что и тотъ ученый аппаратъ, который мы находимъ въ лекціяхъ, былъ приобретѣнъ Мицкевичемъ въ теченіе курса. Вступалъ же онъ

на кафедре совѣтъ не подготовленный и, вѣроятно, даже не представлялъ себѣ сколько-нибудь ясно, о чемъ именно онъ будетъ читать. Первая лекція должна была служить, по сообщенію «*Congrès Français*», вступленіемъ «въ занимательную исторію племенъ, изъ которыхъ Польша является наиболѣе героической и изъ которыхъ Россія сохранила свое стремленіе къ завоеваніямъ». Слушателей собралось на эту первую лекцію такая масса, что даже коридоры, ведшіе къ аудиторіи, были переполнены. По большей части, это были поляки, въ томъ числѣ и нѣсколько дамъ, были и русскіе, и французы. Мицкевичъ былъ встрѣченъ аплодисментами, но читалъ, по разсказу одного изъ друзей, безъ особаго оживленія; другой, извѣстный уже намъ почитатель поэта, Янушкевичъ, прибавляетъ, что Мицкевичъ «говорилъ серьезно, мудро и такія вещи, о которыхъ намъ даже и не снилось. Слушали его съ восхищеніемъ, и сами москали признаютъ, что его стоитъ послушать». Однако провожали его не такъ шумно, какъ встрѣчали.

Послѣ этого посыпались отзывы печати. «Молодая Польша» утверждала, что профессоръ «поднялся на высоту, на которую были обращены очи славянства, увѣреннаго, что тамъ оно увидитъ своего апостола». Въ другомъ эмигрантскомъ журналѣ «*Narodowość*» указывалось на то, что въ чудесныхъ характеристикахъ Мицкевича (напр., въ его образѣ татарина) «публика почувствовала поэта и приветствовала его шопотомъ восхищенія», но журналъ былъ недоволенъ той ролью, которую Мицкевичъ приписывалъ Москвѣ, единственной будто бы защитницѣ христіанской вѣры отъ монголовъ. Демократы судили строже, и ихъ корреспондентъ «вышелъ съ лекціи съ непріятнымъ чувствомъ, обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, какъ, навѣрное, не одинъ изъ слушателей». Его возмущало намѣреніе Мицкевича избѣгать въ своемъ курсѣ политики. Органъ аристократической партіи «*Trzeci Maj*» отнесся, наоборотъ, съ полнымъ благожелательствомъ ко вступительной лекціи Мицкевича, но не далъ изложенія ея содержанія. Такъ около имени поэта сейчасъ же началась ожесточенная борьба. Произошло это оттого, что Мицкевичъ сумѣлъ въ этой первой своей лекціи стать на высокую точку зрѣнія благоволенія ко вѣмъ славянскимъ народамъ. «Литература представляетъ форумъ, на который всѣ славянскіе народы приносятъ плоды своей нравственной и умственной дѣя-

тельности, не вытѣсняя и не обижая другъ друга, не чувствуя взаимнаго недоброжелательства. Пусть это мирное сотрудничество въ одной прекрасной области служить предзнаменованіемъ ихъ соединенія на другомъ пути»: такъ передалъ слова Мицкевича записывавшій ихъ слушатель. Это было заключеніе вступительной лекціи, а въ серединѣ ея профессоръ сдѣлалъ еще большее преступленіе противъ требованій національнаго шовинизма. Онъ довольно ясно указалъ на то, что «долгое пребываніе въ различныхъ славянскихъ странахъ, пріобрѣтенныя тамъ симпатіи, навѣки неизгладимыя воспоминанія заставили его яснѣе почувствовать единство славянскаго племени, нежели могли бы этого достигнуть какія бы то ни было теоріи». Эти слова относились, конечно, и къ славянской Россіи.

Такимъ образомъ, начало профессорской дѣятельности въ Парижѣ сразу показало Мицкевичу, какой тяжелый путь предстоитъ ему здѣсь, и онъ самъ былъ недоволенъ собой. Повидимому, эта первая лекція, дѣйствительно, мало кого удовлетворила, хотя не было недостатка во внѣшнихъ знакахъ восхищенія и благодарности. Научное содержаніе ея совсѣмъ слабо: это рядъ общихъ фразъ, прикрашенныхъ поэтическими образами и произнесенныхъ въ духѣ импровизаціи. Друзья Мицкевича хотѣли отпраздновать такое важное событіе, какъ открытіе славянскаго курса въ Парижѣ. Въ польскомъ клубѣ въ сочельникъ, 24 декабря, былъ данъ въ его честь банкетъ; на слѣдующій день, 25 декабря, собралось человекъ сорокъ, чтобы справить именины Мицкевича. Это былъ день, который сыгралъ одинаково важную роль въ жизни обоихъ поэтовъ, Словацкаго и Мицкевича. Словацкій, томимый болѣзненнымъ самолюбіемъ, произнесъ тостъ, въ которомъ, отдавая должное своему сопернику, тонко хвалилъ себя. Тогда поднялся Мицкевичъ. Какъ высокопарно передаетъ общее впечатлѣніе пламенный почитатель поэта, Янушкевичъ, «вся фигура его пріобрѣла какой-то ангельскій видъ; страшный, непонятный блескъ окружилъ его чело. Всѣ поднялись съ мѣсто, какъ бы при появленіи божества, пришедшаго навѣстить смертныхъ. А онъ испустилъ изъ устъ своихъ рѣку словъ, чудеснѣйшихъ мыслей и стиховъ, съ такой силой, страстностью и мощью и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такой прелестью, что не было имъ ничего равнаго. Это было такое неудержимое стремленіе, что у насъ захватило дыханіе. Мы стояли въ остоупѣннѣи, царюло гробовое

молчаніе. Мицкевичъ отвѣчалъ Словацкому, говорилъ ему, что его погубило, какъ поэта. Ему, говорилъ Мицкевичъ, не хватаетъ любви и вѣры. Недавно, сказалъ онъ, когда я долженъ былъ говорить передъ чужими, ни одинъ изъ моихъ друзей не имѣлъ вѣры въ мои слова. Всѣ меня бросили, оставили. Одни говорили: откуда у него такая смѣлость, что онъ рѣшается говорить на чужомъ языкѣ? Другіе обвиняли меня въ самолюбіи, а не видѣли, что здѣсь въ сердцѣ (и открылъ его) Богъ положилъ слова правды, которыя я властенъ переводить на всѣ языки, и я говорилъ бы вамъ даже по-нѣмецки и т. д. А потомъ, возвращаясь къ поэзіи, онъ вѣщалъ о призваніи поэта и кончилъ словами, что для него существуетъ только одна дорога: отсюда (показывая на сердце) черезъ любовь туда (показывая на небо) къ Богу!» Такъ же передаютъ содержаніе этой импровизаціи, столь отличной отъ импровизаціи Конрада въ III части «Дѣдовъ», и другіе участники этого банкета, который доставилъ столько душевныхъ терзаній униженному и непонятому Словацкому. А Мицкевичъ, ставя цѣлью своихъ лекцій будить въ сердцахъ людей любовь и вести ихъ къ Богу, рисовалъ себѣ такую задачу, которая не имѣла ничѣго общаго съ научнымъ курсомъ по исторіи славянскихъ народовъ и славянскихъ литературъ. Банкетъ 25 дек. 1840 г. вызвалъ въ друзьяхъ Мицкевича желаніе поднести ему отъ имени всѣхъ кубокъ, который долженъ былъ вручить Словацкій, какъ бы признавая этимъ первенство Мицкевича. Было устроено еще нѣсколько совмѣстныхъ ужиновъ, на которыхъ поэты импровизировали, Мицкевичъ пророчествовалъ и готовился открыть нѣчто великое. Нѣтъ сомнѣнія, что въ нездоровой духовной атмосферѣ эмиграціи, въ чрезвычайно тяжелыхъ условіяхъ домашней жизни поэтъ рвался прочь отъ дѣйствительности, уходя въ міръ своихъ высокихъ грезъ. Все громче говорилъ въ немъ этический гений, потому что жизнь чувствъ уже не влекла его къ себѣ.

Первый курсъ Мицкевича охватилъ съ 22 декабря 1840 г. по 29 іюня 1841 года 41 лекцію. Въ нѣмецкомъ изданіи онъ составилъ томикъ въ 650 страницъ. Какъ бы мы строго ни судили его съ точки зрѣнія современной славистики, какіе бы недостатки ни были и по существу присущи этому курсу, слѣдуетъ признать, что для тогдашняго уровня знаній онъ далеко не былъ бесполезенъ. Порядка въ распредѣленіи матеріала здѣсь мало:

отъ сербскихъ пѣсенъ лекторъ переходитъ къ старой славянской литературѣ, прерываетъ изложеніе польской исторіи, чтобы вставить въ нее исторію южныхъ славянъ. Случайность играетъ здѣсь большую роль. Но вѣдь въ это время пособій по славяновѣдѣнію совсѣмъ не было, и то, что говорилъ Мицкевичъ, его аудиторіи было полезно узнать.

Публика Мицкевича состояла преимущественно изъ поляковъ. Ко второму году его профессорской дѣятельности въ Collège de France относится слѣдующее свидѣтельство случайнаго русскаго посѣтителя его лекцій, Чумикова: «Живо помню ту минуту, полную драматизма, когда появился Мицкевичъ, шумно привѣтствуемый биткомъ набитой аудиторіей. Его въ беспорядкѣ падающіе длинные съ просѣдью волосы, вся его страдальческая и изнуренная фигура посреди множества польскихъ эмигрантовъ обоого пола въ черныхъ болѣе или менѣе изношенныхъ чамаркахъ или изящныхъ аристократическихъ туалетахъ, все это драматически и эффектно олицетворяло странныя судьбы польской націи съ ея увлеченіями и несчастьями и не могло не подѣйствовать и на насъ, русскихъ 40-ыхъ годовъ, привыкшихъ въ каждомъ несчастномъ видѣть невиннаго. Лекціи Мицкевича сильно охладили наше сочувствіе впоследствии».

Курсъ перваго года, какъ я уже сказала, охватываетъ 41 лекцію. Содержаніе его заключается въ слѣдующемъ 1). Сначала общее введеніе о значеніи славянскаго міра и его изученія: «Не только военные подвиги славянъ, не только ихъ варварскіе набѣги въ ранніе вѣка, а позже христіанскія заслуги въ защитѣ Европы, и наконецъ могущественное вліяніе на политическія дѣла представляются способными возбудить интересъ. Западъ, который полагаетъ, что сѣверо-восточныя страны обязаны ему всѣмъ своимъ просвѣщеніемъ и который, дѣйствительно, видитъ вѣсехъ своихъ посѣвовъ на тамонней плодородной почвѣ, нашель бы однако многія открытія, которыя онъ считаетъ своими, извѣстными уже прежде въ этихъ странахъ». Послѣ введенія слѣдуетъ отдѣлъ, который можно было бы назвать въ широкомъ смыслѣ слова славянскими древностями. Онъ содержитъ прежде всего общія разсужденія, которыя должны обнаружить вліяніе историческихъ условій на психологію

1) Цитирую по нѣмецкому переводу: Vorlesungen über slawische Literatur und Zustände. Deutsche, mit einer Vorrede des Verfassers. verschene Ausgabe I. Theil. 1843.

славянскихъ народовъ. При этомъ главное мѣсто удѣлено панегирическому изображенію польской души и характеристикѣ исторической миссиі поляковъ, которая заключается въ защитѣ христіанства и цивилизаціи отъ ислама и варваровъ. Затѣмъ слѣдуетъ поэтическое описаніе южно-русскихъ степей и ихъ казацкаго населенія, при чемъ малорусскій языкъ опредѣляется, какъ нѣчто среднее между польскимъ и русскимъ языкомъ. Для характеристики степей поэтъ привелъ отрывокъ изъ поэмы Мальчевскаго «Марія». Россіи въ этой лекціи удѣлено очень мало вниманія. Затѣмъ, въ слѣдующей лекціи Мицкевичъ переходитъ уже къ общему чрезвычайно поверхностному очерку сербской и чешской литературы въ ихъ основныхъ мотивахъ и съ энтузіазмомъ говоритъ о пламенномъ патріотизмѣ, воодушевляющемъ дѣятелей чешскаго національнаго возрожденія.

Съ пятой лекціи начинается характеристика общеславянскаго антропологическаго типа и быта. Надо признаться, что и здѣсь надъ фактическимъ весьма скуднымъ матеріаломъ витаетъ стремленіе къ философскимъ разсужденіямъ, общимъ географическимъ характеристикамъ, экскурсамъ въ область народной психологіи поляковъ и т. п. Особое вниманіе посвящено мѣологии славянства и его родовому строю, который рисуется въ соотвѣтствіи со взглядами Шафарика. Славянство свободно отъ завоевательныхъ наклонностей, исполнено демократическихъ началъ; наследственность въ имущественномъ отношеніи была ему неизвѣстна; община лежала въ основаніи его быта. Въ области мѣологии Мицкевичъ находитъ у древнихъ славянъ и многобожіе, и идоловъ, и развитые культы; народнымъ сказкамъ онъ также посвящаетъ нѣсколько словъ. При этомъ онъ констатируетъ «первоначальную языческую двойственность славянскаго племени и его языка», двойственность, которая выражается въ двухъ основныхъ идеяхъ славянства, русской и польской. Объ этомъ говорится въ первой половинѣ 8-й лекціи. Но такъ какъ времени до звонка оставалось, вѣроятно, еще много, то Мицкевичъ переходитъ въ той же лекціи безъ видимой связи съ предыдущимъ къ историческимъ преданіямъ славянства: къ царству Само и къ приходу Чеха и Леха «съ далекаго Востока, съ береговъ Каспійскаго моря». Мицкевичу было извѣстно, что наука относится скептически къ существованію этихъ «братьевъ», что «особенно нападаютъ на нихъ нѣмецкіе ученые», но онъ смѣло ссылается на «памятники

восточной исторіи, заимствованные изъ персидскихъ и армянскихъ преданій», которые будто бы «удивительно совпадаютъ съ содержаніемъ лехитскаго преданія». Оказывается далѣе, что эти «лехито-чехи и норманы находятся въ родствѣ другъ съ другомъ». Такъ возникли славянскія государства. Съ удивленіемъ читатель находитъ въ слѣдующей, девятой лекціи, рѣзкую отвѣдь славянофиламъ, что «единства славянства никогда не существовало. Передъ началомъ политической исторіи никакая общая связь не соединяла славянъ». Это противорѣчіе словамъ вступительной лекціи о единствѣ славянъ, будучи логически развито, дѣлало бы просто бессмысленной попытку дать картину славянскихъ литературъ и состояній. Вообще, эта лекція 26 янв. 1841 г. производитъ впечатлѣніе такой странной, необдуманной, некомпетентной, что обидно дѣлается за Мицкевича. Здѣсь идетъ рѣчь о пястахъ и Попелѣ, о лехитахъ, на которыхъ взглядъ автора такъ и остается неяснымъ, объявляется, что св. Иеронимъ былъ славяниномъ; наконецъ, лекторъ пускается въ опроверженіе единства славянства на томъ основаніи, что современные славянскіе народы не понимаютъ другъ друга. Въ слѣдующей лекціи, прочитанной 29 января, Мицкевичъ чувствовалъ себя, кажется, еще болѣе беспомощнымъ, пока не дошелъ до легкаго и готоваго матеріала, до «Любушина суда», открытаго Ганкой. Онъ говорилъ здѣсь о приходѣ мадьяръ въ Среднюю Европу и о покореніи ими славянства, при чемъ будто бы «никогда не хотѣлъ мадьяръ заимствовать что-нибудь славянское». Съ 1000 года «кончается *общая исторія* славянскаго языка и начинается исторія отдѣльныхъ языковъ. Прежде единый является теперь раздѣленнымъ на двѣ главныя вѣтви». Послѣ вышеприведеннаго заявленія о *мнимости* славянскаго единства эти слова особенно странны. Еще нѣсколько фантазій о «древнѣйшихъ памятникахъ чешско-польскаго племени», и терзанія неподготовленнаго профессора кончаются: передъ нимъ «Любушинъ судъ», «Краледворская рукопись», изъ которыхъ можно дѣлать обширѣйшія извлеченія. Затѣмъ слѣдуетъ такъ же хорошо расчищенное поле—исторія Польши, которую Мицкевичъ долженъ былъ знать и для чтенія которой у него были доступныя пособія (и Нарушевичъ, и Лелевель и др.). Сюда же почему-то вошла «Иѣсія о полку Игоревѣ», которая заняла почти двѣ лекціи. Безпорядочность этой послѣдней лекціи поразительна: сначала «Иѣсія о полку Игоревѣ», потомъ всякія от-

рывочныя соображенія о славянской народній поэзіи, свѣдѣнія объ упыряхъ, заявленіе, что провинціи Иллирія и Мизія были населены съ незапамятныхъ временъ славянами (что противорѣчитъ даннымъ, приведеннымъ въ другихъ частяхъ курса), потомъ нѣсколько словъ о появленіи славянъ въ исторіи, при чемъ Юстиніанъ признается славяниномъ Управдой, наконецъ, на двухъ страничкахъ вся исторія Сербіи, кончая Стефаномъ Душаномъ. Никакихъ признаковъ исторической критики Мицкевичъ здѣсь не обнаруживаетъ; какъ и въ дальнѣйшихъ лекціяхъ, гдѣ рѣчь идетъ объ исторіи Россіи и объ Иванѣ Грозномъ, онъ показываетъ полное непониманіе историческаго процесса. Отъ сербской исторіи былъ простъ и естественъ переходъ къ сербскому эпосу, и его изложенію, съ разными вставками отъ себя, Мицкевичъ посвящаетъ 5 лекцій (съ 16-й по 20-ую). 21-я лекція начиналась со слѣдующаго удивительнаго утвержденія, которое опровергалось и тогда уже извѣстными памятниками старочешской и древне-русской письменности: «Послѣ того, какъ мы отмѣтили, что славянской поэзіи совершенно и всецѣло чужды комическій и сатирический элементъ, мы сказали, что эта поэзія все-таки не исключаетъ сердечной и бодрой веселости». Очевидно, нашелся раньше неизвѣстный Мицкевичу матеріалъ (эпизодъ въ сербскомъ эпосѣ о Маркѣ Кралевичѣ), и вотъ ему пришлось самого себя опровергать, потому что какъ же иначе понять это противопоставленіе «веселости» комизму. Этому эпизоду и женскимъ сербскимъ пѣснямъ оказалась посвящена лекція, которая отъ сербскихъ пѣсень перескакиваетъ къ черногорцамъ и на характеристикѣ ихъ была заканчивается.

Въ 22-й лекціи Мицкевичъ оставляетъ «исторію сербской литературы, которую онъ (будто бы) довелъ до XIV столѣтія», хотя, въ дѣйствительности, о сербской литературѣ (т. - е. историческихъ трудахъ св. Саввы, Стефана Первовѣщаннаго, Доментиана, о сербскихъ лѣтописяхъ и т. п.) не было и рѣчи, и переходитъ «къ тремъ племенамъ русиновъ (der Russinen, какъ постоянно называются русскіе въ этомъ нѣмецкомъ переводѣ лекцій), поляковъ и чеховъ, которые имѣютъ иное призваніе». Начинается исторія Россіи, изложенная крайне тенденціозно, съ матеріаломъ, почерпнутымъ, повидимому, преимущественно изъ исторіи Карамзина. Останавливаться подробно на ошибкахъ и

тенденціозности этого изложенія русской исторіи нѣтъ надобности. Великооруссы представляютъ, по словамъ Мицкевича, потомство отъ смѣшенія славянъ съ финнами, «потерявшее чистоту своего языка и крови и забывшее свои нравы» (стр. 306); въ исторіи «московскихъ князей», съ ихъ самовластностью и жестокостью, винить злую волю самихъ князей нельзя: «послѣ распада фискаго племени его духъ продолжалъ жить и перешелъ въ новое тѣло» (стр. 321) и т. п. Польское и русское право діаметрально противоположны: «въ русинской землѣ судебная власть въ общинахъ перешла въ руки земскихъ судей, назначенныхъ князьями, а въ Польшѣ она всегда оставалась за собраніями рыцарскаго сословія, которыя составляли приговоры какъ въ гражданскихъ, такъ и въ уголовныхъ дѣлахъ» (330). Разказавъ въ яркихъ чертахъ о жестокостяхъ Ивана Грознаго, поэтъ восклицаетъ: «Пусть же послѣ этого кто-нибудь объяснитъ популярность Ивана, котораго оплакиваетъ весь народъ!» (580).

Рядомъ съ мрачной и безумной русской исторіей стоитъ блестящая, идиллическая исторія Польши. «Политическая исторія Чехіи, Россіи и Венгріи, какъ государствъ, господствующихъ надъ славянскими народами, заслуживаетъ каждая сама по себѣ большого вниманія, но въ продолженіе двухъ столѣтій одна Польша обнаружила достаточно силы развить изъ себя (aus sich heraus) литературу, и лишь она оказывала нравственное вліяніе на эти страны. Поэтому мы будемъ называть XV и XVI столѣтія Ягеллонскими» (354). Трудно обнаружить большее непониманіе историческихъ процессовъ, происходившихъ въ славянствѣ: въ Чехіи XV вѣкъ ознаменовался Гусомъ и Хельшицкимъ, въ Россіи созданіемъ московскаго государства! Что же составляетъ характерный признакъ этой «ягеллонской» эпохи. По словамъ Мицкевича, «главный признакъ въ исторіи этой эпохи составляетъ христіанскій духъ, духъ правды (ein Geist der Rechtlichkeit), который ярко и рѣзко отличаетъ дѣянія Польши отъ исторіи Австріи и германскихъ народовъ» (354). Съ такой точки зрѣнія разсматриваются и польскія учрежденія: «Нигдѣ не было въ это время такого величественнаго, мудраго и могущественнаго собранія, какъ польскій сенатъ, состоявшій изъ вельможъ, епископовъ и выснихъ сановниковъ» (376). «Изъ всехъ славянскихъ народовъ только поляки обладаютъ историческими мемуарами»,

говорить Мицкевичъ (402), приступая къ изложенію разсказовъ такъ наз. польскаго «янычара». «Вѣроятно, ни одинъ народъ не можетъ похвалиться такимъ собраніемъ пѣсенъ, какимъ являются польскія духовныя пѣсни (кантычки)». Но тутъ же поэту припомнились итальянскія пѣсни, которыя ему, конечно, приводилось слышать во время своихъ путешествій, и онъ снисходительно сравниваетъ ихъ съ «кантычками»; потомъ вспомнилась романтическая поэзія, и явился новый абзацъ: «Въ повѣйшее время Повались (Гарденбергъ) изъ пѣмцевъ попытался подражать этому роду поэзіи, и ему иногда удавалось схватить настоящее настроеніе народнаго благочестія». Естественно, что Мицкевичъ не зналъ о чешской поэзіи, не дѣлалъ изысканій относительно происхожденія польскихъ «кантычекъ», которыя восходятъ къ литературнымъ и церковнымъ источникамъ, но поразительно, что онъ забылъ о лютеранской пѣснѣ. Еще поразительнѣе и неожиданнѣе ничѣмъ не обусловленный переходъ отъ польской духовной пѣсни и драмы къ исторіи «московитской русинской земли» (447), т. - е. Московскаго государства. Впрочемъ, въ другомъ мѣстѣ (въ началѣ 32-й лекціи), желая хоть сколько-нибудь оправдать постоянныя перескакиванія отъ одного предмета къ другому, лекторъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: «Остальныя славянскія страны, именно Польша и Чехія, смотрѣли равнодушно на свирѣяство Ивана IV и вовсе не старались притти на помощь угнетенной Москвѣ» (480). Это предлогъ для перехода къ исторіи Польши. Но и въ этой послѣдней области, казалось бы, хорошо знакомой Мицкевичу, мы тщетно старались бы искать послѣдовательности: такъ, разсказавъ о царствованіи Сигизмунда Августа и заключенной при немъ Уніи между Литвой и Польшей, онъ переходитъ къ болѣе раннему писателю, Николаю Рею, и характеризуетъ по одному изъ его сочиненій «*Żywot człowieka rozczłowiego*» его взгляды. Но Мицкевичъ чувствуетъ, что его лекціи начинаютъ все болѣе сводиться къ исторіи Польши и польской литературы, и прибѣгаетъ для оправданія себя къ особымъ приемамъ. Въ 35-й лекціи, прочитанной уже въ іюнѣ 1841 года, онъ начинаетъ свой разсказъ о поэтѣ Янѣ Кохановскомъ заявленіемъ: «польская поэзія, иными словами (also) славянская XVI вѣка, нашла своего представителя въ лицѣ...» Еще опредѣленнѣе въ началѣ 41-й лекціи: «Прочитанный въ этомъ году курсъ славянской или *собственно* польской литературы въ эпоху

Игеллопсвъ, которая представляет общеславянскую литературу, мы закончимъ Скаргой». Фикція, которая составляла только поводъ для того, чтобы совѣтъмъ незнакомую Мицкевичу умственную жизнь славянства въ XV—XVI вѣкахъ замѣнить хорошо ему извѣстной по прежнимъ изученіямъ исторіей Польши.

Вообще, чѣмъ дальше, тѣмъ непослѣдовательнѣе, случайнѣе становится курсъ Мицкевича. Въ самой исторіи Польши поразительные переходы: разсматриваются Рей, Кохановскіи, потомъ вдругъ начинается изложеніе русско-польской войны. Отъ идиллическаго поэта Шымоновича неожиданный переходъ къ царствованію московскаго царя Федора Ивановича, при чемъ поводъ къ переходу довольно комиченъ: въ Москвѣ тоже будто бы господствуетъ идиллія (599). Все чаще становятся и полемическія выходки противъ «москвитовъ». Какъ-никакъ, первый годъ лекцій закончился. Для той пестрой и неподготовленной публики, которая наполняла аудиторію Мицкевича, курсъ далъ много полезнаго: онъ познакомилъ ее съ памятниками старорусской литературы и съ сербскимъ эпосомъ, съ лучшими польскими поэтами и писателями XVI—XVII вѣка, и нерѣдко изложеніе лектора становилось настолько спеціальнымъ, что можно только удивиться, почему продолжали посѣщать эти лекціи элегантныя дамы и не привыкшіе къ научному преподаванію случайные посѣтители — эмигранты. Для самого Мицкевича едва ли этотъ курсъ потребовалъ много труда: онъ могъ излагать его по Карамзину, давая только свое освѣщеніе русской исторіи, по Краледворской рукописи и сборнику Вука Караджича, а польскую литературу и исторію онъ зналъ и раньше; слѣдовало только раздобыть сочиненія Рея, Кохановскаго, Скарги для обширныхъ цитатъ. Но, если первый годъ удалось все-таки провести, не имѣя надлежащей подготовки, то въ будущемъ дѣло становилось сложнѣе: вѣдь оставались еще и другія славянскія литературы (напр., чешская, сербская XIV—XV в.), о которыхъ когда-нибудь слѣдовало сказать. Задачу будущаго курса Мицкевичъ опредѣлилъ такъ: «Вѣроятно, вамъ будетъ интересно услышать въ будущемъ году, какъ государство чеховъ, которое, не обнаруживая болѣе никакой дѣеспособности, исчезло и было забыто, вновь начинаетъ строить свою народность; и какъ Польша, не только забытая, но и неизбѣжно и роковымъ образомъ сраженная всей системой, господствующей теперь въ Европѣ, противопоставляетъ этому

общему напору идеи, которая она почерпаетъ изъ своей народности». Значить, возрожденіе чешскаго народа и современная Польша должны были составить содержаніе курса 1841—1842 уч. года. Жизнь устроила иначе.

Чтобы понять, при какихъ условіяхъ составлялся этотъ курсъ перваго года, необходимо возвратиться къ личной жизни Мицкевича. Мы уже видѣли, что подготовиться къ курсу ему помѣшали домашнія несчастія, болѣзни и бѣды. Въ теченіе учебнаго года ему стало какъ будто полегче: по крайней мѣрѣ, мы не знаемъ о крупныхъ несчастіяхъ. Но настроеніе поэта было чрезвычайно угнетенное. Въ самый день Рождества 1840 г. онъ писалъ Залѣскому, что такъ печаленъ и слабъ, что итъ у него ни силы, ни памяти думать о дѣлахъ. «Много было бѣдъ въ домѣ, и все меньше у меня энергіи выносить ихъ. Беру теперь ванны, и онѣ немножко помогли мнѣ. Печаль понемногу спускается на самое дно моей души, откуда ее очень трудно выгнать, особенно же потому, что и для работы у меня часто не хватаетъ времени и свободы. Я ждалъ здѣсь васъ. Ждалъ отъ тебя славянскихъ книжекъ. Смилуйся, пришли мнѣ немедленно сербскія пѣсни, а если есть у тебя переводъ нѣмецкій или какой-нибудь другой, ссуди мнѣ. Не знаю, гдѣ найти что-нибудь историческое для эпохи Марка Кралевича, а итти—искать въ библиотекѣ нѣтъ силъ». Это было въ самомъ началѣ курса, и уже въ это время у Мицкевича не было силъ рыться въ библиотечкахъ. Въ мартѣ 1841 года въ письмѣ поэта мы находимъ болѣе веселый и спокойный тонъ, хотя онъ жалуется, что «часто бѣдность, всегда работа и хлопоты» преслѣдуютъ его. «Теперь все слава Богу поправилось, и мы въ домѣ всѣ здоровы». О своихъ лекціяхъ онъ сообщаетъ брату слѣдующее: «Курсъ мой довольно трудный (расowity). Пужно говорить французамъ о нашихъ литературахъ, о которыхъ они ничего не знаютъ, и стараться, чтобы они не скучали, потому что они приходятъ только изъ любопытства». Далѣе Мицкевичъ жалуется на трудность своего положенія среди эмигрантовъ и высказываетъ надежду, что въ будущемъ году будетъ легче, потому что эмиграція вѣроятно оставитъ его въ покоѣ. Въ концѣ весны, уже въ маѣ, въ письмѣ къ Домейкѣ тотъ же сравнительно спокойный тонъ: «жена и дѣти здоровы», на всѣ тѣ глупости, которая пишетъ про него эмиграціонная печать, онъ не хочетъ обращать вниманія, потому

что теперь онъ «официальное лицо и получаетъ жалованіе; хуже, когда другихъ ругаютъ, а ничего имъ не даютъ... Между нашими постоянно тѣ же самыя глупости и еще болѣе ожесточенныя распри. Это уже стало у нихъ хроническимъ зломъ и неизлѣчимо. Часто болтаютъ здѣсь о широкой амнистіи. Я полагаю, что позволять вернуться значительному числу менѣе скомпрометированныхъ людей, и эмиграція значительно уменьшится, хотя на родинѣ ужасная бѣдность и постоянные аресты. Есть не мало такихъ, которые, пожалуй, пошли бы въ самый адъ, только бы выбраться изъ эмиграціи. Лично мое положеніе лучше, если бы только я могъ смотрѣть болѣе равнодушно на глупость и страданія нашихъ—да что подѣлаешь? не могу—и если бы не было частыхъ печалей дома, отъ которыхъ не избавишься». Мицкевичъ и самъ чувствовалъ неудовлетворительность своего курса и въ февралѣ писалъ одному изъ своихъ знакомыхъ, что ему трудно въ такой обстановкѣ готовить курсъ. «Все-таки, какъ могу, тяну свой курсъ». Среди отзывовъ друзей и недоброжелателей Мицкевича объ его лекціяхъ, приведенныхъ во множествѣ Влад. Мицкевичемъ, есть немало справедливыхъ критическихъ оцѣнокъ. На выходки объ его «великой любви къ царскому указу и кнуту» (III. 83) онъ, конечно, могъ не обращать вниманія, какъ не огорчаться и рѣзкими выпадами Словацкаго въ поэмѣ «Beniowski», гдѣ Мицкевичъ былъ названъ «прежнимъ богомъ». Серьезнѣе были указанія на его неподготовленность, на отсутствіе порядка въ его лекціяхъ, когда «онъ говоритъ о томъ, о семъ, что ему припомнится» (III. 70). Люди, стоявшіе советѣмъ далеко отъ славянства, подходили къ лекціямъ Мицкевича съ художественной точки зрѣнія и оставались довольны имъ. Ихъ посѣщали: Амперъ, Мишле, Сентъ-Бѣвъ и подруга Шопена, горячая поклонница Мицкевича, Жоржъ-Зандъ, оказавшая поэту большую услугу восторженнымъ разборомъ его «Дѣдовъ» въ 1839 году («Essai sur le drame phantastique: Goethe, Byron et Mickiewicz». Revue de deux Mondes, декабрь 1839 г.). Эти люди шли на лекціи польскаго поэта «во имя цивилизаціи», чтобы «овладѣть той новой половиной сферы мысли, которую польскій ученый взялся открыть предъ нею». И Сентъ-Бѣвъ пишетъ о лекціяхъ Мицкевича: «Есть краснорѣчіе въ самыхъ его запискахъ, а глубокое выраженіе еще подчеркивается усилями. М-ме Зандъ очень аккуратно посѣщаетъ эти лекціи» (В. Каренинъ. «Адамъ Мицкевичъ

и Жоржъ Зандъ». Вѣсти. Европы, 1907, май). Къ лѣту аудиторія опустѣла. Мицкевичъ, мечтавшій еще въ февралѣ поѣздить лѣтомъ по Швейцаріи, былъ, наконецъ, свободенъ.

Но тутъ его постигло новое горе, еще болѣе тяжкое, чѣмъ прежнія несчастія. Въ продолженіе всего года здоровье жены поэта было довольно плохо: 28 янв. 1841 г. Залѣскому сообщаютъ, что «жена его уже нѣсколько дней капризничаетъ (*dokazuje*), бѣдняга совсѣмъ съ ногъ сбился». Въ письмахъ же самого Мицкевича то и дѣло проскальзываютъ осторожныя намеки на то, что здоровье домашнихъ оставляетъ желать лучшаго. И вотъ въ концѣ іюня Целина опять занемогла, сильнѣе на этотъ разъ, чѣмъ когда-нибудь. Ее пришлось отвезти въ больницу. Друзья не оставляли Мицкевича и помогали ему ухаживать за больной, пока она была дома. Поэтъ былъ въ такомъ состояніи, что опасались, чтобы онъ не наложилъ на себя руки. Безденежье, постоянный спутникъ болѣзни въ небогатой интеллигентской семьѣ, маленькія дѣти, оставшіяся безъ призора, отсутствіе надежды когда-нибудь увидѣть любимую женщину здоровой и своихъ счастливыми доводили его до полнаго унынія. Въ чемъ было искать утѣшенія? Вокругъ царили та же бѣдность, такая же безнадежность: безъ родного угла, безъ нужнаго дѣла тянули свою нищую жизнь эмигранты. Гасли среди нихъ великіе таланты, мельчали высокія чувства. Какъ поднять эмиграцію, какъ спасти себя отъ отчаянія, отъ самоубійства? Въ это - то время передъ Мицкевичемъ появился «мужъ предназначенья».

Въ Европѣ этой эпохи было не мало такихъ «мужей предназначенья», которые были созданы романтизмомъ Наполеоновскаго времени и такъ или иначе восходили къ типичнѣйшему изъ такихъ людей, самому Наполеону. Мицкевичъ не былъ одинокъ въ своемъ обожаніи Наполеона. Такъ же смотрѣлъ на французскаго императора и Гегель, называвшій его «духомъ міра», и многіе другіе. Мессіи—мужчины и женщины—стали далеко не рѣдкостью въ тогдашней Европѣ. Сень-Симонъ называетъ себя «папой науки», Контъ считаетъ себя подъ конецъ жизни «великимъ жрецомъ челоѣчества», другіе производили себя въ «*règne suprême*» или даже «*Christ du second avènement*» ¹⁾. Въ полномъ

¹⁾ Эти данныя въ чрезвычайно интересной книгѣ проф. Павликовскаго „*Studów nadkrólem Duchem czesć pierwsza: Mistyka Słowackiego*“, 1909. Проф. Павликовскій ссылается также на книгу *George Dumas: „Psychologie de deux Messies“* (Paris. 1905).

согласи съ общимъ настроеніемъ эпохи и Мицкевичъ говорилъ о близкомъ приходѣ какого-то мистическаго мужа, котораго онъ предсказывалъ и въ своихъ пророчествахъ, особенно на знамени- томъ банкетѣ въ декабрѣ 1840 года, и въ «Дѣдахъ».

Эмиграція, разбившаяся на толки, умственно и нравственно оскудѣвшая, чрезвычайно нуждалась въ подобномъ героѣ, кото- рый вывелъ бы ее изъ туника. Одинъ изъ наиболѣе чуткихъ людей среди эмиграціи, Ст. Фальковскій, описываетъ то состоя- ніе упадка, въ какое пришелъ патріотическій идеализмъ этихъ несчастныхъ изгнанниковъ. «Велика была горечь болѣе глубоко чувствующихъ патріотовъ, которые, видя такую печальную дѣй- ствительность, не только не находили никакого средства для борьбы съ ней, но и въ собственныхъ сердцахъ своихъ ощущали постоянный упадокъ вѣры въ будущее и внутренней силы. Въ такомъ состояніи не одна изъ праведныхъ душъ обращалась къ Богу, но никому даже изъ вѣрующихъ патріотовъ не прихо- дило въ голову, чтобы въ нашъ цивилизованный вѣкъ религія могла разрѣшить судьбу отечества, дать силу для спасенія его; напротивъ, можно сказать, мы всѣ опасались, какъ бы рели- гіозныя стремленія не стали поперекъ нашимъ земнымъ, револю- ціоннымъ стремленіямъ, которыя одни только считались спаси- тельными для родины, и не привели насъ въ концѣ концовъ къ безсильной покорности своей участи. Были однако между нами и такіе, которые, подымаясь душой, предчувствовали христіан- ское призваніе Польши, смутно чувствовали назначенную намъ хри- стіанскую идею, но и эти люди, которые въ минуты снисхожденія на нихъ милости, чувствовали, видѣли и пророчествовали словомъ и письмомъ, послѣ этихъ минутныхъ просвѣтленій снова дѣлались слѣбыми и слабыми» (*Tankred Canonico Andrzej Towiański*. Тугун. 1897). Такимъ образомъ, среди эмиграціи почва была уже вполне подготовлена для мистическаго посѣва какого-нибудь «мужа предназначенія». Нужно было только, чтобы онъ появился. Въ августѣ 1841 года къ Мицкевичу явился этотъ «мужъ 44», а имя ему было Товянскій.

Андрей Товянскій родился 1 янв. 1799 года. Его отецъ былъ помѣщикъ, владѣлецъ Антошвинць, неподалеку отъ Вильны. Съ 12 лѣтъ мальчикъ почувствовалъ себя «призваннымъ къ внутрен- ней жизни»; дѣйствительно, несмотря на то, что «ему ни разу Богъ не позволилъ прочесть ни одной книжки цѣликомъ» и что

онъ «вообще ничего не понимаетъ» изъ того, что ему толковали учителя, но стоило ему только вознестись духомъ къ Богу, моли Его, чтобы Онъ далъ познать и понять Свою волю, и все сейчасъ же становилось ясно молодому Товянскому. Наконецъ, онъ окончилъ «науки» въ Вильнѣ и сдѣлался сначала правителемъ канцеляріи (rejent) въ тамошнемъ уѣздномъ судѣ, а потомъ ассессоромъ въ главномъ судѣ. Получивъ отъ отца имѣніе, онъ сталъ просвѣщать доставшихся ему крестьянъ въ духѣ кротости и трудолюбія. Наконецъ, почувствовавъ, что «гласъ Божій рѣшительно призываетъ его на болѣе широкую арену», онъ оставилъ довѣренному человѣку нравственное воспитаніе своихъ крестьянъ, а самъ въ концѣ іюля 1840 года покинулъ Россію и отправился за границу. Однако, ѣхалъ онъ не въ одноколѣ (какъ представился въ «видѣніи» Мицкевичу), а верхомъ и этого верхового коня подарилъ въ Познани архіепископу Дунину. Посѣтивъ по дорогѣ въ Парижъ мѣста, ознаменованныя наполеоновскими сраженіями, Товянскій прибылъ въ Парижъ 15 дек. 1840 г., а отсюда выѣхалъ въ Брюссель для свиданія съ вождемъ возстанія 1830 г., ген. Скшынецкимъ, который, однако, отнесся къ Товянскому безъ всякаго довѣрія. Въ концѣ мая 1841 года онъ вернулся въ Парижъ. Такимъ образомъ, до своего свиданія съ Мицкевичемъ Товянскій могъ уже отлично ориентироваться и въ настроеніяхъ самого поэта, и въ нравственныхъ исканіяхъ эмиграціи. А Мицкевичъ переживалъ самую тяжелую минуту своей семейной драмы: онъ вернулся домой изъ больницы, куда отвезъ жену. Это было или въ концѣ іюля, или, вѣрнѣе, въ началѣ августа 1841 г. Онъ не велѣлъ никого принимать, но въ передней послышался незнакомый голосъ: «Сообщите, что я прибываю изъ Польши и долженъ исполнить свою обязанность». Полагая, что рѣчь идетъ о новыхъ заговорахъ и проектахъ, которыхъ онъ уже столько слышался, Мицкевичъ со скучающимъ видомъ принялъ гостя. Но тотъ сразу объявилъ ему, что привезъ «добрую вѣсть» (Евангеліе) и что жену поэта онъ исцѣлитъ. Послѣ мучительныхъ колебаній Мицкевичъ рѣшился подвергнуть Целину этому опыту. Она была взята изъ больницы и сидѣла съ «гипсовымъ лицомъ, съ остолбенѣвшимъ взглядомъ», среди комнаты, гдѣ было нѣсколько друзей Мицкевича. Товянскій приблизился къ ней и тихо сказалъ ей на ухо два слова. «Целина упала на колѣни и вставъ принялась обнимать мужа и дѣтей». Такъ рассказывалъ самъ

Мицкевичъ въ ту пору, когда онъ хотѣлъ всѣхъ убѣдить въ роковомъ посланничествѣ Товянскаго. Но не одному выздоровленію жены, но и тому, что онъ разсказалъ Мицкевичу «такія вещи, которыя могъ знать о немъ только Богъ да онъ самъ»,—Товянский былъ обязанъ своимъ успѣхомъ. Правда, онъ могъ получить отъ Одынца, съ которымъ провелъ двѣ зимы (1835 и 1836 г.), не мало подробностей о жизни поэта; правда, и въ самомъ Парижѣ онъ искусно улучилъ минуту для появленія, но Мицкевичъ объ этомъ не зналъ и повѣрилъ новому пророку, который былъ не то релігіозный фанатикъ, не то просто шарлатанъ, томимый зудомъ величія. 15 авг. 1841 г. поэтъ писалъ Б. Залѣсскому: «Когда ты прочитаешь это письмо, упади на колѣни и благодари Господа. Здѣсь творятся великія вещи. Эмиграція объединена. Спѣши сейчасъ же, сейчасъ же къ намъ, чтобы утѣшить, развеселить, расцвѣтить, озеленить свое сердце. У меня въ домѣ цвѣты и весна, и въ сердцѣ, и въ духѣ». Черезъ Мицкевича, который покорно склонилъ свою голову передъ наставленіями Товянскаго, этотъ послѣдній пріобрѣлъ еще нѣсколько адептовъ, но, разумѣется, эмиграція еще вовсе не была объединена. Во всякомъ случаѣ, для Товянскаго было чрезвычайно важно, что для своей пропаганды онъ пріобрѣлъ Мицкевича, который уже по самому своему официальному положенію представителя славянской науки въ Парижѣ пользовался авторитетомъ. Еще 4 августа этого года онъ былъ избранъ на мѣсто умершаго Пѣмцевича предсѣдателемъ отдѣленія Историко-Литературнаго Общества. На 27 сентября поэтъ приглашалъ земляковъ въ Notre Dame de Paris на богослуженіе «для принятія и благодарности Богу за милости, посланныя Господомъ». Въ назначенный день въ соборъ сошлось около 200 человекъ поляковъ, и послѣ обѣдни Товянский обратился къ присутствующимъ съ длинной рѣчью, въ которой, однако, въ очень смутныхъ выраженіяхъ объяснилъ свою идею. «Теперь открывается для насъ источникъ милосердія Божьяго; будемъ же безъ промедленія черпать изъ него, потому что намъ тяжело; необычайное изліяніе милосердія требуетъ и необыкновеннаго воспріятія его; здѣсь недостаточны земныя жертвы; только при огнѣ любви и жертвы духа и цѣлаго естества нашего можетъ снизойти свыше то, что назначено теперь для спасенія чловѣка. Пусть же дѣйствуютъ здѣсь самъ духъ и чувство наши, наше сердце христіанское и польское, не голова, не разумъ. Пой-

демъ, какъ евангельскія мудрыя дѣвы, съ зажженными лампадами, встрѣтить Возлюбленнаго; услышимъ голосъ милости и нашей совѣсти; съ душою потрясенной и тронутой познаемъ объявляющуюся намъ въ дѣлѣ Божьемъ волю Божью, покоримся ей и исполнимъ ее! Только въ этомъ наше спасеніе, и это главная наша обязанность въ рѣшительномъ испытаніи любви и жертвы нашей для Бога, ближняго и родины, которой Богъ требуетъ для насъ, объявляя намъ Свою волю!» Послѣ этихъ ничего не говорящихъ словъ Товянскій объявлялъ, что «Польша, какъ великолѣпная (znakomita) часть славянскаго племени, которое чище и горячѣе, нежели другія племена, сохранило въ душѣ сокровище Христова огня, сокровище любви, чувства, представляетъ собой великолѣпный краугольный камень воздвигающаго дѣла Божья, дѣла спасенія міра». Не всѣ присутствующіе были потрясены вѣщаніями Товянскаго, но многіе, по словамъ Ходьки, повѣрили въ нихъ лишь потому, что повѣрилъ Мицкевичъ. Между тѣмъ, этотъ послѣдній, будучи въ другомъ душевномъ настроеніи, конечно, увидѣлъ бы въ проповѣди литовскаго помѣщика, начитавшагося его собственныхъ произведеній, лишь отзвукъ того, что онъ самъ, Мицкевичъ, проповѣдовалъ въ продолженіе почти десяти лѣтъ въ своихъ сочиненіяхъ и съ высоты каюеды. Но онъ точно ослѣпъ и свято вѣрилъ въ весь тотъ вздоръ, который громоздилъ Товянскій въ своихъ проповѣдяхъ. Видимо, гордому уму его, истомленному исканіями пути, его надорванной душѣ нужно было уйти въ безпредѣльную вѣру, въ смиренное послушаніе. Другіе не пережившіе такихъ трагическихъ душевныхъ процессовъ, какъ Мицкевичъ, быстрѣе разобрались въ новомъ явленіи, и эмиграціонная печать, вообще говоря, не щадила Товянскаго. Но въ него можно было или вѣрить, или не вѣрить: третьяго ничего не было. «По отношенію къ своимъ приверженцамъ, говоритъ проф. Павликовскій, это былъ учитель, т.-е. господишь, кроткій въ своемъ обхожденіи, но тѣмъ не менѣе рѣшительный. Онъ любилъ видѣть, что ему воздаютъ почести; даже милостиво принялъ отъ одного изъ своихъ приверженцевъ символическій актъ, которымъ тотъ отдавался ему въ рабство. О какомъ-нибудь спорѣ, объ обмѣнѣ мнѣніями, конечно, не могло быть и рѣчи». Въ ноябрѣ и декабрѣ 1841 года шла усиленная проаганда Товянскаго, которая не только не внесла мира въ эмиграцію, но, напротивъ, грозила разлучить Мицкевича съ его

ближайшими друзьями. На выступленія новаго пророка по церк-вамъ обратила вниманіе уже и парижская полиція, и эти выступленія съ половины декабря были перенесены въ домъ Мицкевича, гдѣ они происходили по воскресеньямъ. На великомъ посту, весной 1842 г., эти собесѣдованія велись въ отсутствіи уединившагося Товянскаго самимъ Мицкевичемъ. Позже, съ 27 марта по 30 апрѣля 1842 г., Товянскій принималъ въ домѣ поэта *ежедневно* всѣхъ, кто обращался къ нему. 1 мая 1842 г. новый пророкъ вздумалъ представиться королю Луи Филиппу, появился не во фракѣ и не былъ принятъ. Наконецъ пребываніе Товянскаго въ Парижѣ стало такъ тяготить полицію, что 13 іюля онъ получилъ предписаніе покинуть Францію и нѣсколько дней спустя выѣхалъ въ Бельгію. Тѣ «конференціи», которыя происходили въ домѣ Мицкевича, были по существу близки къ сектантскимъ радѣніямъ: «земная мудрость глупость; нужно все почерпать изъ духа и *чувствомъ* понимать истину словъ Господа», (P. Chmielowski Ad. Mickiewicz. II. 320). Въ такой духовной обстановкѣ Мицкевичъ провелъ 1841—42 учебный годъ.

Какъ отразился товянизмъ на его лекціяхъ? Второй курсъ начался 14 декабря 1841 года и окончился 1 іюня 1842 г. За это время Мицкевичъ прочелъ всего 33 лекціи, т.-е. на 16 лекцій меньше, чѣмъ въ прошломъ году. По содержанію своему курсъ охватывалъ исторію Россіи со времени вступленія на престолъ династіи Романовыхъ и до послѣднихъ дней (Пушкинъ, имп. Николай I) и исторію Польши съ конца XVII вѣка. Для философскихъ размышленій эта эпоха давала чрезвычайно обширное поприще. «Нашъ милый Адамъ съ необыкновеннымъ талантомъ разъясняетъ наше народное и племенное прошлое и представляетъ то и другое въ такомъ яркомъ свѣтѣ, какого еще никогда не было. Въ своей вѣрѣ онъ нисколько не остылъ къ предсказаніямъ; напротивъ, онъ многого ожидаетъ, постоянно утѣшаетъ, ласково ободряетъ и, когда глядишь на него, кажется, что лишь тотъ можетъ вѣрить такъ крѣпко, кто уже добился очевидной истины». Эти слова Б. Залѣскаго относятся къ концу февраля 1842 года и представляютъ характеристику общаго тона этого курса. Но въ душѣ самого Мицкевича шла упорная борьба между сомнѣвающимся разумомъ и сердцемъ, которое хотѣло во что бы то ни стало вѣрить безгранично. Онъ молилъ «учителя» подкрѣпить его въ этой внутренней работѣ: «Я больше сокру-

шаюсъ, нежели возношусь; ты дашь мнѣ *стопъ* ко Господу, а *сила* не сходить». И кажется, что Мицкевичъ старался самъ себя убѣдить въ истинѣ новаго ученія, проповѣдуя его въ организовавшемся «Кругу» (Koło).

Уже въ первой лекціи поэтъ затронулъ проблему будущаго: «Всѣ славянскія страны охвачены теперь торжественнымъ ожиданіемъ, всѣ онѣ ищутъ идеи общей, новой... Какъ славянинъ и какъ свидѣтель движенія, которое потрясаетъ умы и сердца народовъ Запада, я чувствую непреоборимое влеченіе къ этимъ загадкамъ, разрѣшеніе которыхъ наступитъ однако лишь въ послѣдней части моихъ лекцій. Я полагаю, что лишь эта часть будетъ имѣть значеніе общаго интереса для французовъ, ибо и старый Западъ чего-то ждетъ. Всѣ философы утверждаютъ, что мы переживаемъ переходную эпоху... Быть можетъ, идея, которую силится создать Западъ, которой жаждутъ славяне, будетъ идеей общепародной». Дальше шли такія же неясныя, но прекрасныя ожиданія: «Если бы, господа, вы даже не приняли ни одной изъ славянскихъ мыслей, все-таки вамъ полезно узнать о нихъ: ибо всякій разъ, когда въ мірѣ объявляется новая идея, провидѣніе избираетъ для нея одно племя». Но въ чемъ заключается эта идея, Мицкевичъ пока не хотѣлъ разъяснить. Однако и то, что онъ сказалъ, возбудило живой интересъ въ его аудиторіи, которая опять была наполнена польскими эмигрантами, блестящими французскими писателями и представителями разныхъ славянскихъ народовъ. Въ старомъ Адамѣ Чарторыйскомъ эта лекція возбудила живое опасеніе, что поэтъ уйдетъ въ политику, что въ своей проповѣди славянскаго единства онъ будетъ содѣйствовать «усиленію московскаго могущества» и не достаточно подчеркнетъ идеаль конечной независимости каждаго народа (Pamiętnik Literacki. VII. 1908).

Уже въ первой лекціи Мицкевичъ говорилъ о своемъ трудномъ нравственномъ положеніи на каедрѣ въ Парижѣ, гдѣ его окружали противорѣчивые интересы и страсти. Но въ своемъ стремленіи «служить правдѣ, работать въ интересахъ истины» Мицкевичъ не хотѣлъ «сжимать своихъ лекцій только въ рамки исторической эрудиции: это значило бы не считаться съ требованіями общества, наносить ущербъ (ubliżać) своему призванію. Не слѣдуетъ также упускать изъ виду интересовъ народа, который создалъ эту кафедру. Поэтому я всегда буду

стараться разбирать и разъяснять по мѣрѣ возможности вопросы, которые миѣ будутъ представляться полезными для Франціи и должны теперь занимать французское общество». Разумѣется, разъ дѣло ставилось такимъ образомъ, то вовсе не «историческая эрудиція» выдвигалась на первый планъ, а польза, и не научная польза, которую приносить изслѣдованіе каждаго ученаго вопроса, но польза нравственная. Это была опасная почва, и эмиграціонная печать, знавшая объ увлеченіи поэта товыанизмомъ, забила тревогу. Мицкевичу пришлось объясниться, что онъ и сдѣлалъ въ началѣ слѣдующей лекціи. Онъ утверждалъ здѣсь, что вовсе не намѣренъ «заняться цѣликомъ разборомъ политическихъ и социальныхъ системъ славянства», что самъ онъ питаетъ живѣйшій интересъ къ «последней части своего предмета, современной литературѣ, къ славянской философіи», но остановиться на нихъ онъ будетъ имѣть возможность лишь въ концѣ своего курса, а пока необходимо изучить два вѣка, «подготовившіе современную литературу и философію». Въ дальнѣйшемъ изложеніи литературныхъ и историческихъ явленій въ Польшѣ и Россіи XVII и XVIII вѣковъ Мицкевичъ старался провести идею національныхъ противоположностей польскаго и русскаго народовъ: тамъ горячее, благородное увлеченіе, здѣсь холодный расчетъ. Такъ, въ мемуарахъ Кордецкаго оцъ видитъ воплощеніе польской идеи, «сочетаніе простодушія, энтузіазма и скромности». Въ русской исторіи, которая уже давно теряла свой славянской характеръ, наступила эпоха Петра Великаго, на котораго Мицкевичъ и здѣсь смотритъ глазами славянофиловъ, выставляя все время только деспотизмъ этого человѣка. При этомъ, давая волю своей фантазіи, Мицкевичъ опредѣлялъ въ антропологическомъ образѣ Петра «отатареннаго москаля, фамильные черты рода Бурчукиныхъ, господствующаго въ Монголіи!»¹⁾ *Славянская философія* должна была объяснить и все загадочное, что было въ личности геніальнаго преобразователя Россіи. Съ поразительнымъ непониманіемъ исторической перспективы изложены и начатки новой русской литературы при Петрѣ.

Ломоносову и другимъ первымъ писателямъ преобразованной Россіи была посвящена одна изъ январскихъ лекцій 1842 года. Конечно, рисунокъ получился самый мрачный: хотя въ одахъ

¹⁾ *Literatura słowianska, wykładana przez A. Mickiewicza, tłumaczenie F. Wrotnowskiego. 3 wyd. 1865. II. t., str. 64.*

Ломоносова Мицкевичъ находилъ очень красивыя мѣста, но и онъ, какъ другіе, былъ погубленъ правительствомъ, которое «захватило ихъ» и заставило служить своимъ цѣлямъ, итти по его слѣдамъ. Отъ Ломоносова переходъ къ Мерзлякову, отъ него къ анекдоту о Хвостовѣ. Потомъ нѣсколько словъ о рационалистическомъ матеріализмѣ XVIII вѣка, который, казалось, сразу убилъ чеховъ, повергъ Польшу въ состояніе болѣзненнаго безсилія, а въ Россіи, напротивъ, сдѣлался «элементомъ согрѣвающимъ».

Слѣдить за ходомъ идей въ этомъ курсѣ и трудно, и нѣтъ надобности. Если уже и въ прошломъ году Мицкевичъ обнаружилъ большой дилетантизмъ въ лекціяхъ, то курсъ 1841—1842 года представляетъ тяжелую картину болѣзненнаго подчиненія ума профессора одной навязчивой идеѣ, въ освѣщеніи которой онъ смотритъ на все событія. Исторія Польши исполнена въ его глазахъ таинственнаго смысла, мистическаго періодическаго повторенія. Сначала династія леховъ, «народа рыцарственнаго и коннаго, имѣющаго своего короля, свою столицу, но не имѣющаго границъ своего государства. Понемногу династія его портится и исчезаетъ, край впадаетъ въ анархію, извѣстную подъ именемъ управленія двѣнадцати воеводъ. Послѣ воеводъ—минуя преданіе о Кракусѣ, заключающее въ себѣ также глубокую мысль—мы видимъ дѣвицу, которая становится жертвой своей любви къ родинѣ: Ванда предпочитаетъ погибнуть, нежели выйти замужъ за нѣмца, хотя она любила его. Потомъ наступила новая династія, менѣе славная (dzielna), чѣмъ прежніе лехи, но и она, портясь въ свою очередь, кончается слабымъ и развратнымъ королемъ, который коварнымъ образомъ отравилъ своихъ родственниковъ, отрекся отъ предковъ и былъ съѣденъ мышами. Съ послѣднимъ Попелемъ погибаетъ царствующій домъ, больше королей нѣтъ. Тогда лишь приходятъ ангелы, чтобы призвать къ престолу новую семью. Былъ избранъ Пясть. Взглянемъ, какъ все это повторяется во второмъ періодѣ. Въ Болеславахъ и Владиславахъ мы имѣемъ сначала великихъ королей, которые намъ напоминаютъ первоначальныхъ леховъ; потомъ анархія въ Польшѣ въ видѣ раздѣловъ приводитъ на память двѣнадцать воеводъ; наконецъ, снова героическая дѣвица Ядвига отвергаетъ возлюбленнаго нѣмца и приноситъ себя въ жертву государству; далѣе рядъ королей, подобный Леникамъ и Попелямъ, изъ которыхъ послѣдній, измѣнивъ своей семьѣ, отвергнувъ предковъ, умираетъ въ

позорѣ. Пусть же рационалисты объясняютъ намъ, если могутъ, эти соотвѣтствія, эти параллельныя явленія и столько другихъ удивительныхъ вещей» и т. д. Нечего и говорить, что Мицкевичъ просто фантазировалъ, говоря объ этихъ «параллеляхъ».

Эта удивительная лекція была прочитана 15 марта 1842 года, а 17 марта онъ долженъ былъ ѣхать, по приказанію Товянскаго, въ деревню Пантеръ, гдѣ жилъ «учитель», чтобы привезти оттуда въ Парижъ «знамя Христово». Съ этимъ были связаны большія надежды. Только 8 апрѣля поэтъ возобновилъ чтеніе лекцій. Въ эту пору онъ уже просилъ называть его не критикомъ, но «пророкомъ» (въ засѣданіи Историко-Литературнаго Общества) и горячо пропагандировалъ секту Товянскаго, стремясь присоединить къ ней новообращенныхъ. Въ связи съ культомъ Наполеона, одной изъ основъ товянизма, и лекціи Мицкевича въ Парижѣ стали принимать новое направленіе. Въ Наполеонѣ поэтъ видѣлъ явленіе сверхъестественное, необъяснимое, какъ необъяснима и его популярность. «Въ Наполеонѣ въ первый разъ Польша соединилась съ Франціей общимъ чувствомъ, общей надеждой; отсюда можно предвидѣть, что приходитъ время, когда союзы между народами будутъ заключаться на иныхъ основахъ, чѣмъ теперь». И «духъ славянскихъ народовъ» такъ же непонятенъ и чуденъ: «Провидѣніе уготовало этотъ родъ для воспріятія новаго порядка». Чѣмъ дальше подвигались лекціи къ концу года, тѣмъ мистичнѣе становилось ихъ содержаніе. Въ концѣ іюня рѣчь шла уже о польскомъ мессіаниззмѣ, а послѣдняя лекція не только развиваетъ мессіанскія идеи, но и пользуется терминологіей товянизма, который въ каждомъ человѣкѣ находилъ какой-то *тонъ*, нѣчто мистическое, не связанное, однако, съ моральнымъ настроеніемъ человѣка. И вотъ 1 іюля 1842 года Мицкевичъ доказывалъ, что «въ тонѣ поляковъ было нѣчто сходное съ тономъ французской монархіи среднихъ вѣковъ, съ тономъ рыцарскихъ временъ». Потомъ «при ослабленіи Польши, когда Европѣ уже нечего было противопоставить Россіи, явился Наполеонъ и *издалъ ноту* (Wydał nutę), болѣе сильную, чѣмъ русская. Это былъ тонъ человѣка, могущественнаго энтузіазмомъ. Польша поняла эту ноту»... Въ такомъ тонѣ не то религіозной проповѣди, не то пророчество вела эта послѣдняя лекція. Судя по отзывамъ эмиграціонной печати, собраннымъ въ III томѣ сочиненія Владислава Мицкевича, эти лек-

цин уже не особенно привлекали общественное внимание, хотя одна газета «Dziennik Narodowy» стала печатать извлечения из нихъ. И его рѣчь въ «Литературно-Историческомъ Обществѣ» дала поводъ только для нападокъ и насмѣшекъ.

Но именно въ эту пору Мицкевичъ былъ фанатически преданъ своей сектѣ и не щадилъ наставленій и укоровъ тѣмъ, кто поступалъ несправедливо. Послѣ удаленія Товянскаго изъ Франціи онъ готовъ былъ раздѣлить его участь, и хотя принятіе французскаго подданства было для него связано съ ординатурой въ Collège de France и вмѣстѣ съ тѣмъ съ прочнымъ положеніемъ, котораго его не могли лишить, поэтъ не хотѣлъ сдѣлать этотъ шагъ, чтобы не «гарантировать себя домашней крѣпости въ то время, когда другіе находятся въ опасности. Лучше я положусь на Провидѣніе—говорилъ онъ. Могутъ мои лекціи прекратить или меня самого выгнать. Да будетъ воля Господня!» Въ отсутствіи «учителя» Мицкевичъ не побоялся принять на себя его обязанности, учить братьевъ, принимать ихъ исповѣдь и самому каяться передъ ними въ грѣхахъ. Въ іюлѣ 1842 года поэтъ составилъ для желающихъ исповѣдываться слѣдующую инструкцію (Żywot. III. 179). «Для достойнаго исполненія такой исповѣди необходимо 1) найти въ братѣ свойство, которымъ онъ превосходитъ тебя; 2) сказать грѣхъ въ глаза брату. Но сказать это ты имѣешь право лишь въ ту минуту, когда *ты ощущаешь себя въ полномъ тонѣ*. Актъ этотъ долженъ быть слѣдствіемъ большой духовной работы. Каждый изъ людей обладаетъ какимъ-нибудь свойствомъ, развитымъ или еще скрытымъ, свойствомъ, котораго мнѣ не хватаетъ. Итакъ, слѣдуетъ начинать съ открытія этого свойства и съ того, чтобы возлюбить его въ братѣ. Такъ почтивъ и вознесшись въ чувствѣ, слѣдуетъ наказывать (strofować) или иными словами: одной рукой взять за сердце, а другой карать». Отъ ханжества Мицкевича спасалъ высокій тонъ его собственнаго душевнаго настроенія, строй его души, слишкомъ изстрадавшейся, слишкомъ жаждавшей приобщенія, но что самое узкое сектантство господствовало въ кружкѣ товянистовъ, въ этомъ нельзя сомнѣваться. Къ сожалѣнію, рамки этого труда не позволяютъ мнѣ вдаваться ни въ какія подробности относительно дѣятельности Мицкевича въ организациі товянизма. Приведенная инструкция можетъ указать общій духъ ея. И чѣмъ больше сыналось на него обвиненій и упрековъ, тѣмъ востор-

женѣ дѣлалась его душа религіознаго мечтателя. Въ окт. 1842 года онъ писалъ Домейкѣ, что партія Чарторыйскаго считаетъ товѣристовъ сумасшедшими, демократы «русской партіей» и т. п. «Пишутъ, кричатъ, мы молчимъ... Всѣ прежнія отношенія рвутся и удивительно перепутываются. Семья моей жены боится насъ, и мы почти перестали видѣться. Наши говорили обо мнѣ съ французскимъ правительствомъ, должно быть обвиняли меня. Я самъ удивляюсь послѣ того, что здѣсь дѣлается, что меня еще не выгнали. Но видитъ Богъ: кто позналъ такую истину, можетъ думать лишь о томъ, чтобы выдержать въ ней!» Въ эту пору Мицкевичъ сошелся особенно близко съ мистиками Кине и Мишле, но съ духовенствомъ польскимъ, даже съ Кайсевичемъ, долженъ былъ порвать отношенія.

6 декабря возобновились лекціи Мицкевича. Въ этомъ году ихъ оказалось еще меньше, чѣмъ въ прошломъ: за время съ 6 декабря 1842 г. по 27 июня 1843 года Мицкевичъ прочелъ всего 25 лекцій. Цѣль ихъ была открыть духъ славянства, а средствами для этого служили какъ изслѣдованія (совершенно не научныя) славянскихъ древностей, такъ и анализъ отдѣльных писателей и отдѣльныхъ произведеній славянскихъ литературъ. Аудиторія и въ этомъ году у Мицкевича была большая, но собиралась она уже не для того, чтобы учиться и узнавать, но для того, чтобы познавать высшія истины и внимать высшимъ откровеніямъ. На французскихъ писателей производили сильное впечатлѣніе утвержденія поэта, что «часть славянскихъ странъ не отрываетъ своихъ глазъ отъ Франціи, съ вѣрой, что Франціи предназначено еще разъ потрясти Сѣверъ, и что эта торжественная минута будетъ моментомъ соединенія западныхъ племенъ съ сѣверными вокругъ одной всеобщей идеи, вокругъ христіанской идеи». (*Żywot*. III. 202). Желая оказать нравственную поддержку Мицкевичу, котораго одни хвалили, но большинство, а особенно польскія эмигрантскія партіи, жестоко критиковали, Жоржъ Зандъ помѣстила статью объ его лекціяхъ въ «*Revue Indépendante*», гдѣ, восхищаясь вообще Мицкевичемъ, осторожно отказывалась разбирать идеи мессіанизма и не соглашалась съ его оцѣнкой Наполеона. А Мицкевичъ посвящалъ ему все болѣе восторженные выраженія. Еще въ декабрѣ онъ причислялъ его къ людямъ, которые «опережаютъ массы и возносятся надъ всѣмъ: критика, поэзія, литература, какъ и все общество, стоятъ передъ ними

въ остолбенѣніи и подчиняются ихъ силѣ». И послѣднюю свою лекцію въ этомъ учебномъ году Мицкевичъ посвятилъ опять-таки «великому человѣку», Наполеону. «Почему Наполеонъ былъ такъ великъ? Потому, что каждый французъ въ энергіи этого человѣка, въ его стремленіи къ чувству, разъяряющему все сразу, находилъ настоящія черты французскаго духа, познавалъ то, что самъ про себя чувствовалъ въ глубинѣ своей души. Кто только понимаетъ всю важность славянскаго вопроса, вопроса о судьбахъ племени самаго многочисленнаго и матеріально самаго могущественнаго изъ всѣхъ, тотъ не надѣется увидѣть его разрѣшенія въ политическихъ комбинаціяхъ. Искони вѣковъ великія государства возникали отъ великихъ людей, и всегда ихъ приходу на свѣтъ сопутствовали великія событія и чудеса. Появленіе новаго духа среди славянъ должно также имѣть свои таинственныя предзнаменованія. Славянскій родъ религиозенъ, простъ, добродушенъ и силенъ. Новый духъ, который откликнется на душевныя стремленія этого рода, долженъ представить все его домашнія, престопагодныя и политическія особенности. Нужно, чтобы въ этомъ духѣ, чехи, поляки и русскіе увидѣли, что они братья. Гдѣ же колыбель этого духа? Можетъ быть, это оскорбитъ нашихъ побратимовъ, чеховъ, русскихъ и придунайскихъ славянъ, которыхъ мы окружаемъ равной и искренней любовью, но скажемъ открыто: мѣсто этой колыбели обозначено на картѣ славянства. Пусть спросятъ исторію всѣхъ народовъ, и она имъ отвѣтитъ. Колыбель эта не можетъ находиться нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, кромѣ какъ у народа, который изъ всѣхъ славянскихъ народовъ больше всего страдалъ ¹⁾, ближе всего соприкасался съ Европой, больше всего взялъ отъ Европы и больше всего служилъ Европѣ. Во всѣхъ изъ указанныхъ отношеній первенство принадлежитъ польскому народу. Онъ заслужилъ эту привилегію не своими геройскими подвигами, но своей долгой и страшной мукой. Припомнимъ, что сказалъ польскій поэтъ и пророкъ, Бродзинскій, что величайшій гений на землѣ обвинялся (poślubił) съ дѣломъ самаго несчастнаго народа. Онъ говорилъ о Наполеонѣ и Польшѣ. Угадайте же, какой духъ долженъ былъ

¹⁾ Это говорилось въ то время, когда болгаръ душили турки! А сербы подъ властью Турціи и чехи подъ гнетомъ оиѣмчиванія? Мицкевичъ до такой степени былъ ослѣпленъ своей идеей, что, кажется, забылъ обо всѣхъ, кромѣ своего народа.

родиться отъ этого брака, старайтесь же познать его, потому что онъ исполнить свою миссію съ вами или безъ васъ или даже вопреки вамъ. И что же этотъ духъ принесетъ западнымъ народамъ? Ибо уже миновало то время, когда народы говорили: каждый у себя, каждый для себя. На чемъ основывался бы прогрессъ народовъ, если бы они не стремились построить единство религиозное, политическое и общественное? Славяне почувствовали необходимость этого, но не имѣютъ силъ для осуществленія. Уже раньше мы подробно выяснили, что очагомъ всякаго движенія и всякой силы является Франція... Закончимъ же обращеніемъ къ генію Франціи и къ людямъ, которые не усомнились относительно будущаго, съ обѣщаніемъ, отъ котораго, конечно, не откажутся наши соотечественники, что въ славянскомъ родѣ эти люди найдутъ опору, поощреніе и орудіе. Пусть въ этомъ родѣ они видятъ будущее войско Слова, которое творитъ новую эпоху». Таково было заключеніе третьяго года курса.

Положеніе Мицкевича среди эмиграціи становилось все болѣе тяжелымъ. Обособившись отъ людей въ своемъ мистицизмѣ, онъ не отказался однако отъ участія въ жизни эмиграціи, и въ рѣзкомъ выступленіи противъ одного изъ польскихъ магнатовъ, кн. Святополкъ-Мирскаго, принявшаго православіе, видная роль принадлежала Мицкевичу. Точно такъ же онъ сохранялъ за собой предсѣдательство въ Литературномъ обществѣ, и 3 мая 1843 года произнесъ рѣчь, которая сильно возмутила присутствующихъ. Основной мыслью его рѣчи было утвержденіе, что «Польша не хотѣла быть собою, отказалась сама отъ себя, предпочла подражаніе, потому что подражать легче, чѣмъ быть самимъ собою». Возрожденія своего надо искать не въ книжкахъ, не въ исторіи или наукѣ, или дипломатіи, но въ своемъ собственномъ сердцѣ, — лозунгъ всѣхъ религиозныхъ реформаторовъ, какимъ теперь становился и Мицкевичъ. «Польша пала и не сможетъ подняться, если не порветъ совершенно съ прошлымъ, если не возродится въ духѣ. Нашъ народъ — продолжалъ ораторъ — не хотѣлъ понять свое высокое призваніе: то, чего вы не хотѣли совершить сами, сдѣлаютъ за васъ враги, уничтожая общественные горбы, которые выросли на нашихъ спинахъ; почему вы не хотите отказаться отъ нихъ и принять тѣ степени, къ которымъ вы будете способны въ духѣ? — спрашивалъ своихъ слушателей на мистическомъ языкѣ Мицкевичъ. Богъ управляетъ народами и какъ

верховный вождь, отдающій приказы духамъ народовъ, для того угнеталъ такъ Польшу, чтобы добыть изъ нея послѣднія силы. Всѣ страданія и муки, всѣ стоны, слезы и кровь миллионовъ людей ничто по сравненію съ тѣмъ, что заключается въ одномъ этомъ словѣ: *Polen, Polak* (рус. *палякъ*), *Polak!* О если бы вы, возродившись въ духѣ, могли такъ простонать!» Безъ смерти нѣтъ воскресенія, училъ дальше Мицкевичъ, и продолжалъ настаивать на необходимости духовнаго возрожденія. Онъ кончилъ мольбой, обращенной къ эмигрантамъ, положить предѣлъ партійнымъ счетамъ и примириться между собой. Рѣчь председателя Литературнаго общества вызвала недоумѣніе и насмѣшки; на многихъ она произвела угнетающее впечатлѣніе. Кн. Чарторыйскій, желая смягчить тяжелое настроеніе, заявилъ, что онъ по существу согласенъ съ ораторомъ; графъ Платеръ попробовалъ было удержать Мицкевича, когда онъ послѣ своей рѣчи стремительно пошелъ къ дверямъ, но Мицкевичъ рѣзкимъ движеніемъ оттолкнулъ его. Такъ наступилъ его разрывъ съ польскимъ обществомъ Парижа. Объ эмиграціонной печати нечего и говорить: уже давно слышались обвиненія, что Товянскій тайный агентъ русскаго правительства; самого Мицкевича закидывали грязью, утверждая, что вся задача его лекцій — угодить Россіи. Инцидентъ на засѣданіи Литературнаго общества еще подлил масла въ огонь. Душевное успокоеніе Мицкевичъ находилъ въ общеніи съ двумя профессорами *Collège de France*, Мишле и Кине. «То, что было знаменемъ новой науки, появившейся въ *Collège de France*—писалъ впоследствии Мишле (*Żywot* III. 238)—это сила вѣры, это стремленіе извлечь изъ исторіи не доктрину, но элементъ подвига и развивать не умы, но, что болѣе важно, души и воли. Вслѣдствіе счастливаго стеченія обстоятельствъ, какъ мы имѣемъ право думать, эти идеи не были исключительно моими, но вытекали изъ духа времени и принадлежали двумъ высокимъ умамъ, которые одновременно пошли по тому же самому пути, Кине и Мицкевичу». Въ интеллигентныхъ кружкахъ Парижа эти «полу-религіозныя лекціи» трехъ профессоровъ, которые проповѣдывали «религію Наполеона», возбуждали чрезвычайное волненіе. Духовенство горячо возстало противъ нихъ, и одна изъ лекцій Мишле (11 мая 1843 г.), на которой присутствовали свидѣтели «гармоніи» ихъ, Кине и Мицкевичъ, собрала массу народа. Молодежь (поляки и итальянцы) предлагала приходить на лекціи съ оружіемъ, чтобы

защитить профессоровъ отъ покушеній духовенства. Такъ, Collège de France превращался въ арену уже не научной, но политической борьбы. Ея лозунгомъ былъ культъ Наполеона, конечно, чрезвычайно враждебный царствующей династїи. А во главѣ всего движенія стоялъ Мицкевичъ. То, чего боялось французское правительство, назначая его профессоромъ, исполнилось.

Наступили каникулы 1843 года. Еще 21 июня, за педѣлю до конца лекцій, Целлина и Мицкевичъ писали своимъ знакомымъ, что ихъ лѣто еще совсѣмъ не опредѣлено. «Мы еще не знаемъ, поѣдемъ ли въ деревню... Жизнь наша идетъ попрежнему однообразно, но мы укрѣпляемся новой и сильной вѣрой, которая насъ успокаиваетъ и оживляетъ надеждами на будущее». Прошелъ мѣсяць, а Мицкевичи все еще были въ Парижѣ. 20 іюля поэтъ выѣхалъ въ Брюссель, гдѣ въ это время находился «учитель». Отсюда своему замѣстителю въ «Колѣ» товянчиковъ, поэту Гоцинскому, Мицкевичъ написалъ наставительное письмо, въ которомъ особенно интересны слѣдующія строки: «Наша дѣятельность является религіозно-политической, нашъ тонъ—Христово-Наполеонскій. Злой духъ (złe) только и думаетъ о томъ, чтобы расщепить эти тоны (te tony rozczepić — мистическія выраженія, которыя, очевидно, имѣли особое значеніе въ сектѣ Товянскаго), и онъ позволилъ бы намъ политически усилиться, только бы представить насъ въ глазахъ милліоновъ за отщепенцевъ. Благословеніе папы признаетъ необходимое единство двухъ тоновъ. Мы не вѣтвь церкви, но растемъ отъ ея корня той же самой силой роста. Порница до сихъ поръ всѣхъ раскольниковъ (отщепенцевъ), церковь поступала согласно съ мыслью Господа. Учитель не пришелъ уничтожать законъ, но дабы исполнить его въ предѣлахъ, данныхъ эпохѣ. Мы не являемся ни заливомъ, ни рукавомъ, но срединнымъ русломъ жизни церкви». Изъ Брюсселя Мицкевичъ проѣхалъ въ Майнцъ, гдѣ дождался Товянскаго, съ которымъ поѣхалъ дальше въ Лозанну. Товянскій отправлялся въ Римъ, желая обратиться въ свою вѣру самого папу. Но предпріятіе это кончилось полнымъ крахомъ: папа не только не принялъ мистика, но 21 октября велѣлъ удалить его въ 24 часа изъ Рима. Кое-какъ ему удалось доставить папѣ письмо, и онъ утѣшался тѣмъ, что «папѣ посланъ тонъ, часть дѣла выполнена, а результаты у Бога». Это путешествіе съ Товянскимъ и необходимость матеріально поддерживать его настолько разорили Миц-

кевича, что о побѣдѣ на дачу, кажется, нечего было и думать. Съ упрямствомъ человѣка, который не хотѣлъ видѣть ничего, кромѣ охватившей его идеи, поэтъ оставлялъ своихъ дѣтей въ душномъ городѣ, но помогалъ мистика и шарлатану Товянскому.

22 декабря 1843 года Мицкевичъ началъ новый курсъ. Зала была переполнена. Курсъ превратился уже въ сплошную проповѣдь. Читался онъ еще короче, чѣмъ въ прошломъ году, съ 22 декабря по 22 мая 1844 года, и охватилъ всего 14 лекцій. Исторія славянскихъ литературъ, какъ официально назывался этотъ курсъ, здѣсь совершенно отсутствовала: ея мѣсто заняли пророчества, проповѣди, наставленія на основѣ нѣсколькихъ поэмъ Красинскаго и «Бесѣды» Товянскаго. Мишле, со своей стороны, поддерживалъ Мицкевича и 22 января объявилъ своимъ слушателямъ, что это уже не поэтъ, но пророкъ, что его голову окружаетъ ореолъ. Мицкевичъ испытывалъ необычайный подъемъ: онъ громилъ церковь, утверждалъ, что смертельная болѣзнь охватила ея душу, что церковь уже не оказываетъ никакого вліянія на поведеніе людей и должна быть преобразована. Самъ Мишле, слова котораго Мицкевичъ цитировалъ на этой лекціи 16 января, встревожился за него и совѣтовалъ быть осторожнѣе. Проповѣдь все чаще переходила изъ области религіозной въ сферу политики, въ осужденіе орлеановъ и восторженные панегирики Наполеону. Не подлежитъ сомнѣнію, что возвращеніе Наполеоновъ на престолъ Франціи было подготовлено энтузіазмомъ этихъ трехъ профессоровъ Collège de France, Мишле, Кине и Мицкевича ¹⁾, и остается только удивляться долготерпѣнію французскаго правительства, которое допускало эту политическую пропаганду въ стѣнахъ высшаго учебнаго заведенія. Черезъ своихъ агентовъ, показаніями которыхъ воспользовался Владиславъ Мицкевичъ въ своемъ трудѣ объ отцѣ, правительство было прекрасно освѣдомлено о томъ, что дѣлается на этихъ лекціяхъ.

Уже вступительная лекція въ курсъ четвертаго года сильно отличалась отъ предшествовавшихъ. Поэтъ заявилъ, что славянское племя «само еще не знаетъ своего предназначенія; оно молить для этого помощи у Запада, который одинъ только въ состояніи оказать ее. И даже не пришло еще время сказать все о славянахъ. Провидѣніе хранить важнѣйшія тайны народа до того вре-

¹⁾ А. Leboy. Louis-Napoléon Bonaparte et la Revolution de 1848, II томъ (1908), 324 и дал.

мени, когда придет рѣшительная минута дѣйствовать, и нельзя дѣлать изъ нихъ предметъ общественнаго любопытства». Такъ оригинально начинался курсъ лекцій о славянскихъ литературахъ. И теперь профессоръ ставилъ себѣ совсѣмъ инныя задачи, нежели обыкновенные профессора, которые считаютъ своимъ долгомъ владѣть предметомъ и сообщить о немъ всѣ существенныя свѣдѣнія слушателямъ. Мицкевичъ называлъ себя «человѣкомъ, которому было дано высоко поднять лампу жизни, чару жизни и который долженъ держать ее высоко и хранить ея чистоту, чтобы она могла наполниться содержаніемъ всей жизненности и силы народа. А потому онъ долженъ забыть о себѣ. Забыть, это слишкомъ мало: онъ долженъ стереть (zatrzeć) самого себя среди своей публики. Къ такой жертвѣ призванъ стоящій на этомъ мѣстѣ. Весь энтузіазмъ, который накопился въ моей душѣ, всю любовь и силу я обязанъ излить здѣсь. Я поднимаю эту чару, чтобы совершить изъ нея торжественное возліяніе въ честь генія великаго народа, генія Франціи: только, совершивъ это возліяніе, можно вызвать генія». Дѣйствительно, наивысшій энтузіазмъ, высочайшій полетъ духа, который уже неспособенъ къ національной ненависти, несъ съ собою Мицкевичъ на кафедру. Здѣсь онъ уже слишкомъ высоко поднялся надъ настроеніемъ своей эпохи, чтобы быть понятымъ современниками, и они обвиняли своего поэта въ угодничествѣ передъ Россіей, въ отступничествѣ отъ своего народа и засыпали его насмѣшками и упреками. Участъ генія, который на многія поколѣнія опередилъ развитіе своего общества, судьба пророка, котораго современники побиваютъ камнями! «Мицкевичъ — единственный великій экстатикъ, котораго я знаю... Онъ — очень великій человѣкъ, сердечный, гениальный, полный энтузіазма, совершенно владѣющій собою въ обыденной жизни и разсуждающій *со своей точки зрѣнія* очень возвышенно, но склонный къ экзальтаціи, именно благодаря природѣ своихъ вѣрованій, благодаря могуществу своихъ немного дикихъ инстинктовъ, благодаря сознанію несчастій своей родины и благодаря тѣмъ необычайнымъ порывамъ поэтической души, которая не знаетъ преградъ своимъ силамъ и уносится иногда къ той грани конечнаго и безконечнаго, гдѣ начинается экстазъ». Такъ судила о Мицкевичѣ еще въ концѣ 1840 г. Жоржъ Зацъ («Вѣсти. Евр.» 1907, № 5, стр. 265).

Съ этого времени, съ 1840 г., состояніе экстаза росло и росло

въ душѣ поэта, міровоззрѣніе его все менѣе считалось съ реальными формами человѣческой жизни, онъ дѣлался уже только учителемъ и проповѣдникомъ, однимъ изъ религиозныхъ гениевъ человечества. Рано или поздно долженъ былъ наступить конфликтъ съ обычной жизнью.

Наполеонъ прославлялся въ лекціяхъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя должны были смущать орлеанское правительство. Въ январѣ 1844 года здѣсь было провозглашено, что Ватерлоо является «Голговою новаго времени, гдѣ вмѣстѣ со славой Франціи пала надежда Италіи и Польши». Развивая эту идею дальше, въ послѣдней январской лекціи, Мицкевичъ прибавлялъ, что земная жизнь Наполеона кончилась, но что духъ его не перестаетъ дѣйствовать (działać). Въ февралѣ онъ перешелъ къ толкованію «Бесѣды» Товянскаго и къ объясненію значенія «Слова» у славянскихъ народовъ. Słowo, по его объясненію, значило «народъ слова». Отсюда открывалась длинная перспектива возвышенныхъ мыслей, связанныхъ со «Словомъ», съ «идеей слова». Своего апогея эта проповѣдь достигла въ лекціи 19 марта 1844 года. Уже въ предыдущей лекціи Мицкевичъ объявилъ, что Парижъ есть столица слова, но эта столица еще лишена своего Господа, который есть Духъ Божій. «Человѣческой языкъ теперь уже безсиленъ; нужно, чтобы снизошелъ Духъ, Господь и начало всего. Этимъ Господомъ, этимъ началомъ, является Слово Божье». Очень мистическимъ толкованіемъ о томъ частичномъ обладаніи Словомъ Божьимъ, которое имѣетъ каждый человѣкъ, и была посвящена лекція 19 марта. Она кончалась указаніемъ на явленіе новой правды, новаго учителя. «Сказать вамъ это было моимъ призваніемъ. Я прошу Бога, чтобы онъ придалъ моимъ словамъ хоть часть того огня, той силы, которая привела бы васъ къ источнику всего огня, всей силы. Радость, которую я испыталъ и которая никогда не будетъ отнята у меня, радость, которую я почувствовалъ оттого, что былъ призванъ сказать вамъ это, будетъ радостью всей моей жизни и всѣхъ моихъ жизней, а такъ какъ я не говорю, опираясь на авторитетъ какой-нибудь книжки, такъ какъ не излагаю какой-нибудь системы, то я стою передъ вами, передъ лицомъ Неба свидѣтелемъ новаго Откровенія и осмѣливаюсь всѣхъ тѣхъ между присутствующими здѣсь поляками и французами, которые признаютъ его, пригласить, чтобы они отвѣтили мнѣ громкимъ голо-

сомъ. Есть ли это Откровеніе или нѣтъ?? (Вызванные встають и, поднимая руки, отвѣчаютъ: Да!). Тѣ между поляками и французами, которые видѣли воплощеніе этого Откровенія, которые видѣли и познали, что ихъ Учитель на землѣ, пусть мнѣ отвѣтять: Такъ или нѣтъ? (Вызванные встають и отвѣчаютъ: Да!). А теперь, братья мои, служба моя передъ Богомъ и передъ вами кончена. Пусть эта минута вольеть въ васъ всю радость и всѣ безграничныя надежды, какихъ я преисполненъ!»

Эта сцена переполнила чашу терпѣнія французскаго правительства. «Univers» отъ 30 марта писалъ, что приверженцы тованизма разсыпались по залѣ группами, чтобы сдѣлать невозможнымъ сопротивленіе невѣрующихъ. Такимъ образомъ дѣло могло дойти до рукопашныхъ схватокъ. Къ тому же на лекціяхъ уже происходили припадки кликушества среди женщинъ. Получалась картина какого-то сектантскаго радѣнія. На лекціяхъ Кинне происходили подобныя же сцены. Поляки кричали *vivat* Франціи, французы отвѣчали такими же восклицаніями въ честь Польши. Французская пресса недоумѣвала по поводу того, что происходило въ Collège de France. Наконецъ министръ народнаго просвѣщенія попросилъ Мицкевича прекратить лекціи. Видимо, желали предотвратить шумъ и готовы были итти на компромиссъ съ безпокойнымъ профессоромъ. Министерство предлагало Мицкевичу сохранить за нимъ жалованье и «разныя другія выгоды»; но при этомъ грозило, что долѣше дѣло не можетъ такъ итти. Поэтъ отвѣчалъ заявленіемъ, что онъ не можетъ отказаться отъ исполненія своего долга, но подумывалъ, не прекратить ли лекцій на время, до «болѣе горячей минуты, потому что теперь нужно напирать все сильнѣе». Товянский со своей стороны совѣтовалъ переждать одну — двѣ недѣли, потомъ «возобновить послѣдній тонъ, заявить, что ты исполнилъ христіанскій долгъ брата, друга»... Министръ продолжалъ настаивать на томъ, чтобы Мицкевичъ принялъ литературную командировку въ Южную Италію на неопредѣленное время и гарантировалъ не только жалованье, но и командировочныя деньги. Но купить Мицкевича было невозможно: онъ не хотѣлъ, какъ писалъ въ маѣ 1844 года, завязнуть въ грязи и остановиться на полдорогѣ. Напрасно старался повліять на него и Чарторыйскій. Съ литературнымъ обществомъ Мицкевичъ уже порвалъ въ мартѣ, отказавшись отъ предѣдательства въ историческомъ отдѣленіи его. «Всѣ эмиграціонныя газеты объявляли

его измѣнникомъ» (Żywot. III. 294). Уже въ серединѣ мая Мицкевичъ зналъ, что больше ему не придется читать. Последняя его лекція, 28 мая 1844 года, была посвящена высшимъ призваніямъ славянства, поляковъ, Наполеона и кончалась двумя «тостами»-молитвами. «Ты — учитель, лучше знающій суды Господни о земляхъ!»: такъ взывалъ поэтъ къ Товянскому, благословляя его. При этомъ раздавались литографированные портреты Наполеона и наступило «духовное сочетаніе» съ нимъ. Правительство рѣшило принять мѣры, чтобы больше Мицкевичъ не появлялся на кафедрѣ въ Collège de France (Żywot. III. 304). Въ іюлѣ въ палатѣ депутатовъ былъ внесенъ запросъ по поводу безпорядковъ на лекціяхъ Мицкевича. Послѣ новыхъ переговоровъ съ министромъ поэтъ въ октябрѣ попросилъ отнустъ на 6 мѣсяцевъ, а кафедру его занялъ молодой французскій ученый К. Роберъ.

XXIV.

Послѣдніе годы жизни (1844—1855).

Выйдя въ отставку, Мицкевичъ не прекратилъ своей политической дѣятельности. Напротивъ, онъ посвятилъ себя ей еще болѣе горячо. Случаевъ высказаться, учить, вести людей къ идеалу было не мало. При этомъ особенно удовлетворяла Мицкевича возможность нападать на ненавистное ему правительство Луи Филиппа. Такъ, когда въ маѣ 1844 года умеръ банкиръ Лафитъ, одинъ изъ людей, доставившихъ Орлеанамъ престолъ, но потомъ публично отрекшихся отъ Луи Филиппа, Мицкевичъ совѣтовалъ полякамъ принять участіе въ погребальной манифестаціи противъ Орлеановъ. Тогда же возникла мысль отчеканить медаль съ изображеніемъ Мицкевича, Мицке и Кине и съ надписью: «ut omnes unum sint». Возвращаясь на кафедру поэтъ не думалъ. Онъ увѣрялъ Ходько, что теперь и за миллионъ франковъ не согласился бы читать лекціи, потому что онъ чувствовалъ, что на этомъ поприщѣ сдѣлалъ свое дѣло. «Это было бы то же самое, какъ если бы во время возстанія мнѣ велѣли написать оду въ честь Марыли (Marylki)». Характерное заявленіе, указывающее на то, какъ уже далеки были теперь воспоминанія молодости для Мицкевича. Теперь онъ былъ весь погруженъ въ

политику и религиозно-политическое учительство. Въ концѣ іюля онъ вручаетъ своимъ приверженцамъ - французамъ обращеніе къ комисіи, которая должна была поставить памятникъ Наполеону I. Въ ту же самую пору онъ увлекается странной идеей обращенія въ свою вѣру императора Николая I. Товянскій поддерживалъ въ этомъ удивительномъ предпріятіи Мицкевича и «чувствовалъ свой долгъ сильнѣе ударить на Россію». Обязанность обратить Россію въ новую вѣру была возложена на А. Ходько, который находился на службѣ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, но, будучи въ Парижѣ, подчинился вліянію Товянскаго и теперь долженъ былъ подать въ отставку. Ему предстояло объясниться съ русскимъ посломъ Киселевымъ, и къ этому разговору, которому польскіе мистики придавали огромное значеніе, Ходько долженъ былъ готовиться молитвой и самоуглубленіемъ. Самъ Товянскій составилъ, при участіи Мицкевича, декларацію, которую надлежало вручить посланнику. А поэтъ жилъ въ состояніи постоянной экзальтаціи. Во снѣ его носѣщали видѣнія, которымъ онъ всецѣло вѣрилъ: «никакая человѣческая мудрость не дастъ тебѣ больше того, что ты найдешь во снѣ. Въ первыя мгновенія послѣ пробужденія я отчетливо видѣлъ, какъ убѣгаютъ образы (osoby) сновидѣнія, подобно звѣрямъ, которые убѣгаютъ, когда кто -нибудь войдетъ неожиданно». Это было лѣто 1844 года, когда Мицкевичъ переживалъ самое напряженное состояніе ясновидѣнія и пророческихъ грезъ. Только къ половинѣ августа было готово обращеніе къ русскому царю. Здѣсь объявлялось наступленіе новой эпохи, возвѣститъ которую должна горсть польскихъ странниковъ, подготовленная къ этой миссіи долгими страданіями. Вѣроятно, Николай I не имѣлъ и понятія о фантастическомъ проектѣ, объектомъ котораго ему предстояло сдѣлаться, между тѣмъ обращеніе къ нему вызвало первый расколъ въ кружкѣ товянистовъ. Эмиграціонная печать, ревниво слѣдившая за выступленіями Мицкевича на его лекціяхъ будто бы въ пользу Россіи, давно подготовила этотъ расколъ, и, конечно, имъ не преминулъ воспользоваться прежде всего Словацкій, уже давно томившійся вынужденнымъ смиреніемъ передъ ненавистнымъ ему Мицкевичемъ.

Въ началѣ октября 1844 года Мицкевичу не оставалось ничего другого, какъ подать просьбу министру о шестимѣсячномъ отпускѣ. Самъ онъ поѣхалъ въ Фонтенебло, но вскорѣ вынужденъ былъ

опять вернуться въ Парижъ, чтобы, замѣняя Товянскаго, вести нравственно-назидательныя бесѣды съ его сектой. Пламенная и дѣятельная натура Мицкевича не довольствовалась только внутренней духовной работой; она требовала подвига. Въ концѣ ноября онъ произнесъ проповѣдь въ этомъ духѣ, и уже въ этомъ обозначилась разница между его стремленіемъ къ дѣлу и квіетизмомъ Товянскаго. Поэтъ настаивалъ, выражаясь на своемъ мистическомъ языкѣ, «на частичной реализаціи», на томъ, «чтобы въ каждомъ дѣйствиіи обнаружить духъ». Одинъ изъ вѣрныхъ новой секты, Пильховскій, предложилъ передать посланіе лично императору Николаю I и, готовясь къ этому подвигу, официально продать себя въ рабство Товянскому. Этотъ удивительный актъ, написанный на гербовой бумагѣ и скрѣпленный нѣсколькими подписями, сдѣлался достояніемъ гласности и еще увеличилъ ту смуту, которая господствовала среди польской эмиграціи. Разумѣется, все это была пустая фанфаронада, и Пильховскій вовсе и не ѣздилъ въ Россію. Но Мицкевичъ лишній разъ оказался въ неприятномъ положеніи и далъ лишній поводъ для издѣвательствъ и нападокъ эмиграціонной печати, которая не щадила поверженнаго бога, не опускавшаго своей гордой и восторженной головы. Въ самомъ «Колѣ» товянчиковъ въ началѣ 1845 года вспыхнула вражда изъ-за обращенія къ русскому царю, посыпались взаимныя обвиненія. Тогда же вышелъ 3-й томъ французскаго изданія лекцій, подъ заглавіемъ: «L'Eglise officielle et le Messianisme», и это изданіе послужило толчкомъ для расхожденія между Мишле и Мицкевичемъ, который такимъ образомъ становился все болѣе и болѣе одинокимъ. Въ мартѣ кончался шестимѣсячный отпускъ, но новый министръ Сальвади немедленно далъ поэту новый отпускъ, уже на цѣлый годъ, и назначилъ его замѣстителемъ К. Робера. Залѣсскій, который не могъ примкнуть къ товянизму, становился теперь чужимъ человѣкомъ для Мицкевича. Въ мартѣ 1845 года онъ съ горечью сообщалъ Домейкѣ, какъ ушелъ отъ своихъ прежнихъ друзей поэтъ. «Адамъ пробылъ здѣсь (въ Фонтенебло) нѣсколько дней, но не зашелъ къ намъ, а когда я съ нимъ случайно встрѣтился у Карла (Ружицкаго, одного изъ самыхъ ревностныхъ товянчиковъ), я нашелъ его въ состояніи большого раздраженія. Не такъ-то легко съ нимъ ладить. По большей части, они (т.-е. семейство Мицкевича) никого не принимаютъ у себя, кромѣ членовъ Кола». Тай-

ная полиція доносила правительству совершенно невѣрныя извѣстїя, будто бы Мицкевичъ хочетъ, не считаясь съ отпускомъ, взойти на кафедру и сдѣлать такой скандалъ, какого еще не видала Европа. Негодовали и буржуазные круги по поводу того направленїя, какое приняли лекціи нѣкоторыхъ профессоровъ въ Collège de France. Имѣлся въ виду прежде всего Мицкевичъ, о которомъ Journal des Débats высказался очень рѣзко. «Его позвали преподавать курсъ славянскихъ языковъ, а онъ началъ проповѣдывать религію, которую назвалъ мессіанизмомъ. Другому поручили преподавать языки южной Европы, а онъ читаетъ сравнительныя лекціи о христіанствѣ и французской революціи. Весьма вѣроятно, что эти господа не знаютъ ни славянскихъ языковъ, ни языковъ южной Европы и находятъ для себя болѣе удобнымъ говорить о чемъ придется. Дальнѣйшая терпимость правительства по отношенію къ этому безобразію была бы непонятна». Это мѣсто изъ французской газеты особенно замѣчательно тѣмъ, что обнаруживаетъ фактъ, бросившійся въ глаза, очевидно, и французамъ; именно, что Мицкевичъ не былъ подготовленъ къ кафедрѣ, что ему нечего было сообщать своимъ слушателямъ. Другой французскій публицистъ пошелъ еще дальше: изъ лекцій Мицкевича онъ вынесъ убѣжденіе, что у славянъ и нѣтъ никакой литературы, такъ что самая кафедра ея въ Collège de France не нужна. Къ счастью, кафедра эта была сохранена, и французская наука создала нѣсколько выдающихся славистовъ. Но тяжелое заблужденіе польскаго генія, дѣйствительно, едва не оказалось роковымъ для изученія славянства во Франціи. Однако самъ Мицкевичъ мало думалъ объ этомъ. Какъ пущеная стрѣла, онъ стремился къ своей конечной цѣли. Въ маѣ 1845 года онъ отправился въ Швейцарію, къ «учителю», который, высылаемый изъ одного кантона, переселился въ другой и теперь находился на берегу Цюрихскаго озера, въ Рихтерсвилѣ. Въ душевной жизни Мицкевича приближалась самая трагическая минута, разочарованіе въ ученіи и силѣ Товянскаго. И парижское «Коло» чувствовало уже нетерпѣніе: ему говорили о подвигѣ, о наступленіи эпохи дѣла, а въ чемъ должно было заключаться это дѣло, никто не зналъ. Надо прибавить, что и самъ принцъ Людовикъ Наполеонъ былъ совершенно недоволенъ агитаціей, которая въ проповѣди Мицкевича и его единомышленниковъ была связана съ его именемъ. Будучи арестованъ, онъ писалъ въ іюлѣ 1845 года госпожѣ Кор-

ню: «Какъ я узналъ, опасенія правительства вытекають изъ существованія польскаго общества подъ предсѣдательствомъ Мицкевича (онъ читалъ лекціи въ Collège de France и сдѣлалъ изъ императора какого-то пророка). Не знаю, почему правительство приказало, какъ мнѣ кажется, внимательно слѣдить за этими апостолами въ совершенно ошибочномъ предположеніи, что они находятся въ сношеніяхъ со мною». Такимъ образомъ и Наполеонъ былъ заранѣе нерасположенъ къ Мицкевичу и видѣлъ въ немъ просто безпокойнаго человѣка. Не потому ли и впоследствии онъ не поддержалъ поэта?

«Пребываніе Мицкевича въ Швейцаріи лѣтомъ 1845 года ознаменовывается чрезвычайными успіями Товянскаго предотвратитъ грозящее ослабленіе узъ, связующихъ его съ его парижскимъ замѣстителемъ. Мицкевичъ читалъ его не меньше, чѣмъ въ первыя мгновенія встрѣчи, но все яенѣ замѣчалъ недостатки Кола и тяжкія отклоненія кандидатомъ отъ возвышенныхъ требованій новаго Ордена. Товянскіи принисывалъ часть всего этого недостатку старанія со стороны самого Мицкевича, а часть обѣщала исправить дальнѣйшими обращеніями. Чѣмъ выше призваніе, тѣмъ сильнѣе искушенія: настойчивость врага вызвала утомленіе у болѣе слабыхъ воиновъ; впрочемъ, хотя они были недостаточно прилежны въ упражненіи, но они могли очнуться въ послѣднемъ, рѣшительномъ сраженіи и сыграть въ немъ даже особенно важную роль. Терпѣніе Мицкевича еще не истощилось; онъ согласился продолжать *status quo*, всю щекотливость котораго, однако, онъ чувствовалъ (*Żywot*. III. 369)». Черезъ Лозанну, гдѣ ему устроили серенаду, Мицкевичъ вернулся въ Парижъ, на крестины своего третьяго сына Яна. О своемъ домашнемъ бытѣ Целина Мицкевичъ сообщала въ это время (12 іюля 1845 г.) слѣдующее: «Теперь я буду держать одну прислугу, и повѣрь мнѣ, что при желаніи и порядкѣ я сумѣю справиться со всѣмъ и даже заняться Марыней. Мы все здоровы и счастливы, что Господь Богъ поддерживаетъ насъ Своей милостью и даетъ силы принимать все, что Онъ намъ опредѣляетъ и назначаетъ. Съ этой живой и безмѣрной вѣрой даже эмиграція не кажется уже намъ крестомъ, такъ какъ мы видимъ, что ея конецъ уже близокъ. Мы бросили нашу прежнюю квартиру и переѣхали за городъ, въ Батильоль. За 800 франковъ мы наняли на цѣлый годъ домикъ съ садикомъ; значить, будемъ платить вдвое меньше, чѣмъ раньше. Кромѣ того, мясо, вино,

освѣщеніе и отопленіе здѣсь дешевле. Это для насъ большое облегченіе, а отъ заставы всего двѣ минуты ходьбы». Целина умѣла бодриться и скрывать про себя свои опасенія и горечь. Мицкевичъ утверждалъ, что она никогда не вѣрила въ Товянскаго, но умѣла притворяться вѣрующей, чтобы не огорчать горячо любимаго мужа. И въ этомъ письмѣ къ сестрѣ она прибавляетъ: «Всюду его (Адама) любятъ, но, къ сожалѣнію, не вездѣ понимаютъ и угадываютъ». Въ это время Мицкевича не «любили»; въ Парижѣ не было польской газеты, въ которой его не забрасывали бы грязью. Достоянная женщина не хотѣла въ этомъ никому признаваться и дѣлала веселый и спокойный видъ, хотя опять приближалась нищета. Но и у нея съ горечью вырывается случайная фраза: «Спасибо за ноты и вариации для Марыни. Моя дочка также умѣетъ вышивать, но бѣдняжкѣ въ домѣ столько приходится платать и зашивать, что на это ей времени нѣтъ. Едва хватаетъ времени позаботиться о своей куклѣ, чтобы ее-то одѣть». А Марынь въ это время шель всего десятый годъ. Ей рано пришлось сдѣлаться дѣятельной помощницей матери.

Въ Колѣ шли раздоры, которыхъ не могъ прекратить и Мицкевичъ. Пильховскій уже не соглашался ѣхать одинъ, а требовалъ, чтобы съ нимъ вмѣстѣ ѣхали и остальные члены секты. Товянскій въ темныхъ выраженіяхъ рекомендовалъ не мудрствовать и не поддаваться человѣческимъ расчетамъ. Мицкевичъ продолжалъ наставлять, издавать манифесты. Все это было похоже на верченіе бѣлки въ колесѣ, томительное бездѣйствіе, наполненное безсодержательными усиліями и возней. Стало извѣстно, что поэтъ лишень кафедры. Студенты въ августѣ 1845 г. поднесли ему медаль и произнесли привѣтственную рѣчь, на которую Мицкевичъ отвѣчалъ вдохновенной импровизацией. Матеріальное положеніе его рѣзко измѣнилось съ 1 сент., такъ какъ его жалованіе теперь дѣлилось пополамъ, между нимъ и его замѣстителемъ, К. Роберомъ. Польская печать всѣхъ оттѣнковъ изымалась надъ нимъ; прежніе почитатели, какъ познанскій писатель Цибульскій, свисходительно жалѣли его; ослы, лягающіе больного льва, стали пробовать надъ нимъ свое остроуміе; «Przegląd Poznański» нанечаталъ пародію на «Дѣды». Душевные силы Мицкевича были сломлены: въ октябрѣ онъ впалъ въ безсонницу; его мучили сомнѣнія, и онъ писалъ Товянскому, что до сихъ поръ спо-

ощрять, согрѣвать и чуть не развлекалъ» вѣрующихъ, но теперь приходитъ къ убѣжденію, что лучше каждому предоста-вить свободу дѣйствій. И самъ «учитель» начиналъ осыпаться къ Мицкевичу и далъ ему на помощь Ружицкаго, который въ ноябрѣ былъ провозглашенъ верховнымъ вождемъ Кола. Харак-терно для нравственной личности самого Товянскаго, который обращался въ свое время и къ Ротшильду, и къ императору Николаю I, что теперь онъ самъ осуждалъ Мицкевича за обраще-ніе къ русскому царю. Поэтъ «взялъ сторону земли», и «были братья, которые духомъ своимъ преклонились на сторону угнета-телей»: такъ выразился онъ на своемъ мистическомъ языкѣ. Одна-ко, до конца года Мицкевичъ не уходилъ отъ «новаго ученія» и въ день именинъ кн. Адама Чарторыйскаго (24 дек.) посетилъ его для поздравленія и наставленія. Но въ то, что Товянскій пере-вернетъ весь міръ своей реформой, онъ уже не вѣрилъ. «Совер-шилось не такъ много, какъ мы ожидали, но кое-что все-таки есть», сказалъ онъ въ декабрѣ 1845 года. Остановиться на пол-дорогѣ Мицкевичъ не могъ. Это совершенно не соответствовало его пламенной глубоко-искренней натурѣ, не допускавшей расхо-жденія слова съ дѣломъ. Въ началѣ 1846 года онъ рѣшилъ лич-но переговорить съ Товянскимъ и отправился въ Швейцарію. Дѣятельность Кола его не удовлетворила: какъ это часто бываетъ съ кружковщиной, свобода мнѣній замѣнилась взаимнымъ вы-слѣживаніемъ и попреками, притворной экзальтаціей, вмѣшатель-ствомъ въ чужія дѣла. Особенно сблизился съ «учителемъ» Ф. Гуттъ и его жена, которые, по мнѣнію Мицкевича, компроме-тировали дѣло. Товянскій далъ суровый отпоръ поэту. На собра-ніи кружка въ Цюрихѣ онъ заявилъ Мицкевичу: «Оставь, братъ, другихъ въ покоѣ. Сестра Анна (Гуттъ) можетъ быть очень грѣшна, другіе также, но ты, братъ, не занимайся чужими грѣ-хами, потому что у тебя есть свои». Въ письмахъ Товянскій жа-ловался, что «братъ Адамъ всталъ въ прежнюю ночь», въ своихъ обращеніяхъ къ приверженцамъ заклиналъ ихъ, чтобы они не думали о роднѣ «согласно съ земной идеей», но заботились лишь о томъ, чтобы «поляки приняли слово». Пустились даже на форменное шарлатанство, чтобы удержать Мицкевича въ духовномъ рабствѣ. Жена Товянскаго видѣла во снѣ его мать и отъ нея имени передавала поэту упреки и увѣщанія: «близко призваніе Господне, спасайся! Ты уже много потерпѣлъ, оста-

лось всего три дня». Все это страшно дѣйствовало на Мицкевича, который до такой степени измучился, что «три дня былъ между жизнью и смертью» (по сообщенію Ходьки въ маѣ 1846 г.). Но отъ дальнѣйшаго руководства Коломъ онъ, тѣмъ не менѣе, категорически отказался. Одновременно съ нимъ тотъ же процессъ переживалъ, хотя и менѣе страстно, Янушкевичъ, и здѣсь не покидавшій обожаемаго имъ Мицкевича. «Можетъ быть, мы ошибаемся, — писалъ онъ, — можетъ быть, другіе лучше видятъ вещи, но ни Адамъ, ни я не пойдемъ уже больше за прежними блуждающими огнями. Онъ пережилъ страшную борьбу, много страдалъ; въ продолженіе многихъ дней я былъ свидѣтелемъ этихъ страданій, но писать о нихъ равнодушно нельзя, и лучше всего не вспоминать, какъ о грѣхахъ послѣ исповѣди». Итакъ, товянизмъ принадлежалъ уже къ прошлымъ ошибкамъ Мицкевича. «Сонъ» жены «учителя» многихъ оттолкнулъ отъ секты, и въ апрѣлѣ 1846 г. 24 «брата» заявили, что остаются на сторонѣ Мицкевича.

Нѣсколько разъ судьба давала Мицкевичу возможность жить спокойно и обезпеченно. Если онъ не могъ остаться въ Петербургѣ на службѣ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и пережить здѣсь возстаніе 1830 года, то въ Лозаннѣ передъ нимъ открывалась полезная и спокойная работа. И въ Парижѣ онъ могъ быть дѣйствительно полезенъ на созданной для него кафедрѣ славистики. Но Мицкевичъ не могъ быть ни спокоенъ, ни счастливъ. Жажда подвига во имя любви къ ближнимъ, жажда высшаго идеала правды и справедливости равной для всѣхъ, заставляла его идти туда, гдѣ было страданіе, пить горечь вмѣстѣ съ наиболѣе страдающими. Вѣроятно, въ самой природѣ нравственной гениальности, выразителемъ которой былъ польскій поэтъ, заключается инстинктъ страданія, и безсознательно Мицкевичъ шелъ туда, гдѣ ему было хуже. Но этимъ путемъ шли всѣ великіе реформаторы нашей нравственной жизни. Въ товянизмѣ Мицкевичъ переросъ свою поэзію. Это было заблужденіе, но такое заблужденіе, въ которомъ скрывается величайшая истина человечества: отреченіе отъ благъ жизни, отъ славы и добраго имени, отъ разума и его разсужденій ради безграничной, все сжигающей, все прощающей любви къ несчастнымъ, *любви къ человеку*.

Галиційскія событія 1846 года не вызвали у Мицкевича ни одного слова возмущенія противъ крестьянъ, которые въ дѣствіе провокаціи австрійскаго правительства вырѣзали помѣщи-

ковъ. Онъ смотрѣлъ на «крестьянскіе бунты» съ исторической точки зрѣнія и утверждалъ, что въ исторіи славянъ постоянно повторяется одинъ и тотъ же фактъ: «крестьяне долгу выносятъ гнѣтъ, терпятъ - терпятъ и, наконецъ, вырѣзаютъ господъ». Событія въ Австріи, смерть папы Григорія XIII и избраніе энергичнаго Пія IX, волненія во Франціи, направленныя противъ Орлеановъ, предсказывали новую эру въ исторіи Европы. Товянизмъ совершенно не соответствовалъ значенію этихъ событій, и Мицкевичъ все дальше уходилъ отъ него. 30 іюля 1846 г. Залѣсскій съ радостью констатировалъ, что «Адамъ порвалъ отношенія съ Товянскимъ, вѣрнѣе отдѣлился отъ него и образовалъ кружокъ вмѣстѣ съ нѣкоторой частью его учениковъ». Надѣялись, что Мицкевичъ скоро примирится и съ церковью. Но дѣло было гораздо сложнѣе, чѣмъ представляла эмиграціонная печать, которая кричала, что только изъ самолюбія поэтъ не хочетъ признаться въ своемъ заблужденіи. Не раздѣляя взглядовъ Товянскаго на необходимость пассивнаго ожиданія, Мицкевичъ настаивалъ на томъ, что время дѣйствовать уже пришло, но ученіе секты еще не казалось ему заблужденіемъ. «Онъ продолжалъ твердить свое», какъ писалъ Залѣсскій. Для того, чтобы выяснитъ отношенія, къ Товянскому въ Швейцарію поѣхала Целина, которой Мицкевичъ посылалъ послѣднія деньги. «Письмо твое я получилъ, писалъ онъ, и сегодня отвѣчаю вкратцѣ. Немного нездоровъ; вотъ уже нѣсколько дней сердцебиеніе, которое, какъ ты знаешь, бываетъ у меня упорно и сильно. Надѣюсь, что зато позже буду свѣжѣе; такъ, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ кончалась эта болѣзнь у меня. Дѣти здоровы; у Яси прорѣзались сзади два зуба; онъ очень измучилъ прислугу и не разъ сильно надоѣдалъ мнѣ, особенно когда я былъ нездоровъ. Мы спрашивали доктора, онъ велитъ терпѣливо ждать, а вообще находить мальчика здоровымъ. Посылаю тебѣ семьдесятъ франковъ, больше у меня нѣтъ; того, что ты заложила, не хватило до конца мѣсяца. Я заложилъ оправу отъ часовъ. Больше ужъ закладывать нечего. Въ этотъ мѣсяць мнѣ дали уже только половину жалованья. Послѣ того, какъ я заплатилъ за хлѣбъ, молоко, пиво и т. д., у меня осталось денегъ всего на недѣлю; когда она пройдетъ, я позабочусь о деньгахъ и постараюсь достать ихъ, хотя совершенно не знаю, къ кому обратиться. Ты знаешь, что я этимъ огорчаюсь не больше, чѣмъ

нужно, и ты будь спокойна. Впрочемъ, если ты долго останешься, ты заставишь меня больше хлопотать. Будь здорова; въ домъ ничего новаго не произошло. Прислуга съ большимъ нетерпѣніемъ ждетъ тебя, и Елена особенно скучаетъ по тебѣ». Товянскій, забывъ, что именно онъ-то и оттолкнулъ поэта отъ общенія съ нимъ, теперь употреблялъ все свое вліяніе, чтобы черезъ жену подѣйствовать на Мицкевича и заставить его вернуться къ «дѣлу», но было уже поздно: прозрѣвъ однажды, поэтъ не хотѣлъ снова ослѣпнуть, хотя, по словамъ Владислава Мицкевича (III. 434), это вызвало нѣкоторый разладъ между супругами, который тянулся почти годъ. Съ другой же стороны, мы имѣемъ утвержденія самого поэта, что Целина никогда не вѣровала по-настоящему въ тоянизмъ, такъ что утвержденіе сына его не представляется вполнѣ правдоподобнымъ. Оно и не подтверждено никакими документами. Болѣе того, еще въ концѣ 1846 года Мицкевичъ заявляетъ пріятелямъ, собравшимся на обѣдъ у А. Ходьки, что «принимаетъ ихъ довѣріе и обѣщаетъ вести ихъ дальше въ тонѣ Учителя». Но духъ Мицкевича уже не былъ исключительно занятъ мистикой: онъ возвращается къ мысли писать исторію Польши. Услышавъ объ этомъ, Янушкевичъ предложилъ ему немедленно уплатить 4000 франковъ за право издать эту исторію. Мицкевичъ не согласился на договоръ, который слишкомъ ясно заключалъ въ себѣ желаніе помочь ему, но мысли объ исторіи не оставилъ.

Событія, уже совершившіяся и еще ожидаемая, наполнили душу Мицкевича радостными надеждами. При встрѣчѣ новаго 1847 года онъ сказалъ въ своей рѣчи: «Я надѣюсь на Бога, что это послѣдній годъ нашихъ страданій. Даже на землѣ политическія отношенія запутываются все болѣе. Мое призваніе держать въ рукахъ польскую нить. Поэтому, несмотря на всѣ благопріятныя условія въ Россіи и во Франціи, я не пріобрѣтъ ни значенія, ни высокихъ должностей, которыхъ достигъ бы, если бы отрекся отъ своего призванія. Учитель есть мужъ мірового значенія. Я и мой хоръ можемъ способствовать только отчасти исполненію его миссіи. Я стану передъ нимъ съ моей нитью въ рукахъ, рядомъ съ братьями, которые останутся вѣрными». Для Мицкевича мессіаниззмъ не былъ вопросомъ академическимъ, какъ для правовѣрныхъ тоянистовъ: онъ требовалъ спасенія народа сейчасъ, здѣсь же, а не гдѣ-то въ отдаленномъ будущемъ.

Онъ радовался уже тому, что народъ какъ будто просыпался отъ своей спячки. «Настанетъ время, когда, создавъ движеніе между собой (rozruszywzzyście między sobą), мы будемъ въ состояніи воспріять высшее и истинное движеніе», писалъ онъ въ эту пору въ Познань. А въ Парижѣ онъ счелъ нужнымъ собрать своихъ приверженцевъ и предложить имъ для обсужденія три пункта: «1) Наша религіозная связь съ народомъ. Необходимо новое священство. Никто не можетъ отнять у насъ пробужденнаго въ насъ новаго духа, который долженъ быть въ народѣ. Мы заблуждались, дѣлали ребяческія выходки и ошибки, но духа нашего не отдали и не отдадимъ. 2) Пунктъ политическій: какъ должно быть въ будущей Польшѣ? Пусть каждый по своему вдохновенію выработаетъ и подастъ мнѣ. 3) Пунктъ семейный: отношенія между мужемъ и женой, между родителями и ребенкомъ». Такъ серьезно маленькая секта готовилась къ «будущей Польшѣ». Въ этой странной работѣ, которая замѣнила невольную праздность, доставшуюся въ удѣлъ Мицкевичу, прошла вся первая половина 1847 года. Въ Батиньолѣ поэтъ занималъ обширное помѣщеніе, гдѣ могъ принимать друзей и всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ посѣтителей, которые приходили къ нему за совѣтомъ или съ извѣстіями о новыхъ политическихъ движеніяхъ. Революціонеры различныхъ народовъ охотно посѣщали этого рыцаря свободы. Матеріальное положеніе семьи было довольно трудное: Мицкевичъ получалъ 2500 франковъ, какъ профессоръ въ отпуску, и 1000 франковъ изъ бібліотеки за составленіе каталога славянскихъ рукописей. Эти деньги составляли весь его приходъ, и, конечно, только великодушію французскаго правительства онъ былъ обязанъ тѣмъ, что за два года активной службы получилъ такую значительную пенсію. Безъ нея поэтъ былъ бы обреченъ на полную нищету. Надо прибавить, что Мицкевичъ былъ врагомъ Орлеановъ. Едва ли какое-либо изъ современныхъ правительствъ сумѣло бы проявить такую терпимость и такую щедрость къ своему врагу.

Послѣ лѣта, проведеннаго съ семьей въ Нормандіи, въ Langrune, на берегу моря, Мицкевичъ вернулся въ сентябрѣ въ Парижъ, гдѣ уже наступила эпоха «банкетовъ» (des banquets réformistes), предшествовавшая революціи 1848 г. и паденію Орлеановъ. Принять участіе въ этомъ движеніи и Мицкевичъ, который рисковалъ своей пенсіей, но не могъ отказаться отъ борьбы съ пена-

вистнымъ ему королемъ Луи Филиппомъ. Для характеристики его въ концѣ 1847 года, правда, нѣсколько тенденціозной, не лишены интереса слѣдующія строки изъ письма Богдана Залѣскаго къ Домейкѣ отъ 7 дек. 1847 года: «Мы живемъ отъ Адама на разстояніи какихъ-нибудь двухсотъ шаговъ, но видимся рѣдко, потому что при свиданіи не находимъ, о чемъ говорить. Онъ такъ закаменѣлъ въ своемъ сектанствѣ, что не осталось и слѣда отъ прежняго сердечнаго Адама. Въ осанкѣ, движеніяхъ и голосѣ всемогущій Учитель (*arcumosen Mistrz*). Сильно постарѣлъ, волосы почти совсѣмъ посѣдѣли. Но кажется все-таки, что Товянскаго онъ принимаетъ уже не за Христа, а только за мужа эпохи. Онъ явно остылъ отъ своего прежняго увлеченія Учителемъ; съ нѣкоторыми самыми фантастическими приверженцами его онъ даже порвалъ связи, но все-таки не пересталъ ловить прозелитовъ въ свое собственное Коло. Что будетъ дальше, не трудно предсказать: они разобьются на секты». Сокрушаясь объ ослѣпленіи Мицкевича, который многихъ другихъ ввелъ въ заблужденіе, Залѣскій сообщаетъ о планѣ поэта ѣхать въ Римъ. «Онъ везетъ на-пѣ какія-то свои предложенія! Можетъ быть, при видѣ св. мѣсть и намѣтника Христова онъ смягчится сердцемъ и покорится духомъ! Дай Боже! Ты знаешь, какой онъ гордый: если не будетъ чуда, нечего и мечтать о томъ, что онъ послушается чьихъ-нибудь убѣжденій».

Наступилъ 1848 годъ. Молодежь волновалась. Студенты устраивали сходки, на которыхъ протестовали противъ запрещенія курсовъ сначала Мицкевича, потомъ Кине и, наконецъ, Мишле. Шпіоны доносили правительству, что польскій поэтъ передъ многочисленными свидѣтелями предсказываетъ близкое паденіе правительства и пробужденіе Франціи. Мицкевичъ собирался ѣхать въ Римъ, чтобы умолять папу объявить крестовый походъ народовъ ради своего освобожденія отъ гнета деспотизма, доказать ему, что, «благословляя рыцарей свободы, онъ усилитъ церковь, ускоритъ крушеніе рабства народовъ и начнетъ новую эру, обѣщанную міру Товянскимъ» (III. 489). Духовенство польское, оставшееся вѣрнымъ церкви, повиждому, смотрѣло на путешествіе Мицкевича въ Римъ, какъ на примиреніе его съ католичествомъ: Кайсевичъ, который разошелся съ поэтомъ изъ-за товыанизма, предпринялъ въ Римъ необходимые шаги, чтобы Мицкевичъ получилъ паспортъ для вѣзда въ Римъ. Парижская полиція доносила 20 января 1848 г., что поэтъ выѣзжаетъ въ

ближайшіе дни и что папа уже ждет Мицкевича. Полиція была встревожена заявленіями Пія ІХ, въ родѣ того, что наступило время, когда рыцари церкви должны спасти Европу, какъ спасли ее подъ Вѣной, его симпатіями къ Польшѣ и т. п. 21 января Мицкевичъ двинулся въ путь въ сопровожденіи одного изъ своихъ приверженцевъ. На дорогу пришлось взять послѣднія деньги, какія были въ домѣ, оставивъ семью въ такомъ положеніи, что Целинѣ Мицкевичъ не на что было посылать письма (*Żywot* III. 494). А самъ поэтъ подвигался впередъ по той же самой причинѣ такъ медленно, что «скорѣе шедъ пѣшкомъ, чѣмъ ѣхалъ», какъ онъ самъ вспоминалъ впоследствии. Въ Италиі также все кипѣло предреволюціонной бурей, какъ и во Франціи. Ненависть къ Австріи вырывалась постоянно; къ полякамъ въ обществѣ господствовали самыя живыя симпатіи: ихъ участь въ Галиціи вызывала опасенія, что то же коварство, ту же провокацію австрійское правительство примѣнитъ къ Ломбардіи. Въ февралѣ произошла большая народная манифестація на Piazza del Popolo: папу просили вооружить народъ и воспользоваться польскими офицерами. По дорогѣ Мицкевичъ часто встрѣчался съ итальянскими симпатіями къ Польшѣ и принималъ ихъ за «счастливое предзнаменованіе». Приходилось хлопотать о папской аудіенціи. Препятствіемъ къ этому служили «Книги пилигримства», на которыхъ тяготѣло папское проклятіе, и орденъ 3 март. вихванцевъ (Воскресшихъ отъ смерти), который былъ заинтересованъ въ возвращеніи Мицкевича къ церкви, убѣждалъ его изъять это сочиненіе изъ продажи. И лекціи Мицкевича въ Парижѣ далеко не пользовались сочувствіемъ церкви. «Съ Адамомъ, дѣйствительно, произошло то, что предчувствовали католики, — писалъ 2 февраля С. Красинскій, — онъ исповѣдался, получилъ разрѣшеніе грѣховъ отъ папы, который уполномочилъ исповѣдника сдѣлать это, и заявилъ, что отдается на судъ церкви и папѣ». Наконецъ, въ началѣ марта, поэтъ былъ принятъ папой. Піи ІХ принялъ Мицкевича очень сердечно и долго съ нимъ разговаривалъ. «Теперь у Адама тотъ же огонь, та же живость, что и прежде», писалъ одинъ изъ римскихъ знакомыхъ Мицкевича (*Żywot* IV. 30). Поэтъ хотѣлъ побудить римскаго первосвященника къ дѣятельному выступленію въ защиту Польши, но что же могъ отвѣтить на это папа, кромѣ увѣреній въ своихъ отеческихъ чувствахъ къ полякамъ и лично къ самому Мицкевичу. Такимъ образомъ, эта аудіенція осталась

только тѣмъ, чѣмъ она могла быть: официальнымъ подтвержденіемъ отреченія поэта отъ заблужденій тоянизма. Папа вовсе не былъ обращенъ въ новую вѣру, и его свиданію съ Мицкевичемъ предшествовало разрѣшеніе этого послѣдняго отъ грѣховъ католическимъ патеромъ. Во всякомъ случаѣ, мучительные бесплодные годы внутреннихъ терзаній подъ деспотической властью сектантскаго пророка прошли. Казалось, теперь Мицкевича ждетъ новая дѣятельность.

Въ отсутствіи его въ Парижѣ разыгралась революція, король Луи Филиппъ отрекся отъ престола, была провозглашена республика, которой, конечно, никто изъ болѣе вдумчивыхъ людей не могъ предсказать долговѣчности. Эмиграція опять ждала отъ этого переворота измѣненія судебъ Польши. И одинъ изъ вождей возстанія 30-го года, генераль Дверницкій, просилъ французское правительство образовать Польскій легионъ, на что было дано согласіе. Противъ намѣренія Дверницкаго выступила другая часть эмиграціи въ лицѣ демократическаго общества, которое признавало идею легионовъ несвоевременной и несерьезной. Въ сущности, никто не зналъ, что нужно дѣлать. Но фразъ было много, и на нихъ не скупились и французскіе либеральные органы. «Самодержавіе народа», о которомъ говорили они, было связано съ защитой угнетенныхъ въ Италіи, Польшѣ и Швейцаріи. Студенчество требовало возвращенія отставленныхъ профессоровъ: Мишле, Кинне и Мицкевича. Но этого послѣдняго не было въ Парижѣ, и когда въ началѣ марта Мишле и Кинне возобновили свои лекціи, о третьемъ уволенномъ профессорѣ правительство не подымало и рѣчи. Мишле въ краснорѣчивой рѣчи доказывалъ, что изъ трехъ креселъ, стоявшихъ на каедрѣ, должно быть занято и третье, принадлежащее Мицкевичу. «Это кресло, кресло Польши! Но что такое Польша? Она представитель всеобщихъ страданій. Въ ней я вижу страдающій народъ. Это Ирландія и голодь. Это иѣмцы и цензура, тиранія мысли, гнетущая самый мыслящій народъ! Это Италія, которая находится теперь между жизнью и смертью, какъ душа на страшномъ судѣ Микель Анджело. Смерть и варварство тянутъ ее внизъ, но Франція подыметъ ее наверхъ. Да, господа, я вижу подъ этимъ крестомъ всѣ знамена Европы, вижу десять народовъ, которые въ саванѣ выходятъ изъ своихъ могилъ...» Едва ли Мишле оказалъ хорошую услугу Миц-

кевичу этой рѣчью, въ которой онъ какъ бы предначерталъ дальнѣйшее направление его лекцій. Подымать новую бурю благоразумное республиканское правительство Франціи вовсе не хотѣло. Да и среди эмигрантовъ оно не видѣло желанія видѣть возвращеніе Мицкевича. Большинство польскихъ газетъ, восхищаясь рѣчью Мишле, обонло молчаніемъ мѣста ея, въ которыхъ раздавалась хвала поэту. Сваливать вину за это на эмиграціонное ослѣпленіе и черствость, какъ это дѣлаетъ Влад. Мицкевичъ (IV. 37), конечно, несправедливо: слишкомъ много тяжелыхъ воспоминаній было связано за эти послѣдніе годы съ именемъ человека, который превратилъ каюдру въ Collège de France въ мѣсто проповѣди сумбурианаго товянизма, который сдѣлалъ за эти годы столько болѣзненно-страннаго и такъ отдалился отъ общенія съ эмиграціей. Не все могли понять, какія высокія побужденія завели Мицкевича на путь, отъ котораго онъ самъ теперь отрекся.

Въ мартѣ 1848 года временное правительство, повидному, желая удовлетворить общественное мнѣніе, которое требовало, чтобы для поляковъ было что-нибудь сдѣлано, рѣшило устроить для нихъ легионъ. Въ «Moniteur Universel» отъ 10 марта появилось слѣдующее правительственное сообщеніе: «Имѣя въ виду, что польскіе эмигранты, оживленные стремленіемъ доказать свою благодарность и готовность посвятить свои силы Франціи, ихъ второй родинѣ, желаютъ соединиться въ одинъ легионъ, съ цѣлью служенія вмѣстѣ съ французами дѣлу порядка и свободы; имѣя въ виду, что подобная жертва, приносимая отъ имени того народа, который уже далъ Франціи столь много и столь вѣрныхъ товарищей по оружію и славу, должна быть благожелательно принята правительствомъ, питающимъ всегда столь живое сочувствіе къ Польшѣ, — временное правительство предписываетъ немедленно создать польскій легионъ, находящійся подъ властью военнаго министра». Оказалось, однако, что это постановленіе никого не удовлетворило. Осуществлено оно не было, такъ какъ никто не видѣлъ въ немъ никакой надобности. Мицкевичъ въ письмѣ къ Мишле и Кисе наставлялъ на томъ, чтобы отъ имени французскаго общества правительству была представлена петиція объ отмѣнѣ всехъ ограничительныхъ мѣръ, принятыхъ по отношенію къ польскимъ эмигрантамъ. Они отвѣтили на это посланіе Мицкевича полной готовностью сдѣлать все возможное, а

члены правительства заявили Кине, что ограничения уже отменены самымъ провозглашеніемъ ресублики. Въ мартѣ же, по мысли Словацкаго, была учреждена конфедерация польскихъ эмигрантовъ, но къ ней примкнули немногіе. По словамъ Влад. Мицкевича (IV. 48), эмиграція «рвалась къ безсмысленному исходу (do egzodu), къ шествию на родину, какъ попало, добровольно, закрывая глаза на неизбежныя послѣдствія такого выступленія». Тѣмъ не менѣе, въ августѣ 1848 года первая колонна двинулась изъ Парижа и добралась до Страсбурга, направляясь дальше въ Познань и Галицію.

Въ Римѣ положеніе вещей давало полякамъ какъ будто больше возможности проявить свой благородный пылъ въ служеніи родинѣ. Въ Италіи вспыхнуло возстаніе противъ австрійскаго гнета. 29 марта Мицкевичемъ и группой польской молодежи, изъ которой большинство было художниками, было подписано слѣдующее заявленіе: «1) Собравшіеся поляки образуютъ общество съ цѣлью вернуться въ свое отечество, присоединившись, если это будетъ угодно Богу, къ батальонамъ своихъ славянскихъ братьевъ. 2) Этимъ заявленіемъ устанавливается существованіе общества. 3) Своимъ командиромъ и временнымъ руководителемъ они признаютъ Адама Мицкевича. 4) Его власть прекратится, когда будутъ освобождены границы Италіи, возвращенной себѣ самой (народу). 5) Назначаются два члена: одинъ для похода и военныхъ нуждъ кампаніи, другой для корреспонденціи и гражданскихъ нуждъ. Точно также приступятъ къ выбору кассира. 6) Въ виду того, что руководитель, дѣйствуя вмѣстѣ съ совѣтомъ, можетъ уже завтра объявить выступленіе въ походъ, необходимо, чтобы всѣ были готовы къ этому въ каждую минуту. 7) Всякое рѣшеніе совѣта будетъ сообщено обществу». Подъ этимъ многообѣщающимъ заявленіемъ значилось всего 14 подписей. Но сынъ поэта, посвятившій огромное изслѣдованіе «Польскому легиону», созданному Мицкевичемъ, увѣряетъ, что дѣло не въ числѣ: «Подъ Эермопилами грековъ было всего 300, но они чувствовали себя вождами эллинской цивилизаціи» ¹⁾. Энтузіазмъ Мицкевича внушалъ ему опять самые преувеличенныя надежды

¹⁾ *Lad. Mickiewicz. Mémorial de la Légion polonaise de 1848, créée en Italie par Adam Mickiewicz. I. tome. Paris 1877. II. Paris. 1909 (съ чрезвычайно интереснымъ предисловіемъ, сравненіемъ того, какъ измѣнилась Европа за 30 лѣтъ). III. Paris. 1910.*

на всемогущество Троянского. Этого послѣдняго не было въ Римѣ, и поэтъ приходилъ въ отчаяніе: «Положеніе вещей таково, что, если бы онъ пріѣхалъ, главный узелъ былъ бы разрубленъ, и это облегчило бы путь милліонамъ славянъ». Пока, однако, этихъ славянъ было всего 14 человекъ.

Въ это самое время правительство возставшей противъ Австріи Ломбардіи издало обращеніе къ добровольцамъ. Нѣсколько горячихъ строкъ было посвящено и полякамъ: «Идите драться съ нами противъ общаго врага; всякій ударъ, который вы нанесете ему, будетъ для васъ залогомъ близкаго отомщенія». Въ апрѣлѣ папа, благословляя знамена итальянскихъ народовъ, благословилъ и польское знамя, которое дружина Мицкевича должна была нести въ Ломбардію, а отсюда въ Польшу. Вслѣдъ за тѣмъ Мицкевичъ получилъ у папы аудіенцію, въ которой почти цѣлый часъ наставлялъ его сдѣлаться «освободителемъ народовъ», на что папа только недовѣрчиво улыбался и просилъ своего пламеннаго собесѣдника говорить не такъ громко. Болѣе того, онъ немного побаивался, что благословилъ польское знамя, и заявилъ, что даетъ ему только свое *частное* благословеніе. Очень не сочувствовала новому политическому выступленію Мицкевича и польская аристократія (Владиславъ Замойскій, представитель здѣсь Адама Чарторыйскаго, и др.), и орденъ Ресуррекціонистовъ (*Zmartwychwstańcy*). Противники поэта были противъ манифестацій, а чѣмъ же инымъ, кромѣ манифестацій, былъ этотъ походъ 14 человекъ для освобожденія Италіи. Но эта манифестація трогала и радовала итальянцевъ, и шествіе «легіона» по Италіи превратилось въ непрерывный рядъ сердечныхъ овацій. 12 апр. онъ былъ встрѣченъ торжественно населеніемъ Ливорно, 14-го въ маленькомъ городкѣ Эмполи. «Едва распространился среди насъ слухъ о прибытіи великаго поэта, Адама Мицкевича — рассказывалъ одинъ изъ жителей городка — Мицкевича, который сталъ во главѣ избраннаго польскаго отряда ради высокой политической миссіи, какъ всякій добрый эмполитанецъ почувствовалъ потребность показать, какую радость онъ испытываетъ, видя въ своей странѣ этого великаго человека съ его благородными товарищами» (*Mémoires* I. 223). 15 апрѣля флорентійскія газеты сообщали въ торжественныхъ выраженіяхъ о прибытіи «гражданина Адама Мицкевича» и его намѣреніи обратиться съ воззваніемъ къ польскимъ, чешскимъ, хорватскимъ, иллирійскимъ и далматин-

скимъ солдатамъ, находящимся въ рядахъ австрійцевъ, чтобы они отказались сражаться съ итальянцами. Послѣ этого во Флоренціи начались оваціи въ честь Мицкевича, легіона и польскаго народа. Газеты кончали свои сообщенія о нихъ восклицаніемъ: «Да здравствуетъ Польша, свободная и независимая!» Герцогъ далъ Мицкевичу аудіенцію, которая продолжалась больше часа. Итальянцы хорошо отдавали себѣ отчетъ въ нравственномъ смыслѣ того, что дѣлалъ Мицкевичъ, предпринявъ съ кучкой такихъ же, какъ и онъ, пилигримовъ крестовый походъ во имя свободы народовъ. Съ реальной точки зрѣнія его предпріятіе могло показаться комическимъ, въ лучшемъ случаѣ прекраснодушнымъ донъ-кихотствомъ, но въ ту минуту, когда народъ возсталъ за свою свободу, значительнымъ и важнымъ моментомъ было появленіе среди него вѣчнаго, неустаннаго, незанятнаго рыцаря свободы, который самымъ своимъ присутствіемъ благословлялъ начатое дѣло свободы. Въ жизни народовъ большое значеніе имѣютъ невѣсомыя причины, настроенія, вѣра въ себя, и то единодушіе, съ которымъ итальянскія газеты встрѣчали польское знамя словами глубочайшаго восхищенія и уваженія, показываетъ, что кучка воиновъ, вышедшихъ въ свое паломничество изъ храма, сдѣлала свое дѣло, и что итальянцы, донынѣ чтущіе память Мицкевича, почувствовали, какъ имъ было дорого, что онъ съ ними. Въ Болоніи, въ Моденѣ это «видѣніе Польши», шествовавшее по Италіи, было встрѣчено такъ же восторженно. Изъ Модены путь лежалъ на Реджіо. Афиня, расклеенная на стѣнахъ этого городка, возвѣщала о предстоящемъ прибытіи Мицкевича. Она такъ характерна, что я приведу ее цѣликомъ: «Граждане! Адамъ Мицкевичъ часто утѣшалъ нашихъ братьевъ въ изгнаніи. Примѣромъ Польши, которая свободна духомъ, несмотря на столько лѣтъ рабства, онъ поддерживалъ ихъ надежды. Вѣрный Польшѣ въ темницахъ Вильны, въ изгнаніи Крыма, въ плѣненіи С.-Петербурга, въ своихъ странствованіяхъ по всей Европѣ, онъ, узнавъ, что Италія борется на берегахъ По противъ чужеземнаго гнета, поспѣшилъ къ намъ, и вокругъ него собрались другіе изгнанники, люди его благороднаго народа. Поэтому всѣ города Италіи по-братски привѣтствовали благородный отрядъ поляковъ, который направляется въ Ломбардію, и Пій IX благословилъ знамя, которое онъ несетъ и которое, навѣрное, когда-нибудь будетъ развѣваться на башняхъ освобожденной Варшавы.

Въ концѣ сегодняшняго дня Адамъ Мицкевичъ на пути изъ Модены будетъ въ Реджіо. Граждане, соберитесь толпой, чтобы наиболѣе приличествующимъ образомъ привѣтствовать и почитать этого великаго вѣрующаго поэта и его благородныхъ товарищей по войнѣ и изгнанію. И такимъ образомъ покажите, что и Реджіо хотѣло принести дань любви и уваженія благородному сыну народа, который имѣлъ одинаковыя страданія съ нашими, одинаковыя надежды, одинаковое прошлое и который будетъ имѣть одинаковое будущее. Да здравствуетъ Италія! Да здравствуетъ Польша!» (Мемог. I. 370—372). Въ Пармѣ Мицкевичъ получилъ извѣщеніе, что правительство распорядилось, чтобы «польскіе гости» не несли до самой границы никакихъ издержекъ. 1 мая онъ достигъ Милана. Корреспондентъ итальянской *L'Opinione* рассказываетъ, что больше 20 тысячъ человекъ, вся національная гвардія, двинулась навстрѣчу «легіону», шедшему съ поэтомъ Мицкевичемъ во главѣ. Опять начались оваціи и братанія итальянцевъ съ поляками, о которыхъ подробно рассказываетъ Вл. Мицкевичъ во 2-мъ томѣ своего «*Mémorial*». 3 мая 1848 г. поэтъ предложилъ временному правительству Ломбардіи «поддержать своимъ авторитетомъ и организовать славянскіе легіоны, начавъ съ организациіи польскаго». Правительство отвѣтило на это согласіемъ образовать отрядъ изъ поляковъ, но высказалось противъ привлеченія въ него чеховъ, хорватовъ и «иллирійцевъ», которые на службѣ Австріи обнаружили непримиримое ожесточеніе противъ итальянцевъ. «Военные по профессіи, которые въ Италіи были такими же приверженцами рутины, какъ и вездѣ, съ трудомъ скрывали свое враждебное отношеніе къ польскимъ добровольцамъ. Славянскій легіонъ казался имъ и лишней обузой, и неразумнымъ повнѣствомъ. Они изо всѣхъ силъ старались отвратить ломбардское правительство отъ этого пути» (II. 68). Но Мицкевичъ не такъ-то легко отказывался отъ своихъ замысловъ, и 22 мая онъ извѣстилъ правительство Ломбардіи, что первая колонна поляковъ, подъ начальствомъ полковника Каменскаго, уже перешла черезъ Альпы и черезъ нѣсколько дней будетъ въ Миланѣ. Сохранилась любопытная переписка между разными итальянскими властями по этому поводу; видно было, что практическое осуществленіе идеи Мицкевича застало ихъ не подготовленными и внушало имъ различныя опасенія. Для первой колонны и для первыхъ 600 человекъ пріемъ былъ обезпеченъ, но дальнѣйшее

представлялось неясно. Мицкевичъ рвался въ бой и, будучи въ июнѣ принятъ королемъ Карломъ Робертомъ, выражалъ сожалѣніе, что война ведется не такъ отважно, какъ онъ это считалъ нужнымъ. Въ Парижѣ выступленіе его вызвало новую борьбу партій. Но революція 1848 года оживила уже прекращавшіяся симпатіи между французами и поляками. Манифестаціи, дружественныя Польшѣ, вошли въ обычай у живой парижской толпы. И идея легіона вызвала новый подъемъ настроенія. Однако, въ Италію двинулось всего 130 поляковъ и 60 французовъ (Mém. II. 179). Боролись съ замыслами Мицкевича представители аристократіи, Чарторыйскій и В. Замоійскій, которые смотрѣли на всю эту затѣю свысока, какъ на нѣчто нелѣпное, и соответственно настраивали приверженцевъ поэта. Между тѣмъ изъ разныхъ мѣстъ подходили подкрѣпленія, и въ июлѣ образовалось уже, дѣйствительно, нѣчто въ родѣ легіона. Энтузіазмъ Мицкевича сломалъ всѣ препятствія. Подъ властью Каменскаго находилась теперь польская рота (*sa compagnie polonaise*) и, кромѣ того, нѣсколько ротъ ломбардскихъ смѣльчаковъ *della morte* и итальянскихъ стрѣлковъ, всего 4 роты при 2 пушкахъ. Въ то время, какъ среди миланскаго населенія начинало распространяться уныніе, и самъ король Карлъ Робертъ готовъ былъ пасть духомъ, польскіе эмигранты продолжали вѣрить въ дѣло итальянскаго возстанія, и на помощь имъ 14 августа вышелъ изъ Страсбурга новый отрядъ. Но было уже поздно: король подписалъ капитуляцію и бѣжалъ изъ Милана, спасаясь отъ гнѣва населенія. Городъ опять былъ въ австрійскихъ рукахъ. Вместе съ итальянскими войсками вышелъ изъ Милана и польскій легіонъ, который насчитывалъ въ это время уже 2000 человекъ (Mém. II. 281). Прониграно было дѣло итальянской свободы, и дальнѣйшая исторія легіона представляетъ картину усилій еще гдѣ-нибудь послужить борьбѣ за свободу и, по крайней мѣрѣ, не разлучаться, чтобы сохранить свое знамя. Годъ спустя судьба закинула его уже въ Грецію, гдѣ эмигрантамъ пришлось вести тяжелую рабочую жизнь. И на этотъ разъ энтузіазмъ польскихъ легіонеровъ оказался такимъ ненужнымъ!

Еще 26 іюня 1848 г. Мицкевичъ покинулъ свой легіонъ и поѣхалъ домой, въ Парижъ, чтобы организовать тамъ новые отряды изъ польскихъ эмигрантовъ. А въ Парижѣ все еще никакъ не могла разобратъся въ своихъ дрязгахъ секта Товян-

скаго, и Мицкевича ждали, чтобы произвести ему форменный допросъ (Żywot. IV. 187). Въ Парижъ вернулся самовольно и Товянскій, котораго полиція арестовала. Рѣшительности и настойчивости Целины Мицкевичъ удалось добиться его освобожденія. Въ Парижѣ все кипѣло. Опять на улицахъ шла борьба. Еще не упалъ среди польской эмиграціи интересъ къ военной экспедиціи въ Италію. Явились и средства. Ксаверій Браницкій заявилъ Мицкевичу, что расходы по вооруженію и доставкѣ вольтеровъ въ Италію беретъ на себя. На его же средства поэтъ задумалъ издавать газету, которая осуществилась лишь въ слѣдующемъ году. Что касается личной жизни Мицкевича въ эту пору, то по тѣмъ даннымъ, которыя собраны сыномъ поэта, можно думать, что эта жизнь шла удовлетворительно: не было, кажется, большой нужды, не было уже того одиночества, которое тягстило семью нѣсколько лѣтъ рядъ. Перѣдко знакомые собирались у Мицкевичей. Целина занималась музыкой «больше, чѣмъ когда-либо». Грызня бѣдной эмигрантской печати была уже слишкомъ привычнымъ дѣломъ, чтобы кого-либо огорчать. Мы слышимъ, однако, и о томъ, что самъ Мицкевичъ былъ очень печаленъ. Его мучили судьбы заброшеннаго въ Италію Польскаго легіона, который теперь былъ, въ сущности, никому не нуженъ. Огорчало также нравственное банкротство революціи 1848 года. Наполеоны возвращались на престолъ Франціи, — пока еще, однако, подъ флагомъ республики. Самый способъ избранія Наполеона на постъ президента Мицкевичу не нравился. Не такъ, по его мнѣнію, должны были вернуться на вершину Франціи носители славнаго имени.

Въ тѣхъ манифестаціяхъ, которыя ознаменовали начало новой эры, долженъ былъ принять видное участіе и Мицкевичъ, давній сторонникъ Наполеоновъ, связанный съ ними личнымъ знакомствомъ. Эмиграція настаивала на отправленіи къ Наполеону депутаціи, въ которой долженъ былъ принять участіе и величайшій поэтъ Польши. Видно было, что послѣ фактическаго разрыва съ товыанизмомъ Мицкевичъ опять возстановлялъ утраченныя было связи съ эмигрантами. На аудіенціи у президента французской республики, прища Наполеона, Мицкевичъ произнесъ рѣчь, въ которой, основываясь на популярности его имени, совѣтовалъ ему поддерживать все то героическое, что связано съ воспоминаніями о наполеоновской эпохѣ. «Моральная сфера этихъ симпатій

недоступна расчетамъ обычной политики. Одинъ Богъ знаетъ тайны, которыя творятся въ душѣ народовъ. Чистая душа угадываетъ ихъ, героизмъ открываетъ ихъ, осуществляя духъ времени». Наполеонъ отвѣтилъ выраженіемъ симпатій къ Польшѣ, которыя онъ раздѣляетъ вмѣстѣ со всей Франціей, и разспрашивалъ членовъ депутаціи о положеніи эмигрантовъ въ Парижѣ. Однако, мысль дать банкетъ новому президенту не осуществилась. Было ясно, что Наполеонъ не хочетъ брать на себя никакихъ обязательствъ по отношенію къ Польшѣ. Даже кафедра въ Collège de France не была возвращена Мицкевичу, хотя студенческая депутація пришла къ нему съ просьбой открыть курсъ. Министръ отказался принять Мицкевича и направилъ его къ своему секретарю, который взялся передать правительству желанія поэта. Въ январѣ 1849 года получило распоряженіе министра, въ силу котораго сохранилось прежнее положеніе вещей, т.-е. К. Роберъ оставался замѣстителемъ Мицкевича. Повидимому и совѣтъ Collège не слишкомъ горячо высказывался въ пользу этого послѣдняго (Żyw. IV. 220). Нѣкоторые органы французской печати обрушились за это на министра, но дѣлали это, скорѣе, изъ оппозиціи министерству, нежели изъ желанія видѣть Мицкевича опять на кафедрѣ. Едва ли чисто-академическіе вопросы могли въ это время очень живо интересовать французскую печать. Молодежь подала письменный протестъ по поводу назначенія несимпатичнаго ей профессора Лерминье и продолженія отпуска Мицкевича, но, разумѣется, и эта демонстрація не достигла своей цѣли. Въ это время среди профессуры краковскаго университета возникла мысль пригласить поэта въ Краковъ, но вскорѣ всѣмъ стало ясно, что и эта идея неосуществима, такъ какъ австрійское правительство не утвердитъ на кафедрѣ челоѣка, который былъ иниціаторомъ и проповѣдникомъ польскаго легіона. Такимъ образомъ, Мицкевичъ опять находился въ вынужденномъ бездѣйствіи. Ему было уже 50 лѣтъ, поэтическое творчество оставило его, но то же воодушевленіе идеями свободы и демократіи кипѣло въ его сердцѣ. Теперь онъ хотѣлъ проповѣдывать свои идеи съ помощью печатнаго слова.

Находившійся въ Парижѣ въ это время Герценъ относился къ замыслу Мицкевича съ большимъ интересомъ. «Графъ Ксаверій Браничскій далъ 70,000 франковъ на основаніе журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, дру-

гими народами и въ особенности польскимъ вопросамъ. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французскія газеты занимаются мало и плохо тѣмъ, что дѣлается въ Франціи, во время республики онѣ думали, что достаточно подчасъ ободрить всѣ языки словомъ *solidarité des peuples*, обѣщаніемъ, какъ только дома обдосужатся, завести всемірную республику, основанную на всеобщемъ братствѣ» («Былое и Думы», собр. соч. III. 31). Уже изъ этой цитаты видно, что Герценъ смотрѣлъ на вещи совершенно другими глазами, чѣмъ Мицкевичъ, связавшій съ Франціей Наполеона самую пламенную ожиданія новой эры. Герценъ былъ исполненъ скептицизма, Мицкевичъ—воодушевленія. Какъ современникъ, Герценъ не могъ смотрѣть на Мицкевича глазами объективнаго историка, и въ его описаніи перваго редакціоннаго ужина, даннаго будущимъ помощникомъ Мицкевича по редакціи «*La tribune des peuples*», Хоецкимъ, въ ознаменованіе 24 февраля, сильно сказывается полемическое настроеніе. «Ужинъ былъ назначенъ у Хоецкаго. Пріѣхавъ, я засталъ уже довольно много гостей, въ числѣ которыхъ не было почти ни одного француза, зато другія націи отъ Сициліи до кроатовъ были хорошо представлены. Меня собственно интересовало одно лицо—Адамъ Мицкевичъ; я его никогда прежде не видалъ. Онъ стоялъ у каминна, опершись локтемъ о мраморную доску. Кто видалъ его портретъ, приложенный къ французскому изданію и снятый, кажется, съ медальона Давида д'Анже, тотъ могъ бы тотчасъ узнать его, несмотря на большую перемѣну, внесенную лѣтами. Много думъ и страданій сквозили въ его лицѣ, скорѣе литовскомъ, чѣмъ польскомъ. Общее впечатлѣніе его фигуры, головы съ пышными сѣдыми волосами и усталымъ взглядомъ, выражало пережитое несчастье, знакомство съ внутренней болью, экзальтаціею горести; это былъ пластическій образъ *судебъ Польши*. Подобное впечатлѣніе дѣлало на меня потомъ лицо Ворцеля; впрочемъ, черты его, еще болѣе болѣзненные, были живѣе и привѣтливѣе, чѣмъ у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, разсѣивало; это *что-то* былъ его странный мистицизмъ, въ который онъ заступалъ дальше и дальше. Я подошелъ къ нему, онъ меня сталъ разспрашивать о Россіи; свѣдѣнія его были отрывочны, литературное движеніе послѣ Пушкина онъ мало зналъ, остановившись на томъ времени, на которомъ покинулъ Россію. Несмотря на свою основную мысль о братственномъ сою-

зѣ всѣхъ славянскихъ народовъ, мысль, которую онъ одинъ изъ первыхъ сталъ развивать, въ немъ оставалось что-то непріязненное къ Россіи. Первое, что меня какъ-то непріятно удивило, было обращеніе съ нимъ поляковъ его партіи: они подходили къ нему, какъ монахи къ игумену, уничтожаясь, благоговѣя; иные цѣловали его въ плечо. Должно быть, онъ привыкъ къ этимъ знакамъ подчиненной любви, потому что принималъ ихъ съ большимъ *laisser aller*».

На самомъ банкетѣ произошелъ инцидентъ, который сразу обнаружилъ всю разность во взглядахъ собравшихся сотрудниковъ журнала. Мицкевичъ произнесъ рѣчь. «Рѣчь его, по отзыву Герцена, была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т.-е. Барбессъ и Людовикъ Наполеонъ могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить отъ нея. По мѣрѣ того, какъ онъ развивалъ свою мысль, я начиналъ чувствовать что-то болѣзненно тяжкое и ждалъ одного слова, одного *и.и.ени*, чтобъ не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія; оно не замедлило явиться! Мицкевичъ свелъ свою рѣчь на то, что демократія теперь собирается въ новый открытый станъ; во главѣ котораго Франція, что она *снова* кинется на освобожденіе всѣхъ притѣвленныхъ народовъ, подъ тѣми же орлами, подъ тѣми же знаменами, при видѣ которыхъ блѣднѣли всѣ цари и власти, и что ихъ снова поведетъ впередъ одинъ изъ членовъ той вѣчной династіи, которая какъ бы самимъ Провидѣніемъ назначена вести революцію стройнымъ путемъ авторитета и побѣды». Культъ Наполеона былъ традиціей польскаго народа, основой романтическаго міровоззрѣнія Мицкевича въ области политическихъ ожиданій. Но онъ былъ глубоко чуждъ испанцамъ, воевавшимъ съ *гнетами* Наполеона, и не былъ близокъ русскому интеллигенту. Въ массѣ собравшихся на банкетъ рѣчь Мицкевича не могла встрѣтить сочувствія. «Когда онъ кончилъ, кромѣ двухъ — трехъ одобрительныхъ восклицаній его приверженныхъ, молчаніе было общее... Пауза продолжалась, нѣкоторые опустили глаза въ тарелку, другіе пристально разсматривали бокаль, третьи заводили частный разговоръ съ сосѣдомъ. Мицкевичъ перемѣнился въ лицѣ, онъ хотѣлъ еще что-то сказать». Въ это время съ гнѣвнымъ возраженіемъ выступилъ старый испанецъ, Рамонъ-де-ла-Сагра, который горячо протестовалъ противъ его рѣчи. Съ нимъ многіе чокнулись. «Мицкевичъ хотѣлъ поправиться, сказалъ нѣсколько словъ въ объясненіе; они не уда-

лись. Де-ла-Сагра не сдавался. Всѣ встали изъ-за стола, и Мицкевичъ уѣхалъ». При такихъ предзнаменованіяхъ возникъ журналъ, который просуществовалъ всего до 13 іюня. «Онъ исчезъ такъ же незамѣтно, какъ существовалъ. Единства въ редакціи не могло быть; Мицкевичъ свертывалъ половину своего императорскаго знамени, usé par la gloire, другіе не смѣли развертывать своего; стѣпенные имъ и совѣтомъ, многіе черезъ мѣсяць оставили редакцію. Если бъ наполеоновская полиція была умнѣе, никогда Tribune des peuples не была бы запрещена за нѣсколько строчекъ о 13 іюня. Съ именемъ Мицкевича и съ поклоненіемъ Наполеону, съ мистической революціонностью и съ мечтой о вооруженной демократіи, во главѣ которой Наполеониды, этотъ журналъ могъ бы сдѣлаться кладомъ для претендента, чистымъ органомъ нечистаго дѣла» (Герценъ, «Сочин.». III 34). Такъ должно было смотрѣть на журналъ, который выводилъ идеи политической романтики изъ тѣснаго круга польской эмиграціи на арену общеевропейскихъ отношеній, либеральное общество Парижа. Сектанство, которому подчинился Мицкевичъ, не могло выдержать свободнаго дыханія жизни. Мистицизмъ и фантастика уже отживали свой вѣкъ, и время требовало реализма и реальныхъ политиковъ. Журналъ былъ обреченъ на провалъ.

Въ 1907 г. Влад. Мицкевичъ издалъ собраніе статей своего отца, напечатанныхъ въ «La tribune des peuples» *). Поэтъ старался объяснить, съ какой точки зрѣнія онъ смотритъ на Наполеона. «Изъ своего революціоннаго прошлаго народъ помнить только имя Наполеона. Что значить это имя? Оно содержитъ въ себѣ великія достоинства, которыя плѣнили въ Наполеонѣ войско и народъ: вѣру въ великій народъ, вѣру въ принципы, которые онъ провозгласилъ, вѣру въ торжество этихъ принциповъ, согласіе слова съ дѣломъ, мало словъ и много дѣла... Наполеонъ — это революція, которая стала правильной властью, социальная идея, которая стала правительствомъ». На Наполеонѣ III лежало своего рода табу, и Мицкевича такъ раздражали споры о немъ, что однажды въ редакціонномъ залѣ онъ повѣ-

1) «La tribune des peuples par Adam Mickiewicz». 1907. Paris. Статья объ этомъ сборникѣ I. Третьяка «Mickiewicz, jako redaktor „Trybuny ludów“». Bibliot. Warszawska. 1907, № 1. Въ изложеніи этой страницы въ жизни Мицкевича я пользуюсь названной статьей. Болѣе подробный анализъ «Трибуны народовъ» вышелъ бы изъ рамокъ настоящаго изслѣдованія.

силъ объявление: «Il est interdit d'invectiver ici le chef d'Etat». Мицкевича оправдываетъ только то, что онъ выступалъ въ своей защитѣ мелкаго и ничтожнаго «президента», Наполеона, совершенно безкорыстно. Болѣе того, въ это самое время бюро парижской полиціи для иностранцевъ доносило правительству, что Мицкевичъ вредный и опасный интриганъ, который, желая во что бы то ни стало блестять, готовъ на всякія средства, что онъ является едва ли не тайнымъ агентомъ Россіи: «Разсказываютъ и есть полное основаніе вѣрить этому, что передъ получениемъ каеодры въ «Collège de France», онъ далъ формальное обязательство русскому правительству уничтожить Польшу и католичество и распространять московскую пропаганду, представляя Россію защитницей и освободительницей всѣхъ славянъ». Крики эмиграціи и партійная клевета сдѣлали, такимъ образомъ, свое дѣло: неподкупный идеалистъ оказался тайнымъ агентомъ русской власти!

Основныя задачи, которыя преслѣдовала «Трибуна народовъ», сводились (какъ это было указано въ программномъ номерѣ) къ слѣдующему: братскій договоръ съ нѣмцами, возрожденіе свободной и независимой Польши и освобожденіе Италіи. Нѣсколько позже къ нимъ присоединилась задача освобожденія Венгріи. Особенно много статей самъ Мицкевичъ посвятилъ итальянскому дѣлу и папѣ Пію IX, который, по его мнѣнію, не понималъ своей задачи обновленія католичества. Въ социализмъ, которому поэтъ горячо сочувствовалъ, онъ видѣлъ «выраженіе чувства, стараго, какъ міръ, — ощущенія того, что есть еще неполно, ошибочно, ненормально, а потому и вызываетъ страданіе въ нашей жизни. Чувство социализма есть полетъ нашего духа къ болѣе радостному существованію, не индивидуальному, но общему и солидарному». Ему казалось, что «чувства религіозныя и патріотическія лежатъ въ основаніи социализма». Такимъ образомъ, и теперь Мицкевичъ проповѣдовалъ настойчиво свою излюбленную идею: исправленіе строя жизни возможно только при религіозномъ исправленіи людей. Нравственная идея должна лежать въ основаніи патріотизма, какъ и въ основаніи экономическихъ стремленій человѣчества, — полагалъ поэтъ.

Какъ выражается одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей политическихъ воззрѣній Мицкевича, А. Сливинскій, онъ, какъ и Ламенинъ, видѣлъ «соціальное зло не столько въ несовершенствѣ

соціального строя, ибо строй можно изменить, сколько въ грѣшной закоренѣлости правительствъ. И оба они объявили войну правительствамъ, оба возлагали всю отвѣтственность за послѣдствія этой (соціальной) войны и за пролитую кровь на правящіе классы. Въ ихъ глазахъ никогда не были бунтовщиками народы, ими были правительства». При такомъ пониманіи вещей, которое нашло себѣ выраженіе въ цѣломъ рядѣ статей, напечатанныхъ въ «Трибуна народовъ», газета была осуждена на закрытіе. Когда французское правительство въ іюнѣ 1849 года послало войска для поддержки папы противъ римской республики, въ Парижѣ и Лионѣ вспыхнули безпорядки. «Трибуна народовъ», противъ воли Мицкевича, напечатала революціонное обращеніе (15 іюня), и на другой день въ редакцію явилась полиція; отвѣтственный редакторъ былъ арестованъ, помѣщеніе редакціи запечатано, а самъ Мицкевичъ скрылся отъ ареста у своего знакомаго, молодого адвоката Дессю. На время военнаго положенія, которое было введено въ Парижѣ, газету пришлось закрыть. 1 сентября она возобновилась, но Мицкевичъ не только не могъ редактировать ея, но даже самыя посѣщенія редакціи стали для него невозможны. Полиція настаивала на высылкѣ его изъ Франціи, и самое свое сотрудничество въ «Трибуна» поэту приходилось обставлять такой тайной, что его рукописи отправлялись въ редакцію, переписанныя чужой рукой. Наконецъ, 16 окт. 1849 г. всѣ поляки, участвовавшіе въ газетѣ, вышли изъ нея; прекратилась и матеріальная поддержка Браницкаго. Газета дотянула до 10 ноября и закрылась. «Взрывъ во Франціи, который мы предвидѣли и предсказывали, — писалъ Мицкевичъ въ половинѣ октября Домейкѣ, — закончился, погрузивъ міръ опять во мракъ. Эмиграція горько платится за гордость и нахальство (zuchwalstwo), съ которымъ шумѣла здѣсь». И очень одинокимъ чувствовалъ себя теперь поэтъ: «Все тутъ вокругъ меня широко вымерло или разлучилось со мной». Политическое положеніе Франціи его возмущало. Французскій журналистъ, Менаръ, который весной 1850 года познакомился съ Мицкевичемъ, услышалъ изъ его устъ суровое осужденіе вождей революціи 48-го года. «Онъ обвинялъ ихъ въ томъ, что они оплевали огонь святого воодушевленія, изъ котораго посыпалось столько искръ во Франціи, и ставилъ имъ въ вину, что они не поняли наполеоновскихъ содроганій народа».

Устранившись от политической борьбы, от сектантства Товинскаго и от раздоровъ эмиграціи, которые теперь потеряли уже всякое значеніе, Мицкевичъ жилъ своей семейной жизнью. Матеріальное существованіе семьи, по свидѣтельству сына поэта (IV. 270), было тяжелое; все чаще прихварывала жена Мицкевича, жалуясь на сердце и на боль въ груди и мечтая о поѣздкѣ на море, «если позволять средства». Подростала уже старшая дочь, Марія. Мицкевичи не сторонились отъ людей, но только теперь среди ихъ знакомыхъ мы видимъ, по преимуществу, французовъ. Въдъ уже почти 20 лѣтъ поэтъ прожилъ среди французовъ. Главнымъ развлеченіемъ его теперь была, кажется, музыка. Сестра Целины Мицкевичъ, Софія, 24-лѣтняя дѣвушка, пріѣхавшая въ эту пору въ Парижъ учиться живописи, была неприятно поражена образомъ жизни Мицкевичей, свободой, которой пользовались дѣти, необезпеченностью семьи, общеніемъ ея съ оборванными эмигрантами, которые называли Мицкевича и его жену братомъ и сестрой. «Но потомъ, пишетъ она въ своемъ дневникѣ (*Żywot*. IV. 273—4), во мнѣ начало пробуждаться болѣе живое чувство симпатіи къ семьѣ Мицкевичей. Прежде всего, ежедневная встрѣча съ Адамомъ и возможность слышать его начали оказывать на меня неизбѣжное вліяніе. Кто узналъ Мицкевича ближе, знаетъ, сколько въ его разговорѣ, на видѣ самомъ простомъ, заключалось мудрости, доброты и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокаго чувства. Слушая его, я все болѣе начинала чувствовать, что мой теперешній образъ жизни какой-то ненормальный, что, находясь около такого человѣка, я должна, какъ полька и мыслящее существо, стараться воспользоваться его совѣтомъ, а я до того времени, напротивъ, какъ будто закрывала передъ нимъ глаза. Потомъ, и общеніе съ сестрой измѣнило мое первоначальное отношеніе къ ней: чѣмъ дольше я съ ней была, тѣмъ лучше я видѣла слѣды страданій на ея лицѣ; я видѣла также, съ какимъ усиленіемъ она хозяйничала въ домѣ, чтобы, сколько было возможности, выполнить обязанности матери и жены; а между тѣмъ видно было, что она выбивалась изъ силъ, и никогда я не слышала отъ нея жалобы на такую тяжелую судьбу». Отъ своей вѣры въ Польшу Мицкевичъ не отказывался, хотя онъ видѣлъ, что на родинѣ все измѣнилось, что идеалы эмиграціи были уже совершенно чужды новому поколѣнію, и даже имя его какъ-то забывалось въ это самое стран-

ное время реакціи въ усмиреномъ Царствѣ Польскомъ. Поэтъ и теперь утверждалъ, что «Польша должна быть началомъ новаго міра; иначе она была бы не нужна». А по другому свидѣтельству, относящемуся къ тому же 1850 году, онъ «теперь не останавливался мыслью ни на какомъ отдѣльномъ народѣ; окомъ духа онъ созерцалъ и насквозь пронизывалъ все человѣчество».

Въ Парижѣ въ это время не было уже ни одной польской газеты; эмиграція частью вымерла, частью вернулась въ тотъ или другой край Польши, или измельчала политически, обнищала матеріально. 1848 годъ лишилъ ее всякаго значенія. И французы уже мало интересовались теперь поляками. Сохранилось любопытное воспоминаніе: въ декабрѣ 1850 года у Мицкевича опять родился сынъ, уже шестой ребенокъ. Его окрестили и дали ему имена Józef, Teofil, Rafał. Съ такими трудными именами французъ священникъ никакъ не могъ справиться, и Мицкевичъ былъ принужденъ собственной рукой вписать ихъ въ метрическую книгу. Въ началѣ 1851 года уцѣлѣвшая горсть интеллигентной польской эмиграціи рѣшила возстановить литературное общество и какъ-нибудь обезнечить на будущее время существованіе польской бібліотеки. Странно и смѣшно было бы теперь возобновлять старые счеты, и Янушкевичу поручили переговорить съ Мицкевичемъ, предложивъ ему опять войти въ совѣтъ общества. Въ мартѣ 1851 года поэтъ принимаетъ снова близкое участіе въ дѣлахъ общества и редактируетъ обращеніе къ землякамъ относительно бібліотеки. Примирился онъ и со старыми друзьями, которыхъ оттолкнулъ отъ него нѣсколько лѣтъ тому назадъ то-ванизмъ. Въ іюлѣ радостно и просто онъ опять сошелся съ Залѣскимъ. «Какъ вижу, онъ совершенно отрезвѣлъ», отмѣчаетъ этотъ послѣдній и нѣсколько позже прибавляетъ, имѣя въ виду цѣлый рядъ прежнихъ друзей Мицкевича: «Отношенія возобновились». Къ этому времени относятся и извѣстіе о замыслѣ второй части «Пана Тадеуша». Будучи въ сентябрѣ 1851 года въ Гаврѣ, поэтъ гулялъ по берегу моря со старыми знакомыми, Шеметомъ и Янушкевичемъ, которые и уговаривали его взяться за продолженіе поэмы. «Панъ Тадеушъ долженъ былъ участвовать въ возстаніи (1830 г.) сначала въ Литвѣ, а потомъ въ Королевствѣ. Во время нашего пребыванія въ Гаврѣ Мицкевичъ постоянно разспрашивалъ о фактахъ и о людяхъ, имѣвшихъ отношеніе къ возстанію... Иногда заходила рѣчь объ окончаніи



Могилa поэта на кладбищѣ въ Монморанси.

Тадеуша, а чаще всего говорили о раковинахъ и разныхъ морскихъ животныхъ. Онъ любилъ море, любилъ звѣрей, насѣкомыхъ, и въ это время естественная исторія была любимымъ предметомъ его бесѣдъ. Но онъ ничего не написалъ». Изъ этого сообщенія, восходящаго притомъ къ 1874 году, трудно извлечь представленіе о томъ, самому ли Мицкевичу приходило въ голову продолжать свою литовскую поэму, или эту мысль навязывали ему пріятели, зная, что когда-то у Мицкевича, дѣйствительно, былъ планъ написать поэму о сынѣ «Пана Тадеуша». Поэтическое творчество окончательно покинуло старѣющаго поэта.

Декабрьскій переворотъ 1851 года, сдѣлавшій Наполеона диктаторомъ, обрадовалъ Мицкевича, который видѣлъ въ дѣйствіяхъ Наполеона III «начинающееся возрожденіе» Франціи, хотя одно время и ему самому грозила высылка изъ Франціи. Онъ вѣрилъ теперь и въ неизбежность войны ея съ Россіей, отъ которой ждалъ такъ много для Польши. Поклонникомъ самого Наполеона онъ не былъ, но только «чтилъ наполеоновскую традицію». Несмотря на извѣстную близость съ королемъ Иеронимомъ, Мицкевичъ продолжалъ считаться неблагонадежнымъ. За нимъ шпионовали. Въ мартѣ 1852 года поэтъ рѣшилъ, наконецъ, принять французское подданство и подалъ прошеніе. Министръ народнаго просвѣщенія, Фортуль, обратился за справками въ полицію. Послѣдовалъ запросъ о томъ, порвалъ ли Мицкевичъ отношенія съ прежними редакторами «Трибуны народовъ», и какъ вообще онъ ведетъ себя съ этихъ поръ. Напрасно напомнилъ поэтъ о себѣ французскому правительству. «Декретомъ принца, президента республ.ки, даннымъ на основаніи предложенія министра просвѣщенія и вѣроисповѣданій, Мишле, Кисе и Мицкевичъ увольняются въ отставку отъ должности профессоровъ въ «Collège de France» (14 апр. 1852 г.). Такимъ образомъ, Мицкевичъ со всей семьей выбрасывался на улицу. Онъ принялъ отставку философики: поблагодарилъ министра за столько лѣтъ поддержки, подарилъ директору «Collège de France», Бартеlemi Сентъ-Шлеру экземпляръ своихъ лекцій, а жена его писала дочери Маріи, которая находилась въ это время въ Римѣ, слѣдующія строки: «Новѣрь, что, если придется вынести матеріальное испытаніе, то у насъ найдутся силы на это; это еще не самое великое несчастіе, какое можетъ свалиться на такую большую семью, какъ наша».

За Мицкевича вступились. Король Иеронимъ употребилъ все свое вліяніе на президента, чтобы тотъ принялъ къ сердцу незаслуженную отставку Мицкевича. Наполеонъ увѣрялъ, что онъ такъ жаждетъ сдѣлать все возможное для поэта, что готовъ самъ просить за него у министровъ. «Я люблю и почитаю этого человѣка, исполненнаго таланта, сердца и вѣры, что такъ рѣдко въ наше время», заявилъ онъ. Однако, вопроса о возстановленіи Мицкевича въ профессорскихъ правахъ какъ-то не поднималось. Президентъ говорилъ, что хочетъ дать ему нѣчто лучшее и ищетъ для него подходящее мѣсто; пока же была возобновлена выдача задержаннаго жалованія. Однако, на запросъ министра просвѣщенія Фортуля, по поводу принятія Мицкевича во французское подданство, префектъ полиціи далъ отрицательный отвѣтъ. Главнымъ основаніемъ въ такомъ было открытіе, что Мицкевичъ сдѣлался профессоромъ «Collège de France» («съ разрѣшенія Россіи!») Старые отзвуки эмигрантскихъ дразгъ, взаимныхъ обвиненій и подозрѣній. Скоро, однако, и сама полиція должна была признать, что никакихъ данныхъ объ обязательствахъ Мицкевича по отношенію къ Россіи въ ея документахъ не имѣется. Но шпионство за нимъ продолжалось: онъ избѣгалъ даже уѣзжать въ окрестности столицы, потому что за нимъ слѣдовали шпионы. Такъ все лѣто семья провела въ Парижѣ. Каждый вечеръ собирались знакомые, и поднимались бесѣды о политикѣ. Уже въ это время поэтъ былъ убѣжденъ, что восточныя осложненія приведутъ къ войнѣ, и предвидѣлъ, что русскіе будутъ поражены. «Что наступитъ потомъ, я не знаю,—прибавлялъ онъ,— можетъ быть, кто-нибудь другой видитъ въ эту минуту дальше, чѣмъ я». Часть лѣта Мицкевичъ провелъ въ Санъ-Жерменѣ у Шемѣта, который опять уговаривалъ его взяться за продолженіе «Пана Тадеуша». Но и на этотъ разъ попытка не удалась: за цѣлый мѣсяцъ Мицкевичъ не испыталъ ни разу вдохновенія и вернулся домой, убѣдившись, что «эпоха творчества окончилась для него». Однако, какъ утверждаетъ Владиславъ Мицкевичъ (Zywot. IV. 328), еще и въ слѣдующемъ году поэтъ не оставлялъ надежды, что напишетъ что-нибудь лучшее, чѣмъ прежнія сочиненія. Когда Ходько увидѣлъ у него только что написанные стихи, онъ сказалъ: «Богъ знаетъ, кончу ли». До потомства эти плоды поздняго поэтическаго творчества не дошли.

Въ концѣ октября 1852 года экономическое положеніе Миц-

кевичей было опять обеспечено. Онъ былъ назначенъ бібліотекаремъ въ арсеналѣ, но въ принятіи французскаго подданства ему было отказано. Какъ эхо какихъ-то далекихъ отношеній, донеслось до него поздравленіе съ Новымъ годомъ отъ Товянскаго; эмиграція продолжала оказывать поэту вниманіе. На день его именинъ былъ устроенъ банкетъ, въ честь «двухъ Адамовъ», Чарторыйскаго и Мицкевича. Въ Польской школѣ его избрали сначала членомъ Совѣта, а потомъ товарищемъ предсѣдателя. Въ этой мирной работѣ прошелъ весь 1853 годъ. Крымская война приковала къ себѣ вниманіе Мицкевича. Какъ рассказываетъ одинъ современникъ, поэтъ «охотно разговаривалъ о пронеходящей войнѣ, о моральной и матеріальной подготовкѣ къ ней въ Западной Европѣ и въ Россіи. Онъ постоянно утверждалъ, что Турція и Швеція представляютъ два наилучшіе базиса для раздѣленія силъ царства, но что, пока Польша не двинется съ мѣста, война будетъ разорительна, маловажна, легкомысленна и лишена для насъ послѣдствій. Часто, слушая польскія корреспонденціи съ Востока о Турціи, объ ея готовности къ жертвамъ для возрожденія Польши, объ образованіи войска казаковъ, онъ сіялъ отъ радости, зажигалъ трубку и, расхаживая взадъ и впередъ по комнатѣ, съ видимымъ удовольствіемъ говорилъ о прошломъ и о будущемъ Польши, которое онъ всегда опредѣлялъ мастерски». Турція, мечтающая о созданіи Польши, это былъ тотъ же товынизмъ въ злободневной политикѣ, и Мицкевичъ шелъ за своей утопій, которая намѣтилась уже въ концѣ 1853 года. А въ началѣ слѣдующаго онъ уже подаль императору Наполеону, черезъ посредство третьихъ лицъ, ноту о Товянскомъ. Но императоръ передалъ ее префекту полиціи, который, конечно, высказался противъ допущенія Товянскаго во Францію.

Эмигранты уже начинали мечтать объ образованіи новаго Польскаго легіона для участія въ Восточной войнѣ; начались даже денежныя пожертвованія, и шли разговоры о будущихъ вождяхъ этого легіона. Поляки ѣхали на Востокъ. О политикѣ только и было рѣчи. Мицкевичъ опять былъ въ своей обстановкѣ: увлекался политическими замыслами, предсказывалъ будущее, училъ и наставлялъ. Императору Наполеону онъ подаетъ въ маѣ 1854 года докладъ о положеніи города Риги, который представлялся ему прекраснымъ пунктомъ для нападенія на Россію. Онъ увѣрялъ, что неминуемо послѣдуетъ возстаніе Литвы, которое окажется

опаснымъ для русскаго правительства. «Неудивительно, что эмигранты разсчитывали на возстановленіе Польши съ помощью Франціи и Англіи. Эти государства вели переговоры съ эмигрантами, какъ съ силой, могущею оказать значительнѣйшее вліяніе на событія. Иностранцы, расположенные къ Польшѣ, не сомнѣвались, что ея страданія кончатся» (Żywot IV. 382). Вся весна и лѣто 1854 года прошли въ такой ажитаціи. Между тѣмъ Целина Мицкевичъ была уже тяжело больна. Ее нельзя было даже везти на дачу. Въ августѣ ей было уже такъ худо, что пришлось обратиться къ помощи монахинь для ухода за больной. Болѣзнь была долгая. Страданія смѣнялись недѣлями, когда больная, казалось, выздоравливала. 30 декабря 1854 года старшій сынъ поэта писалъ: «Мамѣ совѣмъ хорошо. Она ходитъ по комнатѣ и позволяетъ намъ шумѣть, сколько намъ угодно». Но, въ дѣйствительности, это было догораніе сильной души и молодого тѣла, истощеннаго непосильной тяжестью жизни, частыми дѣторожденіями, неопредѣленностью матеріальнаго существованія, нравственной трудности идти наравнѣ съ неудержимымъ полетомъ стремленій поэта. Целина Мицкевичъ беззавѣтно любила своего мужа и въ страданіяхъ успокаивалась, когда онъ подходилъ къ ней и бралъ ее за руку. Его имя было на устахъ ея, когда пароксизмъ страданій вырывалъ изъ ея груди стоны. «Въ болѣзни она была чрезвычайно красива; на блѣдномъ лицѣ ея глаза горѣли какимъ-то неземнымъ блескомъ и удивительной красотью». 5 марта 1855 года она скончалась.

Зная ту душевную тяжесть, которая выпала на долю этой прекрасной женщины, трудно отдѣлаться отъ горькаго впечатлѣнія, что Мицкевичъ не сумѣлъ оцѣнить ее. Сколько разъ случалось, что *онъ* уѣзжалъ на море или въ Швейцарію, или отдохнуть къ друзьямъ, а она оставалась въ городѣ, съ семьей на рукахъ, часто, слишкомъ часто беременная. Быть можетъ, Мицкевичъ былъ слишкомъ индивидуальной натурой, чтобы мелочно заботиться о другихъ; онъ слишкомъ поглощалъ вниманіе другихъ и не былъ способенъ для нихъ забыть себя. Это не грубый эгоизмъ обиденныхъ людей, но присущее, вѣроятно, всемъ крупнымъ личностямъ сосредоточеніе *всѣхъ* душевныхъ силъ на *своей* духовной жизни. И все-таки больно читать признаніе поэта, сдѣланное вскорѣ послѣ смерти Целины: «Можно сказать, что въ эти минуты разставанія мы соединились съ ней въ первый

разъ. Она обѣщала, что будетъ со мной, что духомъ будетъ мнѣ помогать. Почему этого не было при жизни?» Мы знаемъ, однако, что Мицкевичъ былъ сильно огорченъ смертью своей жены, которая умерла, «какъ раненый воинъ». Залѣсскій писалъ о немъ: «Адамъ печаленъ, но душою спокоенъ». Такъ же спокойно прошли и похороны. Какая-то душевная драма стояла между Мицкевичемъ и его женой. Мы можемъ только догадываться о ней; друзья поэта знали больше. Одинъ изъ нихъ пересказываетъ мистическій пророческій сонъ, который видѣлъ Мицкевичъ когда-то въ Петербургѣ. Поэтъ вспоминалъ и о мученіяхъ жены во время послѣдней болѣзни. Послѣ припадковъ (рака?), она «была такой любящей, такой нѣжной, что я сказалъ ей: «Ты для меня ангелъ»: Почему ты не всегда была такой!» (*Żywot* IV. 399). Въ гробъ Целины поэтъ на колыняхъ вложилъ какіе-то предметы, никому ихъ не показавъ. Тайну душевнаго разлада поэтъ унесъ съ собою въ могилу, и мы не будемъ догадываться о ней. Но не въ этомъ ли отсутствіи поднаго семейнаго счастья нужно искать причины такого быстрого подчиненія Мицкевича вліянію Товянскаго, который что-то таинственное, чего, онъ думалъ, никто не знаетъ, открылъ поэту?

Одинъ изъ дѣтей Мицкевича, младшій Юсифъ, былъ еще младенцемъ. Семья Залѣскаго предложила воспитать его, и Мицкевичъ отвезъ имъ ребенка. А самого его все больше тянуло на Востокъ. Только положеніе дѣтей его безпокоило. «Если бы хоть на одинъ годъ обезнечить ихъ, я сейчасъ же поѣхалъ бы въ Турцію», тоскливо твердилъ онъ. «Мучить меня это. Я думаю, что, если бы молодые увидѣли, что я, съ сѣдой головой, иду туда, куда меня влекутъ сердце и разумъ, то, можетъ быть, они не посмѣли бы дольше гнить, нищенствовать или шумѣть по салонамъ и вояжамъ, вмѣсто того, чтобы исполнять свой святой долгъ по отношенію къ родиѣ. Обратиться къ эмиграціи и родиѣ только и можно тѣмъ, что я бы самъ пошелъ и показалъ примѣръ имъ, я, отецъ шестерыхъ сиротъ, убѣгающій отъ духоты этого, уже опонлившагося польскаго геройства (*polskiej dzielności*)». Мицкевичъ рвался на арену дѣйствій, а обязанности удерживали его въ Парижѣ. И онъ сталъ хлопотать о научной командировкѣ на Балканскій полуостровъ. «Зарыли меня здѣсь, — говорилъ поэтъ, показывая на книги: а я не могу высидѣть среди этихъ труновъ». 8 апрѣля онъ писалъ своимъ знакомымъ: «Моя жизнь

превратилась въ постоянное погребеніе кого-либо или чего-либо. Изъ того поколѣнія, съ которымъ вмѣстѣ я жилъ и привыкъ бѣдствовать, одни уже навсегда покинули насъ, другіе влчатъ замогильное существованіе, которое не лучше смерти». А съ войной Мицкевичъ связывалъ пламенные ожиданія, которыя онъ излилъ въ концѣ ноября 1854 г. въ латинской одѣ къ Наполеону, своемъ послѣднемъ произведеніи. Какъ Наполеонъ I возстановилъ Польшу, создавъ Герцогство Варшавское, такъ его державный племянникъ вернуть самостоятельное существованіе современной Польшѣ: такъ гласила основная мысль этой оды, написанной на другой день послѣ побѣды французскаго флота у Бомарзунда. Въ маѣ 1855 года поэтъ представляется Наполеону вмѣстѣ съ Чарторыйскимъ во главѣ польской депутаціи и вынесъ очень неблагопріятное впечатлѣніе объ императорѣ. Теперь Мицкевичъ уже не говорилъ, что результатомъ войны будетъ возстановленіе Польши, но онъ вѣрилъ, что «Султанъ выполняетъ Божью миссію, отъ которой отреклась христіанская Европа. Тотъ, кто теперь является союзникомъ Польши, выше всѣхъ теорій, выше ханжескихъ увертокъ, фарисейскихъ сомнѣній, ближе къ ученію Христову, нежели самъ (папа?) и ксендзъ Х. вмѣстѣ съ нимъ. Миръ больше уже не можетъ жить комедіей, которая такъ долго разыгрывалась безъ всякихъ благотворныхъ результатовъ, ибо Богъ есть правда, а тотъ, кто, зная истину, попираетъ ее, есть преступникъ. Я повторяю всѣмъ, что нужно соединиться съ тѣмъ, что уже есть польскаго». Поэту казалось, что на помощь Турціи надо организовать польское казачество. Онъ хотѣлъ ѣхать въ Константинополь подъ предлогомъ ученой экспедиціи. Въ началѣ сентября командировка была подписана министромъ. 9 сентября въ домѣ Чарторыйскаго собрались на прощальный обѣдъ. Старый князь, посылая вмѣстѣ съ Мицкевичемъ своего младшаго сына Владислава, сказалъ, что онъ повезетъ создающимся въ Турціи казацкимъ полкамъ привѣтъ поляковъ и «скажетъ имъ, что служба султану, они не перестаютъ принадлежать Польшѣ; онъ будетъ живымъ доказательствомъ того участія, которое мы всѣ принимаемъ въ образованіи полковъ». Если такъ говорилъ старый Адамъ Чарторыйскій, котораго эмигранты постоянно обвиняли въ излишнемъ дипломатичаніи, то какъ же долженъ былъ чувствовать неизмѣнный энтузіастъ Мицкевичъ, котораго ни годы, ни бѣды не смогли

сломить. Передъ отъѣздомъ Мицкевичъ привелъ въ порядокъ свои дѣла, пересмотрѣлъ свои бумаги, точно уже не рассчитывая вернуться домой, а одной знакомой онъ замѣтилъ, что, если бы онъ умеръ, то его дѣтямъ въ матеріальномъ отношеніи было бы только лучше. Впрочемъ, никакого мистическаго значенія ни этимъ распоряженіямъ, ни загадочнымъ фразамъ, которыя бросалъ Мицкевичъ, нельзя придавать. Въ это самое время онъ подалъ новое прошеніе о принятіи его во французское подданство, а сына Иосифа онъ оставлялъ у Зальескихъ только «до своего возвращенія». Но мистицизмъ, всегда присущій Мицкевичу, не давалъ ему покоя: теперь онъ постоянно видѣлъ вѣщіе сны, которые толковалъ на основаніи самыхъ обычныхъ жизненныхъ встрѣчъ и разговоровъ. Просто само благоразуміе велѣло привести дѣла въ порядокъ передъ отъѣздомъ.

11 сентября Мицкевичъ двинулся въ путь въ сообществѣ нѣсколькихъ поляковъ, ѣдущихъ въ Турцію для вступленія въ казацкіе полки. Въ Константинополь онъ поселился въ монастырь св. Лазаря въ Галатѣ и сталъ дѣлать визиты. Въ столицѣ Турціи было много поляковъ, и опять кипѣли партійные счеты, аристократическія самолюбія и т. п. Много причудъ, сплетенъ сложилось въ этой странной средѣ; говорили, что Мицкевичъ пріѣхалъ организовать какіе-то еврейскіе легіоны, что онъ долженъ поправить (гереговаѣ) дѣла Чарторыйскихъ. «Противъ Садыкани (Чайковского) велась сложная интрига, которая огорчала Мицкевича: дѣло началось такъ хорошо, а потомъ приняло такой печальный оборотъ», жалуется сынъ поэта (IV. 434). Уже 20 октября 1855 года Мицкевичъ былъ измученъ всѣмъ происходившимъ и нуждался въ отдыхѣ; живя въ шатрѣ въ Бургаѣ, куда онъ ѣздивъ по дѣламъ польскаго легіона, онъ простудился. И, казалось, онъ уже какъ-то сторонился отъ партійной суеты; оригинальный и прекрасный Константинополь зачаровалъ его, и онъ бродилъ по городу, припоминая «маленькія улицы своего родного литовскаго городка». Между тѣмъ въ Константинополь свирѣпствовала холера. Мицкевичъ замышлялъ ѣхать въ Сербію и ждалъ для этого подходящей погоды. Ночью съ 18 на 19 ноября онъ написалъ два письма политическаго содержанія по поводу польскихъ военныхъ организацій на Востокѣ. «Съ этого времени, говоритъ его спутникъ, онъ часто бывалъ погруженъ въ себя; почти каждую ночь онъ просыпался и много говорилъ о Польшѣ или домашнихъ

своихъ дѣлахъ; очень много и часто онъ говорилъ о покойной своей женѣ, о дѣтяхъ, ихъ будущемъ, характерѣ». 26 ноября утромъ онъ быстро всталъ съ постели, почувствовавъ тошноту. Около восьми часовъ онъ выпилъ чашку кофе съ коньякомъ и съѣлъ маленькій кусочекъ хлѣба. Въ 12-омъ часу Мицкевичу опять стало худо, и онъ легъ въ постель; въ четвертомъ часу дня начались судороги. Всѣмъ стало ясно, что это холера. Больного принялись растирать, стали давать ему лѣкарства, пришелъ ксендзъ, который причастилъ его. Поэтъ впалъ въ дремотное состояніе и въ 9 часовъ вечера скончался. Послѣ долгихъ переговоровъ между вождями польской эмиграціи было рѣшено похоронить его въ Парижѣ въ одной могилѣ съ женой. 21 января 1856 года гробъ поэта былъ отнесенъ на рукахъ молодежи на кладбище въ Монморанси. Богданъ Залѣскій сказалъ рѣчь у открытой могилы и закончилъ ее стихомъ: «Пресвятая Дѣва! Чудомъ верни останки поэта на родину!» До известной степени эта молитва исполнилась: 4 іюля 1890 года останки Мицкевича были погребены въ отдѣльной нишѣ стараго Вавеля.

Въ первомъ сборникѣ своихъ стихотвореній юный Мицкевичъ опредѣлилъ основу всей своей жизни. Онъ хотѣлъ имѣть сердце и смотрѣть въ сердце, вѣря чувству больше, чѣмъ холодному разуму мудреца. Это сердце, страдающее за родину, онъ пронесъ черезъ всю жизнь, вѣря въ неизбежное воскресеніе Польши, любовно созерцая прошлое ея народа, гдѣ онъ находилъ столько героическаго, добраго, доблестнаго. А въ другомъ стихотвореніи того же сборника поэтъ говорилъ о скалѣ славы, къ которой человѣкъ долженъ плыть въ продолженіе всей своей жизни, несмотря на бушующія вокругъ волны. Но блаженъ тотъ, кому свѣтитъ красота, кого не ведетъ впередъ лишь суровая Добродѣтель. За Добродѣтелью пошелъ Мицкевичъ и цѣли жизни онъ достигъ, измученный непосильной трудностью пути, съ окровавленными отъ работы руками. Но корабля жизни онъ не покинулъ и ни разу не забывалъ о высшемъ назначеніи человѣческой жизни. Эту вѣру онъ завѣщалъ и своему народу.

Политическіе планы Мицкевича не сбылись ни разу: ни общество филаретовъ, ни секта Товянекаго, ни легіоны польскіе въ Италіи или на Балканскомъ полуостровѣ не спасли Польши, не принесли ни малѣйшаго облегченія ея судьбѣ. Но остается одинъ безспорный фактъ: пока живъ былъ Мицкевичъ, пока

раздавался его голос — тревожный, шевелящий чужую совесть, безпокоющій мирный сонъ народовъ и дипломатовъ, голосъ пророка и поэта, — до тѣхъ поръ о полякахъ не забывали. Въ самыя мрачныя времена реакціи, съ 1831 по 1848 годъ, Мицкевичъ напоминалъ Европѣ, что польскій вопросъ есть не частный вопросъ одного народа, не споръ славянъ между собою, но вопросъ общечеловѣческой важности, вопросъ о бытіи справедливости, свободы и права на землѣ. Когда умеръ Мицкевичъ, польскій вопросъ быстро снизошелъ на уровеньъ внутренне-государственныхъ отношеній въ Россіи, гдѣ началась эпоха Велепольскаго, въ Австріи, гдѣ подготавлилась политика консервативныхъ «станчиковъ», и въ Познани. Мицкевичъ былъ объединяющимъ элементомъ между всѣми частями прежняго Польскаго государства; онъ былъ живымъ символомъ единенія Литвы и Польши, Кракова и Познани. И въ Мицкевичѣ продолжаетъ жить культурное и національное единство ихъ, какъ въ его итальянскомъ польскомъ легионѣ были выходцы изъ всѣхъ частей Посполитой Рѣчи. А для того, чтобы оцѣнить, какъ велико политическое и національное значеніе Мицкевича, надо припомнить, какимъ путемъ судьба провела черезъ жизнь польскаго поэта. Вѣдь съ 25 лѣтъ до конца своихъ дней онъ велъ тяжкое существованіе эмигранта и изгнанника, котораго участь заносила въ Италію, Швейцарію, Францію и въ Одессу, въ Москву, въ Петербургъ. Но въ своихъ скитаніяхъ Мицкевичъ оставался и чувствовалъ себя не случайнымъ эмигрантомъ, но пилигримомъ, который долженъ самъ ити и весь народъ вести за собой къ великой цѣли его существованія: къ созданію новой Польши, свободной среди свободнаго человѣчества, олицетворяющей высшую правду, высшую любовь, которая рано или поздно должна воцариться среди человѣчества. Таково міровое значеніе величайшаго изъ сыновъ польскаго народа.

Библиографія ко II тому.

Глава XV. О пребываніи Мицкевича въ Москвѣ очень подробно въ біографіи Владислава Мицкевича. См. также *I. Tretiak*. *Szkice Literackie*. I. 1896. (Karolina Jaenisch.) Объ отношеніяхъ между Мицкевичемъ и Пушкинымъ: *W. Spasowicz*. *Pisma*, т. V. *B. Спасовичъ*. Пушкинъ въ польской новѣйшей литературной критикѣ. Сочиненія. Т. VIII; *I. Tretiak* *Mickiewicz i Puszkini* 1906; *M. Zdziechowski*. *Wagon a jego wiek*, т. II. 1897; *С. Н. Брайловскій*. Къ исторіи русско-польскихъ литературныхъ отношеній. Мицкевичъ и Пушкинъ (въ изданіи „Пушкинъ и его современники“, т. VII. 1908). О Мицкевичѣ въ Москвѣ: Кс. Полевой. „Поэтъ Мицкевичъ“. Русская Живописная Библіотека. 1858. *Ф. К. Неслуховскій*. „Мицкевичъ въ Россіи“. „Истор. Вѣсти.“ 1880. *Барсуковъ*. „Жизнь и труды М. П. Погодина“, т. II. *Ө. Вержбовскій*. Къ біографіи А. Мицкевича въ 1821—1829. (Сборн. Отд. рус. яз. и словесн. Имп. Ак. П., т. 66). *Н. Дубровскій*. „Адамъ Мицкевичъ“. Отеч. Записки, 1858. *К. Павлова*. „Мои воспоминанія“. Рус. Архивъ, 1875. *Н. Лернеръ*. Труды и дни Пушкина. Изд. 2. 1910. *П. Б. К. К. Павлова*. Рус. Архивъ, 1894. *К. Храповичъ*. „Мицкевичъ и Каролина Янишъ“. „Истор. Вѣсти.“ 1897 (рефератъ о выше-названной статьѣ Третьяка). „Къ біографіи Мицкевича“. „Былое“, 1906. Кн. *П. А. Виземскій*. Мицкевичъ о Пушкинѣ, 1873. Полн. собр. сочин., т. VII (1882). *Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense*. XIV. Band. 1870.

Глава XVI. *A. Prochaska* *Konrad Wallenrod w poezyi i dziejach*. *Szkice historyczne z XV wieku*. 1884. *W. Bruchnalski*. *Źródła historyczne „Konrada Wallenroda“*. *Pamiętnik*. 1889, т. III. *Nadmorski*. *Konrad Wallenrod w świetle dziejowem i w poemacie Mickiewicza*. *Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu*. V. 1898. (миѣ недоступно). *W. Grzegorzewicz*. *Czas akcyi w „Wallenrodzie“*. *Pam. liter*. III. 1904. *W. Nchring*. *Grażina i Konrad Wallenrod*

Mickiewicza. Studya literackie. 1884. *St. Tarnowski*. Jeszcze cokolwiek o Wallenrodzie. Pamiętn. VI. 1898. *W. Betza* Krakowska edycya Konrada Wallenroda z 1828 roku и его же Kartka z autografu Wallenroda. Pamiętn. VI. 1898. *Wlad. Spasowicz* Konrad Wallenrod. Pisma, t. I. 1892 и по-русски въ „Сочиненіяхъ“, т. VII. 1896. Его же. O bajronizmie Mickiewicza. Pisma. I. *M. Matanowski*, Urywek z autografu „Konrada Wallenroda“. Pamiętn. IV. 1890. *Wilh. Bruchnalski*, Mickiewicz a Moore. Pamiętn. V. 1891. *J. Tretiak*. Raport urzędowy Nowosilcowa o „Konradzie Wallenrodzie“. Pamiętn. V. 1891; тотъ же доносъ въ оригиналь по-русски въ „Русской Старинѣ“ 1903, ноябрь; *H. Galle*. Pierwiastek balladyczny w K. W. Pam. liter. I. 1902. *A. Kraushar*. Pierwsze odgłosy K. W. въ книжѣ Obrazy i wizerunki historyczne. 1906. *M. Werner*. Para uwag o metywie zasadniczum „Alpuhary“. Pamiętn. VI. *I. Tretiak*. Idea Wallenroda. Pamięt. 1886 и въ книжѣ „Mickiewicz i Puszkין“: 1906. *A. Betzkowski*. Kongr. Wall. въ книжѣ „Ze studyów nad literaturą polską“ 1886. О байронизмѣ Мицкевича, см. Спасовича (вышеназв.), а также въ общихъ сочиненіяхъ: *M. Zdziechowski*. Byron a jego Wiek. II. 1897 и *I. Matuszewski*. Lord Byron i wpływ jego na literaturę polską. 1903.

Глава XVII. Кромѣ уже приведенныхъ выше сочиненій о пребываніи Мицкевича въ Москвѣ и Петербургѣ, см. Listy z podróży Ant. Edw. Odyńca. I. 1875; о „Фарысѣ“ *R. Pilat*. Geneza „Farysa“ въ Pamiętn. Tow. II. *Bol. Prus* „Farys“. (Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci Adama Mickiewicza SPB. 1898).

Глава XVIII. Главнымъ матеріаломъ являются письма Одынца, воспоминанія Сатлера и мелкіе матеріалы, неиспользованные Хмблевскимъ и особенно Владиславомъ Мицкевичемъ, послѣ котораго трудно найти что-нибудь новое. О пребываніи Мицкевича въ Веймарѣ см. статью *T. Stahlberger'a* „A. Mickiewicz w Weimarze“. 1886, въ которой, однако, нѣтъ ничего новаго. Стихи Гёте къ Мицкевичу, см. *Kraj* 1904. № 22. Брошюра Яна Семенскаго „Ewunia, szkice na podstawie dziennikow, albumów...“ 1888 и книга Мазановскаго „Adam Mickiewicz w lat. 1829—1832“ 1884 были мнѣ недоступны. Повидиму, это изложеніе общезвѣстнаго матеріала.

Глава XIX. Матеріаль біографическій въ книгахъ Вл. Мицкевича, Хмблевскаго и Калленбаха. „О книгахъ польскаго народа“ см. „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, tekst pier-

wotny, z autografu A. Mickiewicza wydał Józef. Kallenbach² Par. 1905. Статя о нихъ Ст. Тарновскаго въ Pamiętn Towarz. Lit. т. IV (1890). Dr. M. Kriehl. Mickiewicz i Lamennais. Warsz. 1909. A. Górski. Monsalwat. Rzecz o Adamie Mickiewiczu. Изд. 2. Warsz. 1908. Bron. Gubrynowicz. Kartka ze wspomnień o pobycie Mickiewicza w Poznańskim (Kwartalnik Historyczny. 1898. Т. XII). Ср. очерки въ книгѣ Вл. Белза „Z epoki Mickiewicza“ 1911. „Z pobytu Mickiewicza w Dreźnie“ и „Mickiewicz kompozytorem“. О путешествіи въ Парижъ см. I. Tretiak „Mickiewicz i Domejko wśród emigracyi“ (1832—1838). Biblioteka warszawska. 1908.

Глава XX. Третья часть „Дядювъ“. М. Kawczynski. Przyczynek do wyjaśnienia „Improwizacyi“ Mickiewicza i trzeciej części „Dziadów“ (Rozprawy wydz. filol. т. XXI. 1894). K. Estreicher. Nieznany manuskrypt trzeciej części „Dziadów“ (Pamiętn. Tow. Mickiewicza, т. VI. 1898). A. Krehowicki Dziadów części III-ciej „Ustęp“ wiedzę pierwszego autografu (тамъ же). I. Kallenbach. О improwizacyi Konrada (Pamiętn. Tow. Mickiewicza, т. IV. 1890). I. Kallenbach, „Wieczory w Neuilly“ въ книгѣ „Czasy i ludzie“ 1905. H. Moseicki. Wilno i Warszawa w „Dziadach“ Mickiewicza. Тіо historyczne trzeciej części „Dziadów“. 1908. Другія указанія см. въ тексті. О числѣ 44 см. S. Ptaszyński Mąż czterdzieści i cztery, wskrzesiciel narodu. Poznań. 1895. A. Niemojewski въ сборникѣ „Ognisko“ 1903 (Któż ten mąż?).

Глава XXI. „Panъ Tadeuszъ“. R. Pilot. Autografy pierwszych trzech ksiąg „Pana Tadeusza“ (Pamiętn. Tow. Mickiew. V. 1891). R. Pilot. Autografy późniejszych ksiąg „Pana Tadeusza“ od IV—tej do XII—tej (Pamiętn. VI. 1898). Gostomski Arcydzieło poezyi polskiej. A. Mickiewicza Pan Tadeusz, studyum krytyczne. Wyd. 2. Warsz. 1898. A. Biegeleisen. „Pan Tadeusz“ Mickiewicza. Warsz. 1884. D. Zglisicki. Humor w Panu Tadeuszu. W 1898. I. Chrzastowski. Za co powinniśmy kochać Pana Tadeusza? 1908. W. Iankowski. Do genezy „Pana Tadeusza“ (Pamiętn. Literacki. VI. 1907). Авторъ видитъ reminiscenции въ „Panъ Tadeuszъ“ изъ комедіи Заблудскаго „Sarmatyzm“, напечатанной въ 1820 г. (комедія эта перепечатана въ Варшавѣ въ 1909 г. съ предисловіемъ и объясненіями Г. Галле). Tretiak. Dwie Zosie (въ сборникѣ Szkice literackie). Zathej. Uwagi nad „Panem Tadeuszem“ Ad. Mickiewicza. 3 wyd. 1886. Załeski. Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania Pana Tadeusza (въ юбилейномъ сборникѣ къ столетию Ми-

кевича, изданномъ въ 1898 г. въ С.-Шб. газетою „Kraj“). *W. Nehring*. „Pan. Tadeusz“ Mickiewicza (въ сборникъ „*Studia literackie*“ 1884). *Tretiak*. Obrazy nieba i ziemi w „Pan. Tad.“ (въ томъ же сборникъ его статей, что и указанная выше статья). *R. Pilat*. Opis „matecznika“ w trzech redakcyach (Pamiętn. tow. Mickiewicza. IV. 1890). *W. Bruchnalski*. Reminiscencye w „Panu Tad.“ z Homera, Wergiliusza i Tassa (Pamiętn. tow. Mick. II. 1888). *Kreczek*. Najwcześniejsze sądy współczesne o „Panu Tadeuszu“ (Pamiętn. tow. Mick. II. 1888). См., кромѣ того, въ текстѣ.

Глава XXII. *Belcikowski*. Dramat Mickiewicza „Konfederaci Barsey“ Lwów (Pamiętn. tow. Mick. II. 1888). *P. Chmielowski*. Odezyty w Lozannie. 1885. *I. Kallenbach*. Słuchacz Mickiewicza въ сборникъ „*Czasy i ludzie*“. 1905. См., кромѣ того, въ текстѣ.

Глава XXIII. *I. Pawlikowski*. Mistyka Słowackiego. 1909. *A. Nehring*. O paryskich prelekcjach A. Mickiewicza (Pamiętn. tow. Mick. V. 1891). *R. Pilat*. Głosy publicystyki emigracyjnej o pierwszych wykładach Mickiewicza w „Collège de France“ (Pamiętn. tow. Mick. III. 1889). Изданіе лекцій и др. см. въ текстѣ. О Товянскомъ обширная литература указана П. Хмѣлевскимъ въ его сочиненіи объ А. Мицкевичѣ (3 изд. II. 335—336). Я пользовался біографіей, составленною его итальянскимъ послѣдователемъ: „*Andrzej Towiański*“, tłumaczenie z włoskiego, Turyn. 1897.

Глава XXIV. О „Трибуниѣ народовъ“, о польскомъ легионѣ въ Италіи см. литературу въ текстѣ. О Целниѣ Мицкевичѣ см. статью въ сборникъ В. Белзы (см. выше). Объ одѣ въ честь Наполеона см. въ текстѣ. Общая характеристика Мицкевича, какъ политика, въ книгѣ *A. Сливинскаго*. Mickiewicz, jako polityk. Kraków. 1908.



Уточн. поступившим
21 ноября 1958
Москва

Книгоиздательство В. М. Саблина.



ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Т-во „КУЛЬТУРА“

СКЛАДЫ и ОТДѢЛЕНИЯ:

Варшава, Видоць, 10.	Вильна, Жаждармскій пер., 7. Тел. 823.	Екатеринбургъ, Воиновскій пр. 3. Тел. 219. Магазины: Пушкинская, 3.	Екатеринбургъ, Александров- ская ул., 17. Телеф. 341.
Иркутскъ, Няновская ул., уг. Харла- мьевской, д. 24/50. Тел. 774.	Киевъ, Николаевск., 6. Тел. 11-62.	Лодзь, Бульварик., 29. Поч. ящ. № 549. Тел. 1914.	
Москва, М. Дмитровка, 1. Телеф. 212-80. Магазин: Кузнецкій м., 11. Телеф. 308-27.	Одесса, Ланжероновская, 2. Тел. 17-53.	Рига, Церковная, 31. Почт. ящ. 1082. Тел. 52-86.	
Ростовъ н/Д. Большой пр., 31. Тел. 13-78.	Самара. Дворянская ул., 116. Тел. 737.	С.-Петербургъ. Невскій пр., 23, тел. 171-32; 3-я Рождеств., 26, тел. 158-78; Пет. стор., Волыш. пр., 5-2, тел. 695-08.	
Ташкентъ, Уг. Моск. и Николаевск., 89/33. Тел. 57.	Тифлисъ, Врицанск. пл., 3. Тел. 338.	Харьковъ, Лопатинск. пер., 15. Тел. 17-86.	

Цѣна 2 руб.

Princeton University Library



32101 071959603

